ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ

В. Г. БЪЛИНСКАГО

со вступительной статьей

НЕСТОРА КОТЛЯРЕВСКАГО

въ двухъ томахъ

томъ второй

Изданіе 2-е.

издательство О. Н. ПОПОВОЙ

1907

С.-ПЕТЕРБУРГЪ НЕВСКІЙ ПР., 54 Типографія Спб. акц. общ. и писчебум. діла "Слово". Ул. Жуковскаго, 21.

СОЧИНЕНІЯ КНЯЗЯ В. О. ОДОЕВСКАГО.

Спб. 1844. Три части.

Князь Одоевскій принадлежить къ числу наиболъе уважаемыхъ изъ современныхъ русскихъ писателей, —и между тъмъ ничего не можетъ быть неопредвленные извыстности, которою онъ пользуется. Скажемъ болье: имя его гораздо извъстиве, нежели его сочиненія. Это ивсколько странное явленіе имфетъ двф причины: одну-чисто внфшнюю, случайную, другую-внутреннюю и необходимую. Князь Одоевскій выступиль на литературное поприще въ 1824 году, въ эпоху совершеннаго переворота въ русской литературъ, когда новыя понятія вооружились противъ старыхъ, новыя славы и знаменитости начали противопоставляться авторитетамъ, которые до того времени считались непограшительными образцами, и далае которыхъ идти, въ мысли или въ формф, строжайше запрещалось литературнымъ кодексомъ, получившимъ имя классическаго и по давности времени пользовавшагося значеніемъ корана. Эта борьба стараго и новаго изв'єстна подъ именемъ борьбы романтизма съ классицизмомъ. Если сказать по правдѣ, туть не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственнаго движенія съ умственнымъ застоемъ; но борьба, какая бы она ни была, редко носить имя того дела, за которое она возникла, и это имя, равно какъ и значение этого дела почти всегда узнаются уже тогда, какъ борьба кончится. Всв думали, что споръ былъ за то, которые писатели должны быть образцами — древніе ли греческіе и датинскіе, и ихъ рабскіе подражатели-французскіе классики XVII и XVIII стольтій, или новые — Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ Скотть, Шиллеръ и Гёте; а между темъ въ сущности-то спорили о томъ, имћетъ ли право на титло поэта, и еще притомъ великаго, такой поэть, какъ Пушкинь, который не употребляеть "пінтическихъ вольностей"; вмѣсто шершаваго, тяжелаго, скрипучаго и прозаическаго стиха употребляеть стихъ гладкій, легкій, гармоническій; вм'ясто одъ пишеть элегіи; вм'ясто надутаго и натянутаго слога держится слога естественнаго и благородно-простого; поэмами называеть маленькія пов'єсти, где действують люди, вмѣсто того, чтобъ разумѣть подъ ними холодныя описанія, на одинъ и тоть же ходульный тонъ, знаменитыхъ событій, гдё действують герои съ ихъ наперсниками и въстниками, -- словомъ, поэть, который тайны души и сердца челов'яка дерзнулъ предпочесть плошечнымъ иллюминаціямъ. Вследствіе движенія, даннаго преимущественно явленіемъ Пушкина, молодые люди, выходившіе тогда

на литературное поприще, усердно гонялись за новизною, считали ее за романтизмъ. Стихи ихъ были гладки и легки; фраза блистала новыми оборотами; мысли и чувства отличались какою-то свъжестью, потому что не были повтореніемъ и перебивкою уже всемъ знакомыхъ и перезнакомыхъ мыслей и чувствъ. Въ прозѣ видно было то же самое стремленіе—найти новые источники мыслей и новыя формы для нихъ. Разумвется, источникомъ всего этого "новаго" служили для нихъ иностранныя литературы; но для большинства нашей читающей публики того времени все это д'яйствительно было слишкомъ ново, а потому и казалось яркооригинальнымъ и смёло-самобытнымъ. И вотъ почему, въ тѣ блаженныя времена, слава доставалась такъ легко, такъ дешево, а извъстность была просто ниночемъ. Разумфется, подобная новизна не могла не состаръться скоро, и вслъдствіе этого многіе люди, о которыхъ думали, что они подавали блестящія надежды, оказались совершенно безнадежными; другіе, которые пользовались большой изв'єстностью, вдругь пришли въ забвеніе. Но какъ движеніе, произведенное такъ называемымь ,,романтизмомь", развязало руки и ноги нашей литературѣ, то оно все продолжалось и продолжалось: новое сегодня становилось завтра если еще не старымъ, то уже и не новымъ; на мъсто одной забытой знаменитости являлось нъсколько новыхъ; въ литературу безпрестанно входили новые элементы, содержание ея расширялось, формы разнообразились, характеръ становился самобытнъе. И теперь уже немногіе помнять эти споры и эту борьбу; писателей дёлять по эпохамъ, въ которыя они действовали, и по таланту, который они выказали: но уже нътъ болъе ни классиковъ, ни романтиковъ; ни содержаніе, ни форма уже не приводять въ изумление своею оригинальностью, но чёмъ они оригинальнее, тёмъ больше возбуждають вниманіе. Лучшія стихотворенія г-на Майкова, одного изъ особенно замѣчательныхъ поэтовъ нашего времени, принадлежать къ антологическому роду, -- и поэтому онъ гораздо больше. нежели всв наши поэты старой школы, имветь право называться классическимъ поэтомъ; и однако-жъ его также никто не называетъ классикомъ, какъ и романтикомъ. Въ поэзін Пушкина есть элементы и романтическіе, и классическіе, и элементы восточной поэзіи, и, въ то же время, въ ней такъ много принадлежащаго собственно нашей эпохъ, нашему времени: какъ же техерь назыибать, и привать его романтикомъ? Он

томъ поэтъ великій! Теперь каждый талантъ, и великій и малый, хочетъ быть не классикомъ, не романтикомъ, а поэтомъ, —слѣдовательно, хочетъ равно брать дань со всего человѣческаго —и благо ему, если онъ, не чуждаясь ни древняго, ни стараго, ни новаго, во всемъ этомъ умѣетъ быть с о в р е м е н н ы мъ!.. Эту многосторонность, эту свободу наша литература пріобрѣла все-таки черезъ борьбу мнимаго романтизма съ мнимымъ классицизмомъ.

Между множествомъ эфемерныхъ явленій, вызванныхъ тогда новизною и обязанныхъ ей своею минутною извъстностью, были яркіе таланты, которые считали за необходимость не останавливаться на первомъ успъхъ, но идти за временемъ. Конечно, не вст изъ нихъ шли до конца, но иные остановились на полудорогѣ, и едва ли хотя одинъ дошель до конца пути своего, т. е. сделаль все, чего могли отъ него ожидать и что въ силахъ быль бы онъ выполнить... Вообще, доходить до конца-какъ-то не въ судьбѣ русскихъ писателей, особенно съ н'вкотораго времени. И если Державинъ, Дмитріевъ и Крыловъ дожили до съдинъ, обремененныхъ лаврами, зато сколько путей, различнымъ образомъ прерванныхъ! Ломоносовъ умеръ пятидесяти л'ять, съ полнымъ сознаніемъ, что онъ могъ бы еще много сдёлать и что онъ гораздо меньше сделаль, нежели сколько надеялся. Великій челов'якъ винилъ себя и въ своей преждевременной смерти, и въ томъ, что онъ, по его сознанію, сділаль такъ мало; но его жизнь и діятельность зависили не отъ него, а отъ той действительности, въ которой такъ одиноко былъ онъ вызванъ судьбой дъйствовать. Фонвизинъ написалъ свое послъднее и лучшее произведение на тридцать седьмомъ году отъ рожденія и посл'є того провель цёлыя десять лётъ разбитый параличомъ и въ состояніи совершенной недізтельности. Карамзинъ сошелъ въ могилу хотя и въ лътахъ, но еще въ поръ силъ своихъ и далеко не кончивъ своего великаго труда. Озеровъ написаль всего пять трагедій и умерь на сорокъ шестомъ году, вследствіе долговременной болезни, съ которою было сопряжено разстройство умственныхъ силъ. Ватюшковъ погибъ для литературы и общества во цвъть лъть и силь своихъ, подавъ такія блестящія, такія богатыя надежды... Нужно ли говорить о томъ, какъ прервалась поэтическая дъятельность трехъ великихъ славъ нашей литературы-Грибовдова, Пушкина и Лермонтова?.. А сколько менъе огромныхъ и столь же безвременныхъ потерь! Веневитиновъ умеръ почти при самомъ началѣ своего столь много объщавшаго литературнаго поприща. Полежаевъ палъ жертвою избытка собственныхъ силъ, дурно уравновъщенныхъ природою и еще хуже направленныхъ воспитаніемъ и жизнію... Всѣ эти утраты какъ-то невольно приходять въ голову теперь, по случаю внезанной въсти о смерти Баратынскаго, -поэта съ такимъ замъчательнымъ талантомъ, одного изъ товарищей ч сподвижниковъ Пушкина. И сколько въ последнее десятилете было подобныхъ утратъ!

Только и слышишь, что о паденіи прежнихъ бойцовъ, сраженныхъ то смертію, то-что еще хужежизнію... Ужасно умереть прежде времени, но еще ужасиве пережить свою двятельность и только изрѣлка новыми, но уже слабыми произведеніями напоминать о прекрасной порф своей прежней дъятельности. Эта нравственная смерть производить въ нашей литературъ еще больше опустошеній, чемъ физическая. Причина ея столь же понятна, сколько и горестна, и лучше скорбъть о ней, нежели высокоумно разсуждать о томъ, какимъ бы образомъ могъ ея избъгнуть тотъ или другой авторъ, или гордо осуждать его за то, что онъ не могъ ея избъгнуть. Увы! выходя на поприще жизни, мы всв смело и гордо смотримъ въ ея неизведанную даль, и для насъ паденіе есть преступленіе; но перешедши сами лучшую часть своей жизни, мы, при видъ всякаго падшаго бойца, съ грустію обращаемся на самихъ себя... Кто налъ, почему не сказать о немъ, что уже нъть его? Но дело критики говорить не о томъ только, что могь бы едёлать авторъ и чего онъ не едёлаль, но и о томъ, что сделаль онъ и чемъ благодатна была для общества жизнь его...

Итакъ, князь Одоевскій вышелъ на литературное поприще въ 1824 году. Онъ былъ изъ числа тъхъ счастливо-одаренныхъ натуръ, которыя начинають действовать сознательно въ духе своего истиннаго призванія и въ кругь своихъ собственныхъ силъ. Мы помнимъ первую повъсть его "Элладій, картину изъ свътской жизни", напечатанную въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъальманаховъ (,,Мнемозинъ"). Эта повъсть теперь всякому показалась бы слабою, дътскою и по содержанію, и по форм'є; но тогда она обратила на еебя общее вниманіе и пріятно всёхъ удивила. Повъсть дъйствительно слаба; но успъхъ ен былъ тымь не менье вполны заслуженный. Это была первая повъсть изъ русской дъйствительности, первая попытка изобразить общество не идеальное и нигдъ не существующее, но такое, какимъ авторъ видель его въ действительности. Со стороны искусства и вообще манеры разсказывать, она была произведеніемъ оригинальнымъ и дотол'в невиданнымъ; было что-то свѣжее въ ея мысли, во взглядъ автора на предметы и въ чувствахъ, которыя старался онъ ею возбудить въ обществъ. Къ тому же времени, въ которое былъ напечатанъ "Элладій" князя Одоевскаго, относятся его "апологи"родъ поэтическихъ аллегорій, въ которыхъ ясно и опредълительно выказалось направление таланта ихъ автора. Такъ какъ теперь уже немногіе помнять ихъ, а многіе и совсемъ не знають, и такъ какъ, несмотря на это, мы приписываемъ имъ значительную литературно-историческую важность и видимъ прямое указаніе на призваніе князя Одоевскаго, какъ писателя, то и считаемъ за нужное познакомить съ ними нашихъ читателей. Для этого приводимъ здёсь апологъ:

Старики, или Островъ Панхаи.

Какъ памятно миѣ время моего перехода изъ юности въ возрасть зрѣлый, время сего перехода.

когда человъкъ внезапно, пораженный опытноетію, —ръшается оставить ту простосердечную довърчивость, которая составляеть блаженство младенца, ръшается и — еще жалъеть о ней, любить ее!

Прежде еще сего перехода я помню — одна мечта, какъ игрушка, занимала меня; съ величайшимъ благоговъніемъ взиралъ я на старость. Ножественнымъ казался мит сей возрастъ, въ которомъ, мнилъ я, укрощаются буйныя, постыдныя страсти, умолкають мелкія суетныя желанія, ничтожными становятся препоны, задерживающія человъка на пути къ высокой мечтъ его-совершенствованію! На покрытомъ морщинами челъ старна - я читалъ сладкое чувствованіе усталаго путника, близкаго желанной цвли и уже готоваго въ прахъ сбросить и запыленную одежду, и ношу, къ которой, несмотря на тягость, привыкли плечи его; каждый старель казался мнъ счастливдемъ, покорившимъ силу бренія-силою духа; и до того даже доходила моя слънота въ семъ случав, что тотъ пріобръталь право на мое нелицемърное почтеніе, кто быль меня хотя нісколькими годами старъе. Если-бъ тогда старшій меня сказаль: я мудръгиши изъ смертныхъ, —я бы и не повърилъ ему, но не смълъ бы противоръчить: онъ опытнъе меня, - сказалъ бы я самому себъ!

Теперь же вы знаете меня, друзья! наружность не ослъпляеть глазь монхъ! Грозный взоръ вельможи, потрясающій всю нервную систему твари, имъ созданной, —производить во мив лишь улыбку, столь нередко бывающую на устахъ моихъ: я привыкъ, дерзостной рукою срывая ли-чину съ спесивой знатности, — находить отсутствіе всёхъ достоинствъ, а подъ мишурою пышныхъ словъ -- вялое слабочміе. Но чувство благоговънія къ старости до сихъ поръ еще сохранилось въ душъ моей, только съ тою разницею, что прежде всякій старецъ казался мнъ сунествомъ совершеннымъ, теперь же и въ старцахъ я умъю открывать недостатки. Но таковыя открытія всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая меня, возмущали душу мою; въ семъ только случав я не могъ смвяться. Нъсколько же дней тому назадъ произошла со мною большая перемъна и въ семъ отношении, и вотъ какимъ образомъ:

Прижавшись въ углу въ моемъ кабинетъ, съ Діодоромъ Снцилійскимъ въ одной рукъ и съ греческимъ словаремъ въ другой, я путеществовалъ по Аравіи, по цвътущему острову Панхаи, наслаждался видомъ колесницы Урановой и стоящаго на оной храма.

Воды, омывавшія сей храмъ, названныя водами солнца, имъли, какъ говорять, даръ чудный: испившій отъ нихъ молоділь постепенно и, дошедши до возраста юноши, содълывался без-смертнымь; но горе тому, который хотъль въ одно мгновеніе сдълаться юнымъ! Желаніе его исполнялось, -- но безразсудный продолжалъ молодъть безпрестанно и умпралъ, пришедши въ состояніе однодневнаго младенпа. — На свъчъ моей нагорвло, глаза утрудились отъ долгаго чтенія, гслова отяжельла отъ греческихъ аористовъ, сумракъ, усталость, баснословное сказаніе, мною читанное,—все это вмѣстѣ погрузило меня въ то сладостное состояніе, которое извѣстно всякому, знакомому съ умственными напряженіями, въ то состояніе, когда мы еще не можемъ отдать себъ отчета въ новыхъ впечатлъніяхъ, нами полученныхъ, когда родившіяся отъ нихъ бъглыя, разнородныя мысли роятся въ головъ нашей и мъшаются съ чуждыми, часто безобразными призра-

Въ такомъ состояніи быль я: не знаю, спаль ли, или нътъ, — но слушайте, друзья мон, что нарисовало предо мною причудливое воображеніе:

Взору моему представился храмъ Гемиееи, осъненный пальмовыми деревьями; миъ слышалось журчаніе водъ солнца; тихій зефиръ, вѣчновѣющій надъ сими водами, касался лица моего. Берега сихъ водъ были покрыты толпами людей обоего пола, всѣхъ народовъ и состояній, но ни одного старца не было видно въ сихъ толпахъ: вездѣ были дъти.

Приближаюсь, всматриваюся, -- и какое удивленіе меня поразило, когда я увид'вль, что вст тв, которые мнъ казались издали младенцами, --были ими только по тълесной немощи и по своимъ занятіямъ; лицо измѣняло имъ: почти у всѣхъ оно было изрыто морщинами; впалые, сузившеся глаза, беззубый роть, трясущіяся кольна и другія принадлежности глубокой старости спорили съ младенческимъ ростомъ и ребяческимъ выраженіемъ. Нельзя описать, какое сильное отвращеніе производилъ видъ сихъ старцевъ-младенцевъ! Я содрогнулся, хотёлъ бёжать, но невидимая рука остановила меня, и невидимый голосъ говорить мнъ: "Наблюдай. Здъсь видишь ты свъть и людей, живущихъ въ немъ, въ истинномъ ихъ видъ. Тоть свъть, въ которомъ ты обитаешь, есть мечтательный; всь дъйствія, здъсь происходящія. кажутся тамъ совсвмъ иными!"

Я послушался и, скрыпя сердце, продолжаль продираться сквозь толпу младенцевь. О! сколько туть знакомыхъ моихъ я увидёлъ, и какъ странны были ихъ занятія. Многіе нзъ младенцевъ подходили другь къ другу; одинь изъ нихъ съ величайшею важностію вынималь мишурный мячикъ и кидаль къ своему товарнщу; товарнщь съ такою же важностію отвъчаль ему тъмъ же мячикомъ; перекинувши его нъсколько разъ такимъ образомъ, младенцы, не теряя своей важности, расходилися.

"Что это за игра такая?" — спросиль я. — "Она называется, — отвъчаль мит невидимый голосъ, — свитекими разговорами: Эта игра весьма скучна, какъ ты видишь, но любимая у младенцевъ. Есть многіе изъ нихъ, которые до самой смерти безпрестанно занимаются ею и ничъмъ болъе".

Къ дереву, возлъ котораго я стоялъ, была прислонена тоненькая жердочка; многіе изъ младенцевъ старалися взобраться по ней на дерево; чего ни дълали они для достиженія своей цъли и низко сгибали спину, и ползли, и то хваталися за младенцевъ, окружавшихъ дерево, то отталкивали ихъ; странно было то только, что, когда кто поднимался нъсколько выше другого по жердочкъ, то младенцы старались того назадъ отдергивать и между тъмъ рукоплескали и кланялися ему; упавшаго же гнали и били немилосердо. Я замътиль, что предметь, привлекавшій болье всего младенцевъ къ этому дереву, были прекрасные плоды, на немъ висъвшіе. Младенцы съ *низу* не замъчали, что эти плоды были прекрасны только издали, но въ самомъ дълъ были гнилы. "И это нгра, - сказалъ мнъ голосъ: - она называется почестями безъ заслуги".

Весьма жалко мив было смотръть на нвкоторыхъ юношей, которыхъ старики-младенцы приводили къ дереву и, показывая имъ илоды, на немъ росшіе, съ важностію говорили, что эти илоды чрезвычайно вкусны и должны быть цвлію живни человвческой, что единственное средство для достиженія оной есть искусное перекидываніе мишурнаго мачика. Тщетно злополучные юноши обращали взоры къ чему-то высшему, непонятному для стариковъ-младенцевъ: упрямые старики, не давая имъ отдыха, заставляли перекидывать мячикъ.

"Не жалъй!—сказаль мнъ голосъ:—это также нгра, называемая свътскимъ воспитаниемъ. Старики-младениы, правда, соблазнять многихъ юношей, но не остановять истинно презирающихъ эту ничтожную игру. Посмотри сюда, и ты увидишь подтверждение словъ монхъ".

Я обратился, увидълъ... О! какъ мит выразить

словами то, что увидёль я?—Небеснымь огнемь пламенёли их очи,—ихь не туманило ничтожное земное; душевная дёятельность пылала во всёхъ чертахъ, во всёхъ движеніяхъ; они презирали шумны й, суетный крикъ младенцевъ,—ихъ взоры быстро стремились къ возвышенному.

"Кто сін невъдомые?" — воскликнуль я оть из-

бытка сердца.

"Это безсмертные! — отвічаль голось. — Старики-младенцы не замічають, что симь безсмертнымь юношамь они обязаны почти существованіемь, что сій юноши, стремясь къ возвышенной ціли своей, мимоходомь, съ отеческою ніжностію, разливають на нихь дары свои; неблагодарные не понимають ни дійствія, ни ціли безсмертныхь: одни сміются надъ ними, другіе презирають, иные не обращають вниманія, большая часть даже не знаеть о существованіи сихь юношей. Но вращають вістрые круговороты времени поглощають въ бездні забвенія ничтожную толпу старикоєз-младенцеє, и живуть безсмертные, живуть, и нівть преділа ихь возвышенной жизни!"

Кружокъ стариковъ-младенцевъ привлекъ мое вниманіе. Всѣ, составлявшіе оный, сидѣли, наморщивъ брови, и съ важностію тщательно складывали песчинку къ песчинкѣ; имъ хотѣлось такимъ образомъ соорудить зданіе, подобное храму Гемиеен. "У васъ нѣтъ основанія,—сказалъ, улыбаясь, одинъ изъ безсмертныхъ юношей,—у васъ нѣтъ даже связи, которая могла бы соединить

ваши песчинки".

Младенцы презрительно посмотрѣли на юношу—и спесиво указали ему на десять кое-какъ сложенныхъ песчинокъ, какъ бы говоря: вотъ гдѣ истинная мудрость!

"Тщетно! — сказаль мив голось:—оть этой нгры ихъ не отучишь: она называется *опытиыми*

знаніями!

Возлѣ сего кружка нѣсколько стариковъ-младенцевъ, еще болѣе угрюмыхъ, размѣривали землю для построенія того же зданія; но никакъ у нихъ дѣло не ладилось: только что безпрестанно ссорились и бранились! И не мудрено: у всѣхъ были разномѣрные аршины!

"Мъряйте однимъ и тъмъ же аршиномъ!"—сказалъ безсмертный юноша.—"Мой дучшій! мой дуч-

шій!"-закричали они всв вмъсть.

"Эти старики-младенцы думають, — сказаль голось, — что они нъсколькими степенями выше младенцевь, складывающихъ песчинки; но въ самомъ дѣлѣ также въ игрушки играють, лишь съ тою разницею, что эта игра имѣетъ другое назване: она называется офранцуженными теоріями".

Возлѣ меня нѣсколько стариковъ-младенцевъ играли въ игру весьма странную: одинъ изъ нихъ завявывалъ себѣ глаза, приходилъ въ мѣсто, совершенно ему незнакомое, и приказывалъ нѣкоторымъ юношамъ идти по дорогѣ, которую онъ, не видя, имъ указывалъ. Бѣдные юноши спотыкалися безпрестанно, слѣдуя въ точности руководству его; но упрямый старикъ увѣрялъ, что юноши спотыкаются отъ несовершеннаго исполненія его наставленій, и ежеминутно твердилъ о своей опытимости.

"Эта игра въ большомъ употребленіи у *стариковъ-младенцевъ*, — сказалъ мнѣ голосъ: — она истинное торжество для ихъ слабоумія— и назы-

вается искусствомъ подавать совъты".

Удаленный отъ всёхъ подъ тёнію миртоваго кусточка, сидёлъ одинъ изъ стариковъ-младенцев; онъ подзываль каждаго проходящаго и съ глупою радостію показываль свою работу; но никто не обращаль на нее вниманія: по этому и по розовому платочку я тотчасъ узналъ моего друга Ахалкина; подхожу—и что же? Онъ вырёзывалъ солдатиковъ изъ листочковъ розы и

мнилъ такою армією въ прахъ разразить своего грознаго Аристарха! Пов'ялъ легкій вътеръ, — нечезли труды Ахалкина; только на лицъ его осталось никъмъ не замъченное выраженіе, которое не знаю, какъ назвать — улыбкою или плачемъ, лишь знаю, что оно было отвратительно!

Какъ исчислить мив суетныя занятія стариковъ-младенцевъ, какъ исчислить неисчислимое? Одни пускали мыльные пузыри и уввряли, что для сего потребны величайшія усилія и умъ высокій; другіе вили въ кудри свдые волосы и восхищалися своею безобразною красотою; третьи прозябали въ бездвйствіи, но у всёхъ на языкъ вертелась опытность!

Не знаю, долго ли продолжалось мое видъніе, но когда оно исчезло, я сдълался гораздо спо-

койнъе.

Теперь, слышу ли я старика, порицающаго ученость, потому что самъ не имѣетъ ея, порицающаго всякую новизну за то, что она новизна; вижу ли старика, который хочетъ обмануть время не пріобрѣтеніемъ познаній, но подкрашенными волосами,— ихъ невѣжество и слабоуміе не возмущають меня болѣе; я вспоминаю о моемъ видѣни и спокойно говорю себѣ: "это старикъ-мла-

денецъ"

Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно смёшную толпу стариковъ-младенцевъ; они обвиняють меня даже за то, что мнё могло представиться такое видёніе. Но вы, юные друзья мон, скажите мнё: не тогда ли только долгая жизнь можеть содёлать человёка опытнымъ, когда каждый день оной—есть новый рядь умствованій?—гдё же опытность стариковъ-младенцевъ, которою они столько хвалятся, когда бездёйственность или инчтожный занятій потушили въ ихъ головахъ и послёднюю искру размышленія?

Зевст посылаетт нам сны, —говорили древніе. Мое видініе не должно возбудить почтеніе къ старости, но, напротивъ, еще больше произветь благоговінія къ стариам, въ истинномъ, высо-

комъ значенія сего слова.

Друзья! улыбку старикамъ-младенцамъ и на колъна предъ въчно-юными старцами.

Натъ спора, что все это молодо, незрало и, можеть быть, слишкомъ наивно, но нельзя отрицать, чтобъ въ этомъ не было одушевленія, жизни и мысли, хотя и выраженной въ формъ, которая уже по самой сущности своей прозаична, какъ сбивающаяся на аллегорію. Нечего и доказывать, что теперь такой родъ сочиненій быль бы странень и не могъ бы имъть успъха, но въдь это было писано двадцать лътъ назадъ, —а что является въ свое время, вдохновенное самобытною мыслію и запечатлънное талантомъ, то если не всегда сохраняетъ свою первоначальную свѣжесть и спадаетъ съ цены отъ времени, зато всегда иметъ, въ глазахъ мыслящаго человъка, свою относительную, свою историческую важность. Эти апологи замьчательны уже темъ, что они не походили ни на что, бывшее до нихъ въ русской литературь: они не пользовались популярностію, потому что могли нравиться не всёмъ. Старички острова Панхаи называли ихъ безнравственными; большинство публики, не находя въ нихъ ничего для фантазіи и не любя иищи, предлагаемой преимущественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; но зато юношество, одушевленное стремленіемъ къ идеальному, въ хорошемъ значенін этого слова, какъ противоположности пошлой прозв жизни, --- это юношество читало ихъ съ жадностью,

и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, и кто умѣетъ судить о достоинствѣ вещей не по настоящему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто помнитъ состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда лучшими журналами въ Россіи были "Вѣстникъ Европы" и "Сынъ Отечества",—и еще не было "Московскаго Телеграфа", когда читающая публика была несравненно малочисленнѣе нынѣшней,—тѣ согласятся съ нами.

Но князь Одоевскій не остановился на этихъ юношескихъ опытахъ; онъ скоро понялъ, что этоть избранный, или, лучше сказать, созданный имъ родъ литературы прозаиченъ и однообразенъ. Онъ такъ мало даеть цены этимъ первоначальнымъ опытамъ своимъ, что не захотълъ даже помъстить ихъ въ собраніи своихъ сочиненій... Послъдующіе его опыты, разбросанные преимущественно по альманахамъ, уже обнаружили въ немъ писателя столько же возмужавшаго, сколько и даровитаго. Не изміняя своему истинному призванію, попрежнему оставаясь по преимуществу дидактическимъ, онъ въ то же время умёлъ возвыситься до того поэтическаго краснорфчія, которое составляеть собою звено, связывающее оба эти искусства — краснорѣчіе и поэзію, и которое составляеть истинную сущность таланта Жанъ-Поля Рихтера. Для доказательства ссылаемся на три лучшія произведенія князя Одоевскаго — "Бригадиръ", "Балъ" и "Насмъшка Мертвеца". Это уже не анологи, не аллегоріи: это живыя мысли созрѣвшаго ума, переданныя въ живыхъ поэтическихъ образахъ. Несмотря на дидактическую цель этихъ произведеній, въ нихъ все горить и блещеть яркими цвътами фантазін; въ нихъ слышится одушевленный языкъ живого, страстнаго убъжденія; они проникнуты павосомъ истины; они-не холодныя поученія, не резонерскія нападки на пороки людей, не риторическія похвалы добродътели: они — пламенныя филиппики, исполненныя то грознаго пророческаго негодованія противъ ничтожности и мелочности положительной жизни, валяющейся въ грязи эгоистическихъ расчетовъ,то молніеносныхъ образовъ надзвъздной страны идеала, гдф живуть высокія чувствованія, свфтлыя мысли, благородныя стремленія, доблестные помыслы. Ихъ цъль — пробудить въ спящей душъ отвращение къ мертвой действительности, къ пошлой прозъ жизни, и святую тоску по той высокой дъйствительности, идеалъ которой заключается въ смѣломъ, исполненномъ жизни сознаніи человѣческаго достоинства. Но кром'в того, важное пренмущество этихъ піесъ составляеть ихъ близкое, живое соотношеніе къ обществу. Съ этой стороны, онъ-не выдумки, не игрушки праздной фантазіи, не риторическія олицетворенія отвлеченныхъ мыслей, общихъ добродетелей и пороковъ, но уроки высокой мудрости, тъмъ болъе плодотворные, что ихъ корни скрываются глубоко въ почвѣ русской дъйствительности. Прочтите "Бригадира": это исторія многихъ тысячъ нашихъ бригадировъ, исторія, къ несчастью, всегда одинаковая. Безпокойный и страстный юморъ составляеть также одно изъ неотъемлемыхъ достоинствъ этихъ піесъ и придаеть имъ характеръ положительности, безъ котораго онв казались бы слишкомъ фантастическими, а потому и недостаточно дъльными. Но какъ фантастическое лежитъ въ этихъ піесахъ на существенномъ основаніи, то оно придаетъ имъ только еще болъе сильный и увлекательный характеръ, поражая мысль чрезъ посредство фантастическихъ образовъ, сверкающихъ яркими и причудливыми красками поэзіи. Для доказательства этого достаточно указать на то мёсто изъ "Вала", гдв свдой капельмейстерь хвалится своимъ умвньемъ оживлять балъ искуснымъ подборомъ музыкальныхъ піесъ... Еще богаче и внутреннимъ содержаніемъ, и стремительнымъ наоосомъ, и фантастически-поэтическими образами піеса — "Насм'вшка Мертвеца". По нашему мн'внію, это едва ли не лучшее произведение князя Одоевскаго и, въ то же время, одно изъ замъчательнъйшихъ произведеній русской литературы, тімь боліве, что оно въ ней единственное въ своемъ родъ. Мысль автора... но пусть эта мысль скажется сама, во всей прелести и во всей силъ ея поэтическаго выраженія. Красавица, фдущая на балъ съ своимъ мужемъ, встрѣтила на дорогѣ гробъ и смутилась при взглядѣ на мертваго молодого человѣка, лежавшаго въ

Красавица нъкогда видала этого молодого человъка. Видала! – Она знала его, знала всъ изгибы луши его, понимала каждое трепетаніе его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незамістную черту на лиці его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно изъ тъхъ людскихъ мнъній, которыя люди называють въчнымъ, необходимымъ основаніемъ семейственнаго счастья, и которому приносять въ жертву и геній, и добродътель, и сострадане, и здравый смыслъ, все это на нъсколько мъсяцевъ, одно изъ такихъ мнъній поставляло непреоборимую преграду между красавицею и молодымъ человъкомъ. И красавица покорилась. Покорилась не чувству,— нъть, она затоптала святую искру, которая-было затеплилась въ душъ ея, и, падши, поклонилась тому демону, который раздаеть счастье и славу міра, и демонъ похвалилъ ея повиновеніе, далъ ей "хорошую" партію и назваль ея разсчетливость - добродътелью, ея подобострастіе - благоразуміемъ, ея оптическій обманъ-влеченіемъ сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою. Но въ любви юноши соединялось все святое

по въ люови юноша соединялось все святос и прекрасное человъка; ея роскопнымъ огнемъ кила жизнь его, какъ блестящій благоухающій алоэсъ подъ опалою солнца; юношъ были родными тъ минуты, когда надъ мыслію проходить дыханіе бурно: тъ минуты, въ которыя живуть въка, когда ангелы присутствують таниству души человъческой, и таинственные зародыши будущихъ покольній со страхомъ внимаютъ ръшенію

судьбы евоей.
Да! много будущаго было въ этой мысли, въ этомъ чувствъ. Но имъ ли оковать лѣнивое сердце свѣтской красавицы, безпрерывно охлаждаемое расчетами приличій? Имъ ли плѣнить умъ, безпрестанно сводимый съ толку тѣми судьями общаго мнѣнія, которые постигли искусство судить о другихъ по себѣ, о чувствѣ по расчету, о мысли по тому, что имъ случилось видѣть на свѣтѣ, о поэзіи по чистой прибыли, о вѣрѣ по политикѣ, о будущемъ по прошедшему?

И все было презрѣно: и безкорыстная любовь юноши, и силы, которыя она оживляла... Красавида назвала страсть юноши порывомъ воображенія, его мучительное терзаніе — преходящею болѣзнью ума, мольбу его взоровь—модною поэтическою причудою. Все было презрѣно, все было забыто. Красавида провела его чрезъ всѣ мытарства оскорбленной любви, оскорбленной на-

дежды, оскорбленнаго самолюбія...

Что я разсказалъ долгими ръчами, то въ одно мгновеніе пролетьло черезь сердце красавицы при видъ мертваго: ужасною показалась ей смерть юноши, -- не смерть тъла, нътъ! -- черты искаженнаго лица разсказывали страшную повъсть о другой смерти. Кто знаеть, что сталось съ юношей, когда, сжатыя холодомъ страданія, порвались струны на гармоническомъ орудіи души его; когда изнемогь онъ, замученный недоговоренною жизнію; когда истощилась душа на тщетное бореніе и, униженная, но не убъжденная, съ хохотомъ отвергла даже сомнъние - послъднюю святую искру души умирающей. Можеть быть, она вызвала изъ ада всв изобрътенія разврата; можеть быть, постигла сладость коварства, нъгу мщенія, выгоды явной безстыдной подлости; можетъ быть, сильный юноша, распаливши сердце евое молитвою, прокляль все доброе въ жизни! Можеть быть, вся та дъятельность, которая была предназвачена на святой подвигъ жизни, углубилась въ науку порока, исчерпала ея мудрость съ тою же силою, съ которою она нъкогда исчерпала бы науку добра; можеть быть, та дъятельность, которая должна была помирить гордость познанія съ смиреніемъ вѣры, слила горькое, удушающее раскаяние съ самою минутою преступленія...

Картина бала и смятенія, произведеннаго страхомъ потопа, исполнены вдохновенія бурнаго и порывистаго, негодованія пророчески энергическаго. Здѣсь краснорѣчіе возвышается до поэзіи, а поэзія становится трибуною. Чтобъ выписать все лучшее изъ этой піесы, надобно было бы списать ее всю. Но мы думаемъ, что и этой выписки уже слишкомъ достаточно, чтобъ показать и высокій талантъ

автора, и высокое его призваніе.

Выло время, когда поэзію разділяли на эпическую, лирическую, драматическую и еще дидактическую. Но не столько ложность раздъленія, сколько пошлость образцовъ дидактической поэзіи изгнала изъ употребленія самое слово "дидактическій", какъ синонимъ скуки, водянистости и прозаизма: но это несправедливо. Хотя сатира, напр., и принадлежить къ лирической поэзіи, какъ выражение субъективнаго чувства, однако сатира не есть произведение собственно поэзіи, какъ пъсня, элегія, ода, потому что въ ней всегда видна слишкомъ определенная цель, и въ нее входить слишкомъ большой посторонній элементъ. Въ сатиръ поэтъ является обличителемъ, адвокатомъ, проповъдникомъ, а поэзія въ сатиръ является больше, какъ средство, нежели какъ самобытное искусство. Сатира-одно изъ тъхъ произведеній, въ которыхъ поэзія становится красноржчіемъ, красноржчіе — поэзіею. Знаменитые въ прошломъ въкъ "Сады" Делиля не принадлежатъ къ дидактической поэзіи, потому что они чужды какой бы то ни было поэзін; но сатиры Ювенала, ямбы Барбье, піеса Пушкина "Поэть и Чернь", ніесы Лермонтова "Печально я гляжу на наше

покол'внье" и "Поэтъ" суть произведенія столько же дидактическія, сколько и поэтическія. Дидактическая поэзія, въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, есть то гремящее анавемою поученіе, то страстная ръчь защитника добра; это родъ поэзін наиболь соціальный и гражданскій. Отсюда понятно, что у римлянъ явился величайшій сатирикъ въ мірѣ. Изъ этого, однако-жъ, не следуеть, чтобы поэзія должна была попрежнему раздізляться на эпическую, лирическую, драматическую и дидактическую: дидактической поэзіи ність, но есть дидактизмъ, который, какъ преобладающій элементь, можеть входить во всё три рода поэзіи, преимущественно же въ лирическую. Безъ паеоса невозможна никакая поэзія, и дидактизмъ, чтобъ не убивать поэзін, должень быть всегда преисполненъ страстнаго одушевленія. Въ древности были пъвцы, обрекавшіе себя на возбужденіе въ гражданахъ чувствъ доблести и любви къ отечеству во время войнъ, и до насъ дошло нъсколько одъ Тиртея, котораго анти-поэтическіе, не любившіе изящныхъ искусствъ спартанцы выпросили у аоинянъ, чтобъ онъ воспламенялъ своими пъснями духъ храбрости въ ихъ воинствъ во время кровавой борьбы ихъ съ мессенцами. Почему же не быть поэтамъ, которые служили бы обществу, пробуждая и поддерживая въ его членахъ стремленіе къ сознанію, къ жизни умомъ и сердцемъ, единой сообразной съ человъческимъ достоинствомъ жизни? И неужели эти гражданскіе Тиртеи ниже Тиртеевъ войны? Храбрость составляеть одно изъ достоинствъ человѣка, особенно важное во время войны, но человъчность всегда и вездь, въ войнъ и миръ, есть высшая добродътель, высшее достоинство человѣка, потому что безъ нея человѣкъ есть только животное, темъ более отвратительное, что, вопреки здравому смыслу, будучи внутри животнымъ, снаружи имъетъ форму человъка...

Мы выше сказали, что въ русской литературѣ нътъ произведеній, которыя бы, по своему духу и формѣ, могли относиться къ одному разряду съ тѣми піесами князя Одоевскаго, о которыхъ говорено выше. Ихъ прототипа надо искать въ сочиненіяхъ Жанъ-Поля Рихтера, который, не будучи поэтомъ въ смыслѣ творчества, тъмъ не менъе обладалъ замъчательно сильною фантазіею и нерѣдко умѣлъ ею счастливо пользоваться для выраженія философскихъ и преимущественно нравственныхъ идей. Поэтому мы смотримъ на Жанъ-Поля Рихтера, какъ на дидактическаго поэта. Талантъ этого рода имъетъ еще то отличие отъ таланта чисто поэтическаго, чисто творческаго, что онъ тъсно связанъ съ одушевленіемъ одареннаго имъ лица къ нравственнымъ идеямъ. И потому мы нерѣдко видимъ, что люди, обладающіе чисто поэтическимъ талантомъ, сохраняютъ его долго, независимо отъ ихъ отношеній къ жизни; но когда писатель, котораго направление преимущественно дидактическое, или привыкаетъ наконецъ къ холоду жизни, прежде возбуждавшему въ немъ громовое негодованіе, или допускаеть сомнінію ослабить въ себѣ энергію убѣжденія, — тогда его талантъ

исчезаеть вмѣстѣ съ упадкомъ его правственной силы. Это потому, что такой талантъ есть своего.

рода доброд тель. Намъ не безъ основанія могуть зам'єтить, что такія произведенія, какъ "Бригадиръ", "Балъ" и "Насмънка Мертвеца", могутъ читаться не всегда, и притомъ не во всякомъ расположени духа, и что для умовъ зрёлыхъ и закаленныхъ въ борьбъ съ жизнію подобный дидактизмъ не внолиъ поучителенъ. Не споримъ противъ этого. Но какъ различны потребности возрастовъ и состояній, такъ различны и средства къ ихъ удовлетворенію. Есть люди, которые съ восторгомъ будуть читать трагедію Шиллера, и въ которыхъ "Ревизоръ", или "Повъсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", могутъ возбудить скоръе бользненно непріятное чувство, нежели удовольствіе и восторгь; и есть люди, которымъ геніальная комедія изъ современной жизни громче говоритъ о значенін и смысл'в великаго и прекраснаго на земль, нежели иная восторженная, исполненная кипфніемъ юнаго чувства трагедія. Не будемъ разсуждать, которая изъ этихъ сторонъ права, которая неправа; мы даже думаемъ, что объ онъ равно правы, ибо каждая изъ нихъ требуетъ того, что ей нужно, и объ достигають одной и той же пвли, идя по разнымъ путямъ. Какъ бы то ни было, но чтеніе такихъ произведеній, какъ "Вригадиръ", "Балъ" и "Насмъшка Мертвеца", производитъ на молодую душу, еще свѣжую, не подвергшуюся нечистому прикосновенію житейской суеты, д'виствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударъ оставляетъ въ иной, исполненной благороднаго стремленія, душѣ самыя благодатныя слѣдствія. Мы знаемъ это по собственному примъру: мы помнимъ то время, когда избранная молодежь съ восторгомъ читала эти піесы и говорила о нихъсътвив важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неофиты говорять о таинствахъ своего ученія. И вотъ одна изъ причинъ, почему имя князя Одоевскаго, какъ писателя, болъе извъстно и знакомо всъмъ, нежели его сочиненія: его сочиненія таковы, что могутъ или сильно нравиться, или совстмъ не могутъ нравиться, потому что годятся не для всъхъ; а между темъ мненіе техъ, которыхъ они могутъ сильно интересовать, слишкомъ важно и дъйствительно даже для твхъ, которые сами не могутъ находить въ нихъ для себя особеннаго интереса. Къ этому надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочиненія князя Одоевскаго долго были разбросаны во множествъ разныхъ альманаховъ и журналовъ, и что ихъ многіе печатно и хвалили, и бранили, но никто не почелъ за нужное отдать публикъ отчеть, почему онъ ихъ хвалить или бранить. Впрочемъ, и не легко было бы дать такой отчетъ, потому что для этого критикъ иринужденъ быль бы прежде всего завалить свой столь альманахами и журналами разныхъ годовъ. Вообще нельзя не упрекнуть князя Одоевскаго, что онъ не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій по мъръ ихъ накопленія. Это было бы для него

весьма важно; ему легче было бы судить о потребностяхъ времени по пріему публикою каждой книжки своихъ сочиненій и знать заранѣе, можеть ли имѣть успѣхъ измѣненіе ихъ въ направленіи

Послѣ всего сказаннаго нами по поводу піесъ-"Вригадиръ", "Валъ" и "Насмъшка Мертвеца", было бы безполезно распространяться о достоинствъ такого рода произведеній, о высокомъ таланті ихъ автора, равно какъ и о неоспоримой важности его направленія и призванія. Но навсегда ли или, по крайней мъръ, надолго ли авторъ остался ему въренъ? -- вотъ вопросъ. Кромъ этихъ трехъ піесъ, пом'вщенныхъ въ первой части, въ сл'ядующихъ частяхъ мы находимъ еще нѣсколько въ такомъ же родъ, каковы: "Городъ безъ имени", "Новый Годъ", "Черная Перчатка", "Живой Мертвецъ" и отрывки изъ "Пестрыхъ Сказокъ"; но въ этихъ уже, за исключеніемъ первой, преобладаетъ юморъ, и онъ, не теряя своего дидактическаго характера, начинають наклоняться къ повъсти. Изъ нихъ лучше другихъ кажется намъ "Новый Годъ".— "Живой Мертвецъ" написанъ какъ будто въ pendant къ "Бригадиру": въ немъ та же мысль, съ одной стороны, выраженная болъе дъйствительнымъ, нежели поэтическимъ образомъ, можетъ быть, болъе уловимая для большинства, но, съ другой стороны, лишенная торжественности лирическаго одушевленія, которое составляеть лучшее достоинство "Бригадира".—Что же касается до піесы "Городъ безъ имени", она написана совершенно въ духъ лучшихъ произведеній въ этомъ родъ князя Одоевскаго; но основная мысль ея нъсколько одностороння. Авторъ нападаетъ на исключительно индустріальное и утилитарное направленіе обществъ, думая видіть въ немъ причину будто бы близкаго ихъ паденія. Автору можно возразить, что могуть быть общества, основанныя на преобладаніи идеи утилитарности; но что общества, основанныя на исключительной идей пользы, совершенно невозможны. Сколько можно замътить, авторъ намекаетъ на Съверо-Американскіе Штаты; но что можно сказать положительнаго объ обществъ, которое такъ юно, что еще не доросло до эпохи уравновѣшиванія своихъ силь и полной общественной организацін? И кто можеть сказать утвердительно, что въ этомъ странномъ, зарождающемся обществъ не кроются элементы болъе лъйствительные и благородные, чъмъ исключительное стремление къ положительной пользѣ? Вообще мысль о возможности смерти для обществъ вследствіе дожнаго направленія слишкомъ пугаетъ автора. Въ піесъ "Послъднее Самоубійство" онъ ръшился даже нарисовать картину смерти всего человъчества, которому уже ничего не осталось ни знать, ни ділать, потому что все уже узнано и слелано...

Піссы: "Ореге del Cavaliere Giambatista Piranesi", "Послѣдній Квартеть Бетховена", "Импровизаторъ" и "Себастіанъ Бахъ" образують собою особенную серію дидактическихъ произведеній, и всѣ онѣ возбудили, при своемъ появленіи, боль-

щое внимание. Въ нихъ развивается какая-нибудь или исихологическая мысль, или взглядъ на искусство и художника. Первая изъ нихъ—"Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi"-есть-кто бы могь подумать? — аповеоза сумасшествія!.. Ибо что другое, какъ не желаніе аповеозировать сумасшествіе, могло заставить автора взять на себя трудъ представить архитектора, который помѣшался на мысли стронть зданія изъ горъ, переставлять горы съ м'єста на мѣсто и дѣлать тому подобное?.. Такое состояніе, но нашему мнинію, отнюдь не показываеть геніальности, но, напротивъ, свидътельствуетъ о слабой нервической натуръ, которая не выдерживаетъ тяжести разумной дъйствительности, —и Пиранези таковъ, какимъ представляетъ его князь Одоевскій достоинъ жалости, какъ всякій сумасшедшій, но не вниманія, какъ всякій замічательный человінь. Геній творить великое, но возможное; о громадномъ, но невозможномъ можетъ мечтать только разстроенная и бользненная фантазія.—Въ "Импровизаторъ" прекрасно развита мысль о безплодности и вредъ знанія, пріобрътеннаго безъ труда и усилій, какъ источник в самаго пошлаго и темъ не менъе мучительнаго скептицизма, результатомъ котораго всегда бываетъ искреннее примиреніе съ пошлостью внѣшней жизни. "Себастіанъ Бахъ" родъ біографіи-пов'єсти, въ которой жизнь художника представлена въ связи съ развитіемъ и значеніемъ его таланта. Это скорве біографія таланта, чъмъ біографія человъка. Она вводить читателя въ святилище генія Баха и критически знакомить его съ нимъ. Жизнь Себастіана Баха изложена княземъ Одоевскимъ въ духф нфмецкаго воззрфнія на искусство и нѣмецкаго музыкальнаго вѣрованія, которое на итальянскую музыку смотритъ, какъ на расколь, которое, вмёстё съ этимъ геніальнымъ и простодушнымъ стариннымъ мастеромъ, боится лучшаго въ мірѣ музыкальнаго инструмента—человъческаго голоса, какъ слишкомъ исполненнаго страсти, профанирующей искусство въ той заоблачной и по тому самому нъсколько холодной сферъ, въ которой экспентрические нъмцы хотятъ видъть царство истиннаго искусства. Однако, это нисколько не мъщаетъ поэтической біографіи Себастіана Баха быть до того мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что ее нельзя читать безъ интереса даже людямъ, которые недалеки въ знаніи музыки. Это значить, что въ ней авторъкоснулся тахъ общихъ сторонъ, которыя и въ музыкантѣ прежде всего показываютъ художника, а потомъ уже музыканта.

"Imbroglio", "Сильфида", "Саламандра", "Южный берегъ Финляндіи въ началѣ XVIII столѣтія", "Княжна Мими" и "Княжна Зизи"—всѣ эти піесы образують собою рядъ повѣстей собственно. Лучшая между ними и одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго есть "Княжна Мими". Несмотря на ея нисколько не лирическій характеръ, она вѣрна тому направленію таланта автора, которое мы столько уважаемъ и которое мы видимъ въ его піесахъ "Бригадиръ", "Балъ" и "Насмѣшка Мертвеца". Это мастерски написанная картина изъ

свътскаго быта. Содержание ея очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожидало счастіе вдвоемъ, и которая вполнъ была достойна этого счастія, —гибель этой женщины отъ сплетни, сочиненной старою дѣвою. Вѣрный своему направленію, авторъ выводить наружу внутренній паносъ новъсти въ этихъ немногихъ, но пророчески обличительныхъ словахъ: "Есть поступки, которые преследуются обществомь: погибають виновные, погибаютъ невинные. Есть люди, которые полными руками свють бёдствіе, въ душахъ бысокихъ и нёжныхъ возбуждають отвращение къ человъчеству,словомь, торжественно подпиливають основанія общества, --- и общество сограваетъ ихъ въ груди своей, какъ безсмысленное солнце, которое равнодушно всходить и надъ криками битвы, и надъ молитвою мудраго". Но героиня новъсти, княжна Мими, не принесена авторомъ въ жертву моральности: онъ раскрываетъ передъ читателями тѣ неотразимыя причины, вслёдствіе которыхъ она должна была сдёлаться злою сплетницею; онъ показываеть, что гораздо прежде, нежели она начала подпиливать основы общества, это общество стубило въ ней вее хорошее и развило все дурное. Она была старая діва и знала, что такое "тихій шопоть, непримътная улыбка, явныя или воображаемыя насмъшки, надающія на бъдную девушку, которая не имѣла довольно искусства, или имѣла слишкомъ много благородства, чтобъ продать себя въ замужество по расчетамъ". Превосходный разсказъ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеровъ, знаніе свѣта-дѣлаютъ "Княжну Мими" одною изъ лучшихъ русскихъ повъстей.

Повъсть "Княжна Зизи" уступаеть въ достоинствъ повъсти "Княжна Мими", — что, однако-жъ, не мъшаетъ и ей быть интересною и занимательною. Основная идея — положение въ обществъ женщивы, которая по своему сердцу, по душъ составляетъ исключение изъ общества и дорого платитъ за свое незнание людей и жизни, которымъ слишкомъ довърялась, потому что судила о нихъ по самой себъ.

"Сильфида" принадлежить къ темъ произведеніямъ князя Одоевскаго, въ которыхъ онъ рѣшительно началь уклоняться отъ своего прежняго направленія, въ пользу какого-то страннаго фантазма. Отсюда происходить то, что съ сихъ поръкаждое изъ его произведеній им'єть дв'є стороны-сторону достоинствъ и сторону недостатковъ. Пока авторъ держится действительности, его талантъ увлекателенъ нопрежнему и проблесками поэзіи, н необыкновенно умными мыслями; но какъ скоро онъ впадаеть въ фантастическое, изумленный читатель поневол'в задаеть себ'в вопросъ: шутить съ нимъ авторъ или говоритъ серьезно? Герой повъсти "Сильфида" очень занимаетъ насъ, пока мы видимъ его въ простыхъ человъческихъ отношеніяхъ къ людямъ и жизни; но наше участіе къ нему, несмотря на искусство и высокій талантъ автора, тотчасъ погасаетъ, какъ скоро онъ началъ отыскивать какую-то Сильфиду на див миски съ

водою и бирюзовымъ перстнемъ. Авторъ (сколько можемъ мы понять при нашемъ совершенномъ невъжествъ въ дълахъ волнебства, видьній и галноцинацій) хотыть въ героф "(чльфиды" изобразить идеаль одного изъ тыль высокихь безумцевъ. которыхъ внутреннему созерцанію (будто бы) доступны сокровенныя и превыспрения тайны жизии. Ho-уви!-уваженіе къ безумцамъ давно уже, н притомъ безвозвратно, прошло въ просвъщенноп Евроив, и вдохновенныхъ сантоновъ уважають тецерь только въ непросвъщенной Турцін!.. Точно то же можно сказать и о двухъ большихъ нов'ьстяхъ, которыя, впрочемъ, не особыя повъсти, а двъ части одной и той же повъсти-"Саламандра" и "Южный берегъ Финляндін въ началі XVIII стольтія". Туть есть прекрасныя картины быта финповъ, прекрасная финская легенда о борьбф Петра Великаго съ Карломъ XII; есть картины русскаго быта при Петръ Великомъ и вскоръ послъ него: есть удачные очерки характеровъ; сама эта полудикая Эльса, въ противоноложности съ образованною Марьею Егоровною, такъ интересна... Но ('аламандра, ея роль въ повъсти, разныя магнетическія и другія чудеса, исканіе философскаго камня и обрътение онаго-все это было для насъ непонятно; а чего мы не понимаемъ, тъмъ не можемъ и восхищаться... Притомъ же мы имфемътлубокое и твердое убъждение, что такия пружины для возбужденія интереса въ читателяхъ уже давно устарали и ни на кого не могутъ дъйствовать. Теперь внимание толны можеть покорять только сознательноразумное, только разумно-динствительное, а волшебство н видінія людей съ разстроенными нервами принадлежать къ ведению медицины, а не искусства. И что было плодомъ этого новаго направленія князя Одоевскаго? — "Необойденный Домъ", въ которомъ едва ли что-нибудь ноймутъ какъ образованные люди, не для которыхъ писана эта странно-фантастическая повфсть, такъ и простолюдины, для которыхъ она писана, и которые, въроятно, никогда не узнають и о ея существованін!...

Но это направление явилось въ сочиненияхъ князя Одоевскаго не въ последнее только время. Еще въ 1833 году издалъ онъ свои "Иестрыя Сказки", въ которыхъ было ифсколько прекрасныхъ юмористическихъ очерковъ, какъ, напримъръ: "Исторія о п'тухі, кошкі и лягушкі", "Сказка о томъ, но какому случаю коллежскому сов'ятнику Отношенью не удалось въ светлое воскресенье поздравить своихъ начальниковъ съ праздникомъ", "Сказка о мертвомъ тѣлѣ, нензвѣстно кому принадлежащемъ". Но между этими очерками была піеса "Игоша", въ которой все непонятно, отъ перваго до последняго слова, и которая, ноэтому, вполн' заслуживаеть названія фантастической. Мы имфемъ причины думать, что на это фантастическое направление нашего даровитаго писателя им'єль большое вліяніе Гофмань. Но фантазмъ Гофмана составлялъ его натуру, н Гофманъ въ самыхъ неленыхъ дурачествахъ своей фантазін умёль быть вёрнымь идеё. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять п даже преувеличить его недостатки, не заимствовав в его достоинствъ. Сверхъ того, фантазмъ составляеть самую слабую сторону въ сочиненіяхъ Гофмана; истипную и высокую сторону его таланта составляють слубеная любовь къ искусству и разумное постижение его законовъ, факій юморъ и всегда тавая мысль.

Можеть быть, это же вліяніе Гофмана заставалокнязи Одоевскаго дать страиную форму первой части его сочинений, которую онь отличиль отъ другихъ страннымъ названіемъ "Русскихъ Почей". Подобно знаменитымъ "Сераніоновымъ Братьямъ", онъ заставиль ийсколько молодыхь людей бесьдовать по ночамь о жизни, наукт, искусствт и тому подобныхъ предметахъ. Всявдствіе этого, лучнія ніесы его- "Вригадиръ", "Валъ", "Насміника Мертвеца", "Импровизаторъ" и "Себастіанъ Бахь", написанныя изъ гораздо прежде, нежели, можеть быть, родилась у него мысль о "Русскихъ Ночахъ -- явились въ какой-то неестественной и насильственной связи между собою: онф читаются Фаустомъ (председателемъ "Русскихъ Почей") изъ какой-то рукониси по новоду разговоровъ его съ друзьями о разныхъ предметахъ. Разумбется, эти разговоры пригнаны авторомъ къ разсказамъ, а нотому разсказы не совсфиь вяжутся съ разговорами. Но это еще не все: разговоры ослабляють внечатльніе разсказовъ. Правда, эти разговоры, или бесъды, имбеть большую занимательнесть, исполнены мыслей: но почему же не сделать автору изъ нихъ особой статьи? Онъ отчасти и едвляль это ва "Эпплогв", который имветь большое достоинство, но безъ всякаго отношенія къ разсказамъ, и къ которому мы еще обратимся. Вторая часть названа "Домашними Разговорами", хотя это названіе можеть относиться только развъ къ повъсти "Княжна Мими", а ко всъмъ другимъ разсказамъ и повъстямъ, вошедшимъ въ эту часть, инсколько нейдеть. Не понимаемъ, къ чему все это, если не къ тому, чтобъ давать противъ себя оружіе своимъ литературнымъ недоброженателямъ, которыхъ у князя Одоевскаго, какъ у всякаго сильно даровитаго писателя, очень много, и которые рады будуть обратить все свое внимание на эти мелочи, чтобъ не обратить никакого вниманія на существенныя стороны его сочиненій!

Въ "Энилогъ", какъ въ выводъ изъ предшествовавшихъ разговоровъ, развивается мысль
о нравственномъ гніеніп Запада въ настоящее
время. Въ лицъ Фауста, который играетъ главную
роль во всѣхъ этихъ разговорахъ и въ "Энилогъ"
особенно,—авторъ хотѣлъ изобразить человъка
нашего времени, главшаго въ отчаяніе сомифиія,
и уже не въ зпаніп, а въ произволѣ чувства
ищущаго разръшенія на свои вопросы. Слъдовательно, это—своего рода повъсть, въ которой
авторъ представляєтъ изъъстный характеръ, не
отвѣчая за его дъйствія или за его миѣнія.
Другими словами, этотъ "Эпилогъ" есть вопросъ,
который авторъ предлагаетъ обществу, не принимам
на себя обязанности ръшить его. Мы очень рады,

что въ лиць этого выдуманнаго Фауста мы можемъ отвътить на важный вопросъ всемъ двиствительнымъ Фаустамъ такого рода. Фаустъ князя Одоевскаго—надо отдать ему полную справедливость-говорить о делё съ знаніемъ убла, говорить не общими м'встами, а со всею оригинальностью самобытнаго взгляда, со всёмь одушевленіемъ искренняго, горячаго уб'яжденія. И между тымь въ его словахъ столько же парадоксовъ, сколько истинъ, а въ общемъ выводъ онъ совершенно сходится съ такъ называемыми "славянофилами". Пока опъ говорить объ укасахъ царствующаго въ Евроив наунеризма (бълности). о страшномъ положении рабочаго класса, умирающаго съ голоду въ кровожадныхъ, разбойничыхъ когтяхъ фабрикантовъ и разнаго рода нодрядчиковъ и собственниковъ; о всеобщемъ скептицизм'в и равнодушін къ д'блу истины и уб'вжденія,когда говорить онъ обо всемъ этомъ, нельзи не соглашаться съ его доказательствами, нотому что они опираются и на логикъ, и на фактахъ. Да, ужаено въ правственномъ отношенін состояніе современной Европы! Скажемъ болъе: опо уже никому не повость, особенно для самой Европы,и тамъ объ этомъ и говорять, и пишутъ еще съ гораздо большимъ знаніемъ дёла и большимъ убъжденіемъ, нежели въ состоянін дёлать это кто-либо у насъ. Но какое же заключение должно сделать изъ этого взгляда на состояние Европы?-Неужели согласиться съ Фаустомь, что Европа, того и гляди прикажеть долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да н давай поминки творить по нокойниць?.. Подобная мысль, если-бъ о ея существованін узпала Европа, никого не ужаспула бы тамъ... Нельзя такъ легко дваать заключения о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть - не только народа (морить народовъ намъ ужъ нипочемъ), но целой и притомъ лучшей, образованныйшей части свъта. Европа больна, -- это правда; но не бойтесь, чтобъ она умерла: ея болфзиь-оть избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это — болфзиь временная; это — кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ; это-усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ въковъ и замънить ихъ основаніями, на разумъ и натур'в челов'вка основанными. Европ'в не въ первый разъ быть больною: она была больна во время крестовыхъ ноходовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформацією и во время реформаціи, -- а відь не умерла же къ удовольствію господъ душеприказчиковъ ея! Идя своею дорогою развитія, мы, русскіе, имфемъ слабость всё явленія западной исторін мёрять на свой собственный аршинъ: мудрено ли послъ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалишенныхъ, то безнадежною больною? Мы кричимъ: "Западъ! Востокъ! Тевтонское племи! Славянское племя!" — и забываемъ, что подъ этимп словами должно разумьть человьчество... Мы предвидимъ наше великое будущее; но хотимъ непременно иметь его на счеть смерти Европы:

какой иопстинъ братскій взглядь на вещи! Не лучше ли, не человъчнъе ли, не гуманнъе ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развите, великіе усиъхи въ будущемъ; но и развите Евроны, и ся усиъхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастія одного брата непремънно пужна гибель другого? Какая не философская, не цивплизованная и не христіанская мысль!...

Говоря о хаотическомъ состоянін науки и искусства Европы, Фаусть, въ книгь князя Одоевскаго, много говорить справедливаго и дальнаго; но взглядъ его вообще темъ не менте одностороненъ, парадоксаленъ. Все, что говорить онъ о преобладаніи опытныхъ наблюденій и мелочнаго анализа въ естественныхъ наукахъ, все это отчасти справедливо; тѣмъ не менѣе, нельзя согласиться съ нимъ, чтобъ это происходило отъ правственнаго гніенія, отъ погасающей жизни: скор'є можно думать, что для естественныхъ наукъ не настало еще время общихъ философскихъ основаній именно по недостатку фактовъ, которые могутъ быть добыты только опытными наблюденіями, и что этотъто современный эмипризмъ и долженъ со временемъ пріуготовить философское развитіе естественныхъ наукъ. Тотъ же смыслъ имфетъ и эта дробность знаній, вся бдетвіе которой одинь, занимаясь математикою, считаетъ себя въ правъ не имъть понятія объ исторіи, а другой, занимаясь политическою экономією, полагаеть своею обязанностью быть невъждою въ теорін некусства. Но что въ этомъ должно видеть только нереходное, следовательно, временное состояніе, переломъ, а не коснівніе, какъ предвъстипкъ близкой смерти, это доказывають слова самого Фауста, что всв чувствують и сознають недостатокъ общихъ началь въ наукахъ и необходимость знанія, какъ чего-то целаго, какъ науки о жизни, о бытіи, о сущемъ, въ обширномъ значеній этого слова, а не какъ науки то объ этомъ предметь, то о томъ. Смерть обществъ всегда предшествуется пошлымъ самодовольствомъ, всеобщею удовлетворенностью мелочами, полнымъ примиреніемъ съ темъ, что есть и какъ есть. Въ умирающихъ обществахъ нътъ криковъ п вошлей на недостаточность настоящаго, ивть новыхъ идей, новыхъ ученій, ність страдальцевъ за истину, нътъ борьбы, --- все тихо подъ зеленою птфсенью гніющаго болота. То ли мы видимъ въ Европъ? Фаустъ видитъ тамъ совершенную гибель искусства, говорить о Россиин, о Беллини-и не говорить о Мейерберъ. И давно ли были тамъ Моцартъ и Бетховенъ? И неужели Европа каждый годъ обязана представлять но новому генію во всихъ родахъ, —иначе она умерла? Четыре такіе мыслителя, какъ Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель, непосредственно явившеся одинъ за другимъ, --- неужели этого мало? И если теперь даже философія Гегеля относится въ Германіи къ ученіямъ, уже совершившимъ свой кругъ, теперь, когда самъ великій Шеллингъ, имѣвшій несчастіе нережить свой разумъ, не усиълъ никого обморочить своими таинственными тетрадками, которыми

столько лёть об'єщаль разр'єшить альфу и омегу мудрости, неужели все это не ноказываетъ, какой великій шагь сдёлало въ Германіи мышленіе? По Фаустъ припадлежить, по своей натурт, къ тъмъ замъчательно эластическимъ, широкимъ, но вмъсть съ тъмъ и робкимъ умамъ, которые въчно обманываются оттого, что слишкомъ боятся обмануться. Для такихъ умовъ быстрое паденіе доктринъ и системъ есть доказательство ихъ ничтожности. Они вфрять только въ истину абстрактную, которая бы вдругь родилась совсимь готовая, какъ Паллада изъ головы Зевса, и всѣ бы тотчасъ единодушно признали ее и поклонились ей. По недостатку историческаго такта, эти умы не могутъ понять, что истина развивается исторически, что она състся, поливается потомъ и потомъ жнется, молотится и въется, и что много шелухи должно отвѣять, чтобъ добраться до зеренъ. Кантъ и Фихте должны были увидёть въ Шеллинг в свой конецъ, но не потому, чтобы онъ доказалъ безплодность ихъ труда, а потому, что все сделанное ими или послужило основаніемъ для его труда, или вошло въ его трудъ, какъ плодотворный элементь. Такъ и все идетъ въ исторіи подобнымъ же образомъ: одно событіе рождаеть другое, одинъ великій человѣкъ служитъ ступенью для другого; люди туть могуть терять, и какомуинбудь Шеллингу, конечно, не легко сознаться, что не только его, ифкогда великаго вождя времени, но даже и того, кто первый заслониль его собою и кто давно уже спить сномъ въчности,-даже и того далеко обогнали имъ же вызванныя на трудъ и дело новыя поколенія!.. Удивительно ли, что Фаустъ не видитъ прогресса въ наукахъ, утверждая, что древніе знали больше нашего въ тайнахъ природы, что алхимики среднихъ въковъ владели чуть ли не тайною философскаго камия, который могь и золото дёлать, и людямь безсмертіе физическое давать? Удивительно ли, что Фаусть въ исторіи видить только хаось фактовъ, которые, будто бы, теперь всякій толкуеть посвоему?—Для кого настоящее не есть выше прошедшаго, а будущее выше настоящаго, тому во всемъ будетъ казаться застой, гніеніе и смерть. Умы вродъ Фауста — истинные мученики науки: чёмъ больше они знають, тёмъ меньше они владьють знаніемь. Знаніе дьлаеть ихъ маятниками, и они лучше весь въкъ будуть качаться, нежели на чемъ-пибудь остановиться, боясь остановиться на неистинъ. Это люди, жаждущіе истины, съ благородною ревностью стремящіеся къ ней, и въ то же время скептики поневолъ. Но ужъ проходить время скентицизма, и теперь всякое простое, честное уб'вжденіе, даже ограниченное и одностороннее, цънится больше, чъмъ самое многосторониее сомитие, которое не смтеть стать ни убъжденіемь, ни отрицаніемь, и поневоль становится бездвътною и болъзненною мнительностью.

Но Фаустъ не останавливается на сомивнін и ндетъ къ убъжденію. Посмотримъ на его убъжденіе. Онъ пщетъ шестой части свъта и народа, хранящаго въ себъ тайну спасенія міра... находить его—и туть же спрашиваеть себя: "не мечта ли это самолюбія?"—Неужели это — уб'єжденіе!..

Фаусть, между прочимь, доказываеть, что мы угадали исторію прежде исторіи, посредствомъ поэтическаго магизма, безъ предварительной разработки матеріаловъ, - и указываеть на исторію Карамзина!.. Неужели же Фаусту неизв'єстно, что теперь всв бросили мысль писать исторію и принялись за разработку историческихъ матеріаловъ, ибо убъдились, что исторія прежде исторіи можеть быть только попыткою, пожалуй, и прекрасною, но изъ которой выходить не исторія, а историческая поэма?.. Великое діло видить Фаусть въ томъ, что наша поэзія началась сатирою судомъ народа надъ самимъ собою... А ларчикъ просто открывался! Такъ какъ наша поэзія была заимствованіе, нововведеніе, то наши поэты и пустились подражать, кто кому вздумаль, и какойнибудь Сумароковъ былъ и трагикъ и комикъ, и лирикъ и басноинсецъ, писалъ и оды на иллюминацін, и сатиры на подъячихъ. Нушкинъ (говорить Фаусть) разгадаль характерь русскаго лётописца въ "Ворист Годуновъ", -- разгадалъ ли, полно? Не заставиль ли онъ его по Гердеру, но только русскимъ складомъ, дёлать аповеозу исторіи, т. е. говорить вещи, которыя не могли прійти въ голову ни одному л'тописцу, ни европейскому, ни русскому? Покажите намъ хотя одну лътопись, которая бы оправдывала возможность такого взгляда на значеніе историка со стороны простодушнаго летописца XIV века?--Но г. Хомяковъ, по мижнію Фауста, глубоко проникнуль въ характеръ еще труднъйшій, въ характеръ русской женщины-матери (въ "Димитрій Самозванць"), а г. Лажечниковъ воспроизвелъ характеръ и еще трудивишій—древней русской дввушки (въ "Васурманъ"). Что сказать на это?.. Мы ничего не скажемъ...

Н между тъть, повторяемъ, въ "Эпилогъ" столько ума; многіе даже изъ парадоксовъ его такъ остроумны и оригинальны; написанъ онъ такъ живо и увлекательно, что отъ него нельзя оторваться, не дочитавъ его до конца.

Отъ "эпилога" перейдемъ къ "Сказкъ о томъ, какъ опасно девушкамъ ходить толною по Невскому проспекту", и "Той же сказкѣ, только наизвороть". Она была напечатана еще въ 1833 году, въ "Пестрыхъ Сказкахъ", и ея содержание извъстно многимъ. Героиня ея-, славянская дъва", которая, какъ вев славянскія девы, была бы чудомъ красоты, ума и чувства, если-бъ заморскій басурманъ, при номощи безмозглой французской головы, чуткаго нёмецкаго носа съ ослиными ушами и туго-набитаго англійскаго живота, не выръзаль изъ нея души и сердца и не превратилъ ея въ куклу. Эта сказочка навела насъ на мысль объ удивительной смътливости русскаго человъка всегда выйти правымъ изъ бъды и сложить вину ести не на сосъда, то на чорта, а если не на чорта, то на какого-нибудь мусье... Дъвушка шла по Невскому проспекту съ десятью своими

нодругами, въ сопровождении трехъ маменекъ, которыя умбли считать только до десяти, какъ ворона умбетъ считать только до четырехъ. Нѣтъ спора, что подобныя дамы были въ состояни дать превосходное воспитание своимъ дочерямъ, если бы не подвернулся проклятый басурманъ... Г. Кивакель тоже, должно быть, воспитанъ былъ басурманами, а оттого и получитъ способность жить только трубкою и лошадъми.

И между тъмъ какое изложение, сколько таланта потрачено на эту сказку!...

Но мы рекомендуемъ читателямъ вмъсто этой сказки прочесть домашнюю драму — "Хорошее жалованье, приличная кваргира, столъ, освъщеніе и отопленіе", чтобы насладиться произведеніемъ, столь же прекраснымъ по мысли, сколько и по выполненію. Это—одно изъ лучшихъ произведеній князя Одоевскаго.

Особенно замъчателния также послъдияя статья въ третьей части; "О вражув из просвъщение, замъчаемой въ повъйшей литературъ". Она была написана еще въ 1836 году и напечатана въ "Современникъ" Пушкина. Въ ней авторъ нападаеть на вредную расчетливость и бкоторыхъ литераторовъ, которые льстять невтжеству толны, браня просвъщение... Увы! съ 1836 года много годы утекло, и мы жалфемь, что киязь Одоевскій не передъилъ своей прекрасной статъи, чтобъ воспользоваться огромнымъ множествомъ новыхъ фактовъ о гоненін, воздвигнутомъ противъ просвъщения и литературы теми же самыми людьми, которые называются то учеными, то литераторами. Остроумному и энергичному перу князя Одоевскаго много дали бы матеріаловъ один такъ называемые "славянолюбы" и "квасные патріоты", которые во всякон живой, современной человъческой нысли видять вторженіе лукаваго, гніющаго Запада.

Статья "О вражде къ просвещеню» важна еще и какъ объяснение изкоторыхъ критикъ на сочинения кияза Одоевскаго. Въ самомъ делъ какъ иному критику можно находить что-инбудь хорошее въ сочиненияхъ этого авгора, если опъ имътъ неудовольствие вычитать въ нихъ строки о томъ, какъ ининутся у насъ исторические романы и трагедін, о томъ, какъ смёются у насъ надъ умомъ человеческимъ, называя его надувалою и тому подобнымъ!

Не хотите ли знать, какъ пишутся у насъ исторические романы и трагедии?

"Тогда догадались и наши такъ называемые сочинители: попробовали — трудно; наконецъ и взялись за умъ: раскрыли "Исторію" Карамэнна. вырѣзали наъ нея иъсколько страницъ, скленли вмѣстѣ—и къ неописанной радости сдѣлали разомъ три открытія: 1) что такое произведеніе читатели съ небольнимъ усиліемъ могутъ принять за романъ или за трагедію: 2) что съ русскаго переводить гораждо удобиѣс, нежели съ иностраннаго, и 3) что, слѣдетвенно, сочинять совсѣмъ не такъ трудно, какъ прежде иолагали. Въ самомъ дѣлѣ, смотришь — русскія имена, а та же французская мелодрама. И многіе, многіе пустчанеь въ драмы и особенно въ романы; а критикъ—этотъ позоръ русской литературы—уставила для сихъ произведеній особил правила: за недостаткомъ

историческихъ свидѣтельствъ. рѣшила, что настоящіе русскіе нравы сохраннлись между нынѣшиними извозчиками, и вслѣдствіе того осудила какого-либо потомка Ярославичей читать изображеніе характера своего знаменитаго предка, въ точности списанное съ его кучера; вслѣдствіе тѣхъ ке правилъ, кто употреблялъ русскія имена, того критика называла національнымъ трагикомъ, кто безсовѣстиѣе выписывалъ изъ Карамзина, того называла національнымъ романистомъ, и гг. А, В, В хвастались передъ читателями, а читатели радовались, что въ ромаиѣ иѣтъ ни одного слова, которое бы не было взято изъ исторіи; миогіе находили это средство очень полезнымъ для распространенія историческихъ познаній".

Не хотите ли знать, какъ у насъ обращаются съ наукою?

"Отличительнымъ характеромъ нашихъ сатириковъ сдблалось пенадать редко и метить всегда мимо. Два, три человъка занимаются у насъ агрономією; благомыслящіе люди дълають неимовърныя усилія, чтобы распространить прямое знаніе о сей наукть, которое одно можеть отвратить грозящее нашимъ нивамъ безилодіе; два, три чедовъка собираются толковать о философскихъ системахъ, по слуху извъстныхъ нашимъ литераторамъ: такъ называемые ученые (т. е. между литераторовъ) съ гръхомъ пополамъ щечатся вокругь словарей и энциклопедій; а наши иравоописатели толкують о вредв, происходящемь оты излишней учености, о вредъ машинъ нишуть романы и повъсти, комедии, въ которыхъ выводятел на сцену какіе-то господа Верхоглядовы. не только не существующе, но невозможные въ Россін. выводятся филосоры, агрономы, нововводители, какъ будто бы существованіе этихъ лицъ было характерною чертою въ нашемъ обществъ: Названія наукъ, неизвъстныхъ нашимъ сатирикамъ. служатъ для инхъобильнымъ источникомъ для шутокъ, словно для школьпиковъ, досадующихъ на ученость своего строгаго учителя; лучшіе умы нашего и прошедшаго времени: Шампольнонь, Шеллингь, Гегель, Гаммерь, особенно Гаммеръ, синскавшій признательность всего просвъщеннаго міра, обращены въ предметы лакейскихъ насмъщекъ; "лакейскихъ", говоримъ, ибо цинизмъ ихъ таковъ, что можетъ быть порожденъ лишь грубымъ, неблагодарнымъ невъжествомъ. Отъ этого — созданія нѣкоторыхъ изъ нашихъ романистовъ доходять до совершенной нельности".

Но воть черта еще болъс характеристическая, и которую особенио слъдуеть принять къ свъдънію:

"Любопытите всего знать: что дълали читатели?.. А читателямъ что за дъло? Были бы книги. Случалось ли вамъ спрашивать у дъвушки, недавно вышедшей изъ пансіона: какую вы чнтаете книжку? - "французскую", - отвъчаеть она; въ этомъ отвътъ разгадка пенмовърнаго успъха многихъ книгъ скучныхъ, нелъпыхъ, напитанныхъ площаднымъ духомъ. Да, читатели хотятъ чи-тать - и потому читаютъ все: "лучшая приправа къ объду, -- говорили спартанцы: -- голодъ". А нечего сказать, бъдныхъ читателей потчуютъ довольно горькимъ зельемъ; но, впрочемъ, рома-нисты и комики умбютъ поделастить его, и это злое зелье многимъ приходится по вкусу. Вотъ пакимъ образомъ это происходитъ. Вообразите себъ деревенского помъщика, живущого въ стенной глуппи; онъ живетъ очень весело: поутру онъ бздить съ собаками, вечеромъ раскладываетъ грапъ-пасьянсь и въ промежугокъ проматываетъ евой доходь въ карты; зато у него въ деревив ийтъ пикакихъ повостей, —ии англійскихъ плуговъ.

ни экстириаторовъ, ни школъ, ни картофеля; онъ всего этого тернъть не можеть. Помъщикъ не въ духъ, да и не мудрено: земля у него что-то испортилась; онъ твердо держится тёхъ же правилъ въ земледълін, которыхъ держались и дъдъ, и отепъ его, - и земля и въ половину того не приносить, что прежде... чудное дъло! Да еще къ большей досадъ, у сосъда, у котораго земля тридцать лъть тому назадъ была гораз до хуже, земля исправилась и приносить втрое болбе дохода; а ужъ надъ этимъ ли сосъдомъ не смъядел нашъ добрый помъщикъ, - и надъ его илугами, и надъ его экстириаторами, и надъ молотильнею, и надъ жалкою! Воть къ помъщику прівзжаеть его племянникъ изъ университета, видитъ горькое хозийство своего дядющки-и совътуеть... какъ бы вы думали?.. совътуеть подражать сосъду, толкуеть дядюшкъ объ агрономін, о лъсоводствъ, о чугунныхъ дорогахъ, о пособіяхъ, которыя правительство щедрою рукою предлагаетъ всякому промышленному и ученому человъку. Дядюшкъ это не по сердцу; съ горя онъ открываеть кингу. которую рекомендоваль ему пріятель изъ земскаго суда, съ которымъ онъ въ близкихъ связяхъ по разнымъ процессамъ. Дядюнка читаетъ — и что же? О восторгъ! о восхищенье! Сочинитель, который напечаталь книгу, и потому, следствению, должень быть человекть умный, ученый и благомысляцій, говорить читателю, кли, по крайней мъръ, читатель такъ понимаеть его: "Повърьте миъ, вев ученые-дураки, вст науки - сущий вздоръ. внаменитый Гаммеръ – нев вжда. Шамнольйонъ – ьраль, Гомфрій Деви — вольнодумець; вы, милостивый государь, -- настоящій мудрець; живите попрежнему, раскладывайте гранъ-насьянсъ, а не думайте обо встхъ этихъ илугахъ. манинахъ, оть которыхъ только разоряются работинки, и оть ки зопе сиапот атирохонори ахыротом ато вамъ агрономія? Она хороша тамъ, гдѣ мало земли. На что вамъ минералогія, зоологія? Вы знаете лучшую пауку— правдологію"... И помъщикъ смъется; онъ понимаеть остроту; онъ очень доволень; дочитываеть прекрасную книгу до конца. Когда заговорить племянникъ объ агрономін, онъ обличаеть его заблужденія печатными строками, рекомендуеть утышительное произведеніе своимъ собратьямъ, и у удивленнаго издателя являются неожиданные читатели, а между томь вы понятіяхы добрыхы помінциковывсе смішивается: вольнодумство съ благими дійствіями просв'єщенія, молотильня съ затъями безпокойныхъ головъ; во всякомъ улучшенін онн

видять лишь вредное нововведеніе, въ удовлетвореніи своему эгонзму и лівни — истинную истинну; настоящій духъ они находять лишь въмивній своихъ крестьянь о томь, что не домжно свять картофель, и что надлежить непремінню оставлять третье поле подъ наромъ".

Нельзя не согласиться, что такого рода правда колетъ глазъ, и что не у всякаго критика станеть духа хвалить автора столь откровеннаго на счеть и вкоторых в слабостей и вкоторыхъ изъ его ближнихъ. Не причисляя себя къ числу этихъ и вкоторыхъ, мы не имъли инкакой причины скрывать наше истиное мивніе о достопиствъ сочиненій князя Одоевскаго. Такихъ нисателей у насъ немного. Въ самыхъ нарадоксахъ киязя Одоевскаго больше ума и оригинальности, чемъ въ истинахъ у многихъ изъ навихъ критическихъ акробатовъ, которые, критикуя его сочиненія, обрадовались случаю притвориться, будто они не знають, о комъ пишуть, и видять въ немъ одного изъ сочинителей ихъ собственнаго разряда. Нфкоторыя изъ произведеній князя Одоевскаго можно находить менже другихъ удачными, но ни въ одномъ изъ нихъ нельзя не признать замъчательнаго таланта, самобытнаго взгляда на вещи, оригинальнаго слога. Что же касается его лучинув произведеній, — они обпаруживають въ немъ не только инсателя съ большимъ талантомъ, но и человъка съ глубокимъ, страстнымъ стремленіемъ къ истичь, съ горячимъ и задушевнымъ убъжденіемъ, —человька, котораго волнують вопросы времени, и котораго вся жизнь принадлежитъ мысли. Неуважение къ таланту есть признакъ невъжества, а неуважение къ живой и страстной мысли человека показываеть, что, въ отношенін къ мысли, неуважающій "свободенъ отъ постоя". Можно не все находить хорошимъ въ таланть, но нельзя не признать таланта; можно не во всемъ согланияться съ мыслящимъ человъкомъ, но нельзя безъ уваженія къ нему даже не соглашаться съ нимъ.

[Отечественныя Записки. Томъ XXXVI, 1844 г.].

о гоголъ.

Отрывокъ изъ статьи:

"Русская литература въ 1843 году".

... Въ и в которых в русских в журналахъ публика встрвчаетъ постоянныя выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшіяся. Въ нихъ обыкновенно сміются надъ малороссійскимъ жартомъ, надъ украинскимъ юморомъ и т. и. Недавно въодномъ изъ такихъ журналовъ, но поводу разбора какой-то книги въ юмористическомъ тонів, сказано:

"Надо сказать по совъети: велика сила подражательности въ нашей литературъ. Мы долго не путили; насъ считали са народъ серьезный и ибеколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда ноемъ, но никогда не смъемся; все это могла быть правда въ прежнее время: но дъло

въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степного мсартосанія. Съ тъхъ поръ, какъ малороссійскал фарса посътила нашу важную и чинную литературу подъ имень вомору, остроуміе и веселость вдругъ у насъ развязались. Воть что значить — не испытать дъло лично! Ибкогда остроуміе казалось намъ мудреною венью! Мы съ такимъ почтеніемъ синмали шляну передъ веякимъ остроуміемь! Испробовавъ сами этого чуднаго некуства, ми удивились его легкости... Се п'езт que са?...—спросить камдый изъ насъ у своего сосъда съ изумленіемъ.— И шуттивость веныхнула изъ насъ вулканомъ. Теперъ мы шутимъ, жартиуемъ, фареньъ, какъ чумаки въ степн".

Авторъ этихъ строкъ хотвлъ сказать одно, а вышло у него совсемъ другое. Онъ хотелъ пошутить, посмёнться, уколоть кос-кого, не называя его по имени,-- и указалъ на фактъ современной русской литературы, фактъ, который трудно сдвлать смѣшнымъ и не такому остроумному перу, какимы владветы авторы выписанныхы нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что, со времени выхода въ свътъ "Мпргорода" и "Ревизора", русская литература приняла совершенно новое направленіе. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдёлаль въ русской романической прозё такой же перевороть, какъ Пушкинь въ поэзін. Тутъ дело идеть не о стилистиків, и мы первые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нътъ, здѣсь дѣло идеть о двухъ болѣе важныхъ вопросахъ: о слогѣ и о созданіи. Къ достоинствамъ языка принадлежатъ только правильность, чистота, плавность, чего достигаеть даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ, это-самъ талантъ, сама мысль. Слогъ, это-рельефность, осязаемость мысли; въ слогъ весь человѣкъ; слогъ всегда оригиналенъ, какъ личность, какъ характеръ. Поэтому у всякаго великаго инсателя свой слогь; слога нельзя раздёлить на три рода-высокій, средній и низкій: слогь д'влится на столько родовъ, сколько есть на свъть великихъ или, по крайней мфрф, сильно даровитыхъ писателей. По почерку узнаютъ руку человѣка, и на почеркъ основываютъ достовърность собственноручной подписи человѣка: по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти-картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣньѣ до того ярко и выпукло излагать мысли, что онъ кажутся какъ будто нарисованными, изваянными изъ мрамора. Если у писателя иътъ инкакого слога, онъ можеть писать самымъ превосходнымъ языкомъ, и все-таки неопредёленность и-ея необходимое слъдствіе-многословіе будуть придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляеть при чтеній и тотчась забывается по прочтенін. Если у писателя есть слогь, его эпитеть разко опредалителень, всякое слово стоить на своемъ мъсть, и въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая многихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочинение иностраннаго писателя, имъющаго слогъ: вы увидите, что онъ своимъ переводомъ расплодить подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни определенности. Гоголь вполив владветь слогомъ. Онъ не иншетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своею яркою върностію природъ и действительности. Самъ Пушкинъ, въ своихъ повъстяхъ, далеко уступаетъ Гоголю въ слогъ, имъя свой слогъ и будучи, сверхъ того, превосходивишимъ стилистомъ, т. е. владъя въ совершенствъ языкомъ. Это происходить оттого, что Пушкинъ въ своихъ повъстяхъ-далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ или въ "Исторін Пугачевскаго Бунта", написанной по-тацитовски. Лучшая повъсть Пушкина-, Капптанская Дочка"далеко не сравнится ни съ одною изъ лучшихъ повъстей Гоголя, даже въ его "Вечерахъ на Хуторъ". Въ "Капитанской Дочкъ" мало творчества и ивтъ художественно-очерченныхъ характеровъ, вмѣсто которыхъ есть мастерскіе очерки н силуэты. А между тъмъ повъсти Пушкина стоять еще гораздо выше всёхъ повёстей предществовавшихъ Гоголю инсателей, нежели сколько повъсти Гоголя стоять выше повъстей Пушкина. Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Гоголя—не какъ образецъ, которому бы Гоголь могъ подражать, а какъ художникъ, сильно двинувшій впередъ искусство и не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывшій въ сферф нскусства новые пути. Главное вліяніе Пушкина на Гоголя заключалось въ той народности, которая, но словамъ самого Гоголя, "состоитъ не въ описанін сарафана, по въ самомъ духѣ народа". Статья Гоголя "Ивсколько словь о Пушкинв" лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ чемъ состояло вліяніе на него Пушкина. Пріученная къ тону и манерѣ повѣстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и подумать о "Вечерахъ" Гоголя. Это былъ совершенно новый миръ творчества, котораго никто не подозрѣвалъ и возможности. Не знали, что думать о немъ, не знали, елишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ дурное. Повъсти въ "Арабескахъ": "Невскій Проспектъ" и "Записки Сумасшедшаго", потомъ "Миргородъ" и, наконецъ, "Ревизоръ" вполив обрисовали характеръ гоголевской ноэзін, и публика, равно какъ и литературы, разделилась на дев стороны, изъ которыхъ одна, преусердно читая Гоголя, увърплась, что имъетъ въ немъ русскаго Поль-де-Кока, котораго можно читать, но подъ рукою, не всемъ признаваясь въ этомъ; другая увидѣла въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвъстный досель міръ творчества. Число последнихъ было несравненио меньше числа первыхъ, но зато последніе, въ этомъ случав, представляли собою публику, а первые толну. Наша толна отличается нев роятною чопорностію, достойною м'вщанских правовъ: она всего больше хлопочеть о хорошемъ тонъ высшаго общества и видитъ дурной тонъ именно въ тъхъ произведеніяхъ, которыя читаются въ салонахъ высшаго общества. Между тымь реформа въ романической прозъ не замедлила совершиться, и всъ новые писатели романовъ и повъстей, даровитые и бездарные, какъ-то невольно подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положеніе: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ о его произведеніяхъ, они невольно впадали въ его тонъ и неловко подражали его манеръ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ пъсколько лътъ, п всѣ другіе романисты, авторы повѣстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни, висзапио обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотолъ бездарности, что съ горя перестали

писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать винмание только на молодыхъ талантинвыхъ писателей, которыхъ дарованіе образовалось подъ вліянісмъ поэзін Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немпого, да и они пишутъ очень мало. И воть еще одна изъ главныхъ причинъ бъдности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всёхъ виновать въ ней, такъ это, безъ сомнёнія, Гоголь. Безъ него у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и теперь съ прежнимъ успѣхомъ. Безъ него Марлинскій и теперь считался бы живописцемъ великихъ страстей и трагическихъ коллизій жизни; безъ него публика русская и теперь восхищалась бы "Девою Чудною" Барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумія, бездну юмору, образецъ изящнаго слогу, сливки занимательности и пр., и пр.

Гоголь убиль два ложныя направленія въ русской литературь: натянутый, на ходуляхъ стоящій идеализмъ, махающій мечомъ картоннымъ, подобно разрумяненному актеру, и потомъ-сатирическій дидактизмъ. Марлинскій пустиль въ ходь эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній подд'яльнаго байронизма; вев принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркъ, то Лировъ и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицъ-мундирѣ. Можно было подумать, что Россія отличается отъ Италін и Испаніи только языкомъ, а отнюдь не цивилизацією, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Италін, ни въ Испаніи люди не кривляются, не говорять изысканными фразами и не безпрестанно рѣжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту разню высокопарными монологами. Презрѣніе къ простымъ чадамъ земли дошло до последней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служиль въ денартаментъ, или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или утздномъ судъ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ н поэзію предпочиталь существенности, — тоть уже не годился въ герон романа или повъсти и неизбѣжно дѣлался добычею сатиры съ нравоучительною цёлью. И—Боже мой! — какъ страшно бичевала эта сатира всёхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герон, не колоссальные характеры, а инчтожные пигмен человъчества. Она такъ безобразно отдълывала ихъ своею мочальною кистію, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не ръшался брать взятокъ, ни предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время, — и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такою литературою, тенерь часто ссорится съ нею, говоря: какъ можно инсать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то; и многіе нзъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что инчего не бываетъ, напримъръ, подобнаго тому, что выставлено въ "Ревизоръ",

что все это ложь, выдумка, злая "критика", что это обидно, безиравственно и проч. И всѣ, довольные и недовольные "Ревизоромъ", знаютъ чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противорѣчіе стоитъ того, чтобъ обратить на него вниманіе.

Прежде сатира см'яло разгуливала между народомъ середи бѣлаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, по прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирою,и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? — оттого, что никто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имъетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу риторики... И давно ли нравоописательные, нравственно - сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло?-И на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лътомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называль себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ, — и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толетой и лосиящейся шев и охотно кормили его избыткомъ своей транезы. Отчего это? — оттого, что пороки, которые гналъ старикъ, были совсемъ не пороки, а развъ отвлеченныя иден о порокахъ, риторические тропы и фигуры. Это были своего рода барабаны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирическій Донъ-Кихотъ,также, какъ добродътель, за которую онъ ратоваль, была для него воображаемою Дульцинесю, а для другихъ-толстою, безобразною коровницею. Теперь нътъ сатиры, и только развъ какой-нибудь старый сочинитель рашится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ "сатирика": теперь иншутся романы и повъсти безъ всикихъ сатирическихъ намъреній и цьлей, — а между тьмъ всь на нихъ сердятся. Отчего-жъ это?—оттого, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность н бездарность—всѣ стремятся изображать дѣйствительность, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дъйствительные люди обитаютъ на землъ и въ обществѣ, а не на воздухѣ, не въ облакахъ, гдѣ живутъ одни призраки, то, естественно, писателн нашего времени вмёстё съ людьми изображають и общество. Общество также—нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляють не один костюмы и прически, но и правы, обычан, понятія, отношенія и т. д. Человъкъ, живущій въ обществь, зависить отъ него и въ образѣ мыслей, и въ образѣ своего дѣйствованія. Инсатели нашего времени не могуть не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человька, они стараются вникать въ причины, отчего онъ таковъ или не таковъ, и т. д. Вследствіе этого, естественно, они изображають не частныя достопиства или педостатки, свойственные

тому или другому лицу, отдельно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видитъ личности, гдв ихъ нетъ и быть не можеть. Прежніе такъ называемые сатирики именно списывали съ извъстныхъ имъ лицъ — и казались въ глазахъвсёхъ неподлежащими упреку въ личностяхъ. И это очень понятно: сами оригипалы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же эти сатирики смотрѣли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло нить и не нить по своей воль, и что пріобрѣсти или отъ чего избавиться оно легко могло по прочтенін убъдительной сатиры, гдъ ясно, по пальцамъ, доказаны выгода и сладость добродътели и опасныя, пагубныя слъдствія порока. Вотъ почему эти добрые сатирики брали человъка, не обращая винманія на его восинтаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошили на досугъ это созданное ихъ воображениемъ чучело. Въ основание своего сатирическаго донъ-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозрѣвая того, что ихъ сатиры, оппрающіяся на общественную нравственность, ужасно противоръчили этой нравственности. Такъ, напримъръ, въ числъ первыхъ добродътелей они полагали безусловное повиновение родительской власти, и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по расчету — дъло безнравственное, что низкопоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство — тоже дъла безиравственныя. Очень хорошо; но что иному юнош'в делать, если онъ съ малолетства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговение къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мъстамъ, къ значительности въ обществъ, къ богатству, къ хорошей партін, блестящей карьерт; если его младенческій слухъ быль оглушенъ не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: взяль, получиль, пріобредь, надуль н т. п.? Положимъ, что такому юношъ природа не отказала въ человъческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но б'єдной, простого званія дъвушкъ, любовь, запрещающая ему соединиться съ противною ему богатою дурою, на которой, по расчетамъ, приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношъ пробудилось человъческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому илуту или чиновнику-негодию; положимъ, что въ немъ пробудилась сов'всть, запрещающая употреблять во зло ввъренные ему высшею властью въсы правосудія и расхищать вв'єренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему туть делять? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвітить: "жениться на предметі

любви своей, служить честно и вфрно отечеству ... Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдъ уважение къ родительскому благословенію, нав'яки нерушимому, гдф страхъ тяжкаго отновскаго проклятія?.. И нотомъ, гдв уваженіе къ общественному мивнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви или не по любви женились вы, а спрашиваеть, сколько вы взяли за женою, и приличная ли она вамъ партія; общество не спрашиваеть васъ, какимъ образомъ сдълались вы богачомъ, когда ему извѣстно, что вашъ батюшка не оставиль вамь ни копейки, а за супругою вы взяли не Богь знаеть что, или н вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и потому считаеть васъ очень хорошимъ—"благонамъреннымъ" человъкомъ... Иослушайся нашъ юноша сатирика, что бы вышло?отецъ его бросилъ бы, жалуясь на неповиновение и презрѣніе къ его власти; потомъ онъ прошель бы, съ женою и дътьми, черезъ всъ мытарства, черезъ всъ униженія голодной, неопрятной, оборванной бъдности; видъль бы къ себъ презръние общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе быль бы заклеймень отъ всёхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и "неблагонам вреннаго" человъка, вольнодумца, и проч., и проч. И неужели вы, "благонам вренные" сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсил'явъ въ тяжелой и безилодной борьбъ, онъ дойдетъ до страшнаго убъжденія, что его бъдность, его несчастія—необходимыя сл'ёдствія отцовскаго гиёва, заслуженная кара за презрине общественнаго мивнія и общественной правственности?.. Но, къ счастію или къ несчастію, —не знаемъ, право, такіе случан весьма редки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываеть такъ: юноша недолго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между "завиральными идеями" о безкорыстіп и правот' и уваженіемъ общества: онъ женится, на комъ прикажутъ дражайшіе родители, живетъ съ женою, какъ всф, т. е. прилично содержить ее, восинтываеть детей своихъ, какъ всѣ, т. е. прилично кормитъ и одѣваетъ ихъ, учитъ по-французски и танцовать, а послъ этого перваго и важивищаго періода воспитанія отдаеть въ учебное заведеніе, потомъ выгодію пристранваеть въ службу, выгодно женитъ (или выдаеть замужъ) и, умирая, отказываеть имъ "благопріобрѣтенное" на служоѣ имѣніе. И что же? Въ началъ его поприща всъ превозносять его, какъ почтительнаго сына, въ концъ поприщакакъ ивжнаго супруга, примърнаго отца, "благонамереннаго" чиновника, и заключають такъ: "воть что значить уважение къ общественной нравственности! Воть что значить родительское благословеніе, нав'єки нерушимое!" Йтакъ, нашъ "благонамъренный" сатирикъ, бичъ пороковъ, самымь нелѣнымъ образомъ противорѣчилъ самому себъ: поставивъ выше всъхъ добродътелей повиновеніе не Богу, не петинъ, а эгоистическимъ расчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу

следовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещаль ему торговать священн в ними склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь н уважение общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это делалъ, самъ не зная, что ділаеть, и потому его сатиры не производили никакихъ следствій. Вывало, выйдеть сатирическій романь съ похожденіями какого-инбудь пройдохи, врода извастныхъ похожденій Совастпрала-Большого Носа, романь, въ которомь уже самыя имена дійствующихъ лицъ — Ухорізовы, Падуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстины, Миловидины, Правдолюбовы и т. и. — обнаруживали нравственную мысль сочинителя, —и что же? — самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадь, самый отчаянный шулеръ читаль этотъ романь съ удовольствіемь и вездѣ расхваливаль его вслухъ, говоря: "какой славный слогъ! во всемъ чистейшая нравственность; добродетель торжествуеть, порокъ наказань-чего же больше:

чудесный романъ!"

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно, вмёстё съ дётствомъ нашей литературы. Теперь выходять изъ моды и герои добродътели, и чудовища злодъйства, ибо ни тъ, ни другіе не составляють массы общества. Вмъсто нихъ действують люди обыкновенные, какихъ больше всего на свътъ, —ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невъжды, но отнюдь не дураки. Ихъ смѣшное заключается въ противоръчін ихъ словъ съ дълами; въ лицемърномъ и превратномъ смыслъ, въ какомъ они говорять о добродьтели, о безкорыстін, о благонамфренности. А они говорять вск, какъ одинъ: слёдовательно, этотъ "одинъ" или эти "всё" есть общество. Неужели же, — скажуть намь, — наше общество стоить на такой низкой степени, что ничего не можетъ дать писателю, кромѣ смѣшного и комическаго? Неужели наше общество ужъ до гакой степени хуже и ничтоживе общества всёхъ другихъ государствъ Европы?—На этотъ вопросъ мы можемъ отвъчать и искренно, и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тотъ не можетъ не знать, что ихъ направленіе, взятое вообще, а не частно, еще болже юмористическое, чимъ направление нашей литературы. Прочтите, напримѣръ, "Оливера Твиста" и "Бэрнеби Роджа" Диккенса, перваго тенерь романиста Англін, — и вы убъдитесь, что въ просвѣщенной Англін, гордящейся тысячелѣтнею цивилизацією, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ, невъждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездъ, да еще, въ придачу, много такихъ злодбевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ понадаются, только какъ редкія исключенія. Прочтите "Les Mystères de Paris" Эжена Сю-н вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургъ, а не въ Парижѣ, и что если въ тѣсной толиѣ рискуете иногда лишиться, илатка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, — скажуть намъ, — въ "Вэрнеби Роджъ" и въ "Нарижскихъ Тайнахъ" есть ивсколько и такихъ лиць, на которыхь отдыхаеть душа читателя, утомленная зрелишемъ злодействъ: правда; но зато нельзя не согласиться, что добродѣтельныя лица въ романъ Диккенса безцвътны и скучны; таковы: идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гэрдаль и мать Вэрнеби; а въ "Парижскихъ Тайнахъ" — невфроятны. Изъ добродътельныхъ лицъ романа Диккенса-всъхъ лучше милая, граціозная и кокетливая Долли, забавный оригиналь ея отець. мистеръ Уарденъ, и ея возлюбленный Джой; вы въ нихъ видите и слабости, и странности, но еще болъе любите ихъ за эти слабости и странности, черезъ которыя и узнаете въ нихъживыя человъческія лица, действительные характеры, а не картонныя куклы съ надписью на лоу: "гонимая добродътель, несчастная любовь, идеальная дъва" н т. п. Въ "Парижскихъ Тайнахъ" также лучшія лица-не самыя добродьтельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тѣ, въ которыхъ добрыя природныя начала борются съ искусственными, т. е. привитыми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ, напримъръ: Шуринеръ, Марсіаль, — и, право, гризетка Риголетта правдоподобиће Гуалёзы... Люди вездѣ люди; ни одинъ народъ не хуже другого; вездъ есть злоупотребленія, пороки, странности, протпворъчія словъ съ дълами и дълъ съ словами, нравственныхъ понятій съ истинною нравственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходить съ задняго крыльца къ своему судьт съ секретными доказательствами правоты своего дёла; въ Англіп и Франціи кандидаты на разныя выборныя должности низкими нитригами и подкупами располагають избирателей въ свою пользу. И тутъ, и тамъ-богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Здёсь опять могуть намъ сказать, что нечего и хлопотать попусту, не изъ чего и раздражать того и другого, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будуть ими. Да, люди всегда будуть людьми-прежніе не лучше и не хуже нынъшнихъ, нынъшние не лучше и не хуже прежнихъ; но общество улучшается, и на его улучшени основанъ законъ развитія цёлаго человічества. Выло время, когда даже истинно добрые, благородиые и умные люди были убъждены въ существованіи чернокняжія—и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жгли чернокишжинковъ; теперь и злые, и глупые, и невъжественные люди уже не върятъ чернокнижію и чужды желанія жечь живыхь людей даже и за действительныя преступленія. Что это значить? — то, что люди и теперь остались тъми же, какими были, а общество улучинлось. Во всв ввка бывали мудрые и благіе законодатели; но только въ XVIII въкъ могли огласить міръ изреченныя съ трона божественныя слова: "Лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго". Что

это значить, если не то, что люди все тв же, а общество улучшается?.. Современники благословляли въ Россіи въкъ Екатерины Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правдивость этого благословенія, но, вмёстё съ тёмъ, мы имёсмъ свои причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-нибудь время... Что это значить, если опять не то же, что люди и тенерь тв же, а общество ушло далеко впередъ?.. Вотъ здъсь-то и обнаруживается вся благодътельность роли, какая назначена книгонечатанію самимъ Провидініемъ. Что прежде шло и развивалось съ трудомъ и медленно, то теперь идеть и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будеть не забавою празднаго бездёлья, а сознаніемъ общества, когда она будеть заниматься не стишками да сказочками, гдъ влюбились и женились, а будеть върнымъ зеркаломъ общества, и не только в фрнымъ отголоскомъ общественнаго мн на и

его ревизоромъ, и контролеромъ.

Общество не то, что частный человъкъ: человъка можно оскорбить, можно оклеветать, --общество выше оскорбленій и клеветы. Если вы невърно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ, —вамъ же хуже: васъ не станутъ читать, и ваши сочиненія возбудять сміхь, какъ неудачныя карикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества-значить оказать ему услугу, значить избавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитье, язвительные Гогарта изображаль англійское общество въ лицъ встхъ его сословій? — и однако-жъ Англія не осудила Гогарта за lèse-nation, но гордо именуетъ его однимъ изъ любимъйшихъ и достойнъйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-инбудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смішной или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состонть изъ большого количества людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествъ людей найдутся всякаго рода недостойные п низкіе характеры, — не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имѣло, вмѣстъ съ добрыми сторонами, и своихъ дурныхъ сторонъ; честь сословія состонть не въ томъ, чтобъ не имъть дурныхъ сторонъ (пбо это ръшительно невозможное діло), а въ томъ, чтобъ уміть открывать глаза на свои дурныя стороны и отръшаться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, что рыцарство среднихъ въковъ не было цвътомъ государствъ, красою общества своего времени, его благороднѣйшимъ сословіемъ; что оно не совершило блистательнъйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими делами? И между темъ, кому не извъстно, что это же самое рыцарство, вслъдствіе духа тёхъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческие обозы, разбойнически разало мириаго путешественника, зварски злоупотребляло свою феодальную власть надъ вассалами и рабами? И, несмотря на то, потомки этого рыцарства — цвѣтъ аристократін современной Англін---нисколько не думають ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читають романы Вальтеръ-Скотта и гордятся ими, вмъсто того, чтобъ ненавидъть ихъ, какъ пятно на чести своихъ предковъ, —слъдственно и на ихъ собственной чести. Это доказываеть сколько сознаніе національнаго величія, столько и зр'ялость

развитія общественности въ Англіи.

Ничему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія и незралости нашей общественности, можно приписать эту раздражительность, которая во всемъ видить неуваженіе то къ тому, то къ другому сословію. Какъ скоро выведенъ въ повъсти чиновникъ, на шев котораго пренельно повязань галстухь, а на рукахъ блестять засаленныя желтыя перчатки, какъ свидътельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, — тотчасъ всѣ чиновники обижаются, говоря: "вотъ какъ насъ отделывають; служи послѣ этого!" Они какъ будто и не хотять знать, что можно быть неуклюжимъ, неловкимъ въ обществіт—и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымъ человекомъ и хорошимъ чиновникомъ,не хотять знать, что если одинь чиновникъ дурно и неопрятно одъвается, имъя претензіи на свътскость, — изъ этого еще нисколько не следуеть, чтобъ вев чиновники походили на него. Если воннъ окажетъ на сраженіи чудеса храбрости и получить георгіевскій кресть, в'єдь его товарищи, не участвовавшіе въ дёль, или не отличавшіеся въ немъ, не почитають себя въ правѣ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будуть имъть право оскорбляться всё военные, если объ одномъ нать нихъ (и то вымышленномъ лицф) напечатають въ сказкѣ, что ему случилось струсить на сраженін, какъ, напр., князю Блёсткину, выведенному въ романъ г. Загоскина "Рославлевъ, или Русскіе въ 1812 году?" И если г. Загоскивъ, самъ участвовавшій въ великой отечественной войнь, вывель между многими храбрыми лицами своего романа-одного труса,-можеть ли такая, впрочемь, всегда и вездѣ возможная черта служить нятномъ для армін, которая сражалась подъ Бородинымъ и въ числѣ предводителей своихъ имѣла Барклая-де-Толлн, Кутузова, Багратіона, Ермолова, Милорадовича, Раевскаго и многихъ другихъ, извъстныхъ и славныхъ въ міръ?.. Выло время, когда наши писатели только и делали, что нападали на русское общество высшаго и средняго круга за его страсть къ французскому языку. Это быль действительно недостатокъ со стороны нашего общества: но могли ли оскорбить его нападки, и притомъ еще не совсёмъ несправедливыя, инсателей, когда оно знало, что тѣ же самые офицеры гвардін, которые по-русски объяснялись только по оффиціальнымъ дёламъ службы, геройски жертвовали своою жизнію въ битвахъ противъ тѣхъ же самыхъ французовъ, языкъ которыхъ они больше любили и лучше знали, чѣмъ свой родной?...

Сатира — ложный родъ. Она можеть смѣшить, если умна и ловка, но смъшить, какъ остроумная карикатура, набросанная на бумату карандашомъ

даровитаго рисовальщика. Романъ и повъсть выше сатиры. Ихъ цёль-изображать вёрно, а не карикатурно, не преувеличенно. Произведенія искусства,они должны не смішнть, не поучать, а развивать нстину творчески вфриымъ изображениемъ дъйствительности. Не ихъ дъло разсуждать, напримъръ, объ отеческой власти и сыповнемъ повиновеніи: ихь дёло-представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленін ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уважени къ своему человъческому достоинству, къ своимъ человъческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе оть этой нормы-произволь отеческой власти, для корыстныхъ расчетовъ истребляющей въ дътяхъ любовь къ истинъ и добру, и необходимое слъдствіе этого — нравственное искаженіе дітей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ванна картина будеть върна-ее поймуть безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазін картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавінейся въ самой действительности; и кто ни посмотрить на эту картину, всякій, пораженный ея истинностію, и лучше почувствуетъ, и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать, и чего бы никто не захотъль отъ васъ слушать... Только берите содержание для вашихъ картинъ въ окружающей васъ дъйствительности и не украшайте, не перестраивайте ея, а изображайте такою, какова она есть на самомъ дълъ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь законтёлыя очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія м'єста, многими повторяемыя, но уже никого не убъждающія... Идеалы скрываются въ дъйствительности; они-не произвольная игра фантазін, не выдумки, не мечты; и, въ то же время, идеалы-не списокъ съ дъйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіею возможность того или другого явленія. Фантазія есть только одна изъ главнійшихъ способностей, условливающихъ поэта; но она одна не составляеть поэта: ему нужень еще глубокій умь, открывающій идею въ факть, общее значеніе въ частномь явленін. Поэты, которые опираются на одну фантазію, всегда ищуть содержаніе своихъ произведеній за тридесять земель въ тридесятомъ царствѣ, или въ отдаленной древности; поэты, вмѣстѣ съ творческою фантазіею обладающіе и глубокимъ умомъ, находятъ свои идеалы вокругъ себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сдёлать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этою творческою фантазіею и этимъ глубокимъ умомъ обладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ старое становится новымъ, обыкновенное — изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный, болже нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всеми читаемый, всемъ известный, Гоголь все-таки не высоко стоить въ сознаніи нашей публики. Это противоржчие очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, пронія — не всемъ доступны, и все, что возбуждаетъ смехъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаеть восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, пежели идею, которая заключаеть въ себѣ смыслъ, противоположный тому, который выражають слова ея. Комедія — цвёть цивилизацін, плодъ развившейся общественности. Чтобъ почимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ последнимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толив доступенъ только вибший компамъ: она не понимаетъ, что есть точки, гдѣ комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а бользненный и горькій смыхь. Умирая, Августь, повелитель полуміра, говорилъ своимъ приближеннымъ: "Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыграль свою роль-рукоплещите же, друзья мон!" Въ этихъ словахъ глубокій смыслъ: въ нихъ высказалась иронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не пойметъ такой пронін. Такимь образомь, поэть, который возбуждаеть въ читателъ созерцание высокаго и прекраснаго и тоску по идеатъ изображениемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служать и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будеть видёться жарть въ его глубокомъ юморѣ, и, смотря на вѣрно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видить изъ-за нихъ незримо-присутствующіе туть же свътлые образцы. И еще много времени пройдетъ, и много покольній выступить на поприще жизни прежде, чёмъ Гоголь будетъ понять и опфиенъ по достопиству большинствомъ...

(Отечественныя Записки. Томъ XXXII, 1844 г.).

Отрывокъ изъ статьи:

"Парижскія Тайны". Романъ Эжена Сю.

Основная мысль этого романа петиниа и благородна. Авторъ хотѣлъ представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златого тельца обдеству зрѣлище страданій несчастныхъ, осужденныхъ на нев'ѣжество и нищету, а нев'ѣжествомъ и нищетою—на порокъ и преступленія. Не знаемъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нарисовалъ, какъ умѣлъ, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій; но знасмъ, что она раздражила это общество,—и оно обвинило автора—въ безиравственности! Въ наше время [слова "нравствен-

ность" и "безнравственность" сдѣлались очень гибкими, и ихъ тенерь легко прилагать по произволу, къ чему вамъ угодно. Посмотрите, напримъръ, на этого господина, который съ такимъ достоинствомъ носить свое толстое чрево, поглотившее въ себя столько слезъ и крови беззащитной невинности,этого господина, на лицъ котораго выражается такое довольство самимъ собою, что вы не можете не убъдиться съ перваго взгляда въ полнотъ его глубокихъ сундуковъ, схоронившихъ въ себъ и безвозмездный трудъ бъдняка, и законное настедство спроты. Онъ, этотъ господинъ съ головою осла на туловищѣ быка, чаще всего и съ особеннымъ удовольствіемъ говорить о нравственности н съ особенною строгостію судить молодежь за ея безправственность, состоящую въ неуважени къ заслуженнымъ (т. е. разбогатъвшимъ) людямъ, и за ея вольнодумство, заключающееся въ томъ, что она не хочеть вфрить словамь, не подтвержденнымъ делами. Такихъ примеровъ можно найти тысячи, и нимало не удивительно, что въ наше время являются люди, которые Сократа называють надувалою, мошенникомъ и опаснымъ для нравственпости юношества безумцемъ. Къ особенной чертъ характера нашего времени принадлежить то, что за всякую правду, за всякое благородное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосредственно и фактически объясняющій значеніе правственности и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, васъ сейчасъ назовутъ безиравственнымъ.

Этимъ ужаснымъ словомъ встръченъ былъ въ Парижъ и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цѣли, —письмо его дошло по адресу... "Парижскія Тайны" даже подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ палатъ депутатовъ: таковъ былъ успъхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдалать понятиве чрезвычайный успёхь, Парижскихь Тайнь", надо объяснить мъстныя историческія причины такого усивха. Причины эти принадлежать теперь нсторін; о нихъ перестала говорить политика: слідовательно, онв сдвлались уже предметомъ исторической критики. Королевскими повеленіями въ 1830 году была изминена французская хартія; рабочій классь въ Нарижѣ былъ искусно приведенъ въ волненіе партією средняго сословія (bourgeoisie). Между народомъ и королевскими войсками завязалась борьба. Въ сленомъ и безумномъ самоотверженін, народъ не щадиль себя, сражаясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не дёлали его счастинвее и, следовательно, такъ же мало касались его, какъ и вопросъ о здоровьъ китайскаго богдыхана. Сражаясь отдёльными массами, изъ-за баррикадъ, безъ общаго плана, безъ знамени, безъ предводителей, едва зная, противъ кого, и совстмъ не зная, за кого и за что, народътщетно посылаль къ представителямъ націн, недавно засѣдавшимъ въ абонпрованной камерѣ: этимъ представителямъ было не до того; они чуть не прятались по погребамъ, блёдные, тренещущіе. Когда дёло было кончено ревностію слішого народа, пред-

ставители повыползди изъ своихъ норъ и по трупамъ ловко дошли до власти, оттерли отъ нея всьхъ честныхъ людей и, загребя жаръ чужими руками, преблагополучно стали гръться около него. разсуждая о нравственности. А народъ, который, въ безумной ревности, лилъ свою кровь за слово, за пустой звукъ, котораго значенія самъ не понималъ, —что же вынгралъ себъ этотъ народъ? — Увы! тогчасъ же посл'в іюльскихъ происшествій этотъ бѣдный народъ съ ужасомъ увидѣлъ, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось противъ прежняго. А между твмъ вся эта историческая комедія была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократія пала окончательно; м'єщанство твердою ногою стало на ея мъсто, наслъдовавъ ея пренмущества, но не наследовавъ ея образованности, изящныхъ формъ ея жизин, ея кровнаго презрънія, высоком'єрнаго великодушія и тщеславной щедрости къ народу. Французскій пролетарій передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственникомъ (propriétaire) и капиталистомъ; тотъ и другой судится одинакимъ судомъ и, по винъ, наказывается одинакимъ наказаніемъ; но бъда въ томъ, что отъ этого равенства пролетарію ничуть не легче. Въчный работникъ собственника и капиталиста, пролетарій весь въ его рукахъ, весь его рабъ, ибо тотъ даетъ ему работу и произвольно назначаеть за нее плату. Этой платы бѣдному рабочему не всегда станетъ на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственникъ, съ этой платы, беретъ 99 процентовъ на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, въ холодномъ подваль, или на холодномъ чердакь, съ женою, съ дётьми, дрожащими отъ стужи, не ввшими уже три дня, будто легче такъ умирать съ хартією, за которую пролито столько крови, нежели безъ хартіи, но и безъ жертвъ, которыхъ она требуетъ?... Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотрить на работника въ блузв и деревянныхъ башмакахъ, какъ плантаторъ на негра. Правда, онъ не можеть его насильно заставить на себя работать; но онъ можетъ не дать ему работы и заставить его умереть съ голода. Мъщане-собственники — люди прозанчески положительные. Ихъ любимое правило: "всякій у себя и для себя". Они хотять быть правы по закону гражданскому, и не хотять слышать о законахъ человъчества и нравственности. Они честно платять работнику ими же назначенную плату, и если этой платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ голодной смерти, и онъ, съ отчаянія, сдёлается воромъ или убійцеюихъ совъсть спокойна: въдь они по закону правы! Аристократія такъ не разсуждаеть: она великодушна даже но тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому она всегда любила умъ, талантъ, науку и искусство и гордилась темъ, что покровительствовала имъ. Мъщанство современной Францін подражаеть аристократін только въ роскоши и тщеславіи, которыя у него проявляются грубо и пошло, какъ у Мольерова мъщанина во

дворянствъ (bourgeois gentilhomme). И вотъ за кого народъ жертвовалъ своею жизнію! По французской хартін, избирателемъ и кандидатомъ можеть быть только собственникь, который съ своей недвижимости платитъ подати не менъе четырехсотъ франковъ въ годъ. Следовательно, вся власть, все вліяніе на государство сосредоточены въ рукахъ владъльцевъ, которые ни единою каплею крови не пожертвовали за хартію, а народъ остался совершенно отчужденъ отъ правъ хартіи, за которую страдаль. У насъ, въ Россіи, гдъ выраженіе "умереть съ голода" употребляется, какъ гипербола, потому что въ Россіи не только трудо--ин-онтайт умоннавато н он отъявленному линтяю-нищему нъть ръшительно никакой возможности умереть съ голода, — у насъ, въ Россіи, не всѣ повърятъ безъ труда, что въ Англін и во Францін голодная смерть для бъдныхъ самое возможное и писколько не необыкновенное дело. Несколько недъль, два-три мъсяца бользии или недостатка въ работъ — и бъдный пролетарій долженъ умереть съ семействомъ, если не прибъгнетъ къ преступленію, которое должно повести его на гильотину. Вотъ почему мы и распространились объ этомъ предметь, такъ тьсно связанномъ съ содержаніемъ "Парижскихъ Тайнъ". Бъдствія народа въ Парижѣ выше всякой мѣры превосходять самыя смѣлыя выдумки фантазін.

Но искры добра еще не погасли во Франціи он'й только подъ пепломъ и ждутъ благопріятнаго вътра, который превратить бы ихъ въ яркое и чистое пламя. Народъ—дитя; но это дитя растетъ и объщаетъ сдълаться мужемъ, полнымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституціонную мишуру въ ея истинномъ видѣ. Онъ уже не въритъ говорунамъ и фабрикантамъ законовъ, и не станетъ больше проливать своей кровн за слова, которыхъ значеніе для него темно, и за людей, которые любятъ его только тогда,

когда имъ нужно загрести жаръ чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ тепломъ. Въ народъ уже быстро развивается образованіе, и онъ уже имбеть своихъ поэтовъ, которые указываютъ ему его будущее, дъля его страданія и не отдъляясь отъ него ни одеждою, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ хранитъ въ себъ огонь національной жизни и свёжій энтузіазмъ убіжденія, погасшій въ слояхъ "образованнаго" общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили съ его судьбою свои объты и надежды и которые добровольно отреклись отъ всякаго участія на рынкѣ власти и денегъ. Многіе нзъ нихъ, пользуясь европейскою извъстностью, какъ люди ученые и литераторы, имёя всё средства стоять на первомъ планё конституціоннаго рынка, живуть и трудятся въ добровольной и честной бёдности. Ихъ добросовёстный и энергическій голось страшенъ продавцамъ, покупщикамъ и аукціонерамъ администрацін, — п этотъ голосъ, возвышаясь за б'ёдный, обманутый народъ, раздается въ ушахъ административныхъ антрепренеровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, передаваемые этимъ голосомъ во всеуслышаніе, будять общественное мивніе и потому тревожать спекулянтовъ власти. Съ этими честными голосами раздаются другіе, болже многочисленные, которые въ заступничествъ за народъ видять върную спекуляцію на власть, надежное средство къ низверженію министерства и занятію его м'яста. Такимъ образомъ народъ едилался во Францін вопросомъ общественнымъ, политическимъ и административнымъ. Понятно, что въ такое время не можетъ не имъть успъха литературное произведение, героемъ котораго является народъ. И надо удивляться, какъ духъ спекуляцін, обладающій французскою литературою, не догадался ранве схватиться за этоть неисчерпаемый псточникъ в фриаго дохода!..

(Отечественныя Записки. Томъ XXXIII, 1844 г.)

1845.

TAPAHTACB.

Путевыя впечатлънія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Санктпетербургъ 1845.

Въ современной русской литературѣ журналъ совершенно убилъ книгу. Между разнымъ балластомъ, все-таки только въ журналахъ — разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ немного) — можно встрѣчать болѣе или менѣе замѣчательныя произведения по части изящной литературы. Сюда должно отнестиеще сборники, или альманахи: вълучшихъ изъ нихъ тоже попадаются иногда хорошія піесы. Но хорошая книга теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецензентамъ ех officio приходится хоть совсѣмъ не упоминать о книгахъ и, вмѣсто нихъ, разбирать вновь выходящія книжки журпаловъ и даже листки газетъ. Тѣмъ большее вниманіе должна обращать критика на всякую книгу,

сколько-инбудь выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и говорить, что появленіе книги, которая слишкомъ далеко выходитъ изъ-подъ этого уровия, должно быть истиннымъ праздпикомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ "Тарантасъ", графа Соллогуба. Несмотря на то, что изъ дваддати главъ, составлиющихъ это произведеніе, цёлыхъ семь главъ были папечатани въ "Отсчественныхъ Запискахъ" еще въ 1840 г.,— "Тарантасъ"—столько же новое, сколько и прекрасное произведеніе, которое своимъ появленіемъ составило бы эпоху и не въ такое бъдное изящными созданіями время, каково наше. Семь главъ "Тарантаса", давно уже извъстныхъ публикъ, давали

понятіе только о достоннетв'є ц'єлаго произведенія, а не объ идей его, прекрасной и глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего сочиненія, проникнутаго удивительною ділостностью и совершеннымъ единствомъ. Многіе видять въ "Тарангасъ" какое-то двойственное произведение, въ которомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дійствительности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена нарадоксовъ, оскорбляющихъ въ читатель чувство истины. Подобное мижніе несправедливо. Тж, кому оно принадлежить, не довольно глубоко випкли въ идею автора, — и объективную в фристь, съ какою изобразиль онъ характеръ одного изъ героевъ "Тарантаса"-- Ивана Васильевича, приняли за выраженіе его личныхъ убъжденій, —тогда какъ на самомъ деле авторъ "Тарантаса" столько же можеть отвъчать за мивнія героя своего юмористическаго разсказа, сколько, наприміръ, Гоголь можеть отвъчать за чувства, понятія и поступки дъйствующихъ лицъ въ его "Ревизоръ" или "Мертвыхъ Душахъ". Между тёмъ ошибочный взглядъ лучшей части читателей на "Тарантасъ" очень понятенъ: при нервомъ чтенін можетъ показаться, будто бы авторъ не чуждъ желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать, черезъ Ивана Васильевича, некоторыя изъ своихъ воззреній на русское общество, —и тъмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мивніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дъйствительность лишають читателя способности спокойно смотр'ять на картины, которыя такъ быстро и живо проходять передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись резкимъ противоречемъ, которое находится между этими безпрестанно смъняющимися и безпрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами-- и между странными-- чтобъ не сказать, нел впыми — мивніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведение, въ которомъ характеры дъйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нътъ инчего произвольнаго, но все необходимо проистекаетъ изъглубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ, беремъ назадъ свое выражение въ редензін о "Тарантаев" (см. въ следующей части въ отделе "Библіографін" 1845 года), что въ немъ, вмёстё съ дельными мыслями, много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI главахъ авторъ "Тарантаса" говорить съ читателемъ отъ своего лица; и вотъкстати замѣтить--эти-то главы больше всего сбивають читателя съ толку, раздвоян въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ нарадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы; это скорве мивнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно, и которыя вызывають на споръ. Последнее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе: съ чёмь можно спорить и что стоить спора, то имъетъ право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть кинги, имѣющія удивительную

способность смертельно наскучать читателю, даже говоря все истину и правду, съ которою читатель вполнѣ соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имінть еще болів удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью ихъ направленія съ его убъжденіями; он'в служать для читателя пов'тркою его собственныхъ в фрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убъжденія, или умфряеть его, или, наконецъ, еще болве въ немъ утверждается. Такой книгъ охотно можно простить даже и парадоксы, темъ более, если они искренни, и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобъ подозрѣвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло парадоксы умышленные, порожденные эгонстическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты, или лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора; презрительная насм'єткаединственное, достойное ихъ, наказаніе...

Не будемь пускаться въ изследованія—къ какому роду и виду поэтическихъ произведеній принадлежить "Тарантасъ". Въ наше время, слава Богу. признается въ мірь изящнаго только одинъ родъхорошій, запечативный талантомъ и умомъ, а обо всёхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не заботится. Наше время внолнъ принимаетъ глубокое мудрое правило Вольтера: "вст роды хороши, кром' скучнаго". Но мы, въ отношени къ этому правилу, гораздо последовательнее самого Вольтера, который противоръчиль своему собственному принципу, держась преданій и пов'єрій французскаго нсевдо-классицизма. Къ правилу Вольтера: "всѣ роды хороши, кромф скучнаго", наше время настоятельно прибавляеть следующее дополнение: "и несовременнаго", -- такъ что полное правило будетъ: "вей роды хороши, кроми скучнаго и несовременнаго". Поэтому мы, если не признаемъ безусловно хорошнить всего, что нижло огромный усижхъ въ свое время, то во всемъ этомъ видимъ хорошія стороны, смотря на предметь съ исторической точки. Вслъдствіе этого, удивляясь великимъ геніямъ Данте, Шекспира, Сервантеса, наше время не отрицаетъ заслугъ Корнеля, Расина и Мольера; не становясь на кольни передъ Ломоносовымъ, Державинымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, не видя въ нихъ слишкомъ многаго для себя собственно, —тъмъ съ неменьшимъ уваженіемъ произносить имена ихъ, какъ людей, которыхъ творенія, въ ихъ время, были современно хороши, т. е. удовлетворяли потребностямъ ихъ современниковъ. Чисто художественная критика, не допускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художественность и теперь-великое качество литературныхъ произведеній; но если при ней нътъ качества, заключающагося въ духъ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому теперь посредственно-художественное нроизведеніе, но которое даеть толчокъ общественному сознанію, будить вопросы или різшаеть ихъ, гораздо важнее самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію вит сферы художества. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли,

тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія энохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго, — теперь искусство — не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ.

Мы сказали, что "Тарантасъ" графа Соллогуба произведение художественное; по къ этому должны прибавить, что оно въ то же время и современное произведеніе, — что составляеть одно изъ важивишихъ его достоинствъ, которому обязано оно своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ. Слѣдовательно, "Тарантасъ"-художественное произведение въ современномъ значенін этого слова. Оттого въ него вошли не только разсужденія между дійствующими лицами, но и цёлыя диссертаціи. Оттого оно-не романъ, не повъсть, не очеркъ, не трактатъ, не изследование, но то и другое, и третье вместь. Пусть называеть его каждый, какъ кому угодно: туть дёло въ дёлё, а не въ названіи. "Тарантасъ" имълъ большой успъхъ: его не только раскунили и прочли въ короткое время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не понравился, третьимъ очень понравился и очень не понравился въ одно и то же время; один его хвалять безъ міры, треты и хвалять, и бранять вмѣстѣ; авторъ черезъ него пріобрѣлъ себѣ и друзей, и враговъ; о его произведении говорять, судять и спорять. Это успъхъ! По нашему мнънію, незавиденъ успъхъ произведенія, которое возбудило бы однъ похвалы, одну любовь безъ порицанія, безъ ненависти: подобный успъхъ немногимъ лучше нолнаго неусибха, т. е. когда произведение возбуждаетъ одну брань безъ похвалы, --хотя то и другое все-таки лучше, нежели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встратить одно равнодушное невнимание.

Этотъ-то пеобыкновенный усивхъ "Тарантаса" и налагаетъ на критику обязанность — разсмотрвть его внимательно, со всёхъ сторонъ. Для этого необходимо проследить все развите этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами автора или прибёгая къ выпискамъ. Такой способъ критики нисколько не опасенъ для "Тарантаса", какъ книги: онъ упредилъ пашу статью слишкомъ тремя мёсяцами, а въ это время его уже вездё прочли, и едва ли найдется хотя одинъ читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не усивъв прочесть "Тарантаса".

Русская литература, къ чести ея, давно обнаружила стремленіс—быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изобразить въ романѣ героя нашего времени не принадлежитъ исключительно Лермонтову. Евгеній Онѣгинъ тоже — герой своего времени; но и самъ Пушкипъ былъ упрежденъ въ этой мысли, не будучи инкѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совершенствѣ ся выполненія. Мысль эта принадлежитъ Карамзину. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуществленія. Между его сочиненіями есть неоконченный, или, лучше сказать, только что начатый романъ, даже и на-

званный "Рыцаремъ Нашего Времени". Это былъ вполнѣ "герой того времени". Назывался онъ Леономъ, быль красавець и чувствительный мечтатель. "Любовь интала, согрѣвала, тышила, веселила его; была первымъ впечатлъніемъ его души, первою краскою, первою чертою на бъломъ листъ ея чувствительности". Онъ и родился не такъ, какъ родятся нынче, а совершенно романически, совершенно въ духѣ своего времени. Судите сами но этому отрывку: "На луговой сторон в Волги, тамъ, гдѣ впадаеть прозрачная рѣка Свіяга, и гдъ, какъ извъстно по исторіи Натальн боярской дочери, жиль и умерь изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій, — тамъ, въ маленькой деревенькъ, родился прадъдъ, дъдъ, отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ, въ то время, когда природа, подобно любезной кокеткъ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бълплась, румянилась... весенними цвътами; смотрълась въ зеркало... водъ прозрачныхъ и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ, — т. е. въ мав мъсяцъ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земного свъта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кустахъ запѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой рощѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предзнаменованіе, по которому восьмидесятильтняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, съ веселою усмъшкою и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, вёдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ любви н рога при случав". Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что Карамзинъ имѣлъ бы полное право своего "Рыцаря Нашего Времени" назвать "Героемъ Нашего Времени". Въ повъсти: "Чувствительный и Холодный" (два характера) Карамзинъ, въ лицъ своего Эраста, тоже изобразилъ одного изъ героевъ своего времени. Въ юмористическомъ очеркъ "Моя исповъдъ" представилъ онъ еще одного изъ героевъ своего времени, хотя и совсёмъ въ другомъ родё, нежели въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послъ Онъгина и Печорина, въ наше время никто не брался за изображение героя пашего времени. Причина понятна: герой настоящей минуты-лицо въ одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопредъленное, темь более требующее для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того, наша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ героевъ: въ этомъ отношенін Чичиковъ, какъ и р іобрътатель, не меньше, если еще не больше, Печорина—герой нашего времени. И потому, вся современная русская литература, по необходимости принявъ исключительно юмористическое направленіе, устремилась на изображеніе героевъ современности, смотря по силъ и средствамъ таланта каждаго писателя. Иванъ Васильевичь, герой "Тарантаса", —тоже одинъ изъ героевъ нашего времени. Онъ до того мелокъ и ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьезно, и съ перваго же раза выводить его смішнымь: явный знакъ, что это

одинъ изъ второстепенныхъ героевъ нашего времени. Но, въ то же время, нельзя не вмёнить графу Соллогубу въ большую заслугу, что онъ именно Ивана Васильевича, а не другого какого-нибудь героя, выбралъ для своего юмористическаго карандаша, потому что современная действительность кишитъ такими героями,—вёрнёе сказать, кишитъ Иванами Васильевичами...

Что такое Иванъ Васильевичъ? — Это начто вродъ маленькаго Донъ-Кихота. Чтобъ объяснить отношенія Ивана Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому Донъ-Кихоту, надо сказать несколько словь о последнемь. Донь-Кихотьпрежде всего прекраснъйшій и благороднъйшій человъкъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Несмотря на то, что онъ смѣшонъ съ ногъ до головы, внутри и снаружи, --- онъ не только не глупъ, но, напротивъ, очень уменъ; мало этого: онъ-пстинный мудрецъ. Потому ли, что такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоятельствъ жизни,но только фантазія взяла у него верхъ надъ всёми другими способностями и сделала изъ него шута и посмѣшище народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ рыцарскихъ сказокъ у него, по русской пословиць, умь за разумь зашель. Живя совершенно въ мечтъ, совершенно виъ современной ему дъйствительности, онъ лишился всякаго такта д'яйствительности и вздумалъ сдёлаться рыцаремъ въ такое время, когда на землъ не осталось уже ни одного рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ върпла только тупая чернь. И онъ свято выполниль свой обътъ — защищать слабыхъ противъ сильныхъ, остался въренъ своей воображаемой Дульцинев, несмотря на всв жестокія разочарованія, которымъ подвергала его совсёмъ не рыцарская дёйствительность. Если-бъ эта храбрость, это великодушіе, эта преданность, --если-бъ всё эти прекрасныя, высокія и благородныя качества были употреблены на дѣло, во-время и кстати—Донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человѣкомъ! Но въ томъ-то и состоитъ его отличіе отъ всёхъ другихъ людей, что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не увидель бы онь действительности въ ея настоящемъ образъ и не употребилъ бы кстати, во-время и на діло богатыхъ сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена рыцарства, -- онъ навърное устремился бы на уничтожение его и, если-бъ узналъ о существовании древняго міра, сталъ бы корчить изъ себя грека или римлянина. Но какъ не было уже и следовъ рыцарства, когда онъ родился, то рыцарство следалось точкою его помѣшательства, его idée fixe. Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, онъ удивляль всёхь своимь умомь, здравымь смысломь, говориль, какъ мудрець. Даже, когда мистификація сильныхъ людей осуществила мечты его рыцарскихъ стремленій, —онъ, въ качествъ судын, обнаружилъ не только великій умъ, но даже мудрость. II между тёмъ, въ сущности, онъ тёмъ не менёе быль сумасшедшій, шуть, посмѣшище людей... Мы не беремся примирить это противоржчіе; но для насъ ясно, что такія парадоксальныя натуры не

только не ръдки, но даже очень часты вездъ и всегда. Онъ умны, но только въ сферъ мечты; онъ способны къ самоотверженію, но за призракъ; онъ дъятельны, но изъ пустяковъ; онъ даровиты, но безплодно; имъ все доступно, кромъ одного, что всего важиве, всего выше, --- кромъ дъйствительности. Онъ одарены удивительною способностію породить изъ себя нельную идею и увидыть ея подтвержденіе въ наиболье противорычащихъ ей фактахъ действительности. Чемь неленее запавшая имъ въ голову идея, темъ сильнее пьяненотъ оне отъ нея н на встхъ трезвыхъ смотрятъ, какъ на пъяныхъ, какъ на сумасшедшихъ, какъ на безумныхъ, а нногда даже какъ на людей безиравственныхъ, злонамъренныхъ и вредныхъ. Донъ-Кихотъ--лицо въ высшей степени типическое, родовое, которое никогда не переведется, никогда не устарбеть, —и въ этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. Развѣ изувѣръ по убѣжденію, въ наше время, не Донъ-Кихотъ? Развъ не Донъ-Кихотыэти безумные бонапартисты, которыхъ только смерть герцога рейхинтадтскаго заставила разстаться съ мечтою о возможности возстановленія имперіи во Франціп? Развѣ не Донъ-Кихоты—нынѣшніе легитимисты, нынфшніе ультрамонтанисты, пынфшніе тори въ Англіп? А этотъ нівкогда великій мыслитель, который въ молодости далъ такое сильное движеніе развитію челов'вческой мысли, а въ старости вздумаль разыграть роль какого-то самозваннаго пророка, —этотъ Шеллингъ, однимъ словомъ, развъ опъ не Донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ отличіямъ Донъ-Кихотовъ отъ друотоше и атооноозопо стиженденици подопость къ чисто теоретическимъ, книжнымъ, виъ жизни и дъйствительности почерпнутымъ убъжденіямъ. Есть люди, по мнѣнію которыхъ не только Атилла, — самъ Адамъ былъ славянивъ... это ли не донъ-кихотство?.. Другимъ не правится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они, съ горя, видно, мечтають о реставрацін блаженной эпохи, когда за употребленіе табака рѣзали носы; другіе идуть далѣе и хотять реставрацін Руси до нашествія татаръ; а третьи желають о возвращенін въ XIX вѣкѣ Руси гостомысловскихъ временъ, т. е. Руси баснословной... Это ли еще не донъ-кихотство?.. А между тъмъ, послушайте-ка этихъ господъ: если вы не согласитесь съ ними, они вамъ скажутъ, что вы отстали отъ века, что вы—невѣжда, апостатъ, человѣкъ безправственный, вредный...

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это Донъ-Кихотъ маленькій, Донъ-Кихотъ въ миніатюрѣ. У испанскаго Донъ-Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. Только на смертномъ одрѣ поиялъ онъ, что онъ—не Донъ-Кихотъ, а мирный манчскій номѣщикъ... У Ивана Васильевича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до села Мордасъ провезти, въ чужомъ тарантасѣ, бѣлую тетрадъ, назначенную для путевыхъ замѣтокъ. Иванъ Васильевичъ въ мужикѣ нашелъ идеалъ русскаго человѣка и хотѣлъ даже дворянъ нарядить въ костюмъ, очень

похожій на мужицкій, за исключеніемъ желтыхъ сафьянныхъ сапожекъ (собственнаго его-Ивана Васильевича — изобрѣтенія), — а между тѣмъ самъ скорфе рфинлся бы умереть, нежели хотя на одну складку отстунить отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ микроскопическихъ Донъ-Кихотовъ въ наше время развелось на Руси многое множество. Всв они, за исключениемъ незначительныхъ, разнообразныхъ оттънковъ, похожи одинъ на другого, какъ двѣ канин воды. Всѣ они — люди добрые, умные, сочувствующие всему прекрасному, высокому, любять разсуждать и спорить о Вайронъ и о матерыяхъ важныхъ, страшные либералы и, въ дополнение ко всему этому, препуствишіе и прескучнайніе люди. Но мы оставимъ ихъ въ сторонъ и обратимся, наконецъ, исключительно къ ихъ достойному представителю къ Ивану Васильевичу.

Иванъ Васильевичъ-одинъ изъ этихъ червячковъ, которые имѣютъ свойство блестьть въ темнотъ. Въ глуши провинціи обрадовались бы, какъ неожиданному счастію, знакомству съ такимъ человъкомъ; даже въ столицъ, куда вы недавно прітхали и всему чужды, вы поздравили бы себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы очень полюбили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться имъ; но скоро вы съ удивленіемъ замѣтили бы, что въ немъ ничего не обнаруживается новаго, что онъ весь высказался п выказался вамъ, что вы его выучили наизусть, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ книга, которую вы, за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли и наизусть знаете. Сначала вамъ покажется, что онъ добръ, даже очень добръ; но потомъ вы увидите, что эта доброта въ немъ-совершенно отрицательное достоинство, въ которомъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присутствія добра,-что эта доброта похожа на мягкость, свидетельствующую объ отсутствии всякой энергіи воли, всякой самостоятельности характера, всякаго ръзкато и опредъленнато выраженія личности. Тогда вы поймете, что доброта Ивана Васильевича тесно связана въ немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы и потомъ никогда не скажете, чтобъ онъ былъ глупъ, потому что это было бы вопіющая неправда; но вы скоро замѣтите, что умъ его-ограинченный, легкій и поверхностный, который неспособенъ долго и постоянно останавливаться на одномъ предметъ, неспособенъ къ сомнънио и его мукамъ и борьбъ. Тогда вы ноймете, что его умъ чисто страдательный, т. е. способный раздражаться и приходить въ дъятельность отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспособный даже усвоить себѣ инчего чужого. Такъ же скоро исчезнеть и ваше мижніе о его талантахъ-и исчезнеть тимъ скорие, чимъ больше вы въ нихъ видъли. Если вы и замътите въ немъ способпость къ чему-нибудь, то скоро увидите, что она служить ему для того только, чтобъ все начинать, ничего не оканчивая, за все браться, ни-

чить не овладивая. Но всего болие пріобрить онъ ваше расположение, вашу любовь, даже ваше уваженіе-пабыткомъ чувства, готоваго откликнуться на все человическое, —н что же? —съ этой-то стороны всего болье и долженъ потерять онъ въ вашихъ глазахъ, когда вы лучше разсмотрите и узнаете его. Его чувство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергін, всякой продолжительности, н между тъмъ такъ легко воспламеняется и проходитъ, не оставляя слъда, что оно похоже больше на нервическую раздражительность, на чувствительность (susceptibilité), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, — словомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ неспособенъ нонять инчего такого, чего не испыталь, не видёль, и потому его могутъ безпоконть или радовать однъ случайности, один частные факты, на которые ему приходится натыкаться. Слёдствіе занимаеть его безъ причины, явленія останавливають его винманіе, но идея всегда проходить мимо него, такъ что онъ и не подозрѣваетъ ея присутствія. Онъ не можеть жить безъ убъжденій и гоняется за ними; впрочемъ, ему легко пмъть ихъ, потому что, въ сущности, ему все равно, чему бы не вфрить, лишь бы вфрить. Когда чье-нибудь рфзкое возраженіе или какой-нибудь факть разобьеть его убъжденіе, — въ первую минуту ему какъ будто больно отъ того, но въ следующую за темъ минуту онъ или самъ сочинитъ себъ повое убъждение, или возьметь напрокать чужое, и на этомъ успокоптел. Сильное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ его-парадоксальный и бросается или на все блестящее, или на все странное. Что дважды-два---четыре, это для него истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдълать четыре съ половиною или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, и, какъ всѣ романтики и страдательно-поэтическія натуры, онъ предоставляеть ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону-ту, которая прежде бросится ему въглаза, и изъ-за нея ужъ никакъ не можетъ видъть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ не можетъ мирить противоположностей въ одномъ и томъ же предметъ. Такъ, напримірь, во Франціи онь увиділь борьбу корыстныхъ расчетовъ и мелкихъ интригъ — и съ тьхъ поръ Франція, его прежній идеаль, вовсе перестала существовать для него... Онъ неспособенъ нонять, что добро и зло идуть обокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы движенія, развитія, прогресса, словомъ, жизни; что историческое лицо можеть въ одно и то же время дъйствовать и по псиреннему убъжденію, и по самолюбію, и что исторія—говоря метафорически—есть гумно, на которомъ ценами анализа отделяются зерна отъ мякины человъческихъ дъяній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и достоинства самыхъ зеренъ. Нѣтъ, ему давайте или одно бълое, или одно черное, но тъ-

ней и разнообразія красокъ онъ не любитъ. Для него не существують люди такъ, какъ они суть: онъ видить въ нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все это происходить отъ бѣдности его натуры, рѣшительно неспособной ни къ убъжденіямъ, ни къ страстямь, -- способной только къ фантазійкамъ и чувствованьицамъ. А между темъ, съ техъ норъ, какъ только началь онъ себя помнить, онъ смотръль на себя, какъ на человѣка, отмѣченнаго перстомъ Провиденія, назначеннаго къ чему-то великому или, по крайней мъръ, необыкповенному... Это очень обыкновенное явленіе въ обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, гдѣ все пестро, гдъ невъжество идетъ рядомъ съ знаніемъ, образованность съ дикостью. Въ такомъ обществъ всякому человаку, который обпаруживаеть какое-нибудь стремленіе или хоть просто претензін на образованность, который живеть не совсёмь такъ, какъ всв живуть, и любить разсуждать, -- всякому такому человъку легко увърить себя (и притомъ очень искренно) и другихъ, что онъ-геніальный человѣкъ. Если же, при этомъ, онъ не глупъ н не тупъ, одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки, много читаетъ, обо всемъ говорить съ жаромъ и решительно, бранить толиу, да сбирается путешествовать, или уже и путешествовалъ, то онъ геній, непремѣнно геній! Вслѣдствіе этого онъ всю жизнь къ чему-то готовится... Прежде Иваны Васильевичи носились съ своими непонятными толив внутренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили изъ себя Фаустовъ, Манфредовъ, корсаровъ; тенерь мода на эти глуности проходить-и потому Иваны Васильевичи теперь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать будущность отечества и узнать, чёмъ они могуть быть ему полезны. Въ томъ и другомъ случат главную роль играетъ непомърное самолюбіе бъдной натуры: самолюбіе-единственная страсть такихъ людей. Прежде Иваны Васильевичи съ истинно-геніальнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго убъжденія, что толит не понять ихъ, и что имъ нечего делать на земле; теперь это сделалось пошло, и потому теперь Иваны Васильевичи решились убедиться, что Западъ гніеть...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, на характеръ. Когда мы проследимъ нить событій, развивающихся въ "Тарантась", —читатели увидять сами, до какой степени верень нашь взглядъ. Но прежде намъ надобно сказать, что авторъ "Тарантаса" очень умно и ловко далъ своему маленькому Донъ-Кихоту спутника, --- не Санчо-Нансу, а олицетворенный непосредственный здравый смысть, въ лиць Василія Ивановича, медвьдеобразнаго, но весьма почтеннаго казанскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ-непризнанный, самозванный геній, интающій реформаторскія наміренія насчеть толны; Василій Ивановичь-толна, которая своимъ пошлымъ здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному генію. Здравый смысль толны кажется пошлымъ истинному генио и, рано или поздно, надаетъ во прахъ передъ его высокимъ безуміемъ; но онъ-бичъ самолюбивой по-

средственности, и немилосердно быеты ее, даже нногда самъ не зная, какъ н чемъ. Таковы отношенія другь къ другу обоихъ героевъ "Тарантаса". Первую и главную роль играеть, безъ сомивнія, Иванъ Васильевичь; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана Васильевича: безъ перваго последній не быль бы такъ определительно, ярко, рельефно обрисованъ, — нзвъстно, что ничто такъ ръзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ нравственномъ отношеніи между Иваномъ Васильевичемъ и Василіемъ Ивановичемъ существовала такая же противоположность, какъ н между героями извъстной повъсти Гоголя: у одного голова похожа на редьку хвостомъ внизъ; у другого—на рѣдьку хвостомъ вверхъ. Впрочемъ, нельзя решить, кто изъ нихъ правъ, и съ кемъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже думаемъ, что, въ дъйствительности, истинно дъльный человѣкъ убѣжитъ отъ того и другого: отъ одного, какъ отъ неуклюжаго, косолапаго медвъдя; отъ другого, какъ отъ крикливаго учепаго попугая. Но книга-не жизнь; въ книгъ можно, съ къмъ угодно, ужиться; въ книгъ очень милы даже и герон "Ревизора". И потому мы не убъжимъ отъ Ивана Васильевича и Василія Ивановича, а, напротивъ, побъжимъ къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ можно только обонхъ вмѣстѣ. Итакъ, къ нимъ, —но не на Тверской бульваръ въ Москве, где они встретились, даже не въ тарантасъ, въ которомъ они вхали, а въ ихъ деревни-посмотримъ, какъ они родились, выросли н стали такими, какими встръчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ бульварѣ, въ первой главѣ "Таран-

Итакъ, мы начнемъ даже и не съ середны, а чуть ли не съ конца—съ XV и XVI главъ, отъ которыхъ уже перейдемъ къ первой главъ. Начнемъ, какъ это сдълалъ и самъ авторъ, съ медвъдя:

Василій Ивановичь родился въ Казанской губернін, въ деревнѣ Мордасахъ, въ которой родился и жить его отецъ, въ которой и ему было суждено и жить, и умереть. Родился онъ въ восьмидесятыхъ годахъ и мирио развился подъ сёцью отеческаго крова. Ребенку было привольно расти. Бѣгалъ онъ весело по господскому двору, погоняя кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей, и постегивая весьма порядочно пристижныхъ, когда онт недостаточно закидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчный свой досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками; но главное основаніе системы его воспитанія заключалось въ голубятить. Василій Ивановичъ провель лучшія минуты своего дѣтства на голубятить, сманивалъ и ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и пріобрѣлъ ныхъ и турмановъ.

ныхъ и турмановъ.
Отецъ Василія Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какъ-то несчастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по близости доктора не обрѣталось, то какой-то сосѣдъ присовѣтоваль ему прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію травничка. Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему способу лѣченія, до того усиливаль пріемы, что скоро пріобрѣлъ въ околоткѣ весьма педиковинную славу человѣка, ньющаго запоемъ. Со временемъ барскій запой сдѣлался постояннымъ,

,,0

такъ что каждый день утромъ, аккуратно въ десять часовъ, Иванъ Федотовичъ съ хозяйской точностью быль уже немножко подшефе, а въ одиннадцать совершенно пьянъ. А какъ пьяному человъку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окружилъ себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговалъ онъ, правда, себъ карлу, но карла пришелся слишкомъ дорого-и быль тогда же отправлень въ Петербургъ къ какому-то вельможѣ. Надлежало, слъдовательно, довольствоваться взрослыми глупцами н уродами, которыхъ одфвали въ затрапезныя платья съ красными фигурами и заплатами на спинъ, съ рогами, хвостами и прочими смъщными украшеніями. Иногда морили ихъ голодомъ для смъха, били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и вообще употребляли на всевозможныя забавы. Въ такихъ удовольствіяхъ проходиль цілый день, и когда Иванъ Федотовичь ложился почивать, пьяная старуха должна была разсказывать ему сказки, оборванные казачки щекотали ему легонько иятки и отгоняли кругомъ его мухъ. Дураки должны были ссориться въ уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту и оживляль ихъ бестду звонкимъ прикосновеніемъ арапника.

Мать Василія Ивановича, Арина Аннкимовна, имѣла тоже свою дуру, но уже больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая; не дюбила запиматься пустяками. Она сама смотрѣла за работами, знала, кого выдрать и кому водки подпести, присутствовала при молотьбѣ, свидѣтельствовала на мельницѣ закормы, надематривала ткацкую, мужчинъ приказывала наказывать при себѣ, а женщинъ пногда и сама трепала за косу. Само собой разумѣется, что кругомъ нея образовалась цѣлая куча разностепенной дворни, приживалокъ, наушницъ, кумушекъ, нянекъ, дѣвокъ, которыя, какъ водится, цѣловали у Василія Ивановича ручку, кормили его тайкомъ медомъ, поили бражкой и угождали ему всячески въ ожиданіи буду-

щихъ благъ.

Говоря о такомъ произведенін, какъ "Тарантасъ", нътъ никакой возможности избъжать выинсокъ, и частыхъ, и довольно длинныхъ; у какого рецензента поднимется рука-пересказывать своими словами, напримъръ, содержание сейчасъ выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ себъ такую вфрную, такъ мастерски написанную картину русскаго семейства? Здёсь не знаешь, чему больше удивляться въ авторъ: глубокому ли его знанію действительности, которую онъ изображаеть, или его мастерству изображать! Но обратимся къ Василію Ивановичу. Онъ рось себъ, товорить авторъ, —по простымъ законамъ природы, какъ растетъ капуста или горохъ. Десяти лѣтъ началъ онъ учиться у дьячка грамотф-и два года долбилъ азы; писать онъ выучился прескверно и кончилъ свой курсъ наукъ катихизисомъ и ариеметикою въ вопросахъ и ответахъ. Кроме дьячка, у него быль еще учителемъ отставной унтеръофицеръ изъ малороссіянъ, Вухтичъ.

Получаль онь (Вухтичь) жалованья шестьдесять рублей въ годъ, да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изпошенное платье съ барскаго плеча и иѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья было немного, потому что Иванъ Федотовичъ вѣчно ходиль въ халатъ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою корову на господскомъ кормъ Василій Ивановичь мало оказываль почтенія учителю: вздиль верхомь на его синив, дразниль его языкомь и нервдко швыряль ему книгой прямо въ носъ. Если же терпъливый Вухтичь и выйдеть, бывало, наконець, изъ терпънія и схватится за линейку, Василій Ивановичь кувыркомь побъжить жаловаться тятенькі, что учитель его, такой, сякой, бьеть-де его палкой и бранить его дурными словами. Тятенька спьяна раскричится на Вухтича. "Ахъ, ты, сѣдой этакой песъ! Я тебя кормлю и одіваю, а ты у меня въ дому шуміть задумаль. Вотъ я тебя... смотри—по шеямь велю выпроводить. Не давать корові его сіна"... А кумушки и приживалки окружать Василія Ивановича и начнуть его утішать... "Ненаглядное ты паше красное солнышко, світь наша радость, баринь ты пашь, позвольте ручку поціловать... Не слушаїтесь, ягода, золотой вы нашъ, хохла поганаго. Онть мужикъ, нашъ брать... Гді ему знать, кахъ съ знатными господами обиходь иміть"...

"Что-жъ въ самомъ дѣлѣ,—думалъ Вухтичъ, не ходить же по міру". Заключеніемъ всего этого было то, что Вухтичъ жепился на дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли, и воспитапіе Василія Ивановича было закончено

(стр. 177).

Изобразивъ съ такою поразительною върностью "воспитаніе" Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры,авторъ удивляется тому, что всё наши дёды и прадады воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановить, а между тёмь не въ примёръ намъ были отличнейшіе люди, съ твердыми правилами,что особенно доказывается темъ, что они "кренко хранили, не по логическому убъжденію, а по какомуто странному (?) внушенію (?!), любовь ко всёмъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ "(стр. 179). Здёсь авторъ что-то темновато разсуждаеть; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разум'єть старые обычан, которыхъ наши дёды и прадёды, дёйствительно, крѣнко держались. Кому не извѣстно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ, добродітель, которая возбуждаеть такой энтузіазмь въ авторъ "Тарантаса" и которая заключается въ крѣпкомъ храненін старыхъ обычаевъ,—именно нзъ того и вытекала, что наши деды и прадеды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, "были, точно, люди неграмотные" (стр. 179). Мы не можемъ прійти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродътель и теперь еще сохранилась на Руси, именно-между старообряддами разныхъ толковъ, которые, какъ известно, въ грамотъ очень несильны. Китайцы тоже отличаются этою добродътелью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невежды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этою добродътелью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя совсемъ неспособны знать грамотѣ и которыя до сихъ поръ живутъ точь-въточь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія. Вотъ если бы авторъ "Тарантаса" нашелъ гдф-нибудь людей просвещенныхъ и образованныхъ, но которые крънко держатся старыхъ обычаевъ, н удивился бы этому, -- тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполит раздалили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичь служиль въ Казани, илясаль на одномъ балу "казачка" и влюбился въ свою даму; но мы не можемъ пропустить рацеи его "дражайшаго родителя" въ отвътъ на "покорнъйшую" просьбу "послушивнивато" сына о благословеній на бракъ: "Вишь, щенокъ, что затъяль; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабъ думаеть". Отъ матери онъ услыналь то же самое. Воля мужа была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, -- думала она, - а все-таки мужъ. При этомъ авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: "такъ думали въ старину!" Хорошо думали въ старину! - прибавимъ мы оть себя. Когда милый "тятенька" Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали: картина была умилительная... Авторъ очень остроумно замізчаеть, что "любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти непзъяснимая": мы въ этомъ столько же увърены, какъ и онъ... Наконецъ, Василій Ивановичь женился и побхаль въ Мордасы; на границѣ помѣстья всѣ мужики, "стоя на коленяхъ", ожидали молодыхъ съ хлебомъ н съ солью. "Русскіе крестьяне,—говорить авторъ, не кричать виватовъ, не выходять изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражають евою преданность; и жалокъ тотъ, кто видитъ въ нихъ только лукавыхъ, безсловесныхъ рабовъ и не въруетъ въ ихъ искренность". Объ этомъ предметь мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Если-бъ Василій Ивановичь спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются, — староста навфрное отвфтиль бы:

...они На радости, тебя увидя, плящутъ.

Послѣ этого Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдовало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобродѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управляя ими по "русской методѣ", безъ агрономическихъ и филантропическихъ усовершенствованій. Учить сына поручили уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говорили о Василіи Ивановичъ, что онъ—"продувная шельма", а молодые, что онъ—"пошлый дуракъ", но въ сущности онъ былъ добродѣтельный помѣщикъ села Мордаєъ, въ которомъ пока и оставимъ его, чтобъ заѣхать въ сосѣднюю деревню—къ родителямъ Ивана Васильевича.

Нванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать жътъ послъ Василія Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ представить намъ совсъмъ другую картину воспитанія, въ которой будетъ виденъ прогрессъ цёлыхъ тридцати лѣтъ—огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро развивается. Василій Ивановичъ родился въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго стольтія; слъдовательно, Иванъ Васильевичъ родился или около 1815 года, или немного позже. Мать его была какая-то княжна средней руки, недавияго восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была помѣшана на французскомъ языкѣ. Несмотря на всѣ свои претензіи, какъ старая дѣвка безъ при-

данаго, она была принуждена выйти замужъ за номъщика, который "не быль похожь на Малекъ-Аделя или на Eugène de Rothelin, не былъ похожъ даже на лютаго тирана, а скоръй на сурка: вль, спаль да рыскаль цвлый день по полю. Оть этой-то достойной четы родился Иванъ Васильевичь. Воснитание его поручено было французскому гувернеру. "Всемъ известно, говорить авторъ, что французы долго метили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предлогомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цёлое поколёніе" (стр. 197). Замізчаніе энергическое и остроумное, но, во-первыхъ, совстви не новое-уже тысячу тысячь разъ было предметомъ носильныхъ остротъ журналовъ и нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во-вторыхъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастною судьбою занесенному въ чуждую страну, нечего всть, а умирать съ голоду, естественно, не хочется; что-жъ туть острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть кусокъ хлъба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обнаружить свое остроуміе насчеть невѣждъ, которые, Богъ знаетъ кому, поручали воспитание своихъ дѣтей: все смѣшное на сторонѣ сихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчою: да, французскіе эмигранты, конечно,люди почтенные въ глазахъ многихъ, и мы не станемъ спорить съ этими "многими". Гувернеръ Ивана Васильевича быль эмигранть. Съ удивительною пронією авторъ разсказываеть намъ, какъ Иванъ Васильевичъ узналъ, что Расинъ—первый поэть въ мірѣ, а Вольтеръ-такая тьма мудрости, что и подумать страшно. Воспитание Ивана Васильевича, какъ и следуетъ, было самое поверхностное и безтолковое, уже потому только, что его восинтываль человъкъ, который случайно сдълался воспитателемъ. Это такъ естественно! А между темь мы далеки оть того, чтобъ слишкомъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дътей такимъ воспитателямъ. Гдъ же имъ было искать лучшихъ? Университеты русскіе тогда были совсёмъ не то, что теперь, а ученые того времени, за слишкомъ редкими исключениями, часто казались сродии "зеленому господину" въ "Истербургскихъ Углахъ" г. Некрасова. Слъдовательно, въ такомъ состоянін воспитанія никто не быль виновать, и намъ кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитание слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитании вся надежда на добрую натуру воспитанника. Вёдь Василій Ивановичь, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужаснаго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его природы? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? А въдь онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя преимущества передъ Василіемъ Ивановичемъ, потому что зналь хотя одинь иностранный языкь (а этосовсемь не пустяки) и имёль хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны и пусты они ни были.

Будь у него добрая натура, ему не поздно было бы проснуться оть своего инчтожества даже въ двадцать льть, и дельнымъ трудомъ (который для него былъ такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный языкъ) воротить потерянное въ дѣтствѣ время. И какую пользу принесло бы ему нутешествіе въ Европу!.. Но мы сейчась увидимь, какъ воспользовалась этимъ нутешествіемъ слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ необходимость взглянуть на натуру своего героя, но сдёлаль это вскользь и не совсёмь виопадъ: Нванъ Васильевичъ былъ мальчикъ совершенио славянской породы, т. е. ленивый, но бойкій (стр. 199). Такъ; русская лень — большая помеха во всемъ русскому человѣку, но еще не непреодолимое препятствіе, и не въ ней корень зла: корень лежить глубже, — его надо искать въ отсутствін определеннаго общественнаго мненія, которое каждому указывало бы его путь, а не становило бы его на распутін, говоря: иди, куда хочешь. Что же касается до Ивана Васильевича, корень зла его жизни заключался въ его слабой, ничтожной натуришкъ, не способпой ни къ убъждению, ни къ страсти, и вѣчио гонявшейся за убѣжденіями и страстями не по внутренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гувернера перешель онъ въ одинъ частный пансіонъ въ Петербургъ, гдъ наблюдалась удивительная чистота, а учили вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ лѣнился и молодечествовалъ трубкою, водкою и другими пороками взрослыхъ; а на выпускномъ экзаменъ сръзался. Это заставило его подумать о себъ. "Онъ почувствоваль, что не рождень для безсмысленнаго разврата, а что въ немъ таптея что-то живое, благородное, просящееся на свъть, требующее дъятельности, возвышающее душу". Онъ бы непрочь быль и приняться за свое перевоспитаніе, "но какъ начать учиться, когда ифкоторые товарищи—уже титулярные совётник и и весе-лятся въ свёть?" А! воть что! Мелкая натура сказалась! Ступайте-ка служить, Иванъ Васильевичь, куда вамъ учиться! Но оказалось, что онъ не годился и въ чиновники, и потому бросилъ службу; потомъ влюбился, — и тутъ толку не было; бросился въ свътъ, — и то надобло; хватался за ноэтовъ, за науки, "принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянія, глупой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человъкомъ, не оттого, чтобъ положение его было несчастливое, но оттого, что онъ ин въ чемъ не могъ принимать долго участія, оттого, что самъ собою быль недоволень, оттого, что усталь самь оть самого себя". Наконецъ онъ отправился за-границу. Сперва посътилъ Берлинъ. "Знаменитости, передъ которыми онъ готовился благоговъть, произвели на него то же самое впечатлѣніе, какъ кассиръ его министерства или излеровскій маркеръ. У одной знаменитости быль посъ толстый, у другой — бородавка на щекъ". Вздумалъ-было посъщать лекцін, но увиділь, что безь приготовленія нельзя ихъ понимать. "Въ Германіи объяснилась ему тайна воспи-

танія. Онъ видель, какъ здёсь каждый человёкъ, отъ мужика до принца, вращается въ своемъ кругъ терибливо и систематически, не заносясь слишкомъ высоко, не падая слишкомъ инзко. Онъ виделъ, какъ каждый человъкъ выбираетъ себъ дорогу и идеть себъ постоянно по этой дорогь, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ вида своей цели". И жалкій бедиякь, который уже своею натурою осуждень навѣкъ остаться духовно-малолътнымъ, принялся проклинать своего француза-наставника, вмфсто того, чтобъ ругнуть хорошенько самого себя... Потомъ онъ началъ ругать ифмцевъ за то, что они дѣльифе его: для слабыхъ натуръ это-не носледнее средство утешиться въ горъ! Но кромъ того, вообще въ русской натурѣ — оправдываться въ своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: "славны бубны за горами"...

Иванъ Васильевичъ побхалъ въ Нарижъ. Сначала онъ увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движеніемъ парижской жизни, но скоро "онъ увидълъ собственную исторію въ огромномъ размъръ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное движеніе, звонкія річи, громкіе возгласы, безмірное хвастовство, желаніе высказаться и стать передъ другими, а на диб этой кинящей жизни тяжелую скуку н холодный эгонзмъ" (стр. 209). Подлинно, всякій во всемъ видить свое, въ оправданіе шеллинговской системы тождества, и въ то же время въ оправдание басни Крылова, извъстная героння которой, затесавшись на барскій дворъ, ничего не увидела тамъ, кромъ навоза... Въдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ суждено видъть ужасную дрянь самого себя... Нътъ, виноваты!-въ Италін онъ увидель искусство, и опо освъжило его. По крайней мъръ такъ увъряетъ авторъ. Мы въримъ ему, хотя, въ то же время, върнмъ и тому, что безъ приготовленія, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ развитін чувства изящнаго въ самомъ себъ - искусство никому не дается. Минутное раздражение нервовъ — еще не проникновение въ тайны искусства; минутное развлечение новыми предметами — еще не наслажденіе ими.—Авторъ ув'тряетъ (стр. 210), что Италія пе пала, не погибла, не схоронена, и совътуетъ ей не върить коварнымъ словамъ, истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ, никто не станетъ спорить, чтобъ природа Италін, развалины и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно прекрасны. Къ ней идетъ сравненіе, сказанное Байрономъ о Грецін: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна и въ гробъ. Но Греція воскресла, и для нея это сравнение уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россіи заставили Ивана Васильевича думать о своемъ отечеств'я и полюбить его. Черта—вполий достойная Ивана Васильевича! Пустота составляеть душу этого челов'яка, и въ его пустот'я есть какое-то тревожное, суетливое стремленіе безъ всякой способности достиженія. Въ немъ н'ять ничего пепосредствен-

наго, живого: ему нужно, чтобъ его толкали извиъ. н только тогда можеть онъ бросаться, на время и ненадолго, то на то, то на другое. Такимъ образомъ, безъ новздки за-границу, ему никогда не пришло бы въ голову полюбить Россію, даже никогда не вздумалось бы, что земля, въ которой онъ живетъ, называется Россіею, и что онъ самъгражданинъ этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, благодаря путешествію, онъ полюбиль Россію, — какъ понятно, что это — не чувство, а новая мечта его праздношатающейся фантазін! "Тогда рфшился онъ изучить свою родину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ восторгомъ, то и отчизнолюбіе въ немъ загорилось бурнымъ пламенемъ". Возвратившись въ Россію, онъ вооружился книгой для своихъ путевыхъ впечатленій и очиниль перо. Но что будеть изъ этого? что напишеть онь? что откроеть? что скажеть намь? -- Кажется, ничего!" (стр. 212). Авторъ объясняеть это темъ, что Иванъ Васильевичь не пріучень къ упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну изъ второстепенныхъ. Первая и главная причина-въ натур': Ивана Васильевича, неспособной ин къ убъждению, ни къ страсти, - въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отрицанія и идти до последнихъ след-СТВІЙ...

Теперь пойдемъ за нашими героями въ Москву, на Тверской бульварь, и послушаемъ накоторые отрывки изъ разговора.

— Откуда ты?

— Я быль за-границей.

- Воть-съ! А гдъ, коль смъю спросить?
 - Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.

Такъ-съ.

— Въ Германін, въ Италін.

— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много деньжонокъ изволилъ порастрясти?

- Какъ-съ?

— Много ли, братъ, промотыжничалъ?..

— Довольно-съ. — То-то... а батюшка-то твой, мой сосъдъ, что скажеть на это? Въдь старики-то не очень сговорчивы на дътское мотовство... Да и годы-то плохіе. Ты, чай, слышаль, что у батюшки всю гречиху градомъ побило?

Батюшка писалъ-съ; я самъ теперь къ нему

собираюсь.

Хорошее дъло-старика утъшить. А... смъю

спросить, какого чина?

Такъ и есть!--подумалъ молодой человъкъ.--12 класса, — отвъчалъ онъ, запинаясь...

Гм... не важно... а ужъ въ отставкъ, чай?

Въ отставкъ

- То-то же. Вы, молодые люди, вбили себъ въ голову, что надо пренебрегать службой. Умны синшкомъ, изволите видъть, стали. – А теперь, коли смёю спросить, что вы намёрены делать-съ?.. Ась?
- Да я хотёль бы, Василій Ивановичь. посмотръть на Россію, познакомиться съ ней.

Какъ-съ?

Я хотьль бы изучить свою родину.

— Что, что, что...

- Я намъренъ изучить свою родину.

Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изу-

- Изучать мою родину... изучать Россію.

- А какъ это вы, батюшка, будете изучать Poccino?..

– Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ел древности и въ отношеніи ея народности, что. впрочемъ, тъсно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши повфрья и преданья, прислушиваясь ко всфмъ отголоскамъ нашей рины, мив удастся... впновать, намъ... мы, товарищи и я... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, нрава и требованія-и будемъ знать, изъ какого источника должно возникать наше народное просвъщение, пользуясь примъромъ Европы, но

не принимая его за образецъ.

По-моему, — сказалъ Василій Ивановичь, — я нашель тебъ самое лучшее средство изучать Россію—жениться. Брось пустыя слова, да поъдемъ-ка, брать, въ Казань. Чинь у тебя небольшой, однако офицерской. Имъ́ніе у вась дворянское. Партію легко найдешь. На невъсть у нась, слава Богу, урожай... Женнсь-ка, право, да ступай жить со старикомъ. Пора и объ немъ подумать. - Эхъ брать, право—ну! Ты въдь думаешь, въ деревнъ скучно? Ничуть. Поутру въ поле, а тамъ закусить, да пообъдать, да выспаться, а тами къ сосъдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?.. Житье, брать... что твой Парижъ. Да, главное, какъ заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь самъ-восемь, да на гумит столько хивба наберется, что не успвень молотить, а въ карманъ столько цълковыхъ, что не сочтешь, — такъ, по-моему, ты славно будешь знать

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ миніатюрномъ Донъ-Кихотъ, Иванъ Васильевичь, авторъ назначилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетвореннаго здраваго смысла, который, впрочемъ, и не подозрѣваетъ нимало. что онъ-здравый смысль? Мало этого: Василій Ивановичь, въ отношени къ Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смысль, но и олицетворенная пронія. Все, что ни говориль онъ ему, можно перевести такъ: знаемъ мы васъ, голубчики: вы и модничаете, и уминчаете, и фадите за-границу, проматываетесь и дома, и на чужбинъ, и подымаете носъ кверху передъ нами, степными медвъдями, - а въдь кончите же тъмъ, что сами омедвъдитесь не лучше нашего, и въ законномъ сожительствъ съ какою-нибудь Авдотьею Петровною, съ кучею, д'ятей, разъжвшись, разоспавшись и растолстивъ, отъ полноты сердца будете говорить: "Въ деревнѣ скучно? Ничуть! Поутру въ поле, а тамъ закусить, да пообъдать, да выспаться, а тамъ къ сосъдямъ... А именины-то, а исовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А? Житье, брать... что тьой Парижь!" Если-бъ Василій Ивановичь быль хоть немного философски образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни заносись, мой милый, а дъйствительность возьметь свое, -- и быть тебъ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, а помъщикомъ, да еще женатымъ на какой-инбудь Авдоть Петровнь, которая смолоду болтала пофранцузски, а въ лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ страхѣ не хуже моей Авдотын Петровны. Я же тебя знаю: ты боекъ только на словахъ, а натурка твоя-жиденькая, и ты снасчень предъ про-30ю жизни, даже и не попытавшись побороться съ нею!.. Конечно, Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и самъ не подозрѣвалъ глубокаго

смысла своихъ словъ; но въдь онъ - безсознательный, непосредственный здравый смысль: онъ умень, какъ действительность, какъ природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, что она существуетъ... Да и зачемъ Василію Ивановичу сознаніе?—онъ силенъ и безъ него: большинство, толпа, -словомъ, дъйствительность за него; а на сторонъ Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на лѣстницѣ нравственнаго совершенства послъдній стоить несравненно выше перваго; но по особенному, исключительному свойству действительности, среди которой оба они живуть, — въ сущности оба они сходять на нуль. Одинь, какъ медведь, мечтаетъ, идя по Тверскому бульвару, о московскихъ удовольствіяхъ:

"Въ самомъ дълъ, какъ подумаеть. Англійскій клубъ, Нъмецкій клубъ, Коммерческій клубъ, и все столы съ картами, къ которымъ можно присъсть, чтобъ посмотръть, какъ люди играютъ большую и малую игру. А тамъ лото, за которымъ сидятъ помъщики, и бильярдъ съ усатыми пгроками и шутливыми маркерами. Что за раздолье!.. а пыгане-то, а комедія-то, а медвѣжья травля меделянскими мордашками у Рогожской заставы, а гулянье за городомъ, а театръ-то, театръ, гдъ пляшутъ такія красавицы, и ногами такіе вензеля выдълывають, что просто глазамъ не въришь...

Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удовольствіяхъ:

"Госпеди Воже мой, какъ жаль, что такъ мало здъсь движенія и жизни... Nel furor!.. То ли дъло Парижъ... della tempesta. Ахъ, Парижъ, Парижъ! Гдъ твои гризетки, твои театры и балы Мюзара... Nel fur r. Какъ вспомнищь: Лаблашъ, Гризи, Фанни Эльслеръ, а здѣсь только что спрашивають, какой у тебя чинъ. Скажещь: губерискій секретарь,— пикто на тебя и смотрѣть не хочетъ... della tempesta"...

Что за странная пустота, что за странное ни-^V чтожество въ чувствахъ этнхъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о сундукахъ, сундучкахъ, коробкахъ, коробочкахъ, бочонкахъ, которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи, о перинахъ, тюфякахъ, подушкахъ, которыми онъ заваленъ снутри, — скажемъ только, что талантъ автора неподражаемъ въ отношеніи всёхъ этихъ подробностей. Тарантасъ готовъ двинуться; наконецъ явился и Иванъ Васильевичъ.

Воротникъ его макинтоша былъ поднять выше ушей; подъ-мышкой быль у него небольшой чемоданчикъ, а въ рукахъ держаль опъ шелковый зонтикъ, дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и прекрасно переплетенную въ коричневый сафьянъ книгу со стальными застежками и тонко очиненнымъ карандашомъ.

А, Иванъ Васильевичъ!-сказалъ Василій Ивановичь. — Пора, батюшка. Да гдъ же кладь

Бълинскій. т. II.

У меня ничего нътъ больше съ собой. - Эва! да ты, брать, этакь въ мъшкъ-то своемъ замерзнешь. Хорошс, что у меня есть лишній тулупчикъ на заячьемъ мѣху. Да, бишь, скажи, пожалуйста, что подъ тебя подложить: перину или тюфякъ?

 Какъ? — съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь: тюфякъ или перину?—Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бъжать и съ отчаяніемъ поглядывалъ со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидить его въ тулупъ, въ перинъ и въ тарантасъ (стр. 20).

Да, было отъ чего въ отчаянье прійти! И вотъ въ чемъ состоитъ европензмъ господъ вродѣ Ивана Васильевича. Этимъ людямъ и въ голову не входить, что если въ Европъ всъ стремятся къ опоэтизированію своего быта, -- зато никто, при недостаткъ, при переворотъ обстоятельствъ, при случат, не постыдится ин стсть въ какой угодно тарантасъ, ни вычистить себѣ при нуждѣ сапоги. Этого рода европейцевъ, въ отличе отъ истинныхъ европейцевъ, не худо бы называть европейцамитатарами...

Ивану Васильевнчу было грустно, но дёлать нечего. Онъ промотался по-русски и нашелъ случай доплестись до дому; притомъ же дорогою онъ можетъ изучать Россію и вести свои записки... Все бы хорошо. "Но эта неблагородная перина, но эти ситцевыя подушки, но этоть ужасный тарантась!..." Въ самомъ дёлё ужасно!..

- Василій Ивановичъ!
- Что, батюшка?
- Знаете ли, о чемъ я думаю?
- Нътъ, батюшка, не знаю. Я думаю, что, такъ какъ мы собираемся
- теперь путешествовать...
 Что, что, батюшка... Какое путешествіе? Да въдь мы теперь путешествуемъ.
- Нътъ, Иванъ Васильевитъ, совсъмъ нътъ Мы просто ъдемъ нзъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.
 - Ну, да въдь это тоже путешествіе.
- Какое, батюшка, путешествіе! Путешествують тамъ, за-границей, въ Нъмечинъ; а мы что за путешественники? Просто-дворяне; ъдемъ-себъ въ
- 0, Василій Ивановичь! о, великій практическій философъ, отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своею безграмотностью, какъ умнъе ты этого полуграмотнаго фертика! Потому умиће, что, какъ бы ни были грубы твои понятія, ихъ корень въ дъйствительности, а не въ кингъ, и, върный степовому началу-своей жизни, ты знаешь, что въ стеняхъ тздятъ по дъламъ и по нуждъ, а не изъ любопытства, не для изученія! Ты называешь вст вещи ихъ настоящими именами, —мъсяцъ называешь просто мѣсяцемъ, а не воздушною или небесною ночною лампадою! Ахъ, если бы зналъ ты, какъ уменъ твой глупый отвътъ: "мы не путешествуемъ, а тдемъ изъ Москвы въ Мордасы; мыне путешественники, а просто-дворяне; фдемъ-себф въ деревню"...

Иванъ Васильевичь, кинжнымъ языкомъ, толкуеть своему спутнику о пользъ путешествій, п Василій Ивановичь, ничего не понимая, но смутно предчувствуя, что юноша несетъ страшную дичь, отвъчаетъ ему: "Вотъ-съ". Иванъ Васильевичъ,

съ риторическимъ восторгомъ, говоритъ о своихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлъніяхъ, о пользъ, которую сдълаеть его книга; Василій Ивановичъ наконецъ объясияется напрямки: "Ты все такое мелешь странное". Пванъ Васильевичь толкуеть о своей любви и своемь уважении къ русскому мужику и русскому барину, и о своей ненависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Васплій Ивановичь, челов'якь умный по привычкі, п потому совершенно чуждый и благогованія къ мужику и барину, и презрѣнія къ чиновнику-такъ какъ всъхъ ихъ онъ находить въ порядкъ вещей, спрашиваеть: "А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновниковъ?" Иванъ Васильевичъ прибъгаеть къ уловкъ всъхъ людей, которые ничего не въ состояніи понять въ ндет, въ принципт, въ источникъ, а все понимаютъ случайно, и раздъляетъ чиновинковъ на благородныхъ, которыхъ онъ уважаеть, и на такихъ, которыхъ презпраетъ за ихъ трактирную образованность, за отсутствіе въ нихъ всего русскаго, за взяточничество. Отсутствіе всего русскаго — и взяточничество! Каковъ?.. Браня чиновниковъ, онъ восхищается мужиками, увърня, что ничего не можетъ быть красивъе и живописиъе ихъ. "Въ мужикъ, -- говоритъ онь, — тантся зародышь русскаго богатырскаго духа, начало нашего отечественнаго (народнаго, національнаго) величія". -- "Хитрыя бывають бестіп!"—зам'ятиль Василій Ивановичь... Апологисть не смѣшался отъ этого замѣчанія, совершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ, но которое тъмъ поразительнье, чъмъ невиниве и простодушнъе, —и поставилъ въ огромную заслугу мужнку его, будто бы, способность еделаться, по желанію (желательно бы знать, по чьему?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, управителемъ, чемь угодно. Если хотите, -- это, къ сожалению, справедливо: изъ страха, или изъ корысти, русскій человѣкъ возьмется за все, вопреки мудрому правилу:

Бъда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человъку хоть Аполлона Бельведерскаго: онъ не сконфузится, --и топоромъ и скобелью сдълаеть изъ еловаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будеть божиться, что его работа настоящая нѣмецкая. Потому-то русскіе покупатели такъ страстны къ пностранной работъ и такъ боятся отечественныхъ издёлій. Конечно, способность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, имжетъ свою хорошую сторону и иногда творитъ чудеса: противъ этого мы ни слова. Но въдь иногда совсъмъ не то, что всегда, и tour de force, какъ дъло случайности и удачи, совсъмъ не то, что свободное произведение таланта или природной способности, развитой правильнымъ ученіемъ. Умы поверхностные любять увлекаться блестящимъ, бросающимся въ глаза, нарадоксальнымъ; но умъ основательный не позволить себф увлечься лицевою стороною предмета, не посмотръвъ на изнанку; естественное и простое онъ всегда предпочтеть насильственному и хитрому.

Есть, однако-жъ, въ апологін Ивана Васитьевича мысль очень умная и дільная—о гнусности и вреді существа, называемаго дворовымъ человівкомъ; есть часть истины и въ его одностороннемъ взглядів на чиновника, какъ потомка двороваго человівка.

"Дворовый не что иное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый обрить, ходить въ длиниополомъ сюртукъ домашняго сукна. Дворовый служить потвхой праздной лени и привыкаеть къ тупеядству и разврату. Дворовый уже пьянствуеть и воруеть, и важничаеть, и презираеть мужика, который за него трудится и платить за него подушныя. Потомь, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый вступаетъ н въ конторщики, въ вольноотпущенные, въ приказные: приказный презираеть и двороваго, и мужика, и учигся уже крючкотворству, и потихоньку оть исправника подбираеть себъ куръ да гривенники. У него сюртукъ наиковый, волосы примазанные. Онъ обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спускается еще на ступень инже, дълается писцомъ, повытчикомь, секретаремъ и, наконецъ, настоящимъчниовинкомъ. Тогда сфера его увеличивается; тогда получаеть онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, и приказнаго, потому что они, изволите видъть, люди необразованные. Онъ имъеть уже высшія потребности н потому крадеть уже ассигнаціями. Ему въдь надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть въ банчикъ, вздить въ тарантасв, выписывать для жены чепцы съ серебряными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ малъйшаго зазрѣнія совѣсти вступаеть на свое мѣсто, какъ купецъ вступаеть въ лавку, и торгуетъ своимъ вліяніемъ, какъ товаромъ. Попадется иной. другой... "Ништо ему", - говорять собратья-Берн, да умъй" (стр. 30-31).

Пъйствительно, эта генеалогія, отъ двороваго черезъ конторщика изъ вольноотпущенныхъ, и приказнаго до чиновника, не только остроумна, но н отчасти справедлива. Реформа Петра Великаго, которой основнымъ принципомъ было преимущество личныхъ достоинствъ или способностей надъ породою, пересоздала двороваго въ подъячаго, подъячій родиль приказнаго, приказный — чиновника. Итакъ, дворовый-яйцо, подъячій-червь, приказный-куколка, чиновникъ-бабочка! Тутъ, какъ видите, есть развитіе, и каждая новая ступень выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до "чиновника", но, темъ не мене, мы чужды всякаго несправедливаго и односторонняго недоброжелательства къ сему почтенному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согласиться съ Иваномъ Васильевичемъ, что лучшія сословія у насъ-мужнкъ и баринъ, а худшее - чиновникъ. Пусть образование чиновника трактирное, какъ увъряетъ Иванъ Васильевичъ; пусть онъ пьетъ донское, курить жуковскій, фадить въ тарантась и выписываеть для жены своей чепцы съ серебряными колосьями да шелковыя платья: во всемь этомъ есть своя хорошая сторона, которая состонть въ томъ, что формы жизни чиновинка близко подходять къ формамъ жизни барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ поступаетъ въ кадетскій корпусь, и оттуда выходить хорошимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ университетъ, откуда для пего открыты честные и благородные

пути на всё поприща жизни, и онъ всегда способень съ честію идти по одному разъ избранному имъ поприщу; онъ можетъ быть ученымъ, художникомъ, литераторомъ, -словомъ, всёмъ, чёмъ можеть быть и баринь. Скажуть: кто же не можеть, н почему это привилегія сына чиновника?-потому, -- отвъчаемъ мы, -- что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ службѣ университетскимъ образованіемъ, ученый, профессоръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ купцовъ, изъ духовнаго званія, — всв они — больше нсключенія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всф они находятся въ прямой противоположности съ формами жизни сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, они спъшать выйти изъ своего сословія, съ которымъ чувствують себя навѣкъ разорванными черезъ образованіе, и, следовательно, спешать увеличить собою чиновническое сословіе. Какъ?--спросять насъ,да какое же отношеніе между музыкантомъ, напримъръ, и чиновникомъ? — Очень большое: ихъ связываеть одинаковость формъ жизни. И потомуто сынъ чиновника, сдълавшись, напримъръ, ученымъ или художникомъ, какъ будто совсемъ не выходить изъ своего сословія: его костюмь тотъ же, комнаты тѣ же, образъ жизии тотъ же, отъ утренняго чаю или кофе-до поклона знакомой дам'в, или до танца съ нею на бал'в. Скажемъ прямье: формы жизни чиновника могуть быть ньсколько грубъе, аляноватъе формъ жизни барина, но сущность тъхъ и другихъ совершенно одинакова, и чиновникъ изъ бъдныхъ людей, котораго образованіе допустить въ світскій кругь, никогда не будеть такимъ странцымъ исключеніемъ, какимъ быль бы человъкъ изъ другого сословія, особенно купеческаго. Чиновническое сословіе играеть въ Россін роль химической печи, проходи черезъ которую люди мёщанскаго, купеческаго, духовнаго и, пожалуй, двороваго сословія теряють р'язкія п грубыя вившности этихъ сословій и, отъ отца къ сыну, вырождаются въ сословіе баръ. Это потому, что въ Россіи чинъ, обязывая человъка носить европейскій костюмъ и держаться европейскихъ формъ жизни, вмъстъ съ тъмъ обязываетъ его во всемь тянуться за бариномъ. Сверхъ того, между бариномъ и чиновникомъ — не во гитвъ будетъ сказано всёмъ Иванамъ Васильевичамъ — существуетъ болъе живая и кръпкая связь, нежели между бариномъ и мужикомъ, купцомъ, духовнымъ или человъкомъ изъ другого какого-либо сословія, — это все чиновничество же. Развѣ баринъ не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ, не служащихъ и не имъющихъ чина? Скажутъ: опи служать въ военной. Неправда! Ихъ больше въ статской, и статскою службою по большей части оканчивають и тв, которые начали съ военной. А сколько тенерь дворянъ, сдѣлавинхся дворянами черезъ службу? Два-три поколенія-и вы ни въ какой телескопъ не отличите ихъ отъ родового дворянства. Что же касается до взяточничества, право, никому не легче давать взятки засъдателю или исправнику, нежели стряпчему, или писцу квар-

тальнаго, потому что взятка—все взятка, кто бы ни взять ее съ васъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что въ Петербургъ, напримъръ, служащіе въ министерскихъ денартаментахъ чиновинки не подвержены никакому упреку въ этомъ отношеніи. Вообще это предметь, о которомъ... о которомъ мы не хотимъ больше говорить, "ттобъ гусей не раздразнить". Иванъ Васильевичъ—гусь породистый: маменька его была татарская княжна,—и потому для него нужна генеалогія людей. Мы, съ этой стороны, совсъмъ въ другомъ положеніи,—и намъ нисколько нѣтъ нужды до того, кто былъ отецъ этого человъка; для насъ важно одно: каковъ самъ этотъ человъкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень много хорошаго о состоянін, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и но своему верхоглядству сложиль всю вину на богатыхъ дворянъ (стр. 32). Мы не беремся объяснить это явленіе, и скажемъ только, что все, что есть или что сделалось, есть и сделалось по причинамъ пеотразимымъ и съ самаго начала носило въ себѣ сѣмена своего будущаго состоянія. Объ этомъ бы и следовало говорить Ивану Васпльевнчу или ничего не говорить. А іереміады-то мы слыхали и не отъ него, и онв всвит надовли, потому что ихъ способенъ повторять всякій человёкъ, не умінощій порядочно связать двухъ идей. Что поваго въ этнхъ, напримфръ, словахъ Ивана Васильевича: "Всъ старинныя имена наши исчезають. Гербы нашихъ княжескихъ домовъ развалились въ прахъ, потому что не на что ихъ возстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовыя свои вотчины оборотливымъ купцамъ, которые въ роскошныхъ палатахъ поделали себе фабрики" (стр. 33). Какая же, по мивнію Ивана Васильевича, причина этого важнаго явленія?— "Попромотались на праздники, на театры, на любовницъ, на всякую дрянь" (ibid.)... Знаете ли, на что похоже подобное объяснение? Вопросъ: Отчего умерь этоть человькь? Отвыть: Оть бользни.—Хорошо; но отчего онъ заболъть, и почему онъ умеръ отъ этой болъзни, когда другой, у котораго была та же самая бользнь, не умеръ отъ нея? Но это сравнение еще не совстмъ върно: человъкъ можетъ умереть отъ случайности, а случайность не объясняется общими законами; измъненіе же или упадокъ цёлаго сословія не можетъ быть деломъ случайности, -- и мотовство тутъ илохое объяснение. Что праздники, театры и любовницы богачей нашего времени передъ роскошью вельможъ прошлаго въка! Однако-жъ, имъ доставало своихъ средствъ... Нътъ; подобный вопросъ надо было или решить поглубже и поосновательнье, или вовсе не браться за него. Василій Ивановичь гораздо лучие рёшиль его. "Что думаете вы о нашихъ аристократахъ?"-спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. "Я думаю,—сказалъ Василій Ивановичь, —что на станцін намъ не дадуть лошадей".

Описаніе станцін превосходно: при каждой строк'в такъ и хочется вскрикпуть: "Зд'єсь русскій духъ,

здѣсь Русью пахнетъ". Анекдотъ станціоннаго смотрителя о генераль прекрасень и самь по себь, и по тому восторгу, въ который привелъ онъ Василія Ивановича. Описаніе жилища, или, лучше сказать, логовища, въ которомъ помъщается станпіонный смотритель и въ которомъ такъ в'фрио, какъ въ зеркалъ, отражаются его духъ, понятія и наклонности, -- это описаніе -- верхъ мастерства, и хотя некоторые правоописательные романисты, они же п критики, объявили, ради весьма понятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ иншетъ въ поверхностномъ родф, однако, для насъ одна страница въ "Тарантась", которая знакомить читателя съ покоями станціоннаго смотрителя, въ тысячу разъ лучше всъхъ нравоописательныхъ и нравственносатирическихъ романовъ. Превосходенъ также этотъ вскользь, но вёрпо обрисованный майоръ, который, въ ожиданіи лошадей, всёмъ говориль "ты" н всемъ разсказалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичь трепаль по плечу, приговаривая: "военная косточка!" (стр. 43). Никъмъ не подозръваемый изъ чаявшихъ движенія лошадей, внезапный проёздъ тайнаго советника, для котораго у станціоннаго смотрителя нашлись лошади, есть истинно-художническая черта, которая удивительно верно доканчиваетъ картину "станпін". За станцією следуеть гостиница, но въ промежуткъ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской жизни съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастіе: отъ тарантаса были отрѣзаны два чемодана и нъсколько коробовъ, а съ ними пропали ченчикъ и тюрбанъ отъ мадамъ Лебуръ, съ Кузнецкаго моста, пріобрѣтенные для Авдотьи Пе-

Прівхавъ на станцію, онъ бросился къ смотрителю съ жалобой и просьбою о помощи. Смотритель отвёчалъ ему въ утёшеніе: "Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уже не въ первый разъ. Вы туть въ двинадцати верстахъ проъзжали черезъ деревню, которая тъмъ извъстна: все шалуны живуть .

- Какіе шалуны?--спросиль Иванъ Василье-

Извъстно-съ. На большой дорогъ шалятъ ночью. Коли заснете, какъ разъ задній чемоданъ отріжуть.

Да это разбой!

Нътъ, не разбой, а шалости. — Хороши шалости,—уныло говорилъ Василій Нвановичь, отправляясь снова въ путь. — А что скажеть Авдотья Петровна? (стр. 47).

Иванъ Васильевичь торопится во Владиміръ, которымъ онъ, какъ древнимъ городомъ, прекрасно можетъ начать свои путевыя впечатлънія. "Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивановичъ, что я... и не я одинъ, а насъ много, ты хотимъ вы путаться изъгнуснаго просвёщенія Запада п выдумать своебытное просвищение Востока" (ibid.). И эту дичь Иванъ Васильевичъ несетъ простодушно, безъ всякой задней мысли... Какой

Наконецъ путешественники наши во Владимірѣ, въ губериской гостиницѣ, которая изображена и върно, и оригинально.

- Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у полового.
 - Все есть, отвъчалъ надменно половой.
 - Постели есть?
 - Никакъ иътъ-съ.
 - А что есть объдать?
 - Все есть.
 - Какъ все?
- Щи-съ, супъ-съ. Биштексъ можно сдълать. Да вотъ на столъ записка, прибавилъ половой, гордо подавая сърый лоскутокъ бумаги.
 - Иванъ Васильевичъ принялся читать:
 - Обътъ. Супъ. – Липотажъ.
 - 2. Говядина. Телятина съ цидрономъ.
 - 5. Рыба.—Раки. 4. Соусъ.—Патиша.

 - 5. Жаркое. Курица съ рысью.
 - Хлъбенное. Желе сапельсиновъ,

На вопросъ о винахъ половой тоже съ увфренностію отвѣчалъ: "Какъ не быть-съ? Всѣ вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мадера, лафиты есть. Перваншія вина". Нечего и говорить, что онъ сбиралъ на столъ долго, перемънялъ и встряхивалъ грязныя салфетки, и что пичего ни фсть, ни пить не было возможности. Это, однако-жъ, не помѣшало Василію Ивановичу ѣсть за тронхъ, -- русскій баринъ! Лежа на сѣнѣ и поворачиваясь съ боку на бокъ, Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостиницы на німецкій ладъ в мечтать о заведенін гостиницы на русскую стать. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ на этотъ предметъ, но дела, по своему обыкновению, не сказалъ. Гоняясь за теоретическими, отдаленными причинами, опъ не увидълъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, что дело следано, и воротить его невозможно; что все на Руси, волею или неволею, тянется за европензмомъ и коверкаетъ его на монгольскую стать. Иванъ Васильевичъ, видно, не бывать въ губерискихъ трактирахъ, гдф по-русски угощается русскій людь: тогда бы онъ понядь, почему вст дряпную гостиницу предпочитають хорошему трактиру. А что наши губернскія гостиницы скверны, въ этомъ виноваты не отсутствіе національнаго элемента, не подражаніе вижшнему европензму, а просто-на-просто отсутствіе конкурренцін между заведеніями такого рода. Въ иномъ губернскомъ городъ одна гостиница, и та плоха до невозможности, потому что пуста и ръдко принимаетъ гостей; а Торжокъ — уъздный городъ, и въ немъ двъ гостиницы, одна сносная, а другая даже порядочная, оттого, что, по значительному числу профажающихъ, обф могутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, "ларчикъ просто открывался", но Иваны Васильевичи не любять простыхъ причинъ, которыя не дають предмета для риторики и вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Васильевичъ, по своему невъдънію, не много нашель удовольствія въ созерцаній древностей. Не понимаемъ, какъ не догадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное пожалъть, что пе имъють о нихъ никакого понятія. А въдь это фактъ, о которомъ можно пораздуматься.

Туть естественно представляется вопросы: кто виповать въ этомъ равподушін-люди или древности?.. Вёдь любовь къ родному, къ древностямъ, къ исторіи должна быть непосредственная, живая, самородная, а не кинжная, не искусственная, и если на что само собою не откликается цилое общество, это едва ли стоить изученія и едва ли не нѣмо само по себъ... Но если Иванъ Васильевичъ пичего не узналъ о древностяхъ Владиміра, зато хорошо узналь его настоящее положение какъ губерискаго города. Сдблавъ яркую и върную характеристику губерискаго города (стр. 64-68), которая, право, въ тысячу разъ стоптъ больше всякой, самой ученой диссертаціи о гиклыхъ древностяхъ, —пріятель Ивана Васильевича разсказываетъ ему свою исторію, по имени которой эта глава названа "простою и глупою исторією". Тутъ много вфриаго и правдиваго, хотя въ цёломъ разсказъ преобладаеть догматическій и правоучительный тонъ. Разсказъ начинается съ опредъленія на службу въ Петербургв. "Жить въ Петербургв и не служить-все равно, что быть въ водъ и не илавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ департаментомъ, и даже строенія его глядять министрами, директорами, столоначальниками, съ форменными ствнами, съ вицемундирными окнами. Кажется, что самыя нетербургскія улицы разделяются, по табели о рангахъ, на благородныя, высокоблагородныя и превосходительныя" (стр. 72). Но служба не далась пріятелю Ивана Васильевича, что онъ приписаль своему невъжеству. Странное уничижение! "Служба-лестница. По этой лестнице ползають, шагають, карабкаются и прыгають люди зеленаго цвъта, то толкая другь друга, то срываясь отъ неосторожности, то заценлялсь за фалды надежнаго жвилибриста; немногіе идуть твердо и безь помощи. Немногіе думають объ общей пользі, но каждый думаеть о своей. Каждый номышляеть какъ бы схватить крестикъ, чтобъ новажничать передъ собратіями, да какъ бы набить карманъ потуже. Не думай, впрочемъ, чтобъ петербургские чиновники брали взятки. Сохрани Богь! Не смъшивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, братець, дъло подлое, опасное и притомъ не советьмъ прибыльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогь къ той же цёли. Займы, аферы, акціп, облигацін, спекуляцін... Этимъ способомъ, при ивкоторомъ служебномъ вліннін, при удачной см'єтливости въ делахъ, состоянія точно также наживаются. Честь спасена, а деньги въ карманъ" (стр. 72-73). Не нонимаемь, зачёмь же пость этого нужны для службы науки и образование? Тутъ нужны, напротивъ, гибкая епина, ловкость акробата и практическая способность пріобрѣтать благонамъреннымъ образомъ.

Разсказчикъ пустился въ свътъ. Слѣдуютъ моральныя нападки на гибельную страсть низшихъ сословій тянуться за высшими, бѣдныхъ за богатили. Потерянное время, потерянныя слова! Сколько на толкуй зпатный ничгожному, сколько ни увѣряй бътатый бѣднаго, что онъ, инчтожный, такъ же осуждень судъбою на пичгожество, какъ онъ, знат-

ный, определень на знатность; что онь, бедный, такъ же осужденъ судьбою на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ для богатства: ничтожный и бедный никогда не будуть такъ глупы, чтобъ простодушно повърнть подобнымъ увъреніямъ. Никто изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и хуже другого, — и лезть наверхь, где такъ спокойно и безопасно, вийсто того, чтобъ ползти внизъ, въ грязь, подъ ноги другихъ, служа имъ мостовою,--это такой же инстинкть, какъ нить и фсть. Только сильные и богатые убъждены, что хорошо быть слабымъ и беднымъ, и то до техъ поръ только, пока не ослабъють и не объдньють сами; но лишь случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убъжденіе. И потому, право, давно бы пора оставить эту риторическую мораль, потому что теперь уже нътъ такихъ людей, которые допустили бы убъдить себя въ ней. Свътскость пріятеля Ивана Васильевича кончилась тёмь, что онь въ конець разорился, и для поправленія обстоятельствъ рѣшился жениться, а для этого еще более сталь прикидываться богачомъ. Но, женившись, онъ узналъ, что и его супруга такимъ же образомъ дълала спекуляцію, выходя замужь. Жить было имъ нечымь. Ему хотылось въ деревню, а она, какъ женщина образованная и свытская, не хотьла и слышать о деревив, и потому помирились на Москвъ, гдъ онъ поналъ въ особенный кружокъ, "составляющій въ огромномъ городі нічто вроді маленькаго досаднаго городка. Этотъ городокъгородокъ отставной, отечество усовъ и венгерокъ, пріють недовольных всякаго рода, вертень самыхъ странныхъ разбоевъ, гориило самыхъ странныхъ разсказовъ. Въ немъ живутъ отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбіемъ,вообще все люди лѣнивые и недоброжелательные. Оттого и господствуетъ между инми духъ праздности и празднословія, и не даромъ называють этоть городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, болгать во что бы ин стало. Онъ разскажеть вамь, что серый волкь гуляеть по Кузнецкому мосту и заглядываеть во всв лавки; онъ поведаеть вамь на ухо, что турецкій султань усыновиль французскаго короля; онъ выдумаеть особую политику, особую Европу, -- было бы о чемъ поболтать" (стр. 80). Очень недурно еще это замвчаніе: "Пороки петербургскіе происходять отъ напряженной деятельности, отъ желанія выказаться, отъ тщеславія и честолюбія; пороки московскіе происходять отъ отсутствія діятельности, отъ недостатка живой цёли въ жизни, отъ скуки и тяжелой барской лени" (стр. 83). Насчетъ жены пріятеля Ивана Васильевича пошли по Москвъ силетии, за которыя онъ треналь одинъ хохоль и один усы н вызваль ихъ на дуэль. А между тъмъ жить ему съ женою было совершенно нечемъ, потому что онъ промоталь все до конейки. Такъ какъ "русский человъть кринст заднимь умомь", онъ тогда только замътилъ, что у его жены есть и хорошія качества, и что онъ ее любить; жена его поняла то же въ отношении къ нему. Вызванные имъ на дуэль хохоль и усы распорядились такъ, что его,

за вызовъ, отправили на телътъ во Владиміръ, гдъ онъ и обрътался подъ присмотромъ полицін, а жена его уъхала въ Петербургъ къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое впечатлъние и заставилъ призадуматься. Онъ вспомнилъ о своемъ путешестви:

"Въ Германін удивила меня глупость ученыхъ; въ Италін страдалъ я отъ холода; во Францін опротивѣла миѣ безиравственность и нечистота. Вездѣ нашелъ я подлую алчность къ деньгамъ, грубое самодовольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на совершенство. И поневолѣ полюбилъ я тогда Россію и рѣшился посвятить остатокъ дией на познаніе своей родины. И похвально бы, кажется, и негрудно.

"Только теперь воть вопросъ: какъ ее узнаешь? Хватился я сперва за древности, нътъ. Думалъ изучить губерискія общества, -губернскихъ обществъ нътъ. Всъ они, какъ говоратъ, форменныя. Столичная жизнь — жизнь не русская, перенявшая у Европы и мелочное образованіе, и крупные пороки. Гдв же искать Россію? Можеть быть, въ простомъ народь, въ про-стомъ вседневномъ быту русской жизни? Но воть и ъду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и, хоть, что хочешь, дълай, инчего отмътить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, земли столько. что глаза устають смотрыть, дорога скверная... 1.0 дорог видуть обозы .. мужики ругаются... Воть и все... а тамъ, -то смотритель пьянъ, то тараканы по ствиамъ ползають, то щи сальными свечами пахнуть... Ну, можно ли порядочному человъку заинматься подобною дрянью?.. И всего безотрадите то, что на всемъ огромномъ пространствъ господствуеть какое-то ужасное однообразіе, которое утомляеть до чрезвычайности и отдохнуть не лаетъ... Ибтъ ничего новаго, инчего неомидан-наго. Все то же да то же... и завтра будетъ. какъ нынче. Здъсь станція, а тамъ еще та же етанція; здёсь староста, когорый просить на годку, а тамъ опять до безконсчиости все старосты, которые просить на водку... что же я стану писать? Теперь я понимаю Василія Ивановича. Онь въ самомъ деле быль правъ, когда увъралъ, что мы не путешествуемъ, и что въ Россін путе-нествовать невозможно. Мы просто ъдемъ въ Мордасы. Пропали мон впечативнія: " (стр. 85-89).

Бѣдый Иванъ Васильевичъ! Жалкая карикатура на Донъ-Кихота! У него голова устроена рѣшвътельно вверхъ ногами: тамъ, гдѣ земля усѣяна развалинами рыцарскихъ замковъ и готическими соборами, онъ видѣтъ только мельищы и барановъ и сражался съ шими: а тамъ, гдѣ только мельищы и бараны, онъ видетъ рыцарей... Въ уѣздиотъ городишкѣ онъ справниватъ у мужика:

"А что здвев любонытнаго?" — Да чему, батюшка, быти любонытнопу! Кажиев, инчего ивтв. "Древнихъ строеній ивть?" Инкакъ ивтьсъ... Да, бишь... былъ, точно, леревянный острогъ; печа сказать, никуда не годилел... да и тоть въ прошеднемъ году сгорфлъ. — "Давно, видно, былъ ностроенс?" Ивтьсъ, не такъ давно.—а лъсомъ мошененить подрядчикъ надуят совсъмъ. Хороню, что и сгорфлъ... право-съ. - "А много здвеь живущихъ" Нашей братьи мъщанъ довольно-съ, а го служащіе только.—"Городинчій?" — Да-съ, изкатепое дело, городничій, судья, неправникъ и проче— весь комплектъ.—"А какъ они время проводять?"—Въ присутствіе ходять, пуншты пьють, картниками тъпател... Да бишь—теперь у насъ за городомъ цыганскій таборъ, такъ воть они по-

вадились въ таборъ таскаться. Словно московскі баря или купецкіе сынки. Такой куражъ, что чудо. Судья на скрипкѣ играстъ. Артамонъ Ивановичъ, засѣдатель, отхватываетъ въ присядку; иу, и хмѣльного-то тутъ не занимать стать... Гуляютъ себѣ да и только. Эвтакая, знать, пація (стр. 90—91).

II воть наши нутешественники въ таборъ. Ивант Васильевичь прежде всего огорчился, увидъвъ на цыганкахъ жалкіе европейскіе костюмы: такой чудакъ! Потомъ онъ чуть не заплакалъ съ отчаннія, когда цыганки запъли не дикую кочевую ифеню, а русскій водевильный романсь. Вынувъ изъ галстуха золотую булавочку, ошь нодариль ее красавица Наташѣ, съ тѣмъ, чтобъ она ходила въ своемъ національномъ костюмі и не прав русскихъ пісенъ... Вольше этого быть шутомъ не позволяется человъку, и сентиментальное, донъ-кихотское фразерство Ивана Васильевича, въ этомъ сменномъ поступкъ, дошло до нослъднихъ предъловъ возможнаго. Что бы онъ могъ еще сдилать?-разви жениться на Наташф, замфтивъ въ ней какія-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, что уже сделаль опъ, чтобъ Наташа сменлась надунимъ цълую жизнь...

Зато степная патура Василья Ивановича илавала въ блаженствъ, онъ забывалъ и себя, и грозную свою Авдотью Петровну, улыбался, притопывалъ, прищелкивалъ, сыпалъ въ жадную толну двугривенными и четвертаками и прикрикивалъ; да вотъ эту ифсию, а вотъ ту", и т. д. Это для него была истипная итальянская опера, единственная, доступная ему. Въ заключеніе, онъ бросилъ пыганамъ десятирублевую ассигнацію... Это называется вирокимъ разметомъ русской дуни, богатырствомъ. Ипостранецъ выньетъ бутылку шампанскаго: русскій одну вышетъ, а другую выдьетъ на поль: мат этого иткоторые выводять такое следствіе, что у людей гийощаго Запада мышиныя натуры, а у насъ—чисто медвъжьи...

Эпизодъ объ интриев мънанина съ жевою частнаго пристава разсказанъ съ неподражаемымъ, истинно-художественнымъ совершенствомъ и превосходно заканчиваетъ собою картину жиъни увзунаго города...

Теперь послушаеми проповадь Ивана Васильевича протига русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой, Василью Ивановичу никакой нужды не было; это, однако-жъ, не помъщало его снутнику ораторствовать громко, фразисто, книжно, съ надугымъ восторгомъ и натянутымъ негодованіемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, -ншам стинкато стидамь объявить рашительно, что все, что ин иншется и ин издается въ Истербургв, все это-его сочинение,-Иванъ Васильевичь также рашительно объявиль безграмотному Василію Ивановичу, что литература теперь везді-торговля и снекуляція, и что "въ Евронів чистыя чувства задушены пороками и расчетомъ" (стр. 110). Что нужды, что Иванъ Васильевичь, какъ мы уже видели выше, ничему не учился, пичего не читалъ и-можно нобиться о закладъпонятія не имъетъ о нравственномъ движенін л литературт современной Европы: ему тъмъ легче корчить судью грознаго и неумолимаго и изрекать приговоры решительные и неизменные! Ведь Василію Ивановичу, который въ этомъ дёлё ничего не понимаеть ѝ совершенно равнодушенъ къ нему,--въдь ему все равно, и онъ не помъшаетъ болтать этому витязю, сражающемуся съ мельнидами п баранами... Всего больше досталось отъ него русской литературъ. Онъ раздълиль ее на двъ литературы: на благородную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую и бездарную. "Одна даровитая, но усталая, которая ноказывается въ люди радко, смпренно, иногда съ улыбкою на лицъ, а всего чаще съ тяжкою грустью на сердив. Друган наша литература, напротивъ, кричить на всъхъ перекресткахъ, чтобъ только ес приняли за настоящую русскую литературу, и не узнали про настоящую... Оттого наши даровитые писатели всегда удалялись и тенерь удаляются отъ ея прикосновенія, опасаясь быть замъщанными въ ея странную дъятельность " (стр. 111). Вотъ какіе бѣлоручки, подумаешь! Имъ нельзя писать и действовать потому только, что наша литература, подобно всемъ литературамъ въ мірѣ, бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имфетъ свои пятна, свои темныя стороны! Чтобъ они могли писать, для этого нужно сперва настрого запретить инсать всемь, кто, но ихъ миенію, недостоинъ писать въ то время, когда они сами изволять инсать! Иначе, они стануть поивляться на литературномъ поприще редко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, будутъ удаляться отъ его прикосновенія, опасаясь быть замъщанными въ его странную дъятельность! Иванъ Васильевичь и не подогрѣваеть, что подобными обсахаренными и переслащенными комплиментами онъ делаетъ смънными техъ, кого прославляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературъ имъстъ такое же ясное понятіе, какъ о евронейской, и что русскую литературу онъ изучалъ за-границею — по столовымъ картамъ въ трактирахъ. У кого есть талантъ, тотъ съ особеннымъ жаромъ дъйствуетъ именно тогда, когда въ литературф застой, бездарность и духъ спекуляціп. Только маленьніе таланты или таланты самозванные, прославленные въ своемъ кружко п признанные за геніевъ своими пріятелями, удаляются отъ литературы въ ся бфдвомъ, безномощномъ состоянін. Если наши таланты, истинные и большіе, ръдко напоминають о себт своими новыми произведеніями, — значить, или они лівнивы, или имь нечего писать, или не о чемъ писать. Можетъ быть, нашлись бы и другія причины, только советмь не тъ, о которыхъ декламируетъ Иванъ Васильевичь... Если ужъ предположить, что истинный талантъ можетъ не инсать изъ презрѣнія къ настоящему положение литературы, то ужъ не долженъ инсать совстмъ и инкого не сменить ръдкими появленіями, гасть приглавами невыдержаннаго характера. А между темъ изъ живущихъ генерь дитераторовъ и инсателей ийтъ ин одного, который бы хоть изредка не показывался, если

ужъ не съ чемъ-нибудь дельнымъ, то хоть со стишками: въдь привычка—другая натура! Когда начиналась "Вибліотека для Чтенія", въ нее всь бросились съ своими вкладами, отъ Пушкина и Жуковскаго до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать же имена, для доказательства, что и теперь нишутъ всъ, которые и прежде писали,-трудъ совсемъ лишній: нетъ решительно ни одного имени въ подтверждение такъ нелъпо выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ факта... Многимъ покажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, существующаго въ книгъ, а не въ дъйствительности. Въ томъ-то и горе, что Ивановъ Васпльевичей слишкомъ много въ дъйствительности; мы не даромъ говорили, что даровитый авторъ "Тарантаса" слинкомъ хорошо проникъ мыслію въ типъ людей этого рода и такъ хуложественно-вфрно воспроизведь его. Эти-то Иваны Васильевичи издавна уже твердять и повторяють, время отъ времени, будто нашимъ даровитымъ писателямъ то негдъ печататься, то вовсе нельзя инсать, по причинъ торговаго и недобросовъстнаго направления литературы, -- и мы очень рады случаю отбить охоту у этихъ господъ повторять подобныя нелъпости. Неанъ Васильевичь ва особенности сердить на русскую критику, какъ въ "Горъ отъ Ума" Скалозубъ сердитъ на басню и называеть ее "чудовищной неблагопристойностью". Это понятно: мыши не любять кошекъ. Извёстное дъло, Иваны Васильевичи-больше охотники "поинсать, иногда прозою, иногда стинками- какъ выкинется" (какъ говоритъ Хлестаковъ): но критика мъщаетъ имъ попастъ въ генін, т. с. выдавать всякій вздорь за удивительныя красоты ноэзін. Разум'яется, и русская критика, подобно всякой отрасли русской литературы, имфеть свои нятия и черныя стороны; но изъ этого не слъдуетъ бросать анавему на всю критику, которая принесла и приносить столько пользы и литературф, и публикф очишениемъ вкуса, преследованіемъ ложныхъ авторитетовъ и дожныхъ произведеній. Мы понимаемъ, впрочемъ, что разум'яютъ Иваны Васильевичи подъ критикою благородного и благопристойною: критику безъ убъждений, безъ принциповъ, безъ энергін, безч жара, безъ души. безъ оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную, -- критику, которая вытажаеть на общихъ мъстахъ, кадитъ признаннимъ знаменитостямъ за все, что бы на написали окъ, не смъсть признать новаго таланта, рабеки угождаеть своей партін и бросаеть каменки изъ-ла угла только иъ чужихъ, на которую кикто не сердится, которой никто не ненавидить, нотому что есъ презправоть ее. Такая критика есть полнос выражение слабенькихъ и ношленькихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько поразить пенавистиую ему критику, Иванъ Васкльевичь представляеть ее въ видъ заморскаго шута, который коверкается передъ мужиками, а мужики на него не хотять и смотръть: очень остроумно! жаль только, что ин мало не правдоподобно и натяпуто, потому что критика иншется не для

мужиковъ, а мужики не имбють ин мальйшаго понятія о ея существованін. "Русскій челов'єкъ" (продолжаетъ декламировать Иванъ Васильевичъ) не отзовется ин на одинъ голосъ, ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родныя картины, чтобъ забилось его сердце, чтобъ засвѣтлѣло въ его душѣ". Что за фразы! какая риторика!.. Далъе Иванъ Васильевичь предлагаеть решительную меру: выбросить за окошко все, что сделано слишкомъ столетіемъ и что действительно существуеть, и замёнить это гъмъ, что проблематически существуеть въ головахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ — ему все нипочемъ! Сказано — и сдълано! Въ заключение, онъ зоветъ нашихъ поэтовъ н инсателей въ мужицкую избу-набираться тамъ мудрости. Особенно совътуетъ онъ слушать со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ этихъсловахъ, но его убъжденію, заключается богатое содержаніе для литературы... Что за пустой человъкъ Иванъ Васильевичъ!..

Тарантасъ новстръчалъ карету, у которой опустилась рессора и лопнула шина. Въ каретъ Иванъ Васильевичь узналь русскаго князя, съ которымъ познакомился за-границей. Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ галиинзмами, кричить на ямщиковъ и лакеевъ и каждому сулить по нятисоть палокъ. "Въ деревню вду (говорить киязь Ивану Васильевичу). Нечего увлать. Вурмистръ оброка не высылаетъ; чортъ ихъ знаетъ, что иншутъ. Неурожай у нихъ тамъ какой-то: деревня какая-то сгорьла. А мив что за діло? Я-человінь европенскій,-я не мішаюсь въ діла своихъ крестьянь; пускай живуть, какъ хонта, голько чтобъ деньги доставляли аккуратно. И ихъ насквозь знаю. Такіе мошенники, что ужасти. Они думають, что я за-границей, такъ они могуть меня обманывать. Да я знаю, какъ надо поступать. Сыновей бурмистра въ рекруты, неплательщиковъ въ рабочій домъ, возьму весь доходъ на годъвнередъ, да на зиму въ Римъ" (стр. 122). Къ несчастію, портреть этого европенца не совсъмъ невъренъ: бывають такіе. Хуже всего въ этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные невъжды по нимъ дълаютъ свои заключенія о русскихъ путешественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодушнымъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бывають всякіе: одни, побывавъ за-границей, делаются еще хуже и деругся еще больнье; а другіе перемьняются къ лучшему и научаются уважать человъческое достоинство даже и въ своемъ собственномъ лакев...

Разъ Иванъ Васильевичъ быль не въ духѣ и, презрительно поглядывая на своего спутника, говорилъ про себя: "О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая природа, ты самъ пе что иное, какъ тарантасъ, уродливое создание, начименное дрянными предразсудками, какъ тарантасъ начиненъ перинами. Какъ тарантасъ, ты не видинъ ничего лучше степи, инчего далѣе Москвы. Лучъ просвъщенія не пробилъ твоей толстой шкуры. Вли тебя искусство сосредоточивается въ вѣтря-

ной мельинцъ, наука въ молотильной машинъ, а поэзія— въ ботвинь в да въ кулебякь. Дела тебъ ивть до стремленія ввка, до современныхъ европейскихъ задачъ. Были бы у тебя лишь щи, да баня, да погребець, да тарантась, да плесень твоя деревенская. Дубина ты, Василій Ивановичь!" (стр. 143). Вся эта филиппика устремлена противъ Василія Ивановича за то, что онъ не хотъль помедлить въ Нижнемъ и дать оратору время изучать Россію на ярмаркъ. По Василій Ивановичь тотчасъ же представился своему спутнику совстмъ съ другой стороны — истиннымъ благодътельнымъ пом'вщикомъ, точь-въ-точь какъ представляють ихъ въ дивертисманахъ на нашихъ театрахъ. Туть все дёло вертится на любви крестьянь къ господамъ, внушенной имъ уже самою природою, и еще на томъ, что Авдотья Петровна сама лѣчитъ больныхъ простыми средствами. Изъ всего этого выводится следствіе, что все хорошо, какъ есть, н никакихъ измѣненій къ лучшему, особенно въ иноземномъ духф, вовсе не нужно. Въ самомъ делф, къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гиплого Запада, къ чему они тамъ, гдё всякая безграмотная баба ум'веть лечить простыми средствами?.. Какъ бы то ни было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа!) чуть не расилакался при разсказ Василія Ивановича о томъ, какъ будеть онъ встреченъ своими мужнками, которые, на радости свиданія съ бариномъ, предстанутъ передъ его светлыя очи, кто съ индюкомъ подъ-мышкою, кто съ ковригой хлѣба. Эта сцена изображена на картинкъ: Васплій Ивановичь съ своею полурусскою и полутатарскою физіономією, а мужнчки съ греческими лицами героевъ "Иліады", —можеть быть, въ ознаменованіе того, что вев мужики-красавцы, и непріятныхъ физіономін между инми не бываеть.

Въ заштатиомъ городъ неизвъстнаго званія тарантасъ измѣнилъ довъренности друга своего. Василія Ивановича, и потребоваль починки. Кузнець впрочемъ, незнакомый съ развратнымъ Западомъзапросиль за починку 50 рублей, а согласился за три цёлковыхъ. Съ горя путещественники наши зашин въ харчевню напиться чаю. Тамъ сидели кунцы, чистые русаки, нисколько не знакомые съ развращеннымъ Западомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ онъ кунилъ у проигравшагося въ карты помещика скверной муки, смешаль ее съ хорошею, да и продаль въ Рыбинскъ за лучній сорть. "Что-жъ, коммерческое дъло!" — сказаль одинь. — "Оборотець извѣстный", — прибавиль другой (стр. 162). Разумьется, они пили чай, держа блюдечки на растопыренной интерив, и потъ ручьями катился съ ихъ физіономій---но попадаль ли въ блюдечки, объ этомъ авторъ ничего не говорить. Вообще купцы изображены превосходно, и наблюдательный талантъ автора торжествуетъ въ этомъ изображенін такъ же, какъ и везді, гді приходится ему изображать. Очень ловко сумъть онъ заставить ихъ высказываться передъ Иваномъ Васильевичемъ, который думаль, что онъ видитъ все это во сий-такъ пораженъ онъ быль принципами

этой особой "коммерцін", которая нзбёгаеть, по возможности, векселей и всякихъ формальностей и вертится на навыкѣ, рутинѣ, обманѣ и плутияхъ. Какъ ни убѣждаль онъ ихъ въ превосходствѣ правильной, систематической европейской коммерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ барыпничествомъ на авось, —кунцы остались при своемъ. Одинъ изъ нихъ, сѣдой, помолчавъ нѣсколько, сказалъ:

— Вы, можеть быть, кое-что, признательно сказать, и справедливое туть говорите, хошь и больно гровное. Да, изволите видѣть, люди-то мы пеграмотные. Дѣловь всѣхъ разсудить не въ состояніи. Какъ разъ подвернутся французы, да аферисты, заведуть компаніи, а тамъ, глядинь, и поклонился каниталу. Чего добраго, въ несостоятельные попадешь. Нѣть ужь, батюшка, по старому-то оно не такъ складно, да ладно. Нашь порядокъ съ-нзстари такъ ведется. Отцы наши такъ дѣлали и не промоталнеь, слава Богу, и каниталь намъ оставили. Да вотъ-съ, и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже, слава Богу, не промотали отцовскаго благословенія, да и дѣтей своихъ надълили. А дѣти пущай дѣлають, какъ знають. Ихпяя будеть воля... Да не прикачате ли, сударь, чашечку?

- Нъть, спасибо. - Одну хоть чашечку. - Право, не могу.

Со сливочками! (стр. 170).

Въ большомъ сель, гдъ былъ праздникъ, Иванъ Васпльевичъ пустился изучать русскую народность, но его аристократическій носъ безпрестанно отворачивался отъ народныхъ сценъ, которыя, какъ извъстно, бывають грязноваты не у насъ однихъ. Увидя молодицъ, онъ ноправилъ на себъ пальто и, въ надеждъ върнаго эффекта, подошелъ къ толиъ.

Однако, онъ опибел. Здоровая, румяная дѣвка указывала на него довольно нахально, обращаясь ть подругамы: "Впив какой облизанный нѣмецъ идеть!"

Молодицы засмъялись, а парень въ красной рубашкъ вмъшался въ разговоръ:

- Эка зубаетая Матрёха. Смотри, рыло разобые!

Магрёха улыбнулась.

- Винь больно напужаль... Озоринкъ этакой. Я и сама тресну, что сдачи не попросинь (стр. 220).

Насладившись этою сценою сельской идилліи и рыцарской любезности, нашъ изыскатель наткнулся на раскольника и попробоваль допроситься у мучика, что за секта, много ли у нихъ раскольниковъ и проч. Но на вев свои вопросы получалъ одинъ отвътъ: "по старымъ книгамъ". Далъе, ньяный солдать разсказываль, какъ онъ ходиль подъ турку, и объяснялъ причину войны тъмъ, что "турецкій салтанъ, по ихъ німецкому языку вишь государь такой значить, прислаль къ нашему царю грамоту: я хочу-де, чтобъ ты посторонился, а то жеста не даень; да изволь-ка еще окрестить всёхъ твоихъ православныхъ въ нашу языческую поганую въру", и проч. (стр. 225). Долго еще бродиль Иванъ Васильевичь, много еще видель пьяныхъ сценъ, — а народности все не нашелъ. Мимо его промчался на тройкѣ засѣдатель, и Ивань Васильевичь воскликнуль: "О, чиновники! Ужь не

вы ли, по привычет къ воровству, украли у насъ народность!" (стр. 231). Вотъ что называется съ больной-то головы да на здоровую! Ужъ не чиновники ли, по привычет къ воровству, украли у Ивана Васильевича способность смотрёть прямо на вещи? Или опъ не получить ся отъ природы? Нослёднее въроятнъе.

Какъ парочно, при входъ въ избу, на слъдующей станціи, Иванъ Васильевичь встретиль-ч иновника. Это быль исправляющій полжность исправника, выфхавшій навстрфчу губернатору. Василій Ивановичь пригласиль его съ собою напиться чаю и спросиль, давно ли онъ служить.-"Съ восемьсотъ четвертаго".—А ночему вы служите по выборамъ? — лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичь. Чиновникъ объяснилъ свое житье-бытье очень просто, безъ риторики-и Ивану Васплыевнчу отъ чего-то стало грустно... Народность онять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ занавъсъ стоявшей въ сторонъ кровати, онъ увидълъ на ней больного старика съ дътьми, и первое чувство этого европейца, который такъ гнушается развратнымъ просвъщениемъ Запада, этого либерала, который такъ любитъ толковать объ отношеніяхъ мужика къ барину, первое движеніе его было-обидъться, что простой станціонный смотритель осм'ялился не встать передъ нимъ, европейцемъ и либераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно лишился ногъ, и, по милости начальства, должность за него править его сынь, мальчикъ латъ одиннадцати. Ивану Васильевичу опять стало грустно, и его гитвъ на чиновниковъ утихъ.

Въёхавъ въ Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣшался: такую дичь понесъ о Западѣ и Востокѣ, притисиувшихъ между собою бъдное славянское начало, что у насъ рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановиться на этой декламаціи, въ которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ заходитъ. За нее Востокъ, въ лицѣ татаръ, надулъ Ивана Васильевича: продалъ ему за большія деньги разной дряни, которую опытный Василій Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и въ 15 рублей ассигнаціями.

Но воть мы уже у последней главы, которая оканчивается сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ истощилъ въ немъ всю пронію и чудесно дорисовалъ имъ своего миніатюрнаго Донь-Кихота. Вообще старикъ Дмитріевъ сказаль о снахъ великую истину: "Когда же складны спы бывають?" Прибавьте къ этому, что сонъ этоть видится такому человфку, какъ Иванъ Васильевичь, —и трепещите заранве. А между твиъ двлать нечего-станемъ бредить съ Иваномъ Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ обратился въ птицу и поналъ въ нещеру съ тынями, какъ мертвые призраки подъячихъ гнались за Иваномъ Васильевичемъ, ругали его подлецомъ и канальею и хотын растерзать живого. Намъ лучие хотвлось бы пересказать все, что видель онъ на землъ, мчавинсь на тарантасъ-птицъ по воздуху, но не умфемъ, а вынисывать цфликомъслинкомъ много. И потому, волею или неволею.

пропускаемъ даже возрождение русскаго тарантаса на европейскую стать и спѣшимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тъмъ княземъ, который недавно ругаль своихъ людей въ сломанной каретв. Встрвча воспоследовала въ Москве, которая, въ чудномъ сић, по своей архитектурћ, перещеголяла Италію. "На голов'в его (князя)была бобровая шапка, станъ быль илотно схвачень тонкимь суконнымь полушубкомъ на собольемъ мъху, а на ногахъ желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство" (стр. 274). Въ правственномъ отношенін князь такъ же измёнился, какъ и наружно; онъ уже считаетъ глупостью путешествія... Почему?—спросите вы.—Ужь не изъ патріотизмали?-Отчасти такъ.-Но,-скажете вы,-есливъ чемъ всего менте можно упрекнуть англичанъ, такъ это въ отсутствін или недостаткъ патріотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству переходитъ даже въ недостатокъ, въ порокъ, въ какое-то стъное и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому, — и между тімъ вся Европа наводнена англійскими туристами, особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но въдь не забудьте, что за человъкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все это онъ бредитъ во сив. Главная же причина, почему князь съ гордостію отвергаль въ русскомъ даже возможность желанія путешествовать, состоить въ томъ, что русскому, въ эти блаженныя времена желтых сафыяных сапожекь (какъ жаль, что эта люха не означена цифрами!), что русскому тогда незачимь будеть вкать ин на западь, ин на востоить, ин на югь, ин на стверъ, ибо въ огромнов Россін есть свой занадъ и востокъ, ють и съверъ. Изъ этого можно навврное заключить, что въ это вожделенное время, которое можеть телько представиться во сив, и то развъ какому-пибудь Ивану Васильевичу, въ госсін будеть свол Римь, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, свои Альны, своя Швейцарія, свой Гималай и Пидія, словомъ, будетъ все, чего иътъ тенерь, и что макить и раздражаеть любопытство путешественниковъ всехъ странъ. Далта, въ спо вожделенную желтосаножную эноху уже не будеть сущестровать между народами братскато размена идей, инпакихъ свяпен торговли, науки, образованности: и новый Гумбольдть уже не нобреть къ намъ изучать природу Уральскаго хребта!.. Исть, умъ лучие бы князь попрежнему проматывался за-границею и обнаруживаль свой евронензмъ илтыостами налокъ, чёмъ вдаваться въ такую дикую философію!.. Да! чутьбыло не забыли мы: из желто-саножную эноху будеть процеблать а в з а м а с с к а я пекола живописи, которая, вфратио, смінить собою нанішиво с уздальскую... Кимзь истезь-и Иванъ Васильевичь очупися въ обънтіяхъ своего наисіонскаго товарища-того самаго, которын на владимірскомъ бульварф разсвазываль ему о себв "простую и глуную исторію". Этотъ такъ же исправился, какъ и инязь, и съ свесю милою супругою сталъ идеаломъ семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтель въ томъ, что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бтденъ... Позвольте! опять чуть-было

не забыли мы одного изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-сапожной эпохи (въ которую процватеть Торжокъ, бойко торгующій сафьянными изділіями): въ эту желто-сафьянную эпоху будутъ равно отвратительны и тунелдцы, надувающіеся глупой падменностью, и желчные завистники всякаго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (наслѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности (стр. 277). Жаль, что Иванъ Васильевичь, постившій во сит эту славянофильскую эпоху, не выглядёль въ ней ничего на счетъ зависти нищей даровитости, нищей геніальности: вфроятно, таланты и генін будуть ходить въ красныхъ сапожкахъ, н потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. Обращаемся къ семейному блаженству пансіонскаго товарища Ивана Васильевича.

— Есть на земл'в счастіе!—сказалъ Иванъ Васильевичъ со вдохновеніемъ, — есть цёль въ жизни... и ева жаключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!.. Въда... по-

могите.. Балимся, падаемъ!..

Правъ Васильеничъ гдругъ почувствовать сильный толчокъ и, именнувиние обо что-то всем своей тижестью, вдругъ проснулся отъ сильнатулава.

_ \... что?.. что такое?..

— Баткинки, помогите,—умираю!—кричалъ Василій Пвановича.—Ето бы могъ подуметь... тарактаеъ спроизнулся.

Въ самомъ дблъ, тарантасъ лежалъ во ръу вверхъ колесами. Подъ тарантасмъ лежалъ Иванъ Васильсвичь, ещеломлениый немданиимъ наденемъ. Подъ Иваномъ Васильсвичемъ лежалъ Василій Иваневичь въ самомъ ужасномъ непуть. Книта путевихъ впечатавий утспула навъки на диб влажной пропасти. (Туда ей и дорога! — скажемъ ми отъ себя, Сепла висътъ виняъ гъловой зацъпясь негами за коздъ.

Одинъ иминиъ уситал выпутаться на вестромекъ и уже столтъ довольно равнодущие у спрокинутато таранта и... Сперва оглядълся от кругсмъ, иътъ ин ъдъ пожончи, а потомъ хлади-кровно сказалъ вопіощему Василію Ивановнчу:

- Пичего, таше благородіе!

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы съ талантомъ первой величины, не могъ лучие прервать вадорнаго сна и лучие закончить прекрасион кинги... Нелизя не согласиться, что юморъ автора "Тарангаса" темъ боле исполненъ глубины и желчи, что онъ замасъпрованъ удивительнымы нокочетьиемы, такъ что мфетами читателю можеть казаться, будто авторъ раздыляеть образъ мыслей свеего жалкаго и смъщесто героя, этого маленьнаго Донъ-Кихота въ мигиспоръ и въ карикатуръ. Между тъмъ ясло, что эта кинга, но ея тонкому и глуб жолу юмору, иранадлежить къ разряду книгь вродь "Épistobe obscurorum Virorum", "Hucema IOnia" a "Lettres Persannes" Монтескьё. Славянофилы, въ лица Ивана Васильевича, получили въ ней страшнын ударъ, потому что инчего нътъ въ міръ страшні д смъщного: смъщное-казнь уродинвихъ нелъностей. Какъ! эти люди... но оставимъ людей и воговорима объ однома человава-объ Нванв Басильевиче... Какъ! этотъ человекъ съ жидкою натурою, слабою головою, безъ энергін, безъ знаціл.

безъ опытности, съ одною мечтательностью, съ однеми пошлыми фантазійками, могъ вообразить, тто онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна своротить съ пути, указаннаго ей ся великимъ преобразователемъ!.. Комары, мошки хотятъ поправлять и передёлывать громадное зданіе, сооруженное исполиномъ!.. Близорукіе, косые, кривые и слѣные, они хотять заглядывать въ будущее и думають видёть его такъ же ясно, какъ и настояшее! Ихъ маленькому самолюбію не приходить въ голову, что и настоящее-то въ ихъ головъ отражается пев'трно, какъ въ кривомъ или разбитомъ зеркаль. Головы, устроенныя вверхъ погами, они мыслять вёчно заднимъ числомъ, и если имъ удается замётить кое-что такое, что всёмъ бросается въ глаза и что на всёхъ производитъ груетное и тяжелое внечатлъніе, -- они ждутъ исцъленія не отъ будущаго, но, вычеркивая настоящее (какъ будто бы его вовсе не было, или какъ будто бы оно не есть необходимый результать прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, котораго или вовсе не знають, или плохо знають, смотря на него въ очки своей фантазін, -- и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго salto mortale хотятъ выдвинуть это давно-прошедшее, мимо настоящаго, прямо въ будущее. Не нонимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, никакого времени (потому что кто живетъ вив настоящаго, современнаго, тотъ нигде не живетъ), новые Донъ-Кихоты, — они сочинили себъ одно изъ тьх нельпых убъжденій, которыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мертвомъ пониманін мертвой буквы, п изъ этого

убфжденія сдфлали себф новую Дульцинею тобозскую, ломають за нее перья и льють чериила. Не понимая, что у нихъ ивтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что невинное номѣшательство пользуется счастинвою привилегіею не им'ять враговъ), — они выдумывають, ищуть себь враговъ и думають видёть главнаго своего врага въ просвёщенін Запада; но Западъ не хочеть и знать о ихъ существованін: онъ идетъ себъ, куда указало ему Провиданіе, не замачая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянныхъ копій... Подобныя нельности давно уже требовали одной изъ тьхъ жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми можетъ поражать только художественный талантъ... "Тарантасъ" графа Соллогуба явился такою сатирою, исполненною ума, остроумія, мысли, юмора, художественности...

Мы все сказали. Прощайте-ягь, Пванъ Васильевичь! Спасибо вамъ: вы заняли насъ, вы и посердили, и позабавили насъ на свой счетъ. Прощайте, смъшной и жалкій Донъ-Кихотъ! Вѣчноспасибо вамъ за то, что вы сказали всему свѣту, какъ зовутся по имени и по отчеству люди извѣстнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильсвичами...

Прошан, "Тарантасъ"! прощай, кинга умнах, даровитал и — что всего важиће — кинга д в д ьна я! Благодаримъ тебя за наслажденія, которыми подарила ты насъ, и которыхъ, въроятно, долго, долго не дождаться намъ, потому что такія кинги и не у насъ рѣдко польляются...

(Отечественныя Записки. Томъ XL, 1845 г.).

HETEPBYPTO N MOCKBA.

Предки наши, принужденные въ кровавыхъ бояхъ познакомиться съ божінми дворянами п съ берегами Невы, консчно, не воображали, чтобъ на этихъ дикихъ, бѣдныхъ, низменныхъ и болотистыхъ берегахъ суждено было возникнуть Россійской имперіи, равно какъ не воображали они, чтобы Московское царство когда-вибудь сделалось Россійской имперіею. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто можетъ предузнать явленіе генія, и можеть ли толпа предвидьть пути генія, хотя этогъ геній и есть не что иное, какъ мысль, разумъ, духъ и воля самой этой толны, съ тою только развищею, что все, что тантся въ ней, какъ смутное предчуьствіе, въ немъ является отчетливымъ сознаніемъ? Въ концѣ XVII вѣка Московское дарство не представляло собою уже слишкомъ резкій контрасть съ егропевскими государствими, уже не могло болье двигаться на ржавыхъ колесахъ своего адіатскаго устройства; ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, п потому изъ него же самого Богъ воздвигъ ему генія, который должень быль сблизить его съ Европою. Какъ всв великіе люди, Петръ явился въ

пору для Россіи, но во многомъ не походиль онт. на другихъ великихъ людей. Его доблести, гигантскій рость и гордая, величавая наружность съ огромнымъ творческимъ умомъ и исполинскою волею, -- все это такъ ноходило на страну, въ которой онъ родился, на народъ, которын возгоздать быль онь призвань, страну безпредвлиную. но тогда еще не силоченную органически, народъ великін, по съ однимъ глухимъ предчувствіем с сьоей великой будункости. Поэтому Негръ самъ должень быль создать самого себя, и средства для этого самовосивтанія нанти не въ соществежних: элементахъ своего отечества, а виф его, и первымь нестуномь его было- отринаціе, (отершенные вевляды и фаналики обгинали его въ врезрфийн из родноч странф: но они обманивались: Петра тесно связивало съ Россисто обоимъ имъ родное и инчимъ непобидимое чувство своего великаго приграмія въ будушемь. Петръ страстио любиль эту Русь, которов самъ онь быль представителемь по прагу высшаго, отъ Бога истекалшаго избранія; по въ Россін онъ виділь дві страны-ту, которую онъ засталь, и ту, которую онь долженъ былъ создать: последней принадлежали

его мысль, его кровь, его поть, его трудъ, вся жизнь, все счастіе и вся радость его жизни. Ученикъ Европы, онъ остался русскимъ въ душъ, вопреки мивнію слабоумныхъ, которыхъ много и тенерь, будто бы европенамъ наъ русскаго человѣка дотженъ сделать не-русскаго человека, и будто бы, следовательно, все русское можеть поддерживаться только дикими и невѣжественными формами азіатскаго быта. Можва, столица Московскаго царства, Москва, уже по самому своему положению въ центръ Руси, не могла соотвътствовать видамъ Нетра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Съвернаго и Восточнаго океана и Каснійское море нисколько не могли способствовать сближение России съ Европою. Надо было немедля завоевать новое море. Два моря могъ онъ имъть въ виду для завоеванія-Черное и Валтійское. Но для перваго ему нужно имѣть Малороссію въ свозмъ полномъ подданствъ, а не подъ своимъ только верховнымъ покровительствомъ, а это совершилось не прежде, какъ по измѣнѣ Мазепы. Кром'в того, ему нужно было отнять у турокъ Крымъ и взять въ свое владъніе обширныя степныя пустыни, прилегающія къ Черному морю, а взять ихъ во владеніе-значило населить ихъ: трудъ несвоевременный! и притомъ къ чему бы повель онь? Столица на берегу Чернаго моря сблизила бы Россію не съ Европою, а развѣ съ Турцією, и насильственно притянула бы силы Россіп къ пункту столь отдаленному, что Россія имѣла бы тогда свою столицу, такъ сказать, въ чужомъ государствъ. Не такіе виды представляло Балтійское море. Прилежащія къ нему страны изстари знакомы были русскому мечу; много пролилось на инхъ русской крови, и оставить ихъ въ чужомъ владвий, не сувлать Валгійскаго моря границею Россіи - значню би сділать Россію навсегда открытою для непріятельскихъ вторженій и навсегда закрытою для спошеній съ Европою. Петръ слишкомъ хорошо поилль это, и война съ Швепісю но необходимости сділатась главнымь вопросомъ всей его жызни, главною пружиною всей его дъягельности. Ревель и особенно Рига какъ бы просились сделаться новою столицею Россінмъстомъ, гдъ русскій элементь лицомъ къ лицу столкнулся бы съ европейскимъ, не для того, чтобы погибнуть въ немъ, но принять его въ себя. Но Ревель и Рига саблались поздибе достояніемъ Петра, который вначаль хлопоталь не изъ мнотаго — только нав уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, въ ожиданія завоеваній, было некогда: ему надо было торониться жить, т. е. творить и уваствовать, - и нотому, когда Ревель и Рига единатись русскими городами, -- городъ С.-Иетербургъ существовалъ уже семь лъть, на него было уже истрачено столько денегъ, положено столько груда, а по причинъ Котлина острова и Невы съ ен четвернымъ устьемъ, онъ представляль такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положение, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другомъ мість для новой сто-

лицы. Онъ давно уже смотрълъ на Истербургъ какъ на свое твореніе, любиль его, какъ дитя своей творческой мысли; можеть быть, ему самому не разъ казалось трудною и отчаянною эта борьба съ дикою, суровою природою, съ болотистою почвою, сырымъ и нездоровымъ климатомъ, въ краю нустынномъ и отдаленномъ отъ населенныхъ мъстъ, откуда можно было получать продовольствіе, — но непреклонная сила воли надо всёмь восторжествовала; геній упорень потому именно, что онъ-геній, и чемъ тяжеле борьба, охлаждающая слабыхъ, твиъ больше для него наслажденія развертывать передъ міромъ и самимъ собою все богатство своихъ неисчерпаемыхъ силъ. Торжественна была минута, когда, при осмотръ дикихъ береговъ Финскаго залива, впервые заронилась въ душу Великаго мысль основать здъсь столицу будущей имперін. Въ этой минутв была заключена цёлая поэма, обширная и грандіозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ея содержанія этими немногими стихами:

На берегу пустынных волно Стояло Оно, думо великих полно, И вдаль глядголо... Предъ нимъ широко Ръка неслася; бъдный чолнъ По ней стремился одиноко; По минстымъ, топкимъ берегамъ Чернъли избы здъсь и тамъ, Пріють убогаго чухонца: И лъсъ, невъдомый лучамъ Въ туманъ спрятаннаго солица, Кругомъ шумълъ...

И думаль Онь: "Отсель грознть мы будемь шведу; Здёсь будеть городь заложень На зло надменному сосёду; Природой здже наль суждено Въ Езропу прорубить окно, Ногою твердой стать при море; Сюда, по новымь имъ волнамъ, Всё флаги въ гости будугь къ намъ, — И запируемъ на просторе".

Петербургъ строился экспромптомъ: въ мѣсяцъ ділалось то, чего бы стало ділать на годъ. Воля одного человъка побъдила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всемь расчетамъ вфроятностей, захотьла забросить столицу Россійской имперін въ этотъ непріязненный и враждебпый человъку природою и климатомъ край, гдъ небо бледно-зелено, тощая травка мешается съ ползучимъ верескомъ, сухимъ мхомъ, болотными порослями и сфрыми кочками; гдф царствуеть колючая сосна и печальная ель и не всегда нарушаеть ихъ томительное однообразіе чахлая береза-это растеніе сввера; гдв болотистыя испаренія и разлитая въ воздухѣ сырость проникають н каменные дома, и кости человѣка; гдѣ нѣтъ ни весны, ни лета, ни зимы, но круглый годъ свиръпствуетъ гиплая и мокрая осень, которая народируеть то весну, то льто, то зиму... Казалось, судьба хотёла, чтобы спавшій дотолів непробуднымъ сномъ русскій человікь кровавымь потомъ и отчаянною борьбою выработаль свое будущее, ибо прочны только тяжкимъ трудомъ одержанныя победы, только страданіями и кровью стяжанныя

завоеванія! Можетъ быть, въ болье благопріятномъ климать, среди менье враждебной природы, при отсутствін неодолимыхъ препятствій, русскій человькъ скоро возгордился бы своими легкими усивлами, и его энергія снова заснула бы, не усивъв даже и проснуться вполнть. И для того-то тоть, кто носланъ ему былъ отъ Вога, былъ не только царемъ и повелителемъ, дфиствовалъ не однимъ авторитетомъ, но еще болье собственнымъ примфромъ, который обезоруживалъ закоснтлое невъжество и въками взлелтявную льнь:

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ, Опъ всеобъемлющей душой На тронъ въчный былъ работникъ!

Несмотря на всю даятельность, которой исторія не представляеть подобнаго примъра, Петербургъ, оставленный Петромъ Великимъ, былъ слишкомъ бъдный и инчтожный городокъ, чтобъ о немъ можно было говорить, какъ о чемъ-то важномъ. Казалось, этому городку, обязанному своимъ насильственнымъ существованіемъ волѣ великаго человъка, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного изъ его наследниковъ могла осудить его на въчное забвение или на ничтожное чахоточное существованіе... Но здісь-то и является во всемъ блескъ творческій геній Петра Великаго: его иланы, его предначертанія должны были продолжаться вѣковѣчно. Таковы право и сила генія: онъ кладетъ камень въ основание новому зданию и оставляеть его чертежь; преемники дела, можеть быть, и хотъли бы перенести зданіе на другое мѣсто, да негдѣ имъ взять такого прочнаго камия въ основаніе, а камень, положенный геніемъ, такъ великъ, что съ человъческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его.

Нетербургъ не могъ не продолжаться, потому что съ его существованіемъ тѣсно было связано существованіе Россійской имперіи, смѣнившей собою Московское царство. И росъ Петербургъ не по диямъ, а по часамъ.

Прошло сто лъть-и юный градъ, Полночныхъ странъ краса и диво, Изъ тьмы лъсовъ, изъ топи блать, Вознесся пышно, горделиво. Гдъ прежде финскій рыболовъ, Печальный пасынокъ природы, Одинъ, у пизкихъ береговъ, Бросаль въ невъдомыя воды Свой ветхій неводъ,—нынъ тамъ По оживленнымъ берегамъ Громады стройныя тъснятся Дворцовъ и башенъ; корабли Толной со встхъ концовъ земли Къ богатымъ пристанямъ стремятся; Въ гранитъ одблася Нева; Мосты повисли надъ водами; Темнозелеными садами Ея покрылись острова; И передъ младшею столицей Главой склонилася Москва, Какъ передъ новою даридей Порфироносная вдова.

Такимъ образомъ, Россія явилась вдругъ съ двумя столицами—старою и новою, Москвою и Петербургомъ. Исключительность этого обстоятель-

ства не осталась безъ последствій болье или менье важныхъ. Въ то время, какъ росъ и украшался Петербургъ, по-своему измѣнялась и Москва. Вслѣдствіе неизбіжнаго вторженія въ нее европензмасъ одной стороны, и въ целости сохранившагося элемента старинной неподвижности-съ другой стороны, она вышла какимъ-то причудливымъ городомъ, въ которомъ пестръютъ и мечутся въ глаза перемѣшанныя черты европензма и азіатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный городъ! А походите по ней,-- и вы увидите, что ся обширности много способствують длинные, предлинные заборы. Огромныхъ зданій въ ней нѣтъ; самые большіе дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурнымъ достоинствомъ они не щеголяютъ. Въ ихъ архитектуру явно вмѣшался геній древняго Московскаго царства, который остался въренъ своему стремленію къ семейному удобству. Стонтъ часъ походить по кривымъ и косымъ улицамъ Москвы, -- и вы тотчасъ же замътите, что это городъ патріархальной семейственности: дома стоятъ особиякомъ; почти при каждомъ есть довольно обширный дворъ, поросшій травою и окруженный службами. Самый бедный москвичь, если онъ женатъ, не можетъ обойтись безъ погреба, н, при найм' квартиры, бол заботится о погребъ, гдъ будутъ храниться его съъстные принасы, нежели о комнатахъ, гдъ онъ будеть жить. Неръдко у самаго бъднаго москвича, если онъ женатъ, любимъйшая мечта цълой его жизни-когда-инбуди перестать шататься по квартирамъ и зажить своимъ домкомъ. И воть, съ горемъ ионоламъ, призвавъ на помощь родное "авось", онъ нокупаетъ или нанимаетъ на извъстное число лътъ пустопорожнее мѣсто въ какомъ-нибудь захолустьѣ, н літь пять, а иногда и десять строить домишко о трехъ окнахъ, покупая матеріалы то въ долгъ, то по случаю, изворачиваясь такъ и сякъ. И, наконецъ, наступаетъ вожделѣнный день переѣзда въ собственный домъ; домишко плохъ, да зато свой, и притомъ съ дворомъ, -- стало быть, можно и куръ водить, и теленка есть гдф пасти; но главное-при доминкъ есть погребъ, чего же болъе? Такихъ домишекъ въ Москвъ-непсчислимое множество, и они-то способствують ея общирности, если не ея великольнію. Эти домишки попадаются даже на лучшихъ улицахъ Москвы, между лучшими домами, также, какъ хорошіе (т. е. каменные въ два и три этажа) попадаются въ самыхъ отдаленныхъ и плохихъ улидахъ, между такими домишками. Для русскаго, который родился и жилъ безвывадно въ Иетербургв, Москва такъ же точно изумптельна, какъ и для иностранца. По дорогѣ въ Москву нашъ петербуржецъ увиделъ бы, разумъется, Новгородъ и Тверь, которые совстмъ не приготовили бы его къ зрълищу Москвы; хотя Новгородъ и древній городъ, но отъ древняго въ немъ остался только его кремль, весьма невзрачнаго вида, съ Софійскимъ соборомъ, примѣчательнымъ своею древностію, но ни огромностію, ни изяществомъ. Улицы въ Нов'єгород'є не кривы и

не узки; многіе дома своею архитектурою и даже цвътомъ напоминаютъ Петербургъ. Тверъ тоже не дасть нашему петербуржцу иден о Москвъ: ея улицы прямы и широки, а для губерискаго города она довольно красива. Слъдовательно, въжзжая въ первый разъ въ Москву, нашъ петербуржецъ въвдетъ въ новый для него міръ. Тщетно будеть онъ искать главной, или лучшей московской улицы, которую могъ бы онъ сравнить съ Невскимъ проспектомъ. Ему покажуть Тверскую улицу,--п онъ съ изумленіемъ увидить себя посреди кривой и узкой, по горъ тянущейся улицы, съ небольшою площадкою сь одной стороны улиды, —на которой самый огромный и самый красивый домъ считался бы въ Петербургв весьма скромнымь, со стороны огромности и изящества, домомъ; съ страннымъ чувствомъ увидёль бы онь, привыкшій къ прямымь линіямь и угламъ, что одинъ домъ выбъжалъ на нъсколько шаговъ на улицу, какъ будто бы для того, чтобы посмотръть, что дълается на ней, а другой отбъжаль на несколько шаговъ назадъ, какъ будто изъ спеси или изъ скромности, --смотря по его наружности; что между двумя довольно большими каменными скромно и уютно номвстился ветхій деревянный домишко и, прислонившись ствиами своими къ ствиамъ сосъднихъ домовъ, кажется, не нарадуется тому, что они не дають ему упасть и, сверхъ того, защищають его оть холода и дождя; что подлѣ великолѣпнаго моднаго магазина лѣпится себъ крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще болъе удивился бы нашъ петербуржецъ, почувствовавъ, что въ странномъ гротескъ этой улицы есть своя красота. И ношель бы онь на Кузнецкій мость: тамъ все то же, за исключениемъ деревянныхъ домишекъ, -зато увиделъ бы онъ каменные съ модными магазинами, но до того миніатюрные, что ему пришла бы въ голову мысль-ужъ не заёхаль ли онь, новый Гуливерь, въ царство лиллипутовъ... Хотя ил одинъ истинный петербуржецъ ничему не удивляется и ничъмъ не восторгается, но не удержался бы онъ отъ какого-инбудь громко произнесеннаго междометія, если бы, пройдя кругь опоясывающихъ Москву бульваровъ, -- лучшаго ея украшенія, которому Петербургь имбеть полное право завидовать, -- онъ, то спускаясь подъ гору, то подымаясь въ гору, видель бы со всехъ сторонъ амфитеатры крышъ, перемъщанныхъ съ зеленью садовъ: будь при этомъ, вмёсто церквей, минареты, онъ счелъ бы себя перенесеннымъ въ какой-нибудь восточный городъ, о которомъ читалъ въ Шехеразадъ. И это зръзнще ему понравилось бы, и онъ, по країней м'єрь, въ продолженіе весны и лета охотно не сталь бы искать столицы и города тамъ, гдь, взамыть этого, есть такіе живописные ландшафты...

Многія улицы въ Москвѣ, какъ-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, объ линін по сторонамъ Тверского и Никитскаго бульваровъ состоять пренмущественно изъ "господскихъ" (московское слово!) домовъ. И туть вы видите больше удобства, чёмъ огромности или изящества. Во всемъ н на всемъ печать семейственности: и удобный домъ, обширный, но тёмъ не менёе для одного семейства, широкій дворъ, а у вороть, въ лѣтніе вечера, многочисленная двория. Вездъ разъединенность, особность; каждый живеть у себя дома н кръпко отгораживается отъ сосъда. Это еще замьтнье въ Замоскворьчын, этой чисто купеческой н мъщанской части Москвы: тамъ окна завъшены занавъсками, ворота на запоръ; при ударъ въ нихъ раздается сердитый лай ценной собаки; все мертво, или, лучше сказать, сонно; домъ, или домишко, похожь на крипостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Вездѣ семейство, и почти

нигдъ не видно города!..

Въ Москвъ много трактировъ, и они всегда биткомъ набиты преимущественно темъ народомъ, который въ нихъ пьетъ только чай. Не нужно объяснять, о какомъ народъ говоримъ мы: это народъ, вынивающій въ день по пятнадцати самоваровъ, народъ, который не можетъ жить безъ чаю, который нять разъ ньеть его дома и столько же разъ въ трактирахъ. И если бы вы посмотръли на этотъ народъ, вы не удивились бы, что чай не разстраиваетъ ему первы, не м'єшаетъ спать, не портитъ зубовъ; вы подумали бы, что онъ безпаказанно для здоровья можеть нудами употреблять опіумъ... Кондитерскихъ въ Москвъ мало; въ нихъ покупають много, но посъщають ихъ мало. Гостиницы въ Москвъ существують преимущественно для прітважающихъ, или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Об'вдають въ Москв'в больше дома. Тамъ даже бѣдные холостые люди по большей части любять объдать у себя дома, върные семейственному характеру Москвы. Если же они объдають вив дома, то въ какомъ-нибудь знакомомъ имъ семействъ, особенно у родныхъ. Вообще Москва, славная своимъ хлебосольствомъ и гостепримствомъ, чуждается жизни городской, общественной и любить объдать у себя дома, семейно. Славится своими сытными обедами Англійскій клубъ въ Москвѣ; но попробуйте въ немъ пообъдать - и, несмотря на то, что вы будете сидъть между пятьюстами или болье человькъ, вамъ непремьно покажется, что вы пообъдали у родныхъ. Что же касается до постоянныхъ членовъ клуба, они потому и любять въ немъ объдать, что имъ кажется, будто они обедають у себя дома, въ своемъ семействе. Характеръ семейственности лежить на всемъ и во всемъ московскомъ! Родство даже до сихъ поръ играеть великую роль въ Москвъ. Тамъ никто не живеть безъ родии. Если вы родились бобылемъ и прівхали жить въ Москву-вась сейчась женять, и у вась будеть огромное родство-до семьдесять седьмого кольна. Не любить и не уважать родин въ Москвъ считается хуже, чъмъ вольнодумствомъ. Вы обязаны будете знать день рожденія и именинъ, по крайней мѣрѣ, полутораста человъкъ, и горе вамъ, если вы забудете поздравить хоть одного изъ нихъ. Это немножко хлопотно и скучно, но въдь зато родство-священная вещь. Гдв развита въ такой степени семейственность, тамъ родство не можеть не быть въ

великомъ почетв. Но смерти Петра Великаго, Москва сделалась убежищемь опальныхъ дворянъ высшаго разряда и мѣстомъ отдохновенія удалившихся оть дёль вельможь. Вследствіе этого она получила какой-то аристократическій характеръ, который особенно развился въ царствование Екатерины Второй. Кто не слышаль о широкой, распашной жизни вельможь въ Москве? Кто не слышаль разсказовь о томь, какъ въ своихъ великольпныхъ налатахъ ежедневно угощали они столомъ и званаго и незванаго, и знакомаго и незнакомаго, и въ городе, и въ деревие, где для всъхъ отворяли свои пышные сады? Кто не слышаль разсказовь о ихъ пирахъ, - разсказовъ, похожихъ на отрывки изъ "Тысячи и Одной Ночи"? Видите ли, что Москва и тутъ осталась върна своему древне-московитскому элементу: чванство и чивость, распашная и потёшная жизнь въ ней нашли свой пріють! Но, съ предшествовавшаго царствованія, Москва мало-по-малу начала ділаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она одъваетъ всю Россію своими бумажнопрядильными изділіями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея увздъ-все это усвяно фабриками и заводами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое ея положеніе-почти въ середнить Россін-назначило ей быть центромъ внутренней иромышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желъзная дорога соединить ее съ Истербургомь, и, какъ артерін отъ сердца, потянутся оть нея шоссе въ Ярославль, въ Казань, въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу...

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками; она сама—историческая древность и во вифинемъ, и во вифугрениемъ отношеній! Но какъ она сама, такъ и ея допетровскія древности представляють странное зрълище смѣси съ новымъ: отъ Кремля остался одинъ чертежъ, потому что его ежегодно поправляють, а въ немъ возникаютъ новыя зданія. Духъ новаго вѣетъ и на Москву и стираетъ мало-но-малу ея древній отпечатокъ.

Мы начали о Петербургъ, а распространились о Москвъ, но это совстмъ не отступление отъ главнаго предмета. У насъ двъ столицы: какъ же говорить объ одной, не сравнивая ея съ другою? Только чрезъ такое сравнение можемъ мы узнать особенности и характеръ каждой изъ нихъ. Инчто въ мірт не существуеть напрасно: если у насъ двъ столицы — значить, каждая изъ иихъ необходима, а необходимость можеть заключаться только въ ндев, которую выражаеть каждая изънихъ. И потому Петербургъ представляеть собою идею; Москвадругую. Въ чемъ состоить идея того и другого города-это можете узнать, только проводя параллель между тъмъ и другимъ. И потому мы не разъ еще, говоря о Петербургъ, будемъ обращаться п къ Москвъ. Пока мы нашли, что отличительный характеръ Москвы — семейственность. Обратимся къ Петерdypry.

О Петербург'в привыкли думать, какъ о город'в, построенномъ даже не на болот'в, а чуть ли не на

воздухв. Многіе нешутя увъряють, что это городъ безъ исторической святыни, безъ преданій, безъ связи съ родною страною, городъ, построенный на сваяхъ и на расчеть. Всь эти мижнія немного ужъ устаръли, и ихъ пора бы оставить. Правда, коли хотите, въ нихъ есть своя сторона истины, но зато много и лжи. Истербургъ построенъ Петромъ Великимъ какъ столица новой Россійской имперіи, п Иетербургъ—городъ неисторическій, безъ преданія!.. Это неябность, не стоящая опроверженія! Вся бъда вышла изъ того, что Истербургъ слишкомъ молодъ для самого себя и совершенное дитя въ сравненіи съ старушкою Москвою. Такъ неужели молодой человъкъ, ознаменовавшій свое вступленіе въ жизнь великимъ подвигомъ, -- не историческій человѣкъ, потому что онъ мало жиль; а старичокъ какой-нибудь-псторическій человѣкъ, потому что онъ много жиль? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московскаго царства; у нея есть своя исторія — никто не спорить противъ этого, но что же вся ея исторія въ сравненін съ великимъ эпосомъ біографін Йетра Великаго? А не тъсно ди связанъ Петсрбургъ съ этою біографіею? Отвергать историческую важность Петербурга — не значить ли не умъть цънить Истра для русской исторін? Говоря объ исторической святынь, спрашивають: гдв у Петербурга эти намятники, надъ которыми пролетели века, не разрушивъ нхъ? Да. милостивые государи, такихъ памятниковъ въ Петербурга нать и быть не можеть, потому что самъ онъ существуетъ со дня своего заложенія только сто сорокъ одинъ годъ; но зато онъ самъ есть великій историческій памятникъ. Всюду видите вы въ немъ живые следы его строителя, и для многихъ (и въ томъ числе и для насъ) такія маленькія строенія, какъ, напримъръ, домикъ на Петербургской сторонь, дворець въ Льтнемъ саду, дворець въ Петергоф'в, стоять не одного, а многихъ Кремлей... Что дълать — у всякаго свой вкусъ! Петербургъ ностроенъ на расчетъ-правда; но чимъ же расчетъ ниже слепого случая? Мудрые века говорять, что желізный гвоздь, сділанный грубою рукою кузнеца, выше всякаго цвътка, съ такою красотою рожденнаго природою, -- выше его въ томъ отношения, что онь — произведение сознательнаго духа, а цвътокъ есть произведение непосредственной силы. Расчеть есть одна изъ сторонъ сознанія. Говорять еще, что Петербургъ не имфеть въ себь ничего оригинальнаго, самобытнаго; что онъ есть какое-то, будто бы, общее воплощение идеи столичнаго города и, какъ двѣ каили воды, похожъ на всѣ остальные города въ мірѣ. Но на какіе же именно? На старые, каковы, напр., Римъ, Парижъ, Лондонъ, онъ походить никакъ не можеть; стало быть, это сущая неправда. Если онъ нохожъ на какіе-пибудь города, то, въроятно, на большіе города Съверной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчеть. И развѣ въ этихъ городахъ нѣтъ своего, оригинальнаго? Разв'я въ стенахъ города и въ каждомъ камив его видеть будущее не значить видеть что-то оригинальное и притомъ прекрасио оригинальное? Но Петербургъ оригинальные всыхъ городовъ

Америки потому, что онъ есть новый городъ въ старой странъ, - слъдовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великаго была только великою историческою ошибкою; или Петербургъ имфетъ необъятно-великое значеніе для Россін. Что-нибудь одно: или новое образование Россіи, какъ ложное и призрачное, скоро псчезнетъ совсѣмъ, не оставивъ по себъ и слъда; или Россія навсегда и безвозвратно оторвана отъ своего прошедшаго. Въ нервомъ случать, разумьтся, Петербургь—случайное и эфемерное порождение энохи, принявшей ошибочное направленіе, грибъ, который въ одну ночь выросъ и въ одинъ день высохъ; во второмъ случав Нетербургъ есть необходимое и въковъчное явленіе, величественный и кринкій дубъ, который сосредоточить въ себъ всъ жизненные соки Россіп. Ифкоторые доморощенные политики, считающіе себя удивительно глубокомысленными, думають, что, такъ какъ-де Петербургъ явился непосредственно, выросъ и расширился не въками, а обязанъ своимъ существованіемъ воль одного человька, то другой человькъ, им вощій власть свыше, также можеть оставить его, выстроить себь новый городъ на другомъ конць Россін: митніе крайне дітское! Такія діла не такъ легко затъваются и исполняются. Быль человъкъ, который имёль не только власть, но и силу сотворить чудо, и быль мигь, когда эта сила могла проявиться въ такомъ чудъ, — и потому для новаго чуда въ этомъ родъ потребуется опить два условія: не только человъкъ, но и мигъ. Произволъ не производить ничего великаго: великое исходить изъ разумной необходимости, -- слёдовательно, отъ Бога. Произволь не состроить въ короткое время великаго города: произволь можеть выстроить развѣ только вавилонскую башню, следствиемъ которой будеть не возрождение страны къ великому будущему, а раздёление языковъ. Гораздо легче сказать — оставить Петербургъ, чёмъ сдёлать это: языкъ безъ костей, по русской пословинъ, —и можетъ говорить, что ему угодно; но дело не то, что пустое слово. Только господамъ Маниловымъ легко строить въ своей праздной фантазін мосты черезъ пруды, съ лавками по объимъ сторонамъ.

Иностранецъ Альгаротти сказалъ: "Иетербургъ есть окно, черезъ которое Россія смотрить на Европу", -- счастливое выражение, въ немногихъ словахъ удачно схватившее великую мысль! И веть въ чемъ заключается твердое основание Истербурга, а не въ сваяхъ, на которыхъ онъ построенъ, и съ которыхъ его не такъ-то легко сдвинуть! Вотъ въ чемъ его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на въковъчное существование: Говорять, что Петербургь выражаеть собою только вивший европензмъ. Положимъ, что и такъ; по при развитін Россін, совершенно противономожномъ евронейскому, т. е. ири развитін сверху винзъ, а не снизу вверхъ, в и и ш н о с т ь имиетъ гораздо высшее значеніе, большую важность, нежели какъ думають. Что вы видите въ поэзін Ломоносова? Одну вижиность, русскія слова, втиснутыя въ латинско-нъмецкую конструкцію; выписныя мысли, какихъ и при-

знака не было въ обществъ, среди котораго и для котораго писаль Ломоносовъ свои риторические стихи. И, однако-жъ, Ломоносова не безъ основанія называють отцомъ русской поэзін, которая тоже не безъ основанія гордится, наприм'єръ, хоть такимъ поэтомъ, какъ Нушкинъ. Нужно ли доказывать, что если бы у насъ не было заведено этой мертвой, подражательной, чисто внишней поэзін,то не родилась бы у насъ и живая, оригинальная и самобытная поэзія Нушкина? Неть, это и безъ доказательствъ ясно, какъ день Божій. Итакъ, иногда и вившность чего-нибудь да стопть. Скажема. болъе: витшнее иногда влечеть за собою внутреннее. Положимъ, что надъть фракъ или сюртукъ, вмѣсто овчиннаго тулупа, синяго армяка, или смураго кафтана, еще не значить сділаться европейцемь: но отчего же у насъ, въ Россіи, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтеніемъ, и обнаруживають в любовь, и вкусъ къ изящнымъ искусствамъ только люди, одъвающіеся по-европейски? Что ни говорите, а даже и фракъ съ сюртукомъ — предметы, кажется, совершение в н в ш н і е-не мало дійствують на внутреннее благообразіе челов'я. Петръ Великій это понималь, и отсюда его гоненіе на бороды, охабии, терлики, шапки-мурмолки и вей другія завітныя принадлежности московитскаго туалета.

Есть мудрые люди, которые презирають всемъ вифинимъ; имъ давай идею, любовь, духъ, а на факты, на міръ практическій, на будинчную сторону жизии они не хотять и смотрёть. Есть други мудрые люди, которые, кром'в фактовъ и дела, ни о чемъ знать не хотятъ, а въ пде в и дух в видятъ однъ мечты. Первые изъ нихъ за особенную честь поставляють себь слушать съ презрительнымъ видомъ, когда при нихъ говорять о железной дорогъ. Эти средства къ возвышению правственнаго достоинства страны имъ кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждуть оть чуда, и думають, что образование въ одно прекрасное утро свадится прямо съ неба, а народъ возьметь на себя трудъ только поднять его, да проглотить, не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именемъ романтиковъ. Мудрецы второго разряда сиятъ и видять шоссе, жельзныя дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разныхъ спекуляцій: въ этомъ ихъ идеалъ народнаго и государственнаго блаженства; духъ, идея бъ ихъ глазахъ — вредныя или безполезныя мечты. Это классики нашего времени. Не принадлежа ни къ тёмъ, ни къ другимъ, мы въ последнихъ видимъ хоть что-нибудь, тогда какъ въ первыхъ-виновати-ровно ничего не видимъ. Есть два способа проводить новый источникъ жизни въ застоявшийся организмъ общественнаго тъла: первый — наука, или ученіе, книгопечатаніе, въ обширномъ значенін этого слова, какъ средство къ распространенію идей: второй — жизнь, разумёя подъ этимъ словомъ формы обыкновенной ежедневной жизни, правы, обычаи. Тотъ и другой способъ равно важны, и последній едва ли еще не важите въ томъ отношении, что и само чтеніе, и сама идея тогда только важны и действительны, когда входять въ жизнь, становятся, такъ сказать, обычаемъ, или обыкновеніемъ. Нѣтъ ничего сильнъе и кръпче обычая: гораздо легче убъдить людей логикой въ какой угодно истинъ, нежели преклонить ихъ къ практическому примъненію этой истины, если въ этомъ мішаеть имъ обычай. Намъ кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпаль этоть второй способъ распространенія и утвержденія европеизма въ русскомъ обществъ. Нетербургъ есть образецъ для всей Россін во всемъ, что касается до формъ жизни, начиная отъ моды до светского тона, отъ манеры класть кирпичи до высшихъ таинствъ архитектурнаго искусства, отъ типографскаго изящества до журналовъ, исключительно владъющихъ вниманіемъ публики. Сравните петербургскую жизнь съ московскою — и въ ихъ различін, или, лучше сказать, ихъ противоположности, вы сейчасъ увидите значеніе того и другого города. Несмотря на узкость московскихъ улицъ, снабженныхъ тротуарами въ полъ-аршина шириною, онъ только днемъ бываютъ тесны, и то далеко не все, и притомъ больше по причина ихъ узкости, чамъ по многолюдству. Съ десяти часовъ вечера Москва уже пустветь, и, особенно зимою, скучны и пустынны эти кривыя улицы съ еще болже кривыми переулками. Широкія улицы Петербурга почти всегда оживлены народомъ, который куда-то спёшитъ, куда-то торонится. На нихъ до двѣнадцати часовъ ночи довольно людно, и до утразвездѣ попадаются то тамъ, то сямъ запоздалые. Кондитерскія полны народомъ; німцы, французы и другіе иностранцы, туземные и заізжіе, пьють, фдять и читають газеты; русскіе больше пьють и тдять, а пткоторые пробъгають "Пчелу", "Инвалидъ" и иногда пристально читаютъ толстые журналы, переплетенные, для удобства, въ особенныя книжки, по отдёламъ: это охотники до литературы; охотниковъ до политики у насъ вообще мало. Рестораны всегда полны; кухмистерскія заведенія-тоже. Туть то же самое: ньють, фдять, читають, курять, играють на билліардь, и все большею частію молча. Если и говорять, то тихо, и то сосёдъ съ сосёдомъ; зато часто случается слышать прегромкіе голоса, которые нимало не женпруются говорить о предметахъ, нисколько для постороннихъ не интересныхъ, — напримъръ, о томъ, какъ Иванъ Семеновичъ вчера остался безъ двухъ, играя семь въ червяхъ, или о томъ, что Петръ Николаевичъ получилъ мъсто, а Василій Степановичь произведень въ следующій чинь, и тому подобныхъ литературныхъ и политическихъ новостяхъ. Дома въ Петербургъ, какъ извъстно, огромные. Петербуржецъ о погребъ не заботится: если не женать, онь объдаеть въ трактиръ; женать, -- онъ все береть изъ лавочки. Домъ, гдъ нанимаеть онъ квартиру, сущій ноевь ковчегь, въ которомь можно найти по паръ всякихъ животныхъ. Ръдко случается узнать петербуржцу, кто живеть возлё него, потому что и сверху, и синзу, и съ боковъ его живуть люди, которые такъ же, какъ и онъ, заняты своимъ деломъ и такъ же не имеють времени узнавать о немъ, какъ и онъ о нихъ. Главное

удобство въ квартиръ, за которымъ гонится петербуржецъ, состоить въ томъ, чтобы ко всему быть поближе-и на масту своей службы, и ка мъсту, гдъ все можно достать и лучше, и дешевле. Посладняго удобства онъ часто достигаеть въ своемъ ноевомъ ковчегъ, гдъ есть и погребокъ, н кондитерская, и кухмистеръ, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свътъ. Идея города больше всего заключается въ силошной сосредоточенности всёхъ удобствъ въ наиболёе сжатомъ кругѣ: въ этомъ отношенін Петербургъ несравненно больше городъ, чемъ Москва, и, можетъ быть, одинъ городъ во всей Россіи, гдѣ все разбросано, разъединено, запечатлено семейственностію. Если въ Петербургъ нътъ публичности въ истинномъ значеній этого слова, зато ужъ нѣтъ и домашняго или семейнаго затворничества. Петербургъ любитъ улицу, гулянье, театръ, кофейню, вокзалъ, -словомъ, любить всв общественныя заведенія. Этого пока еще немного, но зато изъ этого можетъ выйти многое впереди. Петербургъ не можетъ жить безъ газеть, безъ афишъ и разнаго рода объявленій; Петербургъ давно уже привыкъ, какъ къ необходимости, къ "Полицейской Газеть", къ городской почть. Едва проснувшись, петербуржецъ хочетъ тотчасъ же знать, что дается сегодня на театрахъ, нътъ ли концерта, скачки, гулянья съ музыкою,словомь, хочеть знать все, что составляеть сферу его удовольствій и разстяній, —а для этого ему стонть только протянуть руку къ столу, если онъ получаеть всё эти извёстительныя изданія, или забѣжать въ первую попавшуюся кондитерскую. Въ Москвъ многіе подписчики на "Московскія Въдомости", выходящія три раза въ неділю (по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ) посылаютъ за ними только по субботамъ и получаютъ вдругъ три нумера. Оно и удобно: подъ праздникъ есть свободное время заняться новостями всего міра... Кром'в того, по неим'внію городской почты и разсыльныхъ, надо посылать своего человъка въ контору университетской типографіи, а это не для всякаго удобно и не для всёхъ даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день въ "Ичелу" пли "Инвалидъ" — такая же необходимость, такой же обычай, какъ напиться поутру чаю... Въ противоположность Москвъ, огромные дома въ Петербургъ днемъ не затворяются и доступны черезъ ворота и черезъ двери; ночью у воротъ всегда можно найти дворника, или вызвать его звонкомъ, --- слѣдовательно, всегда можно попасть въ домъ, въ который вамъ непременно нужно попасть. У дверей каждой квартиры всегда видна ручка звонка, а на многихъ дверяхъ не только пумеръ, но и мъдная или желъзная дощечка съ именемъ занимающаго квартиру. Хотя въ Москвъ улицы не длинны, каждая носить особенное названіе и почти въ каждой есть церковь, а ипогда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать кого нужно, если знаешь адресъ, -- однако-жъ, отыскивать тамъ-истинное мученіе, если въ дом'я есть не одинъ жилецъ. Обыкновенно, входите вы тамъ на довольно большой дворъ, на которомъ,

кром'в собаки или собакъ, ни одного живого существа; спросить некого, -- надо стучаться въ двери съ вопросомъ: не здёсь ли живеть такой-то, потому что въ Москвъ дворники ръдки, а звонки еще и того ръже. Нътъ никакой возможности ходить по московскимъ улицамъ, которыя узки, кривы и наполнены протзжающими. Надо быть москвичомъ, чтобы умѣть смѣло ходить по нимъ, такъ же, какъ надо быть парижаниномъ, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязныхъ улицахъ. Впрочемъ, сами москвичи ходить не любять; оттого извозчикамъ въ Москвъ много работы. Извозчики тамъ дешевы, но на плохихъ дрожкахъ и прескверныхъ саняхъ; дрожки вездъ скверны, по самому ихъ устройству; это просто орудіе пытки для допроса обвиненныхъ; но саней плохихъ въ Петербургъ не бываетъ: здъсь самыя скверныя санншки сделаны на манеръ будто бы хорошихъ и покрыты полостью изъ теленка, похожаго на медведя, а полость покрыта чёмъ-то вродъ сукна. Въ Петербургъ никто не сълъ бы на сани безъ медвъдя!.. Впрочемъ, въ Петербургъ мало фадять -- больше ходять; оно и здорово, ибо движение есть лучшее и притомъ самое дешевое средство противъ геморроя, да притомъ же въ Петербургъ удобно ходить: горъ и косогоровънътъ,--все ровно и гладко; тротуары изъ плитияка, а гдф и изъ гранита, широкіе, ровные и во всякое время года чистые, какъ полы.

Чтобы ближе познакомиться съ объими нашими столицами, сравнимъ между собою ихъ народона-

Высшее сословіе, или высшій кругь общества, во всёхъ городахъ въ мірѣ составляеть собою нѣчто исключительное. Большой свѣть въ Петербургѣ еще болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, истинная terra incognita для всёхъ, кто не пользуется въ немъ правомъ гражданства; это городъ въ городъ, государство въ государствъ. Непосвященные въ его таинства смотрять на него издалека, на почтительномъ разстоянін, смотрять на него съ завистью и томленіемъ, съ какими путникъ, заблудившійся въ песчаной степи Аравіи, смотрить на миражь, представляющійся ему цвітущимь оазисомь; но недоступный для нихъ рай большого свъта, стрегомый булавою швейцара и толною офиціантовъ, разодетыхъ маркизами XVIII века, даже и не смотритъ на этихъ чающихъ для себя движенія райской воды. Люди различныхъ слоевъ средняго сословія, отъ высшаго до низшаго, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ отдаленному и непонятному для нихъ гулу большого свъта и по-своему толкують долетающіе до нхъ ушей анекдоты, искаженные ихъ простодушіемъ. Словомъ, они такъ заботятся о большомъ свътъ, какъ будто безъ него не могутъ дышать. Не довольствуясь этимъ, они изо всёхъ силъ быотся, бёдные, передразнивать быть большого свъта, и — à force de forger—достигають до сладостной самоувъренности, что и опи-тоже большой свёть. Конечно, настоящій большой свёть очень бы добродушно разсмѣялся, если-бъ узналь объ этихъ безчисленныхъ

претендентахъ на близкое родство съ нимъ; но отъ этого темъ не менее страсть считать себя принадлежащимъ или прикосновеннымъ къ большому свъту доходить въ среднихъ сословіяхъ Петербурга до изступленія. Поэтому въ Петербургь счету нътъ различнымъ кругамъ "большого свъта". Всъ они отличаются со стороны высшаго къ низшему-величаво или лукаво насмѣшливымъ взглядомъ; а со стороны низшаго къ высшему-досадою обиженнаго самолюбія, впрочемъ, утѣшающаго себя тымь, что и мы-де не отстанемь отъ другихъ и постоимъ за себя въ хорошемъ тоит. Хорошій тонь--это точка пом'єшательства для нетербургскаго жителя. Последній чиновникъ, получающій не болье семисоть рублей жалованья, ради хорошаго тона отнускаеть при случав искаженную французскую фразу-единственную, какую удалось ему затвердить изъ "Самоучителя"; изъ хорошаго тона онъ одъвается всегда у порядочнаго портного и носить на рукахъ хотя и засаленныя, но желтыя перчатки. Девицы даже низшихъ классовъ ужасно любятъ ввернуть въ безграмотной русской запискъ безграмотную французскую фразу,и если вамъ понадобится писать къ такой девипъ. то ничъмъ вы ей такъ не польстите, какъ смѣшеніемъ нижегородскаго съ французскимъ: этимъ вы ей покажете, что считаете ее дівицею образованною и "хорошаго тона". Любять онъ также и стишки, особенно изъ водевильныхъ куплетовъ; но некоторыя возвышаются своимъ вкусомъ даже до поэзін г. Бенедиктова,—и это дівицы самыхъ аристократическихъ, самыхъ бонтонныхъ круговъ чиновническаго сословія. Видите ли: Петербургъ во всемъ себъ въренъ; онъ стремится къ высшей формъ общественнаго быта... Не такова въ этомъ отношенін Москва. Въ ней даже большой св'ять имъетъ свой особенный характеръ. Но кто не принадлежить къ нему, тоть о немъ и не заботится, будучи весь погруженъ въ сферу собственнаго со-

Ядро коренного московскаго народонаселенія составляеть купечество. Девять десятыхь этого многочисленнаго сословія носять православную, отъ предковъ завъщанную бороду, длиннополый сюртукъ синяго сукна и ботфорты съ кисточкою, скрывающіе въ себ'в оконечности плисовыхъ или суконныхъ брюкъ; одна десятая позволяетъ себъ брить бороду и, по одеждъ, по образу жизни, вообще во ви в шиости, походить на разночинцевъ и даже дворянъ средней руки. Сколько старинныхъ вельможескихъ домовъ перешло теперь въ собственность купечества! И вообще эти огромныя зданія, памятники уже отжившихъ свой въкъ нравовъ и обычаевъ, почти всъ безъ исключенія превратились или въ казенныя учебныя заведенія, или, какъ мы уже сказали, поступили въ собственность богатаго купечества. Какъ расположилось и какъ живеть въ этихъ палатахъ и дворцахъ "поштенное" купечество-объ этомъ любонытные могутъ справиться, между прочимь, въ повъсти г. Вельтмана "Прівзжій изъ Увзда, или Суматоха въ Столицъ". Но не въ однъхъ княжескихъ и граф-

скихъ палатахъ, --- хороши также эти купцы и въ дорогихъ каретахъ и коляскахъ, которыя вихремъ несутся на превосходныхъ лошадяхъ, блистающихъ самою дорогою сбруею: въ экипажѣ сидитъ "поштенная" и весьма довольная собою борода; возлъ нея помъщается илотная и объемистая масса ея дражайшей половины, разбёленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда съ платкомъ на головъ и съ косичками отъ висковъ, но чаще въ плянкъ съ перьями (прекрасный полъдаже и въ купечествъ далеко обогналъ мужчинъ на нути европеизма!), а на заняткахъ стоитъ сидълецъ въ длиннополомъ жидовскомъ сюртукъ, въ рыжихъ сапогахъ съ кисточками, пуховой шляпѣ и въ зеленыхъ перчаткахъ... Проходящіе мимо купцы средней руки и мѣщане съ удовольствіемъ нощелкивають языкомь, смотря на лихихъ коней, и гордо приговаривають: "вишь, какъ наши-то!", а дворяне, смотря изъ оконь, съ досадою думають: "мужикъ проклятый, — развалился, какъ и Богъ знаетъ кто!.. "Для русскаго купца, особенно москвича, толстая статистая лошаль и толстая статистая жена-первыя блага въ жизни... Въ Москвъ повсюду встръчаете вы купцовъ, и все показываеть вамъ, что Москва, по пренмуществу, городъ купеческаго сословія. Имп населенъ Китайгородъ; они исключительно завладели. Замоскворѣчьемъ, и ими же кишатъ даже самыя аристократическія улицы и м'єста въ Москв'є, каковы-Тверская, Тверской бульваръ, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другія улицы. Базисомъ этому многочисленному сословію въ Москвъ служитъ еще многочисленнъйшее сословіе: это-мѣщанство, которое создало себѣ какой-то особенный костюмъ изъ національнаго русскаго и изъ бусурманскаго нъмецкаго, гдъ неизбѣжно красуются зеленыя перчатки, пуховая шляпа нии картузъ такого устройства, въ которомъ равно изуродованы и опошлены и русскій, и иностранный тины головной мужской одежды; выростковые саноги, въ которыхъ прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополымъ жидовскимъ сюртукомъ и кучерскимъ кафтаномъ; красная александрійская или ситцевая рубаха съ косымъ воротомъ, а на шев грязный нестрый платокъ. Прекрасная половина этого сословія представляєть своимь костюмомь такое же дикое смѣшеніе русской одежды съ европейскою: мѣщанки ходять большею частію (кромѣ ужъ са--Родадон ахильш и ахильпы вы порядочныхъ женщинъ, а волосы прячутъ подъ шапочку, сделанную изъ цветного шелковаго платка; белила, румяна и сюрьма составляють неотъемлемую часть ихъ самихъ, точно такъ же, какъ стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мъщанство есть везд'я, гд'я только есть русскій городъ, даже большое торговое село. Типъ этого мѣщанства вполнъ постигъ петербургскій актеръ, г. Григорьевъ 2-й, — и этому-то типу обязанъ онъ своимъ необыкновеннымъ успъхомъ на Александринскомъ театръ.

Но въ Москвъ есть еще другого рода среднее

сословіе-образованное среднее сословіе. Мы не считаемъ за нужное объяснять нашимъ читателямъ, что мы разумбемъ вообще подъ образованными сословіями: кому не изв'єстно, что у насъ, въ Россін, есть різкая черта, которая отділяеть необразованныя сословія отъ образованныхъ и которая заключается: во-нервыхъ, въ костюмахъ и обычаяхъ, обнаруживающихъ рѣшительное притязаніе на свропензмъ; во-вторыхъ, въ любви къ преферансу; въ-третьихъ, въ большемъ или меньшемъ занятін чтеніемъ. Касательно последняго пункта, можно сказать съ достовърностію, что кто читаетъ постоянно хоть "Московскія Вёдомости", тоть уже принадлежить къ образованному сословію, если, кром'в того, онъ въ одежде и обычаяхъ придерживается западнаго тина. Къ числу необходимыхъ отличій "образованнаго" человѣка отъ "необразованнаго" у насъ полагается и чинъ, хотя, съ ивкотораго времени, и у насъ уже начинаютъ убъждаться, что и безъ чина такъ же можно быть образованнымъ человѣкомъ, какъ и невѣждою съ чиномъ. Впрочемъ, подобное мнѣніе нисколько не проникло въ низшіе классы общества, —и милліонеръ-купецъ, поглаживая свою бородку, смѣло претендуеть на умъ (благо илутовать и мастеръ надуть и недруга, и друга), но никогда на образованность. Различій и степеней между "образованными" людьми у насъ множество. Одип изъ нихъ читаютъ только дёловыя бумаги и письма, до нихъ лично касающіяся, да еще календари и "Московскія Вѣдомости"; нъкоторые идуть далъе - и постоянно читають "Северную Пчелу"; есть такіе, которые читають рашительно всв русскіе журналы, газеты, книги и брошюры и не читаютъ ничего иностраннаго, даже зная какой-нибудь иностранный языкъ; наконець, есть такіе esprits-forts, которые очень много читають на иностранныхъ языкахъ и рѣшительно ничего на своемъ родномъ; но "образованнъйшими" должно почитать, безъ сомнънія, тъхъ немногихъ у насъ людей, которые, иногда заглядывая въ русскіе журналы, постоянно читають иностранные, изръдка прочитывая русскія книги (благо хорошихъ-то изъ нихъ очень мало), часто читають иностранныя книги. Но еще многочислениве оттвики нашей образованности въ отношеніи къ одеждь, обычаямь и картамъ. Есть у насъ люди, которые европейскую одежду носять только оффиціально, но у себя дома, безъ гостей, нестоянно пребываютъ въ татарскихъ халатахъ, сафьянныхъ сапогахъ и разнаго рода ермолкахъ; нѣкоторые халату предпочитаютъ ухарскій архалухъ — щегольство провинціальныхъ лакеевъ; другіе, напротивъ, и дома остаются вѣрны евронейскому типу и ходять въ пальто, въ которомъ могутъ, безъ парушенія приличія, принимать визиты запросто; одни следують постоянно моде; другіе увлекаются венгерками, казачыми шароварами и тому подобными удалыми, залихватскими н ухарскими изобрътеніями провинціальнаго изящнаго вкуса. Въ образъ жизни главный оттънокъ различій состоить въ томъ, что один поздно вста ють, объдають никакь не ранье четырехь часовь,

вечеромъ пьють чай никакъ не ранъе десяти часовъ, и чёмъ позже ложатся спать, темъ лучше, а другіс, въ этомъ отношенін, болье придерживаются старины. Въ обращении оттънки нашего общества такъ безчисленны, что изтъ никакой возможности и говорить объ нихъ. Но въ этомъ отношенін всі отгінки, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, имжють въ себъ то общаго, что всѣ равно вѣрны внѣшности, которая не обязываеть ни къ чему внутреннему: это та же одежда. Въ отношенін къ картамъ есть только три различія: один пграють только въ преферансь; другіе только въ банкъ и въ налки; третьи и въ преферансъ, и въ палки. Различіе кушей подразумъвается само собою. Въ Петербургъ въ преферансъ пграютъ по мастямъ и на семь не прикупають; въ Москвъ и въ провинцін прикупають и на десять, безъ различія мастей. Образованный классъ въ Москвъ довольно многочисленъ и чрезвычайно разнообразенъ. Несмотря на то, всѣ москвичи очень похожи другъ на друга; къ нимъ всегда будетъ идти эта характеристика, сдъланная знаменитыйшимъ москвичомъ Фамусовымъ:

Оть головы до пятокъ lla всёхъ московскихъ есть особый отпечатокъ.

Москвичи-люди нараспашку, истинные авиняне, только на русско-московскій ладъ. Они любять ножить и, въ ихъ смыслѣ, дѣйствительно хорошо живуть. Кто не слышаль о московскомъ англійскомъ клубъ и его сытныхъ объдахъ? Кромъ англійскаго и нѣмецкаго клубовъ, теперь въ Москвѣ есть еще-дворянскій. Кто не слышаль о московскомъ хлѣбосольствѣ, гостепрінмствѣ и радушін? Въ какомъ другомъ городѣ въ мірѣ можете вы съ такимъ удобствомъ и жениться, и пообъдать, какъ въ Москвъ?.. Гдъ, кромъ Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы, не для чего иного, какъ только для собственнаго развлеченія, для отдыха? Гдт лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, какъ не въ Москвъ? Гдъ, если не въ Москвъ, можете вы много говорить о своихъ трудахъ, настоящихъ и будущихъ, прослыть за деятельнейшаго человека въ мірь — и въ то же время ровно ничего не дьлать? Гдь, кромь Москвы, можете вы быть довольние тымь, что вы пичего не дылаете, а время проводите препріятно? Оттого-то въ Москвѣ такъ много завзжаго празднаго народа, который собирается туда изъ провинціи жупровать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то тамъ такъ много халатовъ, венгерокъ, штатскихъ панталонъ съ ламиасами и такихъ невиданныхъ сюртуковъ съ шнурами, которые, появившись на Невскомъ проспектъ, заставили бы смотръть на себя съ ужасомъ все народонаселение Петербурга. Въ Москвъ есть, говорять, даже шанки-мурмолки, вродъ той, которую, по увъренію москвичей, но-силь еще Рюрикъ. Оттого - то, наконецъ, въ Москвъ только можеть процвътать цыганскій хоръ Илюшки. Лицо москвича никогда не озабочено: оно добродушно и откровенно, и смотрить такъ,

какъ будто хочеть вамъ сказать: а гдв вы сегодня объдаете? Кто хоть сколько-нибудь знаетъ Москву, тотъ не можетъ не знать, что, кром'в англійскаго комфорта, есть еще и московскій комфортъ, нначе называемый "жизнью нараснашку". Москвичи такъ разко отличаются ото всѣхъ не-москвичей, что, напримъръ, московскій баринъ, московская барыня, московская барышня, московскій поэть, московскій мыслитель, московскій литераторъ, московскій архивный юноша: все это-типы, все это слова техническія, ръшительно непонятныя для тёхъ, кто не живеть въ Москвъ. Это происходить отъ исключительнаго положенія Москвы, въ которое постановила ее реформа Петра Великаго. Москва одна соединила въ себъ тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва — городъ промышленный. Въ Москвъ находится не только старфиній, но и лучшій русскій университеть, привлекающій въ нее свъжую молодежь изо всёхъ концовъ Россіи. Хотя значительная часть воспитанниковъ этого университета, по окончанін курса, оставляєть Москву, чтобъ хоть что-нибудь дёлать на этомъ свёть, но все же изъ нихъ довольно остается и въ Москвъ. Эти остающіеся, вм'яст'я съ учащимися, составляють собою особенное среднее сословіе, въ которомъ находятся люди всёхъ сословій. Ихъ соединяєть н подводить подъ общій уровень образованіе, или, по крайней мфрф, стремление къ образованию. Среднее сословіе такого рода — оазись на песчаномъ грунтъ всъхъ другихъ сословій. Такіе оазисы находятся во многихъ, если не во всъхъ, русскихъ городахъ. Въ иномъ городъ такой оазисъ состоить изъ пяти, въ иномъ изъ двухъ, въ иномъ н изъ одной только души, а въ ижкоторыхъ городахъ и совсёмъ иётъ такихъ оазисовъ-все чистый песокъ, или чистый черноземъ, поросшій бурьяномъ и крапивою. Къ особенной чести Москвы, никакъ нельзя не согласиться, что въ ней такихъ оазисовъ едва ли не больше, чёмъ въ какомъ-нибудь другомъ русскомъ городъ. Это пропеходить оть двухь причинь: во-первыхь, оть исключительнаго положенія Москвы, чуждой всякаго административнаго, бюрократическаго и оффиціальнаго характера, ея значенія п столицы, и вм'єсть огромнаго губерискаго города, во-вторыхъ, отъ вліянія Московскаго университета. Оттого, въ ділів вопросовъ, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чемъ у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяемь, лучшая сторона московскаго быта. Но на свъть все такъ чудно устроено, что самое лучшее дело непременно должно имъть свою слабую сторону. Что нътъ въ мірт народа ученте німцевъ-это извітстно всякому: сами москвичи, по наукъ, не годятся нъмпамъ въ ученики. Но зато и у ивмцевъ есть та слабая сторона, что они до тридцати лътъ бываютъ буршами, а остальную — и большую — половину жизни — филистерами, и поэтому не имёють времени быть людьми. Такъ и въ Москвъ: люди,

ноставившіе образованность цілью своей жизни, сначала бываютъ молодыми людьми, подающими о себъ большія надежды, и потомъ, если во-время не вывдуть изъ Москвы, двлаются москвичами, и тогда уже перестають подавать о себъ какія-нибудь надежды, какъ люди, для которыхъ прошла пора объщать, а пора исполнять еще не настунила. Даже и молодые люди, "подающіе о себъ большія надежды", въ Москв'є нивоть тоть общій недостатокъ, что часто смішивають между собою самыя различныя и противоположныя понятія, какъ-то: стихотворство съ діломъ, фантазін празднаго ума-съ мышленіемъ. Многимъ изъ нихъ (псключенія рідки) стонтъ сочинить свою, а всего таще вычитать готовую теорію или фантазію о чемъ бы то ни было, —и они уже твердо ръшаются видъть оправдание этой теоріп или этой фантазін въ самой дъйствительности, —и чъмъ болье дъйствительность противорёчить ихъ любимой мечть, тымь упрямье убъщены они въ ся безусловномъ тождествъ съ дъйствительностію. Отсюда игра словами, которыя принимаются за дела, пгра въ понятія, которыя считаются фактами. Все это очень невинию, но отъ того не меньше смѣшно. Что бы ни дѣлали въ жизни молодые люди, оставляющіе Москву для Петербурга, — они д'ялають; москвичи же ограничиваются только бесёдами и спорами о томъ, что должно делать, беседами и спорами, часто очень умными, по всегда ружицтельно безплодными. Страсть разсуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дёла изъ этихъ разсужденій и споровъ у нихъ не выходитъ. Нигдѣ нѣтъ столько мыслителей, поэтовъ, талантовъ, даже геніевъ, особенно высщихъ "натуръ", какъ въ Москвъ; но вей они делаются более или менее известными внѣ Москвы, только тогда, какъ переѣдутъ въ Петербургъ; тутъ они, волею или неволею, или попадають въ составъ той толны, которую всегда бранили, и дълаются простыми смертными, или дъйствительно находять какое бы то ни было поприще своимъ способностямъ, часто болѣе или менъе замъчательнымъ, если и не геніальнымъ. Пигда столько не говорять о литература, какъ въ Москвъ, и между тъмъ въ Москвъ-то и итъ инкакой литературной дъятельности, по крайней мъръ теперь. Если тамъ появится журналъ, то не ищите въ немъ ничего, кромф напыщенныхъ толковъ о мистическомъ значенін Москвы, опирающихся на царь-пушкъ и большомъ колоколъ, какъ будто городъ Петра Великаго стоитъ виѣ Россіи, и какъ булто исполниъ на Исаакіевской площади не есть величайшая историческая святыня русскаго народа; не ищите ничего, кром'в множества посредственныхъ стихотвореній къ дѣвѣ, къ лунѣ, къ Ивану великому, Сухаревой башив, а иногда-повврять ли?къ пънному вину, будто бы источнику всего великаго въ русской народности, плохихъ повъстей, запоздалыхъ сужденій о литературѣ, исполненныхъ враждою къ Западу и прямыми и косвенными нападками на безиравственность людей, не припадлежащихъ къ приходу этого журнала и не удивляющихся геніальности его сотрудниковъ. Если выйдетъ

брошюрка, — это опять или не совсёмъ образованныя выходки противъ, будто бы, гніющаго Запада, или какія-нибудь дётскія фантазій съ самонадёянными притязаніями на открытіе глубокихъ истинъ вродії тёхъ, что Гоголь—нешутя нашъ І'омеръ, а "Мертвыя Души"—единственный послё "Пліады" типъ истиннаго эпоса.

Разумѣется, мы говоримы здѣсь о слабыхъ сторонахъ, не отрицая возможности прекраснѣйшихъ исключеній изъ нихъ. Вездѣ есть свое хорошее и, слѣдовательно, свое слабое или недостаточное. Петербургъ и Москва—двѣ стороны, или, лучше сказать, двѣ односторонности, которыя могутъ со временемъ образовать своимъ сліяніемъ прекрасное и гармоническое цѣлое, прививъ другъ другу то, что въ пихъ есть лучшаго. Время это близко: желѣзная дорога дѣятельно дѣлается...

Обратимся къ Петербургу.

Низтій слой народонаселенія, собственно простой народъ, вездъ одинаковъ. Вирочемъ, петербургскій простой народъ нѣсколько разнится отъ московскаго: кром'в полугара и чая, онъ любить еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный поль петербургскаго простонародья, въ лицъ кухарокъ и разнаго рода служанокъ, чай и водку отнюдь не считаетъ необходимостію, а безъ кофею решительно не можеть жить; подгородныя крестьянки Петербурга забыли уже національную русскую пласку для французской кадрили, которую танцують подъ звуки гармоники, ими самими извлекаемые: вліяніе лукаваго Запада, расчитанное следствие его адекихъ козней! Петербургския швейки и вообще всв простыя женщины, усвоившія себъ европейскій костюмъ, предпочитаютъ шляпки ченцамъ, тогда какъ въ Москвъ наоборотъ, и вообще одъваются съ большимъ вкусомъ противъ московскихъ женщинъ даже не одного съ ними сословія. То же должно сказать и о мужчинахъ: къ какому сословію принадлежить иной служитель и мастеровой, это можно узнать только по его манерамъ, но не всегда по его платью. Это онять вліяніе того же лукаваго Запада! Далъе въ нашей книгъ благосклонный читатель со временемъ найдетъ описание такъ называемыхъ "лакейскихъ баловъ", о которыхъ въ Москвъ люди этого сословія еще и не мечтали. Говоря о Москвъ, мы нарочно распространились о купеческомъ и мъщанскомъ сословіяхъ, какъ о самыхъ характеристическихъ ея принадлежностяхъ. Безъ всякаго сомнёнія, мёщане, врод'є тёхъ, которыхъ такъ удачно представляетъ на сценъ Александринскаго театра г. Григорьевъ 2-й, есть и въ Петербургѣ, и притомъ еще въ довольномъ количествъ; но здъсь они какъ будто не у себя дома, какъ будто въ гостяхъ, какъ будто колонисты или за сзжіе иностранцы. Петербургскій намець болже ихъ туземець петербургскій. На улицахъ Петербурга они попадаются гораздо ръже, чемъ въ Москвъ; ихъ надо искать на Щукиномъ, въ овощныхъ лавкахъ, въ мясныхъ рядахъ и всякаго рода маленькихъ лавочкахъ, которыя разсыпаны тамъ и сямъ но Петербургу. Мъщане-сидъльцы и приказчики въ лавкахъ, находящихся на болъе видиыхъ улицахъ Пе-

тербурга-какъ-то цивилизованиве своихъ московскихъ собратій. Вообще же всь они такъ перетасованы въ петербургскомъ народонаселенін, что не бросаются въ глаза прежде всего, какъвъ Москвъ; скажемъ болте: въ Петербургъ они какъ-то совстмъ незамѣтны. И воть почему мы думаемъ, что г. Григорьевъ 2-й не имълъ бы такого успъха на московской сцень, какимъ пользуется онъ на петербургской: представляемый имъ типъ, конечно, — не невидаль въ Петербургѣ, но въ то же время онъ-и не такое обыкновенное явленіе, которое своимъ різкимъ контрастомъ съ нравами преобладающаго сословія въ Петербургъ могло бы не возбуждать громкаго и веселаго смѣха на свой счетъ. Что же касается до нетербургскаго купечества, -- оно рѣзко отличается отъ московскаго. Купцовъ съ бородами, особенно богатыхъ, въ Петербургт очень мало, и они кажутся кэмэшанэнодаэо амотс ав имктэнноком иминакатишач городъ; они даже выбрали особенныя улицы своимъ нсключительнымъ мѣстомъ жительства: это-Троицкій переулокъ, улицы, сопредѣльныя Пяти-Угламъ, и около старообрядческой церкви. Въ Петербургъ множество купцовъ изъ нъмцевъ, даже англичанъ, и потому большая часть даже русскихъ купцовъ смотрятъ не купчинами, а негодіантами, и ихъ не отличить отъ сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословіе. Наконецъ мы дошли до главнаго (по его многочисленности и общности его физіономін) "петербургскаго сословія". Изв'ястно, что пп въ какомъ городе въ міре неть столько молодыхъ, пожилыхъ и даже старыхъ бездомныхъ людей, какъ въ Петербургъ, и нигдъ осъдлые и семейные такъ не похожи на бездомныхъ, какъ въ Петербургъ. Въ этомъ отношенін Петербургъ — антиподъ Москвы. Это ръзкое различие объясняется отношениями, въ которыхъ оба города находятся въ Россіи. Петербургъ-центръ правительства, городъ по преимуществу административный, бюрократическій п оффиціальный. Едва ли не цілая треть его народонаселенія состонть изъ военныхъ, а число штатскихъ чиновниковъ едва ли еще не превышаеть собою числа военныхъ офицеровъ. Въ Петербургъ все служить, все хлопочеть о мъсть или объ опредълении на службу. Въ Москвъ вы часто можете слышать вопросъ: "чёмъ вы занимаетесь?", въ Петербургъ этотъ вопросъ ръшительно замъненъ вопросомъ: "гдъ вы служите?" Слово "чиновникъ" въ Петербургътакое же типическое, какъ въ Москвъ "баринъ", "барыня" и т. д. Чиновникъ — это туземецъ, истый гражданинъ Петербурга. Если къ вамъ пришлютъ лакея, мальчика, девочку хоть пяти леть, каждый изъ этихъ посланныхъ, отыскивая въ домъ вашу квартиру, будеть спрашивать у дворника, или у самого васъ: здёсь ли живетъчино вникъ такойто? хотя бы вы не им'ели пикакого чина и нигде не служили, и никогда не нам'тревались служить. Такой ужъ петербургскій "норовъ"! Петербургскій житель вѣчно боленъ лихорадкою дѣятельности; часто онъ въ сущности дълаеть инчего, въ отличіе отъ москвича, который инчего не ділаеть, но "ничего" петербургскаго жителя для него самого всегда есть "нечто": по крайней мере, онъ всегда

знаеть, изъ чего хлопочеть. Москвичи, Богь ихъ знаеть какъ, нашли тайну все на св'ять делать такъ, какъ въ Петербургъ отдыхаютъ или ничего не дълають. Въ самомъ дёлё, даже визить, прогулка, объдъ-все это петербуржецъ исправляетъ съ озабоченнымъ видомъ, какъ будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это ришается онъ не всегда безъ цали и безъ расчета. Въ Москва даже солидные люди молчать только тогда, когда спять, а юноши, особенно "подающіе о себ'я большія надежды", говорять даже и во спв, а потомъ даже иногда печатають, если имъ случится сказать во снѣ что-нибудь хорошее, - чѣмъ и должно объяснять иныя литературныя явленія въ Москвъ. Петербуржецъ, если онъ человъкъ солидный, скупъ на слова, если они не ведуть ни къ какой положительной цёли. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, привътливо; москвичъ всегдарадъ заговорить и заспорить съ вами о чемъ угодно, и въ разговоръ москвичъ откровененъ. Лицо петербуржца всегда озабочено и насмурно; петербуржець всегда въжливъ, часто даже любезенъ, но какъ-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ; серьезно онъ говорить только о службъ, а спорить и разсуждать ни о чемъ не любитъ. По лицу москвича видно, что онъ доволенъ людьми и міромъ; по лицу петербуржца видно, что онъ доволенъ-самимъ собою, если, разумъется, дъла его идутъ хорошо. Отсюда проистекаеть его тонкая наблюдательность; оть этого безирестанно вспыхиваеть его тонкая иронія: онъ сейчась замѣтить, если ваши сапоги нехорошо вычищены, или у вашихъ панталонъ оборвалась штринка, а у жилета висить готовая оборваться пуговка, —замътитъ и улыбиется лукаво, самодовольно... Въ этой улыбкъ, впрочемъ, и состоитъ вся его пронія. Москвичь сиисходителень ко всякому туалету и не замичателенъ вообще во всемъ, что касается до наружности. Прежде всего онъ требуеть, чтобы вы были — или добрый малый, или человъкъ съ душою и сердцемъ... При первой же встръчъ онъ съ вами заспоритъ, и только тогда начнетъ пронически улыбаться, когда увидить, что ваши мийнія не сходятся съ мнёніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ, или въ которомъ онъ слушаеть, какъ другіе ораторствують, и который онъ непремънно считаетъ за литературную или философскую "партію". Вообще всякій москвичь, къ какому бы званію ни принадлежаль онъ, вполнѣ доволенъ жизнію, потому что доволенъ Москвою, и по-своему умфетъ наслаждаться жизнію, потому что по-своему онъ живетъ широко, раздольно, нараспашку. Въ чемъ заключается его наслаждение жизнію-это другой вопросъ. Умные люди давно уже согласились между собою, что крѣпкій сонъ, сильный аппетить, здоровый желудокь, внушающіе уваженіе разміры брюшных полостей, полное и румяное лицо и, наконецъ, завидная способность быть всегда въ добромъ расположении духа суть самое прочное основание истиннаго счастія въ семъ подлунномъ міръ. Москвичи, какъ умные люди, вполит соглашаясь съ этимъ, думають

еще, что чемъ менъе человъкъ о чемъ-нибудь заботится серьезно, чёмъ менёе что-нибудь дёлаетъ п тыть болье обо всемь говорить, тымь онь счастливъе. И едва ли они не правы въ этомъ отношенін, счастливые мудрецы! Зато одинъ видъ москвича возбуждаеть въ васъ аппетитъ и охоту говорить много, горячо, съ убъжденіемъ, но решительно безъ всякой цёли и безъ всякаго результата! Не такое дъйствіе производить на душу наблюдателя видъ петербургскаго жителя. Онъръдко бываетъ румянъ, часто бываетъ бледенъ, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальнымъ колоритомъ, свойственнымъ петербургскому небу, и на этомъ лицъ почти всегда видна бываетъ забота, что-то безпокойное, тревожное и, вмісті съ этимъ, какое-то довольство самимъ собою, что-то похожее на непобъдимое убъждение въ собственномъ достоинствъ. Петербургскій житель никогда не ложится спать ранбе двухъ часовъ почи, а пногда и совстмъ не ложится; но это не мъшаетъ ему въ девять часовъ утра сидъть уже за деломъ или быть въ департаментъ. Послъ объда онъ непремінно въ театрі, на кочері, на балі, въ концерть, маскарадь, за карелин, на гуляньь, смотря по времени года. Онъ усифваетъ вездъ и какъ работаеть, такъ и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, какъ будто боясь, что у него не хватитъ времени. Москвичъ — предобръйшій человѣкъ, довѣрчнвъ, разговорчнвъ и особенно наклоненъ къ дружбѣ. Петербуржецъ, напротивъ, неговорянвъ, на другихъ смотритъ съ недовърчивостью и съ чувствомъ собственнаго достоинства: ему какъ будто все кажется, что онъ или занять дёловыми бумагами, или играеть въ преферансъ, а извъстно, что важныя занятія требують вниманія и молчаливости. Петербуржець різко отличается отъ москвича даже въ способъ наслаждаться: въ столѣ и винахъ онъ ищетъ утонченнаго гастрономическаго изящества, а не излишества, не разливаннаго моря. Въ обществъ онъ ръшится лучше скучать, нежели, предавшись обаянію живого разговора, манкировать передъ чинностію и церемонностію, въ которыхъ онъ привыкъ видіть величіе и хорошій тонъ. Исключеніе остается за холостыми пирушками: русскій человінь кутить одинаково во ветхъ концахъ Россін, и въ его к утеж в всегда равно проглядываетъ какое-то степное раздолье, напоминающее древне-новгородскіе нравы.

Въ Москвъ нътъ чиновинковъ. Порядочные люди въ Москвъ, къ чести ихъ, внъ мъста своей службы, умъютъ быть просто людьми, такъ что и не догадаешься, что они служатъ. Низшій классъ бюрократіи тамъ слыветъ еще подъ именемъ "приказныхъ" и мало замътенъ, разумъется, для тъхъ, кто не имъетъ до нихъ дъла, и зато, разумъется, тъмъ замътнъе для тъхъ, кому есть до нихъ нужда. Военныхъ въ Москвъ мало; притомъ многіе изъ нихъ являются туда на время, въ отпускъ. Словомъ, въ Москвъ почти не замътно ничего оффиціальнаго, и петербургскій чиновникъ въ Москвъ есть такое же странное и удивительное явленіе, какъ московскій мыслитель въ Петербургъ. Хотя москвичь вообще

оригинальное и какъ будто самобытибе петербуржца, однако, тъмъ не менъе, онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если перетдетъ въ него жить. Куда деваются высокопарныя мечты, пдеалы, теоріп, фантазін! Петербургъ, въ этомъ отношенін, пробный камень человака: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умёлъ сберечь и душу, и сердце не на счетъ здраваго смысла, сохранить свое человъческое достоинство, не предаваясь донкихотству, тому смёло можете вы протянуть руку, какъ человъку... Петербургъ имъетъ на иъкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадають съ васъ самыя дорогія убъжденія; но скоро замічаете вы, что то не убъжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнію и рёшительнымъ незнаніемъ дёйствительности, - н вы остаетесь, можеть быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человфческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоятъ въ глазахъ д Бльнаго (въ разумномъ значеній этого слова) человъка самой горькой истины, потому что счастіе глупца есть ложь, тогда какъ страдание дельнаго человека есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ...

Для дополненія нашей картины, вышишемь ивсколько строкь о Москва и Петербурга изъ одной старой статьи, которая такъ хороша, что въ ней многое осталось повымъ и по прошествіи семи лать »).

"Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаеть печь французскіе хлібы, которые назавтра всі съйсть разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свътится, то другой; Москва ночью вся спить и на другой день, перекрестившись и поклонив-шись на всъ четыре стороны, выъзжаеть съкалачами на рынокъ. Москва женскаго рода; Петербургъ мужескаго. Въ Москвъ все невъсты; въ Петербургъ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличие въ своей одеждъ, не любитъ пестрыхъ цевтовъ и никакихъ ръзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуеть, если ужъ пошло на моду, чтобъ во всей формъ была мода: если талія длинна, то она пускаеть ее еще длиниъе; если отвороты фрака велики, то у ней какъ сарайныя двери. Петербургъ — аккуратный человъкъ, совершенный пъмецъ, на все глядить съ расчетомъ и прежде, нежели задумаеть дать вечеринку, посмотрить въ карманъ; Москва-русскій дворянинъ, и если уже веселится, то веселится доупаду, и не заботится о томъ, что уже хватаеть больше того, сколько находится въ карманъ; она не любить середины. Москва всегда ъдеть завернувшись въ медетжью шубу и большею частію на объдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукъ, заложивъ объ руки въ карманъ, летитъ вею прыть на биржу или въ "должность". Москва гуляеть до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымается съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ин въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спъшить въ своемъ байковомъ сюртукъ въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманъ и возвращается налегкъ; въ Петербургъ ъдутъ люди безденежные и разъёзжаются во всё стороны свёта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ

^{*) &}quot;Современникъ", 1837, т. VI, стр. 405.

ухабамъ соывать и нокупать; въ Петербургъ ндеть русскій народъ пѣшкомъ лѣтнею порою стронть и работать. Москва-кладовая: она наваливаеть тюки да вьюки, на мелкаго продавца и смотръть не хочеть; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздълился, разложился на лавочки и магазины и ловить мелкихъ покупщиковъ. Москва говоритъ: "коли нужно покупщику,-сыщеть"; Петербургъ суеть вывъску подъ самый нось, подкапывается подъ вашъ полъ съ "ренскимъ погребомъ" и ставить извозчичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядить на своихъ жителей, а шлеть товары во всю Русь; Петербургъ продаеть галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва-большой гостиный дворь; Петербургь—свътлый магазинь. Москва пужна Россіп; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвъ ръдко встрътишь гербовую пуговицу на фракъ; въ Петербургъ нътъ фраковъ безъ гербовыхъ пуговидъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тъмъ, что онь не умъеть говорить по-русски. Въ Петербургъ, на Невскомъ проспектъ, гуляють въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна; даже старухи съ такими узенькими таліями, что дълается смъщно; на гуляпьяхъ въ Москвъ всегда попадается въ самой серединъ модной толпы какая-нибудь матушка съ платкомъ на головъ н уже совершенно безъ всякой талін".

Мы выпустили нѣсколько строкъ изъ этого отрывка, потому что онъ уже устаръли и безъ комментарій не годятся. Кром'є этого, нельзя оставить безъ замѣчанія фразы: "Москва нужна Россін"; для Петербурга нужна Россія". Эта фраза болье остроумна, чемъ справедлива. Петербургъ такъ же нуженъ Россіи, какъ и Москва, а Россія такъ же нужна для Москвы, какъ и для Петербурга. Нельзя отнять важнаго значенія у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Значеніе самаго Петербурга ясиве пока à priori, чемь à posteriori. Это оттого, что мы все еще находимся въ настоящемъ моментъ нашей исторіи; наше пропедшее такъ еще невелико, что по немъ мы можемъ только догадываться о будущемъ, а не говорить о немъ утвердительно. Мы все еще въ переходномъ положеніи. Поэтому мудрено схватить върно и опредъленно характеристику обоихъ городовъ. Говоря о томъ, что они теперь, все надо думать, чемъ они могутъ сделаться въ будущемъ. Можетъ быть, назначение Москвы состоить въ удержании національнаго пачала (сущности котораго, какъ сущности многихъ вещей міра сего, пока нізть возможности опредёлить) и въ противоборствъ иноземному вліянію, которое могло бы оставаться ръшительно внешнимъ, а потому и безплоднымъ, если-бъ не встръчало на своемъ пути національнаго элемента и не боролось съ нимъ. Все живое есть результать борьбы; все, что является и утверждается безъ борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новыхъ мивній, или, пожалуй, и до новыхъ пдей, — она, моя матушка, до сихъ поръ живетъ все по-старому и не тужитъ. Съ этими идеями она обращается какъ-то по-иъмецки: иден у ней сами по себъ, а жизнь сама по себъ. Ясно, что въ ней есть свое собственное к о нсервативное начало, которое только усту-

паеть, и то понемногу и медленно, новизнъ, но не покоряется ей. Представитель этой новизны есть Петербургъ, и въ этомъ его великое значеніе для Россін. Петербургъ не заносится идеями; онъчеловькъ положительный и разсудительный. Своего байковаго сюртука онъ никогда не назоветь римскою тогою; онъ лучше будеть играть въ преферансъ, нежели хлопотать о невозможномъ; его не удивишь ни теоріями, ни умозрѣніями, а мечты онъ теривть не можетъ; стоять на болотв ему не совсёмъ пріятно, но все-таки лучше, чёмъ держаться безъ всякихъ подпоръ на воздухф. Его законъ---нудящая сила обстоятельствъ, и онъ 10товъ сдёлаться чёмъ угодно, если это угодно будеть обстоятельствамь. Поэтому его мудрено опрепълнть на основанін того, чемъ онъ быль и что онъ есть. Ни одинъ петербуржецъ не лезетъ въ генін и не мечтаетъ переділывать дійствительности: онъ слишкомъ хорошо ее знаетъ, чтобъ не смиряться передъ ея силою. Генін родятся сотнями только тамъ, гдъ, вслъдствіе обстоятельствъ, царствуеть полное невъдъне того, что называется дъйствительностію, гдѣ каждый собою мѣряетъ весь міръ и мечты своей праздношатающейся фантазін принимаеть за несомивниме факты исторіи и современной действительности. Въ Петербурге каждый является на своемъ мъсть и самимъ собою, потому что, если бы въ немъ кто-нибудь объявилъ притязанія быть лучше и выше другихь, ему сказали бы: "а ну-те, попробуйте!" Словомъ, Петербургъ не върить, а требуеть дела. Въ немъ каждый стремится къ своей цёли, и, какова бы ни была его цыль, нетербуржець ея достигаеть. Это имъеть свою пользу, и притомъ большую: какова бы ни была дъятельность, но привычка и пріобрътаемое чрезъ нее умънье дъйствовать — великое дъло. Кто не сидель сложа руки и тогда, какъ нечего было дёлать, тотъ сумветь дёйствовать, когда настанетъ для этого время. Городъ—не то, что человъкъ: для него и сто лътъ не Богъ знаеть какое время. Короче: мы думаемъ, что Петербургу назначено всегда трудиться и делать, также, какъ Москвъ-подготовлять дълателей. Это видно и теперь: сколько молодыхъ людей, окончившихъ въ Московскомъ университет в курсъ наукъ, прівзжаетъ въ Петербургъ на службу! Вследствіе вліянія Московскаго университета и вследствие тихаго, и р овинціальнаго положенія Москвы, въ ней, говоря вообще, читають не больше, чамъ въ Петербургь, но въ дъль вопросовъ науки, искусства, литературы москвичи обнаруживають больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чёмъ большинство петербургской читающей и разсуждающей публики. Вследствіе техъ же самыхъ обстоятельствъ, въ Москвъ больше, чъмъ въ Петербургь, молодыхъ людей, способныхъ къ дълу, но делають что-нибудь они опять-таки только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ только говорять о томъ, что бы и какъ бы они дёлали, если бы стали что-нибудь дёлать.

[Физіологія Петербурга, составленная изъ трудовъ русскихъ литераторовъ, подъредакціей Н. Некрасова. СПБ. 1845, часть 1].

Руководство къ познанію теоретической-матеріальной философіи. Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб. 1844.

Германія-отечество философіи новаго міра. Когда говорять о философін, то всегда разумьють германскую, потому что никакой другой философін человічество не имбеть. Во всіхъ другихъ странахъ философія есть попытка частнаго лица разрѣшить извѣстные вопросы о бытіи; въ Германін философія — наука, исторически развиваюшаяся; ея обрабатываніе постепенно передается отъ поколенія къ поколенію. Канть первый положиль прочныя начала новъйшей философіи и даль ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моменть развитія философіи: дъйствуя независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ темъ не менье быль только продолжателемь начатаго Кантомъ дъла. Шеллингъ и Гегель — представители дальнъйшаго движенія философіи. Теперь гегелизмъ распался на три стороны-правую, которая остановилась на последнемъ слове гегелизма и далее не ндеть; левую, которая отложилась отъ Гегеля, и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примпренін философіи съ жизнію, теоріи съ практикою; и центральную, составляющую ифчто среднее между мертвою стоячестию нравой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лъвая сторона гегелизма отложилась отъ своего учителя, это не значить, чтобь она отвергла его великія заслуги въ сферъ философіи и признала его ученіе пустымъ и безплоднымъ явленіемъ. Натъ, это значить только, что она хочеть идти дальше н, при всемъ ея уваженін къ великому философу, авторитеть духа человъческого ставить выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте: такъ духомъ ученія своего объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ нзъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшествепника, и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философіи дёлаетъ невозможными произвольныя проявления личныхъ философствованій. Чтобъ дійствовать на поприщі философін, въ Германін мало того, чтобъ объявить печатно: "я такъ думаю", но должно посвятить цълые годы тяжелаго труда дёльному и основательному изучению всего, что сделано по части философін, - должно быть современнымъ.

Съ этой точки зрвнія, ивть ничего забавиве русской философіи и русскихъ книгъ по части философіи. О философіи, какъ наукв, у насъ никто не заботится; но всв наши философы думають, что для того, чтобъ сдвлаться философомь, стоитъ только захотвть этого. Учиться философіи они не считають нужнымь; имъ легче объявить, что всв ивмецкіе философы вруть, нежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимають, что у насъ для философіи нётъ еще ни почвы, ни потребно-

сти. Нашему философу вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прійдеть охота пофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлинъ не берутъ, то, вслѣдствіе этого неожиданнаго припадка философствованія, явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все рѣшено, кромѣ одного только—зачѣмъ и для кого написанъ весь этотъ вздоръ...

Едва ли не смълъе всъхъ другихъ нашихъ философовъ г. Александръ Петровичъ Татариновъ: на сорока страничкахъ, разгонисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него "теоретическую-практическую" философію, и начисто рѣшаетъ, что такое истина, благо н красота: истина у него есть истина, благо-благо, а красота-красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что-то только о Локкъ. Лейбницъ и Кантъ, а о дальнъйшемъ ходъ философіи ръшительно никакихъ свъдъній не имфеть. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгою и даже книжкою ее нельзя назвать)? Для тъхъ, кто имъетъ хотя какое-нибудь понятіе о философіи, тетрадка г. Татаринова будеть только забавна; а тъ, которые о философіи не имъютъ никакого понятія, ровно ничего не поймуть въ ней, въ этой тетрадкв.

[Отечественныя Записки. Томъ XXXVIII, 1845 г.].

Стихотворенія Петра Штавера. Спб. 1845.

Г. Петръ Штаверъ — извините нашу нескромность-долженъ быть молодой, даже очень молодой человъкъ-можеть быть, не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрились мы чрезъ виечатленіе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобъ автору было никакъ не больше пятнадцати летъ, потому что, въ такомъ случат, мы имтли бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нѣчто вродъ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленія къ мысли, — а это—не шуточное діло! Но что-жъ тутъ до лётъ, какая нужда въ метрикъ автора, когда его стихотворенія сами за себя говорять?.. Метрика иногда много значить не въ однихъ вопросахъ о званіи и наследстве, но и въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатильтній малый, наметавшійся въ лавкь, ловко н скоро сводить счеты, складываеть и вычитаеть, множить и делить, принимаеть и сдаеть, - туть нътъ инчего удивительнаго, нътъ ръчи ин о геніи, ни о талантъ: тутъ только способность, развитая навыкомъ и рутиною. Но когда семильтній ребенокъ, который имфеть полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по нальцамъ и простымъ соображеніямъ умфеть разсчесть сумму, наприм., во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дёля, тогда, если вы и не увидите въ немъ генія математики, то всетаки подпвитесь въ немъ необыкновенной природной способности. Выйдеть ли со временемь изъ этого мальчика замёчательный математикъ, или инчего изъ него не выйдетъ — это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ датей, ничего не объщающихъ, выходятъ геніальные люди, а изъ геніальных дітей — дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Извъстно, что, имъя болье или менье върный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдёлаться не только сноснымъ музыкантомъ, по даже и сочинять кой-какія фангазійки: обыкновенно до этого доходять уже въ лета возмужалости, при охоте къ музыкъ, при знакомствъ со множествомъ музыкальныхъ произведеній. Но это еще не значить быть ни музыкантомъ - артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилетнее или еще болье малольтнее дитя обнаруживаеть способность запомнить и вфрио проифть всякую музыкальную піесу, какую удастся ему услышать, въ томъ дитяти, конечно, еще нельзя навфрное увидеть будущаго Моцарта или будущаго Листа, но по крайней мірт на его счеть простительно ошибиться въ такихъ неумъренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значенін метрики въ отношенін къ поэвіи. Уміть писать стихи — конечно, еще не талантъ, но все же способность; этою способностью владбетъ многое множество дбтей, и она-то заставляетъ многихъ изъ нихъ видъть въ себъ таданть поэтическій. И воть когда такой, владіющій способностью стихотворства, человікь поначитается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то, въ извъстныя лъта, ему ничего не стоить перекладывать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другіе не подозрѣвають въ немъ вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Въ наше время чувство и мысли-нипочемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имъть Пушкина и Лермонтова, чтобъ владеть неисчернаемымъ источникомъ вдохновенія. Возьмите любой стихъ изъ того или пругого-и воть вамъ тема, на которую потянутся у васъ нескончаемыя варьяціи... Но варіпровать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можеть только человъкъ возмужалый, развившійся; безбородый же юноша, темь более отрокъ, никогда не сумфетъ, не фальшивя, ифть съ чужого голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли онъ непременно исказить, изуродуеть. И нотому, если въ стихахъ слишкомъ молодого человека заметно что-то вроде оригинальности, чувства и мысли, -- явный знакъ, что у него есть таланть. Даже его неуминье сладить съ непокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ-не только не портить дела, но еще придаеть ему ту прелесть, которою такъ исполненъ несвязный лепеть младенца.

Намъ показалось (и мы были бы рады, если-бъ послѣдствія доказали, что мы не опиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворенія г. Штавера носять на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремся опредѣлять степень этого дарованія, ни предсказывать

границы его развитія, потому что неопреділенность составляеть главный характерь слишкомь юныхь дарованій. Они могуть развиться— и могуть печезнуть, не давь цвіта. Въ нихь не должно видіть что-то непремінно великое въ будущемъ. Стихотворенія Пушкина - ребенка были довольно плохи, и по нимь трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. Итакъ, говоря о стихотвореніяхъ г. Штавера, ограничимся настоящимъ, не забітая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можеть быть и можеть не быть.

Всъ стихотворенія г. Штавера довольно слабы, и если-бъ мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стоило бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человека поражаеть слабостью таланта или просто посредственностью, которая хуже бездарности, -- то самое въ опытахъ слишкомъ молодого человтка можеть быть признакомъ таланта неподдёльного, но еще не овладъвшаго собственною силою. Намъ кажется, что нельзя не видить этого, напримирь, воть хоть въ ніесь-, На Кладбищь". Въ этомъ стихотворенін есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бъденъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вбеть чемъ-то мило-детскимъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняеть Мертвецовъ безстрастныхъ ледъ,—

даже эти стихи, возбуждая въ читателѣ улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благосклонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книжкѣ г. Штавера надо признать "Желаніе":

Я не хочу, чтобъ всё меня любили, Я не хочу вездё встрёчать друзей,— Хочу, чтобы враги меня язвили Везсильной злобою своей!

Пусть возстають! Я каждый шагь побъдный Готовь своею кровію залить! Пусть упаду измученный и блюдный, Но только прежде побюдить!

Пусть за моей побъдной колесницей Всегда слъдить толпа враговъ моихъ: Я понесусь подъ небо вольной птицей,— И хоръ завистниковъ затихъ!

Но не для славы жажду я боренья, А потому, что для моей души Потребны страсти, бури и волненья, Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилъ сталь сильнъе закалится, Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрътеть; Вода чиста, доколь она струится, Въ покоъ—тиной зарастетъ.

Кръпись, душа! Познай свое значенье, Познай себя, познай свою всю мочь, И ты поймешь, какъ сладостно мученье, Когда есть сила превозмочь;

И скажешь ты: "за тёмъ даны страданья, "Чтобъ согрёвать остывшія сердца, "И назначенье жизни—не мечтанье "А дёятельность мудреца. "Мечта,—ты скажешь,—дътская забава; "Занятье мужа истиннаго—трудь! "Не за мечты дается въ міръ слава,— "Ее страданьями беруть!"

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ челов'єкомъ, —оно было бы плохо въ эстетическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразерствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія въ нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа, еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности, — оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработанномъ, невыдержанномъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которымъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которою оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это дѣтская мысль.

Воть что сказали бы мы г. Штаверу, если бы онъ захотёль насъ послушать:

Жаль, любезный поэть, что вы поторошились издать въ свъть книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко могла бы обойтись, п не подождали болъе зрълыхъ своихъ произведеній, которыя для всёхъ были бы интереснёе. Но дёло сдёлано, и да простить вась за него Богъ! но впередъ не торопитесь ни писать, ни печататься, особенно — печататься. Если у васъ есть таланть, и призвание ваше велико въ будущемъ — успъете написаться и напечататься; если же это окажется не болье какъ "кипьніемъ крови и избыткомъ силъ" — ваша преждевременная книжка будеть вамъ досадна, какъ грахъ юности, какъ ошибка самолюбія. Но намь пріятнъе думать, что у васъ есть семя таланта, которое со временемъ можетъ вырости и разростись. Приготовьте себя къ этому и не погубите сѣмени. Въ наше время поэть, какъ поэть, не можеть объщать себь великаго успаха, потому что наше время отъ каждаго-следовательно, и отъ поэта-требуеть, чтобъ онъ прежде всего и больше всего былъ-челов в комъ. Не заботьтесь же о себв, какъ о поэтв, и воспитывайте въ себъ человъка. Не говорите, что вы не хотите, чтобъ васъ всё любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей и жаждете имѣть враговъ: это чувство ложное и парадное, которое извиняется только его юностію. Не покупайте любви людей изм'тною истинт, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дорожить ею или презирать ее: любовь ближнихъ, законно и разумно пріобрѣтенная, —благо, которое выше всѣхъ благъ. Върьте, что люди совсъмъ не такъ хороши, и совсемъ не такъ дурны, какъ делаетъ ихъ фантазія поэтовъ, которые то любять въ нихъ восхищаться собственною своею особою, то позволяють себъ вымещать на нихъ свои недостатки или раны своего самолюбія, клеймя ихъ превржніемъ. Вообще люди, по своей натурт, болже хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь — ділають ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная,

человъческая сторона, только трудно подсмотръть и открыть ее. Последнее составляеть благородпѣйшую миссію поэта: ему принадлежить по праву оправдание благородной человъческой природы, также, какъ ему же принадлежитъ преследование ложныхъ и неразумныхъ основъ общественности, искажающей человіка, ділающей его иногда звітремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди — братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и делаеть ихъ естественными врагами. Влагородно, велико и свято призваніе поэта, который хочеть быть провозвъстникомъ братства людей! Имъть враговъ,-источникъ этого желанія заключается въ эгонзмів и самолюбивой увфренности быть лучше и выше всёхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породить высокихъ поэтическихъ созданій. Поб'єдеть врага пріятно: объ этомъ ни слова, — однако-жъ врага, котораго мы не вызывали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнье сдылать себы врага другомъ: это лучшая изъ победъ! Человекъ имфеть право ненавидеть въ другомъ ложь и порокъ, но человекъ не иметъ права ненавидеть человека, подъ опасеніемъ ужаснійшаго изъ наказаній-перестать быть челов комъ. Им вть враговъ своей мысли, своему убъждению и бороться съ ними до посл'яднихъ силъ — въ этомъ есть свое величіе, своя прекрасная сторона; но ничего нътъ хуже, какъ имъть личныхъ враговъ: этого никто не пожелаеть себь, и высочаншее несчастіе для человъка — носить въ сердит своемъ личную вражду къ человъку: это бользнь, манія, почти сумасшествіе, отъ котораго надо лічнться. Бздить на побѣдной колесницѣ, конечно, пріятно, но только тогда, когда, вмѣстѣ съ вами, торжествуетъ правое дело; иначе вы — Марій или Сулла, которые купались въ крови безсильныхъ враговъ... Что-жъ туть хорошаго? Но вы, любезный поэть, говорите въ свое оправданіе.

Но не для славы жажду я боренья, А потому, что для моей души Потребны страсти, бури и волненья, Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилъ сталь сильнъе закалится, Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрътеть; Вода чиста, доколь она струится, Въ покоъ—тиной зарастеть.

Прекрасно! Но что бы вы сказали о человъкъ, который для того, чтобъ его члены и мускулы не ослабли въ бездъйствии и неподвижности, пошелъ бы по улицъ, да и ну колотить встръчнаго и поперечнаго? Не правда ли, это смъшно?.. Нътъ, любезный поэтъ, не заботьтесь о врагахъ и страданияхъ; напротивъ, употребляйте всъ силы избъгать ихъ, потому что враги и страдания явятся сами: нхъ никто не избъгатъ. Обратите прежде всего вниманіе на самого себя и постарайтесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться съ самимъ собою, чтобъ со временемъ не найти въ себъ собственнаго своего врага, — а это самый опасный, самый жестокій изъ враговъ! Не льстите себъ и

будьте съ собою строги, чтобъ найти въ себѣ друга разумнаго и честнаго, а не предателя коварнаго. Тогда одержите вы самую великую и блестящую побѣду надъ злѣйшимъ изъ враговъ своихъ: это побѣда! Опа будетъ стоитъ много труда
и большой борьбы, которая не дастъ вамъ "замереть въ тиши"... Но это еще не все, чтобъ
спастись отъ душевнаго застоя, отъ нравственной
апатіи: передъ вами жизнь и міръ, —полюбите ихъ
и наслаждайтесь ими! Для этого также нужны трудъ
и борьба. Жизнь, природа, человѣкъ, человѣчество, наука, искусство, —какое обширное, великое,
безконечное поприще для борьбы благородной, для
упражненія юныхъ и свѣжихъ силъ! Зачѣмъ говорить:

Пусть за моей побъдной колесницей Всегда слъдить толна враговь монхъ: Я понесусь на небо вольной птицей,—

И хоръ завистниковъ затихъ!..

Въ небъ, т. е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, нусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми — "въ тёснотё люди живуть"... Только гордость, основанная на самолюбін и эгонзм'ь,одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ, -- только гордость гонить человака изъ общества ближнихъ его и стремить его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находить жалкое наслаждение видеть ноль собою "хорь завистниковь". Сказать: я имью завистинковъ-не значить ли это: какой я замъчательный человъкъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ-не значить ли это обнаружить то мелкое и ношлое чувство, которое свойственно только маленькимъ великимъ дюдямъ--этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нётъ, истинно хорошему, дъльному человъку горько имъть завистниковъ; для него это-несчастіе. Онъ хочетъ иметь таланты и достоинства, хочеть много знать, много смёть и много мочь, но не для потёхи своего самолюбія, не для жалкаго удовольствія пріобръсть враговъ и завистниковъ, а для разумнаго н законнаго наслажденія жизнію, потому что, чёмъ более онъ иметь, знаеть, сметь и можеть,тъмъ болъе онъ живетъ. Его никогда не порадуеть, но всегда огорчить инчтожество окружающихъ его людей,--- и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имъетъ, поднять ихъ еще выше самого себя. Благородная душа, исполненная великодушныхъ стремленій, не терпитъ вокругь себя ни рабовъ, ни угодинковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тъсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ съ нею узами симпатін ко всему разумному и человъческому. Для нея жизнь — богатая и роскошная транеза, которую она хотела бы разделить со всеми, чтобъ темъ более самой насладиться ею... Да, любезный поэть, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ-оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимь поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое-просто и скромно; оно цёло-

мудренно стыдится своего достоинства, какъ красота пѣломудренно стыдится наготы своей и оттого дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ, какъ внутренно-драгоценное само по себь, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто щеголяеть въ немъ, удивленіе и зависть толны. Человъкъ сильный, могущественный, огромный -- еще не всегда въ то же время и великій человікь. Ніть спора, что, какъ воитель, Наполеонъ не имфетъ себф соперниковъ въ исторіи челов вчества; но въ глазахъ истинномудрыхъ простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ въ тысячу разъ болбе всёхъ возможныхъ Наполеоновъ имбетъ право на имя великаго человъка. Только невъжественная толна, тупая чернь и жалкое суемудріе преклоняють колтин и обожествляютъ гнетущую ее наглую силу, отражающуюся на безсовъстности, обманъ, въроломствъ н злодъйствъ... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блестить; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона бельведерскаго и раскрашенную восковую куклу: онъ удивится куклъ, не обративъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей н невеждъ между такъ называемыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Войтесь, любезный поэть, попасть въ число этихъ людей,--и чтобъ избёжать такого несчастія, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутаго, ложнаго, призрачнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселіе — грусти, наслажденіе — страданію. Сносите все горькое мужественно и благородно, когда горе посттить васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которыя боятся унизить свое достоинство глубокихъ и высшихъ натуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хиыкать и предавинсь веселому влечению минуты. Смотрите на жизнь, какъ на паслаждение, и умъйте наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастія и упоенія, и какъ жалки слъпые романтические клеветники жизни, которые все смотрять куда-то туда, сами не зная куда... И пусть руководять вами на пути жизни любовь, которая все прощаеть, все очищаеть, все облагороживаеть и освещаеть, и смёлый, свободный разумъ, который не боптся мукъ сомнънія и, многимъ рискуя, много завоевываеть для счастія... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистииковъ, и что, безъ борьбы съ ними, вамъ будеть чёмъ наполнить свою жизнь, не дать очерстветь чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, итсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, илодородны; а если и не будете поэтомь-что жъ! вы будете челов в комъ, а это, право, стопть всякаго поэта...

[Отечественныя Записки. Томъ XLI, 1845 г.].

Стольтів Россім, съ 1745 до 1845 г., или историческая картина бостопамятных событій въ Россіи за сто лють. Сентября 5-го 1845 г., въ день столютняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голенищева-Кутузова Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полевого. Часть первая. 1845.

Во всякой литератур'в должно отличать дв'я стороны-ученую и художественную, и беллетристическую. Къ первой принадлежатъ произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обонхъ случаяхъ-плоды труда обдуманнаго, зрёлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производять по случаю, кстати (à propos), на заказъ, къ сроку. И потому оба они творятъ не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толцы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ; желая успъха при жизни, желаетъ, чтобъ и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Но ученые и художники, особенно великіеаристократы человъчества: они трудятся не для всёхъ, а только для избранныхъ. Это особенно относится къ обществу, въ которомъ просвъщение и образование не равно разлиты по всемъ его классамъ, но однимъ доступны больше, другимъ меньше, а третымъ и вовсе недоступны. Однако-жъ, благодъянія литературы — этого могущественнаго средства къ образованію массъ-должны простираться на всёхъ. Не всякій можеть и должень быть ученымъ, по всякій долженъ им'єть общія нознанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслаждение прекраснымъ. Для этого наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толны пьедестала, и, черезъ это, приближены къ понятію массъ. Эта, въ одно и то же время, и мелкая, и великая роль принадлежить беллетристикъ. И наука, и искусство имъютъ свою беллетристику и своихъ "беллетристовъ". Что такое беллетристъ? Слово "беллетристъ" происходитъ отъ belles-lettres, т. е. изящная словесность; следовательно, въ первоначальномъ своемъ значенін слово беллетристь есть то же, что литераторъ, занимающійся нзящною словесностью, — то же, что стихотворець, нувеллисть, романисть. Но какъ, въ последнее время, изящество изложенія еделалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, не принадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сділала популярность изложенія необходимымъ условіемъ науки, то, вследствие этого, литература приняла новый характеръ: съ одной стороны, она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угождая вкусу и потребностямъ всвуъ и каждаго, она перешла, такъ сказать, въ руки д'вятелей болве скоро и много, нежели прочно пишущихъ, болфе многочисленныхъ, нежели замъчательныхъ по силь таланта: эти-то люди и должны называться беллетристами. Беллетристь относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводитъ: владъя своимъ собственнымъ талантомъ, онъ всетаки живеть чужимъ умомъ, чужимъ геніемъ. Наука и искусство никогда не бывають ремесломъ; беллетристика тоже не ремесло-она выше ремесла, по ниже искусства: она середина между ними. Беллетристика къ поэзін относится—какъ диллетантизмъ къ художественной деятельности, къ наукъкакъ образованіе къ просвѣщенію. Чтобъ быть беллетристомъ, надо имъть призваніе, страсть, талантъ, особенио талантъ, но не геній. Можно сказать, что всякій поэть, всякій ученый, у котораго есть таланть, но исть генія, — беллетристь. Поэтому главное, существенное различие между произведеніями ученаго и художника и произведеніями беллетриста состоить въ томъ, что первые нишуть для въковъ, а носледній — для минуты. Есть ученыя сочиненія, давно потерявнія цену, вследствіе дальнейшаго развитія и больших усикховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоять, какъ въхи, указывающія путь, по которому шла наука, разстоянія, которыхъ она достигала. Не существующіе для толпы и диллетантовъ, эти старые труды геніевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Что касается до произведеній пскусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него пріобрътають свой букеть. Для произведеній же беллетристики время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производить ихъ тысячами, — время и пожираеть ихъ тысячами. Беллетристь торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно утомлять внимание публики, и онъ изумляетъ ее своею деятельностью, какъ бы зная, что, забывъ его на минуту, она совсёмъ его забудеть. Беллетристь пишеть легко и скоро; онъ на все способенъ, талантъ его гибокъ; его деятельность можно подстрекать и, такъ сказать, покупать. Ему можеть сказать и журналисть, и книгопродавець: "напишите мит то или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ п къ такому-то времени", — и опъ возьмется и напи-шетъ. Извъстно, что "Въчный Жидъ" написанъ Эженомъ Сю по заказу журнала "Constitutionnel", п Тьеръ, мивній котораго этоть журналь есть органь, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романъ--напасть на іезунтовъ, напоминть о поэзін нанолеоновскаго солдата и т. д.: вотъ беллетристъ! Жоржъ Зандъ тоже нечатаетъ свои романы въ фельетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу и не торгуется за романъ, который еще не написанъ, или только нишется: воть художникъ! "Въчный Жидъ" надълалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели, напримъръ, "Теверино"; "Въчный Жидъ" правился толив, --, Теверино" восхищаеть немногихъ; но зато первый уже умеръ въ самой Франціи, едва усивьь дойти до конца, а торжество второго еще впереди, и все больше и больше...

Однако-жъ, было бы нелъпымъ педантизмомъ смотрѣть на беллетристику и беллетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершають великое дело. Безъ нихъ умственныя наслажденія и-результаты этихъ наслажденій-развитіе ума, образованіе сердца не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натуръ, или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ нстиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ "Вѣчный Жидъ"—колоссальное твореніе, идеаль романа, и которыхь эстетическія требованія никогда не пойдуть дальше этой сказки: пусть же они читають ее, вёдь и имъ надобно же чтонибудь читать! Есть другіе, — они начнуть "Вѣчнымъ Жидомъ", а кончатъ "Теверино", отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому "Въчному Жиду", за что все-таки спасибо "Вѣчному" же .,Жиду"...

Беллетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатою и блестящею. Доказательствомъ тому служитъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ всѣ другія европейскія ли-

TENSTYNL

Воть почему одниъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоить въ томъ, что у насъ почти нътъ беллетристики и больше геніевъ, нежели талантовъ (что бы ни говорили и какъ бы ни издъвались надъ этою мыслію невъжды, умъющіе придираться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей!). Чтобъ убъдиться въ этомъ, стонть только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до временъ Екатерины Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонвизинъ,--и всъ они равно слыли за великихъ писателей, за геніевъ, — а между тъмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какою-нибудь извёстностью. Въ карамзинскую эпоху явились уже и беллетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были беллетристы по таланту, а не по деятельности, и почти все они писали такъ мало, что ихъ можно было счесть скоръе за литературныхъ нафадниковъ, нежели за деятельныхъ и плодовитыхъ беллетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ: это-гг. Полевого и Кукольника. Вотъ беллетристы въ истинномъ значении слова! Г. Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ за десятерыхъ самыхъ деятельныхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ; г. Полевой — по крайней мъръ за сто... Такъ какъ предметь этой статънг. Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Многіе дивятся, когда успаваеть онь писать кипгу за книгою, статью за статьею, романъ за романомъ, повъсть за повъстью, драму за драмою: удивленіе не совсѣмъ основательное! Оно больше

шло бы къ Пушкину (если-бъ Пушкинъ такъ много писаль), нежели къ г. Полевому. Г. Полевой беллетристь: этимъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классическіе писатели, біографическіе, историческіе и энциклопедическіе словари: матеріаль готовый, источники неисчерпаемые, —а онъ въдь не создаеть: онъ только пересказываеть сказанное, передёлываеть сдёланное, но пересказываеть и переделываеть такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братін, чающей движенія воды, которая стонть въ преддверін храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта деятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь безпокойная, если не энергическая и не могущественная, столь шумливая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная, --- эта деятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженичество, не торгашество, какъ у некоторыхъ писакъ, которые готовы перебить у другого всякое предпріятіе и вопіють о своихъ заслугахъ, своей благонамъренности и безкорыстіи при всякомъ чужомъ успѣхѣ, отнимающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... Итакъ, несмотря на наше рѣшительное несогласіе со взглядами г. Полевого, высшими и низшими, на всѣ предметы, подлежащіе вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки противъ нашихъ митній, мы все-таки скажемь, что желаемь русской литературъ побольше такихъ беллетристовъ, какъ г. Полевой; но вмёстё съ тёмъ желаемъ, чтобъ, для ея чести и пользы, они чаще смѣнялись новыми, и темь избавляли бы русскую литературу оть устарылыхь мный, отсталыхь понятій и безсильныхъ, возбуждающихъ болъзненное состраданіе, понытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мірѣ новыхъ покольній...

Новая книга г. Полевого—"Сълътіе Россін" есть чисто беллетристическое произведеніе. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день—нътъ, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самь г. Полевой разскажетъ вамъ это событіе:

Съверная русская столица, освъщенная свътомъ невечертющаго лътняго вечера, кипъла кизпью, когда задумчиво остановился я передъ пзваяніемъ великаго воокоденачальника, архистратига Дванадесятаго года, князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душъ моей мелькнула мыслы: сто лютя!

"Сто лѣть,—думаль я, смотря на изваяніе русскаго воеводы,—сто лѣть совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великій! Сто лѣть, въ которыя совершиль ты свои подвиги (?!), и уже тридцать два года, какъ почиль ты среди потухшихъ громовъ!"

Правду говорять иные, что поэзія—врагь логики: по словамь г. Полевого—"сто лёть, въ которыя совершиль ты свои подвиги" — можно подумать, что Кутузовъ началь свои подвиги съ перваго же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ — для красоты слога... Далёе тёмъ же слогомъ описывается, какъ г. Полевой стояль на колёняхъ подлё

могилы великаго полководца п, облокотясь на ея рёшотку, плакаль, думаль п мечталь...

Теперь посмотрите, что такое беллетристь. У ученаго подобная книга была бы илодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, дёльнаго, серьезнаго, обдуманнаго. У г. Полевого это было дъломъ минуты: лѣтомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять — и не было бы книги. Послѣ этого удивляйтесь, что наденіе яблока съ древа было причиною великой теоріи Ньютона о тяготенін земли!.. Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу стольтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ-спаситель Россіи, мужъ доблестный и великій: это аксіома; но все-таки важны и велики его подвиги, а совстмъ не день его рожденія, который никакъ не могъ быть эпохою въ исторіи Россін. Но беллетристу нуженъ только поводъ, случай, придирка къ составленію книги. Г. Полевой придрался-и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придълалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь норманновъ до царствованія императрицы Анны Іоанновны, которое у него уже не просто обозрѣно, а разсказано, и съ котораго до конца разсказъ становится все подробиће и подробиве.

Разбирать книгу г. Полевого нътъ надобности: это чисто-беллетристическое произведеніе, что-то похожее на компиляцію кстати или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ воззрѣніяхъ нѣтъ ничего

новаго, ничего такого, что-бъ не было много разъ говорено г. Кайдановымъ и подобными ему беллетристами исторіи. Ученый (а не беллетристь) не сталь бы писать такую книгу, если-бъ видёль, что онъ не умъеть или не можеть сказать въ ней ничего новаго. Г. Полевой не затруднился, а какъ будто бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сделаль! Оть него, какъ оть беллетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тёмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторять, для памяти, читанное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнають то, чего прежде не знали... Итакъ, для публики новая книга, для журналовъ новая пожива, для литературы какъ будто новое движение: чего же болье? Да здравствуеть беллетристика! А тамъ, глядишь, выйдеть и вторая часть "Столетія Россін". Что же будеть въ ней?-Мечты.-Какъ? что такое?-Мечты! По крайней мфрф воть какъ выразился самъ авторъ: "Нъсколько мыслей будущемумыслей, которыя могуть назвать мечтами". Это, в роятно, невольная дань прошедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и разсказы подъ названіемъ: "Мечты и Были"; это названіе (а особенно выраженная имъ мысль) такъ понравилось г. Полевому, что онъ решился возобновить его, — и въ первой части "Стольтія Россін" предлагаеть публикѣ Выли, а во второй предлагаеть ей то, что можно назвать Мечтами...

[Отечественныя Записки. Томъ XLIH. 1845 г.].

1846.

АЛЕКСЪЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

Русскій быть -Увы!-совстмъ не такъ глядитъ, Хоть о семейности его Славянофилы намъ твердятъ Уже давно, но, виноватъ, Я въ немъ не вижу пичего Семейнаго... О старинъ Разсказовъ много знаю я. н память върная моя Тьму пъсенъ сохранила миъ Однообразныхъ и простыхъ, Но страшно грустныхъ... Слышенъ въ нихъ То голось воли удалой, Все злою долею женой, Все подколодною змѣей Опутанный, -то плачь о томъ, Что тускло зиминмъ вечеркомъ Горить лучина, -- хоть не спать Бъдняжкъ ночь, и друга ждать, И тъшить старую любовь,-Что ту лучину залила Лихая старая свекровь... О, върьте миъ: не весела Картина-русская семья... Семья для насъ всегда была Ликая мачиха, не мать...

А. Григорьевъ.

Издавая въ свътъ полное собрание стихотвореній покойнаго Кольцова, мы прежде всего думаемъ выполнить долгъ справедливости по отношенію къ поэту, до сихъ поръ еще не понятому и не оцъненному надлежащимъ образомъ. Конечно, нельзя сказать, чтобы Кольцовъ не обратиль на себя общаго вниманія еще при первомъ появленіи своемъ на литературное поприще; но это внимание относилось не столько къ поэту съ сильнымъ самобытнымъ талантомъ, сколько къ любопытному феномену. Большею частію въ немъ видёли русскаго мужичка, который, едва зная грамоть, самъ собою открыль и развиль въ себъ способность писать стишки, и притомъ недурные. Всѣ поняли, что, по таланту, Кольцовъ выше Слепушкина, Суханова, Алипанова; но немногіе поняли, что у него решительно не было ничего общаго съ этими поэтами-самоучками, какъ ихъ тогда величали. Впрочемъ, это естественно, и тутъ некого винить. Для вфрной опфики всякаго поэта нужно время, и не разъ случалось, что даже великіе генін въ области искусства были признаваемы только

нотомствомъ. Теперь этого уже не бываетъ, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть въ геніи, нежели генію не быть признаншымъ; но и теперь это признаніе цёлою массою общества тоже требуетъ времени и обходится не безъ борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замѣчательному таланту, выходящему изъ-

подъ уровня обыкновенности. Кромв этого обстоятельства, Кольцовъ явился въ то время русской литературы, когда она, такъ сказать, книвла новыми талантами въ новыхъ родахъ. Едва замолкли поэты, вышедшіе по слъдамъ Пушкина, какъ начали появляться романисты, нувеллисты, а потомъ поэты-стихотворцы, рѣзко отличавшіеся отъ прежнихъ своимъ направленіемъ и колоритомъ. Въ литературѣ молодой и не установившейся новость возбуждаеть такое же вниманіе, какъ и геніальность, и часто считается заодно съ нею, хотя и ненадолго. Среди всёхъ этихъ новостей самъ Кольцовъ возбудилъ собою вниманіе, какъ повость, появившаяся подъ имелемъ поэта-прасола. Будь онъ не мъщанинъ, почти безграмотный, не прасолъ — его стихотворенія, можеть быть, едва ли были бы тогда замъчены. Первыя стихотворенія Кольцова печатались изръдка въ разныхъ малонзвъстныхъ изданіяхъ. Публика узнала о немъ только въ 1835 г., когда, въ Москвъ, вышла книжка его стихотвореній, въ числѣ восьмнадцати піесъ, изъ которыхъ сава ли половина носила на себѣ отпечатокъ его самобытнаго таланта, потому что пора настоящаго творчества и полнаго развитія таланта Кольцова настала только съ 1836 года. Однако же, вниманіе, какое обратили на Кольцова многіе литераторы и, между ними, Жуковскій и самь Пушкинь, отозвалось и въ публикъ. Кинжка имъла успъхъ, н имя Кольцова пріобрѣло общую извѣстность. Съ 1836 года онъ постоянно печаталъ свои стихотворенія въ журналахь: "Современникъ", "Телескопъ", "Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду", "Сынъ Отечества" (1838), "Московскомъ Наблюдателъ (1838-1839), а потомъ большею частію въ "Отечественныхъ Запискахъ" и въ альманахахъ: "Утренняя Заря" и "Сборникъ". Когда даже и большія сочиненія, пов'єсти и драмы, разбросаны такимъ образомъ по разнымъ изданіямъ, и тогда публикъ неудобно составить себъ о ихъ авторъ опредъленное понятіе, тъмъ болье это относится къ автору мелкихъ стихотвореній, которыя, въ продолжение почти восьми лѣть, печатались въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Появляется въ журналѣ новое стихотвореніе даровитаго поэта, производить свой эффекть-и, какъ все въ мірѣ, мало-по-малу забывается. Иной читатель и хотель бы вновь перечесть его, но для этого надо отыскивать стихотворение въ кучъ журналовъ; а притомъ не всякій номнить, гдѣ именно помъщено оно, и не всякій имъетъ возможность доставать старые журналы. Такимъ образомъ общій колорить и характерь произведеній поэта ускользаетъ отъ читателей. Отъ времени до времени поэть производить на нихь впечатление то

тъмъ, то другимъ своимъ стихотвореніемъ, но не общностію, не цълостію своей поэзін, которая, если онъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный міръ дъйствительности.

Прежде, нежели приступимъ мы къ разсмотрѣнію произведеній Кольцова, считаемъ нужнымъ коснуться нѣкоторыхъ подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата, или, лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями; но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровою судьбою.

Алексъй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежь, въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мішанинь, быль человінь не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки матеріала на салотопенные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получиль никакого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ у насъ и не въ одномъ этомъ сословін. Само собою разум'єтся, что съ раннихъ льть онъ не могь набраться не только какихъ-нибудь нравственныхъ правилъ, или усвопть себъ хорошія привычки, по и не могъ обогатиться инкакими хорошими впечатл'вніями, которыя для юной души важнъе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видель вокругь себя домаший хлопоты, мелочную торговлю съ ея продълками, слышалъ грубыя и пе всегда пристойныя річи даже отъ тіхъ, изъ чыхъ устъ ему следовало бы слышать одно хорошее. Встмъ извъстно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она въ особенности въ среднемъ классъ, гдъ мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена съ мъщанскою спесью, ломаньемъ и кривляньемъ. По счастію, къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонъ которой быль воснитанъ. Съ дътства онъ жилъ въ своемъ особенномъ мірѣ,—и ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты производили на него гораздо сильнайшее впечатлъніе, нежели грубая и удушливая атмосфера его домашней жизни. Предоставленный самому себъ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всъмъ дътямъ любившій бродить босикомъ по травъ и по лужамъ, чуть-было не лишился на всю жизнь употребленія ногь и долго быль болень, такь что хотя его впоследствін и вылечили, однако онъ всегда чувствоваль отзывы этой бользни. Только необыкновенно крѣпкое сложение могло спасти его отъ калъчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ, напримъръ, будучи уже старше шестнадцати лътъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ел голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но, несмотря на все это, онъ всегда быль здоровъ н крѣнокъ.

На десятомъ году Кольцова начали учить грамотъ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ какъ грамота ребенку далась, и онъ скоро ей выучился, его отдали въ

воронежское увздное училище, изъ котораго онъ быль взять, пробывши около четырехъ мъсяцевъ во второмъ классъ: такъ какъ онъ умълъ уже читать и писать, то отецъ его и заключиль, что больше ему ничего не нужно знать, и что восинтаніе его кончено. Не знаемъ, какимъ образомъ быль онь переведень во второй классь, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищъ, потому что, какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замътили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія. Мало того: изъ примъра Кольпова мы больше всего убъдились въ важности элементарнаго образованія, которое можно получить въ уфздномъ училищъ. При всъхъ его удивительныхъ способностяхъ, при всемъ его глубокомъ умъ, - подобно всъмъ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ всегда чувствоваль, что его интеллектуальному существованію недостаеть твердой почвы, и что, вследствіе этого, ему часто достается съ трудомъ то, что легко усвоивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодъяніями первоначальнаго обученія. Такъ, напримѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ детстве, чтобы понимать его. Для всякаго, кто въ увздномъ училище прошель хоть Кайданова исторію, незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героевъ древности. Древняя жизнь и древній быть такъ непохожи на нашу жизнь и нашъ бытъ, что только чрезъ науку, въ лета детства, можемъ мы освоиваться съ ними и привыкать находить ихъ возможными и естественными. Вследствіе этого же недостатка въ элементарномъ образованін Кольцовъ, при всей глубокости и гибкости своего эстетическаго вкуса, не могъ понимать "Иліады", хотя и не разъ принимался читать ее въ переводѣ Гнѣдича, — между тъмъ какъ Шексипръ восхищалъ его даже въ посредственныхъ и плохихъ переводахъ, и онъ съ жадностію собпралъ, читалъ и перечитывалъ ихъ. Что онъ немного вынесъ изъ увзднаго училища, хотя и пробыль четыре мъсяца даже во второмъ классъ, -- это всего яснъе видно изъ того, что онъ не имътъ почти никакого понятія о грамматик' и писаль вовсе безъ ореографін.

Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе его пителлектуальной жизни; онъ началь пристращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на пгрушки онъ употребляль на покунку сказокъ, и "Вова Королевичъ" съ "Ерусланомъ Лазаревичемъ" составляли его любимѣйшее чтеніе. На Руси не одна одаренная богатою фантазіею натура, подобно Кольцову, начала съ этихъ сказокъ свое литературное образованіе. Охота къ сказкамъ всегда есть вѣрный признакъ въ ребенкѣ присутствія фантазіи и наклонности къ поэзін, — и переходъ отъ сказокъ къ романамъ и стихамъ очень естественъ: тѣ и другіе даютъ пищу фантазін и чувству, съ тою только разницею, что сказки удовлетворяють дітскую фантазію, а романы и стихи составляють потребность уже болье развившейся и болье подружившейся съ разумомт фантазіи. Но воть особенная черта, обнаружившая въ Кольцові не только пассивную и воспринимающую, по и діятельную фантазію: читая сказки, онь почувствоваль охоту составлять самому чтонибудь въ ихъ роді. Но такъ какъ тогда онъ еще не имізль привычки повітрять бумагі все, что ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались въ одніхъ мечтахъ.

Десятилътній Кольцовъ взять быль изъ учиянща отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему
въ торговлъ. Онъ бралъ его съ собою въ степи,
гдъ, въ продолжение всего лъта, бродилъ его скотъ;
а зимою посылалъ его съ приказчиками на базары для закупки и продажи товара. Итакъ, съ
десятилътняго возраста Кольцовъ окунулся въ
омутъ довольно грязной дъйствительности; но онъ
какъ будто и не замътилъ ея: его юной душъ попобилось широкое раздолье степи. Не будучи еще
въ состояніи понять и оцънить торговой дъятельности, книтъвшей въ этой степи,—онъ тъмъ лучше
понялъ и оцънилъ степь, и полюбилъ ее страстно
и восторженно, полюбилъ ее, какъ друга, какъ любовницу.

Стень раздольная Далеко вокругъ, Широко лежитъ, Ковылемъ-травой Разстилается! Акъ, ты, стень моя, Стень привольная, Широко ты, стень, Пораскинулась, Къ Морю-Черному Понадвинулась!

Многія піесы Кольцова отзываются впечатлъніями, которыми подарила его степь: "Косарь", "Могила", "Путникъ", "Ночлегъ Чумаковъ", "Цвътокъ", "Пора Любви" и другія. Почти во всехъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь даже н не играетъ никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и въ колоритъ, и въ тонъ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авгоръ-сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣяла. И потому ремесло прасола не только не было ему непріятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его со степью и давало ему возможность цёлое лёто не разставаться съ нею. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша; любиль ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травъ; любилъ иногда цълые дии не слѣзать съ коня, перегоняя стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось цълые дии и недали проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вътру, засыпать на голой земль, подъ шумъ дождя, подъ защитою войлока или овчин-наго тулупа. Но привольное раздолье стени, въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта, вознаграждало

его за всѣ лишенія и тягости осени и бурной поголы.

Разставаясь съ степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно наслаждение на другое: въ городъ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Вывши еще въ училищъ, онъ сблизился съ мальчикомъ, ровесникомъ ему по летамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотвореніе "Ровеснику" написано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмёстё читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не что-нибудь дёльное, а романы Дюкредю-Мениля, Августа Лафонтена и подобныхъ имъ; но если для впечатлительной, одаренной сильною фантазіею натуры и сказки о Бов'є и Еруслан'є могли служить нравственнымъ будильникомъ, то естественно, что эти романы еще болъе не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбились Кольцову изъ этихъ книгъ "Тысяча и Одна Ночь" н "Кадмъ и Гармонія" Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы илжиять и очаровывать впечатлительное воображение дътей и младенчествующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цёну: это быль съ его стороны первый шагъ впередъ на пути развитія. Ему уже не хотвлось сочинять сказокъ: романы овладъли всъмъ существомъ его, и, разумъется, у него родилось желаніе самому произвести что-нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтъ.

Такимъ образомъ, между степью съ баранами и чтеніемъ съ пріятелемъ, провелъ Кольцовъ три года. Въ это время ему суждено было въ первый разъ узнать несчастіе: онъ лишился своего друга, умершаго отъ бол'взии. Горесть Кольцова была глубока и сильна; по онъ не могъ не утъщиться скоро, потому что былъ еще слишкомъ молодъ, и въ немъ было слишкомъ много жизни, стремленія и отзыва на призывы бытія. Чтеніе сделалось его прибъжищемъ отъ горести и утъщениемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободъ, и въ городъ, и въ степи. До сихъ поръ онъ не читалъ стиховъ и не имелъ о нихъ никакого понятія. Вдругъ нечаянно покупаетъ онъ на рынкъ, за сходную цѣну, сочиненія Дмитріева. Въ восторги отъ своей покупки, бижить онъ съ нею въ садъ и начинаетъ пъть стихи Дмитрієва. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пъть: такъ заключалъ онъ по пъснямъ, между которыми и стихами не могъ тотчасъ же не замътить близкаго сходства. Гармонія стиха и риомы полюбилась Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что такое стихъ и въ чемъ состоитъ его отличіе оть прозы. Многія піесы онь заучиль наизуєть, и особенно понравился ему "Ермакъ". Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать

такія же звучныя строфы съ риомами; по у него не было ни матеріала для содержанія, ни умѣнія для формы. Однако-жъ матеріалъ вскоръ ему представился, и онъ по-своему воспользовался имъ для перваго опыта въ стихахъ. Тогда ему было 16 лётъ. Одному изъ его пріятелей приснился странный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодыя літа всякій сколько-нибудь странный или необыкновенный сонъ имбетъ для насъ таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ и разсказалъ его Кольцову, чемъ и произвель на него такое глубокое впечатленіе, что тоть сейчась же решился описать его стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засёль за дёло, не имёя никакого понятія о размъръ и версификаціи; выбраль одну піесу Дмитріева и началь подражать ея стиху. Первые стиховъ десятокъ достались ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, —и въ ночь готова была пречудовищная пісса, подъ названіемъ "Три Виденія", которую онъ потомъ истребиль, какъ слишкомъ нелѣный опытъ. Но какъ ни илохъ былъ этоть опыть, однако-жъ онъ навсегда рашилъ поэтическое призваніе Кольцова; носл'є него онъ почувствоваль решительную страсть къ стихотворству. Ему хотелось и читать чужіе стихи, и инсать свои, такъ что съ этихъ поръ опъ уже неохотно читалъ прозу-и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Такъ какъ въ Воронежь н тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которыя иногда даваль ему отецъ, Кольцовъ скоро пріобрёлъ себё сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжаль писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе: ему некому было показывать своихъ опытовъ, не съ къмъ было совътоваться на ихъ счеть, а между тъмъ совътникъ ему былъ необходимъ, -- и онъ решился обратиться за совътами къ воронежскому книгопродавцу, нанвно предполагая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дълъ, и принесъ ему "Три Виденія" и другія свои піссы. Книгопродавець быль человёкь необразованный, но неглупый и добрый; онъ сказаль Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хоть онъ и не можеть ему объяснить, почему именно; но что если онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка: "Русская Просодія, изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона". Видно, какой-то инстинкть сказаль этому книгопродавцу, что онъ видить передъ собою человака не совсамъ обыкновеннаго, и видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарнлъ ему "Русскую Просодію" и предложиль ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ пріобраль княгу, которая должна посвятить его въ таниства стихотворства и дать ему возможность самому сдёлаться поэтомъ, и, сверхъ того, у него очутилась подъ руками целая библютека! Это было для него счастіемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать одив и тв же книги; цвлый новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всёмъ жаромъ, со всею жадностью нестерпимаго голода, и безъ разбору пожиралъ чтеніемъ и хорошее, и дурное. Книги, которыя ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая библіотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковскаго, Нушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ въ раздольв этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство прошло пять лътъ. Кольцовъ достигь семнадцатильтияго возраста, и тогда съ нимъ собершилось событіе, имѣвшее могущественное вліяніе на всю жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцовъ принадлежалъ къ числу твхъ страстныхъ организацій, которыя рано открываются для всёхъ симпатій сердца, для любви и дружбы въ особенности. До сихъ поръ это были чувства и привязанности хотя жаркія, но детскія: теперь настала пора чувствъ и привязанностей другого рода. Въ семейство Кольцова вошла молодая дъвушка, въ качествъ служанки. Несмотря на низкое званіе, она получила отъ природы все, чёмъ иожно было потрясти въ основаніи такую сильную н поэтическую патуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось безъ отвъта. Не знаемъ, долго ян продолжалась эта связь, но знаемъ, что она не была шалостью или легкимъ безотчетнымъ чувствомъ, впервые пробудившеюся потребностію молодой кипящей крови. Н'ять, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любиль, онъ уважаль, свято чтиль предметь своей любви, въ которомъ нашелъ свой осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтая объ идеалахъ и не ища ихъ. Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась его семейству и даже безпоконла его. Извъстное дъло, что въ этомъ сословіи нервое задушевное желаніе отца состоить въ томъ, чтобы поскоръе женить своего сына на какомъ-нибудь размалеванномъ бѣлилами, румянами и сюрьмою болванъ съ черными зубами и хорошимъ, соотвътственно состоянію семьи жениха, приданымъ. Связь Кольцова была опасна для этихъ мѣщанскихъ плановъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ дикихъ невъждъ, простодушно и грубо чуждыхъ всякой поэзін жизни, она казалась предосудительною и безнравственною. Надо было разорвать ее во что быни стало. Для этого воспользовались отсутствіемъ Кольцова въ степь, —и когда онь воротился домой, то уже не засталь ея тамь... Это несчастіе такъ жестоко поразило его, что онъ схватиль сильную горячку. Оправившись отъ болезни и призанявши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи развѣдывать о несчастной. Сколько могь, далеко ъздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Не знаемъ, долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извъстіе, что несчастная жертва варварскаго расчета, понавшись въ донскія степи, въ казачью

И

10

Ъ

станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

Эти подробности мы слышали отъ самого Кольцова, въ 1838 году. Несмотря на то, что онъ
вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ
трудомъ и медленно выходили изъ его устъ, и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ... Только
одинъ разъ говорилъ онъ съ нами объ этомъ, и
мы никогда не рѣшались болѣе разсирашивать его
объ этой исторіи, чтобъ узнать ее во всей подробности: это значило бы раскрывать рапу сердца,
которая и безъ того никогда вполиѣ не закрывалась...

Эта любовь, и въ ея счастливую пору, и въ годину ея несчастія, сильно подбиствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не стихотворцемъ, одолеваемымъ охотою слагать размеренныя строчки съ риемами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдълался отзывомъ на призывы жизни, грудь котораго носила въ себъ богатое содержаніе для поэтическихъ паліяній. Піесы: "Если встричусь съ тобой", "Первая любовь", "Къ ней" (Опять тоску, опять любовь), "Ты не пой, соловей", "Не шуми ты, рожь", "Къ милой", "Примиреніе", "Миръ музыки" и и которыя другія явно относятся къ этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова. Натура Кольдова была крѣнка и здорова физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія-нибудь сладковато-мистическія утішенія, какь это ділають послі несчастія правственно-слабыя патуры. Ніть, онъ взяль свое горе съ собою, бодро и мощно понесъ его по нути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни н ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи увидълъ онъ вознаграждение за тяжкое горе своей жизни и весь погрузился въ море поэзін, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ и, но ихъ слфдамъ, пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтические звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же онъ уже не имълъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому что нашелъ себъ совътника и руководителя, какого давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, какъ бы въ вознаграждение за нее, остался другъ. Это былъ человъкъ замъчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ: Натура сильная и широкая, Серебрянскій, будучи семинаристомъ, рано почувствоваль отвращение къ схоластикъ, рано понять, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призваніе, и, руководимый инстинктомъ, онъ самъ себф создалъ образование, котораго нельзя получить въ семинаріи. Въ его натурѣ и самой судьбѣ было много общаго съ

Кольцовымъ, и ихъ знакомство скоро прегратилось въ дружбу. Дружескія бесёды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинною школою развитія во всёхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ Кольцовъ нашелъ себе въ Серебрянскомъ судью строгаго, безиристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ, знающаго дёло. Въ посланіи къ нему (написанномъ неизвёстно въ которомъ году—должно быть между 1827 и 1830), Кольцовъ говоритъ:

Воть мой досугь: въ немъ умъ твой строгій Найдеть ошибокъ слишкомъ много: Здёсь каждый стихь—чай, грёшный бредъ. Что-жъ дёлать! Я такой поэть, Что на Руси смёшнёе иёть. Но не щади ты недостатки, Замёть, что требуеть иоправки.

Это посланіе вполнѣ обнаруживаетъ взаимныя отношенія обоихъ друзей и какъ важенъ былъ Серебрянскій для развитія таланта Кольцова. Въ самомъ деле, только съ техъ поръ, какъ онъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совъту Серебрянскаго, а насчетъ удававшихся сразу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго нользовался Кольцовъ совътами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ дорогу, и не столько по влеченію, сколько по расчету, поприще врача онъ предпочелъ другимъ, чтобы не отчаяваться въ будущемъ, по крайней мъръ въ кускъ хльба, и поступиль въ московскую медико-хирур-

гическую академію. Какъ бы то ни было, но поэтическое призвание Кольцова было решено и сознано имъ самимъ. Непосредственное стремление его натуры преодольло всв препятствія. Это быль поэть по призванію, по натурѣ, — и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще большую энергію. Прасоль, верхомь на лошади гоняющій скоть съ одного поля на другое; по кольни въ крови, присутствующій при ръзаніи, или, лучше сказать, при бойнъ скота; приказчикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ,--и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ позтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ челов ка, о таинахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца, и умственными сомнініями, и въ то же время дінтельный члень дъйствительности, среди которой поставлень, смышленый и бойкій русскій торговець, который продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Вогъ знаетъ съ къмъ, торгуется изъ конейки и пускаетъ въ ходъ всв пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отвращается, какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человъкъ!.. Возвращаясь домой, онъ встречаеть не ласку, не приветь, а грубое невъжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочеть быть человъкомъ н, въ этомъ отношении, уже резко отличился оть невёжественных животных въ человеческомъ образъ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головъ, Много въ сердцъ огня!—

н онъ закрываетъ глаза на грязную действительность, не замъчаеть презрънія, не видить ненависти. Презрѣніе, ненависть!.. За что же?.. Кому онь сделаль зло, кого обидёль? Не жертвуеть ли онъ лучшими своими чувствами, благородивишими своими стремленіями этой грязной и сальной действительности, чтобы тяжкимъ трудомъ в скучными хлопотами въ чуждой ему сферѣ способствовать матеріальному благосостоянію своего семейства? Но, увы! удивляться этому презрѣнію и этой ненависти безъ причины-значить не знать людей. Сойдитесь съ пьянидей, сами оставаясь трезвымъ человъкомъ: онъ не взлюбитъ васъ. Неряха никогда не простить вамъ опрятности, низкопоклонникъ — благородной гордости, негодяй честности. Но еще болье невъжество не простить вамъ ума и стремленія къ образованности. И какъ простить! Не желая оскорблять его, будучи съ нимъ ласковы и обязательны, вы всетаки унижаете его вашимъ достоинствомъ, выживой упрекъ ему! И если это невъжество-пожилой, почтенный человъкъ, ничего не умъющій дълать, а вы-юноша, который и въ житейскихъ дълахъ превосходитъ его способностію и соображеніемъ: тогда онъ-лютый, непримиримый врагъ вашъ. Онъ воспользуется вашими услугами, выжметъ васъ насухо, какъ апельсинъ, а потомъ растопчеть ногами и выбросить за окно, видя, что вы уже больше не нужны ему...

Слухъ о самородномъ талантъ Кольцова дошелъ до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замъчательныхъ людей, которые не всегда бывають извъстны обществу, но благоговъйные и таинственные слухи о которыхъ переходять иногда и въ общество изъ тъснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго пом'вщика, бывшій въ то время въ Московскомъ университетъ и пріъзжавній на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его опыты и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году Кольцовъ, по деламъ отца своего, прівхаль въ Москву и, черезь Станкевича, пріобрёль тамъ нёсколько новыхъ знакомствъ, впоследствін довольно важныхъ для него. Въ это время двъ или три піески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ, впрочемъ, довольно илохомъ московскомъ журнальцв. Для Кольцова, не смѣвшаго вѣрить въ свой таланть, это было лестно и пріятно. Впосл'єдствіи Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это нам'треніе было выполнено въ 1835 году. Изъ довольно увъсистой и толстой тетради Станкевичъ выбралъ 18 піесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталь ихъ въ маленькой опрятной книжкв, которая доставила Кольцову большую извъстность въ литературномъ міръ. Правда, туть больше всего действовало волшебное словдо поэтъ-самоучка, поэтъ-прасолъ, — и будь эти 18 стихотвореній изданы, какъ произведенія челов'я хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, по кончившаго курсь въ университеть и уже служившаго чиновникомъ въ департаменть, на нихъ не обратили бы такого вниманія. Но надо и то сказать, что въ этой книжкъ видно было больше объщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836-й годъ былъ энохою въжизни Кольцова. По деламъ отца своего онъ долженъ быль побывать въ Москвъ и Петербургъ и пробыть довольно долгое время въ объихъ столицахъ. Въ Москви онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый прівздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомиль его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами, потому что почти каждый литераторъ спъшилъ дарить его своими сочиненіями и изданіями. Такимъ образомъ библіотека его въ короткое время значительно умножилась. Что же касается до чести знакомства со всеми литературными знаменитостями, большими и малыми, -то нельзя сказать, чтобы Кольцовъ добивался ея или слишкомъ дорожилъ ею. Съ одной стороны, онъ былъ скроменъ и робокъ, а съ другой, въ немъ сильно было чувство своего достоинства, и потому онъ не любиль быть на выставкъ. По чувству деликатности и благодарности, онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ, но игралъ тутъ болѣе пассивную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убъдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имълъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представляться кому бы то ни было въ качествъ таланта или литературной ръдкости, ему было и неловко, и больно. Притомъ же Кольцовъ быль очень пронидателенъ и имълъ много такту: онъ очень хорошо понималъ и видълъ, что одни принимали его, какъ диковинку, смотръли на него, какъ смотрятъ на заморскаго звъря, на великана, на карлика; что другіе, синсходя до равенства въ обращени съ нимъ, были въ восторгь отъ своей просвыщенной готовности уважать талантъ даже и въ мъщанинъ; и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіємъ и искренностію. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достониства и говорили съ нимъ тономъ покровительства; а ифкоторые только изъ вёжливости не оборачивались къ нему спиною. Все это онъ очень хорошо виделъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и въжливо; потомъ, встрътивнись съ молодымъ литераторомъ, который представиль ему Кольцова, началь надъ нимъ подшучивать: "Что-де вы нашли въ этихъ стишонкахъ, какой туть талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку ради шутки". Другой, тоже очень извъстный литераторъ, не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а, напротивъ, увидълъ въ немъ очень положительнаго человъка, изъ чего и заключилъ, что у него не можеть быть таланта... Это последнее заключеніе особенно замічательно: такъ судить толна о поэть! Не находя въ себъ довольно способности, чтобъ изъ сочиненій поэта удостов фриться въ его таланть, -- она требуеть оть него, чтобъ онъ показывался передъ нею, не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирф, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженною рѣчью, съ поэтическимъ опьянаніемъ или безуміемъ въ манерахъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ нисколько не подходиль подъ этоть идеаль поэта: онь быль слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль энтузіаста. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе и думаль, что въ обществъ особенно должно держать себя прилично, быть просто человъкомъ, какъ всъ, а не геніемъ, не поэтомъ. Онъ не принадлежаль къ числу тёхъ глупцовъ, которые думають, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повёстцу или десятокъ стихотвореній, то всѣ должны почитать за счастье видъть ихъ, и что, кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скоръ ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ виделъ съ чьей-нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. "Что я ему? Что такое во мнв?" — говариваль онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходился съ человъкомъ, когда увърялся, что тотъ не изъ прихоти, а действительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему темъ же,тогда раскрываль онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умълъ любить, глубоко чувствоваль потребность дружбы и любви и, какъ немногіе, быль способень къ нимь; но не любиль шутить ими...

Однако-жъ знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался отъ зам'вшательства перваго представленія и сколько-нибудь освоивался съ новымъ лицомъ, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, онъ все зам'вчалъ, и едва ли что ускользало отъ его проницательности, что было ему т'вмъ легче, что каждый готовъ былъ вид'вть въ немъ скор'ве зам'вшательство и нелюдимость, нежели проницательность. Ему любопытно было вид'вть себя въ кругу т'вхъ умныхъ людей, которые издалека казались ему существами высшаго рода; ему интересно было слышать ихъ умныя р'вчи. Много ли наслушался онъ ихъ, объ этомъ мы кое-что слышали отъ него впосл'вдствін...

Въ Петербургѣ Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ; былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоми-

наль онъ всегда о радушномъ и тепломъ пріемѣ, который оказаль ему тоть, кого онь съ трепетомъ готовился увидать, какъ божество какоенибудь,--Пушкинъ. Почти со слезами на глазахъ разсказываль намъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минуть. Кто познакомился въ Петербургъ съ первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоитъ перезнакомиться съ второстепенными. Сперва онъ и здёсь больше все молчалъ и наблюдалъ, но потомъ, смекнувъ дёломъ, давалъ волю своей проніп... О, какъ бы удивились многіе изъ фельетонныхъ и стихотворныхъ рыцарей, если бы могли догадаться, что этотъ мужичокъ, котораго они думали импонировать своею литературною важностью, видить ихъ насквозь и умъетъ настоящимъ образомъ ценить ихъ таланты,

образованность и ученость...

Въ 1838 году Кольцовъ опять быль по дъламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жиль въ Москве и до отъфзда въ Иетербургъ, и по возвращении изъ него, н жизнь въ Москвъ тогда особенно полюбилась ему. Постоянно пріятное расположеніе духа было причиною, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращение домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнъе манитъ его къ себъ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладело чувство одиночества, которое преодолѣвалось въ немъ только любовью къ природѣ и чтеніемъ. Вотъ что писаль онь объ этомъ къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей: "Въ Воронежъ я прівхалъ хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, а не то. Дѣла коммерцін безъ меня разстроились порядочно, новыхъ непріятностей куча; что день-то горе, что шагъ-то напасть. Но, слава Богу, какъ-то я всв ихъ переношу теперь терпеливо, и онв сдёлались для меня будто предметами; посторонними и до меня почти не касающимися. На душт тепло, покойно. Хорошее лѣто, славная погода, синее небо, светлый день, вечерняя тишь все прекрасно, чудесно, очаровательно — н я жизнію живу и тону своею душою въ удовольствіяхъ нашего літа. Благодарю васъ, благодарю вмъстъ и всъхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сделали, о, слишкомъ много! Эти последніе два м'єсяца стоили для меня пяти леть воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного — некогда, въ головъ дрянь такая набита, что хочется илюнуть; матеріализмъ дрянной, гадкій и вмість съ тімь необходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водъ, гдъ велятъ дъла житейскія; ныряй и въ тинь, когда надобно нырять; гнись въ дугу и стой прямо въ одно время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотою. Новаго не инсаль инчего-некогда. Воронежь приняль меня противу прежняго въ десять разъ радушиће; я благодаренъ ему. До меня люди выдумали, будто

я въ Москвъ женился; будто въ Питеръ увхалъ навсегда жить; будто меня оставили въ Питеръ стихи инсать. И вев встрвчаются со мной и такъ любонытно глядять, какъ на заморскую чучелу. Я сгоряча немного посердился на нихъ за это: но подумаль, — и вышло, что я быль глупъ. На людей сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а въ лѣсу больше кривого и сучковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они судять по-своему. Спасибо н за это, и мив они нравятся въ этихъ странностяхъ. Старикъ-отецъ со мной хорошъ; любитъ меня болже за то, что дёло хорошо кончилось: онъ всегда такія вещи очень любить. Степь опять очаровала меня; я чорть знаеть до какого забвенія любовался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ пѣлъ: "Пора Любви", —она къ ней идеть. Только это чувство было совстви другого рода; послѣ мнѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-другъ, н то ненадолго. Къ ней прівхать погостить — н въ городъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама по себѣ слишкомъ однообразна и молчалива. Серебрянскій до-**Бхалъ** до двора, но очень боленъ; кажется, проживеть не болье мьсяцевь двухь, а можеть, я ошибаюсь. Съ монми знакомыми расхожусь помаленьку: наскучили мит ихъ разговоры пошлые. Я хотель съ пріезда уверить ихъ, что они криво смотрять на вещи, ошибочно понимають; толковаль такъ и такъ. Они надо мной смеются, думають, что я несу имъ вздоръ. Я повернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу; хотълъ ихъ научитьда ба!-- н вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушаю, думая самъ про себя о другомъ; всёхъ ихъ хвалю во всю мочь; всѣ они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образдовые книгопродавцы; и онн стали мной довольны, и я самъ про себя смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ все идетъ ладно: а то что въ самомъ деле изъ ничего наживать себѣ дураковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудриль, такъ онъ съ своею мудростью и умретъ"

Въ этомъ письмѣ весь Кольцовъ. Такъ инсаль онъ всегда, и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда ивсколько вычурна, языкъ не отличался опредёленностію, но зато поражаль какою-то наивностію и оригинальностію. Тогдашиее состояніе души его выражено въ этомъ письмѣ вернее, нежели какъ, можетъ быть, думалъ онъ самъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сделалась скучна; только прекрасная пора лъта составляла всю его отраду; онъ любилъ еще степь, по уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту, и то не одному... И такъ кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало съ цены, настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Прежиія знакомства, дотол'є сносныя и, можеть быть, даже пріятныя, сділались невыносимы, и тъ же люди явились въ другомъ свътъ. Все родное Кольцова было уже не въ опустъломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всё думы его. Въ семействе своемъ онъ горячо любилъ младшую сестру, и между ними существовала самая тъсная дружба. Кольцовъ видъль въ сестръ много хорошаго, уважаль ея вкусъ и часто совътовался съ нею насчеть своихъ стихотвореній, -- словомъ, дёлился съ нею своею внутреннею жизнію. В ря въ ея къ нему задушевное расположение, онъ дълаль для нея все, что могъ. Настойчивостію, просьбами, лестью, всякими хитростями онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанять учителя музыки и французскаго языка. Новыя связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабили этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось въ даль. Натура Кольцова была не только сильна, но и ифжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходился съ ними недовърчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ, то отдавался весь. Это имкло для него гибельныя с. гъдствія въ отношенін къ накоторымъ привязанностямь: предательство, в фроломство, низкія интриги особы, которой онь быль предань безусловно, и которая казалась ему также преданною, были для него страшнымъ ударомъ. Онъ все на свътъ могъ перенести, кромъ этого, и кошачья лапка имъта силу ранить его сильнъе львиной ланы. Горячо любиль онъ также своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Съ отцомъ онъ быль всегда на политическихъ отношеніяхъ, которыя, и въ размолвкѣ, и въ мирѣ, были борьбою. Тутъ старые предразсудки и невъжество явно и тайно боролись съ смёлымъ умомъ и стремленіемъ къ свёту. Счастливое окончаніе нікоторых важных для благосостоянія семейства діль и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову, —вниманіе, которому свидътелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 г., способствовали наружному миру и согласію между отцомъ и сыномъ. Къ тому же, сынъ еще былъ необходимъ для отца: на немъ лежали вст торговыя дёла, на него переведены были всё долги, всѣ векселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣнін и ловкости вести дѣла лежала участь цълаго дома, который быль въ такомъ положенія, что еще ивсколько счастливо преодоленныхъ пренятствій-и его благосостояніе совершенно упрочивалось, но, въ случав неуспеха, должно было следовать конечное разореніе.

Если бы Кольцовъ принялся за дѣла, будучи лѣтъ 18-ти, не раньше, навѣрное можно сказать, что онъ съ ними никакъ бы не освеплся, и его поэтическая натура съ ужасомъ и омерзеніемъ отворотилась бы отъ этой грязной дѣйствительности. Но опъ понемногу и пезамѣтно для самого себя освоился съ ними съ дѣтства; эта дѣйствительность украдкою подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе. Самъ не зная какъ, втя-

нулся онъ въ дёла мелкаго торгашества, тёмъ легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтенію, мечтамъ, природѣ и поэзіи. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дійствительности и людей и борьба съ ними; здёсь была его школа жизни. Туть случались съ нимъ обстоятельства не только непріятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за что-то такъ озлобился на него. что ръшился его заръзать. Намекнули ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался, но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защищаться невозможно. Надобно было ръшиться на траги-комедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозрѣвая и не замѣчая, онъ сталъ съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ и братался. Этимъ опасность была отстранена, потому что русскаго мужика сивухою такъ же можно и отвести отъ убійства, какъ и навести на него. Только по возвращенін въ Воронежъ Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удальцомъ, требовавшимъ расчета. При этомъ расчетъ, продолжавшемся очень долго, злодъй имъть причину и время раскаяться въ своемъ умысле, а можетъ быть, и въ томъ, что не удалось ему его выполнить... Воть міръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дъйствительностію!... Не съ одними волками, которые стаями следили за стадами барановъ, приходилось ему вести ожесточенную войну...

Около этого времени, т. е. последней поездки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинъ своей, долженъ быль давать около семи тысячь ассигнаціями ежегоднаго доходу. Къ несчастію, не одинъ онъ былъ наследникомъ этого дома — обстоятельство, которое впоследствін дорого ему стоило... Всѣ эти дѣла онъ и ладилъ, и черезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше н больше усиливалось отвращение къ нимъ. Это не было следствіемъ пошлаго идеальничанья, которое любить один облака и не любить земли: нъть, туть быль другой, благороднъйшій источникъ. Кольцовъ полагалъ большое различіе между купцомъ-капиталистомъ, которому не только необходимо, даже выгодно быть честнымъ, потому, что честность даеть кредить, а безъ кредита большая торговля невозможна, — и между мелкимъ торговцемъ, котораго положение всегда скользко, ненадежно, неопределенно, который всегда принужденъ вертъться ужомъ и жабою, кланяться, подличать, божиться, натягивать всёми правдами п неправдами... Кольцовъ не боялся дъла, но не любилъ низости и грязи. Волею и неволею былъ онъ съ дътства завербованъ въ эту грязную дъятельность; запряженный разъ, теривливо тащилъ свою ношу въ надеждъ будущихъ благъ; но но временамъ эта ноша доводила его до отчаянія. Съ последней поездки въ Москву эти минуты уны-

нія, апатін и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкъ дома, онъ думалъ сдать отцу приведенныя имъ въ порядокъ дъла по стени, а самому заняться присмотромъ за домомъ и открыть въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей натуры съ внѣшнею дѣйствительностію. Но при всемъ своемъ знанін жизни и людей, Кольцовъ жестоко обманывался въ своей надеждѣ... Но пока надо было жить, какъ судьба хотъла. Слъдующія строки изъ письма его къ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще въ 1836 году, представляють яркую картину его занятій: "Ватинька два місяца въ Москвъ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дълъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ роще рублю дрова; осенью нахалъ землю; на скорую руку тажу въ села; дома по деламъ хлопочу съ зари до полночи". Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года писалъ въ Москву къ пріятелю: "Писать къ вамъ хочется, а инчего нейдеть изъ головы. Плоха чтото моя голова сдёлалась въ Воронеже, одурёла вовсе, и самъ не знаю, отъ чего-не то отъ этихъ дель торговыхь, не то оть перемены жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другого, а туть вдругь все надобно позабыть, дёлать другое, думать о другомъ — вёдь и дёла торговыя тоже сами не дёлаются, тоже кой о чемъ надобно подумать. Такъ одряхлёль, такъ отяжелёль: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. Воже избави! ужъ это будетъ весьма рано; не хотълось бы это слышать отъ самого себя Что-то скажеть осень. Кажется, у ней будеть для меня больше свободнаго времени — посмотримъ. Стройка дома безъ меня и дала торговыя у отца шли дурно. Тенерь, слава Богу, плыветь ровние. Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно-и лучше. Онъ ко мит больше имтетъ уваженія теперь, нежели прежде, а все виною хорошій конецъ дала. Онъ эти вещи очень любитъ, и хорошо делаеть; ему, старику, это идеть". Месяца черезъ два онъ писалъ къ тому же лицу: "Хотълось бы писать къ вамъ совсемъ не такъ, какъ нишу тенерь; но что-жъ прикажете дёлать, когда дъла дъявольски работають со мною. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда-ажъ на душт тошнитъ, такъ хорошо мив жить! — Серебрянскій умеръ. Да, лишился я человіка, котораго любиль столько літь душою и котораго потерю горько оплакиваю. Много желаній не сбылось, много надеждъ не исполнилось-проклятая бользнь! Прекрасный міръ прекрасной души, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внѣшнія обстоятельства могуть подавить и великую душу человъка, если они безпрерывно тяготять ее, и когда противу нихъ защиты нътъ. На плодотворной почвѣ земли хорошо удобритъ человъкъ свою ниву, постетъ хльоъ; но не сберетъ плода, если лъто выжжетъ корень, роса зари ему не помочь-ей нужень въ пору дождь. А этой-то земной благодати и капли не соило на его жизнь;

нужда и горе сокрушили тило страдальца. Грустно думать: былъ некогда, педавно даже, милый человъкъ-и нътъ его, и не увидишь никогда, и все кругомъ тебя молчитъ, и самый зовъ свиданія мретъ безотвътно въ безчувственной дали". Интересны и следующія строки изъ одного инсьма Кольцова, какъ живое свидетельство того, что значили для этой симпатической натуры дружескія связи и отношенія: "Не было еще мучительнъе въ жизни моей состоянія, какъ въ прошломъ годъ. Плохое, мучительное дёло, больной Серебрянскійсмерть его все довершила. Скажите: въ одну минуту разломить, что крынло ньеколько лыть-моя любовь къ нему, прекрасная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, надежды на будущее-и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я такъ много былъ ему обязанъ: онъ черезчуръ меня баловалъ. Вотъ почему я онамаль-было совсамь и всему хоталь сказать: прощай! и если бы не вы, я все бы потерялъ навсегда. Въдь меня не очень увлекла и увлекаеть блестищая толна; сходка, общество людей --- конечно, хорошо, но если есть ч е л о в ѣ к ъ, то такъ; а безъ него толпа немного даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому надобны сильныя потрясенія: иначе я-ноль. Никто меня не уничтожитъ съ другою душою, а собственно мою уничтожитъ всякій".

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова и еще годъ, и горизонтъ его жизни все гуще заволакивался тучами. Свътлыя минуты навъщали его все рѣже и рѣже. "Пророчески угадали вы мое положеніе (писаль онъ въ 1840 году въ Петербургъ къ пріятелю); у меня у самого давно уже лежитъ на душъ грустное это сознаніе, что въ Воронежъ долго мит не сдобровать. Давно живу я въ немъ н гляжу вонь, какъ звёрь. Тёсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мит въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро унаду; это неминуемо, какъ дважды два четыре. Хоть я и отказаль себѣ во многомъ, и частію, живя въ этой грязи, отрѣшиль себя отъ ней, но все-таки не совсёмъ, но все-таки я не вышелъ изъ нея". Въ это время Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложение принять управленіе книжною лавкою, основанною на акціяхъ. Другое предложение было сделано ему А. А. Краевскимъ-принять на себя завѣдываніе конторою "Отечественныхъ Записокъ". Первое предложеніе было ему совершенно не по душъ. Сумма акцій была незначительна, а онъ былъ убъжденъ, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только съ большимъ капиталомъ, что иначе поневолѣ выйдеть или разореніе, или не торговля, а торгашество со всеми его проделками, при одной мысли о которыхъ ему делалось гадко. Кроме того, ему ни того, ни другого предложенія нельзя было принять еще и потому, что по причинѣ долга въ 20.000, векселя котораго были сделаны на его имя, онъ не могь выёхать изъ Воронежа противъ

воли отца. Разъ какъ-то Кольцовъ зажился въ Москвъ, и только что прівхаль домой, какъ его зовуть въ полицію по векселю въ 3.000 рублей. Опоздай онъ несколькими днями, и вексель быль бы посланъ въ Москву, гдф онъ не имфлъ бы никакой возможности расплатиться по немъ. И это было бы дёломъ отца его. "Онъ человёкъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ ничего, въкъ рожь молотиль на обухъ. Такъ его грудь такъ черства, что его на все достанеть для своей пользы и для своей торговли. Настоящій купець устранваеть одни свон дёла, и есть ли польза отъ нихъ другимъему и дела нёть, и онь, что только съ рукъ сойдеть, все делать во всякую пору готовь. Мив отъ него и такъ достается довольно. Чуть мало-мальски что не такъ, ворчить и сердится: вы, говорить, все по-книжному да по-печатному, народъ грамотный-ума палата". Далье: "Вы бонтесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь можеть быть, -- не только черезъ пять льтъ, даже и скорье, живя такъ и въ Воронежъ. Но что-жъ дълать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сделаю; употреблю все силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу въ действіе всв зависящія отъ меня средства. И когда послъ этого упаду-мнъ краснъть будеть не передъ къмъ, и передъ самимъ собою я буду правъ. Другого делать нечего. А что въ 1838 году написаль такъ много порядочнаго -- это потому, вонервыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня каждый день настранвали, а во-вторыхъ, я почти ничего не делаль и быль праздень. Тяготило меня до-смерти одно дёло, но только одно дело, не больше. И я все еще писалъ такъ мало. А здёсь кругомъ меня другой народъ — татаринъ на татаринъ, жидъ на жидъ, а дълъ — беремя: стройка дома (которая кончилась съ мёсяцъ назадъ), судебныя дела, услуги, прислуги, угожденія, посещенія, счеты, расчеты, брани, ссоры. И какъ еще я пишу? И для чего пишу?-для васъ, для васъ однихъ; а здёсь я за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлець такъ на меня и лізеть, дескать писакъ-то и крылья ошибить... Это меня часто смѣшитъ, когда какой-нибудь чудакъ пѣтушится".

Осенью 1840 года снова представился Кольцову случай бхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжебнымъ дъламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа и увидёться съ людьми, родными ему по чувству и по мысли. Это была его последняя поездка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петербургѣ, и по прівздѣ сюда Кольцовъ остановился у него и прожиль съ нимъ около трехъ мъсяцевъ. Одно дело его было проиграно. Надо было спешить въ Москву поправить и спасти другое, самое важное. Такъ какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправился въ нее съ тоскою. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращении въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петер-

бургт навсегда, кончивши дело въ Москвт; но остаться безо всего, съодними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидъльца, приказчика, мелкаго торгаша, — одна мысль объ этомъ приводила его въ бъщенство. Онъ все надъялся, что отець дасть ему тысячь десять денегь, на условін отказаться отъ дома и всякаго другого наследства, и что съ этимъ небольшимъ каниталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Изъ Москвы онъ инсалъ къ своему иріятелю: "Ахъ! если бы къ вамъ скорфе! Если бы вы знали, какъ не хочется такъ домой — такъ холодомъ и обдаетъ при мысли вхать туда, а надо **Тхать**, — необходимость, желёзный законъ". Дёло его въ Москвъ кончилось хорошо, чёмъ, какъ и въ прежнихъ дёлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными инсьмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Повый годъ встратиль онъ шумно и весело, въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвъ. "Не хочется жхать (писаль онъ), да и только. Вотъ пришло время — и домъ, и родные не взлюбились наконецъ. И если-бъ была какая - нибудь возможность жить въ Интерф-я бы прямо маршъ, и остался бы въ немъ навсегда. Но безъ средствъ этого сдёлать нельзя, -- и я ёду домой. И эта по-**Б**ЗДКА МНОГО ПОХОЖА НА ЛОВЛЮ СУРКОВЪ: ИХЪ ИЗЪ земли выливають водой, а меня нужда посылаеть голодомъ. Я писалъ къ отцу по окончаніи дела, чтобы онъ прислалъ мий денегъ. Старикъ мой говоритъ: "Денегъ нѣтъ тебѣ ни копейки, а что дѣло кончилось хорошо, миж все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мит 68 лтть, и жить осталось меньше, чемь вамь. Я даже слышаль, что ты хочешь остаться въ Интеръ-съ Богомъ, во святой часъ. Благословеніе дамъ, а больше ничего". Я прочель сін родительскія строки и сказаль: воть тебъ, бабушка, и Юрьевъ день! Спросите, отчего это такъ сдёлалось? А вотъ отчего: дёло кончилось послёднее н самое гадкое; слёдственно его кредить теперь очищенъ совершенно. Прежде онъ боялся полиціни потому любилъ меня до излишества; а теперь она ему не страшна-- и домъ его, и все у него въ рукахъ: такъ я, выходитъ, сталъ ему не нуженъ... Эта новость и особенно эта непризнательность сръзали меня глубоко. Воть отчего я такъ долго живу въ Москвѣ и не ѣду домой, и ѣхать не хочется, и не иншу къ вамъ. Я думалъ сначала махнуть въ Интеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, я н присѣлъ-- и хорошо сдѣлалъ".

По возвращенін домой Кольцовъ нашель, по обыкновенію, всё дёла въ упадкё и разстройстве, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся ихъ устранвать. Отецъ принялъ его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей въгодъ изъ семи тысячъ, которыя долженъ былъ приносить домъ, въ ожиданіи чего Кольцовъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копейки въ карма-

нъ, - онъ, которому одному все семейство было обязано своимъ благосостояніемъ... Тогда имъ овладъла одна мысль-устронвши дъла, тхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативши веж долги по векселямъ на имя сына и ржшившись прекратить торговлю скотомъ. Но въ это время Кольцовъ началь себя дурно чувствовать и на страстной неділь чуть не умерь, но однако-ягь кое-какъ оправился. Къ счастію, докторъ его быль человѣкъ благородный и симпатичный, который лёчилъ его бол'ве изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ расчета; онъ зналъ впередъ, что получитъ бездёлицу, а занимался своимъ паціентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болъзин Кольцовъ говорилъ ему: "Докторъ, если моя бользнь неизлъчима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чемъ скорее, темъ лучше, и вамъ меньше хлопотъ". Докторъ ручался за его излъченіе: "Когда такъ, будемъ льчиться". Что териклъ Кольцовъ во время болкзни отъ близкихъ н кровныхъ, за псключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать... Это усилило разстройство его здоровья. Но тутъ, какъ нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, --можно сказать, блаженство, за которое онъ дорого долженъ былъ расплатиться. Страстною любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зловъщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. Закрывъ глаза на все, полною чашею, съ безумною жадностью, пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги. На бъду его, эта женщина была совершенно по немъ - красавица, умна, образована, и ея организація вполн'є соотв'єтствовала его кипучей, огненной натурф. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. Еще до этой разлуки онъ уже почувствовалъ ослабление во всемъ организмъ своемъ; вскорф открылась болфзиь. Знакомый ему докторъ снова номогъ ему; но вследъ за темъ открылась боль въ груди, слабость во всемъ телт, по ночамъ сильная испарина, разстройство желудка и желудочный кашель. По сов'ту доктора, Кольцовъ по вхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ усивлъ кончить курсъ своего купанья, и надо было прекратить его. Всяждь за темъ сделалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ всетаки сталъ оправляться. До сихъ поръ онъ ничего не читаль, не писаль, ни о чемь не думаль, кромъ лекарства, леченья, обеда и ужина; но туть опять принялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силъ духа этого человъка. Правда, онъ надъялся выздоровъть, и не хотълось ему умереть; но возможность смерти онъ виделъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо, не мигая глазами. Вотъ слова, которыми онъ заключаетъ письмо свое къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: "Ну, теперь, милые мон, пришло сказать: прощайте-падолго ли?—не знаю. Но какъ-то это слово горько отозвалось въ душѣ моей. Но еще — прощайте, и

въ третій разъ прощанте. Если-бъя былъ женщина, хорошая бы пора плакать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!" А между тѣмъ все письмо проникнуто бодростію духа, надеждою и даже веселостію...

Но это выздоровление было только отсрочкою смерти. Для возстановленія его здоровья нужно было прежде всего спокойствіе, а между тёмъ его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили, какъ дикаго звъря въ клъткъ. Иногда ему не на что было купить лѣкарства; иногда у него не было ни чая, ни сахару, ни свъчей, а иногда мать его только украдкою оть отда могла доставлять ему объдъ и ужинъ. Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмъстъ съ ними, гдъ ему не было бы покою ни на минуту. Онъ перешелъ на мезонинъ, который цёлую зиму не топился, — ему отказано было въ дровахъ, и онъ добывалъ ихъ по почамъ, какъ воръ. Узнавши объ этомъ, ему объщали выгнать его по шен изъ дому... Делать было нечего, и онъ перешелъ внизъ. Разъ въ сосъдней комнатъ, у сестры его, много было гостей, и они затъялн игру: поставили на средину комнаты столъ, положили на него дъвушку, накрыли ее простынею и начали хоромъ пъть въчную память рабу Божію Алексью... Это была невинная шутка...

Вскори послидовала свадьба сестры. "Все начало ходить и бъгать черезъ мою комнату; полы моють то и дъло, а сырость для меня убійственна. Трубки, благовонія курять каждый день: для монхъ разстроенныхъ легкихъ все это плохо: у меня опять образовалось воспаленіе, сначала въ правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здъсь-то я струсиль не на шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскъ. Лѣкарь мой, несмотря на то, что я ему очень мало шатиль, прівзжаль три раза въ день. А въ эту пору у насъ вечеринки каждый день-шумъ, крикъ, бъготня, двери до полночи въ моей компать ни минуты не стоятъ на петляхъ. Прошу не курить, -курятъ больше; прошу не благовонить, — больше; прошу не мыть половъ, — моютъ". Все это потомъ кое-какъ уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасенія жизни, прибътъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивши у всёхъ извиненія за мерзости, которыя съ нимъ дёлали; его оставили въ поков, и онъ увиделъ себя точно въ раю. "Я тенерь, слава Богу, живу покойно, смирно. Они меня не безпокоять. Въ комнатъ тишина; самъ большой, самъ старшой. Съ отцомъ вижусь ръдко, онъ меня не оскорбляеть больше пока, и я имъ доволенъ. Объдъ готовятъ порядочный. Чай есть, сахаръ тоже, а миъ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Началь прохаживаться и два раза быль въ театръ. Лъкарь увъряетъ, что я въ постъ не умру, а весной меня вылъчить. Но силъ, не только духовныхъ, и физическихъ еще иттъ; памяти тоже. Волоса начали расти; съ лица зелень сошла; глаза чисты". Въ заключенін письма, говоря о своемъ нравственномъ состоянін, онъ прибавляеть: "Что, если, и выздоровёвши, такимъ останусь? – Тогда прощайте, друзья, Москва и Петербургъ! Нътъ, дай Господи умереть, а не дожить до этого полипнаго состоянія. Или жить для жизни, или—маршъ на покой!"

Мысль о перейздів въ Петербургъ съ новою силою воскресала въ немъ, какъ скоро начиналъ онъ себя чувствовать лучше. Онъ только ждаль для этого совершеннаго выздоровленія. Но и туть внутри его происходила страшная борьба, которую мы нерескажемъ его собственными словами: "Какъ вы скажете: удерживаться ли въ Воронежъ, дома, бросить ли все, фхать въ Петербургъ? Удерживаться дома-житье мит будеть плохое. Но все старикъ меня, какъ ин говори, а со двора не сгонитъ. У меня много здёсь людей хорошихъ, которымъ я еще ни слова. Про это знаеть лекарь и тоть, у кого я жиль на дачь; скажи я имь-они помогуть. Со старикомъ уладиться легко-жениться, и онъ будеть ко мив хорошъ. Но зато надо взять тамъ, гдв ему будеть угодно. Это значить ножертвовать собой, сгубить женщину и себя, 'Бхать въ Питеръ — онъ не дасть ни гроша. Ну, положимъ, я найдусь туда прівхать: у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но, прівхавши туда, что я буду делать? Напяться въ приказчики?—не могу; отъ себя заниматься? — не на что. Положить надежду на мон стишонки: что за нихъ дадуть! И что за нихъ буду получать въгодъ?-пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой-надо говорить правду-особенно теперь, въ рашительное время, таланть мой пустой. Ифсколько пфсенокъ въ годъ — дрянь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозв не умвю, а мит тридцать три года. Вотъ мое положение. Пожалуйста, напишите мив ваше мивніе; я имъ дорожу болье всего. В. Г. иншеть: вхать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свъть, хорошаго не видаль, или видѣлъ, да немного, да и то живя въ Москвѣ и Питеръ, а въ Воронежъ, не помню, когда. Что, если въ сорокъ лътъ придется нищенствовать? -Плохо!"

Последнее письмо, которое мы получили отъ Кольцова, было отъ 27-го февраля 1842 года. Летомъ мы писали къ нему, по ответа не было; а осенью мы получили изъ Воронежа, отъ пезнакомыхъ намъ людей, известие о его смерти... Поэтому подробностей о последнемъ времени его жизни мы не знаемъ, и только можемъ предполагать, что это была продолжительная агонія, страданіе, мученичество... Онъ умеръ 19 октября 1842 года, въ три часа пополудни, на тридцать четвертомъ году отъ рожденія.

Такова была жизнь этого человъка! Рожденный для жизни, онъ исполненъ былъ необыкновенныхъ силъ и для наслажденія ею, и для борьбы съ нею; а жить для него значило—чувствовать и мыслить, стремиться и познавать. Любовь и симпатія были основною стихією его натуры. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ быть въ любви идеалистомъ, и былъ слишкомъ деликатно и благородно созданъ, чтобъ быть въ ней матеріалистомъ. Грубая чувственность могла увлекать его, но ненадолго, и онъ умѣлъ отръщаться отъ нея, не столько силою воли, сколько природнымъ отвращеніемъ ко всему грубому и низ-

кому. Ифжиымъ вздыхателемъ, довольствующимся обожаніемъ своего идеала, онъ никогда не быль и не могь быть, потому что для такой смѣшной роли онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ одаренъ жизнью и страстью. Женщина никогда не была въ его глазахъ безплотнымъ идеаломъ, эоирною мечтою, туманнымъ образомъ, таннственнымъ виденіемъ невъдомаго міра; но въ то же время онъ умълъ понимать ее поэтически; видель въ ней существо родное мужчинъ, слъдовательно, подобно ему, земное, н тъмъ болъе прекрасное, и поклонялся въ ней красоть, грацін, жизин, чувству, могуществу страсти. Но вполнё обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина съ сильнымъ характеромъ, которой страсти и воля не останавливались передъ перевяннымъ болваномъ общественнаго мнънія, передъ лицемърнымъ судомъ безиравственныхъ моралистовъ, глупыхъ умниковъ и невѣжественныхъ глупцовъ. И вотъ почему его последняя любовь совершенно изгладила въ его сердцѣ всѣ скорбныя воспоминанія о первой, и ему казалось, что онъ любить только въ первый разъ... Опъ не могъ наслаждаться безъ чувства, безъ раздёла; но когда его страсти отв'ячала страсть-онъ предавался ей и ея наслажденіямъ со всёмъ самозабвеніемъ, со всею стремительностію натуры пламенной и сильной, думая не о последствіяхъ, а только о томъ, что жить намъ на свъть не дважды!...

Въ дружбъ онъ не зналъ расчета и эгоизма. Грубая и грязная дъйствительность, въ среду которой втолкнула его судьба, какъ неизбъжной жертвы, требовала отъ него и поклоновъ, и униженія, и лжи, н вевхъ изворотовъ мелкаго торгашества; но онъ н туть умъль сохранить свое человъческое достоинство и всегда держаться неизмѣримо выше людей своего сословія, находящихся въ такомъ же положенін. Внутренно онъ всегда оставался чисть отъ этой грязи и ничего изъ нея не внесъ въ задушевный міръ своей жизни. Всегда готовый одолжить близкаго человѣка, онъ избѣгалъ всякаго случая одолжиться имъ: его пугала одна мысль внести расчеть въ чистоту дружественныхъ отношеній, и съ этой стороны онъ доходилъ до ребячества. Какъ всё люди съ глубокимъ чувствомъ, онъ больше всего боялся сдёлать изъ чувства комедію, и потому медленно и робко сходился съ человѣкомъ; но разъ сблизившись, онъ умълъ любить, умълъ быть преданнымъ безъ увъреній и фразъ. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, какъ года за полтора передъ смертью, вдалекъ отъ тъхъ, которые нонимали и любили его, онъ виделъ себя въ кругу дикихъ невъждъ, которые уже не нуждались въ немъ и потому посившили снять съ себя маску родственной любви н отомстить ему за его превосходство надъ ними. Какъ ни тяжело было подобное разочарованіе, но у Кольцова всегда стало бы силы неренести его, тъмъ болъе, что онъ никогда не дорожилъ особенно связями крови безъ связи духа; да, у него стало бы силы отвѣтить презрѣніемъ на подлости и предательство, порожденныя ограниченностію и невъжествомъ. Но сила измънила ему, когда ко всему

этому—и къ болъзни, и къ нуждъ, и къ черной неблагодарности за услуги—ему пришлось еще горько разочароваться въ тъхъ дорогихъ и нъжныхъ отношеніяхъ, гдъ, по его мнѣнію, связь крови была скръплена связью духа, и когда тутъ, за свою любовь, дружбу и преданность, онъ вдругъ и неожиданно увидълъ вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это въ формъ грязной, наглой, безстыдной... Тутъ все было оскорблено въ пемъ — и благородиъйшія, святьйшія чувства его сердца, и его самолюбіє: ему горько было убъдиться, что его такъ долго и такъ коварно обманывали, и что бисеръ души своей онъ бросалъ подъ ноги нечистымъ животнымъ.

Говорять, будто любящее сердце, умь, таланть и всякое превосходство надълюдьми есть страшный даръ природы, родъ проклятія, изрекаемаго судьбою надъ человъкомъ избраннымъ въ самую минуту его рожденія... Говорять, будто несчастіємь и страданіями цізой жизни избранникъ долженъ расплатиться за дерзкую привилегію быть выше другихъ. И все это доказывають примърами людей замъчательныхъ... Но справедливо ли такое митије, и должна ли жизнь быть мачихою въ отношеніи къ любимъйшимъ дътямъ природы?.. 0, иътъ! эта вражда жизни съ природою отнюдь не есть законъ разумной необходимости, но есть только результать несовершенства человъческих обществъ. Избранный человѣкъ болѣе, чѣмъ всякій другой, родится для жизии и наслажденія ею, — и не жизнь, а общество виновато въ томъ, что, едва родившись, онъ съ бою долженъ брать даже саиый воздухъ, чтобъ ему можно было дышать... Въ своемъ семействъ, гдъ, кажется, естественная любовь должна была бы стоять на-страже его дътства и лелъять его, — въ своемъ семействъ прежде всего встрѣчаеть онъ; съ ужасомъ и отвращеніемъ, чудовищный образъ общества, которое въ человъкъ не хочетъ признавать человъка, но видить въ немъ только нороду и касту, или смотрить на него, только какъ на работника, какъ на живой капиталъ, съ котораго ифкогда можно будеть брать проценты... Семейство, узы крови: что вы, если не бичи и цепи тамъ, где полудикое и невѣжественное общество еще въ колыбели встръчаетъ человъка, въ видъ патріархальнаго логовища, глава котораго есть степной деспоть съ нагайкой въ рукъ, самолюбивый, упрямый, хвастунъ безъ совъсти, не любитъ жить съ другими въ домъ человъчески, а любитъ, чтобы все предъ нимъ трепетало, боялось и рабство-

Мы уже говорили, что Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего образованія. "Вудь человѣкъ и геніальный (говоритъ онъ въ одномъ инсьмѣ), а не умѣй грамотѣ—не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полиме способы. Прежде я-таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то, и то, а теперь, кровь какъ угомонилась, такъ и осталося одно желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ проч-

ный, и его мив падолго станеть; а тамъ, что Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всв дурныя піесы бросайте безъ винманія, а какія нравятся, тъ печатанте". Люди обыкновенно не столько наслаждаются темъ, что имъ дано, сколько горюють о томъ, чего имъ не дано; притомъ они мало цънять то, что дается имъ безъ труда, и видять верхъ совершенства только въ томъ, что добывается потомъ и кровыю. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далась проза, которая, по его выраженію, "съ нимъ еще при рожденіи разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ". Въ 1840 году нашъ знаменитый трагическій актеръ, г. Мочаловъ, посътилъ Воронежъ и давалъ представленія на тамошнемъ театрф. Кольцову, горячо любившему г. Мочалова, какъ художника и какъ человъка, очень хотълось написать что-нибудь для журнала о его представленіяхъ; но онъ, разумъется, не ръшился и попробовать. Досада его очень нанвно излилась въ инсьмъ къ пріятелю: "Глупое положение нашей братин-риомачей! Вотъ теперь и хочется написать статейку о Павлъ Степановичъ, а чертовскіе размъры не даютъ ходу прозъ и велять молчать". Отдълаться отъ мелочной торговли и на свободъ предаться ученю было любимъйшею мечтою всей жизни Кольцова. Не имъ яснаго понятія о наукахъ, онъ хотъль учиться всему--- тому, чему бы могъ и долженъ быль учиться, и тому, чему не могь и не должень быль; но сквозь этоть хаось темныхъ представленій о наук'в ясно было видно, что если бы онъ и не могъ заняться исторією, какъ наукою, то съ жаромъ и страстью предался бы чтенію преимущественно историческихъ сочиненій. Онъ желаль учиться и языкамь; но для осуществленія всъхъ этихъ проектовъ его время прошло, и все, что оставалось для него, — это предаться съ упоеніемъ чтенію всего, что могь найти лучшаго на русскомъ языкъ. Пріобрътеніе книгъ было счастіемъ и радостію его жизни. "Вы не можете представить (писаль онъ въ 1840 году къ пріятелю), какой богачъ я сталъ хорошими кингами. Есть что читать! Вашъ подарокъ получиль; Отечественныя Записки, Современникъ тоже; отъ Губера получилъ Фауста, отъ Владиславлева-Утреннюю Зарю; купилъ полное собраніе сочиненій Пушкина, Исторію философскихъ системъ Галича: мив ее наши бурсаки сильно расхвалили; прочель первую часть — вовсе ничего не понялъ. Развф философія — другое діло? Можеть быть, и така; будемъ читать еще до конца. Теперь одинъ недостатокъ оказался: надобно непременно обзавестись исторією Карамзина, — у меня есть Полевого и Ишимовой краткія, — да хочется им'ть полную, да оперъ нъсколько". Какъ человъкъ необразованный, или, лучше сказать, какъ полуобразованный самоучка, Кольцовъ нѣкоторыя изъ лучшихъ своихъ пъсенъ хотълъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить ихъ. Не изъ этого ли источника происходило и его страстное желаніе написать либретто для оперыдъло, къ которому онъ едва ли былъ способенъ?

Другое дѣло—къ готовому, но голому драматическому очерку написать аріп, разумѣется, въ родѣ его русскихъ пѣсенъ: это онъ могъ бы выполнить прекрасно, и, можетъ быть, этого-то и хотѣлось ему. Какъ бы то ин было, но оперныя либретто на русскомъ языкѣ онъ собиралъ съ жадностью. Изъ другого, болѣе истиннаго и глубокаго источника выходило у него страстное желаніе путешествовать по Россіи. Это было тоже любимѣйшею его мечтою, которой, какъ и многимъ другимъ, не суждено было осуществиться.

Какъ человъку не только съ пстиннымъ, но еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знакомы были горькія минуты разочарованія въ своемъ поэтическомъ призваніи. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднѣе быть судьею собственныхъ произведеній, онъ думалъ, что у него вовсе нѣтъ эстетическаго вкуса. Такъ писалъ онъ разъ къ одному изъ своихъ друзей объ одной изъ лучшихъ своихъ піссъ: "Чортъ знаетъ, иногда прочтешь Хуторокъ — покажется, а иногда разорвать хочется". Въ другой разъ онъ писалъ: "Сколько я ни бъюся съ самимъ собою, но все эстетическое чувство не управляетъ мною, не обладаю имъ я, какъ бы хотѣлось, — хоть лягъ,

да умри".

Стихотворенія Кольцова можно раздёлить на три разряда. Къ первому относятся піесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ и хореемъ. Вольшая часть ихъ принадлежить къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ быль подражателемь поэтовь, наиболье ему нравившихся. Таковы піесы: "Спрота", "Ровеснику", "Маленькому брату", "Ночлегъ чумаковъ", "Пут-никъ", "Красавицъ", "Сестръ", "Приди ко мнъ", "Разувъреніе", "Не мнъ внимать напъвъ волшебный", "Мщеніе", "Вздохъ на могилъ Веневитинова", "Къ рѣкъ Гайдаръ", "Что значу я", "Утъшеніе", "Я былъ у ней", "Первая любовъ", "Къ ней же", "Наяда", "Къ N.", "Соловей", "Къ другу", "Изступленіе", "Поэтъ и няня", "А. П. Серебрянскому". Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываеть что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; ибкоторыя изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мъръ, изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родъ поэзін могъ бы усовершенствоваться до извъстной степени, -- но не иначе, какъ съ трудомъ и усиліемъ выработавши себф стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ бы ни выработаль онъ его, все-таки никогда бы не сравнялся въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здёсь и виденъ сильный, самостоятельный таланть Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пъснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный усп'яхь, безъ всякаго желанія подражать или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ онъ этимъ размѣромъ, чаще безъ риомы, съ которою онъ илохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отпошеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ піесъ: "Цвѣтокъ", "Бѣдный призракъ", "Товарищу"), піесы: "Послѣдняя борьба", "Къмилой", "Примиреніе", "Міръ музыки", "Не разливай волшебныхъ звуковъ", "К****, "Вопль страданія", "Звѣзда", "На новый 1842 годъ". Піесы же: "Очи, очи голубыя", "Размолвка", "Люди добрые, скажите", "Теремъ", "По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ", "Совѣтъ старца", "Глаза", "Домикъ лѣсинка", "Женитьба Павла" — составянотъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду — русской пѣсиф

Въ русскихъ пъсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силъ. Рано почувствоваль онъ безсознательное стремление выражать свои чувства складомъ русской пъсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простого народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня — не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастію, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между "настоящими" стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ, въ чемъ дёло, и порёшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ-въдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь, и втрно, онъ ученый человткъ; но онъ сочиняетъ же русскія пісни: стало быть, русская пісня не вздоръ, не глупость, а тоже — поэзія... И съ тъхъ поръ онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзін. Первыя пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пъснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чемъ-то среднимъ между романсомъ и русскою пѣснею, и потому походили на русскія п'всни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще съ 1830 года ему уже удавалось иногда выражать въ русской пъснъ всю оригинальность своего таланта, и піесамъ: "Кольцо", "Удалецъ", "Крестьянская пирушка", "Размышленіе поселянина" (1830—1832) недостаетъ только зрълости мысли, чтобъ быть образдовыми въ своемъ родъ произведеніями. Но съ пъсенъ: "Ты не пой, соловей" (1830) и "Не шуми ты, рожь" (1834), начинается рядъ русскихъ пъсенъ, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются большею частію два слова: талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ — высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другь отъ друга тѣмъ, что первый пиже вто-

рого, а второй выше перваго; но чёмъ же именно ниже или выше — вотъ вопросъ! Одно изъ главивишихъ и существенивишихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его пдей и идеаловъ, и, наконецъ, историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываеть своими твореніями новый, пикому до него не извъстный, никъмъ не подозръваемый міръ дъйствительности. Толпа живеть и движется, но безсознательно; переживши извъстный историческій моменть и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тёмъ упорнье держится формъ стараго. Является генійн возвёщаеть людямь новую жизнь, начала которой они уже носили въ себъ, и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ діль генія; дико и враждебно смотрить она на новый міръ мысли и формы, открывающейся въ его твореніяхъ, и только немногіе беруть его сторону, и только новыя поколенія упрочивають за нимъ победу. Имя генія-милліонъ, потому что въ груди своей носитъ онъ страданія, радости, надежды и стремленія милліоновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловь: они касаются всёхь, они всъмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или другого сословія, -- но для цёлаго народа, а черезъ него и для всего человъчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достояние таланта,-и потому бывають таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали въ себъ талантъ черезъ какойнибудь вижшній и случайный толчокъ: одинъ отъ того, что ослёнь, другой оть того, что лишился любимой имъ женщины, третій отъ того, что пострадалъ за правое двло или за преступленіе, въ которомъ быль невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей всв эти люди никогда не сдвлались бы ноэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поеть на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же и потому нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находять въ его произведенияхь отголоски своихъ личныхъ ощущеній, или прим'вненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствіе оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта; онъ живетъ не своею, а чужою жизнію; его вдохновеніе есть не что иное, какъ плітиной мысли раздраженье", — мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толиы. Таланть не управляетъ толною, а льстить ей; не утверждаеть даже новой моды, а идеть за модою; куда дуеть вътеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противън его сейчасъ забудуть, а этого-то онъ и боится больше всего на свътъ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и, въ свою очередь, порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исче-

заеть, какъ скоро привыкнуть и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толна подражателей доказываеть только то, что и таланть имъеть степени, и менѣе талантливые подражають болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и таланть суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ деле, иначе міръ искусства быль бы очень скудень, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всвхъ сферахъ человъческой дъятельности исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тъмъ не менъе имъли на него свое дъйствительное вліяніе и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной намяти потомства. Въ сферъ искусства такихъ люлей называють большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и отъ обыкновенныхъ талантовъ. Но это название довольно неопределенно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло название геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимають между темъ и другимъ.

Но слова ничего не значать, если не выражають иден, доказывающей ихъ необходимость и действительность. И потому мы должны оправдать употребленное нами выражение "геніальнаго таланта", показавши его отношение къ "генио" и "таланту". Геніальный таланть отличается отъ обыкновеннаго таланта тъмъ, что, подобно генію, живеть собственною жизнію, творить свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаеть печать оригинальности и самобытности со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менъе обще п болъе частно. И потому геній есть полный властелинъ своего времени, которое посить на себ' его имя, -тогда какъ вліяніе геніальнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какуюнибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываеть и наполияеть собою цѣлую область современной ему действительности, геніальный таланть-одинь уголокь ея. Что въ геніп составляєть полноту его существованія—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздёляющаго ихъ пространства, -- это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта; которой можно подражать, но которой невозможно усвонть. И воть гдъ существенное отличіе геніальнаго таланта отъ обыкновеннаго. Последній есть не более, какъ посредникъ между геніемъ и толпою, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между нимп: невольно, увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаеть съ ихъ высокаго, недоступнаго толив пьедестала и темь самымь приближаеть ихъ къ разумѣнію толны. Подъ рукою таланта иден генія, такъ сказать, мельчають и опошливаются, но этимъ самымъ онв и двлаются популярными, становятся всемъ доступными и каждому известными. И потому талантъ совершаетъ великое дело; но въ этомъ случат онъ делается жертвою собственнаго усивха: по мфрф того, какъ онъ болфе знакомитъ и сближаеть толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собою, — толна все болье и болье отворачивается отъ него, обращаясь все болье и болье къ самому генію, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сделавши свое дело, таланты (потому что для такого дела одного таланта мало, а нужна толна талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторін литературы, но сочиненія предаются болѣе или менъе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали посл'ядняго слова о существенномъ различіи между геніальнымъ п обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнъ натуры человъка. Въ человъкъ, владъющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ канитала, который привадлежить своему владёльцу, но который-не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, иожно нажить другой: капиталь—вниннее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромною извъстностію своего таланта, пережили свой талантъ и свою извъстность, и которые, несмотря на то, сумѣли вознаградить себя другими благами жизни: пріобрѣли большіе чины и большія деньги, и прекрасно живуть себъ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человъкъ, одаренный геніальнымъ талантомъ: его нельзя отдёлить отъ его таланта: его талантъ-его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, біеніс его сердца, дыханіе его груди, — словомъ, весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будеть мчать его къ одной цели, къ одной деятельности, наперекоръ судьбе, рожденію, воспитанію, всёмъ внёшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славъ и очень нечуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничьмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него-пистинктъ, натура, страсть. Въ отношенін къ своему призванію онъ сміло можеть сказать о себъ:

> Я зналъ одной лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть: Она, какъ червь, во мив жила, Изгрызла душу и сожгла.

Я эту страсть во тьмѣ ночной Вскормиль слезами и тоской; Ее предъ небомъ и землей Я нынѣ громко признаю И о прощеньи не молю.

Сила геніальнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствъ человъка съ по-

этомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда какъ обыкновенный талантъ отнодь не условливаетъ собою необыкновеннаго человѣка: тутъ человѣкъ и талантъ—каждый самъ по себѣ, и человѣкъ, въ отношеніи къ таланту, есть то же, что ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуръ обыкновенныхъ, инкогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна, — и удивительно ли, если печатъ этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенья? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человъка есть лицо, слъдовательно, всякій челов'якъ есть личность, —и однако-жъ въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ иеопределенныхъ, безцветныхъ, безхарактерныхъ, следовательно, безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ особности. Лицо есть выраженіе, душа челов'тка; но в'тдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидевши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цёлые годы-и забываешь, не видя недёлю. Слёдовательно, личность имфеть свои степени и свою постепенность. Чёмъ общёе, тёмъ ничтожнёе она; чёмъ болёе поражаетъ оригинальностію, тѣмъ она выше. Ноэтому геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляєть собственно не умъ: умъ, и часто весьма замічательный, бываеть и у обыкновенныхъ людей; не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываеть и у обыкновенныхъ людей; не сердце: оно тоже, очень часто, бываетъ удъломъ людей обыкновенныхъ. Ифть, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человака. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе физіономін, какъ органическая жизнь. Намъ извъстны средства жизви, ея органы, ихъ отправленія; по физіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вёрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но и всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обділенная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходить къ человѣку обыкновенному, по образованному, развитому и ученіемъ, и свътскою жизнію; но дъло всегда оканчивается тъмъ, что первая пезамътно беретъ верхъ надъ последнимъ, и обыкновенный человекъ, въ присутствін геніальнаго неважды, какъ-то невольно делается осторожнымъ, какъ бы боясь проговориться. Воть что значить личность, натура,и талантъ тогда только бываетъ илодотворенъ н живучь, когда онъ тесно соединенъ съ личностью, съ натурою человека. И вотъ почему иногда бывають люди съ талантомъ, не нитья ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностію и натурою человіка.

Когда талантъ въ человъкъ есть не просто вившия сила производить на основани увлеченія самобытными образдами, но выраженіе внутренней сущности человъка, его личности, его натуры, тогда, каковъ бы ни быль объемъ этого таланта, но онъ уже сила творческая, зиждительная, слъдовательно, въ немъ уже заключается искра геніальности, не если, по его объему, его нельзя назвать "геніемъ", то можно и должно назвать "геніальнымъ талантомъ".

Къ числу такихъ талантовъ принадлежить и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреенымъ, мы смѣло выговариваемъ его, не какъ просто мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромъ пъсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, н потому называющихся "народными", до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пъсенъ, хотя многіе русскіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже пріобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пъснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ "народныхъ". Въ самомъ дѣлѣ, въ пъсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мъста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сделалъ все, что можеть сделать таланть. Но, несмотря на то, въ целомъ, его русскія песни не что иное. какъ романсы, пропътые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русскихъ пъсенъ Дельвига — это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскагоодни слова. Это чистая подделка, въ которой роль русскаго крестьянина играль даже и не совстмъ русскій, а скорѣе нѣмецкій, или, еще ближе къ ділу, нтальянскій баринъ. Мерзляковъ, по крайней мъръ, перенесъ въ свои русскія пъсни русскую грустьтоску, русское гореванье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываеть духъ. Въ пъсняхъ Дельвига нътъ ничего, кромф сладенькаго любезничаныя и сладенькой задумчивости, — следовательно, неть ничего русскаго. Вирочемъ, наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ уничтожению его таланта, весьма замвчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пісни могъ создать только русскій человінь, сынь народа, въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформою Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массою народа. Въ піесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формъ, вилна душа глубоко-русская, но въ то же время видна и та художественная объективность, которая

дълала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всехъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ "Каменномъ Гостъ" изобразилъ природу и нравы Испанін съ такою же поразительною вфрностію, какъ въ "Русалкъ" изобразиль природу и нравы Руси временъ удёловъ. Сверхъ того, въ этой "Русалкъ", если внимательнъе прислушаться къ ея звукамъ, приглядъться къ ея колориту, -- нельзя не открыть примъси поэтическихъ элементовъ, болъе обрусънных в поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта ніеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы нацисать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пъсенъ Кольцова: въ нихъ и содержание, и форма чисто русскія, — и, несмотря на всю объективность своего генія, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной ивсни въ родв Кольцова, потому что Кольцовъ одинъ и безраздельно владель тайною этой пъсни. Этою пъснею онъ создалъ свой особенный, только одному ему довлѣвшій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать, --- но не по недостатку таланта, а потому, что міръ п'єсни Кольцова требуеть всего человъка, а для Пушкина, какъ для генія, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тёсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзін, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа, въ полномъ значенія этого слова. Бытъ, среди котораго онъ воснитался н вырось, быль тоть же крестьянскій быть, хотя нъсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурт русскаго селянина. Не на словахъ, а на деле сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его быть, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни, зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ, и по своей натурѣ, н по своему положенію, быль вполн'в русскій человъкъ. Онъ носилъ въ себъ всъ элементы русскаго духа, въ особенности-страшную силу въ страданіи н въ наслажденін, способность бъщено предаваться н печали, и веселію, и вмёсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаннія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибъгая къ ложнымъ утфшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ и сенъ онъ жалуется, что у него нътъ воли,

> Чтобъ въ чужой сторонѣ На людей поглядѣть; Чтобъ порой предъ бѣдой За себя постоять;

Подъ грозой роковой Назадъ шагу не дать; И чтобъ съ горемъ, въ пиру, Выть съ веселымъ лицомъ; На погибель идти — Пъсни пъть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой воль...

Нельзя было тёснёе слить своей жизни съ жизнію парода, какъ это само-собою сдёлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спёлымъ колосомъ, и на чужую инву смотрёлъ онъ съ любовію крестьянина, который смотрить на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледёльцемъ, по урожай былъ для него свётлымъ праздникомъ: прочтите его "Пѣсню Патаря" и "Урожай". Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его "Крестьянской Пирушкъ" и въ пѣснъ:

Что ты епншь, мужичоків! Відь ужь літо прошло, відь ужь осень на дворь Черезь прясло глядить; Вслідь за нею зима въ теплой шубі идеть, Путь ситжкомъ порошить, Подъ санями хрустить. Всй сосіди на нихъ Хлібъ везуть, продають, Собпрають казну, Вражку ковшикомъ пьють.

Кольцова зналь и любиль крестьянскій быть такъ, какъ онъ есть на самомъ деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашель онъ въ самомъ этомъ быть, а не въ риторикъ, не въ пінтикъ, не въ мечть, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему д'виствительностію содержанія. И потому въ его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклоченныя бороды, и старыя онучи,--и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзін. Любовь нграеть въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нътъ, въ нихъ вошли и другіе, можеть быть, еще болье общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пъсенъ составляеть то пужда и бѣдность, то борьба изъ конейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачиху.

Въ одной пъснъ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему ръшиться — жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, разсказывать ребятишкамъ сказки, ботъть, старъться. Такъ,—говорить онъ, — хоть оно и не тово, по ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? "Гдъ избытокъ мой зарытъ лежитъ?" И это раздумье разръшается въ саркастическую русскую пронію:

Куда глянешь — всюду наша степь; На горахъ — лѣса, сады, дома; На днѣ моря — груды золота; Облака идугъ — нарядъ несутъ!..

Но если гдѣ идеть дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка — тамъ поэзія Кольцова доходить до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество обравовъ:

Пала грусть-тоска тяжелая На кручинную головушку; Мучить душу мука смертная, Вопь изъ тъла душа просится.

И какая же вмъстъ съ тъмъ сила духа и воли въ самомъ отчаянін:

Въ ночь, подъ бурей, я коня съдлалъ, Везъ дороги въ путь отправился— Горе мыкать, жизнью тъщиться: Съ злою долей перевъдаться...

И посл'в этой п'всии ("Изм'вна Суженой") прочтите п'всию: "Ахъ, зач'вмъ меня", — какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно оппрающейся на самое себя; вд'всь—грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу, жалоба н'вжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выражение содержания, она связана съ нимъ такъ тесно, что отделить ее отъ содержанія—значить уничтожить само содержаніе; и наобороть: отдёлить содержание отъ формы -значить уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формою и формы съ идеею бываетъ достояніемъ только одной геніальности. Простой талантъ всегда оппрается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не полгов'ячны со стороны формы, или преимущественно блистаетъ формою, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное и въ томъ и другомъ случав, богатыя мыслію или щеголяющія вившнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидътельствующей о самобытности мысли. Здъсь-то всего яснье и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами, -- и въ этомъ заключается причина педолговъчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, по необходимое свойство геніальности, есть черта, которая отдёляеть геніальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя въ языкъ поэта, не должна быть искусственною или изысканною: тогда она увлекаетъ только на минуту н потомъ темъ более делается предметомъ осмения и презрѣнія, чѣмъ больше сперва пмѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная какъ, и если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истинъ выраженія: оригинальность придеть сама собою, если въ талантъ его есть геніальность. Истинная орнгинальность въ изобрѣтенін, а слѣдовательно и въ форм'ь, возможна только при вфрности действительности и истинъ.

Такою оригинальностію Кольцовъ обладаль въ высшей степени. Съ этой стороны, его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова. Даже русскія пѣсни, созданныя народомъ, не могутъ равняться съ пѣснями Кольцова въ богатствѣ

языка и образовъ, чисто русскихъ. Это естественно: въ народныхъ пѣсняхъ заключаются только элементы народнаго духа и поэзін, но въ нихъ нътъ художественности, подъ которою должно разумьть цълость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы. Многія русскія п'єсни им'єють значеніе только въ п'єнін, а въ чтенін почти или и вовсе лишены смысла; другія при богатств'я наивныхъ поэтическихъ образовъ не чужды прозапческихъ выраженій и слабыхъ мѣсть, и только очень немногія, и то не виолив, удовлетворяють болве или менве богатствомъ содержанія при силѣ выраженія. Изъ поэтовъ только Мерзляковъ, и то въ одной только пъснъ, и то не вполнъ, умъль приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не вившнимъ только образомъ, но и внутренно; умълъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сентиментальности романса, въ пѣснѣ: "Чернобровый, черноглазый". По крайней мёрё, слёдующіе стихи изъ этой п'ясни нельзя не признать удивительными:

> Воеть сыръ-боръ за горою, Мятелица въ полѣ; Встала вьюга, непогода, Занала дорога...

Кольцовъ, напротивъ, никогда не проговаривается противъ народности, ни въ чувствъ, ни въ выраженін. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадаеть въ сентиментальность, даже и тамъ, гдф оно становится нфжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи онъ также въренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пъсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его п'єсни представляють собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальных образовъ въ высшей степени русской поэзін. Съ этой стороны, языкъ его столько же удивителенъ, сколько и неподражаемъ. Гдь, у кого, кромь Кольцова, найдете вы такіе обороты, выраженія и образы, какими, наприміръ, усынаны, такъ сказать, двъ пъсни Лихача-Кудрявича? У кого, кром'в Кольцова, можно встр'втить такіе стихи:

> Грудь бѣлая волнуется, Что рѣченька глубокая— Песку со дна не выкинеть. Въ лицѣ огопь, въ глазахъ туманъ... Смеркаетъ степь, горитъ заря...

• На гумнѣ—ни снопа, Въ закромахъ—ни зерна; На дворѣ, по травѣ, Хоть шаромъ покати. Нзъ клѣтей домовой Соръ метлою посмелъ, И лошадокъ, за долгъ, По сосѣдямъ развелъ.

Иль у сокола Крылья связаны, Иль пути ему Вев заказаны? Не держи-жъ, пусти, дай волюшку Тамъ онять миъ жить, гдъ хочется. Безъ талана—гдъ таланится. Молодымъ кудрямъ счастливится.

> Отчего-жъ на свътъ Глядъть хочется, Облетъть его Душа просится?

Мы не выбирали этихъ отрывковъ, но брали. что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее-значило бы большую часть піесъ Кольцова въ одной и той же книге напечатать вдвойнъ. И потому мы не войдемъ въ подробный разборъ отдёльныхъ піесъ. Скажемъ просто: если бы Кольцовъ написалъ только такія піесы, какъ: "Совъть старца", "Крестьянская пирушка", "Размышленіе поселянина", "Два прощанія", "Размолвка", "Кольцо", "Пъсня старика", "Не шуми ты, рожь", "Удалець", "Ты не ной, соловей", "Пѣс-ня пахаря", "Не на радость, не на счастіе", "Вся-кому свой таланть", "Пѣсня о Грозномъ", "Я любила его", "Что онъ ходить за мной", "Нынче ночью къ себъ",--и тогда въ его талантъ нельзя было бы не признать чего-то необыкновеннаго. Но что же сказать о такихъ піесахъ, какъ: "Урожай", "Молодая жинца", "Косарь", "Раздумье селянина", "Горькая доля", "Пора любви", "Последній поцелуй", "Въ поле ветерь веть", "Песня разбойника", "Тоска по воле", "Говориль мне другь, прощаючись", "Безъ ума, безъ разума", "Разлука", "Расчеть съ жизнію", "Перепутье", "Дують вътры", "Грусть дъвушки", "Доля бъдняка", "Ты прости-прощай", "Разступитесь, лѣса темные", "Какъ здоровъ да молодъ?"— Такія піесы громко говорять сами за себя, и кто не увидаль бы въ нихъ огромнаго таланта, съ тъмъ нечего и словъ тратить-съ слъпыми о цвътахъ не разсуждають. Что же касается до піесъ: "Лѣсъ" (посвященный памяти Пушкина), "Двъ пъсни Лихача-Кудрявича", "Ахъ, зачъмъ меня", "Измѣна суженой", "Деревенская бѣда", "Вѣгство", "Путь", "Что ты симшь, мужичокъ", "Въ непогоду вѣтеръ", "Дума сокола", "Свѣтитъ солнышко", "Такъ и рвется душа", "Много есть у меня", "Не весна тогда", "Хуторокъ" и "Ночь" эти піесы принадлежать не только къ лучшимъ піесамъ Кольцова, но и къ числу замівчательнівішихъ произведеній русской поэзіи. Мы не говоримъ уже о неподражаемомъ превосходствъ собственно лирическихъ пъсенъ — талантъ Кольцова быль по преимуществу лирическій; но не можемъ не указать на повъствовательный характеръ піесъ: "Измѣна суженой", "Деревенская бѣда", "Бѣгство", объ "пъсни Лихача-Кудрявича" и на страстнодраматическій характеръ піесъ: "Хуторокъ" н "Ночь".

Почти всѣ пѣсни Кольцова писаны правильнымъ размѣромъ; но этого вдругъ не замѣтишь, а если замѣтишь, то не безъ удивленія. Дактилическое окончаніе ямбовъ и хореевъ и полуринма, вмѣсто ринмы, а часто и совершенное отсутствіе ринмы, какъ созвучія слова, по, взамѣнъ, всегда

риема смысла или цёлаго реченія, цёлой соотвътственной фразы, — все это приближаеть размфръ пфсенъ Кольцова къ размфру народныхъ пъсенъ. Кольцовъ не имълъ яснаго понятія о версификацін и руководствовался только своимъ слухомъ. И потому, безъ всякаго старанія и даже совершенно безсознательно, умель онъ искусно замаскировать правильный размірь своихь пісень, такъ что его и не подозрѣваешь въ нихъ. Притомъ онъ придалъ своему стиху такую оригинальность, что и самые ихъ разміры кажутся совершенно оригинальными. И въ этомъ отношеніи, какъ и во всемъ другомъ, подражать Кольцову невозможно: легче сделаться такимъ же, какъ онъ, оригинальнымъ поэтомъ, нежели въ чемъ-нибудь подделаться подъ него. Съ нимъ родилась его поэзія, съ нимъ и умерла ея тайна.

Нѣкоторыя пѣсни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большею частію не лучшія его пѣсии, что произомлю, вѣроятно, отъ того, что пѣсии Кольцова были доселѣ разсѣяны во мпожествѣ періодических изданій. Теперь, выходомъ въ свѣть этой книги, музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязанія съ поэтическимъ талантомъ. Русскіе звуки поэзіи Кольцова должны породить много новыхъ мотивовъ національной музыки. И придеть время, когда пѣсии Кольцова пройдуть въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси, какъ нѣкогда пройдуть въ народъ и будуть заучены имъ наизусть басни Крылова...

Къ третьему разряду произведеній Кольцова принадлежать думы—особый и оригинальный родь стихотвореній, созданный имъ. Эти думы далеко не могуть равняться въ достоинствъ съ его пъснями; яткоторыя изъ нихъ даже слабы, и только немногія прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порыванія своего духа къ знанію, силился разръшить вопросы, возникавшіе въ его умъ. И потому въ нихъ естественно представляются двъ стороны: в опро съ и ръ шеніе. Въ первомъ отношенія нъкоторыя думы прекрасны, какъ, напримъръ: "Великая тайна", "Неразгаданная истина", "Молитва", "Вопросъ". Такъ, напримъръ, что можетъ быть прекраснье этихъ стиховъ, проникнутыхъ глубокою мыслію, выраженною поэтически и страстно:

Спаситель. Спаситель! Чиста моя въра, Какъ пламя молитвы! Но, Боже, и въръ Могила темна! Что слухъ мой замънить? Потухина очи? Глубокое чувство Остывшаго сердца? Что будеть жизнь духа Безъ этого сердца?

Но во второмъ отношеніи эти думы, естественно, не могутъ имѣть никакого значенія. Сильный, но перазвитый умъ, томясь великими вопросами и чувствуя себя не въ силахъ разрѣшить ихъ, обыкновенно старается успоконть себя или какою-пибудь

риторическою фразою о высшемъ мірѣ или ироническою выходкою противъ слабости ума человѣческаго, какъ, папримѣръ, сдѣлалъ это Кольцовъ въ думѣ: "Неразгаданная Истина", которая оканчивается такъ:

Подежку-жъ я крылья Деракому сомнёнью, Прокляну усилья Къ тайнамъ провидёнья. Умъ нашъ не шагаеть Міра за границу, Наобумъ мѣшаеть Съ былью небылицу.

Это случалось и случается и съ великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше ихъ времени или выше ихъ самихъ. Кольцовъ, съ его вопросами, не могъ быть ни въ какихъ отношеніяхъ ни съ какимъ вѣкомъ: они были важны только для него, и тёмъ труднъе было ему решать ихъ. Но самый вопросъ излагается у него часто съ необыкновенною поэзіею, доходящею до высокаго (sublime); чтобы убълнться въ этомъ. стонть только прочесть его "Великую Тайну". Несмотря на мистическую темноту выраженія, которая иногда доходить до решительной безсмыслицы, какъ, напримфръ, въ трехъ первыхъ стихахъ думы "Божій Міръ", и естественная причина которой была та, что поэтъ больше ощущалъ и чувствовать, или, лучше сказать, больше предошущаль и предчувствоваль сердцемь, нежели сознаваль умомь то, что хотьль выразить словомъ,-несмотря на эту мистическую темноту, почти во всъхъ его думахъ есть поэзія и мысли, и выраженія. Многіе осуждали Кольцова за этоть родъ стихотвореній, видя въ нихъ претензін полуграмотнаго прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что не осуждали Кольцова эти "многіе" — даже за то, что въ бесъдахъ онъ сидълъ не все молча, но иногда осмъливался высказывать свое мнѣніе о предметѣ общаго разговора. Этою строгостью къ Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И по-дёломъ ему: какъ было смёть ему, безграмотпому мѣщанину, удостоенному, за его таланть, чести быть принятымъ въ общество умныхъ людей, -- какъ было ему, при нихъ, "смъть свое сужденіе им'ть!"... Люди съ книжнымъ, вычитаннымъ умомъ, съ готовыми сужденіями о чемъ угодно, никогда не поймуть, чтобы человъкъ съ высшею натурою, но обделенный образованіемъ, могъ на своемъ странномъ языкѣ вслухъ выговаривать то, что глубоко запало въ его душу и сильно заняло его умъ; никогда не растолкуете вы имъ, что такой человькъ и ошибается-то лучше, нежели какъ они говорять дёло, потому что онъ опибается посвоему, а они говорять чужое...

Особенное достоинство думъ Кольцова заключается въ ихъ чисто-русскомъ, народномъ языкъ. Кольцовъ не но кокетству таланта, а но необходимости прибъгалъ къ этому складу. Въ своихъ думахъ Кольцовъ — русскій простолюдинъ, ставній выше своего сословія настолько, чтобы толь-

ко увидеть другую, выстую сферу жизни; но не настолько, чтобы овладѣть ею и самому совершенно отръшиться отъ своей прежней сферы. И потому онъ по необходимости говорить ея понятіями и ен языкомъ объ увиденной имъ вдали сферѣ другихъ, высшихъ понятій; но поэтому же онъ въ своихъ думахъ искрененъ и истиненъ до панвности, — что и составляеть главное ихъ достоинство. Хотя ивсии Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простого народа, но все же онъ были бы для него гораздо высшею школою поэзін, а следовательно чувствъ и понятій, нежели поэзія народныхъ пѣсенъ, —и потому былибы очень полезны для нравственнаго и эстетическаго его образованія. Такимъ же точно образомъ думы Кольцова, изложенныя образами и складомъ чисто-русскими и представляющія собою первую высшую ступень простого русскаго человака въ стремленін къ нравственно-идеальному развитію, были бы очень полезны для избранныхъ натуръ въ простомъ народъ.

Мистическое направленіе Кольцова, обнаруженное имъ въ думахъ, не могло бы у него долго продолжиться, если-бъ онъ остался живъ. Этотъ простой, ясный и смѣлый умъ не могъ бы долго плавать въ туманахъ неопредѣленныхъ представленій. Докавательствомъ этому служитъ его превосходная дума "Не время-ль намъ оставить", написанная имъ менѣе, нежели за годъ до смерти. Въ пей виденъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерданіямъ здраваго разсудка.

Теперь намъ остается сказать слова два о редакціонной части изданія сочиненій Кольцова. Мы расположили его сочиненія по годамъ и раздёлили ихъ на два отдёла. Въ первомъ помёстили мы одно лучшее, избранное, не нарушая, однако же, хронологической послёдовательности, — и потому въ этомъ отдёлѣ сперва идутъ піесы перваго неріода поэтическихъ опытовъ Кольцова, которыя, естественно, слабѣе послёдующихъ, которыя занимаютъ собою середину и большую часть отдёла; а въ концѣ его, по той же причинѣ, рѣшились мы помѣстить и четыре послёднія стихотворенія, довольно слабыя и написанныя Кольцовымъ уже не

задолго до смерти, во время тяжкой болфзии, въ мучительныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ стихотвореніе "На новый 1842-й годъ" имбеть свой интересъ, какъ скорбное предчувствіе поэта-увы! слишкомъ върно сбывшееся; остальныя же трикакъ последніе, уже замирающіе звуки еще недавно громкаго, мощнаго и гармоническаго голоса... Думы помъстили мы отдъльно, непосредственно послѣ пѣсенъ, и не отдѣлили лучшихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому что эти піесы слишкомъ твсно слиты съ личностію Кольцова и интересны болье, какъ факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произведенія, хотя нікоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки зрѣнія, какъ, напримъръ: "Великая тайна", "Могила", "Не время-ль намъ оставить". Такимъ образомъ, изъ 125 піесъ въ первомъ отделе помещено 79 піесь. Остальныя 46 стихотвореній мы напечатали въ особомъ отделе, въ виде приложения. Между ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нъть ни одного, которое не имъло бы хотя относительнаго интереса или замѣчательною степенью одушевленія, даже страсти, или оригинальною мыслію, или счастливыми оборотами выраженій, или, наконець, болье или менье любопытнымъ отношеніемъ къ жизни и личности автора. Нѣкоторыя изъ стихотвореній этого отдёла были бы даже очень недурны, если бы отзывались большею зрелостію и выдержанностію. Таковы, напримъръ, піесы: "Если встрѣчусь съ тобой", "Теремъ", "По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ", "Домикъ лѣсника", "Размышленіе поселянина", "Глаза", "Два прощанія", "Бъдный призракъ", "Товарищу", "Не скажу никому", "Гдв вы, дни мои".

Такъ же, въ видѣ приложенія, рѣшились мы, при собраніи стихотвореній Кольцова, напечатать "Мысли о Музыкѣ", статью друга его Серебрянскаго. Это единственный оставшійся послѣ Серебрянскаго литературный памятинкъ, погребенный въ одномъ малоизвѣстномъ и притомъ старомъ уже журналѣ. Мы увѣрены, что отношенія Серебрянскаго къ Кольцову, равно какъ и достоинство статьи, которая сама такъ похожа на музыкальное произведеніе, вполнѣ оправдываютъ ея помѣ-

[Стихотворенія Кольцова: Спб. 1846].

щение въ книгъ сочинении Кольцова.

НИКОЛАЙ АЛЕКСВЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ.

…На жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой, поколънья, По тайной волъ провидънья, Восходять, зръють и падуть; Другія имъ во слъдъ идутъ...

Путкинть.

Всякая сфера дѣятельности безконечно разнообразна и требуетъ различныхъ дѣятелей. Съ перваго взгляда кажется, что науку можетъ поднять и двинуть впередъ только ученый, поэзію—поэтъ, литературу—литераторъ. Безъ всякаго сомиѣнія, безъ ученыхъ наука не могла бы не только подниматься и двигаться, но даже и существовать, также какъ и поэзія — безъ поэтовъ, литература — безъ литераторовъ; однако-жъ, тѣмъ не менѣе справедливо и то, что наукѣ, пскусству и литературѣ оказывали иногда величайшія услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое вліяніе на успѣхи литературы можетъ иногда имѣть книгопродавецъ-пздатель? Вспомнимъ Новикова. Этотъ человѣкъ, столь мало у насъ извѣстный и оцѣненный (по

причинъ почти совершеннаго отсутствія публичности), имълъ сильное вліяніе на движеніе русской литературы и, следовательно, русской образованности. Самъ онъ инчего или почти ничего не писаль, но онь обладаль удивительною способностью заставлять писать другихъ. Владъя значительными средствами, онъ издавалъ множество книгъ въ такое время, когда у насъ почти вовсе не было книгъ. Но и въ этомъ случав онъ действоваль, не какъ книгопродавець, хотя въ то время и роль дёльнаго книгопродавца была бы еще благодътельнъе, нежели какъ могла бы она быть теперь. Ифтъ! Новиковъ не былъ книгопродавцемъ: нажиться продажею книгъ нисколько не было его целью. Влагородная натура этого человъка постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстію-разливать свёть образованія въ своемъ отечествъ. И онъ увидълъ могущественное средство для достиженія этой цёли въ распространенін въ обществъ страсти къ чтенію. Для чтенія нужны кинги и журналы, а ихъ-то и не было тогда. И вотъ Новиковъ издаетъ книги и журналы, всюду ищетъ молодыхъ людей, способныхъ или охотливыхъ къ книжному дёлу. Знающимъ иностранные языки онъ заказываетъ переводы, у стихотворцевъ печатаетъ стихи, у прозаиковъ-прозу: всъхъ одобряеть и понуждаеть, обдинить даеть средства къ образованию. Кому не извёстно, что самъ Карамзинъ многимъ быль обязанъ Новикову? Если бы это и несправедливо было принисано Новикову, все же это важный фактъ въ его пользу. Когда явился Пушкинъ, всякое ходячее по рукамъ стихотвореніе, действительно хорошее, или только казавшееся хорошимъ, принисывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Такъ и Новикову принисывалось изданіе всякой книги и одобреніе всякаго таланта: это выразительно указываеть на его роль на сценъ русской литературы...

Но эта роль, какъ ни важна и ни велика она, ямѣла опредѣленный и ограниченный характеръ. Новикову нужно было, во что бы ни стало, заохотить общество къ чтенію, давши ему средства удовлетворять этой охоть—книги и журналы. О направленіи этой охоты онъ не думаль, да и думать тогда объ этомъ было рано. Онъ печаталь почти все, что ни писалось, и считаль за писателя всякаго, кто только имѣлъ охоту писать для печати. Новиковъ не былъ архитекторомъ: онъ приготовлялъ только строительные матеріалы и строительных мастеровъ. Давать литературѣ направленіе, дѣйствовать на нее лично—это роль людей другого рода. По и для этой роли—повторяемъ— пужны не один ученые и поэты.

Три человъка, нисколько не бывшіе поэтами, имъли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу, въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были — Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ инхъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

Ломоносовъ, Карамзинъ — и Полевой!.. Какъ многихъ оскорбитъ такое сближение именъ! Имена еще до сихъ поръ играють въ нашей литературф чрезвычайно важную роль, потому что для многихъ еще замъняютъ они идеи... Имена въ нашей литературъ — то же, что чины въ нашей общественной жизни, т. е. легкое вибшнее средство оцинять человика... Не всякому дана способность судить върно о качествахъ человъка и узнавать безошибочно, хорошъ онъ или нѣтъ. Такъ точно не всякому дана способность судить вфрио объ истинномъ значенін и достоинств'в писателя; но п'єтъ глупца и невъжды, который бы, услышавъ громкое нли извъстное имя, не догадался бы тотчасъ же, что это-большой сочинитель. Чёмъ старее имя инсателя, тёмъ большимъ уваженіемъ пользуется оно (особенно со стороны людей, никогда не читавшихъ этого писателя), и поставить съ нимъ рядомъ имя хоть бы и весьма извъстнаго, но еще живого, или только недавно умершаго писателязначить разсердить на-смерть множество людей, которымъ литература, по разнымъ отношеніямъ, близка къ сердцу, а еще болѣе людей, которымъ до литературы вовсе нътъ никакого дъла... Въ настоящемъ случай мы ділаемъ большой рискъ въ этомъ отношенін. Старики, которые и теперь считаютъ Ломоносова, вмъстъ съ Сумароковымъ и Херасковымъ, образцовыми писателями, увидятъ страшную профанацію въ сближенін имени Полевого съ именемъ Ломоносова. Но этихъ уже не много, и они будуть жаловаться про себя и между собою; ихъ дрожащіе голоса не возвысятся среди общества, которое такъ молодо въ отношени къ нимъ, что уже не помнить пудренныхъ косъ съ кошельками... Но что скажуть тѣ, которые съ личностію и энохою Карамзина сливаютъ воспоминание о лучшемъ времени своей жизни; которые, наконецъ, помнятъ въ Полевомъ человъка, писавшаго противъ Карамзина, хотя и послѣ его смерти... Что скажутъ бывшіе журналисты, современники Полевого, и многіе писатели и писаки, которыхъ некогда уничтожаль онь своимь журналомь, и у которыхь еще целы шрамы отъ глубокихъранъ, нанесенныхъ его перомъ ихъ самолюбію?.. Что скажуть всв они?— Пусть говорять, что хотять: страшень сонь, да милостивъ Богъ!.. Истина выше людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человъкъ, могила котораго требуетъ суда, а не осужденія, должной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей или пристрастнаго ропота раненыхъ самолюбій...

За Ломоносовым потомство не безъ основанія утвердило имя основателя и отца русской поэзін и литературы. Что онъ былъ первый, по времени, русскій поэть—это такъ же очевидно, какъ и то, что Державинъ былъ первый, по таланту, русскій поэтъ. Но Ломоносовъ, натура поэтическая, какъ всякая геніальная натура, тѣмъ не менѣе не былъ поэтомъ. Онъ поэтически чувствовалъ и мыслилъ, по не владѣлъ поэтическимъ даромъ творчества. Лучшая оцѣнка, въ этомъ отношенін, была сдѣлана ему Пушкинымъ:

"Ломоносовъ быль великій человъкъ. Между Петромъ Первымъ и Екатериною Второю онъ одниъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвъщенія. Онъ создаль первый университеть; онъ, лучие сказать, самъ былъ первымъ нашимъ упиверситетомъ. Но въ семъ унив рентетъ профоссоръ поэзін и элоквенцін не что нное, какъ нсправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стъснительныя формы, въ кон отливаль онъ свои мысли, дають его прозъ ходъ утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславянская, полулатинская, сдълалась-было необходимостію; къ счастію, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратиль ему свободу, обративь его къ живымъ источникамъ народнаго слова.

"Въ Ломоносовъ нътъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ иъмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германін, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, нзысканность, отвращение отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности-вотъ слъды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіею и гораздо болъе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презръніемъ говорить онъ о Сумароковъ, страстномъ къ своему искусству, объ этомъ человъкъ, который ни о чемъ, кромъ какъ о бъдномъ своемъ рнемотворствъ, не думаетъ... Зато съ какимъ жаромъ говорить онъ о наукахъ, о просвъщенін".

Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно върный, но тъмъ не менъе одностороний. "Вліяніе Ломоносова на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается": это такъ и не такъ въ одно и то же время. Подъ статьей Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому намъ следуеть ограничиться уверенностію, что она была написана не раньше 1836 года, — десять или около того лёть назадъ тому. Въ Россіи все идетъ скоро, и десять лътъ для насъ-много времени. Въ новой школъ, которую сами враги ея почтили именемъ "натуральной", нътъ уже ни малъйшихъ слъдовъ ломоносовскаго вліянія. — слѣдовательно, оно уже прошло. Даже въ старой школъ видно устарълое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова. Если вліяніе последняго и было вредно, все же оно не было зломъ неизлъчимымъ. Съ другой стороны, если и нельзя согласиться, что вліяніе Ломоносова на русскую литературу было вредное, то изъ этого еще отнюдь не следуеть, чтобы оно не было необходимо. А что необходимо, то уже полезно, хотя бы съ другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова намъ не нужно было народной поэзін: тогда великій вопросъ: быть или не бытьзаключался для насъ не въ народности, а въ европензмъ. Далеко ли ущелъ бы Ломоносовъ въ наукъ, если бы, оставивъ безъ вниманія ея успъхи въ Европъ, сталъ хлопотать о наукъ русской, ръшился бы сдёлаться не нововводителемъ въ этой области, а продолжателемъ трудовъ россійскихъ книжниковъ и мудрецовъ, до него бывшихъ?.. Первымъ благод тельнымъ следствіемъ возникав-

твей тогда литературы долженствовало быть отръшеніе общества не отъ національности, а отъ не посредственнаго или безсознательнаго характера этой національности. Мы должны были на время нерестать быть русскими, чтобы потомъ сознательно сдалаться русскими. Что вліяніе Ломоно-правда; но развъ не правда и то, что и результаты реформы Петра Великаго были во многихъ отношеніяхъ временно вредны? Однако же изъ этого въдь не слъдуеть, чтобы реформа Петра Великаго не была въ высочайшей степени полезна и благодетельна для Россін?—Ломоносовъ быль Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кром' ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія; но многое ли осталось теперь и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тёмъ Россія на-шего времени все-таки твореніе Петра Великаго...

Сужденіе Пушкина о Ломоносов'в очень в'врно, какъ отвътъ на безсознательно восторженные возгласы слъпыхъ почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, унорно хотять видёть въ немъ не только поэта, но еще и великаго поэта, тогда какъ въ сущности онъ не быль ни то, ни другое; но какъ окончательный приговоръ надъ Ломоносовымъ, суждение о немъ Пушкина-повторяемъ-одностороннее. Имя основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежить этому великому человѣку. Натура по преимуществу практическая, онъ былъ рожденъ реформаторомъ и основателемъ. Не приписывая непринадлежащаго ему титула поэта, нельзя не видъть, что онъ былъ превосходный стихотворецъ (версификаторъ). Если прибавить къ этому его глубокое знаніе русскаго языка (хотя, по духу н нотребностямъ своего времени, онъ старался придавать ему полуславянскую и полулатинскую величавость), то нельзя не согласиться, что, въ отношенін къ стиху, можно подумать, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова. Этого мало: въ нѣкоторыхъ стихахъ Ломоносова, несмотря на ихъ декламаторскій и напыщенный тонъ, промелькиваетъ пногда поэтическое чувство-отблескъ его поэтической души. Въ словахъ нашихъ нѣтъ противорѣчія: живая натура—всегда поэтическая натура, хотя изъ этого и нисколько не следуетъ, чтобы человъкъ съ живою натурою быль непремѣнно поэтъ: иначе и изъ Наполеона легко было бы сдёлать поэта и имя его внести въ исторію французской поэзін... Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзін, есть большая заслуга съ его стороны. Некоторые думають, что ямбы, хорен, дактили, амфибрахіи и анапесты несвойственны просодической натуръ русскаго языка. Говорятъ, будто самъ Пушкинъ впоследствии ставилъ себе въ вину, что своими дивными стихами окончательно и безвозвратно утвердиль эти размёры за русскою поэзіею, и будто онъ хотьль воротиться къ размърамъ нашихъ народныхъ пъсенъ, для чего и писалъ свою "Сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ". Если это правда—это была ошибка со стороны великаго поэта. Метръ народныхъ пѣсенъ былъ хорошъ для выраженія бѣднаго круга понятій, выражаемыхъ ими; но и въ этомъ кругѣ онъ далеко не исчернывалъ просодическаго богатства русскаго языка; для выраженія же новой безконечно-разнообразной и широкой сферы понятій онъ былъ бы совершенно недостаточенъ и крайне однообразенъ. Версификація Ломоносова не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу; отъ этого всѣ попытки замѣ-

нить ее были и будуть безплодны.

Что касается до славяно-латино-немецкихъ неріодовъ Ломоносова, напыщенности его рфчи,-намъ теперь до всего этого такъ же мало дела, какъ и до странныхъ костюмовъ эпохи Петра Великаго: то и другое заменено тенерь лучшимъ. По словамъ Пушкина, Карамзинъ, къ счастію, освободиль нашь языкь оть чуждаго ига. Слово къ счастію указываеть какъ бы на случайность, тогда какъ тутъ была необходимость, и Карамзинъ — или кто бы ни быль, лишь бы съ такими же способностями—не могъ бы, послѣ Ломоносова, сделать ничего другого, кроме этого освобожденія языка отъ чуждаго ига. Карамзинъ, разрушивъ дело Ломоносова, темъ самымъ только продолжалъ его. Великій реформаторъ приходить не съ тьмъ, чтобы разрушить, а съ тьмъ, чтобы создать,

разрушая...

Но точно ли Карамзинъ возвратилъ свободу нашему языку и обратиль его къ живымъ источникамъ народнаго слова? Извъстно, что его прозаическій слогь ділится на дві эпохи-доисторическую и историческую, т. е. что слогъ его "Исторін Государства Россійскаго" різко отличается отъ слога всёхъ его сочиненій, предшествовавшихъ ей. Доисторическій слогь Карамзина быль великимъ шагомъ впередъ со стороны и языка литературы русской: въ этомъ нётъ никакого сомнънія. Но не мен'є несомн'єнно и то, что это слогъ далеко еще не русскій, хотя и несравненно бол'ве свойственный духу русскаго языка, нежели слогъ Ломоносова. Скажемъ болѣе: не безъ причины восхищавшій современниковъ, доисторическій слогь Карамзина теперь блёдень и безцвётень. Онь относится къ настоящему русскому слогу, какъ языкъ новфишихъ латинистовъ къ языку Горація и Тацита. Въ немъ и для иностранца, учащагося порусски, будеть все просто и легко, потому что иностранець не встрътить въ немъ того, что называется идіотизмами, т. е. чисто-русскихъ оборотовъ, или руссизмовъ. Историческій же слогь Карамзина слишкомъ отзывается искусственною подделкой подъ языкъ летописей и слишкомъ не лишенъ риторическаго оттънка. Впрочемъ, все это мы говоримъ не для униженія великаго подвига Карамзина, а какъ бы въ отвётъ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзинъ не сдѣлалъ всего, какъ не сдёлалъ всего Ломоносовъ, и что, относительно, потомство въ правѣ обвинять п Карамзина въ тѣхъ же недостаткахъ, въ какихъ обвиняетъ Пушкинъ Ломоносова; но что тотъ

и другой—и Ломоносовъ, и Карамзинъ—оба сдълали именно то, что нужно было сдълать въ ихъ время, и, слъдовательно, обоимъ имъ равно принадлежить въчная честь великаго подвига...

Карамзинъ явился въ то самое время, когда направленіе, данное Ломоносовымь литературь, такъ сказать, истощило само себя и обратилось въ застой. Въ духв этого направленія уже ничего нельзя было делать. Въ самой литературе обнаружилась ему реакція: языкъ и самый характеръ сочиненій Фонвизина уже отошли отъ ломоносовскаго типа. Позднѣе Макаровъ, независимо отъ Карамзина, началъ переводить и писать языкомъ совершенно карамзинскимъ. Нуженъ былъ только человъкъ, который, по своимъ интеллектуальнымъ средствамъ, быль бы способень завладёть общественнымь мньніемъ и стать во главт литературнаго движенія. Такимъ человъкомъ явился Карамзинъ. Онъ былъ для своей эпохи всёмъ: и реформаторомъ, и теоретикомъ, и практикомъ, и стихотворцемъ, и прозанкомъ, и поэтомъ, и журналистомъ, лирикомъ, сказочникомъ, нувеллистомъ, археологомъ. Его стихи учились наизусть; его повъсти, особенно "Въдная Лиза" и "Мароа Посадница", сводили съ ума всю цублику. И хотя Карамзинъ писколько не былъ поэтомъ, темъ не мене этотъ усиехъ былъ вполне заслуженный. Его "Письма Русскаго Путешественника" познакомили тогдашнее общество съ Евроною, которая только для высшаго слоя его не была terra incognita,—и въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ истиннымъ Колумбомъ. Инсьма Фонвизина изъ Франціи были несравненно дільніве "Писемъ Русскаго Путешественника", но они не могли произвести на общество такого вліянія, потому что были понятны только для людей, знакомыхъ съ состояніемъ дёлъ въ Европ'є того времени, а всёмъ другимъ могли сообщить о ней самое превратное понятіе. Письма Фонвизина такъ дёльны, что только теперь настало время для ихъ настоящей оцфики. Но во времена переходныя, въ эпохи преобразованій, часто бывають нужнье и полезнье ть легкія произведенія, которыя, могущественно увлекая толпу, тотчасъ умирають, какъ скоро сделають свое дело. И воть гдё самая слабая, а вмёстё съ тёмъ и самая важная сторона литературной деятельности Карамзина. Онъ не принадлежитъ къ числу техъ писателей, творенія которыхъ всегда св'іжи и юны, не знають ни старости, ни смерти. Нѣтъ, къ чему лицемфрить! "Бъдная Лиза", "Наталья Боярская Дочь", "Счастливый Карло", "Мароа Посадинца", "Островъ Боригольмъ", —всъ эти и другія повъсти Карамзина для однихъ теперь дороги, только какъ воспоминание о свътлыхъ дняхъ юности, какъ намять о сказочкъ нянюшки, подъ разсказъ которой когда-то сладко было засыпать; для другихъ онъ интересны, какъ стародавние костюмы, какъ факты образованія и развитія общества во времена давнопрошеднія; но читать ихъ для эстетическаго наслажденія, читать ихъ, какъ поэтическія произведенія, теперь никто не будеть... Еще въ то время, когда авторитетъ Карамзина только стремился къ своей аногев, равно какъ и въ то время, когда онъ достигъ ея, появились Крыловъ, Жуковскій и Батющковъ—поэты по натурѣ, люди, призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзін, а не переходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремѣло по всей Россіи, когда умеръ Карамзинъ...

Но все это служить не къ уменьшенію заслугь Карамзина, а къ опредёленію рода и характера его литературной деятельности. Если его творенія, какъ говорится, отжили свое время, тёмъ не менёе имя его будеть всегда знаменито и почтенно, если хотите—безсмертно: его навсегда сохранить не только исторія литературы, но и благодарная намять образованной части народа русскаго.

Новиковъ старался распространить въ русскомъ обществъ охоту къ чтенію множествомъ книгъ: Карамзинъ дёлалъ то же самое, но уже заманчивостію сочиненій. Удивительно ли, что онъ болье Новикова успыль въ своемъ дыль? Онъ создалъ въ Россіи мпогочисленный, въ сравненін съ прежнимъ, классъ читателей, создалъ, можно сказать, нѣчто вродѣ публики, потому что образованный имъ классъ читателей получилъ уже извъстное направление, извъстный вкусъ, —слъдовательно, болбе или менбе отличался характеромъ единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились къ прежнимъ, какъ относятся люди съ гастрономическими замашками къ людямъ, которые безъ разбору вдять все, что ни поставять передъ ними, ничемъ особенно не услаждаясь, ничьмъ не оскорбляясь. Это быль безмърный шагь впередъ. Повъсти Карамзина, извлекшія столько слезь изъ очей его нёжныхъ читательницъ и столько вздоховъ изъ груди его чувствительныхъ читателей, нисколько не были произведеніями поэзін, какъ нскусства, какъ творчества; но темъ не мене оне были для своего времени прекрасными беллетристическими произведеніями человіка съ большимъ дарованіемъ. Самая сентиментальность направленія вообще всего, написаннаго Карамзинымъ, имфетъ свое великое достоинство: она была необходима, какъ для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новою ступенью, новымъ шагомъ впередъ начавшей развиваться литературы. До Карамзина у насъ были періодическія изданія, но не было ни одного журнала: онъ первый намъ далъ его. Его "Московскій Журналъ" и "Въстникъ Европы" были для своего времени явленіемъ удивительнымъ и огромнымъ, особенно, если сравнить ихъ не только съ бывшими до нихъ, но и съ бывшими послѣ нихъ на Руси журналами, до самаго "Московскаго Телеграфа"... Какое разнообразіе, какая св'яжесть, какой тактъ въ выборт статей, какое умное, живое передаваніе политическихъ новостей, столь интересныхъ въ то время! Какая, по тому времени, умная и ловкая контика!

Къ чему не обратитесь въ нашей литературъ, всему начало положено Карамзинымъ: журналистикъ, критикъ, повъсти-роману, повъсти истори-

ческой, публицизму, изученію исторіи. Мы не говоримъ уже о его стихотворствъ, имъвшемъ большую цену для своего времени; ни о его "Исторія Государства Россійскаго", положившей начало дельному, ученому изученію русской исторін и давшей для этого возможность. Въ "Исторін Государства Россійскаго"—весь Карамзинъ, со всею огромностію оказанныхъ имъ Россін услугъ и со всею несостоятельностію на безусловное достоинство въ будущемъ своихъ твореній. Причина этого-повторяемъ-заключается въ родѣ и характерѣ его литературной дізтельности. Если онъ быль великъ, то не какъ художникъ-поэтъ, не какъ мыслительинсатель, а какъ практическій діятель, призванный положить дорогу среди непроходимых в дебрей, расчистить арену для будущихъ д'ятелей, приготовить матеріалы, чтобы геніальные писатели въ разныхъ родахъ не были остановлены на ходу своемъ необходимостью предварительныхъ работъ. Державинъ былъ гепіальный поэтъ по своей натурф, но если онъ не явился такимъ же по своимъ твореніямъ, -- это потому именно, что прежде него быль только Ломоносовъ, а не Карамзинъ, -- тогда какъ для Пушкина было большимъ счастіемъ явиться уже на закатѣ дней Карамзина... Это вполиѣ опредёляеть нашу мысль о сущности дёятельности и заслугъ Карамзина. Онъ, —сказали мы, —создалъ на Руси если еще не публику, то возможность публики, нёчто вродё публики: подвигъ великій, но для котораго требовался не геній, обыкновенно устремляющій всё силы свои въ одну сторону, на одинъ предметъ, а энциклопедическій, разнообразный таланть.

Сильно было движеніе, сообщенное нашей литературъ Карамзинымъ. И оно принесло свои плоды. При полномъ владычествѣ и очарованіи имени Карамзина, тихо и незамътно возникало то новое, которое должно было смѣнить собою карамзинскую эпоху. Но новый духъ не сознавалъ своихъ правъ и охотно подчинялся вліянію Карамзина. Крыловъ считался не больше, какъ замъчательнымъ послъ Дмитріева баснописцемъ, и действительно, самобытность его таланта проявлялась только изръдка; но, большею частію, онъ или подражаль въ своихъ басняхъ Лафонтену, или морализировалъ въ нихъ въ пользу и назидание дътей. Жуковскаго, пересадившаго романтизмъ на почву русской литературы, всв похваливали, но немногіе подозрявали его истинное значеніе. Батюшковъ, основатель пластически - художественнаго элемента въ русской поэзін, восхищаль своихь современниковь совстмъ не темь, что составляло величайшее достоинство его музы, родственной муз'в эллинской. Всв этв люди смотръли на Карамзина, какъ на своего учителя и хорега; всь они находились подъ вліяніемъ его идей. Очевидно, что это была школа, нли, лучше сказать, это были школы новыя, но переходныя и потому не рфинтельныя, изъ которыхъ ни одна не была въ силахъ стоять во главъ движенія и руководить имъ. Все какъ будто колебалось между прошедшимъ и будущимъ и только ждало человъка, который сдълаль бы рышительный

шагъ. И этотъ человъкъ не замедлилъ явиться: то былъ Пушкинъ... Съ нимъ явилась новая школа поэзін, не совсъмъ удачно провозглашенная "романтическою"...

Съ Пушкинымъ почти псчезли изъ русской поэзін всь следы карамзинского направленія. Новое время и новое положение вещей дали ноэту той энохи другое направленіе. Но онъ былъ силенъ не столько силою времени, сколько своею глубоко художественною натурою: вотъ что съ перваго же шагу эманципировало его отъ вліянія Карамзина. Первоначальному направленію своему онъ изміниль впоследствін, именно потому, что источникъ его скрывался въ современности, а не въ натуръ его. Какъ человькъ, Пушкинъ отразилъ на себъ всю неопредъленность и шаткость направленій и убъжденій своего времени, и въ умѣ его какъ-то странно уживались вмъстъ тенденціи поэта и помъщика, человѣка и дворянина, мѣщанина и аристократа. Какъ поэтъ, Пушкипъ противорфчилъ себф, какъ человъку, по крайней мъръ, вездъ, гдъ быль онъ въренъ своей артистической натуръ, гдъ онъ былъ преимущественно художникомъ. Повторяемъ: сила его всегда была въ его художественной натуръ. Становясь человѣкомъ (лицомъ частнымъ--particulier), онъ суевърно благоговълъ нередъ карамзинскими идеями; становясь поэтомъ, онъ опережалъ ихъ на цѣлые вѣка...

Пушкинъ былъ главою поэтическаго движенія. Но времена перемънились: если уже беллетристъиублицисть не могь быть главою литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ удовлетворить собою всемъ требованіямъ эпохи. До какой степени эта эпоха разко отделилась отъ предшествовавшей, можно видѣть изъ обстоятельствъ появленія Пушкина на литературное поприще. Прежде всв поэты принимались безусловно, и каждому, кому только ни захотвлось бы въ поэтические боги, готово было почетное мѣсто въ капищѣ поэзіи. Когда явился Карамзинъ, ограниченный кругъ тогдашнихъ читальщиковъ почти съ равнымъ восторгомъ произносилъ имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Самъ Карамзинъ высоко поставиль Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всеми съ восхищениемъ. Появленіе Жуковскаго и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только некоторыя сомнения въ безусловномъ достоинствъ Сумарокова и Хераскова, обнаруженныя Мерзляковымъ (1815 года) да юношески-рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева *),-- нъсколько парушили аркадскую безмятежность, съ которою весь иншущій людъ пользовался заслуженною и незаслуженною славою. Явившись на поприще литературной двятельности, Карамзинъ принялъ всё авторитеты; по

крайней мфрф, не счель нужнымъ возставать противъ техъ, которыхъ не признавалъ втайне. Самъ онъ былъ вполет главою литературной эпохи и, изъ новыхъ писателей, только Дмитріеву уступалъ пальму первенства въ стихотворствъ. Во всемъ прочемъ онъ безусловно первенствовалъ въ литературћ и былъ въ ней не только первымъ литераторомъ, но и первымъ поэтомъ, какъ нувеллистъроманисть. И это первенство было безусловно признано всеми. Нападки на Карамзина славянофиловъ того времени, подъ предводительствомъ Шишкова, касались одного языка и были притомъ слишкомъ пичтожны сами но себф, потому что на сторон'в пуристовъ были только книжники, а на сторонъ Карамзина-вся публика. Не такъ былъ принять Пушкинь. Онь быль слишкомь великь, чтобы тотчась же быть понятымъ и оцененнымъ всеми. И потому его встрътили, съ одной стороны, восторженные клики молодого покольнія, а съ другойожесточенная брань теоретиковъ и людей привычки, для которыхъ хорошо все старое и дурно все новое. Притомъ же, хотя поэзія Пушкина, въ смыслъ историческаго развитія, и была, такъ сказать, результатомъ поэтическихъ усилій всёхъ прежде него бывшихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова, -- тъмъ не менъе, однако-жъ, она была и ихъ отрицаніемъ. По крайней мфрф, такъ могло казаться съ перваго взгляда. Тогда естественно многимъ могла прійти въ голову такая диллема: "Если сочиненія Пушкина, писанныя вопреки всемь правиламъ, извлеченнымъ изъ твореній великихъ геніевъ и утвержденнымъ вѣками, --если они-нстинныя поэтическія произведенія, то произведенія нашихъ великихъ поэтовъ (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанныя по в'ековымъ правиламъ, уже не истинныя поэтическія творенія". Это ихъ по инстинкту решило не признавать въ Пушкине поэта, или, по крайней мъръ, видъть въ немъ не болье, какъ обыкновенный талантъ, способный писать только безъ правилъ. Съ своей стороны, восторженные почитатели Пушкина естественнымъ образомъ доходили до такой же несправедливости въ отношении къ его предшественникамъ на поэтическомъ поприщъ. Такъ всегда раздъляетъ людей на двъ крайнія стороны всякая ръзкая реформа. Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мивнія, ареною которыхь должна была сдёлаться журналистика.

Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературъ. Она условливалась обстоятельствами. По роду своихъ способностей, Полевой имълъ большое сходство съ Карамяннымъ: его доставало на всена повъсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературъ для него было уже невозможно, потому что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтъ нельзя играть роль поэта человъку, не рожденному поэтомъ. Сверхъ того, Полевой, въ вопросъ о поэзіи, находился подъ вліяніемъ Пушкина, какъ живой

^{*)} Теперь почтеннаго археолога. Въ 1815 году онъ надаваль журналъ: Современный Наблюдамель Россійской Словесноети, въ которомъ оты
него порядкомъ и дъльно досталось Россіядъ и
Владиміру, къ величайшему соблазну литературныхъ старовъровъ.

практики всёхъ теорій о поэзін; но Пушкинъ, въ этомъ отношеніи, ни съ какой стороны не могъ находиться ни подъ чымъ вліяніемъ, потому что самъ могъ черпать иден изъ того же источника, который служилъ всякому журналисту: т. е. изъ личнаго знакомства съ иностранными литературами. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ былъ однимъ изъ образованнёйшихъ людей своей эпохи и ужъ, конечно, не изъ русскихъ журналовъ могъ учиться и слёдить за ходомъ европейскаго развитія.

Но, несмотря на это, Полевому предстояла роль дъятельная и блестящая, вполнъ сообразная съ его натурою и способностями. Онъ быль рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и быль имъ по призванію, а не по случаю. Чтобъ оціннть его журнальную дёятельность и ея огромное вліяніе на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояніе, въ которомъ находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились во всей Россіи, проникли во вст ея захолустья, въ которыя дотол'в проникали только буквари и сонники. Масса читателей увеличилась чрезъ это, по крайней мъръ, вдесятеро и стала походить на публику. Вездё чувствовалась потребность въ определенномъ вкусе, следовательно и въ теорін. А этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на неприступной высотъ; Сумарокова считали великимъ писателемъ; между Ломоносовымъ и Державинымъ не видели никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счету, и о нихъ позволялось говорить одий только похвальныя фразы, которыя давно уже обратились въ общія м'іста. Литературные нравы вполнъ соотвътствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ быль прежде всего найти себъ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затымь должень быль добиться лестной чести-попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искусь: прежде всего онъ обязанъ быль "не смѣть свое сужденіе имѣть"; его дѣло было слушать умныя ръчн опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже пріобрѣтя лестную репутацію грибовдовского Молчалина, могь онъ дерзнуть просить позволенія-прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушиваль критику и совъты, обязанъ былъ перемънять, переправлять и нередёлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось къмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передёланное и переправленное его дётище поступало наконець въ печать. Еще лать десятокъи литература русская обогащалась, въ лицъ этого новиціанта, или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжяннымъ писакою. Во всякомъ случат, онъ поступалъ тогда, сь благословенія своихъ меценатовъ, въ число онытныхъ и знаменитыхъ писателей,--- и всв вврили, что онъ-больной писатель, потому что за

него ручались не его сочиненія, а такіє знаменитые авторитеты. Затёмъ онъ самъ попадаль въ авторитеты и меценаты, и въ отношеніи къ другимъ играль такую же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которыя "вывели его въ люди". Тенерь это невфроятно, а тогда было такъ!

Свёжо преданіе, а вёрится съ трудомъ!

Всякое независимое, самобытное мивніе, всякій свіжій голось, все, что не отзывалось рутиною, преданіемь, авторитетомь, общимь містомь, ходячею фразою,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомь...

А журналы тогдашніе?.. "Въстникъ Европы", вышедин изъ-подъ редакцін Карамзина, только подъ кратковременнымъ завъдываніемъ Жуковскаго напоминаль о своемь прежнемь достоинствъ, Затъмъ онъ становился все суше, скучнее и пустее, наконецъ сделался просто сборникомъ статей, безъ направленія, безъ мысли, и потеряль совершенно свой журнальный характеръ. Конечно, всегда, даже въ самые худшіе годы свои, быль онълучше всёхъ журналовъ, существовавшихъ въ Россін до "Московскаго Журнала", издававшагося Карамзинымъ въ 1791 и 1792 годахъ. И не диво: благодаря Карамзину, ему и не было возможно быть хуже ихъ; но онъ долженъ былъ бы считать своею обязанностію быть лучше даже карамзинскаго "Вѣстника Европы", потому что съ тъхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ его (съ 1804 года), много прошло времени, и отъ издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы возвысить и улучшить начатый имъ журналъ. Но вышло не такъ. Въ началъ двадцатыхъ годовъ "Въстникъ Европы" быль идеаломъ мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплъсневълости. О другихъ журналахъ не стоптъ и говорить; иные изъ нихъ были, сравнительно, лучше "Вѣстника Европы", но не какъ журналы съ мненіемъ и направленіемъ, а только какъ сборники разныхъ статей. "Сынъ Отечества" даже принималь на свои, до крайности сърые и жесткіе, листки стихотворенія Пушкина, Баратынскаго и другихъ поэтовъ новой тогда школы, даже открыто взяль на себя обязанность защищать эту школу; но темь не мене самь онь представляль собою смёсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, всего, что похоже на опредъленное и ни въ чемъ не противоръчащее себъ мнѣніе. Какъ судилъ и рядилъ "Сынъ Отечества" объ некусствъ даже впослъдствін, можно видъть изъ его определенія романтизма, который, по его мнѣнію, начался съ Байрона и отличается отъ классицизма темъ, что начинаетъ съ половины или даже съ конца дела!..

Вообще должно замѣтить, что война за такъ называемый романтизмъ противъ такъ называемаго классицизма была начата не Полевымъ. Романтическое броженіе было общимъ между молодежью того времени. Острыя и бойкія полемическія статейки Марлинскаго противъ литературныхъ старовъровъ, печатавшіяся въ "Сынѣ Отечества", и его

же такъ называемые обзоры русской словесности, печатавшиеся въ извъстномъ тогда альманахъ [трехмъсячный сборникъ "Миемозина"],—все это выразило собою совершенио новое направление литературы, котораго органомъ былъ "Телеграфъ", и все это иъсколькими годами упредило появление "Телеграфа". Слъдовательно, Полевой не былъ ни первымъ, ни единственнымъ представителемъ новаго направления русской литературы, какъ Карамзинъ былъ въ свое время первымъ и почти единственнымъ представителемъ новаго направления, почти имъ же однимъ и произведеннаго, потому что подлъ его имени въ этомъ дълъ можно вспомнить только два другихъ имени—Макарова и Дмитріева.

Но это нисколько не уменьшаеть заслуги Полевого: мы увидимь, что онъ сумълъ, на своемъ пути, стать выше всъхъ соперничествъ и даже восторжествовать въ борьбъ противъ всъхъ враждеб-

ныхъ соревнованій...

Романтизмъ-вотъ слово, которое было написано на знамени этого смълаго, неутомимаго и даровитаго бойца, -- слово, которое отстанваль онъ даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значение и когда уже не было противъ кого отстанвать его!.. Что же такое этотъ "романтизмъ", который наполняль собою цёлую литературную эпоху, за который было столько черинльныхъ войнъ, столько полемическихъ битвъ на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, въ европейскихъ литературахъ уже давно кипъли страшныя войны за него. Но не вездѣ онъ имѣлъ одинаковое значеніе. Первое движеніе въ его пользу обнаружилось въ Германін, какъ реакція вліянію французской литературы, какъ протесть въ пользу ньмецкой національности въ литературь. Въ своей настоящей, современной деятельности, Германія не видела, по известнымъ причинамъ, никакихъ національныхъ элементовъ и обратилась къ своему прошедшему, къ своимъ среднимъ въкамъ, къ рыцарскимъ замкамъ съ ихъ башиями и подъемными мостами, съ ихъ поэтическимъ варварствомъ и романическою дикостью ихъ правовъ. Гёте и Шиллеръ не были вполнъ представителями этого романтическаго движенія, но заплатили ему не малую дань, особенно послёдній. Потомъ нёмецкій романтизмъ началъ принимать новое направленіе, какъ реакція сухой и обнаженной простоты протестантизма, какъ усиліе въ пользу мистицизма среднихъ въковъ и противъ философскаго раціонализма. Жаркими поборниками этого направленія явились братья Шлегели. Думая найти всякую опору своимъ теоріямъ въ посредственномъ, но зато ультраромантическомъ Тикъ, они провозгласили его великимъ поэтомъ, имѣли жалкую смѣлость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затья не больше, какъ воспоминание: романтизмъ, на время искусно воскрешенный, давно уже вновь опочилъ сномъ непробуднымъ. Шлегелей нътъ, а Тику удивляется только реденощая толна стариковъ, скудно вознаграждая его этимъ удивленіемъ за насмѣшки и презрѣніе молодыхъ поколѣній... Въ Англіи романтизмъ быль освобожденіемъ отъ вліянія французскаго классицизма, принятаго школою Попе, Адиссона и Драйдена. Байронъ и не думалъ быть романтикомъ въ смыслѣ поборника среднихъ вѣковъ: онъ смотраль не назадъ, а впередъ. Романтизмъ во Францін сперва быль реакцією революціонному раціонализму и явплся въ ней съ Шатобріаномъ, этимъ рыцаремъ реставраціи. Потомъ французскій романтизмъ превратился въ простой, чисто литературный вопросъ о свободѣ поэтическихъ формъ, до уродливости сжатыхъ и искаженныхъ прежнимъ классицизмомъ. Въ сущности, дело тутъ шло о томъ, которая школа натуральнъе-Расина или Шекспира, и можно ли, въ трагедін, вводить лица низшихъ сословій и патетическое мішать съ комическимъ. Представителемъ этого романтическаго движенія во Францін быль Викторь Гюго, поэть даровитый, отнюдь не геніальный, болье богатый воображеніемъ, нежели тактомъ истины. По чувству противоръчія, онъ дошель до величайшихъ нелѣпостей: вмѣсто того, чтобы отрицать въ прежней исевдоклассической школф однъ ся крайности, онъ почелъ за нужное идти ей наперекоръ даже и въ томъ, что составляло ея истинное и высокое постоинство, что делало ее глубоко національною: чувство мфры и постоянное присутствие того, что французы называють le bon sens. Онъ дошель до того, что гордо объявиль чудовищное прекраснымь: le laid c'est le beau... Подчиняясь ибмецкому вліянію, онъ ринулся въ средніе въка, но вынесь оттуда только один нелѣпыя преувеличенія. Цюго имъть свою минуту торжества, но давно уже во Франціи и онъ, и романтизмъ не больше, какъ преданіе... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится тамъ условныхъ и стъснительныхъ формъ исевдоклассицизма, но за это пикого уже не называють тамъ "романтикомъ".

Само собою разумѣется, что у насъ романтизмъ не могъ имъть никакого соотношенія ни съ католицизмомъ, ни съ средними въками. Онъ могъ бы еще быть стремленіемъ къ лирической, субъективной настроенности въ ноэзін, усиліемъ сдёлать поэзію выраженіемъ преимущественно внутреннихъ тайнъ сердца, мистики человъческой личности, потому что такое направленіе поэзін есть д'єйствительно романическое. Но Жуковскій уже ввель въ нашу поэзію этоть романтизмъ гораздо прежде, нежели слово "романтизмъ" сдълалось известнымъ въ нашей литературф. И однако-жъ Жуковскаго ни тогда, ни посл'я никто не называль романтикомъ: это названіе было утверждено общимъ голосомъ за Пушкинымъ, который и по своей патурф, и по характеру своей поэзін песравненно меньше Жуковскаго быль романтикомъ. За что же прослыль онъ такимъ ультра-романтикомъ?—За то, что откинулъ, въ своихъ произведеніяхъ, всѣ старыя формы и началь писать элегін и поэмы. Изъ этого яспо видно, что нашъ романтизмъ никогда не былъ инчёмь другимь, какъ реакціею стёснительнымь и условнымъ формамъ, занятымъ нашею литературою у французской литературы. Новфишій классицизмъ быль не чёмъ инымъ, какъ усиліемъ поддёлы-

ваться подъ формы древнихъ литературъ, греческой и латинской, произведенія которой были признаны классическими, т. е. образцовыми, такими, которыя могли читаться въ училищахъ, въ классахъ, какъ непогръщительные образцы, достойные подражанія. Потомъ дошли до убъжденія, что писать хорошо можно не иначе, какъ рабски подражая древнимъ. Разумфется, подражать древнимъ можно было только въ формъ, а не въ духъ, но и это не могло не вредить добровольнымъ подражателямъ, потому что это значило новый духъ заковывать въ старыя и чуждыя ему формы. Такъ и было во Франціи. Но французскіе писатели, подражая древнимъ, на зло самимъ себъ и безъ собственнаго вёдома, оставались вёрными своему національному духу, тогда какъ ихъ подражатели, думая быть греками и римлянами, были ровно ничемъ. Объ уравновешивании природы и духа, выражавшемся въ пластически-прекрасной формъ, никто не имълъ ни малъйшаго понятія, а всъ твердили только о знаменитомъ тріединствѣ, плохо понятомъ изъ Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что въ классическомъ искусствъ форма преобладаетъ надъ идеею, а въ романтическомъ, наоборотъ, — идея надъ формою. Но это, во-первыхъ, не совсёмъ было вёрно въ отношени къ древнему искусству, потому что въ немъ видно было примирение духа съ природою, уравновъщеніе иден съ формою, а не перевісь формы надъ идеею. Равнымъ образомъ, не совсемъ верно судили и о романтизмъ, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона, — тогда какъ нстинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а изъ извъстныхъ поэтовъ развъ только Петрарка и Данть, первый въ своихъ сонетахъ, исполненныхъ мечтательной, идеальной любви, а второй въ своей чудовищной и темъ не менте великой поэмт, псполненной католическихъ тенденцій и богословскихъ аллегорій, и такь полно отразившей въ себъ всю уродливо-величавую жизнь среднихъ в ковъ. Нов в искусство скорфе должно стремиться подойти къ древнему, нежели къ романтическому, оставаясь въ сущности равно ни тъмъ, ни другимъ. Все это теперь ясно, какъ день. Но тогда вопросъ быль многосложенъ, и спорящія стороны не понимали ни себя, ни другъ друга. Какъ ни бросались въ философію, что ни твердили о внашнемъ и внутреннемъ, о форм'й и идей, но главнымъ вопросомъ все-таки оставалось освобождение отъ условныхъ правилъ, безъ нужды стъснявшихъ вдохновение и отдалявшихъ искусство отъ естественности, самобытности и народности.

Вопросъ стоилъ споровъ; дѣло стоило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и мертво: забыты и побѣденные, и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣсиительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журна-

листь, публицисть, критикъ, литераторъ, белле-

"Московскій Телеграфъ" быль явленіемъ необыкновеннымъ во всёхъ отношеніяхъ. Человёкъ, почти вовсе неизвъстный въ литературъ, нигдъ не учившійся, купець званіемь, берется за изданіе журнала,--и его журналъ, съ первой же книжки, нзумляеть всёхъ живостію, свёжестію, новостію, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконець вфрностію въ каждой строкф однажды принятому и р'язко выразившемуся направленію. Такой журналь не могь бы не быть замъченнымь и въ толиъ хорошихъ журналовъ; но среди мертвой, вялой, безцвътной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послёдней книжки своей издавался, онъ, въ теченіе почти десяти лѣтъ, съ тою постоянною заботливостію, съ темъ вниманіемъ, съ темъ неослабъваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можетъ быть только призваніе н страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началь онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти впередъ, избъгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвъщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глунца, тогда была новостью, которую почти всё приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдёлать ходячею истиною. И это совершилъ Полевой! Боже мой! какъ взъёлись на него за эту мысль ученые невъжды, безталанные литераторы, плохіе журналисты, закоснѣвшіе въ предразсудкахъ старики! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умною, оригинальною, чуждою предразсудковъ критикою "Московскаго Телеграфа", высказывавшаго свои мити прямо, не смотрѣвшаго ин на какіе авторитеты! И было изъ чего сердиться на этотъ журналъ: нътъ возможности пересчитать всв авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовыми стишищами переложилъ расиновскую трагедію; другой написаль мадригаль Лилеть и тріолеть Хлоф; третій — дюжину плаксивыхъ стишонковъ; четвертый — сентиментальную повъсть; извъстность пятаго была основана на статьт, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдаль за свое сочинение забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. "Московскій Телеграфъ" на все навелъ справки, все всномниль, все вывель наружу... Многимь сказалъ онъ, что ихъ сочипенія, въ свое время, могли имъть свою относительную цанность, но что время ихъ прошло, и что теперь мальчики иишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и знаменитыхъ авторовъ. На все на это нужно было тогда много см'влости: въ то время самое легкое зам'вчание не въ пользу автора или сочиненія принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, рекритикъ, отвътовъ, возраженій и проч. Считавшіе себя обиженными не забывали этого; а кому пріятно им'ть безчисленное множество враговъ, иногда просто изъ ничего? Да, для этого нужно было больше, чтмъ смълость, -- нужно было самоотвержение. Особенную ненависть навлекъ на себя Полевой со стороны ученаго люда, учившагося по старымъ книгамъ и не подозрѣвавшаго, что могутъ быть новыя и лучшія. Тогда-то раздались ожесточенные воили: да что онъ, да кто онъ, гдв онъ учился, гдв его аттестаты, какія его ученыя званія? — онъ купецъ, торгашъ, самоучка, всезнайка и т. п. Повфрять ли, что многіе "ученые", въ своихъ выходкахъ противъ Полевого, не стыдились дёлать намеки на его водочный заводъ-пятно, какъ сказаль Пушкинь, ужасное, какъ извъстно всему нашему дворянству!.. Вотъ что, напримъръ, быле сказано, между прочимъ, о Полевомъ въ "Въстникѣ Европы" (1828 года, № 23, стр. 199): "Онъ прикидываетъ къ нимъ (къ поэтамъ) в о лчокъ критики съ размаху и определяетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэтическаго угара"...

Загляните въ современные "Московскому Телеграфу" журналы — н вы подумаете, что Полевой не умёль иначе говорить, какъ страшными ругательствами, что журналь его быль складочнымъ ивстомъ полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите "Московскій Телеграфъ" коть за все время его существованія-п вы увидите, что всегда, въ жару самой запальчивой полемики, онъ умълъ сохранять свое достоинство, уважать приличіе и хорошій тонь, и что въ самыхъ любезностяхъ его противниковъ было больше грубости и илоскости, нежели въ его брани. Мы пишемъ не панегирикъ, не эклогу, а характеристику замечательнаго деятеля на поприше русской литературы, и потому мы не скажемъ не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы онъ всегда быль безиристрастенъ въ отношении къ своимъ противникамъ, всегда умёль отдавать имъ должную справедливость. Нътъ, онъ былъ человъкъ, и притомъ постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношенін къ нему несправедливостями, ошибался и бываль не правъ; но въ исторіи человѣческихъ дълъ вопросъ не въ томъ, кто былъ безупреченъ и непогрѣшителенъ, а въ томъ, кто болѣе другихъ, относительно, по возможности, былъ справедливъ, или у кого сумма добраго стремленія и добрыхъ дёлъ если не перевёшиваетъ недостатковъ и слабостей, то искупляеть ихъ... И въ этомъ отношенін издатель "Московскаго Телеграфа" сміло могъ бы разсказать всему свёту исторію своихъ отношеній къ противникамъ, не скрывая своихъ промаховъ и ошибокъ; смёло могь бы одинъ противостать целой ихъ фаланге... Наведя справки, не трудно убъдиться, что полемики въ "Московскомъ Телеграфъ" было немного, по крайней мърѣ меньше, нежели въ каждомъ изъ современныхъ ему журналовъ, не говоря уже о томъ, что его

полемическія статьи всегда были умны, дёльны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общаго ожесточенія противъ этого журнала должно искать не столько въ полемическихъ статьяхъ, сколько въ его критикѣ и библіографіи, гдѣ правда высказывалась столько же прямо, сколько н прилично, отчего и кусалась больнъе. До "Телеграфа" въ нашей журналистикъ уклончивый тонъ принимали заодно съ въжливымъ; старались какъ можно меньше говорить о писателяхъ и сочиненіяхъ, а если говорили, то съ темъ, чтобы хвалить общими избитыми фразами. Полевой показаль первый, что литература — не нгра въ фанты, не дътская забава, что исканіе истины есть ея главный предметь, и что истина -- не такая бездвлица, которою можно было жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдёлать страшную дерзость и выказать себя человткомъ "безпокойнымъ", т. е. хуже, чтмъ безнравственнымъ.

Многіе разділяють людей, въ нравственномъ отношенін, на благонаміренныхъ и безпокойныхъ: первые не мізнають другимъ обділывать свон дільники, каковы бы они ни были, лишь бы только и имъ никто не мізналъ втихомолочку заниматься тімъ же самымъ; вторые никакъ не могутъ вытерийть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что ихъ сосідъ, посредствомъ справокъ и отношеній, пустилъ по міру цілое семейство, чли,

Когда весь городъ знаетъ, Что у него ни за собой, Ни за женой — А смотришь: помаленьку,

То домикъ выстроитъ, то купитъ деревеньку.

И въ литературномъ мірѣ, даже и теперь, "благонамѣренныхъ" несравненно больше, нежели "безпокойныхъ", а въ то время, т. е. до "Телеграфа", послѣднихъ почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этотъ журналъ многимъ казался чудовищнымъ явленіемъ, именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истипу ставилъ выше людей и ради нихъ не щадилъ авторскихъ самолюбій. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда-нибудь могло бытъ такимъ образомъ и до такой степени: и это онять заслуга Полевого, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указываеть на рёзкое различе роли Полевого отъ роли Карамзина на одномъ и томъ же, впрочемъ, поприщѣ. Карамзинъ не былъ связанъ прошедшимъ, и ему не съ чѣмъ было бороться, почему онъ и не оскорбилъ ничьего самолюбія, не возбудилъ ничьей вражды къ себѣ, кромѣ завистниковъ, блѣдный рой которыхъ скоро долженъ былъ исчезнуть при быстрыхъ успѣхахъ его славы и при общей любви къ нему большинства образованнаго общества. Обстоятельства, положене литературы, дали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отридалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Кромѣ того, во время Карамзина было не до идей и вопросовъ; первыхъ инкто не спрашивалъ, вто-

рыхъ не было: общество было для нихъ еще слишкомъ молодо, неразвито и безсознательно. Спорили о фразахъ, хлонотали о правильности и чистотъ языка, и вев вопросы заключались въ стилистикъ. Во всемъ остальномъ дъло ило о томъ, чтобы педантическую, школьную литературу сдълать свътскою, общественною и общительною, равно привлекательною и для кабинетнаго труженика, и для дълового человъка, и для свътскаго щеголя и свътской дамы. И Карамзинъ это сделаль не теоріями, не спорами, а образчиками сочиненій, которыхъ требовалъ духъ времени. Онъ былъ знакомъ хорошо и съ французской, и съ нѣмецкой, и съ англійской литературами, но ихъ вліяніе на него было больше внѣшнее, нежели внутрениее. Иден XVIII вѣка не волновали его, --- по крайней мёрё, этого не замётно въ его сочиненіяхъ. Фонвизинъ, предшественникъ Карамзина, гораздо больше его быль сыномъ своего въка. Карамзинъ занялъ у XVIII въка только сентиментальное направление и обожание природы, которую называль онъ Натурою, тоже сентиментальное, но не пантенстическое; о любви п всёхъ сердечныхъ склонностяхъ говорилъ онъ какъ будто съ голоса Руссо, но въ сущности смотрелъ на нихъ не больше, какъ на извинительныя слабости человъческаго естества. Вотъ все, чъмъ ограничилось вліяніе на него віка. Но чрезъ двадцать пять льть явились уже другія потребности, явилось стремленіе къ сознанію, къ изследованію, къ анализу. Захотили узнать, что такое Шекспиръ и Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шпллеръ, что такое Востокъ и классическая древность, что такое философія, политическая экономія и т. д., и все это свели на вопросъ о классицизмъ и романтизмѣ, или, по крайней мѣрѣ, кстати и некстати все это привязали къ нему.

Всѣ новыя иден, возникшія въ Европѣ въ началъ XIX въка, смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались въ ней. Это было время, когда хотёли ломать и строить, но на половинъ ломки останавливались, чтобы сдълать новую надстройку, а на половинъ стройки останавливались, чтобы кончить по-старому. Это была эпоха чисто переходная. И "Телеграфъ", върный своему названію, быль полнымь представителемъ этой эпохи. Въ немъ было много силы, энергін, жару, стремленія, безпокойства, тревожности: онъ неусыпно следилъ за всеми движеніями умственнаго развитія въ Европ'є и тотчась же передаваль ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятін; но вм'єсть съ тымь все въ немъ было неопредъленно, часто смутно, а иногда и противортчиво. Это давало полную возможность придираться къ нему людямъ, стоявшимъ внѣ умственнаго движенія своей эпохи. И они пешутя считали себя неизмъримо выше Полевого, и съ важностію довили и высчитывали его обмолвки, промахи, ошпоки, не понимая, что ихъ преимущество надъ нимъ состояло только въ томъ, что они спали, а онъ жилъ и дъйствоваль: кто спить, тотъ, разумъется, не гръшить, особенно, если спить такъ крѣпко, что и во спѣ ничего не видитъ... Они гордо

величали его то самоучкою, то недоучкою и на основанін его ошибокъ (а часто и того, что только имъ казалось ошибками, т. е. чего они не въ состоянін были понять) доказывали, что онъ — нев'жда и шарлатанъ.

Правда, онъ учился самоучкою, и то, что другимъ давалось безъ труда, досталось ему страшными усиліями; по если этотъ путь къ знанію не могъ не повредить Полевому, болъе или менъе разладивши его съ систематичностію и методою, зато и принесъ ему большую пользу: спасъ его отъ школьныхъ предразсудковъ, отъ педантизма и образовалъ изъ него публициста, которому нужно имъть дъло не съ аудиторіею, а съ обществомъ. Его все интересовало, ко всему влекло, и онъ учился съ жаромъ, съ упорствомъ, съ настойчивостію; но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія, при житейскихъ заботахъ, при изданія журнала, естественно, не допустила его углубиться въ какой-нибудь исключительный предметь, сдѣ-латься ученымъ. Неопредѣленность идей (свойство той эпохи) и поверхность многосторонняго знанія (результать энциклопедического направленія и самообразованія) отзывались во многомъ, что писаль онъ, особенно въ его философскихъ воззръніяхъ: но онъ равно былъ чуждъ и невъжества, и шарлатанства, въ которыхъ его обвиняли противники. Натура живая и воспрінмчивая, онъ страстно увлекался встми современными идеями, и его можно было обвинять только въ томъ, что онъ часто понималь ихъ по-своему, но не въ томъ, чтобы онъ говорилъ о нихъ, не понимая ихъ. Журналистъ и беллетристъ по призванію, челов'єкъ практическій по своей природі, онъ всегда быль ясенъ и опредълененъ, когда не бросался въ теорію, но говориль просто, какъ человікь со вкусомъ, съ здравымъ смысломъ и съ образованиемъ. Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямого источника, недоступнаго для диллетантовъ и любителей философіи, а изъ популярныхъ лекцій Кузена, -- и его главная ошибка туть состояла въ томъ, что этого беллетриста философіи онъ приняль за главу философического движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ. Даже и въ этомъ отношенін, можетъ быть, составляющемъ самую слабую сторону образованія Полевого, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремнвшейся, ничего не оставившей безъ вниманія. Вмѣстѣ съ нимъ много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потомъ называвшихъ себя "учеными"; вст они были противъ него одного; но что же сделали они, или что они делають теперь?.. Гдъ свершение тъхъ надеждъ, которыя они подавали?.. Черезъ два года послѣ "Московскаго Телеграфа" явился "Московскій Въстникъ", за нимъ "Атеней" и "Галатея"; даже дряхлый "Въстникъ Европы" оживился, ударился въ ожесточенную полемику, схватился за теорію и даже философію; потомъ вей они соединились въ "Телескопи", чтобы сильнъе ударить на своего общаго врага; но онв

могли только поднять его своими нападками, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для публики...

Сначала въ "Телеграфъ" принимали участіе, хотя и небольшое, даже Жуковскій и Пушкинъ, и весьма значительное участіе принималь въ немъ князь Вяземскій. Но вскор'в участь этого журнала стала зависьть только отъ дъятельности и таланта его издателя, постоянно вспомоществуемаго только своимъ братомъ, К. А. Полевымъ; но журналъ отъ этого не упаль, а годь отъ году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже двѣ важныя ошибки его издателя. Первая изъ нихъ былапримирение съ однимъ петербургскимъ журналомъ и одною петербургскою газетою, послѣ продолжительной и постоянной войны съ ними. Такъ какъ эта война дѣлала особенную честь "Телеграфу", то примирение не могло не окомпрометировать его. Эта важная ошибка была следствіемъ другой, еще важивищей. Въ 1829 году Полевой напечаталъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ "Исторін Государства Россійскаго". Статья была превосходно написана, мера заслугъ Карамзина оценена въ ней была върно, безпристрастно, съ полпымь уваженіемь къ имени знаменитаго писателя. Но чрезъ ивсколько мвсяцевъ явилось въ "Телеграфъ" объявленіе о скоромъ выходъ "Исторін Русскаго Народа". Тогда поднялась противъ Йолевого страшная буря: его статья объ исторін Карамзина объяснялась его противниками, какъ предисловіе къ объявленію о подпискъ на собственную исторію. Но всѣ эти вопли Полевому легко было сделать ничтожными и обратить къ собственной чести и къ предосужденію своихъ противниковъ: ему стоило только всегда сохранять тонъ должнаго уваженія къ Карамзину, даже доказывая его ошибки; но онъ не вытеривлъ-и досаду на своихъ противниковъ сталъ вымѣщать на исторіи Карамзина. "Исторія Русскаго Народа" явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была исторія, а въ другомъ довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отведено ровно по полустраницъ... Пожалъемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературъ и общественному образованію великія заслуги; но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродътелью...

Къ этой же эпохъ "Телеграфа" относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя, съ его статьями, многоглаголивыми, широковъщательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ, подъ фирмою ратованія за новое, скрывались отсталость и страшная ограниченность въ понятіяхъ... Но "Телеграфъ" вынесъ и этотъ сильный ударъ, имъ же самимъ нанесенный себъ: несмотря на все это, онъ не падаль, а улучшался. Причина этого заключалась въ личности его издателя. Онъ быль литераторомь, журналистомь и публицистомь не по случаю, не изъ расчета, не отъ нечего дъмать, не но самолюбію, а по страсти, по призванію. Онъ никогда не неглижироваль изданіемь своего журнала, каждую книжку его издавалъ съ тщаніемъ, обдуманно, не жалѣя ни труда, ни издер-

жекъ. И при этомъ онъ владель тайною журнальнаго дела, быль одарень для него страшною способностію. Онъ постигь вполив значеніе журнала, какъ зеркала современности, но "современное" и "кстати" были въ рукахъ его поистинъ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о прівздв Гумбольдта въ Россію, онь помѣщаеть статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираеть ли какая-нибудь европейская знаменитость, —въ "Телеграфъ" тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэть, то критическая одінка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ деятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущею новостію, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. Поэтому "Телеграфъ" совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т. е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостію... И потому, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать положительно, что "Московскій Телеграфъ" былъ ръшительно лучшимъ журналомъ въ Россіи отъ начала журналистики.

Въ 1832, 1833 и 1834 годахъ "Телеграфъ", нисколько не ослабѣвая ни въ энергін, ни въ разнообразіи, ни въ достоинствъ, тъмъ не менъе быль уже въ своей апогев, даже на поворотв съ нея. Онъ сдёлалъ свое дёло и, попрежнему хлопоча о движеній впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, наперекоръ самому себъ, началь принимать характеръ косненія. Въ эти три года были напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полевого сочиненій Державина, Жуковскаго, Пушкина и повъсти: "Блаженство Безумія", "Живописецъ", "Эмма". Въ тѣхъ и другихъ Полевой высказался внолнѣ; въ тѣхъ и другихъ внолнѣ выказались уголь его зрвнія, сгибь его ума, характеръ его образованія, равно, какъ вполнѣ отразилась его эпоха, съ ея живою д'ятельностію, безпокойнымъ, тревожнымъ движеніемъ, заносчивостію, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убъжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунімецкими идеями, съ поверхностію и неопредёленностію въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вм'єсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами и туманными фразами вмѣсто теоріи, съ смілостію, отватаю, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повъстяхъ Полевой какъ бы посившиль представить результать своей журнальной деятельности, разомъ целостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ говорилъ ивсколько лётъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствоваль, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ пашей литературъ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное, -- и торошился высказаться вполнъ и опредъленно. А новое между темь действительно возникало, — и Иолевой отступиль оть Пушкина, какъ оть отсталаго поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшаго великія надежды, началъ становиться дъйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же

разу не понять онъ Гоголя и, по искреннему убъжденію, павсегда остался при этомъ непониманіп...

Съ прекращеніемъ "Телеграфа" поприще Полевого, какъ журналиста, было кончено, и ему слъдовало ограничиться такъ называемыми солидными трудами-доканчивать свою исторію, писать и издавать книги... Но что прикажете делать съ неугомонною журнальною натурою? Быть столько времени и съ такимъ успъхомъ первымъ голосомъ въ журналистикъ — и слышать новые, дотолъ безвъстные голоса, которые поють уже совстмы другую пъсню, - на это у него недостало силы резиньироваться. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходился съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался - было за редакцію новыхъ — и только доказывалъ этимъ, что время его прошло невозвратно... При этомъ, естественно, не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикою, выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонъ... Но довольно объ этомъ: заслуги Полевого такъ велики, что при мысли о нихъ нътъ ни охоты, ни силы распространяться о его ошнбкахъ...

0 его драмахъ мы ничего не скажемъ, кромъ того, что онъ доказывають его удивительную способность быть всёмь въ области беллетристики и во всемъ действовать съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Возьмись онъ за нихъ въ началѣ, а не въ концъ своего поприща, и онъ, можетъ быть, умножили бы его права на общую признательность... Повъсти его потому именно имъютъ свое относительное достоинство, что явились во-время. Не долго нравились онъ, но правились сильно, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ быль въренъ себъ, и для него онъ были только особенною отъ журнальныхъ статей формою для развитія тёхъ же тенденцій, которыя развиваль онь и въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. То же должно сказать и о его романахъ, изъ которыхъ "Клятва при Гробъ Господнемъ" отличается мъстами замъчательнымъ умёніемъ пользоваться историческими источниками для романическихъ сценъ и картинъ.

Въренъ былъ онъ себъ и въ своей "Исторіи Русскаго Народа": какъ во всемъ, что ни писалъ онъ, и въ ней былъ онъ журналистомъ, а не историкомъ. Въ этомъ ея слабая сторона, по въ этомъ и ея относительныя достоинства. Онъ взялся за нее не по приказанію, однако-жъ и не изъ расчета, какъ утверждали это его противники, а по страстному влеченію своей журнальной натуры — все представлять въ новомъ видѣ, ко всему прилагать новыя иден. Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ его головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприложимъ къ русской исторіи. Это значило вовсе не понять русской исторіи, и не нужно говорить, что изъ этого вышло. Истина взяла наконецъ свое, и послъдніе томы "Исторіи Русскаго Народа" уже очень похожи на "Исторію Государства Россійскаго"... Конечно, нельзя сказать, чтобы въ пер-

вой не было ничего дёльнымъ образомъ новаго, по въ сущности исторія Полевого только возвысила исторію Карамзина... Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая изъ хорошаго источника, ошибка человѣка умнаго и даровитаго, думавшаго быть дальше своей эпохи, но на дѣлѣ бывшаго только однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ ея выраженій... Внослѣдствін Полевой написалъ русскую исторію для дѣтей: это былъ трудъ простой, безъ претензій, и потому очень дѣльный и полезный, отличавшійся даже ясностію и картинностію историческаго изложенія.

Полевой родился въ купеческомъ семействѣ и готовился быть купцомъ. Ему было около двадцати лѣтъ отъ роду, когда рѣнился онъ учиться и образоваться. Отець его, человъкъ стараго времени, неблагосклонно смотрёлъ на его любовь къ кнпгамъ, и Полевой занимался ими тайкомъ. Кончивъ днемъ дёла свои по торговлё, ночью, вмёсто того, чтобы спать, принимался онъ за ученье. Не всегда могъ доставать онъ для этого огарокъ свфчи, потому что отець его запретиль ему сидіть по ночамъ. Не было свѣчи-онъ пользовался луннымъ свётомъ; доставалъ свёчу-и затыкалъ щели своей комнаты, чтобы предательскій свѣть огня не бросился въ глаза отцу. Въ такихъ страшныхъ, разрушительныхъ для здоровья трудахъ провелъ онъ три года. Въ это время написалъ онъ статью о проезде императора Александра черезъ Курскъ п посладъ ее въ "Московскія Вѣдомости". Статья обратила на себя вниманіе курскаго губернатора, который захотёль познакомиться съ молодымъ авторомъ. Это живо затронуло самолюбіе старика-отца, и онъ позволилъ своему сыну заниматься книгами. У пьянаго дьячка началь Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенною намятью, для начала выучиль напзусть цёлый французскій лексиконъ... Эта неудержимая страсть къ ученію, эта страшная сила воли въ достижении цёли и преодолении препятствий достаточно доказывають, что Полевой не быль человъкомъ обыкновеннымъ. Почти двадцати двухъ лътъ началъ онъ самоучкою учиться русской грамматикъ: это было около 1818 года, а въ 1825 году, т. е. чрезъ семь лътъ, Полевой былъ издателемъ лучшаго журнала въ Россіи... Такіе люди не часто являются, и гораздо легче попасть въ доктора всьхъ возможныхъ наукъ, нежели сравниться съ

Заключаемъ. Предлагаемая статья не есть ни памфлетъ, ни панегирикъ; мы старались безъ преувеличенія оцфинть заслуги одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, не скрывая слабыхъ сторопъ его литературной дѣятельности, но смотря на нихъ sine ira et studio. Пустъ судитъ читатель, до какой степени усиѣли мы въ этомъ. Явится много толковъ о Полевомъ: одни будутъ безъ мѣры превозносить, другіе безъ мѣры унижать его, тѣ провозгласятъ его великимъ ученымъ, другіе—великимъ романистомъ и нувеллистомъ, третън,—чего добраго—великимъ драма-

тургомъ; но едва ли кто-нибудь признаетъ его тёмъ, чёмъ онъ въ самомъ дёлё быль замёчателенъ... Такъ думаемъ мы, хорошо зная современную литературу и ея дѣятелей... Дай Богъ, чтобы мы ошиблись въ этомъ; но во всякомъ случаё смёемъ думать, что голосъ нашъ, упредившій другія су-

жденія, пе будеть безполезень для тёхь, которые возьмутся судить о Полевомъ...

[Николай Алексъевичъ Полевой, сочинение В. Вълинскаго. СПБ. 1846, 55 стр.].

МЫСЛИ И ЗАМЪТКИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЪ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случай ея значеніе для насъ гораздо важніве, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ей, вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферіс перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществъ преобладаетъ духъ разъединенія; у каждаго нашего сословія все свое особенное--и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стонть только провести вечерь, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студенть, семинаристь, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществъ, вы можете подумать, что присутствуете при раздъленіи языковъ... Такъ велико разъединеніе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ разъединенія враждебень обществу: общество соединяеть людей, каста разъединяеть ихъ. Многіе думають, что спісь, остатокъ славянской старины, уничтожаеть у насъ соціабельность (sociabilité). Если это и справедливо, то развъ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходится съ людьми низшаго званія; но люди низшихъ званій чъмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бъда въ томъ, что это сближение всегда бываеть вившнимъ, формальнымъ, нохожимъ на шаночное знакомство; самолюбію богатаго купца льстить знакомство даже съ беднымъ дворяниномъ, но перезнакомпвшись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается въренъ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, т. е. кунеческаго, званія. Этотъ духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дёль, основаннаго Истромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенные оттынки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походять, если иногда почти то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?.. У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вфриыми благородной решимости не понимать, что такое искусство и зачёмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозръвають живой связи ихъ искусства съ наукою, съ литературою, съ жизнію. И потому сведите такого ученаго съ такимъ художникомъ, —и вы

увидите, что они будуть или молчать, или нерекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будуть не разговоромъ, а работою. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятиль себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ проническою улыбкою на философію и исторію и па тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику смотрить, просто какъ на вздоръ. Такъ называемый нашъ "словесникъ" съ презрѣніемъ смотрить на математику, которая не далась ему въ школъ. Скажуть: все это не духь разъединенія, а духь полупросвъщенія или полуобразованности. Такъ! но вёдь всё эти люди получили первоначальное образованіе, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школъ математикъ, а математикъ-словесности. Многіе изъ нихъ даже очень хорошо разсуждають, при случай, о томъ, что существуетъ только искусственное разделение наукъ, а существеннаго истъ н быть не можеть, потому что всё науки составляють одно знаніе объ одномъ предметѣ — о бытін; что искусство также, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формв, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всёхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя разсужденія придется имъ приложить къ дълу, тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые посматриваютъ другъ на друга или съ и которою проническою улыбкою и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какоюто недовърчивостью... Какъ же тутъ требовать соціабельности между людьми различныхъ сословій, нзъ которыхъ каждое по-своему и думаетъ, и говорить, и одевается, и есть, и иьеть?..

И однако-жъ, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомнънно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стенъ, отделявшихъ въ старомъ обществъ одинъ классъ отъ другого; но она подкопалась подъ основание этихъ стънъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ, — и теперь со дня на день онъ все болъе и болфе клонятся, обсыпаются и засынаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ что починять ихъ значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинъ подрытаго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбѣжное, паденіе. И если теперь, разделенныя этими стенами, сословія не могуть переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могуть перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдъ онъ особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде делалось медленно и незамътно, теперь дълается быстръе н замітніве, —и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдълается. Желъзныя дороги пройдугъ и подъ стънами, и черезъ стъны, гуннелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онъ переплетуть интересы людей всъхъ сословій и классовъ и заставять ихъ вступить между собою въ тъ живыя и тъсныя отношенія, которыя невольно сглаживають всё рёзкія и ненужныя раз-

Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежить исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, силоченное въ одну массу только одними матеріальными интересами, было бы жалкимъ и нечеловъческимъ обществомъ. Какъ бы ни были велики внѣшнее благоденствіе и вившиля сила какого-нибудь общества, --- но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, жельзныя дороги и вообще всь матеріальныя движущія силы составляють первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвъщенію и образованію, — то едва ли можно позавидовать такому обществу... Въ этомъ отношенін памъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просв'ящение и образование потекло у насъ вначалъ ручейкомъ мелкимъ и едва замътнымъ, но зато изъ высшаго и благороднейшаго источника-изъ самой науки и литературы. Наука у насъ теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образование только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листъ его мелокъ и редокъ, стволъ не высокъ и не толсть, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурь, никакому потоку, никакой сник: вырубите этоть иксокъ въ одномъ мкстк,корень дасть отпрыски въ другомъ, и вы скорте устанете вырубать, нежели устанеть онъ давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ усивхахъ нашей литературы, потому что наше образование есть непосредственное дъйствіе нашей литературы на понятія и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько покольній, рызко отличающихся одно отъ другого, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго митнія и произвела нъчто вродъ особеннаго класса въ обществъ, который отъ обыкновеннаго средняго сословія отличается тімь, что состоить не изь купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собою черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературъ.

Если хотите понять и оцфинть вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на предста-

вителей ся различных эпсхъ, поговорите съ ними или заставьте ихъ поговорить между собою. Литература наша такъ молода, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществъ всёхъ ея представителей. Первое замічательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ разм'вромъ, Ломоносова "Ода на взятіе Хотина", явилось въ 1739 году, ровно 107 леть тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 летъ тому назадъ. Теперь, конечно, нътъ уже людей, которые видъли бы Ломоносова хотя въ дътствъ ихъ, или, видъвши его, могли бы помнить объ этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу, и которые и теперь считають его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помиять лицо н голосъ Державина и эпоху его полной славы считають лучшимъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убъждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэть Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ поколіній къ таланту творца "Россіады" и "Владиміра"? Есть еще много стариковъ, которые съ умиленіемъ вспоминають о трагедіяхъ Сумарокова и, при споръ, готовы наизусть продекламировать лучшія, по ихъ мивнію, тирады изъ "Димитрія Самозванца". Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова действительно очень устарыть, укажуть вамь съ особеннымъ уваженіемъ на трагедін и комедін Княжнина, какъ на образецъ драматическаго паооса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковъ и Княжнинъ, но тъмъ съ большимъ жаромъ и съ большею уверенностію заговорять объ Озеровъ. Что же касается до Карамзина, — не только старыя, но и старфющія покольнія беззавьтно принадлежать ему душою в тъломъ, чувствують, думають и живуть его духомъ, несмотря на то, что они не только читали Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибовдова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всеми имн болъе или менъе... Потомъ, есть теперь люди, которые пронически улыбаются при имени Пушкина н съ благогов вніемъ н восторгомъ говорять о Жуковскомъ, какъ будто уважение къ послъднему несовмъстно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдывають свое предубъждение насчеть его тъмъ, что они понимають Пушкина!.. Но не думайте, чтобы все это были чисто литературные факты: нътъ, если вы внимательнъе присмотритесь и прислушаетесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества,—вы не можете не замътить болъс или менье живого отношенія между ихъ литературными и ихъ житейскими поиятіями и убъжденіями. Что же касается собственно до литературнаго ихъ образованія, -- это люди, раздѣленные другь отъ друга какъ будто столътіями, потому что наша литера-

тура съ небольшимъ во сто лѣтъ пробѣжала разстояніе не одного віжа. И потому была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эшическихъ поэмъ, — и обществомъ, которое ходило илакать на Лизинъ прудъ; между обществомъ, которое жадно читало "Людмилу" и "Свътлану", упивалось фантастическими ужасами "Двенадцати Сиящихъ Дъвъ" или ивжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки "Эоловой Арфы", — и между обществомъ, которое для "Евгенія Онтгина" забыло и "Кавказскаго Ильника", и "Бахчисарайскій Фонтань", для "Горя оть Ума"—комедін Фонвизина, для "Бориса Го-дунова"— "Димитрія Донского" Озерова (какъ ивкогда для последняго забыло оно "Димитрія Самозванца" Сумарокова), а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ будто охолодело къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всёхъ романистовъ и нувеллистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось... Подумайте только, какое неизміримое пространство времени легло между "Иваномъ Выжигинымъ, который вышель въ 1829 году, и между "Мертвыми Душами", которыя вышли въ 1842 году... Это различіе литературнаго образованія общества нерешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дъйствующія, мыслящія и убъжденныя покольнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являють собою признаки возникающей и развивающейся въ обществъ духовной жизни. И это великое дёло есть дёло нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ правственныхъ идей. Она началась сатирою и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невъжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедъ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала въ старомъ обществъ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни быль таланть Сумарокова, но его сатирическія нападки на "крапивное стмя" всегда будуть заслуживать почетнаго упоминовенія оть историка русской литературы. Комедін Фонвизина были еще болье заслугою предъ обществомъ, нежели предъ литературою. Отчасти то же можно сказать н объ "Ябедь" Капинста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзін. Самъ Державинь, поэть по преимуществу лирическій, быль въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ, напримѣръ, въ "Фелица", "Вельможа" и другихъ піесахъ. Наконецъ, пришло время, когда въ нашей литературъ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведении житейской дъйствительности. Конечно, смъшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, пов'ясть или романъ могли исправить порочнаго человъка; но нътъ сомнинія, что они, открывая глаза обществу на самого же его, способствуя пробуждению его самосознанія, покрывають порочнаго презрівніемъ и позоромъ.

Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя и его "Ревизора" называють "безиравственнымъ" сочиненіемъ, которое следовало бы запретить. Равнымъ образомъ, теперь уже инкто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или пов'єсть можетъ взяточника сділать честнымь человікомь, -- ніть, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстило, не сделаень прямымъ; но вёдь у взяточниковъ также бывають діти, какъ и у невзяточниковь: ті и другія, еще не им'я причинъ считать безиравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безилодными въ ихъ последующей жизии, когда они делаются действительными членами общества. Впечатленія юности сильны, и юность то и принимаеть за несомивнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображение и умъ. И вотъ какимъ образомъ дъйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшеніе общества! Какъ бы то ни было, но это факть, не подлежащій никакому сомнінію, что только въ последнее время у насъ начало делаться заметнымъ число людей, которые правственныя убъжденія стараются осуществлять на деле, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положению...

Не менье этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служить у насъ точкою соединенія людей, во встхъ другихъ отношеніяхъ в нутренно разъединенныхъ. Мъщанинъ Ломоносовъ, за свой талантъ и свою ученость, достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускають его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сближаеть его съ людьми бѣдными и ничтожными въ гражданскомъ отношенін. Б'ёдный дворянинъ Державинъ, за свой таланть, самь дёлается вельможею, — имежду людьми. съ которыми солизила его литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій кунецъ Каменевъ, написавшій балладу "Громвалъ". прітхавъ въ Москву по деламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всёмь московскимь литературнымь кругомь. Это было назадъ тому сорокъ лътъ, когда куппы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по деламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплать котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою черезъ общую имъ всёмъ страсть къ литературф. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже нисколько не редкость встратить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣщанинъ, --- кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздёляющія ихъ виёшнія различія и взаимно уважають другь въ другь просто людей. Воть истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературою! Кто изъ имъющихъ право на имя человека не пожелаеть оть всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по

днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, т. е. множествомъ людей, связанныхъ между собою внутренно. Денежные интересы, торговля, акцін, балы, собранія, танцы-тоже связь, но только вившияя, следовательно не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связывають людей общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и, при этомъ, взаимное уваженіе къ своему человъческому достоинству. Но всъ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сихъ поръ и еще долго будетъ сосредоточиваться исключительно въ литературф: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всё челов'єческія чувства и понятія...

повидимому нёть инчего легче, а въ сущности и ттъ ничего трудите, какъ писать о русской литературъ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, —положимъ, младенецъ Алкидъ, —но все же младенець. А о дётяхъ вообще гораздо трудние сказать что-нибудь положительное, опредыленное, нежели о взрослыхъ людяхъ. Притомъ же наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собою зрѣлище всевозможныхъ противоржчій, противоположностей, крайностей, страпностей. Это оттого, что она началась не сама собою, а была сперва пересадкомъ на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому о нашей литературъ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаеть въ богатств и зрилости ни одной европейской литературъ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ геніевъ и сотнями нашихъталантовъ; нли доказывайте, что у насъ вовсе итть литературы, что наши лучшіе писатели — или случайныя явленія, или просто ничего не стоять: въ обонхъ случаяхъ васъ по крайней мёрё поймуть, и ваше инжніе найдеть себ'я жаркихъ посл'ядователей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ — одно изъ свойствъ еще неустановившейся натуры русской; русскій человѣкъ любить или не въ мѣру хвастаться, или не въ мёру скромничать. И потому у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ европейцевъ, которые съ восхищениемъ говорятъ о последней фельетонной сказка вышлеавшагося французскаго беллетриста или съ амфазомъ поютъ новый водевильный куплетъ, давно забытый нарижанами,и съ презрительнымъ равнодушіемъ или съ оскорбительною недовфрчивостью смотрять на геніальное произведеніе русскаго поэта, для которыхъ Россія не имжетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можеть; а съ другой стороны, у насъ такъ много квасныхъ патріотовъ, которые вежин силами натягиваются ненавидъть все европейское-даже просвъщение, и любить все русское — даже сивуху и руконашную дуэль. Пристаньте къ одной изъ этихъ партій, — она сейчасъ же произведеть вась въ великіе люди и въ геніи, тогда какъ другая — возненавидить и объявить бездарнымъ человекомъ. Но во всякомъ случай, имън враговъ, вы будете имъть и друзей. Держась

же безпристрастнаго, трезваго мижнія объ этомъ предметь, - вы возстановите противъ себя объ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презрѣніемъ; другая, пожалуй, объявить вась челов комъ безпокойнымъ, онаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ и будетъ писать на васъ литературныя донесенія—разумфется, публикф... Самое непріятное туть то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумъренныя нохвалы, то неумфренную брань, по не будуть видъть въ нихъ върной характеристики факта дъйствительности, какъ онъ есть, со всфмъ его добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всъми противорѣчіями, которыя онъ носить въ самомъ себъ. Это особенно прилагается къ нашей литературф, которая представляеть собою столько крайностей и противоръчій, что, сказавши о ней чтонибудь утвердительное, тотчась же должно сдёлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можеть показаться отрицаніемъ или противорфчіемъ. Такъ, напримёръ, сказавши о спльномъ и благотворномъ вліянін нашей литературы на общество и, слідовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали большихъ размфровъ, нежели какіе мы разумёли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имфемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смёло можеть стать наравий съ любою европейскою литературою. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведеніями, если брать въ соображеніе ея средства н молодость, —но наша литература существуеть только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и опи имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому что они не могуть черезь нее изучать и узнавать насъ, какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредъленна и безцвътна для того, чтобъ иностранцы могли видъть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себ'в за славу копировать европейскіе образцы, который за картины русской жизни выдаваль копін съ картинъ европейской жизни. И это составляеть характеръ цылой эпохи литературы нашей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдълалась мастеромъ, п вмъсто того, чтобы конировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, простодушно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смёло начала воспроизводить картины и европейской, и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполив мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспашно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ періода нашей литературы отъ Пушкина до Гоголя. Съ появленія Гоголя литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дъйствительности. Можетъ быть, черезъ это она сдълалась болже одно-

Ъ

Ы

3a

110

eñ

Rin

стороннею и даже однообразною, зато и болже оригинальною, самобытною, а следовательно и истинною. Теперь взгляпемъ на эти періоды русской литературы въ отношени къ ихъ значению не для насъ, а для иностранцевъ. Ифтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имфютъ для насъ великое значеніе; но попробуйте перевести ихъ сочиненія на любой европейскій языкъ,и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтуть, то много ли найдуть въ нихъ интереснаго для себя. Они скажуть: "мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ русскихъ писателей". То же бы самое сказали они и о сочиненіяхъ Дмитріева, Озерова, Ватюшкова, Жуковскаго. Изо всего этого періода быль бы имъ интересенъ только одинъ писатель — баснописецъ Крыловъ; но онъ ръшительно непереводимъ ни на какой языкъ въ мірф, и его могуть оцфинть только ть изъ иностранцевъ, которые знають русскій языкъ и долго жили въ Россіи. Итакъ, цёлый періодъ русской литературы ръшительно не существуеть для Европы. Что же касается до второго, —онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ извъстной степени. Если бы такія произведенія Пушкина, какъ, напримѣръ, "Моцартъ н Сальери", "Скупой Рыцарь", "Каменный Гость", были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскій языкъ, иностранцы пе могли бы не признавать ихъ превосходными созданіями поэзін, но тімь не меніве эти піесы не им'єли бы для нихъ почти никакого витереса, какъ созданія русской поэзін. То же можно сказать и о лучшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хороши были переводы ихъ сочиненій. Причина очевидна: хотя въ твореніяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскій умь, сила и глубокость чувства, однако-жъ эти качества видите намъ, русскимъ, нежели пностранцамъ, потому что русская національность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскій поэть могь налагать на свон произведенія ея разкую печать, выражая въ нихъ общечеловъческія иден. А требованія европейцевъ въ этомъ отношенін велики. И не мудрено: паціональный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытно и разко отражается въ ихъ литературахъ, что, какъ бы ни было велико, въ художественномъ отношенін, произведеніе, не запечатлѣнное резкою печатью національности, — оно ужъ теряеть въ глазахъ европейца главное свое достоинство. Въ какомъ-нибудь Марріеть, Бульверь или еще меньше значительномъ беллетристъ англійскомъ вы такъ же точно видите англичанина, какъ и въ Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ. Жоржъ-Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собою крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаеть собою все прекрасное, человъческое и высокое, а последній — ограниченное и пошлое французской національности, —однако вы сейчась видите, что оба они равно могли явиться только во Францін. Какой-нибудь Клауренъ или Августь Лафонтенъ такъ же нѣмцы, какъ Гёте и Шиллеръ.

Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую пли слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штемпель, лежить тамъ какъ на произведенін генія, такъ и на произведенін бездарнаго писаки. Французы оставались въ высшей степени національными, изо всёхъ силъ подражая грекамъ и римлянамъ. Виландъ остался ифмцемъ, подражая французамъ. Барьеры національности непереходимы для европейцевъ. Можетъ быть, это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всё національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся, въ своихъ произведеніяхъ, и греками, и римлянами, и французами, и нѣмцами, и англичанами, и итальянцами, и испанцами; но эта выгода-въ будущемъ, какъ указаніе на то, что наша національность должна выработаться широко и многостороние. Въ настоящемъ же это пока скоръе недостатокъ, чъмъ достоинство, не столько шпрокость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредёленность своего собственнаго личнаго начала.

И потому для иностранцевъ интереснъе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержание взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ "Евгеній Онътинъ" быль бы для иностранцевъ интересиъе "Модарта и Сальери", "Скупого Рыцаря" и "Каменнаго Гостя". И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэть есть Гоголь. Это не предположеніе, а факть, доказанный замічательнымъ успъхомъ во Франціи перевода пяти повъстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Нарижѣ г. Лун Віардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромъ огромности своего художническаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дійствительности. А это-то всего и интереснъе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ страною, которая произвела его. Въ этомъ отношенін Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинъ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводъ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

Но и этимъ усибхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочеть, чтобъ геній его быль признанъ вездъ н всъми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіє: необходимо еще, чтобъ, будучи національнымъ, онъ въ то же время быль и всемірнымъ, т. е. чтобы національность его твореній была формою, теломъ, плотью, физіономією, личностію духовнаго и безплотнаго міра, общечеловъческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобы національный поэть имиль великое историческое значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе им'єло всемірно-историческое значеніе. Такіе поэты могуть являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человъчества всемірно-историческую роль, т. е. своею напіональною жизнію им'єть вліяніе на ходъ и развитіе всего челов'вчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы нельзя быть всемірно-историческимь поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-псторическимъ поэтомъ, т. е. имъть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависить уже не оть него самого, не отъ его деятельности, направленія, генія, но оть значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрвнія, у насъ пвть ни одного поэта, котораго мы имълн бы право ставить наравић съ первыми поэтами Европы, —даже и въ такомъ случав, если бы мы ясно видвли, что, со стороны таланта, онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Піесы Пушкина: "Моцартъ и Сальери", "Скупой Рыцарь" и "Каменный Гость" такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онъ достойны генія самого Шекспира; но изъ этого отнюдь не следуеть, чтобъ Пушкинъ быль равень Шекспиру. Не говоря уже о томь, что есть большая разница въ силъ и объемъ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина, —если бы Пушкинъ написалъ столько же и въ такой же мъръ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смълою гипотезою. Тъмъ болъе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бъдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ произведеній Шекспира. Вообще ны скорве можемъ сказать, что въ нашей литературф есть нфсколько произведеній, которыя мы можемь, по ихъ художественному достоинству, противопоставлять накоторымъ геніальнымъ произведеніямъ европейскихъ литературъ; но мы не можемъ сказать, чтобъ у насъ были поэты, которыхъ мы могли бы противопоставлять европейскимъ поэтамъ первой величины. Есть глубокій смыслъ въ томъ, что мы пуждаемся въ знакомствъ съ великими поэтами иностранныхъ литературъ, и что иностранцы не нуждаются въ знакомствъ съ нашими. Отношение нашихъ великихъ поэтовъ къ великимъ поэтамъ Европы можно выразить такъ: о нъкоторыхъ піесахъ Пушкина можно сказать, что самъ Шекспиръ не постыдился бы назвать ихъ своими, также какъ нѣкоторыя піесы Лермонтова самъ Байронъ не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть въ нелъпость, нельзя сказать наобороть, что подъ некоторыми сочиненіями Шекспира и Байрона Пушкинъ и Лермонтовъ не постыдились бы подписать своего имени. Мы можемъ называть нашихъ поэтовъ Шекспирами, Байронами, Вальтеръ-Скоттами, Гёте, Шиллерами и проч., только для показанія силы или направленія ихъ таланта, но не ихъ значенія въ глазахъ всего образованнаго міра. Кого называють не своимь именемъ, тотъ не можетъ быть равенъ тому, чымъ именемъ его называють. Байронъ явился послѣ Гёте и Шиллера—и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ Гёте или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россін придетъ время производить поэтовъ всемірнаго значенія, -- этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому что будетъ типическимъ.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можеть, въ настоящее время, достигать равнаго съ нимъ значенія, —мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можеть соперничествовать съ нимъ только въ форм в, но не въ содержанін своей поэзін. Содержаніе даеть поэту жизнь его народа, -- следовательно, достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависять прямо и непосредственно не отъ самого поэта и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только сто тридцать шесть летъ прошло съ того вечно памятнаго дня, какъ Россія громами полтавской битвы возв'єстила міру о своемъ пріобщенін къ европейской жизни, о своемъ вступленін на поприще всемірно-историческаго существованія, — н какой блестящій путь преуспъннія и славы совершила она въ этотъ короткій срокъ времени! Это что-то баснословновеликое, безпримърное, нигдъ и никогда не бывалое! Россія ръшила судьбы современнаго міра, "поваливъ въ бездну тяготфвшій надъ царствами кумпръ", и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мъсто между первоклассными державами Европы, она, вмъсть съ ними, держить судьбы міра на въсахъ своего могущества.... Но это показываеть, что мы ин отъ кого не отстали, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи важной, но еще не единственной, не исключительной сторонъ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнівный залогь нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но въ одномъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всёхъ сторонь, долженствующихъ составлять полноту и целость жизни великаго народа. Въ будущемъ мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на въсы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будуть у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имъть право равнять съ европейскими поэтами первой величины. Но теперь будемъ довольны темъ, что есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чёмъ владе́емъ. По времени наша литература оказала огромные усивхи, свидетельствующие несомитино о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинаеть интересовать даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно одностороненъ, потому что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы могуть находить для себя только мъстный колорить, живопись нравовъ и обычаевъ столь рѣзко противоположной имъ страны...

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто бы, равнодущіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературъ; то на критиковъ, будто бы, старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія: между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неутомимые защитники нашей литературы, скромно величающие себя "патріотами" и "правдолюбами", больше всего жалуются на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но факты говорять совствы другое: изъ нихъ ясно, какъ дважды два-четыре, что у насъ хорошо расходятся даже сколько-нибудь порядочныя книги, не говоря уже о превосходныхъ. "Героя нашего времени", въ продолжение шести лѣтъ, разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуется третье изданіе, несмотря на то, что они вев были первопачально напечатаны въ журналахъ; "Вечера на Хуторъ". Гоголя нечатались едва ли не четыре раза; "Ревизора" разошлось три изданія; второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; "Мертвыя Души", напечатанныя въ 1842 году, въ числѣ двухъ тысячъ четырехсотъ экземиляровъ, давно расхватаны до послёдняго экземиляра. Даже повъсти графа Соллогуба, прочитанныя публикою въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; "Тарантасъ", въроятно, тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорять даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатають такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ "правдолюбовъ", жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это доказываетъ только, какъ невыгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазін, эти господа вздумали свалить вину наденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будто бы, ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія стоять одно другого. Обвинители говорять, будто наша литература гибнеть оттого, что въ журналахъ печатаются цёликомъ многотомные романы, исторін и тому подобное. Они даже ув'ьряють, что сама публика не довольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесять рублей въ годъ пріобрѣтать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдёльно, обошлись бы ей чуть ли не впятеро дороже!.. Какъ же послѣ этого публикъ не жаловаться на журналы! Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своимъ чередомъ? Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большомъ количествъ экземпляровъ: журналы вамъ не помъщають. Несмотря на то, что книги и у насъ сделались гораздо дешевле, нежели какъ были онъ лътъ за пятнадцать тому назадъ, когда крошечные альманахи, съренько издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтеръ-Скотта и оригинальные русскіе романы-по двадцати и больше рублей ассигнаціями за экземиляръ, --- несмотря на то, книги у насъ еще и теперь-страшно дорогой то-

варъ. Это, къ несчастію, слишкомъ хорошо знають тъ, кто считаетъ за необходимое имъть въ своей библіотек' сочиненія встул изв'єстных русскихъ инсателей. Только въ прошломъ году вышло изданіе сочиненій Державина, стоящее три рубля серебромъ, -- тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слёдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоить пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковскаго теперь съ трудомъ можно пріобръсти и за пятнадцать рублей серебромъ, потому что изданіе давно разошлось, а новаго все итъ какъ итътъ. Сочинения Пушкина, дурно изданныя, стоять до шестидесяти рублей ассигнаціями. "Мертвыя Души" Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новомъ изданін даже и не слышно. Какъ же процватать книжной торговай, когда публики печего покупать, при всей ея охотъ покупать? Скажуть: у насъ есть книгопродавцы-издатели, которые, вмёсто того, чтобы наживаться, только разоряются отъ изданія книгъ. Такъ; но многіе ли изъ этихъ книгопродавцевъ знаютъ толкъ въ товарѣ, которымъ торгують?.. Кто же туть виновать-неужели толстые журналы?..

Конечно, нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совсемъ похожа, напримѣръ, на французскую, въ ея любви къ отечественнымь талантамь и отечественной литературъ. Въ Парижъ вышло новое изданіе (которое счетомъ-и сказать трудно) сочиненій Гюго, въ то самое время, когда Французская академія отказала ему въ званін своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тімь, что въ нісколько дней раскупила все изданіе... У насъ еще невозможны такія явленія. Почти каждый образованный французъ считаетъ пеобходимымъ имъть въ своей сибліотект встать своих писателей, которых общественное митніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ---что гръха танть?---не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имъть старыхъ писателей. И вообще у пасъ всё охотне покупають новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всъхъ громче кричатъ о ихъ геніи и славъ. Это отчасти происходить отъ того, что наше образованіе еще не установилось, и образованныя потребности еще не обратились у насъвъпривычку. Но тугь есть и другая, можеть быть, еще болье существенная причина, которая не только объясняеть, но частію и оправдываеть это правственное явленіе. Французы до сихъпоръ читають, наприм'єрь, Рабле, или Паскаля, писателей XVI и XVII въка: тутъ нътъ ничего удивительнаго, потому что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучають не один французы, но и німцы, и англичане, —словомъ, люди всёхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарълъ, но содержание ихъ сочинений всегда будеть имъть свой живой интересъ, потому что

оно тёсно связано со смысломъ и значеніемъ цёлой исторической эпохи. Это доказываеть ту истину, что только содержаніе, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, несмотря на нам'внение языка, нравовъ и понятій въ обществъ. Туть даже и таланть, какъ бы онъ ни быль великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ быль великій, геніальный человѣкъ; его ученыя сочиненія всегда будуть им'єть свою ціну; но его стихи для насъ могутъ имъть только одинъ интересь-какъ историческій факть рождающейся литературы, а больше никакого. Читать ихъ и скучно, и трудно. На это можно решпться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ геніемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читають теперь, то больше съ цѣлью изученія исторін русской литературы, нежели для прямого эстетического наслажденія. Карамзинъ изъ торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкціи, славяно-церковныхъ реченій и оборотовъ и схоластической надутости выраженія вывель русскій языкь на настоящій и естественный ему путь, заговориль съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу, и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всею охотою и считаемъ для себя не только за долгъ, но и за наслаждение быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не дастъ содержанія "Вѣдной Лизъ", "Натальъ Боярской Дочери", "Марев Посадницв" и проч., не сдвлаеть ихъ интересными для нашего времени и не заставить насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразять: "таково было ихъ время; они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время". Согласны, 'совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусахъ спорить трудно; но если кого изъстарыхъписателей нашихъможно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонвизина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совстмъ не записки и не мемуары. Фонвизинъ былъ необыкновенно умный человъкъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминованной сторонъ своего времени, но смотрътъ больше на его внутреннюю, домашнюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловъ не говоримъ: всъ мы, разъ заучивъ его въ дътствъ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовъ, Державинъ и Карамзинъ многими принято будетъ за flagrant delit злостнаго униженія критикою нашихъ литературныхъ славъ. Въ самомъ дѣлѣ, улика налицо—и намъ нѣтъ спасенія! Но, какъ говоритъ русская пословица, "страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!" Къ счастію, мнѣніе объ униженіи критикою литературныхъ славъ со дня на день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на

долю самихъ же такъ называемыхъ критиковъ, сдълалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извъстностей, падшихъ талантовъ, выписавшихся сочинителей, — орудіемъ, виолит достойнымъ ихъ!.. Кто не хочетъ превозносить ихъ, или, еще болье, кто не хочеть замычать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избитыхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнвній, но хочеть, по своему разумѣнію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оценить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мъсто и значение въ русской литературъ, -- что дълать съ такимъ критикомъ, особенно, если его мижнія находять отзывъ въ публикъ? Вольше нечего съ нимъ дълать, какъ кричать о немъ, сколько можно, громче и чаще, что онъ унижаеть литературныя славы, порочить Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, даже Пушкина!.. Кстати, можно намекнуть, что онъ проповъдуеть безнравственность, развращаетъ молодыя поколенія, что онъ... по крайней мъръ-ренегатъ, если не что-нибудь еще хуже... Это тоже называется "критикою"... Неужели такая критика находить еще себъ послъдователей въ публикъ?.. Какихъ — это другой вопросъ, но что находить, это очень возможно, потому что наша читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между нею есть люди, для которыхъ "Ревизоръ" и "Мертвыя Души"—грубые фарсы, а "Сенсацін госпожи Курдюковой "-остроумнъйшее произведение; есть люди, которые, какъ сказалъ Гоголь, "любятъ потолковать о литературъ, хвалять Булгарина, Пушкина и Греча и говоратъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловъ". Такіе люди, или такіе чтецы (читателями ихъ грѣхъ назвать) въ критикъ видятъ или безусловную похвалу, или безусловную брань; имъ такъ легко понимать такую критику: отъ всякой другой у нихъ закружилась бы голова, потому что имъ пришлось бы думать, что для нихъвсего тяжеле и трудне. Когда является разборъ сочиненій писателя, написанный въ духъ истинной критики, отделяющій въ авторъ безусловныя достоинства отъ условныхъ, недостатки таланта отъ недостатковъ времени, -- такого разбора помянутые чтецы не стануть читать; но имъ скажеть о немъ какой-нибудь присяжный ихъ критикъ, какой-нибудь творецъ всякой всячины, который изо всей мочи хвалить себя да старыхъ писателей, уже не опасныхъ ему, и бранитъ наповалъ все даровитое въ новомъ поколъніи. Этотъ критикъ по-своему разберетъ для своихъ чтецовъ вновь явившійся разборъ, вырветь изъ него по строчкѣ, по слову изъ страницы и воскликиетъ: можно ли такъ унижать заслуженные авторитеты? И чтецы вёрять ему, потому что понимають его: онь говорить имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями, ихъ чувствами, ихъ вкусомъ,-les beaux esprits se rencontrent... Имъ, этимъ чтецамъ, и въголову не входить, что правда не унижаеть таланта, также, какъ и ошибочное мнъніе не вредить ему; что

унизить можно только незаслуженную изв'єстность, и что, следовательно, независимое суждение о литератур'в ни въ какомъ случав не можетъ быть вредно, но часто бываеть полезно. Изобрътатель такой критики увфрить своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что критикъ, при имени котораго онъ не можеть оставаться хладнокровнымь, хвалить только своихъ друзей; а чтецы и вфрятъ печатному: гдф же имъ справляться, что этотъ критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми писателями, которымъ онъ удивляется?-Это дело-частное; и где же имъ сообразить, что онъ еще не родился на свътъ, когда умеръ Ломопосовъ, и не зналъеще грамоты, когда умеръ Державинъ и когда были въ полнотъ своей славы Карамзинъ и Жуковскій, заслугамъ и генію которыхъ онъ отдаетъ нолную справедливость, но только не съ чужого голоса и не безотчетно?-Для соображенія відь нужна способность соображать. Гораздо легче новършть на слово тому, кто повторяеть себъ да и только: хвалить-де все своихъ пріятелей...

Вообще, вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми усивхами въ умственномъ и литературномъ образованін, проглядываеть у нась какая-то незр'влость, какая-то шаткость и неопредёленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сделавшіяся аксіомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствь, — у нась все еще не подвергались сужденію, еще не всёмь изв'єстны. Вы, напримѣръ, не написали никакой книги, а между тымь издаете журналь, пользующійся огромнымъ успфхомъ, — и ваши противники кричатъ, что вашъ журналъ илохъ, потому что вы не написали никакой кипги. Это "потому что" очень оригинально! Да если журналь хорошь, какое вамъ двло до того, написалъ или не написалъ его издатель книгу?-Вы занимаетесь критикою, и хоть настолько успѣшно, чтобы живо затропуть чужія инанія или пристрастія и нажить себа враговъ: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положенія, оспаривать ваши выводы. Нътъ, вмъсто всего этого, они начнутъ вамъ говорить, что, инчего не написавши сами, вы не имъете права критиковать другихъ; что вы молоды, а между тъмъ судите о произведеніяхъ людей, которые уже стары, и т. д. Подобныя выходки хоть кого приведуть въ затруднительное положение, —не потому, чтобы трудно было отвъчать на нихъ, а потому именно, что слишкомъ легко отвъчать на нихъ. Но у кого же достанеть духу опровергать подобныя мижнія, съ важностію доказывать, что можно не быть поваромъ- в върно судить о столь; не быть портнымъ- и безошибочно сказать свое мнтніе о достоинствт или недостаткахъ новаго фрака; такъ же точно, какъ не умъть писать стиховъ, романовъ, повъстей, драмъ-- и быть въ состояни дёльно и здраво судить о чужихъ произведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастрономін имѣть тонкій вкусъ есть своего рода талантъ, -- то темъ более это въ сфере нскусства, и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которыя даже пошлы, потому именно,

что слишкомъ очевидны, какъ, напримъръ, то, что льтомъ тепло, а зимою холодно, что подъ дождемъ можно вымочиться, а передъ огнемъ высущиться. А между тъмъ у пасъ иногда необходимо защищать подобныя истины всею силою логики и діалектики... Но это еще можеть быть только или смішно, или досадно, смотря по расположенію вашего духа: но бывають явленія, отъ которыхъ не захочется смѣяться. Вспомните только, что произведеніе, вѣрно схватывающее какія-нибудь черты общества, считается у насъ часто насквилемъ то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видъла въ дъйствительности только героевъ добродътели да мелодраматическихъ злодбевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобъ ему было широко и просторно жить, готовъ, если-бъ могъ, запретить другимъ жить... Инсаки, во фризовыхъ шипеляхъ, съ небритыми подбородками, иншутъ на-заказъ мелкимъ книгопродавцамъ плохія книжонки, — что-жъ туть худого? Почему инсакт не находить свой кусокъ хлъба, какъ онъ можетъ и умфетъ? -- Но эти писаки портятъ вкусъ публики, унижаютъ литературу и званіе литератора?—Положимъ, такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика.-- Нътъ, намъ этого мало: будь наша воля-мы запретили бы писакамъ писать вздоры, а книгопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходять подобныя мысли?--изъ журналовъ, отъ литераторовъ!.. Между ними есть ужасные запретители: кромъ своихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ. Нѣкоторые и на этомъ не остановились бы, но желали бы запретить продажу всякихъ другихъ товаровъ, даже хлъба и соли, кромъ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій таланть котораго имёль до того сильное вліяніе на всю литературу, что даль ей совершенно новое направление. Его стали порочить. Хотьли увърить публику, что онъ-Поль-де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвъчалъ никому и шелъ себъ впередъ. Публика, въ отношени къ нему, раздвлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была ръшительно противъ него, - что, впрочемъ, нисколько не мешало ей раскупать, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ п большинство публики стало за него: что делать поридателямь? Они начали признавать въ немъ таланть, даже большой, хотя, по нхъ словамъ, идущій не по настоящему пути; но, вмість съ этимъ, стали давать знать, и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляеть почтенное сословіе чиновниковъ, и т. п. Но эти господа хлопочуть совсёмь не о чиновпикахъ, а о самихъ себъ: имъ бы хотълось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не нитя ничего хорошаго, поневолъ принялась за чтеніе ихъ сочиненій и начала бы снова покупать ихъ... И это все печатается, а

публика читаеть, потому что, если бы этого инкто не читаль, то это и не печаталось бы... Всё мивнія находять у нась м'єсто, просторъ, винманіе н даже последователей. Что же это, если не незрелость и не шаткость общественнаго мидиія? Но, со всёмъ этимъ, истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладъвають полемъ этой безпорядочной битвы мненій. Если всякій ложный и пустой, но блестящій таланть непремънно пользуется успъхомъ, то не было еще приивра, чтобъ истинный таланть не быль у насъ признанъ и не получилъ успъха. Ложные авторитеты падаютъ со дня на день. Давно ли слова Марлинскаго-этого жонглера фразы-казались колоссальными?-Теперь о немъ уже и не говорять, не только не хвалять, даже и не бранять его. Такихъ примъровъ можно бы привести много. Все это доказываеть, что и литература, и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, объщающей богатое развитіе въ будущемъ.

Разъ гдё-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели беллетристическихъ произведеній, больше геніевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И дъйствительно, съ нерваго взгляда эта мысль можеть показаться страннымъ парадоксомъ; но тёмъ не менѣе она справединва въ основаніи. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стонтъ только бросить биглый взглядъ на ходъ нашей литературы, отъ ел начала до настоящаго времени. Беллетристъ есть подражатель, онъ живеть чужою мыслію-мыслію генія. Правда, генім перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были ничемъ инымъ, какъ беллетристами, въ отношении къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились писать, заимствовали и форму, и мысли; но въ нашей литературѣ роль ихъ была совсемъ другая. Кантемиръ подражалъ Горацію и Буало, и со всемъ темъ въ русской литературъ быль совершенно оригинальнымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видъли въ немъ генія, и уваженія для потомства, которое видить въ немъ одно изъ замъчательныхъ лицъ нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношении о Ломоносовъ, Державинъ и Фонвизинъ: это были дъйствительно геніальные люди, а второй изъ нихъ даже былъ действительно геніальнымъ поэтомъ. Но н Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ считались въ ихъ время, и даже долго послѣ ихъ смерти, великими поэтами. Сергъй Николаевичъ Глинка—сей почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы — н теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаеть объ этомъ совстмъ иначе, однако-жъ оно не можетъ не согласиться, что и мижніе Сергья Николаевича Глинки и его времени имъетъ свое основание. Первые дъятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размёрахъ, которые уже не существують

для такихъ же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успъховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убъждению его современниковъ, далеко оставиль за собою и баснописца Лафонтена, и трагиковъ Корпеля и Расина и сравнялся съ господиномь Вольтеромь. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Истровъ-Пиндаромъ, Богдановичъ-Зефиръ давалъ ему перо изъ своихъ крылъ, и Амуръ водилъ его рукою, когда онъ писалъ "Душеньку"... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные геніи? Много ли породиль нодражателей самь Державинь? Правда, торжественныхъ одъ было въ тъ блаженныя времена написано и напечатано милліоны; но это оттого, что тысячи рукъ инсали ихъ, и если на каждую руку по одной одъ-такъ ужъ выйдетъ страшный нтогъ. Но много ли дошло до насъ именъ талантливыхъ беллетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, сообщеннымъ нашей литературъ ея первыми геніями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть талантливыхъ подражателей; но много ли было ихъ у Державина! Нъсколько одъ написалъ Дмитріевъ, и немного больше написалъ ихъ Каннистъ-вотъ и все... Оды обоихъ этихъ поэтовъ, по числу,---ничто въ сравненін съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между тёмъ такъ естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образцу; но у насъ это всегда бывало наоборотъ. Макаровъ н Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно последній, действовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шаликовъ и, право, не помнимъ, кто еще: такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковскаго было обшириње: у него и теперь, и всегда можно учиться переводить; стихъ его тоже всегда будеть образцовымъ. Козловъ, г. Ө. Глинка и частію г. Туманскій были отголосками музы Жуковскаго. Геній Пушкина породиль еще болье подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта, и которые въ свое время пользовались огромною извъстностію; по, вст вмъсть взятые, они едва ли написали половину того, что написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написаль не очень много,--и какъ скоро пережили они свой таланть и свою извъстность! И теперь нишутъ многіе; одинъ сходить со сцены, т. е. забывается (это у насъ дълается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всв производять довольно много (по крайней мъръ относительно), но каждый особенно пишетъ очень мало. И притомъ всв претендують на художественность, на творчество, --- пикто не хочетъ быть просто разсказчикомь, сказочникомь, беллетристомъ. Почти всѣ пишутъ на-заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая строчка, каждое слово, каждая запятая; но въ то же время вст пишуть и по вдохновенію. Многіе продають еще не написанныя повъсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разразится повъстью въ годъ-и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удастся написать въ годъ двъ повъсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого у насъ нізть беллетристики, и публикъ нечего читать. Всъ скольконибудь замічательныя произведенія каждаго года (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечесть по пальцамъ. Во Франціи это делается иначе: тамъ иншутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извёстный беллетристъ исписываетъ ежегодно цалые томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что приметь его публика-за генія или просто за талантъ. Тамъ беллетристъ пишетъ гораздо болве, чёмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ-Зандъ написала иного больше, нежели сколько у насъ иншется иногими въ продолжение многихъ лътъ; но кипа сочиненій Жоржъ-Зандъ въ сравненін съ киною сочиненій Ежена Сю или Александра Дюма-то же, что озеро въ сравненін съ моремъ, или море въ сравненін съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется воль, и художнику нужно время обдумать и выносить въ умъ своемъ концепированную имъ мысль... Въ настоящемъ, въ истинномъ значенін этого слова, у насъ было и есть только три беллетриста: это-гг. Булгаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неутомимость ихъ изуми-

Изъ всёхъ родовъ поэзін слабе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По крайней иврв, хоть такъ называемая классическая трагедія иміла у насъ свое время развитія и успіховь. Трагедін Сумарокова дали пищу нашему рождающемуся театру и не только восхищали современниковъ, но "Димитрій Самозванецъ" давался на провинціальныхъ театрахъ еще въ началь двадцатыхъ годовъ текущаго стольтія. Трагедін н комедін Княжнина им'єли для своего времени неотъемлемое достоинство, — и вообще можно сказать, что наше время много бы выиграло, если-бъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по части драматической литературы, какимъ для своего времени быль Княжнинь. Еще выше его быль Озеровь. Изъ этого видно, что классическая трагедія у насъ развивалась въ продолженіе цьлыхь трехъ поколеній. Явился романтизмъ, — п иошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ даже народныя, но вмъстъ съ темъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужъ и онъ иншутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсёмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великольпнаго или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дёлё драмы, еще больше, чёмъ гдённбудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемь больше геніевъ (хотя ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ, въ своемъ "Борисъ Годуповъ", далъ намъ истинный и геніальный образецъ народной драмы; но потому-то, можетъ быть, онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ исти-

ненъ и геніаленъ. По крайней мара, ни на одномъ драматическомъ произведенін, съ признаками таланта, не отразилось вліяніе "Бориса Годунова". Скажуть: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! по отчего же у насъ ноявлялись и появляются поэмы въ стихахъ съ признаками таланта, да иногда еще и замъчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?.. Послъ "Вориса Годунова" лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежить Пушкину же: это — "Русалка". Его драматическія поэмы: "Сцена нзъ Фауста", "Моцарть и Сальери", "Скупой Рыцарь", "Каменный Гость" тоже не отозвались въ русской литературъ никакими сколько-нибудь счастливыми онытами. А между темъ все драматическіе опыты Пушкина — великія художественныя созданія...

Такова же участь и нашей комедін: или чтонибудь необыкновенное, или — меньше чемъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это были или переводы, или переделки, и въ этомъ отношении труды Кияжнина заслуживають уваженія; но какъ оригинальныя русскія комедін-это было странное уродство. "Вригадиръ" и "Недорослъ", не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тъмъ не менъе были геніальными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вфрными и мъткими сатирами въ формъ комедіи. Выли имъ подражанія, но уродливыя и нелёпыя. Вирочемъ, хоть и поздно, но ихъ вліяніе отозвалось въ комедін Основьяненко "Дворянскіе Выборы" произведенін, им'єющемъ свои недостатки, по и не безъ достоинствъ. Между "Бригадиромъ" и "Недорослемъ" Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водевилемъ. Это была случайность, хотя и прекрасная; ей и следовало остаться безъ последствій для литературы. "Ябеда" Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейти прямо къ "Горю отъ Ума" Грибовдова, потому что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежуткъ времени отъ Фонвизина до Грибоъдова, не стоять упоминовенія. "Горе оть Ума"—это на половину художественная, на половину сатирическая комедія, этоть высокій образець ума, остроумія, таланта, геніальности, злого, желчнаго вдохновенія,, Горе отъ Ума" до сихъ поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей дитературъ, въ родъ котораго ни одинъ талантъ не ръшился понытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибовдова должно перейти прямо къ "Ревизору". Кромѣ этой въ высочайшей степени художественной комедін, исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истины, Гоголь еще написаль небольшую комедію—"Женитьба" и ифсколько сцень, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему, и которыя относятся къ комедін, какъ новъсть относится къ роману. Всф эти сцены носять на себф ръзкую печать таланта автора "Ревизора" и, по-

1846.

добно ему, до сихъ поръ остаются въ нашей литературъ уединенными намитниками среди широкой песчаной степи, гдъ не видно ин дерева, ин былинки... Были, правда, двъ или три попытки, не совсъмъ неудачныя, по слишкомъ перъшительныя...

Односторонность во взглядь на предметы всегда ведсть къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не быль лишенъ глубокости и проницательности. Способность убъжденія, одна изъ прекраснъйшихъ способностей человъческой природы, при односторонности ведеть къ фанатизму. Литературный фанатизмъ такъ же глухъ и слепъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живеть во имя теоріи. Німецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на воспрінманной почвѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ последователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотръли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія. Для непсиравимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая нхъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они нимало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это, впрочемъ, не удивительно: въдь нъкоторые историки временъ реставраціи настанвали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII?.. Въ самомъ дѣлѣ, съ чисто теоретической точки зрфнія, не прибфгая къ живому историческому созерцанію, не много хорошаго можно найти во французской литературъ, восторгаясь нъмецкою. Нъмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нъмецкая поэзія вышла изъ нъмецкой эстетики. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоить только всномпить, какъ писаль, впрочемь, геніальный Шиллеръ: въ "Валленштейнъ" все было имъ не только заранће обдумано, но и доказано, и оправдано, все вышло изъ теорін, и авторъ шісалъ эту драму восемь лѣтъ. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэму изъ жизни Фридриха Великаго; но хотелъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всъ эти явленія, немного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія генію Шиллера, какъ и другихъ ивмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціальнаго положенія нёмдевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, вся вышла изъ общественной и исторической жизни и тъсно слита съ нею. Поэтому о французской литературъ нельзя судить по готовой теоріи, не виавши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедін Корнеля, правда, очень уродливы по ихъ классической формъ, и теоретики имъютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный геній Корнели, всл'єдствіе насильственнаго вліянія Ришелье, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, если бы, за уродливою исевдоклассическою формою корнелевскихъ трагедій, про-

глядёли страшную внутреннюю силу ихъ наооса. Французы нашего времени говорять, что Мирабо обязанъ Корнелю лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого удивляйтесь французамъ, что они забывають скоро свои романическія трагедін а la Шекспиръ и до сихъ поръ читаютъ и всегда будуть читать стараго Корнеля. Каждый изъ знаменитыхъ ихъ писателей неразрывно связанъ съ эпохою, въ которую онъ жилъ, и имфетъ право на мъсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторін Франціп. Здёсь всё мысли о творчествъ имъютъ уже нъсколько другое значеніе, нежели какое им'ьють он'ь въ німецкой литературъ: онъ должны раздълить свою власть и силу съ мыслями объ обществъ и его историческомъ ходъ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что "Ревизоръ" есть глубоко-творческое и художественное произведение, и что ни одна комедія Мольера не выдержить эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводь, который они делають изъэтого факта. Действительно, ни одна комедія Мольера не выдержить эстетической критики, потому что всё опе больше сдёланы, нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ, или, по крайней мфрф, допускають въ себя фарсы (какъ, напримъръ, ложные: муфтій, дервишъ и турки въ Le Bourgeois-Gentilhomme); пружины ихъ дъйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, сатира слишкомъ рфзко выглядываеть изъ-подъ формы поэтическаго изобрѣтенія и т. д. Но, вмѣстѣ съ этимъ, Мольеръ нмѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко подняль французскій театръ, что могъ сдёлать только человёкъ даже не просто съ талантомъ, а съ геніемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видеть на сценъ и притомъ непремънно на французской сцень, потому что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имфють права гордиться именно тою или вотъ этою комедіею Мольера; но имфють полное право гордиться комедіями, или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому что Мольеръ даль имъ цёлый театръ. То же можно сказать и о Скрибъ. Нельзя указать ни на одну его драму, ни на одинъ водевиль, какъ на художественное произведеніе, которое всегда будеть имъть свою цвну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ имъть свою цёну, а теперь ему и цёны нётъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всехъ классовъ, образованныхъ и необразованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видъть на сценъ самихъ себя...

У пасъ есть нѣсколько высоко-художественныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могуть составить постояннаго репертуара для театра, и которыя, при всемъ ихъ достопиствѣ, смертельно надоъли бы всѣмъ, если бы, кромѣ нихъ, инчего не давалось на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надоѣдаетъ...

у французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но зато есть театръ, который существуеть для всёхь, и въ которомь общество и учится, и эстетически наслаждается...

На чьей сторонѣ выгода?..

Пусть рѣшать читатели. Наше дѣло-сторона.

Чѣмъ отличается геній отъ таланта?—Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудрено. Не беремся, но нопытаемся объяснить его просто. Что геній и талантъ дается природою, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самого организма человѣка, какъ свѣтъ и тенлота есть свойство огня,—объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, насчетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любять, напримъръ, читать, слъдять за литературою и хотять судить о ней; но которые тогда только смёло судять о новой книге, когда успълн прочитать о ней суждение журнала, пользующагося ихъ безусловною довфренностію, и которые чувствують себя въ самомъ затруднительномъ положенін, если рецензія или критика на книгу, надълавшую шуму, долго не является въ ихъ журналь? Кому не случалось встрвчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь ктонибудь резко возразить имь, они тотчась же отказываются отъ своего мижнія и безусловно соглашаются съ митніемъ возразившаго? Эти люди—безъ инънія, безъ способности имъть мнъніе, люди, которые могуть быть сильны только чужимъ мивніемъ, и для которыхъ авторитеть есть необходииость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развить инстинкть чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между темъ это могуть быть совсемъ неглупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самодаятельности и требуеть опоры въ авторитетъ. Толна большею частію состоить изъ такихъ людей, и ею всегда и вездъ управляють люди съ большею или меньшею самостоятельностію мивнія. И вотъ причина, почему толна не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее действуютъ другіе, а она только повинуется. Везъ этой нравственной дисциплины въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшиая анархія.

Таланть, какъ способность дёлать, производить, относится больше къ формъ созданія, и, съ этой точки зрёнія, таланть есть сила внёшняя, которая можеть существовать въ человёкё независимо отъ ума, сердца и другихъ интелектуальныхъ и иравственныхъ сторонъ человёческой природы. Но для формы нужно содержаніе, и воть здёсь-то получаетъ всю свою важность самостоятельная дёятельность духовныхъ силъ человёка. Если есть люди, которые лишены способности имъть о вещахъ свое миёніе, и которые принимаютъ чужое миёніе цёликомъ, какъ что-то готовое, о чемъ имъ уже нечего больше и ду-

мать, -то есть люди, которые, вфчно живя чужимъ митніемъ, имтють способность усвоять его себъ, развивать, выводить изъ него новыя слъдствія, находить чрезъ него на другія мысли, — и эта способность до того обманываеть людей этого рода, что они очень добросовъстно убъждены въ самостоятельности своей собственной мыслительности. И они почти правы въ этомъ: натуры живыя и воспріимчивыя, они сами не знають и не номнять, оть кого зашла къ нимъ та или другая мысль, потому что все извить легко и быстро пристаетъ къ нимъ почти безсознательно, инстинктивно. Имъ стоитъ только поговорить съ умнымъ человъкомъ или прочесть хорошую книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цёлый рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могуть не принять за свои собственныя. Эти люди, управляясь другими, въ свою очередь, имъютъ большое вліяніе на толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; особенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чъмъ просвъщените и образованите общество, тъмъ больше въ немъ такихъ людей. Наконецъ есть люди (такихъ очень мало), которые дъйствительно обладають способностью творческой самодаятельности своихъ способностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, оригинально, во всемъ видятъ именно то, чего безъ нихъ никто не видитъ, а послѣнихъ всѣ видять и всё удивляются, что прежде этого не видъли. Эти люди совсъмъ не хитрые и не мудреные: они все понимаютъ просто, но ихъ простое пониманіе сначада кажется всёмъ мудренымъ, а иногда безумнымъ и нелѣпымъ, а потомъ кажется уже столь простымъ, что натъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ головувёдь это такъ просто! Колумбъ собирался открыть Америку, — на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотель признать въ этомъ даже заслуги, потому что открытую Америку всемь казалось такъ легко открыть!..

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мыхотёли сказать о толи в, талантв и геніи...

Въ наше время талантъ—не рѣдкость во всемъ, по особенно въ литературѣ. Просто нипочемъ! Его часто даже смѣшиваютъ съ геніемъ. И не мудрено: нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ генія. Это приводитъ намъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ разсказываетъ объ авторствѣ своего героя:

"Онъ признавался, что все начатое имъ принимало, послъ первыхъ десяти строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ, такое сходство съ инсателями, которыхъ читалъ опъ, что опъ красиълъ, видя себя способнымъ только на подражание. Онъ показалъ мнъ нъсколько стиховъ и фразъ, подъ которыми Ламартинъ, Викторъ Гюго, Поль Курье, Шарль Нодье, Вальзакъ и даже Беранже могли бы подписать имена свои. Ио всъ эти опыты, которые можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили бы, въ сочиненіяхъ тъхъ писателей, для украшенія пидивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ

котвль выразить какую-инбудь идею, вы тотчась и увидели бы (онь и самь тотчась же увидель) явную кражу: идея эта была не его; она принадлежала этимь писателямь, принадлежала встых, только не ему".

Воть въчная исторія таланта! Конечно, она не всегда бываеть именно такою, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ин быть великъ, опъ не можеть наложить печати своей личности на свои произведенія, и нотому не можеть быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоять себъ чужія иден, онъ ненадолго скроетъ, что его вдох-

новеніе не быть живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только "ильной мысли раздраженье". Но зато, какъ бы ин тысна и ни ограничена была сфера таланта, но если на его произведеніяхъ виденъ тотъ рызкій отпечатокъ личности, который дылаетъ произведенія такъ оршгинальными, что подъ нихъ невозможно поддываться, тогда это уже не талантъ, а геній. Къ числу так и хъ геніальныхъ поэтовъ принадлежить въ нашей литературь баснонисецъ Крыловъ.

[Петервургскій Сворникь, пзданный Н. Некрасовымъ. Спб. 1846].

ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ,

изданный Н. Некрасовымъ. Спб., 1846.

"Вѣдные Люди", романъ г. Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ—первая статья и по мѣсту, и по

достоинству. Начинаемъ съ нея.

Появление всякаго необыкновеннаго таланта рождаеть въ читающемъ и пишущемъ мірѣ противорѣчія и раздоры. Если такой таланть является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы, -- онъ встречаеть, съ одной стороны, восторженные клики, неумфренныя хвалы, съ другойбезусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидели въ немъ "севернаго Байрона" (какъ будто гдъ-нибудь былъ южный Байронъ!), "представителя современнаго человъчества", и все это-по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабъе другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цівнность; другіе упорно смотрівли на его произведенія, какъ на униженіе, профанацію поэзін, во имя дебелыхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дътства. Понять Пушкина предоставлено было уже другому поколенію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрътилъ себъ враговъ таланть Пушкина, но несравненно болѣе явилось преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы л'ятами и духомъ; за него-и молодыя поколенія, и сохранившіе свіжесть чувства старики. Какъ всякій великій таланть, Гоголь скоро нашель себѣ восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонъ Пушкина было большинство, такъ на сторонъ Гоголя-меньшинство: большинство же было сначала рёшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: міръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежить исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастіемъ и не лишенными эстетического смысла, нашлись такіе, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недоуминін, имъ казалось, что это или ужъ слишкомъ хорошо, или ужъ слишкомъ дурно,---и

они помирились на половинъ съ твореніями самаго національнаго и, можеть быть, самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. ръшили, что у пего есть таланть, даже большой, только идущій по ложной дорогъ. Естественность поэзіп Гоголя, ея страшная върность дъйствительности изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совстмъ исчезла изъ русской литературы та чонорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ pruderie, и въ которой такъ вёрно отразились правы полубоярской и полумъщанской части нашего общества; если и теперь еще существують литераторы, которые естественность считають великимъ недостаткомъ въ поэвіи, а неестественность — великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзін думають унизить энитетомъ "натуральной",—то понятно, какъдолжно было большинство публики встретить основателя новой школы. И потому естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ признавать великій таланть часто тъ самые люди, которые съ жадностио читають и перечитывають каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаеть съ жадностію его новыхъ и не перечитываеть съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нётъ нужды говорить, что безпошадная истина его созданій — одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признать на словахъ великимъ поэтомъ того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самыми своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ первая и главная причина этого непризнанія заключается въ безпримірной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ: безприм врной, потому что съ этой стороны им одинъ русскій поэть не можеть идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій геніальный таланть оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одною и другою оригинальностью, между одною и другою самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина, въ отношенін къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ нечати особенности, положенной личностію его на его творенія, состояла пренмущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ поэзін, а его-самою поэзіею; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ быль поэтомъ-художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тімъ не меніе, къ чести предшественниковъ Нушкина, должно сказать, что они имъли на него большее или меньшее вліяніе, и ихъ -оп от операто в под предвительной в постоя эзін, особенно первыхъ его опытовъ. Еще прямѣе и непосредственнъе было вліяніе на Пушкина современныхъ ему европейскихъ поэтовъ. Если, при всемъ этомъ, первыя произведенія Пушкина, однихъ непріятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу, поразили не только новостью, но оригинальностью и самобытностью, -- это показываеть, какъ геніаленъ быль таланть его. Но все-таки его первыя произведенія напоминали собою многое и въ русской литературь, хотя и отдаленно, и еще болье многое, и притомъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ, - чему доказательствомъ служить неудачно и неловко приданный ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературъ, не было (и не могло быть) образдовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родъ его поэзін, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругь, неожиданная, не похожая ни на чью другую поэзію. Конечно, нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны, наприм'єръ, Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествъ Гоголя, а не на особенности, не на физіономін, такъ сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болже времени, которое Пушкина подвинулъ впередъ, нежели самого Пушкина. Разумвется, если-бъ Гоголь явился прежде Нушкина, онь не могь бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямого вліянія, такого, какое имъли (въ большей или меньшей степени, ближе или отдалениће) на Пушкина предшествовавије ему русскіе и современные ему европейскіе поэты,--такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ следовъ въ сочиненіяхъ последняго. Сверхъ того, поэзія, избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и радко испытываемыя человакомъ высокія ощущенія, — такая поэзія, если не всёмъ понятна въ сущности, то всемъ доступна по паружности. По крайней мъръ она до того нравится толиъ, что даже и ложные таланты, если они не лишены блеска и смілости, увлекають ее, пародируя въ своихъ хитроизысканных выдумках высокую сторону действительности: это доказываетъ чрезвычайный, хотя и мгновенный успъхъ Марлинскаго и... но не будемъ называть другихъ — довольно и одного примъра... Скажемъ болъе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, теривть не можеть, чтобъ поэзія занималась ею, хотя и не емиреніе, а опасливость неув'треннаго въ себ'т самолюбія причиною этого; напротивъ, она любитъ,

чтобъ поэзія представляла ей все героевъ да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За голосомъ немногихъ, которымъ дано действительно понимать высокое жизни, толна готова провозгласить великимъ геніемъ даже Байрона, въ которомъ она, толна, неспособна понять ни полмысли, ни полстиха; но искренно плѣняетъ и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое народирование высокой стороны жизни (какъ въ повъстяхъ Марлинскаго) или истинное и дъйствительно прекрасное, но вмъсть съ тѣмъ и не слишкомъ великое, нѣсколько незрѣлое и детское, потому что сама толна есть не что иное, какъ въчный педоросль, что-то похожее на дряхлаго ребенка или на младенчествующаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слава его была въ своей апогев, когда представители толпы провозглашали его "съвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человъчества"?-Тогда, когда онъ удивляль ихъ "Русланомъ и Людмилою", "Братьями-Разбойниками", "Кавказскимъ Плънникомъ", "Бахчисарайскимъ Фонтаномъ" и тъми стишками, въ которыхъ воспѣвалъ золотую лѣнь, шипучее вино и тому подобное. "Цыгане" приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; "Полтава" публикою принята холодно, а журналисты встретили ее бранью; "Борисъ Годуновъ" вовсе не быль оцененъ... п многіе ли даже теперь догадываются, что за великія созданія—"Моцартъ и Сальери", "Ппръ во время чумы", "Скупой Рыцарь", "Галубъ", "Мѣдный Всадникъ", "Каменный Гость"? Одинъ пзъ критиковъ того времени, въ седьмой главъ "Евгенія Онъгина", которая, по глубинъ чувства, по зрълости мысли, по художественной отделкъ, гораздо выше первыхъ шести главъ, увиделъ-, решительное паденіе, chûte complète", и съ торжествомъ возв'єстилъ его на двухъ языкахъ-русскомъ и французскомъ!... Другой критикъ, говоря о той же седьмой главъ "Онъгина", сдълалъ такое заключение, что Пушкинъ отсталь отъ вѣка, и что на него "прошла мода", какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ въка!.. Еще двое другихъ, какъ будто сговорясь между собою, несмотря на то, что были противниками по мевніямь, объявили, что въ третьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832 году) не видно прежияго Пушкина!... И они не ошиблись бы, если-бъ сказали это въ томъ смыслъ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталь выше, нежели какъ быль въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но, увы! — добрые критики говорили туть о наденіи Пушкина!.. Все это факты, которые, если бы понадобилось, мы скръинли бы указаніемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такія диковинки. И вотъ какъ судила толна и о поэтъ, избравшемъ предметомъ пѣсенъ своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась отъ него тотчасъ, какъ сталь онь мастеромь, и какимь еще мастеромьвеликимъ!...

Какъ же должна была судить толна о поэтъ, дерзнувшемъ пойти по дорогъ, до него никому не

въдомой, ръшившемся, оставивъ въ покот героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являются гораздо ріже, нежели въ фантазін поэтовъ), обратиться къ толив и къ будинчной жизни?.. Сначала, какъ и следуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслію за границу вседневной прозапческой жизни. И такое заключение было очень естественно съ ея стороны: она не встръчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходокъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуеть ей своихъ странныхъ героевъ и ихъ бъдную, жалкую жизнь очень серьезно, говоритъ о нихъ почти съ такою же важностью, какъ въ дъйствительности говорять они о самихь себъ и своихъ дълишкахъ. Конечно, это писатель, положимъ, не безъ дарованія, но мелкій, безъ фантазін, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую природу! Но-странное дело!-толна сама не могла не замътить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чёмъ-то сильно задеваетъ и сердить ее; потомъ съ изумленіемъ узнаетъ она, что высшій свъть, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставляя безъвниманія бонтонныя, опрятныя произведенія дюжинных сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствіемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненныя дурного тона, оскорбляющія приличіе выраженій и картинъ и, кажется, назначенныя для потёхи самыхъ необразованныхъ читателей... Въ то же время нашлись люди, которые по поводу сочиненій этого писателя заговорили о юмор в, какъ могущественномъ элементъ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служитъ всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о нихъ, но только вфрно воспроизводя явленія жизни, по ихъ сущности противоположныя высокому и прекрасному, — другими словами: путемъ отрицанія достигая той же самой цёли, только иногда еще вёрнёе, которой достигаетъ и поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не иогло не имъть вліянія на мнтніе толпы; а между тъмъ, съ теченіемъ времени, она все болье и болье привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что казалось ей въ нихъ страннымъ и разкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естестреннымъ, — чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ тенерь, когда французскій переводъ нѣсколькихъ его повѣстей доставилъ ему громкую извёстность въ Европе,теперь и самые враги его таланта, имъющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его усиъховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ.

Вообще литература наша въ лицѣ Пушкина и Гоголя перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый

талантъ тотчасъ же оцфинется по его достоинству. Явился Лермонтовъ, — и первыми своими опытами заставиль всёхъ смотрёть на его талаптъ съ изумленнымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Много ли успёль написать онъ въ теченіе своего краткаго (четырехльтняго) литературнаго поприща?—а между темъ нуженъ былъ только одинъ смелый голосъ, чтобъ за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, геніальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ ни хлопочеть теперь посредственность выдавать себя за геніальность, --ей это никакъ не удается. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и птальянскія, ни романы и пов'єсти русскіе, французскіе, литовскіе и нѣмецкіе, ни стихотворенія, ни дагерротины, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотъла сдълать изъ г. Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, — и что же? Всв нашли, что у г. Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда, и теперь появленіе необыкновеннаго таланта не можетъ не возбуждать довольно противорфчащихъ толковъ; но, во-первыхъ, это-свойство необыкновеннаго таланта во всякой литературъ, пока не привыкнутъ къ нему (привычка-умъ толны), а во-вторыхъ, въ самомъ противоръчін этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорять и спорять о томъ, что хорошо и что дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ — объ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Нѣсколько неважественных или завистливых голосовъ тутъ ничего не значитъ. Если какой-нибудь quasiкритикъ или критиканъ рфшится объявить, что произведеніе новаго писателя, возбудившаго своимъ появленіемъ спльное движеніе въ читательскомъ мірѣ, рашительно дурно, что въ немъ натъ ни искры таланта, -- такой критиканъ поступить очень нерасчетинво въ отношенін къ самому себъ. Самые недогадливые увидять ясно, что онъ, критиканъ, не иное что, какъ жалкая и купно завистливая посредственность... Но, съ другой стороны, и преувеличенно восторженныя похралы, критическіе гимны и диопрамбы теперь тоже возможны только со стороны людей, не могущихъ имъть никакого вліянія на общественное мятніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требують, чтобъ онъ спокойно и трезво сказаль, какъ понимаеть онъ поэтическое произведеніе; а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нътъ нужды: это-его домашнее дъло.

Слухи о "Бѣдныхъ Людяхъ" и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появлене самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ все равно—быть пли не быть предубѣжденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но

нетинныхъ знатоковъ искусства немного на бъломъ свътъ, а незнатокъ отъ всего заранъе расуваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, -- и, увидя, что это совсимъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и верно, онъ разочаровывается и, въ досадъ, уже не видитъ въ произведении и того, что болье или менье ему доступно и что, навърное, понравилось бы ему, если бы онъ не быль зарание настроенъ искать туть какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успахъ "Бадныхъ Людей" былъ полный. Если-бъ эту повъсть приняли всъ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ, -- это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней, точно, есть талантъ, но нѣтъ инчего необыкновеннаго. Такой дебють быль бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ быть, двухъ, трехъ иси угавшихся за себя писакъ, вев согласились, что въ этой повъсти замътенъ не совсъмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повъсть будеть казаться иною многимь изъ тёхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшие ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достопиствъ. Изъ всъхъ критиковъ самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшительный время. Впрочемъ, не должно забывать, что романъ г. Достоевскаго прочтенъ всеми, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мивніе о талантв новаго поэта. Въ Москвъ еще только читають его "Въдныхъ Людей" и "Двойника" (помъщеннаго въ февральской книжкъ "Отечественныхъ Записокъ"), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и уважаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читають, какъ въ Петербургѣ, -- слѣдовательно, нигдѣ въ Россін нѣтъ такой многочисленной читающей нублики, сосредоточенной на такомъ маломъ пространствъ, какъ въ Петербургъ, — и при всемъ томъ насъ (chaque baron a sa fantaisie!) почему-то всегда интересуетъ болже мижніе Москвы п провинціп о книгф, нежели Петербурга. Мы пикогда не говоримъ: "это сочинение такъ хорошо, что даже въ провинцін имѣло огромный успѣхъ", но, напротивъ, мы какъ-то особенно нерасположены къ сочиненіямъ, которыя только въ Петербургѣ возбуждають общій восторгь. Можеть быть, по этому самому намъ не нравятся стихотворенія г. Бенедиктова, "Сенсаціи мадамъ Курдюковой" и всѣ патріотическія и патетическія драмы, возбуждающія такіе оглушительные аплодисменты на сцень Александринскаго театра. Можеть быть, въ этомъ случав мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга ужъ черезчуръ занятые, черезчуръ дёловые люди, и нотому едва ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вкусомъ. Имъ надо что-нибудь, во-первыхъ, не слишкомъ большое, а во-вторыхъ, и это главное, что-ни-

будь полегче, что-нибудь не слишкомъ требующее углубленія мыслію, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, -- словомъ, такое, что было бы и коротко, и ясно, и не заставляло бы думать, какъ фельетонная статья въ "Сфверной Пчель", какъ правоописательная статейка г. Булгарина. И это понятно: въ Петербургъ всъ бъдны временемъ: кто служить, кто спекулируеть, кто играеть въ преферансъ, а часто случается и такъ, что одно и то же лицо несетъ на себъ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читаемомъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которое вырабатываютъ наши типографін. Въ Москвъ число читателей несравненно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замфчательная книга есть фактъ, есть "нфчто", которые читають ее сами, читають другимъ или настоятельно рекомендують другимъ читать ее, лумають о ней, толкують, спорять. Смёшно было бы утверждать, что п въ Петербургъ нътъ такихъ читателей: но мы знаемъ достовфрно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненін со всею читающею массою, и что большая часть ихъ состоить изъ такого молодого народа, который не успѣлъ еще ни постунить на службу, ни постичь поэзію преферанса. Что касается до провинціи, въ ней, можеть быть, въ сложности не менте, если не болте истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ объихъ столицахъ нашихъ, и если ихъ кажется такъ мало въ провинцін, это потому, что они разсияны на огромномъ пространстви и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстоянін, что отъ одного до другого иногда хоть мъсяцъ скачи на лихой тройкъ — не доъдейь! Велика матушка Россія!.. По всему этому, очень интересно узнать, какое впечатление талантъ г. Достоевскаго произведеть на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданін этого, мы посп'яшим отдать отчеть въ собственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ перваго взгляда видно, что талантъ г. Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и что преобладающій характеръ его таланта-юморъ. Онъ не поражаеть тёмь знаніемь жизни и сердца человёческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нътъ, онъ знаетъ ихъ, и притомъ глубоко знаетъ, но а priori, -- слъдовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть таланть, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ къмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дітствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясияютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный п самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, різко отділился отъ всей толны нашихъ писателей, болъе или менъе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и усивхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя,

то и нельзя не сказать, что онъ еще болве обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обонхъ романовъ ("Бѣдныхъ Людей" и "Двойника") видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но, со всемь темь, въ таланте г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, в'вроятно, не будеть продолжительно и скоро исчезнеть съ другими, собственно ему принадлежащими, недостатками, хотя темъ не менъе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимь, что туть ивть никакого даже намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнію и мыслію, темь не менъе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолъпно и ни роскоппо развился внослъдствін таланть г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Колумбомъ той неизмёрной и ненетощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться г. Достоевскій. Пока еще трудно опредёлить рёшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта г. Достоевскаго, но что онъ имъетъ все это, въ томъ ивтъ никакого сомивнія. Судя по "Бѣднымъ Людямъ", мы заключили было, что глубоко-человъчественный и патетическій элементь, въ сліянін съ юмористическимъ, составляеть особенную черту въ характерѣ его таланта; но прочтя "Двойника", мы увидъли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ посившно. Правда, только нравственно слъпые и глухіе не могуть не видъть и не слышать въ "Двойникъ" глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, этотъ колоритъ н тонъ въ "Двойникъ" спрятались, такъ сказать, за юморомъ, замаскировались имъ, какъ въ "Запискахъ Сумасшедшаго" Гоголя... Вообще талантъ г. Достоевскаго, при всей его огромности, еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и выказаться опредъленно. Это естественно: отъписателя, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многаго ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ "Герой нашего времени", но если-бъ кто подумаль, что Лермонтовъ впоследстви не могъ бы написать чего-нибудь песравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго межнія о таланть Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ г. Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, по отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ талантъ г. Достоевскаго блеститъ яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣевнчу Дѣвушкину, старику Покровскому и г-ну Голядкину стартему г. Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ п Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ г. Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица

созданы однимъ и тъмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всъхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже никому болъе не оказать) на эти забитыя существованія въ нашей дъйствительности, но что г. Достоевскій самъ собою взялъ ихъ въ той же самой дъйствительности.

Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта "Бѣдные Люди" и, непосредственно за ними, "Двойникъ"-произведенія необыкновеннаго разміра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсемъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту быль выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нельной мысли), но только то, что онъ имълъ нередъ ними выгоду явиться послъ нихъ; однако-жъ, со всьмъ тьмъ, подобный дебють ясно указываеть на мъсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ со своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намь таланта, который бы сталь къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ "Бъдныхъ Людяхъ": въдь п разсказать нечего! А между тімъ такъ много приходится разсказывать, если уже рашишься на это! Бадный пожилой чиновникъ, недалекато ума, безъ всякато образованія, но съ безконечно-доброю душою п теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаеть бедную девушку изъ рукъ гнусной торговки женскою добродътелью, дъвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой девушке, только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидъть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнъе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ, --существо, къ которому онъ привыкъ, и которое привыкло къ нему. Йть, въ чувствъ Макара Алексъевича къ его "маточкъ, ангельчику и херувимчику Варинькъ" есть что-то похожее на чувство любовника,---на чувство, которое онъ силится не признавать въ себъ, по которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если-бъ замътилъ, что она смотритъ на него, не какъ на вовсе неумъстное. Но бъднякъ видитъ, что этого нътъ, и съ героическимъ самоотвержениемъ остается при роли родственника - покровителя. Иногда онъ разивживается, особенно въ первомъ письмв, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавъски, хорошей весенней погоды, итичекъ небесныхъ, и говоритъ, что "все въ розовомъ цвътъ представляется". Получивъ въ отвътъ намекъ на его лъта, бъднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, н досада его слегка высказывается только въ увъреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой

такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, --- все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дъвушкинъ, помогая Варинькъ Доброселовой, забираеть впередъ жалованье, входить въ долги, герпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія. какъ русскій челов вкъ, ищеть забвенія въ пьянствв. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодътельствуя, онъ лишаеть себя всего, такъ сказать, обворовываеть, грабить самого себя, — до последней крайности обманываеть свою Вариньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положенін, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходить въ голову, что онъ пріобрель право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ, по тесноте и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варинькъ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убъждению, что никто, какъ онъ, не можеть такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всемь было для него счастіемь. Чёмъ ограниченнёе его умъ, чёмъ тёснёе и грубе его понятія, тімь, кажется, шире, благородніве н деликатиће его сердце; можно сказать, что у него всв умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могуть подумать, что, въ лицъ Дъвушкина, авторъ хотъль изобразить человъка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманиве: онь, въ лицъ Макара Алексъевича, показалъ намъ. какъ много прекраснаго, благороднаго и святого дежить въ самой ограниченной человической натуръ. Конечно, не всъ бъдняки такого рода нохожи на Макара Алексвевича въ его хорошихъ свойствахъ, н мы согласны, что такіе люди редки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ темъ, что на гакихъ людей мало обращають вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно провдающій сто, двъсти и больше рублей, бросить нищему двадцать пять рублей, всв замвчають это и, въ чаяніи получить оть него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бъднякъ, отдающій такому же б'єдняку, какъ и онъ самъ, свои последнія двадцать конеекъ медью, какъ отдаль яхь Девушкинь Горшкову, — такой бедиякь не всёхь тронеть и въ повъсти, мастерски написанной, а въ дъйствительности въ его поступкъ не захотъли бы увидъть ничего, кромъ смъшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: "вѣдь это тоже люди, ваши братья".

Обратите вниманіе на старика Покровскаго,— и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шуть и пьяница—и опъ человѣкъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну,

напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Нокровскаго—съ книгами въ карманѣ и подъ-мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына—не производить на васъ трагическаго впечатлѣнія,—не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-инбудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементь глубоко проникаеть собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ темъ поразительнъе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексвевича. Смвшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно н то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы-какое умѣнье, какой таланты! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Всетакъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ, и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти, то къ тому, то къ другому!.. Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица г. Выкова, только на минуту появляющагося въ романъ собственною особою, ни лица Анны Өедоровны, ни разу не появляющейся въ романъ собственною особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ, — словомъ, каждое лицо даже изъ тъхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романъ, такъ и стоить передъ читателемъ, какъ будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вариньки какъ-то не совстмъ опредъленно и неоконченно; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладить съ ними да и только! Не знаемъ, кто туть виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицъ Татьяны, схватить и сколько черть русской женщины, да и то ему необходимо было сдёлать ее свётской дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредёленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но всетаки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Девушкина. Заметно, что авторъ тутъ быль не совстмь, какъ говорится, у себя дома; но н тутъ онъ блистательно умълъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія детства, перевздъ въ Петербургъ, разстройство делъ Доброселова, ученье въ пансіонъ, особенно жизнь въ домъ Анны Өедоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближение, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, —все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Өедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго наденія; но читатель самъ видить все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объяспеній.

Разсказывать содержание этого романа было бы излишне; дълать большія выписки-тоже. Но не мъшаеть инымъ, можеть быть, забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственныя впечатлёнія, ихъ же самихъ призвать въ свидътели справедливости и върности нашего мнънія о высокомъ художественномъ достопиствъ "Бъдныхъ Людей", п потому считаемъ необходимымъ выписать и сколько мъстъ изъ инсемъ Макара Алексъевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей, — а между тёмь посреди ихъ, въроятно, найдутся такіе, которымъ эти выписанныя нами міста покажутся какъ будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство, можеть быть, заставить ихъ вновь перечесть всю повъсть и сознаться себъ, что они только при этомъ второмъ чтенін поняли ее... Такія пропзведенія, какъ "Бѣдные Люди", никому не даются съ перваго раза: они требують не только чтенія, но и изученія.

"Пишу къ вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я разскажу-то вамъ теперь! Вотъ мы и не предчувствовали этого. Нъть, я не върю, чтобы я не предчувствоваль: я все это предчувствоваль. Все это заранъ слышалось моему сердцу! Я даже намедни во сиъ

что-то видълъ подобное.

"Вотъ что случилось.—Разскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ миъ на душу Господь положить. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я п вчера пнеалъ тоже. Ну, такъ вотъ вчера подходитъ ко миъ Тимовей Ивановичъ и лично изволить показывать, что-воть, дескать, бумага нужцая, спъшная. Перепишите, -говорить, -Макаръ Алексвичь, почище, посившно и тщательно; сегодня къ подписанию идеть. — Замътить вамъ пужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядъть не хотълось; грусть, тоска такая напала! На сердцъ холодно, на душъ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужъ не знаю, какъ вамъ точиве сказать, самъ ли нечистый меня попуталь, или тайными судьбами какими опредълено было, или просто такъ должно было едълаться-только пропустиль я цълую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знаеть какой; просто никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодия въ обычный часъ н располагаюсь рядкомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замътить, родная, что я съ педавняго времени сталъ вдвое болъе прежияго совъститься и въ стыдъ приходить. Я въ послъднее время и не глядъль ни на кого. Чуть стулъ заскриштъ у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодия: приникъ, приемирълъ, ожомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свътъ до него не было) сказалъ во всеуслы-шаніе: что, дескать, вы, Макаръ Алекстевичъ, сндите сегодия такимъ у-у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всъ, кто около него и меня ни были, такъ и покатились со смъху, и ужъ, разумъется, на мой счеть. И пошли, и пошли! Я н уши прижалъ, и глаза зажмурилъ, сижу себъ, не пошевелюсь. Таковъ ужь обычай мой; они этакъ скоръй отстають. Итакъ, я уткнулся носомъ въ бумагу и вожу неромъ. Вдругъ слышу: шумъ, бъ-

готня, суетия; слышу-не обманываются ли уши мон? — зовуть меня, требують меня, зовуть Дъвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,- и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ опять начали; ближе и ближе. Воть ужъ надъ самымъ ухомъ монмъ: дескать, Дъвушкина! Дъвушкина! гдъ Дъвушкинъ? Подымаю глаза: передо мною Евстафій Ивановичь; говорить: Макаръ Алексъевичъ! къ его превосходительству, скорте! Бъды вы съ бумагой надълали. Только это одно и сказалъ, да довольно,—не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвёлъ, оледенълъ, чувствъ лишился, иду — ну, да ужъ просто, ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую ком-нату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ-предсталь! Положительнаго отчета, объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу: стоятъ его превосходительство, вокругъ пего всв опи. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопълъ такъ, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да н было отъ чего, маточка. Во-первыхъ, совъстно; я взглянуль направо въ зеркало, такъ просто было отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидъль. А во-вторыхъ, я всегда дёлаль такъ, какъ будто бы меня и на свътъ не было. Такъ, что едва ли его превосходительство были извъстны о существовани моемъ. Можетъ быть, слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ въдометиъ Дъвушкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

"Начали гићвио: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ спъху, а вы ее портите. И какъ же вы это, тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетають: нерадънье! неосмотрительность! вводите въ непріятности! — Я раскрыльбыло роть для чего-то. Хотълъ-было прощенья просить, да не могъ, убъжать - покуситься не смълъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.-Моя пуговка-ну ее къ бъсу!-пуговка, что висъла у меня на инточкъ-вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задълъ ее нечаянно), зазвенъла, покатилась и прямо, такъ-таки прямо, проклятая, къ стопамъ его превосходительства,-п это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извипеніе, весь отвъть, все. что я собпраяся сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою н на мой костюмь. Я вспоминль, что я видыль въ зеркалъ, я бросился ловить пуговку, нашла на меня дурь, пагнулся, хочу взять пуговку: катается, вертится, не могу поймать, словомъ, н въ отношении ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послъднія силы меня оставляють, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человъкъ пропалъ! А туто въ обоихъ ушахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ коли дуракъ, такъ стоялъ бы себъ смирно, руки по швамъ! Такъ иътъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она н пристанеть; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потемъ опять на меня взглянули — слышу говорять Евстафію Ивановнчу: какъ же?.. посмотрите, въ какомъ онъ видѣ?.. какъ онъ!.. что онь!..—Ахъ, родная моя, что ужь туть—какъ онь? да что онь? Отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился! Слышу, Евстафій Ивановичь говорить: не замёчень, ин въ чемъ не замёчень, поведенія примърнаго, жалованья достаточно, по окладу...-Ну, облегчите его какъ-нибудь,-говорить его превосходительство. Выдать ему впередъ...-Да забралъ, -- говорять, -- забраль, воть за столько-то времени внередъ забралъ. Обстоятельства върно такія, а поведенія хорошаго и не замъченъ, инкогда не замъченъ. — Я, ангельчикъ мой, горёдь, въ адекомъ огит торель! Я умиралъ! - Ну, - говорятъ его превосходительство громко,-перепнсать же вновь поскорте; Дввушкинъ, подойдите сюда, нерепишите опять вновь безъ ошноки; да послушайте...-туть его превосходительство обернулись къ прочимъ, роздали приказанія разныя, и вев разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспъшно вынимаеть кипжинкъ и изъ него сторублевую: воть, -- говорять они, -- чты могу; считайте, какъ хотите, возьмите... да и всуцуль мив въ руку. Я, ангелъ мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я-было схватить ихъ ручку хотъль. А онъ-то весь покраснъль, мой голубчикъ, да-вотъ ужъ туть ин на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя; взядъ мою руку недостойную да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и нотрясъ, словно ровиъ своей, словно такому же, какъ самъ, генералу. Ступайте, -- говорить, -- чъмъ могу... Ошибокъ не дълайте, а теперь гръхъ пополамъ".

Такая с трашная сцена можеть не потрясти глубоко только душу такого человѣка, для котораго человѣкь, если онь чиновникъ не выше 9-го класса, не стоить ни вниманія, ни участія. Но всякое человѣческое сердце, для котораго въ мірѣ ничего нѣть выше и священнѣе человѣка, кто бы онъ ни быль, —всякое человѣческое сердце судорожно и больяненно сожмется оть этой —повторяемь — с трашно й, глубоко - патетической сцены... И сколько потрясающаго душу дѣйствія заключается въ выраженін его благодарности, смѣшанной съ чувствомь сознанія своего паденія и съ чувствомь того самоуниженія, которое бѣдность и ограниченность ума часто считають за добродѣтель!..

.Теперь, маточка, воть какъ я решилъ: васъ и Өедөру прошу, и если бы дъти у меня были. то и имъ бы повелълъ. чтобъ Богу молились. то есть воть какъ: за родного отца не молнлись бы, а за его превосходительство каждодневно и вічно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дин нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бъдствія, и на себя, на унижение мое и мою неспособность,--несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнт сто рублей дороги, какъ то, что его превосходи-тельство сами миъ, соломъ, пьяницъ, руку мою недостойную пожать изволили. Этимъ они меня самому себъ возвратили. Этимъ поступкомъ они мой духъ воскресили, жизпь мит слаще павъки сдълали, и я твердо увъренъ, что я, какъ ни гръшенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счасти и благополучін его превосходительства дойдеть до престола Его!.."

Другимъ образомъ, но не менѣе ужасна эта картина:

"Сего числа случилось у насъ на квартиря до-нельзя горестное, инчъмъ не объяснимое и неожиданное событе. Нашъ бъдпый Горшковъ (замътить вамъ нужно, маточка) совершение оправдался. Ръшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дъло для него весьма счастливо кончилось.

Какая тамъ была вина на немъ, за перадѣніе и неосмотрильность-на все вышло полное отнущеніе. Присуднян выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегь, такъ что онъ и обстоя-тельствами-то сильно поправился, да и честь-то его оть пятна избавилась, и все стало лучше, -однимъ словомъ, вышло самое полное исполнение желанія. Пришель онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, бледный, какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается-обняль жену, дътей. Мы всъ гурьбою ходили къ нему поздравлять его. Онъ быль весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на веб стороны. жаль у каждаго изъ насъ руку, по ифскольку разъ. Мић даже показалось, что онъ и выросъ-то. и выпрямился-то, и что у него и слезники-то нъть уже въ глазахъ. Въ волненін быль такомъ, бъдный! Двухъ минутъ на мъсть не могъ простоять; браль въ руки все, что ему ин попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставаль, опять садился, говорилъ Богъ знаеть что такое — говорить: "честь моя, честь, доброе имя, дети мон"и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частію прослезились. Ратазлевъ видно хотъть его ободрить и сказаль: "что, батюшка, честь, когда нечего ъсть; деньги, батюшка, деньги-главное: воть за что Бога благодарите!" - и туть же его по плечу потрепаль. Мнъ показалось, что Горшковъ обидълся, т. е. не то, чтобы прямо пеудовольствіе выказаль, а только посмотръль какъ-то странно на Ратазяева, да руку его съ плеча своего сиялъ. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочемъ! различные бываютъ характеры.—Вотъ я, напримъръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ бы не выказался; въдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній, и уничиженію изъявляещь, не отъ чего иного, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но, впрочемъ, не во мнъ тутъ п дъло-то!--Да,--говорить,--и деньги хорошо: слава Богу, слава Богу!.. и потомъ все время, какъ мы него были, твердиль: слава Богу, слава Богу!... Жена его заказала объдъ поделикативе, пообильнъе. Хозяйка наша сама для пихъ стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до объда Горшковъ на мъстъ не могъ усидъть. Заходилъ ко всёмъ въ компаты, звали-дь, не звали его. Такъ себъ войдетъ, улыбиется, присядетъ на стуль: скажеть что-инбудь, а иногда и инчего не скажеть и уйдеть. У мичмана даже карты въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, напуталъ въ игръ какого-то вздора, едълать три-четыре хода и бросиль пграть. Нътъ, -- говорить, -- въдь я такъ, я это только такъ—и ушелъ отъ нихъ. Меня встрътилъ въ коридоръ, взялъ меня за объ руки, посмотрълъ мнъ прямо въ глаза, только такъ чудно; пожалъ мнъ руку и отошелъ, и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ у нихъ было, по-праздничному. Пообъдали они скоро. Вотъ послъ объда опъ и говорить женъ: "Послушайте, душенька, воть я немного прилягу", да и пошель на постель. Подозваль къ себъ дочку, положиль ей на головку руку и долго-долго гла-диль по головкъ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женъ: дескать, а что-жъ Иетинька? Петя нашъ, Петинька?.. Жена перекрестилась да и отвъчаетъ, что въдь онъ уже умеръ. – Да, да, знаю, все знаю: Петинька теперь въ царствъ небеспомъ.-Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говорнтъ ему: вы бы, душенька, заснули. - Да, - говорить, -я сейчась... я немножко... туть онъ отвернулся, полежалъ немного, потомъ оборотился, хотъль сказать что-то. Жена его не разслышала; спросила его: что, мой другъ? А онъ не отвъчаеть. Она подождала немного - ну, думаеть, уснуль,-- п вышла на часокъ къ хозяйкъ. Черезъ часъ времени воротилась-видить: мужъ еще не проснулся и лежить себь, не шелохиется. Опа думала, что спить, съла и стала работать что-то. Она разсказываеть, что она работала съ полчаса н такъ погрузилась въ размышленіе, что даже и не помнить, о чемъ она думала, говорить только, что она и позабыла объ мужъ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, н гробовая тишина въ комнатъ поразила ее прежде всего. Она посмотръда на кровать и видить, что мужъ лежить все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одъяло, смотритъ — а ужъ онъ холоднехонекъ - умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезанно умеръ, словно его громомъ убило. А отчего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до сихъ поръ опомниться не могу. Не върится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человъкъ. Этакой бъд-няга, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дъвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая ндеть; слъдствіе медицинское будуть дёлать... ужь не могу самъ навёрное сказать. Только жайко! Грустно подумать, что этакъ въ самомъ дълъ ни дня, ни часа не въдаешь!... Погибаешь ни за что...",

Что передъ этою картиною, написанною такою широкою и мощною кистію, что передъ нею мелодраматическіе ужасы въ пов'єстяхъ модныхъ французскихъ фельетонныхъ романистовъ! Какая страшная простота и истина! И кто все это разсказывасть?— ограниченный и см'єшной Макаръ Алекс'євичъ Д'євушкинъ!..

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частностиэтого романа: легче перечесть весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ целомъ, - превосходенъ. Упомянемъ только о носледнемъ письме Девушкина къ его Варинькъ: это слезы, рыданіе, вопль, раздирающіе душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тёмъ это пишетъ ограниченный, смешной Макаръ Алексвевичъ Девушкинъ! И, читая его, вы сами готовы рыдать-- и въ то же время вы улыбаетесь... Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчания въ этихъ простодушныхъ словахъ старика, теряющаго все, чёмъ мила была ему жизнь: "Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда вы вдете-то, маточка? Вы, можеть быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, воть какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный, пьяница, ходить...

Мы думаемь, что теперь кстати сказать нѣсколько словъ и о "Двойникѣ", хотя онъ и не относится къ "Петербургскому Сборнику". Какъ таланть необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,—и оно представляеть у него совершенно новый міръ. Герой романа—г. Голядкинъ—одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣ-шанныхъ и амбиціи людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что опъ ни состояніемъ, ни чиномъ,

ни мъстомъ, ни умомъ, ни способностями ръшительно не можеть ни въ комъ возбудить къ себъ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бъденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; н жить ему на свъть было бы совстмъ недурно; но болъзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено саблать адъ изъ его существованія. Если внимательные осмотрыться кругомы себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бедныхъ и богатыхъ, и глупыхъ и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгъ отъ одной своей добродетели, которая состоить въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскъ, не интриганъ, дъйствуеть открыто и идеть прямою дорогою. Еще въ началъ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умв. Итакъ, герой романа-сумасшедшій! Мысль смелая и выполненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ следить за ел развитіемъ, указывать на отдёльныя мёста и удивляться цёлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ "Двойникъ" еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ "Въдныхъ Людяхъ". А между тъмъ почти общій голось нетербургскихь читателей рішиль, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скучень, изъ чего-де и следуеть, что объ авторе напрасно прокричали, и что въ его талантъ нътъ ничего необыкновеннаго!.. Справедливо ли такое заключеніе? — Мы, не обинуясь, скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основание, какъ оно всегда бываеть въ сужденін непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что "Двойникъ" нисколько не растянуть, хотя и пельзя сказать, чтобъ онъ не быль утомителень для всякаго читателя, какъ бы глубоко и върно ни понималь и ни цениль онъ таланть автора. Дёло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываеть двухъ родовъ: одна происхолить оть бёлности таланта, - воть это-то и есть растянутость; другая происходить отъ богатства, особливо молодого таланта, еще несозрѣвшаго,--ее слъдуеть называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Если-бъ авторъ "Двойника" далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его "Двойника" все, что показалось бы намъ растянутымъ п излишнимъ,у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдъльное мёсто, потому что каждое отдёльное мёсто въ этомъ романъ-верхъ совершенства. Но дъло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мъсть въ "Двойникъ" ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляеть, и наскучаеть. Демьянова уха была сварена на славу, и сосъдъ фока ъль ее съ аппетитомъ и всласть; но, наконець, бъжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ "Двойника" еще не пріобр'єть себ'є такта м'єры и гарманіи, и оттого не совстмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости даже и "Въдныхъ Людей", хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ "Двойнику". Итакъ, въ этомъ отношенін, судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводъ о талантъ г. Достоевскаго. Самая эта чрезмфрная плодовитость только служить доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дёлать молодому автору? Продолжать ли идти своею дорогою, никого не слушая, или, желая угодить толив, стараться пріобръсти преждевременную, следовательно, искусственную зрелость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибъгнуть къ поддъльному чувству мъры?.. По нашему мивнію, обв эти крайности равно гибельны. Таланть долженъ идти своею дорогою, съ каждымъ днемъ, естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незралости; но въ то же время онъ долженъ, обязанъ "принимать къ сведенію", чемъ особенно недовольно большинство его читателей, н всего болъе долженъ остерегаться презирать его мнъніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мивнія, потому что оно почти всегда дваьно и справедливо.

Если что можно счесть въ "Двойникъ" растянутостью, такъ это частое и, мъстами, вовсе ненужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ, напримъръ: "Дожилъ я до объды, дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бъды... Эка бъда ведь какая!.. экая втодь бтода одолила какая!.." (стр. 347). Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романт найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой таланть, въ сознанін своей силы и своего богатства, какъ будто тъшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора действительнаго, юмора мысли и дъла, что ему смъло можно не дорожить

юморомъ словъ и фразъ.

Вообще "Двойникъ" носить на себъ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда вст его недостатки, но отсюда же и всв его достоинства. Тв и другія такъ твсно связаны между собою, что если-бъ авторъ теперь вздумаль совершенно передёлать свой "Двойникъ", чтобъ оставить въ немъ одив красоты, исключивъ всь недостатки, -- мы увърены, онъ испортиль бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это, съ одной стороны, показываетъ избытокъ юмора въ его таланть, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждато ему существа; но, съ другой стороны, это же самое сдълало неясными многія обстоятельства въ романъ, какъ-то: каждый читатель совершенно въ правъ не понять и не догадаться, что письма Вахрамъева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій сочиняеть самъ къ себъ, въ своемъ разстроенномъ воображенін, -- даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсемъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенномъ воображении, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя

и тесно связанные съ достоинствами и красотами целаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романъ только одинъ: почти всъ лица въ немъ, какъ ни мастерски, вирочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что.

Мы только слегка коснулись обоихъ произведеній г. Достоевскаго, особенно последняго; говорить о нихъ подробно значило бы зайти гораздо далье, нежели сколько позволяють предълы журнальной статьи. Такого неисчернаемаго богатства фантазін не часто случается встрічать и въ талантахъ огромнаго размѣра, -- и это богатство видимо мучитъ и тяготитъ автора "Ведныхъ Людей" и "Двойника". Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе чптать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ "Парижскія Тайны", "Вічный Жидъ" или "Графъ Монте-Кристо" были растянуты. И съ одной стороны чтецы такого рода правы: не всякому дано знать тайны искусства, также, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтеды имѣютъ полное право не знать ни причины, ни пстиннаго значенія того, что называють они "растянутостью"; они знають только, что чтеніе "Бѣдныхъ Людей" ивсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а "Двойникъ" не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свъдьнію. Да спасеть его богь вдохновенія отъ гордой мысли презирать мижніе даже профановъ искусства, когда они всё говорять одно и то же, такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намеренія подделываться подъ вкусъ толны и льстить ему: объ эти крайности—сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и ньсколько утомляясь чтеніемь "Двойника", все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до последней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдъльнымъ мъстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всёхъ. Что же касается до толковъ большинства, что "Двойникъ"-плохая повъсть, что слухи о необыкновенномъ талантъ его автора преувеличены, и т. п., — объ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его таланть принадлежить къ разряду тъхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолжение его поприща, явится талантовъ, которые будуть противопоставлять ему, но кончится тёмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнеть апоген своей славы. И теперь, когда явится его новая повъсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью посифиать схватиться тв самые люди, которые такъ мудро и окончательно решили по "Двойнику", что у него или вовсе итть таланта, или есть, да такъ себъ, небольшой...

Теперь намъ слёдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ по поводу "Вѣдныхъ Людей"; но мы чувствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположении духа, что хотимъ ограничиться совѣтомъ г. Достоевскому—перепечатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Иушкинъ, приложивній ко второму или третьему изданію "Руслана и Людмилы" всѣ критики и рецензіи, въ которыхъ бранили эту поэму...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ "Петер-

бургскаго Сборника".

"Три Портрета", разсказъ г. Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложенін, имъетъ всю заманчивость не повъсти, а скоръе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шелъ бы эни-

графъ: "Джла минувшихъ дней!"...

"Мартингалъ" (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевскаго, исполненъ интереса и по содержанію, и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ разсказъ былъ бы естественнѣе, если бы въ него не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ нѣмецъ и ученъ, едва ли бы молодой человѣкъ сталъ открывать свои завѣтныя и страшныя тайны, готовясь, можетъ быть, умереть насильственною смертію.

Къ отдълу разсказовъ въ альманахъ должно присовокуштъ и "Парижскія Увеселенія", легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся французы и какъ поддълываются подъ ихъ способъ веселиться русскіе, живущіе въ Парижъ. Эта статья тоже

интереспа.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цілыми двумя, и къ тому еще прекрасными, неэмами. "Номѣщикъ" г. Тургеневалегкая, живая, блестящая импровизація, псполненная ума, проніп, остроумія и градіп. Кажется, здѣсь талантъ г. Тургенева нашелъ свой истинный родь, и въ этомъ родь онъ неподражаемъ. Стихъ легокъ, поэтиченъ, блещетъ эпиграммою. Кто-то увъряль печатно, будто "Помъщикъ"подражаніе "Евгенію Онфгину": ужъ не "Энендф" ли Впргилія? Право, посл'єднее предположеніе ничъмъ не несправедливъе перваго. Первое произведеніе такого рода въ русской литератур'в принадлежить Дмитріеву, автору "Модной Жены". Оно было паписано въ духѣ и вкусѣ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ "Графъ Нулинъ" и "Домикф въ Коломиф". А объ "Опфгинф" тутъ и поминать нечего, какъ о произведенін совстмь другого и притомъ высшаго рода. Пусть успокоптся на этотъ счетъ почтенный критиканъ, одаренный такою удивительною способностью находить сходство тамъ, гдф его вовсе нфтъ. Что "Помфинкъ" г. Тургенева можетъ ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которымъ, напримфръ, очень не правится, что повъсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что талантъ Гоголя получилъ европейскую извастность); а намъ нравится (и притомъ еще какъ!) и "Помъщикъ" г. Тургенева, и то, что повъсти Гоголя изданы въ Парижъ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ "Помѣщику" приложены прекрасныя картинки, рисованныя г. Агинымъ. Мы очень рады случаю отдать должиую справедливость таланту этого молодого художника. Г. Тиммъ—безспорно лучшій рисовальщикъ въ Россіп, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотря на картинки г. Агина, невольно всномнишь стихъ Пушкина: "Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнеть". Его картинки къ "Помѣщику" — заглядѣнье!—за исключеніемъ, впрочемъ, четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началъ прошлаго года г. Майковъ подариль публику прекрасною поэмою-, Двѣ Судьбы"; въ началѣ нынѣшияго года онъ опять даритъ ее прекрасною поэмою---"Машенька". Разсказывать содержаніе новаго произведенія г. Майкова было бы излишие: оно такъ просто. У бъднаго чиновника соблазнили страстно любимую имъ дочь; увидавъ ее па гуляньт, на остробахъ, тдущую въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаеть ее; оставленная своимъ любовникомъ, бъдная Маша, которой вся вина состоить въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ п все. Сюжеть даже не новъ. Но въ художественномъ произведении дело не въ сюжете, а въ характерахъ, въ краскахъ и тфияхъ разсказа. Съ этой стороны поэма г. Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizine, какъ институтки, очерчены безподобно: но характеръ Маши, какъ геронни нозмы, не совсемъ ровенъ и определителенъ: чего-то недостаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы г. Майкова-то, что на вульгариомъ языкѣ называется соединеніемъ патетическаго элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣнье представлять жизнь въ ся истинъ. Этой истины много въ поэмъ. Особенно порадовала насъ въ ней прелесть комическаго разговора, который даеть надежду, что для таланта молодого поэта предстонтъ еще въ будущемъ богатое развитие въ такомъ родъ поэзін, къ которому, въ началь его поприща, никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красотъ поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для пояспенія и подтвержденія нашей мысли, выписываемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стоной, Одна съ больной, растерзанной душой: Дай силы умереть мив, правый Боже! Весь мірь—чужой мив... А отець?.. старикъ... Оставленный... и онъ... онъ прокляль тоже! За что-жъ? коть на него взглящуть бы мигъ, Все разсказать... а тамь—пусть проклинаеть! Она идетъ; сторонится народъ. Кто молча, кто съ угрозой, кто шепнетъ: "Безумная!" и въ страхв отступаетъ. И вотъ знакомый домикъ: меркнулъ депь, Зарей вечерией небо обагрилось, И длиниая по улицамъ ложилась Отъ фонарей, деревъ и кровель твиь. Вотъ садъ, скамья, пороещая травою Подъ ввтвями широкими березъ.

На ней старикъ. Последній клокъ волосъ Давно ужъ выпалъ. Въвдный, онъ казался Однимъ скелетомъ. Ветхій вицъ-мундиръ Не сиять: онъ, видно, снять не догадался, Прійдя отъ должности. Покой и миръ Его лица быль страшень: это было Спокойствіе отчаянья. Уныло Онъ только ждаль скорбй оставить міръ. Вдругъ слышить вздохъ, и листья задрожали Отъ шороха. "Что, ужъ не воры-ль тутъ? "А пусть все крадуть, пусть все разберуть, "Въдь ужъ они... они ее украли... Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ, II чудятся ему рыданья тоже, II голось: "Что я едълала съ нимъ, Боже!" Не зная какъ, опъ дочь ужъ обинмалъ, Не въ силахъ слова вымолвить.-Папаша, Простите!—,, Что, я разв'й зв'йрь иль жидъ?"
—Простите!—,,Полио! Богъ тебя простить! "А ты... а ты меня простишь ли, Маша?"

Мелкихъ стихотвореній въ "Петербургскомъ (борникъ" немного. Самыя интересныя изъ нихъ принадлежатъ перу издателя "Сборника", г. Некрасова. Они проникнуты мыслію; это-не стишки къ дѣвѣ и лунь; въ нихъ много умнаго, дъльнаго и современнаго. Лучшее изъ нихъ-, Въ Дорогъ". Изъ другихъ стихотвореній въ "Сборникъ" замъчательны переводы г. Тургенева: "Тьма", изъ Вайрона, и

"Римская Элегія", Гёте.

"Макбетъ" Шекспира, переведенный г. Кронебергомъ, одинъ заслуживалъ бы особой критической статын, потому что это переводъ классическій, вполн'в достойный подлинника. "Макбеть" — одно нзъсамыхъ колоссальныхъ и, вмёстё съ тёмъ, самыхъ чудовищныхъ произведеній Шекспира, гдф, съ одной стороны, отразилась вся исполниская сила творчества его генія, а съ другой-все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значенін відьмь, играющихь въ "Макбеть" такую важную роль: один хотили видить въ нихъ просто вѣдьмъ; другіе — олицетвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свиржиствовавшихъ на дит души его; третьи — поэтическія аллегоріи. Справедливо только нервое изъ этихъ мизній. Шекспиръ-можетъ быть, величайшій изъ всёхъ геніевъ въ сферѣ поэзін, какихъ только видѣлъ міръ; но въ то же время онъ былъ сынъ своего времени, своего въка, того варварскаго въка, когда разумъ человъческій едва началь пробуждаться отъ своего тысячельтияго сна, когда въ Европъ тысячами жили колдуновъ, и когда никто не сомитвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ нечистою силою. Шекспиръ не быль чуждъ слъпоты своего времени,---и, вводя въдьмъ въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думаль ділать изъ нихъ философическія олицетворенія и поэтическія аллегорін. Это доказывается, между прочимъ, и важною ролью, какую играеть въ "Гамлеть" тынь отца героя этой великой трагедін. "Другъ Гораціо, — говорить Гамлеть, -- на землё есть много такого, о чемъ и не бредила ваша философія". Это убъжденіе Шекспира, это говорить онъ самъ, или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видълъ и Богъ въсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходъ Вирнамскаго лѣса и въ томъ обстоятельствѣ, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденнаго женою. Дело оказалось чемъ-то вроде плохого каламбура; но такова творческая сила этого человіка, что, несмотря на всі нелізности, которыя ввель онь въ свою драму, "Макбеть" -- все - таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готическіе храмы среднихъ въковъ. Что-то сурово-величавограндіозно-трагическое лежить на этихъ лицахъ и ихъ судьбъ; кажется, имъешь дъло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ челов ческой природы, сколько рфшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!.. Вотъ доказательство, что время не губить генія, но геній торжествуєть надъ временемъ, и что каждый моментъ всемірно-историческаго развитія человъчества даеть равно-обильную жатву для поэзін. Пройдуть еще два вѣка, а можеть быть, и меньше, когда будуть дивиться варварству XIX стольтія, какъ мы дивимся варварству XVI; не найдуть въ немъ Шекспира, но найдуть Вайрона и Жоржа-Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человичество, а сппраль, гдв каждый послидующій кругь обширнье предшествующаго. Нашъ въкъ имъетъ передъ XVI то важное преимущество, что онъ заранве знаеть, въ чемъ последующіе віка должны увидіть его варварство...

У насъбыло довольно переводовъ стихами драмъ Шексипра. Лучшіе изъ нихъ досель принадлежали г. Вронченко (Гамлетъ и Макбетъ). Но переводы г. Вронченко, върно передавая духъ Шекспира, не передають его изящности. Г. Кронебергь умъль счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вфренъ и духу, и изящности подлинипка, исполненъ, въ одно и то же время, и энергіи, и легкости выраженія. Это ръшительно не только лучшій, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводь одной изълучинхъ трагедій Шекспира, также, какъ его же переводъ "Двънадцатой Ночи" ("Отечественныя Записки" 1841, томъ XVII) есть единственный и превосходный переводъ одной изъ прелестивищихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретическаго содержанія въ "Петербургскомъ Сборникъ". "Капризы и Раздумье", Искандера, автора повъсти: "Кто виноватъ?" (въ "Отечественныхъ Запискахъ" прошлаго года) и разныхъ статей литературно - философскаго содержанія есть родъ замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Йе можемъ удержаться, чтобъ не вышисать небольшого отрывка:

"Наука, государство, некусства, промышленность идуть, развиваясь во всей Европъ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предпрінмчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на восноминаніяхъ, привычкахъ и вибщинхъ необходимостяхъ; объ ней, въ самомъ дълъ, никто не думаетъ; для нея нътъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ,--не даромъ ее называють прозой, въ противоположность плаксивой жизии балладъ и глупой жизни идиллій. Только літа юности обстановлены похудожествениве; а потомь за послъдинмъ лирическимъ порывомъ любви-утомительное semper idem закулисной жизни, ежедневной жизни-это твеная спальия, душная детская, грязная кухня, гдъ гости пикогда не бывають. Конечно, въ последние три века много переменилось въ образъ жизни; впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убъжденіямъ, мьняя образъ жизии, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тъ же; люди, какъ иснанны, хотять только сохранить фугросы, несмотря на то, что большая часть ихъ не соотвътствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивишься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время совмъстить въ свой правственный колексъ стоическія сентенцін Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходки рыцаря среднихъ въковъ, самоотверженныя правоучения благочестивыхъ отшельниковъ степей онвандскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Везобразіе подобнаго смішенія принесло свой нлодъ, именно-мертвую мораль, -мораль, существующую только на словахь, а въ самомъ дълъ недостойную унравлять поступками; современная мораль не имъсть пикакого вліянія на наши дъйствія; это милый обмань, правственная благопристойность, одежда-не болбе. У каждаго человъка за его оффиціальной моралью есть свой спрятапный esprit de conduite; оффиціально онъ бу-цеть илакать о томъ, что бъдный бъденъ, оффипіально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины,-privatim онъ береть страшные проценты, privatim онъ считаетъ себя въ правъ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цень. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе слъдали то, что меньше дикихъ порывовъ н влвое больше илутовства, что редко человекъ скажеть другому оскоронтельное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижъ я меньше встръчаль шуринеровъ и эскарновъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имъть откровенную безиравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонь съ содроганіемъ говориль о гнусной привычкъ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ наъ учтивости, лжемъ наъ добродътели, лжемъ изъ порочности; дганье это, конечно, много способствуеть къ растленію, къ нравственному безсилію, въ которомъ родятся и умирають цълыя покольнія, въ какомъ-то чаду и тумань проходящія по земль. Между тьмь и это лганье сдылалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человъка благовоспитаннагопотому, что никогда не добъешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мивніе.

"Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тъхъ поръ не объяснить главивншихъ явленій всемірной жизии, пока не бросится въ міръ подробностей. Чего желалъ Наполеонъ-исполнилъ микроскопъ. Естествонспытатели увидёли, что не въ палецъ толстыя артерін и вены, не огромные куски мяса могуть разръшить важивншие вопросы физіологін, а волосяные сосуды, а клътчатки, волокиа, ихъ составъ. Употребление микроскопа надобно ввести въ правственный міръ, надобно разсмотръть инть за интью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываеть самые спльные характеры, самыя огненныя энергін. Люди никакъ не могуть заставить себя серьезно подумать о томъ, что они пълають дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочуть и думають обо всемь: о картахъ, о престахь, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдеть по

Невъ .- по объ ежедневныхъ, будинчныхъ отношеніяхъ, обо всёхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежать семейныя тайны, хозяйственныя дела, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр., и пр., -объ этихъ вещахъ ни за что въ свътъ не заставишь подумать: онт готовы, выдуманы. Паскаль говорить, что люди для того играють въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединъ съ собою, чтобъ не дать развиться угрызеніямъ сов'єсти. Очень віроятно, что, руководствуясь тъмъ же инстинктомъ, человъкъ не любить разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ на свътъ? Я, какъ маленькія дътн, боюсь темноты; мнъ все кажется, что въ темноть сидить злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачъмъ, кажется, прятать подъ это все равно: прячь не прячь-все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

> Was sich in dem Kämmerlein Still und fein gesponnen, Kommt—wie kann es anders sein? Endlich an die Sonnen.

"Изръдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракв частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься... для того, чтобы потомъ пачать судить и осуждать. Добръйшій человъкъ въ міръ, который не найдеть въ душъ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаеть доброе имя ближняго на основании морали, по которой онъ самъ не поступаетъ н которую прилагаеть къ частному случаю, разсказанному во всей его непонятности. "Его жена увхала вчера отъ него", — скверная женщина! Отепъ его лишилъ наслъдства", -скверный отецъ! Всякое судебное мъсто синсходительные осуждаеть, пежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двъсти льть тому назадъ Спиноза доказываль, что всякій прошедшій факть надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, - этого никакъ не растолкуеть. Ет тому же, чтобъ преступление обратило на себя внимание, падобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношенін похожн на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотръть, какъ цари, герои или по крайней мъръ полководцы и наперсинки ихъ кровь проливають, а не для того, чтобъ видеть мъщански проливаемыя слезы.

"Людямъ необходимы декорацін, обстановка, надинсь; мъщанниъ во дворянствъ очень удивился, узнавши, что опъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой,—мы кокочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили и подъ какой параграфъ кодекса,—

и мы не плачемъ надъ ними.

"Лафаржь отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слёдствіе было сдёлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравилюриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное—въ этомъ инкто не сомпѣвается: да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-инбудь подобнаго, разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ся нѣжные родители стояли передъ нею па колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣнье,

нхъ честь—продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего этн ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестять какимъ-то болѣзненио - жемужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкъ, когда она умретъ; и не мудрено: ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользають отъ химическихъ реагенцій и отъ туности людскихъ сужденій. "Чего недостаетъ этой женщинъ? она утопаеть въ роскоши",—говорять глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ,—себя наражаетъ: опъ се наряжаетъ потому, что она сего, па томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. "Все такъ,—говорять умнѣйшіе,—но, согласнвшись на просьбу родителей, она должна была благоразум-

нъе переносить свою судьбу". "А позвольте спросить: возможно ди *хрониче-*ское самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай, какъ звали, -- это понятно; а безпрестанио, цълые годы, каждый день приносить себя на жертву—да гдъ же взять столько геройства или столько ослинаго терпинья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву — такая жертва, само собою разумъется, не приносится ни отпу, ни матери, потому что они перестають быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, въроятно, не остановился на куплъ, потребоваль, сверхь страшныхь жертвь, оть которыхъ возмущается все человическое достониство, любви и, не найдя ея, началь, par dépit, тихое, кроткое семейное преслъдование, эту извъстную охоту par forse, преслъдование внимательное, какъ самая ибжная любовь, постоянное. какъ самая върная старуха-жена, преслъдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлъ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслъдованіемъ; оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ: одно для гостей, глупо улыбающееся, другое-для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гіены, сказаль бы я, еслибъ гіены улыбались: хищиые звъри добросовъстны,они не делають медовыхъ усть, когда хогять кусать. Умри жена, -супругь воздвигнеть монументь; объ немъ будуть жальть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольеть слезами ея гробъ и, для довершенія удара, слезами откровенными; онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и

"Людямъ непремѣнно надобны видимые знаки: несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. Воть видите этого толстаго мужчину съ усами— онъ ендѣль годъ въ тюрьмѣ",—и всѣ: "ахъ, Боже мой! бѣдный, онъ все вынесъ!" Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ мсжетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей,—съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣеть идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело—

не думалъ, что она умретъ.

Стихотворенія Аполлона Григорьева. Спб. 1846 г.

Стихотворенія 1845 г. Я. П. Полонскаго. Одесса. 1846 г.

Новый 1846 годъ, едва переживъ эпоху своего младенчества, едва вступивъ въ возрастъ своего юношества, уже, какъ говорится, надорвался въ

я это знаю лучше многихь, но ставить тюрьму рядомь съ семейными несчастіями—смѣшно. Люди, по своему несовершеннолѣтію, только тѣ несчастія считають великими, гдѣ дѣпи гремять, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ будто хирургическія бо-

лъзни сильнъе нравственныхъ.

"Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только коегдъ свътится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свъча, — на меня находить ужась: за каждой ствной мив мерещится драма, за каждой ствной видивются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свъдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекають не одни юношескія върованія, но всѣ върованія человьческія, а иногда н самая жизнь.--Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ъдять и пьють цълый день, тучнъють и спять безпробудно цълую ночь; да и въ такомъ домъ найдется хоть какая-нибудь племянница, притъсненная, задавленная, хоть горинчная нли дворинкъ, а ужъ непремвино кому-пибудь да солоно жить.

"Отчего все это? Я полагаю, что вещество больного мозга не совсёмъ еще выработалось въ продолжение шести тысячъ лётъ; оно еще не готово: оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить

домашній быть свой.

"Право, такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, ияньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, нгрушки, конфекты и прочее,—дъло дътское!"

Въ статъй своей "О характеръ народности въ древнемъ и новъйшемъ искусствъ" г. Инкитенко разсматриваетъ одинъ изъ интересивйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно ръшаетъ его съ свойственнымъ ему глубокомыслемъ и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народнымъ и общечеловъческимъ. Эту прекрасиую статью должно читать всю: отрывокъ не далъ бы о ней никакого нонятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О стать т. Вылискаго "Мысли и замытки о русской литературь", по извыстнымы публикы отношеніямы ея автора къ нашему журналу, мы не считаемы себя вы правы говорить, предоставляя судить о ней читателямы. Думаемы однако-жы, что, во всякомы случай, она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ "Петербургскаго Сборника" упредилъ наше о немъ сужденіе. Дивиться этому успѣху нечего: такой альманахъ—еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, виѣшняя изящность издапія,—все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

[Отечественныя Записки. Томъ XLV, 1846].

литературномъ отношенін,—и наша Библіографическая Хроника за мартъ мѣсяцъ поневолѣ является блѣдною и скудною; ей почти не о чемъ говорить. Книгъ больше пѣтъ, и все замѣчательное отселѣ будетъ являться только въ журналахъ, разумѣется, въ нетербургскихъ и, разумѣется, только въ двухъ... Въ Библіографической Хроникѣ май-

ской книжки намъ прійдется поговорить, въроятно, только о стихотвореніяхъ Кольцова, которыя выйдуть въ свѣть на-дняхъ. Итакъ, до осени... Не знаемъ, много ли и осень дастъ хорошаго; но, не боясь оказаться ложными прорицателями, можемъ заранѣе извѣстить публику о двухъ не совсѣмъ обыкновенныхъ въ нашей литературѣ явленіяхъ, которыми должна ознаменоваться осень нынѣшняго года: мы говоримъ объ огромномъ сборникѣ статей литературнаго и ученаго содержанія, въ которомъ, говорятъ, будетъ до восьми оригинальныхъ повѣстей и нѣсколько поэмъ въ стихахъ, и объ иллюстрированномъ юмористическомъ альманахѣ: "Сто статей и Сто картинъ". Но это—будущее, а обращаясь къ настоящему, видимъ только

247

говоримь о нихъ.

Выло время, когда всё твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе, что онъ ученъ безъ науки, всезнающь безъ ученія; что онъ самъ себѣ судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его ощущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ дѣйствительности, и что, поэтому, онъ можетъ не знать, что дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ говорить намъ, толиѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толиа, стоя на колѣняхъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себя счастливыми, если ему вздумается ругнуть насъ хоро-

стихотворенія гг. Григорьева и Полонскаго. По-

такое воззрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда геній могъ легко обходиться безъ всѣхъ наукъ, кромѣ азбуки, а въ геніи попасть можно было всякому, у кого была способность точить гладкіе стишки и было довольно мелкаго самолюбія, чтобъ вообразить себя выше "презрѣнной толпы", т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ, что-нибудь чувствують и, въ особенности, чѣмъ-нибудь занимаются, что-нибудь дѣ-лаютъ...

Теперь не то: всѣ кричать о необходимости знапія для поэта, объ пдеяхъ, о направленін, о сочувствін современной дійствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзін стали делаться поэтами, потому ли, что въ самомъ делё что-вибудь узнали и поняли, или потому, что задватили нфсколько чужихъ ходячихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣщными крайностями есть явленія, болѣе или менте заслуживающія вниманія, — но опятьтаки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію; другіе-обойтись безъ ума при помощи небольшого дарованія къ поэзін... И это естественно, потому что въ объихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и нътъ ея ни въ одной отдёльно-взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ ни знанія, ни ученость, ни умъ, ни ха-

рактеръ, ни даже способность глубоко чувствовать н понимать изящное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можно еще обойтись безъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравит съ своимъ векомъ; невозможно обойтись безъ живой, кровной симпатіп сь духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями, со всёмь добромь и зломъ своей эпохи. Однако-жъ и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторіяхъ, не почерпается изъ критики и библіографін. Ученіе, мысль могуть только развить и укрѣнить ее, но не могуть дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэтъ все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все-даже направленіе.

Не всякому быть геніемъ; и талантъ имфетъ право на общее внимание и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не съ своею собственною мыслію, но съ мыслію генія, покорившаго его своему неотразимому вліянію; зато пусть онъ возьметь эту мысль въ такой мара, въ какой доступна она его спламъ, пусть помнитъ, что усиле не есть сила, и нотомъ пусть проведеть эту мысль чрезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда онъ не только-таланть, но еще и заслуживающій вниманія таланть. Везь этого же онъ-просто талантъ, явление для многихъ, можеть быть, блестящее, но для всфхъ безилодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тёсно связанъ съ его натурою, его личностью. Везъ этого онъ только способность подражанія—не больше! Что нужды, если поэть не переводить, не заимствуеть, никому явно и съ намфреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ нпчего чужого: зато у него нать инчего своего, а это значить 0=0... Жуковскій-не оригинальный поэть, а переводчикъ; но вникните въ его переводы, и вы увидите, что такимъ нереводчикомъ надо было родиться. Жуковскій переводиль не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствие къ чему глубоко лежало въ его натуръ, какъ ея свойство, ея особенность...

Таланть, не связанный съ натурою поэта, какъ человека, какъ личности, есть таланть внешній. Если въ немъ нётъ никакого сочувствія съпдеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жальче онъ, если вздумаетъ ночериать это сочувствіе изъ книгъ...

На такія мысли невольно навели насъ двѣ небольшія кинжки, заглавія которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ г. Григорьева, помѣщавшихся въ одномъ изъ нетербургскихъ періодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній г. Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли ее больше, чѣмъ съ принужденіемъ—почти со скукою. Дѣло въ томъ,

что изъ нея мы окончательно убъдились, что опъ не поэть, вовсе не поэть. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзін, но поэзін ума, негодованія. Видишь въ нихъ умъ, чувство, но не видишь фантазін, творчества, даже стиха. Правда, мъстами стихъ его бываетъ спленъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованіемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дійствительности (какъ, напримёрь, въ разсказё "Олимий Радинъ", мимоходныя зам'ятки о Москв'я, о семейственности). Въ лиризмъ же его стихъ прозанченъ, негладокъ, нескладенъ, вялъ. Вездъ один разсужденія, нигдъ образовъ, картинъ. Сверхъ того, пасосъ лиризма г. Григорьева однообразенъ, не столько личенъ, сколько эгонстиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Г. Григорьевъ-почти неизмѣнный герой своихъ стихотвореній. Онъ півець вічно одного и того же предмета—собственнаго своего страданія. Въ наше время страданія нипочемъ, — мы всё страдаемъ нановаль, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который, своимъ могущественнымъ вліяніемъ, всѣ литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это начинало-было выходить изъ моды; но примъръ Лермонтова вновь вывелъ на свътъ нъсколько страдальцевъ. Правду говорятъ, что подражатели доводять до крайности мысль своего образца, напоминая этимъ знаменитое изреченіе Наполеона: Du sublime an ridicule il n'y a qu'un pas... Герон Лермонтова—натуры субъективныя, которыя скорфе готовы разрушить и себя, и міръ, нежели поддѣлываться подъ то, что отвергаетъ ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они борются съ нею или гордо падають подъ ея ударами, но говорять просто и не щеголяють страданіемь. Г. Григорьевь силится сдівлать изъ своей поэзін апооеозу страданія, но читатель не сочувствуеть его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера,и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманъ. Какое это страданіе, отчего оно-Вогъ въсть! Есть ли это гордость ума, эгонзмъ могущественной натуры, сила отриданія, при жаждѣ истины?—Едва ли знаетъ это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ г. О. Глинки; а въ его "разныхъ стихотвореніяхъ" проглядываетъ скептицизмъ, отзывающійся больше неуживчивостью безпокойнаго самолюбія, нежели тревогами безпокойнаго ума. Не много есть у г. Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о "гордости страданья", о "безумномъ счастін страданья". Это значить сдёлать изъ страданья ремесло, - что кажется намъ не совстмъ истиннымъ и не совсъмъ естественнымъ. "Гордость страданіемъ" — сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать и, разумъется, стихами, но какимивотъ вопросъ! "Безумное счастье страданья"вещь возможная, но это-ненормальное состояніе человака, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастіе отъ счастія, но счастіе отъ

страданія, —воля ваша — отъ него надо лёчнться — классицизмомъ здраваго смысла, полезной д'яттельностью и безпритязательностью на превосходство надъ остальными слабыми смертными...

Можетъ быть, мы ошибаемся; но въ такомъ случать мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія г. Григорьева, мы всетаки видтли въ нихъ не совствъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дълаетъ его поэтомъ. Для доказательства выписываемъ его прекрасное стихотвореніе "Городъ":

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ, Но не за то, за что другіе; Не зданія его, не нышный блескъ палатъ И не гранпты въковые Я въ немъ люблю, о, нътъ! Скорбящею душой Я прозръваю въ немъ иное,— Его страданіе подъ ледяной корой, Его страданіе больное.

Пусть почву шаткую онъ заковалъ въ гранить, И защитилъ ее отъ моря, И пусть сурово онъ въ самомъ себъ таптъ Волнепье радости и горя, И пусть его рѣка къ стопамъ его песетъ И роскоши, и нъти дани,— На нихъ отпечатлънъ тяжелый слъдъ заботъ, Людского пота и страданій.

И пусть горять свётло огии его палать, Пусть слышны въ нихъ веселья звуки,— Обмань, одинъ обмань! Они не заглушать Безумно-етрашныхъ стоновъ муки! Страданіе одно привыкъ я подмёчать: Въ окнъ-ль съ богатою гардиной, Иль въ темномъ уголку,— вездъ его печать! Страданье уровень единой!

И въ тъ часы, когда на городъ гордый мой Ложится ночь безъ тъмы и тъни, Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной Рой отвратительныхъ видъній...
Пусть ночь ясна, какъ день, пусть тихо все вокругъ,
Пусть все прозрачно и спокойно,—

Пусть все прозрачно и спокойно,— Въ поков томъ затихъ на время злой недугъ, И то-прозрачность язвы гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой піесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ. Выпишемъ еще піесу:

Нѣтъ, не тебѣ ндтн со мной Къ высокой цѣли бытія,
ІІ не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.
Я не тебя въ тебѣ любилъ,
Но лучшей участи залогъ,
Но ту печать, которой Богъ
Твою природу заклеймилъ.
ІІ думалъ я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что противъ свѣта и судьбы
Ты въ силахъ голову поднять.
Но дорогъ судъ тебѣ людской,

И мивнье дорого рабовь, Не ненавидишь ты оковъ: Мой путь иной, мой путь не твой. Тебя молить я слишкомъ гордъ,-Мы не равны ни здёсь, ни тамъ,-И въ хоръ звъздъ не слиться намъ Въ созвучій родственныхъ аккордъ. И пусть твой образъ роковой Мив никогда не позабыть.. Мнъ стыдно женщину любить-И не пазвать ее сестрой.

И опять-таки, несмотря на ощутительный недостатокъ поэтическаго выраженія, мы готовы были признать это стихотвореніе вполив прекраснымъ, если-бъ его не испортила риторическая фраза:

> И въ хоръ звъздъ не слиться намъ Въ созвучій родственныхъ аккордъ.

Но что такое, напримёрь, стихотвореніе "Героямъ нашего времени"?--

Нъть, пъть-нашъ путь нной... И дикъ, п страшенъ вамъ, Чернильныхъ жаркихъ битвъ копеечнымъ бойцамъ,

Подъятый факель Немезиды; Вамъ низость по душъ, вамъ смъхъ страшнъе зла, Вы сердцемъ любите лишь лай изъ-за угла, Да бой пътушій за обиды! И гдъ же вамъ любить, и гдъ же вамъ страдать Страданіемъ любви Распятаго за братій? Н гдъ же вамъ чело безтрепетно подъять Подъ взмахомъ топора общественныхъ понятій? Нъть, нъть-нашъ путь иной, и кресть не вамъ нести:

Тяжель, не по плечамь, и вы на полнути Сробъете предъ общимъ крикомъ, Зане на трапезъ божественной любви Вы не причастники, не ратоборцы вы О благородномъ и великомъ. II жребій жалкій вашъ, до пошлости смъщной, Пророки ваши вамъ воспълн... За сплетни праздныя, за эгонзмъ больной, Въ скотскомъ безстрастін и съ гордостью нѣмой, Везъ сожалънія и цъли, Безумно погибать и завъщать друзьямъ Всю пустоту души и весь печальный хламъ Пустыхъ и дътскихъ грезъ, да шаткое безвърье; Иль цёлый векъ звонить досужимъ языкомъ О чуждомъ вовсе вамь великомъ и святомъ, Съ богохуленьемъ лицем фрья.. Нътъ, нътъ-нашъ путь ниой!-Вы не видали ихъ, Египта древняго живущихъ изваяній, Съ очами тихими, недвижныхъ и нъмыхъ, Съ челомъ сіяющимъ отъ царственныхъ вънчаній. Вы не видали ихъ, — въ недвижныхъ ихъ чертахъ Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашиаго

Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья По волъ Въчнаго начертана въ звъздахъ; Но вы не зрълн ихъ, не видъли межъ нами II тъми сфинксами таинственную связь... Иль если-бъ видъли, -- нечистыми руками Сь подножій совлекли-бъ, чтобъ уронить ихъ съ

Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинъ этого стихотворенія, между плохими стихами, есть и удачные, и смыслъ виденъ; но что такое хотълъ сказать авторъ своими "египетскими изваяніями"-Богъ въсть!

Г. Григорьевъ можетъ писать; но ему нужно сознать значение и характеръ своего таланта. По

нашему мивнію, ключь къ этому сознанію находится въ латинскомъ эпиграфѣ къ одной изъ неудачныхъ піесъ его: "Fecit indignatio versum". Но онъ вовсе не лирическій поэть, и, делая себя героемъ своихъ стихотвореній, опъ только путается въ неопредівленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ. Ниша, онъ долженъ забыть о Лермонтовъ, или сумъть взять оть него только свое, не касаясь чужого. Мы не отридаемъ въ г. Грегорьева, какъ въ человъкъ, некакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобъ онъ ссторожние и умиренние говорили въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послед-

Еще замічаніе: г. Григорьевъ любить употреблять слово зане, и это выходить у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употребиль его только разь въ "Ворисв Годуновв", очень довко, кстати и на мъстъ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотворенін своемъ "На Смерть Гёте", гдѣ оно вышло тоже не совсѣмъ не на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзін, заміняя книжное пбо в прозанческое потому что; но- usus tyrannusстарая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того

пе введеть г. Григорьевъ...

Г. Полонскій находится въ обратномъ отношенів къ г. Григорьеву. У него больше самостоятельнаго элемента поэзін, — слідовательно, больше таланта, но ни съ чёмъ не связанный, чисто внёшній таланть этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ — такъ миніатюренъ онъ... Заглавіе: "Стихотворенія 1845 года" — об'єщаеть намъ длинный рядь небольшихъ книжекъ; объщание нисколько не утъшительное! "Стихотворенія 1845" ужъ хуже стихотвореній, изданных въ 1844 году... Это плохой признакъ... Г. Григорьеву есть о чемъ писать, по недостаеть способности къ формѣ, - хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаетъ его; но г. Полонскому рашительно не о чемъ нисать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкій, а иногда и дъйствительно поэтическій стихъ... Это заставляеть его прибъгать, за отсутствиемъ мысли, къ уминчанью и хитрымъ рефлексіямъ. Прочтите его "Факиръ и Ключъ": что это такое? Сто пудовъ посредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаетъ к расплететь эту путаницу словъ и стиховъ!.. Къ числу піесъ, подобно "Факиру и Ключу" отличающихся понятностію, принадлежать также "Историку" и "Юноша и Вѣкъ". Вообще въ этой книжкъ стихотвореній г. Полонскаго попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мъста; но рѣшительно нѣтъ ни одного удачнаго стихотво-

Въ примъръ лучшаго приводимъ "Тани":

По небу синему тучки плывуть, По лугу тени широко бегуть; Тъни-ль толпой на меня налетять, Дальнія горы подъ солнцемъ блестять; Солнце-ль внезапно меня озарить, Тънь по горамъ полосами бъжить. Такъ на душъ человъка порой Думы, какъ тънн, проходять толпой;

Такъ иногда вдругъ тепло и свътло Ясная мысль озаряеть чело.

А вотъ въ примъръ пошлости содержанія и формы:

Вы, ленты измятыя— Секреты любви!
Вы, письма завътныя— Тираны мон!
Вы, пряди отръзанныхъ на память волосъ— Свидътели тайные Растраченныхъ слезъ...
Печали свидътели!
Вы миъ, такъ и быть, Признайтесь хоть на ухо, Что весело жить...

Очень хорошо-съ!..

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній г. Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые и прежде приходили намъчасто на память, но никогда такъ кстати, какътеперь:

Какъ язвы, бойся вдохновенья... Оно—тяжелый бредъ души твоей больной, Иль плинной мысли раздраженье! Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи... То кровь книитъ, то силъ избытокъ...

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ Открыть въ душѣ давно безмолвной Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ. Простыхъ и сладкихъ звуковъ нолный,— Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ, Набрось на нихъ покровъ забвенья: Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ Не передашь ты ихъ значенья. Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей, Зайдетъ ли страсть съ грозой и вьюгой— Не выходи на шумный пиръ людей Съ своею бѣшеной подругой; Не унижай себя. Стыдися торговать То гнѣвомъ, то тоской послушной, И гпой душевныхъ ранъ надменно выставлять На диво черни простодушной. Какое дѣло намъ, и проч.

Читая стихотворенія г. Полонскаго, мы почему-то невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика добраго стараго времени, Кантемира:

Уме педозрёлый, плодъ недолгой науки! Покойся, не понуждай къ перу мон руки!

[Отечественныя Записки. Томъ XLV, 1846]

1847

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА.

Настоящее есть результать прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому говорить о русской литературѣ 1846 года значитъ говорить о современномъ состоянін русской литературы вообще, чего нельзя сдёлать, не коснувшись того, чёмъ она была, чёмъ должна быть. Но мы не вдадимся ни въ какія историческія подробности, которыя завлекли бы насъ далеко. Главная цель нашей статьи познакомить заранъе читателей "Современника" съ его взглядомъ на русскую литературу, -- слъдовательно, съ его духомъ и направленіемъ, какъ журнала. Программы и объявленія, въ этомъ отношеніи, ничего не говорять: они только объщають. И нотому программа "Современника", по возможности краткая и немногословная, ограничилась только объщаніями чисто-вижиними. Предлагаемая статья, вмёстё съ статьею самого редактора, напечатанною во второмъ отдёленін этого же нумера, будеть второю, внутреннею, такъ сказать, программою "Современника", въ которой читатели могуть сами, до извъстной степени, повърять объщанія исполненіемъ.

Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвъчали бы: въ болъе и болъе тъсномъ сближеніи съ жизнію, съ дъйствительностію, въ большей и большей близости къ зрълости и возмужалости. Само собою разумъется, что подобная характеристика можетъ относиться только къ литератур' недавней, молодой и притомъ возникшей не самобытно, а вслёдствіе подражательности. Самобытная литература зрѣетъ вѣками, и эпоха ея зрѣлости есть въ то же время и эноха числительнаго богатства ея замівчательных произведеній (chef-d'oeuvres). Этого нельзя сказать о русской литературъ. Ея исторія, какъ и исторія самой Россін, не похожа на исторію никакой другой литературы. И потому она представляеть собою эрълище единственное, исключительное, которое тотчасъ делается страннымъ, непонятнымъ, почти безсмысленнымъ, какъ скоро на нее будутъ смотреть, какъ на всякую другую епропейскую литературу. Какъ и все, что ни есть въ современной Россіи живого, прекраснаго и разумнаго, наша литература есть результать реформы Петра Великаго. Правда, онъ не заботился о литературт и ничего не сдълалъ для ея возникновенія, но онъ заботился о просвѣщенін, бросивъ въ плодовитую землю русскаго духа семена науки и образованія, -- и литература, безъ его вѣдома, явилась впослѣдствін сама собою, какъ необходимый результать его же деятельности. Въ томъ-то, скажемъ мимоходомъ, и состояла органическая жизненность преобразованія Петра Великаго, что оно породило много и такого, о чемъ онъ, можетъ быть, и не думалъ, чего онъ даже и не предчувствовалъ. Даровитый и умный Кантемиръ, вполовину подражатель, вполовину перелагатель на русскіе нравы сатиръ римскихъ поэтовъ (преимущественно Горація) и ихъ подражателя и перелагателя на французскіе правы — Буало, Кантемиръ, съ его силлабическимъ размъромъ, съ его языкомъ, полукнижнымъ, полународнымъ, который, по самой этой смёси, былъ языкомъ образованнаго общества того времени, Кантемиръ и, вследъ за нимъ, Тредьяковскій, съ его безплодною ученостію, съ его бездарнымъ трудолюбіемъ, съ его схоластическимъ педантизмомъ, съ его неудачными попытками усвопть русскому стихотворству правильные тонические размеры и древніе гекзаметры, съ его варварскими виршами и варварскимъ двоекратнымъ переложениемъ Роллена, — Кантемиръ и Тредьяковскій были, такъ сказать, прологомъ, предисловіемъ къ русской литературъ. Отъ смерти перваго прошло съ небольшимъ сто два года (онъ умеръ 31 марта 1744 года); отъ смерти второго прошло только съ небольшимъ 77 лътъ (онъ умеръ 6 августа 1769 года). Тредьяковскій быль еще въ цвѣтѣ своей славы и еще только шесть леть величаль себя "профессоромъ элоквенцін и хитростей пінтическихъ", еще молодой, но больной, слабый и уже близкій къ смерти, Кантемиръ былъ живъ *), когда, въ 1739 году, двадцати-восьмилътній Ломоносовъ-Петръ Великій русской литературы-прислаль изъ намецкой земли свою знаменитую "Оду на взятіе Хотина", съ которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы. Все, что сделано было Каштемиромъ, осталось безъ следа и вліянія въ книжномъ мірт; все, что было сделано Тредьяковскимъ, оказалось неудачнымъ, —даже его попытки ввести въ русское стихотворство правильные тонические метры... Поэтому ода Ломоносова показалась всёмъ первымъ стихотворнымъ произведеніемъ на русскомъ языкъ, которое было написано правильнымъ размъромъ. Вліяніе Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, какъ вліяніе Петра Великаго на Россію вообще: долго литература шла по указанному имъ ей пути, но наконецъ, совершенно освободясь отъ его вліянія, пошла по дорогь, которой самъ Ломоносовъ не могъ ни предвидеть, ни предчувствовать. Онъ далъ ей направление книжное, подражательное, и оттого, новидимому, безилодное п безжизненное, слъдовательно, вредное и губительное. Это совершенная правда, которая, однако-жъ, нисколько не умаляетъ великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимаеть у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорять о Петрѣ Великомъ наши литературные старообрядцы? И надо сказать, что ихъ ошибка состоить не въ томъ, что они говорять о Петръ Великомъ и созданной имъ Россіи, а въ томъ, какое они выводять изъ этого следствее. По ихъ мивнію, реформа Петра убила въ Россіп народность, а следовательно и всякій духъ жизни, такъ что Россіи для своего спасенія не остается ничего другого, какъ снова обратиться къ благодатнымъ

полупатріархальнымъ правамъ эпохи Коннхина. Повторяемъ: ошнбаясь въ выводъ, они правы въ положеніп, и поддёльный, искусственный европензмъ Россіи, созданный реформою Петра Великаго, д'ійствительно можетъ казаться не болье, какъ внъшнею формою безъ внутренняго содержанія. Но развъ нельзя того же самаго сказать о всъхъ поэтическихъ и ораторскихъ опытахъ Ломоносова? За что же, по какому же странному противоръчію съ собственнымъ своимъ взглядомъ эти самые люди благоговфють передь именемь Ломоносова и съ странною раздражительностію принцмають за преступление всякое свободное мижние объ этомъ риторѣ и въ поэзіп, и въ краснорѣчін? Не было ли бы, съ ихъ стороны, гораздо послъдовательные и сообразные съ логикою и здравымы емысломъ и на Ломоносова смотрить такъ же точно, какъ смотрятъ они на Петра Великаго?..

Чужое, извить взятое содержание никогда не можеть замёнить, ни въ литературь, ни въ жизни, отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія; по оно можеть переродиться въ него со временемъ, какъ шица, извит принимаемая человъкомъ, перерождается въ его кровь и илоть и поддерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдълалось съ Россіею, созданною Петромъ, и русскою литературою, созданною Ломоносовымъ; но что это дъйствительно сдълалось и дълается съ ними — это историческій фактъ, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибовдова, произведенія Пушкина, Лермонтова и, въ особенности, Гоголя, -- сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы,—п вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи; вы подумаете, что въ русской литературт все случайно-и таланть, и геній; а можеть ли имъть какую-инбудь важность случайное: не есть ли это призракъ, мечта? И дъйствительно: было время, когда вопросъ-есть ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разржшенъ былъ въ отрицательномъ смыслъ. И такое рѣшеніе естественно и неизбѣжно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы наконецъ поняли, что у Россіп была своя исторія, нисколько не похожая на исторію ни одного европейскаго государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ея же самой, а не на основаніи исторій, ничего не имфющихъ съ нею общаго, европейскихъ народовъ. То же н въ отношенін къ исторіи русской литературы. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школою действительно истъ ничего общаго, никакой связи, если сравнивать ихъ, какъ двѣ крайности; ио между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать, въ хронологическомъ порядкъ, встхъ русскихъ пнсателей, отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы уви-

^{*)} Кантемиру тогда быль 31 годъ, а Тредьяковскому—36 лють.

дите, что, до Пушкина, все движение русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и безсознательномъ, освободиться отъ вліянія Ломоносова и сблизиться съ жизнію, съ действительностію, —сл'єдовательно, сд'єлаться самобытною, національною, русскою. Если въ произведеніяхъ Хераскова и Петрова, такъ незаслуженио превознесенныхъ современниками, нельзя увидёть ни малёйшаго прогресса въ этомъ отношенін, — зато прогрессъ есть уже въ Сумароковъ, писателъ безъ генія, безъ вкуса, почти безъ таланта, но на котораго современники смотрили, какъ на соперника Ломоносова. Понытки Сумарокова, хотя и неудачныя, на комедію изъ русскихъ нравовъ, его сатиры, а главное-его простодушно-желчныя выходки противъ "крапивнаго семени", равно какъ и некоторыя прозаическія статьи, более или мене касавшіяся вопросовъ современной ему действительности, — все это показываетъ какое-то стремленіе на сближение литературы съ жизнію. И въ этомъ отношенін сочиненія Сумарокова, лишенныя всякаго художественнаго или литературнаго интереса, заслуживають изученія, также, какъ имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потомъ столько же несправедливо унижаемое, заслуживаетъ уваженія въ потомствѣ. Нельзя смотрѣть, какъ на безполезныя явленія, даже и на Хераскова съ Петровымъ: современники видели въ нихъ геніевъ, превозносили ихъ до седьмого неба, стало быть, читали ихъ, а если читали, — стало быть, эти писатели сильно способствовали распространению въ Россін вкуса къ занятію и наслажденію литературою. Везобразныя притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французскихъ басенъ въ басняхъ Хеминцера и Дмитріева, а въ басняхъ Крылова онв явились впоследствіи превосходными народными произведеніями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговъвшій даже передъ Херасковымъ и Петровымъ, Державинъ, если не быль самобытнымъ русскимъ поэтомъ, то уже не былъ и только риторомъ. Одаренный отъ природы великимъ поэтическимъ геніемъ, онъ потому только не могъ создать самобытной русской поэзін, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественныхъ силъ и средствъ. Русскій языкъ былъ тогда еще не выработанъ, духъ книжничества и риторики царилъ въ литературћ; но главное-тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной, потому что тогда не было общества, а быль только дворъ, на который всё смотрёли, но который знали только принадлежавние къ пему. Не было общества, не было н общественной жизни, общественныхъ питересовъ; поэзін и литературѣ неоткуда было брать содержаніе, и потому онъ существовали и поддерживались не сами собою, а покровительствомъ сильныхъ и знатныхъ, и носили характеръ оффиціальный. Такъ должно смотрать на эту эпоху, сравнивая ее съ нашею; по не такъ должно смотръть на нее, сравинвая ее съ эпохою Ломоносова: туть быль, сравинтельно, большой прогрессъ. Если въ это время еще не было общества, зато именно въ это время

оно зарождалось, нотому что блескъ и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднемъ дворянствъ, и тогда же начали устанавливаться въ немъ тѣ нравы, которые мы видимъ теперь. И потому, кромѣ огромной разницы въ поэтическомъ генін, Державинъ уже имълъ передъ Ломоносовымъ большое преимущество и со стороны содержанія для своей поэзін, хотя онъ былъ человѣкомъ безъ образованія, не только безъ учености. Поэтому поэзія Державина далеко разпообразнъе, живъе, человъчнъе со стороны содержанія, нежели ноэзія Ломоносова. Причина этого не въ томъ только, что Ломоносовъ быль больше превосходный стихотворецъ, нежели поэтъ, тогда какъ Державниъ отъ природы получиль поэтическій геній, но и въ сравнительномъ усивхв общества временъ Екатерины Великой передъ обществомъ временъ императрицъ Анны и Елизаветы.

По этой же причинъ литература екатерининскаго времени ръшительно заслоняетъ собою предшествовавшую ей литературу. Кромѣ Державина, въ то время быль Фонвизинь—первый даровитый комикъ въ русской литературѣ, инсатель, котораго теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслаждение. Въ его лицъ русская литература, какъ будто даже преждевременно, сдёлала огромный шагъ къ сближенію съ дъйствительностію: его сочиненія-живая лътопись той эпохи. Въ это же время литература наша отъ древнихъ литературъ, изучавшихся въ семинаріяхъ и на семинарскій ладъ, начала исключительно наклоняться къ французской литературъ. Всябдствіе этого начали хлопотать о такъ называемой легкой литературф, въ которой блисталъ Богдановичъ. Къ концу царствованія Екатерины явился Карамзинъ, давшій русской литературѣ новое направленіе. Мы не будемъ говорить о его великихъ заслугахъ, его великомъ вліянін на нашу литературу н, черезъ нее, на образование нашего общества. Мы не будемъ также входить въ подробности о слъдовавшихъ за нимъ инсателяхъ. Скажемъ коротко, что въ каждомъ изъ нихъ видно постепенное освобождение отъ книжнаго, риторическаго направленія, даннаго Ломоносовымъ нашей литературф, н постепенное сближение литературы съ обществомъ, съ жизнію, съ дъйствительностію. Загляните въ лицейскія стихотворенія Пушкина, даже во многія изъ піесъ въ первой части его сочиненій, имъ самимъ изданныхъ,---и вы увидите въ нихъ вліяніе почти всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова включительно. Васнописсцъ Крыловъ, предшествуемый Хемницеромъ и Дмитріевымъ, такъ сказать, приготовиль языкъ и стихъ для беземертной комедін Грибойдова. Стало быть, въ нашей литератури всюду живая историческая связь, новое выходить изъ стараго, послёдующее объясияется предыдущимъ, и пичего не является случайно. "Но, -- спросять насъ, можеть быть, -- въ чемъ же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга последующихъ писателей состояла въ постепенной эманципацін русской литературы изъ-подъ его вліянія, —слѣдовательно, въ томъ, что они старались писать не такъ, какъ онъ писалъ? И не странное ли это противоръчіе—говорить съ уваженіемъ о заслугахъ и геніи писателя, котораго вы же сами называете

риторомъ?"

Во-первыхъ, Ломоносовъ нисколько не былъ риторомь по его натурь: для этого онь быль слишкомъ великъ; но его сублали риторомъ не отъ него зависъвнія обстоятельства. Его сочиненія раздъляются на ученыя и литературныя; къ последнимъ мы относимъ оды, "Петріаду", трагедін, —словомъ, вев стихотворные его оныты и похвальныя слова. Въ его ученыхъ сочиненіяхъ по части астрономін, физики, химіи, металлургін, навигацін—нізть риторики, хотя они и писаны длинными періодами по латино-ифмецкой конструкцій, съглаголами въ концѣ; но его стихотворныя произведенія и нохвальныя ръчи препсполнены риторики. Отчего же это? Оттого, что для ученыхъ своихъ сочиненій у него было готовое содержаніе, которое добыть онъ себѣ наукою и трудомь въ нѣмецкой землѣ, и котораго ему не пужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Пріобрътенное ученіемъ и трудомъ онъ развилъ п увеличилъ собственнымъ геніемъ. Стало быть, онъ зналъ, что писаль, и не нуждался въ риторикъ. Содержанія же для своей поэзін онъ не могъ найти въ общественной жизни своего отечества, нотому что тутъ не было не только сознанія, но и стремленія къ нему, -- стало быть, не было никакихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ; слъдовательно, онъ долженъ былъ взять для своей поэзін совершенно чуждое, но зато готовое содержаніе, выражая въ своихъ стихахъ чувства, понятія и иден, выработанныя не нами, не нашею жизнію и не на нашей почвъ. Это значило сдълаться риторомъ попеволъ, потому что понятія чуждой жизни, выдаваемыя за понятія своей жизни, всегда риторика. Еще болѣе риторикою были въ то время европейскіе кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблен, менуэты н т. д. Но кто же, кроми теоретиковъ и фантазеровъ, скажетъ, чтобы теперь европейская одежда и правы не сделались національными для лучшей, т. е. образованнъйшей части русскаго общества, нисколько не мѣшая ему быть русскимъ на самомъ дълъ, а не по названию только? Скажемъ болѣе: въ отношении не только къ образованнъйшей части русскаго общества, но и всего народа русскаго, теперь сдилались чистою риторикою всѣ понятія, опредѣленія и слова допетровскаго русскаго быта,--и если бы военные и гражданскіе чины наши были переименованы въ стратеговъ, бояръ, стольниковъ и т. п., - простой народъ тутъ ровно ничего бы не понялъ. То же самое, благодаря Ломоносову, совершилось и въ литературномъ мір'є: вей подделки подъ народность теперь пахнуть простонародностію, т. е. пошлостію, и всё попытки въ этомъ родё самыхъ даровитыхъ писателей отзываются риторикою.

"Но какимъ же чудомъ, — спросять насъ, внёшнее, абстрактное заимствованіе чужого и искусственное перенесеніе его на родную почву, — ка-

кимъ чудомъ могло породить оно живои органическій плодъ?"—Въ отв'ять на это скажемъ то же, что уже говорили: ръшение этого вопроса, безъ сомивнія, интересно; но намъ нътъ дъла до него: для насъ довольно сказать: что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достов врности котораго не можеть и подумать опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобы видъть, и уши, чтобъ слышать. Инсатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движение черезъ освобождение литературы русской отъ ломоносовскаго вліянія, нисколько не думали объ этомъ; это дълалось у нихъ безсознательно; за нихъ работалъ духъ времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговили передъ его геніемъ, старались подражить ему и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примъръ этого-Державинъ. Но въ томъ-то и состоить жизненность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не косифетъ въ мертвой стоячести, но движется, идетъ внередъ, развивается. Если бы Ломоносовъ не вздумалъ инсать одъ по образцу современныхъ ему итмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жанъ-Батиста Руссо, не вздумаль писать своей "Петріады" по образпу Вприплиевой "Эненды", гдф, вмфстф съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдёлалъ дъйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прохладнаго Белаго моря; если бы, говоримъ мы, вийсто всйхъ этихъ книжныхъ, школярныхъ нелъпостей, опъ обратился бы къ источникамъ нашей народной поэзіп—къ "Слову о Полку Игоревомъ", къ русскимъ сказкамъ (извъстнымъ теперь по сборнику Кирши Данилова), къ народнымъ пъснямъ, и, вдохновленный, проинкнутый ими, на ихъ чисто-народномъ основании, ръшился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? Вопросъ, повидимому, важный, но въ сущности препустой, похожій на вопросы вроди слидующихи: что было бы, если бы Нетръ Великій родился во Франціи, а Наполеонъвъ Россін? или: что было бы, если бы за зимою слъдовала не весна, а прямо лѣто? ит. п. Мы можемъ знать, что было и что есть; но какъ намъ знать, чего не было или чего нътъ? Разумъется, и въ сферъ исторіи все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не такъ, какъ было; но ея великія событія, имінощія вліяніе на будущность народовъ, не могуть быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бывають, разумьется, въ отношени къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленія. Петръ Великій могъ построить Петербургъ, пожилуй, тамъ, гдъ тенерь Шлиссельбургъ, или, по крайней мъръ, хоть немного выше, т. е. дальше отъ моря, чёмъ теперь; могъ сдёлать новою столнцею Ревель или Ригу: во всемъ этомъ играла большую роль случайность, разныя обстоятельства; но сущность дела была не въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средства легко и удобно сноситься съ Европою. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего такого, что могло бы равно и быть, и не быть,

или быть иначе, нежели какъ было. Но для техъ, для кого не существуеть разумной необходимости великихъ историческихъ событій, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, есян-бъ Ломоносовъ основалъ новую русскую лигературу на народномъ началъ? — и отвътимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя формы нашей бъдной народной поэзіи были достаточны для выраженія ограниченнаго содержанія племеннон, естественнон, непосредственной, полупатріархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло къ нимъ, не улегалось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда спасеніе наше зависьло не оть народности, а отъ европензма; ради нашего снасенія тогда необходимо было не задушить, не истребить (пъло ыли невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время (suspendre) ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвъ новые элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымъ, какъ масло къ водь,-у насъ, естественно, все было риторикою-и правы и-ихъ выражение - литература. По туть было живое начало органического сращенія, черезъ процессъ усвонванія (assimilation), и потому литература отъ абстрактного начала мертвой нодражательности двигалась все къ живому началу самобытности. И мы дождались наконецъ того, что нереводъ нфсколькихъ повфстей Гоголя на французскій языкъ обратиль на русскую литературу удивленное внимание всей Европы, -- говоримъ удивленное, потому что переводы русскихъ романовъ и повъстей на иностранные языки дълались и прежде, но, вм'єсто вниманія, порождали въ иностранцахъ совстмъ нелестное для насъ невнимание къ нашей литературъ, по той причинъ, что эти русскіе пов'єсти и романы, переведенные на ихъ языки, они считали, напротивъ, переводами съ ихъ языковъ: такъ чужды они были всего русскаго, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзинъ окончательно освободить русскую литературу отъ ломоносовскаго вліянія, но изъ этого не следуеть, чтобы онъ освободить ее отъ риторики и сделалъ національною: онъ много для этого сделалъ, по этого не сделалъ, нотому что до этого было еще далеко. Первымъ національнымъ поэтомъ русскимъ былъ Пушкинъ "); съ него начался новый періодъ нашей литературы, еще больше противоположный карамзинскому, нежели этотъ последній ломоносовскому. Вліяніе Ка-

*) Намъ могуть замѣтить, ссылаясь на собственныя наши слова, что не Пушкинъ, а Крыловъ; но вѣдь Крыловъ былъ только басиописецъ-поэтъ, тогда какъ трудно было бы такимъ же образомъ однимъ словомъ опредѣлить, какой поэтъ былъ Пушкинъ. Поэзія Крылова—поэзія здраваго смыча, житейской мудрости, и для нея, скорѣе, чѣмъ для всякой другой поэзіи, можно было найти готовое содержаніе въ русской жизни. Притомъ же, самыя лучшія, слѣдовательно, самыя пародныя басни свои Крыловъ написалъ уже въ эпоху дѣятельности Пушкина, и, слѣдовательно, новаго движенія, которое послѣдній далъ русской поэзіп.

рамзина до сихъ поръ ощутительно въ нашей литературѣ, и полное освобожденіе отъ него будетъ великимъ шагомъ впередѣ со стороны русской литературы. Но это не только ин на волосъ не уменьшаетъ заслугъ Карамзина, но, напротивъ, обнаруживаетъ всю ихъ великость: вредное во вліянів инсателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не въ свое время, необходимо, чтобы въ свое время оно было новымъ, живымъ прекраснымъ и великимъ.

Въ отношеніи къ литературѣ, какъ къ искусству, поэзін, творчеству, вліяніе Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставивъ никакихъ слъдовъ. Въ этомъ отношении литература наша всего ближе къ той зрёлости и возмужалости, рёчью о которыхъ начали мы эту статью. Такъ называемую "патуральную школу" нельзя упрекнуть въ рито-рикѣ, разумѣя подъ этимъ словомъ вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализированіе жизип. Мы отнюдь не хотимъ этимъ сказать, чтобы всв новые писатели, которыхъ (въ похвалу имъ или въ осуждение) причисляють къ натуральной школь, были все геніи или необыкновенные таланты; мы далеки отъ подобнаго дътскаго обольщенія. За исключеніемъ Гоголя, который создаль въ Россін новое искусство, новую литературу, и котораго геніальность давно уже признана не нами одними и даже не въ одной Россін только, —мы видимъ въ натуральной школѣ довольно талантовъ, отъ весьма замъчательныхъ до весьма обыкновенныхъ. Но не въ талантахъ, не въ ихъ числъ видимъ мы собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направленін, ихъ манерѣ писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, т. е. изображали несуществующее, разсказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводять жизнь и действительность въ ихъ истине. Отъ этого литература получила важное значеніе въ глазахъ общества. Русская новъсть въ журналъ предпочитается переводной, и мало того, чтобы повъсть была написана русскимъ авторомъ, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Безъ русскихъ повъстей теперь не можетъ имъть усивха ни одинъ журналъ. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имѣющая глубокій смысль, глубокое основаніе: въ ней выражается стремленіе русскаго общества къ самосознанію, -- сл'ядовательно, пробужденіе въ немъ правственных интересовъ, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякаго таланта русскаго. Умъя отдавать справедливость чужому, русское общество уже умфеть цфинть и свое, равно чуждаясь какъ хвастливости, такъ и уничиженія. Но если оно болже интересуется хорошею русскою повъстью, нежели превосходнымъ иностраннымъ романомъ, -- въ этомъ виденъ огромный шагъ впередъ съ его стороны. Въ одно и то же время умъть видъть превосходство чужого надъ своимъ и все-таки ближе принимать къ сердцу свое, --- тутъ нътъ ложнаго патріотизма, ивтъ ограниченнаго пристрастія: тутъ только благородное и законное стремление сознать

Натуральную школу обвиняють въ стремленіи все изображать съ дурной стороны. Какъ водится, у однихъ это обвинение - умышлениая клевета, у другихъ — некренняя жалоба. Во всякомъ случав, возможность подобнаго обвиненія показываеть только то, что натуральная школа, несмотря на ея огромные успъхи, существуетъ еще педавно, что къ ней не успъли еще привыкнуть, и что у насъ еще много людей карамзинскаго образованія, которыхъ риторика имфетъ свойство утфиать, а пстина — огорчать. Разумъется, нельзя, чтобы всъ обвиненія противъ натуральной школы были положительно ложны, а она во всемъ была непогрѣшительно права. Но если бы ея преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностію, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка върно изображать отрицательныя явленія жизни дасть возможность тімь же людямъ, или ихъ последователямъ, когда придетъ время, вёрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, -- словомъ, не идеализируя ихъ ри-

Но вив міра собственно беллетристическаго, вліяніе Карамзина до сихъ поръ еще очень ощутительно. Это всего лучше доказываеть такъ называемая нартія славянофильская. Изв'єстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россін новой. Воть источникъ такъ называемаго славянофильства, которое мы, впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою очередь, что время зрълости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дътства литературы всъхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себъ, то не имъющіе никакого дёльнаго примъненія къ жизни. Такъ пазываемое славянофильство, безъ всякаго сомнёнія, касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ отпосится-это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убъжденіе, которое, какъ всякое убъжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случав, если съ нимъ вовсе не согласны. Славянофиловъ у насъ много, и число ихъ все увеличивается: фактъ, который тоже говоритъ въ пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороныславянофиловъ и неславянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но разсмотрѣвши его ближе, нельзя не увидёть, что существование н важность этой литературной котерін чисто-отрицательныя, что она вызвана и живеть не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той иден, на борьбу съ которою обрекла себя. Поэтому нать никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотять, да и сами они

неохотно говорять и пишуть объ этомъ, хотя и не делають изъ этого никакой тайны. Дело въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствіяхъ поб'яды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дъйствительности, всъми вмъств и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болье заслуживаеть вниманія не въ томъ, что она говоритъ противъ гніющаго будто бы Запада (Запада славянофилы ръшительно не понимають, потому что маряють его на восточный аршинъ), но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европензма, а объ этомъ они говорять много дёльнаго, съ чёмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напримъръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ ръзко выразившагося національнаго характера, какпмъ, къ чести ихъ. отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дёлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умъють мыслить по-французски, понъмецки и по-англійски, но никакъ не умъютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформ'в Петра Великаго. Все это справедниво до извёстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должно изследовать его причины, въ надежде въ самомъ зле найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то дёлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдъ ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онъ ни были-о нашей ли народной славв, или о нашемъ европензмв, равно безплодно и вредно, ибо сонъ есть не жизнь, а только грезы о жизни, и нельзя не сказать спасибо тому, кто прерветь такой сонь. Въ самомъ дълъ, никогда изучение русской истории не имъло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ последнее время. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее, и скорже хотимъ ръшить великій вопросъ: "быть или не быть?" Туть уже дёло идеть не о томь, откуда пришли варяги — съ Запада или съ Юга, изъ-за Валтійскаго или изъ-за Чернаго моря, а о томъ. проходить ли черезъ нашу исторію какая-нибудь живая органическая мысль, и, если проходить, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, отъ котораго мы какъ будто оторваны, н къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изследованій начинаеть оказываться, что, во-первыхъ, мы не такъ резко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тесно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Когда русскій бываетъ за-границею, его слушаютъ, имъ интересуются не тогда, какъ онъ истинно-европейски разсуждаетъ

о европейскихъ вопросахъ, но когда онъ судитъ о нихъ, какъ русскій, хотя бы но этой причинъ сужденія его были ложны, пристрастны, ограниченны, односторонии. И потому онъ чувствуетъ тамъ необходимость придать себф характеръ своей національности, и, за неимвијемъ лучшаго, становится славянофиломъ, хотя на время и притомъ неискреино, чтобы только чёмъ-нибудь казаться въ глазахъ иностранцевъ. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сометнія и изслідованія, мы не можемъ не видьть, какъ, во многихъ отношенияхъ, смъшно и жалко успоконять насъ нашъ русскій европензмъ насчеть нашихъ русскихъ недостатковъ, забъливъ н зарумянивъ, но вовсе не изгладивъ ихъ. И въ этомъ отношении новздки за-границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная къмъ, и по тому самому съ искрениимъ желаніемъ сдёлаться русскими. Что же все это означаеть? Неужели славянофилы правы, и реформа Нетра Великаго только лишила насъ народности и сделала междоумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и нравамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексъя Микайловича (насчеть этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?...

Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполив исчернала, изжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дело, сделала для нея все, что могла и должна была саблать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя! Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ: неужели это значитъ развиваться самобытно? Смъшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и перемънить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весною следовать зиму, а за осенью -льто. Это значило бы еще признать явление Петра Великаго, его реформу и последующія событія въ Россіп (можеть быть, до самаго 1812 года-энохи, съ которой началась новая жизнь для Россін), признать ихъ случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, который тотчась інсчезаеть и уничтожается, какъ скоро проснувшійся челов'єкъ открываеть глаза. Но такъ думать сродно только господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобъ быть случайными, и жизнь народа не есть углая лодочка, которой каждый можеть давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Вмъсто того, чтобъ думать о невозможномъ и смъшить всёхь на свой счеть самолюбивымь вмёшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, д'вйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего въдома и что смъется надъ нашею волею, должны мы думать, а

объ измѣненіп самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дело въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и вившности принимать за европензмъ. Скажемъ болье: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить. уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно человъческое, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ итть человтческого, отвергать съ такою же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нътъ человъческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много воило въ русскую жизнь, въ русскіе правы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европъ, чтобъ сознавать наши потребности: и на основаній того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно.

Повторяемъ: славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ: но темъ не мене ихъ роль чистоотрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимають за его результать, хотять видъть илодъ прежде цвъта и, находя листья безвкусными, объявляють плодъ гнилымъ и предлагають огромный л'ясь, разросшійся на необозримомъ пространствъ, пересадить на другое мъсто и приложить къ нему другого рода уходъ. По ихъ митнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новал Петровская Россія такъ же молода, какъ и Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чъмъ въ прошедшемъ. Они забыли, что въ разгаръ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тъ явленія, которыя, по окончанін процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношения Россио нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла діаметрально противоположно нашей и давно уже дала цвътъ п плодъ. Безъ всякаго сомниня, русскому легче усвоить себи взглядъ француза, англичанина или ифмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука, и современная действительность: тогда какъ онъ, въ отношении къ самому себъ, еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдв все зародыши, зачатки и ничего опредъленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумфется, въ этомъ есть нъчто грустное, но зато какъ много утвшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человъку сродно желать скораго свершенія своихъ желаній, по скоросп'єлость ненадежна: намъ бол'єе, чвиъ кому другому, должно убъдиться въ этой истипъ. Извъстно, что французы, англичане, нъмцы такъ національны каждый по-своему, что не въ состоянін нонимать другь друга, -- тогда какъ русскому равно доступны и соціальность француза, и практическая дёятельность англичанина, и туманная философія пѣмца. Одни видять въ этомъ наше превосходство переда всёми другими народами; другіе выводять изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую восинтала въ насъ реформа Петра: нбо, -- говорять они, -- у кого пѣтъ своей жизни, тому легко поддёлываться подъ чужую, у кого нътъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую жизпь не значить жить, понять чужіе интересы не значить усвоить ихъ себъ. Въ послъднемъ мизніп много правды, но не совсемъ лишено истины и первое миеніе, какъ ни заносчиво опо. Прежде всего мы скажемъ, что рфинтельно не вфримъ въ возможность крфикаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, следовательно, живущихъ чисто вибшнею жизнію. Въ Европ'в есть однотакое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же не изв'єстно, что его крипость и спла — до поры и времени?.. Памъ, русскимъ, нечего сомивваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значенін: изъ всёхъ славянскихъ племенъ только мы сложились въ крѣпкое и могучее государство и, какъ до Петра Великаго, такъ и послъ него, до настоящей минуты, выдержали съ честію не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели и всегда усиввали спасаться отъ нея, и потомъ являться въ новой и большей силь и крыности. Въ народъ, чуждомъ внутренняго развитія, не можеть быть этой крѣпости, этой сплы. Да, въ насъ есть національная жизнь. мы призваны сказать міру свое слово, мысль, но накое это слово, какая мысль — объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнають это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будеть сказана ими.. Такъ какъ русская литература есть главный предметь нашей статьи, то въ настоящемъ случат будеть очень естественно сослаться на ея свидетельство. Она существуеть всего какихъ-инбудь сто семь лёть, а между тёмъ въ ней уже есть нъсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ непохожими на произведенія ихъ литературъ, —слъдовательно, оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въчемъ состоить эта русская національность-этого пока еще нельзя опредёлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинають пробиваться и обнаруживаться сквозь безцватность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго.

Что же касается до многосторонности, съ какою русскій человѣкъ понимаетъ чуждыя ему національности,—въ этомъ заключается равно и его слабая, н его спльная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности дѣйствительно много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностію, что эта независимость только и о м о г а е т ъ этой многосторонности; а едва ин можно сказать съ какою-нибудь достовѣрностію, чтобы она и р о и з в о д и л а ее. Но крайней мѣрѣ,

намъ кажется, что было бы слишкомъ смёло приписывать положению то, что всего болье должно
принисывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ,
имъющихъ только субъективное значеніе выводовъ,
мы не утверждаемъ за непреложное, что русскому
народу предназначено выразить въ своей національности наиболье богатое и многостороннее содержаніе,
и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усвоивать себъ
все чуждое ему; но смъемъ думать, что подобная
мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ
самохвальства и фанатизма, не лишена основанія...

Просимъ извиненія у гг. славянофиловъ, если мы приписали имъ что-нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если бы они могли упрекнуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примутъ это за простую и неумыпленную ошноку съ нашей стороны. Каковы бы ни были ихъ понятія, или, понашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искренпему, независимому и благородному, въ его началѣ, убѣжденію, не только не раздѣляя его, по н видя въ немъ діаметральную противоноложность нашему убъжденію. На чьей сторонъ истина, разсудить время-великій и непогрѣшительный судья всьхъ умственныхъ и теоретическихъ тяжбъ. Журналь, который теперь одинь остался органомъ славянофильского направленія, объявиль ніжогда "непримиримую вражду" всякому противоположному направленію. Что касается до насъ, имія свое опредъленное направленіе, свои горячія убъжденія, которыя намъ дороже всего на свътъ, мы тоже готовы защищать ихъ всеми силаминашими и вместе съ тъмъ противоборствовать всякому противоноложному направлению и убъждению; но мы хотъли бы защищать наши мижнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ-противоборствовать съ твердостію и спокойствіемъ, безъ всякой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуеть, тоть сердится, а кто сердится, тотъ чувствуетъ, что онъ не правъ. Мы имфемь самолюбіе до того считать себя правыми въглавныхъ основаніяхъ нашихъ уб'єжденій, что не имбемъ никакой нужды враждовать и сердиться, смёшивать иден съ лицами, и вмѣсто благородной и нозволенной борьбы мижній заводить безполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбій...

На свъть нъть инчего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могуть спорить только тъ исключительно теоретическія натуры, которыя до тъхъ поръ и умны, пока носятся въ общихъ отвлеченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ, въ міръ дъйствительности, тотчасъ оказываются соминтельными насчетъ нормальнаго состоянія мозга. О такихъ июдяхъ русская поговорка выражается, что у нихъ умъ за разумъ зашелъ, — выраженіе, столько же глубокомысленное, сколько и справедливое, потому что оно не отнимаетъ у людей этого разбора ни ума, ни разсудка, по только указываетъ на ихъ неправильныя, превратныя дъйствія, словно на два испортившіяся колеса въ машнить, которыя дъйству-

ютъ одно за другое, вопреки своему назначенію, п этимъ дълаютъ всю машину негодною къ употребленію. Итакъ, все на свете только относительно важно или неважно, велико или мало, старо или ново. "Какъ, — скажуть намъ, — и истина, и добродътель — понятія относительныя?" — Нътъ, какъ понятіе, какъ мысль, онт безусловны и втчны; но какъ осуществление, какъ фактъ, онъ относительны. Иден истины и добра признавались всёми народами, во всё вёка; по что непреложная истина, что добро для одного народа или въка, то часто бываетъ ложью и зломъ для другого народа въ другой въкъ. Поэтому безусловный, или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ, или отвлеченнымъ. Ничего нътъ легче, какъ опредълить, чъмъ долженъ быть человекь въ нравственномъ отношенія; по инчего ифтъ трудибе, какъ ноказать, почему вотъ этоть человекъ сделался темъ, что онъ есть, а не сделался темь, чемь бы ему, по теоріп нравственной философіи, следовало быть.

Воть точка зрѣнія, съ которой мы находимъ признаки зрѣлости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, прислушайтесь: о чемъ больше всего толкують наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападають они?---на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О некоторыхъ изъ этихъ предметовъ много было толковъ и прежде, да не тотъ они имъли смыслъ, не то значение. Понятие о "дъйствительности" совершенно новое; на "романтизмъ" прежде смотрѣли, какъ на альфу и омегу человѣческой мудрости, и въ немъ одномъ искали ръшенія всёхъ вопросовъ; нонятіе о "народности" имкло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы; но разница въ томъ, что литература-то теперь сдёлалась эхомъ жизни. Какъ судять теперь объ этихъ предметахъ — вопросъ другой. По обыкновенію, один лучше, другіе хуже, но почти вев одинаково въ томъ отношении, что въ рашении этихъ вопросовъ видять какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности вопросъ о "народности" сдълался всеобщимъ вопросомъ н проявился въ двухъ крайностяхъ. Одни смѣшали съ народиостью старинные обычан, сохранившіеся теперь только въ простонародъе, и не любять, чтобы при нихъ говорили съ неуважениемъ о курной и грязной избъ, о ръдыкъ и квасъ, даже о сивухъ; другіе, сознавая потребность высшаго напіональнаго начала и не находя его въ дѣйствительности, хлопочуть выдумать свое, и неясно, намеками указывають намъ на смиреніе, какъ на выражение русской національности. Съ первыми смъшно спорить; но вторымъ можно замътнть, что смиреніе есть, въ извъстныхъ случаяхъ, весьма похвальная доброд'єтель для челов'єка всякой страны, для француза, какъ и для русскаго, для англичанина, какъ и для турка, но что она едва ли мо-

жетъ одна составить то, что называется "пародностью". Притомъ же этотъ взгладъ, можетъ быть, превосходный въ теоретическомъ отношении, не совеймъ уживается съ историческими фактами. Удъльный періодъ нашъ отличается скоръе гордынею и драчливостью, нежели смиреніемъ. Татарамъ поддались мы совсёмъ не отъ смиренія (что было бы для насъ не честію, а безчестіемъ, какъ н для всякаго другого народа), а по безсилію, вслёдствіе разділенія нашихъ силь родовымъ, кровнымъ началомъ, положеннымъ въ основание правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита былъ хитеръ, а не смиренъ, Симеонъ даже прозванъ былъ "гордымъ", а этн князья были первоначальниками силы Московскаго царства. Дмитрій Донской мечомъ, а не смиреніемъ предсказалъ татарамъ конецъ ихъ владычества надъ Русью. Іоанны III и IV, оба прозванные "грозными", не отличались смиреніемъ. Только слабый Оеодоръ составляетъ исключение изъ правила. H вообще какъ-то странно видъть въ смиреніи причину, по которой ничтожное Московское княжество сдълалось вноследствін сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійскою имперіею, пріосънивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достояніе, Сибирь, Малороссію, Білоруссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Кавказъ. Конечно, въ русской исторін можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ доброд'єтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторін какого же народа нельзя найти ихъ, н чёмъ какой-нибудь Людовикъ IX уступаеть въ смиренін Өеодору Іоаниовичу?.. Толкують еще о любви, какъ о національномъ началь, исключительно присущемъ одинмъ славянскимъ племенамъ, въ ущербъ галльскимъ, тевтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у нъкоторыхъ обратилась въ истинную мономанію, такъ что кто-то изъ этихъ "нькоторыхъ" рфинлея даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, н что слезами, а не кровью, отдълались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона... Не правда ли, что въ этихъ словахъ высокій образецъ ума, зашедшаго за разумъ, велъдствие увлеченія системою, теорією, несообразною съ д'янствительностію... Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство человъческой натуры вообще и такъ же не можетъ быть исключительною принадлежностію одного народа или племени, какъ и дыханіе, зртніе, голодъ, жажда, умъ, слово... Ошнока тутъ въ томъ, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основаніе европейскимъ государствамъ, тотчась же породила тамъ чисто-юридическій бытъ, въ которомъ само насиліе и угнетеніе приняли видъ не произвола, а закона. У славянъ же, напротивъ. господствоваль обычай, вышедшій изъ кроткихъ н любовныхъ патріархальныхъ отношеній. Но долго ли продолжался этотъ патріархальный быть, и что мы знаемъ о немъ достовърнаго? Еще до удъльнаго періода встръчаемъ мы въ русской исторіи черты

вовсе не любовныя — хитраго воителя Олега, суроваго вонтеля Святослава, потомъ Святополка (убійцу Бориса и Глѣба), дѣтей Владиміра, возставшихъ на своего отца, и т. п. Это, —скажутъ, занесли къ намъ варяги, и, прибавимъ мы отъ себя, — положили этимъ начало искаженію любовнаго патріархальнаго быта. Изъ чего же въ такомъ случав и хлопотать? Удёльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скоръе періодъ ръзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодѣ нечего и говорить: тогда лицемфриое и предательское смирение было нужифе и любви, и настоящаго смиренія. Уголовные законы, пытки, казни періода Московскаго царства и последующихъ временъ, до самаго царствованія Екатерины Великой, опять посылають насъ искать любви въ доисторическія времена славянъ. Гдѣ же туть любовь, какъ національное начало? Національнымъ началомъ она никогда не была, но была челов вческимъ началомъ, поддерживавшимся въ племени его историческимъ, или, лучше сказать, его неисторическимъ положениемъ. Положение измѣнилось, измѣнились и патріархальные нравы, а съ ними исчезда и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужъ не возвратиться ли намъ къ этимъ временамь? Почему-жь бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сделаться юношей, а юношѣ — младенцемъ?..

Естественно, что подобныя крайности вызываютъ такія же противоположныя крайности. Один бросились въ фантастическую народность; другіе въ фантастическій космополитизмъ, во имя человъчества. По мнъпію последнихъ, національность происходить отъ чисто-вижшинхъ вліяній, выражаеть собою все, что есть въ народъ неподвижнаго, грубаго, ограниченнаго, неразумнаго, и діаметрально противополагается всему человъческому. Чувствуя же, что нельзя отридать въ народъ н человъческаго, противоположнаго, по ихъ мижнію, національному, они раздёляють недёлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая последнему качества, діаметрально противоположныя качествамъ нерваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видять всюду, даже тамъ, где его вовсе неть, они сами впадають въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ внъ своей національности, и вся заслуга, все величе ихъ въ томъ и заключается, что они ндуть прямо противъ своей національности, борются съ нею и побъядають ее. Вотъ истинно-русское и, въ этомъ отношении, ръзконаціональное митніе, которое не могло бы прійти въ голову европейцу! Это митніе вытекло прямо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ Россіи мижнію, будто бы уничтожиль русскую народность. Это-мивніе тахь, которые народность видять въ обычаяхъ и предразсудкахъ, не понимая, что въ нихъ дъйствительно отражается народность, по что они один отнюдь еще не составляють народности. Раздёлить народное и человъческое на два совершенно

чуждыя, даже враждебныя одно другому начала значить впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ.

Что составляеть въ человъкъ его высшую, его благороднъйшую дъйствительность? Конечно, то, что мы называемъ его духовностію, т. е. чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его въчная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается въ человѣкѣ низинить, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ?—Конечно, его тъло. Извѣстно, что наше тѣло мы сыздѣтства привыкли презирать, можеть быть, потому именно, что, вѣчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважають тёло, потому что больше другихъ знають его. Вотъ почему отъ болѣзней чисто-правственныхъ они лъчатъ пногда средствами чисто-матеріальными, и наобороть. Изъ этого видно, что врачи, уважая тёло, не презираютъ души: онн только не презпрають тела, уважая душу. Въ этомъ отношенін они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотрить не только на богатство получаемыхъ имъ отъ земли зеренъ, но н на самую землю, которая ихъ произрастила, н даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилиль илодотворность этой земли. — Вы, конечно, очень ціните въ человікі чувство?-Прекрасно!-такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, который вы называете сердцемъ, и котораго замедленное или ускоренное біеніе вёрно соотвётствуеть каждому движенію вашей души.—Вы, конечно, очень уважаете въ человъкъ умъ?—Прекрасно!—такъ останавливайтесь же въ благоговъйномъ изумлении и перель этою массою мозга, гдв происходять всв умственныя отправленія, откуда по всему организму распространяются, черезъ позвоночный хребетъ, нити нервъ, которыя суть органы ощущений н чувствъ, и которыя исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что онъ ускользають отъ матеріальнаго наблюденія и не даются умозрѣнію. Иначе, вы будете удивляться въ человъкъ слъдствію мимо причины, или-что еще хуже-сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворитесь ими. Психологія, не опирающаяся на физіологію, такъ же несостоятельна, какъ н физіологія, не знающая о существованіи анатомін. Современная наука не удовольствовалась и этимъ: химическимъ анализомъ хочетъ она проникнуть въ таниственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбріономъ (зародышемъ) проследить физическій процессъ нравственнаго развитія. Но это впутренній міръ физіологической жизни человъка; всь его сокровенныя отъ насъ дёйствія, какъ результатъ, выказываются наружт въ лицъ, взглядъ, голосѣ, даже манерахъ человѣка. А между тѣмъ, что такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вѣдь это все — тѣло, внѣшность, —слѣдовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что въдь все это-не чувство, не умъ, не воля?-такъ! но въдь во всемъ этомъ мы видимъ и слышимъ и чувство, и умъ, и волю. Всего случайнъе въ чело-

въкъ его манеры, потому что онъ больше всего зависять отъ восинтанія, образа жизни, отъ общества, въ которомъ живетъ человъкъ; но почему же иногда и въ грубыхъ манерахъ мужика чувство ваше угадываетъ добраго человъка, которому вы смёло можете довёрнться, и въ то же время нзящныя манеры свътскаго человъка заставляютъ васъ иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свъть людей съ душою, съ чувствомъ, но у каждаго изъ нихъ его чувство имфетъ свой характеръ, свою особенность. Сколько на свътъ умныхъ людей, и между темъ у каждаго изъ нихъ свой умъ. Это не значить, чтобы умы людей были разные: въ такомъ случав люди не моглибы понимать другь друга; но это значить, что у самаго ума есть своя индивидуальность. Въ этомъ его ограниченность, и поэтому умъ величайшаго генія всегда неизм'єримо ниже ума всего челов'єчества; но въ этомъ же и его дъйствительность, его реальность. Умъ безъ илоти, безъ физіономіи, умъ, не дъйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дъйствія, есть логическая мечта, мертвый абстракть. Умъ-это человѣкъ въ тѣлѣ, или, лучше сказать, человекъ черезъ тело, - словомъ, личность. Оттого на свете столько умовъ, сколько людей, и только у человъчества одинь умъ. Посмотрите, сколько нравственныхъ оттънковъ въ человической натуры: у одного умъ едва замитенъ нзъ-за сердца, у другого сердце какъ будто поивстилось въ мозгу; этотъ стращно уменъ и способень на дело, да ничего сделать не можеть, потому что ивть у него воли; у того страшная воля, да слабая голова, и изъ его деятельности выходять или вздоръ, или зло. Перечесть этихъ оттънковъ такъ же невозможно, какъ перечесть различія физіономій: сколько людей, столько и лиць, и двухъ совершенно схожихъ найти еще менъе возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожіе между собою... Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца: иначе, когда вамъ укажутъ на другую, которой нравственныя качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предметь своей любви для новаго, какъ оставляють хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать вліянія правственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любятъ человъка, любятъ его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любять въ иемъ особенно то, чего не ум'ьють ни определить, ни назвать. Въ самомъ дёлё, какъ бы опредёлили и назвали вы, напримъръ, то неуловимое выражение, ту танпственную игру его физіономін, его голоса, -- словомъ, все то, что составляеть его особность, что дълаеть его непохожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачёмъ бы вамъ было рыдать въ отчаянін надъ трупомъ любимаго вами существа? — Въдь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднъйшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ н правственнымъ, — а умерло только грубо-матеріальное, случайное?.. Но объ этомъ-то случайномъ

и рыдаете вы горько, потому что воспоминаніе о прекрасныхъ качествахъ человѣка не замѣнитъ вамъ человѣка, какъ умирающаго отъ голода не насытитъ восноминаніе о роскошномъ столѣ, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно соглашусь съ спиритуалистами, что мое сравненіе грубо, но зато оно вѣрно, а это для меня главное. Державниъ сказалъ:

Такъ! весь я не умру; но часть меня большая. Отъ тявна убъжавъ, по смерти станетъ жить.

Противъ дъйствительности такого беземертія нечего сказать, хотя оно и не утъшитъ людей, близкихъ поэту; но что передаетъ поэтъ потомству, въ своихъ созданіяхъ, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чъмъ кто-инбудь, личность по пренмуществу, его созданія были бы бездвътны и блъдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляютъ собою совершенно особенный, оригинальный міръ, и между Гомеромъ, Шекспиромъ, Вайрономъ, Серваптесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ-Зандомъ общаго только то, что всъ они—великіе поэты...

Но что же эта личность, которая даеть реальность и чувству, и уму, и воль, и генію, и безъ которой все-или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много могъ бы наговорить вамь объ этомъ, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вамъ, что чёмъ жив ве созерцаю внутри себя сущность личности, темъ менъе умъю опредълить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всв ее видять, всв ощущають себя въ ея недрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно ученые, хорошо зная дъйствіе и силы дъятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнетизмъ, и потому нисколько не сомнъваясь въ ихъ существовани, все-таки не умъютъ сказать, что они такое. Страпнъе всего, что все, что мы можемъ сказать о личности, ограничивается темь, что она ничтожна передъ чувствомъ, разумомъ, волею, добродътелью, красотою и тому подобными вѣчными и пепреходящими идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродътели, ни красоты, также, какъ не было бы ни безчувственности, ни глуности, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія...

Что личность въ отношени къ иде в человъка, то и а роди ость въ отношени къ иде в человъчества. Другими словами: народности суть личность человъчества. Безъ національностей человъчество было бы мервымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу и скорѣе готовъ перейти на сторону славинофиловъ, нежели оставаться на сторонъ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и оппбаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говоритъ, какъ такое-то изданіе такойто логики... Но, къ счастью, и надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходи ин къ кому...

Человъческое присуще человъку нотому, что

онъ-человъкъ, но оно проявляется въ немъ не нлаче, какъ, во-первыхъ, на основанін его собственной личности и въ той мъръ, въ какой она можеть его вмёстить въ себё, а во-вторыхъ, на основанін его паціональности. Личность человѣка есть исключение другихъ личностей и, по тому самому, есть ограничение человъческой сущности: ни одинъ человъкъ, какъ бы ни велика была его геніальность, никогда не исчернаеть самимъ собою не только всёхъ сферъ жизни, но даже и одной какой-нибудь ея стороны. Ни одинъ человѣкъ не только не можеть замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. сдёлать ихъ существование ненужнымъ), но даже и ни одного человека, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношенін, но всё и каждый необходимы всемъ и каждому. На этомъ и основано единство и братство человического рода. Человикъ силенъ и обезпеченъ только въ обществъ; но чтобы и общество, въ свою очередь, было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь---національность. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведение: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создаль самого себя. Это указываеть на кровное, родовое происхожденіе вськи напіональностей. Чеми ближе человеки или народъ къ своему началу, тъмъ ближе онъ къ природъ, тъмъ болъе онъ ея рабъ; тогда онъ не человъкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ человъческое развивается по мъръ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію часто способствують разныя вижшнія причины; но челов вческое темъ не менте приходить къ народу не извит, а изъ него же самого, и всегда проявляется въ немъ націо-

Собственно говоря, борьба человическаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ действительности ея истъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствование у другого, онъ тъмъ не менте совершается національно. Иначе ивтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имъя въ себъ силы перерабатывать ихъ, самодеятельностію собственной національности, въ собственную же сущность, — тогда онъ гибнетъ политически. На свътъ много людей, извъстных подъ именемъ "пустыхъ": они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имфютъ своего мижнія, а между тёмъ и учатся, и следять за всёмъ на свёть. Пустота ихъ въ томъ и состоить, что они заимствують цёликомь, и ихъ мозгъ не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее, черезъ языкъ, въ томъ же самомъ видъ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличные, потому что чёмъ человёкъ личите, тёмъ способиве обращать чужое въ свое, т. е. налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тімь, что вст націн, нгравшія и нграющія первыя роли въ исторіи человфчества, отли-

чались и отличаются наиболфе резкою національностью. Всномните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, ивмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатін погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину только за то, что опъ-англичанинъ, и наоборотъ. Напротивъ, со дия на день болье и болье обнаруживается въ наше. время сочувствіе и любовь народа къ народу Это утвшительное, гуманное явление есть результатъ просвещенія. Но изъ этого отнюдь не следуеть, чтобы просвещение сглаживало народности н делало всё народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по пренмуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочеть быть французомъ и требуетъ отъ немца, чтобы тотъ былъ немцемъ, и только на этомъ основании интересустся имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу већ европейскіе народы. А между темъ они нещадно заимствують другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говорить, что подобныя опасенія могуть быть д'єйствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и инттожныхъ. Древняя Эллада была наслёдницею всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вощли элементы египетскіе и финикійскіе, кром'є основного пелазгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ вившнихъ заимствованій, а оттого, что были последними представителями исчерпавшаго всю жизнь свою древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила ихъ заимствованіями, -- н все-таки оставалась національно-французскою. Все отрицательное движение французской литературы XVIII въка вышло изъ Англіп; но французы до того ум'вли усвонть его себъ, наложивъ на него печать своей національности, что пикто и не думаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Немецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдёлавшись отъ этого французскою.

Разділеніе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу большинство и меньшинство, можеть быть, и справедливо со стороны логики, но ръшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаеть собою большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслъ. Еще страниве приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хоронія. Хороша была бы французская нація, если бы о ней стали судить по развратному дворянству временъ Людовика XV! Эготъ примёръ указываетъ, что меньшинство скорте можеть выражать собою болте дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живеть искусственною жизнію, когда противонолагаетъ себя большинству, какъ что-то отдёльное отъ него и чуждое ему. Это видимъ мы

и въ современной намъ Франціи, въ лицъ bourgeoisie, — господствующаго теперь въ ней сословія. Что же касается до великихъ людей, — они но преимуществу дъти своей страны. Великій человъкъ всегда націоналенъ, какъ его народъ, поо онъ потому н великъ, что представляетъ собою свой народъ. Борьба генія съ народомъ не есть борьба человическаго съ національнымъ, а просто-напросто новаго со старымъ, иден съ эмпиризмомъ, разума съ предразсудками. Масса всегда живеть привычкою, и разумнымъ, истиннымъ и полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервенъніемъ то старое, противъ котораго, вѣкомъ или менфе назадъ, съ остервенфніемъ же бородась она, какъ противъ и о в а г о. Противодействие массы генію необходимо; это съ ея стороны экзаменъ генію; если онъ возьметъ свое, ни на что не смотря, значить, онъ точно геній, т. е. въ самомъ себѣ носить свое право д'виствовать на судьбы своего отечества. Иначе, всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленькій великій теловѣкъ сталь бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по воль своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону.

Нѣтъ никакой необходимости раздѣляться народу на самого себя, чтобы доставить себъ источникъ новыхъ идей. Источникъ всего новаго есть старое; по крайней мфрф, старымъ приготовляется новое. Въ геніи не столько поражаетъ находчивость новаго, сколько смёлость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведеній въ Россіи чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящимъ положеніемъ государства; но произвести реформу могъ только Истръ. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебныхъ отношеніяхъ къ своему народу; но, напротивъ, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство съ нимъ. Что въ народъ безсознательно живеть, какъ возможность, то въ геніи является, какъ осуществленіе, какъ действительность. Народъ относится къ своимъ великимъ людямъ, какъ почва къ растеніямъ, которыя производить она. Туть единство, а не разділеніе, не двойственность. И вопреки силлогистамъ (новое слово!), для великаго поэта нътъ большей чести, какъ быть въ высшей степени національнымъ, потому что иначе онъ и не можеть быть великимъ. То, что называють резонеры человъческимъ, противополагая его національному, есть въ сущности новое, непосредственно и логически следующее изъ стараго, хотя бы оно и было чистымъ его отрицаніемъ. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нельпости, изъ нея одинъ естественный путь-переходъ въ противоположную крайность. Это въ натурѣ и человѣка, и народовъ. Слѣдовательно, источникъ всякаго прогресса, всякаго движенія внередъ заключается не въ двойственности народовъ, а въ человъческой натуръ, также, какъ въ ней заключается и источникъ уклоненій отъ истины, косивнія и неподвижности.

Важность теоретических в опросовъ зависить отъ ихъ отношенія къ действительности. То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ самыя простыя истины жизии, въ которыхъ никто не сомивается, о которыхъ никто не спорить и въкоторыхъ всё согласны. И — что всего лучше — эти вопросы рѣшены тамъ самою жизнію, или, если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дъйствительности. Но это нисколько не должно отнимать у насъ смёлости и охоты заниматься рашеніемъ такихъ вопросовъ, потому что, пока не рѣшимъ мы ихъ сами собою и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что опи ръшены въ Европъ. Перепесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого решенія. Теперь Европу занимають новые великіе вопросы. Интересоваться ими, следить за ними намъ можно и должно, пбо ничто человъческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль Донъ-Кихотовъ, горячась изъ-за него. Этимъ мы заслужили бы скорфе насмфшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, въ себѣ, вокругь себя, —воть гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ решенія. Это направленіе будеть плодотворно, если и не будеть блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ-близость ея зрёлости и возмужалости. Въ этомъ отношенін литература наша дошла до такого положенія, что ея успъхи въ будущемъ, ея движение впередъ зависять больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея заведыванію, нежели отъ нея самой. Чёмъ шире будуть границы ея содержанія, чемь больше будеть инщи для ея деятельности, темъ быстрве и плодовить будеть ся развитіс. Какь бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрёлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней, — а это великій усибхъ съ ея стопоны.

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ признаковъ зрѣлости современной русской литературы — это роль, которую шграетъ въ ней стихотворная поэзія. Бывало, стихи и стишки составляли отраду утвшеніе нашей публики. Ихъ читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалба денегъ, или переписывали въ тетрадки. Новая поэма въ стихахъ, отрывокъ изъ поэмы, новое стихотвореніе, ноявившееся въ журналѣ или альманахѣ, --все это пользовалось привилегіею производить шумъ, толки, восторги, споры п т. н. Стихотворды являлись безъ счету, росли, какъ грибы послѣ дождя. Теперь не то. Стихи играють второстепенную въ сравнени съ прозою роль. Ихъ читають будто нехотя, едва замѣчають, хладнокровно похваливають хорошее н ничего не говорять о посредственномъ. Стихотворцевъ, противъ прежняго, стало теперь несравненно меньше. Изъ этого многіе заключили, будто вѣкъ поэзін миновался для русской литературы, что поэзія скрылась оть насъ чуть ли не навсегда. Мы такъ, напротивъ, видимъ въ этомъ скорже торжество, нежели упадокъ русской поэзін. Что поколебало, а потомъ и вовсе изгнало манію стихописанія п стихочтенія?-Прежде всего появленіе Гоголя, потомъ появленіе въ печати посмертныхъ сочиненій Пушкина и, наконець, явленіе Лермонтова. Поэтическую деятельность Пушкина можно разделить на два періода: въ первомъ она является прекрасною, но еще не глубокою, не установившеюся, еще доступною для копированія и подражанія; во второмъ-мы видимъ ее на неприступной высотѣ художественной зрълости, глубины, могущества; тутъ уже нельзя конпровать ее, нельзя подражать ей. Талантъ Лермонтова съ перваго же своего дебюта обратиль на себя всеобщее вниманіе, отбиль у всёхъ и у всякаго охоту подражать ему. Посл'в этого доступъ къ поэтической славъ сдълался очень труденъ, такъ что талантъ, который прежде могъ бы пграть блестащую роль, теперь долженъ ограничиться болже скромнымъ положеніемъ. Это значить, что вкусъ публики сдълался разборчивъе, требованія строже: а это, конечно, усивхъ, а не упадокъ вкуса. Теперь нуженъ новый Пушкинъ, новый Лермонтовъ, чтобы книжка стихотвореній привела въ восторгъ всю публику, въ движение-всю литературу. Но уже теперь сделалось решительно невозможнымъ для господъ поэтовъ обращать на себя внимание или пріобрѣтать славу или извѣстность хоть на волось выше той мёры, въ какой они дёйствительно заслуживають, по своему таланту, вниманія, славы или извъстности. Талантъ теперь всегда будетъ оцъненъ, и его усиъхъ уже не зависить ин отъ покровительства, ни отъ преследованія журналовъ (если еще чёмъ могуть они повредить ему, такъ развъ молчаніемъ, но уже не похвалами и не бранью); онь будеть замічень поцінень, но не пначе, какь по мъръ его истиннаго достониства---ни больше, ни

Въ прошломъ 1846 году вышли стихотворенія гг. Григорьева, Полонскаго, Лизандера, Илещеева, г-жи Жадовской, "Троянъ и Ангелица" г. Вельтмана — что-то вродъ дътской сказки не то въ стихахъ, не то въ мърной прозъ; "Слово о Полку Игоря", передъланное г. Минаевымъ на поэму во вкуст не древности, не старины, а того педавняго времени, когда была мода на поэмы. Это въ сущности не больше, какъ распространение, или разжнженіе, довольно бойкими стихами, довольно короткаго и сжатаго "Слова о Полку Игоревомъ". Мы рады будемъ, если нопытка г. Минаева понравится публикъ; но, что до насъ собственино касается, намъ такъ нравится "Слово о Полку Игоревомъ" въ его настоящемъ видъ, что мы не можемъ безъ непріятнаго чувства смотрѣть на его передѣлки. Намъ кажется, что его вовсе не нужно ни измънять, ин переводить, ин перелагать; но довольно замёнить въ немъ слишкомъ обветшалыя и непонятныя слова болье новыми и понятными, хотя и взятыми же изъ народнаго языка. Мы назвали стихи г. Минаева бойкими: прибавимъ къ этому, что они

еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что въ нихъ больше риторики, нежели поэзіи. Г. Минаевъ—эштузіастическій поклонникъ "Слова о Полку Игоревомъ"; въ его глазахъ, оно чуть ли не выше всей русской поэзін, огъ Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняетъ онъ въ послъсловін къ стихотворному труду своему, которое носитъ слъдующее наивно-семинарское названіе: "Для любознательныхъ отроковицъ и юношей".

Стихотворенія г-жи Юлін Жадовской были превознесены почти всёми нашими журналами. Дёйствительно, въ нихъ пельзя отрицать чего-то вродё поэтическаго таланта. Жаль только, что источникъ вдохновенія этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэтому онъ не пмёсть пикакого отношенія къ жизни и бёденъ поэзією. Это, впрочемь, выходить изъ отношеній г-жи Жадовской къ обществу, какъ женщины. Вотъ стихотвореніе, которое вполнё объясняеть это положеніе:

Меня гнететь тоски недугь; Мнъ скучно въ этомъ мірт, другъ; Миъ надовли сплетни, вздоръ-Мужчинъ ничтожный разговоръ, Смъшной, нелъпый женщинъ толкъ, Ихъ выписные бархать, шолкъ, Ума и сердца пустота И накладная красота. Мірскихъ суеть я не терплю, Но Божій міръ душой люблю, Но въчно будутъ милы миъ-И звъздъ мерцанье въ вышиню, И шумъ развъсистыхъ деревъ, И зелень бархатныхъ луговъ, И водъ прозрачная струя, И съ рощи писни соловья.

Нужно слишкомъ много смѣлости и героизма, чтобы женщина, такимъ образомъ отстраненная или отстранившаяся отъ общества, не заключилась въ ограниченный кругь мечтаній, но ринулась бы въ жизнь для борьбы съ нею, если не для наслажденія, котораго возможности не видить въ ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрѣніе на небо п звъзды. Почти въ каждомъ своемъ стихотвореніи не спускаеть она глазь съ неба и звёздъ; но новаго ничего тамъ не замътила. Это не то, что Леверье, который открыль тамъ шланету Нептунъ, до него никъмъ не знаемую. Леверье больше поэть, чёмь г-жа Жадовская, хоть онь и не иншеть стиховъ. Охотно согласимся съ теми, кто найдеть наше сближение неумъстнымъ или натянутымъ; но все-таки скажемъ, что смотръть на небо и не видъть въ немъ ничего, кромъ общихъ фразъ, съ риемами или безъ риемъ-илохая поэзія! Да и что путнаго можеть увидьть въ небъ поэтъ нашего времени, если онъ совершенио чуждъ самыхъ общихъ физическихъ и астрономическихъ понятій, и не знасть, что этоть голубой куполь, плѣняющій его глаза, не существуеть въ дъйствительности, но есть произведение его же собственнаго зрвнія, ставшаго центромъ видимой имъ сферической окружности; что тамъ, на высотъ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нътъ воздуха для дыханія, что отъ звізды до звізды

и въ тысячу лѣтъ не долетишь на лучшемъ аэростатѣ... То ли дѣло земля!—на ней намъ и свѣтло, и тенло, на ней все наше, все близко и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія... Зато, кто отворачнвается отъ нея, не умѣя нонимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной высотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы...

Изъ поименованныхъ нами стихотворныхъ книжекъ, вышедшихъ въ проиломъ году, замѣчательнѣе другихъ—"Стихотворенія Аполлона Григорьева". Въ нихъ, по крайней мѣрѣ, есть хоть блестки дѣльной поэзіи, т. е. такой поэзіи, которою не стыдно заниматься, какъ дѣломъ. Жаль, что этихъ блестокъ немного; ими обязанъ былъ г. Григорьевъ вліянію на него Лермонтова; но это вліяніе псчезаетъ въ немъ все больше и больше и переходитъ въ самобытность, которая вся заключается въ туманно-мястическихъ фразахъ, при чтеніи которыхъ невольно приходитъ на память эта старая эпиграмма:

Ужъ подлинно Вибрусъ боговъ языкомъ пълъ: Изъ смертныхъ бо его никто не разумълъ.

Вотъ самобытность, которая не сто̀нтъ даже попражательности!

Но истиннымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы вообще было вышедшее въ прошломъ году изданіе стихотвореній Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворенія всѣ были уже напечатаны и прочтены въ альманахахъ и журналахъ, -- они производять впечатление новости, потому именно, что собраны вмісті и дають читателю нонятіе о всей поэтической д'ятельности Кольцова, представляя собою нъчто цалое. Эта книжка-капитальное, класссическое пріобрѣтеніе русской дитературы, не имъющее ничего общаго съ тъми эфемерными явленіями, которыя, даже и пе будучи лишены относительных достоннствъ, перелистываются, какъ новость, для того, чтобы быть потомъ забытыми. Въ наше время стихотворный талантъ нипочемъ,--вещь очень обыкновенная; чтобы онъ чего-нибудь стоилъ, ему нужно быть не просто талантомъ, но еще большимъ талантомъ, вооруженнымъ самобытною мыслію, горячимъ сочувствіемъ къ жизии, способностію глубоко понимать ее. Благодаря толкамъ журналовъ, нѣкоторые маленькіе таланты кое-какъ поняли это по-своему и стали на заглавныхъ листкахъ своихъ книжекъ ставить эпиграфы, во свидетельство, что ихъ поэзія отличается современнымъ направленіемъ, да еще латинскіе, вродъ слъдующаго: Homo sum, et nihil humani a me alienum puto. Но ни ученость, ни латинскіе эпиграфы, ни даже дъйствительное знаніе латинскаго языка не дадутъ человъку того, чего не дала ему природа, и такъ называемое "современное направленіе" поэтовъ извъстнаго разряда всегда будеть только "плинной мысли раздраженьемь". Вотъ отчего полуграмотный прасолъ Кольцовъ, безъ науки и образованія, нашель средство сділаться пеобыкновеннымъ и самобытнымъ поэтомъ. Онъ сделался поэтомь, самь не зная какъ, и умеръ съ

искреннимъ убъжденіемъ, что если ему и удалось написать двъ, три порядочныя піески, все-таки онъ быль поэть посредственный и жалкій... Восторги и похвалы друзей не много действовали на его самолюбіе... Будь онъ живъ теперь, онъ въ первый разъ вкусилъ бы паслаждение увфрившагося въ самомъ себѣ достоинства; но судьба отказала ему въ этомъ законномъ вознагражденін за столько мукъ и сомивній... Такъ какъ мы не можемъ сказать о поэзін Кольцова ничего, кромф того, что уже высказано объ этомъ предметь въ статьъ: "О жизни и сочиненіяхъ Кольцова", вощедшей въ составъ изданія его сочиненій, то и отсылаемъ къ ней тъхъ, которые не читали ея, но хотъли бы знать наше мижніе о таланти Кольпова и его значеній въ русской литературф.

Нзъ стихотворныхъ произведеній, появившихся не отдёльно, а въ разныхъ пзданіяхъ проилаго года, замѣчательны: "Помѣщикъ", разсказъ (въ "Петербургскомъ Сборникѣ"), и "Андрей", ноэма (въ "Отечественныхъ Запискахъ") г. Тургенева. "Машенька", поэма г. Майкова (въ "Петербургскомъ Сборникѣ"), "Макбетъ" Шекспира, переводъ г. Кронеберга, стихами и прозою. Замѣчательныхъ мелкихъ стихотвореній въ прошломъ году, какъ и вообще въ послѣднее время, было очень мало. Лучшія изъ нихъ принадлежатъ гг. Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотвореніяхъ послідняго мы могли бы сказать боліве, если бы этому різнительно не пренятствовали его отношенія къ "Современнику"...

Кстати о стихотворныхъ переводахъ классическихъ произведеній. Г. А. Григорьевъ перевелъ Софоклову "Антигону" ("Библіотека для Чтенія", № 8). За многими изъ нашихъ литераторовъ водится замашка говорить съ таниственною важностью о вещахъ давнымъ-давно извъстныхъ и приниматься съ самоувъренностью за совершенно чуждую имъ работу. Г. Григорьевъ объявляетъ въ небольшомъ предисловін къ своему переводу, что онъ со временемъ "изложитъ свой взглядъ на греческую трагедію", — взглядъ, "особенное начало котораго есть, в прочемъ, непосредственная связь ея съ ученіемъ древнихъ мистерій". Да это знають дёти въ низинхъ классахъ гимназій! Воть, наприм'єрь, идея, что въ одной "Антигонъ" является борьба двухъ началъ человъческой жизни-личнаго права и долга противъ общаго права и долга, и что, следовательно, "въ Антигопъ изъ-за древнихъ формъ въетъ предчувствіемъ иной жизни", — эта идея принадлежитъ неключительно г. Григорьеву; и мы охотно готовы оставить ее за нимъ. Что касается до самой "Антигоны", то едва ли Софоклъ—"аттическая ичела" узналь бы себя въ этомъ торопливомъ, исполненномъ претензій и крайне невфриомъ переводф г. Григорьева. Величавый древній сенаръ (шестистопный ямбъ) превратился въ какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новъйшія "драматическія представленія" нашихъ доморощенныхъ драматурговъ; мелодические хоры являются пустозвоннымъ наборомъ словъ, часто лишенныхъ всякаго смысла; о древнемъ колоритѣ, характеристикѣ каждаго отдѣльнаго лица иѣтъ и номина *). Спрашивается, для чего и для кого трудился г. Григорьевъ? Развѣ для того, чтобы отбить у насъ и безъ того не слишкомъ сильную охоту къ классической старинѣ, съ которою онъ такъ необдуманно обошелся?..

Но части беллетристической прозы отдёльными изданіями вышли въ прошломъ году только два сочиненія: "Брынскій Лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго", романъ г. Загоскина, и вторая часть "Петербургскихъ

Вершинъ", г. Буткова.

Новый романъ г. Загоскина отличается всеми, какъ дурными, такъ и хорошими, сторонами его прежнихъ романовъ. Отчасти это новое, не помнимъ уже которое счетомь, подражание г. Загоскина своему первому роману-, Юрію Милославскому". Но герой послъдняго романа еще безцвътнъе и безличиве, нежели герой перваго. О героинъ нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тъмъ мен'ве русская женщина конца XVII стол'втія. По своей завязкъ "Брынскій Лъсъ" напоминаетъ сентиментальные романы и повъсти прошлаго въка. Стрелецкій сотникъ Лёвшинъ романически влюбляется въ какую-то неземную дёву, съ которой сводить его судьба на ностояломъ дворъ. Изъ первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолетняя дочь въ Брынскомъ лёсу, гдё онъ остановился проёздомъ отдохнуть съ своею холонскою свитою, состоявшею человъкъ изъ пятидесяти. Узнавши это, вы сейчасъ догадываетесь, что идеальная діва, плінившая Лёвшина, есть дочь Буйносова, а вмѣстѣ съ тѣмъ узнаете, что будеть далее въ романе и чемъ онъ кончится. Любовь двухъ голубковъ высказывается избитыми фразами романовъ прошлаго въка, фразами, которыя никоимъ образомъ не могли бы войти въ голову русскаго человѣка послѣдней половины XVII столетія, когда еще не появлялась и знаменитая книжица, рекомая: "Приклады, какъ шишутся комплименты разные на итмецкомъ языкт, то есть писанія отъ потентатовъ къ потентатамъ поздравительные и сожальтельные, и иные; такожде между сродниковъ и пріятелей". Къ слабымъ сторонамъ романа принадлежитъ и его направленіе, происходящее отъ охоты автора приходить въ восторгъ отъ всякихъ старинныхъ обычаевъ и правовъ, даже самыхъ нелѣпыхъ, невѣжественныхъ и варварскихъ, и ими, кстати и некстати, колоть глаза современнымъ обычаямъ и правамъ. Впрочемъ, это недостатокъ не важный: гдф авторъ рисуеть старину неправдоподобно, невѣрно, слабо, тамъ онъ, разумвется, не производить на читателя никакого впечатявнія, кромів скуки; тамъ же, гдів онъ изображаетъ "доброе старое время" въ его истинномъ видъ, какъ писатель съ талантомъ,тамъ онъ всегда достигаетъ результата, совершенно противоположнаго тому, котораго добивается, т. е. разубъждаетъ читателя именио въ томъ, въ чемъ хочетъ его убедить, и наоборотъ. II это лучшія страницы романа, написанныя съ замічательнымь талантомь и отличающіяся большимъ интересомъ, какъ, напримъръ, картина Земскаго приказа и достойнаго подьяка, Ануфрія Трифоныча; разсказъ приказчика Вуйносова о пропажѣ его дочери въ глазахъ семи нянекъ и полусотни челядинцевъ, а главное-картина суда на татарскій манеръ, — суда, гді въ лиці боярина Куродавлева и пришедшихъ къ нему судиться двухъ мужиковъ выказывается вся прелесть иткоторыхъ нзъ старинныхъ нравовъ. Къ числу хорошихъ сторонъ новаго романа г. Загоскина должно отнести еще вообще не дурно, а мъстами и прекрасно очерченные характеры раскольниковъ: Андрея Поморянина, старца Пафнутія, отца Филиппа и Волосатаго старца, и боярина Куродавлева, добровольнаго мученика мъстинческой спъси. Но всъхъ ихъ лучше обрисованъ Андрей Поморянинъ. Нельзя не пожальть, что г. Загоскинъ занимаеть въ своемъ и опонтавиево эшалов клатели энимина анкмор скучною любовью своего героя, нежели картинами правовъ и историческихъ событій этой интересной эпохи. Языкъ новаго романа г. Загоскина, какъ и вежхъ прежнихъ его романовъ, везди ясенъ, простъ, плавенъ, мъстами одушевленъ и живъ.

Вторая книга "Петербургскихъ Вершинъ" г. Буткова показалась намъ гораздо лучше первой, хотя и первую мы не нашли дурною. По нашему мивнію, у г. Буткова п'ётъ таланта для романа и повъсти, и онъ очень хорошо дълаеть, оставаясь всегда въ предълахъ свойственнаго ему одному рода дагерротипическихъ разсказовъ и очерковъ. Это не творчество, не поэзія, но это стоить творчества, поэзін. Разсказы и очерки г. Буткова относятся къ роману и повъсти, какъ статистика къ исторіи, какъ действительность къ поэзіп. Въ нихъ мало фантазін, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много пронін и остроумія, источникъ которыхъ симпатичная душа. Можетъ быть, талантъ г. Буткова одностороненъ и не отличается особеннымъ объемомъ; но дело въ томъ, что можно имъть талантъ и многостороните, и больше таланта г. Буткова — и напоминать имъ о существованін то того, то другого еще большаго таланта, тогда какъ талантъ г. Буткова никого не напоминаетъ-онъ совершенно самъ по себъ. Вотъ почему особенно любуемся мы имъ и уважаемъ его. Разсказы, очерки, анекдоты—называйте ихъ, какъ хотите — г. Буткова представляють собою какойто особенный родъ литературы, досель небывалый Съ большимъ удовольствіемъ зам'єтили мы, что въ этой второй книжкъ г. Бутковъ ръже впадаетъ въ карикатуру, меньше употребляетъ странныхъ словъ, что языкъ его сталъ точнье, опредъленные, и содержаніе еще болже проникнулось мыслію и истиною, чёмъ было все это въ нервой книжкв. Это значить идти впередъ. Отъ души желаемъ, чтобы третья книжка "Петербургскихъ Вершинъ" поскорже вышла.

^{*)} Нечего говорить о безчисленныхъ промахахъ; по мибийю г. Григорьева, Аресъ (Марсъ) должно выговаривать Аресъ, и пр.

Обращаясь къ замъчательнымъ произведеніямъ беллетристической прозы, являвшимся въ сбориикахъ и журналахъ прошлаго года, -- взглядъ нашъ прежде всего встричаеть "Бидныхъ Людей", романъ, вдругъ доставнвшій большую изв'єстность до того времени совершенно неизвъстному въ литературѣ имени. Впрочемъ, объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всехъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предчетв. Сила, глубина и оригинальность таланта г. Достоевскаго были признаны тотчась же всеми, н-что еще важиве - публика тотчасъ же обнаружила ту неумфренную требовательность въ отношенін къ таланту г. Достоевскаго и ту неумфренную петеринмость къ его недостаткамъ, которыя имветь свойство возбуждать только сильный таланть. Почти всё единогласно нашли въ "Бедныхъ Людяхъ" г. Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство: один-растянутости, другіе-пеуміренной плодовитости. Д'айствительно, нельзя не согласиться, что если бы "Вѣдные Люди" явились хотя десятою долею въ меньшемъ объемъ, и авгоръ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однихъ и тёхъ же фразъ и словъ, --- это произведение явилось бы безукоризненно - художественнымъ. Во второи книжкъ "Отечественныхъ Записокъ" г. Достоевскій вышелъ на судъ заинтересованной имъ публики со вторымъ своимъ романомъ: "Двойникъ. Приключенія господина Голядкина". Хотя первый дебютъ молодого инсателя уже достаточно угладиль ему дорогу къ успъху, однако должно сознаться, что "Двойникъ" не имълъ никакого усиъха въ нубликъ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведение г. Достоевского, какъ неудачное и, еще менте, какъ не имтющее никакихъ достоинствъ, то нельзя также и признать судъ публики неосновательнымъ. Въ "Двойникъ" авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истины въ этомъ произведении много, художественнаго мастерства тоже; но вмёсть съ этимъ тутъ видно страшное неумѣнье владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что въ "Бедныхъ Людяхъ" было извинительными для перваго опыта недостатками, въ "Двойникъ" явилось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣньѣ богатаго силами таланта опредѣлять разумную мфру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примъромъ. Гоголь такъ глубоко и живо концепироваль идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдёлать его героемъ еще цёлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичь являлся бы вфрнымъ самому себф, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедін, нътъ сомнънія, были

бы такъ же превосходны, какъ и "Ревизоръ", но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорте бы наскучили, нежели правились, потому что все уха да уха, хотя бы и "Демьянова", прійдается. Какъ скоро поэть выразиль своимъ произведеніемъ идею, его діло еділано, и онъ долженъ оставить въ нокоф эту идею, подъ опасеніемъ наскучить ею. Другой примъръ на тотъ же предметь: что можеть быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедін, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно, онъ не уступають въ достоинства ин одной изъ остальныхъ сценъ комедін; почему же онъ выключилъ нхъ?--Потому, что онъ въ высшей степени обладаеть тактомъ художественной мфры и не только знаеть, съ чего начать и гдф остановиться, по п умфеть развить предметь ин больше, ин меньше того, сколько нужно. Мы убъждены, что если бы г. Достоевскій укоротиль своего "Двойника", по крайней мъръ, цълою третью, новъсть его могла бы имъть успъхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колорить. Фантастическое въ наше время можеть имъть мъсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературф, и находится въ завъдываніи врачей, а не поэтовъ. По всемъ этимъ причинамъ "Двойникъ" оцънили только немногіе дилетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляють предметь не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоить не изъ дилетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читають только то, что имъ непосредственно нравится, не разсуждая, ночему имъ это нравится, и тотчасъ закрывають книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не правится большинству, можетъ имфть свои достоинства; но истинно хорошее произведение есть то, которое нравится объимъ сторонамъ, или, но крайней мфрф, нравясь первой, читается и второю: Гоголь не всёмъ нравился, да прочли-то его

Въ десятой книжкъ "Отечественныхъ Записокъ" ноявилось третье произведение г. Достоевского, повъсть "Господинъ Прохарчинъ", которая всъхъ почитателей таланта г. Достоевскаго привела въ непріятное наумленіе. Въ ней сверкають искры таланта, но въ такой густой темноть, что ихъ свътъ ничего не даетъ разсмотръть читателю... Не вдохновеніе, не свободное и наивное творчество породило эту странную повъсть, а что то вродъ... какъ бы это сказать? — не то уминчанья, не то претензін... нначе она не была бы такою вычурною, манерною, непонятною, болже нохожею на какое-нибудь истинное, по странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствъ не должно быть ничего темнаго и непонятнаго; его произведенія тімь и выше такъ называемыхъ "истинныхъ пропсшествій", что поэтъ освъщаеть пламенникомъ своей фантазін всь сердечные изгибы своихъ героевъ, вст тайныя причины ихъ дъйствій, снимаєть съ разсказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбъяный результатъ достагочной причины. Мы не говоримъ уже о замашкъ автора часто повторять какоенноудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, напримъръ, "Прохарчинъ мудрецъ!") и тъмъ ослаблять силу его внечатлънія: это недостатокъ второстепенный и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя нътъ такихъ повтореній. Конечно, мы не въ правъ требовать отъ произведенія г. Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя; по тъмъ не менъе думаємъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примъромъ еще большаго.

Къ замъчательнымъ произведеніямъ легкой литературы прошлаго года принадлежатъ помъщенныя въ "Отечественныхъ Запискахъ" повъсти: "Небывалое въ быломъ, или былое въ небываломъ", Луганскаго, и "Деревня", г. Григоровича. Оба эти произведенія иміноть между собою то общее свойство, что они интересны, не какъ повъсти, а какъ мастерскіе физіологическіе очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажемъ, чтобы собственно повъсть Луганскаго не имъла интереса; мы хотимъ только сказать, что она гораздо интереснъе своими отступленіями и аксессуарами, нежели своею романическою завязкою. Такъ, напримъръ, превосходная картина избы съ ръзными окнами, въ сравнении съ малороссійскою хатою, лучше всей повъсти, хотя входить въ нее только энизодомъ и ничъмъ внутренно не связана съ сущпостью ея содержанія. Вообще въ пов'єстяхъ Луганскаго всего интересиве подробности, и "Небывалое въ быломъ, или былое въ небываломъ" въ особенности богато интересными частностями, помимо общаго интереса повъсти, которая служить туть только рамкою, а не картиною, средствомъ, а не цѣлью. Объ этомъ можно было бы сказать больше, но какъ мы скоро будемъ имъть случай высказать наше мнъніе о всей литературной д'вятельности этого писателя, то пока и ограничимся этими немногими строками.

0 г. Григоровичъ мы теперь же скажемъ, что у него пътъ ни малъйшаго таланта къ повъсти, но есть замёчательный таланть для тёхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературъ название "физіологическихъ". Но онъ хотълъ сдълать изъ своей "Деревни" повъсть, и отсюда вышли вст недостатки его произведенія, которыхъ онъ легко бы могъ миновать, если бы ограничился безсвязными вившнимъ образомъ, но дышащими одною мыслію картинами деревенскаго быта крестьянъ. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ геронни его повъсти, и вообще изъ его Акулины вышло лицо довольно безцвътное и неопредъленное, именно потому, что онъ старался сдёлать изъ нея особенно интересное лицо. Къ недостаткамъ повъсти принадлежать также и натянутыя, изысканныя и вычурныя містами описанія природы. Но что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это

блестящая, сторона произведенія г. Григоровича. Онъ обнаружиль тутъ много наблюдательности и знанія дѣла и умѣлъ выказать то и другое въ образать простыхъ, истипныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его "Деревия" — одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года.

Статья Луганскаго: "Русскій Мужикъ", явившаяся въ третьей части "Повоселья", исполнена глубокаго значенія, отличается необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія и вообще принадлежитъ къ лучинмъ физіологическимъ очеркамъ этого писателя, котораго необыкновенный талантъ не имъетъ себъ соперниковъ въ этомъ родѣ лите-

ратуры.

Съ шестой книжки "Библіотеки для Чтенія" тянется романъ г. Вельтмана: "Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго", который еще не кончился последнею книжкою этого журнала за прошлый годъ. Г. Вельтманъ обнаружилъ въ новомъ своемъ романъ едва ли еще не больше таланта, нежели въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ, но вмёстё съ тёмъ и тоть же самый недостатокъ умфнія распоряжаться своимъ талантомъ. Въ его "Приключеніяхъ" толинтся страшное множество лицъ, изъ которыхъ многія очеркнуты съ необыкновеннымъ мастерствомъ; много поразительно вфрныхъкартинъ современнаго русскаго быта: но вмёстё съ тёмъ есть лица неестественныя, положенія натянутыя, и слишкомъ запутанные узлы событій часто разрѣшаются посредствомъ deus ex machina. Все, что есть прекраснаго въ этомъ романъ, принадлежить таланту г. Вельтмана, который, безспорно, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени; а все, что составляетъ слабыя стороны "Приключеній", вышло изъ нам'вреннаго желанія г. Вельтмана доказать превосходство старинныхъ правовъ передъ нынъшпими. Странное направленіе! Мы нисколько не принадлежимъ къ безусловнымъ почитателямъ современныхъ нравовъ русскаго общества, не менъе всякаго другого видимъ ихъ странности и недостатки и желаемъ ихъ исправленія. Какъ и у славянофиловъ, у насъ есть свой идеалъ нравовъ, во имя котораго мы желали бы ихъ исправленія; но нашъ идеалъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ, на основании настоящаго. Виередъ идти можно, назадъ-нельзя, и что бы на привлекало насъ въ прошедшемъ, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые кунчики, которые кутять на новый ладъ и лучше умѣютъ проматывать пажитое отцами, нежели пріобрѣтать сами, — мы согласны, что они страниѣе и нелѣпѣе своихъ отцовъ, которые упорно держатся старины. Но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы ихъ отцы не были тоже странны и нелѣны. Молодыя поколѣпія даже купчиковъвыражають собою переходное состояние своего сословия, переходное отъ худшаго къ лучшему, но это лучшее окажется хорошимъ, только какъ результатъ перехода, а какъ процессъ перехода, оно, разумбется, скорбе хуже, нежели лучше стараго. Дъйствуйте на исправленіе нравовъ сатпрою, или — что лучше всякой сатиры—в фрнымъ ихъ изображеніемъ; но д ф йствунте не во имя отжившихъ правовъ, а во имя разума и здраваго смысла, не во имя мечтательнаго и невозможнаго обращенія къ прошедшему, а во имя возможнаго развитія будущаго изъ настоящаго. Пристрастіе, къ чему бы оно ни прилѣпилось-къ старинѣ или новизиѣ, всегда мѣшаетъ достиженію цели, потому что невольно вводить въ ложь человека, самаго страстнаго къ истине и действующаго по самому благородному убъжденію. Это и сбылось съ г. Вельтманомъ въ его новомъ романъ. Онъ придалъ безправственнымъ лидамъ своего романа такой колорить, какъ будто они безиравственны по милости новыхъ правовъ, а живи-де они въ кошихинскія времена, то были бы отличнѣйшими людьми. Но крайней мёрё, мы считаемъ себя въ правѣ сдѣлать подобное заключеніе изъ того, что авторъ нигдъ и не думаетъ маскировать своей симпатін къ старинь, своей антипатін къ новизнь. Такъ, напримірь, повинуясь истині, онь безпристрастно показаль естественныя причины страшнаго богатства купчины Захолустьева; но въ то же время счелъ за необходимое противопоставить ему Селифонта Михеича, который тоже страшно разбогатълъ, но честностью и порядкомъ, а главное потому, что "жиль по старому русскому обычаю". Желали бы мы знать, что бы паши кунцы сказали объ этой утопін честнаго благопріобрѣтенія огромнаго нмѣнія... По мивнію г. Вельтмана, русскій человікь, иміющій несчастіе знать французскій языкъ, есть человъкъ погибшій... Какихъ, подумаеть, не бываетъ предразсудковъ у людей съ умомъ и талантомъ!

Герой романа, Дмитрицкій, — нічто вродів Ваньки Канна новыхъ временъ, или того, что французы называють chevalier d'industrie, лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное авторомъ. Зато героння, Саломея Петровна, которой вынала невыгодная роль представительницы и жертвы новъйшихъ нравовъ и знанія французскаго языка,лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницею, холодною лицемъркою, до пошлости неискусною актрисою, а потомъ самою страстною женщиною, какую только можно вообразить. Дѣйствіе романа презапутанное: въ немъ столько эпизодовъ. сколько лицъ, а лицамъ, какъ мы сказали, счету нътъ. Какъ только является новое лицо, авторъ безъ церемонін бросаеть героя и геронню и начинаеть разсказывать читателю исторію этого новаго лица, со дня его рожденія, а иногда и со дня рожденія его родителей, по день его появленія въ романъ. Большая часть изъ этихъ вводныхъ лицъ изображены или очеркнуты съ большимъ искусствомъ. Ходъ романа очень интересень; въ событіяхъ много истины, но въ то же время и много нев фроятностей. Когда автору нътъ средства естественно развязать узель завязки, или завязать новый, у него сейчась является deus ex machina. Таково, напр., похищение Саломен холопами Филиппа Савича, помъщика Кіевской губернін, — самая нев роятная романическая натяжка, на какую только когда-либо решался писатель съ талантомъ. Такихъ сказочныхъ невъроятностей особенно много въ событ длъ жизин Дмитрицкаго; ему все удается, онъ всегда выходить съ выгодою для себя изъ самаго затруднительнаго, самаго невыгоднаго положенія. Прітажаеть въ Москеу безъ бумагъ, съ однимъ червопцемъ, останавливается въ гостиницъ, пьетъ, тетъ на широкую погу, и вдругъ судьба посылаеть ему литературщика, который приняль его за литератора, занимавшаго еще вчера этотъ же самый номеръ гостиницы, везетъ его къ себъ, предлагаетъ у себя квартиру, даетъ денегъ. Все это дълается по шучью велънью, а по моему прошенью, и доказываетъ, что у г. Вельтмана больше таланта для частностей и подробностей, нежели для созданія чего-инбудь цълаго, больше наклонности къ сказкъ, нежели къ роману, и что системы и теоріи много дълаютъ вреда его замѣчательному таланту...

Упомянувши сще о "Венгерцахъ", физіологическомъ очеркъ, въ "Финскомъ Въстникъ", мы окончимъ нашъ перечень всего особенно замъчательнаго, что явилось въ прошломъ году по части изящной словесности. Перечень этотъ вышелъ не великъ "); обо многомъ мы не хотимъ упоминать вовсе не потому, чтобы во всемъ, о чемъ умалчиваемъ, видъли мы одно дурное и ничего хорошаго, но потому, что считали нужнымъ говорить только объ особенно замъчательномъ.

["Воспоминанія Фаддея Булгарина (Отрывки изъ видіннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизви)", не принадлежа собственно ни къ ученой, ни къ поэтической, но къ такъ называемой легкой литературі, есть книга во миогихъ отношеніяхъ интереспая и замічательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочиненія, мы выскажемъ ниже наше о немъ мижніе, а пока ограничимся однимъ упоминовеніемъ.

Къ числу такого же рода произведеній отнесли бы мы и "Записки Доктора", сочиненіе г. Малиновскаго, если бы эти записки больше были вѣрпы своей прекрасной цѣли и больше походили на записки, нежели на мелодраму въ формѣ неудавшагося романа, написаннаго безъ таланта, безъ умѣнья и такту].

Но примъру Нетербургского Сборника въ Москвъ пзданъ былъ Московский, литературный и ученый Сборникъ, который, несмотря на свое славянофильское направленіе, заключаетъ въ себъ нъсколько интересныхъ статей, изъ которыхъ особенно замъчательна умнымъ содержаніемъ и мастерскимъ изложеніемъ статья "Тарантасъ", подписанная буквами М. З. К.

Отъ чисто-литературныхъ произведеній переходя къ сочиненіямъ ученаго или серьезнаго содержанія, начнемъ съ того, что сдёлано было въ прошломъ году по части русской исторіи. Скажемъ здёсь кстати, что въ "Современникъ" будетъ обращено

^{*)} Это произошло частію оттого, что множество замічательных беллетристических произведеній, особенно політетей, должно-бъ было появнъся въ прошломь 10ду въ одномь огромномъ сборинкі, предполагавшемся къ издапію. Но по случаю "Современника", литераторь, предприни мавшій издапіе этого сборинка, счель за лучшеоставить ское предпріятіе и передать "Современе нику" собрашныя имъ статьи.

особенное вииманіе на этоть предметь. Кром'в статен по части русской исторіи, журналь нашь, не об'вщая своимь читателямь полной библіографіи по другимь частямь, будеть представлять отзывы обо всемь, что будеть являться сколько-инбудь зам'вчательнаго по части русской исторіи.

"Исторія русской словесности, пренмущественно древней, ХХХІІІ публичныя лекцій г. Шевырева" (досель вышло двъ части), принадлежитъ къ замъчательнымь явленіямь ученой русской литературы прошлаго года. Въ этомъ сочиненій авторъ обнаружиль короткое знакомство съ источниками, обширную начитанность, -- словомъ, эрудицію, которая едълала бы честь самому кропотливому ифмецкому гелертеру. При этомь оно огличается глубокимъ и искреннимъ убъжденіемъ, самою наивною добросовъстностью, которыя, однако-жъ, не помъщали труделюбивому и почтенному профессору представлять факты въ самомъ неистинномъ видъ. Эго странное явленіе будеть очень понягно, если взять въ соображеніе, какую ужасную силу имбеть надъ здравомысліемъ челов'єка духъ системы, обаяніе готовой иден, еще прежде изученія фактовъ принятой за непреложно-истинную. Вотъ причина, почему г. Шевыревъ въ духовныхъ сочиненияхъ древней и старой Русп непрем'єнно хочеть вид'єть произведенія народной словесности, а въ русскомъ сказочномъ витязъ Ильъ-Муромиъ находитъ что-то общее съ Сидомъ, рыцарственнымъ героемъ національныхъ испанскихъ романсовъ... Въдь ученый и трудолюбивый Венелинъ находилъ же Атиллу славяниномъ, а въ Меровингахъ франкскихъ видълъ славянскихъ "мировыхъ" или "міровыхъ"—не поминиъ, право... Это доказываетъ, что господа ученые, платя дань человфческой слабости, бывають подвержены такимъ же странностямъ, какъ и самые простые, вовсе безграмотные люди... Можеть быть, это происходитъ оттого, что они, какъ говоритъ простой народъ, зачитываются, и у нихъ умъ за разумъ заходить; можеть быть, это происходить и оть другихъ причинъ-пе знаемъ; но знаемъ только то, что духъ системы и доктрины имфетъ удивительное свойство омрачать и фанатизировать даже самые свътлые умы... Впрочемъ, книга г. Шевырева, виѣ своего славянофильскаго направленія, имбеть много достоинствъ, какъ памятникъ прим'врнаго трудолюбія и добросовъстной, хотя и односторонней учености. Волье всего важны примъчанія, которыми снабжена она, и куда отнесены авторомъ самые интересные факты, которые съ особеннымъ упорствомъ отказались свидътельствовать въ пользу любимыхъ идей его. Замъчательна еще книга г. Шевырева и тъмъ, что подала поводъ къ четыремъ прекраснымъ критическимъ статьямъ (въ "Отечественныхъ Запискахъ", №№ 5 и 12, въ "Вибліотекѣ для Чтенія" и "Финскомъ Въстникъ").

Къ числу блистательнѣйшихъ пріобрѣтеній по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлаго года, принадлежитъ вышедшее въ прошломъ году второе отдѣленіе второй части "Руко-

водства къ Всеобщен Исторіи"—сочиненіе профессора Лоренца. Этою кинжкою заключается средняя исторія. Съ петерибиїемъ ожидаемъ продолженія и окончанія этого превосходнаго труда.

"Исторія Консульства и Имперін", Тьера, появилась въ двухъ переводахъ. Вышла шестая часть

"Всемірной Исторін" Беккера.

"Нравы, Обычаи и Памятники всёхъ народовъ Земного Шара", изданіе гг. Семена и Стойковича, превосходными плинетрированными картинами и политипажами, и вообще тппографскимъ изяществомъ затмило собою всв когда-либо являвшіяся въ Россіи такъ называемыя везиколфиныя изданія. Содержание книги соотвътствуетъ ея вижшиему достоинству и-то даеть ей особенную важностьесть не переводъ, а почти оригинальный трудъ двухъ русскихъ литераторовъ, которые, пользуясь иностранными источниками, умъли придать ему достоинство одушевленнаго одною идеею сочиненія. Въ вышедшей книгв содержится описаніе Индустана, сдъланное г. Тютчевымъ, и Загангскаго полуострова, сдъланное г. Стойковичемъ. Во второй книгъ издатели объщають описание Китач и Японіи.

Въ журналахъ прошлаго года было очень много интересныхъ статей ученаго содержанія, оригинальныхъ и переводныхъ. Изъ первыхъ въ особенности можно указать: на седьмое и восьмое "Письма объ изученін природы", Искандера; "Кочующіе и освідло-живущіе въ Астраханской губерніп ннородцы", барона Ө. А. Бюлера; "Европейскія жельзныя дороги, въ историческомъ, географическомъ и статистическомъ отношеніяхъ" (въ "Отрчественныхъ Запискахъ"); "Нога и рука человъка", С. С. Куторги (въ "Виблютекъ для Чтенія"); "Жазнь и правы зм'вй; Жизнь и правы науковъ", г. Ушакова (въ "Финскомъ Въстникъ"). Изъ переводныхъ статей особенно замѣчательна— "Оливеръ Кромвель" (въ "Отечественныхъ Запискахъ"). Знаменитое ученое твореніе Гумбольдта было переведено въ "Отечественныхъ Запискахъ" подъ именемъ "Космоса", а въ "Вибліотекъ для Чтенія" подъ именемъ "Козмоса". Нельзя не отдать справедливости обоимъ журналамъ за ихъ поспъшность познакомить русскую публику съ пронзведеніемъ великаго ученаго, столь важнымъ по предмету и написаннымъ популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цъли. Популярность изложенія Гумбольдта чисто-п'вмецкая, —сл'вдовательно, вполий доступная только людамъ, спеціально занимающимся естественными науками и астрономією. Въ этомъ отношенін гораздо полезнѣе перевода обоихъ журналовъ была статья въ "Сверной Пчель" (МУ 175—180): "Александръ Гумбольдтъ и его Вселенная (Kosmos)". Не знаемъ, откуда переведена или къмъ написана она, но непосвященныхъ въ таинства науки она знакомитъ съ книгою Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги въ обоихъ журналахъ. Въ "Финскомъ Въстинкъ" переводится знаменитое твореніе Тьери: "Завоеваніе Англін норманнами,.. Это сочинение, копечно, не ново вездѣ, кромѣ России, и оттого мыслъ "Финскаго Вѣстника" перевесть его заслуживаетъ похвалы и благодарности.

Въ последнее время много стало появляться книгь, брошюръ и статей по спеціальнымъ предметамъ. Конечно, истинно хорошихъ между ними еще мало, но всв онв важны, какъ свидетельство дельнаго направленія литературы. Такъ, напр., въ прошломъ году вышли весьма замѣчательныя книги, которыя мы только ноименуемъ, такъ какъ о нихъ было уже много говорено въ журналахъ: нервая книга "Записокъ Русскаго Географическаго Общества", третья часть "Исторіи Смутнаго Времени", г. Бутурлина; "Объ источникахъ и употребленіи статистических сведеній", г. Журавскаго; "Инжегородская ярмарка въ 1843, 1844 и 1845 годахъ", г. Мельникова, и проч. Особенно пріятно видіть, что появляется довольно много книгь, брошюрь и статей, касающихся не только сельскаго хозяйства, въ его техническомъ значенін, но и быта того многочисленнаго класса людей, который играеть такую великую роль въ отношенін къ сельскому хозяйству, какъ живая и разумкая производящая сила. Особенно заслуживаеть вниманія, въ 103 № "Московскихъ Вёдомостей", превосходная статья С. А. Маслова — "Жаръ п Житва Хлеба. (Летнія заметки въ Московской губернін)". Эта замічательная статья, за которую почтеннаго автора благословить всякій другь человъчества, была перепечатана почти во всъхъ журналахъ, издающихся отъ правительственныхъ

Мы не упомянули о нёскольких замічательных книгахь, показавшихся въ конців прошлаго года, для того, чтобы начать съ нихъ отділь Критнки и Библіографіи "Современника". Но прежде скажемь нівсколько словъ объ этомъ отділь нашего журнала. Почти во всіхъ другихъ журналахъ критика составляеть особый отъ библіографіи отділь. Пишущій эти строки семилітнимъ тяжкимъ опытомъ дозналъ невыгоду такого разділенія. Подъ критикой разуміть статья извітстваго объема и даже особеннаго отъ рецензіи тона. Замічательныхъ книгъ, подлежащихъ відомству серьезной критики, у насъ выходитъ такъ мало, что обизан-

ность писать по критикъ каждый мъсяцъ поневолъ делается чемь-то вроде тяжелой ноставки, -- нбо много замичательнаго печатается въ журналахъ. Поэтому, представляя отчеты наши публикъ о всёхъ болёе или менёе примъчательныхъ явленіяхъ русской литературы, мы не будемъ нисколько заботиться, что выйдеть изъ нашего разбора-критика или рецензія. Пусть сами читатели наши рѣшають это, каждый по своему вкусу и разуменію. Этимъ мы надвемся доставить имъ услугу, избавивъ журналъ нашъ отъ балласта многословія и надутости, неизбъжнаго иногда ири двойномъ разделенін критики: на большую, или собственно критику, и малую, или рецензію. Критика наша, какъ мы сказали выше, будеть обращать внимание на всь сколько-нибудь замьчательныя сочиненія по части русской исторін; затѣмъ болѣе всего обратить она свое внимание на произведения чистолитературныя; но въ отношеній и къ нимъ мы не объщаемъ полной библіографіи, ибо о книгахъ ничтожныхъ даже отрицательно, по нашему мивнію, не стоить труда ни нисать, ни читать. Мы даже будемъ считать нашею обязанностью, изъ уваженія къ публикъ и самимъ себъ, проходить молчаніемъ дюжинныя произведенія, дюжинныхъ писакъ, которые успёли уже пріобрасти себа позорную извастность, которые, думая върно изображать жизнь, какъ она есть, вмъсто этого изображаютъ върно только себя такъ, какъ они есть, т. е. во всевеличін ихъ претензій, ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумія. Съ другой стороны, чуждые всякихъ притязаній на энциклопедическую многосторонность познаній, мы не будемъ ничего говорить о спеціальныхъ сочиненіяхъ, какъ бы ни были они замѣчательны, если они выходять изъ круга нашихъ занятій. О книгахъ легкихъ и незначительныхъ будетъ у насъ говориться въ фельетонъ "Современника", въ отдълъ смъси, и отъ времени до времени прилагаться къ его книжкамъ полные библіографическіе списки всіххь, безъ исключенія, выходящихъ въ Россін книгъ на русскомъ языкъ, съ обозначениемъ типографии, формата, числа страницъ и даже, по возможности,

[Современникъ. Томъ І, 1847 г.].

Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями Николая Гоголя. Спб. 1847.

Это едва ли не самая страиная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась
на русскомъ языкѣ! Безпристрастный читатель, съ
одной стороны, найдетъ въ ней жестокій ударъ
человѣческой гордости, а съ другой стороны, обогатится любонытными исихологическими фактами
касательно бѣдной человѣческой природы... Впротемъ, нисколько не правъ будетъ тотъ, кѣмъ, при
чтенін этой кинги, поперемѣнно стали бы овладѣвать то жестокая грусть, то злая радость, —грусть

о томъ, что и человѣкъ съ огромнымъ талантомъ можетъ надать такъ же, какъ и самый дюжинный человѣкъ, — радость отъ того, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не можетъ замаскироваться, но всегда безпощадно казнится собственною же пошлостію... Смыслъ этой книги не до такой степени печаленъ. Тутъ дѣло идетъ только объ искусствѣ, и самое худшее въ немъ—потеря человѣка для искусства...

Сколько кингъ является съ эпиграфами, которые нисколько къ нимъ не идутъ и инчего въ нихъ не поясняютъ, и сколько эпиграфовъ такъ и просятся въ эту книгу, которая явиласъ безъ всякаго эпиграфа! Напримъръ, какъ бы шелъ къ

ней этотъ эппграфъ: "Суета суетъ и всяческая суета!" или этотъ: "Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!"... Но не будемъ говорить о томъ, чего въ ней нётъ, а обратимся къ тому, что въ ней есть... Изъ предисловія узнаемъ мы, что авторъ быль болень, при смерти, и написаль-было завъщаніе. Все это очень обыкновенно и со всякимъ случиться можеть. Но воть что вовсе не обыкновенно и чего досель еще ни съ къмъ изъ частныхъ лицъ не случалось. Завъщаніе Н. В. Гоголя, папечатанное въ книгъ вполнъ, не заключаетъ въ есов никакихъ семейныхъ подробностей, которыя, разумъется, и не шли бы въ нечать, но все состоитъ изъ интимной беседы автора съ Россіею... То есть: авторъ говоритъ и наказываетъ, а Россія его слушаеть и объщаеть выполнить... Туть, между прочимъ, говорится, какъ о въщъ творенія Гоголя, о какой-то "Прощальной Повъсти", написанной имъ въ назидание, поучение и услаждение высокихъ душъ... Потомъ объявляется, что авторъ сжегь вст свои сочиненія, бывшія у него въ рукописяхъ, какъ безполезныя... Вмѣсто этого просить онъ друзей своихъ издать его письма съ 1844 года для пользы тоже высокихъ душъ... Но вотъ конецъ завъщанія въ подлинныхъ словахъ:

"VII. Завъщаю... но я вспомният, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портреть. По многимъ причинамъ, которыя миъ объявлять не нужно, я не хотъль этого, не продавалъ никому права на его публичное издание и отказываль всёмь книгопродавцамь, доселё приступавшимъ ко миъ съ предложениемъ, и только въ такомъ случат предполагалъ себт это позволить, если бы помогъ мнѣ Вогъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы вет мон соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дъло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человъка. который до времени работаль въ тишинъ и не хотълъ пользоваться незаслуженной извъстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портреть мой вы такомы случать могь распродаться вдругь во множествт экземпляровь, принеся значительный доходъ тому художнику, который должень быль гравировать его. Художникъ этоть уже ивсколько лъть трудится въ Римв падъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображение Го подне. Онъ всъмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дъло, подходящее нынъ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинъ высокой цъпы и налаго числа зпатоковъ, эсталиъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествъ, чтобы вознаградить его за все; мой портреть ему помогь бы. Теперь планъмой разрушенъ: разъ опубликованное нзображение кого бы то пи было дълается уже собзанимающагося изданіями ственностью каждаго, гравюръ и литографій. Но если бы случилось такъ, что, послъ моей смерти, письма, послъ меня изданныя, доставили бы какую-инбудь общественную пользу (хоть бы даже одинмъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мон соотечественники увидъть и портретъ мой, то я прошу всъхъ таковыхъ издателей благородно отнараться отъ своего права; тъхъ же монкъ читалелей, которые но излишней благосклонности ко

всему, что ни пользуется извъстностію, завели у себя какой-нибудь портреть мой, прошу уничтожить его туть же по прочтеніи сихъ строкъ, тімть болье, что онъ сдѣлань дурно и безь сходства, и покупать только тоть, на которомь будеть выставлено: гравироваль Іордановъ. Симъ будеть сдѣлано по крайней мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будеть справедливъе, если тѣ, которые имѣють достатокъ, стануть вмѣсто портрета моего покупать самый эстамиъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляеть славу русскую.

"Завъщаніе мее пемедленно по смерти моей должно быть напечатано во всъхъ журпалахъ и въдомостяхъ, дабы, по случаю певъдънія его, пакто несдълался передо мною невинно-виноватымъ, и тъмъ бы не напесъ упрека на свою душу".

Изданную теперь книгу "Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзъями" г. Гоголь проситъ своихъ соотечественниковъ прочитать нѣсколько разъ, а достаточныхъ изъ нихъ проситъ онъ покупать ее по нѣскольку экземиляровъ для раздачи тѣмъ, которые сами купить ее не въ состоянін (стр. 3)... Сбираясь въ Сирію, на поклоненіс святымъ мѣстамъ, проситъ онъ прощенія у всѣхъ, передъ которыми виноватъ, равно какъ и у тѣхъ, передъ которыми не виноватъ... Въ особенность сознаеть онъ, что въ его обхожденіи съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго.

"Отчасти это происходило (говорить онь) оттого, что я избъгаль встръчь и знаксмствъ, чувствуя. что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человъку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ мнъ произносить не хотълось), и будучи въ то же время убъжденъ, что, по причинъ безчислениаго множества моихъ недостатковъ, мнъ было необходимо хотя немного восинтать самого себя въ нъкоторомъ отдаленіи отъ людей. Отчасти исе это происходило и отъ мелочнаго самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считають себя въ правъ спъсиво глядтъ на другихъ" (стр. 4—5).

За предполовіемъ и завъщаніемъ слъдують письма. Въ этихъ письмахъ авторъ изображаетъ себя какъ бы прозрѣвшимъ вслѣдствіе своей болѣзни, исполнившимся духа любви, кротости и, въ особенности, смиренія... Содержаніе ихъ совершенно соотв'єтствуетъ такому духу: это не письма, это скорже строгія и иногда грозныя ув'іщанія учителя ученикамъ... Онъ поучаетъ, наставляетъ, совътуетъ, удичаеть, упрекаеть, прощаеть и т. д. Къ нему всв обращаются съ вопросами, и онъ никого не оставляеть безъ отвъта. Онъ самъ говоритъ: "Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мив, требуя помощи и совъта". Тутъ же, черезъ нъсколько строкъ: "Въ последнее время мий случалось даже получать письма отъ людей, мив почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не сумълъ дать прежде. А между прочимъ (?) я ничуть не умиъе никого" (стр. 121-122). Затёмъ слёдуетъ объяснение, что эта мудрость произовите отъ болъзни. Въ другомъ письмъ, давая пріятелю совъть по части хозяйства, авторь говорить: "то чко раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладъ; два человъка уже благодарятъ меня: одинъ изъ нихъ—тебѣ знакомый К**" (стр. 159)

Видите ли: онъ самъ сознаетъ себя тѣмъ-то вродѣ сиге́ du village, или даже и наны своего маденькаго католическаго міра... Послушаемъ же его совѣтовъ и подивимся имъ...

Говоря въ письмъ къ одной дамъ о значенін женщины въ свъть, авторъ открываеть намъ главпую причину лихоимства въ Россіи. Найти причину зла-почти то же, что найти противъ него лекарство. И авторъ "Переписки" нашелъ его... Слушайте: главная причина взяточничества чиновниковъ происходить "оть расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадинчають блистать въ свъть, большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ нужей" (стр. 17)... Признаемся: мы были сильно поражены этимъ страннымъ открытіемъ... Мы, однако-жъ, не остановились на этомъ, но ношли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно, конечно, хорошо, если чиновинцы перестануть щеголять и блистать въ свъть, но что еще будеть лучше, если онф, вмфстф съ тфмъ, навсегда оставять дурную привычку-поутру и вечеромъ инть чай или кофе, а въ полдень объдать, равно какъ и другую не менте дурную привычку прикрывать наготу свою чемъ-нибудь другимъ, кроме рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы имъ вовсе не для чего было просить у мужей денегь, а мужьямь вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправление нравовъ было бы всесовершенное... Съ этимъ могутъ не согласиться только такъ называемые практическіе люди, которые все понимають не вдохновеніемь, а здравымь смысломъ да опытностью... Они могутъ сказать, что до Иетра Великаго у насъ не было модъ, н женщины сидъли взаперти, а взяточничество было, да еще въ несравненно сильнейшей степени, чемъ теперь... Пожалуй, они могуть еще сказать, что, хорошо зная человъческую натуру и ея слабости, они считаютъ рѣшительно невозможнымъ, чтобы у одинхъ уничтожить желаніе блистать, когда другіе, по своимъ средствамъ, согласятся скорте умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство въ средствахъ есть неосуществимая мечта, то никакія "переписки" въ мірт не убъдять никакого Ира не желать быть Крезомъ, или не завидовать ему, ибо это вит природы человтческой, а немпогія и радкія исключенія туть ровно ничего не значать. Но мало ли чего могуть наговорить практические люди, да что ихъ слушать! Въдь они чернаютъ свои мысли въ разумѣ, въ разсудкъ, опытъ и знанін-поточникахъ мірскихъ, свётскихъ и грёховныхъ!.. Эти люди, пожалуй, скажутъ вамъ, что только въ здоровомъ теле можетъ обитать здоровая душа, что только не страждущій никакимъ разстройствомъ мозгъ можетъ правильно мыслить... Заткинте уши отъ такихъ вольнодумныхъ мыслей н илюньте (любимое выражение автора "Переписки") на проповедниковъ такой ереси; вотъ что говорить объ этомъ нашъ авторъ:

"О, какъ нужны намъ недуги! наъ множества пользъ, которыя я уже навлекъ наъ нихъ, укажу вамъ только на одну: не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталь уже такимъ, какимъ слъдуеть мнъ быть. Не говорю уже о томъ, что са-

мое здоровье, которое безпрестанно подталкивает русскаго человика на какіс-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня надблать уже тысячу глупостей. Пригомъ, нынъ, въ мои свъжія минуты, которыя даеть мив милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходять ко мив мысли, несравненно лучнія прежнихъ, и я вижу самь, что теперь все, что ни вийдеть изъ-поов пера мо-его, будеть значительное прежняго" (стр. 26).

Теперь неоспоримо, какъ дважды два-четыре, что нездоровье лучие здоровья: въ здоровь человѣкъ, особенно русскій, любить рисоваться н заноситься, а въ болъзни онъ ясно видитъ, что прежде онъ дёлаль однё глупости, а вотъ теперьто за умъ хватился и сталъ молодецъ хоть куда! Онъ ужъ туть самъ видитъ, что онъ и пишетъ лучше прежняго, и если весь свётъ видить это дело совершенно наобороть, можно "илюнуть" на весь свътъ: брешешь, молъ, ты, дуракъ!.. Вы думаете, что съ свътомъ, даже съ большимъ, нельзя такъ говорить? По крайней мъръ, въ "Выбранныхъ мъстахъ изъ дружеской переписки" свътскіе люди иначе не называются, какъ "глупыми умниками" (стр. 149). Вообще, замътимъ истати, обращение нашего смиренномудраго совътодателя какъ съ своими адептами, такъ и съ людьми, никогда его не знавшими, отличается немножко черезчуръ восточною откровенностію. "Критика (у него) устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новъйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь" (стр. 51). Вотъ, чтобы помочь этому горю и направить критику на истинный путь, онъ и написаль свою превосходную критическую статью "Объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ", — статью, въ которой, разумъется, дичи не было нисколько... Но вотъ черта еще лучие: "Какъ глупы намецкие умники, выдумавшіе, будто Гомеръ мнеъ, а всѣ творенія егонародныя пъсни и рапсодін" (стр. 50). Сколько мы помнимъ, главнымъ поборникомъ этого мнѣнія быть профессоръ Вольфъ, человѣкъ, конечно, не геніальный, но весьма ученый и совстмъ не дуракъ!.. Но вотъ бъда: это митие раздъляль и Гёте, который хотя быль и нёмець, но дуракомъ ин въ чынхъ глазахъ никогда еще не былъ... Что скажуть о нась нёмцы, если узнають, что ихъ Гете быль не болье какь-дуракъ!.. А между тъмъ, воля ваша, а вёдь оно должно быть такъ, потому что нашъ авторъ не знаетъ ни греческаго языка, столь знакомаго Вольфу и Гете, да едва ли знаетъ и по-ифмецки-то; сверхъ того, онъ судить не по разуму, не по знанію, а по вдохновенію: изъ всего этого саёдуеть, что онь правъ и что Гёте дёйствительно дуракъ... Нътъ, это дъло ръшенное-Гёте дуракъ! Да и что тутъ чиниться съ какиминибудь нѣмцами!..

Но воть особенно интересное суждение автора о славянофилахъ, отличающееся всёмъ достоинствомъ его патріархальной откровенности:

"Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то,

что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполнъ проснулись; а потому не мудрено, что съ объихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всъ эти славянисты и европисты-или же старовъры и нововъры, или же восточники и западники, а что они въ самсмъ дёлё, не умёю сказать, потому что покамъсть они миъ кажутся только карикатурами на то, чёмъ хотять быть, - всё они говорять о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорять и не поперечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строению, такъ что видить одну часть его; другой отошель отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумъ̀ется, правды больше на сторонъ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видять фасадъ и, стало быть, все-таки говорять о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонъ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорять довольно подробно и отчетливо о той стънъ, которая стонтъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карииза, вънчающаго эту стъну, не видится имъ верхушка всего строенія, т. е. глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинъ. Можно бы посовътовать обонмъ-одному попробовать, хоть на время, подойти ближе, и другому отступиться немного подалъе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увърепъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжеть. Кичливости больше на сторонъ славяпистовь; они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаеть о себт, ито онг открыль Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ ръпу. Разумћется, что такимъ строптивымъ хвастовствоми вооружають они еще болье противу себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинають слышать многое, прежде неслышанное, но упорствують, не желая уступить слишкомъ разкозырявшемуся человъку".

А въ другомъ мѣстѣ вотъ что говоритъ авторъ о томъ же предметѣ:

"Многіе у насъ уже теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мъру русскими доблестями, и думаютъ вовсе не о томъ. чтобы ихъ углубить и воспитать въ себъ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европъ: "смотрите, иъмцы: мы лучше васъ!" Это хвастовство губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Нанлучшее дъло можно превратить въ грязъ, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у пасъ, еще не сдълавши дъла, имъ хвастаются! Хвастаются будущимъ! Нътъ, по миъ, ужъ лучше временное упыніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадъяпность въ себъ".

Но мы начали рѣчь о совѣтахъ, которыми авторъ надѣляетъ своихъ адептовъ; надо кончить эту интересную матерію. Одинъ изъ пріятелей автора посягнулъ на дѣло неслыханной дерзости: онъ рѣшился сказать автору письменно, что, по его мнѣнію, теперь-де самое время для выпуска второй части "Мертвыхъ Душъ"... Подобная дерзость не могла не подѣйствовать нѣсколько смутно на смиреніе нашего автора, — и онъ разразился слѣдующимъ громовымъ отвѣтомъ неосторожному смѣльчаку:

"Вотъ, если бы ты, вмъсто того, чтобы предлагать миъ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего, и которые ни къ чему не ведутъ, кромъ удоглетворения какого-то празднаго

любопытетва), собраль вев дільныя заубчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, запятыхъ, подобно тебъ, жизнію опытною н дъльною, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ин случались въ околоткъ вашемъ и во всей губерии, въ подтверждение и въ опровержение всякаго дъла въ моей книгъ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу, тогда бы ты сдёлаль доброе дёло, и я бы сказаль тебё мое крёпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освъжилась моя голова, и какъ бы успъшнъе пошло мое дъло! Но того, о чемъ я прошу, инкто не исполняеть: монхъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свон; а иной даже требуеть отъ меня какой-то некрепности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуеть. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая, ни къчему не ведущая торопливость, которою, какъ замъчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри. какъ въ природъ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законъ, и какъ все разумно нсходить одно изъ другого! Однимы, Богъ въсть, изъ чего мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкъ. Ну, взвъсилъ ли ты хорошенько слова свои: "второй томъ нуженъ теперь необходимо"? Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ! Да развъ ужъ я совсъмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мит нужно; въ неудовольствін человъкъ хоть что-нибудь мнъ выскажеть. И откуда вывель ты заключение, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залъзъ ты развъ въ мою голову? Почувствовалъ существо второго тома? По-твоему онъ нуженъ теперь, а помоему не раньше, какъ черезъ два-три года, да н то еще принимая въ соображение попутный ходъ обстоятельствъ и временн. Кто-жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидить въ годовъ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человъкъ лежитъ на боку, къ дёлу настоящему лёнивъ, а другого торопить, точно какъ будто непременно другой долженъ изо всъхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежить на боку. Чуть замътить, что хотя одинъ человъкъ занялся серьезно какимъ-нибудь дъломъ, ужъ его торонять со всъхъ сторонъ, и потомъ его же выбранять, если сдълаеть глупо, скажуть: зачёмь поторопился? Но окончиваю тебе поученіе. На твой умиый вопросъ я отвъчаль и даже сказалъ тебъ то, чего доселъ не говорилъ еще никому. Не думай, однако же, послъ этой исповъди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои героп. Нътъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгараю имъ; но я не люблю монхъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мон герон; я не люблю тъхъ низостей монхъ, которыя отдаляють меня оть добра. Я воюю съ ними, п буду воевать, и изгоню ихъ, и мий въ этомъ поможетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые свътскіе уминки, будто человъку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школь, а послъужъ и черты нельзя измънить въ себъ; только въ глупой свитской башки могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тъмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмаялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ инми посмъяться. Я оторвался уже отъ многаго темъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою вывзжаеть козыремь всякая мерзость наша, поставиль ее рядомъ съ тою гадостію, которая встяв видна. И когда повъряю себя на исповъди передъ Тъмъ, Кто повелълъ миъ быть въ міръ и освобождаться отъ монхъ недостатковъ, много въ себъ пороковъ; но они уже не тъ, которые были въ прошломъ году. Святая сила помогла мит отъ тъхъ оторваться. А тебт совтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, по, по прочтенін моего письма, остаться одному на пъсколько минуть и, отъ всего отдёлясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провёрить на дълъ нетину словъ моихъ. Въ этемъ же моемъ отвътъ найдешь отвътъ и на другіе запросы, если по-пристальнъе вглядишься. Тебъ объяснится также н то, почему не выставляль я до сихъ поръ читателю явленій утёшительных и не избраль въ мои герон добродътельныхъ людей. Ихъ въ головъ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, пока пе добудешь постоянствомън не завоюещь силою въ душу нъсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будеть все, что ни напишетъ пере твое, и какъ земля отъ неба будеть далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ-я также не выдумываль; кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душъ, то изъ нел и вышло".

Но истинный перлъ по совътодательной части составляють три письма автора. Въ одномъ онъ учить мужа и жену жить по-супружески. Жалбемъ, что длиннота этого письма лишаетъ насъ возможности пересказать его содержаніе: это-чудо, прелесть; еще ничего не являлось подобнаго на русскомъ языкъ, и передъ этимъ даже путевыя записки за-границею г. Погодина-просто пасъ!.. Въ другихъ двухъ инсьмахъ содержатся преудивительные совъты помъщику, какъ управлять своими крестьянами. Въ одномъ изъ нихъ замъчалельнъе всего совътъ касательно сельскаго суда и расправы. Такъ какъ, по митнію автора, въ спорахъ, жалобахъ, неудовольствіяхъ и тяжбахъ всегда бываютъ неправы объ стороны, то онъ и ръшаетъ, что дёло судын-наказать обё...

"Эта мысль (говорить онъ), какъ непреложное върованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человѣкъ получаеть въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ назътатого, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое наъ дѣлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю: т. е. оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повѣсти Пушкина Капитанская Дочка, которая, пославши поручка разсудить городского солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: "Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накаки" (стр. 188).

Въ другомъ инсьмѣ авторъ совѣтуетъ помѣщику прежде всего нешутя, нскренно показать своимъ крестьянамъ, что ему, номѣщику, деньги—нуль.

"Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старость, приказчику, попу или даже самомутебь. Чтобы, когда еще они завидять издали примърнаго мужика и хозяниа, леттли бы шапки съ головы у встат мужиковъ, и все бы ему давало дорогу, а который посмъть бы оказать ему какоенибудь пеуваженіе, или не послушаться умныхъ словь его, того распеки туть же при всъхъ; скажи ему: "Ахъ, ты, невымытое рыло! Самъ весь зажиль въ сажъ, такъ, что и глазъ не видать, да

еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же сму въ жоги в попроси, чтобъ навелъ тебя на разумъ, не наведетъ на разумъ—собакой пропадешь" (стр. 158—159).

Хорошъ и этотъ совътъ: "Мужика не бей: съ в здить его въ рожу еще не большое искусство: это сумъетъ сдълать и становой, и засъдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ, и только что почешетъ слегка у себя въ затылкъ" (стр. 160). Затъмъ авторъ учитъ помъщика ругаться съ мужиками... Что это такое? гдъ мы? ужъ не перенеслись ли мы въ давно-прошедшія

времена?..

Но это еще не все. Вотъ лучшее: "Замѣчанія твои о иколахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотъ затъмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издають для народа европейскіе челов'іколюбцы, есть дійствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нттъ вовсе для этого времени. Послт столькихъ работъ никакая книжонка не полёзеть въ головун, пришедши домой, онъ заснеть, какъ убитый, богатырскимъ сномъ" (стр. 162). Либо пойдетъ въ кабакъ, что онъ и делаетъ нередко... Но не понимаемъ, съ чего взялъ авторъ, будто народъ бѣжить, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги? Бумагъ юридическихъ не любитъ не одинъ нашъ народъ, особенно, если грамотъ не знаетъ; но грамоты нашъ народъ не боится, --- напротивъ, любить ее и бѣжить къ ней, а не отъ нея. Пусть попросить авторъ своихъ друзей, чтобы они переслали ему отчеть за 1846 годъ г. министра государственныхъ имуществъ, напечатанный во всёхъ оффиціальныхъ русскихъ газетахъ: изъ него увидитъ онъ, какъ быстро распространяется въ Россіи грамотность между простымъ народомъ... А если бы захотёль онь пожить въ той Россіи, которую такъ расхваливаеть, живя въ разныхъ немецкихъ земляхъ, и поприглядъться къ нашему простому народу, о которомъ онъ судитъ такъ решительно, не зная его, -- онъ убъдился бы, что эти быстрые успъхн въ дълъ распространения грамотности въ простомъ народъ основаны именно на глубокой потребности, какую чувствуеть народь въ грамотности, и на сильномъ стремленіи, какое онъ оказываеть къ ученію... Авторъ увидель бы, какъ часто бородатые русскіе мужички ничего не жальють для обученія дьтей своихь грамоть и достигають иногда этой цёли при всевозможной бёдности въ средствахъ. Да, эта любовь къ свъту, выразившаяся въ пословицъ: ученье-свъть, неученье-тьма, составляеть одно изъ лучшихъ и благороднейшихъ свойствъ русскаго народа, -- н это-то свойство до сихъ поръ не признано въ немъ его близорукими восхвалителями и льстецами, которые, взамътъ того, навыдумывали для него множество похвальныхъ качествъ, или не бывалыхъ въ немъ, или составляющихъ еще его темную сторону...

Замъчательна слъдующая черта: въ началъ письма авторъ совътуетъ помъщику показывать крестьянамъ, искренно, безъ штукъ, что деньги ему инпочемъ, т. е. вовсе не нужны; а въ конпъ письма говоритъ: "Раз-

богатѣешь ты, какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ..." (стр. 162).

Особеннымъ оттѣнкомъ отличаются письма автора къ Жуковскому. Вотъ нѣсколько образчиковъ писемъ этого рода:

"Поведемъ ръчь о статът, надъкоторою произнессиъ смертный приговоръ, т. е. о стать в подъ названіемъ: О лиризмів наших поэтовъ. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъя спасенъ тобою, о. мойнстин-ный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже-было хотвль послать Плетневу въ Сопременника монсказанія о русскихъ поэтахъ: теперь ты вновь предаль уничтожению новый плодъ моего перазумія. Только одниъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ вев другіе торонять, нензвёстно зачымь. Сколько глупостей успыть бы я уже надылать, если бы только послушался другихъ монхъ пріятелей... Итакъ, вотъ тебъ мол благодарственная пъснь - а затъмъ обратимен къ самой статьъ. Миъ стыдно, когда помыслю, какт до сихт порт еще я глупъ и какъ не умът заговорить ни о чемъ, что поумные. Всего нельтые выходять мысли и толки о литературт. Туть какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышить душа многое, а пересказать или написать инчего не умъю. Основание статьи моей справедливо, а между тъмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противоръчіе".

Знаменитая статья: "Объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ", вновь является въ этой книгв, въ видъ письма къ Н. М. Я...ву. Воть основныя мысли этой удивительной статьи:

1. Для перевода "Одиссен" необходимо приготовленіе цёлою жизнію; необходимы въ жизни переводчика разныя внутреннія и внёшнія событія, поселяющія въ душё миръ, гармонію и другія похвальныя качества. Жуковскій вполи соотвётствуєть этимъ "необходимымъ" требованіямъ.

11. Переводчикъ долженъ быть христіаниномъ по преимуществу, ибо язычника Гомера можно проникать и постигать только христіанскимъ чувствомъ. И съ этой стороны Жуковскій больше, нежели удовлетворителенъ. (Нужно ли знать переводчику по-гречески, и знаетъ ли Жуковскій этотъ языкъ, —объ этомъ, какъ дѣлѣ мірскомъ и, слѣдовательно, инчтожномъ, авторъ умалчиваетъ).

III. Зато переводъ "Одиссеи" вышелъ несравненно лучше подлинника.

IV. Переводъ этотъ необходимъ для пашего времени, по причинѣ общаго охлажденія и недоразумѣнія.

V. "Одиссея" произведеть у насъ вліяніе, какъ вообще на всёхъ, такъ и отдёльно на каждаго.

VI. Ее будуть у насъ читать: дворяне, мѣщане, купцы, грамотен и неграмотен, рядовые солдаты, лакен, дѣти обоего пола.

VII. Греческій политензмъ, спрѣчь, многобожіс, не введеть въ искушеніе нашихъ мужичковъ: они почешуть у себя въ затылкѣ и сейчасъ смекнуть, въ чемъ дѣло и въ чемъ вздоръ. VIII. "Одиссея" произведеть благод'єтельное вліяпіе на нашу литературу: писатели и критики наши перестануть нести дичь. Но главное—

IX. "Одиссея" пеправить всю нашу цивилизацію, испорченную вліяніемъ Европы, и возвратить насъкъ незапамятнымъ былымъ временамъ, помолодитъ насъ десятками тремя вѣковъ... Вѣдъ это-то и значитъ идти внередъ!..

"Словомъ (говоритъ авторъ), на страждущихъ и больтиция от своего серопсискаго сосеринентва—
"Одиссея" подъйствуетъ. Много напоминтъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратитъ себъ человъчество. какъ свое законное наслъдство. Мистіе надъ многимъ призадумаются. А между тъмъ многое изъ временъ натріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природъ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Влагорхатопили устами поэзін навъвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властью" (стр. 56).

Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому авторъ говоритъ:

"Твоя "Одиссея" принесеть много общаго добра: это тебя предрекаю. Она возвратить къ свяжеети современнаго человика, усталаго отъ безпорядка жизин и мыслей; она обновить въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратить его къ простотъ" (стр. 125).

Подобный великій благодітельный перевороть, произведенный литературнымъ трудомъ, тімъ необходиміве, что, по словамъ автора, "все теперь расплылось и расшнуровалось; дрянь и тряпка сталь всякъ человікъ; обратиль самъ себя въ подлое подножіе всего (?) и въ раба самыхъ пустійшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нітъ теперь нигдів свободы въ ея истиниомъ смысліть. (стр. 185).

Все это прекрасно. Но вотъ два смиренные вопроса съ нашей стороны. Какъ будеть простой народъ читать "Одиссею"? Положимъ, "Одиссея" не принадлежить къ числу книжонокъ, издаваемыхъ для народа европейскими человѣколюбцами; но какъ будетъ читать ее нашъ народъ, которому авторъ такъ положительно и строго запрещаетъ знать грамоть?.. Или учиться грамоть, чтобъ умьть читать, нужно только "глупымъ" нёмцамъ, а словенину стоитъ только почесать у себя въ затылкъ, чтобы прочесть всякую книгу, не умъл читать?... Потомъ, что если, сверхъ чаянія, мистическія предреченія г. Гоголя о вліянін "Одиссен" на судьбу русскаго народа вовсе не сбудутся, и переводъ этотъ, подобно переводу Гитдича "Иліады", будетъ существовать только слишкомъ для немногихъ?.. Въдь тогда кто-жъ не скажетъ:

> Надълала спинца славы, А моря не зажгла!..

Но самую любопытнъйшую часть этой книги составляють четыре письма къ разнымъ лицамъ по новоду "Мертвыхъ Душъ". Эти четыре письма обрадовали, привели въ восторгъ, сдълали истинно счастливыми иъкоторыхъ литераторовъ, особенно занятыхъ литературною славою Гоголя. Это не тайна, ибо они посиъщили печатно выразить свое

торжество, забывь мудрую русскую нословнцу: поспъшншь—людей насмъшншь, и не менъе мудрую французскую нословнцу: bien rira, qui rira le dernier... Изъ слъдующихъ выписокъ легко будетъ всякому увидъть, что именно въ этихъ фразахъ такъ восхитило враговъ таланта Гоголя

Вы напрасно пегодуете на неумъренный тонъ нъкоторыхъ нападеній на "Мертвыя Души". Это имъеть свою хорошую сторону. Иногда нужно низть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаеть все; но кто озлоблень, тоть постарается выкенать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что поневолъ ее увидишь. Истину такъ ръдко приходится слыщать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произпосилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскато и Иолевого есть много справединваго, начиная даже съ даннаго мив совъта поучиться прежде русской грамоть, а потомъ уже писать. Въ самомъ дъль, если бы я не торонился печатаніемъ рукониси и подержаль ее у себя съ годь, я бы увидъль потомъ н самъ, что въ такомъ неопрятномъ видъ ей инкакъ пельзя было являться въ свъть. Самыя эпиграммы и насмъшки падо мною были мив нужны, несмотря на то, что съ перваго разу пришлись очень не по-сердцу. О! какъ намъ нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ъдкія, проникающія насквозь насмъшки! На див души нашей столько тантся всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно следуєть колоть, поражать, бить встми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражаю-

щую руку.

"Я бы желаль, однако-жь, нобольше критикь, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, запятыхъ дёломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бъду, кромъ литераторовь, не отозвался никто. А между тъмъ "Мертвыя Души" произвели много шума, много ропота; задъли за живое многихъ и насмъшкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у всъхъ ежедневно передъ глазами-хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ, мъстами даже съ умысломъ помъщено обидное и задъвающее, авось кто-нибудь выбранить меня хорошенько н, въ брани, выскажеть мит правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голось! А могь всякь. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы явно доказать, въ виду всъхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дъйствительно случившихся дълъ, и тъмъ бы опровергъ меня лучше велкихъ словъ, или тъмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося дучше доказывается дёло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могь бы то же сделать и купець, и помещикь, словомъ-всякій грамотей, сидить ли онъ сиднемъ на мъстъ, или рыскаеть, вдоль и поперекъ, по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человікь, съ того міста, или ступеньки въ обществъ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, им'єсть случай видъть тотъ же предметь съ такой стороны, съ которой, кромъ него, пикто другой не можетъ ви-дъть. По поводу "Мертвыхъ Душъ" могла бы написаться всею толною читателей другая книга, несравненно любопытнъйшая "Мертвыхъ Душъ", которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что-нечего танть гръха-вев мы очень плохо знаемъ Россію.

"И хоть бы одна дуща заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы, въ самомъ дълъ, обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то "мертвыя души". И меня же упрекають въ плохомъ зчанія Россін! Какъ будто непремънно силою Святого Духа долженъ узнать я все, что и дълается во всъхъ углахъ ся-безъ наученія научиться! По какими путями могу научиться я. писатель, осужденный уже самимъ званіемъ инсателя на сидичую, затворанческую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали оть Россін? какими путями могу л научиться? Меня же не научать эти литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабийстные. У инсатсля только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели сами отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвътъ Вогу за то, что не исполниль, какъ следуеть, своего дъла; но знаю, что дадуть за меня отвъть и другіе. Іі говорю это не даромъ. Видить Богь,

говорю не даромъ!

"Я предчувствоваль, что всь лирическія отступленія въ поэм'в будуть приняты въ превратномъ смысль. Опи такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими передъ глазами читателя, такъ невнопадъ складу и замашкъ сочиненія, что ввели въ заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Вет мъста, гдъ ни занкнулся я неопределенно о писатель, были отнесены на мой счеть; я красиблъ даже огъ изъясиеній ихъ въ мою пользу. И во діломъ мий! Ни въ какомъ случат не следовало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-какъ, бълыми интками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примърки. Дивлюсь только тому, что мало было сдълано упрековъ въ отношенін къ искусству и творческой наукъ. Этому помъщало какъ гитвное расположеніе монкъ критиковъ, такъ и пепривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Следовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношенін къ другимъ, гдф писатель измфиилъ самому себъ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замътилъ даже, что последняя половина книги обработана меньте первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокрашены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаеть внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ — можно было много сдёлать нападеній несравненно дальнёйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранять, и выбранить за дъло.

"Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать миѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе. Половина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну что толку въ подобномъ любонытствѣ?

"Одинъ только запросъ уменъ и достониъ тебя, и я бы желаль, чтобы его мив сдвлали и другіе, хотя не знаю, сумъль ли бы на него отвъчать умно. Именно запросъ: отчего герон монхъ последнихъ произведеній, и въ особенности "Мертвыхъ Душъ", будучи далеки отъ того, чтобы быть нортретами дъйствительныхъ людей, будучи сами по себь свойства совстмъ непривлекательнаго, неизвъстно почему близки душь, точно какъ бы въ сочиненін ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мив было бы неловко отвъчать на это даже и тебъ. Теперь же прямо скажу все: герон мон потому близки душъ, что они изъ души; всъ мон послъднія сочиненія-исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредълю тебъ себя самого, какъ писателя. Обо мив много толковали,

разбирая кое-какія мон стороны, по главнаго существа моего не опредвлили. Его слышаль однив только Пушкинь. Онъ мий говориль всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизии, умбть очертить въ такой силъ пошлость пошлаго человка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаеть оть глазь, мелькнула бы крупно въ глаза всъмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мий принаджатеме, и котораго, точно, ибть у другихъ писателей. Оно впослёдствій углубилось во мий еще сильніве отъ соединенія съ нимъ ніжотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояній быль открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ большою силою въ "Мертвыхъ Душахъ". "Мертвыя Души" не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онъ раскрыли какія-нибудь раны общества или внутреннія бользии, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невипности. Ничуть не бывало. Герон мон вовсе не злоден; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всёми. Но пошлость всего вывств испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ ельдують у меня герон одинъ пошлъе другого, что нътъ ни одного утъшительнаго явленія, что негдъ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бъдному читателю, и что по прочтенін всей кинги кажется, какъ бы точно вышель изъ какого-то душнаго погреба на Вожій свъть. Мнъ бы скорте простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ, по пошлости не простили мив. Русскаго человвка испугала его ничтожность болже, нежели всё его пороки и недостатки. Явленіе замъчательное! Испугь прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращение отъ пичтожнаго, въ томъ, върно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итакъ, воть въ чемъ мое главное достоннство, но достоннство это, говорю вновь, не развилось бы во мит въ такой силт, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная дущевная исторія. Никто изъ читателей монхъ не зналъ того. что, смъясь надъ моими героями, онъ смъялся надо мною.

"Не судите обо миъ и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь, подобно тёмъ изъ монхъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеаль писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писатель, начали-было отъ меня требовать, чтобы я отвъчалъ ими же созданному идеалу. Создаль меня Богъ и не скрыль отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не за твиъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дёло мое проще и ближе: дъло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человъкъ, не только одинъ я. Дъло мое-душа и прочное дъло жизни. А потому и образъ дъйствій монхъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мит незачъмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, върно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ин къ чему".

Воть почти все главное, изъ котораго мы, однако же, вкратцѣ извлечемъ самое существенное.

І. Гоголь самъ сознается, что онъ недоволенъ всѣмъ, что было имъ написано до сихъ поръ, а потому сжегъ рукопись второй части "Мертвыхъ Душъ" и другихъ своихъ сочиненій. Егдо: враги таланта Гоголя правы въ томъ, что столько лѣтъ выставляли его писателемъ безъ дарованія, безъ

вкуса, мастеромъ на одић сальныя и Ггрязныя картины вродѣ Поль-де-Кока.

II. Гоголь самь соглашается, что особенность его таланта состонть въ умѣнін "очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаеть отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ". Егдо: это явно талантъ мелкій и ничтожный...

III. Гоголь объявляеть торжественно, что согласень съ теми, которые бранили его сочиненія, и не согласень съ теми, которые хвалили ихъ. Егдо: хвалители Гоголя суть литературная партія, уцённяшаяся за него для униженія истинныхъ, но ненавистныхъ ей талантовъ.

IV. Гоголь самъ говорить, что "рождень онъ вовсе не за тёмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной, а за тёмъ, чтобы спасти свою душу". Егдо: лгали тѣ, которые провозгласили его главою новой литературной школы.

V. Гоголь признается самъ, что "въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Иолевого есть мпого справедливаго, начиная даже съ даннаго ему совъта поучиться прежде русской грамотъ, а потомъ уже писатъ", и что "если бы онъ не торопплся печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, то увидълъ бы потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видъ ей никакъ нельзя было являться въ свътъ", и проч. Егдо: кромъ "Вечеровъ на Хуторъ" все, написанное Гоголемъ, есть чистый вздоръ и не заслуживаетъ никакого винманія...

Подобные выводы могуть показаться правильными и дельными только темь, которымъ они полезны. Сильно ошибаются тѣ, которые думають, что публику нашего времени во всемъ можно увърить журнальной статьею, что она върить только печатному, а сама инчего не видить, инчего не понимаетъ. Такимъ образомъ хотятъ увърить, что слава Гоголя основана на крикливыхъ возгласахъ какой-то литературной партін, которой нужно было поднять его, изъ своихъ собственныхъ расчетовъ. А добрая русская публика и повёрила этой партін и начала раскупать сочиненія Гоголя и наполнять театры, когда въ нихъ давался "Ревизоръ"... Мало этого, помянутая литературная нартія усивла уб'єдить въ геніальности Гоголя даже французскую, а за нею и всю европейскую публику... И все это обманъ, пуфъ, подлогъ, --потому что самъ Гоголь отрицается отъ своихъ сочиненій и своей славы... Только-то?.. А намъ какое до этого дело?—Когда некоторые хвалили сочиненія Гоголя, они не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаеть о своихъ сочиненіяхъ, а судили о нихъ сообразно съ теми впечатленіями, которыя они производили... Такъ точно п теперь и мы не пойдемъкъ нему спрашивать его, какъ теперь прикажетъ онъ намъ думать о его прежнихъ сочиненіяхъ и о его "Выбранныхъ мъстахъ изъ переписки съ друзьями"... Какая намъ нужда, что онъ не признаетъ достоинства своихъ сочиненій, если ихъ признало общество? Это факты, которыхъ дъйствительности не въ состояни же

опровергнуть онъ самъ... Нётъ, господа протпвники таланта Гоголя, раненько вы вздумали торжествовать побёду, которой не одержали и которой не одержаль вамъ! Именно теперь-то, еще болёе, чёмъ прежде, будутъ расходиться и читаться прежнія сочиненія Гоголя; теперь-то еще выше, чёмъ прежде, будетъ цённться онъ, потому что теперь онъ самъ существуетъ для публики

больше въ прошедшемъ... Но оставимъ и хулителей въ сторонѣ; обратимся опять къ нашему автору. Конечно, въ его смиренномудромъ признанін собственныхъ ошибокъ и правды въ нападкахъ враговъ-много высокаго, дълающаго ему особенную честь; но, смотря на дъло проще, т. е. не со стороны самолюбія, а со стороны самого дела, можно заметить, что авторъ гораздо бы лучше поступилъ, если бы, вмъсто всякихъ признаній, воспользовался дъльными замъчаніями и второе изданіе "Мертвыхъ Душъ" выпустилъ бы въ опрятномъ видъ... То же отчасти можно сказать и о "Выбранныхъ", но отнюдь не избранныхъ мъстахъ изъ "нереписки съ друзьями": они могли явиться въ печати и грамотиће, и приличиће, и опрятиће, --- вообще, такъ сказать... Но, видно, на словахъ блистать смиреніемъ легче, нежели трудиться на

Не можемъ не выставить на видъ еще одной черты. Вотъ что говоритъ авторъ въ одномъ ивств своей книги: "Вотъ уже почти полтораста льть протекло съ тьхъ норъ, какъ государь Петръ 1 прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвъщенія европейскаго, даль въ руки намъ всъ средства и орудія для діла, — и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны, грустны и безлюдиы наши пространства, такъ же безприотно и непривътливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдъ-то остановились безпріютно на профажей дорогф, и дыщить намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станцією, гдё видится одинь ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: нѣтъ лошадей" (стр. 136). Въ этомъ винить авторъ насъ же и, разумъется, винитъ основательно. Но вотъ что онъ же говорить въ другомъ мъстъ своей книги: "И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умиве бывають у насъ и не великіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи делъ-и все, какъ пыль, сметаются онъ съ земли вмъсть съ нами" (стр. 192). Потомъ читаемъ мы вотъ что: "Если бы

такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхълицъ и характеровъ,—то можно сказать почти навърно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа" (стр. 237—238). Какъ вамъ кажутся, читатель, эти три выписки изъ различныхъ мъстъ одной и той же книги?..

Вотъ еще оригинальный образчикъ логики автора: онъ говоритъ, что никто не можетъ признать русскихъ людей ни въ Простаковой, ни въ Тарасъ Скотининъ, ни въ Простаковъ, ни въ Митрофанъ Фонвизина,—и въ то же время всякій чувствуетъ, что нигдъ въ другой землъ, ни во Франціи, ни въ Англіи, не могли образоваться такія существа (стр. 247—249)... Вотъ тутъ и понимай, какъ знаешь!..

Теперь вопросъ: зачѣмъ написана вся эта книга?

Это такъ же трудно рёшить, какъ и то, затёмъ написаны авторомъ эти строки: "О, какъ памъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всёхъ, оплеуха" (стр. 192)!..

Какое слѣдствіе можно извлечь изъ этой книги? Разумѣется, въ этомъ случаѣ всякій поступитъ по-своему, и слѣдствій будетъ выведено почти столько же, сколько людей возьмется за это дѣло. Что касается до насъ, мы вывели изъ этой книги такое слѣдствіе, что горе человѣку, котораго сама природа создала художникомъ, горе ему, если, недовольный своею дорогою, онъ ринется въ чуждый ему путь! На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое паденіе, послѣ котораго не всегда бываетъ возможно возвращеніе на прежнюю дорогу... При этомъ мы, почему-то, вспомнили эти стихи Крылова:

Въда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, А сапоги тачать пирожникъ, И дъло не пойдетъ на ладъ. Да и примъчено стократъ, Что кто за ремесло чужое браться любитъ. Тотъ завсегда другихъ упрямъй и вздориъй: Онъ лучше дъло все погубитъ, И радъ скоръй Посмъпищемъ стать свъта, Чъмъ у честныхъ и знающихъ людей Спроситъ иль выслушать разумнаго совъта.

Приходили намъ въ голову и другіе выводы изъ книги "Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями", но... статья паша и такъ вышла черезчуръ длиниа...

[Современникт. Томъ I, 1847 г.].

Тереза Дюнойо. Романь Евгенія Сю. Переводъ В. М. Строева. Спб. 1847. Че-

тыре части.

Матильда, записки молодой женщины. Сочинение Евгения Сю, автора "Парижских Тайнъ" и "Въчнаго Жида". Переводъ съ французскаго, пересмотрънный и исправленный В. Строевымъ. Спб. 1846— 1847. Тринадцать частей.

Сынъ Тайны (Le Fils du Diable). Романъ Поля Феваля. Спб. 1847. Два тома, восемь

частей

Тезунтъ. Характеристическая картина изъ (?) первой четверти осьмнадцатаго стольтія. Сочиненіе К. Шпиндлера. Переводъ съ нъмецкаго. Спб. 1847. Три части.

Романъ и новъсть овладъли въ наше время литературою, или вовсе вытёснивъ, или оттёснивъ на задній планъ всѣ другіе ея роды. Можно сказать безъ большого преувеличенія, что нодъ литературою въ наше время разумьются романъ и повъсть. Оставя на время въ сторонъ разницу между романомъ и повъстью, будемъ то и другое разумьть подъ однимъ нервымъ именемъ, такъ какъ повъсть есть не что иное, какъ видъ романа. Романъ выходить отдельно,--- и если онъ хоть сколько-нибудь хорошъ или дуренъ въ любимомъ вкуст времени, -- онъ будетъ имтъ успъхъ, не залежится въ книжныхъ лавкахъ, а его авторъ и съ извъстностію, и съ именемъ. Журналъ просто не можеть существовать безъ романа. И добро бы еще журналь въ нашемъ русскомъ смыслѣ, т. е. то, что въ Европъ называется "обозръніемъ" (revue); нътъ! настоящій журналь, то, что у насъ называется газетою, уже не можетъ поддерживаться только одною политикою, которая всёхъ такъ интересуетъ и волнуетъ, къ которой всф такъ ненасытимо жадны. Въ фельетонахъ этихъ журналовъ печатаются длинные романы, и терпъливые титатели, въ продолжение года, а иногда и слишкомъ, довольствуются двумя или много тремя главами "интереснаго" романа въ педелю, и каждый изъ нихъ нуще всего бонтся умереть прежде, нежели усиветь прочесть его последнюю заключительную главу, для пущей важности обыкновенно называемую "эпилогомъ"... Но воть и эпилогъ прочтенъ-глядь, въ следующемь, а иногда и въ томъ же листкъ начало новаго романа-и опять трепещеть за свою жизнь бёдный читатель въ продолжение года, вплоть до вожделеннаго эпилога... Журналы набили страшныя цёны на романы, и теперь иной бездарный инсака, вродъ г. Иоля Феваля, напримъръ, получаеть, можеть быть, тъ же суммы, которыя, назадъ тому лътъ тридцать, казались баснословно-огромными, когда дело шло о романахъ отца и творца новъйшаго романа, великаго и геніальнаго Вальтеръ-Скотга... Не только люди съ замѣчательнымъ дарованіемъ, какъ Ежепъ Сю, или съ какимъ-инбудь дарованіемъ, какъ Александръ Дюма, даже люди вовсе безъ дарованія, какъ уже упомянутый нами Поль Феваль, продають по контрактамь свое вдохновение, или свой задоръ, свой талантъ, или свою бездарность, -- словомъ, свою деятельность на столько-то леть такому-то журналу. О деньгахъ тутъ спору ивтъ: онв считаются тутъ десятками тысячь и восходять до сотенъ тысячъ-только иншите, иншите какъ можно больше, иншите день и ночь, иншите за двоихъ, за троихъ, а не станетъ васъ на это одного, найдите себъ сотрудниковъ, устройте фабрику... Что деньги-деньги вздоръ, дёло-романъ; за романъ мы не пожалбемъ денегъ и будемъ подписываться на журналы, лишь бы въ ихъ фельетонахъ тянулись безконечные романы... Что же за чародъй этотъ романъ? Въ чемъ заключается причина его владычества надъ грамотными массами? О чемъ онъ имъ говоритъ, чему ихъ учить, чъмъ прель-

Романъ порожденъ рыдарскими временами, какъ и романсъ. Романское наръчіе, образовавшееся на югь Франціи, дало ему имя. Содержаніе его составляли рыцарскіе подвиги; туть, разумфется, важную роль играли красавицы и волшебники. Между дъйствительнымъ и мечтательнымъ міромъ не проводилось никакой черты, и чемъ нелфиве быль разсказь, тёмъ казался онь вёроятнёе. Оть какихъ-то романовъ помъщался благородный ламанчскій дворянинъ, обезсмертившій себя, благодаря несравненному генію Сервантеса, подъ именемъ донъ-Кихота. Потомъ наступилъ въкъ сентиментально-аллегорическихъ романовъ, изъ которыхъ особенно былъ знаменить "Романъ Розы". Впрочемъ, полное торжество романа настало только въ XVIII вѣкѣ, не въ томъ смыслѣ, чтобы въ это время онъ получилъ определенное и настоящее значеніе, а въ томъ, что онъ сделался любимымъ родомъ словесности преимущественно передъ всъми другими ея родами. Но еще гораздо прежде XVIII века явилось несколько замечательных в твореній въ этомъ родф. Геніальный Рабле—этотъ Вольтеръ XVI въка-облекалъ сатиру въ форму чудовищно-безобразныхъ романовъ; и въ томъ же въкъ великій Сервантесъ написаль своего безсмертнаго "Донъ-Кихота", въ которомъ сатира явилась въ формъ высоко-художественнаго романа. Въ XVII въкъ Скарронъ попытался на изображение дъйствительности, какъ понималъ ее веселый и циническій умъ его, въ своемъ "Roman Comique" *), который навсегда останется замічательнымъ произведеніемъ, какимъ по справедливости досель счи-

Въ XVIII въкъ романъ не получилъ никакого опредъленнаго значенія. Каждый писатель понималъ его по-своему. Ричардсонъ и Фильдингъ дълали изъ него картины частной семейной жизни, съ цълью установить для нея пензмъняемыя моральныя правила, и потому онъ у нихъ былъ длиненъ, растянутъ, чопоренъ, поучителенъ и сухъ.

^{*)} Знаменнтый романъ Скаррона былъ переведенъ на русскій языкъ въ 1801 году, подъ нелівнымъ заглавіемъ: "Смішныя повівсти забавнаго Скаррона, съ описаніемъ его жизни и всіхъ сочиненій", въ 4-хъ частяхъ.

Нобрый пемець, Августь Лафонтень, пленяль въ романъ чувствительныя души приторно-сладенькими мъщанскими картинами семейственнаго счастія, въ немецкомъ вкусъ. Французъ Дюкре-Дюминиль (Ducray Duminil) *) разсказываль въ романь о дътяхъ, которыхъ рождение покрыто тайною, но которыя потомъ благополучно находять своихъ "дражайшихъ родителей", напеньку и маменьку, и делаются богатыми и счастливыми. Англичанка Анна Радклифъ, или Радклейфъ (Radcliffe), пугала въ романт воображение своихъ читателей явленіями мертвецовъ и приграковъ, которыя потомъ очень естественно объясиялись тайными ходами и дверями въ замкахъ. Англичанинъ Левисъ (Lewis) угощаль въ романъ пылкое воображение своихъ читателей таинственными лицами, вродъ выходпевъ съ того свъта **). Нъмецъ Шинсъ сдълалъ изъ романа мистически-фантастически-аллегорическій разсказъ съ правственною цёлью. Многочисленное племя романовъ подъ фирмою "автора Ринальдо-Ринальдини" досыта кормило публику удалыми и пногда великодушными разбойниками. Г-жи Жанлисъ (Genlis) и Коттенъ (Cottin) прославились сентиментально - моральными романами, но у первой на главномъ планъ была мораль нея неизбъжная спутница-скука ***). Не распространяясь ин объ авторъ "Тапиственной Урны", ни о романахъ Коцебу, и не упоминая о прочихъ, менте важныхъ романистахъ и романахъ прошлаго въка, -- скажемъ, что всъ исчисленныя нами романическія школы и надёлія, несмотря на всё ихъ различія, совершенно сходны въ одномъ: всъ они изображали дъйствительность, жизнь и людей въ искаженномъ видъ, такъ, чтобы начитавшійся ихъ и новфрившій имъ молодой человфиъ, вступя въ действительную жизнь, съ ужасомъ увиделъ наконецъ, что она діаметрально-противоположна тому понятію о ней, которое извлекъ онъ изъ своихъ любезныхъ романовъ. Это были сказки, твшивнія воображеніе и фантазію и добросов стно обманывавшія юный и неопытный умъ. Однако жъ были и пріятныя исключенія изъ общности этого явленія. Французъ Лесажъ (Lesage), авторъ "Хромоногаго Бѣса" и "Жиль-Блаза", именно тѣмъ и останется навсегда знаменить, что, при замъчательномъ, хотя и не самобытномъ талантъ (ибо большею частію заимствоваль у испанцевь), онъ изображаль жизнь и людей такими, каковы они есть на самомъ дёлё, а не такими, какими бы

ниъ следовало (по личному мивнію автора) быть "). Къ одной категорін принадлежать французь Пиго-Лебрёнъ (Pigault-Lebrun ***) и ивмецъ Крамеръ (Gotlob (ramer): оба они съ манерою изображать дъйствительность, отчасти циническою и преувеличенною въ наше время Поль-де-Кокомъ, соединяли пронію отрицанія, чего вовсе пать у посладняго. Гораздо замічательніе ихъ, и со стороны таланта, и со стороны ироніи отрицанія, два англичанина—Свифтъ (Swift), авторъ "Гулливерова Путешествія", и Стернъ (Sterne), авторъ "Трпстрама Шанди" ***). Нужно ли упоминать, что два вождя в ка-Вольтеръ и Руссо-пользовались формою романа: одинъ для выраженія своихъ идей отрицанія, другой для выраженія своихъ восторженныхъ идей о любви ("Новая Элонза") и о воспитаніи ("Эмиль")? Но пельзя не упомянуть о романь, который написань обыкновеннымь человъкомъ, но которому, по его поэтической и исихологической върности, суждено безсмертіе: мы говоримъ о "Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut" аббата Прево (Prevost d'Exiles) ****).

Во встхъ лучшихъ романахъ прежняго времени видно стремление быть картиною общества, представляя анализь его основаній. Но это было только стремленіемъ; XIX вѣку, въ лиць Вальтеръ-Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значение романа. Въ эпоху величайшаго торжества своего великій шотландскій романисть быль, разумъется, не понять. Всъ думали, что вся тайна чрезвычайнаго ихъ усибха заключается въ исторической верности нравовъ и костюмовъ, --- тогда какъ все дело заключалось прежде всего въ верности действительности, въ живомъ и правдоподобномъ изображеніи лицъ, умѣнін все основать на нгрѣ страстей, интересовъ и взаимныхъ отношеній характеровъ. Доказательствомъ справедливости нашего мижнія можеть служить то, что, напримфръ, "Сенъ-Ронанскія Воды" и "Ламмермурская Невъста", не бунучи нисколько историческими, тъмъ не менъе принадлежать къ лучшимъ романамъ Вальтеръ-Скотта. Не понявши этого, явилась толна подражателей во всёхъ европейскихъ литературахъ, п нсторические романы свирфпымъ потокомъ низвергнулись на литературы всей Европы и затопили ихъ. Вальтеръ-Скоттовъ развелось вездъ столько, что девать было некуда. Но въ сущности не они, не эти Вальтеръ-Скотты, воспользовались новымъ широкимъ путемъ, проложеннымъ въ искусствъ настоящимъ Вальтеръ - Скоттомъ. Только геній понимаеть генія и пользуется правомъ преемственности отъ него продолженія великаго діла, потому что только геній умфеть отличить въ делф идею отъ формы. Между романами Купера и Валь-

^{*)} Впрочемъ, Дюкре-Дюминиль принадлежитъ,

по времени, и къ настоящему стольтію: онъ родился въ 1761, а умеръ въ 1819 году.

**) Левисъ родился въ 1773, а умеръ въ 1818; знаменитый ромапъ его "Монахъ" вышелъ въ 1795 году.

^{***)} Stéphanie-Felicité Dugrest de St.-Aubin, comtesse de Genlis боролась, въ своихъ романахъ, съ энциклопедистами, называя себя литераторома (homme de lettres) н гувернеромъ (gouverneur) дътей герцога Орлеанскаго. Родилась въ 1746, умерла въ 1830 году. Это быль замъчательнъйшій и забавнъйшій синій чулокт прошлаго въка. Она оставила болъе восьмидесяти сочиненій.

^{*)} Лесажъ родился въ 1668, умеръ въ 1747 году. "Жиль-Блазъ" показался въ свътъ между 1715— 1735 годами.

^{**)} Родился въ 1753, умерт въ 1835 году ***) Свифть родился въ 160 умеръ въ 1745 году; Стериъ родился въ 1713, умеръ въ 1768 году. менитый романъ его полвился въ 1732 году.

теръ-Скотта столько же сходства, сколько между старою, историческою гражданственностію Англіп и юною, лишенною почвы преданій, еще не установившеюся цивилизаціею Съверо-Американскихъ Штатовъ, сколько между бледною природою теснаго пространства, занимаемаго Великобританіею, и богатою природою неисходныхъ дъвственныхъ пустынь Съверной Америки. А между тъмъ, нисколько не подражая Вальтеръ-Скотту, Куперъ больше и лучше его жалкихъ подражателей воспользовался открытою имъ новою великою дорогою въ искусствъ. Въ исторіи пекусства и литературы такъ же все преемственно, какъ и въ исторін челов'єчества, и никакъ нельзя сказать, чтобы Жоржъ-Зандъ не быль столько же обязанъ генію Вальтеръ-Скотта и Купера, сколько этоть последній первому, а между темь что же есть общаго между романами Жоржъ-Занда и рома-

нами Вальтеръ-Скотта и Купера?.. Жоржь - Заидъ есть, безъ сомивнія, первый поэтъ и первый романисть нашего времени. За его романами, не безъ основанія, утверждено названіе "соціальныхъ", какъ за романами Вальтеръ-Скотта было съ меньшимъ основаниемъ утверждено название "историческихъ". Не нужно особенно пристально вглядываться вообще въроманы нашего времени, сколько-нибудь запечатленные истиниымъ художественнымъ достоинствомъ, чтобы увидёть, что ихъ характеръ по преимуществу соціальный. Довольно указать на романы англичанина Диккенса, обладающаго талантомъ высшаго разряда, а у насъ, въ Россін, на произведенія автора "Мертвыхъ Душъ", давшаго живое общественног и глубоко-національное направленіе новой литературъ своего отечества... Содержание романа-художественный анализъ современнаго общества, раскрытіе тёхъ невидимыхъ основъ его, которыя отъ него же самого скрыты привычкою и безсознательностію. Задача современнаго романа-воспроизведение д'яйствительности во всей ея нагой истинъ. И потому очень естественно, что романъ завладёль, исключительно передъ всёми другими родами литературы, всеобщимъ винманіемъ: въ немъ общество видитъ свое зеркало и, черезъ него, знакомится съ самимъ собою, совершаетъ великій акть самосознанія.

"Какь! — скажуть намь, можеть быть: — и эти разсказы о небывалыхъ и невозможныхъ князьяхъ Рудольфахъ, рыцарствующихъ въ кабакахъ и убъжищахъ нищеты и воровства, о въчномъ жидъ и дражайшей половинъ его Иродіанъ, обнимающихся черезъ Беринговъ проливъ, о бъдномъ морякъ, который превращается какимъ-то чудомъ въ графа Монте-Кристо, обладающаго билліонами, всъ эти "тайны" — лондонскія, берлинскія, брюссельскія, всъ эти дъти тайны или чорта, — неужели все это не вздорныя сказки, а глубокій анализъ, върная картина современнаго общества?"

Мы охотно признали бы справедливость подобнаго возраженія, если-бъ оно намъ было сдёлано; скажемъ болеє: этотъ-то вопросъ и составляетъ предметъ нашей статьи, Но прежде, нежели мы

къ нему обратимся, намъ нужно воротиться немного назадъ.

Еще прежде, нежели романы Вальтеръ - Скотта получили всеобщую извёстность и классическій авторитеть, романь въ XIX въкъ началь уже измёняться въ духё и направленіи и стремиться къ болъе серьезному значению. Революція измънила нравы Европы, сентиментальность прошлаго въка стала становиться см'вшною, а легкая каламоурная иронія и насм'єшливость-уступать м'єсто то сарказму и юмору, то необузданному довфрію къ фантастическимъ идеямъ. Переходная эпоха, не понимая себя и не находя въ себъ самой никакой прочной опоры, бросилась искать спасенія въ среднихъ въкахъ. Чистаго, нанвнаго върованія, свойственнаго въкамъ младенческаго состоянія человъчества, не было и не могло быть въ цивилизацін, обладавшей знаніемъ и прошедшей черезъ радикальное отрицаніе XVIII стольтія. Это отразилось и на романъ. Онъ не хотълъ больше быть сказкою для забавы празднаго воображенія; напротивъ, обпаружилъ притязаніе на рѣшеніе высшихъ вопросовъ мистической стороны жизни. И воть въ то время, когда Дюкре-Дюминиль и г-жа Жанлисъ досказывали еще свои запоздалыя сказки, прландець Матюренъ *) изумиль вскув, въ своемъ "Мельмотъ-Скитальцъ", необузданностио дикой фантазін, которая, при лучшемъ направленін, могла бы произвести что-нибудь ознаменованное пстиннымъ талантомъ. Въ Германін геніальный безумець Гофманъ возвысилъ до поэзін болъзненное разстройство нервъ. Обладая удивительнымъ юморомъ, при огромпомъ талантъ изображать дъйствительность во всей ея истичности и казинть ядовитымъ сарказмомъ филистерство и гофратство своихъ соотечественниковъ, — онъ въ то же время, какъ истинный итмецъ, призракамъ своего разстроеннаго воображенія, которыхъ искренно пугался и боялся и надъ которыми тоже искренпо смъялся, и фантастическимъ пелъпостямъ припесь въ жертву и свой несравненный талантъ, н безсмертіе имени своего въ потомствъ... Артистъ по натуръ, поэтъ, живописецъ и музыкантъ, одаренный въ высшей степени художественнымъ смысломъ, — какъ только познакомился онъ съ романами Вальтеръ-Скотта, тотчасъ понялъ и то, что это истинныя произведенія творчества, и то, что его собственные романы — незаконнорожденныя дъти искусства. Тогда написалъ опъ лучшую свою повъсть, такъ громко свидътельствующую объ огромности его таланта-, Мастеръ Іоганесъ Вахтъ", въ которой уже не было ничего фантастическаго. Казалось, онъ ръшился идти новою дорогою; но было уже поздно: вскоръ послъ того онъ умеръ, нстощенный безпорядочнымъ образомъ жизни **). Жань-Поль Рихтерь, въ "Титань" и "Левань", съ замъчательнымъ талантомъ выражалъ свои раздуго-пдеальныя, натянуто-превыспрения иден о значенін челов'єка и жизни его. Къ этой же кате-

^{**)} Родинся въ 1782, умеръ въ 1824 году.**) Гофмань родился въ 1776, умеръ въ 1822 году.

горін должно отнести Тика, романтика по убъжденію и довольно посредственнаго писателя, который, впрочемъ, писаль во всёхъ родахъ. Его "Витторія Аккарамбонн" есть попытка написать

романъ уже въ духѣ нашего времени.

Еще въ концѣ прошлаго вѣка (1774) Гёте издалъ своего "Вертера" *)—этого родоначальника слабыхъ, болъзненныхъ натуръ, которыми всегда такъ обильны переходныя энохи. "Вильгельмъ Мейстеръ", по своему дидактическому характеру, принадлежить къ типу "Эмиля" Руссо; но въ "Вертерь" Гёте какъ будто опередиль время и разгадаль болёзнь будущаго вёка. Поэтому его романь имъть на нашъ въкъ огромное вліяніе-и "Вертеръ" явился потомъ въ "Рене" Шатобріана, въ "Оберманъ" Сенанкура и отразился въ безчисленномъ множествѣ другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ или незамъчательныхъ произведеній. Шатобріанъ не довольствовался "Аталою" и "Рене": онъ изъ "Мучениковъ" сделалъ романъ, довольно падутый и риторическій; но онъ быль въ духѣ реакцін прошлому в'вку, и потому привель въ восторгъ возвратившуюся во Францію эмиграцію, которая горькимъ опытомъ дознала, что для нея выгоднъе мистическій піэтизмъ, нежели вольтеріанское кошунство, недавно столь любимое ею... Надутый Дарлинкуръ, въ своихъ нелъпыхъ романахъ, довелъ до карикатуры это романтико-піэтпстическое направление.

По мъръ ознакомленія Францін съ европейскими литературами, которыхъ она прежде съ гордымъ невъжествомъ не хотъла знать, ея собственная литература подверглась вліянію всёхъ другихъ литературъ, преимущественно англійской, и отчасти даже ивмецкой. Въ романв особенно отразилось двойственное вліяніе Вальтерь-Скотта и Байрона. Тогла-то возникла такъ называемая "неистовая школа", любившая изображать адъ душевныхъ и физическихъ страданій челов'яка. Вс'я страсти, вс'я злодъйства, варварства, пороки, нытки, мукибыли пущены въ діло. Демоническія натуры à la Вугоп дюжинами рисовались въ качествъ героевъ новыхъ произведеній. Это было ложно и натянуто, потому что эти страшные байроны въ сущности были предобрые и даже веселые ребята; но все это было не безъ смысла, не безъ таланта, не безъ достоинства, хотя и временнаго только.

Французы всегда умѣютъ остаться французами, подъ чыми бы и подъ сколькими бы вліяніями ни находились они. И потому эти "разочарованные" романы никогда не брались ни за отвлеченныя, пи за фантастическія идеи, но всегда имѣли въ виду общество, и если, съ одной стороны, страшно лгали на него, то, съ другой, иногда и говорили правду, а главное — подняли важные общественные вопросы, — больше всѣхъ вопросъ

о науперизмѣ. Наконецъ явился Жоржъ-Зандъ, и романъ окончательно сдѣлался общественнымъ, или соціальнымъ.

Какое бы ни было направление французских и романистовъ-Вальзака, Гюго, Жанена, Сю, Дюма, н проч., въ первую эпоху ихъ дъятельности, -- оно нмёло свои хорошія стороны, потому что происходило отъ болве или менве искреннихъ личныхъ убъжденій и невольно выражало духъ времени. Всв эти романисты писали съ французскою живостью и быстротою, но однако-жъ не на заказъ. Въ ихъ сочиненіяхъ видно было уваженіе и къ литературь, и къ публикь, и къ самимъ себъ, нотому что видны были следы мысли, соображенія, литературной отдёлки. И вдругъ все это измънилось: потянулись романы одинъ другого длиннье, безобразнье, нельпье. Если въ прежнихъ романахъ частенько нарушалось правдоподобіе, это происходило отъ ложности убъжденія, которое всетаки было искренно и нанвно. Но теперь не то: тенерь авторъ сознательно искажаетъ истину, лжеть съ умысломъ, придумываеть нелъпости съ намфреніемъ. Ему лишь бы эффекть быль, а каковъ этотъ эффектъ-не его дело; онъ обращается съ своими читателями, какъ съ школьниками, какъ Далай-Лама съ своими поклонниками, морочить ихъ, какъ фокусникъ, выдающій себя за колдуна передъ толною деревенскихъ простаковъ. За примфрами ходить не далеко; они у всёхъ въ свёжей намяти. Но прежде надобно условиться въ значенін романа, какъ поэтическаго произведенія. Романъ, какъ всякое художественное произведеніе, есть воспроизведение явлений действительнаго міра во всей ихъ истинъ. Истина такъ же есть предметъ и цель искусства, какъ и философія; вся разница въ средствахъ и пріемахъ. Иначе чёмъ бы искусство было выше игры въ карты? Нътъ, оно было бы ниже всякаго ремесла, потому что ремесло полезно. Но если бы романъ былъ и просто сказкою для развлеченія отъ скуки, и тогда люди съ умомъ въ правъ были бы требовать отъ него, чтобъ онъ, и въ качествъ сказки, удовлетворялъ ихъ, какъ людей съ умомъ, а не какъ глупцовъ. А что же можеть быть умнаго въ невозможномь? А развѣ возможны эти богатства частныхъ людей, превосходящія годовой бюджеть богатьйшаго наь европейскихъ государствъ? Но вотъ примъръ самый свёжій. Въ послёднемъ и остановившемся, кажется, надолго, къ крайнему огорчению его читателей и почитателей, романъ своемъ "Записки Врача", г. Александръ Дюма показалъ такой неслыханный опыть безстыднаго неуваженія къ здравому смыслу публики, который долженъ привести въ отчание всъхъ другихъ сказочниковъ. Извъстно, что въ XVIII вѣкѣ былъ шарлатанъ, который выдавалъ себя за графа де-Сенъ-Жермена и умѣлъ втереться ко двору Людовика XV. Этотъ шарлатанъ, какъ догадываются, принадлежалъ къ шайкъ герметистовъ (обладающихъ алхимическою тайною дёлать золото), которой главою быль извёстный авантюристь Казанова; онъ разглашаль о себъ что умфетъ делать золото и что онъ жилъ во всф

^{*)} Шиллеръ тоже написалъ романъ: Духовидецъ, въ которомъ всъ чудеса производятся, впрочемъ, очень естественно, посредствомъ обмана, жертвой котораго дълается не читатель, а герой романа. Романъ этотъ недостониъ имени своего автора.

въка и помнитъ, какъ своихъ современниковъ, Сократа, Платона, Александра Македонскаго, Юлія Незаря, не говоря уже о замъчательныхъ лицахъ отъ Карла Великаго до XVIII вѣка включительно. Есть преданіе, будто, за веселымъ ужиномъ, онъ предрекъ своимъ собеседникамъ ужасы революцін, и когда они показали недовфринвость къ его пророчеству, онъ пригласилъ ихъ посмотреть другъ на друга, -- и они съ ужасомъ увидѣли себя обезглавленными, кром'в одного, который впоследствін дъйствительно успълъ увернуться отъ гильотины. Разумвется, это преданіе одного сорта съ предапіемъ о "Въчномъ Жидъ" и сочинено заднимъ числомъ. Но г. Александру Дюма того и нужно. Онъ всиоминлъ кстати о другомъ знаменитомъ шарлатанъ XVIII въка, фокусникъ, интриганъ, пройдохѣ и мошенникѣ Калліостро, — и изъ этихъ двухъ совершенно различныхъ лицъ сделалъ одно, предоставивъ ему лестную честь играть роль героя своего новаго романа. Этотъ герой здеть въ Нарижъ, верхомъ на арабскомъ жеребцъ, сопровождая карету, которая похожа на домъ и состоитъ изъ двухъ отдъленій: въ одномъ устроена химическая лабораторія, и въ ней стольтній старикъ, что-то вродъ индійца или тибетца, занимается, дорогою, отыскиваніемъ жизненнаго элексира, дающаго человъку безсмертіе; другое отдъленіе какъ во всъхъ каретахъ-въ немъ сидитъ прекрасная дъвушка. Когда герою г. Александра Дюма нужно узнать или будущее, или что-нибудь такое, чего, за отдаленностію ніскольких десятковъ или сотенъ миль, онъ не можетъ видеть и знать, -- тогда онъ однимъ взглядомъ и размфренными движеніями рукъ приводить въ сомнамбулизмъ первую попавшуюся ему молоденькую и хорошенькую дфвушку и повелительно дёлаеть ей нужные ему вопросы, и она, трепеща и страдая тёломъ и душою, покорно отвъчаетъ ему... Такимъ образомъ, посредствомъ магнетическаго вліянія, онъ влюбилъ въ себя красавицу, обреченную монастырю и уже постриженную, и увель ее изъ монастыря сквозь стъны, занертыя на замки ворота, мимо караульныхъ... Ему все возможно-на то онъ и герой... Въ это время тала изъ Втин въ Парижъ австрійская эрцъ-герцогиня, Марія-Антуанета, къ своему жениху, будущему королю Франціи, Людовику XVI. На дорогѣ вздумалось ей заѣхать къ одному разорившемуся маркизу (т. е. г. Александру Дюма вздумалось вложить ей это желаніе). Маркизъ ничего не предчувствуетъ, но герой романа, остановившійся на ночь въ его развалившемся замкѣ, предсказываетъ ему это. Прівхала принцесса принять ее негдѣ, угостить нечѣмъ. Но для нашего героя это не затрудненіе, а пустяки: махнуль рукою — и на дворѣ, подъ липами, явилась великолѣнная палатка, а въ ней — великолѣнно сервированный столь съ чуднымъ завтракомъ; бѣлье тоньше паутины, бѣлѣе снѣгу; золото, серебро, фарфоръ, хрусталь... Герой ловко набивается на честь быть представленнымъ, въ качествф колдуна, принцесст. Чтобъ убъдиться въ его чаро-

действе, она требуеть, чтобъ онъ предсказаль ей ея будущую участь. Поломавшись, онъ согласился: вст вышли изъ налатки; колдунъ сталъ смотреть въ графинъ съ какою-то жидкостію и показывать его приннессъ: г. Александръ Дюма не открылъ своимъ читателямъ, что увидёла тамъ принцесса: но когда, услышавъ крикъ ся, свита вбъжала въ палатку, принцесса лежала на полу безъ чувствъ, а колдуна и следъ простылъ, словно сквозь землю провалился... Понятно, что онъ предрекъ ей событія 93 года, столь плачевныя для королевской фамилін. Изв'єстно достов врно, что Маріи-Антуанетъ никто подобнаго предсказанія не дълаль; но если г. Александръ Дюма давно уже отрекся начисто отъ здраваго смысла, какъ упизительной для генія препоны, то что ему послі этого исторіякъ чорту ее!.. Пріфхавъ въ Парижъ, онъ, посредствомъ магнетизированія своей красавицы (которая-было улепетнула отъ него, но которую онъ опять сумьль вырвать изъ монастыря, гдв настоятельницею была дочь Людовика XV), онъ узнаетъ все, что дёлается въ Парижѣ, и, словно кашу, варить въ химической кастрюлъ кусокъ золота для кардинала Рогана, въ его присутствін, --- кусокъ, деною въ триста тысячъ франковъ... Дальнъйшихъ фокусъ-покусовъ интереснаго героя мы не знаемъ, затемъ, что романъ остановился, какъ по причинъ путешествія автора въ Испанію, а оттуда, на казенномъ пароходъ, въ Алжиръ, такъ и по причинъ процесса, въ который внутался великій господинъ Александръ Дюма, за одну изъ тёхъ проделокъ на манеръ Калліостро, которыя отъ однихъ удостанваются названія "теніальныхъ", а отъ другихъ.... какъ бы это сказать повъжливъе?.. ну хоть "безчестныхъ"... О, великій господинъ Александръ Дюма, о, достойный герой, о, любимое, балованное дитя нашего въка! — что-то еще наплетешь и напутаешь ты намъ въ своемъ романъ, когда, вдохновленный штрафами, которые принужденъ будешь заплатить по приговору суда, или-чего, втроятно, съ тобою не будетъ-воспользовавшись уединеніемъ тюрьмы (которой бы ты, право, стоиль!), — примешься ты вновь продолжать интересныя похожденія своего интереснаго и достойнаго галеръ героя?..

И воть такіе-то романы, теперь всёми читаются съ жадностью, увеличивають собою число подписчиковъ на политические журналы, доставляють своимь производителямь огромныя деньги; потомъ отпечатываются отдёльно и по всей Европъ расходятся въ неимов рномъ числъ экземиляровъ, и, наконецъ, даютъ пищу и поддерживаютъ въ переводахъ даже пъкоторые изъ нашихъ журпаловъ, и, опять отдёльно печатаемые, расходятся

въ большомъ числѣ экземиляровъ!

Что это такое? Или снова насталь въкъ Анны Радклифъ и автора "Ринальдо-Ринальдини" съ братією? Или, и въ самомъ дёль, нашъ дряхлый въкъ впалъ въ умственное младенчество и не можетъ иначе вздремнуть послѣ сытнаго обѣда, какъ подъ однообразный лепетъ старой няни, разсказывающей ему разныя небылицы?.. Илн, и въ самомъ дёле, правъ негодующій поэть, который сказаль, что

Насъ тъ́шать блестки и обманы; Какъ ветхая краса, нашъ ветхійміръ привыкъ Морщины прятать подъ румяны?..

Не спѣшите обвинять нашъ вѣкъ-ему и такъ больно достается со всёхъ сторонъ, и его только бранять, а никто не похвалить... А между тёмъ, право, его есть за что и похвалить. Правда, онъ вовсе не рыцарь, не думаетъ нисколько ни о добродътели, ин о морали, ни о чести и весь погруженъ въ пріобрѣтеніе, или, какъ у насъ ловко выражаются, въ благопріобрътеніе; правда, онъ торгашъ, алтынникъ, спекулянтъ, разжившійся всёми неправдами откупщикъ, но онъ очень уменъ и, что мит больше всего нравится въ немъ, очень въренъ самому себъ, логически последователенъ... Онъ, видите ли, лучше своихъ предшественниковъ смекнулъ, на чемъ стоитъ и чёмъ держится общество, и ухватился за принцинъ собственности, впился въ него и душою, и тъломъ, и развиваеть его до последнихъ следствій, каковы бы они ни были... Воля ваша, а тутъ нельзя не видѣть своего рода героизма логической послѣдовательности... И какъ ловко взялся онъ за это: изъ старой морали и изъ всего, чёмъ думало держаться прежнее общество, онъ удержаль тольно то, что пригодно ему, какъ нолицейская мфра, облегчающая средства къ "благопріобрѣтенію" и обезпечивающая спокойное обладание его сочными плодами... Чудный въкъ! нельзя довольно нахвалиться имъ! Его открытіе важите открытія Америки и изобрѣтенія пороха и книгопечатанія, потому что открытая имъ великая тайна-теперь уже не тайна не для однихъ капиталистовъ, антрепренеровъ и подрядчиковъ, словомъ, "пріобратателей", живущихъ чужими трудами, —но и для техъ, которые для нихъ трудятся... н этн ужъ знають, на чемъ міръ стоить, т. е. и они хотять читать романы...

И действительно, кто читаеть эти романы? Въ старину чернь называлась у насъ "подлымъ пародомъ"; благодаря образованности и просвъщению, это нодлое название давно уже истребилось, а слово "чернь" удержалось. Но чернь есть вездѣ, во всѣхъ слояхъ общества; Пушкинъ указалъ намъ даже на свътскую чернь... Вездъ есть эти ординарныя, дюжинныя натуры, которымъ физическая пища пужна самая деликатная, утонченная, а нравственная самая грубая, безвкусныя издёлія харчевенныхъ поваровъ вродъ г. Александра Дюма съ братіею. Вы думаете, много читателей во Франціи у Жоржъ-Занда? Вфроятно, гораздо меньше, нежели сколько нхъ есть у него въ сложности въ другихъ странахъ Европы и въ Америкъ. И Жоржъ-Запду журналисты платить большія деньги за печатаніе его романовъ въ фельетонъ, но это больше для громкаго имени, и потомъ (мы знаемъ это изъ достовфриыхъ источниковъ) сильно пожимаются и наверстывають свою потерю продажею отдёльно напечатаннаго того же романа. Вотъ другой примеръ. Лучній после Жоржъ-Занда романисть во Францін — Шарль Бернаръ.

Это человъкъ не геніальный, по съ замівчательнымъ талантомъ, пстинный поэтъ, а не эффектный сказочникъ. Легитимистъ по своимъ убежденіямъ, онъ этимъ иногда вредитъ себѣ, какъ поэту, но поэтическій инстинкть въ немъ такъ крѣпокъ, что отъ него часто достается своимъ, и неръдко выставляетъ онь въ дучшемъ свътъ чужихъ. Какъ всегда просты и естественны завязка, ходъ, развитіе и развязка его романовъ! Какъ хорошо выдержаны характеры, какъ върно изображается современное французское общество! Вспомнимъ хоть последній романъ его: "Деревенскій Дворянинъ"; въ немъ разсказаны происшествія двухъ или трехъ дней, до того простыя, естественныя, обыкновенныя, что мудрено было бы пересказать ихъ на словахъ, а между тімь, зачитавши этоть романь, нельзя оть него оторваться, не кончивши его... Вотъ это таланть! Но пользуется ли онъ хотя десятою долею павастности, какою пользуется, напримёръ, г. Александръ Дюма и подобные ему? Кто знаеть его, напримъръ, у насъ? А между тёмъ всё его романы постоянне переводились въ "Отечественныхъ Запискахъ" журналь, который, какъ извъстно, давно уже пользуется большимъ расходомъ.

Ежели грубыя и безвкусныя издёлія вродё "Заинсокъ Врача" находять себё читателей, почитателей и восторженныхъ обожателей въ образованныхъ классахъ общества, сколько же должны находить они ихъ въ нолуобразованныхъ и пизшихъ
классахъ? И дёйствительно, романы Сю, Дюма,
Сулье и т. п. съ жадностію читаются въ Нарижѣ
дворниками (portiers), пренмущественно ихъ женами (portières), гризстками, лоретками и т. д.,
которые не читаютъ романовъ Жоржъ-Занда, находя ихъ пенитересными и скучными.

У пасъ многіе негодують на то, что такими романами преимущественно паполняются наши журналы, видя въ этомъ какой-то вредъ и для правовъ, и для литературы. Подобное митие намъ всегда казалось несправедливымъ. "Тысяча и Одна Ночь", или арабскія сказки не болье вредны для нравовъ. А что касается до искаженія вкуса и упадка литературы — это еще больше напрасное опасеніе. Есть люди, которые ужъ родятся съ такимъ вкусомъ, который только такими романами и можетъ удовлетворяться: не будь ихъ, они ничего не читали бы. А читать хоть и вздоръ, лишь бы безвредный, все же лучше, нежели играть въ карты или сплетничать. Что же касается до людей низшихъ классовъ общества, эти романы для нихъистинное благоджяніе. Соотвътственно съ ихъ образованіемъ, эти романы для нихъ-художественныя произведенія, способныя развить и возвысить, а не нсказить и огрубить ихъ понятія. Конечно, у насъ не только дворинки, но и швейки еще не читаютъ романовъ (образование последнихъ пока еще не хватаетъ дальше водевильныхъ куплетцовъ россійскаго издёлія); но сколько же у нась людей, которые, по образованію, — тѣ же швейки, а по положенію имінть и время, и способы ка чтенію? Притомъ же, если чернь есть везді, и въ высшихъ слояхъ общества, то и аристократія (природы) есть

вездѣ, и въ низшихъ слояхъ общества. Иной переходитъ къ чтенію этихъ романовъ отъ "Вовы", "Еруслана" и "Георга Милорда Аглицкаго", а отъ этихъ романовъ — къ романамъ Вальтеръ-Скотта, Купера и ко всему, что пиостранныя литературы и своя отечественная представляютъ лучшаго, и уже не возвращаются назадъ. А если-оъ и не такъ— что нужды, лишь бы читали!

Но если эти романы ин въ какомъ смыслѣ не могутъ быть вредны, напротивъ, во многихъ отношенихъ полезны, — изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ ихъ авторы заслуживали уважение или благодарность. Они тѣмъ не менѣе все-таки торгаши, фигыры, гаеры, потѣшающіе за деньги толиу, безъ всикаго уваженія иъ самимъ себѣ. Они трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своихъ житейскихъ выгодъ. За что-жъ ихъ уважать и благодарить? Волъ пасется на полѣ и, оставляя на немъ слѣды своего присутствія, способствуетъ его большему плодородію на будущее лѣто, но ито за это поклонится ему?..

Грустиве всего, что къ этой шайкт сказочныхъ потвиниковъ добровольно приминулся писатель съ несомитниымъ и большимъ дарованіемъ. Мы говоримь о знаменитомъ Еженъ Сю. Въ его "Парижскихъ Тайнахъ" столько любви къ человъчеству, благородныхъ инстинктовъ, столько страницъ, занечатлънныхъ признаками высокаго таланта! И между темъ весь романъ основанъ на мелодрамв, столько неестественныхъ лицъ, особенно между отличающимися по части добродътели! Герой романа-лицо сказочное, невозможное; геропня — и приторна, п неестественна; поэтому эпилогъ, какъ неизотжное слъдствіе ложной причины, бросается въ глаза своею пошлостію, приторною сентиментальностію, лицемфрствомъ чувства, скукою, неестественностію, надугостію и фразерствомъ. Въ "Вѣчномъ Жидъ" мѣстами поражають читателя та же яркія достопиства, какими блистають "Парижскія Тайны"; но педостатки уже во сто разъ поразительнее, нежели въ последнемъ романъ. Важность іезунтовъ, сила ихъ вліянія мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мъръцъль автора была хороша и похвальна; но къ чему припледъ онъ тутъ легенду о жидъ и жидовкъ? И что онъ ею сдълалъ?--насмѣшилъ всѣхъ, потому что виалъ черезъ нее не только въ неестественность разсказа, но еще и въ риторическую надутость изложенія. А это чудовніцноогромное наслъдство, въ 200 милліоновъ, охраняемое изсколькими поколтніями одной и той же жидовской фамиліи? А приторные близнецы-сестры, Роза и Бланка, а страшный усибхъ всёхъ продёлокъ Родэна и мелодраматическая смерть всвут добродътельныхъ лицъ романа? Но всего и не перечтешь! Зачёмъ же это "все" замёшалось въ произведение необыкновенно-даровитаго инсателя? Затьмъ, что нужно время и время для того, чтобы писать хорошо и обходиться безъ неліпостей, натяжекъ и эффектовъ, чтобы обдумывать свое произведеніе прежде, нежели оно написано, и потомъ обдівлывать, исправлять, а мъстами и вовсе передълывать все написанное сгоряча, неловкое, неровное,

несообразное съ цёлымъ. А времени-то и нётъ у г. Сю: онъ контрактомъ обязался поставлять по цълому тому къ такому-то сроку. Написавши главу перваго тома, опъ сейчасъ же отсылаетъ ее въ типографію журнала, н такимъ образомъ первая глава перваго тома должна оставаться непзивияемою, хотя авторъ хорошенько не знаетъ, что онъ будетъ инсать во второмь том'в, а всихь томовъ-то десять!.. Итакъ, если въ первой главъ онъ допустилъ, можетъ быть, и по необходимости, какую-нибудь нелвиость,онъ уже на весь романъ связанъ этою нелѣностію и должень развивать ее во всёхъ десяти томахъ, какъ бы ни отвратительна казалась потомъ она самому ему!.. Всему злу корепь-теньги. Ежену Сю илатить огромныя суммы, и, естественно, за это требують, чтобъ онъ работаль за тронхъ. Сколько уже разъ останавливался онъ въ своихъ работахъ, какъ останавливается водовозная лошадь, несмотря на удары кнуга, ибо чувствуеть, что ей надо или остановиться и перевести духъ, или сейчасъ же повалиться замертво... Итакъ, здоровье, талантъ, литературная репутація, — все принесено въ жертву деньгамъ! Винить ли его, за это?.. Не дай Богъ никому подражать ему, но я не чувствую никакой охоты винить его, тъмъ болъе, что и безъ меня за обвишителями дёло не станетъ... По-моему тутъ во всемъ виноватъ fatum...

Что бы ни писалъ Еженъ Сю, всегда у него есть что-то вродѣ мысли, какое-то стремленіе рѣшить, или, по крайней мфрф, поставить на видъ какойнибудь нравственный соціальный вопросъ. Въ этомъ отношенін онъ върень себі и въ двухъ романахъ, которыхъ заглавіе выставлено въ начал'в нашей статын. Геропня перваго романа, Тереза Дюнойе, страстно полюбила величайшаго негодяя, который. писколько не любя ее, увёрилъ въ своей любви изъ расчета, потому что женитьбой на ней думаль поправить свои разстроенныя обстоятельства. Чтобы върнъе достичь цъли, онъ обманулъ ее, но когда увидълъ, что отецъ прогналъ Терезу и начисто отказался дать ей коть грошъ, онъ рѣшился изъ состраланія къ ней еще ивсколько времени обманывать ее. Она видить все, страдаеть, но върить ему со всёмь упорствомь слёной страсти и сильнаго характера. Она не перестала страстно любить его и тогда, какъ вполнъ убъдилась въ его подлости. Ее дюбиль другой, спась съ ребенкомъ отъ голодной смерти, перевезъ къ себт въ замокъ, противъ ен воли, обезпечиль участь ея ребенка, въ надежду, что она излѣчится наконець отъ своей несчастной страсти къ негодяю и полюбить его: но онъ, несмотря на эту надежду, инчего отъ нея не требовалъ. Тереза видёла его страданія, сознавала его благородство и достоинство, была ему благодарна. глубоко уважала его, такъ же, какъ ясно видъла, что первый предметь ся уродливой любви-мерзавецъ, — и все-таки продолжала любить мерзавца... Мысль върная, но не новая! Ее давно уже прекрасно выразиль аббать Прево въ превосходномъ романв своемъ "Манонъ Леско". Еще шире, глубже и поливе развиль эту мысль Жоржъ-Зандь въ одномъ изъ лучшихъ романовъ своихъ — "Леонъ Леони". Тя-

гаться г. Сю съ такими произведеніями, конечно, не подъ силу; но тъмъ не менъе романъ его, не будучи художественнымъ созданіемъ, имѣлъ бы свое значительное беллетристическое и литературное достоинство, если-бъ въ него, какъ и во веф романы Сю, не вмѣналась мелодрама. Герой романа, баронъ Эвенъ Керелліо, влюбился въ Терезу совершенно фантастически, заочно, т. е. онъ влюбился въ портреть какой-то женщины, по преданіямь, надёлавшей много зла его фамилін, а потомъ влюбился въ Терезу, увидовъ, что она, какъ двъ каили воды, похожа на портретъ. А портретъ-замѣтьте-былъ сожженъ въ каминъ еще въ дътствъ Эвена, а явился вновь но вол'в рока. Къ чему вс'в эти истертыя, пошлыя и тривіальныя "роковыя" пружины, столь обольстительныя для суевфрія старыхъ бабъ (а не женщинъ, потому что это не одно и то же), да для легковърія юныхъ пансіонерокъ? Заключеніе романа -- верхъ нелѣности и пошлости: помѣшанный рыбакъ, старый суевърный бретонецъ, Моръ-Надеръ, искренно считающій себя колдуномъ п предсказателемъ, давно уже предрекалъ Эвену, что онъ погибнеть въ волнахъ океана въ черный для его фамилін мѣсяцъ (ноябрь), —п разъ во время прогулки въ лодкъ по морю едва съ умыслу не утонилъ Эвена, за то, что тотъ усоминися въ его даръ предсказанія... И вотъ наши несчастныя жертвы любви, послѣ смерти ребенка, рѣшаются въ черный мѣсяцъ оправдать предсказаніе Моръ-Надера—н погибаютъ вмѣстѣ съ инмъ втроемъ... Удивительно эффектно, но это-то и любить толиа, а деньги за то и даются теперь, что любить толпа...

Почти на эту же тему написана и "Матильда". Прежде всего, это романъ длинный, длинный, длипный, растянутый, монотонный и страшно скучный; нотомъ, это вообще преплохой романъ, хотя въ немъ и встречаются изредка довольно удачныя страницы. "Матильда" предшествовала "Парижскимъ Тайнамъ" и имела, хотя и далеко не такой, какъ эти последнія, но все же огромный успѣхъ. Кромъ отсутствія не только художественнаго, просто литературнаго, беллетристическаго достоинства въ изложени, въ романѣ этомъ авторъ обнаружилъ рѣдкое непониманіе того, что онъ делалъ и что бы ему должно было ділать, чтобъ его произведеніе не вовсе было чуждо правдоподобія и сстественности. Изъ своей Матильды онъ силился сделать какой-то идеаль женщины, что-то вродъ геронии добродътели и страдалицу оть злобы и развращенія світа; а на діль выходить, что это женщина ограниченнаго ума, безъ характера, легковфриая, скучная и неспосная своею навязчивостью въ любви, своими наисіонскими мечтами о счастін вдвоемъ подъ соломенною кровлею,и еще болъе скучная и несносная своими въчнымя жалобами, слезами и хныканьемъ. Уже перегоръвшая въ страстяхъ, испытанная горемъ жизни и тяжкими страданіями, она, видя, что молоденькая двочка сделалась больна на смерть отъ любви къ тому, котораго она, Матильда, безъ намяти любить и которымъ она горячо любима, рѣшается на самое нельное, по его безилодности, и самое опасное, по его следствіямь, самоотверженіе. Она возвращается

добровольно къ своему мужу, страшному негодяю и развратнику, и притворяется, что опять любить его, а между тъмъ своего благороднаго и платоническаго обожателя наводить на мысль-жениться на девочке. Тотъ вдвойне въ отчаннін-н отгого, что мечты его на счастіе рушились, и оттого, что любимая имъ женщина оказалась, по его мижнію, весьма основательному, пошлою женщиною, ибо могла сойтись вновь съ негодяемъ, давно заслужившимъ галеры: скажите, до женитьбы ли тутъ ему? И какъ, въ этомъ положенін, навести его на подобную мысль. Но для г. Сю ивтъ ничего невозможнаго; онъ храбръ-и не трусить натяжекъ и неестественности. Какъ дуракъ, герой его женится на дівочкі, и сталь счастливь. Но общій ихъ всіхъ врагъ тайно увъдомилъ его жену, что она обязана своимъ замужествомъ самоотвержению Матильды,--н случилось то, что рано или поздно, такъ или нначе, а непременно должно было случиться, чемъ обыкновенно разрѣшаются подобныя самоотверженія: Эмма чахла, чахла, да н умерла. Мы охотно соглашаемся, что безъ добраго и благороднаго сердца человъкъ не можетъ быть способенъ на подобныя самоотверженія; но въ нихъ еще гораздо больше сердца участвуетъ экзальтированное воображеніе, глубоко скрытое самолюбіе, тайное желаніе рисоваться передъ другими и въ особенности передъ самимъ собою въ качествъ героя добродътели. Такіе люди — враги своего и чужого счастія; даже и хорошія ихъ качества служать только ко вреду другихъ и ихъ самихъ больше всего. Вотъ какъ следовало бы автору понять свою "Матильду",н на ея несчастной натуръ, а не на злобъ свъта основать всв неренесенныя ею страданія. Тогда, можеть быть, вышель бы болье или менье интересный романъ, а не скучная сказка.

Хуже всего даются Сю добродътельныя лица. Почти всегда они у него и неестественны до смѣшного, и приторны до отвратительности. Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ де-Рошгюнъ. Боже мой, что это за человькъ! Другъ бъдныхъ и несчастныхъ, герой н левъ на войнъ, мудрецъ даже въ салонъ — н тамъ говоритъ, словно по книгъ читаетъ, и никому не кажется смѣшонъ! А еще больше портять романы Сю-преувеличение и театральные мелодраматические эффекты. Злодъй его романа, Люгарто, еще довольно естествененъ самъ по себъ, но его баспословное богатство, его всезнание чужнать тайнъ и всемогущество въ преследовании многочисленныхъ жертвъ своихъ. — все это сильно отзывается арабскими сказками. Эффектовъ deus ex machina и въ "Матильдъ" — бездна. Старуха Блондо, видя, что ея воспитанницу успѣли охладить къ ней, рфшается умереть, выпрыгнувъ въ окно. Но это лицо необходимо автору въ дальнъйшемъ развити романа: надо спасти его. Старуха начала прощаться съ своею восьмилѣтнею питомицею, которая въ полночь спала крыпкимъ дытскимъ спомъ. Старуха цълуетъ ребенка, плачетъ и громко говоритъ монологъ самой себъ, потомъ бъжитъ къ окну; но не бойтесь: дитя проспулось и удержало самоубійцу на краю пропасти... Какъ это трогательно!.. Уже

замужнюю Матильду врагь ея, Люгарто, хитростію завлекаеть въ уединенный домъ, гдѣ всѣ слуги подкуплены и гдѣ ей, за ужиномъ, подають вино, въ которое всыпанъ сильный усыпляющій порошокъ. Оставшись одна, она начинаеть чувствовать дѣйствіе порошка; тутъ является къ ней ея налачъ и объявляеть ей, что намѣренъ ее обезчестить... Но не бойтесь: вотъ вламываются ея защитники и истители, и начинается мелодрама, достойная ярмарочныхъ балагановъ...

Одно лицо въ "Матильдъ" очерчено съ талантомъ: это старая мать Семерена, мужа Урсулы; даже и эти два лица довольно недурны; но съ первымъ пріятно было бы встрѣтиться даже и не въ такомъ

романъ, какъ "Матильда".

"Сынъ Тайны"—замёчательный романъ во многихъ отношеніяхъ. Когда модное платье франта красуется на его лакев, - явный знакъ, что оно уже не модное, что мода смѣнилась. Когда бездарные инсаки успевають въ какомъ-нибудь модномъ роде литературы не хуже тъхъ талантливыхъ писателей, которые ввели его въ моду, — явный знакъ, что этоть родь литературы или паль, или близокъ къ паденію. "Сынъ Тайны" доказываеть, что на модные романы уже сочинена риторика, и ихъ съ отличнымъ успъхомъ можно писать по реценту. У г. Поля феваля нътъ ни ума, ни воображенія, ни страсти, ни этого мастерства увлекательно разсказывать даже вздоры, которымъ такъ владбють французы, и въ которомъ больше всего заключается тайна усивха ихъ нелъщихъ романовъ. Въ романъ Поля Феваля не встратите ни одной изъ тахъ тонкихъ, поражающихъ чертъ, ни одной изъ тѣхъ увлекательныхъ страниць, которыя попадаются иногда даже у Дюма въ самыхъ нелъпыхъ его романахъ, — какъ, наприміръ, сцены между Жильберомъ и Руссо въ "Запискахъ Врача". "Сынъ Тайны" это—нел±пость на нелъпости, вздоръ на вздоръ. Все дъло вертится на томъ, что три брата-молодца уродились такъ похожими другъ на друга, что родная мать не отличила бы ихъ одного оть другого. Они посвятили всю жизнь свою на то, чтобъ отыскать законнаго наследника замка Елутгаунть, сына ихъ дяди, похищеннаго въ детстве врагами ихъ фамили, и отомстить этимъ врагамъ. И они во всемъ успъвають: имъ покровительствуетъ сама судьба въ образъ г. Поля Феваля, какъ покровительствовала Телемаку богиня Паллада, въ образъ Ментора. Поэтому для нихъ легко и возможно все, ръшительно невозможное для другихъ смертныхъ. Ихъ безпрестанно сажають въ порьмы, но выбраться изъ порьмы, когда нужно, — имъ инпочемъ. Когда въ замокъ Влутгаунтъ собрались всё враги ихъ и завлекли туда свою жертву, братья немножко пооноздали явиться въ замокъ. Но ничего: они еще успѣютъ свое сдѣлать. На жертву направлена мортира-надо ее уничтожить, а высоко-не достанешь. Одинъ брать взлизъ на плечо другому, а рука все недостаеть: пижній братъ началъ присъдать подъ тяжестію верхняговотъ рухнутся оба съ высокой стёны въ бездиу. Въ эту критическую минуту жестокій авторъ, по праву генія, которому законъ не писанъ, оставля-

етъ и братьевъ съ ихъ неразрушенной мортирой, и задыхающагося отъ ужаса читателя съ его нетеривніемъ, и начинаетъ новую главу, гдѣ переходитъ къ другимъ лицамъ своего интереснаго романа. Вратья-удальцы уже работаютъ другое, а мортиру, какъ видно по ходу разсказа, они уничтожили—какъ?—это авторъ ночелъ за нужное утаить отъ своихъ читателей, думая, вѣроятно: много будете знать, скоро состаритесь. Г. Ноль феваль хорошо знаетъ натуру своихъ читателей — и зато онъ съ хлѣбцемъ... Въ наше время умный человѣкъ не умреть съ голоду, если умѣетъ тѣшить или надуватътѣхъ, которые глупѣе его...

Авторъ "Іезунта", г. Шинидлеръ, нъкогда пользовался большою извъстностио въ Германии, какъ счастливый подражатель Вальтеръ-Скотта. Но теперь онъ пишетъ въ модномъ родѣ. Куда бросились французскіе кони съ копытомъ, туда же поилелся и нашъ нъмецъ съ клешнею. Пока дъйствие его романа происходить въ Германіи — еще можно читать его; но какъ скоро перенесъ онъ его въ Южную Америку—посыпались такіе мелодраматическіе эффекты, что мочи нётъ. Туть дикари дёлаютъ нападеніе на селеніе обращенныхъ и мудроуправляемыхъ добродътельнымъ священникомъ дикарей, кого переръзали, кого забрали въ плънъ, въ томъ числѣ и добродѣтельнаго пастора. Но онъ, поговоривъ съ ними съчасъ времени, убъдилъ ихъ креститься и увель для поселенія на свое непелище. Тутъ, кому не пропасть, всѣ находятся и другъ съ другомъ сходятся, хотя и необыкновеннымъ, но, по мишнію автора, возможными образоми. Ки концу романа герои соединяются законнымъ бракомъ п живутъ счастливо. Добродътель награждена, порокъ наказанъ, раскаяніе уважено. Только злодён-ісзуиты урвались отъ заслуженной кары. Стало быть,

все, какъ следуеть.

Было время, когда переводъ всякаго иностраннаго романа на русскій языкъ составлялъ важную новость въ литературѣ и давалъ пищу критикѣ и полемикѣ, а переводчику всеобщую извъстность. Время это давно прошло-и безвозвратно. Если бы кто-нибудь перевель теперь вполив, съ подлинника, всего Вальтеръ-Скотта или всего Купера, — тотъ составиль бы себѣ имя. Но перевести, даже порядочно, модный французскій романъ-теперь ничего не значить. На подобные подвиги никто не обратить вниманія, темь болже, что они относятся скорже къ промышленности, нежели къ литературћ, — и если мы рѣшились говонжини ахкінелак ахындемефс ахитс або атидов торговли, то потому только, что не о чемъ говорить, хоть совсёмъ выключай библіографію изъ журнала. Но старое обыкновение выставлять на переводныхъ романахъ имя переводчика опять входитъ п должно войти въ силу, потому что переводами большею частію занимаются люди, равно не знающіе ни того языка, съ котораго переводятъ, ни того, на который переводять, всего чаще последній, —следовательно, публикъ нужно ручательство извъстнаго имени, что переводъ удобенъ къ чтенію. Къ числу такихъ классическихъ именъ принадлежитъ имя г. Строева: оно безпрестанно выставляется на переведенных съ французскаго романахъ то въ качествъ переводчика, то въ качествъ пересмотрщика чужого перевода, въ обопхъ случаяхъ—какъ върное ручательство за достопиство перевода. Для насъ върпость этого ручательства немного, какъ бы сказать? сомнительна...

[Современчикъ, Томъ II, 1847 г.].

OTESTS "MOCKBUTHHUHY".

Появленіе "Современника" въ преобразованномъ видъ, подъ новою редакцією, возбудило, какъ и слъдовало ожидать, много толковъ и шуму въ разныхъ литературных кругахъ и кружкахъ, великолъщно величающихъ себя "партіями". Особепное внимапіе обращено было ими на многія статьи по отділу словесности, какъ, напримъръ: "Кто Виноватъ?", "Обыкновенная Исторія", "Записки Охотника". Но до сихъ поръ эти сужденія о "Современникъ" ограничивались короткими и отрывочными отзывами, иногда похвальными, чаще порицательными, мелкими нападками вразсыпную. А вотъ теперь, во второй части "Москвитянина", вышедшей въ сенгябрь ныпашняго года, является большая статья, подъ названіемъ: "О мнініяхъ "Современника" историческихъ и литературныхъ"

Если бы туть діло шло только о "Современникв", мы не виділи бы никакой необходимости отвічать на эту статью. Однимь журналь нашь можеть правиться, другимь не правиться,—это діло личнаго вкуса, въ которое намь всего меніе слідуеть вміниваться. Но статья "Москвитянина" о "Современникі касается основныхь началь (принциповь) не одного "Современника", но всей русской литературы настоящаго времени. Такних образомь споры или полемика теряеть туть свое личное значеніе и переходить въ борьбу за иден. Въ такомъ случай молчаніе съ нашей стороны не безъ основанія могло бы быть принято всёми за тайное и невольное согласіе съ нашеми противниками. Воть почему мы считаемь себя обязанными возразить на статью "Москвитянина".

Въ ней разсмотрфны три статън, помфщенныя въ первой книжкъ "Современника" за нынъщній годъ: "Взглядъ на юридическій быть древней Россін", г. Кавелина, "О современномъ направленіи русской литературы", г. Инкитенко, и "Взглядъ на русскую литературу 1846 года", г. Бълинскаго. Статью г. Кавелина критикъ "Москвитянина" силится унпчтожить, выказывая ея, будто бы, противорфчія и опровергая ея основныя положенія своими собственными; но самого г. Кавелина онъ оставляетъ безъ всякой оценки или критики. Приступая же къ разбору статей гг. Никитенко и Бълинскаго, онъ счелъ за нужное представить, вълегкихъ, но рёзкихъ очеркахъ, литературную характеристику ихъ авторовъ. И достается же имъ отъ него! Впрочемъ, строго судя, г. Никитенко, критикъ "Москвитянина", еще помнить русскую пословицу: гдф гифвъ, тутъ и милость; но къ г. Бълинскому онъ безпощадио строгь; онъ вышель противъ него съ решительнымъ намфреніемъ уничтожить его дотла, съ знаменемъ, на которомъ огненными буквами написано раз de

grâce! Въ своемъ мѣстѣ мы остановимся на этомъ иосиолитомъ рушеніи чужой литературной извѣстности и обнаружимъ ея тайныя причины и побужденія; а теперь начнемъ разборъ статън нашего грознаго аристарха съ самаго ея начала. Грозенъ опъ—нечего сказать; но страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, а мы не изъ робкаго десятка... Критика была бы, конечно, ужаснымъ оружіемъ для всякаго, если бы, къ счастію, она сама не подлежала—критикѣ же...

Такъ какъ г. Кавелинъ, статъя котораго отдёльно и съ особенной подробностью разобрана критикомъ "Москвитянина", рёшился самъ отвёчать ему, то отвётъ "Современника" "Москвитянину" будетъ состоять изъ двухъ статей. Что же касается до г. Никитенко, онъ и на этотъ разъ остается вёрнымъ своему "незавнсимому положеню въ нашей литературё", какъ выразился о немъ критикъ "Москвитянина", и предоставляетъ намъ отвётить за него, въ той мёрё, въ какой нужно это для защиты "Современника".

Въ началъ статън "Москвитянина", въ видъ нитродукцін, говорится довольно темно, какими-то намеками, о какомъ-то "литературномъ споръ между Москвою и Петербургомъ и о необходимости этого спора", о томъ, что "петербургские журналы встрътили московское направление сънасмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ, придумали для последователей его (т. е. московскаго направленія) названіе старов фровъ и славя и офиловъ, показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурмолками", и что, "принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно неремёнить его и сознаться въ легкомыслін". Въ доказательство указывается на "Отечественныя Зациски", которыя въ особенности погрѣшили тѣмъ, что "такъ называемымъ славянофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали". Въ свидътели всего этого призываются "московскіе ученые, не разділяющіе образа мыслен московскаго направленія". Потомъ отдается должная справедливость "Отечественнымъ Запискамъ" въ томъ, что "къ концу прошлаго года и въ нынъшнемъ онъ значительно перемънили топъ н стали добросовъстиве всматриваться въ тоть образъ мыслей, котораго прежде не удостопвали серьезнаго взгляда". Вслёдъ за тёмъ читаемъ слёдующія строки, которыя выписываемъ вполив:

"Въ это самое время отъ нихъ ("Отечественныхъ Записокъ") отощли нъкоторые изъ постоянныхъ ихъ сотрудниковъ и основали новый журналь. Отъ нихъ, разумъется, пельзя было ожидать паправленія по существу своему новаго; по можно и должно было ожидать лучшаго, достой-

нъйшаго выраженія того же паправленія; всего отраднье было то, что редакцію приняль на себя человыкь, умъвшій сохранить независимое положеніе въ нашей литературъ и не паписавшій ип одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; наконець, въ новомъ журналь должиы были участвовать лица, издавна живущія въ Москвъ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной партіи и съ ея послъдователями, проведшія съ ними нъсколько лъть въ постоянныхъ спошеніяхъ и узнавшія ихъ безъ посредства журнальныхъ статеекъ и сплетенъ, развозимыхъ завъзжими посътителями".

Но—увы!—ожиданія "Москвитяница", или его критика, г. М... З... К..., не сбылись!

"Скажемъ откровенно (говоритъ онъ): первый пумеръ "Современника" не оправдалъ нашего ожиданія. Можетъ быть, мы и ошибаемся, но, по панему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: во-первыхъ, въ отсутствій единства направленія и согласія съ самимъ собою; во-вторыхъ, въ односторонности и тѣснотѣ своего образа мыслей; въ-третьихъ, въ искаженін образа мыслей противниковъ".

Остановимся на этомъ. Увертюра разыграна мастерски и вполнѣ подготовила къ впечатлѣнію самой оперы; остается только слушать, восхищаться и аплодпровать. Явно,- что изъ трехъ важныхъ обвиненій, взводимыхъ критикомъ "Москвитянина" на "Современникъ", въ его глазахъ истинно важно только то, которое онъ не безъ умысла поставилъ послѣдиимъ, какъ менѣе другихъ важное. Съ первыхъ же строкъ статьи видно, что тутъ дѣло собственно не о "Современникъ",

Но умысель другой туть быль: Хозяннь музыку любиль.

Что такое "московское направленіе", загадочною рѣчью о которомъ начинается статья? Разумѣется, такъ называемое славянофильство. Очевидно, что авторъ статьи — славянофилъ. Но онъ не хочетъ этого названія; онъ говорить, что его партію окрестили имъ петербургские журналы. Изъ этого видно, что онъ самъ чувствуетъ все смѣшное, заключающееся въ этомъ словъ, но онъ не чувствуетъ, что слово можеть быть смѣшно не само собою, а заключеннымъ въ немъ понятіемъ, и что перемънить названіе вещи не значить измінить самую вещь. Петербургскіе журналы не сговаривались давать название славянофиловъ литераторамъ извъстнаго образа мыслей; въроятно, они или подслушали его у самихъ этихъ литераторовъ, или извлекли изъ сущности ихъ ученія, альфа и омега котораго суть славяне, враждебно и торжественно противополагаемые гніющему Западу. На свётё много охотниковъ называть своихъ противниковъ смѣшными или несмѣшными именами. Это же и не мудрено; но мудрено дать кому-либо такое название, которое бы принято было всеми. Такія удачныя названія редко выдумываются кфмъ-нибудь, но принадлежать всфмъ, и никому въ особенности. Таково и название славянофиловъ. Но пусть славянофилы не будутъ больше славянофилами; намъ это все равно: мы не видимъ важнаго вопроса не только въ названін славянофиловъ, но даже и въ сущности ихъ ученія. Итакъ, пусть они изъ славянофиловъ переименуются во что

имъ угодно, но только не въ "московское направленіе": этого не можеть допустить здравый смысль. Во-первыхъ, выражение "московское паправление" неловко и неудобно для обозначенія литературной нартін: какъ называть людей "направленіемъ"? А во-вторыхъ, — и это главное, — почему славянофильство именно московское направление? Мы понимаемъ, что господамъ славянофиламъ, живущимъ въ Москвъ, очень лестно прикрыться именемъ такого важнаго въ Россін' города, какъ Москва, н завербовать въ свои ряды всёхъ москвичей поголовно: но лестно ли это будеть для Москвы и москвичей-воть вопрось! И что на это скажуть, съ одной стороны, тъ московские ученые, которые, по словамъ самого критика "Москвитянина", не раздёляють образа мыслей "московскаго направленія", но хорошо съ нимъ знакомы; а съ другон стороны, лица, которыя раздёляють этоть образь мыслей, но живуть и иншуть въ Нетербургъ?.. Памъ кажется, что славянофильству чуть ли не болже следуеть название петербургскаго направленія, чемь московскаго. По крайней мере, сколько мы знаемъ славянофильство, оно совсемъ не такъ ново на Руси, какъ, можетъ быть, думаютъ сами последователи этого ученія. Кому не известно, что успѣхи Карамзина въ преобразованіи русскаго литературнаго языка вызвали, въ началъ нынъшняго стольтія, партію, которая, вооружаясь противъ его нововведеній, думала отстанвать отъ иноземнаго вліянія родной языкъ и добрые праотеческіе нравы! Какъ вы думаете, не сродин ли эта партія ныпринния славанофиламь. Водя нрсколько стиховя на выдержку изъ посланія Василія Пушкина къ Жуковскому, піесы, по которой можно, до изв'єстной степени, судить о живости и характерф борьбы двухъ партій нашей литературы того времени:

Въ чемъ увъряють насъ Паскаль и Боссюэть, Въ Синопсисъ того, въ Степенной Кингъ ивтъ. Отечество люблю, языкъ я русскій знаю: Но Тредьяковскаго съ Расиномъ не равняю,—ИПиндаръ нашихъ странътъмъ слогомъ не писалъ, Какимъ Баянъ въ свой въкъ героевъ воспъвалъ. И правъ, и ты со мной, конечно, въ томъ согласенъ:

Но правду говорить безумцамъ—трудъ напрасенъ Я вижу весь соборъ безграмотпыхъ славянъ, Которыми здёсь вкусъ къ изящному попрашъ, Противъ меня теперь рыкающій ужасно. Къ дружинѣ вопіетъ нашъ Балдусъ велегласио: "О братіе мон, зову на помощь васъ! "Ударимъ на него—и первый буду азъ. "Кто намъ грамматикъ совътуетъ учиться, "Во тъму кромъщную, въ геенну погрузится; "И аще смъетъ кто Карамяна хвалить, "Нашъ долгъ о людіе, злодъя истребить".

Итакъ, любезный другъ, я смёло въ бой вступако: Въ словесности расколъ, какъ должно, осуждаю. Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной, И памъ отъ кингъ его нётъ пользы никакой. Въ страницё каждой онъ слогъ древній выхваляеть

Н русскимъ веймъ словамъ прямой источникъ

Что пужды? Толстый томъ, гдф зависть лишь видиа,

Не есть лагарновъ курсъ, а пагуба одна. Въ славянскомъ языкъ и самъ я пользу виску, Но вкусъ я варварскій гоню и пенавику. Въ душть своей пошу къ наящному любовь; Творенье безъ идей мою волиуетъ кровь. Словъ много затвердить не есть еще ученье; Намъ прясны не слова, намъ прясно просоъщенье.

Видите ли: и здѣсь уже люди, объявивше себя противъ европейскаго образованія, названы слаоняваля од анкавла ато ил озела, а далеко филовъ: Иравда, съ объихъ сторонъ здъсь споръ чисто-литературный, потому что другого тогда и не могло быть: разумъется, славянофильская партія нашего времени двинулась дальше своей прародительницы. А гдѣ было гнѣздо этой старой славянской партіп?—въ Петербургѣ. Посланіе, изъ котораго мы выписали несколько стиховъ, написано было въ Москвъ-пентръ литературной реформы того времени. Въ последнее время славянофильство, какъ новое направленіе, рѣзко и рѣшительно провозгласило себя въ московскомъ журналѣ "Москвитянинъ"; но и тутъ оно упреждено было въ Петербургъ: изданіе "Маяка" началось годомъ рапве "Москвитанина". Многіе славянофилы не любять вспоминать о "Маякъ", какъ будто чуждаются его, никогда не высказывають своего мивнія ни за, ни противъ него: нодумаешь, что они и не знають ничего о существованіи подобнаго журнала. А это оттого, что "Маякъ" быль самымъ крайнимъ и самымъ последовательнымъ органомъ славянофильства. Върный своему принципу, исходному пункту своего ученія, онъ никогда не противоръчилъ ему и логически дошелъ до крайнихъ, до последнихъ своихъ результатовъ. Онъ не признавалъ ни тени истины во всемъ, что хоть скольконибудь противорфчило его основному убфжденію; и если знаменитѣйшихъ представителей русской литературы, отъ Ломоносова и Державина до Пушкина, опъ объявилъ зараженными западною ересью, вредными и опасными для правственной чистоты русскаго общества, -- онъ сдълалъ это не по чему другому, какъ по строгой последовательности, строгой вършости началу своего ученія. Въ немъ все было едино и ціло, все сообразно съ его направленіемъ и цілью: и языкъ, и манера выражаться, и литературное и художественное достониство его стиховъ и прозы. Онъ больше славянофилъ, чъмъ "Москвитянинъ", и потому имътъ полное право смотръть на него, какъ на противоръчнваго, непоследовательнаго органа того ученія, которое во всей чистотъ своей явилось только въ немъ, пресловутомъ "Маякъ". Но этимъ самымъ, разумъется, онъ оказалъ очень дурную услугу славяпофильству, потому что выставилъ его на позорище свъта въ его истиниомъ, настоящемъ видъ; а извъстно, что есть предметы, которые стоитъ только выказать въ ихъ дъйствительномъ значеиш и образъ, чтобы уронить ихъ, хотя это дълается пногда и съ пълію, напротивъ, поднять п возвыенть ихъ въ глазахъ общества...

Какъ бы то ни было, по изъ всего сказаннаго нами неоспоримо слъдуеть, что называть славянофильство "московскимъ направленіемъ" отпюдь не слъдуетъ, потому что Петербургу славянофильство принадлежитъ пе только не меньше, но чуть ли

еще не больше, чемъ Москва. Отстранивши отз. Москвы такъ невпопадъ навязываемое ей московскими славянофилами исключительное право на славянофильство, мы дінствуемь въ ея пользу, а не противъ ел. Но точно также мы не согласились бы называть славяпофильство и "петербургскимъ направленіемъ". Только тогда можно означить какое-нибудь направление именемъ города, когда оно дъйствительно есть главное, исплючительное направленіе этого города, а вей другія, существующія въ немъ, направленія являются на второмъ и третьемъ планъ, слабы, незначительны, инчтожны. Но по поводу славянофильства этого пельзя сказать ни о Петербургѣ, ни о Москвѣ! Въ томъ и другомъ городъ жили и дъйствовали знаменитъйшіе представители нашей литературы, имъвшіе ръшительное и важное вліяніе и на литературу, и на образование общества, и они-то, между тёмъ, инсколько не принадлежатъ къ славянофиламъ. Мы знаемъ, что гг. московскіе славянофилы могуть указать намъ съ торжествомъ, цо крайней мёрё, на два знаменитыя въ литературт имени, какъ такія, которыя, если бы и не принадлежали имъ вполиъ, то болъе или менъе симпатизируютъ съ ними, -- особенно на имя Гоголя, послъ изданія его "Переписки съ Друзьями". Но это ровно пичего не доказывало бы въ ихъ пользу, потому что великое значение Гоголя въ русской литературт основывается вовсе не на этой "Нерепискъ", а на его прежнихъ твореніяхъ, положительно и ръзко анти-славянофильскихъ. И нотому гг. московские славянофилы были бы вполнъ върны своей точкъ зръня, если бы восхищались только "Перепискою", а на вев другія произведенія Гоголя смотр'вли бы косо. Но они и ихъ приняли подъ свое высокое покровительство, въроятно, ради будущихъ, повыхъ его произведеній, которыхъ характеръ заранве опредвляется въ ихъ глазахъ "Перепискою". "Маякъ" пикогда не обнаружиль бы такой непоследовательности: если-бъ онъ здравствовалъ досель-въроятно, онъ расхвалилъ бы "Переписку" и простилъ бы за нее Гоголю его прежнія произведенія, но только простиль бы, не отрицая настоятельной необходимости для нихъ очистительнаго ауто-да-фе.

Что касается до массы русскихъ литераторовъ, прежнихъ и теперешнихъ, старыхъ и молодыхъ, они избирають мъстомъ своего жительства Петербургъ или Москву по разнымъ обстоятельствамъ ихъ жизни, не всегда зависящимъ отъ ихъ воли, и ужъ, конечно, всего менъе по уважению къ тому образу мыслей, который раздёляютъ. И нотому отвести для славянофиловъ городъ Москву, а для литераторовъ противоположнаго направления-городъ Петербургъ, можетъ войти въ голову только квартирмейстерамъ особаго, исключительнаго рода. Какъ въ Петербургъ много славянофиловъ, такъ точно въ Москве много неславянофиловъ, и наоборотъ. Критикъ "Москвитянина" указываетъ на Нетербургъ, какъ на мѣстопребываніе противоположной "московскому направленію" партін, н самъ же говоритъ, что въ Москвѣ есть ученые,

не раздъляющіе этого направленія, и отзывается о нихъ съ уваженіемъ. Странное дёло: ночему же направление славянофиловъ, живущихъ въ Москвъ, "московское", а направление этихъ ученыхъ, тоже живущихъ въ Москвъ, да еще издавна, по словамь критика "Москвитянина", немосковское?.. Въ этомъ видно притязание на первенство значенія, высокое уваженіе къ своему славянофильскому значению, въ ущербъ всякому другому значенію. Мы такъ думаемъ, что право на первенство, въ этомъ случай, можетъ дать только преимущество таланта, а не отношение къ той или другой партін... Что же ввело въ заблужденіе критика "Москвитянина" и заставило его выдумать "московское направленіе"? Неужели то обстоятельство, совершенно визшнее и случайное, что въ Петербургъ мало журналовъ, но все же есть ихъ нъсколько, и нъкоторые изъ нихъ направленія славянофильскаго, другіе-не им'єють ничего общаго съ славянофильствомъ; а въ Москвѣ всего-на-все одинъ журналъ, и онъ славянофильскій. И что поэтому московскіе ученые и литераторы, не принадлежащіе къ славянофильской партін, пом'єщають свои труды въ петербургскихъ журналахь? Нать, это не то! Туть скрываются болъе важныя причины. Господамъ славянофиламъ нужно, необходимо, волею или неволею, навязать Москв' славянофильство. По ихъ мижнію, это ученіе одно истинно-русское, національное, а Москвапредставительница и хранительница русской народности. Итакъ, очевидно, что-нибудь одно изъ двухъ: или славянофильство-направление ложное, или оно-московское... Москва вишь виновата! И потому, говоря такъ много о выраженін "московское направленіе", мы не привязались къ мелочи, а обратили особенное внимание на одинъ изъ важнъйшихъ спорныхъ пунктовъ славянофильства... Читатели уже видять, какъ кртпокъ и проченъ этотъ спорный пункть; но мы покажемъ это еще больше, обратившись къ другимъ такимъ же точкамъ опоры направленія, претендующаго на званіе "московскаго"...

Такимъ же точно образомъ, какъ не признаемъ мы этого названія, не признаемъ мы существованія спора между Москвою и Петербургомъ. Правда, бывали прежде и бывають теперь споры между московскими и нетербургскими литераторами, но такъ же точно, какъ и споры московскихъ съ московскими же и петербургскихъ съ петербургскими же литераторами; но ни Москва съ Йетербургомъ, ни Истербургъ съ Москвою никогда и не думали спорить. Да изъ чего же бы имъ и спорить? Было время, когда Москва спорила съ Тверью и Рязанью, но на то были свои историческія причины, которыхъ теперь не существуєть, и время это давно прошло. Петербургъ и Москваоба принадлежатъ Россін и равно дороги, важны и необходимы какъ ей, такъ и другъ другу. Петербургъ можетъ похвалиться передъ Москвою такими хорошими сторонами, какихъ въ ней нътъ, и отсутствіемъ такихъ недостатковъ, которые въ ней есть; Москва, въ свою очередь, можеть, на

достаточномъ основанін, сдёлать то же самоє въ отношенін къ Петербургу. Но пменно то, что, кромъ общихъ имъ выгодныхъ сторонъ, каждый изъ нихъ имфетъ еще свои собственныя, --- это-то самое и дълаеть ихъ и необходимыми, и полезными другь другу и должно соединять ихъ, вмъсто того, чтобъ разделять. Подобное отношеніє должно быть источникомь не споровъ, а взаимнаго другъ на друга полезнаго вліянія. Петербургърезиденція правительства и, въ административномъ смысль, центральный городъ Россіи, хотя и стоитъ на одной изъ ея оконечностей; Петербургъ-окно въ Европу, посредникъ между Европой и Россією. Такой роли не могъ бы играть городъ съ иностраннымъ народонаселеніемъ, какъ, напримъръ, Ревель или Рига, хотя бы это быть и столько же огромный, какъ Петербургъ, городъ. Москва-центральный городъ Россіи, по географическому положенію. Вся съверо-восточная, восточная и южная Россія п съ самимъ Петербургомъ спосится черезъ Москву. Сверхъ того, Москва-городъ по преимуществу промышленный, торговый и, по своему университету, старъйшему изъ русскихъ университетовъ, городъ науки. При этомъ не должно упускать изъвиду, что Москва есть городъ древній, историческій, городъ преданія, представительница народнаго духа. Петербургъ, напротивъ, городъ новый, построенный на завоеванной земль, торговая колонія, разросшаяся въ столицу; его почва чужда преданій; онъ кипить народонаселеніемъ, преимущественно наноснымъ, пришлывающимъ къ нему изо всёхъ концовъ Россін, большею частію чисто-русскимъ, меньшею частію обрустялымъ иностраннымъ. Это постъднее никогда не можетъ дать ему иностраннаго характера, уже по одному тому, что оно состоитъ изъ людей разныхъ націй и вфроисповфданій, и потому не представляеть собою сплошной массы, которая бы могла контро-балансировать съ массою русскаго народонаселенія Петербурга. Находясь подъ вліяніемь русскихь законовь и темь более чувствуя правственный перевёсь надъ собою массы русскаго народонаселенія, эти иностранцы скоро дёлаются почти русскими, дёти же ихъ -- совершенно русскіе; а между тімь въ торговлі, въ ремеслахъ, въ формахъ жизни-они приносятъ съ собою новые, необходимые намъ элементы. Влагодаря морю и пароходству, Петербургъ отдъленъ отъ Европы только тремя сутками пути; а благодаря жельзнымъ дорогамъ, безъ нерерыва идущимъ теперь отъ Штетина до Гавра, онъ ближе всёхъ другихъ русскихъ городовъ и къ Парижу, в къ Лондону. Черезъ Петербургъ передаются Россіи всь новъйшія изобрьтенія, сдуланныя въ Европь, по части наукъ, искусствъ, мануфактуръ, ремеслъ-Такимъ образомъ, безъ Петербурга, Москва представляла бы только крайность народнаго начала, не оживляемаго и не умъряемаго элементами европейской жизни; а Петербургъ безъ Москвы имѣлъ бы на провинцію болье административное, нежели живое правственное и соціальное вліяніе: потому что, если Петербургъ есть посредникъ между Европою н Россією, то Москва есть посредникъ между Петербургомъ и Россією. Называя Петербургъ посредникомъ между Европою и Россіею, мы не думаемъ этимъ сказать, что, только живя въ немъ, можно сявдить за успехами наукъ и искусствъ въ Европе. Напротивъ, это можно делать, живя не только въ Москвъ, но и въ Тамбовъ, и въ Саратовъ. Но подобное наблюдение усибховъ ума человъческаго въ Европъ, виъ Петербурга, возможно только для отдельныхъ лицъ, а не для массъ. Можно, напримъръ, и живя въ Москвъ, знать лучшій способъ кладки кампей и кирпичей при строеніи здапій; но, говорять, при ностронкъ кремлевскаго дворца и храма Спасителя въ Москву было привезено изъ Петербурга и сколько работниковъ для наученія московскихъ мастеровъ надлежащему способу класть кирпичъ при выводт сттиъ. Везъ сомития, московскіе архитекторы знали, какъ кладется въ Европф камень и киришчъ; а въ Петербургъ мастеровые, не заботись объ Европъ, умъли класть киринчъ, какъ кладуть его тамъ.

Этотъ простой и инчтожный, повидимому, фактъ показываетъ, какое вліяніе имѣетъ Нетербургъ, по своей близости къ Европѣ, не на одиѣ избранныя личности, но на самую жизнь Россіи. Его роль чисто-практическая; его вліянія надо искать не въ однѣхъ книгахъ, но въ нравахъ, въ образѣ жизни. Его замѣчательнъйшія учебныя заведенія — спеціальныя, преимущественно техническія.

Естественно, что между Петербургомъ и Москвою должны быть существенныя различія, которыя должны отразиться и въ литературъ разностію точекъ воззрвнія на одни и тв же предметы. Изъ этого могъ бы возникнуть даже споръ, о которомъ говоритъ критикъ "Москвитянина". Но этого спора доселъ не было, хотя и бывали споры между петербургскими и московскими литераторами. Можеть быть, это происходить отъ сильнаго и быстраго вліянія другъ на друга обоихъ городовъ. Напримѣръ, было время, когда московскіе литераторы (разумфется, накоторые) упрекали петербургскихъ за то, что та беруть деньги за свои труды, а не иншуть изъ одной любви къ литературъ, и еще за то, что ихъ журналистика отличается не направленіемъ, не идеями, а только аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ. Если хотите, въ этомъ фактъ выразилось, болье или менье, различие обоихъ городовъ; но надолго ли? Еще не успълъ прекратиться этотъ споръ на перьяхъ, какъ причины его уже и не существовало: въ Петербургъ явились журналы и съ направленіемъ, и съ идеями, да вдобавокъ и съ аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ; а въ Москвъ такъ же, какъ и въ Петербургѣ, стали брать деньги за литературные труды, и безденежныя литературныя предпріятія сділались невозможны; но отъ этого въ Москвѣ не неревелись люди съ убѣжденіями и идеями. Въ сущности же весь этотъ споръ вышелъ больше изъ того, что однихъ литераторовъ принисали къ Петербургу, другихъ къ Москвѣ, и по нимъ судили о томъ и о другомъ городъ. Такъ, напримъръ, московскіе журналисты, въ своей полемической войнъ съ Петербургомъ, имъли въ виду преимущественно гт. Греча, Булгарина и Воейкова и какъ будто забы-

вали, что, кроме нихъ, въ Петербурге жили Крыловъ, Гитдичь, Жуковскій, Пушкинь, потомъ Гогольписатели, которыхъ, конечно, нельзя было обвинять въ отсутствін направленія. Пушкинъ съ самаго появленія на литературное поприще продаваль книгопродавцамъ свои сочиненія за неслыханныя до него цаны, а между тамь онь не быль тогда журналистомъ; въ его поэзін не выражалось ни петербургскаго, ни московскаго направления: живя въ Петербургь, онь, какъ поэть, по своему таланту, по духу, содержанію и форм'в своихъ произведеній, принадлежалъ не Нетербургу, не Москвѣ только, а цалой Россін. Въ посладнее время возникла полемика по поводу славянофильства, но это отнюдь не было споромъ между Петербургомъ и Москвою. Ссылаемся на тв самыя "Отечественныя Записки", о которыхъ говоритъ, въ началъ статън своей, критикъ "Москвитянина": онъ найдетъ тамъ возраженія и отповеди не одному "Москвитанину" или "Московскому Сборнику", но и "Маяку". Сверхъ того, статьи противъ "Москвитящина" и "Московскаго Сборника" писаны тамъ не одними нетербургскими литераторами, но и московскими: такъ, напримъръ, въ нынёшнемъ году напечатаца тамъ была статья московскаго профессора, г. Грановскаго, въ опроверженіе статьи г. Хомякова, пом'єщенной въ "Московскомъ Сборникъ" на 1847 годъ; въ возникшемъ за тёмъ спорё возраженія г. Хомякова печатались въ "Московскомъ Городскомъ Листкъ", а возраженія г. Грановскаго въ "Московскихъ Відомостяхъ". Гдъ-жъ тутъ споръ Петербурга съ Москвою? Туть столько же споръ Петербурга съ Петербургомъ и Москвы съ Москвою, сколько и Петербурга съ Москвою. Нътъ, какъ ни хлоночите, а никакъ не удастся вамъ обыкновенные литературные споры превратить въ какую-то борьбу двухъ городовъ, и еще менье успьете вы смышать съ Москвою какой-нибудь литературный кружокъ. Москва велика, и какъ ин надувантесь, а все съ нее не будете ростомъ, только повредите вашемуздоровью н будете смѣшны...

Вывали когда-то въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ насмёшки падъ Москвою, а въ московскихъ что-то вродъ не совсъмъ пріязненныхъ выходокъ противъ Петербурга. Но подобный споръ могъ быть только плодомъ юношескаго, незрълаго состоянія нашей литературы и нашей общественной образованности. Теперь, слава Богу, по крайней мфрф въ петербургскихъ журналахъ вовсе вышли изъ употребленія натадинческіе возгласы противъ Москвы, и въ патетическомъ, и въ проинческомъ духв. Со стороны московскихъ литераторовъ (по крайней мърф, можно смъло поручиться за тъхъ, которые не раздёляють такъ называемаго "московскаго направленія") тоже не видно никакихъ предубъжденій противъ Петербурга. Всъ совершеннолътніе давно уже предоставили подобные споры о превосходств'є одной столицы передъ другою д'єтямъ, юношамъ и энтузіастамъ. И хорошо сдёлали, потому что въ такихъ спорахъ играли главную роль не Москва и Петербургъ, а маленькое самолюбіе спорщиковъ: каждый хотъль возвысить украшенный его присутствіемъ городъ на счетъ другого. Тамъ же, гдѣ къ самолюбію примѣшивался фанатизмъ теорій, не видно было ни малѣйшаго знанія ни того города, который превозносился, ни того, который приносился ему въ жертву. Короче, это былъ споръ дѣтскій, ребяческій. Петербургскіе журналы дѣйствительно подтрунивали надъ мурмолками, а московскіе журналы, точно, не подтрунивали надъ ними; но это не потому, чтобъ мурмолки были смѣшны только въ Нетербургѣ, въ Москвѣ же были бы не смѣшны, а опять-таки потому только, что въ Москвѣ всегона-все одинъ журналь, да и тотъ родственный мурмолкамъ. А что надъ ними смѣялись петербургскіе журналы—въ этомъ нѣтъ инчего предосудительнаго для петербургскихъ журналовъ...

Смъ́яться, право, не гръ́шпо Надъ тъмъ, что́ кажется смъ́шно.

Смахъ часто бываетъ великимъ посредникомъ въ дълъ отличения истины отъ лжи. Ипая мысль или иной поступокъ совершенно оправдываются логикою: вы не соглашаетесь съ ихъ истинностію, но и не находите ничего возразить на доказательства ихъ неоспоримой истинности. Но тутъ дело решаетъ смъхъ! Такъ, напримъръ, можно видъть и понимать, что вотъ этотъ господинъ надёлъ мурмолку по глубокому убъжденію, которымъ онъ не шутить, которому онъ благородно приносить въ жертву всю жизнь свою, что онъ правъ съ своей точки зрѣнія и защищаетъ мурмолку съ жаромъ, краснорѣчнво, логически и умно; все это можно видъть и понимать- и все-таки смёнться... Можно любить человёка, даже уважать его — н вмёстё съ этимъ смёнться надъ нимъ... Тебя зову въ свидетели, о знаменитый витязь ламанчскій, вічно-памятный обожатель несравненной Дульцинен тобозской! Ты быль рыцарь безь пятна и страха, краса и честь кавалеровъ, гроза и трепеть злодбевь, надежда и отрада угнетенных и страждущихъ; благородный и великодушный, ты часто являлся мудрецомъ въ рѣчахъ своихъ, дышавшихъ возвышенностію мыслей и чувствъ, ясностію взгляда, здравымъ смысломъ и краснорфчіемъ; храбрый воинъ, ты былъ еще и справедливымъ, искуснымъ судьею! Вижу и признаю вст твои достоинства, удивляюсь имъ- и все-таки, читая дивную эпонею твоей жизни, отъ всего сердца смінось надъ тобою, до той самой минуты, когда, готовый изъ этого міра, населеннаго трактирщиками, волшебниками, злодъями, вассалами, рабами и рыцарями, перейти въ другой, лучшій міръ, гді вовсе ніть всей этой дряни, ты вдругъ какъ бы прозрѣлъ-и плачущему оруженосцу своему и будущему губернатору завоеваннаго тобою острова, Санхо-Панев, сказаль, что ты не рыцарь, а ном'вщикъ... тогда мой см'єхъ, то веселый, то грустный, смёняется уже одною безпримёсною и глубокою грустію...

Приступая къ разбору статьи г. Никитенко, критикъ "Москвитянина" говоритъ, что "здѣсь должно быть обозначено направленіе журнала, то, къ чему онъ клопитъ общественное миѣніе, мѣрило всѣхъ его литературныхъ сужденій и оправданіе сочувствій". То же видитъ онъ и въ статьѣ Бѣлинскаго, вслѣдствіе чего основательно требуетъ, чтобы обѣ эти

статьи выражали одно воззрѣніе, были проникнуты однимъ направленіемъ; а между тѣмъ находитъ вънихъ страшныя противорѣчія. И поэтому мы скажемъ нѣсколько словъ о его взглядѣ на статью г. Никптенко только въ отношеніи къ этимъ противорѣчіямъ.

Критикъ "Москвитянина" соглашается съ г. Никитенко, что наша общественная образованность вообще отличается отсутствіемъ мощныхъ, широко раскрывающихся личностей, зато она разстилается въ ширину и глубину, течетъ спокойнѣе, тише, какъ дома, и работаетъ безъ шуму, но работаетъ около самыхъ основаній. Но никакъ не хочетъ согласиться съ нимъ насчетъ той же мысли, только высказанной въ приложеніи къ современной русской литературъ. Вотъ слова г. Никитенко:

"Взамбить сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературъ, въ ней, такъ скъзать, отстоялись и улеглись жизненныя начала дальнъйшаго развитія и дъятельности... Въ ней есть сознаніе своей самостоятьности и своего назначенія. Она уже сила, организованная правильно, дъятельная, живыми отпрысками переплетающался съ разными общественными нуждами и питересами, не метеоръ, случайно залетъвшій изъ чужой намъ сферы на удивленіе толны, не вспышка уединенной геніальной мысли, нечаянно проскользиувніая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту повымъ и невъдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь итстъ містъ особенно замъчательныхъ. но есть ося литература".

На это критикъ "Москвитянина" возражаетъ, что г. Никитенко, "кажется, слишкомъ синсходителенъ къ изящной литературъ". При этомъ кстати онъ вспомниль, что мысль эту читаль когда - то въ "Отечественныхъ Запискахъ", но тамъ, по его мивнію, она была кстати, а у г. Никитенко не кстати, потому-де, что г. Никитенко любитъ искусство ради самого искусства и глубоко понимаетъ его требованія, а въ этомъ случав удовлетворяется количествомъ и легкимъ сбытомъ произведеній взамінь качества и внутренняго достоинства. Остановимся на этомъ. Г. Бълинскій неоднократно высказываль въ "Отечественныхъ Запискахъ" ту мысль, что, за исключеніемъ Гоголя, пишущаго въ последнее время мало и різдко, въ русской литературіз теперь пітть великихъ талантовъ, но зато есть теперь у насъ литература. Г. Никптенко, независимо отъ г. Бфлинскаго, въ статът своей, помъщенной въ первой книжкъ "Современника", по-своему высказалъ. п, можеть быть, тоже не въ первый разъ, ту же мысль. Что можно заключить изъ этого факта касательно единства паправленія "Современника"? Ничего болъе, кромъ того, что редакторъ "Современника" сходится съ своими сотрудниками въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ направленія его журнала. Но благонамъренному критику "Москвитянина" непременно нужно было, во что бы ин стало, найти тутъ противоръчія; но какъ, несмотря на всю свою готовность къ этому, онъ все-таки не могъ найти въ словахъ г. Никитенко противоричія со взилядомъ г. Бѣлинскаго, то счелъ за нужное найги у г. Никитенко противорфчие съ самимъ собою... И

дъйствительно, въ словахъ редактора "Современника" есть противоржие, но только не съ самимъ собою, а съ критикомъ "Москвитянина": г. Никитенко видитъ въ новой русской литературъ и в что достойное вниманія и уваженія, а г. М.... З.... К.... видить въ ней безобразную массу бездарныхъ и нелъпыхъ произведеній. Что сказать на это? Инчего болъе, какъ посовътовать г. Никитенко, когда онъ будеть что-нибудь писать, посылать программу каждой своей статьи на утверждение ръшительнаго и непогращительнаго въ своихъ приговорахъ критика "Москвитянина": что онъ у него одобрить, такъ тому и быть, что забракуеть, то вонь изъ статьи. Это, кажется, единственный способъ для г. Никитенко избътать мыслей и воззръній неосновательныхъ и ложныхъ... въ глазахъ критика "Москвитянина".--Многіе могуть найти не совсёмь согласною съ здравымъ смысломъ подобную опеку какого-то замаскировавшагося тапиственными буквами неизвъстнаго литературнаго наъздинка надъ извъстнымъ профессоромъ и литераторомъ, обладающимъ, по сознанию самого его противника, самобытнымъ взглядомъ на предметы мысли. Намъ самимъ это кажется такъ; но г. М.... З.... К.... думаеть объ этомъ пначе: все, что не согласно съ его образомъ мыслей, онъ считаетъ ръшительнымъ вздоромъ. Въ этомъ отношеніи онъ не менте встхъ восточныхъ людей в врптъ въ "несомн внигу", только, въ отличіе отъ пихъ, видить эту "несомивнную кингу"-въ себъ.

Было бы слишкомъ утомительно и скучно слъдить за критикомъ "Москвитянина" шагъ за шагомъ. Онъ выписываетъ изъ разбираемыхъ имъ статей цълыя страницы; разбирая его такъ же подробно, мы должны были бы выписывать и эти выписки, и его собственныя страницы; и нотому постараемся какъ можно короче изложить сущность дъла. Въ стать в своей г. Никитенко нападаетъ мъстами на недостатки такъ называемой натуральной школы, состоящіе въ преувеличеній и однообразій предметовъ. Это-его мивніе, и онъ выражаеть его безъ рѣзкости, безъ всякой враждебности къ натуральной школь; напротивъ, въ самыхъ его нападкахъ видно, что онъ уважаетъ и любитъ ее, и на этомъто основанін желаеть указать ей ея настоящую дорогу. Словомъ, онъ признаетъ и талантъ, и достоинство въ произведеніяхъ натуральной школы, но признаетъ ихъ не безусловно, хвалитъ основаніе, но норицаетъ крайности. Во всемъ этомъ критикъ "Москвитянина" увидълъ страшныя противоръчія съ статьею г. Бълинскаго, лишающія "Современникъ" всякаго единства мысли и направленія. "Одно изъ двухъ (говорить онъ): или журналъ пе долженъ имъть своего образа мыслей, и тогда онъ не журналъ-а неизвъстно что такое; или онъ долженъ имьть его, и тогда не мышаеть участвующимь въ немъ согласиться предварительно между собою". Здъсь мы прежде всего считаемъ долгомъ поблагодарить грознаго критика за его уважение къ нашему журналу, невольно высказавшееся у него самою чрезмърностію требованій отъ "Современника". Прибавимъ къ этому, что его идеалъ журнала очень въ-

ренъ; но, къ несчастію, его существованіе рішнтельно невозможно при настоящемъ состояніи литературы и общественнаго образованія. Въ Европъ не только каждое извёстное миёніе можеть сейчасъ же найти свой органь въ журналь, но и каждый изъ оттънковъ этого митнія: для этого тамъ всегда найдется достаточное число людей, способныхъ работать по определенному направленію. Но и тамъ едва ли найдется хотя одинъ хорошій журналь или одно хорошее обозрѣніе, въ которомъ все до послѣдней строки было бы проникнуто однимъ направленіемъ. Это возможно вполнѣ только въ отношенін къ политическимъ или критическимъ статьямъ, но не всегда возможно въ отношенін даже къ ученымъ статьямъ, и решительно невозможно въ отношенін къ произведеніямъ изящной словесности. Ни одинъ журналь не откажется отъ превосходной статьи, потому только, что она, но духу своему, не совстмъ ладить съ направленіемъ журнала. Въ такомъ случата обыкновенно статья печатается съ оговоркою отъ редакцін, а иногда въ томъ же журналѣ помѣшается и возраженіе на несогласныя съ направленіемъ журнала мъста въ статьъ. Что же касается до произведеній изящной словесности, на нихъ тамъ вовсе не простираются условія, налагаемыя направленіемъ журнала на статьи теоретическія. Жоржъ-Зандъ, напримѣръ, по своимъ убѣжденіямъ п симпатіямъ, не им'ветъ ничего общаго съ людьми, участвующими въ "Journal des Débats" или "Revue des deux Mondes", а между тѣмъ вздумай она поместить тамъ свою повесть-возьмутъ, да еще съ какою радостью, не обращая никакого вниманія на духъ и направленіе повъсти. И это очень естественно: кто действительно понимаеть законы искусства, тотъ знаетъ, что повъстей писать по заказу нельзя, и что тутъ направление и духъ должны завистть только отъ личности автора. Хорошихъ же поэтовъ вездѣ немного, —стало быть, тутъ выборъ можеть касаться только достопнства романа или повъсти, но не направленія ихъ.

Что касается до нашихъ журналовъ, -- необходимость имъть извъстное направление, извъстный образъ мыслей и никогда не противоръчить ему-начала обнаруживаться только въ последнее время. Журналовъ у насъ немного, но все-таки больше. нежели сколько есть у насъ людей, способныхъ своими трудами поддерживать журналы. У насъ большое счастіе для журнала, если онъ усиветь соединить труды нёсколькихъ людей и съ талантомъ, н съ образомъ мыслей, если не совершенно тождественнымъ, то, по крайней мъръ, не расходящимся въ главныхъ и общихъ положеніяхъ. Ноэтому требовать отъ журнала, чтобы всё его сотрудники были совершенно согласны даже въ оттѣнкахъ главнаго направленія, значить требовать невозможнаго. Туть не помогуть мудрые совъты вродъ слъдующаго: сперва соберитесь да согласитесь между собою. Искусственнымъ образомъ нельзя соглашать людей въ дёле убежденія, и ни одинъ порядочный человъкъ ничего не уступитъ изъ своего мижнія ради причины, лежащей вит его митнія. Лишь бы журналь имжль общій характерь, такъ что съ его представленіемъ въ умѣ всякаго соединялось бы извѣстное направленіе: этого для него пока совершенно достаточно, чтобъ быть ему хорошимъ журналомъ. Разность въ оттънкахъ мыслей еще ничего; илохо, какъ "изъодного города да не одив въсти". Вотъ, напримфръ, какъ г. М.... З.... К.... отзывается о первой тенерь поэтической знаменитости не только во Франціи, но и во всей Европѣ: "Жоржъ-Зандъ, котораго, конечно, не назовуть инсателемъ отсталымъ оть вска, истощивъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхь всё виды страсти, всё образы личности, протестующей противъ общества, въ "Консуэло", "Жаннъ", въ "Compagnon du tour de France" изображаетъ красоту и спокойное могущество самопожертвованія и самообладанія; а въ "Чортовой Лужь" онъ пленяется мирною простотою семейнаго быта". Оставлял въ сторонъ приложение, которое критикъ "Москвитянина" хочеть сделать изъ своего сужденія о Жоржь-Зандь, мы замьтимь только, что въ этомъ сужденін видно высокое уваженіе къ таланту знаменитаго французскаго писателя, въ чемъ мы совершенно съ нимъ согласны. Но вотъ что о томъ же писатель сказаль г. Хомяковь, принадлежащій къ тому же "московскому направленію", къ которому принадлежить и г. М.... З.... К...., и печатающій свои статьи въ тьхъ же изданіяхъ, т. е. въ "Москвитанинъ" и "Московскомъ Сборникъ":

"Впрочемъ, по мъръ того, какъ художество народное дълается менъе возможнымъ, такъ оскудъргатъ и художество вообще, и Франція по необходимости была страною анти-художественною, т. е. не только неспособною производить, но неспособною понимать прекрасное въ какой бы то ни было области некусства. Такъ, напримъръ, въ нашевремя Франція пофранцузившаяся (?) публика встрвчала съ слвпымъ благоговъніемъ произведенія Жоржъ-Занда, которыя совершенно ниони ни имъли значение въ отпошении движенія общественной мысли), и не нашла ни похваль, ни удивленія, когда та же Жоржъ-Зандъ почерпнула изъ скуднаго, но уцълъвшаго источника простого человъческаго быта предестный и почти кудожественный разсказъ Чортовой Луки, подъ которымъ Диккенсъ и едва ли не самъ Гоголь могли бы подписать свои имена". ("Московскій Сборинкъ". 1847, стр. 350—351).

Воть это такъ противоръчіе! Туть поневолъ вспомнишь стихъ Крылова:

Чъмъ кумущекъ считать трудиться, Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?

Чъмъ другимъ давать совътъ "предварительно согласиться между собою", не лучше-ль было бы прежде самимъ испытать на дълъ возможность осуществленія такого совъта, чтобъ не подать повода говорить о себь:

Запъли молодцы: кто въ лъсъ, кто по дрова!

Обратимся къ противорфчіямъ "Современника". Послѣ многихъ выписокъ изъ статьи г. Никитенко, критикъ "Москвитинина" задаетъ намъ слѣдующіе вопросы: "Но если таковъ образъ мыслей редактора, —почему номѣщена въ той же книжъѣ повѣстъ подъ заглавіемъ: "Родственники"? Развѣ для того,

чтобы читатели туть же могли повфрить на дёлё справедливость впечатленій г. Никитенко, какъ будто произведенныхъ именно этою повъстью? Вообще почему отдълъ словесности отданъ почти исключительно въ распоряжение тому направлению, которое такъ справединво осуждается самимъ редакторомъ въ отдълъ наукъ?" На всь эти вопросы мы отвътимъ критику "Москвитянина" одинмъ вопросомъ: а на какомъ основанін вы увтрены такъ положительно, что г. Никитенко разделяеть вашъ образъ мыслей касательно какъ новъсти "Родственники", такъ и всёхъ другихъ повёстей въ отдёл'я словеспости нашего журнала? Кром'я того, что г. Никитенко и не думалъ, подобно вамъ, уничтожать натуральной школы, а только хотиль, показавши ея достоинства (на что вы ему и возразили на стр. 177), показать и ея недостатки, состоящіе, по его митию, въ преувеличеніи и однообразін. Для примѣненія, онъ могь имѣть въ виду произведенія, действительно отличающіяся грубою естественностію или впадающія въ карикатуру, какихъ не мало появляется въ нашей литературъ. Какъ бы то ни было, но какъ онъ не указалъ ни на одно произведеніе, то вы не им'єли никакого основанія навязывать ему этихъ указаній, кром'є вашего самолюбія, которое увфряеть вась, что судить безошибочно значить судить по-вашему. И неужели вы пешутя думаете, что стоптъ только назвать безъ всякихъ доказательствъ ту или другую повъсть дурною, чтобы всъхъ убъдить, что она, точно, дурна? Но нътъ, этого вамъ мало: вы, кажется, убъждены, что вамъ ничего не нужно п говорить, что съ вами безусловно должны быть согласны всѣ, даже не зная, какъ вы думаете о томъ или другомъ предметь: хотя г. Никитенко, до появленія вашей статьи, и не могь знать вашего мивнія о пов'єсти "Родственники", однако, тімъ пе менте, думаете вы, не могъ не разделять его... Странная увъренность!

Цалье скромный критикъ "Москвитянина", въ видъ уступки, дълаетъ такое замъчание: "Можетъ быть, другого рода пов'ястей достать нельзя; можеть быть даже, такія повъсти нужны для успъха журнала, чего мы, впрочемъ, не думаемъ". Странно видёть человёка, который, по собственному сознанію, ръшительно не знаетъ журнальнаго дъла, а между тёмъ взялся разсуждать о немъ! Онъ не знаетъ, какія пов'єсти можно доставать, и какія повъсти нравятся публикъ и, слъдовательно, могутъ поддержать журналь. То говорить: "можеть быть", то: "чего мы, впрочемъ, не думаемъ". Какъ объяснить ему это? Онъ назвалъ только одну повъсть: "Родственники". О ней можно судить съ двухъ сторонъ: со стороны направленія и со стороны выполненія. Въ первомъ отношеніи, мы на "можетъ быть" пашего критика отвъчаемъ утвердительно; во второмъ отношении, эта повъсть не безъ достоинствъ, мъстами замъчательныхъ, но вообще не можетъ идти въ образецъ повъстей той школы, на которую съ такимъ ожесточеніемъ нападаеть нашь критикъ. Въ этомъ случав намъ трудно отвёчать ему, сколько потому, что онъ по одной первой книжки журнала хочеть произнести судъ о всехъ будущихъ книжкахъ этого журнала, хотя бы ему суждено было продолжаться десять лътъ при постоянномъ участін одинхъ и тъхъ же лиць, сколько и потому, что онь, говоря о повъстяхъ, назвалъ только повъсть "Родственники" и неопределенно указалъ на отделъ словесности, не сказавши ни слова ни о повъсти "Кто Виновать?" Искандера, вышедшей, какъ приложение къ нервой кинжкѣ, ни о "Хорѣ и Калинычъ", разскаѕъ г. Тургенева, номѣщенномъ въ Смѣсп. Вѣроятно, онъ имълъ свои причины не высказывать своего мнънія объ этихъ двухъ произведеніяхъ, и въ такомъ случав, надо отдать ему справедливость, онъ поступиль очень ловко. Если бы мы сказали, что онъ и ихъ считаетъ темъ же, чемъ считаетъ все произведенія натуральной школы, онъ могъ бы отвътить, что о нихъ ничего не говорилъ, что онъ указаль только на то, что было помъщено въ отделъ словесности. Но если бы, сделавши вопросъ: "можеть быть, даже такія повѣсти нужны для успѣха журнала", онъ указалъ на "Кто Виноватъ?" и "Хоря и Калиныча",—тогда бы мы положительно и утвердительно отвъчали ему: да! Но онъ хочетъ быть съ нами великодушнымъ; онъ отрицаетъ мысль, чтобы мы, въвыборт повтстей, руководствовались расчетомъ на усивхъ журнала, а не внутреннимъ достоинствомъ новъстей. Благодаримъ за доброе мивніе, но никакъ не думаемъ, чтобы потребности нашего читающаго общества были въ такомъ разладь съ истиннымъ вкусомъ, что удовлетворять имъ непременно значило бы-руководствоваться корыстнымъ расчетомъ, а не слёдовать искренно своему вкусу и убъждению. Въ "Современникъ" не было и не будеть пом'єщено ни одной пов'єсти, которая бы, по искреннему убъжденію редакціи, не заключала въ себъ какихъ-нибудь хорошихъ сторонъ, дълающихъ ее стоящею печати, и уже было напечатано ифсколько весьма замфчательныхъ произведеній въ этомъ родъ. Они были замічены и отличены публикою, и мы очень рады, что нашъ вкусъ, наше личное мижніе совиали, въ отношеніи къ нимъ, со вкусомъ и мибніемъ большинства публики. Эти произведенія: "Кто Виновать?", "Обыкновенная Исторія", "Разсказы Охотника" и "Изъ сочиненій доктора Крупова о душевныхъ болізняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности"... Замъчательна также мысль критика, сдъланиая въ видъ уступки, что "редакторъ "Современника" не властенъ пересоздать изящной литературы по своимъ желаніямъ". Вотъ что правда, то правда! Только съ чего вы взяли, что онъ желаеть ее пересоздать? Желать видъть ее въ лучшемъ, совершеннъйшемъ видъ и желать пересоздать—не одно и то же.

Теперь слѣдуютъ критическія противорѣчія статьи г. Никитенко съ статьею г. Бѣлинскаго. Въ послѣдней сказано, между прочимъ, что "если бы преобладающее отрицательное направленіе и было въ натуральной школѣ односторониею крайностію,—и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрио изображать отрицательныя явленія жизин дастъ воз-

можность темъ же людямъ, или ихъ носледователямъ, когда придетъ время, втрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, -- словомъ, не идеализируя ихъ риторически". Конечно, тутъ ивтъ буквальнаго, внѣшняго согласія съ статьею г. Никитенко; но ньть и рызкаго противорычія. Сь одной стороны, тутъ уступка, согласіе въ томъ, что отрицаніе составляетъ дъйствительно преобладающее направленіе новой школы; съ другой, показана польза п этого направленія. Но критикъ "Москвитянина" восклицаетъ патетически: "Мы не спрашиваемъ, справедливо ли это, или итть, но согласно ли съ убъжденіями редактора и съ наставленіями, предложенными имъ въ его статьъ? Думаеть ли онъ, что, смотря по времени, литература можетъ изображать и темныя, и свётлыя стороны действительности, т. е. быть правдивою, можеть также пзображать одив отрицательныя стороны, т. е. клеветать? Полагаеть ли онь, что привычка отыскивать один пороки и поносить людей способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости?"... Въ этихъ словахъ отозвалось решительное отсутствіе живого практическаго пониманія искусства. Критикъ "Москвитянина", мы увърены въ этомъ, человёкъ умный и начитанный, который знаеть всъ возможныя теоріи и системы искусства, особенно нёмецкія. Это, безспорно, очень хорошо; но одного этого еще очень мало для действительнаго пониманія искусства: для этого прежде всего и больше всего нужно то врожденное эстетическое чувство, тотъ инстинктъ, тотъ тактъ изящнаго, которые обнаруживаются не въ теоріи, а въ ея критическомъ приложении къ произведениямъ некусства. Мы еще обратимся къ этому вопросу и покажемъ, въ какомъ отношенін находится къ нему критикъ "Москвитянина"; а теперь нокажемъ, какъ мало истины въ его словахъ. Ему кажется решительною нелъпостью, чтобы литература, смотря по времени, отличалась то тёмъ, то другимъ исключительнымъ направленіемъ. А между тімь это всегда такъ было и будеть: доказательства можно найти въ исторіп каждой литературы. Изображать одић отрицательныя стороны жизни-вовсе не значить клеветать, а значить только находиться въ односторонности; клеветать же значить взводить на действительность такія обвиненія, находить въ ней такія пятна, какихъ въ ней вовсе нътъ. Давать клеветъ другое значеніе-тоже значить клеветать... не на клевету, разумъется, а на людей не нашего прихода... Находить въ людяхъ тѣ пороки, которые въ нихъ дъйствительно есть, не значитъ поносить ихъ: поношеніе—въ самихъ порокахъ, и кто пороченъ, тотъ поносить самъ себя... Привычка отыскивать дъйствительно существующее очень близка къ привычкъ отыскивать истину, а это, разумъется, способствуеть развитію безпристрастія и справедливости...

Противорѣчій между статьею г. Никитенко н статьею г. Вѣлинскаго критикъ "Москвитянина" находитъ такую бездну, что даже отказывается на всѣ указывать, а избираетъ самыя разительныя.

. Редакторъ (говоритъ онъ) нападалъ сильно на карикатурныя изображенія поміщиковъ и деревенскаго быта; критикъ, въ числъ замъчательныхъ стихотворныхъ произведеній прошлаго года, упоминаеть о разсказъ подъ заглавіемъ: "Помъщикъ" (въ "ОтечественныхъЗапискахъ"). Дался же гг. славянофиламь этоть "Номъщикъ"! Вотъ уже скородва года, какъ было напечатано (въ "Нетербургскомъ Сборникъ" г. Некрасова, а не "Отечественныхъ Запискахъ") это стихотвореніе г. Тургенева, а они до сихъ поръ не могутъ отъ него прійти въ себя. Съ того времени и до сей минуты все толкують о немь. Увъряють, что это произведение ипчтожное, карикатура, что оно бездарно, плохо: кажется, стоило ли бы обращать на него виимание? А между темъ они все продолжають изъ него волноваться и выходить изъ себя"... Обращаясь къ противоръчію, спросимъ критика "Москвитяцина": на какомъ основанін вообразиль онъ, что г. Никитенко, говоря о карикатурныхъ изображеніяхъ помѣщиковъ, мѣтилъ именно на піесу г. Тургенева? Ужъ не на основаніи ли ся заглавія, такъ положительно указывающаго на поміщика, что пошибиться нельзя? Въ такомъ случав намъ остается только дивиться тонкой процицательности крптика "Москвитянина"... "Редакторъ (продолжаетъ онъ) строго осуждаль направление техь писателей, которые созидають такъ называемые народные характеры изъ грязи, лохмотьевъ, квасу, щей и кулаковъ русскаго человъка, а критикъ восхваляетъ повъсть подъ заглавіемъ: "Деревня" (въ "Отечественныхъ Запискахъ"), которая создана именно по этому рецепту". Опять то же! Критику "Москвитянина" кажется, что повъсть "Деревия" создана по этому рецепту, и этого ему достаточно для убъжденія, что п г. Никитенко кажется то же... Но здфеь мы остановимся и отъ частностей перейдемъ къ общему вопросу-къ вопросу о натуральной школь, которая съ такимъ живымъ участіемъ и вниманіемъ принята публикою и сътакимъ ожесточеніемъ преслідуется двумя литературными партіями-неестественною, или риторическою, состоящею изъ отставныхъ беллетристовъ, и славянофильскою. Намъ очень непріятно, что мы должны новторять то, что уже не разъ было говорено нами: но что-жъ намъ делать, если противники натуральной школы, безирестанно нападая на нее, твердять все одно и тоже, не умъл выдумать ничего новаго?

Объ эти партіп большею частію согласны въ ихъ нападкахъ на натуральную школу, котя и по разнимъ побужденіямъ; ихъ доводы, доказательства, даже тонъ—почти одпнаковы; но только въ одномъ онъ существенно разнятся. Первая партія, не любя натуральной школы, еще больше не любитъ Гоголя, какъ ея главу и основателя. Въ этомъ есть смыслъ и логика. Идя отъ начала ложнаго, эти люди, по крайней мъръ, не противоръчатъ себъ до явной безсмыслицы; пападая на плодъ, не восхищаются корнемъ; осуждая результатъ, не хвалятъ причины. Ошибаясь въ отношеніи къ истинъ, они совершенно правы въ отношеніи къ самимъ себъ. Что касается

до причинъ ихъ нерасположенія къ произведеніямъ Гоголя, — онъ давно извъстны: Гоголь даль такое направленіе литературів, которое изгнало изъ нея риторику, и для успаха въ которомъ необходимъ таланть. Вследствіе этого старая манера выводить въ романахъ и повъстяхъ риторическія олицетворенія отвлеченных добродітелей и пороковь, вмъсто живыхъ типическихъ лицъ, пала. Всъ понытки писателей этой школы на поддержание къ нимъ вниманія публики обращаются для нихъ въ ръшительныя паденія. Даже ть ихъ произведенія, которыя въ свое время имфли успфхъ, даже значительный, давно уже забыты. Новыя изданія ихъ остаются въ книжныхъ лавкахъ. Согласитесь, что это непріятно, п есть нзъ чего выйти изъ себя и увидьть въ новой школь своего личнаго врага. Къ этому присоединяются и другія обстоятельства. Эти люди вышли на литературное поприще во время господства совершение иныхъ понятій объ искусствѣ и литературѣ. Тогда искусство не пмѣло ничего общаго съ жизнію, дѣйствительностію. Написать романъ или пов'єсть тогда значило-наплести разныхъ неправдоподобныхъ событій, вмісто характеровъ заставить говорить и действовать аллегорическія фигуры разныхъ дурныхъ и хорошихъ качествъ, все это напичкать моральными сентенціями, —и изъ всего этого вывести какое-нибудь нравственное правило, вродъ того, напримъръ, что добродътель награждается, а порокъ наказывается. При этомъ допускалась легкая и умъренная сатира, т. е. беззубыя насмёшки падъ общими человёческими слабостами, не воплощенными въ лицо и характеръ, п потому существующими равно вездь, какъ п нигдъ. О колоритъ мъстности и времени не было вопроса, и потому нельзя было понять, какой землъ н какому вфку принадлежать действующія лица романа или повъсти; зато можно было имъть удовольствіе по произволу нереносить ихъ въ какую угодно землю, въ какой угодно въкъ. Но взамънъ этого строго требовалось, чтобы подлѣ каждаго злодъя рисовался добродътельный человъкъ, подлъ глупца-уминца, подлъ лжеца-правдолюбъ. Именъ эти герои не имъли, но имъ давались клички по нхъ качествамъ: Добросердовъ, Честоновъ, Пріятовъ, Ножовъ, Вороватинъ и т. п. Такъ писать было легко; для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живого чувства д'яйствительности, а нужны были только накоторая образованность и начитанность, а главное-охота и навыкъ писать. И подъ вліяніемъ этихъ-то понятій выросли и развились инсатели той школы, о которой мы говоримъ. Удивительно ли, что до сихъ поръ они все такъ же понимаютъ искусство? Оно для нихъ-невинное и полезное занятіе, которое должно твшить читателя, представляя ему только пріятныя картины жизни, рисуя только образованныхъ людей, и ни подъ какимъ видомъ — неотесанныхъ мужиковъ въ зипунахъ и лаптяхъ. Правда, еще эти писатели были не стары, когда такъ называемый романтизмь вторгся вдругъ и въ нашу литературу, когда романы Вальтеръ-Скотта смѣнили

"Малекъ Аделя" г-жи Коттэнъ и знакомство съ трамами Шексипра показало, что всякій челов'якъ, на какой бы низкой ступени общества и даже человвческого достоинства ни стояль онь, имветь полное право на впиманіе искусства потому только, что онъ человъкъ. И многіе изъ писателей неестественной риторической иколы горячо стали за рамантизмъ; но это произвело въ нихъ только какую-то странную смёсь старыхъ установившихся понятій съ новыми неустановившимися. Они не могли въ нихъ примириться, по существенной противоноложности другъ другу. И потому наши романисты и пувеллисты этон школы остались при старыхъ понятіяхъ, сдёлавщи нёсколько нелогическихъ уступокъ въ пользу новыхъ. Это отразилось въ ихъ сочиненияхъ темъ, что они стали заботиться о містномъ колориті и позволяли себі рисовать и людей инзшихъ сословій. Это называлось у нихъ народностію. Но въ чемъ состояла эта народность? Въ томъ, что своимъ сколкамъ съ чужеземныхъ образцовъ они давали русскія имена, да еще иногда и историческія, отчего ихъ лица нисколько не дълались русскими, потому что прежде всего не были созданіями искусства, а были только блѣдными копіями. Вообще ихъ романы походили на пынъшніе русскіе водевили, передёлываемые изъ французскихъ, посредствомъ переложенія чуждыхъ намъ французскихъ нравовъ на чуждые имъ русскіе правы. Риторика всегда оставалась риторикою, даже и подрумяненияя илохо понятымъ романтизмомъ. Для яснаго уразуменія новыхъ образцовъ искусства и новыхъ о немъ понятій нужно было время, а для обращенія русской литературы на дорогу самобытности нужны были новые образцы въ самой русскои литературъ. И такіе образцы даны были Пушкинымъ н потомъ Гоголемъ. Но следовать за нимп можно было только людимъ съ талантомъ. Вотъ отчего писатели риторической школы такъ косо смотрѣли на Пушкина, и почему такъ невыносимо имъ одно имя Гоголя! Въ чемъ состоятъ ихъ нападки на него? Вѣчно въ одномъ и томъ же: онъ рисуетъ грязь, представляеть неумытую натуру и оскорбляетъ русское общество, находя въ немъ характеры низкіе и не противопоставляя имъ высокихъ... Все это совершенно согласно съ старинными пінтиками и риториками.

За то же самое, теми же самыми выраженіями нападають славянофилы на натуральную школу; но за то же самое превозносять они Гоголя. Что за странное противорьчіе? Какая его причная? Если бы критикъ "Москвитянина" не находиль никакой связи между Гоголемъ и натуральною школою, онъ былъ бы правъ съ своей точки зрвнія, какъ бы ни была она фальшива. Но вотъ что говорить онъ самъ себъ объ этомъ: "Петербургскіе журналисты подияли знамя и провозгласили явленіе новой литературной школы, по ихъ мивнію, совершенно самостоятельной. Они выводять ее изъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и видять въ ней отвъть на современныя потребности нашего общества. Иронсхожденіе

натурализма, кажется, объясняется гораздо проще; пътъ нужды придумывать для него родословной, когда на немъ лежатъ явные признаки тъхъ вліяній, которымъ онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Матеріалъ данъ Гоголемъ, или, лучше, взять у него: это пошлая сторона нашей дъйствительности". Основная мысль этихъ словъ справедлива: натуральная школа действительно произошла отъ Гоголя, и безъ него ея не было бы; но факть этоть толкуется критикомь "Москвитянина" фальшиво. Если натуральная школа вышла изъ Гоголя, изъ этого отнюдь не следуеть, чтобы она не была результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества, потому что самъ Гоголь, ея основатель, быль результатомь всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества. Что онъ несравненно выше и важнъе всей своей школы, противъ этого мы и не думали спорить; этодругое дёло. Во взглядё критика "Москвитянина" на Гоголя видно рѣшптельное непонимание ин искусства, ни Гоголя. Ясно, что онъ держится тъхъ же пінтикъ и риторикъ, которыми руководствуются писатели неестественной школы, и что, за неимъніемъ собственнаго прочнаго воззрінія на предметь, онъ слишкомъ увлекся мивніемъ Пушкина о Гоголь, съ которымъ самъ Гоголь безусловно согласился. Вотъ его собственныя слова на этотъ счеть: "Обо мнъ много толковали, разбирая коекакія мон стороны, но главнаго существа моего не опредълили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мий говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умъть очертить въ такой сплв пошлость пошлаго человъка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаеть оть глазь, мелькнула бы круппо въ глаза всемъ. Вотъ мое главное свойство, одному миж принадлежащее, и котораго, точно, нътъ у другихъ писателей" ("Выбран. мъста изъ переп. съ друзьями", стр. 141—142). Въ этихъ словахъ много правды; но ихъ нельзя принимать за полное и окончательное суждение о Гоголь. Теньеръ быль по преимуществу живописенъ пошлости жизни голландскаго простонародія (что-скажемъ мимоходомъ-не помъщало Европъ признать его великимъ талантомъ); эта пошлость есть истинный герой его живописныхъ поэмъ; тутъ она на первомъ планѣ и прежде всего бросается въ глаза зрителю. Однако-жъ, было бы нелѣпо некать чего-инбудь общаго между талантомъ Теньера и Гоголя. Гогарть — по преимуществу живоинсецъ пороковъ, разврата и пошлости, и больше ничего; но и съ нимъ у Гоголя такъ же мало сходства, какъ и съ Теньеромъ. Гоголь создалъ типы-Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Инкифоровича, Хлестакова, Городинчаго, Бобчинскаго и Добчинскаго, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и мпогіе другіе. Въ нихъ онъ является великимъ живописцемъ пошлости жизии, который видить насквозь свой предметь во всей его глубина и широтъ и схватываетъ его во всей полнотъ и цълости его действительности. Но зачемъ же забывають, что тоть же Гоголь написаль "Тараса Бульбу" поэму, герой и второстепенныя дёйствующія лица которой-характеры высокотрагическіе? И между темъ видно, что поэма эта писана тою же рукою, которою писаны "Ревизоръ" и "Мертвыя Души". Въ ней является та особенность, которая принадлежить только таланту Гоголя. Въ драмахъ Шекспира встр'вчаются съ великими личностями и пошлыя, но комизмъ у него всегда на сторонъ только последнихъ; его Фальстафъ смешонъ, а принцъ Генрихъ и потомъ король Генрихъ V вовсе не смѣшонъ. У Гоголя Тарасъ Бульба такъ же исполненъ комизма, какъ и трагическаго величія; оба эти противоположные элемента слились въ немъ неразрывно и целостно въ единую, замкнутую въ себъ, личность; вы и удивляетесь ему, н ужасаетесь его, и смъстесь надъ нимъ. Изъ всфхъ извфетныхъ произведеній европейскихъ литературъ примъръ подобнаго, и то не вполиъ, сліянія серьезнаго и см'єтного, трагическаго и комическаго, ничтожности и пошлости жизни со вствить, что есть въ ней великаго и прекраснаго, представляеть только "Донъ-Кихотъ" Сервантеса. Если въ "Тарасъ Бульбъ" Гоголь умълъ въ трагическомъ открыть комическое, то въ "Старосвътскихъ Помещикахъ" и "Шинели" онъ умелъ уже не въ комизмѣ, а въ положительной пошлости жизни найти трагическое. Вотъ гдѣ, намъ кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это-не одинъ даръ выставлять ярко пошлость жизни, а еще болье — даръ выставлять явленія жизни во всей полноть ихъ реальности и ихъ истинности. Въ "Перепискъ" Гоголя есть одно мъсто, которое бросаетъ яркій свъть на значение и особенность его таланта, и которое было или ложно нонято, или оставлено безъ вниманія: "Эти ничтожные люди (въ "Мертвыхъ Душахъ"), однако-жъ, инчуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тъхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, — разумъ́ется, только въ раз-жалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты; туть, кромв монхъ собственныхъ, есть даже черты монхъ пріятелей" (стр. 145 — 146). Дѣйствительно, каждый изъ насъ, какой бы онъ ни быль хорошій человікь, если винкнеть въ себя съ темъ безпристрастіемъ, съ какимъ винкаетъ въ другихъ, — то непремѣнно найдетъ въ себѣ, въ большей или меньшей степени, многіе изъ элементовъ многихъ героевъ Гоголя. И кому не случалось встрёчать людей, которые немножко скупеньки, какъ говорится, прижимисты, а во вська другиха отношеніяха — прекраснайшіе люди, одаренные замъчательнымъ умомъ, горячимъ сердцемъ? Они готовы на все доброе; они не оставять человъка въ нуждъ, помогуть ему, но только подумавин, поразсчитавин, съ нѣкоторымь усиліемъ падъ собою. Такой человікь, разумъется, не Плюшкинъ, но съ возможностью

сдалаться имъ, если поддастся вліянію этого элемента, и если, при этомъ, стечение враждебныхъ обстоятельствъ разовьеть его и дастъ ему перевѣсъ надъ всѣми другими склонностями, инстинктами и влеченіями. Бывають люди съ умомъ, душою, образованіемъ, познаніями, блестящими дарованіями — и, при всемъ этомъ, съ темъ качествомъ, которое теперь извъстно на Руси подъ именемъ "хлестаковства". Скажемъ больше: многіе ли изъ насъ, положа руку на сердце, могутъ сказать, что имъ не случалось быть Хлестаковыми, кому цёлые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть одинъ день, одинъ вечеръ, одну минуту? Порядочный человакъ не тамъ отличается отъ пошлаго, чтобы онъ былъ вовсе чуждъ всякой пошлости, а тёмъ, что видитъ и знаетъ, что въ немъ есть пошлаго, тогда какъ пошлый человъкъ и не подозрѣваетъ этого въ отношенін къ себѣ; напротивъ, ему-то и кажется больше встхъ, что онъ истипное совершенство. Здись мы опять видимъ подтверждение высказанной нами мысли объ особенности таланта Гоголя, которая состоить не въ исключительномъ только дарѣ живописать ярко пошлость жизни, а проникать въ полноту и реальность явленій жизни. Онъ, по натуръ своей, не склоненъ къ пдеализаціи, онъ не вфритъ ей; она кажется ему отвлечениемъ, а не дъйствительностью; въ дъйствительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздельны, а только перемешаны не въ равныхъ доляхъ. Ему дался не пошлый человѣкъ, а человѣкъ вообще, какъ онъ есть, неукрашенный и неидеализпрованный. Писатели риторической школы утверждають, будто всё лица, созданныя Гоголемь, отвратительны, какъ люди. Справедливо ли это?— Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Возьмемъ на выдержку пъсколько лиць. Маниловъ пошлъ до крайности, сладокъ до приторности, пустъ и ограниченъ; но онъ не злой человакъ; его обманываютъ его люди, пользуясь его добродушісмъ; онъ скорже ихъ жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное-не споримъ; но если бы авторъ придалъ къ прочимъ чертамъ Манилова еще жестокость обращенія съ людьми, тогда всь бы закричали: что за гнусное лицо, — ни одной человъческой черты! Такъ уважимъ же въ Маниловъ и это отрицательное постоинство. Собакевичь-антиподъ Манилова; онъ грубъ, неотесанъ, обжора, плутъ и кулакъ, но избы его мужиковъ построены хоть неуклюже, а прочно, изъ хорошаго лесу, и, кажется, его мужикамъ хорошо въ нихъ жить. Положимъ, причина этого не гуманность, а расчеть, но расчеть, преднолагающій здравый смысль, расчеть, котораго, къ несчастію, не бываеть иногда у людей съ европейскимъ образованіемъ, которые пускають по-міру своихъ мужиковъ на основании раціональнаго хозяйства. Лостоинство онять отрицательное, но въдь, если бы его не было въ Собакевичь, Собакевичь быль бы еще хуже: стало быть, онъ лучше при этомъ отрицательномъ достоинствъ. Коробочка поила н глупа, скупа и прижимиста; ея девчонка ходить въ грязи босикомъ, но зато не съ распухними отъ нощечинъ щеками, не сидитъ голодна, не утираетъ слезъ кулакомъ, не считаетъ себя несчастною, но довольна своею участью. Скажутъ: все это доказываетъ только то, что лица, созданныя Гоголемъ, могли-бъ быть еще хуже, а не то, чтобъ они были хороши. Да мы и не говоримъ, что они хороши, а говоримъ только, что они не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ.

Инсатели риторической школы ставять въ особенную вину Гоголю, что, вмёстё съ пошлыми людьми, онъ, для утъщенія читателей, не выводить на сцену лицъ порядочныхъ и добродътельныхъ. Въ этомъ съ ними согласны и почитатели Гоголя изъ славянофильской партін. Это доказываеть, что ть и другіе почерпнули свои понятія объ искусствъ изъ одиъхъ и тъхъ же пінтикъ и риторикъ. Они говорять: развѣ въ жизни один только ношлецы и негодян?—Что сказать имъ на это? Живописецъ изобразилъ на картинъ мать, которая любуется своимъ ребенкомъ, и которой все лицоодно выражение материнской любви. Что бы вы сказали критику, который осудиль бы эту картину на томъ основаніи, что женщинамъ доступно не одно материнское чувство, что художникъ оклеветаль изображенную имъ женщину, отнявъ у нея вев другія чувства? Я думаю, вы ничего не сказали бы ему, даже согласились бы съ нимъ — и хорошо бы сделали. Но туть, скажуть, уже потому нътъ клеветы, что на лицъ женщины изображено чувство похвальное. Стало быть, по-вашему, живописець оклеветаль бы женщину вообще, если бы представиль на картинъ Медею, убивающую, изъ чувства ревности, собственныхъ датей? Стало быть, вы будете осуждать его за то, что онъ не помъстиль на своей картинъ фигуры добродътельной женщины, которая бы, всемь выражениемъ своего лица и взора, всею своею позою, протестовала противъ ужаснаго дъйствія Меден? Да художникъ хотълъ изобразить крайнюю степень ревности; это было задушевною идеею, которую хотълъ онъ выразить, -- стало быть, все, чуждое этой идет, только раздвоило и ослабило бы интересъ его картины, нарушило бы единство ея внечатльнія. Стало быть, подобныя требованія съ вашей стороны противорфчатъ основнымъ законамъ искусства. "Перебирая последніе романы (говорить критикъ "Москвитяпина"), изданные во Франціи, съ притязаніемъ на соціальное значеніе, мы не находимь ни одного, въ которомъ бы выставлены были одни пороки и темныя стороны общества. Напротивъ, вездѣ, въ противоположность извергамъ, негодяямъ, плутамъ и ханжамъ, изображаются лица, принадлежащія къ однимъ сословіямъ и занимающія въ обществѣ одинаковое положение съ первыми, по честныя, благородныя, щедрыя и набожныя. Говорять, что типы честныхъ людей удаются хуже, чёмь типы негодяевь; это отчасти справедливо; но еще справедливъе то, что ни тъ, ни другіе не имъютъ художественнаго достоинства, пишутся не съ художественною целію, а потому должно судить о нихъ не по выполнению, а по намъренію". Мы замътимъ на это, что если произведеніе, претепдующее принадлежать къ области

пскусства, не заслуживаетъ никакого внимания по выполненію, то оно не стопть никакого вниманія н по намфренію, какъ бы пи было оно похвально, потому что такое произведение уже нисколько не будеть принадлежать къ области искусства. Истиннымъ художникамъ равно удаются типы и негодяевъ, и порядочныхъ людей; когда же мы находимъ въ романъ удачными только тины негодяевъ и неудачными типы порядочныхъ людей, --- это явный знакъ, что или авторъ взялся не за свое дёло, вышелъ изъ своихъ средствъ, изъ пределовъ своего таланта и, следовательно, погрешилъ противъ основныхъ законовъ искусства, т. е. выдумывалъ, писалъ и натягиваль риторически тамъ, гдъ надо было творить; или что онъ безъ всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведенія, только по внашнему требованію морали, ввель въ свой романь эти лица и, следовательно, опять погрешиль противъ основныхъ законовъ искусства. Вотъ то-то и есть: хлопочутъ о чистомъ искусствъ, и первые не понимають его; нападають на искусство, служащее постороннимъ цълямъ, и первые требуютъ, чтобы оно служило постороннимъ цёлямъ, т. е. оправдывало бы теоріи и системы нравственныя и соціальныя. Творчество, по своей сущности, требуеть безусловной свободы въ выборѣпредметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не въ правъ задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не въ правъ направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можеть имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можеть быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходится съ его талантомъ, его натурою, инстинктами и стремленіемъ. Онъ изобразилъ вамъ порокъ, разврать, пошлость: судите, върно ли, хорошо ли онъ это сделаль; а не толкуйте, зачёмь онь сделаль это, а не другое, или, вмёсть съ этимъ, не сделаль и другого. Говорять: что это за направленіе--- изображать одно низкое и пошлое?--- А почему бы не такъ? Одинъ живописецъ прославился изображеніемъ вообще животныхъ, другой—только коровъ или лошадей, третій — кухонныхъ припасовъ, и каждый изъ нихъ только этимъ и занимался всю жизнь, и никого изъ нихъ не обвиняли за это; а въ области поэзін отнимають у художника это право. То, скажутъ, живопись, а то поэзія. Но вѣдь то н другое, несмотря на все ихъ различіе, равно искусство, а основные законы искусства -- один и тъ же во всёхъ искусствахъ. Не верю я эстетическому чувству и вкусу тахъ людей, которые съ удивленіемъ останавливаются передъ Мадонною Рафаэля и съ презрѣніемъ отворачиваются отъ картинъ Теньера, говоря: это проза жизни, пошлость, грязь; но также точно не върю и и эстетическому смыслу тъхъ, которые съ нъкоторою проническою улыбкою посматриваютъ на Мадонну Рафаэля, говоря: это илеалы, то, чего нътъ въ натуръ! и съ умиленіемъ смотрять на картины Теньера, говоря: воть натура, воть истина, воть действительность! Для этихъ людей не существуеть искусства; новая форма-и они не узнають его, какъ маленькія діти не узнають знакомаго имъ человъка потому только, что онъ на сюртукъ надёлъ шинель, въ которой они никогда его ни видали. Имъ не растолкуешь, что Мадонну п сцены мужиковъ, какъ ни различны эти явленія, произвель одинъ и тотъ же духъ искусства, что Рафаэль и Теньерь—оба художники и оба нашли содержаніе своихъ произведеній въ той же дійствительности, безконечно разнообразной и всегда единой, какъ разнообразна и едина природа, какъ разнообразно и едино существо человъка! А сколько такихъ людей на бъломъ свъть! По крайней мъръ, мнъ не разъ случалось встръчать такихъ тонкихъ знатоковъ и цёнителей искусства. Один изъ нихъ отрицають всякій таланть въ Гоголь, и когда такому господину намекнешь, что это оть отсутствія эстетическаго чувства, онъ сейчасъ съ торжествомъ возразить: отчего же я понимаю Нушкина и восхищаюсь имъ? Другіе не признають особеннаго таланта въ Пушкнев, на томъ основаніи, что имъ очень нравится Гоголь. Это значить только, что ни ть, ни другіе не понимають ни Пушкина, ни Гоголя, и восхищаются въ нихъ вовсе не темъ, что составляеть сущность и красоту ихъ твореній. Одинъ писатель риторической школы печатно объявиль, что, если бы ему нужно было выбхать изъ Россіи н взять съ собою только лучшее изъ русской литературы, онъ взяль бы только басни Крылова и "Гореоть Ума" Грибовдова. Какъвыражение личнаго, частнаго вкуса, это было бы справедливо и основательно; но какъ взглядъ на искусство вообще, это ложь, это все равно, какъ если бы кто, любя березу больше всёхъ другихъ деревьевъ, сталъ доказывать, что дубъ-дерево некрасивое и дрянное.

Самое сильное и тяжелое обвинение, которымъ писатели риторической школы думають окончательно уничтожить Гоголя, состоить въ томъ, что лица, которыя онъ обыкновенно выводить въ своихъ сочиненіяхъ, оскорбляють общество. Въ этомъ съ ними совершенно согласились и славянофилы, только больше въ отношенін къ натуральной школь, нежели къ Гоголю: первую они нещадно бранять за это, а насчеть Гоголя только изъявляють сожальніе, что онъ не рисуетъ искупительныхъ лицъ. Подобное обвинение больше всего показываеть незрилость нашего общественнаго образованія. Въ странахъ, упредившихъ насъ развитіемъ целыхъ вековъ, и понятія не им'вють о возможности подобнаго обвиненія. Никто не скажеть, чтобы англичане не были ревнивыкъ своей національной чести; напротивъ, едва ли есть другой народъ, въ которомъ національный эгонамь доходиль бы до такихь крайностей, какъ у англичанъ. И между тъмъ они любятъ своего Гогарта, который изображаль только пороки, разврать, злоупотребленія и пошлость англійскаго общества его времени. И ни одинъ англичанинъ не скажетъ, что Гогартъ оклеветалъ Англію, что онъ не видълъ и не призналъ въ ней ничего челов в ческаго, благороднаго, возвышеннаго и прекраснаго. Англичане понимають, что талантъ имбетъ полное и святое право быть отностороннимъ, и что онъ можетъ быть великимъ въ самой односторонности. Съ другой стороны, они такъ глубоко чувствують и сознають свое національное величіе, что нисколько не боятся, чтобы

ему могло повредить обнародование недостатковъ и темныхъ сторонъ англійскаго общества. Но и мы можемъ жаловаться только на незрѣлость общественнаго образованія, а не на отсутствіе въ нашемъ обществъ чувства своего національнаго достониства: это доказывается темь фактомь, не подлежащимъ никакому сомивнію, что, несмотря на ребяческие возгласы невпонадъ усердныхъ патріотовъ, произведенія Гоголя въ короткое время получили на Руси народность. Ихъ не читають только тъ, которые ничего не читаютъ; а "Ревизора" знають многіе и изъ тахь, которые вовсе не знають грамоть. Успыхь натуральной школы есть тоже факть, подтверждающій ту же истину. И оно такъ и должно быть: чемъ сильнее человекъ, чемъ выше онъ правственно, темъ смеле онъ смотрить на свои слабыя стороны и недостатки. Еще болье можно сказать это о народахъ, которые живутъ не человъческій въкъ, а цълые въка. Народъ слабый, ничтожный или состаръвшійся, изжившій всю свою жизнь до невозможности идти впередъ, любить только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны: онъ знаетъ, что онъ смертельны; что его действительность не представляеть ему инчего отраднаго, и что только въ обмант самого себя можеть онъ находить тв ложныя утвшенія, до которыхь такъ падки слабые п дряхлые. Таковы, напримъръ, китайцы или персіяне: послушать ихъ, такъ лучше ихъ нётъ народа въ мірѣ и всѣ другіе народы передъ ними-ослы и негодян. Не таковъ долженъ быть народъ великій, полный силь и жизни: сознаніе своихъ недостатковъ, вмѣсто того, чтобы приводить его въ отчаяние и повергать въ сомнъния о своихъ силахъ, даетъ ему новыя силы, окрыляетъ его на новую деятельность. Воть почему первый нашь св'ятскій писатель быль сатирикъ, и съ легкой руки его сатира постоянно шла объ руку съ другими родами литературы. Лирикъ Державинъ, воспъвавшій величіе Россін, быль въ то же время и сатирикомъ, и его оды къ "Фелицъ", его "Вельможа" принадлежать къ лучшимъ и оригинальнъйшимъ его произведеніямъ. Здъсь мы не можемъ не упомянуть о просвъщенномъ и благодътельномъ покровительствъ, которымъ наше правительство ободряло сатиру: оно допустило къ представленію и "Недоросля", и "Ябеду", и "Горе отъ Ума", и "Ревизора". И наше общество было достойно своего правительства: за исключениемъ второй изъ этихъ комедій, слабой по выполненію, всь другія въ короткое время сділались народными драматическими піесами.

На чемъ основаны доказательства противниковъ и почитателей Гоголя, что его произведенія оскорбительны для русскаго имени? На томъ только—и больше ии на чемъ—что, читая ихъ, каждый убъдится, что въ Россіи иътъ порядочныхъ людей. Мы вполнъ согласны, что, точно, найдется не мало людей, способныхъ вывести изъ сочиненій Гоголя такое оригинальное слъдствіе; по гдъ же ньтъ такихъ простодушныхъ читателей, которые далье буквальнаго смысла книги инчего

въ ней не видятъ, и неужели по нимъ должно судить о всей русской публикъ, и только соображаясь съ ихъ ограниченностью, должна дъйствовать литература? Напротивъ, намъ кажется, о инхъ она всего менье должна заботиться. Есть люди, для которыхъ литература и наука, просвъщеніе и образованіе действительно только вредны, а не полезны, потому что сбивають ихъ съ послъдняго остатка здраваго смысла, скупо удъленнаго имъ природою: неужели же для нихъ уничтожить литературу и науку, просвъщение и образованіе? Подобное предложеніе неліпо уже по одному тому, что такіе люди находятся въ решительномъ меньшинствъ, и что литература и наука оказывають благодътельное вліяніе не на однъ избранныя натуры, но на всю массу общества. Намъ скажутъ, что не одни ограниченные люди видять въ сочиненіяхъ Гоголя оскорбленіе русскому обществу. Положимъ, такъ; но мижніе-то это, кому бы ни принадлежало опо, всегда будеть ограниченнымъ. Писатель выведеть въ повъсти пьяницу, а читатель скажеть: можно ли такъ позорить Россію? будто въ ней все одни иьяницы? Положимъ, этотъ читатель умный, даже очень умный человѣкъ; да слѣдствіе-то, которое онъ вывель изъ повъсти, нельпо. Намъ скажуть, что искусство обобщаеть частныя явленія, и что оно уже не искусство, если представляеть явленія случайныя. Правда; но вёдь общество, и особливо народъ, заключаетъ въ себѣ множество сторонь, которыя не только повёсть, цёлая литература никогда не исчерпаеть. Критикъ "Москвитянина" особенно обидался повастью: "Деревня". "Въ ней (говоритъ онъ) собрано и ярко выставлено все, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ грубаго, оскорбительнаго, и жестокаго. Но поражають не частности, а глубокая безчувственность и совершенное отсутствие правственнаго смысла въ целомъ быту. Ни состраданія, пи раскаянія, ни стыда, ни страха, ни даже животной привязанности между единокровными,—авторъ ничего не на-шелъ въ русской деревиъ. Можетъ быть, вы подумаете, что она представляется ему въ томъ состояніи первобытной дикости, которое, по мижнію нікоторыхъ, предшествуєть пробужденію правственнаго сознанія и, слідовательно, допускаеть развитіе; но вы ошпбетесь: въ сквернословіи крестьянъ авторъ подслушалъ какую-то пропію надъ попраннымъ чувствомъ, —признакъ не дикости, а растленія: имена отца, матери, слова молитвы произносятся безпрестанно, по безотзывно; ими играють безъ содроганія; они какъ будто выдуманы для другихъ людей, а не для жалкаго племени, утратившаго всякое подобіе съ челов' комъ". У! какъ сильно! Только справедливо ли? Содержание повъсти "Деревня" состоить въ томъ, что бъдную, загнанную сиротку, по проискамъ илута-старосты, госнода выдали замужь за негодяя, въ дурную семью. Что-жъ, критикъ "Москвитянина" думаетъ, что въ деревняхъ нътъ негодяевъ, нътъ дурныхъ семействъ? Или опъ думаетъ, что изобразить негодяя или дурное семейство значить-доказать, что въ русскихъ деревняхъ все негодян и дурныя семейства? Надо согласиться, что нашъ критикъ очень щедръ въ раздачѣ другимъ разныхъ дурныхъ цёлей и намёреній; но, къ счастію, вовсе невпопадъ. Въ повъсти "Деревня" г. Григоровичъ изобразилъ деревню именно въ томъ видъ, какъ это говоритъ критикъ "Москвитянина", хотя и не съ тою целію, не съ тою мыслію, которыя онъ такъ великодушно ему приписываетъ. Въ нравахъ этой "Деревни" дъйствительно только грубое и жестокое, и нётъ даже "животной привязанности между единокровными". Но воть тоть же самый г. Григоровичь, который наинсаль "Деревно", предлагаетъ читателямъ въ этой книжкъ "Современника" новую свою повъсть ("Антонъ-Горемыка"), въ которой на сценъ онять деревия и которой герой русскій крестьянинь, но уже вовсе не вродъ мужа Акулины, а человъкъ добрый, который, по-своему, ижжно, человжчески любитъ своего племянника, свою жену и обращается съ ними по-человъчески. Следуетъ ли же изъ этого, что г. Григоровичъ видить въ русской деревиъ только дикость и звърство въ семейныхъ отношеніяхь? Ніть, изь этого слідуеть совсімь другое, а именно то, что въ одной повъсти онъ взялъ одну сторону деревни, а въ другой-другую. Вы сами сказали, что въ первой повъсти онъ выставиль все грубое, оскорбительное и жестокое, что можно было найти въ правахъ крестьянъ. Если это можно было найти, значить, это не выдумано, а взято съ действительности, значить, это истина, а не клевета. Последней туть нельзя искать, после вашихъ собственныхъ словъ; ее скорѣе можно искать и найти въ вашемъ усилін обвинить г. Григоровича въ дурныхъ целяхъ и намеренияхъ... Какое вы имъете право требовать отъ автора, чтобы онъ замѣчалъ и изображалъ не ту сторону дъйствительности, которая сама мечется ему въ глаза, которую онъ узналь, изучиль, а ту, которая васъ занимаетъ? Вы въ правѣ только требовать, чтобы онь не выдумываль, быль верень изображаемой имъ действительности; а все, что есть и бываеть, принадлежить ему, равно какъ и выборъ изъ всего этого. Въ "Журналъ Министерства Внутреннихъ Дълъ" есть слъдующее статистическое извъстіе касательно смертности въ Россіи:

"Кромъ разницы въ численности (погибшихъ въ дракахъ), есть еще то различіе между мужчинами, женщинами и дътъми, что первые почти всъ погибли въ обоюдныхъ ссорахъ и побонщахъ часто вслъдствіе собственной же задорливости при слабосиліи; изъ послъдцихъ, женщины пренмущественно были жертвами супружескихъ неудовольствій и неправительныхъ или наставительныхъ мъръ супруговъ, кромъ немногихъ случаевъ, гдъ и онъ нали, ратоборствуя даже иногда съ подобными же себъ женщинами; а дъти липалисъ жизни болъе всего отъ неумъреннаго наказанія ихъ, что называется, чъмъ понало, за шалости или проступки. Всъ эти случаи не составляютъ убійствъ преднамъренныхъ и не могутъ быть не причтени къ смертности отъ неосторожности. Въ Тверской губервіи, напримъръ, одинъ крестьянниъ, желал наказать жену за что-то, убилъ ударомъ руки бывшаго у пей на груди ребенка: что это, какъ

не неосторожность? Весьма похожая на эту смерть постигла одного шестнадпатимъсячнаго ребенка въ Полтавской губериін, а въ Курской случилось точь-въ-точь подобное происшествіе".

Такого рода оффиціальное изв'ястіе можеть быть до накоторой степени указателемъ нравовъ простого народа. Что случается часто или не редко, то не есть явленіе случайное, исключительное, и можеть служить матеріаломъ для художественнаго произведенія, но отнюдь не можеть быть принято за всеобщее явленіе, исключающее всѣ противоположныя, и служить позоромъ обществу или народу. Такъ, напримеръ, всемъ известно, что, кром'в Россін, нигд'в н'втъ обыкновенія париться въ жаркой банъ, -слъдовательно, нигдъ же, кромъ Россін, не можеть быть и приміровь смерти отъ запариванія. Но сл'єдуеть ли скрывать такіе факты изъ боязни какого-то нареканія на народъ? Это случается въ народъ; но кто же скажеть, что весь русскій народъ, какъ дорвется до полка, такъ н запарится сейчась же? Крайняя степень всякаго зла темъ еще и выносима, что обрушивается всегда на меньшинствъ, -слъдовательно, если и можетъ принадлежать тому или другому обществу, то никогда не можеть послужить обвинениемъ всему обществу.

Но обратимся исключительно къ крптику "Москвитянина" и разберемъ его мижніе о Гоголь и натуральной школь. "Гоголь (говорить онъ) первый дерзнуль ввести изображение пошлаго въ область художества". Неправда. Литература наша началась не съ Гоголя, а между темъ именно началась попыткою ввести изображение пошлаго въ область художества. Всномните Кантемира. Съ тёхъ поръ, какъ мы замётили это выше, литература наша не оставляла вовсе этого направленія. Въ немъ блистательно отличился Фонвизинъ; оно отразилось во многихъ лучшихъ созданіяхъ Державина. Пушкинъ началъ писать своего (неоконченнаго, впрочемъ) "Арапа Петра Великаго", когда еще имени Гоголя не появлялось въ печати. При этомъ не мъшаетъ вспомнить не только "Графа Нулина", всего посвященнаго изображенію пошлости, но и "Евгенія Онфгина", въ которомъ изображеніе пошлости играеть не последнюю роль. Гоголь только пошель далже всёхъ въ томъ, что критикъ "Москвитянина" разумбеть подъ выражениемъ изображеніе пошлости, и что, по нашему мижнію, справедливъе называть изображениемъ дъйствительности, какъ она есть, во всей ея полнотъ и истинъ. Въ этомъ отношенін Гоголь дъйствительно сталъ такъ выше всёхъ другихъ писателей русскихъ, обнаружилъ въ своей манеръ столько самобытности и оригинальности, что сталь основателемъ новой литературной школы, хотель ли онъ этого или нътъ-все равно. Но пойдемъ далъе за нашимъ критикомъ.

"На то нуженъ быль его геній. Въ этотъ глухой, безцвътный міръ, безъ грома и безъ потрясеній, неподвижный и ровный, какъ бездонное болото, медленно и безвозвратно втягивающее въ себя все живое и свъжее, ст этотъ міръ высоко поэтическій самымъ отсутствіемъ всего идеаль-

наго (?), онъ первый опустился, какъ рудокопъ, почуявшій подъ землею еще нетронутую силу. Съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигь целой жизни, выражение личной потребности внутренняго очищенія. Подъ изображеніемъ дъйствительности, поразительно истиннымъ, скрывалась душевная, скорбная исповъдь. Отъ этого произошла односторонность его последнихъ произведеній, которыхъ, однако, нельзя назвать односторонними (!) именно нотому, что вмёстё съ содержаніемъ художникъ передаеть свою мысль, свое побуждение (?!...). Оно такъ необходимо для полноты впечативнія, такъ нераздільно съ художественнымъ достониствомъ его произведеній, что литературный подвигь Гоголя только въ этомъ смыслъ и могь совершиться (???...). Ни страсть къ наблюденіямъ, ни благородное негодованіе на пороки и вообще никакое побуждение, какъ бы съ виду оно ни было безкорыстно, но допускающее въ душъ художника чувство личнаго превосходства, не дало бы на него ни права, ни силъ (??). Нужно было породниться душою съ тою жизнію и съ тъми людьми, отъ которыхъ отворачиваются съ презрѣніемъ; нужно было почувствовать въ себъ самомъ ихъ слабости, пороки и ношлость, чтобы въ нихъ же почувствовать присутствие человъческаго. Кто съ этимъ не согласенъ, или кто нначе понимаетъ внутренній смысль произведеній Гоголя, съ тъмъ мы не можемъ спорить-это одинъ нзъ тъхъ вопросовъ, которые ръшаются безъ апелляцін въ глубинъ сознанія".

Мы и не споримъ, потому что спорить можно только противъ того, съ чёмъ бываешь не согласенъ, но что, въ то же время, хорошо понимаешь; а въ этой вынискъ, признаемся, мы почти ничего не поняли. Почему міръ, изображенный Гоголемъ, высоко-поэтиченъ самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго? Почему последнія произведенія Гоголя односторонни, однако-жъ ихъ не позволяется называть односторонними на томъ основании, что вмъстъ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побуждение? Воля ваша-темно что-то, мистипизмомъ отзывается! Ничего не понимаемъ! Что значить "вийстй съ содержаніемъ передавать свою мысль"? Да въ искусстви иначе мысль и не перенается, какъ черезъ содержание и форму; это дълали всё художники и до Гоголя, и будуть дёлать носять него, нотому что въ этомъ сущность искусства. Почему Гоголь открылъ міръ пошлости не вследствіе своей художнической натуры, споего художническаго призванія, а вслёдствіе "личной потребности внутренняго очищенія"? Да это пахнеть умилительною среднев ковою легендою, чимъ-то вродъ баллады "Двънадцать Спящихъ Дъвъ"... Еще разъ-инчего не понимаемъ! И потому, оставивъ въ покот этотъ великолтиный наборъ громкихъ словъ и таниственныхъ фразъ, перейдемъ къ натуральной школф, которая въ глазахъ нашего критика безъ вины виновата передъ Гоголемъ тъмъ, что пошла по пути, который онъ ей самъ указалъ.

Первая ея вина та, что она переняла у Гоголя только его односторонность, т. е. взяла у него одно содержаніе, изъ чего неоспоримо следуеть, что односторонность есть содержаніе, а содержаніе есть односторонность. Но пусть будеть такъ. Вторая вина ея та, что она подражаеть Гоголю во всемъ, даже въ опредёленіи людей по бородавке на носу, по

пв'єту жилета и т. п. Но направленіе натуральная школа запиствовала не у Гоголя, а у новъйшей французской литературы, и это направление есть "карикатура и клевета на действительность, нонятая, какъ исправительное средство". Затъмъ следуеть характеристика новейшей французской литературы и ея сравненіе съ ловкимъ приказчикомъ, который, "поддёлываясь подъ вкусь публики и соблазняя ее яркими красками, заманиваеть къ себъ въ давку толцу покупателей, отбиваетъ ихъ отъ сосъдняго продавца и помогаетъ своему господину (т. е. хозяину) сбывать товаръ, -- иными словами, вербовать последователей". Сравнение очень верно: всякое изящное произведение съ соціальнымъ направленіемъ есть, во-первыхъ, непремѣнно французское, хотя бы написано было, напримъръ, Диккенсомь; во-вторыхь, вербовать последователей-значить торговать, а торговать-значить набирать постедователей. Противъ этого нечего сказать, кромф развъ того, что писатели риторической школы дадуть большого маха, если собственными словами нашего критика не докажуть, что Гоголь заимствовалъ свое направление у новъйшей французской литературы. Это имъ будеть темъ легче сделать, что они, подобно намъ, въроятно, не върятъ мистическому уверенію, будто Гоголь открыль міръ ношлости велѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія, чёмъ и отличился рёзко и отъ новъйшей французской литературы, и отъ русской натуральной школы, подражающей ему. Но далье: повъйшая французская литература приняла въ себя, какъ основное двигательное начало-одушевленіе страсти, какъ цѣль-возбужденіе страсти; а страсть, по мнѣнію нашего крптика, оскверняеть все то, во что ее вмѣшиваютъ. Мы думали доселѣ, что, напротивъ, страсть есть источникъ всякой живой, нлодотворной деятельности, что ею сделано все великое и прекрасное, и что зло-не въ страсти вообще, а въ дурныхъ страстяхъ; но что безъ страстей вообще житейское море такъ же бы чуждо было всякаго движенія, какъ водяное море безъ вътровъ. Иные люди нападають на страсти оттого нменно, что сами слишкомъ страстны, что устали и измучились волненіемъ страстей. Другіе же потому, что вовсе ихъ не знають и сами не въдають, за что на нихъ сердятся. Всякіе бывають люди и всякія страсти. У иного, напримірь, всю страсть, весь навосъ его натуры составляетъ холодная злость, н онъ только тогда бываеть умень, талантливъ н даже здоровъ, когда кусается.

Итакъ, это дѣло рѣшеное, не подлежащее никакому сомиѣнію, что сущность новѣйшей французской литературы—"клевета на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенная для поощренія къ совершенствованію". "Стремленіе (прибавляетъ нашъ критикъ) въ основѣ своей благородное, похвальное, но созданное ложно и потому безплодное". Однако-жъ, не думайте, чтобы натуральная школа ужъ ничѣмъ не отличалась отъ французской литературы: у нея со держаніе свое, національное, разработанное Гоголемъ. Что за путаннца! Какъ истина-то, противъ воли пашего критика, сама пробивается наружу сквозь непроходимую чащу умышленно наплетенныхъ клеветъ, съ благородною цёлью, если не исправить своихъ литературныхъ противниковъ, то хоть насолить имъ! Какъ ни припутываеть опъ къ натуральной школъ французскую словесность, а все-таки только одинъ Гоголь является въ прямомъ отношеніи къ ней. Какъ ни бились мы, чтобы понять, чёмъ, по мийнію нашего критика, разнится натуральная школа оть Гоголя, а ноняли въ его словахъ только то, что давно хорошо понимали и безъ него, т. е. что Гоголь далеко выше всъхъ своихъ последователей. Значить: преступленіе натуральной школы состоить только въ томъ, что таланты ея представителей ниже таланта Гоголя. Да, это вина! Мы пропускаемъ юмористическую характеристику натуральной школы, сделанную критикомъ "Москвитянина" съ цёлью показать всю инчтожность, пустоту и ношлость натуральной школы. Въ этой характеристикъ онъ обнаружилъ бездну того остроумія, которое такъ и блещеть въ его сравнени французской соціальной литературы съ лавкою приказчика. Онъ говорить, что произведенія натуральной школыпародін на созданные Гоголемъ тины, карикатуры и клевета на дъйствительность, что ея пріемы всегда один и тъ же, характеры блъдны и безцвътны, питрига завязывается слабымъ узломъ, такъ что всякій разсказъ можно на любомъ мість прервать и также тянуть до безконечности, и что всемъ этимъ достигается побочная цёль, а именно: наводится нестеринмая скука на читателя. Далее онъ говорить положительно, что вліяніе натуральной школы безвредно, потому что ничтожно. Эта мысль даже повторена; въ другомъ мъстъ критикъ говоритъ, что нисатели нелюбимой имъ школы внали въ односторонность, именно потому, что у насъ односторонность невинна и безопасна, что самое направление есть илодъ подражанія, а не д'єйствительныхъ потребностей общества, и потому забавляеть его или наводить на него скуку, не задъвая за живое". Наконецъ, что натуральная школа не поддержана ни однимъ сильнымъ талантомъ, что ей не поддался ни одинъ даже второклассный талантъ, и что она должна исчезнуть такъ же скоро и случайно, какъ она возникла.

Положимъ, все это справедливо; но въ такомъ случав, изъ чего же вы горячитесь, зачемь безпрестапно пишете о натуральной школъ, ни на минуту не сводите съ нея вашего тревожнаго вниманія, посвящаете ей цёлыя длинныя статьи, похожія на горькія жалобы, если еще не на что-то худшее?... Воля ваша, а тутъ есть странное противоръчіе, которое можно объяснить только разв'я тимъ, что къ этому вопросу примъщалась та страсть, которой вліяніе критикъ находить столь дурнымъ. Стоить ли толковать о пустякахъ, о вздоръ-словомъ, о литературныхъ произведеніяхъ, которыя клевещуть на общество, даже не по злонам ренности, -- напротивъ, съ добрымъ и благороднымъ намъреніемъ (стр. 204—205), —а потому, что они не самобытны, на половину подражають Гоголю, перенимая его односторонность и недостатки, на половину--иовъйшей французской литературъ, перенимая у ней преувеличенія и недобросовъстное искаженіе дъйствительности, — о литературныхъ произведенияхъ, чуждыхъ всякаго достопиства, не ознаменованныхъ талантомъ, способныхъ наводить только скуку и по тому самому безвредныхъ и инчтожныхъ, несмотря на ложное ихъ направленіе? Но если ужъ нашъ критикъ позводилъ себъ сдълать такую несообразность, впасть въ такое противоръчіе съ самимъ собою, несмотря на всю нелюбовь его къ подобнымъ противоръчіямъ, по крайней мъръ въ другихъ, онъ все же бы долженъ былъ представить хоть какія-нибудь доказательства въ подтвержденіе своего мивнія, вмісто того, чтобы ограничиться только изложеніемъ своего мивнія. Нівть ничего легче, какъ доказывать общими положеніями безъ приміненій ихъ къ подробностямъ обсуживаемаго предмета. Этакъ легко доказать, что не только натуральная школа, но и любая литература никуда не голится: но подобная манера доказывать убъдительна только для доказывающаго, больше ни для кого. Правда, критикъ сосладся на три произведенія натуральной школы: "Деревню", "Родственники" и "Пом'вщикъ"; но, во-первыхъ, натуральная школа состоить не изътрехъже только этихъ произведеній, а во-вторыхъ, онъ только назвалъ нхъ дурными, не приведя никакихъ доказательствъ, въроятно, думая, что ему стонтъ только сказать то или другое, чтобы ему всё повёрили безусловно. Правда, онъ распространился о "Деревнъ", но нзъ его диктаторскихъ возгласовъ противъ этой повъсти видно только то, что ему не нравится ея паправленіе, а не то, чтобы оно действительно было дурно. Нётъ, если онъ хотелъ, почему бы то ни было, уничтожить натуральную школу, ему бы слъдовало, оставнвъ въ сторонъ ея направленіе. ея, какъ онъ въжливо выражается, клеветы на общество, разобрать главныя ея произведенія на основанін эстетической критики, чтобы показать, какъ мало или какъ вовсе не соотвътствують они основнымъ требованіямъ искусства. Тогда уже и ихъ направление само собою уничтожилось бы, потому что, когда произведение, претендующее принадлежать къ области искусства, не выполняетъ его требованій, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасетъ его никакое направление. Искусство можеть быть брганомъ извъстныхъ идей и направленій, но только тогда, когда оно-прежде всего искусство. Иначе его произведенія будуть мертвыми аллегоріями, холодными диссертаціями, а не живымъ воспроизведениемъ действительности. Темъ более обязанъ былъ сделать это нашъ критикъ, что онъ особенно заботится о чистомъ искусствф, объ некусствф, какъ некусствф. Но онъ предпочелъ упомянуть, и то вскользь, о трехъ только произведеніяхъ натуральной школы, а обо всёхъ другихъ умалчиваетъ и, кромѣ г. Григоровича, не назвалъ по имени ни одного изъ ея представи-

На все на это у него были свои причины. Онъ, въроятно, чувствовалъ, что, пустившись въ настоящую критику произведеній натуральной школы,

онъ принужденъ былъ бы найти въ ней что-нибудь н хорошее, что было вовсе не сообразно съ его намереніемь; потомь онь не могь бы изб'єжать выписокъ, а онъ могли бы доказывать совершенно протпвное его доказательствамъ. Называя по именамъ писателей натуральной школы, онъ этимъ показалъ бы, что не шутитъ своимъ дъломъ и не смотритъ на отношенія, въ которыя могла бы его поставить его откровенность ко столькимъ лицамъ. Гораздо спокойнъе было ему назвать только одного, да намекиуть еще на двухъ: остальные не въ правъ считать себя въ числъ подпавшихъ его нанадкамъ: при случай можно сказать имъ, что онъ не относить ихъ къ натуральной школъ. Но подобныя недоговорки и уклончивость никогда не разъясняють дела, а только усиливають и усложняютъ недоразумьнія, и потому мы просимъ нашего критика отвътить намъ прамо и откровенно: неужели онъ и въ самомъ деле не видитъ пикакого таланта, не признаетъ никакой заслуги въ такихъ писателяхь, каковы, напримерь: Луганскій (Даль), авторъ "Тарантаса", авторъ повъсти "Кто Виновать?", авторъ "Въдныхъ Людей", авторъ "Обыкновенной Исторін", авторъ "Занисокъ Охотника", авторъ "Послъдняго Визита", о которыхъ онъ не почель за нужное упомянуть? Потомъ: неужели онъ и въ самомъ деле ни во что ставитъ успехъ произведеній натуральной школы, или думаеть увфрить насъ, что онъ его не видитъ и не признаеть? Какіе журналы пользуются наибольшимъ успъхомъ, если не ть, въ которыхъ помъщаются произведения натуральной школы, и которыхъ направление совпадаеть съ направленіемъ этой школы? Скажемъ больше: безъ этихъ произведеній натуральной школы теперь невозможенъ успахъ никакого журнала. Или критикъ нашъ нешутя считаетъ русскую публику до сихъ поръ несовершеннолътнею, какимъ-то недорослемъ, который шагу не можетъ сдълать безъ критическихъ нянекъ, и потому поневолъ допускаеть ихъ сбивать его съ толку, направляя то въ ту, то въ другую сторону? Это дъйствительно было, въ эпоху безусловной вёры въ имена и авторитеты; но этого давно уже нътъ. Критика, слава Богу, давно уже изъ журналовъ перешла въ публику, сдълалась общественнымъ митніемъ. Судьба книги или какого-нибудь литературнаго произведенія уже давно не зависить оть произвола всякаго, кто только вздумаеть ее поднять или уроннть. Монополій критическихъ теперь пътъ, потому что у всякаго журнала свое митніе, и что хвалить одинъ, то бранитъ другой. Но обратимся къ фактамъ. Пушкинъ былъ встръченъ и восторженными похвалами, и ожесточенною бранью: неужели же наша публика признала его великимъ національнымъ поэтомъ только потому, что его хвалители перекричали его порицателей? Нужно ли говорить, что, съ перваго появленія Гоголя на литературное поприще до сей минуты, его постоянно преследуетъ одна литературная нартія, что самыя рішительныя нападки на него раздавались изъ журнала, имъвшаго обширный кругъ читателей, и доселъ раздаются изъ газеты, тоже пользующейся большимъ расходомъ? Неужели же опять необыкновенный и быстрый усп'яхъ сочиненій Гоголя произошель оттого, что, какъ увъряетъ одна газета, его хвалители кричали громче всехъ? Лермонтовъ действовалъ на литературномъ поприще какихъ-нибудь четыре года и умеръ прежде, нежели талантъ его успълъ вполнъ развернуться, а между тъмъ, во мивнін публики, онъ еще при жизни своей сталъ въ ряду первоклассныхъ знаменитостей русской литературы: неужели и это опять дело литературной нартін? А публика туть что же? Какая, подумаешь, сговорчивая публика! Но почему же наши противники съ объихъ сторонъ не могли увърить ее пи въ ничтожности прославляемыхъ нами литературныхъ именъ, ни въ великости талантовъ и заслугъ писателей своихъ партій? Вѣдь если дѣло пойдетъ на громкость голоса, разкость выраженій и рашительность приговоровъ, наши противники едва ли уступять намь въ этомъ, но, въроятно, еще п далеко превзойдуть нась... Но риторическая школа, нападая на натуральную, по крайней мфрф, противопоставляеть, хотя и безъ успъха, ея писателямъ и произведеніямъ — своихъ писателей и свои произведенія; но господа славянофилы не могуть сявлать и этого. А между твмъ самымъ простымъ, законнымъ, справедливымъ и дъйствительнымъ средствомъ уничтожить натуральную школу и дать настоящее направление вкусу публики было бы для нихъ-противопоставить ея писателямъ своихъ писателей, ея произведеніямъ-свои произведенія... Что же мъшаетъ имъ сдълать это? Они, впрочемъ, это и делають время отъ времени, понемножку п помаленьку: то напечатають новъсть, которой никто, кромв ихъ, читать не можетъ и не хочетъ, то стихотвореніе врод'в "св'єтика-луны", въ народномъ тонъ котораго виденъ баринъ, неловко костюмировавшійся крестьяниномъ... Вёдные!..

Но мы еще не упомянули о самой главной, самой тяжкой винь, которая, по мижнію критика "Москвитанина", лежить на натуральной школь. Лело-видите ли-въ томъ, что "она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клевещеть на него, какъ и на общество"!.. Воть ужъ этого-то обвиненія мы, признаться, не ожидали отъ гг. славянофиловъ, хотя и многаго другого ожидали отъ нихъ! Но защищать противъ него натуральную школу мы не намерены, по крайней мфрф, серьезно, потому что видимъ въ немъ даже не клевету, а просто нельпость. Это все равно, какъ если бы славянофиловъ обвинять въ исключительной любви къ Западу и непависти ко всему, что носить на себѣ славянскій характеръ. Въ этомъ случав мы искренно жалвемъ о фитикъ "Москвитянича", что онъ не позаботился подкръпить ссылками на сочинения натуральной школы, и даже выписками изъ нихъ, такое важное, уже не въ литературномъ, а въ нравственномъ отношенін, обвиненіе, выставляющее въ дурномъ свътъ не талантъ, а сердце его противниковъ, оскорбляющее уже не самолюбіе, а ихъ достопнство... Да, такой со стороны его необдуманный

поступокъ возбуждаеть въ насъ искреннее къ нему сожалдніе...

Положеніе натуральной школы между двумя непріязненными ей партіями понстинъ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ объихъсамое себя; одна нападаеть на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаеть на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... Оставимъ въ сторонъ разглагольствованія критика "Москвитянина" о народъ, который, по его мнънію, "сохранилъ въ себѣ какое-то здравое сознаніе равновъсія между субъективными требованіями и правами действительности, сознаніе, заглушенное въ насъ одностороннимъ развитіемъ личности", и предоставимъ ему самому разгадать таинственный смыслъ его собственныхъ словъ; а сами замътимъ только, что враги натуральной школы отличаются, между прочимъ, удивительною скромностію въ отношенін къ самимъ себѣ и удивительною готовностію отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, г. Хомяковъ, съ ръдкою въ нашъ хитрый и осторожный вакъ наивностію, объявиль печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству-, певольное и прирожденное", а у его противниковъ-, пріобретенное волею и разсудкомъ, такъ сказать, наживное" ("Моск. Сборникъ", 1847, стр. 356). А вотъ теперь г. М.... З.... К.... объявляеть, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, монополію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всёми этими добродётелями? Гдё, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями доказали они, что больше другихъ знають и любять русскій народъ? Все, что дёлалось литераторами для споспѣтествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, делалось не ими. Укажемъ на "Сельское Чтеніе", издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ: тамъ есть труды г. Даля, князя Одоевскаго, графа Соллогуба и другихъ литераторовъ, но ни одного изъ славянофиловъ. Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе, почему-то, очень неласково и не высоко ценять его; но не будемъ здёсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дело въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападають, сделала, что могла, для народа и темъ показала свое желаніе быть ему полезною; а они, славянофилы, ничего не сдълали для него. И почему думаеть критикъ "Москвитянина", что писатели натуральной школы не знають народа? Сошлемся въ особенности на того же Даля, о которомъ мы уже уноминали: изъ его сочиненій видно, что онъ на Руси человъкъ бывалый; воспоминанія и разсказы его относятся и къ западу и къ востоку, и къ стверу и къ югу, и къ границамъ и къ центру Россіи; изо всёхъ нашихъ писателей, не исключая и Гоголя, онъ особенное вниманіе обращаеть на простой народь, и видно, что онъ долго и съ участіемъ изучалъ его, знаеть его быть до малёйшихъ подробностей, знаеть, чёмъ владимірскій крестьянинъ отличается отъ тверского, и въ отношеніи къ оттёнкамъ нравовъ, и въ отношенін къ способамъ жизни и промысламъ. Читая его ловкіе, ръзкіе, теплые типическіе очерки русскаго простонародья, многому оть души смъещься, о многомъ отъ души жалѣешь, но всегда любишь въ нихъ простой нашъ народъ, потому что всегда получаешь о немъ самое выгодное для него понятіе. И публика, послѣ этого, повѣрить какомунибудь г. М.... З.... К...., въ продолжение двухъ почти лётъ прогарцовавшему въ литературе двумя статейками, что такой писатель, какъ г. Даль, меньше его знаеть и любить русскій народь, или что онъ выставляетъ его въ карикатуръ?.. Не думаемъ! Нападая на г. Григоровича за злостное, будто бы, представление крестьянскихъ нравовъ въ его повъсти "Деревня", критикъ "Москвитянина" не забыль замътить, что лицо Акулины очерчено риторически и лишено естественности; а что въ самой неудавшейся попыткъ автора повъсти показать глубокую натуру въ загнанномъ лицъ его геронин видна его симпатія и любовь къ простому народу, -- объ этомъ онъ забылъ упомянуть, в фроятно, по избытку безпристрастія и справедливости.

Приступая къ статъв г. Бълинскаго, критикъ "Москвитянина" почелъ нужнымъ отрекомендовать его публикъ не только со стороны его литературной дъятельности, но и со стороны характера. "Г. Бълинскій (говорить онъ) составляеть совершенную противоположность г. Никитенко. Онъ почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишеть по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаеть имъ и, обладая собственнымъ каниталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тъхъ поръ, какъ онъ явился на поприщъ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспрінмчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рёшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайности—держала его въ какой-то постоянной тревогъ, которая обратилась наконецъвънормальное состояніе и пом'єшала развитію его способностей". Не знаемъ, изъ какого источника почеринулъ критикъ "Москвитянина" эти любопытныя свёдёнія о г. Вёлинскомъ, но только не изъ его сочиненій; всего въроятнъе, что изъ сплетенъ, развозимыхъ заъзжими посетителями, о которых в онъ упоминаетъ въ начале своей статьи. Отгого и суждение его о г. Бѣлпискомъ не имъетъ ничего общаго съ литературнымъ отзывомъ. Если бы онъ обратился къ настоящему источнику, т. е. къ статьямъ г. Белинскаго, то едва ли бы нашелъ тамъ подтверждение тому, что говорить онь о немъ. Повфрить ему, такъ во всей литературной деятельности г. Белинскаго нетъ никакого единства, что сегодня онъ говорить одно, завтра-другое! Это едва ли справедливо. По крайней мёрё, г. Бёлинскому не разъ случалось читать на себя нападки своихъ противниковъ за излишнее постоянство въ главныхъ пунктахъ его убъжденій касательно многихъ предметовъ. Вотъ

ужъ сколько, напримёръ, времени, какъ онъ говорить о славянофилахъ одно и то же, и можеть положительно ручаться за себя, что никогда не нзмѣнится въ этомъ отношенін. Онъ глубоко убѣжденъ, что критикъ "Москвитянина" — человъкъ вполнъ самостоятельный и родился уже готовымъ славянофиломъ, а не сдълался имъ вслъдствіе несчастной воспримчивости и таковой же способности понимать легко и поверхностно, и что ничто не помѣшало развитію его способностей, съ такимъ блескомъ обнаруженныхъ имъ при защитъ славянофильства. Да, г. Бълинскій охотно уступаеть ему и самобытность, и глубокость пониманія, особенно предметовъ, недоступныхъ разумѣнію другихъ, напр., того, что Гоголь сдёлался живописцемъ пошлости вследствіе личной потребности впутренняго очищенія, —словомъ, г. Вёлинскій охотно уступаеть своему противнику все, что онъ у него отняль; по, къ величаншему своему прискорбію, взам'єнъ этого, никакъ не можетъ признать въ немъ того, что онъ такъ великодушно, хотя и вовсе непослъдовательно, призналъ въ немъ, т. е. эстетическаго чувства. Г. Бълинскій признаеть вполив оригинальность, глубину и силу мистическаго воззрѣнія въ сужденін критика "Москвитянина" о Гоголь; но нпкакъ не можеть сказать того же о его эстетическомъ воззрѣніи на Гоголя и на натуральную школу. Г. Бълинскому странно только, что его противникъ могъ найти въ немъ эстетическое чувство, когда, веледь за темь же, онь говорить, что онь, г. Белинскій, быль всегда подъ чужою мыслію, съ тахъ поръ, какъ явился на поприщъ критики. Да зачёмъ же эстетическое чувство тому, кто определяеть достоинство изящныхъ произведеній съ чужого голоса, кто чужой мысли не умфетъ провести черезъ себя самого и претворить ее въ свою собственную? И какъ въ критикахъ такого человъка замѣтить эстетическое чувство? Далѣе критикъ "Москвитянина" обвиняеть г. Белинского въ отсутствін терпимости, справедливо принисывая это его привычкъ мыслить чужниь образомъ мыслей, Г. Вълинскій, съ своей стороны, видить несомивиное доказательство мыслительной самобытности г. М.... З.... К.... въ его терпимости, которую такъ умилительно обнаружиль онъ при суждении о натуральной школъ и о своихъ противникахъ, гг. Кавелинъ и Бълинскомъ. Что же касается до того, что г. М.... 3.... К.... осудилъ г. Бълинскаго на въчную неразвитость способностей, -г. Бѣлинскій нисколько не удивляется благородной умфренности и изящной въжливости такого о немъ отзыва: ему уже не въ первый разъ встречать подобныя противъ себя выходки въ "Москвитянинъ". Чего тамъ не писали о немъ? И что опъ пичему не учился, ни о чемъ не имъетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка, и т. п. Въ началъ прошлаго года г. Вълинскій собпрался издать огромный литературный сборникъ; объ этомъ намфренін слегка было намекнуто, въ числе другихъ литературныхъ слуховъ, въ "Отечественныхъ Запискахъ". И что же?—въ "Москвитянинъ" вслъдъ за тъмъ было напечатано, что въ Петербургк чадается огромный альманахъ, съ картинками, съ цыганскими хорами и илясками, и т. п. Тутъ, впрочемъ, нечему и удивляться: въ подобныхъ выходкахъ гг. славянофилы не болъе, какъ върны началу своего ученія, т. е. следують темь неиспорченнымъ вліяніемъ лукаваго Запада нравамъ, которымъ они такъ удивляются, и которые, къ ихъ сожаленію, давно уже исчезли на Руси, но которые, при ихъ помощи, будемъ надъяться, еще воротятся къ намъ... Но пока г. Бълинскій не видить никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками или прибъгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама сумветь увидеть разницу между челов жкомъ, у котораго литературная деятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отделяль своего убъждения отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имълъ больше вліянія на общественное митніе, чемъ многіе изъ его действительно ученыхъ противниковъ, — и между-какимъ-нибудь баричемъ, который изучаль пародъ черезъ своего камердинера и думаетъ, что любитъ его больше другихъ, потому что сочиниль или приняль на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который, между служебными и свътскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествъ дилетанта, и изъ году въ годъ высиживаетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ н, пожалуй, талантливымъ... Въ наше время таланть самъ по себъ не ръдкость; но онъ всегда былъ и будетъ редкостью въ соединении съ страстнымъ убъжденіемъ, съ страстною д'ятельностью, потому что только тогда можеть онъ быть действительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убъжденія способность измінять его, онъ давно решенъ для всёхъ тёхъ, кто любить истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можеть ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобъ върно судить, легко ли отдълывался такой человъкъ отъ убъжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходиль къ повымъ, или это всегда бывало для него болъзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомніній, мучительной тоски, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увъреннымъ въ своемъ безпристрастін и добросовъстности...

Говора выше о Гоголѣ и натуральной школѣ, мы отвѣтили на большую часть возраженій критика "Москвитянина" на статью г. Вѣлинскаго, особенно виноватаго, въ его глазахъ, за хорошее мнѣніе о натуральной школѣ. Это-то критикъ нашъ и называетъ "односторопностью и тѣснотою образа мыслей", составляющихъ второй пунктъ его обвинительнаго противъ "Современника" акта. Въ сущности эта односторонность и тѣснота образа мыслей есть самобытный, независимый отъ славянофильства взглядъ на литературу. Третье и послѣднее обвиненіе противъ насъ, въ статъѣ "Москвилинна", состоитъ въ искаженіи нами образа мыслинна", состоитъ въ искаженіи нами образа мыслана противъ насъ, въ статъъ "Москвилинна", состоитъ въ искаженіи нами образа мыслана противъ насъ въ статъъ умесквитинна", состоитъ въ искаженія нами образа мыслана противъ насъ уместа прадага противъ насъ уместа насъ уместа противъ насъ уместа насъ у

лей гг. славянофиловъ. Можетъ быть, мы и дёйствительно не совсёмъ вёрно излагали ихъ образъ мыслей и приписывали имъ иногда такія миёнія, которыя имъ не принадлежатъ, и умалчивали о такихъ, которыя составляютъ основу ихъ ученія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чёмъ оно разнится отъ извёстныхъ воззрёній. Вмёсто этого, у нихъ одни

Намеки тонкіе на то, Чего не въдаеть никто.

Посель ихъ образъ мыслей проглядываеть только въ симпатіяхъ и антинатіяхъ къ темъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того, они безпрестанно противоръчатъ самимъ себъ, такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнівній, сколько и лиць. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европензма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого парода, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темные намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитие съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохраниль въ чистотъ древніе славянскіе нравы п нисколько не изм'внился въ продолжение въковъ. Все это, можетъ быть, и заслуживаетъ, по крайней мѣрѣ, быть выслушаннымъ; но для этого сперва должно быть высказаннымъ. Г. Бёлинскій, въ статьй своей, въ первой книжкъ "Современника", сказалъ, что явленіе славянофильства есть факть, замічательный до изв'ястной степени, какъ протесть противъ безусловной подражательности и какъ свидътельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитін. Въ подобномъ отзывѣ не могло быть ничего оскорбительнаго для гг. славянофиловъ. Напротивъ, онъ давалъ имъ удобный случай объясниться съ своими противниками, изложивъ имъ свое учение и показавъ имъ, въ чемъ и гдѣ именно они понимаютъ его невѣрно. Но гг. славянофилы поступили нначе. Какъ люди, не привыкшіе къ благосклоннымъ о себъ отзывамъ со стороны не принадлежащихъ къ нимъ литературныхъ партій, они до того обрадовались отзыву г. Белинскаго, что начали смотреть на всёхъ своихъ противниковъ, какъ на разбитое въ прахъ войско, а на себя, какъ на великихъ побъдителей. Воть что называется — не давши сраженія, торжествовать победу! Вместо того, чтобы объяспить свой образъ мыслей, они съ ожесточеніемъ пачали нападать на чужія мивнія.

Скажите, легко ли, послѣ этого, судить вѣрно о такомъ образѣ мыслей?

Давно уже замъчена за гг. славянофилами замашка—основывать важность своего ученія на такихъ фактахъ, которые или вовсе не существуютъ, или доказываютъ совсти противное. Мы сейчасы представимъ доказательство этого изъ статьи г. М.... З.... К...., гдъ между прочимъ выдается за не-

сомнанную истину, будто бы "на краснорачивый голосъ Мицкевича взоры многихъ, въ томъ числф и Жоржъ-Занда, обратились къ славянскому міру, который понять ими, какъ міръ общины, и обратились не съ однимъ любопытствомъ, а съ какимъ-то участіємъ и ожиданіємъ". Эта оригинальная выходка снабжена выноскою, въ которой говорится объ извъстномъ сочинении Жоржъ-Занда-"Жижка" или "Зижка". Все это, по мивнію крптика "Москвитянина", значить ни больше, ни меньше, какъ то, что Европа ужасно какъ занята такъ называемымъ славянскимъ вопросомъ; а, по нашему мифнію, все это ровно ничего не значить. Если Зандъ избрала предметомъ своего сочиненія гусситскую войну, это могло произойти безъ всякаго отношенія къ важности или неважности славянскаго вопроса, а напротивъ, именно отъ того, что гусситская вочна-событіе чисто-европейское, западное, католическое; славянскаго тутъ только національное происхожденіе действователей, да безплодный для нихъ исходъ геронческой, впрочемъ, борьбы. Когда дело реформы взяло на себя германское племя, реформа восторжествовала надъ католицизмомъ. Что касается до Мицкевича, его дъйствительно красноръчивый, хотя и сумасбродный голосъ, точно, обратиль къ себъ на нъкоторое время вниманіе парижанъ, жадныхъ до новостей; но къ славянскому вопросу все-таки не возбудиль пикакого участія. Изв'єстно, что французское правительство принуждено было запретить Мицкевичу публичныя чтенія, но не за ихъ направленіе, нисколько не опасное для него, а чтобы прекратить сцены, несогласныя съ общественнымъ приличіемъ. Надо сказать, что въ Парижъ есть нѣкто г. Товьянскій, выдающій себя за пророка и чудотворца, который призванъ, когда настанетъ время, устронть къ лучшему дела сего міра. Мицкевичь ув роваль въ этого шарлатаначто доказываеть, что у него патура страстная и увлекающаяся, воображение нылкое и наклонное къ мистицизму, но голова слабая. Отсюда ученіе его носить название мессіанизма, или товьянизма, н ему следують несколько десятковь человекь изъ поляковъ. Когда, разъ на лекціп, Мицкевичъ, въ фанатическомъ вдохновенін, спрашивалъ своихъ слушателей, вфрять ли они новому мессін, какаято восторженная женщина бросилась къ его ногамъ, рыдая и восклицая: вѣрю, учитель! Вотъ случай, по которому прекращены лекцін Мицкевича, и о нихъ теперь вовсе забыли въ Парижъ. Вообще въ Европъ мало заботится о чужихъ вопросахъ и чужихъ дёлахъ, потому что у всёхъ много своихъ и всь заняты ими. Это особенно относится къ французамъ; для нихъ всѣ другія страны существують только по отношению къ Франціи. Можеть быть, поэтому въ ихъ журналахъ можно находить болье или менье върныя извъстія только объ Англіи, Испаніи и Италіи: он' къ нимъ ближе и больше связаны съ ними политически. Говорять въ Парижв и о Россіи, по отнодь не потому, что это славянская земля, а потому, что это-великое и

могущественное государство, съ огромнымъ вдіяніемъ въ сферѣ европейской политики.

И воть на какихъ фактахъ славянофилы основывають важность своего ученія! Но воть еще примаръ, какъ трудно, какъ невозможно понимать нхъ. Г. Кавелинъ сказалъ, что на новогородскомъ въчъ "дъла ръшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то неопределенно, сообща". Эти слова объясняются цёлымь взглядомь г. Кавелина на новогородскую общину, какъ чуждую всякаго прочнаго основанія и потому неспособную развиться ни въ какую государственную форму. Г. М.... З.... К.... возражаеть на это, что въ Новгородъ было двоевластіе, и что ндеаль новогородскаго быта можно опредълить, какъ согласіе князя съ въчемъ. Этимъ онъ хочетъ указать на особенности славянскаго общиннаго начала, составляющаго красугольный камень славянофильства. Но изъ его словъ видно, что особеннаго и оригинальнаго въ этомъ быть ничего не было, что онъ отзывается карикатурою на нынёшнія конституціонныя монархіп, основа которыхъ-двоевластіе, а идеаль-согласіе короля съ палатою. Критикъ "Москвитянина" прибавляеть, что редкія минуты этого согласія князя съ в'ячемъ представляють апогей новогородскаго быта, но признается, что оно осуществлялось только иногда, и то ненадолго. Что же туть было особенно любовнаго, согласнаго, общиннаго, по любимому выраженію славянофиловь? Въ возражение на слова господина Кавелина критикъ "Москвитянина" замфчаетъ, что "способъ рфшенія по большинству запечатліваеть распаденіе общества на большинство и меньшинство, разложеніе общиннаго начала; въче, выраженіе его (общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности, цёль его-вынести и спасти единство; отъ этого въче обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулою: "сипдошася вси въ любовь". Скажите, Бога ради, есть ли, можеть ли быть въ какомъ бы то ни было совъщательномъ правленіи другой способъ рашенія вопросовъ, кромъ какъ по большинству голосовъ? Утверждать это значить — сменться надъ здравымь смысломъ. Что на повогородскомъ въчъ случалось бывать единодушному рашенію вопросовъ, безъ всякаго противоръчащаго меньшпиства, — это не диво; это случается, даже не ръдко, и въ представительныхъ камерахъ конституціонныхъ государствъ нашего времени; темъ чаще это могло случаться въ массъ народа, вездъ наклоннаго къ мгновенному единодушному увлечению и порыву, какъ въ добре, такъ и въ зле. Также часто могло случаться, что меньшинство являлось слишкомъ ничтожнымъ, чтобы спорить съ большинствомъ, и часто соглашалось съ нимъ не по убъжденію, а изъ опасенія хлебнуть волховской водицы. Изв'тстно, что, въ случай раздиленія мийній на половины ровныя или почти ровныя, бывали драки и побоища, доставлявшія Волхову обильную добычу; которая сторона побътлала, та и решала вопросъ. И потому его ръшение все-таки всегда зависъло

отъ большинства, или, по крайней мара, отъ перевъса физической силы. Но г. Кавелинъ былъ правъ, сказавши, что дела решались на вече не по большинству голосовъ: онъ хотёль этимъ указать на отсутствіе баллотировки или другой какой-нибудь постоянной, неизманной, кореннымъ закономъ опредъленной формы для обнаруженія большинства, а потому и прибавиль: "а какъ-то совершенно неопредъленно, сообща", т. е. безтолково н нельно, какъ прилично общинъ чисто-патріархальной, совершенно чуждой юридическаго элемента. И такія общины были совсемь не у однихь славянскихъ племенъ, какъ увъряють гг. славянофилы, а были и у всъхъ илеменъ и народовъ въ патріархальномъ состоянін, даже и у дикарей, да только нигдъ онъ не развились, во многихъ мъстахъ не удержались. И у цельтическихъ племенъ были эти общины, ибо они управлялись собраніями народа и сов'єтами старцевъ, жрецовъ и т. д.; но только германскіе народы развили общинное начало, потому что внесли въ него юридическое начало, какъ главное и преобладающее.

А между тёмъ общинный быть славянскихъ племенъ-краеугольный камень славянофильства; по крайней мёрё, онъ не сходить у нихъ съ языка, и ему назначили они свидътельствовать въ пользу любовности, какъ общественной стихін, отличающей славянскія племена отъ всёхъ другихъ. Но не значить ли это-основывать свое ученіе именно на техь фактахь, которые особенно противоръчать ему? Какъ же вы хотите, чтобы такое ученіе понимали, и чтобы, говоря о немъ, не впадали въ противоръчія? И потому г. Бълинскій охотно признаеть, что онъ изложиль основанія славянофильства невтрно и противортчиво, и не будеть защищаться оть возраженій своего противника по этому вопросу, темъ более, что эти возраженія не подвинули его, г. Бѣлинскаго, ни на шагъ впередъ по части пониманія славянофильства, а, напротивъ, повергли его еще въ большее прежняго педоразумине насчеть этого таниственнаго ученія. Онъ не станеть спорить съ гг. славянофилами даже и въ такомъ случав, если они скажуть ему, что онь ошибся и впаль въ противоръчіе, назвавши славянофильство заслуживающимъ винманіе и им'вющимъ какой-нибудь смыслъ явленіемъ, но охотно согласится съ ними въ этомъ, по личной потребности внутренняго очищенія... Да и какъ спорить съ славянофилами о чемъ бы то ни было, возражать имъ противъ чего бы то ни было, или защищаться противъ нихь въ чемъ бы то ни было, когда они, какъ кажется, окончательно порфшели, что ихъ ученіе несомивниве самой несомивниой книги восточныхъ народовъ, что все, несогласное съ нимъ, есть оскорбленіе истины и нравственнаго чувства? Просимъ нашихъ читателей, вспомнить, что наговорилъ критикъ "Москвитянина" на натуральную школу; нашель ли онь въ ней хоть что-нибудь хорошее, что находять въ ней иногда, хотя и не искренно, а ради приличія, даже риторическіе враги ся? Еще разъ: какъ спорить съ людьми, которымъ, во что бы ни стало, нужно оправдать свою систему, и которые, поэтому, не уважають даже фактовъ? Г. Вълинскій, напримъръ, сказалъ: "Извъстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-Петровская Русь лучие Россіи повой: вотъ источникъ славянофильства". Говоря такъ, онъ имълъ въ виду не одну исторію Карамзина, но и рукописный его обзоръ древней и новой исторіи Россіи, извъстный многимъ. Критикъ "Москвитянина", выписывая изъ VI тома исторіи Карамзина параллель между Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, самъ соглашается, что здъсь дъйствительно проглядывають предподтеніе въ пользу Іоанна; а потомъ какъ-то выводитъ, что г. Вълинскій

взвелъ на Карамзина небылицу.

Мы отвътили критику "Москвитянина" на всъ три его обвинительные противъ "Современника" нункта. Читатели видёли, какъ важны и дёйствительны противоръчія между статьею г. Никитенко и статьею Бѣлинскаго, равно какъ и помѣщаемыми въ нашемъ журналъ произведеніями натуральной школы. Что касается до второго пункта, т. е. до односторонности и тъсноты образа мыслей "Современника", -- ясно, какъ день, что онъ заключаются въ нашемъ несогласін съ основаніями славянофильства, въ томъ, что мы никакъ не можемъ принять за аксіому предположенія, будто европейскій быть ложень своимь основаніемь отриданія крайностей, — что мы не можемъ отделить Гоголя оть натуральной школы иначе, какъ только на основанін неоспоримаго превосходства его таланта, а отнюдь не на томъ темномъ и непонятномъ для насъ основанін, будто онъ сділался живописцемъ пошлости по личному требованию внутренняго очищенія, — что мы не можемъ ненавидіть н преследовать натуральную школу, взводя на нее разныя небылицы и обращая противъ нея то, что составляеть ея существенное достоннство, т. е. симнатио къ человъку во всякомъ состоянии и званіи, за то только, что она не поняла личной потребности внутренняго очищенія. Но фанатизма последователей какого-нибудь ученья доказываеть не его истинность, а только его односторонность, исключительность и часто совершенную ложность. А какъ судять гг. славянофилы объ изящныхъ произведеніяхъ, напримітръ? Для нихъ туть все дело въ направленін: согласно оно съ ихъ направленіемъ, такъ въ произведенін есть таланть; не согласно—оно чистъйшая бездарность. Вотъ изъ тысячи примёровъ одинь. Г. Тургеневъ у "Москвитянина" и у "Московскаго Сборника" постоянно находился въ разрядъ бездарныхъ инсакъ, особенно за его стихотворный физіологическій очеркъ: "Помъщикъ". Но вотъ "Московскому Сборнику" показалось, почему-то, что въ своемъ разсказъ охотника: "Хорь и Калинычъ", г. Тургеневъ совпалъ съ славянофилами въ понятіи о простомъ народъ,и за это г. Тургеневъ тотчасъ же и торжественно произведенъ "Московскимъ Сборникомъ" изъ бездарностей въ талантъ, а разсказъ его названъшутка ли!--иревосходнымъ. Да неужели же талантъ писателя прежде всего не въ его натурћ,

но въ его головѣ, а всегда только въ его направленін? Неужели сочиненіе не можеть въ одно и то же время отличаться и талантомъ, и ложнымъ направленіемь? Мы не думаемь, чтобы гг. славянофилы не знали этого; но они съ умысломъ закрывають глаза на эту истину, съ умысломъ держатся этой (говоря словами г. М.... З.... К....) "клеветы на дъйствительность, въ смыслъ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенной для ноощренія къ совершенствованію", т. е. къ переходу въ славянофильство; но (скажемъ опять словами того же г. М.... З.... К....) "никто не въ правъ заподозр'явать намфренія; мы вфримъ, что оно чисто и благородно, но средство не годится, и путь слишкомъ хитеръ", т. е. слишкомъ отзывается детствомъ. Но, по крайней мірі, "Московскій Сборникъ" обнаружилъ похвальную готовность похвалить хорошее въ писателъ противной стороны, хотя и по-своему объяснить это внезанное и неожиданное имъ явленіе хорошаго у писателя, который, по его мивнію, до тёхъ поръ писалъ только дурное. Вотъ его собственныя слова по этому предмету: "Вотъ что значить прикоснуться къ земят и къ народу: вмигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгонзмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, —и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, танвшійся въ сочинетель (а!), скрывавшійся во все время, пока онъ силился увърить другихъ и себя въ отвлеченныхъ н потому небывалыхъ состояніяхъ души, --- этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговориль о другомъ. Всё отдадуть

ему справедливость: по крайней мѣрѣ, мы спѣнимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!" Почему же г. М.... З.... К.... не замѣтилъ этого: вѣдь разсказъ "Хорь и Калинычъ" напечатанъ въ первой же книжкъ "Современника", въ которой напечатаны и разбираемыя имъ статьи? Ясно, что или онъ боялся это сдѣлать, чтобы его нападки на натуральную школу, въ его же собственныхъ глазахъ, не обратились въ совершенную ложь, или что два славянофила не могутъ говорить объ одномъ и томъ же предметъ, не противоръча другъ другу.

Какъ же, послѣ этого, требовать отъ другихъ, чтобы они вёрно судили о такомъ ученіи, въ которомъ еще не успъли согласиться сами его послъдователи? Вотъ когда они сами вникнуть хорошо и основательно въ то, что выдають за начало всякой премудрости, да ясно и опредёленно изложать свое ученіе, — тогда ихъ будутъ слушать, не стануть принисывать имъ того, чего они не говорили, и, можеть быть, не соглашаясь съ ними внолив, охотно отдадуть справединвость тому, что есть хорошаго и справедливаго въ ихъ образъ мыслей. Но для этого имъ нужно больше говорить о себф, чемъ о другихъ, больше доказывать свои положенія, чёмь опровергать чужія; потомъ, выражаться насчеть своихъ противниковъ повѣжливѣе, съ большимъ достоинствомъ и, вообще, не ограничиваться одними общими отвлеченными разсужденіями о любви п смиреніи, но проявлять ихъ въ дъйствін. Любовь и смиреніе, безспорно, прекрасныя доброд'єтели на дёлё; но на словахъ они стоять не больше всякой другой болтовии.

[Современникъ. Томъ VI, 1847 г.].

1848.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА.

1.

ВРЕМЯ И ПРОГРЕССЬ. — ФЕЛЬЕТОНИСТЫ — ВРАГИ ПРОГРЕССА. — УПОТРЕВЛЕНІЕ ИНОСТРАННЫХЬ СЛОВЪ ВЪ РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ. — ГОДИЧНЫЯ ОБОЗРЪНІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЪАЛЬМАНАХАХЪ ДВАДЦАТЫХЪ ГОДОВЪ. — ОБОЗРЪНІЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. — НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА. — ЕЯ ПРОИСХОЖ ДЕНІЕ. — ГОГОЛЬ. — НАПАДКИНА НАТУРАЛЬНУЮ ШКОЛУ. — РАЗСМОТРЪПІЕ ЭТИХЪ НАПАДОКЪ.

Когда долго не бываеть тъхь замъчательныхь событій, которыя ръзко измъпяють въ чемъ-нноудь обычное теченіе дъль и круго поварачивають его въ другую сторону, всъ года кажутся похожими одинъ на другой. Повый годъ празднуется, какъ условный календарный праздникъ, и людямъ ка-

жется, что вся перемёна, все новое, принесенное истекшимъ годомъ, состоитъ только въ томъ, что каждый изъ нихъ и еще однимъ годомъ сталъ старъе—

И хоромъ бабушки твердятъ: Какъ наши годы-то летятъ!

А между тёмъ, какъ оглянется человёкъ назадъ и пробёжить въ своей памяти нёсколько такихъ годовъ, то и видить, что все стало съ тёхъ поръкакъ-то не такъ, какъ было прежде. Разумбется, тутъ у всякаго свой календарь, свои люстры, олимпіады, десятилѣтія, годины, эпохи, неріоды, опредѣляемые и назначаемые событіями его собственной жизни. И потому одинъ говоритъ: "какъ все перемѣнилось въ послѣдиія двадцать лѣтъ!" Для другого перемѣна произошла въ десять, для третъяго—въ нять лѣтъ. Въ чемъ заключается она, эта перемѣна, не всякій можетъ опредѣлить, но всякій чувствуетъ, что вотъ съ такого-то времени, точно,

произошла какая-то перемана, что и онъ какъ будто не тоть, да и другіе не тѣ, да не совсѣмъ тоть порядокъ и ходъ самыхъ обыкновенныхъ дёлъ на свъть. И воть один жалуются, что все стало куже; другіе въ восторгь, что все становится лучше. Разумъется, туть зло и добро опредъляется большею частію личнымь положеніемь каждаго, и каждый свою собственную особу ставить центромъ событій н все на свъть относить къ ней: ему стало хуже, и онъ думаетъ, что все и для всёхъ стало хуже, и наоборотъ. Но такъ понимаетъ дело большинство, масса: дюди, наблюдающіе и мыслящіе, въ измёненіи обычнаго хода житейскихь дёль видять, напротивъ, не одно улучшение пли понижение ихъ собственнаго положенія, но изм'єненіе понятій и нравовъ общества, —слѣдовательно, развитіе общественной жизни. Развитіе для нихъ есть ходъ впередъ, -- слъдовательно, улучшение, успъхъ, про-

Фельетонисты, которыхъ у насъ теперь развелось такое множество, и которые, по обязанности своей еженедъльно разсуждать въ газетахъ о томъ, что въ Петербургъ погода постоянно дурна, считають себя глубокими мыслителями и глашатаями великихъ истинъ, фельетонисты наши очень не взлюбили слово "прогрессъ" и преследують его съ темъ остроуміемъ, котораго неоспоримую и блестящую славу они дёлять только съ нашими же водевилистами. За что же слово "прогрессъ" навлекло на себя особенное гоненіе этихъ остроумныхъ господъ? Причинъ много разныхъ. Одному слово это пелюбо потому, что о пемъ не слышно было въ то время, когда онъ былъ молодъ и еще какъ-нибудь н смогъ бы понять его. Другому-потому, что это слово введено въ употребление не имъ, а другими,людьми, которые не пишуть ни фельетоновъ, ни водевилей, а между темъ имеють въ литературе такое вліяніе, что могуть вводить въ употребленіе новыя слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло въ употребление безъ его вѣдома, спросу и совъта, тогда какъ онъ убъжденъ, что безъ его участія ничего важнаго не должно делаться въ литературъ. Между этими господами много большихъ охотниковъ выдумывать что-нибудь новое, да только это никогда имъ не удается. Они и выдумываютъ, да все невиопадъ, и всв ихъ нововведенія отзываются чаромутіемъ и возбуждають сміхь. Зато чуть только кто-нибудь скажетъ новую мысль или употребить новое слово, имъ все кажется, что воть эту - то мысль или это-то слово они и выдумали бы непремѣнно, если бы ихъ не упредили и такимъ образомъ не перебили у нихъ случая отличиться нововведеніемъ. Есть между этими господами и такіе, которые еще не пережили эпохи, когда человъкъ способенъ еще учиться, и, по лътамъ своимъ, могли бы понять слово "прогрессъ", —такъ не могуть достичь этого по другимъ "не зависящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ". При всемъ нашемъ уваженіи къ господамъ фельетонистамъ и водевилистамъ и къ ихъ доказанному блестящему остроумію, мы не войдемъ съ ними въ споръ, боясь, что бой быль бы слишкомъ перавень, разумъется—для насъ...

Есть еще особенный родъ враговъ "прогресса": это люди, которые темъ сильнейшую чувствують къ этому слову ненависть, чёмъ лучше понимаютъ его смыслъ и значеніе. Туть уже ненависть собственно не къ слову, а къ идеъ, которую оно выражаетъ, н на невинномъ словф вымещается досада на его значеніе. Имъ, этимъ людямъ, хотелось бы уверить н себя, и другихъ, что застой лучше движенія, старое всегда лучше новаго и жизнь заднимъ числомъ есть настоящая, пстинная жизнь, исполненная счастія и нравственности. Они соглашаются, хотя и съ болью въ сердив, что міръ всегда измінался и никогда не стояль долго на точки правственнаго замерзанія; но въ этомъ-то они и видять причину всёхъ золъ на свъть. Вмъсто всякаго спора съ этими господами, вместо всякихъ доказательствъ и доводовъ противъ нихъ, мы скажемъ, что это-к и тайцы... Такое название ръшаетъ вопросъ лучше всякихъ изследованій и разсужденій...

Слово "прогрессъ" естественно должно было встретить особенную непріязнь къ нему со стороны нуристовъ русскаго языка, которые возмущаются всякимъ иностраннымъ словомъ, какъ ересью или расколомъ въ ортодоксіи родного языка. Подобный нуризмъ имъетъ свое законное и дъльное основаніе; но, тімь не меніе, онь-односторонность, доведенная до последней крайности. Искоторые изъ старыхъ писателей, не любя современной русской литературы (потому что она далеко ихъ обощла, а они отъ нея далеко отстали и, такимъ образомъ, лишились всякой возможности играть въ ней скольконибудь значительную роль), прикрываются пуризмомъ н твердять безпрестанно, что въ наше время прекрасный русскій языкъ всячески искажается и уродуется, особенно введеніемъ въ него иностранныхъ словъ. Но кто же не знаетъ, что пуристы говорили то же самое объ эпохъ Карамянна? Стало быть, наше время терпить туть совершенную напраслину, и если оно виновато въ томъ, въ чемъ его обвиняють, то отнюдь не больше всякаго другого времени, предшествовавшаго ему. Если бы употребленіе въ русскомъ языкѣ иностранныхъ словъ и было зломъ, оно-зло необходимое, корень котораго глубоко лежить въ реформъ Петра Великаго, познакомившей насъ со множествомъ до того совершенно чуждыхъ намъ понятій, для выраженія которыхъ у насъ не было словъ. Поэтому необходимо было чужія понятія и выражать чужими готовыми словами. Накоторыя изъ этихъ словъ такъ и остались непереведенными и незамѣненными и потому получили право гражданства въ русскомъ словаръ. Всъ къ нимъ привыкли, вст ихъ понимають: за что же гнать ихъ? Конечно, простолюдинь не пойметь словъ: "инстинктъ", "Эгонзмъ", но не потому, что они иностранныя, а нотому, что его уму чужды выражаемыя ими понятія, и слова: "побудка", "ячество" не будуть для него нисколько яснѣе "инстинкта" и "эгонзма". Простолюдины не понимають чисто-русских словь, которых смысль вис теснаго круга ихъ обычныхъ житейскихъ понятій,напримёръ: "событіе, современность, возникновеніе" и т. п., и хорошо понимаютъ иностранныя слова,

выражающія относящіяся къ ихъ быту или не чуждыя его понятія, — напримъръ: "пачнорть, билеть, ассигнація, квитанція" и т. п. Что же касается до людей образованныхъ, то "инстинктъ" для нихъволя ваша-яснье и понятнье "побудки", "эгонзмъ" — "ячества", "факты" — "бытей". Но если один иностранныя слова удержались и получили въ русскомъ языки право гражданства, зато другія, съ теченіемъ времени, были удачно замінены русскими, большею частію вновь составленными. Такъ, Тредьяковскій, говорять, ввель слово "предметь", а Карамзинъ-, промышленность". Такихъ русскихъ словъ, удачно замѣнившихъ собою иностранныя, множество. И мы первые скажемъ, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значить оскорблять и здравый смыслъ, и здравий вкусъ. Такъ, напримъръ, ничего не можетъ быть нельпье и диче, какъ употребление слова "утрировать" вмёсто "преувеличивать". Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывомъ пностранныхъ словъ; наша, разумъется, не избътла его. И это еще не скоро кончится: знакомство съ новыми идеями, выработавшимися на чуждой намъ почвѣ, всегда будетъ приводить къ намъ и новыя слова. Но чёмъ дальше, тёмъ менве это будеть замётно, потому что до сихъ поръ мы вдругь знакомились съ цёлымъ кругомъ дотоль чуждыхъ намъ понятій. По мірт нашихъ успѣховъ въ сближенін съ Европою, запасы чуждыхъ намъ понятій будуть все болье и болье истощаться, и новымъ для насъ будеть только то, что ново и для самой Европы. Тогда естественно и заимствованія пойдуть ровнъе, тише, потому что мы будемь уже не догонять Европу, а идти съ нею рядомъ, не говоря уже о томъ, что и языкъ русскій съ теченіемъ времени будеть все болье и болье вырабатываться, развиваться, становиться гибче и опредълениве.

Нътъ сомивнія, что охота пестрить русскую рвчь ипостранными словами безъ нужды, безъ достаточнаго основанія-противна здравому смыслу н здравому вкусу; но она вредить не русскому языку и не русской литературъ, а только тъмъ, кто одержимь ею. Но противоположная крайность, т. е. неумъренный пуризмъ, производитъ тъ же следствія, потому что крайности сходятся. Судьба языка не можеть зависьть отъ произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и вёрный: это --его же собственный духъ, геній. Воть почему изъ множества вводимыхъ пностранныхъ словъ удерживаются только немногія, а остальныя сами собою печезають. Тому же самому закону подлежать и новосоставляемыя русскія слова: одни изъ нихъ удерживаются, другія исчезають. Неудачно придуманное русское слово для выраженія чуждаго понятія не только не лучше, но рёшительно хуже иностраннаго слова. Говорять, для слова "прогрессь" не нужно п выдумывать новаго слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: "успъхъ, поступательное движение" и т. д. Съ этимъ пельзя согласиться. Прогресся относится только къ тому, что развивается само изъ себя. Прогрессомъ можеть быть и то, въ чемъ вовсе нътъ успъха, пріобр'єтенія, даже шагу впередь; и напротивъ, прогрессомъ можеть быть иногда неуспъхъ, упадокъ, движение назадъ. Это именно относится къ историческому развитію. Вывають въ жизни народовъ и человъчества эпохи несчастныя, въ которыя цёлыя поколёнія какъ бы приносятся въ жертву следующимъ ноколеніямъ. Проходить тяжелая година-и изъ зла рождается добро. Слово "прогрессъ" отличается всею определенностію и точностію научнаго термина, и въ последнее время оно сделалось ходячимъ словомъ, его употребляютъ вст-даже тв, которые нападають на его употребленіе. И потому, пока не явится русскаго слова, которое бы вполнъ замънило его собою, мы будемъ употреблять слово "прогрессъ".

Всякое органическое развитіе совершается черезъ прогрессъ, развивается же органически только то, что имжеть свою исторію, а имжеть свою исторію только то, въ чемъ каждое явленіе есть необходимый результать предыдущаго и имъ объясняется. Если можно представить себъ литературу, въ которой являются отъ времени до времени сочиненія замічательныя, но чуждыя всякой внутренней связи и зависимости, обязанныя своимъ появленіемъ вившиимъ вліяніямъ, подражательности, — у такой литературы не можеть быть исторія. Ея исторія — каталогь книгь. Къ такой литературъ слово "прогрессъ" неприложимо, п появленіе новаго, почему-пибудь замівчательнаго произведенія въ ней не есть прогрессъ, потому что это произведение не имфетъ корня въ прошелшемъ п не дастъ плода въ будущемъ. Тутъ время и годы ничего не значать: они могуть идти себъ, ничего не измъняя. Не такъ бываетъ въ литературф, развивающейся исторически: туть каждый годъ что-нибудь да приносить съ собою, и это что-нибудь есть прогрессъ. Но не каждый годъ можно ясно увидеть и определить этотъ прогрессъ; часто онъ оказывается только внослъдствін. Но, во всякомъ случать, очень полезно въ опредёленные сроки, напримёръ, по окончани каждаго года, обозрѣвать въ цѣломъ ходъ литературы, ея пріобр'єтенія, ея богатство иди ея б'єдность. Такія обозрѣнія не безполезны для настоящаго времени и могуть служить важнымъ пособіемъ для будущаго историка литературы.

Отчеты о литературной деятельности за каждый истекшій годь начали входить у насъ въ обыкновеніе съ 1823 года. Примерь быль подань Марлинскимь, въ знаменитомь того времени альманахё. И съ тёхъ поръ годовыя обозрёнія литературы почти не прерывались въ альманахахъ въ продолженіе десяти лёть. Въ журналахъ же они появлялись рёдко, но въ послёднее время постоянно печатаются въ одномъ извёстномъ журналё уже лёть семь сряду. Отдёль критики въ "Современингъ" прошлаго года начался обзоромъ русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый годъ всегда будеть заключать въ себё такое обозрёніе литературной пёятельности за истекшій годъ.

Подобныя обозрѣнія съ теченіемъ времени дѣ-

лаются истинными летописями литературы, важнымъ пособіемъ для ея историка. Альманачныя обозрвнія, о которыхь мы сейчась говорили, имьють теперь для насъ весь интересъ старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назадъ тому! Такъ быстро идетъ впередъ наша литература! Но какою отдаленною, какою глубокою стариною отзывается "Обозрѣніе русской литературы 1814 года", написанное г. Гречемъ и пом'вщенное въ "Сын'в Отечества" 1815 года! На нъсколькихъ жиденькихъ страничкахъ исчислены всв ученыя и дитературныя пріобретенія и сокровища 1814 года. Годъ этотъ дъйствительно ознаменованъ былъ появленіемъ нёсколькихъ замёчательныхъ серьезныхъ книгъ, какъ, напримъръ: "Собраніе государственныхъ россійскихъ грамотъ и договоровъ", обязанное своимъ изданіемъ графу Н. П. Румянцеву, "Исторія медицины въ Россіп", Рихтера, и переводъ Дестуниса "Плутарховыхъ Жизнеописаній". Но что за страшная обдность по части собственно такъ называемой изящной словесности! Переводъ Делплевой поэмы "Сады", г. Палицына, описательная поэма князя Шихматова "Сельскій Житель", стихотвореніе Державина "Христосъ", "Ночь на размышленіе", князя Шихматова, и "Размышленіе о судьов", князя Долгорукова. Все это поэмы въ дидактическомъ родѣ, который тогда быль особенно въ ходу, а теперь давно уже признанъ анти-поэтическимъ и забытъ совершенно. Потомъ въ обозрвнін г. Греча упоминается объ изданін басенъ и сказокъ Александра Измайлова и о басняхъ какого-то г. Агафи, и въ заключение замічено, что басни Крылова были помінаемы въ журналахъ. Вотъ и все! Авторъ обозрѣнія замѣчаетъ, что въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ XIX стольтія вышло болье сочиненій, нежели прежде того въ теченіе десяти літь; но что, по причині политическихъ обстоятельствъ того времени, съ 1806 до 1814 года, дитературное движение въ Россін почти совсёмъ остановилось. Въ продолженіе второй половины 1812 и первой 1813 годовъ не только не вышло въ свътъ, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имела предметомъ тогдашнихъ происшествій. "Наконецъ, въ 1814 году, поворить авторъ обозренія, увенчавшемъ всё напряженія и труды истекшихъ лёть, русская литература, носвящая поэзію и краснорічіе въ честь и славу великаго монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уровненный и огражденный навсегда. Въ теченіе сего года вышли многія сочиненія и переводы, которые останутся незабвенными въ лътописяхъ нашей литературы". Это отчасти справедливо, только не въ отношеніи къ произведеніямъ поэзін... Замічательно, что, признавая бъдность нъкоторыхъ разрядовъ своего обозрѣнія, авторъ, какъ успѣху русской литературы, радуется тому, что въ течение 1814 года вышло въ Петербургъ и Москвъ только по одному роману (оба переведены съ немецкаго), да две историческія пов'єсти! Не думаль онь тогда, что романъ и повъсть скоро стануть во главъ всъхъ родовъ поэзін, и что самъ онъ напишетъ нѣкогда

"Нойздку въ Германію" и "Черную Женщипу"! Но вотъ еще характеристическая черта нашей литературы, или, лучше сказать, нашей публики,—черта, о которой, къ сожальнію, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариною: извъстнаго путешествія Крузенштерна вокругъ свъта, изданнаго въ 1809—1813 годахъ, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, и нутешествія вокругъ свъта Лисянскаго, изданнаго въ 1812 году, на русскомъ и англійскомъ языкахъ, въ Россіи разошлось,—говоритъ авторъ обозрѣнія,—едва ли по двъсти экземиляровъ каждаго, между тъмъ какъ въ Германіи вышло три изданія путешествія Крузенштерна, а въ Лондонъ продана въ двъ недѣли половина экземиляровъ книги Лисянскаго.

Годичныя обозрѣнія появились въ альманахахъ вследствіе начинавшаго возникать критическаго духа. Приступая къ обозрвнію литературы извізстнаго года, критикъ начиналъ иногда очеркомъ всей исторін русской литературы. Писать эти обозржнія тогда было очень легко и очень трудно. Легко, потому что все ограничивалось легкими сужденіями, выражавшими личный вкусь обозравателя; трудно, или, лучше сказать, скучно, потому что это была работа дробная, мелкая: надо было перечислять рѣшительно все, что появилось въ теченіе обозрѣваемаго года отдѣльно изданнымъ, въ журналахъ и альманахахъ, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда, по части изящной словесности, въ журналахъ и альманахахъ? -- большею частію крошечные отрывки изъ маленькихъ поэмъ, изъ романовъ, повъстей, драмъ и т. п. Большею частію цёлыхъ сочиненій и не существовало: отрывокъ писался безъ всякаго намфренія написать цёлое. О каждой такой бездёлицё надо было упомянуть и сказать свое мивніе, потому что тогда, при началь такъ называемаго романтизма, все было ново, все интересовало собою, все считалось важнымъ событіемъ--и отрывокъ изъ несуществующей поэмы въ двадцать стиховъ счетомъ, и элегія, и сотое подражаніе какой-нибудь піесь Ламартина, переводъ романа Вальтеръ-Скотта и переводъ романа какого-нибудь Фанъдеръ-Фельде.

Въ этомъ отношении теперь гораздо лучше писать обозрѣнія. Теперь уже не считается принадлежащимъ къ литературѣ все, что ни выходитъ изъ-подъ типографскихъ станковъ. Теперь многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Конечно, переводъ такого романа, какъ "Домби и Сынъ", и теперь замъчательное явление въ литературѣ, и обозрѣватель не въ правѣ пропустить его безъ вниманія; но зато переводы романовъ Сю, Дюма и другихъ французскихъ беллетристовъ, появляющіеся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явленіями. Опи иншутся сплеча, ихъ цёль-выгодный сбыть, доставляемое ими наслаждение извъстному разряду любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу, но не къ эстетическому, а къ тому, который у однихъ удовлетворяется сигарами, у другихъ-щелканіемъ оръшковъ... Публика нашего

времени уже не та, что была прежде. Произволъ критики уже не можетъ убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Французские романы наполняють собою наши журналы и издаются особо; въ томъ и другомъ случат они находять себъ множество читателей. Но по этому отнюдь не слъдуеть делать резкихъ заключеній о вкусе публики. Многіе берутся за романъ Дюма, какъ за сказку, впередъ зная, что это такое, читаютъ его съ темъ, чтобы развлечь себя на время чтенія небывалыми приключеніями, а потомъ и забыть ихъ навсегда. Въ этомъ, разумфется, пътъ ничего дурного. Одинъ любитъ качаться на качеляхъ, другой — вздить верхомъ, третій — плавать, четвертый-курить, и многіе, вмаста съ этимъ, любять читать вздорныя сказки, хорошо разсказываемыя. Поэтому переводные романы и повъсти уже не заслоняють собою оригинальныхъ; напротивъ, общій вкусь публики отдаеть последнимь решительное предпочтение, такъ что помъщать въ журналахъ пренмущественно переводные романы и повъсти заставляетъ журналистовъ только одна крайность, т. е. недостатокъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ этого рода. ІІ такое направленіе вкуса публики становится замътнъе и опредълениъе годъ отъ году. Въ отпошении же къ оригинальнымъ произведеніямъ очарованіе именъ совершенно псчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставить каждаго взяться за новое сочинение, но уже никто не придеть отъ него въ восторгъ, если въ немъ хорошаго одно только имя автора. Сочиненія посредственныя, слабыя проходять незам'ітными, умирають своею смертію, а не оть ударовъ критики. Такому положенію литературы, столь различному отъ того, въ какомъ она находилась лътъ двадцать назадъ тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчеть въ годичномъ движеніи литературной деятельности, теперь нечего обращать вниманіе на количество произведеній или хлопотать объ оценкъ каждаго явленія, изъ опасенія, что, безъ указаній критики, публика не будеть знать, что считать ей хорошимъ и что-дурнымъ. Нътъ даже нужды останавливаться на каждомъ норядочномъ произведении и вдаваться въ подробный разборъ всёхъ его красоть и недостатковъ. Подобное внимание принадлежить теперь по праву только особенно замічательнымь, въ ноложительномъ или отрицательномъ смыслѣ, произведеніямъ. Главная же задача туть-показать преобладающее направленіе, общій характеръ литературы въ данное время, проследить въ ея явленіяхъ оживляющую и движущую ее мысль. Только такимъ образомъ можно если не определить, то хоть наменнуть, насколько истекшій годь подвинуль впередъ литературу, какой прогрессъ совершила она въ немъ.

Собственно повымъ 1847 годъ ничѣмъ не ознаменовалъ себя въ литературѣ. Явились въ преобразованномъ видѣ иѣкоторыя изъ старыхъ періодическихъ изданій, явился даже одинъ новый листокъ; замѣчательными произведеніями по части изящной словесности прошлый годъ былъ особенно

богать въ сравненіи съ предшествовавшими годами; явилось несколько новыхъ именъ, новыхъ талантовъ и действователей по разнымъ частямъ литературы. Но не явилось ни одного изъ тъхъ ярко-замѣчательныхъ произведеній, которыя свонмъ появленіемъ делають эпоху въ исторіп литературы, дають ей новое направление. Воть ночему мы говоримъ, что собственно новымъ литература прошлаго года ничтить не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, котораго нельзя назвать ни новымъ, потому что онъ успѣлъ уже обозначиться, ни старымъ, потому что слишкомъ недавно открылся для литературы, — именно иемного раньше того времени, когда въ первый разъ было къмъто выговорено слово: "натуральная школа". Съ тъхъ поръ прогрессъ русской литературы въ каждомъ новомъ году состоялъ въ болбе твердомъ ея шагв въ этомъ направленін. Прошлый 1847 годъ быль особенно замёчателень въ этомъ отношенін, въ сравненіи съ предшествовавшими ему годами, какъ по числу и замъчательности върныхъ этому направленію произведеній, такъ и большею опредъленностію, сознательностію и силою самого направленія и большимъ его кредитомъ у публики.

Натуральная школа стоить теперь на первомь планъ русской литературы. Съ одной стороны, нисколько не преувеличивая дёла, по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это фактъ, а не предположение. Теперь вся литературная діятельность сосредоточилась въ журналахъ: а какіе журналы пользуются большею извёстностію, им'єють болье общирный кругь читателей и большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и пов'єсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не ти, которые принадлежать натуральной школь, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повъсти, не принадлежащие къ натуральной школь? Какая критика пользуется большимъ вліяніемъ на мижніе публики, или, лучше сказать, какая критика болфе сообразиа съ мивніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стопть за натуральную школу противъ риторической? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорять, спорять, на кого безпрестанно нападають съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу? Партін, ничего не имѣющія между собою общаго, въ нападкахъ на натуральную школу, дъйствуютъ согласно, единодушно, приписывають ей мивнія, которыхъ она чуждается, намеренія, которыхъ у нея никогда не было, ложно неретолковывають каждое ея слово, каждый ея шагь, то бранять ее съ запальчивостію, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общаго между заклятыми врагами Гоголя, представителями побъжденнаго риторическаго направленія, и между такъ называемыми славянофилами?— Ничего!—и однако-жъ послъдніе, признавая Гоголя основателемъ натуральной школы, согласно съ первыми, нападають, въ томъ же тонъ, тъми же

словами, съ такими же доказательствами, на натуральную школу, и почли за нужное отличиться оть своихъ новыхъ союзниковъ только логическою непоследовательностію, вследствіе которой ови поставили Гоголю въ заслугу то самое, за что преследують его школу, на томь основанін, что онъ инсаль по какой-то "потребности внутренняго очищенія". Къ этому должно прибавить, что школы, пепріязненныя натуральной, не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замёчательнаго произведенія, которое доказало бы дёломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоноложными темъ, которыхъ держится натуральная школа. Всё попытки ихъ въ этомъ роде послужили къ торжеству натурализма и паденію риторизма. Видя это, ижкоторые изъ противниковъ натуральной школы нытались противопоставлять ей ея же писателей. Такъ, одна газета думала г. Бутковымъ уничтожить авторитетъ самого Гоголя...

Все это нисколько не ново въ нашей литературт, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвель раздёление въ едва возникавшей тогда русской литературъ. До него всъ были согласны во всёхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, опи выходили не изъ мивній и убълденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Тредьяковскаго и Сумарокова. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней такъ называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевель ее изъ книги въ жизиь, изъ школы въ общество. Тогда, естественео, явились и партіп, началась война на перьяхъ, раздались вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредять добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лицъ его противниковъ, казалось, вновь возстала русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ и, темъ более, безплоднымъ напряжениемъ отстаивала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонъ права, т. е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей; воили противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонинковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значение и свою значительность, все — даже его противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ литературы того времени. Но что вся эта тревога въ сравненін съ бурею, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всёмъ, что нётъ нужды распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видёли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзін, несомижний вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и-повфрять ли теперь этому? - для общественной вравственности!!. Не желая шевелить старыя дрязги, мы удерживаемся отъ всякихъ указаній, но если у насъ ихъ потребують, мы всегда готовы представить печатныя доказательства. Въ одной крптикъ на "Графа Нулина" Пушкинъ обвинялся въ неприличін, доходящемъ до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она писана: такъ и кажется, что это сейчасъ написанная статья противъ какого-нибудь произведенія теперешней натуральной школы: тотъ же языкъ, тѣ же доводы, та же манера браться за дѣло, какія и теперь употребляются въ нападкахъ на натуральную школу.

Что же за причина, что противники всякаго движенія впередь во всё эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и тёми же словами?

Причина этого скрывается тамъ же, гдъ надо искать и происхожденія патуральной школы, — въ исторін нашей литературы. Она началась натурализмомъ: первый свътскій писатель быль сатирикъ Кантемиръ. Несмотря на подражание латинскимъ сатирикамъ и Буало, онъ умелъ остаться оригинальнымъ, потому что былъ вёренъ натуръ и писаль съ нея. Къ несчастію, однообразіе избраннаго имъ рода, грубость и необработанность языка, несвойственный нашей поэзін силлабическій метръ не допустили Кантемира быть образцомъ и законодателемъ въ русской поэзін. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но какъ Кантемиръ все-таки остается челов комъ съ необыкновеннымъ талантомъ, то его и нельзя выключить изъ русской исторіи литературы, какъ перваго, по времени, ея поэта. Поэтому мы въ правъ сказать, не нскажая фактовъ и не дёлая натяжекъ, что русская поэзія, при самомъ началь своемъ, потекла, если можно такъ выразиться, двумя парадлельными другь другу руслами, которыя чёмь далье, тъмъ чаще сливались въ одинъ потокъ, разовгаясь послѣ опять на два, до тѣхъ поръ, пока въ наше время не составили одного целаго. Въ лицъ Кантемира, русская поэзія обнаружила стремленіе къ дъйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натуръ. Въ лицѣ Ломоносова, она обнаружила стремленіе къ ндеалу, поняла себя, какъ оракула жизни высшей, выспренней, какъ глашатая всего высокаго и великаго. Оба эти направленія были законны и оба вышли не изъ жизни, а изъ теоріи, изъ книги, изъ школы. Но манера, съ какою Кантемиръ взялся за дёло, утверждаеть за первымъ направленіемъ препмущество истины и реальности. Въ Державинъ, какъ талантъ высшемъ, оба эти направленія часто сливались, и его оды къ "Фелицъ", "Вельможа", "На Счастіе" едва ли не лучшія его произведенія, по крайней мірі, безь всякаго сомнѣнія, въ нихъ больше оригинальнаго, русскаго, нежели въ его торжественныхъ одахъ. Въ басняхъ Хемнецера и въ комедіяхъ Фонвизина отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ уже реже переходить въ преувеличение и карикатуру, становится болже натуральною, по мфрф того, какъ становится болье поэтическою. Въ басияхъ Крылова сатира дёлается вполн' художественною; натурализмъ становится отличительною характеристическою чертою его поэзін. Это быль первый великій натуралисть въ нашей поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія

"низкой природы", особенно за басню "Свинья". Посмотрите, какъ натуральны его животныя: это настоящіе люди, съ р'єзко очерченными характерами, и притомъ люди русскіе, а не другіе какіе-нибудь. А его басни, въ которыхъ дъйствующія лица — русскіе мужички? Не есть ли это верхъ натуральности? И однако-жъ теперь уже не упрекають Крылова ни за свинью, которая, "не жалъя рыла, весь задній дворъ изрыла", ни за то, что въ своихъ басняхъ онъ выводиль мужиковъ, да еще заставлять ихъ говорить самымъ мужицкимъ складомъ. Скажутъ: то басня, то такой ужъ родъ поэзін. А развѣ законы изящнаго не одинаковы для встхъ его родовъ? Дмитріевъ писаль тоже басни и въ нихъ изрѣдка вводиль, эпизодически, крестьянь; но его басни, имъющія свои неотъемлемыя достоинства, нисколько не отличаются натуральностію, и его крестьяне говорять въ нихъ какимъ-то общимъ, не принадлежащимъ исключительно ни одному сословію языкомъ. Причина этой разницы лежить въ томъ, что поэзія Дмитріева и въ басняхъ его, также, какъ и въ одахъ, шла отъ Ломоносова, а не отъ Кангемира, держалась идеала, а не дъйствительности. Теорія Ломоносова опиралась на древнихъ, какъ понимали ихъ тогда въ Европъ. Карамзинъ и Дмитріевъ, особенно послъдній, смотръли на искусство глазами французовъ XVIII въка. А извъстно, что французы того времени понимали искусство, какъ выражение жизни не народа, а общества, и притомъ только высшаго, дворскаго, и приличие считали главнымъ и первымъ условіемъ поэзін. Оттого у нихъ греческіе и римскіе герои ходили въ нарикахъ и говорили героинямъ: madame! Эта теорія глубоко проникла въ русскую литературу, и, какъ увидимъ далъе, слъды ея вліянія не изгладились совствы и до сихъ поръ...

Озеровъ, Жуковскій и Батюшковъ прододжали собою направленіе, данное нашей поэзіп Ломоносовымъ. Они были върны идеалу, но этотъ идеалъ у нихъ становился все менъе и менъе отвлеченнымъ и риторическимъ, все больше и больше сближающимся съ дёйствительностію или, по крайней мъръ, стремившимся къ этому сближенію. Въ произведеніяхъ этихъ писателей, особенно двухъ последнихъ, языкомъ поэзін заговорили уже не одни оффиціальные восторги, но и такія страсти, чувства и стремленія, источникомъ которыхъ были не отвлеченные идеалы, но человическое сердце, человъческая душа. Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достижение относится къ стремленію. Въ пей слились въ одинъ широкій потокъ оба, до того текшіе раздільно, ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордъ и чисто-русские звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смълостію, въ то время удивившею всёхъ, врести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ, не съ

кинжалами и пистолетами, а съ широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ, съ оборванными шатрами между колесами телътъ, съ плящущимъ медвъдемъ и нагими дътьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, быль тоже неслыханною дотолъ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ "Евгенін Онъгинь" идеалы еще болье уступили мъсто дъйствительности, или, по крайней мірь, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тымь н другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзін нашего времени. Туть уже натуральность является, не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ върное воспроизведение дъйствительности, со всъмъ ея добромъ и зломъ, со всеми ея житейскими дрязгами; около двухъ или трехъ лицъ, опоэтизированныхъ или нъсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмъшнще, какъ уроды, какъ исключение изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романъ, инсанномъ стихами!

Что же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ? Онъ всёми силами стремился къ сближению съ дъйствительностію, къ натуральности. Вспомните романы и повъсти Наръжнаго, Булгарина, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здёсь не мёсто развуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдёлалъ, чей таланть быль выше; мы говоримь объ общемь имь всвиъ стремленін-сблизить романъ съ двйствительностію, сдёлать его вёрнымь ея зеркаломь. Между этими попытками были очень замъчательныя, но, тъмъ не менъе, всъ онъ отзывались переходною эпохою, стремились къ новому, не оставляя старой колен. Весь успъхъ заключался въ томъ, что, несмотря на воили старовфровъ, въ романъ стали появляться лица всёхъ сословій, и авторы старались поддёлываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишкомъ отзывалась маскарадностью: русскія лица низшихъ сословій походили на переряженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ геніальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русскій быть, изъ-подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сділаль для этого; но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту. Въ "Свверныхъ Цветахъ" на 1829 годъ явился отрывокъ изъ романа Пушкина: "Арапъ Петра Великаго", подъ заглавіемъ: "ІУ глава изъ историческаго романа". Этотъ маленькій отрывокъ былъ верхъ натуральности! Въ такой тъсной рамкъ такая широкая картина правовъ эпохи Петра Великаго! Но, къ сожалѣнію, этого романа было написано всего только шесть главъ в начало седьмой (вполнѣ онѣ были напечатаны уже по смерти Пушкина).

Съ появленія "Миргорода" и "Арабесокъ" (въ 1835 году), и "Ревизора" (въ 1836) начинается полная извъстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Изъ всёхъ сужденій объ этомъ писатель, высказанныхъ почитателями его таланта, самое замычательное и близкое къ истины едва ли не принадлежить человыку, который вовсе не принадлежить къ числу его почитателей, и который, какъ будто въ какомъ-то внезаиномъ вдохновеніи, самъ не зная какъ, вышелъ на минуту изъ своей обычной колеи, которой былъ выренъ всю жизнь, проговоривши о Гоголы слыдующій диенрамбъ:

"Всъ произведенія Гоголя обнаруживають въ немъ самоувъренность, стремленіе къ самодъятельпости, какое-то умышленное, насм'яшливое пренебрежение къ прежнимъ знаніямъ, опытамъ и образцамъ; онъ читаетъ только книгу природы, изучаеть только мірь дъйствительный; потому его ндеалы слишкомъ естественны и просты до наготы; они, по выраженію Ивана Никифоровича, одного изъ его созданій, являются передъ читателемъ въ натуръ. Красоты его созданій всегда повы, свъжи, поразительны; ошибки чуть не отератительны (?); онг., какт будто забывт исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искусствъ, вызывая его изъ небытія зъ простонравное (?) хаотическое (?!) состояніе; потому-то его искусство какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ-великій художникъ, не знающій исторін и не видавшій образцовъ искусства".

Въ этомъ, исполненномъ лирическаго безпорядка, диопрамбъ, безъ воли и сознанія автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя-оригинальность и самобытность, отличающія его отъ всёхъ русскихъ писателей. Что это сдёлано нечалино, по вдохновенію, доказывается п нараллелью, которую проводить авторъ между Гоголемь и — къмъ бы вы думали? — г. Кукольникомъ!!--и странними, противоръчащими словами и выраженіями въ самомъ пепрамбъ, доказывающими, что не въ волѣ человъка даже на минуту, п притомъ въ порывъ вдохновенія, совершенно оторваться отъ обычной колен своей жизни. Надо сказать, что авторъ-теоретикъ и всю жизнь провель въ составлении и преподавании разныхъ риторикъ и пінтикъ, которыя, какъ и всё книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но съ толку сбили многихъ. Вотъ почему его особенно поразила въ сочиненіяхъ Гоголя ихъ нолная отрѣшенность и независимость отъ всякихъ школьныхъ правилъ и преданій, — н если онъ не могъ, съ одной стороны, не вмёнить ему этого въ заслугу, то, съ другой, не могъ того же самаго не поставить ему въ заслуженный упрекъ. Отсюда и увидаль онь въ сочиненіяхъ Гоголя "ошибки, чуть не отвратительныя", и "простонравное хаотическое состояніе искусства". Спросите его, какія это ошибки,--и мы увтрены, что онъ прежде всего укажеть на будочника, который казнить звёря на ногть (въ "Мертвыхъ Душахъ"), и этимъ фактомъ подтвердитъ окончательно, что Гоголь "не знаетъ исторіи и не видаль образцовъ искусства" А между тъмъ Гоголю, въроятно, извъстнъе, нежели его критику, что одна изъ извъстивищихъ галлерей въ Европ'в хранить, какъ безц'внюе сокровище, картину великаго Мурильо, представляющую мальчика, который съ усердіемъ и обстоятельно занимается темъ, что будочникъ сдёлалъ спросонья и мимоходомъ.

Какъ бы то ни было, но д'вйствительно вліяніе теорій и школь было одною изъ главныхъ причинъ, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой вракдебности, искренно и добросовъстно видъли въ Гоголь не болье, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вследствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другою стороною, и важнаго значенія, которое онъ быстро пріобраталь въ общественномъ мнанін. Въ самомъ дала, какъ ни ново было, въ свое время, направленіе Карамзина, — оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всёхъ баллады Жуковскаго, сь ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами н мертведами, -- но за нихъ были имена корифеевъ пъмецкой литературы. Самъ Пушкинъ, съ одной стороны, быль подготовлень предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себф легкіе следы ихъ вліянія, а съ другой стороны, его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всёхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона—авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теорін, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ быль противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть ихъ изъ головы, забыть о ихъ существованін, —а это для многихъ значило бы переродиться, умерсть и вновь воскреснуть. Чтобы яснъе сдёлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находится Гоголь къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно, и въ тьхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляють чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнівнія, есть элементы русскіе; но кто укажеть ихъ? Какъ доказать, что, напримёръ, поэмы: "Моцартъ и Сальери", "Каменный Гость", "Скупой Рыцарь", "Галубъ" могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могь бы написать поэтъ другой націн? То же можно сказать и о Лермонтовъ. Всъ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нътъ соперниковъ въ искусствъ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаеть, не украшаеть, вследствіе любви къ ндеаламъ, или какихъ-нибудь заранъе принятыхъ идей, или иривычныхъ пристрастій, какъ, напримъръ, Пушкинъ въ "Онфгинф" идеализировалъ помфщицкій бытъ. Конечно, преобладающій характеръ его сочиненійотрицаніе; всякое отрицаніе, чтобы быть живымъ н поэтическимъ, должно делаться во имя идеала,и этогъ идеалъ у Гоголя также не свой, т. е. не туземный, какъ и у всёхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла пать литератур'в этотъ идеаль. Но нельзя же не согласиться съ тёмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ невозможно предложить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэть другой націп? Изображать русскую дійствительность, и съ такою поразительною върностію и истиною, разумѣется, можетъ только русскій поэть. И воть пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша была плодомъ сознательной мысли, явилась, какъ нововведение, началась подражательностію. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдълаться естественною, натуральною. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успъхами, и составляетъ смыслъ и душу исторін нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателъ это стремленіе не достигло такого усивха, какъ въ Гоголъ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращение искусства къ действительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все внимание на толну, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только псключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняють поэтовъ на идеализированіе и носять на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди стараго образованія и вмёняють ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзін, какъ "украшенной природы", но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сделать. Къ нимъ идетъ другое определение искусства-какъ воспроизведенія действительности во всей ея истинъ. Туть все дёло въ типахъ, а идеалъ туть понимается, не какъ украшение (следовательно, ложь), а какъ отношенія, въ которыя авторъ становить другь къ другу созданные имъ типы, сообразно съ мыслію, которую онъ хочеть развить своимъ произведеніемъ.

Искусство въ наше время обогнало теорію. Старыя теорін потеряли весь свой кредить; даже люди, воспитанные на нихъ, слъдують не имъ, а какой-то странной смѣси старыхъ понятій съ новыми. Такъ, напримъръ, нъкоторые изъ нихъ, отвергая старую французскую теорію, во имя романтизма, первые подали соблазнительный примъръ выводить въ романт лица низшихъ сословій, даже негодяевъ, къ которымъ шли имена Вороватиныхъ и Ножовыхъ; но они же потомъ оправдывались въ этомъ темъ, что, вмёсте съ безнравственными лицами, выводили и нравственныя, подъ именемъ Правдолюбовыхъ, Благотворовыхъ и т. п. Въ первомъ случав видно было вліяніе новыхъ пдей, во второмъ-старыхъ, потому что по рецепту старой пінтики необходимо было на нѣсколько глупцовъ отнустить хоть одного умника, а на нѣсколькихъ негодяевъ хоть одного добродфтельнаго человфка *). Но въ обоихъ случаяхъ эти междоумки совершенно унускали изъ виду главное, т. е. искус-

ство, потому что и не догадывались, что ихъ и добродътельныя, и порочныя лица были не люди, не характеры, а риторическія олицетворенія отвлеченных добродътелей и пороковъ. Это лучше всего объясняеть, почему для нихъ теорія, правило важиве двла, сущности: последнее недоступно ихъ разумѣнію. Впрочемъ, отъ вліянія теоріи не всегда избътають и таланты, даже геніальные. Гоголь принадлежить къ числу немногихъ, совершенно избътнувшихъ всякаго вліянія какой бы то ни было теорін. Умѣя понимать искусство и удивляться ему въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, онь темь не менее пошель своей дорогою, следун глубокому и върному художническому инстинкту, какимъ щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успъхами на подражание. Это, разумъется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполнт ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойствомъ его личности и, следовательно, подобно таланту, даромъ природы. Отъ этого онъ и показался для многихъ какъ бы извит вошедщимъ въ русскую литературу, такъ какъ на самомъ дёлё онъ былъ ея необходимымъ явленіемъ, требовавшимся всёмъ предшествовавшимъ ея развитіемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всё молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и некоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали унизить названіемъ натуральной. Послѣ "Мертвыхъ Душъ" Гоголь ничего не написалъ. На сценъ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дълаются выходки противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняють ее? Обвиненій немного, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ея, будто бы, постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ быта этого сословія одни некренно, другіе умышленно видели влонамеренныя карикатуры. Съ некотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняють писателей натуральной школы за то, что они любять изображать людей низкаго званія, делають героями своихъ повъстей мужиковъ, дворниковъ, извозчиковъ, описываютъ углы, убъжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитріева, избиравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные, и приводять въ примъръ забытаго теперь изящества чувствительную пъсенку: "Всъхъ цвъточковъ болъ розу я любилъ". Мы же напомнимъ имъ, что первая замьчательная русская повъсть была написана Карамзинымъ, и ея геропня была обольщенная петиметромъ крестьянка-б вдная Лиза... Но тамъ, скажуть онй, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступить самой благовоспи-

^{*)} Тогда слово резонёрт для комедін было такимъ же техническимъ словомъ, какъ и jeune premier, первый любовникъ, или примадонна для оперы.

танной барыший. Воть мы и дошли до причины снора: тугъ виновата, какъ видите, старая пінтика. Она позволяеть изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одътыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говорить, а тёмъ менёе крестьяне, — языкомъ литературнымъ, украшеннымъ "сими, оными, коими, таковыми", и т. п. Да чего же лучше: пастушки и пастушки французскихъ писателей XVIII въка представляють готовый и прекрасный образець для изображенія русскихъ крестьянъ и крестьянокъ; берите цъликомъ: вотъ вамъ и соломенныя шляны съ голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки съ ретрусманами, башмаки на высокихъ красныхъ каблукахъ. Только въ языкъ держитесь домашнихъ литературныхъ привычекъ, потому что французы никогда не любили щеголять обветшалыми, неупотребляемыми въ разговорѣ словами. Это замашка чисто-русская; у насъ даже первоклассные таланты любять "брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, гласъ" и тому подобныя принадлежности такъ называемаго "высшаго слога". Короче: старая пінтика позволяеть изображать все, что вамъ угодно, но только предписываеть, при этомъ, изображаемый предметь такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку—Кузьмою: онъ можеть снять съ Архииа такой портреть, который не будеть походить не только на Сидора, но и ни на что на свътъ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слъдуетъ совершенно противному правилу; возможно-близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образцами въ дъйствительности не составляеть въ ней всего, но есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можеть быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же, послъ этого, не любить и не чтить старой пінтики темъ писателямь, которые когда-то умъли и безъ таланта съ успъхомъ подвизаться на поприщъ поэзін? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это, конечно, относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмѣшалось самолюбіє; но найдется много и такихъ, которые но искреннему убъждению не любять естественности въ искусствъ, вслъдствіе вліянія на нихъ старой пінтики. Эти люди съ особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. "Бывало,—говорять они, поэзія поучала забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и см'єющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бъдности, но бъдности опрятной, умытой, выра-

жающейся скромно и благородно; притомъ же къ концу повъсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дъвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благод тельный молодой человъкъ, н во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдф была бъдность и нищета, и благодарныя слезы орошали благод втельную руку-и читатель невольно подносиль свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добръе и чувствительные... А теперы!-посмотрите, что теперь пишуть! мужики въ лаптяхъ и сермягахъ, часто отъ нихъ несеть снвухою; баба-родъ центавра, по одеждъ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; у г л ы-убѣжища инщеты, отчаянія н разврата, до которыхъ надо доходить по двору, грязному по колтни; какой-нибудь пьянюшкаподъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы, —все это списывается съ натуры, въ наготъ страшной истины, такъ что, если прочтешь, —жди ночью тяжелых сновъ... "Такъ или почти такъговорятъ маститые питомцы старой пінтики. Въ сущности, ихъ жалобы состоять въ томъ, зачёмь поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дётской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, зачёмъ отказалась она быть гремушкою, подъ которую дётямъ пріятно и прыгать, и засыпать. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дътьми и даже въ старости быть несовершеннол втними, недорослями, и вотъ они требують, чтобы и вст походили на нихъ! Да читайте свои старыя сказки---никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннольтію. Вамь-ложь, намьистина: раздѣлимся безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... Но этому полюбовному раздёлу мёшаеть другая причина-эгонзмъ, который считаетъ себя добродътелью. Въ самомъ дълъ, представьте себъ человъка обезпеченнаго, можетъ быть, богатаго; онъ сейчась пообъдаль сладко, со вкусомь (поварь у него прекрасный), устлен въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ, съ чашкою кофе, передъ нылающимъ каминомъ: тепло и хорошо ему; чувство благосостоянія дёлаеть его веселымъ, — и вотъ беретъ онъ книгу, лъниво переворачиваетъ ея листы,и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаеть съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ. И есть отъ чего! книга говорить ему, что не веб на свётё живуть такъ хорошо, какъ онъ, что есть углы, гдв подъ лохмотьями дрожить отъ холоду цёлое семейство, можеть быть, недавно еще знавшее довольство,что есть на свъть люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, — что последняя конейка идеть на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совъстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталь тоску и скуку. Прочь ее! "Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много

тажелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!" — восклицаеть онь. — Такъ, милый, добрый сибарить, для твоего сиокойствія и книги должны лгать, и б'єдный забывать свое горе, голодный свой голодъ; стоны страданій должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетить, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положении другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать баль, срокь приближался, а денегь не было: управляющій его, Никита Федорычь, что - то замъшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, -- балъ можно дать; съ спгарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежить онь на дивань, и, оть нечего делать, руки его лениво протягиваются къ книге. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываеть ему появиги его Никиты Федорыча, подлаго холопа, съ увтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то, не знакомому ни съ какимъ человъческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всёхъ Антоновъ... Скоръе прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состоянін челов'єка, который въ детстве бегалъ босикомъ, бываль на посылкахъ, а лътъ подъ пятьдесять какъ-то очутился въ чинахъ, имъетъ "малую толику". Всъ читають — надо и ему читать, но что находить онъ въ книгъ? — свою біографію, да еще какъ върно разсказанную, хотя, кромъ его самого, темныя похожденія его жизни-тайна для всёхъ, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбышонь, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: "Вотъ какъ иншутъ нынъ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нёжныхъ или возвышенныхъ,читать сладко и обидеться нечемь!"

Есть особенный родъ читателей, который, по чувству аристократизма, не любитъ встръчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно не знающими приличія и хорошаго тона, не любить грязи и нищеты, по ихъ противоположности съ роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школь не иначе, какъ съ высокомърнымъ презриніемъ, проническою улыбкою... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся "подлою чернью", которая въ ихъ глазахъ ниже хорошей лошади? Не спѣшите справляться о нихъ въ геральдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они не тздать ко двору, и если видали большой свъть, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освъщенныя окна, насколько позволяли сторы и занавъски... Предками они не могутъ похвалиться; они обыкновенно-или чиновники, или изъ новаго дворянства, богатаго только плебейскими преданіями о д'адушка-управляющемь, о дядюшка-откупщикъ, а иногда и о бабушкъ-просвирнъ и тетушкѣ-торговкѣ. Авторъ этой статьи считаетъ при этомъ обязанностію довести до свёдёнія своихъ читателей, что упрекать ближняго незнатностью происхожденія вовсе не въ его привычкахъ и положительно противно всемъ его убежденіямъ, и что онъ самъ отнюдь не стыдится признаться въ этомъ. Но онъ думаетъ, - и, въроятно, читатели его согласятся съ нимъ, -- что ничего нътъ пріятнъе, какъ оборвать съ вороны павлиныя перья и доказать ей, что она принадлежить къ той породъ, которую вздумала презпрать. Человъкъ простого званія еще не ворона потому, что онъ простого званія; вороною ділаеть пе званіе, а природа, и вороны также бывають во всёхь званіяхь, какь во всёхь же званіяхь бывають и орлы, но, конечно, только воронъ свойственно рядиться въ павлиныя перья и величаться ими. Такъ почему же не сказать воронъ, что онаворона? Презрѣніе къ низшимъ сословіямъ въ наше время отнюдь не есть порокъ высшихъ сословій; напротивъ, это бользнь выскочекъ, порожденіе нев'тжества, грубости чувствъ и понятій. Умный и образованный человакъ, если-бъ онъ быль одержимь этою болёзнью, никогда не обнаружить ел, потому что она не въ духв времени, потому что показать ее - значить каркнуть о себѣ во все воронье горло. Намъ кажется, что, какъ ни гадко лицемъріе, но въ этомъ случав оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидетельствуеть объ уме. Павлинь, горделиво распускающій пышный хвость свой передъ другими птицами, слыветь животнымъ красивымъ, но не умнымъ. Что же сказать о воронъ, спесиво выказывающей заимствованный нарядъ? Подобная спесь всегда чужда ума и есть порокъ по преимуществу илебейскій. Гдѣ больше ломанья и притязаній, какъ не въ тъхъ слояхъ общества, которые начинаются тотчасъ послѣ самыхъ инзшихъ? А это потому, что тугъ всего больше невъжества. Посмотрите, какъ глубоко презираетъ лакей мужика, который во всёхъ отношеніяхъ лучше, благороднье, человьчные его! Откуда эта гордость въ лакећ?-Онъ перенялъ пороки своего барипа и оттого считаеть себя далеко образованиве мужика. Внъшній лоскъ грубыми натурами всегда принимается за образованность.

"Что за охота наводнять литературу мужиками?"-восклицають аристократы извёстнаго разряда. Въ ихъ глазахъ инсатель-ремесленникъ, которому какъ что закажуть, такъ онъ и делаеть. Имъ въ голову не входить, что, въ отношени къ выбору предметовъ сочиненія, писатель не можетъ руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственнымъ произволомъ, --- нбо искусство имфетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуеть, чтобы писатель быль вфрень собственной натурф, своему таланту, своей фантазін. А чемъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой-мрачные, если не натурою, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чъмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаеть, то лучше и изображаеть. Воть самое законное оправдание поэта, котораго упрекають за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслять въ искусствъ и грубо смъшивають его съ ремесломъ. Природа — вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднійшій предметь въ природь-человькъ. А развъ мужикъ-не человъкъ? -Но что можеть быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ?—Какъ что?—его душа, умъ, сердце, страсти, склонности, словомъ, все то же, что и въ образованномъ человъкъ. Йоложимъ, последній выше перваго; но разве ботанисть интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатомика и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвъщеннаго европейца? На какомъ же основани нскусство, въ этомъ отношения, должно такъ разниться отъ науки? А потомъ-вы говорите, что образованный человъкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свътскій чедовъкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношенін? Только въ свѣтскомъ образованін, а это нисколько не помѣшаетъ пному мужику быть выше его, напримъръ, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развиваеть нравственныя силы человъка, но не даеть ихъ: даеть ихъ челов ку природа. И въ этой раздач в драгоц вни вишихъ даровъ своихъ она дъйствуетъ слъпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходить больше замъчательныхъ людей, — это потому, что туть больше средствъ къ развитію, а совсёмъ не потому, чтобы природа была для людей низинхъ классовъ скупте въ раздачѣ даровъ своихъ. "Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся съкругу горемыка?"—говорять еще эти аристократы средней руки.—Какъ чему? разумфется, не свътскому обращению и не хорошему топу, а знанію человіка въ извістномъ положенін. Одинъ спивается отъ лічости, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другойотъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхь онъ, можеть быть, нисколько не виновать. Въ обоихъ случаяхъ это примъры поучительные и любопытные для наблюденія. Конечно, отвернуться съ презрѣніемъ отъ человѣка падшаго гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утъшеніе и помощь, также, какъ осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели, съ участіемъ и любовью, войти въ его положеніе, изследовать до глубины причину его паденія и пожальть о немъ, какъ о человъкъ, даже и тогда, когда онъ самъ окажется много виноватымъ въ своемъ паденін. Искупитель рода челов'йческаго приходиль въ міръ для всёхъ людей; не мудрыхъ и образованныхъ, а простыхъ умомъ и сердцемъ рыбаковъ призвалъ Онъ быть "ловцами человъковъ", не богатыхъ и счастливыхъ, а бъдныхъ,

страждущихъ, падшихъ искалъ Опъ, чтобы однихъ утъшить, другихъ ободрить и возстановить. Гнойныя язвы на едва прикрытомъ нечистыми лохмотьями тёлё не оскорбляли его исполненнаго любви и милосердія взгляда. Онъ-сынъ Богачеловъчески любилъ людей и сострадалъ имъ въ ихъ нищетъ, грязи, позоръ, развратъ, порокахъ, злодействахъ; Онъ разрешилъ бросить камень въ блудницу тъмъ, которые ничъмъ не могли упрекнуть себя въ совъсти, и устыдилъ жестокосердыхъ судей, и сказалъ падшей женщинъ слово утъшенія; и разбойникъ, пспуская духъ на орудін заслуженной имъ казни, за одну минуту раскаянія, услышаль отъ него слово прощенія и мира... А мы-сыны человъческие-мы хотимъ любить изъ нашихъ братій только равныхъ намъ, отворачиваемся отъ низшихъ, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ... Какія добродѣтели и заслуги дали намъ на это право? Не отсутствіе ли именно всякихъ добродѣтелей и заслугъ?.. Но божественное слово любви и братства не втунъ огласило міръ. То, что прежде было обязанностію только призванныхъ на служеніе алтарю лицъ или добродътелью немногихъ избраиныхъ натуръ, -- это самое дёлается теперь обязанпостью обществъ, служитъ признакомъ уже не одной добродътели, но и образованности частимхъ лицъ. Посмотрите, какъ, въ нашъ въкъ, вездъ заняты всё участью низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходить въ общественную, какъ вездъ основываются хорошо организованныя, богатыя вёрными средствами общества для распространенія просв'єщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждующимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбъжнаго слъдствія — безиравственности и разврата. Это общее движене, столь благородное, столь челов вческое, столь христіанское, встрътило своихъ порицателей въ лицъ поклонниковъ тупой и косной натріархальности. Они говорять, что туть действують мода, увлеченіе, тщеславіе, а не челов'єколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдё же въ лучшихъ человеческихъ дъйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могуть быть причиною такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновинки такихъ явленій, увлекающіе своимъ прим'тромъ толиу, не одушевлены болъе благородными и высокими побужденіями? Разумъется, лечего удивляться добродътели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродътель въ отношении къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дъятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это ли не отрадное въ высшей степени явление новъйшей цивилизацін, уситховъ ума, просвъщенія и образованности?

Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе,—въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества!

Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль; но за нее-то и нападаетъ на литературу безгербовная аристократія. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего онѣ стоятъ...

Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки эрфнія, во имя чистаго искусства, которое само себъ цъль и внъ себя не признаеть никакихъ цёлей. Въ этой мысли есть основаніе, но ел преувеличенность зам'ятна съ перваго взгляда. Мысль эта чисто-нёмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго; и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всёхъ и каждаго представляеть широкое поле для живой д'вятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Везъ всякаго сомнёнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нътъ поэзіп, —въ немъ не можеть быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что можно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намфреніе, дурно выполненное. Когда въ романъ или повъсти нъть образовъ и лицъ, нъть характеровъ, изтъ ничего типическаго — какъ бы върно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдеть туть никакой натуральности, не зам'ьтить ничего вёрно подмёченнаго, ловко схваченнаго. Лица будуть перемѣшиваться между собою въ его глазахъ; въ разсказѣ онъ увидить путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы синсывать вёрно съ натуры, мало умёть писать, т. е. владеть искусствомъ писца или инсаря: надобно умъть явленія дъйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и върно изложенное слъдственное дъло, имъющее романическій интересь, не есть романь и можеть служить развѣ только матеріаломь для романа, т. е. подать поэту новодъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслію во внутреннюю сущность дъла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти лица дійствовать такъ, схватить ту точку этого дела, которая составля-

етъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чегото единаго, полнаго, цёлаго, замкнутаго въ самомъ себъ. А это можетъ сдълать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было вфрно списать нортретъ человъка. И иной цълый въкъ упражняется въ этомъ родъ живописи, а все не можетъ списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это портреть. Умъть списать върно портреть есть уже своего рода таланть, но этимъ не оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сдёлалъ очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни мальйшему сомньню въ томъ смысль, что вы не можете не узнать сразу, чей это портреть, а все какъ-то недовольны имъ, вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ, и не похожь на него. Но пусть съ него же сниметь портреть Тырыновъ или Брюлловъ, — и вамъ покажется, что зеркало далеко не такъ върно повторяетъ образъ вашего знакомаго, какъ этотъ портретъ, потому что это будеть уже не только портреть, но и художественное произведение, въ которомъ схвачено не одно внёшнее сходство, но вси душа оригинала. Итакъ, върно списывать съ дъйствительности можеть только таланть, и какъ бы ни ничтожно было произведение въ другихъ отношенияхъ, но чёмъ болъе оно поражаеть върностію натурь, темь несомнъннъе талантъ его автора. Что не все должно оканчиваться върностію натурь, особенно въ поэзін, — это другой вопросъ. Въ живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умѣнье върно писать съ натуры можеть служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзін это не совстмъ такъ: не умтя втрно писать съ натуры, нельзя быть поэтомь; но и одного этого уманія тоже мало, чтобы быть поэтомъ, --- по крайней мұрұ, замѣчательнымъ. Обыкновенно говорятъ, что върное списывание съ натуры предметовъ ужасныхъ (напр., убійства, казни и т. п.), безъ мысли и художественности, возбуждаетъ отвращение, а не наслажденіе. Это больше, чёмъ несправедливо, --это ложно. Зрълище убійства или казни есть такой предметь, который самъ по себѣ не можеть доставлять наслажденія, и въ произведеніи великаго поэта читатель наслаждается не убійствомь, не казнію, а мастерствомъ, съ какимъ то или другое изображено поэтомъ, — следовательно, это наслажденіе эстетическое, а не психологическое, смѣшанное съ невольнымъ ужасомъ и отвращеніемъ; тогда какъ картина высокаго подвига или счастья любви доставляеть наслаждение болье сложное, и потому полное, столько же эстетическое, какъ п нсихологическое. Но человъкъ безъ таланта никогда върно не изобразить убійства или казни, хотя бы онъ тысячу разъ имёль случай изучить этотъ предметь въ дъйствительности; все, что можеть онь сдёлать, -- это более или менее верное его описаніе, но никогда не представить онъ вѣрной его картины. Описаніе его можетъ возбуждать сильное любопытство, но не наслаждение. Если же, не имън таланта, онъ пустится писать картину такого событія, она всегда произведеть только одно отвращение, но не потому, что върно

списана съ натуры, а по причинъ противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральный эффекть не есть выраженіе чувства.

Но, вполнѣ признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, мы тъмъ не менъе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отръшенномъ искусствъ, живущемъ въ своей собственной сферъ, не имъющей ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдъ не бывало. Безъ всякаго сомнинія, жизнь раздиляется и подраздёляется на множество сторонъ, им'йющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другою живымъ образомъ, п нътъ между инми ръзкой, раздъляющей ихъ, черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна. Говорять: для науки нужень умь и разсудокь, для творчества-фантазія, и думають, что этимь порешили дело начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можеть обойтись безь фантазіи? Неправда! Истина въ томъ, что въ искусствъ фангазія играеть самую д'ятельную и первенствующую роль, а въ наукъ-умъ и разсудокъ. Бываютъ, конечно, произведенія поэзін, въ которыхъ ничего не видно, кром'в сильной блестящей фантазін; но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему больше дивиться-богатству ли творческой фантазін, или богатству всеобъемлющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требують фантазін, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведение дъйствительности, повторенный, какъ бы вновь созданный міръ: можеть ли же оно быть какою-то одинокою, изолированною отъ всёхъ чуждыхъ ему вліяній д'вятельностію? Можеть ли поэть не отразиться въ своемъ произведенін, какъ человікь, какъ характеръ, какъ натура, -- словомъ, какъ личность? Разумвется, нвть, потому что и самая способность изображать явленія д'виствительности безъ всякаго отношенія къ самому себъ-есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имъеть свои границы. Личность Шекспира просвѣчиваетъ сквозь его творенія, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтеръ-Скотта невозможно не увидеть въ авторе человька болье замъчательнаго талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманіемъ жизни, тори, консерватора и аристократа по убѣжденію и привычкамъ. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, виж всякихъ вліяній извиж. Поэтъ прежде всего-человакъ, потомъ гражданипъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не можетъ дъйствовать менье, чымь на другихъ. Шекспирь быль поэтомъ старой веселой Англін, которая, въ продолженіе немногихъ лътъ, вдругъ сдълалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение пмѣло сильное вліяніе на его последнія произведенія, наложивъ на нихъ отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что родись онъ десятилѣтіями двумя позже, -- геній его остался бы тоть же, но характеръ его произведеній быль бы другой. Поэзія Мильтона явно произведение его эпохи: самъ того не подозрѣвая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написаль аповеозу возстанія противъ авторитета, хотя и думаль сдёлать совершенно другое. Такъ сильно дъйствуетъ на поэзію историческое движение обществъ. Вотъ отчего теперь исключительно-эстетическая критика, которая хочеть имѣть дѣло только съ поэтомъ и его произведеніемъ, не обращая вниманія на мѣсто и время, где и когда инсаль поэть, на обстоятельства, подготовившія его къ поэтическому поприщу и имѣвшія вліяніе на его поэтическую дѣятельность, потеряла теперь всякій кредить, сдёлалась невозможною. Говорять: духъ партій, сектантизмъ вредять таланту, портять его произведенія. Правда! И потому-то онъ долженъ быть органомъ не той или другой партін или секты, осужденной, можетъ быть, на эфемерное существованіе, обреченной исчезнуть безъ следа, но сокровенной думы всего общества, его, можеть быть, еще не яснаго самому ему стремленія. Другими словами: поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даеть колорить и смысль всей его эпохв. Какъ же разсмотрить онъ въ этомъ хаос'в противор'вчащих мивній, стремленій, которое изъ нихъ действительно выражаетъ духъ его эпохи? Въ этомъ случав единственнымъ вврнымъ указателемъ больше всего можетъ быть его инстинкть, темное, безсознательное чувство, часто составляющее всю силу геніальной натуры: кажется, идетъ наудачу, вопреки общему мижнію, наперекоръ всемъ принятымъ понятіямъ и здравому смыслу, а между темъ ндетъ прямо туда, куда надо идти,--- и вскоръ даже тъ, которые громче другихъ кричали противъ него, волею или неволею, а идутъ за нимъ, и уже не понимаютъ, какъ же можно было бы идти не по этой дорогъ. Вотъ почему пной поэть только до тёхъ поръ и дёйствуетъ могущественно, даетъ новое направление целой литературѣ, пока просто, инстинктивно, безсознательно следуеть внушению своего таланта; а лишь только начнетъ разсуждать и пустится въ философію,--глядь—и споткнулся, да еще какъ!.. И обезсилъетъ вдругь богатырь, точно Самсонь, лишенный волось, н-онъ, который шелъ впереди всёхъ, тащится теперь въ заднихъ, отсталыхъ рядахъ, въ толит своихъ прежнихъ противниковъ, а теперь новыхъ союзниковъ, и вмёстё съ ними вооружается на собственное дъло, --- да ужъ поздно: не его волею сделано оно, не его волею и пасть ему; оно выше его самого и нужнъе обществу, нежели онъ самъ теперь... И больно, и жалко, и смёшно смотрёть на даровитаго поэта, захотъвшаго сделаться илохимъ резонеромъ!...

Въ наше время искусство и литература больше, чёмъ когда-либо прежде, сдёлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше

время эти вопросы стали общее, доступнее всемь, яснье, сдълались для всъхъ интересомъ первой степени, стали во главъ всъхъ другихъ вопросовъ. Это, разумъется, не могло не измънить обшаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ, самые геніальные поэты, увлекаясь решеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соотвътствуетъ ихъ таланту или, по крайней мфрф, обнаруживается только въ частностяхъ, а цёлое произведеніе слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржъ-Занда: "Le Meunier d'Angibault", "Le Péché de Monsieur Antoine", "Isidore". Но и здъсь бъда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а отъ того, что авторъ существующую действительность хотель заменить утоніею, и вследствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображенін. Такимъ образомъ, вмёстё съ характерами возможными, съ лицами всёмь знакомыми, онъ вывель характеры фантастическіе, лица небывалыя, — и романъ у него смѣшался со сказкою, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикою. Но изъ этого еще итть причины вопить о паденін искусства: тоть же Жоржъ-Зандъ посл'я "Le Meunier d'Angibault" написалъ "Теверино", а послѣ "Изидоры" и "Le Péché de Monsieur Antoine" — "Лукрецію Флоріани". Порча искусства вследствіе вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла бы скорее обнаружиться на талантахъ низшей степени, но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣніи отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и еще болье - въ страсти къ мелодрамъ, къ натянутымъ эффектамъ. Что особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?-върныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно вліяніе современныхъ вопросовъ. А что составляеть ихъ слабую сторону, портить ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ?--преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры вродъ принца Родольфа, - словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное, -- а все это выходить отнюдь не изъ вліянія современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности и никогда на целое произведение. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько не мъшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

Мы сказали, что чистаго, отрѣшеннаго, безусловнаго, или, какъ говорятъ философы, а б с ол ю т и а г о искусства никогда и нигдѣ не бывало. Если нѣчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы, напримъръ, произведенія

живописи итальянскихъ школъ въ XVI столётіи. Ихъ содержаніе, повидимому, преимущественно религіозное; но это большею частію миражъ, а на самомъ дёлё предметь этой живониси— красота, какъ красота, больше въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романтическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ, напримъръ, мадонну Рафаэля, этотъ chef d'oeuvre итальянской живониси XVI въка. Кто не помнитъ статън Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведенін, кто съ молодыхъ льтъ не составилъ себь о немъ понятія по этой статьё? Кто, стало быть, не быль увфрень, какъ въ несомниной истини, что это произведеніе по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайшій пдеаль той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію, и то въ редкія мгновенія чистаго восторженнаго вдохновенія?.. Авторъ предлагаемой статьи недавно видель эту картину. Не будучи знатокомъ живописи, онъ не позволилъ бы себъ говорить объ этой удивительной картинъ съ цълью-опредълить ея значение и степень ея достоинства; но какъ дело идетъ только о его личномъ впечатленіи и о романтическомъ или неромантическомъ характеръ картины, -- то онъ думаеть, что можеть позволить себъ на этоть счеть ивсколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читалъ уже давно, можетъ быть, больше десяти лътъ, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитываль ее со всемъ страстнымъ увлеченіемъ, со всею върою молодости, и зналъ ее почти наизусть, -- то и подошель къ знаменитой картинъ съ ожиданіемъ уже извъстнаго впечатлівнія. Долго смотрель онь на нее, оставляль, обращался къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатлѣніе его было рѣшительно н опредёленно въ одномъ отношенін: онъ тотчасъ же почувствоваль, что послѣ этой картины трудно понять достопнетва другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ дрезденской галлерев, и въ оба видель только эту картину, даже когда смотрелъ на другія и когда ни на что не смотрель. И теперь, когда ни вспомнить онь о ней, она словно стоить передъ его глазами, н память почти заміняеть дійствительность. Но чемъ дольше и пристальнее всматривался онъ въ эту картину, чёмъ больше думалъ тогда и посль, тьмъ болье убъндался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ Рафаэлевой, — двъ совершенно различныя картины, не имфющія между собою ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля-фигура строго-классическая и инсколько не романтическая. Лицо ея выражаеть ту красоту, которая существуеть самостоятельно, не заниствуя своего очарованія отъ какого-нибудь нравственнаго выраженія въ лиць. На этомъ лиць, напротивъ, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознаніемъ и своего высокаго сана, п своего личнаго достоинства. Въ ея взоръ есть что-то строгое, сдержанное, неть благости и милости, но нътъ и гордости, презрънія, а вмъсто всего этого какое-то не забывающее своего величія синсхожденіе. Это—какъ бы сказать—idéal sublime du comme il faut. Но ни тъни неуловимаго, таниственнаго, туманнаго, мерцающаго,словомъ, романтическаго; напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная опредёленность, оконченность, такая строгая правильность и вфрпость очертаній, и вмісті съ этимь такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картине только въ лице божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положении младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумѣю зрителей картины) рукахъ, расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гиввъ и угроза, а въ приподнятой нижней губф-горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенія и мплости, не искупительный агнецъ за грфхи міра,это Богъ судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурѣ младенца нѣтъ ничего романтическаго; напротивъ, его выражение такъ просто и опредѣленно, такъ уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Развѣ только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерцающихъ явленіе Божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнъе искать такъ называемаго нскусства-у грековъ. Д'айствительно, красота, составляющая существенный элементь искусства, была едва ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякаго другого къ идеалу такъ называемаго чистаго искусства. Но, тъмъ не менъе, красота въ немъ была больше существенною формою всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религія, и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно па Гёте, какъ на представителей свободнаго, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ-величайшій творческій геній, поэтъ по преимуществу, -- въ этомъ неть никакого сомнения; но те плохо понимають его, кто изъ-за его поэзін не видить богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковъ и фактовъ для психолога, философа, историка, государственнаго человъка и т. д. Шекспиръ все передаеть черезъ поэзію, но передаваемое имъ далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи. Вообще характеръ новаго искусства-перевѣсъ важности содержанія надъ важностію формы, тогда какъ характеръ древняго искусства-равновфсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачиње, нежели ссылка на Шекспира. Мы дока-

жемъ это двумя примърами. Въ "Современникъ" прошлаго года напечатанъ былъ переводъ гётевскаго романа "Wahlverwandschaften", о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германін же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, — о пемъ написаны тамъ горы статей и цёлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ русской публикъ, и даже понравился ли онъ ей: наше дело было познакомить ее съ замечательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей Въ самомъ дёлё, тутъ многому можно удивиться! Давушка переписываетъ отчеты по управленію им'єніемь; герой романа замѣчаеть, что въ ея копіи, чѣмъ дальше, тѣмъ больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. "Ты любишь меня!"-восклидаетъ онъ, бросаясь ей на шею. Повторяемъ: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикт не можетъ не показаться странною. Но для нѣмцевъ она нисколько не странна, потому что это черта нѣмецкой жизни, върно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй, и весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значить ли это, что романь Гёте написанъ до того подъ вліяніемъ німецкой общественности, что вив Германіи онъ кажется чёмъто странно-необыкновеннымъ? Но "Фаустъ" Гёте, конечно, вездъ-великое создание. На него въ особенности любять указывать, какъ на образецъ чистаго искусства, не подчиняющагося ничему, кромъ собственныхъ, одному ему свойственныхъ законовъ. И однако-жъ, не въ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго пскусства, , Фаустъ есть полное отражение всей жизни современнаго ему нъмецкаго общества. Въ немъ выразилось все философское движение Германии въ концѣ прошлаго стольтія. Не даромъ последователи школы Гегеля цитовали безпрестанно, въ своихъ лекціяхъ и философсимъ трактатамъ, стихи изъ "Фауста". Не даромъ также, во второй части "Фауста", Гёте безпрестанно впадаль въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдё-жъ тутъ чистое искусство?

Мы видъли, что и греческое искусство только ближе всякаго другого къ идеалу такъ называемаго чистаго искусства, но не осуществляеть его внолнт; что же касается до новтишаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого идеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляеть его силу Собственно художественный интересъ не могъ не уступить м'есто другимъ важнейшимъ для человечества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ, въ качествъ ихъ органа. Но отъ этого оно писколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характеръ. Отнимать у некусства право служить общественнымъ интересамъ значить-не возвышать, а унижать его, потому что это значитьлишать его самой живой силы, т. е. мысли, дёлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкою праздныхъ ленивцевъ. Это значитъ даже

убивать его, чему доказательствомъ можеть служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей вокругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ отжившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охолодѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живого сочувствія.

Платонъ считалъ униженіемъ, профанаціею науки приложение геометрии къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалисте и романтике, гражданинѣ маленькой республики, гдѣ общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имъетъ даже оригинальности милой нельности. Говорять, Диккенсь своими романами сильно способствоваль въ Англіи улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безщадномъ дрань в розгами и варварскомъ обращенін съ дётьми. Что-жъ тутъ дурного, спросимъ мы, если Диккенсь дёйствоваль въ этомъ случае, какъ ноэть? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношеніи? Здось явное недоразуменіе: видять, что пскусство и наука не одно и то же, а не видять, что ихъ различіе вовсе не въ содержанін, а только въ способъ обрабатывать данное содержаніе. Философъ говорить силлогизмами, поэть — образами и картинами, а говорять оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываетъ, дъйствуя на умъ своихъ читателей и слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось, вслёдствіе такихъ-то п такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ н яркимъ изображеніемь дійствительности, показываеть, въ върной картинъ, дъйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществъ дъйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, н оба убъждаютъ, только одинъ логическими доводами, другой-картинами. Но перваго слушають и понимають немногіе, другого-всѣ. Высочайшій и священн'я шій интересь общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію --- сознаніе, а сознанію искусство можеть способствовать не меньше науки. Туть и наука, и некусство равно необходимы, и ни наука не можеть замёнить искусства, ни искусство-науки.

Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаеть самой истины. Если мы видимъ иногда людей, даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ии искры поэтическаго дарованія,—изъ этого вовсе не слѣдуеть, что такіе вопросы чужды искусству и губягъ его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ, напримѣръ, былъ забытый теперь романъ "Панъ Подстоличъ", вышедшій назадь тому больше десяти лѣтъ и написанный съ по-

хвальною цёлью — представить картину состоянія бълорусскихъ крестьянъ; но все же онъ не былъ совсёмъ безполезенъ, и хоть съ страшною скукою, но прочли же его пныс. Конечно, авторъ лучше достигь бы своей благородной цёли, если бы содержаніе своего романа изложиль въ форм'в записокъ или замътокъ наблюдателя, не пускаясь въ поэзію; но если бы онъ взялся написать романъ чисто-поэтическій, онъ еще меньше достигь бы своей цёли. Теперь многихъ увлекаетъ волшебное словцо: "направленіе"; думають, что все діло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-нервыхъ, никакое направление гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направление должно быть не въ головъ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго, прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательною мыслію, - что для него, этого направленія, также надобно родиться, какъ и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная, и, пожалуй, понятая, какъ должно, но не проведенная черезъ собственную натуру, не получнышая отпечатка вашей личности, есть мертвый капиталъ не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Какъ ни списывайте съ натуры, какъ ни сдабривайте вашихъ синсковъ готовыми идеями и благонам вренными, тенденціями", но если у васъ итть поэтическаго таланта, -- списки ваши никому не напомнять своихъ оригиналовъ, а иден и направленія останутся общими риторическими мъстами.

Теперь что-нибудь одно изъ двухъ: или картины нѣкоторыхъ сторонъ общественнаго быта, представляемыя писателями натуральной школы, проникнуты истиною и вфрностію действительности, и въ такомъ случат онт порождены талантомъ, носять на себъ отпечатокъ созданія; или, если это наобороть, онъ не могуть никого увлекать и убъждать, и въ нихъ никто не видитъ ни малъйшаго сходства съ дъйствительностію. Такъ и говорять о нихъ противники этой школы; но тогда следуеть вопросъ: отчего же, съ одной стороны, эти произведенія пользуются такимъ успѣхомъ у большинства читающей публики, а съ другой, --- имѣють сиособность такъ сильно раздражать противниковъ натуральной школы? Вёдь только золотая посредственность пользуется завидною привилегіею---никого не раздражать и не имъть враговъ и про-

Одни говорили, что натуральная школа клевещеть на общество и унижаеть его умышленно; другіе теперь прибавляють къ этому, что она особенно виновата, въ этомъ отношеніи, передъ простымъ народомъ. Послѣднее обвиненіе выходить какъ-то противорѣчнво у хулителей натуральной школы: одни изъ нихъ упрекають ее, съ мѣщанскиаристократической точки зрѣнія, достойной прославленнаго Мольеромъ г. Журдэна, за излишнюю симпатію къ людямъ простого званія; другіе—за скрытую враждебность къ нимъ. Мы уже имѣли случай обстоятельно и подробно возразить на это обвиненіе и доказать всю его неосновательность и

неблаговидность (въ статьъ: "Отвътъ Москвитянину"), такъ что новаго объ этомъ сказать ничего не имбемъ, пока наши доброжелатели не выдумають чего-нибудь новаго въ подкрѣпленіе этого, дълающаго имъ особенную честь, обвиненія. И потому скажемъ нфсколько словъ о другомъ обвиненін. Одни говорять (и очень справедливо на этоть разъ), что натуральная школа основана Гоголемъ; другіе, отчасти соглашаясь съ этимъ, прибавляютъ еще, что французская неистовая словесность (лѣтъ десять назадъ тому, какъ уже скончавшаяся вмалф) еще больше Гоголя имъла участія въ порожденін натуральной школы. Подобное обвинение изъ рукъ вонъ нелѣпо: всѣ факты рѣшительно противъ него. Обращансь къ его родословной, можно сказать, что оно порождено или тъми неблаговидными причинами, о которыхъ говорить запрещаетъ приличіе, или рѣшительнымъ непониманіемъ литературнаго дъла. Послъднее еще въроятнъе. Хотя эти господа н ратують за искусство, но это не мѣшаеть имъ не имъть о немъ ни мальйшаго понятія. Какія произведенія французской литературы причислены были у насъ почему-то къ неистовой школъ? Первые романы Гюго (и въ особенности его знаменитая "Notre Dame de Paris"), Сю, Дюма, "Мертвый осель и гильотинированная женщина". Жюля Жанена. Не такъ ли? Кто-жъ теперь ихъ помнитъ, когда сами авторы ихъ давно уже приняли новое направленіе? И что составляло главный характеръ этихъ произведеній, не лишенныхъ, впрочемъ, своего рода достоинствъ?-преувеличеніе, мелодрама, трескучіе эффекты. Представителемъ такого направленія у насъ быль только Марлинскій, и вліяніе Гоголя ноложило рашительный конецъ этому направленію. Что же у него общаго съ натуральною школою? Теперь даже и рѣдкихъ попытокъ нѣтъ на произведенія съ такимъ направленіемъ, за исключеніемъ развѣ драмъ съ испанскими страстями, восхищающих обычных посътителей Александринскаго театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень рѣдко, пріобръсти успъхъ подражаніемъ французскимъ романамъ, то новъйшимъ, болъе нелъпымъ и вздорнымъ, нежели неистовымъ. Къ такимъ попыткамъ принадлежитъ недавно напечатанный въ одномъ журналѣ романъ "Спекуляторы", наполненный пебывалыми злодвями, или, ввриве сказать, негодяями, и невозможными похожденіями, изъ которыхъ, однако-жъ, выводится въ концѣ чистѣйшая нравственность. Но натуральной школѣ что за дѣло до подобныхъ произведеній? Они къ ней не относятся ни съ которой стороны.

Гораздо върнъе всъхъэтихъ обвиненій тотъ фактъ, что, въ лиць писателей натуральной школы, русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохиовенія и идеаловъ и черезъ это сдѣлалась и современною, и русскою. Съ этого пути она, кажется, уже не сойдетъ, потому что это прямой путь къ самобытности, къ освобожденію отъ всякихъ чуждыхъ и постороннихъ вліяній. Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что она всегда оста-

нется въ томъ состоянін, какъ теперь; нѣтъ, она будеть идти впередъ, измѣняться, но только никогда уже не перестанеть быть върною дъйствительности и натуръ. Мы нисколько не обольщены ея усибхами и вовсе не хотимъ преувеличивать ихъ. Мы очень хорошо видимъ, что наша литература и теперь еще на пути стремленія, а не достиженія, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь усивхъ ея заключается пока въ томъ, что она нашла уже свою настоящую дорогу, и больше не ищеть ея, но съ каждымъ годомъ болъе и болъе твердымъ шагомъ продолжаетъ идти по ней. Теперь у ней итть главы, ея дъятелиталанты не первой степени, а между темъ она имъетъ свой характеръ и уже безъ помочей идетъ по настоящей дорогъ, которую ясно видитъ сама. Здёсь невольно приходять намъ на память слова, сказанныя редакторомъ "Современника" въ первой книжкѣ этого журнала за прошлый годъ: "Взамънъ сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературъ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненныя начала дальнейшаго развитія и дѣятельности. Она уже, какъ мы замътили выше, -- явление опредъленнаго рода; въ ней есть сознание своей самостоятельности и своего значенія. Опа уже спла, организованная правильно, дъятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными пуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетъвшій изъ чуждой намъ сферы на удивление толпы, не вспышка уединенной геніальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невъдомымъ ощущениемъ. Въ области литератури нашей нътъ мъсть особенно замъчательныхъ, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство нашихъ полей, только что освободившихся отъ ледяной земной коры: тутъ на холмахъ кой-гдв пробивается травка, въ оврагахъ лежитъ еще почернъвшій снъгъ, перемъшанный съ грязью. Теперь ее можно сравнить съ тъми же полями въ весениемъ убранствъ: хотя зелень не блистаетъ яркимъ колоритомъ, мѣстами она очень блёдна и не роскошна, но она уже стелется повсюду; прекрасное время года наступаетъ".

Мы думаемъ, что въ этомъ есть прогрессъ... Справедливость выписанныхъ нами словъ сдфлается еще очевиднъе, если обратить внимание и на другія стороны русской литературы нашего времени. Тамъ увидимъ мы явление, соотвътствующее тому, которое въ поэзін называють натурализмомъ, т. е. то же стремленіе къ дъйствительности, реальности, истинъ, то же отвращение отъ фантазій и вризраковъ. Въ наукъ отвлеченныя теорін, апріорныя построенія, дов'єріе къ системамъ со дня на день теряють свой кредить и уступають мъсто направленію практическому, основанному на знанін фактовъ. Конечно, наука еще не пустила у насъ глубокихъ корпей, но и въ ней уже замътенъ поворотъ къ самобытности, именно въ той сферъ, въ которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки, —въ сферъ изученія русской исторін. Въ ея событіяхъ, до сихъ поръ объяснявшихся подъ вліяніемъ изученія западной исторіи, уже приводятся начала жизни, только ей свойственныя, и русская исторія объясняется по-русски. То же обращение къ вопросамъ, имфющимъ болъе близкое отношение собственно къ нашей, русской, жизни, то же усиле разръшить ихъ посвоему-замѣтно и въ изученіи современнаго быта Россін. Чтобы доказать это, мы разберемъ все, что въ прошломъ году явилось замъчательнаго въ какомъ бы то ни было отношенін.

2.

значение романа и повъсти въ настоящее время. — замъчательные романы и повъсти ПРОШЛАГО ГОДА И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕ-МЕННЫХЪ РУССКИХЪ БЕЛЛЕТРИСТОВЪ: ИСКАНдеръ, гончаровъ, тургеневъ, даль, григоровичъ, дружининъ.--новое сочинение г. достоевскаго "хозяйка".--,путевыя замътки" г-жи т. ч.--Разсказы о спенескихъ золотыхъ промыслахъ, г. небольсина.-- нспанскія письма, г. воткина. Замьчательныя ученыя статьи прошлаго года. Замвчательныя критическія статып. — г. шевы-РЕВЪ.-ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РУССКИХЪ АВТОРОВЪ,

А. СМИРДИНА.

Романъ и повъсть стали теперь во главъ всъхъ другихъ родовъ поэзіи. Въ нихъ заключилась вся изящная литература, такъ что всякое другое произведение кажется при нихъ чфмъ-то исключительнымъ и случайнымъ. Причины этого-въ самой сущности романа и повъсти, какъ рода поэзін. Въ нихъ лучше и удобнве, нежели въ какомъ-нибудь другомъ родѣ поэзін, вымыслъ сливается съ дѣйствительностію, художественное изобрѣтеніе смѣшивается съ простымъ, лишь бы върнымъ, списываньемъ съ натуры. Романъ и повъсть, даже изображая самую обыкновенную и пошлую прозу житейскаго быта, могуть быть представителями крайнихъ предъловъ искусства, высшаго творчества; съ другой стороны, отражая въ себъ только избранныя, высокія мгновенія жизни, они могутъ быть лишены всякой поэзін, всякаго искусства... Это самый широкій, всеобъемлющій родъ поэзін; въ немъ талантъ чувствуеть себя безгранично свободнымъ. Въ немъ соединяются всѣ другіе роды поэзін-и лирика, какъ изліяніе чувствъ автора по поводу описываемаго имъ событія, и драматизмъ, какъ болѣе яркій и рельефный способъ заставлять высказываться данные характеры. Отступленія, разсужденія, дидактика, нетерпимыя въ другихъ родахъ поэзін, въ романъ и новъсти могуть имёть законное мёсто. Романь и повёсть дають полный просторь писателю въ отношеніи преобладающаго свойства его таланта, характера, вкуса, направленія и т. д. Воть почему въ последнее время такъ много романистовъ и повествователей. И потому же теперь самые предълы романа и новъсти раздвинулись: кромъ "разсказа"

давно уже существовавшаго въ литературѣ, какъ низшій и болье легкій видь повъсти, недавно получили въ литературъ право гражданства такъ называемыя физіологін, характеристическіе очерки разныхъ сторонъ общественнаго быта. Наконецъ самые мемуары, совершенно чуждые всякаго вымысла, цінимые только по мірі вірной и точной передачи ими действительных событій, -- самые мемуары, если они мастерски написаны, составляють какъ бы последнюю грань въ области романа, замыкая ее собою. Что же общаго между вымыслами фантазін и строго-историческимъ изображеніемъ того, что было на самомъ дълъ? -- Какъ что? -- художественность изложенія! Не даромъ же историковъ называють художниками. Кажется, что бы делать искусству (въ смысле художества) тамъ, гдв писатель связанъ источниками, фактами и долженъ только о томъ стараться, чтобы воспроизвести эти факты какъ можно върнъе? Но въ томъ-то и дело, что верное воспроизведение фактовъ невозможно при помощи одной эрудиціп, а нужна еще фантазія. Историческіе факты, содержащіеся въ источникахъ, не болъе, какъ камни и киринчи: только художникъ можетъ воздвигнуть изъ этого матеріала изящное зданіе. Въ первой стать в нашей мы уже говорили о томъ, что върно списывать съ натуры такъ же нельзя безъ творческаго таланта, какъ и создавать вымыслы, похожіе на натуру. Сближеніе искусства съ жизнію, вымысласъ дъйствительностію въ нашъ въкъ особенно выразилось въ историческомъ романъ. Отсюда былъ только шагъ до истиннаго воззрѣнія на мемуары, въ которыхъ такую важную роль играютъ очерки характеровъ и лицъ. Если очерки живы, увлекательны, значить-они не копін, не списки, всегда бледные, ничего не выражающіе, а художественное воспроизведение лицъ и событий. Такъ дорожать портретами Фанъ-Дейковъ, Тиціановъ и Веляскесовъ, вовсе не интересуясь знать, съ кого были инсаны эти портреты: ими дорожать, какъ картинами, какъ художественными произведеніями. Такова сила искусства: лицо, ничемъ не замечательное само по себъ, получаеть чрезъ искусство обшее значеніе, для всёхъ равно интересное, и на человѣка, который при жизни не обращаль на себя ничьего вниманія, смотрять вѣка, по милости художника, давшаго ему своею кистію новую жизнь! То же самое и въ мемуарахъ, и въ разсказахъ, п во всякаго рода снимкахъ съ натуры. Туть степень достоинства произведенія зависить отъ степени таланта писателя. И вы можете въ книгъ любоваться человекомь, съ которымь не захотели бы нигде встретиться, котораго, можеть быть, всегда знали бы, какъ самое пустое и скучное созданіе. Запоздалые эстетики утверждають, что "поэзія не должна быть живописью, потому что въ живописи все дъло въ върномъ изображении предмета, схваченнаго въ одномъ извъстномъ моментъ". Но если поэзія берется изображать лица, характеры, событія, — словомъ, картины жизии, — само собою разумбется, что въ такомъ случав она береть на себя ту же самую обязанность, что живопись, т. е. быть върною действительности, которую взялась воспроизводить. И эта вфрность есть первое требованіе, первая задача поэзіи. О поэтическомъ талантъ автора тутъ должно судить, прежде всего основываясь на томъ, до какой степени удовлетворяеть онь этому требованію, рішаеть эту задачу. Если онъ не живописецъ, —явный знакъ, что онъ и не поэть, что у него вовсе нъть таланта. Но что поэзія не должна быть только живописью, это опять другое дёло, и съ этимъ нельзя не согласиться. Въ картинахъ поэтадолжна быть мысль; производимое ими впечатление должно действовать на умъ читателя, должно давать то или другое направление его взгляду на извъстныя стороны жизни. Для этого романъ и повъсть, съ однородными имъ произведеніями, — самый удобный родъ поэзін. На его долю преимущественно досталось изображеніе картинъ общественности, поэтическій анализъ общественной жизни.

Прошлый 1847 годъ быль особенно богать замічательными романами, повістями и разсказами. По огромному успѣху въ публикѣ, первое мѣсто между ними принадлежить, безъ всякаго сомивнія, двумъ романамъ: "Кто Виноватъ?" и "Обыкновенная Исторія", почему мы и начнемь съ нихъ наше обозрѣніе изящной литературы за про-

шлый годъ.

Г. Искандеръ давно уже извъстенъ публикъ, какъ авторъ разныхъ статей, отличающихся замѣчательнымъ умомъ, талантомъ, остроуміемъ, оригинальностію взгляда на предметы и оригинальностію выраженія. Но, какъ романисть, онъ-таланть новый, обратившій на себя особенное вниманіе русской публики только съ прошлаго года. Правда, въ "Отечественныхъ Запискахъ" были напечатаны два его опыта въ искусствъ разсказывать: "Записки одного молодого человъка" (1840) и "Еще изъ записокъ одного молодого человека" (1841), въ которыхъ можно было предугадывать въ авторъ будущаго даровитаго романиста, судя по върности и живости этихъ легкихъ очерковъ. Г. Гончаровъ, авторъ "Обыкновенной Исторін", — лицо совершенно новое въ нашей литературъ, но уже запявшее въ ней одно изъ самыхъ видныхъ мъстъ. Потому ли, что оба эти романа-"Кто Виновать?" и "Обыкновенная Исторія" — появились почти въ одно время и раздѣлили между собою славу необыкновеннаго успъха, -- о нихъ не только говорять вмёстё, но еще и сравнивають ихъ между собою, будто явленія однородныя. Одинъ журналь, объявивъ недавно романъ Искандера въ высшей степени художественнымъ произведениемъ, изъявияъ свое недовольство романомъ г. Гончарова на томъ основанін, что въ последнемъ не нашелъ достоинствъ перваго. Мы тоже намърены, въ разборъ этихъ романовъ, ставить ихъ вмъстъ, но не для того, чтобы показать ихъ сходство, котораго между ними, какъ произведеніями, совершенно различными по ихъ сущности, нътъ и тъни, а для того, чтобы самою ихъ взаимною противоположностію в риве очертить особенность каждаго

изъ нихъ и показать ихъ достоинства и недо-

Видъть въ авторъ "Кто Виноватъ?" необыкновеннаго художника значитъ-вовсе не понимать его таланта. Правда, онъ обладаеть замъчательною способностію в'трно передавать явленія д'т ствительности, очерки его определенны и резки, картины его ярки и сразу бросаются въ глаза. Но даже и эти самыя качества доказывають, что главная сила его не въ творчествъ, не въ хуложественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполнъ сознанной и развитой. Могущество этой мысли-главная сила его таланта; художественная манера схватывать вёрно явленія дёйствительности — второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую-вторая окажется слишкомъ несостоятельною для самобытной деятельности.

Подобный талантъ не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нътъ, такіе таланты такъ же естественны, какъ и таланты чистохудожественные. Ихъ дъятельность образуетъ особенную сферу искусства, въ которой фантазія является на второмъ мъстъ, а умъ на-первомъ. На это различие мало обращають внимания, п оттого въ теоріи искусства выходить страшная путаница. Хотять видеть въ искусстве своего рода умственный Кнтай, рёзко отдёленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслъ слова. А между тъмъ эти пограничныя линіи существують больше предположительно, нежели дъйствительно; по крайней мъръ, ихъ не укажешь пальцемъ, какъ на картъ границы государствъ. Искусство, по мъръ приближения къ той или другой своей границъ, постепенно теряетъ нъчто отъ своей сущности и принимаетъ въ себя отъ сущности того, съ чемъ граничитъ, такъ что вмъсто разграничивающей черты является область,

примиряющая объ стороны.

Поэтъ-художникъ — болве живописецъ, нежели думають. Чувство формы — въ этомъ вся натура его. Вѣчно соперничать съ природою въ способности творить-его высочайшее наслаждение. Схватить данный предметь во всей его истинъ, заставить его, такъ сказать, дышать жизнію: вотъ въ чемъ его сила, торжество, удовлетвореніе, гордость. Но поэзія выше живописи, предёлы ея обширне, нежели предълы всякаго другого искусства. Й потому поэть, разумъется, не можеть ограничиться одною живописью, -- о чемъ мы, впрочемъ, уже говорили. Но какія бы ни были другія превосходныя, возбуждающія восторгь и удивленіе качества его твореній, --- все-таки главная сила его въ поэтической живописи. Онъ обладаеть способностію быстро постигать всё формы жизни, переноситься во всякій карактеръ, во всякую личность, — и для этого ему нужны не опыть, не изучение, а достаточно иногда одного намека или одного быстраго взгляда. Два-три факта, —и его фантазія возстаповляеть цёлый, отдёльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ жизни, со всѣми его условіями и отношеніями, со свойственнымъ ему колоритомъ и оттѣнками. Такъ, Кювье наукою дошелъ до искусства по одной ископаемой кости возстановлять умственно цѣлый организмъ животнаго, которому она принадлежала. Но тутъ дѣйствовалъ геній, развитый и вспомоществуемый наукою; поэтъ же преимущественно опирается на свое чувство, свой поэтическій инстинктъ.

Другой разрядъ поэтовъ, о которомъ мы начали говорить, и къ которому принадлежить авторъ романа "Кто Виноватъ?", можетъ изображать вѣрно только тъ стороны жизни, которыя особенно, по чему бы то ни было, поразили ихъ мысль и особенно знакомы имъ. Они не понимають наслажденія представить вёрно явленіе дёйствительности для того только, чтобы вфрно представить его. У нихъ недостанетъ ни охоты, ни теривнія на такой, по ихъ мивнію, безполезный трудъ. Для нихъ важенъ не предметъ, а смыслъ предмета,--и ихъ вдохновение вспыхиваетъ только для того, чтобы, черезъ върное представление предмета, сделать въ глазахъ всёхъ очевиднымъ и осязательнымъ смыслъ его. У нихъ, стало быть, определенная и ясно сознанная цёль впереди всего, а поэзія-только средство къ достиженію этой цёли. Поэтому доступный ихъ таланту міръ жизни опредёляется ихъ задушевною мыслію, ихъ взглядомъ на жизнь; это магическій кругъ, изъ котораго они не могутъ выйти безнаказанно, т. е. не теряя вдругь способности изображать действительность поэтически върно. Отнимите у нихъ эту одушевляющую ихъ мысль, заставьте отказаться оть ихъ взгляда на предметы, — и у нихъ нѣтъ больше и таланта; тогда какъ талантъ поэта-художника всегда съ нимъ, нока вокругъ него движется жизнь, какая бы она ни была.

Что составляеть задушевную мысль Искандера, которая служить ему источникомъ его вдохновенія, возвышаетъ его иногда, въ върномъ изображении явленій общественной жизни, почти до художественности?--Мысль о достоинствт человтческомъ, которое унижается предразсудками, невѣжествомъ и унижается то несправедливостью человека къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя. Герой всёхъ романовъ и повъстей Искандера, сколько бы ни написаль онъ ихъ, всегда быль и будеть одинъ и тоть же: это-человъкъ, понятіе общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ-по преимуществу поэтъ г у м а нности. Поэтому въ его романъ бездна лицъ, большею частію мастерски очерченныхъ, но нътъ героя, нътъ геропни. Въ первой части, заинтересовавъ насъ четою Негровыхъ, онъ выводить намъ героями романа Крупиферскаго и Любоньку. Въ эпизодъ, написанномъ для связи объихъ частей, героемъ является Бельтовъ; но мать Бетьтова и его гувернеръ-женевецъ едва ли не больше, нежели онъ самъ, интересуютъ собою читателя. Во второй части героями являются Бельтовъ и Круциферская, и въ ней только раскрывается вполнъ основная мысль романа, являющаяся сначала такъ загадоч-

ною въ его названія: "Кто Виновать?". Но мы должны признаться, что эта-то мысль всего мен'ье и интересуеть насъ въ романь, также, какъ Бельтовъ, герой романа, кажется намъ самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романъ. Когда Круциферскій єділался женихомъ Любоньки, докторъ Круповъ сказалъ ему: "не пара тебѣ эта невѣста, ужь что хочешь, -- эти глаза, этоть цвёть лица, этотъ трепетъ, который иногда пробъгаетъ по ея лицу -- о на тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы; а ты, -да что ты? ты невъста; ты, братецъ, ньмка; ты будещь женану, годно ли это?". Въ этихъ словахъ лежитъ завязка романа, который, по намёренію автора, долженъ быль только начаться свадьбою, вмѣсто того, чтобы кончиться ею. Авторъ, познакомивши насъ съ Бельтовымъ, ведетъ насъ въ мирное убѣжище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихимъ семейнымъ счастіемъ; но, помня мрачное предсказаніе оракула въ лицъ скептическаго доктора, читатель невольно ждеть, что въ самой картинъ семейнаго счастія Круциферскихъ авторъ покажеть ему зародышь и начало будущихь бъдь. Круциферскій действительно не женился, а вышель замужъ. Его жена была слишкомъ выше его, --слфдовательно, слишкомъ не по немъ. Естественно, что онъ быль внолнъ счастливъ ею; но не естественно, чтобъ она была спокойно счастлива, не видёла тревожныхъ сновъ, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, какъ существо младенчески-чистое и благородное, которое, сверхъ того, вырвало ее изъ аду родительскаго дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить тѣ потребности, тѣ стремленія ея натуры, которыя тьмъ мучительнье, чьмъ неопределенные и безсознательнье? Знакомство съ Бельтовымъ, скоро превратившееся въ любовь, должно было только открыть ей глаза на ея положеніе, пробудить въ ней сознаніе того, что она не могла быть счастлива съ такимъ человъкомъ, какъ Круциферскій. Но этого авторъ не сдѣлалъ.

Мысль была прекрасная, исполненная глубокаго трагическаго значенія Она-то и увлекла большинство читателей и помъщала имъ замътить, что вся исторія трагической любви Бельтова и Крудиферской разсказана умно, очень умно, даже ловко, но зато ужъ нисколько не художественно. Тутъ мастерской разсказъ, но нетъ и следа живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умомъ онъ върно понялъ положение своихъ героевъ, но передалъ его только, какъ умный чедовакъ, хорошо понявшій дало, но не какъ поэтъ. Такъ пногда даровитый актеръ, взявшійся за роль, которая вовсе не въ его средствахъ и талантъ, все-таки не портитъ ея, но умно и ловко выполняеть ее, вмъсто того, чтобы сыграть. Мысль ролн не потеряна, а трагическій смыслъ піесы дополняеть недостатокъ въ выполнении главной роли,н зритель не вдругъ догадывается, что онъ былъ только увлеченъ, а совстмъ не удовлетворенъ.

Это доказывается между прочимъ и тѣмъ, что

во второй части романа характеръ Бельтова произвольно изминень авторомъ. Сперва это быль человъкъ, жаждавшій полезной діятельности и ни въ чемъ не находившій ея, по причинт ложнаго воспитанія, которое даль ему благородный женевскій мечтатель. Бельтовъ зналъ многое и обо всемъ имъль общія понятія, но совершенно не зналь той общественной среды, въ которой одной могъ бы дъйствовать съ пользою. Все это не только сказано, но и показано авторомъ мастерски. Мы думаемъ, что при этомъ авторъ могъ бы еще указать слегка и на натуру своего героя, инсколько не практическую и, кром'в воспитанія, порядочно испорченную еще и богатствомъ. Тому, кто родился богатымъ, надо получить отъ природы особенное призваніе къ какой бы то ни было діятельности, чтобы не праздно жить на свътъ и не скучать отъ бездействія. Этого-то призванія и не заметно вовсе въ натурѣ Бельтова. Натура его была чрезвычайно богата и многосторония, но въ этомъ богатствъ п многосторонности ничто не имѣло прочнаго корня. У него много ума, но ума созерцательнаго, теоретическаго, который не столько углублялся въ предметы, сколько скользилъ по нимъ. Онъ способенъ былъ понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствія и пониманія и мішаеть такимъ людямъ сосредоточить всв свои силы на одномъ предметъ, устремить на него всю свою волю. Такіе люди вѣчно порываются къ дѣятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумфется, не находять ея.

Такимъ образомъ Бельтовъ осужденъ былъ томиться никогда не удовлетворяемою жаждою даятельности и тоскою бездъйствія. Авторъ мастерски передаль намъ его неудачныя попытки служить, потомъ сдёлаться врачомъ, артистомъ. Если нельзя сказать, что онъ вполнъ очертилъ и разъяснилъ этотъ характеръ, все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но въ последней части романа Бельтовъ вдругъ является передъ нами какою-то высшею, геніальною натурою, для деятельности которой действительность не представляеть достойнаго поприща... Это уже совствъ не тотъ человткъ, съ которымъ мы такъ хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтовъ, а что-то вродъ Печорина. Разумъется, прежній Бельтовъ быль гораздо лучше, какъ всякій человікъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринымъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачемъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!.. Неужели этимъ онъ хотълъ поднять Бельтова до Крупиферской? Напрасно! для нея онъ былъ бы такъ же интересенъ и въ прежнемъ своемъ видъ; и тогда онъ сталъ бы подлѣ бѣднаго Крупиферскаго настоящимъ колоссомъ подлѣ карлика. Онъ былъ человѣкъ взрослый, совершеннольтній, мужчина, по крайней мъръ, по уму и взгляду на жизнь; а Круциферскій, съ его благородными мечтами, вмѣсто настоящаго пониманія людей и жизни, и подлі прежняго Бельтова все казался бы ребенкомъ, котораго развитіе задержано какою-инбудь болфзиью.

Крупиферская, въ свою очередь, является гораздо интересите въ первой части романа, нежели въ последней. Нельзя сказать, чтобы и тамъ ея характеръ быль рёзко очерчень; но зато рёзко было очерчено ея положение въ домѣ Негрова. Тамъ она хороша молча, безъ словъ, безъ дъйствій. Читатель угадываеть ее, хотя не слышить оть нея почти ни слова. Авторъ въ обрисовкѣ ея положенія обнаружиль необыкновенное мастерство. Только въ отрывкахъ изъ ея дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсемъ довольны этою исповедью. Кроме того, что манера знакомить читателей съ геропнями романовъ черезъ ихъ записки-манера старая, избитая и фальшивая,записки Любоньки немножко отзываются поддёлкою: по крайней марь, не всякій поварить, что ихъ писала женщина... Очевидно, что и туть авторъ вышель изъ сферы своего таланта. То же скажемъ мы и объ отрывкахъ Крудиферской въ концѣ романа. Въ томъ и другомъ случай авторъ ловко отделался отъ задачи, которая была ему не по спламъ, но не больше. Вообще, сделавшись Круциферскою, Любонька перестала быть характеромъ. лицомъ и превратилась въ мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтовъ-два единственныя лица, съ которыми авторъ не совладалъ, какъ следуеть. Но и въ нихъ нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддержать интересъ до конца п поразить, растрогать большинство читателей тамъ, гдъ съ его талантомъ, но безъ его ума н върнаго взгляда на предметы, всякій другой только насмфинлъ бы.

Итакъ, не въ картинъ трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинствъ романа Искандера. Мы видели, что это вовсе не картина, а мастерски изложенное следственное дело. Вообще "Кто Виноватъ?" -- собственно не романъ, а рядъ біографій, мастерски написанныхъ и ловко связанных вижшиним образом въ одно цълое именно тою мыслію, которой автору не удалось развить поэтически. Но въ этихъ біографіяхъ есть и внутренняя связь, хотя и безъ всякаго отношенія къ трагической любви Бельтова и Круциферской. Это-мысль, которая глубоко легла въ ихъ основаніе, дала жизнь и душу каждой чертъ, каждому слову разсказа, сообщила ему эту убъдительность и увлекательность, которыя равно неотразимо действують на читателей, симпатизирующихъ и несимпатизирующихъ съ авторомъ, образованныхъ и необразованныхъ. Мысль эта является у автора, какъ чувство, какъ страсть; словомъ, изъ его романа видно, что она столько же составляеть паоосъ его жизни, какъ и его романа. О чемъ бы онъ ни говорилъ, чёмъ бы ни увлекся въ отступленіи, онъ никогда не забываеть ся, безпрестанно возвращается къ ней; она какъ будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась съ его талантомъ; въ ней его сила; если-бъ онъ могъ охлальть къ ней, отречься отъ нея, — онъ бы вдругъ лишился своего таланта. Какая же это мысль? Это-страданіе, бользнь при видъ непризнаннаго человъческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ, и еще больше безъ умысла; это-то, что нёмиы называють гуманностію (Humanität). Тѣ, кому покажется непонятною мысль, заключающаяся въ этомъ словъ, въ сочиненіяхъ Искандера найдуть самое лучшее ея объяснение. О самомъ же словъ скажемъ, что нъмцы сдълали его изъ латинскаго слова humanus, что значить человъческій. Здёсь оно берется въ противоположность словуживотный. Когда человъкъ поступаетъ съ людьми, какъ слёдуетъ человёку поступать съ своими ближними, братьями по естеству, -- онъ поступаетъ гуманно; въ противномъ случав онъ поступаетъ, какъ прилично животному. Гуманность есть челов колюбіе, но развитое сознаніемъ и образованіемъ. Человъкъ, воспитывающій бъднаго сироту не по расчету, не изъ хвастовства, а по желанію сделать добро, --- воспитывающій его, какъ родного сына, но вмъстъ съ этимъ дающій ему чувствовать, что онъ его благодътель, что онъ на него тратится, и пр. и пр., такой человъкъ, конечно, заслуживаетъ названія добраго, нравственнаго и челов колюбиваго, но отнюдь не гуманнаго. У него много чувства, любви, но они не развиты въ немъ сознаніемъ, покрыты грубою корою. Его грубый умъ и не подозраваеть, что въ натура человаческой есть струны тонкія и н'яжныя, съ которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сдёлать человёка несчастнымъ при всёхъ внёшнихъ условіяхъ счастія, или чтобы не огрубить, не опошлить человака, который, при болже гуманномъ съ нимъ обращенин, могъ бы сделаться порядочнымъ. А между темъ сколько на свётё такихъ благодётелей, которые мучатъ, а иногда и губять тёхъ, на кого изливаются ихъ благоденнія, безь всякаго дурного умысла, иногда горячо любя ихъ, смиренно желая имъ всякаго добра,--и потомъ добродушно удивляются тому, что, вмъсто привязанности и уваженія, имъ заплачено холодностію, равнодушіемь, неблагодарностію, даже ненавистію и враждою, или что изъ ихъ восиитанниковъ вышли негодян, тогда какъ они имъ дали самое правственное воспитание. Сколько есть отцовъ и матерей, которые дъйствительно, по-своему, любять своихъ дётей, но считають священною обязанностью безпрестанно твердить имъ, что они обязаны своимъ родителямъ и жизнію, и одеждой, и воспитаніемъ! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишають себя детей, заменяя ихъ какими-то пріемышами, спротами, которыхъ они взяли изъ чувства благод втельности. Они спокойно дремлють на моральномъ правиль, что дъти должны любить своихъ родителей, и потомъ, въ старости, со вздохомъ повторяютъ избитую сентенцію, что отъ дітей-де нечего ожидать, кромів неблагодарности. Даже этотъ страшный опытъ не снимаеть толстой ледяной коры съ ихъ оценевлыхъ умовъ и не заставляетъ ихъ наконецъ понять, что сердце человъческое дъйствуетъ по своимъ собственнымъ законамъ и никакихъ другихъ признавать не хочеть и не можеть, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство, противное человъческой природъ, сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается

только любви, что любви нельзя требовать, какъ чего-то, следующаго намъ по праву, но всякую любовь надо пріобрѣсти, заслужить, отъ кого бы то ни было, все равно-отъ высшаго или отъ низшаго насъ, сыну ли отъ отца, или отцу отъ сына. Посмотрите на детей: часто случается, что дитя очень равнодушно смотрить на свою мать, хотя она и кормитъ его своею грудью, и подымаетъ страшный ревъ, если, проснувшись, не увидить тотчасъ же своей няни, которую оно привыкло вид'ять при себъ безотлучно. Видите ли: ребенокъ — это полное и совершенное выражение природы — даритъ своей любовью того, кто доказываеть ему любовь свою на самомъ дель, кто отказался для него отъ всёхъ удовольствій, словно желёзною цёнью приковаль себя къ его жалкому и слабому суще-

Гуманность нисколько не находится въ противоръчін съ уваженіемъ къ высокимъ общественнымъ положеніямъ и рангамъ; но она находится въ рѣшительномъ противорѣчіи съ презрѣніемъ къ кому бы то ни было, кром'в негодяевъ и подлецовъ. Она охотно признаетъ общественное первенство людей, но только смотрить на него не съ одной внѣшней, но болѣе съ внутренней стороны. Гуманность не только не обязываеть — человъка низшаго сословія, съ грубыми манерами, привычками, осыпать непривычными ему в'яжливостями, но даже запрещаетъ это, потому что такое обращение поставило бы его въ неловкое положение, заставило бы подозрѣвать въ немъ насмѣшку или дурной умысель. Гуманный человъкъ обойдется съ низшимъ себя и грубо развитымъ челов комъ съ тою вѣжливостью, которая тому не можеть показаться странною или дикою; но онъ не допустить его унижать передъ нимъ свое человъческое достоинство, -- не позволить ему кланяться себь въ ноги, не станетъ называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будеть легонько трясти его за бороду, въ знакъ своего милостиваго къ нему расположенія, чтобы тоть, подло ухмыляясь, говориль ему съ подобострастіемь: "за что изволите жаловать?... Чувство, гуманности оскорбляется, когда люди не уважають въ другихъ человъческаго достоинства, и еще болъе оскорбляется и страдаетъ, когда человькъ самъ въ себъ не уважаетъ собственнаго достоинства.

Воть это-то чувство гуманности и составляеть, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя пмъ на сцену лица—люди не злые, даже большею частію добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намъреніями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостію чувствъ и гадостію поступковъ, представляются авторомъ, больше какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой натуры. Онъ изображаетъ преступленія, не подлежащія вѣдомству законовъ и понимаемыя большниствомъ, какъ дѣй-

ствія разумныя и нравственныя. Злоджевъ у него мало: въ трехъ повестяхъ, доселе напечатанныхъ, только въ одной "Сорокъ-Воровкъ" выведенъ злодъй, да и то такой, котораго и теперь многіе готовы счесть за самаго добродѣтельнаго и нравственнаго человѣка. Главное орудіе Искандера, которымъ онъ владъетъ съ такимъ удивительнымъ мастерствомъ, --- пронія, нерѣдко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкою, граціозною и необыкновенно добродушною шуткою: вспомните добраго почтмейстера, который два раза чуть не убиль Бельтову, сначала горемъ, потомъ радостію, и такъ добродушно потпраль себ'в руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что "нѣтъ въ мір'в жестокаго сердца, которое нашло бы въ себъ силу упрекнуть его за эту шутку, и которое бы не предложило ему закусить". А между тъмъ и въ этой чертъ, нисколько не возмутптельной, а только забавной, авторь остается вфрымь своей завътной идеж. Все, что касается этой иден въ романь "Кто Виновать?", —все это отличается върностію дійствительности, мастерствомъ изложенія, которыя выше всякихъ похваль. Здёсь, а не въ любви Вельтова и Круциферской, -- блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, что романъ этотъ-рядъ біографій, связанныхъ между собою одною мыслію, но безконечно разнообразныхъ, глубоко правдивыхъ и богатыхъ философскимъ значеніемъ. Зд'єсь авторъ вполить въ своей сферф. Что лучшаго въ той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, какъ не біографія почтенивашаго Карна Кондратынча, бойкой супруги его Марын Степановны и бъдной дочери ихъ Варвары Карповны, по-домашнему Вавы, — біографія, вошедшая сюда эпизодомъ? Когда интересны въ романъ Круциферскій и Любонька? - тогда, какъ они живуть въ домѣ Пегровыхъ и страдають отъ всего ихъ окружающаго. Такія положенія сподручны автору, и онъ-необыкновенный мастеръ рисовать ихъ. Когда интересенъ самъ Бельтовъ? -- когда мы читаемъ исторію его превратнаго и ложнаго воспитанія и потомъ исторію его неудачныхъ попытокъ найти свою дорогу въ жизни. Это также входить въ сферу таланта автора. Онъ-философъ по преимуществу, а между тъмъ немножко и поэтъ, и воспользовался этимъ, чтобы изложить свои понятія о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходнымъ разсказомъ: "Изъ сочиненія доктора Крупова — о душевныхъ бользияхъ вообще п объ эпидемическомъ развити опыхъ въ особенности". Въ немъ авторъ ни одною чертою, ни однимъ словомъ не вышелъ изъ сферы своего таланта, и оттого здёсь его таланть въ большей опредёленности, нежели въ другихъ его сочиненіяхъ. Мысль его та же, но она приняла здёсь исключительно тонъ пронін, для однихъ-очень веселой и забавной, для другихъ-грустной и мучительной, и только въ изображенін косого Лёвки — фигуры, которая бы сделала честь любому художнику-авторъ говорить серьезно. По мысли и по выполненію, это ръшительно лучшее произведение прошлаго года, хотя

оно и не произвело на публику особеннаго впечатльнія. Но публика права въ этомъ случав: въ романь "Кто Виновать?" и въ ижкоторыхъ произведеніяхъ другихъ писателей она нашла больше ближайшихъ къ ней и потому нуживищихъ и полезнъйшихъ ей истинъ, а между тъмъ въ послъднемъ произведении тотъ же духъ, то же содержаніе, что и въ первомъ. Вообще, упрекнуть автора въ односторонности-значило бы вовсе не понять его. Онъ можетъ изображать верно только міръ, подлежащій вѣдомству его задушевной мысли; его мастерскіе очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изученіи изв'єстной стороны д'яйствительности. Натура воспріимчивая и впечатлительная, авторъ сохранилъ въ намяти своей многіе образы, поразившіе его еще въ дітстві. Легко понять, что выводимыя имъ лица не суть чистыя созданія фантазін, -- это скорже мастерски обделанные, а иногда и вовсе передаланные матеріалы, цаликомъ взятые изъ действительности. Ведь мы сказали, что авторъ больше философъ и только немножко поэтъ...

Совершенную противоположность составляетъ съ нимъ въ этомъ отношени авторъ "Обыкновенной Исторіи". Онъ-поэть, художникъ, и больше ничего. У него нътъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ; они его не веселятъ, не сердять; онъ не даеть никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаеть: кто въ бъдъ, тотъ и въ отвътъ, а мое дело-сторона. Изъ всехъ нынешнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ већ другіе отошли отъ него на неизмфримое пространство-н темъ самымъ успеваютъ. Все ныавшніе писатели имвють еще ивчто, кромв таланта, и это-то нъчто важнъе самого таланта и составляетъ его силу; у г. Гончарова нътъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэть - художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямь его таланта принадлежить необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяеть себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собою другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по-своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свътской женщиной, мечтательной и съ разстроенными нервами? И каждая изъ нихъ въ своемъ родъ мастерское, художественное произведение. Мать молодого Адуева и мать Наденьки-объ старухи, объ очень добры, объ очень любять своихъ дътей и объ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ обѣ глуны и пошлы. А между тъмъ это два лица совершенно различныя: одна-барыня провинціальная стараго въка, ничего не читаетъ и ничего не понимаеть, кромѣ мелочей хозяйства, -- словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другаябарыня столичная, которая читаеть французскіг книжки, ничего не понимаеть, кромъ мелочей хозяйства, -словомь, добрая правнучка злой госпожн

Простаковой. Въ изображении такихъ илоскихъ и -акэткотомкэ йожкэа ахынныши, лишенныхь всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается таланть, потому что всего труднее обозначить ихъ чемъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этою живою, вътренною, своенравною и немножко лукавою Наденькою и тою спокойною по наружности, но пожираемою внутреннимъ огнемъ Лизою? Тетка героя романа—лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценъ, оканчивающей первую часть романа! Мы не будемъ распространяться насчеть мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замътить, потому что до сихъ поръ они редко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина-или приторно-сентиментальное существо, или семинаристь въ юбкъ, съ книжными фразами. Женщины г. Гончарова-живыя, върныя дъйствительности созданія.

Это новость въ нашей литературъ. Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ линамъ романа-молодому Адуеву и его дядъ, Петру Пванычу; о последнемъ нельзя не сказать хотя нфсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ, противоноложностію своею, еще болье оттьняеть героя романа. Говорять, типъ молодого Адуева-устарыный; говорять, что такіе характеры уже не существують на Русп. Итть, не перевелись и не переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производять не всегда обстоятель ства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси-Владиміръ Ленскій, по прямой линін происходящій отъ гётевскаго Вертера. Пушкинъ первый замътилъ существование въ нашемъ обществъ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченісмъ времени онъ будутъ измъняться, но сущность ихъ всегда будеть та же самая... Молодой Адуевъ, прітхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какою радостію обниметь своего обожаемаго дядю, н въ какомъ восторгъ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирф-и боится, что дядя осердится на него, зачёмь онъ не пріёхаль прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разстиваеть его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже непріятно былъ пораженъ темь, что дядя назваль дуракомъ Заёзжалова п дурою деревенскую тетку съ ея желтымъ цвъткомъ, приславшихъ къ нему преглупънтия письма. Провинціалы часто бывають очень см'єшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка, мелка, всв другъ друга знають и если не враждують между собою, то непремыно пребывають въ нѣжнѣйшей дружбѣ; среднихъ отношеній почти ивть. II воть изъ городка отправляется искать счастія въ столицу молодой человъкъ; всь имъ интересуются, провожають его, желають ему всякаго счастія, просять не забывать. Онъ уже сділался въ столицѣ пожилымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смут-

нымъ видъніемъ; подъ вліяніемъ новыхъ впечатлёній, новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ. онъ давно перезабылъ и имена, и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ детстве, и номнить только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляются ему въ томъ видф, какъ онъ ихъ оставилъ, а въдь они съ тъхъ поръ перемънились же. По ихъ письмамъ онъ видитъ, чтоу него съ ними нътъ ничего общаго; отвъчая имъ, онъ поддълывается подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно ли, что онъ пишеть къ нимъ ръже и ръже, наконедъ и совсъмъ перестаетъ писать. Мысль о прівздв въ столицу родственника или знакомаго пугаеть его столько же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдеть ихъ дорогою. Въ столицъ не понимаютъ заочной любви; здъсь думають, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въпровинцін думають совсёмь наобороть; вслёдствіе однообразія жизни, тамъ удивительно развита наклонность къ любви и дружбъ. Тамъ рады всякому; мѣшать другь другу, не давать покоютамъ считается священивйшею обязанностію. Если кому-нибудь перестануть надобдать родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболте обиженнымъ человткомъ въ мірт. Когда къ провинціалу, живущему въ маленькомъ городкъ, вдругъ наъзжаетъ орда родственниковъ и обращаеть его маленькій домикь въ боченокъ, набитый сельдями, онъ, по наружности, не знаеть, какъ и радоваться; съ веселымъ лицомъ бъгаетъ, суетится, угощаеть всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклинаетъ ее. А между тъмъ нопробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ не простить этого. Такова ужъ патріархальная логика провинцін! И съ такой-то логикой прівзжаеть иногда провинціаль въ столицу по деламъ со всёмъ семействомъ своимъ. Въ столицъ у него есть родственникъ, который лёть ужь двадцать какъ выёхаль изъ своего мъстечка и давнымъ-давно перезабылъ всъхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ малыми дётьми, которыхъ надо размёстить по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемою супругою, которая прівхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, пискъ, визгъ. "А мы прямо къ вамъ, —мы не смѣли остановиться въ трактирф!" Столпчный родственникъ блёднфеть, не знаетъ, что делать, что сказать; онъ похожь на жителя города, взятаго непріятелемъ, къ которому въ домъ ворвалась толна предавшихся грабежу непріятельскихъ солдать. А между темь ему уже подробно изъяснено, какъ его любять, какъ его помнять, какъ о немъ безпрестанно говорять н какъ на него надъются, какъ увърены, что онъ непременно поможеть определить Костеньку, Петеньку, Өеденьку, Митеньку по корпусамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку въ институтъ. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависить его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ-и съ холодною въжливостію объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себъ, что его квартира тесновата и для его собственнаго семейства, что въ корнуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по узаконенному порядку, что туть не поможеть никакая протекція, если ньть вакантныхъ мъсть, или если дъти старше или моложе пріемныхъ літь, или не выдержать экзамена, а тъмъ болъе протекція такого незначительнаго человъка, какъ онъ, который сверхъ того служить совсёмь по другому вёдомству и не знакомъ ни съ къмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бъщенствъ, вопіютъ противъ столичнаго эгонзма н развращенія и говорять о своемъ родствениикъ, какъ о чудовищъ. А между тъмъ это, можетъ быть, очень порядочный человъкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотелъ обратить своей квартиры въ безобразный таборъ, лишить себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься делами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣсипть себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотълъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тёмъ и эти провиндіалы посвоему люди добрые и даже неглупые; вся вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увърены найти въ ней, за исключениемъ огромности, великолтия и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ теми же нравами, обычаями и понятіями. Они по-своему любять роскошь и великольніе, тотя и безь вкусу, при средствахь, готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинетъ не имъютъ и понятія и не знаютъ, зачёмь онь; спальня и дётская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ничего не стоитъ потъсниться и пожаться, понятіе о комфортъ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тесноте, любять ее по пословиць: въ тъсноть люди живутъ, да и жилымъ крѣиче пахнетъ. Они всякому рады и, по словамъ Йетра Иваныча, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замъчанію его племянника, эта черта составляеть добродетель русскихь, съ чти Петръ Иванычъ ртшительно несогласенъ. "Какая туть добродътель, — говорить онъ. — Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какънибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожальемь: это намь здысь ровно пичего не стоитъ... Препротивная добродътель". Петръ Иванычъ выразился немножко жестоко, но не совсёмъ несправедливо. Действительно, радушіе и гостепрінмство провинціальное больше всего основываются на бездъйствін, праздности, скукъ, привычкъ. Силу столичныхъ людей они измъряютъ не мъстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, н отъ души увърены, что если кто дъйствительный статскій сов'тникъ, такъ ужъ непрем'вню всемогущая особа, которой стонть только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу нользу процессъ, тянувшійся пятьдесять лать, приняли вашихъ дътей въ учебное заведение, дали вамъ выгодное мфсто, чинъ и орденъ. Откажите имъ въ какой-нибудь просьбь, при всемъ вашемъ желанін исполнить ее, но по невозможности выполнить, --- п воть вы самый безнравственный человькь въ мірь, вы зазнались, подняли носъ, презпраете провинціалами. А у нихъ первая доброд'втель-ни передъ къмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣхъ и каждаго. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важинчанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго мира и согласія, смягчается тамъ добродѣтельною готовностію съежиться въ присутствін человіка, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронить своего достоинства передъ тъмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ, эта добродътель процвътаетъ и въ столицъ, хотя и въ болъе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дълается съ истинно-аркадскою наивностью. "Э, братець (говорить богатый пом'вщикь или важный чиновникъ бъдному помъщику или чиновнику), ты меня вовсе забылъ, —аль недоволенъ мной? или плохо кормлю? кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты гороховый!" Бѣднякъ слегка конфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позъ; но въ глазахъ его сіяеть удовольствіе: онъ знаетъ, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чёмъ въ иной ласкъ. "Ну, да хорошо, Богъ тебя простить; теперь нойдемъ-ка хлеба-соли откушать, -- обедъ готовъ". И оба довольны: одинъ, что выполнилъ въ точности законы патріархальнаго гостепрінмства и обласкалъ бѣднаго человѣка; другой, что хорошо принятъ и обласканъ такою важною въ его глазахъ персоною. И этотъ бъднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только общество аристократовъ его захолустья, но и общество низшихъ его людей, потому что онъ тогда только и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низ шимъ. Конечно, это отнюдь не можетъ относиться ко всёмь провинціаламъ; вездё есть люди образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствъ, а мы говоримъ о большинствъ. Непосредственное вліяніе окружающей человъка среды такъ на него сильно, что лучше изъ провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальныхъ предразсудковъ-и на первый разъ теряются, пріфхавши въ столицу.

Туть все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, нараспашку; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосъдъ къ сосъду: въ прихожей или нътъ никого, или спитъ на грязномъ залавкъ небритый лакей или оборванный мальчишка, а спитъ онъ

нотому, что ему нечего дёлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И воть гость входить въ залу—нёть инкого; въ гостиную — тоже никого; онь въ спальню—и вдругъ тамъ раздается визгливое ахъ; гость говорить въ пріятномъ замѣшательствѣ: извините-съ, медленно пятится въ гостиную; къ нему ктонибудь выбѣтаетъ, изъявляетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все назаперти, вездѣ колокольчики, вездѣ пензбѣжное "какъ прикажете доложить?" А потомъ—то дома нѣтъ, то нездоровъ, то просятъ извинить—заняты; а когда примутъ, то, конечно, вѣжливо, но зато какъ равнодушно, холодно, никакого радушія; ни позавтра-

кать, ни пообъдать не пригласять... Но обратимся къ герою "Обыкновенной Исторін". Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и быль увтрень, что дядя приметь его съ восторгомъ и помъстить у себя въ квартирѣ, однако какое - то темное чувство заставило его остановиться въ трактиръ. Если-бъ онъ сдълалъ хорошую привычку разсуждать о томъ, что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о темномъ чувствъ, которое заставило его вътхать въ трактиръ, а не прямо на квартиру дяди, и скоро поняль бы, что ньть никакихъ причинъ ожидать оть дяди другого пріема, кром'я какъ разв'я равнодушно-ласковаго, и что нётъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ квартиръ. Но, къ несчастію, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбе и другихъ высокихъ и далекихъ предметахъ, и потому явился къ дядъ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненныя ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное внечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ-по натуръ, по восинтанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго человѣка и заставить его наделать тьму глупостей. Некоторые находять, что онъ съ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совсемъ вероятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ, -- можетъ быть, въ этомъ замъчаніи и есть доля правды; да дълото въ томъ, что полное изображение характера молодого Адуева надо искать не здёсь, а въ его любовныхъ похожденіяхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онь представитель множества людей, похожихъ на него, какъ двѣ капли воды, и дѣйствительно обрѣтающихся въ здёшнемъ мірё. Скажемъ нёсколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежить этотъ романтическій звърекъ.

Это порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надвляеть нервическою чувствительностію, часто доходящею до бользненной раздражительности (susceptibilité). Они рано обнаруживають тонкое пониманіе неопредвленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ следить за ними, наблюдать ихъ и назы-

вають это-наслаждаться внутреннею жизнію. Поэтому они очень мечтательны и любять или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще они богато одарены отъ природы душевными способностями, но д'ятельность ихъ способностей чистострадательная: иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ не способенъ что-нибудь дёлать, производить; онъ немножко музыканть, немпожко живописецъ, немножко поэтъ, даже при нуждъ немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими пріобрівсти не только славы или извъстности, но даже выработать посредственное содержание. Изо всёхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развиваются воображение и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэтъ творить, а та фантавія, которая заставляеть челов'єка наслажденіе мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію д'яйствительными благами жизни. Это они называютъ жить высшею жизнію, недоступною для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презранная толна пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны къ великодушнымъ движеніямъ; но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходять до сознательнаго презрѣнія къ "пошлому здравому смыслу-этому, по нхъ мивнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и нпчтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго"; сердце ихъ, безирестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волею, подъ управленіемъ фантазін, скоро скудфеть любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замъчая, а напротивъ того, будучи добросовъстно убъждены, что они-самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дётствё они удивляли всёхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ иные были гораздо выше ихъ, --естественно, что они были захвалены съ раннихъ лътъ и сами о себъ возымъли высокое понятіе. Природа и безъ того отпустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для эквилибра человъческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе усибхи усиливають у нихъ самолюбіе до невъроятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они добросовъстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за геніальное стремленіе къ славъ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бывають помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это-слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мивнію, достояніе презрѣнной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія славы.

Имъ и въ голову не приходитъ, что кто считаетъ себя равно способнымъ ко встмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни къ какому, - что самые великіе люди узнавали о своей геніальности не прежде, какъ сделавши сперва что-нибудь действительно великое и геніальное, и узнають это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ п восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ военная слава, имъ очень бы хотелось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условін, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть небольшую, хоть стотысячную армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побъдъ своихъ. Манитъ ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условін, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда готовы въ головъ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стонтъ только присъсть да написать). Но какъ зависть людей сделала невозможными такіе геніальные скачки для такихъ геніальныхъ людей и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще съ начала, а не съ конца, п на дёлё, а не на словахъ только, доказалъ бы свою геніальность, то наши геніи поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но ненадолго: сухая и скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нъть никакой инщи сердцу и фантазін. Остается нскусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому генію не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обидиће для романтиковъ, сначала труда чисто-матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія, — и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху и, еще ничего не сделавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблуждение состоитъ еще не въ пелъпомъ убъжденін, что въ поэзін нуженъ только талантъ н вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого действительно есть большой таланть, тотъ силою самого таланта скоро пойметь нельпость этой мысли и начнеть все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Неть, главное и гибельное ихъ заблуждение состоить въ томъ, что они увърили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинъ, срослись съ этою несчастною мыслію, такъ что разочароваться въ ней значить для нихъ потерять всякую в ру въ себя и въ жизнь-и въ цвътъ лътъ сдълаться наралитическими стариками. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говорить въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не-поэтами. Онъ воспъваеть въ нихъ свои страдания, которыхъ не испыталъ; говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаеть, чего хочеть; простираеть къ братьямъ-людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человъчество, или горько жалуется, что

толна холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Б'ёднякъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинеть, ничего не стоить вдругь возгорьться самою неистовою любовью къ человъчеству, по крайней мъръ гораздо легче, нежели провести безъ сна хотя одну ночь у постели трудно-больного. Обыкновенно романтики придають страшную цену чувству, думають, что только один они наделены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, нотому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство, конечно, важная сторона въ натуръ человъка, но не всъ и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своею способностію чувствовать глубоко и сильно. Случается и такъ, что иной, чемъ сильнее чувствуеть, темъ безчувственнъе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, оть живого изображенія челов'яческихъ б'ядствій въ романъ или повъсти-и равнодушно проходитъ мимо действительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ нѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какое-нибудь восторженное посланіе Шиллера къ Лауръ и, кончивши послъдній стихъ, съ неменьинить удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсёмъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благосостоянін, отъ которыхъ только одинъ онъ и жирветь, а они все худвють. Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки; хотя въ нихъ и довольно риторической водицы, однако въ нихъ мъстами проглядываеть чувство, иногда даже блеснеть мысль (какъ отголосокъ чужой мысли), —словомъ, замѣтно что-то вродъ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ; а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ пріобръсти даже значительную извъстность. Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извъстность, пріобрътенная въ короткое время чёмъ-то, въ короткое же время и исчезаеть просто отъ инчего; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а наконецъ и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновеніе даже ложною извъстностію: его не допустили до этого и время, въ которое онъ вышелъ съ своими стихами, и умный, откровенный дядя. Его несчастіе состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него, вмъсто таланта, быль полуталанть, который въ поэзіп хуже бездарности, потому что увлекаеть человъка ложными надеждами. Вы поминте, чего ему стоило разочарование въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ противоположности натуръ, но, во всякомъ случаѣ, онъ чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга пельзя искать, какъ подрядчика на работу; друга

нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣнляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтають о ней безпрестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но делають другь для друга, что могутъ. Вывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга-и умиралъ вскоръ послѣ него; другой отъ потери своего друга изъ веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбить, потужить, да и утфинтся; но если онъ навсегда сохранитъ воспоминаніе, и оно будеть для него вмѣстѣ и грустно, и отрадно, -- онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сощель съ ума, не сделался меланхоликомъ, но еще нашель силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависять отъ личности друзей; туть главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутаго, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то иной готовъ и, Богъ знаетъ, на какія самоножертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себъ, а иногда и другимы: "воть каковь я въ дружбе!" или: "воть къ какой дружбъ я способенъ!" Этотъ-то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программъ, зарание составленной; гдв съ точностію опреділены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключають контрактовъ съ своими друзьями. Имъ дружба нужна, чтобъ удивить міръ н показать ему, какъ великія натуры въ дружбъ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толны. Ихъ тянеть къ дружбѣ не столько потребность симпатін, столь сильной въ молодыя лета, сколько потребность иметь при себе человека, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоцѣнной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ слотомъ, для нихъ другъ есть драгоцанный сосудъ для изліннія самыхъ святыхъ и завътныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ-то дёлё въ ихъ глазахъ другъ есть лахань, куда они выливають помон своего самолюбія. Зато они и не знають дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, в вроломными, извергами, и они еще сильнъе злобствуютъ на людей, которые не умъли и не хотъли понять и опфиць ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Обыкновенно любовь раздѣляютъ на многіе роды и виды; всѣ эти раздѣленія большею частію нелѣпы, потому что надѣланы людьми, которые способиѣе мечтать и разсуждать о любви, нежели любить. Прежде всего раздѣляютъ любовь на матеріальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презираютъ первую и восторгаются второю. Дѣйствительно, есть люди столь грубые, что могутъ предаваться только животнымъ наслажденіямъ любви, не хлопоча даже о красотѣ и молодости; но даже и эта любовь, какъ ни груба она, все же лучше платонической, потому что

естествените ея: послъдняя хороша только для хранителей восточныхъ гаремовъ... Человъкъ не звъръ и не ангелъ; онъ долженъ любить не животно и не платонически, а человъчески. Какъ бы ни идеализировали любовь, но какъ же не видъть, что природа одарила людей этимъ прекраснымъ чувствомь сколько для ихъ счастія, столько и для размноженія и поддержанія рода челов'вческаго. Родовъ любви такъ же много, какъ много на землъ людей, потому что каждый любить сообразно съ своимъ темпераментомъ, характеромъ, понятіями и т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна посвоему, лишь бы только она была въ сердцѣ, а не въ головъ. Но романтики особенно надки къ головной любви. Сперва они сочиняють программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за неимѣніемъ таковой любятъ пока какую-нибудь; имъ ничего не стоитъ вельть себь любить, - въдь у нихъ все дълаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастія, не для наслажденія, а для оправданія на ділів своей высокой теорін любви. И они любять по тетрадкъ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота-являться въ любви великими и ни въ чемъ не унизиться до сходства съ обыкновенными людьми. И однако-жъ въ любви молодого Адуева къ Наденькъ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побъдила его. Онъ бы могъ быть счастливъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Наденька была умнъе его, а главное-попроще и естественные. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головою, безъ теорій и безъ претензій на геніальность; она видъла въ любви только ея свётлую и веселую сторону-и потому любила какъ будто шутя, -- шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любиль "горестно и трудно", весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ, словно лошадь, которая тащить въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ быль и педанть: легкость, шутка оскороляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотёль быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталь съ Наденькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Наденька хотела. чтобъ онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго: все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но къ этому Адуевъ былъ человъкъ самый неспособный въ мірь, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслилъ, а мечталъ, бредилъ наяву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви, ему быль опасенъ всякій соперникъ, -- пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походиль на него и могъ бы имъть для Наденьки прелесть новости; а туть вдругь является графъ, человъкъ съ блестящимъ свътскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношении къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повель себя, какъ глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дъло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и безполезно для него, что во всей этой исторіи быль виновать только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной натуры въ последнемъ его объяснения съ Наденькой и потомъ въ разговоръ съ дядею! Страданія его невыносимы; онъ не можеть не согласиться съ доводами дяди и между тъмъ все-таки не можетъ понять дело въ его настоящемъ свете. Какъ! ему унизиться до такъ называемыхъ хитростей, ему, который затымь и нолюбиль, чтобь удивить себя и міръ своею громадною страстію, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ, ни о его любви! Но его теорін, судьба должна была послать ему такую же великую геронню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дівчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была въ глазахъ его выше всъхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всёхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, если-бъ не было такъ грустно. Ложныя причины производять такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Но воть мало-по-малу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать "своею нарядною печалью". Прошель годь, и онь уже презираеть Наденьку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженія. На вопрось тетки: какой любви потребоваль бы онъ отъ женщины? онъ отвъчалъ: "я бы потребовать отъ нен первенства въ ея сердць; любимая женщина не должна замьчать, видъть другихъ мужчинъ, кромъ меня; всъ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснъе (туть онъ выпрямился), лучше, благородиће всехъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигь; въ монхъ глазахъ, въ монхъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всёмъ: презрёнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бъжать, если нужно, на край свъта, сносить энергически всв лишенія, наконець презрёть самую смерть-вотъ любовь!"

Какъ эта галиматья похожа на слова восточнаго деспота, который говорить своему главному евнуху: "если одна изъ моихъ одалисокъ проговоритъ во снъ мужское ими, которое будеть не монмъ,сейчась же въ мъщокъ и въ море!" Въдный мечтатель уверень, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные; и между тъмь туть выразплись только самое необузданное самолюбіе и самый отвратительный эгонзмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбія. Прежде, чімь требовать такой любви отъ женщины, ему слъдовало бы спросить себя, способенъ ли онъ самъ заплатить такою же любовью; чувство увъряло его, что способенъ, тогда какъ въ этомъ случай нельзя вёрить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиковъ чув-

ство есть единственный непограшительный авторитетъ въ рашении всахъ вопросовъ жизни. Но если бы онъ и быль способень къ такой любви, это бы должно было быть дли него причиною бояться любви и бъжать отъ нея, потому что это любовь не человъческая, а звъриная, взаимное терзаніе другь друга. Любовь требуеть свободы; отдаваясь другь другу по временамъ, любящіеся по временамъ хотять принадлежать и самимъ себъ. Адуевъ требуетъ любви въчной, не понимая того, что чёмь любовь живее, страстнее, чёмь ближе подходить подъ любимый идеаль поэтовъ, темъ она кратковремениве, темъ скорве охлаждается и переходить въ равнодушіе, а иногда п въ отвращение. И наоборотъ, чъмъ любовь спокойнъе и тише, т. е. чъмъ прозаичнъе, тъмъ продолжительнъе: привычка скръпляеть ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь-это цвфтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытывають ръдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послъ иные любять и еще нъсколько разъ, да ужь не такъ, потому что, какъ сказаль немецкій поэтъ, май жизни цвътетъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концъ своей трагедін: черезъ это они остаются въ намяти читателя героями любви, ея аповеозою; оставь же онь ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые, сидя вмёстё, завають, а иногда и ссорятся, въ чемъ вовсе натъ

Но воть судьба послала нашему герою именно такую женщину, т. е. такую же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствъ, все забыль, все бросиль, съ утра до ноздней ночи проспживаль у ней каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство? Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человъкъ, сидя наединъ съ прекрасною молодою женщиною, которая его любить, и которую онъ любитъ, не краситлъ, не бледитлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви!.. Это, впрочемъ, понятно: сильная наклонность къ идеализму и романтизму почти всегда свидательствуетъ объ отсутствін темперамента; это люди безполые, - то же, что въ царствъ растеній тайнобрачные грибы, напримъръ. Мы понимаемъ это трепетное, робкое обожаніе женщины, въ которое не входить ни одно дерзкое желаніе, но это не платонизмъ: это первый моменть первой свёжей, девственной любви; это не отсутствіе страсти, а страсть, которая еще боится сказаться самой себъ. Съ этого начинается первая любовь, но остановиться на этомъ такъ же смѣшно и глупо, какъ захотѣть остаться на всю жизнь ребенкомъ и фадить верхомъ на палочкъ. Любовь имъетъ свои законы развитія, свои возрасты, какъ цвёты, какъ жизнь человъческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое льто, наконець осень, которая для однихъ бываетъ теплою, свътлою и плодородною, для другихъ-холодною, гнилою и безилодною. Но

нашъ герой не хотвлъ знать законовъ сердца, природы, действительности: онъ сочиняль для нихъ свои собственные; онъ гордо признавалъ существующій міръ призракомъ, а созданный его фантазіею призракъ-дъйствительно существующимъ міромъ. На зло возможности, онъ упорно хотълъ оставаться въ первомъ моментъ любви на всю жизнь свою. Однако-жъ, сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дело предложениемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться: но онъ только думаль, что решился, а въ самомъ-то дель ему только быль нужень предметь для новыхъ мечтаній. Между тамъ Тафаева начала смертельно надобдать ему своей привязчивой любовью; онъ началь тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ за то, что уже не любилъ ея. Еще прежде этого онъ ужъ начиналъ понимать, что свобода въ любви-вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть въ правѣ пройтись по Невскому, когда хочется, отобъдать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ, что, наконецъ, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бъдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастін, въ которомъ онъ былъ виновать гораздо больше ея, -- онъ рѣшился наконецъ сказать себъ, что онъ ея не любитъ, и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ любви былъ вдребезги разбить опытомъ. Онъ самъ увидель свою несостоятельность нередъ любовью, о которой мечталь всю жизнь свою. Онь увидёль ясно, что онъ вовсе не герой, а самый обыкновенный человъкъ, хуже тъхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и надутъ собою безъ заслуги, неблагодаренъ, эгонстъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнію, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рішился отомстить за свое ничтожество природь и человьчеству, связавшись съ животнымъ Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Последняя его любовная исторія гадка. Онъ хотёль погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки, и не могъ бы въ этомъ покушеніп оправдаться даже бъщенствомъ чувственныхъ желаній, хотя и этоилохое оправданіе, особенно, когда есть для этого путь болъе прямой и честный. Отецъ дъвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія: онъ объщаль поколотить его; герой нашь хотыль съ отчаянія броситься въ Неву, но струсиль. Концерть, на который затащила его тетка, расшевелиль въ немъ прежнія мечтанія и вызваль его на откровенное объяснение съ теткою и дядею. Здёсь онъ обвиниль дядю во всёхь своихь несчастіяхь. Дядя по-своему дъйствительно кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ быль туть самимъ собою, не лгаль, не притворялся, говориль по убъяденію, что думаль и чувствоваль; если слова его подфиствовали на племянника болѣе вредио, нежели полезно, въ этомъ виновата ограничениая, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ что бываютъ только около нея, но никогда въ ней. Выѣзжая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: "Художникъ-варваръ кистью сонной"... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ—такіе болтуны!

Онъ пріфхаль въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измънилась: мать едва узнала его. Съ ней онъ обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открыль, не объясниль. Онъ наконець поняль, что между нимъ и ею нътъ ничего общаго, что если-бъ онъ сталь ей объяснять, куда девались его волоски, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ тягость. Мъста-свидътели его дътстварасшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началь хныкать о ихъ невозвратной потерф, говоря, что счастіе въ обманахъ и призракахъ. Это-общее убъждение встхъ дряблыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ натуръ. Вѣдь, кажется, опыть достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія пропзошли именно отъ того, что онъ предавался обманамъ и мечгамъ: воображалъ, что у него огромный поэтическій таланть, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой-то героической, самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это быль человъкъ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ быль добръ, любящъ и не глупъ, не лишенъ образованія; всѣ несчастія его произошли отъ того, что, будучи обыкновеннымъ челов комъ, онъ хотелъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатін, и кто потомъ не смъялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно; романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткъ и дядъ, писанное послъ смерти его матери и исполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла,—это письмо подъйствовало на насъ какъ-то странно; но мы объяснили его себъ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ за тъмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ этимъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года послъ вторичнаго прідзда нашего героя въ Петербургъ. На сценъ Петръ Иванычъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностію съ героемъ романа лучше оттънить его. Это набросило на весь романъ нъсколько дидактическій оттьнокь, въ чемъ многіе не безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умъль и туть показать себя человъкомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Иванычъ-не абстрактная идея, а живое лицо, фигура, нарисованная во весь рость кистью смёлою, широкою и върною. О немъ, какъ о человъкъ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обонхъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видъть въ немъ какой-то идеалъ, образецъ для подражанія: это люди положительные и разсудительные. Другіе видять въ немъ чуть не изверга: это мечтатели. Петръ Иванычъ по-своему человѣкъ очень хорошій; онъ уменъ, очень уменъ, потому что хорошо понимаеть чувства и страсти, которыхъ въ немъ нътъ, и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Нушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Иванычъ-эгонстъ, холоденъ по натуръ, не способенъ къ великодушнымъ движеніямъ; но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемъръ, не притворщикъ; на него можно положиться: онъ не объщаеть, чего не можеть или не хочеть сдълать, а что объщаетъ, то непремънно сдълаетъ. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составиль себъ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своею натурою и здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ нхъ непогръщительно - върными. Дъйствительно, мантія его практической философіи была сшита нзъ прочной и крѣпкой матерін, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы же были его изумление и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясница и до съдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантіи прорѣху-правда, одну только, но зато какую широкую! Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастін, но быль ув'врень, что утвердилъ свое семейственное положение на прочномъ основанін, — и вдругъ увидёлъ, что обдная жена его была жертвою его мудрости, что онъ завлъ ея въкъ, задушиль ее въ холодной, тъсной

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человъку нужно и еще чего-нибудь немножко, кромъ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережеть насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человъческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастіе, которое только насъ можеть удовлетворить, но всякій человъкъ можеть быть счастливымъ только сообразно съ собственною натурою! Петръ Иванычъ хитро и тонко расчель, что ему надо овладъть понятіями, убъжденіями, склонностями своей жены, не давая ей этого за-

мётить, вести ее в дорог'я жизни, но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ; но онъ сдёлалъ въ этомъ расчетъ одну важную ошибку: при всемъ своемъ умѣ онъ не сообразилъ, что для этого надс было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но па такой онъ, можетъ быть, не захотёль бы жениться по самолюбію; въ такомъ случав ему слёдовало вовсе не жениться.

Петръ Иванычъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительною върностію; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогъ: это лицо вовсе фальшивос, неестественное. Такое перерождение для него было бы возможно только тогда, если-бъ онъ быль обыкновенный болтунь и фразерь, который повторяеть чужія слова, не понимая ихъ, накленываеть на себя чувства, восторги и страдачія, которыхъ никогда не испытываль; но молодон Адуевъ, къ его несчастію, часто бываль слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ п нельпостяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натурф; такіе романтики никогда не дёлаются положительными людьми. Авторъ имёль бы скорее право заставить своего героя заглохнуть въ деревенской дичи въ апатін и ліни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естествениће было ему сделать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ: но всего лучше и естественные было бы ему сдылать его, напр., славянофиломъ. Туть Адуевъ остался бы върнымь своей натуръ, продолжаль бы старую свою жизнь и между тъмъ думаль бы, что онъ и, Богъ знаеть, какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славъ, о дружоъ, о любви, а туть сталь бы мечтать о народахъ и племенахъ, о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ — вражда, о томъ, что во времена Гостомысла славяне имъли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идеть къ этой цивилизаціи, что этого не видять только следые и ожесточенные разсудкомъ, а всъ зрячіе и размягченные фантазіею давно это ясно видять. Тогда бы герой быть внолив современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портить впечатавние всего этого прекраснаго произведенія, потому что она неестественна и ложна. Въ эпилогъ хороши только Петръ Иванычъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа, эпилогъ хоть не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или опъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ—на почвѣ сознательной мысли—и пересталь быть поэтомъ. Здѣсь всего яснѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера: тотъ

и въ сферъ чуждой для его таланта дъйствительности умълъ выпутаться изъ своего положенія силою мысли; авторъ "Обыкновенной Исторіи" впаль въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаеть, что и для чего нишеть; онъ изображаеть съ поразительною вфриостію сцену дфиствительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести судъ. Г. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностію рисовать; говорить и судить, и извлекать изъ нихъ нравственчыя слёдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Картины Искандера отличаются не столько върностію рисунка и тонкостію кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ действительности; онъ отличаются больше фактическою, нежели поэтическою истиною, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія-всегда поражающими оригинальностію и новостію. Главная сила таланта г. Гончарова-всегда въ изящности и тонкости кисти, върности рисунка; онъ неожиданно впадаеть въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ, напримёръ, въ поэтическомъ описании процесса горвнія въ каминь сочиненій молодого Адуева. Въ таланть Искандера поэзія—агенть второстепенный, а главный-мысль; въ талантъ г. Гончарова поэзія-агенть первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный, или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ, романъ г. Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ между прочимъ языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ г. Гончарова въ этомъ отношении не печатная книга, а живая импровизація. Нікоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядею и племянникомъ. Но для насъ этп разговоры принадлежать къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нътъ ничего отвлеченнаго, неидущаго къ дълу; это — не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдф каждое дфйствующее лицо высказываеть себя, какъ человъка н характеръ, отстанваетъ, такъ сказать, свое нравственное существование. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ, дидактическомъ колоритъ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тымь больше чести г. Гончарову, что онъ такъ счастиво рѣшилъ трудную самое по себѣ задачу н остался ноэтомъ тамъ, гдв такъ легко было сбиться на тонъ резонера.

Теперь у насъ на очереди "Разсказы Охотипка", г. Тургенева. Талантъ г. Тургенева имъетъ много аналогіи съ талантомъ Луганскаго (г. Даля). Настоящій родъ того или другого—физіологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда. Г. Тургеневъ началъ свое литературное по-

прище лирическою поэзіею. Между его мелкими стихотвореніями есть піесы три, четыре очень недурныхъ, какъ, напримъръ, "Старый Иомъщикъ", "Баллада", "бедя", "Человѣкъ, какихъ много"; но эти піесы удались ему потому, что въ нихъ или вовсе ивть лиризму, или что въ нихъ главное не лиризмъ, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирическія стихотворенія г. Тургенева показывають рѣшительное отсутствіе самостоятельнаго лирическаго таланта. Онъ написалъ несколько поэмъ. Первая изъ нихъ-, Параша" была замъчена публикою, при ея появленіи, по бойкому стиху, веселой пронін, в'єрнымъ картинамъ русской природы, а главное-по удачнымъ физіологическимъ очеркамъ помфщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успъху поэмы помъшало то, что авторъ, ниша ее, вовсе не думалъ о физіологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслъ, въ какомъ у него итъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзін. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай. Потомъ онъ написалъ поэму-, Разговоръ": стихи въ ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли, но какъ эта мысль-чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже нонравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. Въ третьей поэмъ г. Тургенева — "Андрей" — много хорошаго, потому что много върныхъ очерковъ русскаго быта; но въ целомъ поэма опять не удалась, потому что это повъсть любви; изображать которую не въ талантъ автора. Инсьмо герении къ герою поэмы длинно и растянуто; въ немъ больше чувствительности, нежели паооса. Вообще въ этихъ опытахъ г. Тургенева быль замётень таланть, но какой-то нерёшительный и неопредъленный. Онъ пробоваль себя и въ повъсти; написать "Андрея Колосова", въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ характеровъ н русской жизни, но, какъ повъсть, въ цъломъ это произведение до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногіе зам'ятили, что въ ней было хорошаго. Замътно было, что г. Тургеневъ искалъ своей дороги и все еще не находиль ея, потому что это не всегда и не всемъ легко и скоро удается. Наконецъ г. Тургеневъ написалъ стихотворный разсказъ-, Помещикъ", не поэму, а физіологическій очеркъ пом'єщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ-то вышла далеко лучше всёхъ поэмъ автора. Бойкій эпиграмматическій стихъ, веселая пронія, вфрность картинъ, вывств съ этимъ выдержанность цалаго произведенія, отъ начала до конца, -- все показывало, что г. Тургеневъ напалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нътъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи. Въ то же время быль напечатань его разсказь въ прозъ — "Три Портрета", изъ котораго видно было, что г. Тургеневъ и въ прозъ нашелъ свою настоящую дорогу. Наконець въ первой книжкъ "Современника" за прошлый годъ былъ напечатанъ его разсказъ "Хорь н Калинычъ". Успёхъ въ публикъ этого небольшого разсказа, помъщеннаго въ смъси, былъ неожиданъ для автора и заставиль его продолжать разсказы охотника. Здёсь таланть его обозначился вполнъ. Очевидно, что у него нътъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы или повъсти. Онъ можетъ изображать дъйствительность, видънную и изученную имъ, если угодно-творить, но изъ готоваго, даннаго дъйствительностію, матеріала. Это не простое списываніе съ действительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваеть, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержание по своему идеалу, и отъ этого у него выходить картина, болъе живая, говорящая и полная мысли, нежели дъйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого необходимъ, въ изв'єстной мірі, поэтическій таланть. Правда, иногда все умѣнье его заключается въ томъ, чтобы только върно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ быль свидфтелемъ, потому что въ дъйствительности бываютъ иногда явленія, которыя стонтъ только вфрно переложить на бумагу, чтобъ они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имфють свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ г. Тургеневъ обладаетъ весьма замъчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва ли бы удалось создать вёрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрътилъ въ дъйствительности. Онъ всегда долженъ держаться ночвы дъйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства: даръ наблюдательности, способность в рно и быстропонять и оцънить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слъдствія, и такимъ образомъ догадкою и соображеніемъ дополнять необходимый ему запасъ свъдъній, когда разспросы мало объясняютъ.

Не удивительно, что маленькая піеска "Хорь и Калинычъ" имѣла такой успѣхъ: въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ. Хорь, съ его практическимъ смысломъ и практическою патурою, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его глубокимъ презрѣніемъ къ "бабамъ" и сильною нелюбовью къ чистотъ и опрятности, типь русскаго мужика, умъвшаго создать себъ значащее положение, при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ—еще болье свьжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтпческая натура въ простомъ народъ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываеть намъ своихъ героевъ, какъ умфетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! Всёхъ разсказовъ охотника было напечатано проилаго года въ "Современникъ" семь. Въ нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ разными сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній и званій. Не всв его разсказы одинаковаго достоинства: одни лучше, другіе слабъе, но между ними нътъ ни одного, который бы чъмъ-нибуде

не быль интересень, занимателень и поучителень. "Хорь и Калинычь" до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всъхъ разсказовъ охотника; за нимъ—
"Бурмистръ", а послѣ него—"Однодворецъ Овсянниковъ" и "Контора". Нельзя не пожелать, чтобы
г. Тургеневъ написалъ еще хоть цѣлые томы такихъ разсказовъ.

Хотя разсказъ г. Тургенева—, Петръ Петровичъ Каратаевъ", напечатанный во второй книжкѣ "Современника" за прошлый годъ, и не принадлежить къ ряду разсказовъ охотника, но это такой же мастерской физіологическій очеркъ характера чисто-русскаго, и притомъ съ московскимъ оттѣнкомъ. Въ немъ талантъ автора выказался съ такою же полнотою, какъ и въ лучшихъ изъ разсказовъ охотника.

Не можемъ не упомянуть о необыкновенномъ мастерствъ г. Тургенева изображать картины русской природы. Онъ любитъ природу не какъ дилетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется. Его картины всегда върны: вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу...

Г. Григоровичь посвятиль свой таланть исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантъ тоже много аналогія съ талантомъ г. Даля. Онъ также постоянно держится на почвѣ хорошо извѣстной и изученной имъ дѣйствительности; но его два последние опыта-"Деревня" и въ особенности, Антонъ-Горемыка"--идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. "Антонъ-Горемыка" -- больше, чёмъ пов'єсть: это ро манъ, въ которомъ все върно основной идеъ, все относится къ ней; завязка и развязка свободно выходять изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что витиняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужнцкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ-мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ-лицо трагическое, въ полномъ значеній этого слова. Эта повъсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тъснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы г. Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогь, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для върнаго опредъленія объема таланта; чёмъ большая ихъ стая бёжить вслёдъ успёха, тёмь, значить, успёхь огромнёе...

Въ послѣдней книжкъ "Современника" за прошлый годъ была напечатана "Полинька Саксъ", повъсть г. Дружинина, лица совершенно новаго въ русской литературъ. Многое въ этой повъсти отзывается незрѣлостію мысли, преувеличеніемъ, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, въ новъсти такъ много истины, такъ много душевной теплоты и върнаго сознательнаго пониманія дъствительности, такъ много самобытности, что повъсть тотчасъ же обратила на себя общее вниманіе. Особенно хорошо въ ней выдержанъ характеръ героини повъсти: видно, что авторъ хорошо

знаеть русскую женщину. Вторая повёсть г. Дружинина, появившаяся въ нынёшнемь году, подтверждаеть поданное первою повёстью мнёніе о самостоятельности таланта автора и позволяеть многаго ожидать отъ него въ будущемь.

Къ замъчательнъйшимъ повъстямъ прошлаго года принадлежить "Павель Алексвевичь Игривый", повъсть г. Даля ("Отечественныя Записки"). Карлъ Ивановичъ Гонобобель и ротмистръ Шилохвастовъ, какъ характеры, какъ типы, принадлежать къ самымъ мастерскимъ очеркамъ пера автора. Впрочемъ, всё лица въ этой повъсти очерчены прекрасно, особенно дражайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель и другь его Шилохвастовъ-созданія геніальныя. Это типы довольно знакомые многимъ по действительности, но искусство еще въ первый разъ воспользовалось ими и передало ихъ на пріятное знакомство всему міру. Повѣсть эта нравится не однѣми нодробностями и частностями, какъ всв большія новъсти г. Даля: она почти выдержана въ цъломъ, какъ повъсть. Говоримъ "почти", потому что трагическое для героя повъсти событе производить на читателя впечатльние чего-то неожиданнаго и непонятнаго. Человъкъ такъ любилъ женщину, столько дёлаль для нея; она, повидимому, такъ любила его; безпутный мужъ ея умеръ; другъ спъшить за-границу на свиданіе съ ней, окрыленный надеждами любви, и видить ее замужемъ за другимъ. Дъло въ томъ, что авторъ не хотълъ окрасить своего разсказа тёмъ колоритомъ, по которому читатель видёль бы естественность такой развязки. Игривый — челов вкъ комически робкій и стыдливый, почему и дозволиль двумъ негодяямъ изъ рукъ вырвать у него невъсту. Во время страданій ея супружеской жизни онъ вель себя въ отношеніи къ ней, какъ деликативиший и благородивиший человъкъ, но нисколько, какъ любовникъ: оттого ея оробъвшее, запуганное чувство къ нему скоро обратилось въ благодарность, уважение, удивление, наконець въ благоговъніе; она видъла въ немъ друга, брата, отца, воплощенную добродътель, и уже по тому самому не видъла въ немъ любовника. Послѣ этого развязка понятна, равно какъ и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сдълался какимъ-то помѣшаннымъ шутомъ.

Въ "Библіотекъ для Чтенія" прошлаго года тянулись "Приключенія, почеринутыя изъ моря житейскаго", г. Вельтмана, кончившіяся во второй книжкъ этого журнала на нынъшній годъ. Такъ какъ этотъ романъ начался, кажется, въ 1846 г., то мы о немъ уже имъли случай говорить. П потому снова повторимъ, что въ этомъ произведенін романъ смішанъ съ сказкою, невіроятное съ въроятнымъ, невозможное съ возможнымъ. Такъ, напримѣръ, Дмитрицкій, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьемъ простофили молодого купчика, который, какъ нарочно, былъ очень похожь на него лицомь, является къ его отцу въ качествъ его сына. Онъ такъ ловко играетъ свою роль, что ни отецъ, ни мать и никто изъ домашнихъ ни на одну минуту не возымълъ подозрънія въ

тождествъ самозванда съ настоящимъ сыномъ. Самозванецъ женится на богатой невъстъ и, узнавши въ ночь брака, что настоящій сынъ ноявился, тотчасъ же выбирается изъ чужого гивада съ огромнымъ пукомъ ассигнацій, полученныхъ въ приданое за женою, и съ другого же дня начинаеть играть въ московскомъ большомъ свътъ роль богатаго венгерскаго магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица въ невфроятныя положенія. авторъ темъ не менее увлекательно описываетъ ихъ похожденія. Но тамъ, гдф въ романф ифтъ натяжекъ, талантъ автора является въ самомъ выгодномъ для него свътъ. Такъ, напримъръ, похожденія настоящаго сына, который все сбирается и никакъ не можетъ ръшиться броситься въ ноги къ своему "тятинькъ", боясь, что дражайшій родитель сразу пришибеть его на смерть, исполнены нстины, глубокаго знанія д'вйствительности, увлекающаго интереса. Такихъ прекрасныхъ эпизодовъ въ романъ г. Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображенія купеческихъ, мѣщанскихъ и простонародныхъ нравовъ. Слабъе всего у него картины большого свъта. Такъ, напримъръ, у него важную роль нграеть великосвътскій молодой человекъ Чаровъ, котораго вся светскость состоить въ томъ, что онъ всемъ своимъ пріятелямъ и знакомымъ говоритъ: ска-атина, у-уродъ... Несмотря на всѣ странности и, можно сказать, нелѣности романа г. Вельтмана, это все-таки очень замічательное произведение.

Теперь упомянемъ о нѣкоторыхъ произведеніяхъ менъе замъчательныхъ. Въ "Отечественныхъ Запискахъ" была напечатана повъсть г. Нестроева-"Сбоевъ". Въ ней съ большимъ искусствомъ обрисованъ внутренній семейный быть одного московскаго чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисованъ характеръ бъдной жены Ивана Кирилловича. Анны Ивановны. Нечаянно разбитое больщое зеркало наводить на читателя невольный ужась: такъ мастерски авторъ умълъ намекнуть, чего должно было ожидать себъ бъдное семейство отъ своего почтеннаго главы... Но это только задній планъ повъсти; ея главное основано на любви Сбоева къ Олыть, дочери титулярнаго совътника, и вообще на оригинальномъ характеръ этихъ двухъ лицъ. Но эта-то главная сторона повъсти и вышла неудачно. Личности героя и героини какъ-то неестественны: не то, чтобы такіе люди не могли существовать въ природъ, —они только не удались автору повъсти. И не мудрено: въ началъ ея авторъ самъ говорить, что его повёсть была вызвана чужою повъстью: заимствованныя мысли ръдко удаются. Въ концъ объщана новая повъсть, которая должна служить окончаніемъ первой: такія объщанія тоже ръдко удаются... Въ "Современникъ" была напечатана повъсть того же автора-"Безъ разсвъта". Мысль повъсти прекрасна и могла бы объщать повъсти большій усибхъ, нежели какой она имѣла; причиною этого было, кажется намъ, то обстоятельство, что второстененныя лица въ новъсти всъ обрисованы болье или менье удачно (характеръ мужа геронии даже мастерски), тогда

какъ характеръ геропни вышелъ у него крайне безцвѣтенъ. Это—существо вялое, отрицательное, безъ всякаго сопротивленія къ гнетущимъ ея обстоятельствамъ: могло ли оно возбудить къ себѣ какое-либо сочувствіе въ читателяхъ?! То ли дѣло Полинька Саксъ! Воспитаніе сдѣлало ее ребенкомъ, но опытъ жизни пробудилъ въ ней сознаніе и сдѣлалъ ее женщиной. Умирая, она писала къ своей пріятельницѣ: "Напрасно братъ твой спитъ у моихъ ногъ и по глазамъ моимъ угадываетъ мои желанія. Я не могу любить его, я не могу понимать его; онъ не мужчина,—онъ дитя: я стара для его любви. Это о нъ человѣкъ, о нъ мужчина во всемъ смыслѣ слова: душа его и велика, и спокойна... Я люблю его, не перестану любить его".

Намъ остается упомянуть еще о "Запискахъ Человъка" Ста Одного ("Отечественныя Заниски"), о "Кирюшь", разсказы неизвыстнаго автора, и о "Жидъ" г. Тургенева, чтобы докончить нашъ критическій перечень всего сколько-нибудь замічательнаго, что явилось въ прошломъ году по части романовъ, новъстей и разсказовъ. Но мы должны сказать еще нѣсколько словь о "Хозяйкѣ", повъсти г. Достоевскаго, весьма замъчательной, по только совствы не въ томъ смыслт, какъ тт, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ. Будь подъ нею подписано какое-нибудь неизвъстное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повъстинъкто Ордыновъ; онъ весь погрузился въ занятія науки, -- какими--объ этомъ авторъ не сказалъ своимъчитателямъ, хотя на этотъ разъ ихъ любонытство было очень законно. Наука кладетъ свою печать не только на мивнія, но и на действія человека; вспомните доктора Крупова. Изъ словъ и дъйствій Ордынова нисколько не видно, чтобъ окъ занимался какою-нибудь наукою; но можно догадываться изъ нихъ, что онъ сильно занимался кабалистикою, чернокнижіемъ, -- словомъ, чаромут і е м ъ... Но вадь это не наука, а сущій вздоръ; но темъ не менее и она наложила на Ордынова свою печать, т. е. сделала его похожимь на поврежденнаго и помъшаннаго. Ордыновъ встръчаетъ гдъ-то красавицу-купчиху; не помнимъ, сказалъ ли авторъ что-нибудь о цвътъ ея зубовъ, но должно быть, что зубы уней были бёлые, въ видё исключенія, ради большей поэзіп пов'єсти. Она шла объ руку съ ножилымъ купцомъ, одътымъ по-купечески и съ бородою. Въ глазахъ у него столько электричества, гальванизма и магнетизма; что иной физіологъ предложиль бы ему хорошую цёну за то, чтобъ онъ снабжаль его по временамь если не глазами, то хоть модніеносными, искращимися взглядами, для учебныхъ наблюденій и опытовъ. Герой нашъ тотчасъ же влюбился въ кунчиху; несмотря на матнетические взгляды и ядовитую усмъшку фантастическаго купца, онъ не только узналь, гдф они живутъ, но какими-то судьбами навязался къ нимъ въ жильцы и занялъ особую комнату. Тутъ пошли любопытныя сцены: купчиха несла какую-то дичь, въ которой мы не поняли ни единаго слова, а Ордыновъ, слушая ее, безпрестанно падалъ въ обморокъ. Часто тутъ вмешивался купецъ, съ его

огненными взглядами и съ сардоническою улыбкою. Что они говорили другъ другу, изъ чего такъ махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили въ чувство, -- мы рѣшительно не знаемъ, потому что изо всёхъ этихъ длинныхъ натетическихъ монологовъ не поняли ни единаго слова. Не только мысль, даже смысль этой, должно быть, очень интересной новъсти остается и останется тайной для нашего разумѣнія, пока авторъ не издасть необходимыхъ поясненій и толкованій на эту дивную загадку его причудливой фантазіи. Что это такое — злоупотребление или бъдность таланта, который хочеть подняться не по силамъ н потому боится идти обыкновеннымъ путемъ, н ищеть себѣ какой-то небывалой дорогн? Не знаемъ; намъ только показалось, что авторъ хотёлъ попытаться помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши сюда немного юмору въ новъйшемъ родъ и сильно натеревши все это лакомъ русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастическіе разсказы Тита Космократова, забавлявшаго ими публику въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столътія. Во всей этой повъсти нътъ ни одного простого и живого слова или выраженія: все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддельно и фальшиво. Что за фразы: Ордыновъ бичуется какимъ-то невъдомо сладостнымъ и упорнымъ чувствомъ; проходитъ мимо остроумной мастерской гробовщика; называеть свою возлюбленную голубицею и спрашиваеть, изъ какого неба она залетъла въ его небеса... но довольно: бонмся увлечься выписками диковинныхъ фразъ этой повъсти-конца имъ не было бы. Что это такое? Странная вещь! непонятная вещь!...

Изъ отдёльно - вышедшихъ въ прошломъ году книгъ по части изящной словесности замфчательны только "Путевыя Замътки" Т. Ч. Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая въ Одессъ; авторъ-женщина: это видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много сердечной теплоты, много чувства; жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишкомъ по-женски, но никогда не набъленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная; увлекательный разсказъ, прекрасный языкъ: вотъ достоинство двухъ разсказовъ г-жи Т. Ч. Особенно интересенъ первый разсказъ-, Три варіацін на старую тему". Взрослая девушка влюбилась въ мальчика. Потомъ она потеряла его изъ виду и вышла замужъ за человъка добраго и порядочнаго, но къ которому она не чувствовала инчего особеннаго. Вдругъ она встръчается съ Лёлей, который теперь уже сталъ Алексисомъ. У нихъ завязалось нѣчто вродѣ особенныхъ отношеній, которыя разр'єшились страстнымъ поцелуемъ съ объихъ сторонъ, полнымъ объясненіемъ и отъбадомъ Алексиса, по настоятельному требовонію геропни, въ которой любовь не побъдила чувства долга. Потомъ она убхала съ больнымъ мужемъ на воды за-границу. Тамъ она получила письмо отъ одной изъ своихъ пріятельницъ, изъ котораго она узнала, что Алексисъ ее любитъ страстно. Письмо это сильно взволновало ее.

Разъ, перечитывая его и мечтая объ Алексисъ, она вдругъ услышала въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ быль мужъ ел, какой-то странный шумъ. Вобгаетъ-н видить своего мужа почти въ обморокъ: съ нимъ случился жестокій чахоточный принадокъ. Оправившись ифсколько, онъ началъ говорить ей о своей скорой смерти, благодариль ее за внимание и попеченіе о немь; радовался, что оставляеть ее не безь состоянія, и сов'єтоваль ей выйти замужь, такъ какъ она молода, хороша и детей у нихъ не было. По обыкновенію всёхъ восторженныхъ женщинъ, она съ ужасомъ отвергла послъднее предложеніе. Затёмъ ее начали мучить угрызенія совъсти. И какъ же пначе: мужъ ея умиралъ н благодарилъ ее за любовь и вниманіе къ нему, а она въ это время думала о другомъ, любила другого. Бъдная женщина чуть-было не разсказала свою тайну умирающему мужу: къ счастію, случившійся съ ней обморокъ пом'єщаль этому ненужному и неденому признанію, которое могло только отравить последнія минуты добраго и благороднаго человъка. Такова логика восторженной женщины!.. Мужъ геронни умеръ; ей было 35 лътъ, когда она увидела Алексея Петровича; онъ быль женать и жиль честолюбіемь. Героння наша едва могла подавить свое волнение при виде его; но онъ обошелся съ ней съ холодною вѣжливостью. Тутъ она совершенно разочаровалась въ извергахъ-мужчинахъ и горько плакала. Какъ! онъ все забылъ! Да что же ему помнить-то? Поцълуй? исторію любви, которая инчёмъ не кончилась и прервалась въ самомъ началь, одну изъ тъхъ исторій, которыя со многими мужчинами случаются не одинъ разъ въ жизни? У мужчины много интересовъ въ жизни, и потому намять его удерживаетъ только исторіи, которыя посерьезнъе одного поцълуя. Женщинадругое діло: она вся живеть исключительно въ любви, и тъмъ болъе своими внутренними ощущеніями, чёмъ более обязана скрывать ихъ. Женщины особенно падки до любовныхъ исторій, которыя не оканчиваются ничьмъ серьезнымъ, въ которыхъ не нужно ничемъ рисковать, ничемъ жертвовать, можно измёнить мужу въ сердцё — и остаться формально верною своимъ обетамъ, удовлетворить потребности любить-и свято выполнить налагаемыя обществомъ обязанности. Геропня второй повъети — гувернантка, одна изъ тъхъ женщинъ, у которыхъ фантазія преобладаеть надъ сердцемъ, которыхъ надо аттаковать съ головы, т. е. прежде всего надо чёмъ-нпоудь удивить, поразить, возбудить любопытство, не красотой, такъ безобразіемъ, не умомъ, такъ глупостью, не достоннствомъ, такъ странностью, не добродътелью, такъ порокомъ. За ней волочится безобразный собой, ипсколько не любившій ся человіть, и се же любить страстно благородный, красивый собою мужчина. Она знаетъ цену обоимъ имъ — и, какъ бабочка на огонь, рвется къ первому. Повъсть разсказана хорошо; но, видно, героиня не возбудила къ себт особеннаго участія, и потому первая повѣсть больше понравилась всёмъ, нежели вторая. Въ объихъ

виденъ таланть, отъ котораго можно надѣяться хорошихъ результатовъ, если онъ будетъ развиваться.

Изъ пностранныхъ замѣчательныхъ романовъ въ "Современникъ" и въ "Отечественныхъ Заинскахъ" была переведена "Лукреція Флоріани" (о ней было уже говорено въ нашемъ журналѣ), и продолжается переводомъ: "Торговый домъ подъ фирмою Домби и Сынъ"; когда этотъ превосходный романъ, далеко оставившій за собою всѣ прежнія произведенія Диккенса, появится весь въ русскомъ переводъ,

мы поговоримъ о немъ.

Къ разряду словесности принадлежатъ записки или воспоминанія былого. Въ "Современникъ" были помъщены двъ питересныя статьи такого рода: "Изъ Записокъ Артиста", — на, и "Иванъ Филипповичь Вернетъ, швейцарскій уроженецъ и русскій писатель", г. Л. Туть же упомянемь мы о прекрасной, интересной, по содержанию и изложению, стать в г. Небольсина: "Разсказы о Сибирскихъ золотыхъ прінскахъ", которая такъ долго тянулась въ смъси "Отечественныхъ Записокъ". "Письма объ Испанін" (въ "Современникъ"), г. Боткина, были неожиданно-пріятною новостью въ русской литературъ. Испанія для насъ-терра инкогнита. Политическія навъстія только сбивають съ толку всякаго, инэжогои о эіткноп атнучить понятіе о положеніи этой земли. Главная заслуга автора писемъ объ Испаніи состонть въ томъ, что онъ смотрѣлъ собственными глазами, не увлекаясь готовыми сужденіями объ Испаніи, разсѣянными въ книгахъ, журналахъ и газетахъ; вы чувствуете изъ его писемъ, что онъ сперва насмотрался, наслышался, разспросиль и изучиль, и потомь уже составиль свое понятіе о странъ. Оттого взглядъ его на нее новъ, оригиналенъ, и все завъряетъ читателя въ его върности, въ томъ, что онъ знакомится не съ какою-нибудь фантастическою, а съ дъйствительно существующею страною. Увлекательное изложение еще болже возвышаеть достоинство писемь г. Боткина.—"Письма изъ Avenue Marigny" были встрфчены нёкоторыми читателями почти съ неудовольствіемъ, хотя въ большинствъ нашли только одобреніе. Дъйствительно, авторъ невольно впаль въ ошибочность при суждении о состоянии современной Францін, тамъ, что слишкомъ тасно поняль значеніе слова: bourgeoisie. Онъ разумфеть подъ этимь словомъ только богатыхъ капиталистовъ и исключиль изъ нея самую многочислениую и потому самую важную массу этого сословія... Несмотря на это, въ "Письмахъ изъ Avenue Marigny" такъ много живого, увлекательнаго, интереснаго, умнаго и вфрнаго, что нельзя не читать ихъ съ удовольствіемъ, даже во многомъ не соглашаясь съ авторомъ. Въ этотъ же разрядъ статей смъшаннаго содержанія, но по форм'в принадлежащихъ болве къ отделу словесности, отнесемъ мы: "Новыя варіацін на старыя темы", Искандера (въ "Современникъ"); "Разсказы", г. Ферри (тамъ же); "Странствованіе португальца Фердинанда-Мендеза Пинто, описанныя имъ самимъ и изданныя въ 1614 году", переводъ съ старициаго португальскаго языка, г. Бутакова; и "Антоніо Пересъ и Филиппъ II", соч. Минье (въ "Отечественныхъ Запискахъ").

Въ прошломъ году журналы наши были особенно богаты замъчательными учеными статьями. Назовемъ зубсь главивишія. Въ "Отечественныхъ Запискахъ": "Продстарін и Пауперизмъ въ Англін и во Францін" (три статьи); "Физико-астрономическое обозржие солнечной системы", Д. М. Перевощикова; "Стверо-Американскіе Соединенные Штаты" (три статын); "Открытіе Генке и Леверье", Д. М. Перевощикова; "Причины колебанія цінь на хлібь", А. П. Заблоцкаго. Въ "Современникъ": "Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи", К. Д. Кавелина; "Изследованіе объ элевсинских тапиствахь", графа С. С. Уварова; "Данінлъ Романовичь король Галицкій", С. М. Соловьева; "Важность и усибхи физіологіи", К. Литре; "Оныть общеполезнаго разсказа о томъ, какъ открыта новая планета Нептунъ", А. Савича; "Константинополь въ IV вѣкѣ"; "О возможности определительных мара доварія къ результатамъ наукъ наблюдательныхъ, и въ особенности статистикъ", академика Буняковскаго; "Государственное хозяйство при Петръ Великомъ" (двѣ статьи), А. Афанасьева; "Мальтусъ и его противники", В. Милютина; "Александръ фонъ-Гумбольдть и его Космосъ" (двъ статьи), Н. Фролова; "Прландія", Н. Сатина. Въ "Библіотекъ для Чтепія" тянулась слишкомъ полгода очень любопытная статья подъ названіемъ: "Путешествія п открытія лейтенанта Загоскина въ Русской Америкъ", вышедшая теперь отдільной кингой подъ другимъ заглавіемъ.

Статья г-на Кавелина: "Взглядъ на юридическій бытъ древней Россін", и статья г-на Заблоцкаго: "О причинахъ колебанія цінъ на хліботь въ Россін", безъ сомивнія, принадлежатъ къ замічательнійшимъ явленіямъ нашей ученой литературы прошлаго года. Чрезвычайно замічательны также въ своемъ родів статьи г-на Порошина, печатавшіяся въ "Санктиетербургскихъ Відомостяхъ".

Мы пе пересчитываемъ здёсь сочиненій разнаго рода, вышедшихь въ прошломъ году отдёльными книгами, потому что большая часть ихъ разобрана въ критикѣ и библіографіи "Современника", а остальныя поименованы въ "Вибліографическихъ Извёстіяхъ", приложенныхъ къ VII и XII-ой кинжкамъ "Современника" прошлаго года.

Изъ критическихъ статей прошлаго года замъчательны на слъдующія книги: "Историко-критическіе отрывки", г. Погодина; "Изслъдованія, замъчанія и лекцін М. Погодина о русской исторіи"; "Чтенія въ Императорскомъ Обществъ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ Университеть"; "Еврейскія религіозныя секты въ Россіи", г. Григорьева; "Сочиненія Фонвизина", изд. Смирдинымъ (въ "Отечественныхъ Запискахъ"). Двъ послъднія статьи, кромъ своего внутренняго и внъшняго достониства, особенно интересны еще тъмъ, что принадлежатъ автору, до сихъ поръ нигдъ не писавшему. Въ статьяхъ г. Дудышкина видно знаніе дъла; онъ хорошо пользуется историческимъ изученіемъ

развитія, чтобы объяснять имъ литературныя произведенія данной эпохи. Обыкновенно главный недостатокъ первыхъ статей состоитъ въ длиннотъ и мпогословін; иногда въ такой стать почти ничего не говорится о книгь, на которую она написана, но насказано много иногда и хорошаго, но всегла некстати, о предметахъ, вовсе чуждыхъ разбираемой кингъ. Г. Дудышкинъ умълъ избългать этихъ недостатковъ; видно, что онъ взялся за дело съ готовымъ уже содержаніемь въ голов'я, вполн'я владветь своею мыслію, не даеть ей разбытаться или увлекать его то въ ту, то въ другую сторону, но постоянно держить ее на данномъ предметъ, и оттого начинаетъ съ начала п оканчиваетъ въ концѣ, говорить въ мёру и потому вполий знакомить читателей съ предметомъ, о которомъ иншетъ. Мы не можемъ говорить обо всёхъ критическихъ статьяхъ, напечатанныхъ въ "Современникъ" прошлаго года: близость къ этому журналу некоторыхъ лицъ, которымъ принадлежатъ статъи, не позволяетъ намъ этого. И потому мы должны только ограничиться указаніемъ на статьи: "Последніе романы Жоржь-Занда", г. Кронеберга; "Историческая литература во Франціи и Германіи въ 1847 году", г. Грановскаго; "Опыть о народномъ богатствъ, или о началахъ политической экономін", соч. г. Бутовскаго (три статьи г. Милютина); статья Кавелина объ "Исторіи отпошеній между князьями Рюрикова дома", соч. С. Соловьева. Заметимъ къ этому, что "Современникъ" представлялъ постоянно полные отчеты о всёхъ замёчательныхъ явленіяхъ по части русской исторін. По вмѣстѣ съ этимъ "Современникъ" долженъ сказать, что, по причинамъ, вовсе независящимъ отъ редакцін, онъ въ другихъ отношеніяхъ не совстмъ соответствоваль ожиданію публики по части критики. Но въ нынфшнемъ году онъ надъется дать этому отдълу гораздо больше полноты и развитія.

Русская критика стоитъ теперь на болъе прочномъ основаніи: она уже--не въ однихъ журналахъ, но и въ публикъ, вслъдствіе все болье и болье развивающагося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благопріятствовать развитію самой критики: она уже дело, подлежащее-суду общественнаго мижиія, а не книжное, не имжющее связи съ жизнію, занятіе. Теперь уже не всякому можно быть критикомъ, кому только вздумается, не всякое мивніе примется потому только, что оно-печатное. Пристрастіе партій не можеть уже убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Въ критикъ нынашней часто слышится убъжденіе, и люди, вовсе его не имъющіе, стараются, по крайней мёрё, прикрываться имъ. Борьба мижній, выражающаяся въ критикф, свидетельствуеть, что русская литература только быстро нодвигается къ совершеннолетію, но еще не достигла его. Конечно, везда есть люди, которые какъ будто самою природою назначены всёхъ затрогивать, ко всемъ прицепляться, всехъ хулить, безпрестанно заводить ссоры, шумъ, брань. Кромф природной наклопности, ничемъ не победимой, ихъ побуждаютъ къ этому и раздраженное самолюбіе, и мелкіе личные питересы, нисколько не относящіеся къ литературт. Такіе люди—всюду зло нензбежное, имеющее даже свою полезную сторону; эти люди добровольно беруть на себя ту роль передъ обществомъ, которую снартанцы заставляли играть илотовъ передъ своими дётьми... Но странно и прискорбно, что въ тонъ этихъ людей безпрестанно внадаютъ люди, повидимому, не имъющіе ничего съ ними общаго, дъйствующіе какъ будто на основаніи какихъ-то дорогихъ имъ убежденій, наконецъ люди, своимъ общественнымъ положеніемъ, лѣтами, извъстностью обязанные подавать въ литературъ примъръ хорошаго тона и уваженія къ приличію. Вотъ нѣсколько са-

мыхъ свёжихъ примеровъ.

Въ 1 № "Сына Отечества" за прошлый годъ быль напечатань разборь лекцій г. Шевырева. Въ этой стать было сказано и доказано, что трудъ г. Шевырева-, прекрасный замокъ, построенный изъ облаковъ; очаровательная утопія, обращенная назадъ". Это относится болъе къ теоретической части лекцій; въ фактической же рецензія видить только компиляцію. Рецензенть "Сына Отечества" скрыль свое имя, но не скрыль своей учености, своего знакомства съ византійскими и болгарскими источниками. Поэтому статья его такъ сильно подъйствовала на г. Шевырева, что онъ не прежде, какъ черезъ годъ, нашелся въ состояніи отв'ячать на нее. Чемъ сильнее было нападение на г. Шевырева, темъ больше достоинства должно было ожидать отъ его защищенія. Такъ ли поступиль г. Шевыревъ? Прежде всего онъ изъявилъ свое неудовольствіе, что критикъ "Сына Отечества" скрылъ свое имя, какъ будто бы тутъ дело идетъ объ именахъ, а не о наукъ, не объ идеяхъ, не объ убъжденіяхъ. В роятно, подъ вліяніемъ своего неудовольствія на эту досадную ему безыменность, г. Шевыревъ ни съ того, ни съ сего напалъ на г. Надеждина. Онъ называеть его проинчески "сей ученый мужъ", "высокоученымъ филологомъ", глумится надъ его мивніями о славянскихъ нарвчіяхъ, ни мало не подозрѣвая, что его аттическая соль сильно сбивается на славянскій бузунь. Можно и должно опровергать чужія миднія, если они вамъ кажутся несправедливыми; но это слёдуеть дёлать, во-первыхъ, кстати, во-вторыхъ-съ уважениемъ къ приличію. Г. Шевыреву не худо было бы не забывать, что онъ-ученый, что онъ въ русской литературъ пользуется по крайней мфрф двадцатилфтнею извфстностію, и что все это обязываеть его быть для молодыхъ литераторовъ примъромъ положительнымъ, а не отрицательнымъ. Не мѣшало бы также г. Шевыреву вспомнить, что г. Надеждинъ нъкогда былъ его товарищемъ по университету, такимъ же, какъ онъ, профессоромъ. Но г. Шевыревъ вовсе лишенъ того литературнаго спокойствія, которое составляеть силу людей, развившихся наукою и опытомъ жизни; онъ, напротивъ, въ литературф безпокоенъ и тревоженъ, и оттого безпрестанно вдается въ крайности и промахи, свойственные молодымъ людямъ, только что бросившимся въ литературную дългельность съ школьной скамын. Вотъ еще примфръ: говоря объ извфстномъ бывшемъ сотрудникф "Отечественныхъ Записокъ", работающемъ теперь

въ "Современникъ", г. Шевыревъ позводилъ сказать себь о немъ, что опъ "измънелъ знаменамъ "Отечественныхъ Записокъ"! Не есть ли эта фраза слѣдствіе тревожнаго и раздражительнаго состоянія, о которомъ мы говорили? Неужели г. Шевыревъ самъ вършть своимъ словамъ? Иътъ, ему хотълось кольнуть своего противника, и онъ забылъ, что колють правдой, а не вымысломъ. Человъкъ, о которомъ онъ говоритъ, сдёлалъ дёло очень естественное: онъ счелъ за удобитишее и лучшее для себя помещать свои статьи въ другомъ журнале, и на это имѣлъ полное право, потому что не считаетъ себя прикръпленнымъ ни къ какому журналу. Къ числу такихъ же его выходокъ принадлежитъ и безпрестанно повторяемая многими мысль, будто бы Гоголь отреченіемъ отъ своихъ прежнихъ сочиненій поставиль нась въ затруднительное положеніе, такъ что мы не знаемъ, что и делать. Вольше году прошло послѣ появленія этой книги; мы уже нѣсколько разъ говорили о сочиненіяхъ Гоголя въ томъ же духѣ, въ какомъ говорили о нихъ до появленія его книги. Вообще мы всегда хвалили сочиненія Гоголя, а не самого Гоголя, хвалили ихъ ради нихъ самихъ, а не ради ихъ автора. Его прежнія сочиненія и теперь для насъ то же, чёмъ были и прежде; намъ нетъ нужды до того, что теперь думаетъ Гоголь о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ. Но самая бользненная выходка г. Шевырева касается Искандера: прайне неспокойное отношеніе духа г. Шевырева къ этому автору заставило его взять на себя тонъ вовсе не литературный: онъ выписаль изъ романа "Кто Виновать?" всь фразы н слова, въ которыхъ ему захотелось увидеть искаженіе русскаго языка. Н'вкоторыя изъ этихъ фразъ и словъ действительно могуть быть подвергнуты осужденію; но большая часть доказываеть только нелюбовь г. Шевырева къ Искандеру. Не понимаемъ, когда находить г. Шевыревь время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбія только извъстнаго блаженной памяти профессора элоквенціп и хитростей пінтическихъ! А что, если кому-нибудь придеть въ голову мысль выписывать изъ статьи г. Шевырева цѣлые періоды, продѣ слѣдующаго: "А что теперь иной русской душъ, не понимающей настоящаго смысла древней русской жизни, кажется исключительно византійскимъ и какимъ-то мистическимъ и теоретическимъ мудрованіемъ и даже мелочнымъ умозрѣніемъ, то, что въ себѣ содержитъ самыя простыя и высочайшія истины, такъ это ничего другого не значить, какъ только то, что та русская душа расторгла союзь съ коренными основами жизни русскаго народа и уединилась въ свою отвлеченную личность, изъ тёсныхъ рамокъ которой видитъ собственно свои призраки, а не діло". Впрочемь, въ такомъ періодів мы не можемъ видъть пскажение русскаго языка; а видимъ только искажение языка г. Шевырева, и, конечно, въ этомъ отношенін къ Искандеру надо быть строже, какъ къ писателю съ вліяніемъ; но все-таки придираться къ такимъ мелочамъ значитъ обнаруживать больше нелюбви къ противнику, нежели любви къ русскому языку и литературъ, и грозить издалека своему противнику шпилькой или булавкой, когда иётъ возможности достать его коньемъ.

Въ прошломъ году вниманіе критики было преимущественно занято "Перепискою Гоголя съ друзьями". Можно сказать, что память объ этой книгъ и теперь поддерживается только статьями о ней. Лучшая изъ статей противъ нея принадлежитъ Н. Ф. Павлову. Въ своихъ письмахъ Гоголю опъ статъ на его точку зрѣнія, чтобъ показать его невѣрность собственнымъ своимъ началамъ. Тонкость мысли, ловкость діалектики, при изложеніи въ высшей степени изящномъ, дѣлаютъ письма Н. Ф. Павлова пвленіемъ образцовымъ и совершенно особымъ въ нашей литературѣ. Жаль, если все дѣло кончится тремя письмами!

Навъстный книгопродавецъ нашъ г. Смпрдинъ своими изданіями русскихъ авторовъ приготовить и намъренъ еще болье приготовить труда и хлопотъ русской критикъ. Онъ уже издалъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озерова, Кантемира, Хемницера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. Въ одной газетъ было говорено о скоромъ выходъ въ свътъ сочиненій Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измай-

лова. Тамъ же увъряли, что вследъ за ними постунять въ нечать: "Исторія Государства Россійскаго", Карамзина, сочиненія императрицы Екатерины II, сочиненія Сумарокова, Хераскова, Тредьяковскаго, Кострова, князя Долгорукова, Капинста, Нахимова, Нарѣжнаго, — и что сверхъ того пристуилено къ пріобрътенію права на пзданіе сочиненій Жуковскаго, Батюшкова, Дмитріева, Гибдича, Хмѣльницкаго, Шаховского и Баратынскаго. Довольно работы критикъ! Пусть каждый выскажеть свое мнѣніе, не безпокоясь о томь, что другіе думають не такъ, какъ онъ. Надо имъть терпимость къ чужниъ мивніямъ. Нельзя заставить всёхъ думать одно. Опровергайте чужія мибиія, не согласныя съ вашими, но не преследуйте ихъ съ ожесточеніемъ потому только, что они противны вамъ; не старайтесь выставлять ихъ въ невыгодномъ для нихъ свёте не въ литературномъ отношении. Это плохой расчеть: желая вынграть больше простору вашимъ метеніямъ, вы, можеть быть, этимъ самымъ лишите ихъ всякой почвы.

[Современникъ. Томы VII и VIII, 1848 г.].

Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношенія. Сочиненіе монаха Іапинва. Въ четырехъ частяхъ. Съ рисунками. Спб. 1848.

Странное дёло! Кажется, весь земной шаръ или всь его обитаемыя дюдьми части равно бы должны были представлять собою зрѣлище развитія человъчества; а между тъмъ эта честь предоставлена только самой малёйшей изъ пяти частей свёта-Европъ. Въ недавнее время и почва Съверной Америки сдёлалась театромъ историческаго развитія, но его корень опять-таки въ Европъ. Можеть быть, что со временемъ и всѣ части свѣта примкнутся къ общему развитію человѣчества, войдуть въ его исторію, но опять-таки не иначе, какъ черезъ Европу. До сихъ поръ, съ незапамятныхъ времень, онт коснтють въ нравственной неподвижности, непробуднымъ сномъ спятъ на лонъ материприроды. Въ этомъ отношеніи удивительніе всёхъ другихъ странъ Азія. Ее считають колыбелью человъческаго рода, въ ней прежде другихъ странъ явились начатки общественности, въ ней сделаны первыя открытія въ ремеслахъ, искусствахъ, наукћ, въ ней родились религіи, теперь господствующія въ мірѣ, изъ нея вышли всѣ племена, заселившія Европу. И во всемъ Азія остановилась на однихъ начаткахъ, ничего не развила, не усовершенствовала, не довела до конца. Греція сложилась изъ элементовъ, выработанныхъ Азіею и Египтомъ, но она переработала вск эти заимствованные элементы, наложила на нихъ печать своего національнаго духа и прибавила къ этому элементь, ей собственно принадлежащій. Этоть элементь быль началомь европензма. У грековъ у первыхъ явились понятія объ отечествъ, госу-

дарствъ, гражданинъ, гражданскомъ достоинствъ, столь чуждыя для Востока. Римляне по-своему развили европейское начало, перешедшее къ нимъ изъ Греціи въ допсторическія времена, и передали его новой Европъ. Во всъхъ столкновеніяхъ съ Азіею Европа всегда много вынгрывала въ цивилизацін, образованін, въ наукахъ, въ искусствахъ, ремеслахъ; Азія ничего не выигрывала отъ столкновенія съ Европою. Александръ Македонскій хотёль, путемь завоеванія, сблизить об'т части свъта въ образовании и нравахъ. Но что же вышло? Персы не сдълались греками, а македоняне развратились на персидскій манеръ. Но вмъстъ съ тёмъ Александръ присылалъ изъ Азін Аристотелю экземиляры редкихь животныхь и вывезъ изъ Индін астрономическія таблицы. Въ эпоху крестовыхъ походовъ вся Европа ринулась на Азію бурнымъ потокомъ. Это событіе имѣло сильное и благодътельное вліяніе на Европу и-никакого на Азію! Неподвижность—натура азіатца. Если Азін суждено въ будущемъ цивилизоваться, то, вфроятпо, не иначе, какъ путемъ завоеванія; надобно, чтобы европейское войско, завоевавшее азіатскую страну, смѣшалось съ туземцами, и отъ этого смѣшенія произошло бы новое покольніе своего рода креоловъ. Въ наше время самое странное и удивительное явление въ Азін есть, безъ всякаго сомижнія, Китай. Вотъ что говорить объ этомь предметь почтенный отець Іакинов, въ предисловін къ своей книгъ:

"Въ наше время—безпрерывныхъ пововведеній въ жизии народовъ какъ въ Европъ, такъ и на занадъ Азін — существуетъ государство, которое, по своей противоположности во всемъ съ прочими государствами, составляетъ ръдкое, загадочное явленіе въ политическомъ міръ. Это—Китай, въ которомъ видимъ все то же, что есть у пасъ, и

въ то же время видимъ, что все это не такъ, какъ у насъ. Тамъ люди такъ же говерятъ, но только не словами, а звуками, которые сами по себъ, порознь взятые, не имъють опредъленнаго емысла. Тамъ имъють и инсьмо, но пишутъ не буквами слагаемыми, а условиыми знаками, изъ когорыхъ каждый представляеть въ себъ не выговоръ слова, а понятіе о вещи; въ письмъ порядокъ строкъ ведутъ оть правой руки къ лъвой, но иншутъ не ноперекъ, а сверху винзъ, и кингу начинаютъ на той страницъ, на которой у насъ оканчивають се. Однимъ словомъ, тамъ много паходится вещей, которыя и мы пмъемъ, но тамъ вее въ другомъ

вилъ.

"Китай еще непонятиве для насъ въ другихъ противоположностяхъ. Коснемся ли его просвъщенія—китайцы имъють скою словесность и науки и думають, что они просвёщениве всех в пародовъ въ свёть. Въ нёкоторыхъ случаяхъ можно было бы согласиться съ ними, потому что въ китав каждый ученый, сверхъ основательности въ сужденін о вещахъ, основательно знасть все, что ему нужно на поприщъ государственной службы. Ио, съ другой стороны, китаецъ, по странному на-родному самолюбію, инчего не хочеть знать. да и не знаеть ничего, что находится и что происходитъ за предълами его отечества. Видя на канифасъ ярославскій гербъ съ медвъдемъ, стоящимъ на заднихъ ногахъ, съ алебардою на плечъ, онъ оть всего сердца върнтъ, что эта ткань выходитъ изъ государства, жители коего имфютъ собачьи головы. Обратимъ ли винманіе на законы Китаяони сорокъ въковъ проходили сквозь гориило опытовъ и вылились столь близки къ истиннымъ началамъ народоправленія, что даже образованивіїшія государства могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ. Со всъмъ тъмъ некоторыя злоупотребленія столь сильно укоренились, что правительство, вм'єсто истребленія оныхъ, только стараєтся разными мърами облегчить зло,—неотвратимое по-слъдствіе тъхъ злоупотребленій".

Вглядитесь въ устройство этого страннаго государства,-- н вамъ съ перваго взгляда можетъ показаться, что это какое-то исключение изъ общаго порядка азіатской жизни, что у него п'ять ничего общаго съ другими азіатскими государствами (за исключеніемъ Японіп), что, наконецъ, это-чистоевропейское государство. Въ немъ инчего нътъ оставленнаго на произволь судьбы и людей, всъ отношенія опредёлены, всё юридическія случайности предупреждены и обсуждены, на все существують положительные законы; машина администрацін-самая многосложная и вмість съ тімь правильная, строго-систематическая; законы неръдко отзываются человъколюбіемъ и, повидимому, представляють вфрныя гарантіи жизни, чести и благосостоянію частныхъ людей всёхъ званій, отъ высшихъ до низшихъ. Для этого есть высшія нистанцін и право апелляцін; за ходомь правосудія въ провинціяхъ наблюдають прокуроры, въ столицъ-прокурорская палата и самъ императоръ. Какъ въ государствахъ европейскихъ, въ Китаф существують министерства на коллегіальномь положенін: предсёдатель палаты каждой отдёльной вътви администраціи есть министръ. Взгляните тенерь на Китай въ другомъ отношенін. Право на гражданскія должности даеть тамь не рожденіе, не привилегія, а наука и образованіе. Каждый занимающій сколько-нибудь значительную должность есть непремѣнно ученый; инчему не учившійся не

можетъ запимать никакой должности. Экзамены студентовъ есть дёло государственное. Съ какой стороны ни взгляните на это дивное государство—инчего азіатскаго! Европа, да и только!

По, увы, это только миражъ, разлетающійся прежде, чёмъ впидишься въ него! Это такой же призракъ, какъ и политическое могущество Китая, который съ 400,000,000 жителей пичего не могъ сделать противъ 3,000 англійского войска. Все эти законы и гарантін хороши только на бумагь, а на дълъ служатъ только къ обогащению берущихъ взятки и утвененію дающихъ взятки. Китай, безъ всякаго сомнинія, образованивищее азіатское государство, но азіатское въ полномъ смыслѣ этого слова... Государственные чины, совъты, -все это формальность; тутъ главное-церемонін. Самая върная гарантія при судопроизводствъ-взятки. Этого не могъ скрыть даже почтенный отецъ Іакпиеъ, вообще какъ нельзя ніжніе расположенный въ пользу подпебеснаго государства. Напримаръ, говоря о ныткахъ (варварскихъ и утонченно-жестокихъ), онъ прибавляетъ для смягченія эффекта: "Но сін пытки унотребляются въ такомъ только случав, когда въ важномъ какомъ-либо делв всв улики говорать противъ преступника или преступницы, а они упорствують въ признаніи" (ч. 1, стр. 20). Хорошо оправданіе! Нѣтъ, уже, по нашему мнѣнію, гораздо лучше пытка безъ изъятій; по крайней мъръ дъло наголо, искренно, -знаешь, чего держаться! Чиновники отъ 1-го до 6-го класса подвергаются пыткъ только съ разръщенія государя. "Иногда, -- добродушно замічаеть почтенный отець Іакинев, -- судьи, по своему произволу, употребляють разныя маловажныя нытки" (тамъ же). Это "иногда" — словцо небольшое, а много значить: именно ни больше, ни меньше, какъ то, что подсудимый есть безответная и беззащитная жертва судын и, если имфетъ средства, не пожалъсть никакой "взятки", чтобы иногда избавить себя отъ пытки, маловажной совстмъ не для того, кто ей подвергается... Легко сказать "маловажная пытка!" когда нытають ею не насъ... Нътъ, не легко, или, если легко, то не для всякаго, сказать такое ужасное слово!.. Судьи за неправосудіе подвергаются суду, и ихъ не деруть иланкою (чудесный инструменть, обстоятельно описанный почтеннымъ отцомъ Іакиноомъ), а наказываютъ пониженіемъ чина, вычетомъ изъ жалованья, отставкою, ссылкою, смертною казнію, а по спин'в дупать только въ экстренныхъ случаяхъ. Но что это за гарантія? Низшихъ чиновниковъ судять высшіе - рука руку моеть, объ чисты бывають; а не то-псправленіе, но не за вину, а за непредставленіе достаточныхъ доказательствъ невинности золотыми и серебряными слитками. Взяточничество — основа китайскаго судопроизводства. Тамъ это уже не злоупотребленіе, не порокъ, не язва общественнаго тъла (язва можетъ быть только на здоровомъ тѣлѣ, а не на такомъ, которое всеязва). Свъденій по этой части рекомендуемь искать не въ книгахъ почтеннаго отца Іакинфа (онъ только вскользь и въ общихъ выраженіяхъ говоритъ объ этой части), а въ небольшихъ статьяхъ, печатавшихся въ "Отечественныхъ Запискахъ" 1841— 1843 годовъ, подъ заглавіемъ "Пофадка въ Китай", псевдонима Дэ-мина. Это человъкъ, прожившій въ Китав шесть леть и знающій китайскій языкъ и китайскую грамоту, но съ понятіями п ваглидами вовсе не китайскими. Почтенный отецъ Іакинфъ показываетъ намъ болъе Китай оффиціальный, въ мундирѣ и съ церемопіями; Дэ-мянъ показываеть намь болье Китай въ его частной жизни, Китай у себя дома, въ халате нараспашку. [э-минъ инчего не скрываетъ; человъкъ болгливый и откровенный, онъ не держался русской пословицы-, изъ избы сору не выносить" и разсказаль намь, что вев важныя места въ Китав на откупу, т. е. даются "за взятки". Вотъ его собственныя слова: "можеть быть, вы спросите, гда взять бъдному, задолжавшему чиновнику такую значительную сумму на полученіе м'єста и—что еще важн'єе на унлату всёхъ долговъ передъ выёздомъ изъ столицы, равно и на то, чтобы пріёхать къ м'всту новаго служенія съ должною возможностію. Но вы не знаете Китая, великаго Китая, съ его 400,000,000 населенія, если думаете, что въ 4,000 лѣтъ его существованія такая важная отрасль государственнаго управленія, какъ взяточничество, не приведена тамъ въ надлежащую систему". Затъмъ онъ разсказываетъ, что въ Пекинъ есть ростовщики, которые заплатять и долги чиновника, н цену места и дадугь денегь на дорогу, разумъется, за страшные проценты; а ростовщикамъ выплачиваютъ подчиненные новаго "правосуднаго" чиновника, т. е. иногда цёлыя провинціп.

Исчисленіе родовъ кнтайскихъ преступленій даже у почтеннаго отца Іакиноа хоть кого приведеть въ ужасъ; о безчеловѣчін казней нечего и говорить. Все это свидѣтельствуетъ о правственности народа. Лицемѣріе, лукавство, ложь, притворство, униженіе—натура китайца. И какъ быть иначе тамъ, гдѣ церемонія поглощаетъ всю духовную жизнь народа, гдѣ младшій непремѣнно долженъ удивляться уму и добродѣтели старшаго, хотя бы тотъ былъ глупѣе осла и грѣшнѣе козла? Вся жизнь китайца словно пеленками связана церемоніями. Становиться на колѣни и бить поклоны—это его священная обязанность. Что за

гибкіе должны быть хребты у этого народа! Храбрость китайца нзвъстна всему міру: это урожденный трусъ. Китайское войско можеть съ уситхомъ восвать только развъ съ китайскимъ же войскомъ. Слабость правительства простпрается до того, что оно трепещетъ морскихъ разбойниковъ изъ собственныхъ подданныхъ, и, чтобы предохранить себя отъ нихъ, стъсняетъ морскую торговлю и частное мореходство. О китайской учености нечего говорить: даже самъ почтений отецъ Іакиноъ о ней очень певысокаго мивнія. Куда ин обернись, всюду миражи и призраки. Китай силенъ, но держится пока съ съвера—миролюбіемъ Россіи, а съ юга—боязнію Англіп обременять себя дальнъйшими завоеваніями...

Книга почтепнаго отда Такиноа-истинное сокровище для ученыхъ, по богатству важныхъ фактовъ. Она можетъ до извѣстной стенени годиться п для публики, несмотря на ея слогь и изложение, несмотря на то, что первая часть, въ намять пресловутаго на Руси мужа Михайлы Меморскаго, написана въ формъ вопросовъ н отвётовъ. Но главный ея недостатокъ-замашки автора дёлать параллели между Европою и Китаемъ, наивныя до смѣшного! Напримѣръ, онъ сравниваеть государственные чины въ Китат съ англійскими лордами и французскими перами. Смвемъ увврить почтеннаго отда Іакиноа, что туть нъть никакого сходства, а есть только безконечная разница. По всему видно, что почтенный отецъ Іакинеъ знаетъ Китай гораздо лучше Европы. Что же касается до его умолчаній н смягченій въ пользу нёжно любимыхъ имъ китайцевъ, ты не считаемъ ихъ важнымъ недостаткомъ въ его книгъ: факты говорятъ сами за себя, н истина сама такъ и бросается въ глаза. Прочтя книгу почтеннаго отда Іакинеа, никто не сдълается хинофиломъ... напротивъ!

[Современникъ. Томъ VII, 1848 г.].

Сельское Чтеніе, издаваемое пняземь B. θ . Одоевскимь и A. Π . Заблоцкимь. Книжка четвертая. Спб. 1848.

Въ последнее время положение народа всюду стало возбуждать особенное вниманиеправительствъ, обществъ, науки и литературы. Торжество божественнаго учения Евангелия и успёхи образованности должны были, наконецъ, довести до этого Европу, несмотря на царствовавшие въ ней феодальные предразсудки и учреждения, долго разъединявшие государственныя сословия.

Въ Европ'в и у насъ-то тотъ же вопросъ, но не тотъ его характеръ. У насъ не было за-

воеванія и—результата его феодализма, стало быть, въ нашей исторіи не было борьбы двухъ враждебныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ представлялся бы илеменемъ завоевавшимъ, другой—покореннымъ. Отсюда, напримъръ, система поземельной собственности у насъ совсѣмъ другая. При дворянствѣ, владѣющемъ своею землею, у насъ существуетъ миогочисленный классъ свободныхъ земледѣльцевъ, владѣющихъ своею землею на коммунальномъ началѣ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ слабымъ развигіемъ мануфактурной промышленности, причиною того, что у насъ иѣтъ пролетаріата въ томъ видѣ, какъ опъ существуетъ въ Европѣ. Отсюда явленіе ньщеты у насъ имѣетъ

другой характеръ и другія причины. Оно дёлается очевиднымъ, бросается въ глаза только при неурожаяхъ. Стало быть, это зло-временное и мъстное, которое, по обширности Россіи, никогда не можеть быть для нея общимъ. Но темъ не менве это зло трудно предупреждать и такъ же трудно облегчать. И воть туть-то, стало быть, настоящее наше вло. А какія его причины?—невѣжество, старые, закоренѣлые привычки и предразсудки, ложныя начада, на которыхъ опирается наше земледѣліе, неразвитость, или, лучше сказать, почти несуществование той промышленности, которой потребителемъ должна бы быть масса народа, затруднительность сообщеній. Очевидно, что самое върное лъкарство противъ такого зла должно состоять въ усивхахъ цивилизаціи и просв'єщенія. Путь мирный и спокойный, ручающійся за достижение великой цъли общаго благосостоянія! Петръ Великій направиль Россію на этотъ путь и указаль ей ея цёль; и съ тыхь поръ до сей минуты она была върна указаннымъ ей ея Монсеемъ пути и цёли, ведомая достойными потомками великаго предка, преемниками его власти п духа... Въ отношении къ виутреннему развитию Россін настоящее царствованіе, безъ всякаго сомивнія, есть самое замівчательное послів царствованія Петра Великаго. Только въ наше время правительство проникло во всѣ стороны многосложной машины своего огромнаго государства, во всь убъжища и изгибы ея, прежде ускользавшіе оть его вниманія, и сділало ощутительнымъ благотворное вліяніе свое во всёхъ стихіяхъ народной жизни. Общественное благоустройство, не въ одномъ административномъ, но и въ правственномъ смыслу этого слова, составляеть предметь его особенныхъ попеченій. Старыя основы общественной жизни, которыя уже заржавѣли отъ времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ен движение внередъ, мудро отстраняются мало-но-малу, безъ всякаго сотрясенія въ общественномъ организмѣ. Обращено особенное внимание на положение и быть народа и сдёланы попытки, объщающія прекрасные результаты, на его, такъ сказать, воснитаніе. Вотъ истинное продолжение великаго дела Петра! Это именно то самое, за что бы теперь взялся самъ великій преобразователь Россін, если-бъ онъ могъ возстать изъ гроба, и о чемъ не только въ его время, но и долго послѣ него нельзя было и думать! Не говоря о многомъ другомъ, мы, въ доказательство сказаннаго нами, укажемъ только на учреждение министерства государственныхъ иму-

Это просвъщенное, вполи соотвътствующее духу въка стремление правительства имъло сильное вліние на направление общественнаго митнія. Обнародываемыя правительствомъ статистическія свъдънія, заключающія въ себъ драгоцънные факты для изученія даже нравственнаго состоянія, быта и характера парода, не могли не оказать благодътельнаго вліянія на самую науку и не обратить ея на вопросы, представляемые русскою жизнію.

Отсюда рѣзкая разница между старыми и молодыми поколѣніями: первыя толкують все о политикѣ, администраціп, смотрять на вопросы сверху внизь, говорять о развитіи промышленности, городовь—и далѣе не идуть; вторыя понимають вопросъ наобороть, снизу вверхъ, и скромно ограничиваются на первый случай почвою, думая, что прежде всего, не обработавши, не сдѣлавши ея способною давать плодъ, нечего заботиться о плодахъ, а эта почва для нихъ — народъ. Другими словами: послѣднія думають только о тѣхъ плодахъ, которые родятся подъ открытымъ небомъ, и мало толку видять въ произведеніяхъ оранжерей и теплицъ...

Но теперь явилась у насъ особая порода мистическихъ философовъ, основывающихъ свое ученіе на пдев народности и народа. Что многочисленнъйшій и низшій классь въ государствь, обыкновенно называемый народомъ, въ противоположность обществу, подъ которымъ разумиются среднее и высшее сословія, есть хранитель сущности, духа народной жизни, -- это истина несомивниая. Народъ-спла охранительная, консервативная, и потому во всякой коренной реформ'в, касающейся всего государства, только то дъйствительно, что проникнетъ и въ народъ. Своею инстинктивною преданностію преданію, обычаю, привычкі, онъ противится всякому движенію впередъ, всякому успѣху и медленно, съ упорствомъ поддается натиску врывающихся къ нему сверху нововведеній. Этимь онъ, съ одной стороны, предохраняеть само общество отъ произвольныхъ уклоненій отъ нормы народной жизни, ибо никогда не приметь ничего несвойственнаго и, стало быть, вреднаго ей; съ другой, дълаеть прочными всъ результаты историческаго развитія, которыхъ не можетъ не принять. Непосредственное начало есть условіе всего живого, и все сознательное и искусственное, чтобъ быть действительнымь, а не призрачнымь, должно нить свои кории въ непосредственномъ. Но все непосредственное трудно для опредёленія и яснье понимается чувствомъ, какимъ-то инстинктомъ, пежели умомъ. Оттого ребенокъ всегда больше загадка, нежели взрослый человфиъ. Оттого стихія народной жизни, то, что называется народностію, національностію, пикогда не можеть быть выговорена нѣсколькими словами. Но наши мистическіе философы, о которыхъ мы заговорили, думаютъ, что они вполив разгадали и постигли тайну русской народности, на долю которой, по ихъ митию, достались любовь и синтезись въ пониманіи и образѣ жизни, также, какъ на долю Запада, въ отличіе отъ насъ, достались вражда, анализъ п отрицаніе. Хотя нікоторые изъ нихъ и принимають реформу Пстра за необходимую, но это только увеличиваетъ путаницу и противоръчія ихъ мистической теоріи, потому что порма нашей жизни, по ихъ убъжденію, только въ народъ, и притомъ

преимущественно въ народъ до эпохи монгольскаго

ига. Народъ для нихъ, стало быть, высшее от-

кровеніе всякой истины, касающейся до сущности

и формы нашей государственной жизни. Стоитъ

только делать всемъ то, что делаеть народъ, не отставать отъ него ни въ чемъ — и все пойдетъ хорошо, больше не о чемъ будетъ и заботиться. Само собою разумъется, что всякая понытка на распространение просвещения и образования въ народъ, въ ихъ глазахъ, есть ни больше, ни меньше, какъ святотатственное посягательство на здоровье и честь народной жизни. Вотъ до какой нельпости можеть довести людей самая истина, если она понята ими одностороние. Источникъ этого заблужденія заключается именно въ томъ пониманіи народа, которое мы сами сейчась высказали, и на которое эти госнода съ торжествомъ могли бы указать, какъ на свое оправдапіе. Но это только одна сторона предмета. Мы не знаемъ доселѣ ни одного народа, котораго развитіе и ходъ впередъ не были бы основаны на раздёленін народной жизни на народъ и общество. Этого разділенія ніть у азіатскихь косніющихь народовъ, ибо у нихъ разделяютъ народъ касты, привилегін, но не просв'ященіе и образованіе. Начиная съ грековъ, родоначальниковъ европейской цивилизаціи, у всёхъ европейскихъ народовъ высшія сословія были представителями образованія и просвіщенія, по крайней мірів везді то и другое начиналось съ нихъ и отъ нихъ шло н къ народу. Безъ этихъ высшихъ сословій, которымъ обезпеченное положение и присвоенныя права давали возможность обратить свою д'вятельность на предметы умственные, народы навсегда остались бы на первобытной степени ихъ патріархальнаго быта. Ученые и художники большею частію вездѣ выходили изъ народа, но не къ народу обращались они. Правда, во времена всеобщаго невѣжества—напримъръ, въ мрачной ночи среднихъ въковъ-ученые въ особенности составляли особую касту, равно чуждую и народу, п обществу, и съ той и другой стороны могли ожидать для себя только обвиненія въ чернокнижничествь и костра. Но когда мракъ невъжества началь разсёнваться, къ кому обратились служители науки, кто принялъ въ нихъ участіе? --- среднія и высшія сословія, а не народъ. Что касается до искусствъ, они всегда существовали и поддерживались высшими сословіями. Стало быть, это раздёленіе народа на классы было необходимо для развитія человічества. Личность вий народа есть призракъ, но и народъ виъ личности есть тоже призракъ. Одно условливается другимъ. Народъ — почва, хранящая жизненные соки всякаго развитія; личность — цвфть и шлодъ этой почвы. Развитіе всегда и везді совершалось черезъ личности, и потому-то исторія всякаго народа такъ похожа на рядъ біографій нёсколькихъ лиць. Исторія показываеть, какъ часто случалось, что одинъ человъкъ видълъ дальше и попималъ лучше всего народа то, что пужно было народу, одинъ боролся съ нимъ и побъндалъ его сопротивление, и самимъ народомъ причислялся потомъ за это къ числу его героевъ. Бывали и такіе народы, которые не стоили одного человъка; по крайней мъръ для пасъ вымышленный или

истинный Анахарсисъ гораздо лучше всёхъ скивовъ, его недостойныхъ соотечественниковъ.

Итакъ, очевидно, что раздѣленіе на классы быдо необходимо и благодътельно для развитія всего человъчества, и что выйти изъ привычекъ и обычаевъ простого народа совсемъ не значить выйти изъ стихіи народной жизни въ какую-то нустоту и отвлеченность и сдёлаться призракомъ. Одинъ пародъ, разумъя подъ этимъ словомъ только людей низшихъ сословій, не есть еще нація: націю составляють всё сословія. Люди, которые презирають народь, видя въ немъ только невежественную и грубую толцу, которую надо держать постоянно въ работъ и голодъ, такіе люди теперь не стоять возраженій: это или глунцы, или негодян, или то и другое вмфстф. Люди, которые смотрять на народъ человѣчнѣе, но думають, что, по причинъ его невъжества и необразованности, онъ не заслуживаетъ изученія, и что вовсе нечему учиться у него, -- такіе люди, конечно, ошибаются, и съ ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше ихъ ошибаются ть, которые думають, что народъ нисколько не нуждается въ урокахъ образованныхъ классовъ, и что онъ можетъ отъ нихъ только портиться нравственно. Нётъ, господа мистическіе философы, нуждается, да еще какт! Народъ — вътно ребенокъ, всегда несовершенно-лътенъ. Бываютъ у него минуты великой силы н великой мудрости въ дёйствін, но это минуты увлеченія, энтузіазма. Но и въ эти редкія минуты онъ добръ и жестокъ, великодушенъ и метителенъ, человъкъ и звърь. Никакая личность не сравнится съ нимъ въ эти минуты, нц въ способности ясно видать истину, ни въ способности грубо заблуждаться, ни въ добръ, ни въ здъ, ни въ геніальности, ни въ ограниченности. Это сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и сленая въ ея торжественныхъ проявленіяхъ. Это — море, величественное и въ тишнив, и въ бурѣ, но никогда не зависящее отъ самого себя, никогда не управляющее само собою: вътеръ-его

Просвѣщеніе и образованіе никогда не могутъ лишить народъ его силы и очень могуть исправить или, по крайней мфрф, смягчить его недостатки. Звёрь родится почти готовымь; какъ скоро молоко матери поставило его на поги --- онъ совсемъ готовъ, его воспитание кончено. Въ устройствъ своего тела и въ своемъ инстинктъ онъ имбеть все, что нужно для поддержанія и охраненія его существованія. Чёмъ больше похожъ онъ на звъря своей породы, тъмъ онъ лучше, совершениве. Человъкъ родится въ болье жалкомъ и слабомъ состоянін, нежели звърь. Искусство, объ руку съ природой, встръчаеть его у норога жизни и провожаеть за порогъ жизни. Необходимость въ неленкъ, въ колыбели уже показываеть его зависимость отъ искусственнаго, противоположнаго природъ. Онъ все долженъ неренять отъ взрослыхъ- и языкъ, и понятія, и формы жизии. Предоставленный одной природъ, отдаленный отъ всякой искусственности, онъ выростеть звъремь; дурно воспитанный, онь будеть животнымъ, только не дикимъ, а домашнимъ; но если звърь долженъ походить на звъря, то человъкъ тъмь болъе долженъ быть человъкомъ. Не потому ли обезьяны такъ и отвратительны, не въ примъръ прочимъ животнымъ, что, будучи зверьми, похожи на людей? Что же можеть быть отвратительние челов'вка, похожаго на звиря? Конечно, все это инсколько не можетъ относиться ни къ какому народу, потому что всякій народъ живеть общественною жизнію, всегда искусственною въ самой ея естественности, -- стало быть, никогда звфриною. Но зато, посмотрите на въчно младенчествующія племена: много ли въ нихъ человъческаго, кромъ всегда присущей человъческой натура возможности очеловачиться? И сколько у иного народа бываеть племенныхъ дикихъ чертъ, какъ дружно уживается въ немъ человъческое и прекрасное, рядомъ съзвітринымъ и безобразнымъ! Ему ли не нужно воспитаніе? его ли не надо учить, просвѣщать, образовывать? Подобнымъ мыслямъ следовало бы родиться только въ лесахъ, выходить изъ крапколобыхъ головъ звариныхъ. Человѣкъ, отдѣлившійся отъ народа образованіемъ, наблюдая и изучая народный быть, можеть научить простого человъка лучше пользоваться тьмь, съ чьмь тоть обращался всю жизнь свою. Онъ можеть научить его не только употребленію барометра, въ которомъ тотъ не нуждается хоть потому, что ему не на что купить такой дорогой вещи, но и уходу за скотомъ, въ которомъ тотъ очень нуждается. Мало того: узнавши что-нибудь полезное отъ народа, образованный человікъ можетъ возвратить народу это же самое, у него взятое, пріобратеніе въ улучшенномъ вида.

Но самъ народъ -- лучшій рёшитель этого вопроса. Бываеть въ его жизни періодъ, пногда очень длинный, когда онъ действительно отъ всякаго нововведенія, не сообразнаго съ его привычками, отстанваеть себя, словно отъ смерти. Но если ему суждено жить, а не прозябать растительно, -- другими словами: если ему суждено историческое существованіе, а не фактическое только, этотъ періодъ рано или поздно долженъ кончиться. Такъ было съ русскимъ народомъ. Назадъ тому лѣтъ иятьдесятъ, матери выли, какъ по мертвымъ, провожая сыновей своихъ въ школы,и это матери не крестьянки, а разныхъ городскихъ сословій; а теперь всякій крестьянинъ радехонекъ возможности выучить своего сына грамотъ. Ученье-свъть, неученье-тьма,-говорить онъ, н въ его глазахъ грамотный человъкъ-существо высшаго разряда. Сділай грамотный передъ безграмотнымъ подлость — последній, упрекая его, всегда скажеть: "а еще грамотный!" Только люди, дътски върующіе въ непреложность апріорныхъ теорій и не признающіе доказательной силы фактовъ, могутъ думать, что реформа Петра не коснулась народа, и если заценила его, то чисто-вижинимъ образомъ. Это очевидная нелжпость. Что русский народъ-одинъ изъ способнаподовъ въ міра, -это онъ самъ доказалъ такъ хорошо, что въ этомъ не сомивваются въ Европв даже тв, которые во всемъ остальномъ не хотять въ немъ видъть что-нибудь другое, кромъ дикаго татарина. Способность переимчивости у русскаго народа равняется только его страсти къ переимчивости. Это его натура. Трудно было ему сдвинуться съ своей стоячести въ первый разъ, цо, сдвинувшись, онъ уже не можетъ не идти. Предразсудки, преданіс гораздо меньше препятствують его успёхамъ въ образованін, нежели какъ обыкновенно думаютъ объ этомъ. Иравда, русскій челов'якъ ужъ такъ созданъ, что не можетъ не покоситься ни на какую новинку. Это относится не къ одинмъ крестынамъ, но и къ господамъ. Явится франтъ въ шлянь новаго фасона, — и насмышливымь улыбкамъ нътъ конца; а черезъ недълю сами насмъшники, глядишь, разгуливають въ тёхъ же шлянахъ. Что ни увидитъ русскій человакъ новаго у сосёда, рёдко удержится похаять, а перенять не упержится.

Чрезвычайный усивхъ "Сельскаго Чтенія" можетъ между прочимъ служить не последнимъ доказательствомъ сильной охоты нашего простого народа, говоря его собственнымъ выраженіемъ, набираться изъ книгъ уму-разуму. Первая книжка "Сельскаго Чтенія" вышла въ 1843 году и въ томъ же году появилась вторымъ изданіемъ; оба изданія состояли изъ 9,000 экземиляровъ. Въ 1844 году вышла вторая, въ 1845 — третья книжка "Сельскаго Чтенія"; въ 1846 году вышло пятое изданіе первой и второе изданіе второй кинжки. Всёхъ экземиляровъ этого прекраснаго изданія разошлось нёсколько десятковъ тысячь. Оно, разумбется, породило подражанія; но они не имъли никакого успъха. Не считаемъ пужнымъ болье распространяться объ этомъ факть: о немъ много было говорено, но самъ онъ лучше всего говорить за себя. Скажемь только, что безсильная злоба, безсильно выражавшаяся (вфроятно, оттого, что духъ захватило) намеками и непрямою бранью мистическихъ почитателей народа, была тоже блестящимъ доказательствомъ, что это прекрасное изданіе вполит достигло своей ціли.

И однако-жъ мы не скажемъ, чтобы въ "Сельскомъ Чтенін" все было прекрасно, и чтобы лучше его ужъ и не могло бы быть изданія въ этомъ родъ. Мы предоставляемъ эту манеру хваленія извъстнымъ "правдолюбамъ" и безпристрастнымъ противникамъ всего западнаго. Въ "Сельскомъ Чтенін" были статьи превосходныя (особенно изъ тъхъ, которыя написаны г. Заблоцкимъ), но были и слабыя; изданіе его им'йло свои недостатки, но все-таки было прекраснымъ изданіемъ, и досель не только ничего лучшаго, но и скольконибудь сноснаго въ этомъ родъ еще не являлось. Говорить о прежинхъ книжкахъ нечего, потому что инсавшій эти строки и такъ уже много говориль о каждой книжкъ "Сельскаго Чтепія". И потому онъ обращается прямо къ вновь вышедшей-къ четвертой.

Къ сожаленію, мы должны начать наше сужденіе о ней съ того, что она слабе всёхъ прежнихъ книжекъ. Лучшія статьи въ ней: "Хмель", "Сонъ и Явь", г. Даля, и "О томъ, что такое животное, какъ оно живетъ, что ему здорово и что нездорово", г. Заблоцкаго. Первая статья—одинъ изъ лучшихъ разсказовъ г. Даля; мы читали его прежде, но для читателей "Сельскаго Чтенія" опътёмъ не менёе будетъ новостію столько же полезною, сколько и прекрасною. О важности содержанія второй статьи обстоятельно говоритъ ея заглавіе, и намъ остается только прибавить, что изложена и написана она съ тёмъ знаніемъ дёла, съ тёмъ мастерствомъ, которыя составляють

неотъемлемую принадлежность всего, что иншетъ г. Заблоцкій. Очень хороши его же маленькія статейки въ этой книжкѣ: "Не всякая пословица не мило молвится", "Пить до дна, не видать добра", "Пожалѣешь лычко, заплатишь ремешко", "Не шути огнемъ". Всѣ онѣ рѣзко отличаются своею практическою примѣнимостію къ дѣлу, всѣ касаются самыхъ существенныхъ вопросовъ въ жизни крестьянъ. Сейчасъ видио, что у автора миого пе одного усердія дѣйствовать на пользу крестьянъ, но и знанія ихъ быта, умѣнья говорить съ пими. Безъ этого знанія пичего нельзя сдѣлать не только съ усердіемъ, но и съ умѣніемъ дѣлать.

[Современникъ. Томъ VII, 1848 г.].

1843 — 1846.

сочинения державина.

Четыре части. Спб. 1843.

Ī.

Съ іюля 3-го текущаго года начнется второе стольтие отъ дня рождения Державина... Итакъ, отошки вінатомой вибогом ставитайсь и чанай времени отъ пъвца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверть въка, п, несмотря на то, кажется, цёлые вёка легли между нимъ и нами... Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нахъ безъ историческихъ нравоописательныхъ комментарій на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ... Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы-все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, также, какъ не умеръ въкъ, имъ прославленный; въкъ Екатерины приготовиль въкъ Александра, приготовившій нашъ въкъ, —между Державинымъ и поэтами нашего времени существуеть та же кровнородственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской

Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ сферъ сознанія, имъетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и виж себя не признаетъ никакихъ законовъ. Кто, уже по натуръ своей, или по духовной своей неразвитости, не въ состояній постигать законовъ искусства въ его пде ѣ, --- тотъ не въ состояни ни цѣнить искусства въ фактъ, ни наслаждаться имъ. До постиженія иден мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: следовательно, идея сама но себе есть только одна сторона предмета, искусственно отдёляемая нами отъ живой всецелости предмета, для того, чтобъ намъ можно было отръшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа понимать. этотъ предметъ. И потому нътъ идей, которыя п оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется, какъ фактъ-какъ предметь или какъ дъйствіе. Осуществленіе иден въ фактъ имъеть свои непреложные законы, изъ которыхъ главиви-

шій-послёдовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имъющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ пизшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный закопъ мы видимъ и въ природь, и въ человъкъ, и въ человъчествъ. Природа явилась не вдругь, готовая, но имила свои дни или свои моменты творенія. Царство исконаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое-животцому. Каждая былинка проходить черезъ нёсколько фазисовъ развитія, и стебель, листь, цвъть, зерно суть не что иное, какъ непреложно-последовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходить черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвътствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинь, объемъ и характеръ его сознанія. Тотъ же законъ существуеть и для обществъ, и для человъчества. Тотъ же закопъ существуеть и для некусства. У пекусства есть свой вфчный, непзмінный идеаль совершенства, составляющій предметь эстетики, какъ науки изящнаго; но искусство не вдругъ, а постепенно достигаетъ своего идеала, — и исторія искусства есть картина моментовъ его развитія. Такъ, наприм'єръ, Индіястрана, гдъ впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной истины, п въ которой это сознание остановилось на своемъ первомъ моментъ, и, какъ бы окаменълое, дошло до насъ, черезъ рядъ тысячелѣтій, почти въ томъ самомъ видъ, въ какомъ нервоначально возникло, подобно вершинамъ Гималая, которыя и теперь почти тѣ же, какими узрѣлъ ихъ міръ въ первые дни своего созданія. Подобно религіи н философін, искусство въ Индін представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моментъ своего существованія: оно носить тамъ

характеръ чисто-символическій, ибо его образы условно, а не непосредственно, выражають ндею. Таково должно быть, и инымъ не можеть быть, искусство въ своемъ началъ. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого, необходимо идей быть полною и ясною для художника; но какъ иден первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоятъ изъ темныхъ предощущеній и неопределенныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выраженіе иден у нихъ, естественно, должно состоять изъ одиців намековъ, иносказаній и затвиливых символовь. Въ Егнить искусство следало уже большой шагь, приблизившись несколько къ простоте и природе; по крайней мъръ, египетскія изваянія представляють уже не однихъ сфинксовъ, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціп искусство уже отръшилось символизма, и его образы облеклись въ простоту и истину, которыя составляютъ

высочайшій идеаль красоты.

Искусство никогда не развивается независимоодиноко: напротивъ, его развите всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія. Въ эпоху младенчества и юношества народовъ искусство всегда болъе или менъе-выражение религизныхъ ндей, а въ эпоху возмужалости-философскихъ понятій. Индійскій пантепзмъ есть обожествленіе природы, и потому даже въ поэзін индустанской нграють такую важную роль растенія, змін, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваянія боговъ представляють дикую и уродливую смёсь членовъ человъческаго тъла съ членами животныхъ. Индійское искусство не могло возвыситься до изображенія красоты челов тческой, -- пбо въ пантенстической религи индусовъ богъ есть природа, а человъкъ-только ся служитель, жрецъ и жертва. Египетская миоологія занимаеть уже середину между пидійскою и греческою: среди животно-чудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замътны и человъческие лики, послужившие типомъ для изваяній греческихъ; между Озирисомъ и Аноллономъ есть сродство, и мноъ деба, который сражаеть Пифона, занять греками у египтянь. Однако-жь, это бореніе между животнымъ и челов комъ разрешилось только въ сфинкса-чудовище съ женоподобною головою и грудью, съ туловищемъ звъря. Сфинксъ египетскій мудрѣе человѣка: онъ загадываеть человъку хитрыя загадки и ножираеть его за неумъніе разгадать ихъ. Но грекъ Эдипъ разгадаль мысль и нашель слово; звёрь бросился въ море и утонулъ: челов'йкъ вступилъ въ свои права, — и боги Греціи не что иное, какъ образы идеальнаго человъка, обожествление человъка. Звърш вошли въ искусство, какъ выражение силъ природы, повинующихся человѣку: кони возять колесницу Аполлона, Церберъ стережетъ входъ въ царство Анда, отвратительныя гарпін служать бичомь злодъйства; Зевсь принимаеть образы вола и лебедя для скрытія отъ Геры такихъ похожденій, источникомъ которыхъ были чисто-естественныя понолзновенія. Образъ человѣческій просвътленъ и возвышенъ: его назначение въ грече-

скомъ искусствъ — выражать высшую, идеальную красоту. Въ греческомъ искусствъ символистика и аллегорія кончились; искусство стало искусствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой религін и глубокомъ, внолив развившемся и опредълившемся смыслѣ ея мірообъемлющихъ миоовъ.

Кром'в всего этого, на развитие и характеръ нскусства много имъютъ вліянія еще разныя совершенно случайныя обстоятельства, особенно же природа и мѣстность страны, климать и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуй пидійскихъ-явно отраженіе гигантской природы страны Гималаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ извалній находится въ большей или меньшей связи съ благословеннымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищныхъ крайностей, не могла не имъть вліянія на чувство соразмѣрности и соотвѣтственности, словомъ, гармонін, которое было какъ бы врожденно грекамъ. Въдная и величаво-дикая природа Скандинавіи была для норманновъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзін. Политическія обстоятельства также им'єють вліяніе на развитіе и характеръ искусства: римляне запяли у грековъ классическую гармонію и благородную простоту архитектуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размъровъ, какъ бы выразнешихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическаго величія.

Изъ этого видно, какъ жестоко ошибаются тк умозрительные судін изящиаго, которые хотять видеть въ искусстве совершенно отдельный міръ, существующій независямо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ псторіп. Основываясь на томъ, что предметь искусства не временное и относительное, а въчное и безусловное, они думають, что нскусство унижаеть себя, если подчиняется какимъ бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямь. Но это значить смотрёть на "вечное" п "безусловное", какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, качъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности: ибо "вѣчное" выражается во времени, "безусловное" ограпичивается формою проявленія, "безконечное" дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметь за основание однъ иден и ихт діалектическое развитіе, оставивь въ сторонъ върованія и исторію, то по ней выйдеть, можеть быть, что произведенія греческаго искусства прекоасны, а индійскаго и египетскаго не имфютъ ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невъжества и дикости; готическая архитектуравоплощенное безвкусіе; французская литература хороша, а нъмецкая-вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоить не въ томъ, чтобъ рёшить, чёмъ должно быть искусство, а въ томъ, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствъ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеаль, который можеть осуществиться только по ея теорін: н'єть, она должна разсматривать искусство, какъ предметь, который существоваль давно прежде ея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ.

Другіе знатоки и любители пскусства начинають съ противоположной крайности, думая, что изящное не имбетъ никакихъ непреложныхъ законовъ, и что стоитъ только изучить исторію и нравы какого угодно народа, чтобъ понять его нскусство. Узнавъ изъ біографін какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думають, что нашли ключь къ тайнъ его грустныхъ созданій. "Видите ли, — говорять они: — онь быль несчастень въ жизни, и оттого меланхолія составляеть отличительный характерь его произведеній". Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзін Байрона: критика будеть и не долга, и удовлетворительна. Но что Байронъ несчастенъ въ жизни-это уже старая новость: вопрось въ томъ, отчего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ несчастію? Эмпирическіе критики и луть не задумаются: раздражительный характеръ, ипохондрія, —скажуть одни изъ нихъ, -- и разстройство пищеваренія, — прибавять, пожалуй, другіе, добродушно не догадываясь въ низменной простотъ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что такія малыя причины не могуть имъть своимъ результатомъ такія великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому пзвістно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ счастливъ, и что самый веселый человькъ дълается ипохондрикомъ оть несчастія, что раздражительность нервовъ служить не только къ живфишему ощущению горестей, но и къ живъйшему ощущенію радости. Всякому также извѣстно, что великіе комики по большей части бывають людьми раздражительными и наклонными къ ппохондріц, и что весьма ръдко появляется улыбка на устахъ тёхъ, которые заставляють другихь хохотать до слезь... Ни одинь поэтъ не можеть быть великъ отъ самого себя и черезъ самого себя, ни черезъ свои собственныя страданія, ни черезъ свое собственное блаженство: всякій великій поэть потому великь, что корин его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ, следовательно, есть органъ и представитель общества, времени, человъчества. Только маленькіе поэты и счастливы, и несчастливы отъ себя и черезъ себя; но зато только они сами и слушають свои птичьи ивсни, которыхъ не хочеть знать ни общество, ни человъчество. Чтобъ разгадать загадку мрачной поэзін такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Вайронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно факсломъ философін освътить историческій лабиринть событій, по которому шло человъчество къ своему великому назначению-быть одицетвореніемъ въчнаго разума, и должно опредълить философски градусъ широты н долготы того мъста пути, на которомъ засталъ поэть человечество, въ его историческомъ движенін. Безъ того всё ссылки на событія, весь

анализь нравовъ и отношеній общества къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ — ровно ничего не объяснять.

Но прежде, чтмъ опредълить историческое значеніе поэта, должно определить его чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметь. ночему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, другого ибтъ, и почему въ одномъ она видить великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здёсь эстетика имфетъ право основываться на одномъ философскомъ началт искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здёсь получаеть свой великій смыслъ искусство, какъ некусство, какъ такая сфера деятельности, которая сама себе цаль и виа себя цали не имаеть. Естественно, прежде, чёмъ опредёлить, къ зодчеству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежатъ зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полеть фантазіп, словомъ, поэзія, или эти зданія — только груды камней, складенныя по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй, и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рашенъ только на основании философіи изящнаго-эстетики. Но здъсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значить, чтобы эстетика въ какомь бы то ни было случат отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дълъ нскусства: это значить только, что эстетика, окончивъ разсмотрение художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонв, столько же присущей искусству, какъ и сторона художественная, -- къ сторонъ его содержанія, и, инсколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другою родственною ей сферою—сферою исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тісно связаны между собою, что только чрезъ искусственное дъйствіе разума можно разділять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдф въ человфкф оканчивается тело и начинается душа, гдъ конецъ чувства и начало ума и т. д.

А между тёмъ, какъ въ понятін о природѣ человѣка существуютъ преданные отвлеченіямъ пдеалисты, которые за душою не замѣчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массою тѣла не могутъ провидѣть душу, — такъ и въ понятіи объ искусствѣ существують свои идеалисты (умозрители) и свои матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ ученіе тѣхъ и другихъ; прибавимъ къ этому, что эмширики, не признающіе эстетики и превращающіе ее въ сухой, не оживленный мыслію каталогъ изящимхъ произведеній, съ практическими и случайными комментаріями, — лишаютъ искусство его высокаго значепія! Не признавая содержаніемъ пскусства той же вѣчной,

въ свободной необходимости діалектически-развивающейся пден, которая составляеть содержаніе и исторія, и философія, эмпирики низводять творческія произведенія на степень предметовъ, имъющихъ целью пріятно развлекать скуку и заинмать праздное бездёйствіе, — а это значить ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящно-сдёланною мебелью и тёми красивыми бездёлками, которыми мода и прихоть украшають въ комнатахъ камины, столы и этажерки. Идеалисты доходять до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна идти своею дорогою, а искусство-своею, не соприкасаясь другъ съ другомъ, не завися другъ отъ друга и не имъя никакого вліянія другь на друга. Буквально върные своему основному положенію, что искусство само себѣ цѣль, они доходять наконецъ до того, что лишають искусство не только цели, но и всякаго смысла. Сначала они доводять искусство до аскетизма, а наконецъ и до индифферентизма, что весьма естественно: Индія ясно доказываеть, что отшельничество и равнодушіе гораздо ближе другь къ другу, нежели какъ кажется съ перваго BELIEFE.

Отвлекающій идеализмь во всемь ведеть къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому что факты отвергаемой имъ действительности не мішають ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе замки. Кто смотрить на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображение ни его истории, ни псторін развитія челов'ячества, — тому весьма легко открыть тождество между "Иліадою" Гомера и "Мертвыми Душами" Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Опо можеть происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметь. Принявъ за непреложную истину какое-нибудь на досугъ придуманное положение и отвергнувъ историческую сторону предмета, можно наделать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ, что законы творчества всегда и вездъ одинаковы, что они въ Россін тѣ же, что были въ Грецін, —егдо —почему же и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?.. Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достопиствъ поэтовъ; какъ легко превознести одного, такъ легко и унизить другого, и въ обоихъ случаяхъ — замътъте — на основани мысли и ея строгаго діалектическаго развитія...

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и идеализмъ (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истины: истина же состоитъ въ свободномъ примиреніи объихъ этихъ крайностей. Но кромъ того, что такое примиреніе не такъ-то легко для всякаго,—и сама истина, если бы кто и нашелъ ее, принимается съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина стоитъ въ единствъ противоположностей. Чъмъ одностороннъе миъне, тъмъ доступнъе опо для большинства, которое любитъ, чтобъ хорошее непремъпно было хорошимъ, а дурное — дурнымъ, и которое слышать не хочетъ, чтобъ одинъ и тотъ

же предметь вывщаль въ себъ и хорошее, и дурное. Воть почему толпа, узнавъ, что за какимъ-нибудь великимъ человекомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негодяемъ и безиравственнымъ человъкомъ. Толпа не понимаеть, что все живое тёмь и отличается оть мертваго, что въ самой сущности своей заключаетъ начало противоръчія. Толна не понимаеть, что одинь и тоть же человькь можеть отличаться и великими добродътелями, и великими пороками; что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышѣ своемъ; что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернъ, а другое развито; что причины этого должно отыскивать и въ духъ времени, когда явился великій человъкъ, и въ общественности, среди которой возросъ и восинтался онь, и что, на основании этихъ причинъ, иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу, такъ же точно, какъ иныя добродътели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цену. Если-бъ въ наше время какой-нибудь воппъ сталъ метить за надшаго въ честномъ бою друга или брата своего, заръзывая на его могилъ илъпныхъ враговъ, --- это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звърствомъ; а въ Ахиллъ, умоляющемъ твнь Натрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это мщеніе — доблесть, пбо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаетъ наукою одну математику, которая дъйствительно никогда себъ не противоръчить, а исторію и философію считаетъ вздоромъ, ибо, по ея мижнію, онъ на каждомъ шагу противоръчать себъ... Между тұмъ, въ глазахъ той же толпы, мертвецъ, нежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человъкъ, котя первый ни въ чемъ не противорвчить самому себв, а другой на каждомъ шагу противоръчитъ... Такова ужъ, видно, натура толпы!..

У насъ можно смёло говорить о всякомъ писатель, о которомъ мивніе еще не усивло установиться въ толпъ; но бъда говорить о инсателъ старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникъ можно найти однъ и тъ же напыщенныя фразы и общія мъста... Въ такомъ случав безопаснве всего сказать ръзкую односторонность: если одни осердятся, зато другіе согласятся, и объ стороны по крайней мара поймуть, въ чемь дело. Такъ точно у насъ ужъ лътъ шестъдесятъ повторяются однъ и тъ же фразы о Державинъ, что выше его не было и не будеть поэта въ подлунномъ мірт, что онъ птвецъ съвера и потомокъ Вагрима... Съ этимъ всъ согласны, темь более, что до этого никому неть дъла, ибо Державина давно уже никто не читаеть, и всё знають его только по журнальнымъ фразамъ да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они привыкли о какомъ-нибудь предметь думать такъ, то хотя бы они уже и совстмъ не заботились о немъ, однако-жъ непремѣнно осердятся на васъ, если вы осмълнтесь думать объ этомъ предметъ иначе.

Погда въ "Отечественныхъ Запискахъ" въ нервый разъ было сказаво, что Державинъ для нашего времени уже не можеть быть темъ, чемъ онъ быль для своего, и что хотя онъ быль одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создаль ничего такого, что прошло бы чрезъ вака въ нетленной красоте, тогда на "Отечественныя Записки" нешутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха державинскаго, и, вследъ за другими, съ важностью стали повторять; "Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэть?--въдь пъвецъ съвера, потомокъ Багрима"... И причину этого пеудовольствія легко понять: если-бъ "Отечественныя Записки" совершенно отняли у Державина всякое достоинство, поставили бы этого богатыря поэзін русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопотъ: потому что, если-бъ одни еще сплънве ожесточились противъ нихъ, зато нашлось бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ мивніе съ радостію лінцвыхь и немыслящихь любителей новыхъ идей. Но въ мийніи "Отечественныхъ Занисокъ" было противоръчіе: у Державина не отипмалось его величіе, а о поэзіи его говорилось только, какъ объ историческомъ фактъ; не понятно, а потому и досадно!.. Правда, потомъ, какъ привыкли къ новому мненію, то стали повторять его и нечатно, хотя и не поняли...

Дъйствительно, ни объ одномъ поэтъ не можетъ существовать столь противоположных митній, какъ о Державинъ. Если разсматривать его съ эмиирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самь онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съ чистоэстетической точки, то можно поставить его чуть не наравиъ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключеніе равно будуть ложны и нельны: для того-то мы и почли за нужное предварительно сказать нёсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченио) идеальной точ-

ки зрѣнія на искусство.

Какъ общечеловъческое искусство, такъ и искусство каждаго народа, отдёльно взятаго, имбетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства отъ его первоначальнаго исходнаго пункта до последняго заключительнаго звена. Постепенность и последовательность-законъ всякаго развитія. Если бы кто-нибудь напечаталъ въ газетахъ, что посаженное имъ въ землю зерно изъ яблока взошло не стебелькомъ, а прямо яблокомъ, — вст стали бы надъ этимъ смѣяться, какъ надъ нелѣпостью, хотя бы это и было напечатано. Но когда писали и печатали, что лётъ черезъ тридцать послё первой оды Ломоносова ("На взятіе Хотина") явился на Руси поэть, одинь совмѣстившій въ себѣ и Пиндара, и Горація, и Анакреона, и превзошедшій всвуб ихъ, порознь и вместе взятыхъ, —надъ этимъ и теперь еще не смѣются, какъ надъ нелѣпостію...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе

Державина не выдержить самой синсходительной эстетической критики. Действительно, инчего не можеть быть слабъе художественной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ, по большей части, составляють нравственныя септенцін, расположенныя и распространенныя риторически, въ формъ разсужденія, или диссертаціи. Отъ этого многія оды его непомфрио длинны, непомфрио прозаичны и... непомфрно скучны. Истина составляеть также содержаніе поэзін, какъ и философін, и состороны содержанія поэтическое произведеніе-то же самое, что и философскій трактать; въ этомъ отношенін ифтъ никакой разницы между поэзіею и мышленіемъ. И, однако же, поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: они разко отделяются другъ отъ друга своею формою, которая и составляетъ существенное свойство каждаго. Философія, или (выразимъ это понятіе болье общимъ терминомъ) мышленіе, действуеть прямо черозь разумъ и на разумъ; и если мыслитель или ораторъ, проникаясь эонрнымъ пламенемъ изследуемой имъ истины, иногда возвышается до пафоса, прибъгаетъ къ посредству фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными образами фантазіп-у него, и въ такомъ случай, чувство и фантазія являются второстепенными элементами, первое—какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а втораякакъ вспомогательное средство сдълать истину ощутительною и видимою. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредничествъ чувства и фантазіи, но только допуская ихъ по собственной воль, какъ следствіе міновенно-охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ, однако же, царить, и котораго обантельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только темъ мыслителямъ, которые окрѣили и закалились гимнастикою строгой логической мысли, обнаженной отъ встхъ покрововъ непосредственнаго представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ощущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда поверяютъ нхъ діалектикою разума. Въ поэзін, напротивъ, фантазія является главною дійствующею силою, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаеть и мыслитьэто правда, нбо ея содержание есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія разсуждаеть и мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобы быть поэтическими. Некоторые аристархи, сами писавшіе накогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто-земная, ибо "оземленяєть" безплотную чистоту идей: такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ въ этихъ аристархахъ рёшительное отсутствие эстетическаго чувства, натуру грубо-прозанческую и чуждую всякаго предощущенія поэзін. Нападать на поэзію

за то, что она оземленяетъ иден, все равно, что нападать на математику за то, что она все исчисляеть и измеряеть. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзін, что она безплотной пдей даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случав идея есть только морская пвиа, а поэтическій образъ-богиня любви и красоты, родившаяся изъ морской ихны. Кто не одаренъ творческою фантазіею, способною превращать иден въ образы, мыслить, разсуждать и чувствовать образами, тому не помогуть сделаться поэтомь ин умь, ни чувство, ни сила убъжденій и вірованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И если бы не такъ, то всего легче было бы сдёлаться поэтомъ: стопло бы только узнать правила версификаціи, да, благословясь, и начать писать диссертаціи разм'тренцыми строчка-

ми, завостренными риемою.

Одно изъ главивищихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соответственность пден съ формою и формы съ пдеею, и органическая цёлостность его созданій. Поэтому всякое художественное произведение прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основанін чувства или мысли, а следовательно, и формы. Мысль въ піесе можеть быть схвачена или въ одномъ своемъ моментъ, или развита во всёхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитие должно относиться къ ней самой, какъ относятся въ музы кальномъ произведенін варіацін къ мотиву. Если мысль піесы переходить въ другую, хотя бы и имьющую къ ней отношение мысль, тогда нару шается единство художественнаго произведенія, а следовательно, единство и сила внечатленія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое про изведеніе, чувствуещь себя только обезпокоеннымъ, но не удовлетвореннымъ, утомление и досада за-

ступають м'єсто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себъ, ясна и опредъленна для поэта, если произведение върно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта-то въ немъ не можеть быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мфстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка въ внёшней отдёлкі. Пронзведеніе, въ такомъ случав, органически цвлостно: въ немъ нѣтъ инчего пи излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводить читателя въ его смыслъ, последнее слово замыкаетъ собою все его содержаніе, такъ что читатель вполив удовлетворень и не можеть спросить:

"что же дальше?"

Стихотворенія Державина не выполняють ни одного изъ этихъ условій. Во-первыхъ, вст они болже или менже отличаются характеромъ риторическимъ, и, по крайней мъръ, большая часть ихъ походить на диссертаціи въ стихахъ. Мы не можемъ подкръпить выписками этого мивнія, ибо, въ такомъ случат, намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всёхъ нередъ глазами, и каждый самъ можеть повфрить

справединвость нашей мысли. Впрочемъ, при разбор'в н'вкоторыхъ стихотвореній мы будемъ им'вть случай, мимоходомъ, указывать на эту черту недостатка поэзін Державина; пока ограничимся только указанісмъ на некоторыя, особенно замечательныя въ этомъ отношеніи піесы, каковы, напримъръ: "Безсмертіе Души" (192 стиха), "Величество Божіе" (132 ст.), "Христосъ" (320 ст.), "Слепой Случай" (200 ст.), "Уснокоенное Неверіе" (108 ст.), "Истина" (144 ст.), "Гимиъ Боту" (96 ст.), "Тоска Души" (104 ст.), "Добродътель" (120 ст.), "Слава" (112 ст.), "Цъленіе Саула" (450 ст.), "Гимнъ Солнцу" (100 ст.), "Облако" (80 ст.), "Громъ" (90 ст.), "На Умъренностъ" (110 ст.) и проч. Такихъ піесъ у Державина гораздо больше можно начесть. Читать нхъ-тяжело. Это все равно, что читать ариометику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что дважды два-четыре, но онъ тъмъ не менъе въ отчаянін, что такія простыя, почтенныя и съ малолътства всякому извъстныя истины не изложены обыкновенною прозою, безъ поэтическихъ затей. Такъ и въ нопменованныхъ нами стихотвореніяхъ Державина всѣ мысли столько же сираведливы, сколько и стары, и общи: ихъ можно найти у любого плохого стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствія поэзін; у истиннаго поэта и старая мысль является новою, нбо истинный поэть даеть чувствовать живую сущность мысли, которую толна безсмысленно повторяетъ, какъ мертвую букву. По величинъ своей поименованныя нами оды Державина ръшительно не имфють ничего общаго съ лирическою поэзіею. Лирика есть выражение преимущественно чувства, н въ этомъ отношении она приближается къ музыкъ, которая, исключительно изъ всъхъ искусствъ, дъйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна піеса пе можеть быть выраженіемъ двухъ различныхъ чувствъ, а чувство проходитъ по душъ миновенно, какъ тотъ трепетъ восторга, отъ котораго священный холодъ пробътаеть по тълу и "встревоженною ратью" поднимаеть волосы на головъ человъка... И если такое чувство неослабно будеть владъть читателемъ во все время, необходимое для прочтенія даже восьмидесяти, не только четырехсоть иятидесяти стиховъ, — человъческая натура читателя не выдержить этого, и результатомъ восторженнаго чтенія должна быть бользнь, утомленіе... Поэма, драма, н особенно романъ — другое дело: тамъ умъ часто даетъ отдыхать чувству, тамъ комическія сцены и, по сущности выражаемыхъ предметовъ, прозапческія м'єста возбуждають въ читател'є разнообразныя ощущенія. Но держаться, въ продолженіе добраго получаса, или и болье, въ одномъ чувствь, въ одинаковой настроенности души,это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поименованныхъ нами піесахъ, кажется, всего менте разсчитываль на чувство: стихотворенія эти холодны и прозапчны, какъ школьная диссертація, стихи въ нихъ дурны до последней степени, и радко, очень радко кой-гда проблескивають искорки одушевленія, сейчаст и ногасая въ водѣ риторики. Кажется, главною его заботою было высказать о предметѣ все, что только онъ могъ придумать о немъ. Порядка въ его мысляхъ нѣтъ никакого, и потому его длинныя и резонерствующія оды не имѣютъ достоинства даже хорошо расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно, не всв оды Державина таковы, какъ ть, на которыя мы сейчась указали; но главный характеръ указанныхъ нами-длиниота, резонерство, риторика, безъобразность — болье или менье преобладають рышительно во всых одахь. Гармонической соответственности иден съ формою, пластичности образовъ — въ нихъ нечего и пскать. Читая иную оду Державина, иногда вы увлекаетесь возвышенностью мысли, энергіею чувства, размашистымъ полетомъ фантазін, -- п вдругъ неловкій стихъ, натянутый оборотъ, странное выраженіе, а иногда и риторика охлаждають вашь восторгъ, - и вы испытываете это нъсколько разъ, при чтеніи одной и той же оды, и по окончаніп ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услажденнымъ. Такъ, напримъръ, "Водопадъ" принадлежитъ къ числу блистательнъйшихъ созданій Державина, а между тёмъ въ немъ-то и увидите вы полное оправдание нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его ноэзіп. Уже самая огромность этой оды ноказываеть, что въ ея конденцін участвовала пе одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одъ была въсть о кончинъ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свътъ колоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніе и должно было бы составлять содержание оды. Но поэтъ приплемъ сюда же Румянцева, который, сидя подъ наклоненнымъ кедромъ, мечтаетъ о славъ и времени, потомъ засыпаеть и видить во сив свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома сокрушенной ели и падшаго холма и видитъ передъ собою Россію въ образѣ воинственной жены, которая взываетъ къ нему: "проснись!" При видъ сио кэ

Вздохнуль u, uспуста слезг дождь, Вѣщалъ: "Зпать умеръ нѣкій вождь!"

и началъ разсуждать объ обязанностяхъ истиннаго вождя, о томъ, что лучше быть "менве извъстнымъ, но более полезнымъ", и т. и. Весь этотъ энизодъ занимаетъ тридцать одну строфу, т. е. сто восемьдесятъ шестъ стиховъ!!. Конечно, въ этомъ энизодъ, невыдержанномъ въ цъломъ, естъ прекрасныя мъста; но онъ не идетъ къ дѣлу, безъ нужды илодить оду и охлаждаетъ восторгъ читателя, — такъ что прочесть "Водонадъ" съ одного раза, да еще вслухъ, — трудъ изнурительный и для ума, и для груди... Всъ эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода инчего не проиграетъ, —напротивъ, много выпграетъ: въ ней будетъ меньше риторики и больше поззін... Пер-

выя семь строфъ, заключающія въ себѣ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настранвають душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезапномъ паденіи колосса,—и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь, осанку горду Храня, къ тебъ порой идеть; Крутую гриву, жарку морду Подиявъ, храинтъ, ушми прядетъ, И, подстрекаемъ бывъ, бодрится, Отважно въ хлябъ твою стремится...

можно прямо нерейти къ тридцать девятой:

Но кто идеть тамъ по холмамъ, Глядясь, какъ мёсяцъ въ воды черны; Чья тёнь сиёшитъ по облакамъ Въ воздушныя жилища горни? На темномъ взорё и челё Сидитъ глубока дума въ мглё!

А тридцать одну строфу, между седьмою и тридцать девятою, можно не читать: тогда впечатиспіе отъ "Водопада" будетъ гораздо сильнѣе; тогда останется, для чтенія, сорокъ шесть строфь, или двѣсти семьдесятъ шесть стиховъ... И тутъ сколько еще воды риторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслажденія чувство внезапно охладѣваетъ? Но, чтобъ мвѣніе наше не показалось произвольнымъ, подкрѣнимъ его выписками.

> Какой чудесный духъ крылами Отъ Съвера паритъ на Югъ? Вътръ медленъ течь его стезями: Обозръваетъ царства едругъ, Шумитъ, н, какъ звъзда, блистаетъ, И некры въ слъдъ свой разсынаетъ.

Этотъ духъ—тѣнь Потемкина; но что же это за прозаическое описаніе, ничего не выражающее! И неужели духъ Потемкина непремѣнно долженъ обгонять вѣтеръ, обозрѣвать царства вдругъ, шумѣть, блистать, подобно звѣздѣ, и сыпать искрами по своему слѣду? Риторика!

Чей трупъ, какъ на распутън мгла, Лежитъ на темномъ лонъ ночи? Простое рубище чресла, Двъ лепты покрываютъ очи, Прижаты къ хладной груди персты, Уста безмолвствуютъ отверсты!

Чей одръ-земля; кровъ-воздухъ синь; Чертоги-вкругъ пустынны виды? Не ты ли, счастья, славы синъ, Великолюпный князь Тавриды? Не ты ли съ высоты честей Незапно палъ среди степей?

Не ты-ль наперсинкомъ близъ трона У съверной Минервы былъ; Во храмъ музъ, другъ Аполлона, На полъ Марса вождемъ слылъ; Ръшитель думъ съ сойнъ и мирть, Могущъ—хотя и не съ порфиръ?

Не ты-ль, который взейснть смёль Мощь Росса, духъ Екатерины, И, опершись на нихъ, хотёль Вознесть твой громъ на тё стремнины, На конхъ древий Римъ стоялъ И всей вселенной колебалъ?

По ты-ль, который орды сильны Соевдей хищныхъ истребилъ, Пространны области пустыпны Во грады, въ пивы обратилъ, Покрылъ Попть Черный кораблями, Потрясъ среду земли громами?

Не ты-ль, который зналъ избрать Достойный подвигъ росской силь, Стихін самыя попрать Въ Очаковъ и въ Измаиль. И твердой дерзостью такой Выть дивомъ храбрости самой?

Се ты, отважнийший изъ смертнить. Нарящій замыслами умь! Не шель ты сребь путей извъстныхъ, Но проложенть ихъ самь— и пумъ Оставилъ по себъ въ потомки, Се ты, о чудный вождь Потемкинъ!

Се ты, которому врата Торжественныя созидали; Некусство, разумъ, красота— Недавно лавръ и миртъ сплетали; Забавы, роскошь вкругъ цвъли И счастье съ славой слъдомъ шли!..

Воть это поэвія, не риторика! Правда, и въ стихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извинаются духомъ времени. Во время Державина нельзя было сказать: "достойный подвитъ русской силъ": это было бы низко и не согласно съ пареніемъ оды; непремънно нужно было сказать: "достойный подвитъ росской силъ": слова "росскій" и "россъ" казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отмънно умными... Выраженія: "паперсникъ у съверной Минервы, другъ Аполлона во храмъ музъ, вождь на полъ Марса" для насъ слишкомъ прозанчны, но, по понатіямъ того времени, въ нихъ-то и заключалась вся сущность поэвін. За этими прекрасными поэтическими строками онять слъдуетъ риторика, и притомъ довольно нескладная:

Се ты, небеснаго плодъ дара, Кому едва я посвятилъ; Въ созвучность громкаго Пиндара Мою настроить лиру миилъ; Восиълъ побъду Измапла, Восиълъ... Но смерть тебя скосила!

Увы! и хоровъ сладинхъ звукъ Монхъ въ степанье превратился; Свалилась лира съ слабыхъ рукъ, И я тамъ въ слезы погрузияся, Гдъ бездна разноцвътныхъ звъздъ Чертогъ являли райскихъ мъстъ.

За этою риторикою онять следуеть поэзія:

Увы! и громы онёмёли, Ревущіе тебя вокругь; Полки твои осиротёли, Нанолинли рыданьемь слухь; И все, что близь тебя блистало, Уныло и печально стало.

Потукъ лавровый теой вёнокъ, Гранена булава упала, Мечъ въ полножны войтн чуть могь,— Екатерина возрыдала! Полевита потряслось за ней Незапной смертію твоей!

Теперь опять голая риторика:

Оливы свяжи и зелены Принесъ и бросилъ Миръ изт рукъ. Родства и дружбы вопли, стоны, И Музъ ахейскихъ жалкій звукъ Вокругъ Перикла раздается: Мароиз по Меценать ръгтея;

Который почестей въ дучахъ, Какъ пъкій парь, какъ бы на тропт, Па сребророзовыхъ коняхъ, Па златозарномъ фаэтопъ, Во соимъ всадинковъ блисталъ, П съ смертиый, черпый одръ упалъ!

За риторикою онять слідують проблески поэзін:

Гдв слава? гдв великолвнье? Гдв ты, о сильный человвиъ? Манусанда долголвтье Лишь было-бъ сонъ, лишь твнь нашъ ввкъ; Вся наша жизнь не что иное, Какъ лишь мечтаніе пустое.

Иль нѣтъ! тяжелый нѣкій шаръ, На нѣкномъ волоскѣ внеящій, Въ который бурь, громовъ ударъ Н молнін небесъ ярящи Отвеюду безпрестанно бьютъ П, ахъ! зеепры легки рвутъ.

\ вотъ и чистая поэзія:

Единый часъ, одно мгновенье Удобны царства поразить, Одно стихіевъ дуповенье Гигантовъ въ прахъ преобразить; Ихъ ищуть мъста—и не знаютъ: Въ иыли героевъ попираютъ!

Героевъ? Ивтъ! но ихъ дёла Изъ мрака и въковъ блистають: Нетлънна память, похвала И изъ развалниъ вылетають; Какъ холмы, гробы ихъ цвтутъ: Напишется Потемкинъ трудъ.

Теперь онять риторика:

Театръ его былъ край Эвксина, Сердца обязанныя—храмъ; Рука съ въпдомъ—Екатерипа; Гремяща слава—опміамъ; йизнь—жертвенникъ торжествъ и крови, Гробинца—ужаса, любови.

Слёдующія затёмъ пять строфъ, изображающія страхъ турковъ при мысли объ Изманлё и радость "россіянъ" при взглядё на русскій флотъ въ Черномъ морё,—преисполнены риторики и въ мысли, и въ исполненіи. Остальныя девять строфъ исполнены поэзіи, особливо эти двё:

Поутру солнечнымъ лучомъ Какъ монументъ златый зажжется, Лежатъ объяты серны сномъ, И паръ вокругъ холмовъ віется. Пришедши, старецъ надпись зритъ: "Здъсь трупъ Потемкина сокрытъ!"

Алцибіадовъ прахъ!—И смѣетъ Червь ползать вкругъ его главы? Взять шлемъ Ахилловъ не робѣеть, Нашедши въ полѣ, Өнрсъ?—Увы! И плоть, и трудъ коль нетлѣваетъ: Что-жъ нашу славу составляетъ?...

Мы разобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина, и это даеть намъ право не дълать дальнъйшихъ разборовъ такого рода, ибо они загромоздили бы статью выписками. Итакъ,

повторяемъ, что невыдержанность въ цѣломъ н частностяхъ, преобладаніе дидактики, сбивающейся на резонерство, отсутствіе художественности въ отдѣлкѣ, смѣсь риторики съ ноэзією, проблески геніальности съ непостижимыми странностями—вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросять насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не поэтъ; та ли, что его талантъ быль незначителенъ, или что у него вовсе не было таланта? Ни то, ни другое, ни третье... Отвътъ на этотъ вопросъ уже сдъланъ нами въ началъ статьи: что было тамъ высказано нами въ общихъ черталъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзіи Державина, какъ къ факту. Державинъ былъ человъкъ, одаренный великими творческими силами, —и онъ сдълалъ все, что можно было ему сдълать въ то время. Не его вина, что поэзія не падаетъ готовая прямо съ неба, а вырастаетъ на землъ, переходя черезъ всъ степени

развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странь имьеть свою исторію, поэтому не удивительно, что и въ Россіи она имела свою исторію. Отецъ русской поэзін, патріархъ русскихъ поэтовъ, былъ не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовъ. Поэзія русская не была туземнымъ свътомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа: но. подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвъщению, опа была прививнымъ или-еще върнъе сказать-пересаженнымъ растеніемъ. И воть здісь-то заключается живая связь Петра Великаго съ Ломоносовымъ, какъ причины съ следствіемъ. Наши критики обыкновенно упускають изъ виду это обстоятельство: они обвиняють русскую литературу въ подражательности, въ отсутствій оригинальности, и въ то же время признають Пушкина, Грибовдова и другихъ новвишихъ писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что если-бъ наша поэзія до Пушкина не была подражательною, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною... Да, подражательность первыхъ нашихъ поэтовъ искупида оригинальность послёдующихъ. И это обстоятельство даеть особенный характеръ нашей поэзіи и ея историческому развитію. Исторія нашей поэзін до Пушкина вся заключается—въ усилін изъ риторики сделаться поэзіею, изъ книжной и школьной стать естественною, изъ подражательной-оригинальною. Ломоносовъ сообщиль русской поэзін характеръ чисто-риторическій, чисто-школьный и книжный, — и велико дело его, свять его подвигь! Намъ нужна была поэзія, во что бы то ни стало, — п Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзію, кромѣ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому генію, дать было невозможно. О Ломоносов'в вообще утвердилось мивніе, что онъ быль ученый и нисколько не поэть: этого мижнія пельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но воть вопросы: какъ и въ чемъ бы высказалась

его поэтическая натура? Откуда бы почеринулъ онъ сознательную идею о существованіи поэзіп и о своемъ поэтическомъ призваніи?—Изъ общества? Но тогдашнее общество не имъло никакого понятія о поэзін и еще менже потребности въ ней, и если оно смотрѣло на стихи Ломоносова, не какъ на пустое балагурство, а на него самого, не какъ на шута, такъ причиною этому быль не талантъ Ломоносова, а покровительство Шувалова, вниманіе императрицы... Следовательно, для сознательной иден поэзін Ломоносову быль одинь путь-книга, ученіе, наука, знакомство съ Европою. Такъ оно и было. Теперь вопросъ: могъ ли Ломоносовъ не подчиниться вліянію своихъ німецкихъ учителей, и образцы тогдашней немецкой поэзіи могли ли дать поэтической деятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое они дали ей? Скажуть: истинный геній не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ духомъ. Да, это правда, но только тогда, когда уже выработаны матеріалы, нэъ которыхъ геній можеть творить; иначе въ историческомъ процессъ не бываетъ. И вотъ почему иногда пришествіе одного генія пріуготовляется столькими другими, изъ которыхъ иные, можетъ быть, потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на инзшія предварительныя работы. Петръ Великій, въ одно и то же время работавшій и умомъ, и топоромъ, представляетъ собою, въ этомъ отношенін, дивное исключеніе изъ общаго правила. Итакъ, что же оставалось дёлать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теоріи, тогда какъ въ поэзін другихъ народовъ практика родила теорію, факть возбудилъ потребность сознанія. И вотъ Ломоносовъ думаетъ о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумфется, смотрить на этотъ предметь, какъ смотрели на него немцы того времени. Потомъ ему нужно было подумать о языкъ, о версификаціи, ибо до него не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силлабическимъ размъромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяковскаго туть нечего брать въ расчеть). Что же было ему пѣть? Любовь?— но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пъсенъ, а о другой оно и не заботилось. Нать, Ломоносовь паль то, что было ближе къ дёлу, что заключалось въ самой дёйствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертію Петра Великаго и осв'ятило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины Великой; послъ ужасовъ бироновской тиранін царствованіе Елизаветы по справедливости казалось эпохою столь же счастливою, сколько и славною, — и Ломоносовъ пълъ "блаженство дней своихъ", пълъ "любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествъ". Больше нечего было бы пъть въ то время и самому Шекспиру. Говорять, стихи его обличають оратора, а не поэта: да иначе и быть не могло, даже и въ такомъ случав, если бы Ломоносовъ быль столько же поэтическая натура, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не писалъ такихъ хорошихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, болѣе, чѣмъ Ломоносовъ, преданнаго поэзіп и явившагося посл'є него, такъ далеко хуже ломоносовскихъ стиховъ? Отчего стихи Державина сделали, после стиховъ Ломоносова, такой малый шагъ впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ его стихотвореніяхъ, тогда какъ въ большей части не лучшихъ они хуже, чемъ стихи Ломоносова въ одъ "Къ Іову", въ "Утреннемъ" и "Вечернемъ размышлении о величествъ Божіемъ", которые отличаются чистотою языка, обличающею въ творцъ ихъ человъка ученаго? Конечно, "Мокрый Амуръ" Ломоносова далеко не пойдеть въ сравнение съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но, по своему времени, это-удивительное стихотвореніе. Итакъ, вопросъ о поэтическомъ призваніи и талант'в Ломоносова пока все еще только-вопросъ, и едва ли есть возможность ръшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собою ничего не делаеть ни великаго, ни малаго, но, оглядъвшись вокругъ себя, всякій начинаеть или продолжать, или отрицать сделанное прежде его: это законъ историческаго развития. Чувствуя наклонность къ поэзін, имя которой было ужъ печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругъ людей общества того времени, Державинъ, естественно, не могъ не остановить своего вниманія на Ломопосовъ и не подчиниться его вліянію. И Державина за это такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечетъ языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его слухъ, а не языкомъ, которато онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся генію Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дълаетъ большую честь, что онъ ръшился подражать только одному Ломоносову. Еще большую честь делаетъ Державину то, что, съ 1779 года, онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте, однако-жъ, чтобъ онъ на это решился по сознанію недостатковъ поэзін Ломоносова или по убъжденію, что подражаніе ни къ чему не ведетъ, а надо всякому быть самимъ собою: нѣтъ! для такого сознанія и такого уб'яжденія еще не наставало время, и Державнну не откуда было взять нхъ. Воть что говорить онъ самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года: "Вста сихъ произведеній своихъ авторъ самъ не одобрялъ, потому что хотель подражать Ломоносову, но чувствоваль, что таланть его не быль внушаемь одинаковымъ геніемъ: онъ хотъть парить, но не могъ постоянно выдерживать, красивымь наборомъ словъ, свойственнаго единственно россійскому Ипидару велельнія и пышности; а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенно особый путь, будучи предводимымъ наставленіями Баттё и сов'єтами друзей своихъ: Николая Александровича Львова, Василья

Васпльевича Капинста и Ивана Ивановича Хемницера". Не думайте также, чтобы "совершенно особый путь" означаль полную независимость отъ Ломоносова и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время быль бы скачкомъ, а въ исторіи неть скачковь. Державинь действительно пошелъ своимъ путемъ, но не выходя изъподъ вліянія ломоносовской поэзін; въ поэзін Державина явились впервые яркія вснышки истинной поэзін, мъстами даже проблески художественности, какая-то, ему одному свойственная, оригинальность во взглядъ на предметы и въ манеръ выражаться, черты народности, столь неожиданныя и темъ болже поразительныя въ то время, -- и вмысты съ тьмъ поэзія Державина удержала дидактическій и риторическій характерь въ своей общиости, который быль сообщень ей поэзіею Ломоносова. Въ этомъ виденъ естественный историческій ходъ.

Кстати о дидактикъ. Она была явленіемъ неизотжнымъ и необходимымъ. Занятіе поэзіею должно было чёмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бумагомаратель, назвавшись поэтомъ, найдетъ кружокъ, который будеть смотръть на него съ нъкоторымъ уважениемъ за то, что онъ-не простой человъкъ, а "поэтъ". Но это мистическое уважение къ слову "поэтъ" не вдругъ же явилось въ русскомъ обществъ: оно развилось въ немъ временемъ и, конечно, составляеть его прогрессь, въ сравнени съ предшествовавшими эпохами. Во время Ломоносова слова "поэзія" и "поэтъ", или, по-тогдашнему "пінтъ", звучали довольно дико и были, къ тому же, нъсколько опошлены характерами двухъ первыхъ русскихъ "пінтовъ" — Тредьяковскаго и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило вниманіе, то не иначе, какъ вследствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшею властью. "Дають чины, подарки за стихи, -- стало быть, стихи чтонибудь да значать же": такъ думало само съ собою тогдашнее общество. Но надобно же было ему представить пользу отъ поэзіи, чтобъ оно не считало поэзію за одно съ шутовствомъ. Да что общество!--сами поэты того времени не умѣли объяснить себъ свою страсть къ поэзіп иначе, какъ ея высокимъ призваніемъ-быть полезною для нравовъ общества. И, если хотите, они были правы: поэзія действительно есть провозвестница великихъ истинъ, въ историческомъ движеніи человъчества развивающихся; но прежде всего она — поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно смішнвать съ философіею, хотя у нихъ объихъ одно и то же содержаніе. Но наши первые поэты стараго времени поняли поззію, какъ пріятное нравоученіе,н Мерзияковъ, теоретикъ этой поэзіи, такъ выразилъ ея сущность и цёль, въ стихахъ, заимствованныхъ имъ у Тасса:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цъленье; Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Выражаясь прозою, это значить, что поэзія

есть позолота на горькой пилюль нравоучения... Митие ограниченное и жалкое, но подъ его эгидою начинается всякая поэзія, возинкшая не непосредственно изъ народной жизни, а явившаяся, какъ нововведение, какъ какое-то общественное учрежденіе... И за то спаснбо ему: оно, это мивніе, поддержало у насъ и дало укрыпиться зародышу поэзін Ломоносова и Державина. Послъ этого понятно дидактическое и риторическое направленіе поэзін Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дъйствіяхъ великихъ людей бываетъ два рода недостатковъ и ошибокъ: одни происходятъ отъ ихъ личнаго произвола, или личной ограниченности; другіе — изъ духа и потребностей самаго времени. За недостатки и ошноки перваго рода можно и должно обвинять великихъ дъйствователей; недостатки и ошибки второго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е. недостатками же и ошибками, по ставить ихъ въ вину великимъ дъйствователямъ не можно и не должно.

Итакъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не былъ поэтомъ-художникомъ; его иоэзія—лепетъ младенческій, исполненный жизни и прелести, но не рѣчь разумпая мужа. И откуда же взялъ бы онъ художественность образовъ, пластическую отдѣлку формы, если въ его время о такихъ хитростяхъ не было понятія, а слѣдовательно не было въ нихъ и потребности? И потомъ—можно ли винить его за риторику и дидактику, входящія, какъ элементъ, во всѣ, даже лучшія, его созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющія первую роль?

Конечно, за это никто и не обвинить его: но, съ другой стороны, есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступленіи, какъ въ дерзкомъ неуваженін къ священнымъ предметамъ, людей, которые называють вещи собственными ихъ именами и не хотять видьть въ нихъ больше того, что есть въ нихъ на самомъ деле? Можно насчитать болже полусотии стихотвореній Цержавина, въ которыхъ нѣтъ ни искры поэзіи и въ которыхъ злоупотребление "піптической вольности" съ языкомъ доведено до крайней степени: неужели грахъ и преступление сказать объ этомъ прямо? неужели критика должна состоять изъ одифхъ лицемфриыхъ фразъ и натянутаго восторга, выражаемаго общими мъстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нетъ, тысячу разъ нетъ,темъ более нетъ, что подобная искренность нисколько не можеть повредить славъ Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унизить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могуть быть у всякаго великаго ноэта, и если у Державина ихъ больше, чёмъ у другихъ, — это вина времени (если только время можеть быть въ чемъ-нибудь виновато), а не поэта. Жуковскійтоже поэть необыкновенный; онь явился уже послѣ Державина, когда самый языкъ сдѣлалъ большіе успъхи черезъ Карамзина и Дмитріева; Жуковскій самъ подвинуль языкъ впередъ и много

сдёлаль для стиха и для поозін; но и у Жуковскаго есть длинныя посланія, которыхь достоинство заключается совсёмъ не въ поозін, а развё въ звучности стиха и краснорічін, и которыя, въ сущности, немногимь важите риторическихъ и дидактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемыхъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковскаго виденъ историческій ходъ развитія нашей поозін: у Пушкина уже ивть подобныхъ произведеній, но нотому именно и ивть, что они уже были у Жуковскаго, и что уже пришло время кончиться имъ.

Итакъ, некого обвинять и нечего жалтть, что Державинъ не былъ поэтомъ-художникомъ; лучше поднвиться темъ светозарнымъ проблескамъ поэзін и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ дидактическая, по преобладающему элементу своему, поэзія этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художническая, но время и обстоятельства положили непреодолимыя преграды ел развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нътъ поэзін, какъ искусства, —есть только элементы и проблески истинной поэзін. Это уже не чистоподражательная поэзія, какъ у Ломоносова: въ нен уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемѣшанныя съ какою-то искаженною, на французскій манеръ, греческою минологією. Возьмемъ для приміра прекрасную оду "Осень во время осады Очакова": какая странная картина чисто-русской природы съ Богъвъдаетъ какой шинодою, — очаровательной поэзін съ непонятною риторикою.

Спустиль свдой Эоль Борея Съ цвпей чугунныхъ изъ пещеръ; Ужасны крылья распиряя, Махнуль по сввту богатырь; Погналь стадами воздухъ сипій, Сгустиль туманы въ облака, Давиуль—и облака разсвлись,—Спустился дождь и восшумъль.

Къ чему тутъ Эолъ, къ чему Ворей, пещеры и чугунныя пфии? Не спрашпвайте; къ чему нужны были пудра, мушки и фижмы? Во время оно безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ нейдетъ русское слово "богатырь" къ этому нѣмцу "Ворею"!.. Можно ли гонять стадами синій воздухъ? И что за картина: Ворей, сгустивъ туманы въ облака, давнулъ ихъ; облака разеѣлись, и оттого спустился дождь и востумѣть?.. Вѣдь это — слова, слова, слова!.. Но далъе:

Уже румяна осень носить Снопы златые на гумно,

Какіе прекрасные два стиха! По нимъ, вы думаете, что вы въ Россіи...

И роскошь винограду просить Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносять васъ—Вогъ въсть!

Уже стада толпятся птичьи, Ковыль сребрится по степямь; Пумящи красножелты листья Разстались всюду по тропамъ. Въ опушкъ заяць быстроногій, Какъ колпикъ, посёдёвъ, лежитъ; Ловецки раздаются роги, И выжлять лай и гуль гремитъ; Запасшися крестьящить хлёбомъ Встъ добры щи и пиво пьетъ, Обогащенный добрымъ небомъ...

Тутъ вы ожидаете, что опъ благословляеть, въ простотъ сердца, имя Божіе за дары его: ничуть не бывало: онъ—

Блаженство дней своихъ поеть!

Не на лирѣ ли?..

Ворей на осень хмурить брови И зиму съ Сѣвера зоветь: Идеть сѣдая чародѣйка, Косматымъ машетъ рукавомъ И сиѣгъ, и мразъ, и иней сыплеть, И воды претворяеть въ льды; Отъ хладнаго ея дыханья Природы взоръ оцѣпенѣлъ. На мѣсто радугъ испещренныхъ Виситъ на небъ мгла вокругъ, А на коврахъ полей зеленыхъ Лежитъ разсыпанъ бѣлый пухъ: Пустыни сѣтуютъ и долы, Голодны волки воютъ въ нихъ; Древа стоятъ и холмы голы, И не насется стадъ при нихъ. Ушелъ олень на тундры мшисты, И въ логовище легъ медвѣдь;

И встедъ за этими чудными стихами—

По селамъ нимфы голоснсты Престали въ хороводахъ пъть; Небесный Марсъ оставилъ громы И легъ въ туманы отдохнуть...

Какой "небесный Марсъ", и въ какіе "туманы" легь онъ на отдыхъ? Что за "нимфы голосисты" — ужъ не крестьянки ли?..—Но называть нашихъ крестьянокъ нимфами все равно, что назвать Меланіей Маланью...

Что въ Державинъ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего лучше доказывають его такъ называемыя "анакреонтическія" стихотворенія. И между ними нѣтъ ни одного, вполнъ выдержаннаго; но какое созерцаніе, какіе стихи! Вотъ, напримъръ, "Побъда Красоты":

Какъ храмъ Ареонагъ Палладъ, Нептуна презря, посвятиль, Притекъ къ аоннской левъ оградъ И ревомъ городу грозилъ. Она копья непобъдима Ко ополченью не взяла, Противу льва неукротима Съ Олимпа Гебу призвала. Пошла,-п подъ оливой стала, Блистая легкою броней: Младую нимфу обнимала, Сидящую въ тъпи вътвей. Левъ шелъ,-и подъ его стопою Приморскій влажный брегь дрожаль; Но, встрътясь вдругь со красотою, Какъ солицемъ пораженный, сталъ. Вздыхаль и паль къногамъ левъ сильный, Прелестну руку лобызаль

И чувства кроткія, умильны
Въ сверкающихъ очахъ являль.
Стыдлива діва улыбалась,
На молодого льва смотря,
Кудрявой гривой забавлялась
Сего звітринаго царя.
Минерва мудрая нознала
Его родящуюся страсть,
Цвіточной цілью привязала
И отдала любви во власть.
Не разъ потомъ уже случалось,
Что умъ смиряль и ярость львовъ,
Красою мужество сражалось,
А нобіждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинъ живое сочувствіе къ древнему міру, какъ свидътельство глубоко-художественнаго элемента въ натуръ поэта. Но піеса "Рожденіе Красоты" еще болъе обнаруживаеть это артистическое сочувствіе поэта къ художественному міру древней Греціп, хотя эта піеса и еще менъе выдержана, чъмъ первая. Доказательствомъ же того, какими превосходными стихами могъ писать Державинъ, служитъ его стихотвореніе "Русскія Дъвушки":

Зрълъ ли ты, пъвецъ тисскій, Какъ въ лугу, весной, бычка Иляшуть дъвушки россійски Подъ свирълью пастушка? Какъ, склонясь главами, ходять, Вашмачками въ ладъ стучатъ, Тихо руки, взоръ поводять И плечами говорять? Какъ ихъ лентами златыми 'lела бълыя блестять, Подъ жемчугами драгими Груди нѣжныя дышатъ? Какъ сквозь жилки голубыя Льется розовая кровь, Ha ланитахъ огневыя Ямин връзала любовь! Какъ ихъ брови соболины, Полный некръ соколій взглядъ, Ихъ усмъшка—души львины Ты-бъ гречанокъ позабыль, И на крыльяхъ сладострастныхъ Твой Эротъ прикованъ былъ.

Оставимъ въ сторонъ достолюбезную наивность мысли — заставить Анакреона удивляться россійскимъ д'ввушкамъ, иляшущимъ весною на лугу "бычка", и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады; оставимь также въ сторонъ книжное и не идущее къ дълу слово "главами", ошноку противъ языка, который велить поводить руками и взорами и не позволяетъ "поводить руки и взоры", —оставимъ все это въ сторонѣ, какъ погрѣшности, неизбѣжныя по духу времени, и спросимъ: можно ли не согласиться, что стихи этой піесы, какъ стихи,— прекрасны? Стало быть, Державниъ могъ всегда писать прекрасными стихами? -- Конечло, могъ, нбо онъ по натур' своей быль великій поэть. Отчего же онъ такъ редко писалъ хорошими стихами?-Оттого, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни потребности въ нихъ; оттого, что въ его

время о поэзін всего менье думали, какъ о красотв, не подозрѣвая, что поэзія и красота одно и то же. Поэтому Державинъ всего менте заботился о стихв, а такъ какъ онъ началь инсать очень поздно, то и не могъ овладеть ни языкомъ, ни стихомъ, обладание которыми и величайшимъ поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Оттого же Державину такъ трудно было поправлять свои піесы, и всё его ноправки были большею частію пеудачны. Что касается до неточности въ выраженін, -- отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насилованіе языку, т. е. произвольныя усѣченія, ударенія, часто искаженіе слова, должно принисать тому, что Державинъ въ молодости не имълъ возможности пріобрасти по части языка ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разобрали мы піссь Державина, --- все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтомъ-художникомъ онъ все-таки не быль; и цёлый кругь его поэтической дёнтельности представляеть собою только порываніе къ поэзін и достиженіе ея лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя ноэтическія его произведенія, какъ, напримъръ, "Фелица", могутъ намъ нравиться не иначе, какъ только подъ условіемъ нзученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіп. Читая ихъ, мы должны оторваться оть своего времени и своихъ понятій, и силою размышленія, такъ сказать, заставить себя видёть поэзію и таланть въ томъ, что въ современномъ намъ писателъ назвали бы мы прозою и бездарностію. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, разсматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзін, — некрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть, на очарование глазъ и умиление сердца, роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: таланть Державина великъ; но онъ не могъ сдълать больше того, что нозволили ему его отношенія къ историческому положенію общества въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, что онъ сделаль: зачемь же приписывать ему больше того, что могъ онъ сдёлать? Державинъ-великій поэть русскій, — и этого довольно; нёть никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Горацій дійствовали на почвѣ всемірно-исторической жизни и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ н Анакреонъ — пъвцы народа эллинскаго, народахудожника...

Во второй стать вы разсмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэт было бы односторонне и неполно.

II.

Такъ какъ искусство, со стороны своего содержанія, есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имбеть на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношенін, какъ масло къ огню, который оно поддерживаетъ въ лампъ, или, еще болъе, какъ почва къ растеніямъ, которымъ она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почва неблагопріятна для растительности; бѣдная содержаніемь историческая жизнь неблагопріятна для искусства. Содержание исторической жизни составляютъ иден, а не один факты. Вст великіе народы, въ исторін которыхъ міродержавный промысль осуществиль судьбы челов вчества, жили и живутъ идеею, и умирають, какъ скоро ихъ историческая идея изжита ими внолить. Но такіе народы умирають только эмпирически, идеально же ихъ существование безсмертно. Доказательство этому—древній міръ. Досел'в вновь прорытая улица Помиен, вновь открытый домь въ ней, съ его утварью и мельчайшими признаками быта жителей,---для насъ, гражданъ новаго міра, составляють важное событіе, возбуждая вниманіе всёхь образованныхъ людей во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. Л какое было бы торжество для образованных міра, если бы нашлись утраченныя части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эвринида, Плутарха, Тита Ливія, Тацита и другихъ?.. Многіе негодують на то, что наши дѣти прежде именъ отечественныхъ героевъ узнають имена Солоновъ, Ликурговъ, Өемистокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Александровъ и Цезарей: негодование несправедливос и неосновательное!--- въ деспотизмѣ такого умственнаго, идеальнаго владычества древняго міра нѣтъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго; это власть законная, почесть заслуженная! Идея древне-эллинской жизни была такъ глубока и многосторония, что нёть никакой возможности даже намекнуть на нее въ нъсколькихъ словахъ, --особенно, если говоришь о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дёло — ндея исторической жизни римлянъ: она сколько глубока, столько же и одностороння, и по тому самому даеть возможность сколько-нибудь удовлетворительнаго на нее намека. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная идея, ея альфа и омега, ея первое и последнее слово, —это — право (jus). Что было одною изъ многихъ сторонъ исторической жизни Грецін, — то было единою, исключительною и полною жизнію Рима, — и зато Римъ вполит развилъ, разработаль и изжиль этоть основной элементь своей жизни. Скажутъ: римляне велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кром'в римлянъ много было народовъ-завоевателей, а одни только римляне, умфя завоевывать, умёли и упрочивать свои завоеванія. Чёмъ же упрочивали они ихъ? -- своимъ правомъ, своею гражданственностію. Побъжденные народы принимали ихъ законы, обычан и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому непреложному и въчному закону историческаго развитія, по которому тьма

уступаеть мёсто свёту, невёжество — разуму. Право было источникомъ всёхъ событій, всёхъ волненій и переворотовъ въ исторической жизни римлянъ, и вся исторія ихъ-развитіе иден права въ хронологической последовательности фактовъ; оно, это право, было вѣчнымъ движителемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни римлянъ; изъ него и для него длилась эта упорная борьба патриціевъ и илебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи: пріобщенія къ нему добивались побъжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и внѣшней войны почти всегда имѣль въ Римѣ своимъ результатомъ-успъхъ права. Скажуть: несмотря на то, что въ основъ исторической жизни римлянъ лежала идея, — ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась, можеть быть, въ односторонности и исключительности ихъ иден, равно какъ и въ томъ, что римляне были по преимуществу народъ практическій, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наследіе умершей Грецін, на закать нхъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательною почвою для цвътовъ поэзін. Оттого латинская поэзія и носить на себъ отнечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости: отнущенникъ Мецената, Горацій, добровольно остался рабомъ и холономъ своего милостивца и создаль меценатскую поэзію, восиввая миръ и тишину Рима, купленные цвною упадка доблести и добродътели. Впрочемъ, и кромъ Виргилія, этого поддёльнаго Гомера римскаго, римляне имъли своего истиннаго и оригинальнаго Гомера въ лиц'в Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма и по содержанію, и по духу, н по самой риторической форми своей. Но высшею поэзіею римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ дёль, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаеть и укрупляеть всякую благородную душу въ святомъ чувствъ патріотическаго геропзма, а Юстиніановъ кодексь—зредый плодъ исторической жизни римлянъ-освободилъ Европу оть оковъ феодального права. Сначала принятый ею, какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и, въ свою очередь, принялъ въ себя христіанскіе элементы и теперь продолжаеть развитіе своего безсмертнаго существованія: въ немъ-то и черезъ него-то доселѣ живетъ древній Римъ въ новомъ мірѣ.

Изъ народовъ новаго человъчества испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная и фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхожденію, но родственнымъ ей (по нылкости чувства и воображенія) илеменемъ аравитянъ, и сдълалась представительницею рыцарственности среднихъ въковъ, съ еп восторженными понятіями о чести, о достопиствъ привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушіи, съ ея фанатическою и суевърною религіозностью. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ па испанскомъ языкъ, отсюда же объясняется и по-

явленіе Сервантесова "Донъ-Кихота": нбо всякая крайность тамъ же, гдѣ возникла, п вызываеть противъ себя реакцію.

Италія была второю страною новой Европы, гдв загорелся светь просвещения. Италию можно назвать, не боясь слишкомъ ошибиться, христіанскою реставрацією наящиаго міра древняго. И потому, какъ Иснанія представляла собою чудесное зредище фантастического сліянія аравійского духа съ европейскимъ христіанствомъ, такъ Италія представляла не менње чудное зрълище фантастическаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствомъ, котораго "вѣчный городъ" ся быль главою и представителемъ. Возникшая на классической почвъ, среди развалинъ и памятниковъ древняго искусства, тевтонская Италія возродилась въ чувствъ красоты и изящества. Отъ этого идея некусства сделалась источникомъ жизни итальянца, н каждый итальянецъ сталъ или художникомъ, или дилетантомъ. Итальянское искусство осталось върно своему классическому небу, своей классической природъ, и въ новыхъ формахъ отразило древнюю жизнь, съ ея изящною негою, съ ея обаятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилось съ преданіями классической древности: Виргилій чуть-чуть не считался святымъ, и въ "Божественной Комедін" онъ провожаетъ великаго творца ея по мрачнымъ областямъ ада п чистилища. Чувственный п соблазнительный пъвецъ рыцарскихъ и любовныхъ похожденій, Аріостъ, больше Тасса быль нтальянскимь Гомеромь. У самого Тасса героемъ поэмы скоръе можно назвать Армиду, чёмъ Годфреда: обольстительный образъ нервой есть болже искреннее и задушевное, а слъдовательно и живое созданіе поэта, чёмь суровый образъ второго. Критики новъйшаго времени изъявили большія сомнінія насчеть "пдеальности" мадониъ, созданныхъ кистью великихъ художниковъ Италін; сверхъ того, онн видять въ этихъ мадоннахъ болье дань понятимъ времени, чъмъ свободное творчество, которому были посвящены другія творенія, болже искреннія и задушевныя, и потому болже близкія къ типу обаятельной и совершенно земной красоты.

Въ наше время три націп являются по преимуществу представителями человъчества — Германія, Франція и Англія. Въ идеализмѣ заключается источникъ раціональной жизни Германіи. Міръ идей составляеть сферу, которою, такъ сказать, дышить немецъ. Цель жизни немца—знаніе, и знаніе его заключено въ иден; постичь идею предмета для него — значить овладъть предметомъ. И потому только въ знанін и соприкасается нёмець съ міромъ и жизнію. Отсюда его нравственный аскетизмъ: понявъ идею предмета, онъ равнодушенъ къ тому, что этотъ предметь не сообразенъ съ своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ поэзін ивмцевъ: мірообъемлющая по идеямъ, воплощеннымъ въ ней, она призываетъ къ миру съ дъйствительностію, какова бы ни была эта действительность; она настранваетъ человека къ одинокой созерцательной жизни внутри самого себя, дёлаетъ его властельномъ въ сферѣ мысли и машиною въ сферѣ действительности. И оттого-то немецкая поэзія такъ любитъ избирать своимъ исключительнымъ предметомъ или внутренние процессы въ духъ человъка, или мистику сердца человъческаго. А отсюда объясняются великіе успёхи пёмцевъ въ лирической поэзін и музыкѣ и ихъ неуспѣхи въ другихъ родахъ поэзін. Но уже аскетическая поэзія ифицевъ исчерпала все свое содержаніе и совершила полный кругъ свой: теперь жаждетъ она иныхъ элементовъ, иныхъ мотивовъ. Какъ бы то ни было, но внутренній міръ души человікавеликій мірь, и намцы оказали человачеству великую услугу ученою и поэтическою разработкою этого міра. Конечно, великое достоинство аксетической поэзін нұмпевъ составляеть и великій недостатокъ ея, какъ всего односторонняго и исключительнаго; но все же сфера этой поэзіи—сфера всемірно-историческая, и въ ней не могли не явиться великіе, міровые поэты.

Совсьмъ иной характеръ имъютъ жизненная идея и нафосъ французской націн: это—вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравненію съ нимъ дѣйствительности. Искусство во Франціи всегда было выраженіемъ основной стихін ея національной жизни: въ вѣкѣ отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно было исполнено ироніи и сарказма; теперь оно одпо исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоконаціональнымъ, даже во времена исевдо-классицизма, натянутаго подражанія древнимъ,—и Корнель, Расинъ, Мольеръ столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь

Беранже и Жоржъ-Зандъ.

Англія составляєть прямую противоположность п Германін, и Францін. Сколько Германія идеальна, столько Англія практически положительна; какъ велики успѣхи нѣмцевъ въ философіи, такъ ничтожны попытки англичанъ въ абсолютной наукт; у англичанъ источникомъ вейхъ ихъ историческихъ событій бываеть польза общества. Человъкъ въ этомъ обществъ ничего не значить самъ по себъ, но получаетъ большее или меньшее значение отъ того, что онъ имфеть, или чфиъ онъ владъетъ. Покореніе силь природы на службу обществу, победа надъ матеріею, пространствомъ п временемъ, развитіе промышленности, какъ основной общественной стихін, какъ краеугольнаго камня зданія общества, воть въ чемь сила и величіе Англін и ея заслуги передъ человъчествомъ. Во многомъ похожая на древній Римъ, практическая Англія довершаеть свое сходство съ нимъ и огромными завоеваніями, причина которыхъ-корыстные расчеты, а результать-распространение цивилизацін по всему міру. Но въ отношеніи къ искусству Англія пичего общаго съ древнимъ Римомъ не имъетъ: тевтонское племя, двумя слоями, саксонскимъ и нормандскимъ, легіпее на почвъ ея историческаго формированія, и христіанство, какъ глубоко вошедшій въ жизнь ея элементь, заронили въ національный духъ англичанъ плодовитыя съмена поэзін. Но и въ поэзін Англія ръзко отли-

чается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странъ по превосходству общественной и практической, въ Англіп особенно развились драма и романъ, недоступные для намцевь; оть французской же поэзін англійская отличается и своею художественностію, и своимъ равнодушіемъ къ вфрио-изображаемой ею дъйствительности, безъ скорби о перазумности и безъ радости о разумности этой действительности, безъ порыванія подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противоръчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ся ноэзіи подъ какую-либо опредёленную точку зрёнія: такъ, напримъръ, объ руку съ ея равнодущіемъ къ добру н злу действительности идеть самый глубокій юморь, а въ Байронъ Англія имьла поэта, который, по нафосу своей поэзін, всего родственные Францін н всего враждебнъе своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо нмъли сильное вліяніе на Байрона; но правда и то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличають въ немъ сына Британіи. Вообще Байронъ такъ же есть намекъ на будущее Англін, какъ Шиллеръ—намекъ на будущее Германіи: оба эти поэта были резкими противоречіями національному духу своихъ странъ, и, въ то же время, каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своен странъ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась его Германія, которую сначала такъ дико озадачило его явленіе; Байронъ же и умеръ въ непримиримой вражде съ своей родиной, и великая нація, въ свою очередь, двинулась въ срътение только гробу его...

Если въ этомъ очеркъ національностей, игравжим или играющихъ первыя роли на позорищѣ всемірной исторіи, и въ очеркъ отношенія исторической идеи жизни народовъ къ поэзін-мы не выразили определительно нашей мысли (чего невозможно было сделать, говоря мимоходомъ о такомъ предметъ, котораго стало бы на огромное отдёльное сочиненіе), то, по крайней мёрё, сдёлали на него определительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуеть всегда, какъ сумма понятій и правиль общества; она даеть себя чувствовать даже въ самыхъ, повидимому, мелочныхъ обычаяхъ и нравахъ общества. Такъ, напримъръ, страсть французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ увеселеніямъ, ихъ природная въжливость и любезность, охота и умение вести легкий и беглый свътскій разговоръ, ихъ искусство нопуляризировать всякое знаніе, дёлать доступнымь черезт ясное изложение всякий предметь, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждъ и житейскихъ удобствахъ, -- все вытекаетъ изъ основной иден ихъ національно-исторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны въ обществъ; они легче сходятся другомъ съ другомъ въ парламентъ, въ трибуналь, на биржь, чымь въ салонь, и въ последнемъ они этикетны; ихъ пиры и обеды выражають не свътскую, а политически-гражданскую

общительность; они преданы семейной жизни, гдъ глава семейства является маленькимъ деспотомъ, и сдъ основные принципы отзываются маленькимъ варварствомъ феодальныхъ временъ; въ свётской же жизни англичане этикетны и скучны съ достопиствомъ. Въ общественныхъ правахъ ихъ царствують чопорность, pruderie, и самая ограниченная, самая мелкая стъснительная моральность. Что-то жосткое и грубое есть въ ихъ нравахъ, какъ необходимый результатъ въчнаго торгашества и вѣчной борьбы промышленнаго духа съ внѣшними препятствіями. Энергія національнаго духа англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своею всемірною торговлею н своими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выражалась въ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величіе ихъ поэзін; отсюда же происходять н ихъ великіе успѣхи въ драматической поэзін: сама исторія Англін есть рядъ трагедій, —и Шекспиру легко могла войти въ голову мысль писать трагическія хроники Англіп: матеріалы были у него подъ рукою, — стоило только оживить ихъ духомъ поэзіи. Нёмець не рождень ни для свётской, ни для политически-гражданской общительности: что для француза салонъ, маскарадъ, театръ, гулянье, бульваръ, что для англичанина парламентъ и опржа, — то для ивмиа университеть, ученый съездъ, учений комитетъ. Отсюда это удивительное множество университетовъ, существующихъ пѣлые въка: отсюда эта особенность университетскихъ нравовъ и обычаевъ, эта противоположность буршества съ филистерствомъ. До тридцати лѣтъ нѣмець бываеть буршемъ, и какъ скоро часовая стрълка станетъ на послъдней минутъ его тридцати лътъ, онъ тотчасъ же дълается филистеромъ. Многіе изъ нъмцевъ даже родятся филистерами и ни одной минуты въ своей жизни не бываютъ буршами, тогда какъ буршами они никогда не родятся, а только прикидываются ими на времяужь никакъ не долѣе тридцати лѣтъ. Йѣмецъ уживется, гдф угодно; ему вездф хорошо, вездф отечество; и при всемъ этомъ онъ вездѣ вѣренъ себь, вездь тоть же угловатый и странный ивмець. Это явленіе-- въ самой живой связи съ основною идеею національно-исторической жизни нёмцевъ: они въ знаніп признають то, чего еще нъть, но что должно быть по разуму, и отвергають то, что есть въ дъйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а живуть въ ладу и въ мирѣ со всякою действительностію: для ифица знать и жить двъ совершенно различныя вещи. Нъмецъ болъе семьянинъ, чъмъ кто-нибудь, и ничего не можеть быть возвышенные и сладостиве, а вмысты съ тёмъ и пошлѣе его семейнаго счастія: таково свойство всякой односторонности и исключительности!.. Сахаръ — хорошая вещь, но попробуйте сдълать объдъ изъ одного сахара или на одномъ сахаръ-будетъ и приторио, и нездорово. Ни на одномъ языкъ нътъ столь высокихъ пъсенъ любви, какъ на немецкомъ, и на немъ же больше, чемъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости

сердечных изліяній. И это относится не къ однимъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездарности: что можетъ быть приторнѣе и пошлѣе "Стеллы", "Брата и Сестры", "Германа и Доротен"?—а Гёте былъ великій геній!

Такимъ образомъ основная идея національнопсторическаго значенія народа, какъ воздухъ-основной элементъ всякаго существованія, пропикаетъ насквозь и внутреннюю, и вибшнюю жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убъжденій и принциповъ общества, и какъ образъ и форма жизни, — т. е. какъ правы и обычан народа. Великій поэтическій таланть, являющійся среди такого народа, такъ сказать, съ молокомъ своей матери всасываетъ въ себя готовое уже содержание для своей будущей поэзін, для своихъ будущихъ твореній, -- п свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ, выражаеть въ нихъ и достоинство, и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина, какъ на русскаго Пиндара, Горація и Анакреона виїсті, должно прежде різшить вопрості: были ли, въ его время, историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланга, готовое содержаніе для его поэзіп? Вотъ въ чемъ вопрост, а совсітмъ не въ томъ, что Державинъ быль потомовъ Багрима, сіверный бардъ, и что въ его поэзіи щедрою рукою разсыпаны алмазы, сапфиры,

изумруды и яхонты...

Какую идею предназначено выражать Россіи определить это темъ трудите и даже невозможнъе, что европейская исторія Россіи началась только съ Петра Великаго, и что поэтому Россія есть страна будущаго. Россія, въ лицъ образованныхъ людей своего общества, носить въ душт своей непобъдимое предчувствие великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлекаясь ни дётскими фантазіями, ни ложнымъ патріотизмомъ, можно сказать смѣло, что есть факты, превращающіе это предчувствіе въ убъжденіе. Всь великіе народы им'єли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ миническихъ лицахъ. Много имъла первыхъ древняя Греція, но не одинъ изъ нихъ не выразилъ собою такъ полно національнаго духа, какъ мноическое лицо божественнаго Ахилла, воспътаго царемъ греческихъ поэтовъ-Гомеромъ. Мы, русскіе, имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо-историческое лицо, ибо отъ дня его смерти протекло только 118 леть, но который есть миническое лидо со стороны необъятной великости духа, колоссальности дёлъ и невъроятности чудесъ, имъ произведенныхъ. Петръ быль полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и если бы между его натурою и натурою русскаго народа не было кровнаго родства-его преобразованія, какъ нидивидуальное дёло сильнаго средствами и волею человѣка, не имѣли бы успѣха. Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцомъ ея. Петръ выразилъ собою великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ

пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развнишейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни. Этою высокою способностію самоотрицанія обладають только великіе люди и великіе народы, и ею-то русское племя возвысилось надъ всеми славянскими илеменами; въ ней-то и заключается источникъ его настояшаго могущества и будущаго величія. До Петра русская исторія вся заключалась въ одномъ стремленін къ сочлененію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенію ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случав помогло и татарское иго, и грозное царствование Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненныя части Руси, было-преобладание московскаго великокняжескаго престола надъ удёлами, а потомъ уничтожение ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замінявшаго право. Но эпоха самозванцевъ показала, какъ еще не довольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствование Алексъя Михаиловича обнаружилась живая небходимость реформы и сближенія Руси съ Европою. Было сдёлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нужень быль и великій творческій геній, который и не замедлиль явиться въ лиць Петра. Со смертію его надолго закатилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины Второй едва поддерживались установленныя Петромъ формы, безъ дальнъйшаго развитія, движенія впередъ. Великая продолжила дело Великаго, п Русь быстро двинулась по пути преуспѣянія. Екатерина II заботилась не о поддержаніи уже устарѣвшихъ формъ эпохи Петра, а о ихъ развитии. Это была великая эпоха въ исторін Руси, хотя, въ то же время, эта эпоха почти столько же домашнее дело, въ отношении къ Руси, сколько и эпоха Петра: объ онъ были залогомъ будущаго всемірно-историческаго содержанія. Но для поэзін просто, безъ дальнъйшихъ европейскихъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: въ продолженіе ея могъ явиться, по крайней мъръ, зародышъ поэзіп,и онъ явился.

Скажуть: Россія, еще до Екатерины Великой, держала твердый голось на сеймъ европейскомъ, и ел политическое значение тяжело лежало на въсахъ европейской политики. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оспаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значенін, а о нравственномъ всемірно-историческомъ значенін, которое проявляется въ наукт, въ нскусствъ, въ современно-исторической идеъ самого нолитическаго стремленія. Намъ онять скажуть, что въ царствование Екатерины II Россія была уже образованною страною, и что духъ XVIII въка въ ней также отражался, какъ и въ Пруссін при Фридрихѣ II; что Россія не только читала въ подлинникъ тогдашнихъ знаменитыхъ писателей Франціи, но что эти знаменитые инсатели даже переводились на русскій языкъ. Это справедливо, только съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Въ царствование Екатерины II просвъщеніе и образованность были действительно евро-

пейскія, и болье или менье въ духь XVIII въка; но они сосредоточивались при дворъ, не выходя за его предёлы. Тогда только одинъ классъ общества быль причастень европейскому просвъщенію и образованности: это-высшее дворянство, имъвшее доступъ ко двору, или, лучше сказать, вельможество, не имъвшее въ этомъ отношенін ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ и притомъ самый меньшій по числу классъ общества еще не составляеть цёлаго общества, особенно, если онъ своимъ высокимъ положеніемъ разъединенъ съ другими классами. Въ царствованіе Александра Благословеннаго и среднее дворанство, значительное по числу, явилось просвъщеннъйшимъ и образованнъйшимъ сословіемъ сравнительно съ другими. Поэтому очень понятно, что въ то время всё замёчательнёйшіе писатели наши принадлежали исключительно этому сословію. Въ настоящее благополучное царствованіе просв'ященіе и образованность зам'тно распространились не только между среднимъ сословіемъ (разумізя нодъ этимъ словомъ такъ называемыхъ "разночинцевъ"), но и между низшими классами: по крайней мірь теперь не рідкость образованные, даже просвъщенные люди изъ купеческаго и мъщанскаго сословія, изъ которыхъ и которые даже пользуются болье или менье почетною извъстностію въ литературъ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобы теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго митнія. Но въ царствованіе Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической последовательности. Тогда дъйствительно переводили по-русски философскія сказки Вольтера и "Новую Элонзу" Руссо, но ихъ читали, какъ читали "Несчастнаго Никанора, Русскаго Дворянина", "Приключенія Мирамонда" Эмина, "Письмовникъ" Курганова и тому подобныя книги, добродушно не подозрѣвая никакой разницы между теми европейскими твореніями и этими самодъльными произведеніями домашней стряпни. И XVIII вѣкъ отразился только на одномъ вельможествъ, какъ мы выше замътили. Но какъ Державинъ, за свой талантъ, вошелъ въ знать, то и на немъ не могъ не отразиться, болье или менфе, XVIII въкъ. Можно сказать, что въ твореніяхъ Державина ярко отпечатлёлся русскій XVIII въкъ. Но прежде, нежели разсмотримъ мы, какъ и до какой степени отпечатлълся этотъ въкъ на Руси екатерининской эпохи, и какъ тотъ же въкъ отразился на поэзін Державина, скажемъ, что всѣ сочиненія Державина, вмѣстѣ взятыя, далеко не выражають въ такой полнотъ и такъ рельефно русскаго XVIII въка, какъ выраженъ онъ въ превосходномъ стихотворении Пушкина "Къ Вельможъ". Этотъ портреть вельможи стараго времени-дивная реставрація рунны въ первобытный видъ зданія. Это могъ сдёлать только Пушкинъ. Кромъ его художнической способности переноситься всюду и во все по волѣ фантазіи своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему въ перспективъ. Прошедшее всегда и видиже, и понятиже настоящаго. Отъ Державина, какъ современинка, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII вѣка, который много разнился отъ европейскаго XVIII вѣка. Эта разность вѣрно схвачена Пушкинымъ, въ строкахъ—

> . . И скромно ты внималь За чашей медленной аеею иль денсту, Какъ любопытный скиеъ аеннскому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравнѣ и съ этимъ скиоомъ: онъ относится къ этому скиоу, какъ тотъ скиоъ къ аонискому софисту. Лишенный всякаго образованія, не зная французскаго языка, Державинъ не былъ слишкомъ причастенъ ни правственной порчѣ, ни истинному прогрессу того времени, и въ сущности нисколько не понималъ его. Хваля добро того времени, онъ не прозрѣвалъ связи его со зломъ и, нападая на зло, не провидѣлъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ сторонъ отразился русскій XVIII вѣкъ въ поэзін Державина: это со стороны наслажденія и пировъ и со стороны трагическаго ужаса при мысли о смерти, которая махнетъ косою—и

Гдъ пиршествъ раздавались крики, Надгробные тамъ воють лики.

Державинъ любилъ восиввать "умвренность"; но его умвренность очень похожа на гораціанскую, къ которой всегда примышивалось фалериское... Вросимъ взглядъ на его прекрасную оду "Приглашеніе къ Объду":

Шексиниска стерлядь золотая, Кайманъ и борщъ уже стоятъ; Въ графинахъ вина, пуншъ, блистая, То льдомъ, то пекрами манять; Съ курпльницъ благовонья льются, Плоды среди корзинъ смъются, Не смъють слуги и дохнуть, Тебя стола вкругъ ожидая; Хозяйка статная, младая, Готова руку протянуть. Приди, мой благод втель давній, Творець чрезъ двадцать лътъ добра! Приди-и домъ хоть ненарядный, Безъ ръзьбы, злата и сребра, Мой посъти: его богатство-Пріятный только вкусъ, опрятство II твердый мой, нельстивый нравъ. Приди отъ дълъ попрохладиться, Повсть, попить, повеселиться, Безъ вредныхъ здравію приправъ!

Какъ все дышитъ въ этомъ стихотвореніи духомъ того времени—и ширъ для милостивца, и
умѣренный столъ, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотою шексинискою стерлядью,
съ винами, которыя "то льдомъ, то искрами манятъ", съ благовоніями, которыя льются съ курильницъ, съ плодами, которые смѣются въ корзинкахъ, и особенно — съ слугами, которые не
смѣютъ и дохнуть!.. Копечно, понятіе объ "умѣренности" есть относительное понятіе,—и въ этомъ
смыслѣ самъ Лукуллъ былъ умѣренный человѣкъ.
Нѣтъ, люди нашего времени искрениѣе: они любятъ и поѣсть, и понитъ, и за столомъ любятъ
поболтать не объ умѣренности, а о роскоши.

Впрочемъ, эта "умъренность" и для Державина существовала больше, какъ "пінтическое украшеніе для оды". Но вотъ, словно мимолетное облако печали, пробъгаетъ въ веселой одъ мысль о смерти:

И знаю я, что въкъ нашъ—тъць; Что, лишь младенчество проводимъ, Уже ко старости приходимъ, И смерть из нама смотрита чреза заборг.

Это мысль искренняя; но поэть въ ней же и находить способъ къ утѣшенію:

> Увы! то какъ не умудриться, Хоть разъ цвѣтами не увиться И не оставить мрачный взоръ?

Затемъ опять грустное чувство:

Слыхалъ, слыхалъ я тайну эту, Что вногда груститъ и царь: Ни ночь, ни день покоя нъту, Хотя ниъ вся покойна тварь, Хотя онъ громкой славой знатенъ. Но, ахъ! и тронъ всегда-ль пріятенъ Тому, кто въкъ свой въ хлопотахъ? Туть зрить обманъ, тамъ зритъ упадокъ: Какъ бъдный часовой тоть жалокъ, Который вично на часахъ!

Но не бойтесь: грустное чувство не овладѣетъ ходомъ оды, не окончить ся элегическимъ аккордомъ,—что такъ любитъ наше время: поэтъ опять находитъ поводъ къ радости въ томъ, что на милуту повергло его въ унылое раздумье:

Итакъ, доколь еще ненастье
Не помрачаетъ красныхъ дней,
И приголубливаетъ счастье,
И гладитъ насъ рукой своей;
Доколъ не пришли морозы,
Въ саду благоухаютъ розы,—
Мы посившимъ ихъ обонять.
Такъ! будемъ жизнью наслаждаться
И тъмъ, чъмъ можемъ, утъщаться,—
По платью ноги протягать.

Заключеніе оды совершенно неожиданно, и въ немъ видна характеристическая черта того времени, непремённо требовавшаго, чтобы сочиненіе оканчивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту пьесу стихомъ: "по платью ноги протягать"; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, иль кто другіе Изъ званыхъ, милыхъ мив гостей, Чертоги предпочтя златые И яства сахарны дарей, Ко мив не срядитесь откушать, Извольте вы мой толкъ прослушать: Блаженство не въ лучахъ порфиръ, Не въ вкусв яствъ, не въ ивгъ слуха. Но въ здравьи и въ спокойствъ духа. Умъренность есть лучшій пиръ.

Ту же мысль находимь мы во многихъ стихотвореніяхъ Державина; но съ особенною рѣзкостью высказалась она въ одѣ "Къ Первому Сосѣду", въ одномъ изълучшихъ произведеній Державина.

Кого роскошными пирами, На влажныхъ невскихъ островахъ, Между тъннстыми древами, На муравъ и на цеътахъ, Въ шатрахъ персидскихъ, златошвенныхъ, Изъ глипъ китайскихъ драгоцвиныхъ, Изь выскихь чистыхь хрусталей,-Кого столь славно угощаешь, И для кого ты расточаешь Сокровища казны твоей? Гремитъ музыка; слышны хоры Вкругъ лакомыхъ твонхъ столовъ; Сластей и ананасовъ горы, II множество другихъ плодовъ Прельщають чувства и питають; Младыя дёвы угощають, Подносять вина чередой-И аліатико съ шампанскимъ, И пиво русское съ британскимъ, И мозель съ зельтерской водой. Въ вертепъ мраморномъ, прохладномъ, Въ которомъ льется водоскатъ, На ложъ розъ благоуханиомъ, Средь нъгн, лъни и отрадъ, Любовью распаленный страстной, Съ младой, веселою, прекрасной И съ нъжной инмфой ты сидишь; Она поеть, —ты страстью таешь, То съ ней въ весельн утопаешь, То, утомленъ весельемъ, синшь.

Сколько въ этихъ стихахъ одущевленія и восторга, свидетельствующихъ о личномъ взгляде ноэта на инршественную жизнь такого рода! Въ этомъ виденъ духъ русскаго XVIII вѣка, когда великоленіе, роскошь, пиры, казалось, составляли цель и разгадку жизни. Со всеми своими благоразумными толками объ "умѣренности", Державинъ невольно, можетъ бытъ, часто безсознательно, вдохновляется восторгомъ при изображенін картинъ такой жизни,—и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задушевности, чемъ въ его философскихъ и правственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говоритъ душа и сердце; а во вторыхъ-резонерствующій холодный разсудокъ. И это очень естественно: поэть только тогда и искрененъ, а следовательно — только тогда и вдохновененъ, когда выражаетъ непосредственно присущія душ'є его уб'єжденія, корень которыхъ растеть въ ночвѣ исторической общественности его времени. По, какъ мы замътили прежде, пиршественная жизнь была только одною стороною того времени; на другой его сторонъ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же въкъ пировать, что перевороть колеса фортуны или безпощадная смерть положать же, рано или поздно, конецъ этой прекрасной жизии. И потому остальная половина этой прекрасной оды растворена грустнымъ чувствомъ, которое, однако же, не только не вредить внутрениему единству оды, но въ себъ-то именно и заключаетъ его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимымъ следствіемъ того весело-восторженнаго, праздинчиаго чувства, которое высказалось въ первой половинѣ оды.

Ты спишь—и сонъ тебѣ мечтаетъ, Что въ вѣкъ благополученъ ты; Что само небо разсыпаетъ Блаженства вкругъ тебя цвѣты;

Что парка дней твоихъ не косить; Что откупъ вновь тебъ приноситъ Сибирски горы серебра, И дождь златой къ тебъ ліется. Влаженъ, кто поутру проснется Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера! Блаженъ, кто можетъ веселиться Безперерывно въ жизни сей! Но ръдкому пловцу случится Безбъдно плавать средь морей: Тамъ бурны дышать непогоды, Горамъ подобно, гонятъ воды И съ пъною песокъ мутятъ. Петрополь сосны остняли, Но вихремъ пораженны пали: Теперь корнями вверхъ лежать. Непостоянство-доля смертныхъ; Въ премънахъ вкуса—счастье ихъ; Среди утёхъ своихъ несмётныхъ Желаемъ мы утёхъ пныхъ. Придуть, придуть часы тъ скучны, Когда твои ланиты тучны Престануть грацін трепать; И, можеть быть, съ тобой въ разлукть Твоя ужь Пенелопа въ скукть Коверъ не будетъ распускать; Не будеть, можеть быть, ледвять Судьба ужь болве тебя, И вътрь благопріятный въять Въ твой парусъ: береги себя!

Въ заключительныхъ стихахъ оды Доржавинъ особенно въремъ духу своего времени:

Доколь текуть часы златые И не приспълн скорби злыя,—
Пей, тиць и веселись, состодя!
На свтять эксипь намя время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянія за конмъ нёть.

Чувство наслажденія жизнію принимало иногда у Державина характерт необыкновенно пріятный и граціозный,—какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи—"Гостю", дышащемъ, кромѣ того, болрекимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость,—здёсь, на пуховомы Диванё мягкомы, отдохии; Въ семъ тонкомы пологу перловомы И въ зеркалахъ вокругъ усни: Вздремни послё стола немножко; Пріятно часикъ похрапёть; Златой кузнечикъ, сёра мошка Сюда не могуть залетёть. Случится, что изъ сновъ прелестныхъ Приспится здёсь тебъ какой: Хоть кладъ изъ облаковь небесныхъ Златой посыплется рѣкой, Хоть дѣвушки моп домашни Рукой тебѣ махиутъ,—я радъ: Любовныя пріятим шашни, И поцѣдуй въ сей жизни—кладъ.

Итакъ, вотъ созерцаніе, составляющее основной элементъ поэзін Державина; вотъ гдѣ и вотъ въ чемъ отразился на русскомъ обществѣ XVIII вѣкъ; и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII вѣка. И ни въ одномъ изъ сго стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такою полнотою идеи, такою торжественностію тона, такою полетистостью и яркостію фантазін и такимъ громозвучіемъ слова, какъ въ его превосходной одѣ "На смерть князя Мещерскаго",

которая, вмёстё съ "Водопадомъ" п "Фелицею", составляеть ореоль поэтического генія Державина, - лучшее изъ всего, написаннаго имъ. Несмотря на нѣкоторую напряженность, на нѣсколько риторическій тонъ, составлявшіе необходимое условіе и неизбёжный недостатокъ поэзін того времени, сколько величія, силы чувства и сколько искреиности и задушевности въ этой чудной одъ? Да п какъ не быть искренности и задушевности, если эта ода-исповъдь времени, воиль эпохи, символъ ея понятій и убъжденій! Какъ колоссалень у нашего поэта страшный образъ этой безпощадной смерти, отъ роковыхъ когтей которой не убъгаеть никакая тварь! Сколько отчаннія въ этой характеристикъ вооруженнаго косою скелета: и монархъ, и узникъ-снёдь червей; злость стихій пожираеть самыя гробинцы; даже славу зіяетъ стереть время; словно быстрыя воды льются въ море-льются дни п годы въ вѣчность; царства глотаетъ алчная смерть; мы стоимь на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низринуться; съ жизнію получаемъ и смерть свою — родимся для того, чтобы умереть; все разить смерть безъ жалости:

> И звъзды ею сокрушатся, И солицы ею потушатся, И всъмъ мірамъ она грозить!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія потрясенный отчаяніемъ духъ поэта обращается уже собственно къ человъку, о жалкой участи котораго онъ прежде слегка намекнуль:

Не мнить лишь смертный умирать И быть себя онъ вёчнымъ чаеть,— Приходить смерть къ нему, какъ тать, И жизнь внезапну похищаеть. Увы! гдё меньше страха намъ, Тамъ можеть смерть постичь скоръе; Ея и громы не быстръе Слетають къ гордымъ вышинамъ.

Что же навело поэта на созерданіе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человѣка въ особенности?—Смерть знакомаго ему лица.—Кто же было это лицо—Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій или другой кто изъ историческихъ дѣйствователей того времени? — Нѣтъ: то былъ —

Сынъ роскоши, прохладъ и нъгъ!

0, XVIII вѣкъ! о, русскій XVIII вѣкъ!..

Сынг роскоши, прохладт и ньгт, Куда, Мещерскій, ты сокрылся? Оставиль ты сей жизин брегь, Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился: Здёсь персть твоя, а духа нътъ. Гдъ-жъ онъ?—онъ тамъ.—Гдѣ тамъ?—пе

Мы только плачемъ и взываемъ: "О, горе намъ, рожденнымъ въ свътъ!"

Вникипте въ смыслъ этой строфы—и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасомъ души, крикъ нестерпимаго отчаянія... А между тімъ исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцанія

жалкой участи человѣка—не иное что, какъ смерть богача. Можно нодумать, что бѣднякъ, умершій съ голоду, среди оборванной семьи, въ предсмертной агоніп просящій хлѣба,—не возбудилъ бы въ поэтѣ такихъ горестныхъ чувствъ, такихъ безотрадныхъ воплей. Что дѣлать! у всякаго времени своя болѣзнь и свой недостатокъ. Время наше лучше проплаго, а не мы лучше отцовъ нашихъ,—если мотивы нашихъ страданій выше и благородиѣе, если ропотъ отчаянія вырывается изъ стѣсненной, сдавленной груди нашей не при видѣ богача, умершаго отъ индижестій, а при видѣ непризнапнаго таланта, страждущаго достониства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся норывовъ къ великому и прекрасному.

Утими, радость и любось Гдж купно съ здравіемъ блистали, У вежу тамъ пъпенъетъ кровь И духъ мятется отъ печали: Гдъ столъ быль яствъ—тамъ гробъ стонтъ, Гдъ пиршествъ раздавались клики— Падгробные тамъ воють лики, И блъдна смерть на вежуъ глядитъ...

Здёсь опять непосредственнымъ источникомъ отчаянія-противоположность между утёхами, радостію, любовію и здравіемь-и между зрѣлищемъ смерти, между столомъ съ яствами-и столомъ съ гробомъ, между кликами пиршествъ-и воемъ надгробныхъ ликовъ... Дъти шировали за столомъ-грянуль громъ и обратиль въ прахъ часть собесъдниковъ: остальные въ ужасъ и отчаяни... И какъ не быть имъ въ ужаст, когда ихъ поразила ужасная мыслы: къ чему же и пиры, если и ими нельзя спастись отъ смерти,—а безъ нировъ къ чему же и жизнь?.. Да, наше время лучше времени отновъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и делають, что пирують; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаются и въ наше время, --- это правда; но отчего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя, блъдныя лица, омраченныя тоскою и заботою, этотъ-

> ... Увядшій жизни цвёть Безъ малаго въ восьмиадцать лёть?...

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться, какъ веселились въ старые, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ добросовъстный, ребяческій разврать...

Говоря о невѣрности и скоротечности жизии чедъя поэтъ обращается къ себѣ самому,—и его слова полны вдохновенной грусти:

> Какъ сопъ, какъ сладкая мечта, Исчезла и моя ужъ младость; Не сильно нѣжитъ красота, Не столько восхищаетъ радость,

Не столько легкомыслень умь, Не столько я благополучень; Желаніемь честей размучень, Зоветь, я слышу, славы шумь.

Итакъ, вотъ новое обольщение на вечерней зарѣ дней поэта; но, увы! его разочарованное чувство уже ничему не довѣряетъ,—и онъ восклицаетъ въ порывѣ грустнаго негодованія:

Но такъ и мужество пройдеть, И вмъсть къ славъ съ инмъ стремленье; Богатствъ стяжаніе минетъ, И въ сердцъ всъхъ страстей волненье Прейдетъ, прейдетъ въ чреду свою. Подите счастъя прочъ возможны! Вы всъ премънчнвы и ложны: Я въ дверяхъ въчности стою!

Казалось бы, что здёсь и конець одё; но поэзія того времени страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послё порядковой хріи, гдё въ концё повторялось, другими словами, уже сказанное въ предложеніи и приступе. Итакъ, какой же выводъ сдёлалъ поэтъ изъ всей своей оды?—носмотримъ:

Сей день, иль завтра умереть, Перфильевь, должно намь, конечио: Почто-жь терзаться и скорбёть, Что смертный другь твой не жиль въчно? Жизнь есть небесь мгновенный дарь: Устрой ее себт къ покою, и съ чистою твоей душою Влагословляй судебъ ударъ.

Видите ли: поэтъ остался въренъ духу своего времени и самому себъ: оно, конечно, тяжело, а всетаки не худо подумать о томъ, чтобъ жизнь-то устроить себъ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; вотъ какъ живописаль картину отчаянія одинъ изъ нихъ:

То была тьма безъ темноты;
То была бездна пустоты,
Безъ протяженья и границь;
То были образы безъ лицъ:
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ Промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть—какъ соимъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и пѣмой.

Прочитавъ такіе стихи, право, потеряеть охоту

устранвать жизнь себъ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего существующаго тяготила Державина. Она высказывается во многихъ его стихотвореніяхъ, и ее же силились выразить хладъющіе персты умирающаго поэта, въ этихъ послёднихъ стихахъ его:

Ръка времень въ своемъ стремленьи Уноситъ всъ дъла людей, И топитъ въ пропасти забвенья Народы, паретва и царей. А если что и остается Чрезъ звуки лиры и трубы, То въчности жерломъ пожрется—И общей не уйдетъ судьбы!

Мысль эта также принадлежала XVIII вёку, когда

не понимали, что проходять и миняются личности. а духъ человъческій живетъ въчно. Идея о прогрессъ еще только возникала; когда немногіе только умы понимали, что въ потокв времени тонутъ формы, а не идея, преходять п міняются личности человъческія. И въ этой мысли о скоротечности и преходящности всего земного, такъ томившей Державина, такъ неразлучно жившей съ его душою, мы видимъ отражение на русское общество XVIII въка. Но здёсь и конецъ этому отраженію: Державинъ совершенно чуждъ всего прочаго, чемъ отличается этотъ чудный въкъ. Впрочемъ, XVIII въкъ выразился на Руси еще въ другомъ писатель, не разсмотрѣвъ котораго, нельзя судить о степени и характерѣ вліянія XVIII вѣка на русское общество: мы говоримъ о Фонвизинт. Конечно, и на немъ въкъ отразился довольно поверхностно и ограниченно, но въ другомъ характеръ и другою сторо-

ною, чёмъ на Державинв.

Чъмъ разнообразиве произведенія поэта, тъмъ болье критика должна заботиться объ опредълеиін ихъ достоинства относительно однихъ къ другимъ. Въ этомъ случат критика должна принимать въ соображеніе, какія изъ произведеній поэта особенно нравились его современникамъ, какія особенно уважались ими; равнымъ образомъ, какими изъ своихъ произведеній особенно дорожилъ самъ поэтъ, или на какихъ опъ особенно основывалъ заслуги свои передъ искусствомъ. По криника должна принимать къ свядению подобныя обстоятельства и основывать на нихъ свое сужденіе тогда только, когда они не противортчать высшему критеріуму достоинства всякихъ поэтическихъ произведеній, т. е. искренности ихъ и задушевности. Случается иногда, что поэтъ, по духу своего времени, особенно дорожитъ самыми холодными и сухими своими произведениями, въ которыхъ участвовалъ одинъ разсудокъ и нисколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношеніи къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно вводить ихъ содержаніе или предметъ произведенія. Они не думають о томь, что предметь стихотворенія можеть быть важень, великь, даже священь, а само стихотвореніе темъ не мене можеть быть очень плохо. Такъ, напримъръ, никто не станетъ спорить, чтобъ содержание "Александропды" г. Свъчина не было незмѣримо выше содержанія "Руслана н Людмилы", или "Графа Нулина" Пушкина; но никто также не станеть спорить, что "Русланъ н Людмила" и "Графъ Нулинъ" — прекрасныя поэтическія произведенія, а "Александропда" — образець бездарности и инчтожности. Въ первомъ томь "Русской Бесьды" напечатана большая ода Державина "Слвной Случай", мысль которой—не-сомивниость личнаго безсмертія,—и тогда же нвкоторые изъ господъ-сочинителей какого-то илохого періодическаго изданія раскричались объ этой новопайденной одъ, словно о новооткрытой Колумбомъ Америкъ. Они увидъли въ этой одъ величайшее создание величайшаго поэта, не замътивъ, какъ люди безъ эстетическаго чувства, что

триная и высокая мысль этой оды высказана до крайности плохими стихами, п что, по своей поэтической отделке и самому расположению мыслей, вся эта ода очень похожа на школьное риторическое упражнение, холодное, сухое и общими мѣстами наполненное. Таковы почти всѣ державинскія переложенія псалмовъ: мало сказать, что онп ниже своего предмета, - можно сказать, что они рѣнительно недостойны своего высокаго предмета,--и кто знакомъ съ прозанческимъ переложеніемъ псалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ и на русскомъ языкѣ, — тотъ въ переложеніяхъ Державина не узнастъ высокихъ, боговдохновенныхъ гимновъ порфироноснаго павца Божія. Исклю ченіе остается только за переложеніемъ 81-го псалма "Властителямъ и Судіямъ", въ которомъ талантъ Державина умълъ приблизиться къ высотъ поллининка:

> Возсталь всевышній Богь, да судить Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ. Доколь, -- рекъ, -- доколь вамъ будетъ Щадить неправедныхъ и злыхъ. Вашъ долгъ есть: охранять законы, На лица сильныхъ не взирать; Везъ помощи, безъ обороны Сиротъ и вдовъ не оставлять. Вашъ долгъ: спасать отъ бъдъ невинныхъ, Несчастливымъ подать покровъ; Отъ сильныхъ зашищать безсильныхъ, Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ". Не внемлютъ!—вндять и не знають! Покрыты мглою очеса; Злодъйствы землю потрясають, Неправда зыблеть пебеса.

Переложенія псалмовъ и подражанія имъ, въ собраніяхъ сочиненій Державина, обыкновенно помъщаются вмъсть съ его одами духовнаго и нравственнаго содержанія, и вм'єсть съ ними образують какъ бы особенный отдель державинской поэзін. Весь этотъ отдель, обыкновенно высоко ценимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и тъми же качествами: длиннотою, вялостію, водяностію и плохими стихами. Редко, редко всныхивають въ одахъ этого отдела искорки поэзін. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замізчательна по поэтическимъ мъстамъ и даже по высокости мыслей; но неопределенность идеи цёлаго повредила и поэтическому достоинству цѣлаго. Мы говоримъ объ одъ "Безсмертіе Души". Явно, что поэть смѣшаль въ ней два совершенно различныя понятія — безсмертіе иден, не умирающей въ преходящихъ фактахъ, и личное безсмертіе человъка, или безсмертіе души. Оттого въ одной одъ очутились двъ оды, не связанныя внутреннимъ единствомъ, перебитыя и перемъщанныя одна съ другою. И что же?-тъ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены поэзіи и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль, прозанчны и поверхпостны. Говоря о прекрасныхъ мъстахъ оды "Везсмертіе Души", нельзя не указать на 8, 17, 18 и 19 строфы.

Зато ивкоторыя изъ одъ духовнаго и нравствен-

паго содержанія поражають невообразимыми странпостями. Кто бы, наприм'ярь, подумаль, что воть эти стихи—Державина, а не Тредьяковскаго:

> Какъ птица въ мглъ упывна, Оставлена на здъ (на кровлъ). Иль схохленна, пустынна Сидяща на гиъздъ Въ пощи, въ лъсу, въ трущобъ, Лію степаньемъ гулъ.

А между тъмъ это дъйствительно стихи Державина изъ оды "Сътованье", начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье И вопль моей души!

Но огромная—поэма, а не ода "Цёленіе Саула" представляеть собою примёръ особенной нестройности. Она состоить более, чёмъ изъ 400 стиховъ, которые всё вродё слёдующихъ:

Внимаетъ пъснь монархъ: но сила звуковъ, словъ Такъ отъ него скользитъ, какъ лучъ отъ холма $\hbar b \partial \pi \mu a;$

Спѣдаеть грусть его, мысль черная, печальна, Пѣвецъ то зрить—и, взявъ другихъ строй голосовъ,

Поетъ ужъ хоромъ всёмъ, но сонно, полутонно, Смятенью тартара, душъ смятенной сходно.

И кто бы могь думать, чтобъ за такими стихами следовали вотъ какie:

На пустыхъ высотахъ, на зыбяхъ Вожій духъ Искони до въковъ въ тихой тьмъ возносился, Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ

Тварей всёхъ теплотой, такъ крылами гибадился. Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ Межъ собой, внутрь и внѣ, безпрестанно

сражались, И лишь жизнь тёмъ они всёмъ являли въ себъ, Что тамъ стукъ, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ прорывались;

Промъ на громъ въ вышинъ, гулъ на гулъ въ глубинъ,

Какъ катясь, какъ вратясь, даль и близь оглушали;

Бездны безднъ, хляби хлябь, колебавъ вътишинѣ Безъ устройствъ естество, ужасъ, мракъ представляли.

Впрочемъ, эти стихи, прекрасные и сильные, несмотря на свою грубую отдълку, суть единственный оазисъ въ песчаной пустынъ этой поэмы.

Ода "Богъ" считалась лучшею не только изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія, но и вообще лучшею изъ всёхъ одъ Державина. Самъ поэтъ былъ такого же миёнія. Какимъ мистическимъ уваженіемъ пользовалась въ старину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нелізная сказка, когорую каждый изъ насъ слышалъ въ дітстві, будто ода "Богъ" переведена даже на китайскій языкъ и, вышитая шелками на щить, поставлена надъ кроватью богдыхана. И дібствительно, это одна изъ замічательнійшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго, сравнительно съ нею, достоинства.

Нзъ одъ Державина правственно-философическаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды — "Вельможа" п "На Счастіе". Прп разсматриваніи первой должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе с в о е г о времени: тогда эта ода будетъ прекраснымъ произведеніемъ, несмотря на ея риторическіе пріемы. Первыя восемь строфъ просто превосходны; особенно вотъ эти:

Кумиръ, поставленный въ позоръ, Несмысленную чернь плёняетъ; Но коль художниковъ въ пемъ взоръ Прямыхъ красотъ не ощущаетъ: Се образъ ложныя молвы, Се глыба грязи позлащенной! И вы, безъ благости душевной, Не всъ-ль, вельможи, таковы?

Не перлы перскія на вась И не бразильски зв'єзды—ясны: Для возлюбившихъ правду глазъ Лишь доброд'єтели прекрасны,—Онъ суть смертныхъ похвала. Калигула, твой конь въ сепатъ Не могъ сіять, сіял въ злать: Сіяютъ добрыя дъла!

Осель всегда останется осломь, Хотя осмпь его звъздами; Гдъ должно дъйствовать умомъ, Онъ только хлопаетъ ушами. О, тщетно счастія рука, Противъ естественнаго чина, Безумца рядитъ въ господипа, Или въ шумиху дурака.

Какихъ не вымышляй пружинъ, Чтобъ мужу бую умудриться, Не можно въкъ носить личинъ, И истина должна открыться. Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ, Въ совътахъ царскихъ сопостатовъ: Всякъ думаетъ, что я Чупятовъ Въ марокискихъ лентахъ и звъздахъ.

Оставя скинетръ, тронъ, чертогъ, Вывъ странникомъ въ пыли и въ потѣ, Великій Петръ, какъ нѣкій Богъ, Влисталъ величествомъ въ работѣ: Почтенъ и въ рубищѣ герой! Екатерина въ низкой долѣ, И не на парскомъ бы престолѣ Была великою женой.

И впрямь, коль самолюбья лесть Пе обуяла-бъ умъ надменный: Что наше благородство, честь, Коль не наящности душевны? Я князь—коль мой сіяеть духъ; Владълець—коль страстьми владію; Воларинъ—коль за всіхъ болію, Царю, закону, перкви другь.

Да, такіе стихи никогда не забудутся! Кром'я замізательной силы, мысли и выраженія, они обращають на себя вниманіе еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго візка. Остальная и большая часть оды отличается риторическими распространеніями и добродушнымъ морализмомъ, который объ истинахъ, врод'я дважды два—четыре, говорить, какъ о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ, 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII візка, отличаются значительнымъ поэтическимъ достоинствомъ. Въ одіз "На Счастіе" виденъ русскій умъ, русскій юморъ, слышится русская різчь. Кроміз разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней много різкихъ и удачныхъ юмористическихъ выходокъ, свидітельствующихъ какое-то добродушіе, какъ, наприміръ, это обращеніе къ счастію:

Катаешь кубаремъ весь міръ: Какъ ръзвости твоей примъровъ, Полна земля вся кавалеровъ, И цълый свъть сталь бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэтъ говорить:

Нзволить царствовать правдиво, Не жжеть, не рубить безъ суда; А развъ кое-какъ вельможи, И такъ и сякъ, нахмуря рожи, Тузятъ инова иногда.

Сатирически описывая свое прежнее счастіе, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости бояръ, и въ любви, и въ игрѣ, и въ поэзін, поэтъ очень забавно и вмѣстѣ колко жалуется на безвременье преклонныхъ лѣтъ своихъ:

А нынѣ иятьдесять мнѣ било: Полеть свой счастье премѣнило; Безь лать я горе-богатырь; Прекрасный поль меня лишь бѣсить: Амуръ безь перьевь нетопырь,— Едва вепорхнеть—и нось повѣсить. Сокрылся и въ игрѣ мой кладъ: Не страстны мной, какъ прежде, музы: Бояре понадули пузы, И я у всѣхъ сталъ виновать.

Умоляя счастіе снова осыпать его своими дарами, поэть остроумно подшучиваеть надъ Гораціемъ, об'єщаясь писать школярнымъ слогомъ:

"Веатуст—брать мой, на волахь Собою самь поля орющій, Или стада свои несущій!"— Я буду восклицать въ пирахъ.

Къ числу такихъ же одъ принадлежитъ п "Мой Истуканъ". Въ ней особенно замъчательны иъкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнъйшіе стиха:

Злодъйства малаго мит мало, Вольшого дълать не хочу.

Замѣчательна и слѣдующая строфа: поэтъ говорить, что ни за какія дѣла не стоиль бы онъ кумира—

Не стоплъ бы: всё знаки чести, Дозволены самимъ себё, Плоды тщеславія и лести, Монархъ! постыдны и тебе. Желаетъ хвалъ, благодаренья Лишь низкая себё душа, Живущая изъ награжденья: По смерти слава хороша; Заслуги ез гробъ согръвають; Герои ез въчности сілють!

Досель говорили мы о Державинь, какъ о рус-

скомъ ноэть, въ извъстной степени и въ извъстномъ характеръ отразившемъ на себъ XVIII въкъ, въ той степени, въ какой отразило его на себъ тогдашнее русское общество. Теперь намъ слъдуеть показать Державина, какъ иввца Екатерины, какъ представителя цёлой эпохи въ исторіи Россіи. Царствованіе Екатерины Великой, послів царствованія Петра Великаго, было второю великою эпохою въ русской псторіи. Доселѣ для него еще не наставало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безиристрастно и върно. Эта близость лишаеть насъ возможности видёть ясно и опредъленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективъ, на достаточномъ отдаленін. И потому мы, съ одной стороны, слпшкомъ увлекаемся громомъ победъ, блескомъ завоеваній, многосложностію преобразованій, множествомъ людей замъчательныхъ, и не видимъ, изъ-за всего этого, внутренняго быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастіемъ, мы, можетъ быть, слишкомъ строго судимъ лесть, низкопоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъблагодътелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себф тогдашняго историческаго положенія Россін, того ръзкаго контраста между лираніею Вирона и труднымъ, по безплодной, хотя и блистательной войнъ съ Пруссіею, временемъ, -- и между царствованіемъ Екатерины-этою эпохою блестящихъ и великихъ дёлъ, мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основою было: "лучше простить десять виновныхъ, чёмъ наказать одного невиннаго", -- возникшаго просвещенія и возникавшей литературы, какъ плодовъ нравственнаго простора, смфнившаго удушающую тёсноту, какъ творенія мудрости и благости, воцарившейся на тронъ. Влизкіе къ тъмъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ усовершенствованіями всякаго рода, такъ горды и такъ счастливы великими усибхами двухъ последнихъ царствованій, что не можемъ смотреть на наше прошедшее, не сравнивая его съ настоящимъ, —а это сравненіе, разум'єтся, выгодн'єе для настоящаго. II потому намъ теперь должно не столько судить объ эпохѣ Екатерины Великой, сколько изучать ее, чтобъ пріобръсти данныя для сужденія о ней. Къ числу данныхъ, безъ сомнанія, принадлежать свидътельства современниковъ, -а встмъ извъстно, какъ великъ былъ энтузіазмъ къ своему времени и творцу его—Екатеринъ. Здъсь мы говоримъ о царствованіи Екатерины только въ отношеніи къ поэзін. Поэзія Державина—самое живое и самое върное свидътельство того, до какой степени эта эпоха была благопріягна поэзін, и до какой стенени могла она дать поэзін разумное содержаніе. Въ этомъ отношени должно обращать внимание не на похвалы Екаторинъ пъвца ея, которыя, какъ похвалы современника, не могутъ имъть той неподозрѣваемой достовѣрности и искренности, какъ голосъ потомства; но здёсь должно обращать вниманіе на ту свёжесть, ту теплоту аскренняго н задушевнаго чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатеринё, на тотъ смёлый и благородный тонъ, которымь они отличаются. Итакъ, намъ остается только выбрать тё строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляютъ особенио характеристическія черты громко и торжественно воспётаго имъ царствованія.

Ода "Фелица" одно изъ лучшихъ созданій Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностію формы, въ которой виденъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до конца выдержана въ тонъ.

Олицетворяя въ себъ современное общество, поэтъ тонко хвалитъ Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свои пороки. Исповъдь его заключается стихами:

Таковъ, Фелица, я: развратенъ! Но на меня весь свъть похожъ.

Не оставляя шуточнаго тона, необходимаго ему для того, чтобъ похвалы Фелицѣ не были рѣзки, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуетъ для потомства образъ Фелицы:

> Едина ты лишь не обидишь, Не оскорбляешь никого: Дурачества сквозь пальцы видишь, Лишь зла не терпишь одного; Проступки синсхожденьемъ правишь; Какъ волкъ овець, людей не давишь,— Ты знаешь прямо цёну ихъ: Царей они подвластны волъ, Но Богу правосудны болъ, Живущему въ законахъ ихъ.

Неслыханное также дёло, Достойное тебя одной, Что будто ты народу смёло О всемъ, и выявь и подъ рукой, И знать, и мыслить позволяещь, И о себё не запрещаещь И быль, и небыль говорить; Что будто самымъ крокодиламъ, Твоихъ всёхъ милостей зопламъ, Всегда склоняещься простить.

Стремятся слезъ пріятныхъ рѣки Изъ глубины души моей. О, сколь счастливы человѣки Тамъ должны быть судьбой своей, Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мириый, Сокрытый въ свѣтлости порфирной, Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить! Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ И, казни не боясь, въ обѣдахъ За здравіе царей не пить.

Тамъ съ именемъ Фелицы можно Въ строкъ описку поскоблить, Или портретъ неосторожно Ея на землю уронить; Тамъ свадебъ шутовскихъ не парятъ Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарятъ Не щолкаютъ въ усы вельможъ; Киязъя насъдками не клохчутъ, Любимцы въявь имъ не хохочутъ И сажей не мараютъ рожъ.

Ты вѣдаешь, Фелица, правы И человѣковъ, и царей: Когда ты просвѣщаешь нравы, Ты не дурачишь такъ людей; Въ твоп отъ дѣлъ отдохновенья Ты пишешь въ сказкахъ поученья, И Хлору въ азбукѣ твердишь: "Ие дѣлай инчего худого— И самого сатира злого Лжецомъ презрѣннымъ сотворишъ".

Заключительная строфа оды дышить глубокимь благоговъйнымь чувствомь:

Прошу великаго пророка, Да праха погъ твоихъ коснусь, Да словъ твоихъ сладчайна тока И лицезрънья наслаждусь! Небесныя прошу я силы, Да, ихъ простря сафирны крылы, Невидимо тебя хранять Отъ всъхъ болъзней, золъ и скуки, Да дълъ твоихъ въ потомствъ звуки, Какъ въ небъ звъзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ, не думая, чтобъ она могла быть напечатана; всёмъ извёстно, что она случайно дошла до свёдёнія государыни. Итакъ, есть и внёшнія доказательства искренности этихъ, полныхъ души, стиховъ:

Хвалы мои тебѣ примѣтя, Не мни, чтобъ шапки иль бешметя За нихъ я отъ тебя желалъ. Почувствовать добра пріятство—Такое есть души богатство, Какого Крезъ не собпралъ.

Ода "Изображеніе Фелицы" растянута и разведена водою риторики; но въ ней есть превосходныя строфы въ pendant къ одъ "Фелица", почему мы и выписываемъ ихъ здѣсь.

Припомни, чтобъ Она вѣщала Безчисленнымъ Ел ордамъ: "Я счастьл вашего искала И въ васъ его нашла я вамъ: Ставъ сами вы себѣ послушны, Живете, славътеся въ мой вѣкъ, И будьте столь благополучны, Колико можетъ человъкъ.

"Я вамъ даю свободу мыслить И разумёть себя, цёнить, Не въ рабствё, а въ подданствё числить, И въ ноги мий челомъ не бить; Даю вамъ право безъ преноны Мий ваши нужды представлять, Читать и знать мои законы. И въ нихъ опноки замёчать;

"Даю вамъ право собпраться И въ думахъ золото копить, Ко мив послами отправляться И не всегда меня хвалить; Даю вамъ право безпристрастно Въ судьи другъ друга выбирать; Самимъ двла свои всевластно И пачинать, и окоичать.

"Не воспрещу я стихотворцамъ Писать и чепуху, и лесть. Халдеямъ, повымъ чудотворцамъ Махать съ духами, инть и теть; Но я во всемъ, что лишь не злобно, Потщуся равнодушной быть;

БЪЛИНСКІЙ. Т. П.

Великолъпно и спокойно Мон благодъянья лить".

.

Рекла-бъ: "Почто пнеать уставы, Коль ихъ въ диванахъ не творять? Развратные вельможей правы— Народа цълаго развратъ.

"Вашъ долгъ монарху, Богу, царству Служить и клятвой не пграть: Пеправдѣ, злобѣ, мэдѣ, коварству Пути повсюду пресъкать: Пристрастный судъ разбоя злѣе; Судъи—враги, гдѣ спитъ законъ: Предъ вами гражданина шея Протянута безъ оборонъ".

Представь, чтобъ всё царевна средства Въ пособіе себё брала Предупреждать народа бёдства П сохранять его отъ зла; Чтобъ отворила всёмъ дороги Чрезъ почту письма къ ней писать; Вслъла бы въ свои чертоги Для объясненья допускать.

"Видъніе Мурзы" принадлежить къ лучшимъ одамъ Державина. Какъ всё оды къ Фелицъ, она написана въ шуточномъ тонъ; но этотъ шуточный тонъ есть истинно высокій лирическій тонъ--(*)четаніе, свойственное только державинской поэзін и составляющее ея оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно силенъ и что составляло его истинное призваніе. Онъ самъ свои риторически-высокопарныя оды предпочиталь этимъ шуточнымъ, въ которыхь онь быль такъ оригиналень, такъ народенъ и такъ возвышенъ, -тогда какъ въ первыхъ онъ и надутъ, и натянутъ, и безцвътенъ. "Видъніе Мурзы" начинается превосходною картиною ночи, которую созерцаль поэть въ комнатъ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ пъснопънію, и онъ восивлъ тихое блаженство своей жизни:

Что карлой опъ и великаномъ, И дивомъ свъта пе рожденъ, И что не созданъ истуканомъ И оныхъ чтить не припужденъ.

Дал'я заключается превосходный, поэтически и ловко выраженный намекъ на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монархини за оду "Фелица":

Блаженъ и тотъ, кому царевны, Какой бы ин было орды, Изъ теремовъ своихъ янтарныхъ И сребророзовыхъ свътлидъ. Какъ будто изъ улусовъ дальныхъ, Украдкой отъ придворныхъ лицъ, За розсказни, за растобары, За вирши, иль за что-инбудь, Исподтишка другіе дары И въ досканцахъ червонцы шлютъ.

Явленіе гитвиой Фелицы, во встать аттрибутаха ся царственнаго величія, прерываеть мечты ноэта. Фелица укоряеть его за лесть; она говорить ему:

.... Когда Поэзія не сумасбродство, Но вышній даръ боговъ: тогда Сей даръ боговъ, кромѣ лишь къ чести И къ поученью ихъ путей Быть долженъ обращенъ,—не къ лести И тлѣнной похвалѣ людей. Владыки свѣта люди тѣ же, Въ нихъ страсти, хоть на инхъ вѣнцы; Ядъ лести имъ вредитъ не рѣже: А гдѣ поэты не льстецы?

Отвѣтъ поэта на укоры исчезнувшаго видѣнія Фелицы дышитъ искренностію чувства, жаромъ поэзіи и заключаетъ въ себѣ и автобіографическія черты, и черты того времени:

Возможно-ль, кроткая царевна! И ты къ мурзъ чтобъ своему Была сурова столь и гиввна, И стрълы къ сердцу моему И ты, и ты чтобы бросала, И пламени души моей Къ себѣ и ты не одобряла? Довольно безъ тебя людей, Довольно безъ тебя поэту, Ва кажду мысль, за каждый стихъ, Отвътствовать лихому свъту И оть сатиръ щититься злыхъ! Довольно золотыхъ кумировъ, Безъ чувствъ мон что пъсни чли; Довольно кадіевъ, факировъ, Которы въ зависти сочли Тебъ ихъ неприличной лестью; Довольно нажилъ я враговъ! Иной отнесь себть къ безчестью, Что не деруть его усовь; Пному показалось больно, Что онъ настдкой не сидить; Иному очень своевольно Съ тобой мурза твой говорить; Иной вивияль мнв въ преступленье, Что я посланницей съ небесъ Тебя быть мыслиль въ восхищеньи И лиль въ восторгъ токи слезъ; И словомъ: тотъ хотълъ арбуза, А тотъ-соленыхъ огурцовъ; Но пусть имъ здъсь докажетъ муза, Что я не изъ числа льстецовъ; Что сердца моего товаровъ За деньги я не продаю, И что не изъ чужихъ анбаровъ Тебъ наряды я крою; Но, вънценосна добродътель! Не лесть я пълъ и не мечты, А то, чему весь міръ свидѣтель: Твои дѣла суть красоты. Я пълг, пою и пъть ихъ буду, И въ шуткахъ правду возвъщу; Татарски пъсни изъ-подъ спуду, Какъ лучъ, потометву сообщу; Какъ солнце, какъ луну, поставлю Твой образь будущимь въкамь, Превознесу тебя, прославлю; Тобой безсмертень буду самь.

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзія Державина, въ тѣхъ немногихъ чертахъ, которыя мы представили здѣсь нашимъ читателямъ, есть прекрасный памятникъ славнаго царствованія Екатерины II п одно пзъ главныхъ правъ иѣвца на поэтическое безсмертіе.

Другое значеніе им'вють теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болье оффиціальнымъ, чёмъ истинно вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи онъ резко отде-

ляются отъ одъ, посвященныхъ Фелицъ. И не мудрено: послёднія им'єли корень свой въ д'єйствительности, а первыя были плодомъ похвальнаго обычая согласовать лирный звонъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плошекъ и шкаликовъ. Притомъ же легче было чувствовать и понимать мудрость п благость монархини, чёмъ провидёть значеніе войнъ и побъдъ ея, объясняющихся причинами чисто-политическими. Политические вопросы тогда только могуть служить содержаніемъ поэзін, когда они вмість и вопросы историческіе и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда объ изъ тяжущихся сторонъ-и колоссальное могущество Наполеона, и національное существованіе Россін-сошлись рішить вопрось: быть или не быть! Побъды надъ турками, какъ бы ни блистательны были онъ, могуть дать прекрасное содержаніе для реляцій, но не для одъ. Сверхъ того, торжественныя оды Державина еще и потому утратили теперь свою цвну, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могуть казаться такими, какими видели ихъ современники. Типомъ всъхъ торжественныхъ одъ Державина можетъ служить ода "На Взятіе Варшавы". Она такъ всёмъ извъстна, что мы не почитаемъ за нужное дълать изъ нея выписки. Ее можно разделить на три части: первая изъ нихъ есть экстастическое изліяніе чувства удивленія къ Суворову и Екатеринѣ II. Дъйствительно, вступление оды восторженно; но этотъ восторгъ весь заключается не въ мысляхь, а въ восклицаніяхь, и въ немъ есть что-то напряженное. Мъсто, начинающееся стихомъ "Черная туча, мрачныя крыла", долго считалось въ нашихъ риторикахъ и пінтикахъ образцомъ гиперболы, какъ выраженія высочайшаго восторга: теперь эта гипербола можетъ служить образцомъ натянутаго восторга, стихотворнаго крика-не больше. Поэть чувствоваль самъ пустоту всёхь этихъ громкихъ фразъ, и потому хотелъ, во второй части своей оды, занять умъ читателя какимънибудь содержаніемъ. Что же онъ сділаль для этого? — онъ показываетъ сонмъ русскихъ царей и вождей, сидящій въ "небесномъ вертоградь, на злачныхъ холмахъ, въ прохладъ благоуханныхъ рощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ шатрахъ"; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ, Ломоносовъ, и его хвала произаетъ ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ "пунцовыхъ" устахъ "блистаетъ златъ медъ", а на щекахъ играють зари; возлегши на "мягкихъ, зыблющихъ (ся)" перловыхъ облакахъ, они внимаютъ тихострунный хоръ небесныхъ арфъ и поющихъ дъвъ (что, однако-жъ, не мъщаетъ имъ внимать и лиръ нашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлуннаго міра стихи Ломоносова, конечно, им'єють свое значеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свътъ-воля ваша, скучно. Далъе, поэтъ заставляетъ Петра Великаго проговорить рѣчь къ Пожарскому и потомъ скрыться въ "сѣнь". Все это — голая риторика, свидётельствующая о затруднительномъ положении поэта, задавшаго себъ воспѣть предметъ, котораго иден онъ не прочувствовалъ въ себѣ. Третья часть оды кончилась даже смѣшно плохими четверостишіями съ припѣвомъ къ каждому:

Славься симъ, Екатерина, О великая жена!

Въ первой части оды поэтъ называетъ своего героя, т. е. Суворова, "Александромъ по бранямъ": сравненіе крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ жизни и положеніяхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между действительно великимъ полководдемъ русской монархини, превосходнымъ выполнителемъ ея политическихъ предначертаній, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавшимъ Востокъ съ Европою?.. Вообще Державинъ не умълъ хвалить Суворова: онъ восхищается только его непобъдимостію, забывая, что этимъ были славны и Тамерланы, и Атиллы, и что въ Суворовѣ было что-нибудь замѣчательное и кромѣ этого. Хваля Суворова, Державинъ долженъ быль бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которымъ восибвалъ онъ Фелицу; но онъ хотълъ видъть своего героя въ риторической аповеозъ, и потому, въ его одахъ, Суворовъ не возбуждаеть къ себв никакого сочувствія.

У Пушкина есть два стихотворенія, порожденныя почти такимъ же событіємъ, какъ п ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба эти стихотворенія Нушкина напоминаютъ торжественную музу Державина; но какая же разнида въ содержаніи! Пушкинъ поднимаетъ историческіе вопросы, говоря, что это—

..... споръ славянъ между собою, Домаший, старый споръ, ужъ взвъщенный судьбою.

Иушкинъ не изрекаетъ оскорбительныхъ приговоровъ падшему врагу, но благородно, какъ представитель великой націп, восклицаетъ:

> Въ бореньи надшій невредимъ; Враговъ мы въ прахъ не топтали;

Они пародной Немезиды Не узрять гиввнаго лица И не услышать пвспь обиды Оть лиры русскаго пвыда.

Оды "На Взятіе Изманла" и "Переходъ Альнійскихъ Горъ" по объему своему—цѣлыя поэмы, герой которыхъ— Суворовъ. О нихъ можно сказать то же, что и обо всѣхъ торжественныхъ одахъ Державина: онѣ исполнены вдохновенія, но риторическаго, и ихъ можно сравнить съ похвальными словами Ломоносова—много грома, много блеска, но мало души. И потому въ чтеніи онѣ утомительны и даже скучны. Что корень ихъ былъ не въ жизни, не въ дѣйствительности, а въ пійтикъ и риторикъ того времени, могутъ служить доказательствомъ эти стихи изъ оды "На Взятіе Измаила":

Злоджиство, что ни вымышляло, Поверглось, россы, все на васъ! Зрю ядры, камни, варъ и бревны.

Какъ! неужели защищать отчаянно крѣпость всѣми въ войнѣ употребляемыми средствами отъ осаждающихъ ее враговъ, отчаянно биться съ инми и честно умирать за свою вѣру и своего государя—есть злодѣйство?.. О, нѣтъ! Державниъ этого не думалъ, но это требовалось высокимъ пареніемъ оды, по піитикѣ того времени. Впрочемъ, эта ода не безъ замѣчательныхъ частностей, какъ, напримѣръ, слѣдующая строфа:

Чего же можеть родь сей славный, Любя царей своихь, свершить? Умъйте лишь, главы въичаниы, Его безцънну кровь щадить; Умъйте дать ему вы льготу, Къ дъламъ великимъ духъ, охоту, И правотой сердца плънить. Вы можете его рукою Всегда, войной и не войною, Весь міръ себя заставить чтить. Война, какъ съверно сілиье, Лишь удивляєть чернь одну: Какъ свътлой радуги блистанье, Всякъ мудрый любить тишину.

Державинъ быль иввиомъ всёхъ замёчательныхъ людей, которыми такъ богатъ быль векъ Екатерины; всъхъ чаще и охотите онъ пълъ Суворова, -- это быль его любимый герой; но лучше встхъ воспиль онъ Потемкина. Й не мудрено: эготъ "кинящій замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавшій ихъ самъ", быль дивнымъ поэтическимъ явленіемъ. Это не быль любимець счастія, какъ привыкли величать его: счастіе любить больше глупцовъ и дюжинныхъ людей, нежели геніевъ, —а Потемкинъ былъ геній, заставившій преклоняться передъ собою счастіе. Это была натура одного типа съ наполеоновскою: Потемкинъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его апатія въ бездъйствін. Видъть невозможность дъйствоватьприговоръ къ смерти для такихъ дюдей. Каждый изъ нихъ хотълъ бы покорить всю землю и палъ бы отъ своего успъха, если бы не нашелъ средства сдёлать высадку на луну и взять ее пристуномъ. Являясь во времена отживающаго историческаго міра и не предчувствуя новаго, они ділають себя центромъ всей вселенной и падають жертвами своего грандіознаго эгонзма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій "сынъ судьбы" не могъ быть понятъ своимъ временемъ; но въ самыхъ его странностяхъ было что-то таинственно-высокое, и всв смотрели на него со страхомъ и любопытствомъ. Поэтическая натура Державина глубже другихъ прозрёла въ тайникъ этого великаго духа, хотя вполнъ и не разгадала его, --и "Водопадъ" остался навсегда свидътельствомъ этого поэтическаго полусознанія и одною изъ лучшихъ одъ Державина. -- Державинъ былъ пѣвцомъ царствующаго дома въ Россін, и нельзя съ удивленіемъ не остановиться на его пророческихъ одахъ на рожденіе царственныхъ младенцевъ, впоследствіи Александра Благословеннаго и нынѣ благополучно царствующаго императора Николая. Пому не извѣстна прекрасная ода "На рожденіе на сѣверѣ порфиророднаго отрока"; въ ней есть два стиха, невольно останавливающіе на себѣ вииманіе изумленнаго читателя:

> Будь страстей своихъ владътель, Будь на троит человъкъ!

Другая пророческая ода Державина — "На крещеніе великаго князя Николая Павловича"; въ ней поражають стихи:

Дитя равняется съ парями! Родителямъ по крови, По сану—неполинъ: По благости, любови, Полевъта властелинъ! Онъ будетъ, будетъ славенъ, Душой Екатеринъ равенъ.

Державинъ пѣлъ водареніе Александра и многія событія его дарствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ послѣдинхъ слышны уже слабъющіе звуки нѣкогда громкой лиры; но въ одахъ, которыми онъ привѣтствовалъ новое благотворное свѣтило Русп, мѣстами проблескиваютъ искры позвіи. Таково, напримѣръ, начало оды "На восшествіе на престолъ императора Александра I":

Въкъ новый! Царь младой, прекрасный Пришелъ днесь къ намъ весны стезей! Мон предвъстья велегласны Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одъ "Царевичу Хлору" старикъ Державинъ настроиль свою музу на прежній ладъ, которымъ хвалиль Екатерину и воспёль Александра. Въ поэтическомъ отношеній эта ода далеко не то, что "Фелица", и кажется подражаніемъ ей; но по мыслямъ, по содержанію это одна изъ замѣча-тельнѣйшихъ одъ Державина. Ее стоило бы выписать здёсь всю, до послёдняго стиха. Она лучше всякихъ разсужденій показываеть, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была пъснь лебедя: знаменитый и прославленный въ царствование Александра болъе, чъмъ въ царствование Екатерины, Державинъ быль челов'вкомъ, отжившимъ свой в'якъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и наконедъ Жуковскаго и Батюшкова-показало, что въ обществъ уже созрълн новые элементы для поэзін, и что, по м'єрі полноты этихь элементовь, являлись и иввцы разнообразные, а не поющіе, какъ прежде, всв на одинъ голосъ. Это былъ усибхъ времени, и не вина Державина, что онъ принадлежаль къ другому въку и остался ему втренъ въ чуждомъ для него новомъ времени: онъ сділаль все, что могь въ то время сділать человѣкъ съ такимъ огромнымъ дарованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвъты его поэзін распустились отъ луча ея просв'єщеннаго винманія. Этому вниманію онъ быль обязань и своею славою: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не понимало ихъ, а имя его знало, дивясь, что за стихи дають и золотыя табакерки, и чины, и мѣста, дѣлають вельможею оѣднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ ходъ иден: она идеть къ своей цѣли, даже и такими иутями, которые, казалось бы, скорѣе отвели ее отъ цѣли, чѣмъ привели къ ней: простое любопытство многихъ незамѣтно познакомилось со стихами и пристрастило къ нимъ. И когда, чрезъ размноженіе училищъ и гимназій, чрезъ основаніе новыхъ упиверситетовъ, въ царствованіе Александра, распространилось просвѣщеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его, какъ поэта, а не только какъ знатнаго человѣка.

Во многихъ стихотвореніяхъ Державина личный характерь его, какъ человъка, является съ весьма хорошей стороны. Несмотря на то, что его въкъ быль въкъ милостивцевъ, и что лесть и угодинчество считались добродътелями, онъ льстиль больше, какъ риторъ, чамъ какъ поэтъ. Когла Суворовъ, въ отставкт передъ походомъ въ Италію, проживаль въ деревит безъ дела, Державинъ не боялся хвалить его печатно. Ода "На возвращение графа Зубова изъ Персін" принадлежить къ такимъ же смелымъ его поступкамъ. "Водопадъ", написанный послъ смерти Потемкина, есть, безъ сомнёнія, столько же благородный, сколько и поэтическій подвигъ. Судя по могуществу Потемкина, можно было бы предположить, что большая часть стихотвореній Державина посвящена его прославленію; но Державинъ, при жизни Потемкина, очень мало писаль въ честь его. Онъ упоминаеть о немъ въ одъ "Осень, во время осады Очакова"; его воспыть онъ подъ нменемъ Решемысла, прилично и скромно; есть еще ода, подъ названіемъ "Поб'єдителю": въ ней Потемкинъ превознесенъ превыше звъздъ, довольно плохими стихами. Но вотъ и все: а это слишкомъ немного, даже слишкомъ мало для такого могущества, какое представляеть собою Потемкинъ! Сверхъ того, въ отношении къ лести нельзя строго судить Державина: онъ жилъ въ такія торжественныя и хвалебныя времена, когда п в ть и льстить значило одно и то же, и когда никакая сила характера не могла спасти человъка отъ необходимости уклоняться лестью отъ бъдъ. Должно сказать правду: за многія дёла и самый сатирикъ не можеть не чтить Державина. Къ числу такихъ дёлъ принадлежить его ода "Памятникъ Герою", написанная въ честь Рѣпнину, который находился въ то время подъ опалою у Потемкина, и который вноследствін очень дурно заплатиль за нее поэту. По службъ, въ дълъ правосудія, Державинъ прослылъ даже "безпокойнымъ" человъкомъ, -- эпитетъ, который, какъ пзвестно, дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могуть вид'єть подлостей и несправедливостей, именемъ правосудія и закона совершаемыхъ ябедниками и крючкотворцами...

Чтобы върно охарактеризовать и опредълить значение Державина, какъ поэта, должно обратить внимание на его собственный взглядъ на поэзию и поэта. Въ артистической душъ Держа-

вина пребывало глубокое предчувствіе великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно вдохновенными мъстами въ его произведеніяхъ и даже превосходными отдъльными стихотвореніями. Мы непремънно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державинѣ, какъ поэтѣ. Въ одѣ "Любителю Художествъ", пеудачной и даже странной въ цѣломъ, вниманіе мыслящаго читателя не можетъ пе остановиться на стѣдующихъ стихахъ:

Боги взоръ свой отвращаютъ Отъ нелюбящаго музъ; Фуріи ему влагаютъ Въ сердце черство грубый вкусъ, Жажду злата и сребра. Врагъ онъ общаго добра!

Ип слеза вдовицъ не тронеть, Ип сиротъ несчастныхъ стоиъ: Пусть въ крови вселенна тонетъ, Вылъ бы счастливъ только опъ: Вольше-бъ собралъ серебра. Врагъ онъ общаго добра.

Напротивъ того, взираютъ Боги на любимца музъ; Сердце иѣжное влагаютъ И изящный, иѣжный вкусъ: Всѣмъ душа его щедра. Другъ онъ общаго добра!

Если бы эти стихи прозапчностію и шероховатостію выраженія не поражали нашего вкуса, избалованнаго изяществомъ новъйшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за переводъ изъ какой-нибудь пьесы Шиллера въ древнемъ вкусъ. Сознаніе высокаго своего призванія Державинъ выразилъ особенно въ трехъ піссахъ. Странная и не выдержанная въ цъломъ пісса "Лебедъ" есть какъ бы прелюдія къ превосходному стихотворенію "Памятникъ":

Необычайнымъ я пареньемъ Оть тлъна міра отдълюсь, Съ душой безсмертною и пвиьемъ, Какъ лебедь, въ воздухъ подинмусь.

Въ двоякомъ образѣ нетлѣиный, Не задержусь въ вратахъ мытарствъ; Надъ завистью превознесенный, Оставлю подъ собой блескъ царствъ.

Да, такъ! хоть родомъ я не славенъ; Но будучи любимецъ музъ. Другимъ вельможамъ я не равенъ И самой смертью предпочтусь.

Не заключить меня гробница, Средь звъздъ не превращусь я въ прахъ, Но, будто нъкая пъвица, Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Затімъ поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата, и что она лоснится лебяжьею білизною; въ видів лебедя паритъ онъ надъ Россіею, и всії племена, населяющія ее, указиваютъ на него и говорятъ:

"Вотъ тотъ летитъ, что, строя лиру, Языкомъ сердца говорилъ И, проповъдуя миръ міру, Себя всьхъ счастьемъ веселилъ!"

Мысль изысканная и неловко выраженная; но последній куплеть очень замечателень:

Прочьсь пышнымь, славнымь погребеньемь, Друзья мон! Хоръ музъ, не пон! Супруга! облекись терибиьемъ! Надъ мнимымъ мертвецомъ не вой!

"Памятникъ" такъ хорошо извъстенъ всемъ, что нать пужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинымъ у Горація, но онъ умёль выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формъ, такъ хорошо примънить ее къ себъ, что честь этей мысли такъ же принадлежитъ ему, какъ п Горацію. Пушкинъ по-своему воспользовался, по примъру Державина, примъненіемъ къ себъ этой мысли, въ собственной оригинальной формъ. Въ стихотворенін того и другого поэта різко обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежать опи: Державинь говорить о безсмертіи въ общихь чертахъ, о безсмертін книжномъ; Пушкинъ говорить о своемъ памятникъ: "Къ нему не зарастеть народная трона", и этимъ стихомъ олицетворяеть ту живую славу для поэта, которой возможность настала только съ его времени.

Не менѣе "Памятника" замѣчательно стихотворное посвящечіе Державина Екатеринѣ II собранія своихъ сочиненій; оно дышить и благоговѣйною любовію поэта къ великой монархинѣ, и пророческимъ сознаніемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смёлая рука поэзін писала, Какъ Бога истинну Фелицу во плоти ІІ добродётели твои изображала, Дерзаю къ твоему престолу принести, Не по достоинству изящивйшаго слога, Но по усердію къ тебѣ души моей. Какъ жертву чистую, возженную для Бога, Прими съ пебесною улыбкою твоей, Прими и освяти своимъ благоволеньемъ, И музѣ будь моей подпорой и пцитомъ, Какъ миѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ. Да веселясь она и съ бодрственнымъ челомъ, Пройдетъ сквозь тьму временъ и станетъ средъ

Суда ихъ не страшась, твои хвалы въщать; И алчный червь когда, межь гробовыхъ обломковъ,

Оставшій будеть прахь костей монхь глодать: Забудется во мив послёдній родь Багрима, Мой вросшій въ землю домь пикто не посътить; Но лира коль моя въ пыли гдё будеть зрима И древнихь струпъ ея гдё голось прозвенить, Подъ именемъ твоимъ громка она пребудеть; Ты славою—твоимъ я эхомъ буду жить. Героевъ и пъвцовъ вселенна не забудеть. Въ могилы буду я, но буду говорить.

И однако-жъ, въ стихотвореніяхъ того же Державина есть мъста, доказывающія, что онъ очень невысоко цънить поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ одъ "Фелица" онъ говорилъ:

Поэзія тебѣ любезна, Пріятна, сладостна, полезна, Какх литоми вкусный лимонади. Въ одъ "Мой Истуканъ" онъ говоритъ:

Безумно столько уважать.

и если считаетъ себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развѣ ва то, что воспѣвалъ "Фелицу", а не за то, какъ воспѣвалъ ее, —слѣдовательно, за предметъ, а не за талантъ пѣснопѣній. Такихъ мѣстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того, извѣстно всѣмъ, —да и есть стихотвореніе, подтверждающее этотъ фактъ ("Храповицкому"), —что Державинъ свое чиновипческое поприще 'считалъ выше, т. е. дѣльнѣе своего

поэтическаго поприща.

Но что же все это доказываетъ? то ли, что Державинь быль измёнчивь въ своихъ миёніяхъ, или что онъ только въ стихахъ, а не на дёль, высоко думалъ о стихотворствъ? Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нерѣшительность, неопредѣденность иден поэзіп въ то время. Державинъ дѣйтвительно въ разныя времена думалъ о ней розпо: то приходиль въ восторгь отъ своего призванія, гордясь имъ въ свётломъ и вдохновенномъ сознанін, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдясь его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случат скрывалась его глубоко-поэтическая патура; во второмъ-высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостію говорить о себъ, что онъ литераторъ или поэтъ, и находитъ добродушныхъ людей, которые, даже и подсмёнваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлё него, чтобъ, при случав, похвастать своимь знакомствомь или пріязнію съ литераторомъ и поэтомъ. Истинный талантъ теперь вездѣ и всегда смѣло можетъ назвать себя по имени; а геній, въ области поэзіп, теперь-сила и власть въ сферѣ общественнаго мненія. Но это сделалось не вдругь, а постепенно. Державинъ не имълъ враговъ своему таланту: ему не могли простить не таланта, котораго не понимали, а полученныхъ имъ знаковъ почестей. Среди невъждъ и умному человъку легко можетъ придти въ голову мысль, ужъ не онъ ли глупъ, и не эти ли люди умны: ибо какъ же могутъ ошибаться всѣ, и быть правъ одинъ?..

Вотъ откуда происходили противорфчія Державина въ его понятіяхъ о поэзін. Это можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ его противорѣчій. На иную прекрасную оду его можно насчитать нъсколько плохихъ, какъ будто написанныхъ въ опровержение первой. Причина этого. та, что не было общества, не было общественнаго мижнія, были только умныя личности, пзръдка сталкивавшіяся другь съ другомъ на необъятномъ пространствъ. Всякая истинная поэзія есть идеальное зеркало действительности, а разумная сторона дъйствительности того времени выражалась только въ некоторыхъ людяхъ, близкихъ къ монархинъ; но нъсколько людей не составляють общества. Мы видели, что въ поэзіп Державина отразился XVIII вѣкъ, односторонне и слабо отразившійся на высшемъ кругѣ русскаго общества,—

кругъ, съ которымъ все остальное не имъло ничего общаго, ничемъ не было связано, а этого было слишкомъ мало, чтобы дать такое содержание поэзін, которое упрочило бы за нею безсмертіе, сообщивъ ей неумирающій отъ переміны правовъ и отношеній интересъ. Мы виділи, что Державинъ понималъ великую монархиню и върно изобразиль ее въ нъсколькихъ чертахъ; но онъ выразиль свое понятіе о ней, а не понятіе целаго общества, которое не умило понимать такъ благъ, которыми пользовалось, -- и потому мы дивимся образу Екатерины только въ немногихъ стихотвореніяхъ Державина, и именно только въ тіхъ, гді изображаль онъ ее подъ пменемъ Фелицы. Ода его "Фелица" превосходна и въ целомъ, и въ частностяхъ; такъ же прекрасно "Виденіе Мурзы"; но въ "Изображени Фелицы" прекрасны только нъкоторыя строфы. Торжественныя оды его потеряли весь свой интересь для нашего времени. Такъ называемыя анакреонтическія оды Державина свидътельствуютъ о его артистической натуръ; но ни содержание ихъ, всегда одностороннее и не глубокое, ни ихъ форма, всегда невыдержанная въ цёломъ и илёняющая только частностями, тоже не могуть быть предметомъ эстетическаго наслажденія въ наше время. Драматическіе опыты его не стоять и упоминовенія.

Мы уже доказали въ первой статьт, что, въ эстетическомъ отношенін, поэзія Державина представляеть собою богатый зародышь искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница изъ исторіи русской поэзін, но еще не сама поэзія. Читая даже лучшія оды Державина, мы должны дълать надъ собою усиліе, чтобъ стать на точку зрѣнія его времени, относительно поэзіп, и должны научиться видёть прекрасное во многомъ, что въ то время казалось безусловно прекраснымъ. Итакъ, Державинъ и въ эстетическомъ отношени есть поэтъ историческій, котораго должны изучать въ школахъ, котораго стыдно не знать образованному русскому, но который уже не можеть быть и для общества тёмъ же, чёмъ можеть и долженъ быть для людей, посвящающихъ себя основательному изученію родного слова, отечественной поззін. Ломоносовъ быль предтечею Державина; а Державинъ-отецъ русскихъ поэтовъ. Если Пушкинъ имътъ сильное вліяніе на современныхъ ему и явившихся послѣ него поэтовъ, то Державинъ имъть сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не родится вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзін русской. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достопиства и его недостатки, — и съ этой точки зрѣнія его недостатки явятся такъ же необходимыми, какъ и его достоинства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ могли только во времена дътства нашей критики. Ниндара, Анакреона и Горація читаеть весь просв'єщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ, и въ безчисленномъ множествъ переложений: въ Державинъ ничего не найдеть ни французъ, ни англичанинъ, ни нѣмець. Вогатырь поэзін по своему природному таланту, Державинь, со стороны содержанія и формы своей поэзін, замѣчателень и важень для насъ, его соотечественниковъ: мы видимь въ немъблестящую зарю нашей поэзіи, а поэзія его—"это (какъ справедливо сказано въ предисловін къ пзданнымъ нынѣ его сочиненіямъ) сама Россія Екатеринина вѣка — съ чувствомъ исполнискаго своего могущества, съ своими торжествами и за-

мыслами на востокѣ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повѣрій,—это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная, — такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ".

[Отечественныя Записки. Томы XXVI и XXVII, 1843 г.].

сочинения александра пушкина.

Санктпетервургъ. Одиннадцать томовъ. MDCCCXXXVIII-MDCCCXLI.

Τ

Обозръніе русской литературы отъ Держа-

Давно уже объщали мы полный разборъ сочиненій Пушкина: предлагаемая статья есть начало выполненія нашего об'єщанія, замедлившагося по причинамъ, изложение которыхъ не будетъ здёсь излишнимъ. Всемъ известно, что восемь томовъ сочиненій Пушкина изданы, посл'є смерти его, весьма небрежно во встхъ отношеніяхъ-и типографскомъ (плохая бумага, некрасивый шрифть, опечатки, а индъ и искаженный смыслъ стиховъ), и редакціонномъ (пьесы расположены не въ хронологическомъ порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера автора, а по родамъ, изобрѣтеннымъ Богъ внаетъ чьимъ досужествомъ). Но что всего хуже въ этомъ изданін — это его неполнота: пропущены пьесы, пом'єщенныя самимъ авторомъ въ четырехтомномъ собраніи его сочиненій, не говоря уже о пьесахъ, напечатанныхъ въ "Современникъ" и при жизни, и послѣ смерти Пушкина. Послѣдніе три тома сдъланы компаніею издателей-книгопродавцевъ, которые что могли сдёлать, какъ издатели, сдёлали хорошо, т. е. издали эти три тома красиво и опрятно, но такъ же неполно, какъ были изданы (не ими, впрочемъ) первые восемь томовъ. Справедливый ропотъ публики, которая, заплатя за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина шестьдесять иять рублей асс. (сумму довольно значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имела въ рукахъ полнаго собранія сочиненій Пушкина, -- этоть ропоть, соединенный съ столь же дурнымъ расходомъ трехъ последнихъ, какъ п восьми первыхъ томовъ, и справедливое негодованіе нікоторыхъ журналистовъ на такое оскорбленіе тѣни великаго поэта: все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочиненій Пушкина объщать отдъльное дополнение къ нимъ, въ которомъ публика могла бы найти решительно все, что чаписано Пушкинымъ и что не вошло въ одиннадцать томовъ полнаго собранія его сочиненій. А пропущено такъ много, что изъ дополненія вышель бы цёлый томъ, -- и тогда полное собрание сочиненій Пушкина состояло бы пока изъ двинадцати

томовъ. Говоримъ-нока, ибо въ рукописи остаются еще матеріалы къ исторіи Петра Великаго, предпринятой Пушкинымъ. Говорятъ, что этихъ матеріаловъ стало бы на добрый томъ, и только одному Богу извъстно, когда русская публика дождется этого тома... Итакъ, пока хорошо было бы дождаться хоть дополненія-то, объщаннаго издатедями трехъ последнихъ томовъ. О немъ много толковали, и мы даже видели опыты приготовленія къ этому делу, которое интересовало насъ еще и какъ удобный предлогъ къ началу объщанной нами статьи о Пушкинъ. Но время шло, а вожделънное дополнение не являлось, и мы, право, не знаемъ, явится ли оно когда-нибудь; если же явится, то не потребуеть ли еще другого дополненія?.. Это ръшило насъ, не дожидаясь исполненія чужихъ объщаній, приняться наконець за исполненіе своихъ собственныхъ.

Но, кромъ того, была еще и другая, болье важная, такъ сказать, болъе внутренняя причина нашей медленности. Година безвременной смерти Пушкина, съ теченіемъ дней, отодвигается отъ настоящаго все далъе и далъе, нечувствительно привыкають смотръть на поэтическое поприще Пушкина, не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнъ. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собою въ раннюю могилу этоть могучій поэтическій духь: но не тайну своего нравственнаго развитія, которое достигло своей апогеи и потому объщало только рядъ великихъ въ художественномъ отношении созданій, но уже не об'єщало новой литературной энохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонники Пушкина, съ нимъ вмъстъ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже рёзко отдёляются отъ новаго поколънія своею закоснълостію и своею тупостію въ дёлё разумёнія смёнившихъ Пушкина корифеевь русской литературы. Съ другой стороны, новое покольніе, развившееся на почвъ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатленій оть поэзін Гоголя и Лермонтова, высоко ценя Пушкина, въ то же время судить о немъ безпристрастно и спокойно. Это значить, что общество движется, идетъ впередъ черезъ свой въчный процессъ обновленія покол'єній, и что для

Пушкина настаеть уже потомство. На Руси все растеть не по годамъ, а по часамъ, и пять лътъ для нея-почти въкъ. Но новое митие о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругь и явиться совсёмь готовое; но, какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества; каждый новый день, каждый новый факть въ жизни и въ литературъ должны были измінять и образь возэрінія на

527

По мфрф того, какъ рождались въ обществф новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладъвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всёхъ фактовъ его движущейся жизни, -- всь стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія, какъ поэть великій, тімь не менъе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смънилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вследствіе этого Пушкинь является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видъ: это уже не поэтъ безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достопиства безусловныя п достоинства временныя, который имбеть значение артистическое и значение историческое, -- словомъ, поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которыя болье или менье удовлетворяются и будуть удовлетворяться имъ, а другою, большею и значительнъйшею стороною вполнъ удовлетворявшій своему настоящему, которое онъ виолит выразиль и которое для насъуже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу техъ творческихъ геніевъ, техъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріуготовляють будущее, и по тому самому уже не могутъ принадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоить задача здравой критики, что она должна определить значение поэта и для его настоящаго, и для будущаго, его историческое и его безусловно художественное значеніе. Задача эта не можеть быть ръшена однажды навсегда, на основанін чистаго разума: нъть, ръшеніе ея должно быть результатомъ историческаго движенія общества. Чёмъ выше явленіе, тёмъ оно жизненнъе, а чъмъ жизнениъе явление, тъмъ болъе зависить его сознаніе оть движенія и развитія самой жизни. Лучшее, что можно сказать въ похвалу Пушкину и въ доказательство его величія,--то, что, при самомъ появленій его на поэтическую арену, онъ встръченъ былъ и безусловными похвалами необдуманнаго энтузіазма, и ожесточенною бранью людей, которые въ рожденіи его поэтической славы увидели смерть старыхъ литературныхъ понятій, а вмѣстѣ съ ними и свою нравственную смерть, -- что занальчивые крики похваль и норицаній не умолкали ни на минуту ни въ продолженіе всей его жизни, ни посл'я самой его жизни, и что каждое новое произведение его было яблокомъ раздора и для публики, и для привилегированныхъ судей литературныхъ. Теперь утихаютъ эти крики: знакъ, что для Пушкина настало потомство, ибо запальчивая пря мижній существуеть только для предметовъ, столь близкихъ глазамъ современниковъ, что они не въ состояни видеть ихъ ясно и вполнъ, но причинъ самой этой близости. Судъ современниковъ бываетъ пристрастенъ; однако-жъ въ его пристрастіи всегда бываеть своя законная и основательная причинность, объяснение которой есть

тоже задача истинной критики.

Ни одно произведение Пушкина—ни даже самъ "Онъгинъ" — не произвело столько шума и криковъ, какъ "Русланъ и Людмила": одни видели въ немъ величайшее создание творческого генія, другіенарушеніе всёхь правиль пінтики, оскорбленіе здраваго эстетическаго вкуса. То и другое мийніе тенерь могло бы ноказаться равпо нелѣнымъ, если не подвергнуть ихъ историческому разсмотржнію, которое нокажеть, что въ нихъ обоихъ былъ смыслъ и оба они до извъстной степени были справедливы и основательны. Для насъ теперь "Русланъ и Людмила"-не больше, какъ сказка, лишенная колорита мъстности, времени, народности, а потому п не правдоподобная; несмотря на прекрасные стихи, которыми она написана, и проблески поэзін, которыми она поражаеть мъстами, она холодна, по признанію самого поэта (т. XI, стр. 226), п въ наше время не у всякаго даже юноши станетъ охоты и терпънія прочесть ее всю, отъ начала до конца. Противъ этого едва ли кто станетъ теперь спорить. Но въ то время, когда явилась эта поэма въ свътъ, она дъйствительно должна была показаться необыкновенно великимъ созданіемъ искусства. Вспомните, что до нея пользовались еще безотчетнымъ уваженіемъ и "Душенька" Богдановича, и "Двънадцать Спящихъ Дъвъ" Жуковскаго: какимь же удивленіемь должна была поразить читателей того времени сказочная поэма Йушкина, въ которой все было такъ ново, такъ оригинально, такъ обольстительно-и стихъ, которому подобнаго дотолѣ ничего не бывало, стихъ легкій, звучный, мелодическій, гармоническій, живой, эластическій, н складъ рвчи, и смелость кисти, и яркость красокъ, и граціозныя шалости юной фантазіи, и игривое остроуміе, и самая вольность нецаломудренныхъ, но тъмъ не менъе поэтпческихъ картинъ!... По всему этому "Русланъ и Людмила" — такая поэма, появленіе которой сдёлало эпоху въ исторів русской литературы. Если бы какой-нибудь даровитый поэть написаль въ наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, -- въ авторъ этой сказки никто не увидълъ бы великаго таланта въ будущемъ, п сказки никто бы читать не сталь; но "Русланъ и Людмила", какъ сказка во-время написанная, и теперь можеть служить доказательствомъ того, что не ошиблись предшественники наши, увидъвъ въ ней живое пророчество появленія великаго поэта на Руси. У всякаго времени свои требованія, и теперь даже обыкновенному таланту, не только генію, нельзя дебютировать чъмъ-инбудь вродъ "Руслана и Людмилы" Пушкина, "Оберона" Виланда, или, пожалуй, и "Огlando Furioso" Аріоста; но всѣ эти поэмы, шуточныя, волшебныя, рыдарскія и сказочныя, явились въ свое время и, подъ этимъ условіемъ, прекрасны и достойны вниманія и даже удивленія. Итакъ, юноши двадцатыхъ годовъ (изъ которыхъ многимъ теперь уже далеко за сорокъ) были правы въ энтузіазмѣ, съ которымъ они встрѣтили "Руслана и Людмилу".

Съ другой стороны, имъла причину и враждебность, съ которою литературные старовфры встрфтили поэму Пушкина: въ не было инчего такого, что привыкли они ночитать поэзією; эта поэма была въ ихъ глазахъ буйнымъ отрицаніемъ ихъ литературнаго корана. Такъ называемая война классицизма (мертвой подражательности утвержденнымъ формамъ) съ романтизмомъ (стремленіемъ къ свободѣ и оригинальности формъ) была у насъ отголоскомъ такой же войны въ Европъ, и первая поэма Пушкина послужила поводомъ къ началу этой войны, пережитой Пушкинымъ. Следовавшія затімь поэмы п лирическія стихотворенія Нушкина были для него рядомъ поэтическихъ тріумфовъ. Энтузіасты провозгласили его сфвернымъ Байрономъ, представителемъ современнаго человъчества. Причиною этого неудачнаго сравненія было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкинъ былъ на Руси нолнымь выразителемь своей эпохи. Однако-жь, какъ скоро начало устанавливаться въ немъ броженіе кипучей молодости, а субъективное стремленіе начало исчезать въ чисто-художественномъ направленін, — къ нему стали охладівать, толна ожесточенныхъ противниковъ стала возрастать въ числь, даже самые поклонники или начали примыкать къ толпъ порицателей или переходить къ нейтральной сторонъ. Наиболъе зрълыя, глубокія и прекрасивнийя создания Пушкина были приняты публикою холодно, а критиками — оскорбительно. Нёкоторые изъ этихъ критиковъ очень удачно воспользовались общимъ расположениемъ въ отношенін къ Пушкину, чтобъ отмстить ему или за его къ нимъ презрѣніе, или за его славу, которая имъ почему-то не давала покоя, или, наконецъ, за тяжелые уроки, которые онъ пропов'ядалъ имъ иногда въ легкихъ стихахъ летучихъ эпиграммъ.

Съ другой стороны, люди, искренно и страстно любившіе искусство, въ холодности публики къ лучшимъ созданіямъ Пушкина вид'єли только одно невъжество толпы, увлекающейся юношескими и незрълыми произведеніями, но не умѣющей цѣнить обдуманныхъ твореній строгаго искусства. Смотря на искусство съ точки зрѣнія псключительной и односторонней, его жаркіе поборники не хотъли понять, что если симпатін и антипатін большинства бывають часто безсознательны, зато редко бывають безсмысленны и безосновательны, а, напротивъ, часто заключають въ себъ глубокій смысль. Странно же, въ самомъ деле, было думать, чтобъ то самое общество, которое такъ дружно, такъ радостно, словно потрясенное электрическимъ ударомъ, въ первый еще разъ въ жизни

своей откликнулось на голосъ пъвца и нарекло его своимъ любимымъ, своимъ народнымъ поэтомъ, странно было думать, чтобъ то же самое общество вдругь охолодело къ своему поэту за то только, что онъ созрёль и возмужаль въ своемъ геніи, сділался выше и глубже въ своей творческой д'вятельности! А между т'вмъ это охлажденіе-факть, достов фрность котораго можно доказать свидетельствомъ самого поэта: въ его занискахъ (т. XI), въ пфкоторыхъ мъстахъ "Онъгина", въ стихотвореніи "Поэтъ" слышится горькая жалоба оскорбленной народной славы. Изъ этого нельзя было не заключить, что если публика была не совсёмъ права въ своей холодности къ поэту, то и поэть все же не быль жертвою ея прихоти и, по винъ или безъ вины съ своей стороны, но не случайно же, а по какой-нибудь причинъ, испыталъ на себъ ея охлажденіе. Но отвъта на эту загадку еще не было: отвъть скрывался во времени, и только время могло дать его. Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопросъ: какъ и должно было ожидать, она снова и съ большею силою обратила къ падшему поэту сочувствіе и любовь общества. Восторженные поклонники искусства тёмъ болбе были поражены смертію поэта и тёмъ более скорбели о ней, что вскоръ за тъмъ появнвшіяся въ "Современникъ" посмертныя сочиненія Пушкина изумили ихъ своимъ художественнымъ совершенствомъ, своею творческою глубиною. Образъ Пушкина, украшенный страдальческою кончиною, предстояль предъ нимп во всемъ блескъ поэтической аповеозы: это былъ для нихъ не только великій русскій поэтъ своего времени, но и великій поэть всёхь народовь и всьхъ въковъ, геній европейскій, слава всемірная... Но не успъло еще войти въ свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, какъ подняла свое жужжание и шнивние на страдальческую тёнь великаго злопамятная посредственность, мучимая болью отъ глубокихъ царапинъ, еще не зажившихъ слъдовъ львиныхъ когтей... Она начала, и прямо, и косвенно, толковать о поэтическихъ заслугахъ Пушкина, стараясь унизить ихъ; не впопадъ и кстати начала сравнивать Пушкина и съ Мининымъ, и съ Пожарскимъ, н съ Суворовымъ, вмѣсто того, чтобъ сравнивать его съ поэтами своей родины... Подобныя нелъпости не заслуживали бы ничего, кромѣ презрѣнія, какъ выраженіе безсильной злобы; но веселое скаканіе водовозныхъ существъ на могнлъ надшаго съ бою льва возмущаетъ душу, какъ зрвлище неприличное и отвратительное; а наглое безстыдство низости имфетъ свойство выводить изъ терпънія достопиство, сильное одною истиною... Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себъ обстоятельство, раздражая людей, способныхъ понять и оценить Пушкина, какъ должно, только болье и болье увлекало ихъ въ благородномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безотчетномъ удивленіи къ великому поэту?...

Между тёмъ время шло впередъ, а съ нимъ шла впередъ и жизнь, порождая пзъ себя новыя явленія, дающія сознанію новые факты и подвигающія его на пути развитія. Общество русское съ невольнымъ удивленіемъ, полнымъ ожиданія и надежды чего-то великаго, обратило взоры на новаго поэта, смёло и гордо открывавшаго ему новыя стороны жизни и искусства. Равенъ ли по силъ таланта, или еще и выше Пушкина былъ Лермонтовъ — не въ томъ вопросъ: несомнино только, что, даже и не будучи выше Пушкина, Лермонтовъ призванъ былъ выразить собою и удовлетворить своею поэзіею несравненно высшее, по своимъ требованіямъ и своему характеру, время, чьмь то, котораго выраженіемь была поэзія Пушкина. И менъе чъмъ въ какія-нибудь пять льтъ, протекшія отъ смерти Пушкина, русское общество усийло и радостно встрётить нышный восходъ, и горестно проводить безвременный закатъ новаго солнца своей поэзін!.. Другой поэть, вышедшій на литературное поприще при жизни Пушкина и привътствованный имъ, какъ великая надежда будущаго, послѣ долгаго и скорбнаго безмолвія, подарилъ наконецъ публику такимъ твореніемъ, которое должно составить эпоху и въ летописяхъ литературы, и въ лѣтописяхъ развитія общественнаго сознанія... Все это было безмольною, фактическою философіею самой жизни и самаго времени, для ръшенія вопроса о Пушкинъ. Толки о Пушкинъ наконедъ прекратились, но не потому, чтобъ вопросъ о немъ переставалъ интересовать публику, а потому, что публика не хочеть уже слышать повторенія старыхъ, одностороннихъ мивній, требуя митнія новаго и независимаго отъ предубъжденій, въ пользу или невыгоду поэта. Повторяемъ: митие это могло выработаться только временемъ и изъ времени, и-чуждые ложнаго стыпа-не побонмся сказать, что одною изъ главныхъ причинъ, почему не могли мы ранъе выполнить своего объщанія нашимъ читателямъ, касательно разбора сочиненій Пушкина, было сознаніе неясности и неопредъленности собственнаго нашего понятія о значенін этого поэта. Знаемь, что такое признаніе пробудить остроуміе нашихь доброжелателей: въ добрый часъ-пусть себъ острятся! Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнають за одинь присъсть и, узнавши разъ, одинаково думають о предметь всю жизнь свою, хвалясь неизмёнчивостію своихъ миёній и неспособностію ошибаться. Да, не завидуемь: ибо глубоко убъждены, что только тоть не ошибался въ истинъ, кто не искалъ истины, только тотъ не пзміняль своихь убіжденій, вы комы ніть потребности и жажды убъжденія; исторія, философія и нскусство-не то, что математика, съ ея въчными и неподвижными истинами: движение математики, какъ науки, состопть не въ движеніи ея истинъ, а въ открытін новыхъ и кратчайшихъ путей къ достиженію неизмінных результатовь. Въ царстві математики нѣтъ случайности и произвола, зато нѣтъ и жизни; но исторія, философія и искусство живуть, какъ природа, какъ духъ человъческій, выражаемые ими, живуть, въчно измъняясь и обновляясь; ихъ единство скрыто въ многоразличін и разнообразін, необходимость — въ свободі, разумность — въ случайности. Кто хочеть уловлять своимъ сознаніемъ законы ихъ развитія, тоть самъ, подобно имъ, долженъ развиваться и доходить до результатовъ истины не въ легкомъ наслажденіи апатическаго спокойствія, а въ болізняхъ и мукахъ рожденія: зерно истины въ благодатной душіто же, что младенець въ утробіт матери — предметь пламенной любви и трудныхъ попеченій, источтика благодатной в сторгомить в сторгоміть на попеченій, источтика попеченій в сторгоміть в сторгом в сторгоміть в сторгом в сторг

никъ блаженства и скорбей...

Кромъ того, насъ останавливали еще предълы замышляемой нами статьи. Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго и прозр'ввать въ историческую связь явленій. Чёмъ болёе думали мы о Пушкинё, темъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ протедшимъ и настоящимъ русской литературы и убъждались, что писать о Пушкинъ-значить писать о цёлой русской литературё: нбо какъ прежніе инсатели русскіе объясняють Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ последовавшихъ за немъ инсателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утъщительна: она показываетъ, что, несмотря на бъдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движение и органическое развитие, —слъдственно, у нея есть исторія. Мы далеки отъ самолюбивой мысли удовлетворительно развить это воззржие на русскую литературу, и желаемъ только одногохоть намекнуть на это воззрѣніе и проложить другимъ дорогу тамъ, гдф еще не протоптано и тропинки. Пусть другіе сдёлають это лучше насъ: мы первые порадуемся ихъ успѣху, а сами для себя будемъ довольны и тъмъ, если намъ, намекомъ на это воззрѣніе, удастся положить конецъ старымъ толкамъ о русской литературѣ и произвольнымъ личнымъ сужденіямъ о русскихъ писателяхъ...

Вотъ для чего, приступая къ критическому разсмотрѣнію сочиненій Пушкина, мы почли за необходимое сперва обозрѣть ходъ и развитіе русской поэзін (нбо предметь нашихъ статей будеть не литература въ общирномъ смыслѣ, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Державина доставиль намь удобный случай взглянуть съ нашей точки зрѣнія на его творенія, и нашу статью о Державинъ мы считаемъ началомъ статьи о Пушкинѣ, почему и намфрены связать объ эти статьи обзоромъ историческаго развитія русской поэзін отъ Державина до Пушкина, черезъ что статья наша о Державинъ будеть еще пополнена и уяснена общею идеею, которая должна быть основою всего ряда этихъ статей, образующихъ собою критическую исторію "изящной литературы" русской. Вслёдъ за статьями о Пушкинъ мы немедленно приступимъ къ разбору, тоже давно нами объщанному, сочиненій Гоголя и Лермонтова. И хотя въ нашемъ журналѣ не разъ и не мало было говорено объ этихъ писателяхъ, — однако же объщаемыя статьи инсколько не будуть повтореніемъ ска-

Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даеть особенный характеръ ей самой и ея исторіи: не понять этого обстоятельства, или не обратить на него всего вниманія, значить не понять ни русской литературы, ни ея исторіи. Мы начали ея характеристику сравненіемъ-- продолжимъ сравненіемъ же. Один растенія, будучи перенесены въ новый климать и пересажены въ новую почву, сохраняють свой прежній видь и свои прежнія качества; другія изм'єняются въ томъ и другомъ, по вліянію на нихъ новаго климата и новой почвы. Русская литература можетъ быть сравниваема съ растеніями второго рода. Ея исторія, особенно до Пушкина (отчасти еще и до сихъ поръ), состоитъ въ постоянномъ стремленіи—отрѣшиться оть результатовъ искусственной пересадки, взять корни въ новой почвъ и укръпиться ея питательными соками. Идея поэзіп была выписана въ Россію по почтв изъ Европы и явилась у насъ, какъ заморское нововведеніе. Ее понимали, какъ искусство слагать вирши на разные торжественные случан. Тредьяковскій быль привилегированнымъ придворнымъ пінтой и "воспъвалъ" даже балы п маскарады придворные, словно какъ государственныя событія. Ломоносовъ, первый русскій поэтъ, тоже понимать поэзію, какъ "воспѣваніе" торжественныхъ случаевъ, и первая ода его (и въ то же время первое русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ) была пѣснію на взятіе русскими войсками Хотина. Это было въ 1739 г.: стало быть, теперь этому сто четыре года. Впрочемъ, "пъснопъвческий" и "воспъвательный" взглядъ на поэзію созданъ не нашими первыми поэтами: такъ смотрѣли тогда на поэзію во всей просвъщенной Европъ. Всеобщею извъстностію тогда пользовались только древнія литературы, изъ которыхъ греческая была или понаслышкъ извъстна, или искаженно и превратно понимаема, а латинская, дучие знаемая и болбе доступная и любимая, считалась идеаломъ всякой изящной литературы. Изъ новъйшихъ литературъ пользовались всеобщею извѣстностію только французская и итальянская, особенно первая, ибо она наиболже находилась полъ вліяніемъ латинской, по крайней мъръ, во внъшнихъ формахъ. Нъмецкой изящной литературы тогда еще не существовало; испанская и англійская не были изв'єстны за пред'єлами своихъ земель.

Итакъ, изъ новъйшихъ литературъ французская парила надъ всъми другими, гордо презирая англійскую и испанскую, какъ выраженіе крайняго безвкусія, почитая Данта уродливымъ поэтомъ и восхищаясь по-своему Петраркою и Тассомъ. Вліяніе древнихъ литературъ на французскую (а слъдственно и на всъ другія въ Европъ того времени) состояло въ условныхъ понятіяхъ о высшей формъ поэтическихъ произведеній и уподобленіяхъ кстати и пекстати изъ языческой минологіи. У древнихъ стихи не читались, а говорилнсь речитативомъ съ аккомпаньеманомъ музыкальнаго инструмента — лиры; оттого у древнихъ "пътъ" значило въ пере-

носномъ значенін "сочинять стихи". Въ новомъ мірѣ стихи не пѣлись, а читались, и лиры совсѣмъ не существовало; но приличіе требовало, чтобъ въ стихахъ не обходилось безъ "пою" и "лиры". Мивологія была выраженіемь жизни древнихь, и нхт. боги были не аллегоріями, не символами, не риторическими фигурами, а живыми понятіями въ живыхъ образахъ. Въ новомъ мірѣ царила религія Христа, —и, стало быть, боговъ не было; но, несмотря на то, нельзя было написать никакого стихотворенія, гдѣ бы не стрѣляли изъ лука Амуры и Купидоны, не выли Борен, Нептунъ не воздымалъ моря, Зефиры не дышали прохладою и т. д. А почему?-потому что такъ было у грековъ и римлянъ! По воззрѣнію грековъ, трагедія могла быть только аповеозою государственной жизни, и оттого у нихъ дъйствовали въ ней только представители стихій государственности: цари, герои, военачальники, правители, жреды (а по связи ихъ жизни съ религіею-и боги); народъ же могъ присутствовать на сценъ только въ видъ хора, выражавшаго лирическими изліяніями свое участіе не въ пропсходящемъ передъ его глазами событін, но свое участіе къ происходившему передъ его глазами событію. Единство основной пден считалось у грековъ столько необходимымъ условіемъ для трагедін, какъ и для всякаго другого произведенія поэзін; единство же мъста и времени отнюдь не считалось необходимостію, но часто соблюдалось какъ по простотѣ и немногосложности действія, такъ и по обширности сцены. Драматурги новъйшаго міра поняли это посвоему. Набожно хранили они въ трагедіи правило тріединства; допускали въ нее только царей п героевъ съ ихъ наперсниками, а изъ простого народа позволяли появляться на сценъ однимъ "въстникамъ"! Вотъ что значитъ принять фактъ за идею. Созданія греческой поэзін, вышедшія изъ жизни грековъ и выразившія ее собою, показались для новыхъ поэтовъ нормою и первообразомъ для поэзіп народовъ другой религін, другого образованія, другого времени! Это особенно видно изъ понятія псевдо-классиковъ объ эпоск: греческій эпосъ "Иліаду" и рабскій сколокъ съ нея-, Энеиду" приняли они за эпосъ всеобщій и думали, что до скончанія міра всё эпическія поэмы должны писаться по ихъ образцу, безъ маленшаго отступленія, даже начинаться не иначе, какъ "муза, воспой", или "пою". Поэтому истинная "Иліада" среднихъ въковъ-, Вожественная Комедія" Данта, выразившая собою всю глубину духовной жизни своего времени, въ свойственныхъ этой жизни и этому времени формахъ, казалась имъ не эническою поэмою, а уродинвымъ произведеніемъ. Да н какъ могло быть иначе: она начиналась не съ глагола "пою" и называлась—о, ужасъ!—к о м едіею!.. Эпическая поэзія, по понятію псевдоклассиковъ, должна была "воситвать" какое-нибудь великое событіе въ жизни челов чества или въ жизни народа, и въ какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событіе, оно должно быть наряжено въ багряницу или тогу, лишиться мъстнаго колорита, приводиться въ движение сверхъестественными силами, выражаться наныщенно и бездватно,—чего необходимо требуеть всякая поддальна подъ чужую форму и тамы болае подъ чужую жизнь. Воть происхожденіе р и т о р и ч е с к о й позвін. Основаніе ея—отложеніе отъ жизни, отпаденіе отъ дайствительности; характеръ—ложь и общія маста. Такая-то подзія была перенесена на Русь.

Ломоносовъ быль первымъ основателемъ русской поэзін и первымь поэтомъ Руси. Для насъ теперь непонятна такая поэзія: она не оживляетъ нашего воображенія, не шевелить сердца, а только производить въ насъ скуку и эфвоту. Но если сравнивать Ломоносова съ Сумароковымъ и Херасковымь-стихотворцами, вышедшими на поприще пость него,-то нельзя не признать въ . Гомоносовъ значительнаго дарованія, которое пробивается даже въ ложныхъ формахъ риторической поэзін того времени. Только одинъ Державинъ быль песравненно больше поэть, чёмь Ломоносовъ: до Державина же Ломопосову не было никакихъ соперипковъ, и хотя Сумароковъ и Херасковъ цвиплись современниками не ниже его, но ниъ до него-

Какъ до звъзды небесной далеко!

Сравнительно съ ними, языкъ его чистъ и благородень, слогь точень и силень, стихъ исполнень блеска и паренія. Если же не всякій могъ такъ писать, какъ Ломоносовъ, значить-нужно имъть таланть, чтобъ писать такъ, какъ писалъ онъ. Поэзія Корнеля и Расина для насъ-ложная, риторическая поэзія, и намъ отъ нея синтся такъ же сладко, какъ и отъ поэзін Сумарокова; но чтобъ и теперь инсать такъ, какъ писали въ свое время Корнель и Расинъ, надо имъть большой таланть; писать же такъ, какъ писалъ Сумароковъ, не нужно было никакого таланта и въ его время, а нужна была только охота и страсть къ писанію. Въ одахъ Ломоносова: "Къ Іову", "Утреннее" и "Вечернее размышление о величествѣ Вожіемъ", кромѣ замѣчательнаго искусства версификаціи, видны еще одушевленіе и чувство, чего незамътно ни въ одномъ стихотворении Сумарокова или Хераскова. Поэзія Ломоносова-хвалебная и торжественная по преимуществу: Сумароковъ писалъ, по крайней мъръ, комедін, эклоги, сатиры, кром'в трагедій и одъ; Ломоносовъ писаль только оды и, кром'в нихъ, написалъ дв трагедін да неконченную поэму "Петріада". Таковъ быль духъ времени; такъ понимали тогда поэзію въ Европъ, и разстояніе между "Петріадою" Ломоносова и "Генріадою" Вольтера, право, невелико. Въ "Петріадъ" Ломоносовъ описываетъ дворець Нептуна на див Белаго моря: нашъ поэтъ не подумаль о томъ, что отвель слишкомъ холодную квартиру обитателю Средиземнаго моря и греческаго Архипелага. Петръ Великій и-Нептунъ, морской богъ древнихъ грековъ: какъ сближеніе! Понятно, ночему не кончить Ломоносовъ своей дикой, напыщенной поэмы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго tour de force воображенія,

поднятаго на дыбы. Трагедін Ломоносова похожи на его "Петріаду". Сумароковъ писалъ во всёхъ родахъ, чтобъ сравняться съ господиномъ Вольтеромъ, и во всёхъ равно былъ безталантенъ. Но о поэзін тогда думали иначе, нежели думаютъ теперь, и, при страсти къ писанію и раздражительномъ самолюбій, трудно было не сдѣлаться великимъ геніемъ. Современники были безъ ума отъ Сумарокова. Вотъ что говоритъ о немъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и умиѣйшихъ людей скатерининскихъ временъ, Новиковъ, въ своемъ "Опытѣ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ":

"Различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями пріобрать онъ себъ великую и беземертную славу не только отъ россіянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славивишихъ европейскихъ писателей. И хотя первый изъ россіянъ онъ началъ писать трагедін по вевмъ правиламъ театральнаго искусства, по столько успълъ во оныхъ, что заслужилъ название съвернаго Расина. Его эклоги равияются знающими людьми съ Виргиліевыми, и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго Парнасса; и въ семъ родъ стихотвореніями далеко превосходить онь Федра де-ла-Фонтена, славнъйшихъ въ семъ родъ. Впрочемъ, всв его сочиненія любителями россійскаго стихотворства весьма много почитаются" (стр. 207-205).

Такія похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смішны, но онів нмівоть свой смысль и свое основаніе, доказывая, какъ важны, полезны и дороги для успіховъ литературы ті смілые и неутомимые труженики, которые въ простоті сердда принимають свою страсть къ бумагомаранію за великій таланть. При всей своей бездарности, Сумароковъ много способствоваль къ распространенію на Руси охоты къ чтенію и къ театру. Современники дорожать такими людьми, добродушно удивляясь имъ, какъ геніямъ. Воть что говорить тоть же Новиковъ о Василіи Кирилловичів Тредьяковскомъ:

"Сей мужъ былъ великаго разума, многаго учепія, обшпрнаго знація и безприм'єрнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, итальянскомъ и въ своемъ при-родиомъ языкъ; также въ философіи, богословіи, красноръчіи и въ другихъ паукахъ. Полезными своими трудами пріобрълъ себъ безсмертную славу, и первый въ Россіи сочиниль правила новаго россійскаго стихосложенія, много сочиниль книгь. а перевелъ и того больше, да и столь много, что кажется невозможнымъ, чтобъ у одного человъка достало къ тому столько силъ, -- пбо одиу древнюю Ролленеву исторію перевель онъ два раза... При томъ, не обинуясь, къ его чести сказать можно, что онъ первый открыль въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству: при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецъ и первый положившій толико труда и придежанія въ переводъ на россійскій языкъ преполезпыхъ книгъ" (стр. 118-119).

Мы не безъ намъренія дълаемь эти выписки; свидътельство современниковъ, какъ всегда пристрастное, не можетъ служить доказательствомъ истины и послъднимъ отвътомъ на вопросъ; по оно всегда должно приниматься въ соображеніе

при сужденій о писателяхь, ибо въ немъ всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства. Посему мы не разъ еще прибъгнемъ къ подобнымъ выпискамъ въ продолженіе нашей статьи, чтобъ ноказать ими, какъ смотрѣли на того или другого писателя его современники, изъ чего, нѣкоторымъ образомъ, можно судить о степени его важности и въ исторіи литературы.

Громкою славою пользовались у знатоковъ и любителей литературы того времени четверо писателей изъ школы Ломоносова.—Поповскій, Херасковъ, Петровъ и Костровъ. Поповскій обязанъ своею громкою изв'єстностію въ то время лестнымъ отзывамъ Ломоносова о переведенномъ имъ стихами "Опытъ о Человъкъ" Нона. Вотъ что говоритъ о Поповскомъ Новиковъ:

"Опыть о человики славнаго въ ученомъ свити Попія перевель онь съ французскаго языка на носсійскій съ такниъ некусствомъ, что, по мибпію знающихъ людей, гораздо ближе подошелъ къ подлининку и не знавъ англійскаго языка, что доказываеть какъ его ученость, такъ и проинцаніе въ мысли авторскія. Содержаніе сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести ее трудно, но онъ перевель съ французскаго, перевель въ стихи, и перевель съ соверщеннымъ искусствомъ, какъ философъ и стихотворецъ: напечатана сіл книга въ Москвъ 1757 года. Онъ переложилъ съ латинскаго языка въ латинскіе стихи Гораціеву эпистолу о стихотворствъ и нъсколько изъ его одъ; также перевелъ прозою книгу о воспитанін дътей, состоящую въ двухъ частяхъ, славнаго Лока: сей переводъ, по мнюнію знающихъ людей, сдва не превосходить ли и подлинникь. Онъ сочнниль итсколько речей, читанныхъ въ публичныхъ собраніяхъ, и также писалъ торжественныя оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображенія просты, ясны, пріятны и превосходны" (стр. 168-169).

Поповскій умеръ 30-ти літь и сжегь свой переводь Тита Ливія (котораго перевель больше половины) и переводъ многихь одъ Анакреона, будучи недоволенъ своими переводами и боясь, чтобъ послѣ его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповскаго, по своему времени, дѣйствительно хороми, а недовольство его несовершенствомь трудовъ своихъ еще болѣе обнаруживаетъ въ немъ человѣка съ дарованіемъ. Замѣчательно, что многія мѣста переведеннаго имъ "Опыта" были не пропущены тогдашнею цензурою.

Херасковъ написалъ цѣлые двънадцать томовъ. Онъ былъ и эпикъ, и лирикъ, и трагикъ, инсалъ даже "слезныя драмы" и комедін, и во всемъ этомъ обнаружилъ большую страсть къ литературѣ, большое добродушіе, большое трудолюбіе и—большую безталантность. Но современники думали о немъ иначе и смотрѣли на него съ какимъто робкимъ благоговѣніемъ, какого не возбуждаля въ нихъ ни Ломоносовъ, ни Державинъ. Причиною этого было то, что Херасковъ подарилъ Россію двумя эпическими или героическими поэмами—"Россіадою" и "Владиміромъ". Эпическая поэма считалась тогда высшимъ родомъ ноэзіи, и не имѣть хоть одной поэмы народу — значило тогда не имѣть поэзіи. Какова же должна быть

гордость отцовъ нашихъ, которые знали, что у итальянцевъ была одна только поэма — "Освобожденный Герусалимъ", у англичанъ тоже одна — "Потерянный Рай", у французовъ одна, и то недавно написанная-, Генріада", у нѣмцевъ одна, почти въ одно время съ поэмами Хераскова написаниая-, Мессіада", даже у самихъ римлинъ только одна ноэма, а у насъ, русскихъ, также какъ и у грековъ, целыя деф! Каковы эти поэмыобъ этомъ не разсуждали, темъ более, что никому въ голову не приходила мысль о возможности усомниться въ ихъ высокомъ достоинствъ. Самъ Державинъ смотрѣлъ на Хераскова съ благоговъніемъ и разъ, безъ умысла, написалъ на него злую эпиграмму, думая написать мадригаль, въ стихотворенін "Ключь", который оканчивается слідующими стихами:

> Творца безсмертной Россіады, Священный Гребеневскій ключь, Поилъ водой ты стихотворства.

Дмитріевъ такъ выразилъ свое удивленіе къ Хераскову, въ этой надписи къ его портрету:

Пускай отъ зависти сердца зопловъ ноютъ, — Хераскову они вреда не принесутъ: Владиміръ, Іоаппъ щитомъ его покроютъ И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Мы увидимъ ниже, какъ долго еще продолжалось мистическое уважение къ творцу "Россіады" и "Владиміра", несмотря на сильныя возстанія противъ его авторитета нѣкоторыхъ дерзкихъ умовъ: оно совершенно окончилось только при появленіи Пушкина. Причина этого мистическаго уваженія къ Хераскову заключается въ риторическомъ направленін, глубоко охватившемъ нашу литературу. Кром'я этихъ двухъ стихотворныхъ поэмъ, Херасковъ написалъ еще три поэмы въ прозф: "Кадмъ и Гармонія", "Полидоръ, сынъ Кадма и Гармонін" и "Нума Помпилій, пли Процвѣтающій Римъ". "Похожденія Телемака" Фенелона, "Гон-зальвъ Кордуанскій" и "Нума Помпилій" Флоріана были образцами прозапческихъ поэмъ Хераскова. Замъчательно предисловіе автора къ первой изъ нихъ: "Мит совттовали переложить сіе сочинение стихами, дабы видъ эпической поэмы оно пріяло. Надінсь, могуть читатели повірнть мнь, что я въ состояніи быль издать сіе сочиненіе стихами; но я не поэму писаль, а хотіль сочинить простую токмо новъсть, которая для стихословія не есть удобна. Кому изв'єстны нінтическія правила, тоть при чтенін сей книги почувствуетъ, для чего не стихами она написана". Далье, Херасковъ возстаетъ противъмивнія Тредьяковскаго, утверждавшаго, что поэмы должны писаться безъ риемъ, и что "Телемакъ" именно потому не ниже "Иліады", "Одиссен" и "Эненды" и выше всёхъ другихъ поэмъ, что писанъ безъ риемъ. Детское простодушіе этихъ мифній и сноровъ лучше всего показываетъ, какъ далеки были словесники того времени отъ истиннаго понятія о поэзін, и до какой степени виділи они въ ней одну риторику. Въ "Полидоръ" особенно замъчательно внезапное обращение Хераскова къ русскимъ писателямъ. Имена ихъ означены только заглавными буквами, — характеристическая черта того времени, чрезвычайно скрупулезнаго въ дѣлѣ печати. Но мы выпишемъ ихъ имена вполнѣ, кромѣ тѣхъ, которыя трудно угадать:

"Такова есть сила пъснословія, что боги сами восхищаются привлекательнымъ музъ пъніемъ, музъ небесныхъ, пиршества ихъ на холмистомъ Олимпъ сопровождающихъ,-и кто не восхитится стройностію лиръ пріятныхъ? чье сердце не тронется сладостнымъ гласомъ музами вдохновенныхъ пінтовъ! сердце суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слухъ имѣющее, или пріятности стихотворства ощущать не сотворенисе. Можетъ ли чувствительная душа, можетъ ли въ восторгь не прійти, винмая громкому и важному пънію наперсника музь, парящаго Ломоносова? Можетъ ли кто не плъниться нъжными н пріятными твореніями С.? *) Я пою въ моемъ отечествъ, и пінтовь россійскихъ исчисляю; миъ они путь къ горъ парнасской проложили; свътомъ ихъ озаряемый, восильля я россійскихъ древнихъ дарей и героевъ; восильля Кадма не стопосложнымъ, но простымъ слогомъ; нынъ повъствую Полидора, не внимая сужденію нелюбителей россійскаго слова, ни укоризнамъ завистливыхъ человъковъ, въ уничижении другихъ славу свою поставляющихъ. Но пусть они гиппокренскаго источника прежде меня достигнуть, тогда, уступивь нмъ лавры, спокойно за ними послъдую; слабыя и недостойныя творенія забвенны будуть. А вы, мон предшественники, вы, мон достославные современники, въ памяти нашихъ потомковъ впечатлънны и славимы въчно будете, и ты, бардъ временъ нашихъ, превосходный пъведъ и тщательный списатель красоть натуры **)! И ты, Державинъ, вовъки не умрешь по твоему вдохновенному свыше изреченію. Но не давай прохлаждаться священному пламени, въ духъ твоемъ музами воспаленномъ: музы не дюбять, кто, ими призываемъ будучи, ръдко съ ними бесъдуеть. Тебъ, любимець музь, русскій путешественникъ Карамзинъ; тебъ. чувствительный Нелединскій; тебъ, пріятный пъвець Дмитріевь; тебъ, Богдановичь, творецъ Душеньки, и тебъ, Петровъ, писатель одъ громогласныхъ, важностію преисполненныхъ, то же я въщаю. А вы, юные музъ питомцы, вы, россійскаго пъснопънія любители! шествуйте ко храму нхъ медленно, осторожно и рачительно; онъ воздвигнуть на горь высокой; стези къ нему пробирають сквозь скалы крутыя, извитыя, перепутанныя. Достигнувъ парнасскія вершины, изліянный потъ вашъ, раченіе, тщательность ваша освияющими гору древесами прохлаждены будуть: чело ваше пріосънится въпцомъ неувядаемымъ. Но памятуйте, что ядовитость, самолюбіе и тщеславіе музамъ неприличны суть; онъ дъвы, и любятъ непорочность нравовъ, любятъ нъжное сердце. сердце чувствующее, душу мыслящую. Неимъющіе правиль добродітели главнымъ своимъ видомъ, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, блага общаго нарушители, друзьями ихъ наречься не могутъ. Буди цъломудръ и кротокъ, кто безсмертныя пъсни составлять хочеть! Таковы строги суть уставы горы парнасской, на коей возсёдять

безсмертные пінты, витін и прочіе други Өнвовы". (Тв. Хераск. Т. XI, стр. 1—3).

Бѣдный Херасковъ! думалъ ли онъ, пиша эти строки, что, всю жизнь свою строго исполнявъ нравственныя правила своей эстетики, онъ тѣмъ не менѣе самъ будетъ забытъ неблагодарнымъ потомствомъ?

Странно однако, что отзывъ Новикова о Херасковъ сдъланъ въ довольно умъренныхъ выраженіяхъ: "Вообще сочиненія его весьма много похваляются; а особливо трагедія "Бориславъ", оды, иъсни, объ поэмы, всъ его сатприческія сочиненія и "Нума Помпилій" приносятъ ему великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и пріятно, слогъ текущъ и твердъ, изображенія сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческаго огия, сатприческія сочиненія—остроты и пріятныхъ замысловъ, а "Нума Помпилій"—философическихъ разсужденій; и онъ по справедливости почитается въ числъ лучшихъ нашихъ стихотворцевъ и заслуживаетъ великую похвалу" (стр. 237).

Петровъ считался громкимъ лирикомъ и остроумнымъ сатприкомъ. Трудно вообразить себъ чтонибудь жостче, грубъе и напыщеннъе дебелой лиры этого семинарскаго пѣвца. Въ одѣ его "На побѣду россійскаго флота надъ турецкимъ" много той напыщенной высокопарности, которая почиталась въ то время лирическимъ восторгомъ и пінтическимъ пареніемъ. П потому эта ода особенно восхищала современниковъ. И действительно, оналучше всего прочаго, написаннаго Петровымъ, потому что все прочее изъ рукъ вонъ илохо. Грубость вкуса и площадность выраженій составляють характеръ даже нёжныхъ его стихотвореній, въ которыхъ онъ воспъвалъ живую жену и умершаго сына своего. Но такова сила преданія: Каченовскій еще въ 1813 году, когда Петрова давно уже не было на свъть, восхваляль его въ своемъ "Въстникъ Европы!" Странно, что въ "Опыть историческаго Словаря о россійскихъ писателяхъ" Новиковъ холодно и даже насмѣшливо, а потому и весьма справедливо, отозвался о Петровъ: "Вообще о сочиненіяхъ его сказать можно, что онъ напрягается идти по следамъ россійскаго лирика, и хотя некоторые и называють его уже вторымь Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежитъ ожидать важнаго какого-нибудь сочиненія, и послів того заключительно сказать, будеть ли онъ второй Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будеть имъть честь слыть подражателемь Ломоносова" (стр. 163). Этотъ отзывъ взобсилъ Петрова, и онъ отвѣтилъ сатирою на "Словарь", которая можеть служить образцомъ его сатирическаго остроумія:

... Я шлюсь на Словаря,—
Въ немъ имя ты мое найдещь безъ фонаря!
Смотритко, тамо я, катъ солнышко, блистаю!
На самой маковкъ Парнасса превитаю!
То правда, косна желвь тамъ сдълана ордомъ,
Кукушка лебедемъ, ворона соколомъ;
Тамъ монастырскіе запечны лежебоки
Пожалованы всъ въ искусники глубоки;
Коль върить Словарю, то сколько есть дворовъ,

^{*)} Должно быть, дъло идеть о Евстафіи Ста-

несить, весьма плохомъ пінть того времени.

**) Здёсь, въроятно, идеть дёло о Бобровть, авторю описательной поэмы "Херсонида, или лютній день на полуостровъ Херсонидъ" и разныхъ лирическихъ стихотвореній. Бобровъ замічателень тёмъ, что быль знакомъ съ англійскою литературою и подражаль ся писателямъ Поповской пиколы.

Столь много на Руси великих авторовъ; Тамъ подлой на ряду съ писцомъ стоитъ алырщикъ,

Съ баклагой сбитенщикъ, и водоливъ съ бадьей; А все то авторы, все мужи имениты, Да были до сихъ поръ оплошностью забыты: Теперь свътъ умному обязанъ молодцу, Что полиу ихъ именъ составилъ памятцу: Въ дни древии, въ старину жилъ, былъ-де царь Ватуто.

Онъ былъ, да жилъ, да былъ, и сказка-то вся туто. Такой-то въ этакомъ писатель жилъ году; Ни строчки на своемъ не издалъ онъ роду; При всемъ томъ слогъ имѣлъ, повѣрьте, молодец-

Зналь греческій языкъ, китайской и турецкой. Тоть умныхъ столько-то наткалъ проповъдей: Да ихъ въ иечати иътъ. О! былъ онъ грамотей; Въ семъ годъ цвълъ Оома, а въ этакомъ Ерема; Какая же по немъ осталася поэма? Слогъ пылокъ у сего и разумъ такъ летучъ, Какъ молиія въ эенръ сверкающа изъ тучъ. Сей первый издалъ въ свътъ шутинвую піэсу, По точнымъ правиламъ и хохота повъсу. Сей надпись начерталъ, а этотъ иатерикъ; Въ томъ разума былъ пудъ, а въ этомъ четверикъ. Тотъ истину хранилъ, чтилъ сердцемъ добродътель.

Друзьямъ былъ вёрный другъ и бёднымъ благодётель;

Въ великомъ тълъ духъ великой же имълъ, И, видя смерть въ глазахъ, былъ мужественъ и смълъ.

Словарникъ знаетъ все, въ комъ умъ глубокъ, въ комъ мелокъ.

Кто съ нимъ ватажился, былъ другъ ему и братъ, Во святцахъ тотъ его не меньше, какъ Сократъ...

Костровъ прославилъ себя переводомъ шести пѣсенъ "Иліады" шестистоннымъ ямбомъ. Переводъ жестокъ п дебелъ, Гомера въ немъ нѣтъ и признаковъ; но онъ такъ хорошо соотвѣтствовалъ тогдашнимъ понятіямъ о позін и Гомерѣ, что современники не могли не признать въ Костровѣ огромнаго таланта.

Изъ старой, до-державинской школы пользовался большою извъстностію подражатель Сумарокова— Майковъ. Онъ написалъ двъ трагедін, сочиняль оды, посланія, басни, въ особенности прославился двумя такъ называемыми "комическими" поэмами: "Елисей, или раздраженный Вакхъ", и "Игрокъ Ломбера". Г. Гречъ, составитель послужныхъ и литературныхъ списковъ русскихъ литераторовъ, находитъ въ поэмахъ Майкова "необыкновенный пінтическій даръ"; но мы, кромъ площадныхъ красотъ и веселости дурного тона, инчего въ нихъ не могли найти.

Съ Державина начинается новый періодъ русской поэзін, и какъ Ломоносовъ былъ первымъ ея именемъ, такъ Державинъ былъ вторымъ. Въ лицъ Державина поэзія русская сдѣлала великій шагъ впередъ. Мы сказали, что въ нѣкоторыхъ стихотворныхъ пьесахъ Ломоносова, кромѣ замѣчательнаго по тому времени совершенства версификаціи, есть еще и одушевленіе, и чувство; но здѣсь должны прибавить, что характеръ этого одушевленія и этого чувства обнаруживаетъ въ Ломоносовъ скорѣе оратора, чѣмъ поэта, и что элементовъ художественныхъ рѣшительно не замѣтно ни въ

одномъ его стихотворенія. Державинъ, напротивъ, чисто-художническая натура, поэтъ по призванію; произведенія его преисполнены элементовъ поэзін, какъ искусства, и если, несмотря на то, общій и преобладающій характеръ его поэзін-риторическій, въ этомъ виноватъ не онъ, а его время. Въ Ломоносовъ боролись два призванія-поэта и ученаго, и последнее было сильнее перваго; Державинъ былъ только ноэтъ, и больше нечего. Въ стихотвореніяхъ его уже нечего удивляться одушевленію и чувству-это не первое и не лучшее ихъ достоинство: они запечатлены уже высшимъ признакомъ искусства — проблескомъ художественности. Муза Державина сочувствовала музъ эллинской, царицѣ всѣхъ музъ, и въ его анакреонтическихъ одахъ промелькиваютъ пластические и граціозные образы древней антологической поэзін, а Державинъ, между тѣмъ, не только не зналъ древнихъ языковъ, но и вообще лишенъ былъ всякаго образованія. Потомъ въ его стихотвореніяхъ нерѣдко встрфчаются образы и картины чисто-русской природы, выраженные со всею оригинальностію русскаго ума и рѣчи. И если все это только промелькиваетъ и проблескиваетъ, какъ элементы и частности, а не является цёлымъ и оконченнымъ, какъ созданія выдержанныя и полныя, такъ что Державина должно читать всего, чтобы изъ разсеянныхъ мъстъ въ четырехъ томахъ его сочиненій составить понятіе о характер'в его поэзін, а ни на одно стихотвореніе нельзя указать, какъ на художественпое произведеніе, причина этому, повторяемъ, не въ недостаткъ или слабости таланта этого богатыря нашей поэзін, а въ историческомъ положенін и литературы, и общества того времени. Посъянное Екатериною II возросло уже послѣ нея, а при ней вся жизнь русскаго общества была сосредоточена въ высшемъ сословін, тогда какъ всв прочія были погружены во мракъ невъжества и необразованности. Слъдовательно, общественная жизнь (какъ совокунность извъстныхъ правилъ и убъжденій, составляющихъ душу всякаго общества человфческаго) не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріаловъ. Хотя онъ и воснользовался всёмъ, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобъ поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразнъе поэзін Ломоносова (поэта временъ Елизаветы), но не для того, чтобъ онъ могъ сдёлаться поэтомъ не одного своего времени. Сверхъ того, такъ какъ всякое развитіе совершается постепенно и послівдующее всегда испытываеть на себъ непзбъжное вліяніе предшествовавшаго, то Державинъ не могъ, вопреки своей поэтической натурь, смотрыть на ноэзію пначе, какъ съ точки зрінія Ломоносова, и не могъ не видеть выше себя не только этого учителя русской литературы и поэзін, но даже Хераскова и Петрова. Однимъ словомъ: поэзія Державина была первымъ шагомъ къ переходу вообще русской поэзін отъ риторики къ жизни, но не больше.

Мы зд'ясь только повторяемъ, для связи настоящей статьи, resumè нашего воззрѣнія на Державина;

кто хочеть доказательствь, тёхь отсылаемь къ нашей стать в о Державинт.

Важное мъсто долженъ занимать въ исторіи русской литературы еще другой писатель екатерининскаго века: мы говоримь о Фонвизине. Но здесь мы должны на минуту воротиться къ началу русской литературы. Кром'в того обстоятельства, что русская литература была, въ своемъ началъ, нововведеніемъ и пересадкою, —начало ея было ознаменовано еще другимъ обстоятельствомъ, которое темъ важнее, что оно вышло изъ историческаго положенія русскаго общества п им'єло сильное и благод вліяніе на все дальн в шее развитіе нашей литературы до сего времени, и доселъ составляеть одну изъ самыхъ характеристическихъ и оригинальныхъ чертъ ся. Мы разумфемъ здфсь ея сатирическое направление. Первый по времени поэть русскій, писавшій варварскимь языкомь п плабическимъ стихосложениемъ, Кантемиръ, былъ сатирикъ. Если взять въ соображение хаотическое состояніе, въ которомъ находилось тогда русское общество, эту борьбу умирающей старины съ возникающимъ новымъ, то нельзя не признать въ поэзін Кантемира явленія жизненнаго и органическаго, и инчего истъ естествените, какъ явление сатирика

пъ такомъ обществъ. Съ легкой руки Кантемира, сатира вийдрилась, такъ сказать, въ нравы русской литературы, имъла олагодътельное вліяніе на нравы русскаго общества. Сумароковъ вель ожесточенную войну противъ ,кропивнаго зелья" — лихоимцевъ; Фонвизинъ казнилъ въ своихъ комедіяхъ дикое невѣжество стараго покольнія и грубый лоскъ поверхностнаго и внъшняго европейскаго полуобразованія новыхъ поколѣній. Сынъ XVIII въка, умный и образованный, фонвизинъ умълъ смъяться, вмъстъ, и весело, и ядовито. Его "Посланіе къ Шумилову" переживеть вев толстыя поэмы того времени. Его письма къ вельмож'в изъ-за-границы, по своему содержанію, несравненно дельнее и важнее "Писемъ Русскаго Имтешественника": читая ихъ, вы чувствуете уже начало французской революціи въ этой страшной картинъ французскаго общества, такъ мастерски нарисованной нашимъ пушественникомъ, хотя, рисуя ее, онъ, какъ и сами французы, далекъ былъ отъ всякаго предчувствія возможности или близости страшнаго переворота. Его исповъдь и юмористическія статейки, его вопросы Екатеринів ІІ, все это исполнено для насъ величайшаго интереса, какъ живая летопись прошедшаго. Языкъ его хотя еще не карамзинскій, однако уже близокъ къ карамзинскому. Но, по предмету нашей статьи, для доросль" и "Бригадиръ". Объ онъ не могутъ назваться комедіями въ художественномъ смыслѣ этого слова: это скоръе илодъ усилія сатиры стать комедіею, но этимъ-то и важны онт. мы видимъ въ нихъ живой моментъ развитія разъ запесенной на Русь иден поэзіп, видимъ ея постепенное стремленіе къ выраженію жизни, действительности. Въ этомъ отношенін самые недостатки комедій Фонвизина дороги для насъ, какъ факты тогдашней общественности. Въ ихъ резонерахъ и добродътельныхъ людяхъ слышится для насъ голосъ умныхъ и благонамфренныхъ людей того времени,—ихъ понятія и образъ мыслеи, созданныя и направленныя съ высоты престола.

Хемипцерь, Вогдановичь и Капинсть тоже принадлежать уже ко второму періоду русской литературы: ихъ языкъ чище, и книжный риторическій педантизмъ замѣтень у нихъ менѣе, чѣмъ у нисателей ломоносовской школы. Хеминцеръ важнѣе остальныхъ двухъ въ исторіи русской литературы: онъ былъ первымъ басиописцемъ русскимъ (ибо притчи Сумарокова едва ли заслуживаютъ уноминовенія), и между его басиями есть нѣсколько истинно прекрасныхъ и по языку, и по стиху, и по напвиому остроумію. Богдановичъ произвелъ фуроръ своею "Душенькою"; современники были отъ нея безъ ума. Для этого достаточно привести, какъ свидѣтельство восторга современниковъ, три слѣдующія надгробія Дмитріева творцу "Душеньки":

1.

Привъсьте къ уриъ сей, о градіи! вънецъ: Здъсь Богдановичъ спитъ, любимый вашъ пъвецъ.

Π.

Въ спокойствін, въ мечтахъ его текли всѣ лѣта, Но онъ внимаемъ быль владычицей полсвѣта. И въ памяти его Россія сохранитъ. Сынъ Феба! возгордись: здѣсь музъ любименъ

Ш.

На руку преклонясь вечернею порою. Амуръ невидимо здѣсь часто слезы льетъ, И мыслитъ, отягченъ тоскою: Кто Душеньку теперь такъ мило воспоетъ?

Ко второму изданію сочиненій Богдановича, вышедшему уже въ 1818 году, приложено множество эпитафій и элегій, написанныхъ во время оно по случаю смерти пѣвца "Душеньки" (а онъ умеръ въ 1802 году). Между ними особенно замѣчательны три. Первая припадлежитъ издателю Платону Бекетову, человѣку умному и не безызвѣстному въ литературѣ, —вотъ она:

Зефиръ ему перо наъ крылъ своихъ давалъ; Амуръ водилъ рукой: онъ Душеньку писалъ.

Вторая написана близкимъ родственникомъ автора "Душеньки", Иваномъ Богдановичемъ:

Не нужно падписьми могилу ту пестрить, Гат Душенька одна все можеть заменить.

Третья принадлежить анониму и написана пофранцузски:

> Quoique bien tu sois l'auteur De ce poëme enchanteur, Tu seras un téméraire, Si tu mets au bas ton nom, Bogdanovitz! pour bien faire Il faut signer Apollon.

Кстати: въ предисловін ко второму изданію сочиненій Богдановича издатель говорить, что пер-

ваго изданія (1809—1810) не успіло разойтись н 200 экземпляровъ, какъ въ Москву вступилъ непріятель: сочиненія Богдановича, разум'єстся, подверглись общей участи всёхъ книгъ въ это смутное время, и потому впоследствін уцелевніе экземпляры перваго изданія сочиненій Богдановича, вмъсто двънадцати рублей, продавались въ книжныхъ лавкахъ по шестидесяти рублей!.. Восторженное удивление къ Богдановичу продолжалось долго. Самъ Пушкинъ съ любовью и увлеченіемъ не разъ делалъ къ нему обращения въ стихахъ своихъ. А между темъ для насъ теперь поэма эта лишена всякаго признака поэтической предести. Стихи ея, необыкновенно гладкіе и легкіе для свосго времени, теперь и тяжелы, и неблагозвучны; наивность разсказа и нёжность чувствъ приторны, а содержание ребячески-ничтожно. И ни въ содержанін, ни въ форм'в "Душеньки" Богдановича п'втъ и тфии поэтическаго мина и пластической красоты эллинской. Что-жъ было причиною восторга современниковъ?-- не что другое, какъ необычайная для того времени легкость стиха, состоявшаго изъ неоднообразнаго количества стопъ, отсутствіе тяжелаго и напыщенно-восторженнаго тона, начинавшаго надобдать; и при этомъ: соблазнительная вольность содержанія картинь, законно допущенная шутливымъ родомъ стихотворенія и льстившая фантазін и чувству читателей.

Каинистъ писалъ оды, между которыми иныя отличались элегическимъ тономъ. Стихъ его отличался необыкновенною легкостью и гладкостью для своего времени. Въ элегическихъ одахъ его слышатся душа и сердце. Но этимъ и оканчиваются всъ достоинства его поэзіи. Онъ часто злоунотреблялъ своею грустью и слезами, ибо грустилъ и плакалъ въ одной и той же одѣ на нѣсколькихъ страницахъ. Капнистъ знаменитъ еще, какъ авторъ комедіи "Ябеда". Это произведеніе незначительно въ пеэтическомъ отношеніи, но припадлежитъ къ исторически-важнымъ явленіямъ русской литературы, какъ смѣлое и рѣшительное нападеніе сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, такъ страшно терзавшія общество прежняго

Теперь мы приблизились къ одной изъ интересивникъ эпохъ русской литературы. Посвянное и насажденное Екатериною II начало возрастать и приносить плоды. Но мъръ того, какъ цивилизація и просв'єщеніе стали утверждаться на Руси, начала распространяться и литературная образованность. Вследствіе этого появленіе преобразовательныхъ талантовъ, имфвинхъ вліяніе на ходъ и направленіе литературы, стало чаще и обыкновеннъе, чъмъ прежде, а новые элементы стали скоръе входить въ литературу. Въ то время, какъ Державинь быль уже въ апогет своей поэтической славы, оставаясь на одномъ и томъ же мёстё, не двигаясь ни взадъ, ни впередъ; въ то время, какъ были еще живы Херасковъ, Нетровъ, Костровъ, Вогдановичь. Княжнинь и Фонвизинь; въ то время. когда еще Крыловъ быль юношею по 21-му году, Жуковскому было только шесть леть оть роду,

Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на свъть, —въ то время одинъ молодой человекъ, 24 леть, отправился за-границу. Это было въ 1789 году, а молодой человѣкъ этотъ быль — Карамзинъ. По возвращени изъ-за-границы онъ надаваль въ 1792 и 1793 годахъ "Московскій Журналъ", въ которомъ помещали свои сочиненія Державинъ и Херасковъ. Въ 1794 году онъ издаль въ двухъ частяхъ альманахъ "Аглая" и альманахъ "Мон Бездёлки" (въ двухъ частяхъ); въ 1797—1799 годахъ онъ напечаталъ три тома "Аонидъ", а въ 1802 и 1803 годахъ издавалъ основанный имъ журналъ "Въстникъ Европы", который въ 1808 году издаваль Жуковскій. Въ 1804 году въ первый разъ была представлена въ Петербурга трагедія Озерова — "Эдинъ въ Аоннахъ"; а въ 1805, 1807 и 1809 годахъ были въ первый разъ представлены его трагедін — "Фингалъ", "Дмитрій Донской" и "Поликсена". Съ 1793 по 1807 годъ начали появляться комедін и другіе драматическіе опыты Крылова, а около 1810 года появились его басин *). Съ 1805 г. начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова.

Карамзинъ имѣлъ огромное вліяніе на русскую литературу. Онъ преобразоваль русскій языкъ, совлекши его съ ходуль латинской конструкцін и тяжелой славянщины и приблизивъ къ живой, естественной, разговорной русской рачи. Своимъ журналомъ, своими статьями о разныхъ предметахъ и повъстями онъ распространяль въ русскомъ обществъ познанія, образованность, вкусъ и охоту къ чтенію. При немъ и вследствіе его вліянія тяжелый педантизмъ и школярство смѣнились сентиментальностью и свътскою легкостью, въ которыхъ много было страннаго, но которыя были важнымъ шагомъ впередъ для литературы и общества. Повъсти его ложны въ поэтическомъ отношенін, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкусъ нублики къ роману, какъ изображенію чувствъ, страстей и событій частной и внутренней жизни людей. Карамзинъ писалъ и стихи. Въ нихъ нътъ поэзін, и они были просто мыслями п чувствованіями умнаго человіка, выраженными въ стихотворной формѣ; но они, простотою своего содержанія, естественностью и правильностью языка, легкостью (по тому времени) версификаціи, новыми и болье свободными формами расположенія, были тоже шагомъ впередъ для русской поэзін.

Но для нея гораздо более сделаль другь и сподвижникъ Карамзина—Дмитріевъ, который быль старше его только пятью годами. Дмитріевъ не быль поэтомъ въ смысле лирика; но его басни и сказки были превоеходными и истинно поэтическими произведеніями для того времени. Пъсни Дмитріева пёжны до приторности—но таковъ быль тогда всеобщій вкусъ. Оды Дмитріева спльно отзываются риторикою; но, песмотря на то, оне были большимъ успёхомъ со стороны русской поэзіи. Гро-

18

^{*)} Въ каталогъ Смирдина не означено перваго изданія басенъ Крылова, а второе вышло въ 1815—1816 годахъ.

мозвучность и пареніе, составлявшія тогда необходимое условіе оды, въ нихъ довольно умфренны, а выражение просто, не говоря уже о правильности языка п тщательной отдёлкъ стиха. Формы одъ Динтріева оригинальны, какъ, напримѣръ, въ "Ермака", гда поэть рашился вывести двухъ сибирскихъ шамановъ, изъ которыхъ старый разсказываеть молодому, при шумѣ волнъ Пртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шероховаты, и непоэтичны, но для своего времени они были превосходны, и отъ нихъ вѣяло духомъ новизны. Что же касается до манеры и тона піесы, -- это было рѣшительное пововведеніе, и Дмитріевъ потому только не быль прозванъ романтикомъ, что тогда не существовало еще этого слова. Вообще въ стихотвореніяхъ Дмитріева, по ихъ форм'є и направленію, русская повія сділала значительный шагь къ сближенію съ простотою и естественностью, словомъ-съ жизнью и действительностью: ибо въ нежно-вздыхательной сентиментальности все же больше жизни и натуры, чъмъ въ книжномъ педантизмъ. Ръчи, которыя поэть влагаеть въ уста шаманамъ, исполнены декламаціею и стараются блистать высокимь слогомъ, --это правда; но мысль---въ жалобахъ и разсказахъ шамана на берегу Иртыша выказать нодвигъ Ермака-это уже не риторическая, а поэтическая мысль. Туть еще нъть поэзін, но есть уже стремленіе къ ней, и видно желаніе проложить для поэзін новые пути. Въ это время въ русской литературъ замътно уже пробуждение духа критицизма. Некоторые старые авторитеты начали уже покачиваться. Въ 1802 году Карамзинъ написалъ статью "Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ". Въ ней ни слова не сказано о живыхъ писателяхъ-о Державинь и Херасковь, ибо это считалось тогда неприличнымъ; также ни слова не сказано о Петровъ, хотя уже со дня смерти его прошло болъе трехъ лёть: можно догадываться, что Карамзинъ не хотёль возстановлять противъ себя почитателей этого поэта, къ которымъ принадлежали всѣ грамотные люди, и въ то же время не хотълъ хвалить его противъ своего убъжденія. Эта литературная уклончивость была въ характеръ Карамзина. Въ "Пантеонъ" было въ первый еще разъ высказано справедлявое суждение о Тредьяковскомъ. Воть что говорить о немъ Карамзинъ:

"Если бы охота и прилежность могли зам'внить дарованіе, кого бы не превзошель Тредьяковскій въ стихотворств'є и краснорічія? Но упрямый Анолтонъ втічно скрывается за облакомъ для самозванцевь-поэтовь и сыплеть лучи свои единственно на тіхъ, которые роднянсь съ его печатью. Не только дарованіе, но и самый вкусь не пріобрътается; и самый вкусь есть дарованіе. Ученіе ображенть, но не производить астора. Тредьяковскій учился во Франціи у славнаго Ролленя; зналь древніе и новые языки; читаль всіхъ лучших авторовь и написаль множество томовь въ доказательство, что онь... не им'єль способности писать".

Сужденіе Карамзина о Сумароков'є мягче и уклончив'є, нежели о Тредьяковскомъ; но т'ємъ не мен'єе

оно было страннымъ приговоромъ колоссальной славъ этого ингмея.

"Сумароковъ еще сильнѣе Ломоносова дѣйствовать на публику, избравъ для себя сферу обширнѣйшую. Подобно Вольтеру, онъ хотѣлъ блистать во многихъ родахъ—и современники называли его нашимъ Расиномъ, Мольеромъ, Лафонтеномъ, Буало. Потомство не такъ думаетъ: но, зная трудность первыхъ опытовъ и невозможность достирнуть вдругъ совершенства, оно съ удовольствіемъ находить многія красоты въ твореніяхъ Сумарокова и не хочетъ быть строимъ критикомъ его недоставникъ въ пълости и надинсь: Великій Сумароковъ!.. Соорудимъ новыя статун, если надобно; не будемъ разрушать тѣхъ, которыя воздвигнуты благородною ревностію отдовъ нашихъ!"

Замъчательно, что Карамзинъ ставилъ въ недостатокъ трагедіямъ Сумарокова то, что "онъ старался болбе описывать чувства, нежели представлять характеры въ ихъ эстетической и правственной истинъ", и что, "называя героевъ своихъ именами древнихъ русскихъ князей, не думаль соображать свойства, дёла и языкъ ихъ съ характеромъ времени". Нельзя не увидъть въ такихъ замъчаніяхъ сужденія необыкновенно умнаго человъка—и великаго шага впередъ со стороны литературы и общества. Правда, Карамзинъ находить многіе стихи въ трагедіяхъ Сумарокова "нъжными и милыми", а иные даже "сильными и разительными"; но не забудемъ, что всякое сознание развивается постепенно, а не родится вдругъ, что Карамзинъ и такъ уже видёлъ неизмёримо дальше литераторовъ старой школы, и, сверхъ того, онъ, можеть быть, боялся, что ему совсемь не повърять, если онъ не скажеть истину вполнъ или не смягчить ея незначительными въ сущности уступками.

Остроумная и ѣдкая сатпра Дмитріева "Чужой Толкъ" также служитъ свидѣтельствомъ возникшаго духа классицизма. Она устремлена противъ громогласнаго "одонѣнія", которое начинало уже досаждать слуху. Поэтъ заставляетъ, въ своей сатпрѣ, говорить одного старика съ такою "любезною простотою дѣдовскихъ временъ":

Что за диковинка? лътъ двадцать ужъ прошло, Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело, Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ, А ни себъ, ни нмъ похвалъ нигдъ не слышимъ! Ужели выдаль Фебъ свой именной указъ, Чтобъ не дерзалъ никто надъяться изъ насъ Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратьи равнымъ, И столько-жь, какъ они, во пъсноивные славнымъ: Какъ думаешь!.. Вчера случилось мит сличать И нхъ, и нашу пъснь: въ нхъ... нечего читать! Листочекъ, много три, а любо какъ читаешь-He знаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь! Судя по краткости, увъремъ, что они Писали ихъ ръзвясь, а не четыре дни; То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счастливъй, Когда мы во сто разъ прилежнъй, терпъливъй? Въдь нашъ начнетъ писать, то всъ забавы прочь! Надъ парою стиховъ просиживаетъ ночь, Пответь, думаеть, чертить и жжеть бумагу; А иногда береть такую онь отвату, Что цълый годъ сидить надъ одою одной! И подлинно, ужь весь приложить разумъ свой!

Ужъ прямо самал торжественная ода! Я не могу сказать, какого это рода. Но очень полная—нная въ двъсти строфъ! Судите-жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стишковъ! Къ тому-жъ, и въ правилахъ: сперва прочтешь вступленье.

Тутъ предложеніе, а тамъ и заключенье—
Точь-въ-точь какъ говорятъ учены по перквамъ!
Со всёмъ тёмъ нётъ читать охоты—вижу самъ.
Возьму ли, напримёръ, я оды на поб'яды,
Какъ покорили Крымъ, какъ въ мор'я гибли шведы!
Вст туть подробности сраженья нахожу,
Глаб было, какъ, когда,—короче я скажу:
Въ стихахъ реляція! прекрасно!.. а з'яваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздникъ, иль на что подобное тому:
Тутъ найдешь то, чего-бъ нехитрому уму
Не выдумать и вв'якъ: зари багряны переты,
И райскій крикъ, и Фебъ, и небсса отверсты!
Такъ громко, высоко!.. а н'ятъ, не веселитъ
И сердца, такъ сказать, ничуть не шевелитъ.

Одинъ изъ собесъдниковъ берется объяснить старику причину такого грустнаго явленья. Эта причина, увы! и теперь еще не совсъмъ состарълась, и теперь еще не совсъмъ анахронизмъ! Слушайте:

Я самъ языкъ боговъ, поэзію люблю ІІ нашей, какъ и вы, утвшенъ такъ же мало; Однако-жъ здёсь въ Москвѣ толкался я не мало Межъ нашихъ Пиндаровъ и всёхъ ихъ замъчалъ: Большая часть изъ инхъ—лейбъ-гвардіи капралъ, Асессоръ, офицеръ, какой-инбудь подьячій, Иль изъ кунстъ-камеры антикъ въ иыли ходячій, Уродовъ стражъ — народъ все нужный, должностной...

А вотъ и объяснение причины дъятельности на-

Къ тому-жъ у древнихъ цёль была, у насъ другая: Горацій, напримёръ, восторгомъ грудь питая, Чего желаль? О, онъ—онь бралъ не свысока: Въ въкахъ беземертія, а въ Римъ лишь вънка Изъ лавровъ, иль изъ мирть, чтобъ Делія сказала: "Онъ славенъ,—чрезъ него и я беземертна стала!" А нашихъ миогихъ цёль: иль дружество съ князъ-

Который отъ роду не читывалъ другова, Кромъ придворнаго подчасъ мъсяцеслова, Изъ похвала своихъ пріятелей, а пмъ Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

Принисывая пеуспёхи наших поэтовъ убъжденію, что если у кого есть природный даръ, тоть имбетъ право ничему не учиться и быть невъждою,— влой аристархъ презабавно описываеть, какъ писались встарину громкія оды:

И вотъ какъ писываль поэть природный оду: Лишь пушекъ громъ подастъ пріятну въсть народу, Что Римникскій Алкидъ поляковъ разгромиль, Иль Ферзенъ ихъ вождя Костюшку полонилъ— Онъ тотчасъ за перо и разомъ вывелъ: ода! Потомъ въ одинъ присъсть: такого дня и года! "Тутъ какъ?.. Илю!.. Иль нъть, уже это старина. "Не лучше-ль: дажедь мит, Фебз!.. Иль такъ: не ты одна

"Нодпала подъ пяту, о чалмоносна Норта? "Но что же мив прибрать къ ней въ риему, кромв

"Нѣть, нѣть, не хорошо: я лучше поброжу "И воздухомъ себя открытымъ освѣжу". Пошель н на пути такъ въ мысляхъ разсуждаеть: "Начало никогда пввиовь не устрашаеть; "Что кочешь, то мели! Воть штука, какъ квалить "Героя-то придеть! Не знаю, съ къмъ сравнить? "Съ Румянцевымъ его, иль съ Грейгомъ, иль съ Орловымъ?

"Какъ жаль, что древнихъ я не читывалъ! а съ новымъ--

"Не ловко что-то все!—Да просто напишу:
"Липуй, герой! липуй! герой ты! возглашу.
"Нзрядно! туть же что? Туть надобень восторгь.
"Скажу: кто завису мню впиности расторгь?
"И вижу молній блескъ! Я слышу съ горня секта
"И то, и то... А тамь, навъстно, многи люта!
"Бравнеснмо! и плань, и мысли,—все ужъ есть!
"Да здравствуеть поэть! Осталося приевсть!—
"Да только написать, да и печатать смъло!"
Бъжнтъ на свой чердакъ, чертить,—и въ шлянъ
дъло!

И оду ужъ его тисненью предають, И въ одъ ужъ его намъ ваксу продають. Вотъ какъ пиндарилъ онъ, и веъ ему подобны, Едва ли вывъски надписывать способны!

Право, не дурио было бы, если-бъ какой-нибудь даровитый поэтъ нашего времени написалъ современный "Чужой Толкъ" и объяснилъ, какъ пишутся теперь романы, повъсти и "патріотическія драмы"...

Дмитріевъ ваставляеть, въ своей сатирѣ, говорить илохого стихотворца—

Ною!.. иль ийть, ужь это старина!

А между тыть это "пою", вмысты съ "лирою", такъ часто попадается и въ стихахъ самого Дмитріева, и въ стихахъ Карамзина. Это перешло отъ ппсателей предшествовавшихъ двухъ школъ—ломоносовской и державинской, которыя подъ "литературою" разумыли и "пыснопыне": кто бы что бы ни пнеалъ, — въ стихахъ, или въ прозъ, — онъ пыль, а не нисалъ. Державинъ, въ стихотвореніи своемъ "Прогулка въ Царскомъ Сель", дълаетъ такое обращеніе къ Карамзину:

И ты, сидя при розѣ, Такъ, дней весеннихъ сынъ, Пой, Карамяннъ!—и въ прозѣ Гласъ слышенъ соловьинъ.

Въ стихотвореніяхъ Дмитріева и Карамзина русская поэзія сділала значительный шагь впередь, и со стороны направленія, и со стороны формы; но изъ-подъ риторическаго вліянія далеко еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, устченія, пінтическія вольности и болье или менье прозаическая фактура только ослабились въ ней, но не исчезли; они удержались въ ней по преданію, которое дошло даже и до Пушкина, какъ увидимъ это послъ. Но важно то, что если поэзія и удержала риторическій характерь, зато какь она, такъ н вообще беллетристика русская пріобрѣли новый характеръ вследствіе направленія, даннаго имъ Караманнымъ и Дмитріевымъ: мы говоримъ о се нтиментальности. Не Карамзинъ съ Дмитріевымъ изобрели ее; они только привили ее къ русской литературъ. Она преобладала въ литературь и въ нравахъ всей Европы XVII и XVIII въка. Насчеть сентиментальности много можно сказать

смъшного и забавнаго; но мы хотимъ судить о ней, а не потвшаться ею. Она-важное явленіе въ отношенін къ историческому развитію человічества, котораго процессъ всегда совершается нереходами изъ крайности въ крайность. Феодальная дикость и грубость правовъ Европы среднихъ ваковъ совершенно исчезли только при Людовика XIV — представителѣ новаго, противоположнаго эпохѣ рыцарства времени; но, исчезнувъ, эта феодальная дикость, естественно, уступила мъсто изнъженности чувствъ. Мужчины и женщины исчезли: ихъ заменили пастушки и пастушки, поэты вздыхали, охали и ахали, красавицы стонали, какъ горлинки, madame Дезульеръ восиввала барашковъ и голубковъ, наивно завидуя ихъ праву любиться открыто, не стыдясь добрыхъ людей. Это вздыхательное и чувствительное направление существовало въ Европф до тфхъ самыхъ поръ, какъ страшныя бури и грозныя волненія политическія, разразившіяся надъ нею въ концѣ прошлаго вѣка, не измънили ея характера и правовъ. Россія не знала возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814 года, и результаты этого новаго знакомства обнаружились въ ея литературъ только со времени появленія Нушкина и начала войны романтизма съ классицизмомъ. До того же времени наши поэты и литераторы продолжали поклоняться старымъ авторитетамъ: Мерзляковъ критиковалъ съ голоса Лагариа и переводилъ идилліи madame Пезульеръ; Озеровъ подражалъ Расину; въ Крыловъ видъли подражателя Лафонтена; Батюшковъ низкопоклонинчаль передъ какимъ-нибудь Парии, котораго далеко превосходиль талантомъ; Жуковскій вполовину шель особымь путемь, вполовину покорялся вліянію карамзинской школы. Итакъ, русская литература познакомилась и сошлась съ европейскою сентиментальностію почти въ ту минуту, какъ Европа навсегда разсталась съ своею сентиментальностію. Эта встрвча была необходима и полезна для русской литературы и нравовъ ся общества. Въ Европъ сентиментальность смънила феодальную грубость нравовъ; у насъ она должна была смінить остатки грубыхъ нравовъ до-петровской эпохи. Это понятно тамъ, гдъ не только просвъщение и литература, но и общительность, и любовь были нововведеніемъ. Сентиментальность, какъ раздражительность грубыхъ нервовъ, разслабленныхъ и утонченныхъ образованіемъ, выразила собою моменть ощущенія (sensation) въ русской литературъ, которая до того времени носила на себъ характеръ книжности. Смъшны теперь намъ эти романическія имена: Нина, Каллиста, Леонія, Эмилія, Лиллета, Леонъ, Милонъ, Модестъ, Эрастъ; но въ свое время они имѣли глубокій смыслъ: въ нихъ выразилась человъческая наплонность къ романической мечтательности, къ жизни сердцемъ. Въ лицъ Карамзина русское общество обрадовалось, въ первый разъ узнавъ, что у него, этого общества, есть душа и сердце, способныя къ пъжнымъ движеніямъ. Это называлось тогда .. наслаждаться чувствительностью". Кто могь илакать въ умиленіи отъ пъсни Дмитріева "Стонетъ

сизый голубочекъ", тотъ, конечно, понималъ поэзію лучше того, кто видель ее только въ торжественныхъ одахъ на разныя иллюминаціи. Поэзія предшествовавшей школы пугала женщинь, а стихи Дмитріева, Карамзина и Нелединскаго-Мелецкаго женщины знали наизусть, ими воспитывались цѣлыя покольнія. Карамзина читали всь грамотные люди, претендовавшіе на образованность; многихъ изъ нихъ только Карамзинъ и могъ заставить приняться за чтеніе книгь и полюбить это занятіе,

какъ пріятное и полезное.

Въ одинъ годъ съ Карамзинымъ (1765) родился Макаровъ, человъкъ, которому суждено было играть въ русской литературъ роль созвъздія Карамзина, хотя они и не были знакомы другъ съ другомъ. Въ 1803 году Макаровъ издавалъ журналъ "Московскій Меркурій", статьи котораго отличались такимъ же направленіемъ и такимъ же языкомъ, какъ и статьи Карамзина. Макаровъ былъ одаренъ вкусомъ, талантами, путешествовалъ по Европт и вообще принадлежаль къ умнъйшимъ и образованивинимъ людямъ своего времени. Сравните его разборъ сочиненій Дмитріева и разборъ Карамзина "Душеньки" Богдановича: оба эти разбора писаны какъ будто однимъ и темъ же человекомъ. Макаровъ защищалъ Карамзина противъ извъстнаго въ то время фанатического пуризма русского языка. Выступиль Макаровъ на поприще литературы въ 1795 году, съ прекраснымъ переводомъ, впрочемъ, посредственнаго романа "Графъ де-Сентъ-Меранъ, или Новыя Заблужденія Ума и Сердца". Онъ же перевель двѣ первыя части "Антеноровыхъ Путешествій по Греціи и Азіп" Лантье, изданныя имъ въ 1802 г. Къ сожальнію, этоть примычательный человъть не долго жилъ: онъ умеръ въ 1804 году.

Капинстъ, по вліянію на него Карамзина, долженъ быть причтенъ къ числу писателей карамзинской школы, въ которой замъчательны также: Подшиваловъ и Бенитскій, хорошіе прозапки; Нелединскій-Мелецкій, прославившійся и жиными пфснями, въ которыхъ много непритворной чувствительности; Долгорукій, издававшій свои стихотворенія подъ сентиментальнымъ титуломъ "Бытіе Моего Сердца", поэтъ чувствительный и сатирическій, нерѣдко отличавшійся неподдѣльнымъ русскимъ юморомъ; Милоновъ, вамечательный сатирикъ; Воейковъ, стихотворецъ, переводчикъ эклогъ Виргилія, описательныхъ поэмъ Делиля, обезсмертившій себя однимъ изв'єстнымъ въ рукописи стихотвореніемъ, потомъ журналисть, прославивнійся полемикою; Кокошкинъ и Хмѣльницкій, переводчики и подражатели Мольера; Василій Пушкинъ, стихотворець, и Владимірь Измайловь, прозанкь.

Озеровъ и Крыловъ являются, особенно последній, самостоятельными діятелями въ карамзинскомъ період'в нашей литературы, хотя и принадлежать къ школъ преобразователя русскаго языка. Нослѣ Сумарокова на поприщѣ драматической литературы со славою подвизался Кияжнинъ. У него не было самостоятельнаго таланта, но какъ онъ быль человъкъ умный, образованный, знавшій пностранные языки и хорошо владфвшій русскимъ,-

то и пользовался съ успѣхомъ богатою транезою французскаго театра, леня свои трагедін и комедін изъ отрывковъ французскихъ драматурговъ, которые переводиль почти слово въ слово. Сочиненія этого трудолюбиваго писателя представляють собою значительный усибхъ русской драматической поэзін, со стороны вкуса и языка: онъ далеко оставилъ за собою предшественника своего Сумарокова. Но еще дальше его самого оставиль за собою Озеровъ. Это быль таланть положительный, и появление его было эпохою въ русской литературъ, которая имѣла въ немъ своего Расина. Неспособный рисовать страсти и характеры, онъ увлекаль живымъ изображеніемъ чувствъ. Трагедія его-сколокъ съ французской, и потому не удивительно, что теперь онъ забыть театромъ совершенно, и его не играють и не читають; но въ исторіи русской литературы онъ никогда не будетъ забытъ. Языкъ русскій, въ трагедіяхъ Озерова, сдёлалъ большой шагъ впередъ. Въ одно время съ Озеровымъ явился Крюковскій, котораго трагедія "Пожарскій" имьла необыкновенный усижхъ, но не по литературному достоинству, а по похвальнымъ чувствамъ натріотизма, которыя не могли не пробудить сочувствія въ эпоху борьбы Россіп съ Наполеономъ.

Крыловъписалъ комедін весьма замѣчательныя по остроумію; но слава его, какъ баснописца, не могла не затмить его славы, какъ комика. Крыловъ далеко оставилъ за собою и Хемницера, и Дмитріева, и достигь въ баси возможнаго совершенства. Басни Крылова — сокровищница русскаго практическаго смысла, русскаго остроумія и юмора, русскаго разговорнаго языка; онъ отличаются и простодушіемь, и народностью. Крыловъ вполнъ народный инсатель, и теперь уже воспитатель не менье тридцати покольній. Басня, какъ родъ поэзін, довольно ложный родъ; ея явленіе возможно только у народа, находящагося еще въ младенчествъ, и потому ея родина-Востокъ. У грековъ она во-время явилась съ Эзопомъ. Французы, хотевше въ литературе во всемъ подражать древнимъ, ръшили, что у нихъ должна быть басня, потому что она была у грековъ; а мы, русскіе, во всемъ подражавшіе французамъ, ръшили, что и у насъ должна быть басня, потому что у французовъ есть басия. Впрочемъ, у насъ басня явилась съ Хемипцеромъ болфе кстати и болъе во-время, чъмъ у французовъ явилась она съ Лафонтеномъ. Этотъ ложный родъ удивительно привился къ французской литературъ и получиль тамъ особенную народную форму; баснъ посчастливилось и у насъ: во Франціи она имала Лафонтена, у насъ-Крылова, а за это ей можно простить ея ложность, какъ рода поэзіп. Знатоки говорять, что архитектура во вкуст рококо-ложная архитектура; положимъ, такъ; но Растрелли тѣмъ не менже великій художникъ. Чёмъ бы ин была басия, но Лафонтенъ и Крыловъ по справедливости составляють славу и гордость своихъ отечественныхъ литературъ.

Мы выше сказали, что съ 1805 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюнкова. Каждый изъ этихъ поэтовъ соста-

вляль собою школу въ русской литературъ и вносиль въ нее новые элементы жизни; но явленіе обоихъ мало было чувствуемо въ продолженіе карамзинскаго періода; настоящая пора ихъ дъятельности началась послѣ знаменитаго 1814 года: тогда и вліяніе ихъ стало ощутительнѣе.

[Отечественныя Записки. Томъ ХХУШ, 1843 г.].

H.

Карамзинъ и его заслуги.—Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковскій и Ватюшковъ.—Значеніе романтизма и его историческое развитіе.

Карамзинымъ началась новая эпоха русской литературы. Преобразованіе языка отнюдь не составляеть исключительнаго характера этой эпохи, какъ думаютъ многіе. Какъ бы'ни была велика реформа, произведенная къмъ-нибудь, или сама собою пропсшедшая въ языкѣ, — она никогда не можетъ быть фактомъ особенной важности. Языкъ, взятый самь по себь, есть только посредствующій матеріаль, и его движеніе можеть быть только формальное. По всегда важно движение языка вследствіе движенія мысли: и воть гдѣ важность реформы, произведенной Карамзинымъ, и вотъ почему Карамзину принадлежить честь основанія новой эпохи русской литературы. Карамзинъ ввелъ русскую литературу въ сферу новыхъ идей, — и преобразованіе языка было уже необходимымъ слѣдствіемь этого дёла. Загляните въ журналы, въ романы, въ трагедін и вообще стихотворенія энохи, предшествовавшей Карамзину: вы увидите въ нихъ какую-то стоячесть мысли, книжность, недантизмъ и риторику, отсутствие всякой живой связи съ жизнію. Карамзинъ первый на Руси замінилъ мертвый языкъ книги живымъ языкомъ общества. До Карамзина у насъ, на Руси, думали, что книги пишутся и печатаются для однихъ "ученыхъ", и что неученому почти такъ же не пристало брать въ руки книгу, какъ профессору танцовать. Оттого содержание книгъ, по тогдашнему мижнию, полжно было быть какъ можно более важнымъ и дельнымь, т. е. какъ можно более тяжелымъ и скучнымъ, сухимъ и мертвымъ. Болъе всъхъ подходиль тогда къ идеалу великаго поэта-Херасковъ, потому что быль тяжель и скучень до невыносимости. Онъ воспёль, въ двухъ огромныхъ поэмахъ, два важныя событія изъ русской исторіи, и воспълъ ихъ, не справляясь съ исторіею, не стараясь быть ей върнымъ. Исторіи русской онъ даже и не зналь фактически. Россія освободилась отъ татарскаго ига не какимъ-нибудь рѣшительнымъ ударомъ, который бы нанесенъ былъ татарамъ соединенными силами всей Руси, мгновенно и мощно возставшей противъ общаго врага. Куликовская битва осталась безъ рёшительныхъ послёдствій: по крайней мъръ, она не помъшала татарамъ выжечь Москву; въ царствованіе же Іоанна III не было никакой великой военной битвы съ татарами, хотя и была битва, такъ сказать, дипломатическая. Татарское вго распалось само собою, вследствіе внутренняго разслабленія царства Батыя. Н потому русская исторія никого не можеть назвать освободителемъ земли русской отъ ига татарскаго. Іоаннъ Грозный, взятіемъ Казани и Астрахани, только добиль остатки издыхающаго монгольскаго чудовища. Но Хераскову нуженъ былъ герой для его поэмы, потому что безъ героя не бываеть поэмы. И онъ нашелъ его въ Іоанит Грозномъ, простодушно смѣшавъ его съ Тоанномъ III, въ царствованіе котораго была торжественно сознана независимость Руси оть татаръ. "Ученые" того времени были безъ ума отъ поэмы Хераскова; они внали ее чуть не наизусть, -- а теперь всякій счель бы за подвигь, если бы ему удалось осилить чтеніемъ отъ начала до конца это тяжелое, стопудовое произведение. Не удовольствовавшись поэмою, Херасковъ не хотъль лишить своихъ читателей и романа: онъ написалъ романъ "Кадмъ и Гармонія" и "Полидоръ, сынъ Кадма и Гармонін". Но, Боже мой, что-жъ это быль за романь? Аллегорическое одицетворение гонимой и подъ конецъ торжествующей добродётели, образы безъ лицъ, событія безъ пространства и времени! Но потому-то это и быль романь въ духѣ своего времени, романъ, который могли читать и "ученые", не унижая своего достоинства, -- и потому же романы этп названы были "поэмами". Карамзинъ первый на Руси началь писать повъсти, которыя заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантовъ, -- повъсти, въ которыхъ дъйствовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновеннаго, повседневнаго быта. Конечно, въ такихъ повъстяхъ, какъ "Бъдная Лиза", "Наталья Боярская Дочь", "Островъ Борнгольмь" Рыцарь Нашего Времени", "Чувствительный и Великодушный" и проч., никто не будеть теперь нскать творческаго воспроизведенія действительности, никто не будеть читать ихъ, какъ художественныя произведенія, ради эстетическаго наслажденія, никто не будеть ими восхищаться; но, вмёстё съ тёмъ, никто изъ мыслящихъ людей не скажеть, чтобъ въ повъстяхъ Карамзина не было своего неотъемлемаго интереса и для нашего времени,---интереса историческаго. Чуждыя творчества, он'в все-таки не чужды таланта, ума, одушевленія, чувства, - и въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, върно отражается жизнь сердца, какъ ее понимали, какъ она существовала для людей того времени. Что же касается до художественности, -- требовать ся отъ повъстей Карамзина было бы несправедливо и странно, сколько потому, что Карамзинъ не быль поэтомъ и не обнаруживаль особенныхъ притязаній на таланть поэтическій, столько и потому, что въ его время даже въ Европъ не существовало романа и повъсти, какъ художественнаго произведенія. XVIII вѣкъ создаль себѣ свой романь, въ которомъ выразиль себя въ особенной, только одному ему свойственной формь: философскія пов'єсти Вольтера и юмористическіе разсьазы Свифта и Стерна — вотъ истинный романъ

XVIII въка. "Новая Элонза" Руссо выразила собою другую сторону этого въка отрицанія и сомифия-сторону сердца, и потому она казаласт больше пророчествомъ будущаго, чемъ выражениемъ настоящаго, — и многіе изъ людей того времени (въ томъ числе и Карамзинъ) видели въ "Новой Элонзъ" только одну сентиментальность, которою одною и восхищались. Въ остроумныхъ романахъ француза Пиго-Лебрёна и и вища Крамера въеть преобладающій духъ XVIII въка. Но въ особенномъ ходу и въ особенномъ уважении у толны были въ прошломъ въкт романы Радклейфъ, Дюкре-дю-Мениля, мадамъ Жанли, мадамъ Коттэнъ, и т. и. Надо признаться, что, по таланту, Карамзинъ не былъ ниже этихъ людей, и если не дальше, то и не ближе ихъ виделъ. Переводомъ повестен Мармонтеля и ифкоторыхъ повъстей Жанли Карамзинъ оказалъ русскому обществу столь же важную услугу, какъ и своими собственными пов'встями. Это значило ни больше, ни меньше, какъ познакомить русское общество съ чувствами, образомъ мыслей, а събдовательно и съ образомъ выраженія образованивишаго общества въ мірв. Новыя иден, естественно, требовали и новаго языка. Карамзина обвиняли въ галлицизмахъ выраженій, не видя того, что, если это была вина съ его стороны, то прежде всего его должно было обвинять въ галлицизмахъ мыслей, -- но въ этомъ былъ виновать не онь, а та всемірно-историческая роль, которая назначена міродержавнымъ промысломъ французскому пароду, и которая даетъ ему такое нравственное вліяніе на всѣ другіе народы цивилизованнаго міра. Скорфе должно поставить въ великую заслугу Карамзину его галломанство: черезъ него ожила наша литература. Если бы Карамзинъ быль только преобразователемъ языка (не будучи прежде всего нововводителемъ идей), онъ ограничился бы только отрицаніемь устарізлых словъ и выраженій, большею чистотою и отделкою въ форма, но складъ рфчи, -- словомъ, слогъ его остался бы ломоносовскимъ, и онъ не былъ бы создателемъ современнаго новаго языка. Въ этомъ отношенін языкъ Фонвизина ръзко отделяется отъ языка ломоносовскаго и близко подходить къ языку карамзинскому; но темъ не менее Фонвизинъ относится къ писателямъ ломоносовскаго періода русской литературы и нисколько не можетъ считаться преобразователемъ русскаго языка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ не понимаетъ Карамзина и не умъетъ достойно опънить его подвига, кто думаеть въ немъ видъть только преобразователя и обновителя русскаго языка. Это значить унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзинъ создалъ на Руси образованный литературный языкъ, и создаль потому, что Караманнь быль нервый на Русп образованный литераторт, а нервымъ образованнымъ литераторомъ сделался онъ потому, что научился у французовъ мыслить и чувствовать, какъ следуеть образованному человеку. "Нисьма Русскаго Путешественника", въ которыхъ онъ такъ живо и увлекательно разсказалъ о своемъ знакомствъ съ Европою, легко и пріятно по-

знакомили съ этою Европою русское общество. Въ этомъ отношеніи "Инсьма Русскаго Путешественника"-произведение великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость ихъ содержанія: нбо великое не всегда только то, что само по себф дъйствительно велико, но пногда и то, что достигаеть великой цёли, какимь бы то ни было путемъ и средствомъ. Можно сказать съ увфренностію, что именно своей легкости и поверхности обязаны "Письма Русскаго Путешественника" своимъ великимъ вліяніемъ на современную имъ публику: эта публика не была еще готова для интересовъ болье важныхъ и болье глубокихъ. Въ своемъ "Московскомъ Журналъ", а нотомъ въ "Въстникъ Европы" Карамзинъ первый далъ русской публикъ истинно журнальное чтепіе, гдъ все соответствовало одно другому: выборъ піесь-ихъ слогу, оригинальныя піесы-переводнымъ, современность и разнообразіе интересовъ-ум'внію передать ихъ занимательно и живо, и гдѣ были не только образцы легкаго свътскаго чтенія, но и образцы литературной критики, и образцы уменія следить за современными политическими событіями и передавать ихъ увлекательно. Вездё и во всемъ Карамзинъ является не только преобразователемъ, но п начинателемъ, творцомъ. Сама "Исторія Государства Россійскаго" — этоть важивишій трудь его-есть не что иное, какъ начало, первый основной камень зданія историческаго изученія, историческихъ трудовъ въ Россін. "Исторія Государства Россійскаго" не есть исторія Россін: это скорфе нсторія московскаго государства, ошибочно принятаго историкомь за какой-то высшій идеаль всякаго государства. Слогъ ея не историческій: это скорже слогь поэмы, ипсанной мерною прозою, поэмы, типъ которой принадлежить XVIII въку. Тъмъ не менъе безъ Карамзина русскіе не знали бы исторіи своего отечества, пбо не им'вли бы возможности смотръть на нее критически. Какъ первый опыть, написанный даровитымъ литераторомъ, "Исторія Государства Россійскаго" — твореніе великое, котораго достопиство и важность инкогда не уничтожатся: вытёсненная историческою и философскою критикою изъ рода твореній, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества, "Исторія" Карамзина навсегда останется великимъ памятникомъ въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературы русской исторіи.

Есть два рода дѣятелей на всякомъ поприщѣ: одни своими дѣламп творять новую эпоху, дѣйствують на будущее; другіе дѣйствують въ настоящемь и для настоящемь. Первые бывають не признаны, не поняты, не оцѣнены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; ихъ апофеоза создается въ будущемъ, когда уже самыя кости ихъ истлѣють въ могилѣ; вторые—всегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженые, превознесенные и стастливые при жизни своей, они получають уже совсѣмъ не то значеніе послѣ ихъ смерти, а иногдъ и переживають свою славу. Безъ сомнѣнія, первые выше вторыхъ, ибо

это натуры великія и геніальныя, тогда какъ вторые-только сильно и ярко даровитыя натуры. Первые, если они действують на литературномъ поприща, заващевають потомству творенія вачныя, неумирающія; вторые-пишуть для своихъ современниковъ, и ихъ произведения для будущихъ покольній получають уже не безусловное, но только историческое значеніе, какъ намятника изв'встной эпохи. Къ числу дѣятелей второго разряда принадлежить Карамзинъ... Это мижніе выговаривается не въ первый разъ, и не нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало противъ себя живое противодъйствіе; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще не было людей, которымь оно кранко не по душа. Этихъ людей можно раздалить на два разряда. Къ первому принадлежать еще оставинеся досель въ живыхъ современники Карамзина, видевшіе или разсветь его славы, или помнящіе аногею его славы. Застигнутые потокомъ новаго, они, естественно, остались втрии тьмь первымь, живымь впечатльніямь своего лучшаго возраста жизни, которыя обыкновенно р'вшають участь человька, разъ навсегда заключая его въ извъстную правственную форму. Эти люди, живущіе намятью сердца, не могуть выйти изъ убъжденія, что Карамзинь быль великій геній, и что его творенія вічны и равно свіжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для протедшаго. Это-заблужденіе, но такое заблужденіе, которому нельзя отказать не только въ уваженіи, но и въ участін, ибо оно выходить изъ памяти сердца, всегда святой и почтенной. Внолиф цина н уважая великій подвигь Карамзина, мы темъ не менте хотимь видть дтло въ настоящемъ свътъ и его истинныхъ границахъ, не умаляя и не преувеличивая; и потому не можемъ читать этихъ стиховъ съ восторгомъ людей, проникнутыхъ сердечнымъ върованіемъ въ непреложную истинность ихъ мысли:

Лежитъ вънецъ на мраморт могилы; Ей молится Россіи върный сынъ; И будитъ въ немъ для дълъ прекрасныхъ силы Святое имя: Карамзинъ *).

Но въ то же время мы далеки и отъ всякаго непріязненнаго чувства, которое производится противоположностію уб'єжденій и которое, естественно, могло бы быть вызвано въ насъ этими стихами: мы не только понимаемъ, но и уважаемъ источникъ этого восторга, не совсёмъ согласнаго съ дѣйствительностію факта. Поэтъ выше говоритъ о "лучшемъ времени своей жизни":

О! въ эти дни, какъ райское видвиье, Быль съ нами онг, теперь ужъ не земной, Онъ, для меня живое провидънье, Онг, съ юности товарищъ твой. О! какъ при немъ все сердце разгоралось! Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ! Въ младенческой душт его, казалось, Небесный ангелъ обиталъ!

Эти стихи напоминають намъ другіе, еще болфе трогающіе насъ:

^{*) &}quot;Стихотворенія Жуковскаго". Т. VI, стр. 30.

Сыны другого покольнья,
Мы въ новомъ—прошлогодній цвътъ;
Живыхъ намъ чужды впечатльнья,
А нашимъ въ нихъ сочувствій пѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстямъ ихъ—насъ не волновать!
Ихъ не было тамъ, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать!
Нашъ міръ—ниъ храмъ опустошенный,
Имъ баснословье—наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный,
Для нихъ одна нѣмая пыль.
Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутіп живыхъ
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный
Среди обителей людскихъ *).

Грустное положеніе! но таковъ законъ историческаго хода времени. Рано или поздно, онъ постигаеть, въ свою очередь, каждое покольніе!

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой, поколёнья, По тайной волё провидёнья, Восходять, зрёють и падуть; Другія имъ вослёдь идуть... Такъ наше вётренное племя Растеть, волнуется, кипить И къ гробу праотцевъ тёснить. Придеть, придеть и наше время,—И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытёснять и насъ.

Въ этомъ болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ, открывается трагическая сторона жизни и ея пронія. Прежде физической старости и физической смерти постигаеть человака нравственная старость и смерть. Исключение изъ этого правила остается слинкомъ за немногими... И благо тъмъ, которые умѣютъ и въ зиму дней своихъ сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствіе ко всему великому и прекрасному бытія,которые, съ умиленіемъ вспоминая о лучшемъ своемъ времени, не считаютъ себя, среди кипучей, движущейся жизни современной действительности, какими-то заклятыми тенями прошедшаго, но чувствують себя въ живой, родственной связи съ настоящимъ и благословеніями привътствуютъ свътлую зарю будущаго... Благо имъ, этимъ въчно юнымъ стардамъ! не только свѣжее утро и знойный полдень блестять для нихъ на небъ: Господь высылаеть имъ и успоконтельный вечеръ, да отдохнутъ они въ его кроткомъ величіи...

Какъ бы то ни было, но свътлое торжество побъды новаго надъ старымъ да не омрачится никогда жестокимъ словомъ или горькимъ чувствомъ враждебности противъ падпихъ. Нобъжденнымъ состраданіе, за какую бы причину ни была проиграна ими битва! Надшій въ борьбъ противъ духа времени заслуживаетъ больше сожалѣнія, нежели проигравшій всякую другую битву. Признавшій надъ собою побъдителемъ духъ времени заслуживаетъ больше, чъмъ сожалѣнія, — заслуживаетъ уваженіе и участіе, —и мы должны не только оставить его въ покоѣ оплакивать предшедшихъ героевъ его времени и не возмущать насмѣшливою улыбкою его священной скорби, но и благоговъйно остановиться передъ нею...

Другое дело-те сленые поклонники старыхъ авторитетовъ, которые видять одинъ фактъ, не понимая его идеи, стоять за имя, не зная, какое значение привязать къ нему, и для которыхъ дороги только старыя имена, какъ для нумизматовъ дороги только истертыя монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Воть они-то и составляють тоть второй разрядь безусловныхъ поклонниковъ старыхъ авторитетовъ. Для нихъ и Шекспирътитанъ творческой силы, и Ломоносовъ—также титанъ творческой силы; а почему?—потому что оба эти имени-имена уже старыя, къ которымъ они, педанты и старовфры литературные, давно уже прислушались и привыкли. По той же самой причинъ для нихъ возмутительно видъть имена Карамзина и Лермонтова, поставленныя рядомъ: справясь съ литературною табелью о рангахъ, они видять большую разницу---не въ характеръ дъятельности, не въ родъ таланта Карамзина и Лермонтова, а въ лѣтахъ и титлахъ этихъ писателей, и говорять о последнемы: "куда ему-молодъ больно!" Равнымъ образомъ они убъждены, въ простотв ума и сердца, что творенія Карамзина не только по формѣ, но и по содержанію ихъ, могутъ для нашего времени имъть такой же интересъ, какой имъли они для своего времени. Разумъется, эти педанты и буквойды не стоятъ ни возраженій, ни споровъ, и можно оставлять безъ отвъта ихъ задорные крики. Что бы ни говорили они, для всъхъ мыслящихъ людей ясно, какъ день Божій, что творенія Карамзина могутъ теперь составлять только болье или менье любопытный предметь изученія въ исторіи русскаго языка, русской литературы, русской общественности, но уже нисколько не имъють, для настоящаго времени, того интереса, который заставляетъ читать и перечитывать великихъ самобытныхъ писателей. Въ сочиненіяхъ Карамзина все чуждо нашему времени--- и чувства, и мысли, и слогъ, и самый языкъ. Во всемъ этомъ ничего нътъ нашего, и все это навсегда умерло для насъ.

Д'вятельность Карамзина была по преимуществу дъятельность литератора, а не поэта, не ученаго. Онъ создалъ русскую публику, которой до него не было: подъ "публикою" мы разумфемъ извфстный кругъ читателей. До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все немногое, нашисанное до него, несмотря на свои хорошія стороны, было ужасно тяжело и торжественно, и годилось для однихъ "ученыхъ", а не для общества. Карамзинъ умълъ заохотить русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ. Какъ мы замѣтили выше, въ этомъ помогъ ему не новый, созданный имъ языкъ, а французское направленіе, которому подчинился Карамзинъ, и котораго необходимымъ следствіемъ быль его легкій и пріятный языкъ. Въ первой статьт мы уже упоминали о Дмитріевъ, какъ о сподвижникъ Карамзина. Пъйствительно, Дмитріевъ для стихотворнаго языка сдёлаль почти то же, что Карамзинь для прозаи-

^{*)} Стихотвореніе князя Вяземскаго.

ческаго, и сдёлалъ это такимъ же точно образомъ, какъ Карамзинъ: поэзія Дмитріева, по ея духу и характеру, а слёдовательно и по формѣ, есть чисто-французская поэзія XVIII вѣка. Съ Карамзинымъ кончился ломоносовскій періодъ русской литературы, періодъ тяжелаго и высокопарнаго кинжнаго направленія, и весь періодъ отъ Карамзина до Пушкина слёдуетъ называть карамзинскимъ.

Но этотъ періодъ имфетъ свои подраздфленія, нбо въ продолжение его литература обогащалась новыми элементами и двигалась внередъ. Къ этому періоду принадлежить Крыловъ, который одинъ могъ бы быть представителемъ цёлаго періода литературы. Онъ создалъ національную русскую басню, и тымь первый внесь въ литературу русскую элементь народности. Но какъ въ баснъ великій русскій баснописець им'ять образомь великаго французскаго баснописца, — какъ въ ней онъ быль какъ бы продолжателемъ дела, начатаго Хемницеромъ и продолженнаго Дмитріевымъ, и какъ, сверхъ того, родъ его поэзін не былъ такимъ родомъ, черезъ который можно бы было стать во глав'в литературной эпохи, то Крыловъ по справедливости можетъ считаться однимъ изъ блистательнъйшихъ дъятелей карамзинскаго періода, въ то же время оставаясь самобытнымъ творцомъ новаго элемента русской поэзін-народности. Другое дъло — Озеровъ: несмотря на дарованіе ярко замьчательное, онъ былъ результатомъ направленія, даннаго русской литературъ Карамзинымъ. Въ трагедіяхъ Озерова преобладающій элементь сентиментальность. По форм'я же он'в-сколокъ съ французской трагедін. Нётъ нужды распространяться здёсь о Каннисте, Василін Пушкине, Владиміре Измайловъ, Крюковскомъ, Милоновъ и другихъ людяхъ, съ болынимъ или меньиимъ талантомъ нгравшихъ большую или меньшую роль въ карамзинскій періодъ: всв они были созданы духомъ Карамзина и выразили направленіе, данное имъ русской литературъ. Въ своемъ мъстъ мы уномянемъ о болъе самостоятельныхъ и болъе замъчательныхъ писателяхъ этой эпохи, каковы: Гивдичъ, Мераляковъ и князь Ваземскій. Теперь же спъшимъ перейти къ двумъ знаменитостямъ не только этого періода, но и вообще русской литературы-Жуковскому и Батюшкову.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и косифлости. Въ ней всегда было движеніе впередъ, даже въ ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали отъ него, хотя явились и послѣ, зато какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державнымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонвизина, между прозою не только Сумарокова, но и самого Ломоносова; даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжнинымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнѣйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже упомянули о Крыловѣ, какъ о

ноэт'в карамзинской эпохи, внеешемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементьнародность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзін Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главою и представителемъ целаго періода литературы; но (какъ мы уже замътили выше) ограниченность рода поэзін, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творешя Карамзина: онь будутъ читаться до тъхъ поръ, нока русское слово не перестанеть быть живою рачью живого народа; но, несмотря на то, въ исторіи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мѣсто между замъчательнъйшими дъятелями того періода русской литературы, главою и представителемъ котораго быль Карамзинь. Въ нѣкоторомъ отношенін такова же была въ исторін русской литературы и роль Жуковскаго. Таланта Жуковскаго также стало бы, чтобъ явиться главою и представителемъ цёлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можеть быть, еще болье важный элементь въ русскую поэзію, чімь элементь, внесенный Крыловымъ; Жуковскій проложиль себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возросла и восниталась на почвъ, въ то время никому изъ русскихъ невѣдомой и недоступной, -- и, несмотря на то, было бы дёломъ чистаго произвола отмётить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видеть въ немъ опять-таки олного изъ знаменитъйшихъ, или даже и самаго знаменитейшаго деятеля въ томъ періоде русской литературы, главою и представителемъ котораго быль Карамзинь. Вінець поэзім Жуковскаго составляють его переводы и заимствованія изъ нівмецкихъ и англійскихъ поэтовъ; въ этомъ онъ самобытень, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы: въ этомъ выразился моменть самаго сильнаго и плодовитаго движенія впередъ русской литературы карамзинскаго періода. Но у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того, онъ быль знаменить еще, какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозф. И воть съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъдаже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковскаго (въ особенности патріотическія ньесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина н Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе-все это инсколько не отступаеть оть идеала поэзін XVIII вѣка, —идеала поэзін, который такъ присущъ и родственъ былъ карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, --- онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношенін къ

стилистикъ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на предметы, складъ ума, характеръ слога н языка-все это чисто-карамзинское. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоптъ только прочесть крптическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира п басенъ Крылова, и статьи его: "Марынна Роща", "Три Сестры", "Кто истинно добрый и счастливый человъкъ", "Писатель въ обществъ" и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозв у Жуковскаго тоже отличается совершенно карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ нъмецкаго. Намъ, можетъ быть, возразять, что "Рафаэлева Мадонна" есть тоже оригинальная статья въ прозф Жуковскаго, но что въ ней уже вътъ ничего карамзинскаго. Правда; но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году, -- въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабъло съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще въ это время Жуковскій сталъ действовать какъ-то самостоятельные, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще зам'ьтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до сего времени Жуковскій быль какъ будто въ тъни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писаль для "немногихъ". И какъ тогла понимали его! Его называли "балладистомъ", въ немъ видѣли пѣвца могилъ и привидѣній... Ему подражали, но въ чемъ?--въ формъ, а не въ духф,-- и рядъ безсмысленныхъ и нелѣпыхъ балладъ быль плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы, — и "Ифвцы во Станф" и "На Кремлф" доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія Жуковскій получниъ именно то значение, какое онъ всегда нмёль. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814 года, съ жадностію бросилась на немецкую литературу, съ которою Жуковскій давно уже породниль русскій умь и русскую музу. Всё заговорили о романтизм в, о новой теоріп поэзін; вст возстали противъ владычества исевдо-классической французской поэзін. Въ поэзін русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и громъ. Но въ это время уже и кончился карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять лёть сама исторія Карамзина сдёлалась предметомъ неумфренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звъзда поэтической славы Жуковскаго вспыхнула н загорълась ярко уже въ новомъ періодъ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковскаго, еще во всей поръ его дъятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературъ... И, однако-жъ, необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзін и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда

не умолкали. Но, къ сожаленію, эти похвалы уже лътъ тридцать иять поются какъ-то на одинъ голось и состоять изъ однихъ и тахъ же словь, изъ однихъ и техъ же выраженій. А ведь дело критики совствъ не въ томъ, чтобъ провозгласит писателя великимъ талантомъ или геніемъ; это скоръе дъло общественнаго мивнія, чемъ критики. Дъло критики-привести въ сознаніе, путемъ апализа, общественное мижніе и показать значеніе, смыслъ таланта или генія, опредёлить тотъ жизненный элементь, который составляеть исключительное свойство его произведеній, и которымъ онъ обогатиль родную литературу и жизнь своего обществи. Въ "Отечественныхъ Запискахъ" впервые было сказано, что заслуга Жуковскаго состоить въ томт, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ, в что истиннымъ романтикомъ русскимъ былъ советмъ не Пушкинъ (какъ объ этомъ кричали лътъ двадцать), а Жуковскій. Слово истины не падаетъ даромъ, и наше мижне подхватили ижкоторые "именные" (въ противоположность "безыменнымъ") критики,--тѣ самые, которые право крптики основывають не на таланти и чувстви изящнаго, а покитайски-на экзаменахъ и числъ и цвътъ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже и отъ себя (не только повторить чужое матніе), что жуковскій ввель романтизмь въ русскую поэзію, еще не значить все сказать: должно развить и доказать это положение. И мы теперь очень рады, что, назначивъ стать во Пушкин столь широкія рамы, можемъ представить во введеніи къ ней картину историческаго развитія всей литературы русской, а вмъстъ съ тъмъ и привести въ исполнение давнишнее желаніе наше-вполив развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны въ деле собственнаго нашего развитія, съ мыслію о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ и живыхъ воспоминаній,поэзія котораго давно срослась съ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы, въ то же время, чужды всякихъ восторженныхъ предубъжденій... Мы надвемся, что для публики подобная статья не можеть не быть интересна, ибо ей дорогъ предметь ея, --а оть кого же услышить она о немъ живое, современное слово? Неужели отъ задорливыхъ недантовъ, которые кричатъ только объ именности и безыменности, какъ о правъ критиковать, и всякое чужое мижие считають или дерзкимъ, или продажнымъ, потому только, что хоть оно и не ихъ мижніе, однако-жъ находить себф сочувствіе и отзывъ въ ущербъ ихъ педантическимъ возгласамъ, всегла подписаннымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дожидайтесь отъ нихъ!...

Ватюшковъ также пользуется на Русп большимъ и заслуженнымъ виманіемъ, и также ждетъ себѣ критической оцѣнки. Имя его связано съ именемъ Жуковскаго: они дѣйствовали дружно въ лучшіе годы своей жизни; ихъ разлучила жизнь, но имена ихъ всегда какъ-то вмѣстѣ ложатся подъ перо критика и историка русской литературы. Батюшковъ имѣетъ важное значеніе въ русской литературѣ—конечно, не такое, какъ Жуковскій, но тѣмъ це

менње самобытное. Онъ явился на поприще имсколько позже Жуковскаго и занимаетъ мъсто въ литературъ тотчасъ послъ него. Поэтому весьма удобно опредълить его значеніе (не теряясь въ подробностяхъ) въ одной стать съ Жуковскимъ,— что и постараемся мы сдълать теперь.

Жуковскій ввель върусскую поэзію романтизмь. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковскаго въ особенности?-Вотъ вопросъ, отъ решенія котораго зависить определеніе значенія, какое имбетъ Жуковскій въ русской литературь... У насъ много говорили, толковали, спорили о романтизмъ. "Московскій Телеграфъ" быль журналомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, - а журналъ этотъ существоваль съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтизм'в кончились на Руси съ "Московскимъ Телеграфомъ", то начались они гораздо раньше, именно въ исходъ второго десятилътія текущаго столътія. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ попрежнему остался тапиственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому исевдо-класснцизму. Отсюда, естественно, вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумёли извёстную условную форму некусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумьть нарушение правиль этой условной формы. И потому, кто соблюдаль въ трагедіц знаменитыя три единства, героями ея далалъ только царей и нхъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, --тотъ считался классикомъ; кто же, въ своей драмѣ, переносилъ дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточиваль событіе, совершившееся въ промежуткъ не одного десятка лътъ, число актовъ своей драмы не хотъль ограничивать завътною суммою пяти, а действующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ всякаго званія, — тотъ считался ультра-романтикомъ. Взглядъ "Телеграфа" на романтизмъ былъ именно таковъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служатъ теперешнія драматическія кздёлія бывшаго издателя "Московскаго Телеграфа": подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы г. Полевого также точно сколки и рабскія копін, только съ другихъ образдовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванья и смълаго заимствованія, - между тьмъ какъ именно передразниванье и заимствованье ставиль г. Полевой въ непростительный грахъ исевдо-классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классицизмъ и романтизмъ полагалъ во витиней формѣ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха, -- все было ново и инсколько не походило на образцы существовавшей до него русской поэзін: и за это-то именно г. Полевой, вмёстё съ другими, провозгласиль Пушкина романтикомъ, нисколько не подозрѣвая романтика въ Жуковскомъ.

Дъйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это нотому, что всякая оригипальная идея имъеть свою, ей присущую, ори-

гинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однако-жъ, какъ форма есть твореніе явившагося въ
ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда
нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь
и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому
сущность романтизма заключается въ его идеъ, а не
въ произвольныхъ случайностяхъ виѣшней формы.

Романтизмъ-принадлежность не одного только нскусства, не одной только поэзін: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства, и поэзін, —въ жизни. Жизнь тамъ, гдф человфкъ, а гдф человъкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тъсивищемъ и существеннъйшемъ своемъ значении романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человъка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцё человёка заключается таинственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или действіе романтизма, н потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгонстами, которые, кромф себя, никого любить не могуть, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатін и антипатін задавлено и заглушено или правственною неразвитостью, или матеріальными нуждами бедной и грубой жизни. Вотъ самое первое естественное поиятіе о романтизмъ.

Законы сердца, какъ и законы разума, всегда одни и тѣ же, и потому человѣкъ, по натурѣ своей, всегда быль, есть и будеть одинь и тоть же. Но какъ разумъ, такъ и сердце живутъ, а жить значить развиваться, двигаться внередь: поэтому человъкъ не можетъ одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образъ чувствованія и мышленія изміняется сообразно возрастамь его жизни: юноша нначе понимаеть предметы н иначе чувствуеть, нежели отрокъ; возмужалый человекъ много разнится, въ этомъ отношении, отъ юноши, старецъ отъ мужа, хотя всв они чувствують одинмъ и темъ же сердцемъ, мыслять одинмъ и тъмъ же разумомъ. Это различе въ характеръ чувства и мысли вытекаетъ изъ природы человъка и существуеть для каждаго: оно связано съ его неизбъинымъ свойствомъ расти, мужать и старъться физически. Но человъкъ имъетъ не одно только значение существа индивидуального и личнаго. Кромъ того, онъ еще членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежить къ великому семейству человъческаго рода. Поэтому онъ-сынъ времени и воспитанникъ исторіи: его образъ чувствованія и мышленія видоизм'єняется сообразно съ общественностью и національностью, къ которымъ онъ принадлежитъ, съ историческимъ состояніемъ его отечества и всего челов'вческаго рода. Итакъ, чтобъ върнъе определить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитіе. Романтизмъ не принадлежить исключительно одной только сферѣ любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его, какъ мы сказали, —вся внутренняя, задушевная жизнь человъка, та таинственная

почва души и сердца, откуда подымаются всв неопредвленныя стремленія къ лучшему и возвышенному, стараясь находить себв удовлетвореніе въ идеалахъ, творимыхъ фантазіею. Здвсь, для примвра, укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь—по пренмуществу романтическое чувство въ историческомъ движеніи человвчества.

Востокъ-колыбель человъчества и царство природы. Человъкъ на Востокъ-сынъ природы: младенцемъ лежить онъ на груди ея, и старцемъ умираеть на ея же груди. Востокъ и теперь остался въренъ основному закону своей жизни-естественности, близкой къ животности. Любовь на Востокъ навсегда осталась въ первомъ моментъ своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаетъ не болве, какъ чувственное, на природв основанное, стремленіе одного пола къ другому. Само собою разумъется, что первый и основной смыслъ любви заключается въ заботливости природы о поддержаніи и размноженій рода челов'вческаго. Но если-бъ, въ любви людей, все ограничивалось только этимъ расчетомъ природы, — люди не были бы выше животныхъ. Слёдственно, это чувственное стремленіе въ любви человіка одного пола къ человѣку другого пола есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моменть, за которымъ, въ развитін, следують высшіе, болъе духовные и правственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментъ любви и въ немъ найти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекаеть семейственность, какъ главный и основной элементъ жизни восточныхъ народовъ. Имъть потомство — первая забота и высочайшее блаженство восточнаго жителя: не имъть дътей-это для него знамение небеснаго проклятія, нравственнаго отверженія. По закону іудейскому, безплодныя женщины были побиваемы каменьями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ должень быль жениться на вдовѣ своего брата, чтобы "возстановить сфия своему брату". Отсюда же выходить и восточная полигамія (многоженство). Гаремы существовали на Востокъ всегда,-и ихъ нельзя считать исключительно принадлежащими исламизму. Обигатель Востока смогритъ на женщину, какъ на жену или какъ на рабыню, но не какъ на женщину: потому что отъ женщины мужчина всегда добивается взанмности, какъ необходимаго условія счастливой любви, -- отъ жены или рабы онъ требуетъ только покорности. Для негоэто вещь, очень искусно приноровленная самою природою для его наслажденія: кто же станеть церемониться съ вещью? Миоы—самое върное свидътельство романтической жизни народовъ. Въ мивахъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни пдеала женщины. Всѣ мивы его по пренмуществу выражають одно неутолимое вождельніе-одно чувство: сладострастіе, --одну идею: въчную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціи любовь является уже въ высшемъ моментъ своего развитія: тамъ она—чувственное стремленіе, про-

світленное и одухотворенное пдеею красоты. Тамъ уже въ самомъ началѣ миоическаго сознанія, за явленіемъ Эрота (любви, какъ общей сущности міровой жизни) тотчасъ следуетъ рождение Афродиты-красоты женской. Афродита собственно была не богинею любви, но богинею красоты. Когда родилась она изъ волнъ морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сейчасъ присоединились любовь и желаніе. Этоть граціозный мись достаточно объясняеть собою сущность и характеръ эллинскаго понятія объ отношеніяхъ обонхъ половъ. Грекъ обожаль въ женщинъ красоту, а красота уже порождала любовь и желаніе: слёдовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого нравственноэстетического народа, какъ греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная миеомъ Ганимеда, — могла существовать, не какъ крайній разврать чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выраженіе жизни сердца. Примъры такой любви были очень неръдки у грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ. Павзаній говорить, что онь нашель въ одномъ мъсть статую юноши, названную антэросъ (взаимная любовь), и разсказываеть услышанную имъ отъ жителей того мъста легенду о происхожденін этой статун. Одинъ юноша, тронутый необыкновенною красотою другого, почувствоваль къ нему непреодолимо-страстное стремленіе. Встрътивъ въ отвътъ на свое чувство совершенную хододность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея побъжденію, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юноша, вдругъ проникнутый и пораженный силою возбужденной имъ страсти, почувствоваль къ погибшему такое сожальніе н такую любовь, что и замъ добровольно погибъ въ волнахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя-антэросъ.

У грековъ была не одна Венера, но три: Уранія (небесная), Пандемосъ (обыкновенная) и Апострофія (предохраняющая или отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объяспеній; значеніе третьей было — предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно, что нравственное чувство всегда лежало въ самой основъ національнаго эллинскаго духа. Однако-жъ, это нисколько не противоръчитъ тому, что преобладающій элементь ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее или удовлетворенія, или гибели. Поэтому они смотръли на Эрота, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для котораго было какъ бы забавою губить людей. Множество трагическихъ легендъ любви, у грековъ, вполнъ оправдываетъ такой взглядъ на Эрота — это маленькое крылатое божество съ коварною улыбкою на младенческомъ лиць, съ гибельнымъ лукомъ въ рукъ и страшнымъ колчаномъ за плечами. Кому не извъстно преданіе о любви Сафо къ Фаону и о скалѣ левкадской? А сколько легендъ о страстной любви между братьями и сестрами, любви, которая окан-

чивалась или смертью безъ удовлетворенія, или казнью раздраженныхъ боговъ въ случат преступнаго удовлетворенія! Овидій передаль потомству ужасную легенду о такой любви дочери къ отцу. Старая няня несчастной ввела ее въ темнотъ на ложе отца, упоеннаго виномъ и неподозревавшаго истины, — и сперва Эвмениды, а потомъ превращеніе было наказаніемъ боговъ, постигшимъ несчастную. Но сколько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она увънчивалась законною взаимностію! Не даромъ, въ прелестномъ мио'в Эрота и Психен, греки выразили поэтическую мысль брачнаго сочетанія любви съ душою! Павзаній разсказываеть о стату в стыдливости трогательную, исполненную души и грацін романтическую легенду. Статуя эта изображала дъвушку, которой преклоненная голова была накрыта покрываломъ. Вотъ смыслъ этой статун: когда Одиссей, женившись на Пенелопъ, ръшился возвратиться изъ Лакедемона въ Итаку, Икаръ, престарѣлый царь, тесть его, не вынося мысли о разлукъ съ дочерью, со слезами умолялъ его остаться. Улиссь уже готовъ быль взойти на корабль, -- старецъ палъ къ его ногамъ. Тогда Улиссъ сказалъ ему, чтобы онъ спросилъ свою дочь, кого она выберетъ между ними-отца или мужа: Пенелопа, не говоря ни слова, накрылась покрываломъ, —и старецъ изъ этого безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвъта поняль, что мужь для нея дороже отца, хотя страхъ и нежеланіе оскоронть чувство родительской любви и сковали уста ея... Это романтизмъ! Въ ученін вдохновеннаго философа, божественнаго Платона, греческое созердание любви возвышается до небеснаго просвътлънія, такъ что ничего не оставляеть, въ побѣду надъ собою, среднимъ вѣкамъ, этой ультраромантической эпохв...

"Наслаждение красотою (говорить этоть величайшій романтикъ не только древней Греціи, но п всего міра) въ этомъ мірт возможно въ человткъ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаеть себъ въ первоначальной ся родинъ. Вотъ почему зрълище прекраснаго на землъ, какъ воспоминаніе о красотъ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрилить душу къ небесному и возвращать се къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свътлаго вида въ то время, когда мы счастливымь хоромъ слъдовали за Діемъ, въ блаженномъ видънін и созерцанін; другіе же—за другими богами; мы зръли и совершали блаженнъйшее изъ всъхъ таннствъ; пріобщались ему всецёлые, непричастные бъдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посътили; погружались въ видънія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свътъ чистомъ, сами будучи чисты и незапятнаны тъмъ, что мы, нынъ влача съ собою, называемъ тъломъ, мы, заключенные въ него, какъ въраковину... Красота одна получила этотъ жребій: быть пресвътлою и достойною любви. Не вполив посвященный, развратный стремится къ самой красоть, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благоговъетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочеть слить прекрасное съ своимъ тъломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидвеь богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещеть; его объемлеть, страхь; нотомъ, созерцая прекрасное, какъ бога онъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовуть его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому..."

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не являлся въ такомъ лучезарномъ и чистомъ свътъ своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудрецовъ классической древности...

Но все это показываеть только глубокость эллинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавшаго самого себя, и не только не противорѣчить, но еще подтверждаеть истину, что пафосъ въ красотъ составляль высшую сторону жизни грековъ. А богиня красоты-какъ мы уже замѣтили выше-сопровождалась у нихъ любовью и желаніемъ... Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вмѣстѣ, не есть еще высшее проявление романтизма. Женщина существовала для грека въ той только мёрё, въ какой была она прекрасна, и ея назначение было удовлетворять чувству изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усиленію страстнаго упоенія мужчины. Елена "Пліады"—представительница греческой женщины: и боги, и смертные иногда называють ее безстыдною и презрѣнною, но ей покровительствуеть сама Киприда и собственною рукою возводить ее на ложе Александрабоговиднаго, позорно бъжавшаго съ поля битвы; за нее сражаются и цари, и народы, гибнеть Троя, нылаетъ Иліонъ—священная обитель царственнаго старца Пріама... Въ пьесахъ, такъ превосходно переведенныхъ Батюшковымъ изъ греческой антологіи, можно видіть характерь отношеній любящихся, какъ, напримфръ, въ этой эпиграммф:

Свершилось: Инкагоръ и пламенный Эротъ За чашей вакховой Аглаю побъдили...
О радость! здъсь они сей поясъ разръшили, Стыдливости дъвической оплотъ. Вы видите: кругомъ разсъяны небрежно Одежды пышныя надменной красоты, Покровы легкіе изъ дымки бълосивжной, Н обувь стройная, и свъжіе цвъты: Здъсь все развалины роскошнаго убора, Свидътели любви и счастья Никагора!

Въ этой пьескъ схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрѣнію: это — изящное, проникнутое грацією наслажденіе. Здѣсь женщина — только красота, и больше ничего; здѣсь любовь — минута поэтическаго, страстнаго упоенія, и больше ничего. Страсть насытилась — и сердце летитъ къ повымъ предметамъ красоты. Грекъ обожалъ красоту, и всякая прекрасная женщина ниѣла право на его обожаніе. Грекъ былъ вѣренъ красотъ и женщинъ, но не этой красотъ или этой женщинъ. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла виѣстѣ съ нимъ и сердце любившаго се. И если грекъ цѣнилъ ее въ осень дней ея, то все же оставаясь вѣрнымъ своему воззрѣнію на любовь, какъ на изящное наслажденіе:

Тебъ-ль оплакивать утрату юныхъ дней?
Ты въ красотъ не измъпилась,
И для любви моей
Отъ времени еще прелестиъе явилась.

Твой другь не дорожить неопытной красой, Неэрблой вь тапиствахъ любовнаго искусства: Безъ жизни взоръ ел стыдливой и пъмой, И робкій поцёлуй безт чувства.

Но ты, владычица любви, Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень; И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень, Текущій съ жизнію въ крови...

Сколько страсти и задушевной граціи въ этой эпиграммъ!

Въ Ланев правится улыбка на устахъ, Ея плъпительны для сердца разговоры; Но миъ милъй ел потупленные взоры И слезы горести внезапной на очахъ. Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью, ногъ ея любви всъ клятем повторялъ, II съ поцълуемъ, къ сладострастью, На ложе роскоши тихопько увлекалъ... Я таялъ, и Ланса млъла... Но вдругь уныла, побледнела, И слезы градомъ изъ очей! Смущенный, я прижаль ее къ груди моей: "Что сдълалось, скажи, что сдълалось съ тобою?" Спокойна, ничего, безсмертными клянусь! Я мыслію была встревожена одною: Вы вев обманчивы, и я... тебя страшусь!

Романтическая лира Эллады умѣла восиѣвать не одно только счастіе любви, какъ страстное и изящное наслажденіе, и не одну муку нераздѣленной страсти: она умѣла плакать еще и надъ урною милаго праха, и элегія—этотъ ультра-романтическій родъ поэзіп былъ созданъ ею же, свѣтлою музою Эллады. Когда отъ страстио-любящаго сердца смерть отнимала предметъ любви прежде, чѣмъ жизнь отнимала любовь,—грекъ умѣлъ любить скорбною намятью сердца:

Въ обители ничтожества унылой,
О незабвенная! прими потоки слезъ,
И вопль отчаянья надъ хладною могилой,
И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.
Ахъ, тщетно все! изъ вѣчной сѣни
Ничъмъ не призовемъ твоей прискорбной тѣни:
Добычу не отдастъ завистливый Андъ.
Здѣсь онѣмѣніе; все хладно, все молчитъ;
Надгробный факсять мой лишь мраки освѣщаетъ...
Что, что вы сдѣлали, властители небесъ?
Скажите, что краса такъ рано погибаетъ?
Но ты, о мать-земляїсъ сей данью горькихъ слезъ,
Прими почившую, ноблекшій цвѣтъ весенній,
Прими и успокой въ гостепріммной сѣни!

Но примѣры романтизма греческаго не въ одной только сферѣ любви. "Иліада" усѣяна ими. Вспомните Ахиллеса,

Въ сердцъ интавшаго скорбь о красно-опоясанной дъвъ,

Силой Атрида отъятой.

Когда уводять отъ него Бризеиду, страшный силою и могуществомъ герой—

Бросиль друзей Ахиллесь, и далеко отъ всѣхь, одинокій, Сѣть у пучины сѣдой и, взирая на Поитъ темноводный, Руки въ слезахъ простиралъ, умоляя любезную матерь...

Эта сила, эта мощь, которая скорбить и плачеть о нанесенной сердцу ранв, вмвсто того, чтобъ страшно мстить за нее, — что же это такое, если не романтизмъ? А твнь несчастливца Патрокла, явившаяся Ахиллу во снв?

моря
Тяжко стенящій лежаль, окруженный толной мирминовань,
Ниць на полянь, гдь волны лишь шумныя билися
въ берегь.
Тамь надъ Пелидомь сонь, сердечныхь тревогь
укротитель,
Сладкій разлился: герой истомиль благородные
члены,
Гектора быстро гоня предъ высокой стьной Пліона.

Только Пелидъ на брегу неумолкно-шумящаго

Тамъ Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла,
Призракъ, величіемъ съ нимъ и очами прекрасными схолный:

Та-жъ н одежда, и голост тот самый, сердиу знакомый...

Тынь Патрокла умоляеть Ахилла о погребеніи и о томь еще, когда прійдеть чась Ахилла, то чтобъ кости ихъ покоились въ одной урнѣ... Ахилль отвѣчаетъ возлюбленной тѣни радостною готовностію совершить ея "завѣты крѣикіе" и молить ее приблизиться къ пему для дружнаго объятія...

Рекъ, и жадиыя руки любимца обнять распростеръ опъ;
Тщетно: душа Менетида, какт облако дыма, сквозь землю
Ст воемт ушла. И вскочилъ Ахиллъ, пораженный видъцьемъ,
И руками всилеснулъ, и печальный такъ говорилъ онъ:
"Боги! такъ подлинно есть и въ андовомъ домѣ подземномъ
"Духъ человъка и образъ, но онъ совершенно безплотный!
"Цълую ночь, я видълъ, душа несчастливца Патрокла

"Все падо мною стояла, стенающій, плачущій призракъ; "Все мнъ завъты твердила, ему совершенно подобясь!"

Это ли не романтизмъ?

А старець Пріамъ, лобызающій руки убійцы дѣтей своихъ и умоляющій его о выкупѣ Гекторова тѣла?

Старецъ, никъмъ непримъченный, входитъ въ покой, и Пелиду Въ ноги упавъ, обымаетъ колъна и руки цълуетъ, Страшныя руки, дътей у него погубившія миогихъ...

"Вспомни отца своего, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный, "Старца такого-жъ, какъ я на порогъ старости скорбной!

"Можетъ быть, въ самый сей мигъ, и его окруживши, сосъди "Ратью тъснятъ, и некому старда отъ горя избавить...

"Но по крайней онъ мъръ, что живъ ты, и зная, и слыша,

"Сердце тобой веселить, и вседневно льстится надеждой

...Милаго сына узрѣть, возвратившагося въ домъ изъ-подъ Трои. ..Я же, несчастивйшій смертный, сыновъ возрастиль браноносныхъ

денить ораноносныхъ праводнительной и пробрамент пробрамент и праводнительной праводения праводени

Плтьдесять ихъ имълъ при нашествіи рати ахейской: "Пхъ девятнадцать братьевъ отъ матери было

единой; "Прочихъ родили другія любезныя жены въ чертогахъ:

"Многимъ Арей-истребитель сломилъ имъ, несчастнымъ, колъна,—

..Сынъ остался одинъ; защищаль онъ и градъ нашъ, и гражданъ; "Ты умертвилъ и его, за отчизиу сражавшагося

храбро, "Гектора! Я для него прихожу къ кораблямъ мирмидонскимъ;

"Выкупить тъло его, приношу драгоцънный я выкупъ.

"Храбрый, почти ты боговъ, надъ монмъ злополучіемъ сжалься,
"Вспомнивъ Пелея родителя! и еще больо жалокъ!

"Вспомнивъ Пелея родителя! я еще болъо жалокъ! "Я испытую, чего на землъ не испытывалъ смертный:

"Мужа, убійцы дътей моих, руки къ устанъ прижимаю!"
Такъ говоря, возбудиль объ отцё въ немъ печальныя думы;

За руку старца онъ взявъ, отъ себя отклонилъ его тихо.

Оба они веноминая: Пріамъ-знаменитаго сына, Горестно плакалъ, у ногъ Ахиллесовыхъ въ прахъ простертый;

Нарь Ахиллесъ, то отда вспоминая, то друга Патрокла,

Плакаль—и горестный стопъ ихъ кругомъ раздавался по дому.

Заключимъ наши указанія на романтизмъ греческій прекрасною эпиграммою, переведенною Батюшковымъ же изъ греческой антологіи; она называется—"Яворъ къ Прохожему":

Смотрите, виноградъ кругомъ какъ вьется! Какъ любить мой полупстиввшій пень! Я пъкогда ему даваль отрадну тёнь; Завяль: но виноградъ со мной не разстается. Зевеса умоли

Прохожій, если ты для дружества способень, Чтобъ другь твой моему быль нікогда подобень, И пепель твой любиль, оставшись на земли...

Въ основъ всякаго романтизма непремънно лежить мистицизмь, болье или менье мрачный. Это объясняется тамъ, что преобладающій элементь романтизма есть вѣчное и неопредѣленное стремленіе, не уничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма — какъ мы уже замътили выше — есть таинственная внутренность груди, мистическая сущность быющагося кровыю сердца. Поэтому у грековъ всё божества любен и ненависти, симпатін и антипатін были божества подземныя, титаническія, дети Урана (неба) и Ген (земли), а Уранъ и Гея были дети Хаоса. Титаны долго оспаривали могущество боговъ олимийскихъ, и хотя громами Зевеса они были низринуты въ тартаръ, но одинъ изъ нихъ-Прометей - предсказаль паденіе самого Зевеса. Этоть мнов о вычной борьбъ титаническихъ силъ съ небесными

глубоко знаменателенъ: ибо онъ означаетъ борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человъка съ его разумнымъ сознаніемъ, и хотя это разумное сознание наконецъ восторжествовало въ образь олимийскихь боговь надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій,но оно не могло уничтожить ихъ, ибо титаны были безсмертны подобно олимпійцамъ: Зевесъ только могь заключить ихъ въ подземное царство евчной ночи, оковавъ цвиями, но и оттуда они успѣли же наконецъ потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль дежить въ основъ Софокловой "Антигоны". Героння этой трагедін падаетъ жертвою любви своей къ брату, враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: нбо она хотела погребсти съ честію тело своего брата, въ которомъ представитель государства видъль врага отечества и общественнаго спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго элемента съ элементами религіозными, государственными и мыслительными, - борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бѣднаго человъчества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія съ божествами олимпійскими. Тогда настанеть новый золотой въкъ, который столько же будеть выше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, следственно, самый романтическій поэтъ Грецін быль Гезіодъ-одинь изъ первоначальныхъ поэтовъ Эллады; и потомъ самый романтическій поэть Греціи быль трагикь Эвринидъ-одинъ изъ последнихъ ея поэтовъ.

Впрочемъ, романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въ жизни грековъ: онъ даже подчинялся у нихъ другому, болъе преобладающему элементу — общественной и гражданской жизни. Поэтому романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравнов тшнвался другими сторонами эллинскаго духа и не могъ доходить до крайностей нелъпаго. Изъ миновъ Тантала и Сизифа видно, какъ чуждо было духу греческому остановиться на идей неопредиленнаго стремленія. Танталь мучится въ подземномъ мірѣ безконечно ненасытимою жаждою; Сизифъ долженъ безпрестанно палающій тяжкій камень поднимать снова; эти наказанія, также, какъ и самыя титаническія силы, имфють въ себф что-то безмфрное, тяжкобезконечное; въ нихъ выражается ненасытимость внутренне-личнаго естественнаго вождельнія, которое въ своемъ безпрерывномъ повторении не достигаетъ до спокойствія удовлетворенія: ибо божественный смыслъ грековъ понималь пребываніе въ неопределенномь стремленін, не какъ высочайшее блаженство, въ смыслъ новъйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключиль его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе въка. Хотя романтизмъ есть общее духу человъческому явленіе, во всъ времена и для всъхъ народовъ присущее, по онъ считается какою-то исключительною принадлежностію среднихъ въ

ковъ и даже носитъ на себт ими народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль въ эту великую и мрачную эпоху человъчества. И это произошло не отъ ошибки, не отъ заблужденія: средніе віка — дібиствительно романтическіе по превосходству. Въ Грецін, какъ мы видели, романтизмъ былъ силою мрачною, всегда движущеюся, въчно борющеюся съ богами Олимпа и въчно держащею ихъ въ страхъ; но эта сила всегда была побъждаема высшею силою олимпійскихъ божествъ; въ средніе вѣка, напротивъ, романтизмъ составлялъ безпримерную, самобытную силу, которая, не будучи ничемъ ограничиваема, дошла до последнихъ крайностей противорфчія и безсмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ въковъ управляль не разумъ, а сердце и фантазія. Казалось, что міръ снова сділался добычею разнузданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвавшіеся съ ценей титаны снова ринулись изъ тартара и овладели землею и небомъ, - и надъ всемъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительнъе, что это движение совершалось въ противоръчін съ своимъ сознаніемъ. Олимпійскія силы, у грековъ, выражали общее и безусловное, а титаническія были представителями индивидуальнаго, личнаго начала. Въ средніе въка всв начала назывались чужими, противоположными имъ именами. Движение ихъ было чисто-сердечное и страстное, а совершалось оно не во имя сердца и страсти, а во имя духа; движеніе это развило до последней крайности значеніе человіческой личности: совершилось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной идеи, для выраженія которой недоставало словъ -- ихъ замъняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ мірѣ безуміе было высшею мудростію, а мудрость буйствомъ; смерть была жизнію, а жизньсмертью, и міръ распался на два міра—на презпраемое з и в с ь и неопредвленное, таниственное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ действительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждою безъ совершенія, желаніемъ безъ выполненія, страстною, безпокойною дъятельностію безъ цъли и результата. Хотели чувствовать для того только, чтобъ чувствовать, стремиться для того только, чтобъ стремитьси, желать-чтобъ желать, а действовать-чтобъ не быть въ поков. На тело смотрели, не какъ на проявление и орудие духа, а какъ на вериги и темницу духа, не раздиляли мийнія древнихъ, что только въ здоровомъ теле можетъ обитать и здоровая душа, но, напротивъ, были убъждены, что только изможденное и устаръвшее до времени тъло могло быть одарено ясновидъніемъ истины... Чудовищныя противоржчія во всемъ! Дикій фанатизмъ шель объ руку съ святотатствомъ; злодейство и преступленіе смінялись покаяніемъ, крайность котораго, казалось, превосходила силы духа человъческаго; набожность и кощунство дружно жили въ одной и той же душт. Понятіе о чести

ствлалось краеугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ формѣ, а не въ сущности: рыдарь, не явившійся на вызовъ смерти, видълъ честь свою погибшею; но, выходя на большія дороги грабить купеческіе обозы, онъ не боялся увидъть опозореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинъ была воздухомъ, которымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицею этого романтическаго міра. За одинъ взглядъ ея, за одно ея слово - умереть казалось слишкомъ ничтожною жертвою, победить одному тысячислишкомъ легкимъ деломъ. Пробхать десятки верстъ, на дорогѣ помять бока и поломать свои кости въ поединкъ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ "обожаемой дівы", чтобъ только увидёть въ окий промелькнувшую тёнь ея, - казалось высочайшимъ блаженствомъ. Доказать, что "дама его сердца" прекраснѣе и доб-родѣтельнѣе всѣхъ женщинъ въ мірѣ, доказать это людямъ, которые никогда не видали его дамы, и доказать имъ это силою руки, гибкостію тела, лезвіемъ меча и остріемъ пики — казалось для рыцаря священнымъ дёломъ. Онъ смотрёлъ на свою даму, какъ на существо безплотное; чувственное стремленіе къ ней онъ почель бы профанацією, грѣхомъ: она была для него пдеаломъ, н мысль о ней давала ему и храбрость, и силу. Онъ призывалъ ея имя въ битвахъ; онъ умиралъ съ ея именемъ на устахъ. Онъ быль ей въренъ всю жизнь-и, если-бъ для этой верности у него не хватило любви въ сердив, онъ легко замѣнилъ бы ее аффектаціею. И это страстно-духовное, это трепетно-благоговъйное обожание избранной "дамы сердца" нисколько не мѣшало жениться на другой или быть въ самой греховной связи съ десятками другихъ женщинъ, - не мъшало самому грубому, циническому разврату. То ндеаль, а то дъйствительность; зачымь же имь было мёшать другь другу?.. Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ въкамъ: они обожали красоту, какъ и греки; но въ свое понятіе о красот' внесли духовный элементь. Греки понимали красоту, только какъ красоту, строго правильную, съ изящными формами, оживленными грацією; красота среднихъ вѣковъ была красотою не одной формы, но и какъ чувственное выраженіе нравственныхъ качествъ, красота-болфе духовная, чёмъ тёлесная, -- красота, для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бъднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для грековъ красота существовала въ цъломъ, и нотому ихъ статуп были нагія или полунагія; красота среднихъ въковъ вся была сосредоточена въ выраженін лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что нонятіе среднихь в'єковь о красоть болье романтическое и болже глубокое, чжмъ понятіс древнихъ. Но средніе вѣка и тутъ не умѣли не псказить дёла крайностію и преувеличеніемъ: они слишкомъ любили туманную неопределенность выраженія въ лиць женщины, и въ ихъ картинахъ она является какъ будто совсемъ безъ формъ, совсемь безь тела, какъ будто тенью, призракомъ какимъ-то. Въ понятін о блаженств' любви средніе въка были діаметрально пртопвоположны грекамъ. Вступить въ любовную связь съ дамою сердца-значило бы тогда осквернить свои святъйшія и задушевнъйшія върованія; вступить съ нею въ бракъунизить ее до простой женщины, увидеть въ ней существо земное и твлесное... Да соединение съ любимою женщиною и не казалось тогда какоюто необходимостію. Любили для того, чтобъ любить, и мистика сердечныхъ движеній отъ мысли любить и быть лемымидон атыб и атибон. удовлетвореніемъ любви и наградою за любовь. Если-бъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона-его ожидало бы неземное счастіе, небесное блаженство; онъ даже не захотёль бы и знать, любять ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любитъ. Вотъ ужъ подлинно счастіе, котораго не могла лишить судьба, сокровище, котораго никто не могъ похитить!.. И хорошо дѣлали тв, которые ограничивались платоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про себя: бракъ всегда бывалъ гробомъ любви и счастія. Бѣдная дъвушка, сдълавинсь женою, промънивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабою и въ своемъ мужф, дотолъ предапивниемъ рабв ея прихотей, находила деспотическаго властелина и грознаго судью. Везусловная покорность его грубой и дикой волъ дълалась ея долгомъ, безропотное рабство-ея добродътелью, а теривніе-единственною опорою въ жизни. Пьяный и бъщеный, онъ мстиль ей за дурное расположение своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную погоду, мѣшавшую ему охотиться. При мальйшемъ подозржнін въ невърности онъ могъ ее зарёзать, удавить, сжечь, зарыть живую въ землю, -- и увы! -- такія исторін не были въ средніе в'вка слишкомъ р'єдкими или исключительными событіями! И воть она-царица общества п повелительница храбрыхъ и сильныхъ! И вотъ онъ-чудовищный и нельный романтизмъ среднихъ въковъ, столь поэтическій, какъ стремленіе, и столь отвратительный, какъ осуществленіе на дѣлѣ! Но довольно о немь. Съ нимъ всѣ болѣе или менѣе знакомы, пбо о пемъ даже и по-русски писано много. Но мы еще возвратимся къ нему, говоря о поэзіи Жуков-

Романтвамъ среднихъ въковъ не умпралъ и не псчезалъ: напротивъ, онъ царитъ еще надъ современнымъ намъ обществомъ, но уже измънвшійся и выродившійся; а будущее готовитъ ему еще большее измъненіе. Что же убило его въ томъ видѣ, въ какомъ существовалъ онъ въ средніе въка? — Свътъ просвъщенія, разогнавшій въ Европѣ мракъ невъжества, успѣхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобрътеніе книгопечатанія и пороха, римское право и вообще изученіе классической древности. Странное дѣло! Въ Греціи романтизмъ разрушилъ свътлый міръ олимпійскихъ боговъ: побо что же были ученія и таниства элевзинскія,

какъ не романтизмъ глубокомысленный и мисти ческій? Тумапныя, неопределенныя предчувствія высшей духовной сущности, пробудившіяся въ душт грековъ, находились въ явной противоположности съ ръзко-опредъленнымъ, яснымъ, но въ то же время и внъшинмъ міромъ олимпійскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти линь по отцу исходили отъ духа, по матерт же, исключая Аполлона п Артемиды, рождены были изъ недръ земли, божества довременно-титаническаго, то п духъ эллиновъ, не удовлетворяясь олимпійцами, обратился къ подземнымъ титаническимъ силамъ, которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизни, съ его сердцемъ. Нъкогда поправное могущество древнихъ титаническихъ боговъ возстало теперь преображенное, пріявшее въ себя всю жизнь души, неудовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древняя элементарная природа, но уже пришедшая въ гармонію, проникнутая высшею духовностію, не гибельная и пожирающая, но дружественная челов ку, сосредоточенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ элевзинскихъ мистеріяхъ являлись уже божествами подземнаго міра, тапиственными и всеобъемлющими. Подъ вліяніемъ элевзинскихъ таинствъ развилась поэзія Эсхила, столь враждебная Зевесу, и поэзія Эврипида, развилась вся философія Грецін, и въ особенности философія величайшаго изъ романтиковъ-Платона. Следовательно, въ Греціи романтизмъ, какъ выражение подземныхъ титаническихъ силъ, играль роль демона, подконавшаго царство Зевеса. Въ новомъ же мірѣ романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго царства страданій и скорби, ничемъ неутолимымъ порывомъ сердца; а разрушителемъ этого романтизма, демономъ сомнинія и отрицанія—явилось царство Зевеса, т. е. царство свътлаго и свободнаго разума. Та же исторія, только совершенно наоборотъ! Всемъ известно, какіе страшные удары напесены были среднимъ въкамъ демономъ проніп! Какое страшное, въ этомъ отношенін, произведеніе "Донъ-Кихотъ" Сервантеса! Реформатское движеніе было явнымъ убійствомъ среднихъ вѣковъ. XVIII въкъ доръзалъ его радикально. Этотъ умнъйшій и величайшій изъ всіхъ въковъ быль особенно страшенъ для среднихъ въковъ...

Вслѣдствіе страшныхъ потрясеній и ударовъ, нанесенныхъ романтизму XVIII вѣкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображеннымъ. Романтизмъ нашего времени есть сынъ романтизма среднихъ вѣковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнѣе, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецѣлость романтизмъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ фазисовъ развитія человѣческаго рода: въ нашемъ романтизмѣ, какъ лучи солнца въ фокусѣ зажигательнаго стекла, сосредоточились всѣ моменты романтизма, развивавшагося въ исторіи человѣчества, и образовали совершенно новое цѣлое. Общество все еще держится принципами стараго, средневѣкового романтизма, обратившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но люди, имъющіе право называться "солью земли", уже силятся осуществить идеалъ новаго романтизма. Наше время есть эпоха гармоническаго уравновъшенія всъхъ сторонъ человъческаго духа. Стороны духа человъческого неисчислимы въ ихъ разнообразін; но главныхъ сторонъ только двѣ: сторона внутренняя, задушевиля, сторона сердца, словомъ-романтика, - н сторона сознающаго себя разума, сторона общаго, разумът подъ этимъ словомъ сочетаніе интересовъ, выходящихъ изъ сферы индивидуальности и личности. Въ гармоніи, т. е. во взанмномъ сопроникновенін одной съ другою этнхъ двухъ сторонъ духа, заключается счастіе современнаго человъка. Романтизмъ есть въчная потребность духовной природы челов вка: ибо сердце составляеть основу, коренную полву его существованія, а безъ любви и ненависти, безъ симпатін и ангипатін человѣкъ есть призракь. Любовь поэзія и солице жизни. Но горе тому, кто, въ наше время, зданіе счастія своего вздумаеть постронть на одной только любви и въ жизни сердца вознад вется найти полное удовлетворение всемь своимъ стремленіямъ! Въ наше время это значило бы отказалься отъ своего человъческаго достоинства, изъ мужчины сдёлаться—самцомъ! Мірь дёйствительный имфетъ равныя, если еще не большія права на человъка, и въ этомъ міръ человъкъ является прежде всего сыномь своей страны, гражданиномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его интересы и ревностно поборающимъ, по мъръ силъ своихъ, его преуспъванію на пути нравственна о развитія. Любовь къ человъчеству, понимаемому въ его историческомъ значенін, должна быть живоносною мыслію, которая просв'єтляла бы собою любовь къ родинъ. Историческое созерцаніе должно лежать въ основѣ эгой любви и служить указателемъ для дъятельности, осуществляющей эту любовь. Знаніе, искусство, гражданская дёятельность-все это составляеть для современнаго человъка ту сторону жизли, кот рая должна быгь только въ живой органической связи съ стороною романтики, или внутренняго задушевнаго міра человіка, —но не заміняться ею. Если человъкъ захочеть жить только сердцемъ, во имя одной любви, и въ женщинт найти цъль и весь смыслъ жизни, -- онъ непремънно дойдетъ до результата самаго противоположнаго любии, т. е. до самиго колоднаго эгонзма, который живеть только для себя и все относить къ себъ. Если, напротивъ, человъкъ, презръвъ жизнію сердца, захотъль бы весь отдаться интересамь общимъ,онъ или не избѣжаль бы тайной тоски и чувства внутренией неполногы и пустоты, или, если не почувствоваль бы нхъ, то внесъ бы въ міръ высокой дъятельности сухое и холодное сердце, при которомь не бываеть у человика ни выгокихъ помысловъ, ни плодотворной деятельности. Изакъ, эгонамъ и ограниченность, или неполнота-въ объихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармонического ихъ сопроникновенія одной другою выходить возможность полнаго удовлетворенія, а

следственно и возможность свойственнаго и присущ го душт человъка счастія, основаннаго не на пестаномъ берегу случайности, а на прочномъ фундаментъ сознанія. Въ этомъ отношеніи мы гораздо ближе къ жизни древнихъ, чъмъ къ жизни среднихъ въковъ, и гораздо выше тъхъ и другихъ. Иб), въ нашемъ ндеалъ, общество не угнетаетъ человъка насчеть естественныхъ стремленій его сердца, а сердце не отрываетъ его отъ живой общественной деятельности. Это не значить, чтобъ общество позволяло теперь челов ку, между прочимъ, и любиться, но это значить, что уже нъть, или, но крайней мъръ, болъе не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными разумно и свободно. И въ наше время жизнь и дъятельность въ сферъ общаго есть не обходимость не для одного мужчины, но точно также и для женщины: пбо наше время сознало уже, что и женщина такъ же точно человакъ, какъ и мужчина, и сознало это не въ одной теорін (какъ это же сознавали и средніе вѣка), но и въ дѣйствительности. Если же мужчинъ позорно быть самцомъ на томъ основания, что онъ человъкъ, а не животное, то и женщинъ позорно быть самкою на томь основаніи, что оначеловѣкъ, а не животное. Ограничить же кругъ ея д'вятельности скромлостію и невинностію въ состояній дівическомь, спальнею и кухнею въ состоянін замужества (какъ это было въ средніе въка) -- не значить ли это лишить ее правъ человъка, и изъ женщины сдълать самкою? Но, скажутъ намъ: женщина-мать, а назначение матери свято и высоко-она воспигательница дътей свонхъ. Прекрасно! Но въдь воспитывать не значитъ вовое выкарминвать и вынянчивать (первое можеть сдёлать корова или коза, а второе нянька), но и дать направление сердцу и уму, -а для этого развѣ не нужло, со стороны матери, характера, пауки, развитія, доступности ко всёмь человъческимъ интересамъ?.. Нътъ, міръ знанія, искуства, - словомъ, міръ общаго долженъ быть столько же открыть женщинь, какъ и мужчинь, на томъ основанін, что п она, какъ н онъ, прежде всегочеловъкъ, а потомъ уже любовинца, жена, мать, хозяйка и проч. Вследствіе этого отношенія обонхъ половъ къ любви и одного къ другому въ любви дёлаются совсёмъ другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умъетъ только любить мужа и дётей своихъ, а больше ни о чемъ не имъеть понятія и больше ни къ чему не стремится, такъ же точно смѣшна, жалка и недостойна любви мужчины, какъ смѣшонь, жалокъ н недостоинъ любви женщины мужчина, который только на то и способенъ, чтобъ влюбиться да любить жену и дътей своихъ. Такъ какъ истинно человъческая любовь теперь можеть быть основана только на взаимномъ уваженін другъ въ другѣ человѣческаго достопнства, а не на одномъ капризѣ чувства и не на одной прихоти сердца,-то и любовь нашего времени имфеть уже совствить другой характеръ, нежели какой имъла она прежде. Взаниное уважение другъ въ другъ человъческаго достоинства производить равенство, а равенство—свободу въ отношеніяхъ. Мужчина перестаеть быть властелиномъ, а женщина—рабою, и съ объяхъ сторонъ установляются одилаковыя права и одинаковыя обязанности: послъднія, будучи нарушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болье и другою. Върность перестаеть быть долгомъ, ною означлеть только постоянное присутствіе любви въ сердцъ: нътъ болье чувства—и върность теряеть свои смыслъ; чувство продолжается—върность опять не имъеть смысла: поо что за заслуга быть върнымъ своему счастно?

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическ единство всёхъ моментовъ романтизма, развивавшагося въ исторіи человъчества. Приступая къ развитію этой мысли, зам'єтимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моменговъ развитія романтизма въ исторіи. Смішно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемнадцать лёть любило, какъ оно можеть любить въ тридцать и сорокъ, или наобороть. Есть въ жизни человѣка пора восточнаго романтизма; есть пора греческаго ром інтизма; есть пора романтизма среднихъ въковъ. И во всякую пору человѣка сердце его само знаетъ, какъ на ю любить ему, и какой любви должно оно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждою ступенью сознанія въ человькъ памън істся его сердце. Измънение это совершается съ болью и страданиемъ. Сердце вдругъ охладъваеть къ тому, что такъ горичо любило прежде, и это охлаждение повергаетъ его во всв муки пустоты, которой нечвыт ему наполнить, -- раскаянія, которое все-таки не обратить его къ оставленному предмету, -- стремленія, котораго оно уже боится, и которому оно уже не въритъ. II не одинъ разъ повторяется въ жизни человъка эта романтическая исторія, прежде чтмъ достигнетъ онъ до нравственной возможности найти своему успокоенному сердцу надожную пристань въ этомъ въчно-волнующемся моръ неопредъленныхъ внутреннихъ стремленій. И тяжело дается человъку эта правственная возможность: дается она ему ценою разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся мечтаній, побитыхъ фантазій, цёною уничтожен'я всего этого романт зма среднихъ въковъ, который истипенъ только, какъ стремленіе, и все: да ложенъ, какъ осуществление! И не каждый достигаеть этой нравственной возм жности; но большая часть падаетъ жертвою стремленія къ ней, падаетъ съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себъ, какъ проклятіе, память о другомъ разбитомъ навсегда сер цѣ, о другомъ нав вки погубленномъ существованін... И здѣсь-то заключается неисчернаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтическихъ исторій, которыми такъ богата современная дъйствительность, наши грустная эпоха, которой педостаеть еще силь ни оторваться совершенно отъ романтизма среднихъ въковъ, ни возвратиться вновь и вполит въ обманчивыя объятія этого обаятельнаго призрака... Но иные спасаются отъ общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не всеми видимыя и не всемъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не нначе, какъ только черезъ совершенное отридание неопредъленнаго романтизма срединхъ въковъ; однако-жъ, это не есть отрицаніе отъ всякаго идеализма и погруженіе въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толна, но просвътлъніе ндеею самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очелов'яченіе естественныхъ стремленій. Для человѣка нашего времени не можеть не существовать прелесть изящныхъ формъ въ женщинъ, ни обаятельная сила эстетическистрастнаго наслажденія. И, несмотря на то, это будеть не одна чувственность, не одна страсть, но вмъсть съ тъмъ и глубокое цъломудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души къ душъ. Это будеть растеніе, котораго прекрасный и роскошный цвътъ проливаеть въ воздухѣ ароматъ, а корень кроется во влажной и мрачной почвъ земли. Восточная любовь основана на различін половъ: основаніе это нетинно, и недостатокъ восточной любви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностью, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчин можно влюбиться только въ женщину, а женщинъ — только въ мужчину: следовательно, половое различие есть корень всякой любви, первый моменть этого чувства. Грекъ обожаль въ женщинъ красоту, какъ только красоту, придавая ей въ въчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрѣнія на женщину истинна и въ наше время, и надо имъть дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтобъ смотрёть на красоту, не иліняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинъ мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ въковъ пошелъ далъе древнихъ въ поняти о красоть: онь отказался оть обожанія красоты, какъ голько красоты, и хотель видеть въ ней душевное выраженіе. Но это выраженіе понималь онъ до того неопределенно и туманно, что древняя иластическая красота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная д'вйствительность къ прекрасной мечтъ. Поняне нашего времени о красотъ выше созерданія древняго и созерцан я среднихъ вѣковъ: оно не удовлетворяется красотою, которая только что красота и больше ничего, какъ эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статув греческія съ безцвѣтными глазами; но оно также далеко и отъ безплотнаго идеала среднихъ въковъ. Оно хочеть видеть въ красоте одно изъ условій, возвыш пощихъ достоинство женщины, п вмъсть съ тъмъ ищетъ въ лицъ женщины определенного выраженія, определенного характера, опредъленной иден, отблеска опредъленной стороны духа. Въ наше время умный человекъ, уже вышелий изъ пеленъ фантазіп, не станетъ искать себъ въ женщинъ идеала всъхъ совершенствъ,-не станетъ потому, во-нервыхъ, что не можетъ видьть въ самомъ себь идеала всьхъ совершенствъ, и не захочеть запросить больше, нежели сколько самъ въ состоянін дать, а во-вторыхъ, потому, что не можеть, какъ умный человъкъ, върить возможности осуществленнаго идеала всъхъ совершенствъ, нбо онъ-опять-таки какъ умный, а не фантазирующій человѣкъ-знаетъ, что всякая личность есть ограничение "всего" и исключение "многаго", какими бы достопнетвами она ни обладала, и что самыя эти достоинства необходимо предполагають недостатки. Найти одну или, пожалуй, нѣсколько нравственныхъ сторонъ и умъть ихъ понять и оцёнить воть пдеаль разумной (а не фантастической) любви нашего времени. Красота возвышаетъ правственныя достопиства; но безъ пихъ красота въ наше время существуетъ только для глазъ, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться правственныя качества женщины нашего времени? — Въ страстной натуръ и возвышенно-простомъ умъ. Страстная натура состоить въ живой симпатіи ко всему, что составляеть правственное существование человѣка; возвышенно-простой умъ состоить въ простомъ пониманін даже высокихъ предметовъ, въ тактъ дъйствительности, въ смелости не бояться истины, пенабѣленной и непарумяненной фантазіею. Въ чемъ состоитъ блаженство любви но понятію нашего времени? — Въ наше время о полномъ безусловномъ счастін въ любви могутъ мечтать только или отроки, или духовно-малолетнія натуры. Это, во-первыхъ, потому, что міръ романтизма не можеть вполне удовлетворить порядочного человека, а во вторыхъ, потому, что наше время какъ-то вообще неудобно для всякаго счастія, а тымь менъе для полнаго. Возможное счастіе любви въ наше время зависить отъ способности дорожить одареннымъ благородною душою существомъ, которое, при сердечной симпатін къ вамъ, столько же можеть понимать вась такъ, какъ вы есть (ни лучше, ни хуже), сколько и вы можете понимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность нравственнаго существованія человъка. Видъть и уважать въ женщинъ человъка-не только необходимое, но и главное условіе возможот набыл для порядочного человака нашего времени. Наша любовь проще, естественнъе, но п духовите, правствените любви встхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи человъчества. Мы не преклонимъ колѣнъ передъ женщиною за то только, что она прекрасна собою, какъ это дълали греки; но мы и не броскать ея, какъ наскучившую намъ шгрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемь. Это не значить, чтобъ наше сердце не могло иногда охладавать безъ причины; но для насъ нътъ большаго песчастія, какъ, взявъ на себя нравственную отвътственность въ счастін женщины, растерзать ея сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ къмъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродътели, какъ это дълали рыцари; но мы уважимъ ея действительныя права и, не дълая ее своею царицею, не захотимъ видъть въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ въ средніе вѣка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполив признаемъ

ее человъкомъ... Мать нашихъ дътей, она не унизится, но возвысится въ глазахъ нанихъ, какъ существо, свято выполнившее свое святое назначеніе, и наше понятіе о ея правственной чистотъ п непорочности не имфетъ ничего общаго съ тфмъ грязно-чувственнымь понятіемъ, какое придаваль этому предмету экзальтированный романтизмъ среднихъ въковъ: для насъ правственная чистота и невинность женщины-въ ел сердцѣ, полнотѣ любви, въ ея душъ, полной возвышенныхъ мыслей... Идеалъ нашего времени-не двва идеальная и неземная, гордая своею невинностью, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ин ему, ин другимъ не лучше жить на свътъ: нътъ, идеалъ нашего времени-женщина, живущая не въмірт мечтаній, а въ дёйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, — не такая женщина, которая чувствуеть одно, а делаеть другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можеть быть законно, правственно и чисто; безъ нея же оно и въ самомъ бракѣ есть унижение человѣческаго достоинства, грфховный позоръ и растленіе женщины...

Много нужно было времени, битвъ, бореній, переворотовъ и страданій, чтобъ явилась человъчеству заря новаго романтизма и настала для него эпоха освобожденія отъ романтизма среднихъ въковъ. Давно уже условія жизни и основы общества были другія, не похожія на тѣ, которыми крѣнки были средніе вѣка, но романтизмъ среднихъ въковъ все еще держалъ Европу въ своихъ душныхъ оковахъ, н-Боже мой!-какъ еще для многихъ гибельны клещи этого искаженнаго и выродившагося призрака!.. XVIII въкъ нанесъ ему ударъ странный и ръшптельный; но дѣло тъмъ не кончилось: какъ дамна вспыхиваетъ ярче нередъ тёмъ, когда ей надо угаснуть, такъ сильнее, въ началь ныньшняго выка, возсталь-было изъ своего гроба этотъ покойникъ. Всякое спльное историческое движение необходимо порождаеть реакцио своей крайности: вотъ причина внезапнаго проявленія романтизма среднихъ в ковъ въ литератур'я XIX віка. Онъ воскресъ въ страні, которой умственную жизнь составляеть теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазерство, и которой действительную жизнь составляетъ пошлость бюргерства, гофратства и филистерства, — въ Германіи. Въ конць XVIII въка тамъ явился великій поэть, одною стороною своего необъятнаго генія принадлежавшій человічеству, а другою---німецкой національности. Мы говоримъ о Шиллеръ, поэзія котораго поражаеть своею двойственностію при первомъ взглядф. Паоосъ ея составляеть чувство любви къ человъчеству, основанное на разумъ и сознанін; въ этомъ отношенін Шиллера можно назвать поэтомъ гуманности. Въ поэзіп Шиллера сердце его въчно исходитъ самою живою, пламенною и благородною кровью любви къ человъку и человъчеству, ненависти къ фанатизму религіозному и національному, къ предразсудкамъ, къ кострамъ и бичамъ, которые раздъляють лю-

дей и заставляють ихъ забывать, что они-братья другъ другу. Провозвъствикъ высокихъ идей, жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поборинкъ чистаго разума, пламенный и восторженный поклонникъ просвъщенной, изящной и гуманной древности,---Шиллеръ въ то же время --романтикъ въ смыслъ среднихъ въковъ! Странное противорѣчіе! А между тѣмъ это противорѣчіе не подлежить никакому сомивнію. Мы думаемь, что нервою стороною своей поэзін Шиллеръ принадлежить человичеству, а второю онь заплатиль невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцаніи любви; но это любовь мечтательная, фантастическая: она боится земли, чтобъ не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ, именно въ той полосъ атмосферы, гдъ воздухъ рѣдокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи солица свътять не гръя... Женщина Шиллера это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тёломъ, а блёдный призракъ; это не страсть, а аффектація. Женщина Шиллера любить больше головою, чемъ сердцемъ, и она у него всегда на пьедесталъ и подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобъ не пахнулъ на нее вфтеръ и не коснулся ея прахъ земли. Въ балладахъ своихъ Шиллеръ воскресилъ весь піэтизмъ средиихъ въковъ со всею безотчетностію его содержанія, со всёмъ простодушіемъ его нев'єжества. Посл'є Шиллера образовалась въ Германіи цёлая партія романтическая, представителями которой были братья Шлегели, Тикъ и Новалисъ. Это все были натуры болье или менье даровитыя, но безь всякой искры генія, и они ухватились со встмъ жаромъ прозелитовъ за слабую сторону Шиллера, думая найти въ ней все и хлоноча, сколько хватало ихъ силъ, о возобновленін въ новомъ мірѣ формъ жизни среднихъ въковъ. Самъ Гёте-человъкъ высшаго закала, поэтъ мысли и здраваго разсудка, въ легендъ среднихъ въковъ высказалъ страданія современнаго человѣка ("Фаустъ"); а въ своемъ "Вертеръ" явился онъ романтикомъ тоже въ духъ среднихъ въковъ. Многія баллады его (какъ, напр., "Льсной Царь", "Рыбакъ" и проч.) дышатъ романтизмомъ того времени. — Это движеніе, возникшее въ Германіи, сообщилось всей Европъ. Въ Англіи явился поэтъ, всего менье романтическій и всего болье распространившій страсть къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ-Скоттъ-самый положительный умь: герои его романовъ всв влюблены, но какъэтого онъ не раскрываетъ; его дело влюбить и женить, а до мистики страсти, до ея развитія и характера онъ никогда не касается. А между тимь онъ почти безвыходный жилець среднихъ вѣковъ: онъ съ такою страстью и съ такою словоохотливостью описываеть и кольчугу, и гербъ, н рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той энохи... Былъ въ Англіи другой, еще болье великій поэть и романтикъ по преимуществу; но тоть надълалъ много вреда и нисколько не принесъ пользы среднимъ въкамъ. Образъ Прометея, во всемъ колоссальномъ величін, въ какомъ передала его намъ фантазія грековъ, явился вновь въ типи-

ческомъ образѣ Вайрона; но онъ былъ провозвѣстникомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа въ духф среднихъ вфковъ; она состояла не изъ однихъ поэтовъ, но п мыслителей, и силилась воскресить не только романтнамъ, но и католициамъ, - что было съ ен стороны очень последовательно. Представителями романтической поэзін во Францін были въ особенности два поэта — Гюго и Ламартинъ. Оба они истощили воскресшій романтизмъ среднихъ вѣковъ, и оба нали, засыпанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тщетно усиливались выстроить наперекоръ современной дъйствительности. Имъ недоставало цемента, такъ крънко связавшаго колоссальные готические соборы среднихъ въковъ. Вообще неестественная попытка воскреснть романтизмъ среднихъ въковъ давно уже сдълалась анахронизмомъ во всей Европѣ. Это была какая-то странная вспышка, на которой опалили себ'в крылья замъчательные таланты, и которая много повредила самимъ геніямъ.

Но у насъ этотъ романтизмъ, искусственно воскрешенный на минуту въ Европѣ, имѣлъ совсёмъ другое значеніе. Россія, реформою Петра Великаго, до того примкнулась къ жизни Европы, что не могла не ощущать на себъ вліянія происходившихъ тамъ умственныхъ движеній. У Россіи не было своихъ среднихъ въковъ, и въ литературѣ ея не могло быть самобытнаго романтизма,а безъ романтизма поэзія то же, что тіло безъ души. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескиваль романтизмъ греческій, но не болье, какъ только проблескивалъ. Впрочемъ, если бы въ то время явился на Руси поэтъ, вполнъ проникнутый греческимъ созерцаніемъ и внолнѣ владъвшій пластицизмомъ греческой формы, то и въ такомъ случат русская литература выразила бы собою только одинъ моментъ романтизма, за которымъ оставалось бы ожидать другого. Карамзинъ, какъ мы уже не разъ замѣчали, внесъ въ русскую литературу элементъ септиментальности, которая-не что иное, какъ пробуждение ощущения (sensation), первый моменть пробуждающейся духовной жизни. Въ сентиментальности Карамзина ощущение является какою-то отчасти бользненною раздражительностію нервовъ. Отсюда это обиліе слезъ и истинныхъ, и ложныхъ. Какъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества: нбо кто можеть нлакать не только о чужихъ страданіяхъ, но и воббще о страданіяхъ вымышленныхъ, тотъ, конечно, больше человѣкъ, нежели тоть, кто илачеть тогда только, когда его больно быоть. И однако-жъ ощущение есть только приготовленіе къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмъ: то и другое обнаруживается, какъ чувство (sentiment), имфющее въ основъ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могь только романтизмъ среднихъ въковъ, болье близкій и болье доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій, для своего

уразуменія, особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ тапиства романтизма среднихъ въковъ. Назначение сентиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было-расшевелить общество и приготовить его къ жизни серяца и чувства. Поэтому явленіе Жуковскаго вскор' посл' Карамзина очень понятно и вполн согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а черезъ нее-общества. Равнымъ образомъ понятенъ нуть, которымъ Жуковскій привелъ къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія н заимствованія—единственный возможный путь для литературы, не пившей и не могшей имвть корня въ общественной почет и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобы поэтическая натура Жуковскаго носила въ себъ сильную родственную симпатію къ музѣ Шиллера, и, въ особенности, къ ея романтической сторонъ. Жуковскій познакомился съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкъ,--- и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертію Шиллера. Хотя Жуковскій всегда д'виствоваль, какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотръть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо только то, что гармонировало съ внутреннею настроенностію его духа, и въ этомъ отношенін браль свое везді, гді только находиль его, --- у Шиллера по преимуществу, но вмѣстѣ съ тъмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нъмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многое онъ даже не столько переводиль, сколько передёлываль, иное заимствоваль мъстами и вставляль въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ, Жуковскій быль переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіп и Англіи: нътъ, Жуковскій былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ въковъ, воскрешеннаго въ началъ XIX въка нъмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шпллеромъ. Вотъ значение Жуковскаго и его заслуга въ русской литературф.

Жуковскій началь свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзін имъ начатъ, созданъ и утвержденъ на Руси: современники юности Жуковскаго смотръли на него пренмущественно, какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланін Батюшковъ называль его "балладникомъ". Подъ балладою тогда разумѣли краткій разсказъ о любви, большею частью несчастной; могилу, крестъ, привиданіе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и ведьмъ считали принадлежностію этого рода поэзін, —больше же ничего не подозрѣвали. Но въ балладъ Жуковскаго заключался болъе глубокій смысль, нежели могли тогда думать. Баллада и романсъ-народная пъсня среднихъ въковъ, прямое и наивное выражение романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по преимуществу романтическія. Первою балладою, обратившею

на Жуковскаго общее вниманіе, была "Людмила", передаланная имъ изъ Бюргеровой "Леноры", которую онъ впоследствін перевель. "Ленора" доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себѣ славу! Такое время миновалось даже для Россін. Но "Людмила" Жуковскаго явилась кстати: она имёла успёхъ вродё того, какимъ воспользовались "Душенька" Богдановича и "Бѣдная Лиза" Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладъ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ рашптельно натъ въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и "Людмила" въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всёхъ своею легкостью, звучностью, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержание баллады — самое романтическое, во вкуст среднихъ вёковъ: дёвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полъ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый прівзжаеть за нею на конв и увозить ее - въ могилу, н хоръ тёней воетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

Смертныхъ ропотъ безразсуденъ; Царь всевышній правосуденъ; Твой услышалъ стопъ Творецъ; Часъ твой биль, насталь конець.

Выло время (и оно давно-давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какоето сладостно-страшное удовольствіе, и чамъ больше ужасала насъ, тъмъ съ большею страстью мы читали ее. Дъти ныпъшняго времени стали умиъе, и мы не думаемъ, чтобы теперь даже и между ними могли найтись почитатели "Людмилы". А между тымь, повторяемь, она самое романтическое произведение въ духъ среднихъ въковъ. И если бы мы не помнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, несмотря на свон двъсти пятьдесятъ два стиха, — то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта теритнія и силы написать столь длинную балладу въ такомъ роде... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться "Въдною Лизою"; однако-жъ эта повъсть, въ свое время, исторгла много слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Прудъ н испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надписями. Старожилы говорять, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мъста свиданія любовниковъ, и мъста дуэлей. И много было писано потомъ повъстей въ такомъ родъ; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтенін, а до насъ не дошли даже и названія ихъ, — знакъ, что только талантъ умъетъ угадывать общую потребность и тайную думу времени. Всъ произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться въ исторін: это курганы, указывающіе на путь народовъ, на мѣста ихъ роздыховъ... Къ такимъ пронзведеніямъ принадлежить "Людмила" Жуковскаго. Сверхъ того, романтизмъ этой баллады состоить не въ одномъ нелѣпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски простодушная легенда, и которыя свидѣтельствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ, напримѣръ, слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышать шорохь тихихь тёней: Вь чась полуночныхь видёній, Вь дымё облака, толпой, Прахь оставя гробовой, Сь позднимь мёсяца восходомь, Легкимь, свётлымь хороводомь, Вь цёнь воздушную свились— Воть за ними понеслись; Воть поють воздушны лики: Вудто въ листьяхъ павилики Вьется легкій вётерокъ; Будто плещеть ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы:

Воть и мъсяцъ величавый Всталъ надъ тихою дубравой: То изъ облака блесиетъ, То за облако зайдеть; Съ горъ простерты длинны тъни; И лъсовъ дремучихъ сънн, И зерцало зыбкихъ водъ, И небесь далекій сводъ Въ свютлый сумракт облеченны... Спять пригерки отдаленны, Воръ заснулъ, долина спитъ... Чу!.. полночный часъ звучить. Потряслись дубовъ вершины; Воть повъяль оть долины Перелетный вътерокъ... Скачеть по полю вздокъ...

Такіе стихи вполнѣ оправдывають восторгъ н удувленіе, которыми была нѣкогда встрѣчена "Людмила" Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладѣ новый духъ творчества, новый міръ поэзіи,—и общество не ошиблось.

"Свътлана", оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef-d'осичге, такъ что
критики и словесники того времени (она была
напечатана въ 1813 году,—стало быть, тридцать
лътъ назадъ тому) титуловали Жуковскаго "пѣвпомъ Свътланы". Въ этой балладъ Жуковскій
котълъ быть народнымъ; по о его притязаніяхъ
на народность мы скажемъ послъ. Содержаніе
"Свътланы" извъстно всъмъ и каждому; оно самое
романтическое, и вообще лучшая критика, какая
когда либо написана была о "Свътланъ", заключается въ посвятительномъ куплетъ баллады;

Въ ней большія чудеса, Очень мало складу.

"Алина и Альсимъ", кажется, принадлежитъ къ числу оригинальныхъ балладъ Жуковскаго. Она

отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающимъ на уста не совсѣмъ добрую улыбку; но ея содержаніе, несмотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было имѣть самое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно, такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялись набожно:

Что пользы въ платье дорогое Себя рядить? Вогатство на землъ прямое Одно: любить.

Картина свиданія Алипы съ Альсимомъ, представшимъ передъ нею подъ видомъ продавца золотыхъ вещей, нарисована кистью грустною и меланхолическою; ифкоторые стихи проникнуты самымъ обаятельнымъ романтизмомъ, какъ, напримфръ, эти:

Влистала красота младая
Въ его чертахъ;
Но бявденъ; борода густая;
Печаль въ глазахъ.
Мила для взоровъ живость цвъта,
Знакъ оныхъ дней;
Но блюдный цвътъ, тоски примъта,
Еще милъй.

Развязка баллады — дётская мелодрама: кинжаль, убійство невинныхь и терзаніе сов'єсти убійцы. Мы думаемь, что такимь окончаніемь испорчена баллада, им'євшая для своего времени великое достониство.

Не знаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать "Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ"; но мысль "Вадима", составляющаго вторую часть этой огромной баллады, заимствована имъ изъ романа Шписа "Старикъ вездѣ и нигдѣ". Мѣсто дѣйствія этой баллады—въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ—никакихъ. Это нисколько не русская, но чисто-романтическая баллада въ духѣ среднихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Говорятъ, что "Эолова Арфа" — оригинальное произведение Жуковскаго: не знаемъ; но по крайней мёрё достовёрно то, что она-прекрасное и поэтическое пропзведение, гдф сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковскаго. Эта любовь, несчастная по неравенству состояній, младенчески-невинная, мечтательная и грустная, это свиданіе подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повъшенная "залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней", и явленіе милой тѣнв одинокой красавицъ, сопровождаемое таинственными звуками и возвъстившее утрату всего милаго на вемль: все это такъ и дышить музыкою сфвернаго романтизма, неопределеннаго, туманнаго, унылаго, возникшаго на гранитной почвъ Скандинавін н туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо живо помнить первыя лата своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ, — надо живо помнить эти дви сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце върить, но

котораго уста не могуть назвать,—надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатлёніе должны производить на юную душу эти прекрасные стихи послёдняго куплета баллады:

И пёть уже Минваны... Когда оть потоковь, холмовь и полей Воеходять туманы, И святить, какт в дыми, луна бель лучей— Двё видятся тёни: Сліявшись, летять Къ знакомой имъ сёни... И дубъ шевелится, и струны звучать.

Минвана—не гордая красавица юга, съ роскошными формами тѣла, огненными глазами, цвѣтущая здоровьемъ, нышущая страстію: нѣть, это блѣдная красота сѣвера, тихая и кроткая, похожая на какое-то милое, воздушное видѣніе, красота, трогающая своею болѣзненностью, очаровывающая своею томностію, идеалъ романтической красоты и въ особенности идеалъ красоты Жуковскаго... Со стороны художественной въ этой балладѣ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя сказать, чтобъ она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полнаго и сильнаго впечатлѣнія.

"Рыцарь Тогенбургь"—прекрасный и върный переводъ одной изъ лучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любитъ дъвушку, которая не понимаетъ чувства любит тревоги военной жизни и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцаръ его несчастной страсти; возвратившись на родицу, онъ узнаетъ, что—она монахини; тогда онъ скрывается въ убогой кельъ, по сосъдству монастыря, какъ гробъ схоронившаго въ себъ всъ надежды его на блаженство жизни,—

И душв его унылой
Счастье тамъ одно:
Дожидаться, чтобъ у милой
Стукнуло окно;
Чтобъ прекрасная явилась,
Чтобъ отъ вынины
Въ тихій долъ лицомъ склонилась,
Лигелъ типины.

Въ одно прекрасное утро злополучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно-, рыцарь нечальнаго образа"!.. Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсимъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокія и прозаическія, мы жалбемъ объ этомъ рыдаръ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ п несущемъ на себъ тяжкое бремя дъйствительнаго несчастія, а какъ о сумасшедшемъ... Понстинъ бъдняжка для насъ немного смъщонъ п жалокъ... Что делать? въ этомъ отношеніи мы совершенно классики, и нисколько не романтики. Во-первыхъ, мы не въримъ, чтобъ все назначение мужчины заключалось только въ любви, и чтобъ вев силы души его должны были сосредоточиться въ одномъ этомъ чувствѣ; во-вторыхъ, мы мало уважаемъ върность до гроба и считаемъ ее натяжкою воли, аффектаціею, а не свободно горя-

щимъ огнемъ чувства; въ-третьнхъ, мы не вфримъ возможности любви нераздёльной, — и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ бользнь или помѣшательство. Любовь вспыхиваеть отъ сближенія, взаимпость раздражаетъ ея эпергію; невниманіе н холодность вызывають чувство оскорбленнаго самолюбія, униженнаго достоинства-и уничтожаютъ возможность любви. Есть люди и въ наше время, которые готовы увфрить себя въ какомъ угодно чувствъ и которые никогда не будутъ имъть благородной сміжлости сознаться передъ самими собою, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцѣ, не въ крови, а въ головъ и фантазіи. Они думають, что изманить разъ овладавшему ими чувству постыдно, и цёлую жизнь натягиваются, силою воли, держать себя въ этомъ чувствъ. A force de forger...—и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дёлё даетъ имъ призракъ радости и тоски, какъ будто бы и дъйствительное чувство. Ведняки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и сильной натурѣ, которая если полюбитъ разъ, то ужъ навсегда, и скорве умреть, чемъ изменить своему чувству. Они не знаютъ, что въ этой добродётели давно уже побёдиль ихъ знаменитый витязь Донъ-Кихотъ, который до могилы остался веренъ своей прекрасной Дульцинев, котораго одна мысль о сей очаровательной дам'в его сердца укрѣпляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, делая его и несчастнымъ, и блаженнымъ... А что такое Донъ-Кихотъ?--Человъкъ вообще умный, благородный, съ живою и дъятельною натурою, но который вообразиль, что ничего не стоитъ въ XVI еткъ сделаться рыцаремъ XII века, - стонтъ только захотеть...

Мы выше замѣтили, что романтизмъ не есть достояніе и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: онъ-вѣчная сторона натуры и духа человъческаго; онъ не умеръ послъ среднихъ въковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новъйшій романтизмъ не думаеть отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуеть, чтобъ это стремленіе не было подземною, темною, адскою силою, вовлекающею человъка, какъ пасть гремучей змфи, въ бездну погибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуеть, чтобъ и чувство, въ свою очередь, не отнимало у человѣка свободы; а свобода есть разумность. Гдт же разумность—въ болфзиенномъ чувствъ, приковавшемъ одного человъка къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случав Вогъ съ нею-съ любовью! Широка жизнь, и много дорогь на ея безконечномъ пространствт, и любую изъ нихъ можетъ выбрать себф свободная дфятельность мужчины. Грустно видёть человёка, который потеряль все, что любиль, и котораго сердце этою потерею навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудитъ такого человъка: его скорбь имъетъ имя, она дъйствительна, — онъ оплакиваеть то, что зваль своимъ, чёмъ былъ счастливъ. Но сдълаться жертвою призрака, мечты, прихоти больного воображенія, каприза неразумнаго сердца, сосредоточить вст свои желанія на

женщинь, которая о насъ не думаеть, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ украдкою израдка смотрѣть на нее въ почтительномъ разстояніп,какая унизительная, какая презрыная роль! Въ одной сказкъ сумасброднаго романтика Гофмана человъкъ влюбляется въ автомата и гибнетъ жертвою этой любви: не похожь ли на него рыдарь Тогенбургъ?.. Въ средніе віка поинмали любовь, какъ какое-нибудь неизбѣжное, роковое предназначеніе. Романтизмъ нашей эпохи понимаетъ діло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думастъ, чтобъ для мужчины существовала только одна женщина въ міръ, а для женщины-только одинъ мужчина въ мірѣ. Выборъ предмета любви основанъ на капризѣ сердца; любовь зависить отъ сближенія, а сближеніе отъ случайности. Не удалось здёсь-удастся тамъ; не сонинсь съ одною, сойдетесь съ другою. Это опять не значить, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по вол'ь своей: это значить только то, что если каждый можеть любить только известный идеаль, то никогда никакой идеаль не является въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, но существуетъ въ большемъ или меньшемъ числѣ видонзмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиною несчастія его жизни. Вы любили только разъ въ жизни и были до гроба върны одной только иривязанности: прекрасно! Но не дълайте изъ этого общаго для всёхъ правила! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ-одинъ разъ въ жизни, а этотъдесять разъ; оба равно правы, лишь бы только на совъсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастіе. Нать преступленія любить насколько разъ въ жизни, и натъ заслуги любить только одинъ разъ: упрекать себя за первое п хвастаться вторымь-равно нельно...

Когда двъ эпохи такъ противоположно расходятся во взглядѣ на одни и тѣ же предметы, то ноэзія старой эпохи теряеть свою силу для новой. Если какая-нибудь эпоха выразила собою одинъ изъ моментовъ всемірно-историческаго развитія, то ея поэзія всегда пміеть свою историческую важность: но только ея собственная поэзія, а не поддельная подъ нее. И потому готические соборы среднихъ въковъ и въ наше время сильно дъйствують на душу, а баллады Шиллера, несмотря на всю поэтпческую прелесть ихъ, ни для кого не занимательны. Скажемъ болъе: чъмъ выше, по своему художественному достоинству, такія баллады, какъ "Рыцарь Тогенбургъ", тъмъ большее сожальніе возбуждають онь въ читатель нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ потрачено по воробьямъ... Разумбется, это можно ставить въ упрекъ Шиллеру, но отнюдь не Жуковскому: ибо первый, въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ, старался воскресить давно умершіе интересы, когда современная жизнь книвла великими вопросами и историческій духъ, какъ подземный кроть, подрываль старыя основы новой дъйствительности; а второй усвоивалъ юной, едва рождавшейся литературъ илодотворные для нея элементы и юное, едва возрождавшееся общество знакомплъ съ новыми, необходимыми ему интересами. Итакъ, чтобъ еще поливе и опредълениве высказать сущность и характеръ романтизма среднихъ въковъ, а вмъстъ съ нимъ и романтики Жуковскаго, обросимъ бъглый взглядъ на содержание еще ивъкоторыхъ балладъ его.

Одниъ добрый пустынникъ разъ завелъ къ себѣ въ лѣсную келью заблудившагося путника, —потомъ узналъ въ немъ свою любезную, послѣ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся жить и умереть вмѣстѣ съ Эльвиною. Это, вѣроятно, случилось такъ давно, что теперь трудно и повѣрить, чтобъ когда-нибудь могло случиться. — Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видѣться съ бѣдною дѣвушкою. Что тутъ дѣлать? Нечитавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высѣчь за непослушаніе. Ничего не бывало! Онъ былъ малый на возрастѣ, уже знакомый съ страстями:

Увы, Эдвинь! Въ какой борьби въ немъ страсти! И ни одной ивтъ силы побъдить...

Какъ не признать отцовской власти? Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отецъ былъ отецъ по понятіямъ среднихъ въковъ, т. е. человъкъ, который, за бъдный даръ жизни, счигалъ себя въ правъ лишать сына счастія по произволу своей прихоти, другими словамисчиталь сына своимь рабомь, своею вещью... Въ наше время отецъ имъетъ совстмъ другое значеніе: его связываеть съ д'ятьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своею заслугою не то, что онъ даль дётямъ своимъ физическое существованіе, но то, что онъ даль имъ черезъ воспптаніе, основанное на любви, нравственную жизнь. Если-бъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастіе его жизни, на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ, —всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тъмъ самымъ уничтожаеть свои права надъ нимъ: нбо если пътъ любви, связывающей отца съ дътьми, то у дътей нътъ и отца. Но въ средніе въка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъсвоею священною обязанностію быть вещію дражайшаго родителя. Такъ думалъ и нашъ Эдвинъ, а потому и слегъ съ горя въ постель, рѣшившись смертію окончить жизнь свою; но прежде ему хотелось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его последній вздохъ, тоже не захотела больше жить, и едва успела добежать до своей матери, какъ и умерла. Вотъ какъ любили прежде, и какъ тогда опасно было "дражайшимъ родителямъ" разлучать върныя сердца! Но, вмъсть съ тьмъ, должно заметить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкъ объ эти баллады, опъ были важны для восинтанія въ обществ'в челов вческих в чувствъ н не могли не действовать на правственное образованіе новыхъ поколіній.—Варвикъ, похититель короны пубійца своего царственнаго воспитанника, законнаго наследника престола, наказанъ — наводненіемъ; спасаясь въ челнокъ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу-призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаетъ его въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, цёль нравственная-все хорошо, только нимало не правдоподобно...- Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастіе любви обѣщаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцемъ; но лишь подаль онь ему младенца, какън очутился самъ въ его когтяхъ, а младенецъ спасся какимъ-то чудомъ. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержаніе поучительно, но не для людей грамотныхъ и сколько-нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который, по безграмотности, совсёмь не читаеть балладъ...-Славный боецъ быль Гаральдъ; но не въ добрый часъ захотѣлось ему напиться воды изъ ручья-выпиль и окаменаль: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутниковъ Гаральда... Какъ хорошо, что въ наше прозаическое время фен перевелись, и мы можемъ пить воду, не боясь окаменъть!..-Слуга, убивъ своего паладина, надълъ на себя его доспъхи и, по причинъ ихъ тяжести, утонуль въ ръкъ, куда сбросиль его конь убитаго рыцаря: достойное наказаніе убійцѣ!--Одинъ жестокій епископъ сжегь въ сарав, какъ мышей, бѣдный народъ, проспвшій у него хлѣба въ голодный годъ, и за то быль наказанъ мышами же, которыя съели живьемъ самого его... Чудные въка были эти времена феодализма! Всякая добродътель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно паказывался. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности: въ чемъ бы ни обвиняли васъ-хотя бы въ отцеубійствѣ,--но если вы были убѣждены въ своей невинности, вамъ стоило только опустить руку въ книятокъ и быть увфреннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убъдить въ чистотъ вашей совъсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много измѣнилось: проклятая равно сварить и виновную, и невинную руку. Воть и извольте жить въ такія времена, да читать балнады, въ чудесахъ которыхъ разувфряетъ васъ эта положительная дёйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозаическое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляетъ никакого удовольствія, но наводить апатію и скуку... Воть, напримфръ, какъ хороша "Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка фхала на черномъ конъ вдвоемъ, и кто сидълъ впереди"! Жуковскій превосходно перевель ее съ англійскаго (кажется, изъ Сутэя); но въдь дочесть ее до конца, право, нътъ силъ. Старушка эта была страшная колдунья, сколько можно судить по ея собственной

"Здвеь вмёсто дня была мив ночи мгла; Я кровь младенцевь проливала, Власы невёсть въ огив возшебномъ жгла И кости мертвыхъ похищала". Воясь дьявола, который долженъ, по уговору, прійти за ея тёломъ (ужъ не знаемъ, зачёмъ понадобилось лукавому тёло старухи, когда душа ея была и безъ того въ его когтяхъ), старуха просить сына своего, чернеда, отстоять молитвами ея кости отъ покушеній нечистаго. Однако-жъ тотъ взяль свое, на черномь конв похитивъ старую колдунью. И подбломъ ей; но воть бъда: мы ръшительно не вфримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свътъ не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь въ волшебномъ и какомъ угодно огнъ остриженные волосы нашихъ невъстъ (если имъ вздумается образать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Впрочемъ, колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умнъе колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, пожалуй, даже и власы) невъсть и кости мертвыхъ не дадуть имъ денегъ, они не станутъ и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-землѣ гораздо опаснфе всякихъ колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, занимающіеся врачебною наукою: ни одинь изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ полной увъренности (которой, по совъсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владълецъ черена не будеть въ претензін на такое поруганіе, и что для него рішительно все равногнить ли въ земле, пли въ ученомъ кабинете споспъществовать успъхамъ благодътельнаго для человъчества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладою, въ которой описывается путешествіе старухи-колдуны въ адъ съ чортомъ и на чортъ, надо имъть способность съ поднявшимися на головъ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всё глуныя бредин черин о колдунахъ и чертяхъ, -а способность эта можеть быть только плодомъ самаго грубаго невъжества, отъ котораго теперь освобождается мало-по-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы нугать разв'я только н'яжное и внечатлительное (impressionable) воображение дътей: но кто же захочетъ нравственно губить дътей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?.. Это было бы далеко превзойти въ преступленіи старую колдунью, которая

. . . Кровь младенцевъ проливала, Власы невъстъ въ огнъ волшебномъ жгла И кости мертвыхъ похищала.

И, однако-жъ, Жуковскій такъ былъ въренъ своему романтическому направленію въ духѣ среднихъ въковъ, что баллады самаго страннаго содержанія переведены имъ уже послѣ 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежитъ и баллада о старухѣ-колдунъѣ, ѣхавшей въ адъ съ дъяволомъ на чортѣ. Переведенная имъ "Лепора" напечатана была въ 1831 году.—Какъ на образецъ неумѣреннаго и несвоевременнаго романтизма, укажемъ на балладу "Изолина". Пѣвецъ Алопзо возвра-

тился изъ Палестины и началъ пъть подъ окнами своей Изолины; но узнавъ, что она умерла, онъ самъ сію же минуту умираетъ, а Изолина воскресаеть оть его пъсни: воть и все!-Еще болъе характеризуетъ романтизмъ среднихъ въковъ баллада "Доника", которой содержание состоить въ томъ, что въ прекрасную невъсту рыцаря ни съ того, ни съ сего вдругъ вселился обсъ и оставилъ ее при алтарф, куда пришла она вфичаться, по оставиль ее вмъсть съ ея жизнію... Воть онь, романтизмъ среднихъ въковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силъ, отъ которыхъ нѣтъ защиты самой невинности и добродътели! Греческій романтизмъ никогда не доходилъ до такихъ нелъпостей, унижающихъ человъческое достоинство.-Баллады "Братоубійца", "Королева Урака и пять Мучениковъ" и "Покаяніе" суть не что иное, какъ католическія легенды среднихъ въковъ. Последняя-лучная изънихъ и по стихамъ, и по содержанію. "Замокъ Смальгольмъ", прекрасная баллада Вальтеръ-Скотта, прекрасными стихами переведенная Жуковскимъ, поэтически характеризуетъ мрачную и исполненную злодъйствъ и преступленій жизнь феодальныхъ временъ. По языку, это одно изъ удивительнъйшихъ произведеній Жуковскаго.

Въ собственно-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и переделанныхъ Жуковскимъ съ нъмецкаго языка, открывается еще болье, чьмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это -желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ, жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастін, которое Богъ знаеть, въ чемъ состояло; это -міръ, чуждый всякой действительности, населенный тенями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тъмъ не менъе неуловимыми; это-уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собою будущаго; наконецъ, это -- любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имъла бы чёмъ поддержать свое существование. Поищемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего неопредъленнаго и туманнаго опредъленія его поэзіп. Подробный разборъ каждаго стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сделаемъ указанія па основную мысль другихъ болже или менже замъчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всёхъ мелодій его поэзін, ибо вев стихотворенія Жуковскаго не что иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко вевмъ имъ идутъ, какъ эпиграфъ, два последніе стиха, которыми оканчивается пьеса "Тоска по Миломъ":

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; Одна о минувшемъ тоска миѣ осталась.

"Таинственный Посътитель" есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его: Кто ты, призракъ, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталъ?
Безотвътно и безгласно,
Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдъ ты? Гдъ твое селенье?
Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачъмъ твое явленье
Въ поднебесную съ небесъ?

Не Надежеда-ль ты младая,
Приходящая порой
Изъ невёдомаго края
Подъ волішебной пеленой?
Какъ она, неумолнмо
Радость милую на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетёлъ и бросилъ насъ.

Не Любовь пи намъ собою
Тайно ты нзобразиль?
Дни любви, когда одною
Міръ одной прекрасенъ быль?
Ахъ! тогда сквозь покрывало
Неземнымъ казался онъ...
Снять покровъ; любви не стало;
Жизнь пуста и счастье сонъ.

Не волшебница ли Дума
Здѣсь въ тебѣ явилась намъ?
Удаленная отъ шума
И мечтательно къ устамъ
Приложивши персть, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ мпнувшее уводитъ
Насъ безмолвио за собой.

Иль въ тебъ сама святая
Здъсь Поэзія была?..
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрова принесла:
Для пебесъ лазурно-ясный,
Чистый, бълый для земли;
Съ ней все близкое прекрасно;
Все знакомо, что вдали.

Иль Ирединестве сходило
Къ намъ во образъ твоемъ
И попятно говерило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свътлый подлетитъ
И подыметъ покрывало,
И въ далекое манитъ.

Поняли-ль вы, кто такой этоть "таниственный посътитель"? Самь поэть не знаеть, кто опъ, и думаеть видъть въ немъ то Падежду, то Любовь, то Думу, то Поэзію, то Предчувствіе... Но эта-то пеопредъленность, эта-то туманность и составляеть главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзін Жуковскаго. Попытаемся объяснять ее.

Есть въ человъкъ чувство безконечнаго; оно составляеть основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дъятельности. Безъ стремленія къ безконечному пътъ жизни, нътъ развитія, нътъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремленіи и достиженіи. Но когда человъкъ чего-нибудь достигаеть, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетвормется этимъ вполнъ; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душть непродолжительно и скоро побъждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, пеудовлетворенія ничъмъ въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человъкъ бываетъ счастлівъе, пока онъ бо-

рется съ преиятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побъдою борьбы, праздникомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мою тъснился грудь: Картиной, звукомъ, выраженьемъ— Во все я жизнь хотёлъ вдохнуть. И въ нёжномъ съмени сокрытый, Сколь пышнымъ миё казался свётъ... Но ахъ, сколь мало въ немъ развито! И малое—сколь бёдный прётъ!—

говоритъ Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человъка въ состояни охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленін, въ условіяхъ временной последовательности: и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видить, что не достигнулъ всего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ и в ч т о, какъ не выражающее безконечнаго, и думаеть достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ безпрерывнаго развитія, безпрерывнаго движенія виередъ. И когда это стремление осуществляется въ сферѣ практическаго міра, когда оно есть въчное дъланіе, безпрерывное творчество, тогда стремленіе это есть действительная сила человѣка, тогда для него есть цѣль, и если достижение не удовлетворяеть такого человъка, тъмъ не менъе оно для него-прогрессъ, и новое стремленіе его выше предшествовавшаго, новая пѣль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла действительности, чуждыя практического міра деятельности, живущія въ отвлеченной идеф: такія натуры стремленіе къ безконечному принимають за одно съ безконечнымъ и хотятъ, во что бы то ни стало, найти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дъятельныхъ, незнакомыхъ съ стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми п положительными целями житейскими. Но темъ не менфе они-люди односторонніе, ибо пружину дъйствія принимають за само дъйствіе и за цъль действія: это такая же ошибка, какъ если бы кто, желая узнать, который чась, вмфсто того, чтобъ носмотреть на циферблать, открыль внутренность часовъ и началъ смотръть на спиральную цъ-

Итакъ, содержаніе позін Жуковскаго, ея павосъ составляеть стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Иль опять отъ вышины Въсть знакомая несется? Или снова раздается Милый голосъ старины?

Пли тамъ, куда летить
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей нензвъстный
Край эссланнаго сокрыть?..
Кто-жъ къ невъдомымъ брегамъ
Путь невъдомый укажеть?
Ахъ! найдется-ль, кто мит скажеть
Очарованное Таль?

Озарнея, доль туманный; Разступися, мракъ густой; Гдь найду исходъ желанный? Гдь воскресну я душой? Испещренные цвътами, Красны холмы вижу тамъ... Ахъ, зачъмъ я не съ крылами? Полетъль бы я къ холмамъ.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній; не варіаціи ли это на мотивъ "таинственнаго посѣтителя"?.. И въ доказательство этого можно бы привести по отрывку почти изъ каждаго стихотворенія Жуковскаго...

Есть въ жизни человека время, когда онъ бываеть полонь безотчетного стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человъкъ можетъ потомъ сдёлаться способнымъ къ стремленію дёйствительному, имфющему цаль и результать, онъ этимъ будеть обязань тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательных порывовъ была и у человъчества: въ этомъ-то и состоить сущность романтизма среднихъ въковъ. Если въ романтизмъ современной Европы нѣтъ мрака и много свѣта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ въковъ. И если мы въ поэзін Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредѣленнаго содержанія, больше зрілости и мужественности мысли, чёмъ въ поэзін Жуковскаго, — это потому, что Пушкинъ имѣлъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій, своею поэзіею, пополниль въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ въковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ въковъ, и романтическая поэзія начала XIX въка. А это съ его стороны великій подвигь, которому награда-не простое упоминовение въ исторіи отечественной литературы, но въчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметь имбеть двб стороны, и находить въ немъ не одно хорошее — совстмъ не значитъ осуждать его. Романтизмъ среднихъ въковъ, разумъется, не годится для нашего времени; теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ быль истиною. Выль и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моменть, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ семенемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзін. Великъ подвигъ того, кто удовлетворилъ этой потребности; но, тѣмъ не менѣе, мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленін къ этому подвигу, -- должны сознать его въ настоящемъ его значенін, увидёть всё его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поззію,—надо показать этотъ романтизмъ въ его пастоящемъ видѣ.

Любовь играеть главную роль въ позін Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность? — Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорфе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поззін Жуковскаго — какое - то неопредфленное чувство. Это—

Упынія прелесть, волиенье надежды, И радость, и трепеть при встръчъ очей, Ласкающій голосъ—души восхищенье, Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ, Присутствія радость, томленье разлуки.

Скажуть: все это несомниныя примиты, общіе признаки любви. Согласны; но потому-то и видимъ мы въ этомъ неопределенность, что это слишкомъ общія приміты. Любовь-общечеловіческое чувство; но въ каждомъ человѣкѣ оно принимаетъ свой оригинальный оттёнокъ, свою пидивидуальную особенность, -- въ произведеніяхъ поэта тёмъ болже. Мы слышимъ въ поэзін Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ, — и сочувствуемъ этому горю безъ утъшенія, этой скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцёленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогого сердцу поэта: для насъ это-видъніе, призракъ... Въ слъдующихъ стихахъ мы встръчаемъ идеалъ и предмета любви, и самой любви, -- пдеалъ, созданный нашимъ поэтомъ:

> Въ тотъ часъ, какъ тишиною Земля облечена. Въ молчаніи вселенной Одна обвороженной Душъ она слышна; Къ устамъ твонмъ она Касается дыханьемъ; Ты слышншь съ содроганьемъ Знакомый звукъ рѣчей, Задумчивыхъ очей Встръчаешь взоръ пріятный, II запахъ ароматный Плънительныхъ кудрей Во грудь твою ліется, II мыслишь: ангелъ вьется Незримый надъ тобой. При ней-задумчивъ, сладкой Исполненный тоской, Ты робокъ, лишь украдкой Стремишь къ ней томный взоръ: Въ немъ сердце вылетаетъ; Несмыть твой разговоры; Твой умъ не обрѣтаетъ Ни мыслей, ни ръчей: Задумчивость, молчанье И страстное мечтанье-Языкъ души твоей; Забыты всъ желанья...

Все это очень върно, но только до извъстной степени. Есть пора въ жизии человъка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самые иламенные сны его фантазіи; но эта пора скоро проходить, и сердце человъка загорается новыми желаніями. Юноша не можеть любить, какъ любить отрокъ на переходъ въ юношество: его мечты дъйствительнъе, и стыдливое

молчаніе и несмільні разговоръ недолго въ состоянін удовлетворять его. Кром'в того, сама любовь, какъ все живое, растеть, движется, желанія влекутъ и стремятъ за собою другія желанія, н это продолжается до тёхъ норъ, пока любовь не приметь определеннаго характера и любящіеся не придуть въ опредъленныя отношенія другь къ другу. Вообразимъ себѣ чету любящихся, которые всю жизнъ свою только и делають, что стыдливо потупляють свои взоры, какъ скоро встрётятся, ведуть другь съ другомъ несмедый разговоръ: ведь это была бы довольно странная картина, хотя и обаятельная въ своемъ начанъ... Жуковскій въ этомъ отношенін ужъ саншомъ романтикъ въ смыслѣ среднихъ въковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердив, и онъ бережетъ и лелветъ его такимъ, какимъ зашло оно въ его сердце; онъ испугался бы его измѣняемости и увилѣлъ бы въ ней непостоянство... Мы уже разъ замътили въ "Отечественныхъ Запискахъ", что есть натуры, которыхъ вся жизнь-выражение какогонибудь возраста человъческаго, и что Крыловъ, въ своихъ басняхъ, въчно юный младенецъ, а Жуковскій, въ своихъ романтическихъ произведеніяхъ, —никогда не старыющійся юноша...

Мы сдѣлали бы большой недосмотръ, если-бъ, говоря о поэзін Жуковскаго, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главивйшихъ элементовъ всякой романтической поэзін, и поэзін Жуковскаго въ особенности! Посмотрите, какіе мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ "дѣва въ черной власяницѣ" молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непримѣтно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше вышишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ;

Дорогой шла дёвица;
Съ ней другъ ся младой:
Болёзненны ихъ лица,
Наполнень взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И вь очи, и въ уста—
И снова расцвётаютъ
Въ нихъ жизнь и красота.
Минутисе веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ келью;
Въ тюрьмю проснулся онъ.

Такое направленіе поэзін Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерданія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности челов'єчества, — то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исц'єленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Ноэтому, въ поэзін Жуковскаго, вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихою сердечною музыкою, и его поэзія любитъ и голубитъ свое страданіе, какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать и ввоемь сердечныхъ утратъ, —и кто не знаетъ его превосходной элегіи на "Кончину королевы Виртембергской" — этого высокаго католическаго реквізма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія

и таниства утрать?... Это въ высшей степени романтическое произведение въ духф среднихъ въковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполив и глубоко—прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себъ друга, который раздълить съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковскаго можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы, и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музою; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не мо-

гуть быть названы романтическими.

Къ последнимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на изв'єстные случан. Это самая слабая сторона поэзіп Жуковскаго; въ ней онъ невъренъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ риторики. Прочтите его "Ивснь Барда надъ гробомъ Славянъ-Победителей", "На Смерть Графа Каменскаго", "Пѣвца во Станѣ Русскихъ Воиновъ", "Пѣвца въ Кремлѣ" и пр.,— и вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря на звучный и кръпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Причина этому, разум'вется, не отсутствіе въ сердць поэта святой любви къ родинь. Но кто же могь бы отрицать это чувство, напримъръ, въ Крыловъ? А между тъмъ Крыловъ не написалъ ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ лирическомъ родф. Онъ получиль отъ природы таланть для басни: въ такомъ случав, онъ хорошо сдблаль, что не писаль одъ и трагедій. Жуковскій, по натур'є своей, -- романтикъ, и ничто такъ не вив его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвъ основанныя. "Пъвцу во Станъ Русскихъ Воивовъ" Жуковскій обязанъ своею славою: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведение было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываеть это?-только, что тогда понимали поззію иначе, нежели какъ понимають ее теперь (а понимали ее тогда, какъ ригорику въ стихахъ). Въ "Иввив во Станв Русскихъ Воиновъ" итть даже чувства современной дъйствительности: въ этой пьесъ вы не услышите ни одного выстръла изъ пушки, или изъ ружья, въ ней нътъ и признаковъ порохового дыма, -- въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрелы; генералы являются воннами, не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершению этой народін на древность, вст они-съ щитами... Все это признакъ риторики, - ибо поззія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметовъ действительности, не боится сдёлаться отъ нихъ прозою, но поэтизируетъ самия прозапческія вещи. И неужели жерла нушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ, неужели дула ружей, постлающія издалека

върную смерть, неужели трехгранный штыкъ, стальною стъною низлагающій сомкнутые ряды, — неужели все это имъетъ въ себъ менъе поэзін, чъмъ кольчуги, щиты, стрълы и копья древности?.. Напротивъ, последнія-детскія игрушки въ сравненіи съ первыми, бледная проза въ сравнении съ страшною и грандіозною поэзією. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совсемъ не славяне, а русскіе! Скажуть: но развъ русскіе не славянскаго племени народъ?-- Положимъ, что и такъ; но развъ всъ народы Западной Европы не тевтонскаго племени: а кто скажеть, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нѣкогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянь? Да, сверхъ того, бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще, ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національныхъ элементовъ. Можетъ быть, это недостатокъ, по въ то же время и достоинство: если-бъ національность составляла основную стихію поэзін Жуковскаго,онъ не могь бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому всё усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство, какъ зрълище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучшія міста въ нікоторых патріотических пьесахъ Жуковскаго—ті, въ которых онъ является вірнымь своему романтическому элементу. Таково, наприміръ, въ "Півці во Стані Рус-

скихъ Воиновъ":

Любви сей полный кубокъ въ даръ! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жаръ: Любовь одно со славой. Кому здъсь жребій удъленъ Знать тайну страсти милой, Кто сердцу сердцемъ обреченъ: Тотъ смъло, съ бодрой силой На все великое летить; Нъть страха, нътъ преграды; Чего, чего не совершитъ Для сладостной награды? Ахъ! мысль о той, кто все для насъ. Намъ спутникъ неизмъпный; Вездъ знакомый слышимъ гласъ; Зримъ образъ незабвенный; Она на бранныхъ знаменахъ, Она въ пылу сраженья; И въ шумъ стана, и въ мечтахъ Веселыхъ сновидънья. Отвъдай врагъ исторгнуть щитъ, Рукою данный милой; Святой объть на немъ горить: Твоя и за могилой! О, сладость тайныя мечты! Тамъ, тамъ, за синей далью, Твой ангелъ, дъва красоты, Одна съ своей печалью, Грустить о другь, слезы льеть; Душа ея въ молнтвъ, Бонтся въсти, въсти ждетъ: «Увы! не палъ ли въ битвъ?» И мыслить: «Скоро-ль, дружній гласъ, Твои мив слушать звуки?
Лети, лети, свиданья часъ,
Смвинть тоску разлуки».
Друзья! блаженивйшая часть:
Любезнымъ быть спасеньемъ.
Когда-жъ предвлъ нашъ въ битвв пасть—
Погибнемъ съ наслажденьемъ;
Святое имя призовемъ
Въ минуту смертной муки;
Къмъ мы дышали въ мірв семъ,
Съ той ивтъ и тамъ разлуки:
Туда душа перенесетъ
Любовь и образъ милой...
О други, смерть не все возьметъ:
Есть жизнь и за могилой.

Слѣдующее мѣсто есть не что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ вѣковъ, какъ будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?.. Довъренность Творпу! Что-бъ ни было—незримый Ведеть насъ къ лучшему концу Стезей непостижимой. Ему, друзья, отважно въ слъдъ! Прочь низкое! прочь злоба! Духъ бодрый на дорогъ бъдъ, До самой двери гроба; Въ высокой долъ-простота, Нежадность-въ наслажденьй; Въ союзъ съ равнымъ-правота, Въ могуществъ-смиренье; Обътамъ-въчность; чести-честь; Покорность—правой власти; Для дружбы все, что въ мірѣ есть; Любви-весь пламень страсти; Успъха-скорби; просьбъ-дань; Погибели - спасенье; Могущему пороку-брань, Безсильному-презрънье; Неправдъ-грозный правды гласъ; Заслугъ-воздаянье; Спокойствіе-въ последній чась; При гробъ-упованье.

Посланія—странный родь, бывшій въ большомъ употребленін у русской поэзін до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются отъ другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ духѣ. Таковы, напр., слѣдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу-ль? мнъ ужасовъ могила не являеть; И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ, Чтобъ Промысла рука обратно то взяла, Чъмъ я безрадостно въ семъ мірт бременился, Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился, Которую давно надежда не златить. Къ младенчеству-ль душа прискорбная летитъ, Считаю-ль радости минувшаго-какъ мало! Нътъ! счастье къ бытію меня не пріучало; Мой юношескій цвать безь запаха отцваль. Едва въ душъ моей для дружбы я созрълъ-И что же! предо мной увядшаго могила; Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила; Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту, Везумца тяжкій сонь, тоску безь разділенья И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнъ замъчательны: они неполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится

вопль души,--и они доказываютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковскій первый на Руси выговориль элегическимь языкомь жалобы человака на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій быль первымь поэтомь на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. Какая разница въ этомъ отношенін между Державинымъ и Жуковскимъ! Поэзія Державина столько же безсердечна, сколько сердечна поэзія Жуковскаго. Оттого торжественность и высокопарность сделались преобладающимъ характеромъ поэзін Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляють душу поэзіп Жуковскаго. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человъка могла быть въ тъсной связи съ его поэзіею, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмъсть и лучшею его біографіею. Тогда люди жили весело, потому что жили вившиею жизнію и въ себя не заглядывали глубоко.

> Пой, пляши, кружись, Параша! Руки въ боки подпирай!—

восклицаль Державинъ.

Прочь отъ насъ Катонъ, Сенека, Прочь угрюмый Эпиктеть! Безъ утъхъ для человъка Пустъ, несносенъ былъ бы свътъ!—

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы иногда умѣли илакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковскій, какъ поэть по преимуществу романтическій, быль на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его пэзія была куплена имъ цѣною тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, въ глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланія къ Тургеневу мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, когорое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

. И мы въ сей край незримый Летимъ душой за милыми во слъдъ; Но къ намъ отъ нихъ желанной въсти нътъ; Лишь тайное живеть въ насъ ожиданье... Когда-жъ, когда?.. Другъ милый, упованье! Гробами ихъ рубежъ означенъ тотъ, На коемъ насъ свободы геній ждеть Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ. Пришедь туда, о другь, съ какимъ презръньемъ Мы бросимъ взоръ на жизнь, на гнусный свътъ. Гдт милому одина минутный цетта, Гдт доброму слидовь по счастью нить, Гдт мнтніе надъ совтетью властитель, Гдт все, мой другь, иль жертва, иль губитель!.. Дай руку, брать! какъ знать, куда нашъ путь Насъ приведетъ, и скоро-ль онъ свершится, И что еще во мглъ судьбы тантся-Но дружба намъ звъздой отрады будь; О прочемъ здёсь останемся безпечны; Намъ счастья нють: зато и мы-не вычны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозвическихъ, встрѣчаются, кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ, напр., въ посланіи (121—139 стр. 2-го тома) встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бъдствія земныя положиль Онъ свътлозарную печать благотворенья! Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья Взрываеть, какъ бразды, земныя племена, Въ нихъ жизни свъжія бросаетъ съмена,-И. обновленныя, нышиже расцвътають! Какъ бури въ зной поля, бъды ихъ возро-

Въ следующемъ за темъ посланін встречаемъ этн высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россін:

> Тебъ его младенческія льта! Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свъта Пускай тебъ во слъдъ онъ перейдетъ Съ душой, на все прекрасное готовой; Наставленный: достойнымъ счастья быть, Великое съ величіемъ сносить. Не трепетать, встръчая рокъ суровый, И быть въ дёлахъ временъ своихъ красой. Пъта пройдутъ: подвижникъ молодой, Откинувши младенчества забавы, Онъ полетить въ путь опыта и славы... Да встрътить онъ обильный честью въкъ! Да славнаго участникъ славный будеть! Да на чредъ высокой не забудеть вятьйшаго изъ званій: человьью! Жить для въковъ въ величіи народномъ, Іля блага встахь-свое позабывать, Лишь въ голосъ отечества свободномъ Съ смиреніемъ д'вла свои читать: Воть правила парей великихъ внуку. Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно замъчательны "Теонъ и Эсхинъ" и баллада "Узникъ", если только они-его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи "сочиненій Жуковскаго" только при немногихъ переводпыхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ-подъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по свъту за счастьемъ-оно убъгало его:

> Н роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ — Лишь сердце они изнурили; Цвътъ жизни былъ сорванъ; увяла душа: Въ ней скука смѣнила падежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ-

Все тъ-жъ берега и поля, и холмы, И то же прекрасное небо; Но гдъ-жъ озарившая нъкогда ихъ Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходить онъ къ другу своему Теону,-тотъ сидъть въ раздумы на порогъ своей хижины, въ виду гроба изъ бълаго мрамора; друзья обнялись: лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ. Эсхинъ говоритъ объ обманывающей сердце мечтъ, о счасти и спрашиваетъ друга-не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, вздыхая, на гробъ... Эсхинъ, вотъ безмолвный свидътель, Что боги для счастья послали намъ жизнь — Но съ нею печаль неразлучна. О, нътъ, не ропшу на Зевесовъ законъ: И жизнь, и вселенна прекрасны; He въ радостяхъ быстрыхъ, не въ ложныхъ мечтахъ Я видълъ земное блаженство.

Что можетъ разрушить въ минуту судьба, Эсхинъ, то на свъть не наше; Но сердца нетлънныя блага: любовь II сладость возвышенныхъ мыслей-Вотъ счастье; о другъ мой, оно не мечта. Эсхинъ, я любилъ и былъ счастливъ; Любовью моя освятилась душа, И жизнь въ красотъ миъ предстала. При блескъ возвышенныхъ мыслей я зрълъ Яснъе великость творенья; Я върилъ, что нуть мой лежить по землю Къ прекрасной, возвышенной цъли. Увы! я любниъ... и ел уже нъть! Но счастье, вдвоемъ, столь живое, На въки-ль исчезло? И прежије дин Вотще ли столь были прелестны? О, нътъ: никогда не погибнетъ ихъ слъдъ: Для сердца прошедшее въчно; Страданье въ разлукъ ссть та же любовь; Надъ серднемъ утрата безсильна. II скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ. Объть неизмъпной надежды: Что гдъ-то въ знакомой, но тайной странъ Погибинее намъ возвратится? Кто разъ полюбиль, тоть на свыть, мой другь. Уже одинокимъ не будетъ... Ахъ, свътъ, гдъ она предо мною цвъла — Онъ тотъ же: все ею онъ полонъ. По той же дорогь стремлюся одинъ И къ той же возвышенной цели. Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ -Сихъ узъ не разрушить могила. Сей мыслыю высокой украшена жизнь: Я взоромъ смотрю благодарнымъ На землю, гдъ столько разсыпано благь. На полное славы творенье; Спокойно смотрю я съ земли рубежа На сторону лучшія жизни; сладкой надеждою міръ озаренъ, Какъ небо сіяньемъ авроры. Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы, И жизнь мит земная священна; При мысли великой, что я человикъ, Всегда возвышаюсь душою. А этоть безмолвный, тапиственный гробъ... О другъ мой, онъ-върный свидътель. Что лучшее въ жизни еще впереди, Что вторно желанное будеть; Сей гробъ, затворенная къ счастію дверь, Отворится... жду и надёюсь! За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня, На мигъ миъ явившійся въ жизни. О другь мой, некавъ измъняющихъ благь. Искавъ наслажденій минутныхъ, Ты върныя блага утратилъ свои-Ты жизнь презирать научился. Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свъть; Дай руку: близъ върнаго друга, Съ природой и жизнью опять примирись; О, върь миъ, прекрасна вселенна!

На это стихотвореніе можно смотрѣть, какъ на программу всей поэзін Жуковскаго, какъ на положение основныхъ принциповъ ея содержания. Всѣ блага жизни невѣрны: стало быть, благо внутри насъ; здъсь все проходить и измъняеть намъ: стало быть, неизмънное внереди насъ. Прекрасно! По неужели же изъ этого следуеть, чтобъ мы здѣсь сидѣли сложа руки, ничего не дѣлая, питаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями!.. Эта односторонность, правственный ас-

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ:

Все въ жизни къ великому средство; И горесть и радость—все къ цъли одной: Хвала Жизнедавцу-Зевесу!"

кетизмъ, крайность и заблуждение ультра-романтизма... Какимъ образомъ человѣкъ можетъ идти "къ прекрасной, возвышенной цѣли", стоя на одномъ мѣстѣ и бесѣдуя съ самимъ собою о лучшей жизни, на порогѣ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?.. И неужели эта "прекрасная, возвышенная цаль" есть только лучшее счастье человъка, а личное счастье человъка только въ любви къ женщинъ?.. О, если такъ, то, по закону совпаденія країностей, эта любовь есть величайшій эгонзмъ!.. Смерть—діло сліного случая похитила у насъ ту, которой обязаны были нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчанне-да и для чего?-въдь это только временная разлука; вѣдь скоро мы опять женимся на ней-тамъ; сядемъ же на порогѣ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться "полнымъ славы твореніемъ, красотою вселенной, и будемъ утвинать себя мыслію, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни-средство къ великому, и что горе и радость—все къ одной цали!" Иатъ, и еще разъ ньть! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе человъка на личное счастье; разумно и естественно его стремленіе къ личному счастію; но въ одномъ ли сердцъ долженъ заключаться весь міръ его счастія? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ решенія поэзія Жуковскаго. Если-бъ вся цель нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастін, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дъйствительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, нередъ страшною существенностію котораго побліднъли бы поэтические образы земного ада, начертанные геніемь суроваго Данте... Но-хвала вѣчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человъка и еще великій міръ жизии, кромъ внутренняго міра сердца, --міръ историческаго созерданія и общественной д'ятельности, -- тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе-подвигомъ,-и гді два противоположные берега жизни-здёсь и тамъсливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго деланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Вожій, оглашающій хаось и мракь своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: "да будеть!" и вызывающій имъ свътлое торжество настоящаго-радостные дин новаго тысячельтняго царства Божія на земль... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрълъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видълъ въ немъ не один обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями осв'вщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не один вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звёзды, указывающей на цёль борьбы и стремленія, кто не быль глухъ къ голосу свыше: "борись и погибай, если

надо: блаженство впереди тебя, и если не тыбратья твои насладятся имъ и восхвалять вфчнаго Бога силь и правды!" Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею действительностію, носиль въ душт своей идеалъ лучшаго существованія, жиль и дышаль одною мыслію-спосившествовать, по мфрф данныхъ ему природою средствъ, осуществленію на землѣ идеала, - рано поутру выходиль на общую работу и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлою, смотря по тому, что было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни пиры веселія, но и на илачъ и сътованія... Влаго тому, кто, падая въ борьбѣ за святое дѣло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успоконтельное лоно сплы, вызывавшей его на дело жизии, и восклицаль въ священномъ восторга: "все тебъ и для тебя, а моя высшая награда-да святится имя твое и да пріндетъ царствіе твое"!...

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической д'ятельности, источникъ которой заключался бы въ наоос'в къ иде'в, самый богато-над'яленный дарами природы челов'якъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустот'я мечтательныхъ ожиданій и д'яйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живого отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

"Узникъ" — одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ произведеній Жуковскаго. Заключенный въ тюрьм'я юноша слышитъ за стівною голосъ, такой же, какъ онъ самъ, узницы:

"Итакъ, вев блага замвнить Могилой
И бросить севтъ, когда въ немъ жить Такъ мило?
Ахъ, дайте въ севтв подышать,— Еще мив рано умирать!
Линь мигъ весеннимъ бытіемъ
Жила я;
Линь мигъ на праздникъ земномъ
Была я;
Дуща готовилась любить...
И все покинуть, все забыть!"

Юноша сжился душою съ узинцею, которой онъ никогда не видалъ. Въ ией вся жизнь его, и онъ не просить самой воли. И что нужды, что онъ инкогда не видалъ ея, что она для него—не болье, какъ мечта? Сердце человъка умъетъ обманывать и себя, и разсудокъ, особенно если съ нимъ вступитъ въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ и знать, что-бъ заговорило сердце его тогда, когда глаза его увидъли бы тапиственную узницу.

"Не ты-ль—онъ мнить—давно была Любнма?

И не тебя-ль душа звала, Томима Желанья смутнаго тоской. Волиеньемъ жизии молодой? Тебя въ пророчественномъ сиъ Видалъ я; Тобою въ пламенной веснъ Дышалъ я; Ты мнъ пръда въ живыхъ цвътахъ; Твой образъ въллъ въ облакахъ".

Молодая узница умерла въ своей тюрьмъ; узникъ былъ освобожденъ,—

Но хладно приняль онъ привътъ Свободы: Прекраснаго ужь въ мір'я н'ытъ. Дин, годы Напрасно будуть проходить... Погибшаго не возвратить. И тихо въ сумракъ ночей Онъ бродитъ, И съ неба темнаго очей Не сводить: Звъзда знакомая тамъ есть; Она къ нему приносить въсть... О мпломъ въсть и въ міръ пной Призванье... И дълить съ тайной онь звъздой Страданье; Ея краса ожнвлена; Ему въ ней свътится она. Онъ таяль, гаснуль—и угась... И мнилось, Что вдругь въ передпоследній часъ Явилось Все то, чего душа ждала,-И жизнь въ улыбкъ отошла...

"Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣцаревичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудростяхъ Марып-даревны, Кощеевой дочери", и "Сказка о сиящей царевиѣ" были весьма неудачными попытками Жуковскаго на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказать:

Здёсь русскій духь, здёсь Русью пахнеть. Вообще—быть народнымь значило бы для Жуковскаго отказаться отъ романтизма,—а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей натуры, отъ своего духа, словомъ—отъ самого себя. Въ "Громобов" Жуковскій тоже хотвль быть народнымъ, но, наперекоръ его воль, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ немецкую—тго-то вродё католической легенды среднихъ въковъ. Лучиія мъста въ ней—романтическія, какъ, наир., это:

Увы! пора любви придеть:
Вамъ сердце тайну скажеть,
Для васъ украсить Божій свѣть,
Вамъ милаго покажеть;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И, распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ взойдетъ красиъе день,
И будетъ лугъ душистъй,
И сладостиъй дубравы тъпь,
И птичка голосистъй.

"Вадимъ" весь преисполненъ самымъ неопредъленнымъ романтизмомъ. Этотъ "новгородскій рыдарь" ѣдетъ, самъ не зная куда, руководимый таинственнымъ звономъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красотъ, не обольщаясь земною. И вотъ, для обольщенія его, предстала ему земная красота въ образѣ кіевской княжны...

Лазурны очи опустя,
Въ объятіяхъ Вадима,
Она, какъ тихое дитя,
Лежала недвижима;

II что съ невинною душой Сбылось—не постигала: Лишь сердце билось, и порой, Вся вспыхнувъ, трепетала; Лишь пламень гаснущій сіяль Сквозь тънь ръсницъ склоненныхъ, И вздохъ невольный вылеталъ Изъ устъ воспламененныхъ. А витязь?.. Что съ его душой?.. Увы! сихъ взоровъ сладость, Сихъ чистыхъ, подъ его рукой Горящихъ персей младость, И мягкій шолкъ кудрей густыхъ, По раменамъ разлитыхъ, И свъжій блескъ ланить младыхъ, И усть полуоткрытыхъ Палящій жаръ, и тихій глась, П милое смятенье, И ночи таниственный часъ. И вкругъ уединенье Все чувства разжигало въ немъ... О, власть очарованья! Уже, исполненны огнемъ Кипящаго лобзанья, На дъвственныхъ ея устахъ Его уста горъли, И жарче розы на щекахъ Дрожащей дъвы рдъли; И все... но вдругъ смутился онъ И въ радостномъ волненьи Затрепеталъ... знакомый звонъ Раздался въ отдаленьи, И долго жалобно звенълъ Онъ въ безднъ поднебесной; И кто-то, чудилось, летълъ Незримый, но извъстный; И взоръ, исполненный тоской, Мелькалъ сквозь покрывало; И подъ воздушной пеленой Печальное вздыхало... Но вдругь сильной потрясся льсь, И небо зашумѣло... Вадимъ взглянулъ-призракъ исчезъ; А въ вышнит... звентло. II вслъдъ за милою мечтой

Душа его стремится... Колокольчикъ, какъ видите, зазвенѣлъ очень кстати... Вадимъ отказался отъ кіевской княжны, а вмѣстѣ съ нею и отъ кіевской короны, освободиль двинадцать спящихь дивь и на одной изъ нихъ женился. Но что было потомъ, и кто эти дѣвы, и что съ ними стало-все это осталось для насъ такою же тайною, какъ и для самого поэта... Право, намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кіевской княжны. Это напоминаетъ намъ фантастическую сказку Гофмана-,,Золотой Горшокъ": тамъ студенть Ансельмъ, ценою многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до неизръченнаго блаженства обнять — вмъсто женщины змію, которая, какъ ловкая, увертливая змія, и ускользаеть изъ его рукъ... Вадимъ, кажется, обняль еще меньше, чемъ змею, обняль-мечту, призракъ. Но зато онъ былъ вфренъ до гроба своей мечтъ... И то не малое утъщеніе!..

Содержаніе "Ундины" взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота-Фукэ: но въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. "Ундина"—одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея—олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина—дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя

довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умѣлъ слить фантастическій міръ съ дѣйствительнымь міромь, и сколько запов'єдных тайнъ сердца умёль онь разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведенін. По красотамъ поэтическимъ, "Ундина" есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничимся указаніемъ на одно изъ самыхъ романтическихъ мѣстъ этой поэмы:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожа-

лъ́нію иль къ счастью, что наше Горе земное ненадолго! Здъ́сь разумъ́ю я горе Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе, Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливаетъ

Насъ воедино, которымъ утрата для насъ не утрата, Смерть-вдвоемъ бытіе, а жизнь-порывъ непре-

станный Къ той чертъ, за которую милое наше изъ міра

Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ Душъ на свътъ, въ которыхъ святая печаль, какъ

свъча предъ нконою, Ярко горить, пока догорить; но она и для нихъ

Все не та подъ-конецъ, какою была при началъ,

Полная, чистая; много иного, чужого Между утратою нашей и нами уже протъснилось; Воть наконець и всю измпьяемость здпиняго въ

Нашей печали мы видимъ... итакъ, скажу къ сожалѣнью,

Наше горе земное ненадолго...

Эта поэма принадлежить къ поздивищимъ произведеніямъ Жуковскаго, а оттого ея романтизмъ какъ-то сговорчивъе и дълаетъ болъе уступокъ

разсудку и действительности...

Не будемъ распространяться о достоинствъ перевода "Орлеанской Дѣвы" Шиллера: это достоинство давно и всеми единодушно признано. Жуковскій своимъ превосходнымъ переводомъ усвоилъ русской литературѣ это прекрасное произведеніе. И никто, кром'в Жуковскаго, не могъ бы такъ передать этого по преимуществу романтического созданія Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковскій не быль бы въ состоянін такъ превосходно передать на русскій языкъ, какъ превосходно передаль онь "Орлеанскую Деву".—Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ должень поставить переводъ балладъ Шиллера: "Рыцарь Тогенбургъ", "Ивиковы Журавли", "Кассандра", "Графъ Габсбургскій", "По-ликратовъ Перстень", "Кубокъ", и иьесы Шиллера же—"Горная Дорога"; все это иереведено пре-восходно. — Но если что составляетъ истиный ореоль Жуковскаго, какъ переводчика, -- это его переводъ слѣдующихъ пьесъ Шиллера; "Торжество Поб'єдителей", "Жалоба Цереры" и "Элевзинскій Праздникъ". Если-бъ, кромъ этихъ пьесъ, Жуковскій ничего не перевель, ничего не написаль,и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

"Торжество Йобъдителей" есть одно изъ величайшихъ и благороднѣйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ геній этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвъ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорфинво оплакалъ наденіе ея боговъ; онъ съ такою страстію говориль о ея искусствъ, ея гражданской доблести, ея мудрости. И нигдѣ съ такою полнотою и такою силою не выразиль онь, не воспроизвель поэтическаго образа Эллады, какъ въ "Торжествъ Побъдителей". Эта пьеса есть аповеоза всей жизни, всего духа Греціи: эта пьеса -- вмѣстѣ и поэтическая тризна, и побъдная пъснь въ честь отечества боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ духв, облита свътомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресиль Элладу и заставиль ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедін слиты въ этой пьесѣ Шиллера съ возвышенною и кроткою скорбью греческой элегіи. Въ ней видится и св'ятлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, — и царящая надъ всеми ими мрачная Судьба, верховная владычица и боговъ, и смертныхъ... Нельзя шире и върнъе воспроизвести нравственной физіономіи народа, уже не существующаго столько тысячельтій!

Нобъдоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трон въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приноситъ

жертву богамъ.

Судъ оконченъ: споръ рѣшился, Прекратилася борьба; Все исполнила судьба Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событін паденія "священнаго Пріамова града", высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примененнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замічаеть, что не всякій насладится миромь, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвою вфроломства жены. Менелай говорить о неизбежномъ суде всевидящаго Кронида, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Оленда:

> Пусть веселый взоръ счастливыхъ (Оилеевъ сынъ сказалъ) Зрить въ богахъ боговъ правдивыхъ; Судъ ихъ часто слѣпъ бывалъ: Сколько добрыхъ жизнь поблекла! Сколько низкихъ рокъ щадить!... Нъть великаго Патрокла; Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобъемлющаго и многосторонняго духа греческаго, разрѣшается въ веселое и свѣтлое созерцаніе:

Смертный, въчный Дій Фортунъ Своенравной предалъ насъ; Уловляй же быстрый часъ, Не тревожа сердца втунъ.

Вообще эти четверостишія, слёдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олендъ продолжаетъ:

Пучинихь бой похитиль ярый! Ввчно памятень намь будь, Ты, мой брать, ты, подъ удары Подставлявшій твердо грудь, Ты, который насъ пожаромь Осажденныхь защитиль... Но коваривйшему даромь Пінть и мечь Ахилловь быль. Мирь тебѣ во мглѣ Эрева! Жизнь твою не прахь пожаль: Ты своею силой паль, Жертва гибельнаго гиѣва.

Воспомпианіе объ Ахиллѣ дышитъ всею полнотою греческаго созерцанія героизма:

О Ахилль! о мой родитель!
(Возгласиль Неоптолемь)
Выстрый міра посѣтитель,
Жребій лучшій взяль ты въ немъ.
Жимь въ любви племень долами —
Благо первое земли;
Будемь славны имснами
И сопрытые въ пыли!
Слава дней твоихъ нетлѣнна:
Въ иѣсняхъ будеть цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невърна,
Кизнь отжешимст неизмънна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (du sublime) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велить умолкнуть злоб'я: (Діомедъ провозгласняь) Слава Гектору во гроб'я! Онь краса Пергама быль; Онь за край, гдё жили дёды, Веледушно пролиль кровь; Побъдышиль—честь побъды! Охранявшелу—любовь!

Кто, на судъ явясь кровавый, Славно палъ за отчій домъ: Тотъ, почтенный и врагомъ, Будетъ жить въ преданьяхъ славы!

Но что можетъ сравниться съ этою трогательною, этою умиляющею душу картиною "убѣленнаго жизнію" Нестора, съ словами кроткаго утѣшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубѣ! Здѣсь, въ рѣзкой характеристической чертѣ, схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторь, жизнью убъленный, Нацъднять вина фіалъ И Гекубъ сокрушенной Дружелюбио выпить далъ. Пей страданій утоленье; Добрый вакховъ даръ вино: И веселость, и забвенье Проливаеть въ насъ оно.

Пей, страдалица! печали

Пен, страдалица! печали Утоляются впномъ: Воги жалостные въ немъ Подкръпленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ніобею:
Что извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вакхъ не даромъ былъ:
Онъ струею виноградной
Въ мигъ тоску въ ней усыпилъ.
Если грудь виномъ согрѣта,
И въ устахъ вино кпиптъ —
Скорби наши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра, Внявъ шепнувшимъ ей богамъ, Па пустыними брегъ Скамандра, На дымящися Пергамъ. Все великое земное Разлетается, какъ дымъ: Нынъ жеребій выпалъ Трогъ, Завтра выпадеть оругилъ.

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую пъснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себъ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнью,—и потому пьеса Шиллера достойно заключается утъщительнымъ обращеніемъотъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, силѣ насъ гнетущей Покоряйся и терии! Спящій вз гробю, мирно спи! Жизню пользуйся, живущій!

Такой быль греческій романтизмь: на гробахь и могилахь загоралась для него въчная заря жизни: несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывали отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго; на веселыхь инршествахъ ставиль онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробъ, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для грека является не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, по прекраснымъ, тихимъ, успоконтельнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ навъки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизни очи...

Переводъ Жуковскаго "Торжества Побѣдителей" есть образець превосходныхъ переводовъ,—
такъ что если, при тщательномъ сравненіи, иныя
мѣста окажутся не вполнѣ вѣрно или не вполнѣ
спльно переданными, — зато еще болѣе найдется
мѣстъ, которыя въ переводѣ спльнѣе и лучше выражены. Такъ, наприм., у Шиллера сказано просто:
"И въ дикое празднество радующихся примѣшивали онѣ (плѣнныя жепы и дѣвы троянскія) плачевное пѣпіе, оплакивая собственныя страданія и
паденіе царства". У Жуковскаго это выражено
такъ:

П съ побъдной пъснью дикой Ихъ сливался тихій стонъ По тебіъ, святой, великой, Невозвратный Иліонъ.

"Жалоба Цереры"—тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и "Торжество Побъдителей". Въ этой пьесъ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры—ижжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозершины, похищенной мрачнымъ владыкою подземнаго царства, суровымъ Андомъ:

Сколь завидна мий печальной Участь смертныхъ матерей! Легкій пламень погребальной Возвращаеть имъ дътей; А для насъ, боговъ нетлённыхъ, Что усладою, утратъ! Насъ, безрадостно-блаженныхъ, Нарки строгія щадятъ... Парки, парки, посившите Съ неба въ адъ меня послать; Правъ богни не щадите: Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образѣ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листъ выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона, — въ этомъ дивно-ноэтическомъ образѣ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и едѣлалъ самый поэтическій намекъ на скорбъ и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стиксовою водою, и этотъ листъ, радостно рвущійся на свѣтъ и подымающійся къ небу—

Пми тапиственно слита Область тьмы съ страною дня, И приходить отъ Коцита Милой въстью отъ меня; И ко миъ въ живомъ дыханьъ Молодыхъ цвътовъ весны Подымается признанье, Гласъ родной изъ глубины; Опъ разлуку услаждаетъ. Онъ душъ моей твердить, Что любовь не умираетъ И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращении романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго сердца—къ цвътамъ:

О, привътствую васъ, чада Расцвътающихъ полей! Вы тоски моей услада, Образъ дочери моей! Ваеъ налью благоуханьемъ, Напою живой росой И съ авроринымъ сіяньемъ Поравияю красотой; Пусть весной природы младость, Пусть осенній мракъ полей И мою въщаетъ радость И печаль души моей!

Въ "Элевзинскомъ Праздникъ" Шиллера есть опять поэтическая апооеоза Цереры; но здъсь

эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ "Жалобъ Цереры" эта богиня является представительницею греческаго романтизма; въ "Элевзинскомъ Праздникъ" она является божествомъ благотворно – дъятельнымъ — очеловъчиваетъ и одухотворяетъ подобныхъ троглодитамъ подей, научая ихъ земледълю, соединяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низводитъ къ нимъ и ремесла искусства и посъваетъ между ними съмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Вфроятно, увлеченный шиллеровскимъ созерцаніемъ великаго міра греческой жизни, Жуковскій н самъ написалъ ньесу въ этомъ же родъ --"Ахиллъ". Въ ней есть прекрасныя мѣста; но вообще въ греческое созерцаніе Жуковскій внесъ слишкомъ много своего, — и тонъ ея выраженія сделался оттого гораздо более унылымъ и расилывающимся, нежели сколько следовало бы для пьесы, которой содержание взято изъ греческой жизни, и которая написана въ греческомъ духъ. Равнымъ образомъ, къ недостаткамъ этой пьесы принадлежить еще и то, что она больше растянута, чемъ сжата, а потому утомляеть въ чтенін. Но, несмотря на то, въ ней есть красоты, иногда наноминающія пьесы Шиллера въ этомъ родь, и вообще "Ахилть" Жуковскаго-одно изъ замьчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натурѣ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны,и вотъ причина, почему многіе недальновидные критики не хотъли въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видіть вірное воспроизведеніе духа Эдлады; но это уже была вина ихъ, недальновидныхъ критиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не подозрѣвать, что въ Греціи быль свой романтизмь! Жуковскій — тоже, какъ романтикъ по натуръ, былъ въ состоянін превосходно передать пьесы Шпллера греко-романтическаго содержанія. По этой же причинь его переводы такихъ пьесъ Гёте более неудачны, чемъ удачны: ссылаемся на "Мою Богиню" (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гёте смотриль на Грецію совстмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ: нослёдній болёе видёль ея внутреннюю, романтическую сторону; Гёте-видаль больше ея опредаленную, свътлую олимпійскую сторону. Оба великіе поэта смотрели верно на Грецію, каждый видя разныя, но ея же собственныя стороны. Когда же Гёте сходился съ Шиллеромъ въ созерцании греческой жизни (какъ, напримъръ, въ "Прометеъ" и "Коринеской Невфстф"), — онъ отыскиваль въ немъ и выражаль болѣе философскую его сторону. И въ этомъ отношеніи Гёте быль върень своему нуху. Романтическое направление Жуковскаго совершенно вий сферы Гётева созерцанія, и потому Жуковскій мало переводиль изъ Гёте, и все переведенное или заимствованное изъ него перемънялъ по-своему, за исключениемъ только чисто-романтическихъ въ духѣ среднихъ вѣковъ пьесъ Гёте, каковы, напримъръ, баллады: "Явсной Царь" и

"Рыбакъ". И если талантъ Жуковскаго, какъ переводчика, совершенно внъ сферы поэзін Гёте— отсюда нисколько еще не слъдуетъ, чтобъ причиною этого была высота генія Гёте. Жуковскій переводиль же превосходно Шиллера,—а геній Шиллера ничъмъ не ниже генія Гёте. Вообще мысль—считать Шиллера ниже Гёте—и нельпа, и устаръла. Жуковскій—необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ върно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такія пронзведенія, съ которыми натура его связана родственною симпатією.

"Идеалы" Шпллера переведены не совсёмъ удачно. Переводъ этотъ относится къ первой порё поэтической дёятельности Жуковскаго. Ужъ одно то, что, перевода эту пьесу, онъ перемёнилъ названіе ея "Идеалы" на "Мечты",—одно ужъ это показываетъ, какъ не глубоко вникъ онъ въ мысль ея. Многіе стихи въ этой пьесё просто нехороши; многія выраженія лишены точности и опредёленности. Вотъ, для доказательства, цёлый куплеть:

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мою тъснился грудь; Картиной, звукомъ, выраженьемъ, Во все я княнь котълъ вдохнуть. И, ва наженомъ съмени сокрытой, Сколь пышныма мнъ казался свъта... Но акъ, сколь мыло въ немъ развито! И малое—сколь бъдный цвътъ!

Какъ-то чувствуется само собою, что, вмѣсто "выраженьемъ", надо было поставить "словомъ"; послѣдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но такъ же неудачно переведена пьеса Вайропа, начинающаяся, въ переводѣ, стихомъ: "Отымаетъ наши радости". Жуковскій далъ ей совсѣмъ другой смыслъ и другой колоритъ, такъ что байроновскаго въ ней ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозанческаго, но вѣрнаго перевода, нельзя читатъ съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозанческій переводъ пьесы Байрона:

Нътъ радостей, какія можеть дать намъ міръ, въ замъну тъхъ, которыя онъ отнимаетъ у насъ въ то время, когда ужъ жаръ первыхъ мыслей остываеть въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свъжесть ланитъ вянетъ скоро,— нътъ, свъжій румянецъ сердца исчезаетъ прежде самой юности.

И эти немногія души, которымъ удастся уцѣлѣть послѣ ихъ разрушеннаго счастія, наплывають на мели преступленій, или уносятся въ океанъ буйныхъ страстей. Ихъ путеводный компасъ изломанъ, или стрѣлка его напрасно указываеть на берегъ, къ которому ихъ разбитая ладья никогда не причалитъ.

Тогда-то сходить на душу тоть мертвенный холодь, подобный самой смерти; сердце не можеть сочувствовать страданіямь другихь, не смѣеть думать о своихь собственныхь страданіяхь; ручей слезь покрывается тяжелою ледяною корою: а если и блестять еще очи, —то это блескъ льда.

Хотя остроуміе порою ярко сверкаеть еще въ устахъ, и смъхъ развлекаеть сердце въ часы полуночи, которые не дають уже прежией падежды на успокоеніе, по все это какъ листы плюща, обвивающіеся вокругъ развалившейся башни: зеленые и дико-свъжіе сверху, сърые и землистые снизу.

О, если-бъ могъ я чувствовать, какъ чувствоваль прежде, быть тъмъ, чъмъ былъ... или плакать объ исчезнувнемъ, какъ, бывало, плакалъ!.. Какъ бы ни былъ мутенъ и нечистъ ручей, найденный нечаянно въ пустынъ, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы мнъ мои слезы среди опустошенной степи моей жизни.

Сличите хоть второй куплеть нашего буквальпаго прозаическаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковскаго:

Наше счастіе разбитоє Видимъ мы игрушкой волиъ; И въ далекій мракъ сердитоє Море мчитъ нашъ бъдный чёлиъ. Стрълки иътъ путеводительной, Иль вотще ея магнитъ Въ бурю къ пристани спасительной, Чёлиъ безпарусный манитъ.

То ли это?... Въ послѣднихъ двухъ куплетахъ еще болъе пскажена мысль Байрона.

Но-странное дело!-нашъ русскій певецъ тихой скорби и унылаго страданія обраль въ душь своей кренкое и могучее слово для выраженія страшныхъ подземныхъ мукъ отчаянія, начертанныхъ молніеносною кистію титаническаго поэта Англін! "Шильонскій Узникъ" Байрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзывающимися въ сердив, какъ ударъ топора, отделяющій отъ туловища невинно-осужденную голову. Здёсь въ нервый разъ крѣпость и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видъ, и до Лермонтова болѣе не являлась. Каждый стихъ въ нереводѣ "Шильонскаго Узника" дышить страшною энергіею, и надо совершенно потеряться, чтобъ выпнсать лучшее изъ этого перевода, гдф каждая страница есть равно лучшая. Но мы напомнимъ здёсь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравненін съ которымъ алъ самого Данте кажется какимъ-то раемъ:

> Но что потомъ сбылось со мной-Не помню... свътъ казался тьмой, Тьма свътомъ; воздухъ нечезалъ; Въ сцъпенъніи стоялъ, Безъ памяти, безъ бытія Межъ камней хладнымъ камнемъ я; И видълось, какъ въ тяжкомъ сиъ, Все бльднымъ, темнымъ, тусклымъ мпь; Все въ смутную слилося тънь; То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкій свёть тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей: То было тьма безъ темноты; То было бездна пустоты Безъ протяженья и границъ; Ты были образы безъ лицъ: То страшный міръ какой-то былъ, Безъ неба, свъта и свътилъ, Безъ времени, безъ дней и лѣтъ, Везъ промысла, безъ благъ и бъдъ,

Ни жизнь, ни смерть—какъ сонъ гробовъ, Какъ океанъ безъ береговъ, Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и пъмой.

Много было расточено похваль переводу отрывка изъ поэмы Томаса Мура "Дивъ и Пери"; но переводъ этотъ далеко ниже похвалъ: онъ тяжелъ, прозаиченъ, и только мѣстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ, можетъ быть, причиною этого и самъ оригиналъ, какъ не совсѣмъ естественная поддѣлка подъ восточный романтизмъ. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти никѣмъ незамѣченная поэма "Судъ въ Подземелеъ".

"Овсяный Кисель", "Красный Карбункулъ", "Деревенскій Сторожь въ Полночь", "Сраженіе съ Змѣемъ", Неожиданное Свиданіе", "Путешественникъ и Поселянка" (пзъ Гёте), Норманскій Обычай" "Тлѣнность", "Война Мышей съ Лягушками", "Ценксъ и Гальціона" и отрывки изъ "Энеиды" и "Иліады" принадлежать къ числу замѣчательныхъ переводовъ Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ "Иліады" стихъ легче, чѣмъ стихъ Гнфдича; но въ послѣднемъ, по нашему мнѣнію, болѣе жизни, болѣе греческаго духа и колорита. Впрочемъ, Жуковскій эти отрывки изъ "Иліады" перевель съ латинскаго.

Сделаемъ перечень всемъ пьесамъ Жуковскаго, и переводнымъ, и подражательнымъ, и оригинальнымъ, которыя мы считаемъ или лучшими, или самыми характеристическими его произведеніями. Изъбалладъ: "Рыцарь Тогенбургъ", "Ивиковы Журавли", "Лъсной Царъ", "Кассандра", "Три Иъсни", "Графъ Габсбургскій", "Узникъ", "Эолова Арфа", "Ахиллъ", "Поликратовъ Перстень", "Старый Рыцарь", "Роландъ Оруженосецъ", "Плаваніе Карла Великаго", "Кубокъ", "Замокъ Смальгольмъ", "Перчатка", "Покаяніе", "Отрывки изъ испанскихъ романсовъ о Сидъ". Изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ: "Тоска по миломъ", "Цвѣтокъ", "Пѣснь Араба надъ могилою коня", "Пловецъ", "Счастливъ тотъ, кому забавы", "О, милый другъ, теперь съ тобою радость", "Минувшихъ дней очарованье", "Жалоба", "Върность до гроба", "Голосъ съ того свъта", "Ночь", "Утъшение въ слезахъ", "Къ мъсяцу", "Пъсня Бъдняка", "Весеннее Чувство", "Утъшеніе", "Таинственный Посътитель", "Мотылекъ п Цвъты", "Къ мимопролетъвшему знакомому генію", "Желаніе", "Младенецъ", "Сонъ", "Счастіе во снъ", "Къ востоку, все къ востоку", "Розы расцвътаютъ", "Замокъ на берегу моря", "Гозы расцыя дорога", "Иввець", "Жизнь", "Узникъ къ мотыльку, влетъвшему въ его темницу", "Элпзіумь", "Путешественникь", "Славянка" "Вечерь", "На кончину королевы Виртембергской", "Сельское Кладонще", "Море", "Праматерь Внукв", "Къ Филону", "Двв Пвени", "Привидвие", "Мечта", "Побъдитель", "Ги Путника", "Видвие", "Теонъ и Эсхинъ", "Счастіе", "Ночной Смотръ", "Утренняя Звъзда", "Лътній Вечеръ".

Многія изъ этихъ піесъ уже не могутъ имѣть такого интереса, какой имѣли прежде, и не могутъ читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какими читались прежде; но причина этого заклю-

чается совсёмъ не въ таланте Жуковскаго, а въ содержаніи и духѣ этихъ пьесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзін каждой эпохи зависить отъ идеальной значительности этой эпохи, отъ глубины и общности идеи, выраженной ея историческою жизнію. Долье всьхъ живуть такія произведенія искусства, которыя во всей полноть и во всей силь передають то, что было самаго истиннаго, самаго существеннаго и самаго характеристическаго въ эпохф. Все же, что не выполняеть этихъ условій или выполняетъ ихъ неудовлетворительно, --- все такое теряетъ свой интересъ въ другую эпоху и мало-но-малу навъки смывается волнами шумно несущейся жизни. И немногое, слишкомъ немногое выносится наверхъ волнами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинь!...

Многія пьесы Жуковскаго, совершенно отжившія для нашего времени, все-таки имфють свой историческій интересъ, и безъ нихъ полное изданіе сочиненій Жуковскаго не им'єло бы общаго характера поэзін Жуковскаго. Таковы: "Людмила", "Алина и Альсимъ", "Двънадцать Спящихъ Дъвъ", "Пѣвецъ во Станъ Русскихъ Воиновъ", и проч.-Посланія Жуковскаго заключають въ себъ, мьстами и отрывками, характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того, въ нихъ, какъ замътили мы выше, встръчаются поэтическіе проблески и замічательныя мысли. Особенно слабыми пьесами (иныя по формъ, иныя по содержанію, иныя по тому и другому) считаемъ мы следующія: "Песня барда надъ гробомъ славянъ-побъдителей", "Пъвецъ въ Кремлъ", "Пиршество Александра, нли сила гармонін" (нзъ Драйдена), "Гимнъ" (подражаніе Томсону), "Библія", "Сонъ Могольца", "Эпимесидъ" "Орелъ и Голубка", "Добрая Мать", "Сиротка", "Подробный отчетъ о лунъ" (какое-то странное гезите всего говореннаго поэтомъ о лунѣ въ разныхъ стихотвореніяхъ его), "Алонзо", "Доника", "Ленора", "Королева Урака", "Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка фхала на черномъ конв вдвоемъ, и кто сиделъ впереди", "Двф были и еще одна", "Фридолинъ" (прекрасный переводъ странной по содержанію пьесы Шиллера), "Сказка о Царъ Берендев и Сказка о Сиящей Царевиъ". Что касается до "Аббаддоны"—это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свътъ, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзін Жуковскаго, если-бъ не упомянули о дивномъ искусствъ этого поэта живонисать картины природы и влагать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, вёдро ли, буря ли, или пейзажъ, — все это дышитъ, въ яркихъ картинахъ Жуковскаго, какою-то таинственною, исполненною чудныхъ силъжизню... Примъры лучше всего объяснятъ нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвътущія равнины Старинный Прлингфоръ,

И пышныя съ высотъ его картины Повеюду видълъ взоръ. Авонъ, шумя подъ древними стънами,

Ихъ пъной орошалъ, И низкій брегъ съ лъсистыми холмами

Въ струяхъ его дрожалъ. Тамъ пламенълъ ореговъ на тихомъ склонъ

Закать сквозь ръдкій лѣсь; И трепеталъ во дремлющемъ Авонъ

Съ звъздами сводъ небесъ.

Вдали, вблизи разсынанныл села Дымились по утрамъ,

Отъ ръзвыхъ стадъ долина вся шумъла, И вториль лъсъ рогамъ.

Спъшиль, съ пути прохожій совратяся,

На Припигфоръ взглянуть, И, красотой его плъняся, Опъ забывалъ свой путь.

("Варвикъ").

Владыко Морвены,

Жиль въ дъдовскомъ замкъ могучій Ордалъ. Падъ озеромъ ствиы

Зубчатыя замокь сь холма возвышаль; Прибрежны дубравы Склонялись къ водамъ,

Н стлалея кудрявый Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ. Спокойствіе сѣней

Пубравныхъ тамъ часто лай пеовъ нарушаль:

Рогатыхъ елечей И вепрей, и ланей могучій Ордалъ Съ отважными псами Гоняль по холмамь;

И долы съ холмами,

Шумя, отвъчали зовущимъ рогамъ.

На темные своды

Багрянымъ щитомъ покатилась луна;

II озера воды Струнстымъ сіяньемъ покрыла она; Отъ замка, отъ съней Дубравъ по брегамъ Огромные тъней

Легли великаны по гладкимъ водамъ.

Прохладио дышить Тамъ вътеръ вечерий и въ листьяхъ шумитъ,

И вътки колышетъ,

II арфу лобзаеть... но арфа молчить.

Творенія радость, Настала весна-И въ свъжую младость,

Красу и веселье земля убрана. II яркимъ сіяньемъ

Холыы осыпаль вечерфющій день: На землю съ молчаньемъ

Сходила почная роспетая тънь; Ужъ синіе своды Влистали въ звъздахъ; Сравиялися воды,

И вътеръ улегся на спящихъ листахъ.

("Эолова Арфа").

II вотъ... насталъ послѣдній день; Ужъ солице за горою;

II стелется вечерия тынь Прозрачной пеленою;

Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна Блеснула изъ-за тучи;

Легла на горы тишина, Утихъ и лъсъ дремучій;

Рѣка сравнялась въ берегахъ; Зажглись свътила ночи;

И сонъ глубокій на поляхъ; И близокъ часъ полночи...

И все въ ужасной тишпиъ;

Опрестность, какъ могила; Вотъ... каркнулъ воронъ на стънъ;

Вотъ... стая псовъ завыла; И вдругъ... протяжно полночь бьеть; Нашли на небо тучи; Ръка надулась; боръ реветь;

ийіна прахь детучій...

Напрасно въстъ вътерокъ Съ душистыя долины; И свътъ луны сребритъ потокъ

Сквозь темны лицъ вершины;

II ласточка зари восходъ Встръчаеть щебетаньемъ;

И роща въ тень свою зоветъ Листочковъ трепетаньемъ; шумъ бъгущихъ съ поля стадъ

Съ пастушьным рогами Вечерній мракъ животворять, Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и последній день Край неба озлащаетъ; Сквозь темпую дубравы сънь Блистанье проникаетъ; Все тихо, весело, свътло; Все нъгой сладкой дышить; Ръка прозрачна, какъ стекло;

Едва, едва колышетъ Листами легкій вътерокъ:

Въ поляхъ благоуханье; Къ цвътку прилиппулъ мотылекъ И пьеть его дыханье...

("Громобой").

II воцарилась всюду тишина;

Все спить... лишь изръдка въ далекой мглъ пром-Певнятный гласъ... или колыхнется волна... Иль сонный листь зашевелится.

Я на брегу одинъ... окрестность вся молчитъ... Какъ привидъніе, въ туманъ предо мною Семья младыхъ березъ неденжимо стоитъ Надъ усыпленною водою.

Вхожу съ волненіемъ подъ пхъ священный кровъ; Мой слухъ въ сей тишинъ привътный голосъ слышить:

Какъ бы эвирное тамъ въетъ межь листовъ, Какъ бы невисимое вышитъ:

Какъ бы сокрытая подъ юныхъ древъ корой, Съ сей очарованной мъщаясь тишиною, Душа негримая подъемлеть голось свой

Съ моей бестовать вушою. Н ибкто урпъ сей безмольный присъдить; И, мпится, на меня вперилъ онъ томны очи; Безъ образа лицо, и зракъ туманный слитъ

Съ туманнымъ мракомъ полуночи. Смотрю... и минтея, все, что было жертвой лътъ, Опять въ видъціи прекрасномъ воскресаеть; И все, что жизнь сулить, и все, чего въ ней нъть,

Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ.. ("Славянка").

Такихъ примъровъ мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа - романтическая природа, дышащая таинственною жизнію души и сердца, исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковскаго неизмфримо выше стиха всфхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодін и вмёстё съ тёмь какой-то сжатой крфпости и энергін. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзін Жуковскаго. И, несмотря на то, еще многаго недоставало этому стиху: онъ еще далеко не совстмъ свободенъ, не совстмъ глубокъ. Содержание поэзін Жуковскаго было такъ одностороние, что стихъ его не могъ отразить въ себъ всъ свойства и все богатство русскаго языка. Ватюшковъ тоже не мало сделаль для русскаго стиха; но, несмотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ, создание вполнъ поэтическаго и вполит художественнаго стиха предлежало Пушкину. Кромъ односторонности содержанія поэзін Жуковскаго, не должно еще забывать, что поэтическая діятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналень; въ другой-подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и особенно подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда, онъ и въ натріотическія стихотворенія и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болье или менье фактурою старыхъ мастеровъ нашей поэзін. Попадаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго стихи тяжелые и темпые, какъ, напримѣръ, эти:

> Пхъ одобренье намъ награда, А порицаніе—ограда Отъ убивающія даръ Надменной мысли совершенства.

Пногда разстановка словъ напоминаетъ Ломоносова, какъ, напрямъръ:

> А Ты, дарующій и тронъ, и власть царямъ, Ты, на совътъ ихъ съдящій благодатью, Озналиснуй Тоосії джла мой печатью.

Есть, наконець, стихи (правда, ихъ поискать да поискать), въ которыхъ въеть духъ Хераскова, какъ, напримъръ:

Бъгуть—во прахъ и громъ, и шлемъ, и щить, Впреди, въ тылу, съ боковъ и рядомъ (?) страхъ бълить.

Жуковскій не могь не нижть спльнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ пишть спльное вліяніе на Жуковскаго: всѣ стихотворенія, наинсанныя имь уже по истеченін второго десятильтія текущаго вѣка, отличаются несравненно лучшимь языкомъ и стихомъ. Къ общимъ педостаткамъ поэзіи Жуковскаго принадлежитъ, часто, невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая пьеса его не теряетъ миогаго изъ своего достопиства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія "На смерть королевы Виртембергской" можетъ служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своею растинутою прозапчностью ослабляющіе впечатльніе цѣлаго.

Непзм'вримъ подвигъ Жуковскаго и велико значение его въ русской литературф! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзін элевзинскою богинею Церерою: она дала русской ноэзін душу и сердце, познакомивъ ее съ тапиствомъ страданія, утрать, мистическихъ открове-

ній и полнаго тревоги стремленія "въ оный таниственный свътъ", которому нътъ имени, нътъ мъста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завътную сторону. Есть пора въ жизни человъка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цёли, когда горячія желанія съ быстротою см'вняють одно другое, и сердце, желая многаго, не хочетъ ничего; когда определенность убиваеть мечту, удовлетвореніе подсекаеть крылья желанію, когда человекь любить весь мірь, стремится ко всему, и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бъется любовью къ идеалу и гордымъ презръніемъ къ дъйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свътлому небу, желая забыть о существованін земного праха. Въ эту пору жизни человека любовь робка и стыдлива, жаждеть одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа и за тихое пожатіе руки не ножелаетъ полнаго обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазін, чъмъ сердца, и за нею непремънно должна слъдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ челов'вкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ фантазін; чтобъ онъ могъ нонять, что въчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что пдея въ фактахъ, душа въ тълъ... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моменть въ нравственномъ развитін человъка, —и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредъленному идеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будеть въ состоянін понимать поэзію-не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; въчно будетъ онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тёла и сухого, холоднаго эгонзма. Пора безотчетнаго романтизма въ духъ среднихъ въковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человъка, но и въ развитіи каждаго народа и цёлаго челов'вчества. Средніе въка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ Западной Европы, а слёдовательно п всего человъчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ некусствъ среднихъ въковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имъли своихъ среднихъ въковъ: Жуковскій далъ намь ихъ въ своей поэзін, которая восинтала столько поколфній и всегда будеть такъ краснорфчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизии. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредёленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могуть восхищать всёхъ и каждаго во всякій возрасть: они внятно говорять душь и сердцу въ извъстный возрастъ жизни или въ извъстномъ расположении духа: вотъ настоящее значение поэзін Жуковскаго, которое она всегда будетъ имъть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Иушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія— намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національностію. Еще въ дѣтствѣ мы, черезъ Жуковскаго, прі-учаемся понимать и любить Инплера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью.

[Отечественныя Записки. Т. XXIX. 1843].

III.

Овзоръ поэтической двятельности Ватюшкова; характеръ его поэзін. — Гивдичъ; его переводы и оригинальныя сочиненія.— Мерзляковъ. — Князь Вяземскій. — Журналы конца карамзинскаго періода.

Батюшковъ далеко не имбетъ такого значенія въ русской литературъ, какъ Жуковскій. Последній действоваль на нравственную сторону общества посредствомъ искусства; искусство было для него какъ бы средствомъ къ восшитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно нередъ нскусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзін. Батюшковъ не имълъ почти никакого вліннія на общество, пользуясь великимъ уваженіемъ только со стороны записныхъ словесниковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русскою поэзіею велики, — однако-жъ, онъ оказаль ихъ совсемъ пначе, чемъ Жуковскій. Онъ успель написать только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкѣ не всѣ стихотворенія хороши, и даже хорошія далеко не всв равнаго достоинства. Онъ не могъ имъть особенно сильнаго вліянія на современное ему общество н современную ему русскую литературу и поэзію: вліяніе его обнаружилось на поэзію Пушкина, которая приняла въ себя, или, лучше сказать, поглотила въ себя всв элементы, составлявшіе жизнь твореній предшествовавших в поэтовъ. Державинъ, Жуковскій и Батюшковъ имѣли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзін, какъ это видно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было существеннаго и жизненнаго въ поэзін Державина, Жуковскаго и Батюшкова, --- все это присуществилось поэзіи Пушкина, переработанное ея само-бытнымъ элементомъ. Пушкинъ былъ прямымъ наследникомъ поэтического богатства этихъ трехъ маэстро русской поэзін, -- наслідникомъ, который, собственною деятельностью, до того увеличиль полученные имъ кашиталы, что масса пріобрфтеннаго имъ самимъ подавила собою полученную и пущенную имъ въ оборотъ сумму. Какъ умѣли и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизненное въ поэзін Державина и Жуковскаго; теперь остается намъ сдѣлать это въ отношеніи къ поэзін Батюшкова.

Направленіе поэзін Батюшкова совсёмъ противоположно направленію поэзін Жуковскаго. Если неопределенность и туманность составляють отличительный характеръ романтизма въ духф среднихъ въковъ, — то Ватюшковъ столько же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опреділенность и ясность-первыя и главныя свойства его поэзін. И если-бъ поэзія его, при этихъ свойствахь, обладала хотя бы столь же богатымъ содержаніемъ, какъ поэзія Жуковскаго, — Батюшковъ, какъ поэтъ, былъ бы гораздо выше Жуковскаго. Нельзя сказать, чтобъ поэзія его была лишена всякаго содержанія, не говоря уже о томъ, что она имфетъ свой совершенно самобытный характеръ; но Батюшковъ какъ будто не сознавалъ своего призванія и не старался быть ему върнымъ, тогда какъ Жуковскій, руководимый непосредственнымъ влеченіемъ своего духа, быль вфрень своему романтизму и вполнъ исчерналь его въ своихъ произведеніяхъ. Свётлый и опредъленный міръ изящной, эстетической древности — вотъ что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ поэтовъ художественный элементь явился преобладающимъ элементомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но вндимъ глазу: хочется ощунать извивы и складки его мраморной дранировки. Жуковскій только черезъ Шиллера познакомился съ древнею Элладою. Шиллеръ, какъ мы замътили въ предшествовавшей статьъ, смотрълъ на Грецію преимущественно съ романтической стороны ея, -- и русская поэзія не знала еще Греціп съ ея чисто-художественной стороны, не знала Грецін, какъ всемірной мастерской, черезъ которую должна пройти всякая поэзія въ мірѣ, чтобъ научиться быть изящною поэзіею. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескивають черты художественнаго разда древности, но только проблескивають, сейчась же теряясь въ грубой и неуклюжей обработкъ цълаго, и эти проблески античности тъмъ больше делають чести Державину, что онъ, по своему образованію и по времени, въ которое жиль, не могь имъть никакого понятія о характерѣ древняго искусства, и если приближался къ нему въ проблескахъ, то не иначе, какъ благодаря только своей поэтической натуръ. Это показываеть, между прочимь, чемь бы могь быть этотъ поэтъ и что бы могъ онъ сдёлать, если-бъ явился на Руси въ другое, болъе благопріятное для поэзін время. Но Батюшковъ сблизился съ духомъ изящнаго искусства греческаго сколько по своей натурь, столько и по большему или меньшему знакомству съ нимъ черезъ образование. Онъ быль первый изъ русскихъ поэтовъ, побывавшій въ этой міровой студін мірового искусства; его перваго поразили эти изящныя головы, эти соразмърные торсы-произведенія волшебнаго ръзца,

исполненнаго благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшковъ, кажется, зналъ латинскій языкъ и, кажется, не зналъ греческаго; неизвъстно, съ какого языка перевель онъ двёнадцать пьесъ изъ греческой антологіп: этого не объяснено въ коротенькомъ предисловін къ изданію его сочиненій, сділанному Смирдинымъ; но приложенные къ стать в "О Греческой Антологін" французскіе переводы этихъ же самыхъ пьесь позволяють думать, что Батюшковъ перевель ихъ съ французскаго. Это последнее обстоятельство разительно показываетъ, до какой степени натура и духъ этого поэта были род-ственны эллинской музѣ. Для тѣхъ, кто понимаеть значение искусства, какъ искусства, и кто понимаеть, что искусство, не будучи прежде всего искусствомь, не можеть имъть никакого дъйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе,для тёхъ должно быть понятно, почему мы приписываемъ такую высокую цену переводамъ Ватюшкова двёнадцати маленькихъ пьесокъ изъ греческой антологіи. Въ предшествовавшей стать в мы выписали большую часть антологическихъ его пьесь; здёсь приведемъ, для примёра, одну, самую короткую:

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей Восторги пылкіе и страсти упоенья; Какъ сладокъ поцълуй въ безмолвіи почей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Такого стиха, какъ въ этой пьескъ, не было, до Пушкина, ни у одного ноэта, кромъ Батюшкова; мало того: можно сказать ръшительнъе, что до Пушкина ни однвъ поэтъ, кромъ Батюшкова, не въ состоянін былъ показать возможности такого русскаго стиха. Послъ этого Пушкину стоило не слишкомъ большого шага впередъ начать писать такими антологическими стихами, какъ вотъ эти:

Я върю: я любимъ; дія сердца нужно върнть. Нътъ, милая моя не можетъ лицемърить; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцѣиный даръ, Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность И ласковыхъ именъ младенческая нѣжность.

Вообще, надо замѣтить, что антологическія стихотворенія Батюшкова уступять антологическимь пьесамъ Пушкина только развѣ въ чистотѣ языка, чуждаго произвольныхъ усѣченій и всякой неровности и шероховатости, столь извинительныхъ и неизбѣжныхъ въ то время, когда явился Батюшковъ. Совершенство антологическаго стиха Пушкина, — совершенство, которымъ онъ много обязанъ Батюшкову, — отразилось вообще на стихѣ его. Приводимъ здѣсь снова два послѣдніе стиха выписанной нами антологической пьесы:

Какъ сладокъ поцълуй въ безмолвін ночей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкнна: "Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю" (т. IV, стр. 303): стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послѣдніе стихи его

напоминають, своею фактурою, антологическую пьесу-Батюшкова:

И діва въ сумерки выходить на крыльцо: Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо! Но бури съвера не вредны русской розъ. Какъ жарко поцълуй пылаетъ на морозъ! Какъ діва русская свъжа въ пыли сиъговъ!

Влагодаря Пушкину тайна антологическаго стиха сдёлалась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ: такъ, напримеръ, многія антологическія стихотворенія г. Майкова не уступають въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тёмъ какъ г. Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ другомъ родъ поэзін, кромъ антологическаго. Послъ г. Майкова, встръчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ родь у г. Фета. Г. Майковъ нашелъ себъ подражателя въ г. Крешевъ, антологическія стихотворенія котораго не совсёмъ чужды поэтическаго достоинства, — и явись такія стихотворенія въ началѣ второго десятилѣтія настоящаго въка, они составили бы собою эпоху въ русской литературъ; а теперь ихъ никто не хочетъ и замфчать, - что не совсфмъ неосновательно и несправедливо. Какого же удивленія заслуживаеть Батюшковъ, который первый на Руси создаль антологическій стихъ, только развів по языку, и то весьма немногимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? II не въ прав'в ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а всявдствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могъ не имѣть большого вліянія на Пушкина; кому неизвъстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю, въ "Руслапѣ и Людмилъ"?

> Поэзін чудесный геній, Пъвець таннственныхъ видъній, Любви, мечтаній и чертей, Могилъ и рая върный житель, И музы вътренной моей Наперскикъ, пъстукъ и хранитель!

Дальнъйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ шуточный тонъ, показываютъ, какъ сильно дъйствовали на дътское воображение Пушкина даже и "Двенадцать Спящихъ Девъ". Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина было больше нравственное, чёмъ артистическое, и трудно было бы найти и указать, въ сочиненіяхъ Пушкина, слёды этого вліянія, исключая разв'в лицейскія его стихотворенія. Пушкинъ рано и скоро пережилъ содержаніе поэзіп Жуковскаго, и его ясный, опредёленный умъ, его артистическая натура-гораздо боле гармонировали съ умомъ и натурою Батюшкова, чъмъ Жуковскаго. Поэтому вліяніе Батюшкова на Пушкина видиће, чемъ вліяніе Жуковскаго. Это вліяніе особенно зам'ятно въ стих'я, столь артистическомъ и художественномъ: не имън Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себъ такой стихъ.

Батюшкову, по натурѣ его, было очень сродно созерцаніе благъ жизни въ греческомъ духѣ. Въ любви онъ совсѣмъ не романтикъ. Изящное сла-

цострастіе — вотъ наоосъ его ноэзін. Правда, въ нобви его, кромѣ страсти и граціи, много иѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементь ея всегда—страстное вождельніе, увѣнчиваемое всею пѣгою, всѣмъ обаяніемъ исполненнаго поэзін и граціи наслажденія. Есть у него пьеса, которую можно назвать апооеозою чувтвенной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремленіи вождельнія до оѣшенаго и, въ то же время, въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея мноологической жизни: оно въ яркихъ краскахъ рисуетъ веселое празднество и обаятельно-буйныхъ, очаровательно-безстыдныхъ жрицъ Вакха:

Веб на праздникъ Эригоны Жрицы Вакховы текли; Вътры съ нумомъ разнесли Громкій вой ихъ, плескъ и стоны. Въ чащъ дикой и глухой Нимфа юная отстала; Я за ней... она бъжала Легче серны молодой. Эвры волосы взвъвали. Перевитые плющемъ, Нагло ризы поднимали II свивали ихъ клубкомъ. Стройный стань, кругомь обвитый Хмеля желтаго вънцомъ, И пылающи ланиты Розы яркимъ багрецомъ, II уста, въ которыхъ таетъ Пурпуровый виноградъ-Все въ неистовой прельщаетъ, Въ сердце льеть огонь и ядъ! Я за ней... она бъжала Легче серны молодой; Я настигь: она унала! И тимпанъ подъ головой! Жрицы Вакховы промчались Съ громинмъ воплемъ мимо насъ, II по рощъ раздавались "Эвое!" и иъги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны; при первомъ же своемъ появленіи они должны были поразить общее вниманіе, какъ предъбстіе скораго переворота въ русской поэзіи. Это еще не пушкинскіе стихи, но послѣ нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-нибудь, а пушкинекихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина,—и, конечно, Ватюшковъ много и много способствовалъ тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дѣйстънтельно. Одной этой заслуги со стороны Ватюшкова достаточно, чтобъ имя его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовію и уваженіемъ.

Судя но родственности натуры Ватюшкова съ древнею музою и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатилъ нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, написанныхъ въ древнемъ духѣ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго: ничуть не бывало! Кромъ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи, Батюшковъ ничего не перевелъ изъ греческихъ поэтовъ, и съ латинскаго перевелъ только три элегіи изъ

Тибулла — и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Ватюшкова мѣстами слабъ, вялъ, растянутъ и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть цѣлую элегію вдругъ; но мѣстами этотъ же переводъ такъ хорошъ, что заставляетъ сожалѣть, зачѣмъ Батюшковъ не перевелъ всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Кабовъ бы ни былъ переводъ этотъ въ цѣломъ, но мѣста, подобныя слѣдующимъ, выкупили бы его педостатки:

Единственный мой богь и сердца властелниъ, Я быль твонмъ жрецомъ, Киприды милый сынъ! До гроба я носиль твои оковы иѣжны, И ты, Амуръ, меня въ жилища безмятежны, Въ Элизій приведешь таинственной стезей, Туда, гдѣ вѣчный май межъ рощей и полей, Рдѣ расцвѣтаетъ нардъ и киниамона лозы, И воздухъ напосиъ благоуханьемъ розы; Тамъ слышно иѣнье итицъ и шумъ біющихъ водъ; Тамъ дѣвы юныя, сплетяся въ хороводъ, Мелькаютъ межъ древесъ, какъ легки привидѣнья; И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоснья, Въ объятихъ любви неумолимый рокъ, Тотъ носить на челѣ изъ свѣжихъ миртъ вѣнокъ.

Но ты, мив вврная, другь милый и безцвиный, И въ мирной хижинв, отъ взоровъ сокровенной, Съ наперсинцей любви, съ подругою твоей, На мигъ не покидай домашнихъ алтарей. При шумв зиминхъ вьюгъ, подъ свнью безопасной, Подруга въ темпу ночь зажжетъ свътпльникъ

И, тихо вретено кружа въ рукъ своей, Разскажетъ новъсти и были старыхъ дней. А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы, Забуденься, мой другъ; и томныя зеницы Закроетъ тихій сонъ, и пряслица изъ рукъ Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ, Какъ небомъ посланный внезапно добрый геній. Въги навстръчу миъ, бъги изъ мирной същ, Въ прелестной паготъ явись моимъ очамъ, Власы разсъяпны пебрежно по плечамъ, Вся грудь лилейная и ноги обнаженны... Когда-жъ Аврора намъ, когда сей день блажен-

На розовыхъ коняхъ, въ блистаньи принесетъ И Делію Тибуллъ въ восторгѣ обойметъ?

Элегія, наъ которой сділали мы эти выписки, не означена никакою цифрою. Она вся переведена превосходно, п если въ ней много незаконныхъ устченій и есть хотя одниъ такой стихъ, какъ:

Богами свержены во области бездонны,-

то не должно забывать, что все это принадлежить боле къ недостаткамъ языка, чёмъ къ недостаткамъ позін; а во время Ватюшкова никто и не думалъ видёть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводъ III элегін Тибулла и уступитъ въ достопнстве переводу первой, тёмъ не мене онъ читастся съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Ватюшковымъ боле пеудачно, чёмъ удачно; немногіс хорошіе стихи затоплены въ ней потокомъ вялой и растянутой прозы въ стихахъ.

Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологін и трехъ элегій изъ Тибулла, памятникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова къ древней поэзіи остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма "Гезіодъ и Омиръ, соперинки". Не имѣя подъ руками французскаго подлинника, мы не мо-

жемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; по немного нужно проницательности, чтобъ понять, что подъ перомъ Ватюшкова эта поэма явилась болъе греческою, чъмъ въ оригиналъ. Вообще эта поэма не безъ достоинствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ея сюжета.

Что мёшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведеніями въ духё древней поззін и превосходными переводами, мы скажемъ объ этомъ ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родственно не къ одной Элладъ: ей, какъ южному растенію, еще привольнье было подъ благодатнымъ небомъ росконной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тассо было отечествомъ музы русскаго ноэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо посл'я ній, были любим'вйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятиль онь прекрасную элегію, которую можно принять за аповеозу жизни и смерти павда "Герусалима"; стихотвореніе "Къ Тассу" — родъ посланія, довольно большого, хотя и довольно слабаго, также свидетельствуеть о любви и благоговънін нашего поэта къ цѣвцу Годфреда; сверхъ того, Ватюшковъ перевелъ-впрочемъ, довольно неудачно-небольшой отрывокъ изъ "Освобожденнаго Іерусалима". Изъ Петрарки одъ перевелъ только одно стихотвореніе—"На смерть Лауры", да на-писалъ подражаніе его IX канцонѣ— "Вечеръ". Всемъ тремъ поэтамъ Италін онъ посвятиль по одной прозанческой статьф, гдф излилъ свой восторгъ къ нимъ, какъ критикъ. Особенно замъчательно, что онъ какъ будто гордится, словно заслугою, открытіемъ, которое удалось ему сдѣлать при многократномъ чтенін Тассо: онъ нашелъ многія міста и цілые стихи Петрарки въ "Освобожденномъ Іерусалимъ", что, по его мнѣнію, доказываетъ любовь и уваженіе Тассо къ Петраркъ. И при всемъ томъ, Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдаль на дёлё свою любовь къ нтальянской поэзін, какъ и къ древней. Почему этоувидимъ ниже.

Страстность составляеть душу поэзіп Батюшкова, а страстное упоеніе любви— ея павость. Онъ и переводиль Парип, и подражаль ему: но въ томъ и другомъ случав оставался самимъ собою. Слядующее подражаніе Парип—"Ложный Стыдъ"—даетъ полное и вёрное понятіе о навость его поэзіп:

Поминив ли, мой другъ безценный, Какъ съ Амурами, тишкомъ, Мракомъ ночи окруженный, Я къ тебъ прокрался въ домъ? Помнишь ли, о другъ мой пъжный! Какъ дрожащая рука Отъ побъды неизбъжной Защищалась-но слегка: Слышенъ шумъ-ты испугалась; Свъть блеснуль-и вмигь погасъ; Ты къ груди моей прижалась, Чуть дыша... блаженный часъ! Ты пугалась; я смъялся. "Намъ ли въдать, Хлоя, страхъ? "Гименей за все ручался, .Н Амуры на часахъ. "Все въ безмолвін глубокомъ,

"Все почило сладкимъ сномъ! "Дремлетъ Аргусъ томнымъ окомъ "Подъ морфеевымъ крыломъ! Рано утреннія розы Запылали въ небесахъ... По любви безцённы слезы, Но улыбка на устахъ, Томно персей волнованье Подъ прозрачнымъ полотномъ, Молча новое свиданье Объщали вечеркомъ. Если-бъ Зевсова десница Мив вручила ночь и день: Поздно-бъ юнал денница Прогоняла черну тинь! Поздно-бъ солице выходило На восточное крыльцо; Чуть блеспуло-бъ и сокрыло За лѣсъ рдяное лицо; Долго-бъ тъни пролежали Влажной ночи на поляхъ; Долго-бъ смертные внушали Сладострастіе въ мечтахъ. Дружбѣ дамъ я часъ единый, Вакху часъ и сну другой: Остальною-жъ половиной Подълюсь, мой другь, съ тобой!

Въ прелестномъ посланіп къ Ж*** п В**** "Мон Ненаты" съ такою же яркостью высказывается преобладающая страсть поэзіп Ватюшкова. Окончательные стихи этой прелестной пьесы представляютъ изящный эпикурензмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бъжить за нами Вогъ времени съдой II губить лугь съ цвътами Безжалостной косой. Мой другь, скоръй за счастьемъ Въ путь жизни полетимъ; Упьемся сладострастьемъ И смерть опередимъ; Сорвемъ цвъты украдкой Подъ лезвеемъ косы, II лънью жизни краткой Продлимъ, продлимъ часы! Когда же Парки тощи Нить жизни допрядуть, II насъ въ обитель нощи Ко прадъдамъ снесутъ-Товарищи любезны! Не сътупте о насъ! Къ чему рыданья слезны, Наемныхъ ликовъ гласъ? Къ чему сін курецья, И колокола вой, канапомиван мимот II Надъ хладною доской? lъ чему?.. но вы толпами При мъсячныхъ лучахъ Сберитесь, и цвътами Устите мириый прахъ; Пль бросьте на гробницы Боговъ домашнихъ ликъ, Двъ чаши, двъ цъвницы, Съ листами навиликъ: И путникъ угадаетъ Безъ надинсей златыхъ, Что прахъ тутъ почиваетъ Счастинвцевъ молодыхъ!

Нельзя не согласиться, что въ этомъ эпикурензміз много человічнаго, гуманнаго, хотя, можетъ быть, въ то же время много и односторонняго. Какъ бы то ни было, но здравый эстетическій вкуст.

всегда поставить въ большое достоинство поэзіи Батюшкова ея опредъленность. Вамъ, можетъ, не понравится ея содержаніе, также, какъ другого можеть оно восхищать: но оба вы по крайней мъръ будете знать-одинъ, чего онъ не любитъ, другой-что онъ любить. И ужъ, конечно, такой поэть, какъ Батюшковь, —больше поэть, чемь, напримерь, Ламартинь съ его медитаціями и гармоніями, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ, паровъ, теней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногъ вокругъ самого себя, но движется, растетъ само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвъткомъ, дающимъ плодъ. Можетъ быть, немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которыя могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цѣли-познакомить читателей съ Батюшковымъ, если-бъ не указали на это прелестное его стихотвореніе-, Источникъ":

Буря умолкла, и въ ясной лазури Солице явилось на западѣ намъ: Мутный источникъ, слѣдъ яростной бури, Съ ревомъ и шумомъ бѣжитъ по полямъ! Зафна! приближься: для дѣвы невинной Пальмы подъ тѣнью здѣсь роза цвѣтетъ; Падая съ камия, источникъ пустынный Съ ревомъ и пѣной сквозь дебри течетъ!

Дебри ты, Зафна, собой озарила! Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ! Пъсни любови ты миъ повторила— Вътеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ! Голосъ твой, Зарна, какъ утра дыханье, Сладостно шепчетъ, несясь по цвътамъ: Тише, источникъ, прерви волнованье, Съ ревомъ и съ пъной стремясь по полямъ!

Голосъ твой, Зафна, въ душѣ отозвался: Вижу улыбку, и радость въ очахъ! Дѣва любви! я къ тебѣ прикасался, Съ медомъ пилъ розы на влажнихъ устахъ! Зафна краснѣетъ?.. О, другъ мой невинный, Тихо прижмися устами къ устамъ!.. Вудь же ты скроменъ, источникъ пустынный, Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!

Чувствую персей твоихъ волнованье, Сердца біенье и слезы въ очахъ, Сладостно дъвы стыдливой роптанье! Зафна! о, Зафна! смотри, тамъ, въ водахъ, Быстро несется цвътокъ размаринный; Воды умчались,—цвъточка ужъ пъть! Время быстръе, чъмъ токъ сей пустынный, Съ ревомъ который сквозь дебри течетъ.

Время погубить и прелесть, и младость!.. Ты улыбнулась, о, дъва любви! Чувствуешь въ сердцъ томленье и сладость, Сильны восторги и пламень въ крови!.. Зафиа, о, Зафиа!—тамъ голубь невинный Съ страстной подругой завидують намъ... Вздохи любови—неточникъ пустынный Съ ревомъ и шумомъ умчить по полямъ!

Нужно ли объяснять, что лежащее въ основѣ этого стихотворенія чувство, вначалѣ тихое и какъ бы случайное, въ каждой новой строфѣ все идеть crescendo, разрѣшаясь гармоническимъ ак-

кордомъ вздоховъ любви, унесеннымъ пустыннымъ псточникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувстві!..

Но не однѣ радости любви и наслажденія страсти умѣль восиѣвать Батюшковъ: какъ поэтъ новаго времени, онъ не могъ, въ свою очередь, не заплатить дани романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредѣленности и ясности! Элегія его — это ясный вечеръ, а не темная ночь, —вечеръ, въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго всѣ предметы только принимаютъ на себя какой-то грустный оттѣнокъ, а не теряютъ своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи "Послѣдняя Весна", и какіе стихи!

Въ поляхъ блистаетъ май веселый! Ручей свободно зажурчаль, И яркій голось филомелы Угрюмый борь очароваль: Все новой жизни цьеть дыханье! Пѣвецъ любви, лишь ты унылъ! Ты смерти върной предвъщанье Въ печальномъ сердцѣ заключилъ; Ты бродинь слабыми стопами Въ послъдній разъ среди полей, Прощаясь съ инми и съ лъсами Пустынной родины твоей. "Простите, рощи и долины, "Родныя ръки и поля! "Весна пришла, и часъ кончины "Неотразимой вижу я. Такъ Эпидавра прорицанье "Въщало миъ: въ послъдній разъ "Услышнинь горлицъ воркованье "И гальціоны тихій гласъ; "Зазеленѣють гибки лозы, "Поля одънутся въ цвъты, "Тамъ первыя увидишь розы "И съ ними вдругъ увянешь ты. "Ужь близокъ часъ... цвъточки милы, "Къ чему такъ рано увядать? "Закройте памятникъ унылый, "Гдъ прахъ мой будеть истлъвать; "Закройте путь къ нему собою "Отъ взоровъ дружбы навсегда; "Но если Делія съ тоскою "Къ нему приблизится: тогда "Исполните благоуханьемъ "Вокругъ пустынный небосклонъ "И томнымъ листьевъ трепетаньемъ Мой сладко очаруйте сонъ!" Въ поляхъ цвъты не увядали, И гальціоны въ тихій часъ Стенанья рощи повторяли, А бъдный юноша... погасъ! И дружба слезъ не уронила На прахъ любимца своего; И Делія не посътила Пустынный памятникъ его: Лишь пастырь въ тихій часъ денницы, Какъ въ поле стадо выгонялъ, Унылой песнью возмущаль Молчанье мертвое гробницы.

Грація—неотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пѣла—буйную ли радость ваканалін, страстное ли упоеніе въ любви или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбъ сердца, оторваннаго отъ милыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціознѣе этихъ двухъ маленькихъ элегій?

О, память сердца! ты сильивй Разсудка памяти печальной, И часто сладостью своей Меня въ страив илвняешь дальной. Я помню голосъ милыхъ словъ, Я помню очи голубыя, Я помню локоны златые Пебрежно вьющихся власовъ Моей пастушки несравненной, Я помню весь нарядъ простой, И образъ милой, незабвенной, Иовсюду странствуетъ со мной. Хранитель-геній мой—любовью Въ утѣху данъ разлукъ онъ: Засну-ль?—приникнетъ къ изголовью И усладитъ печальный сонъ.

Зефиръ послѣдній свѣяль сонъ Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами; Но я— не къ счастью пробужденъ Зефира тихими крылами. Ни сладость розовыхъ лучей Предтечи утренняго Феба, Ни кроткій блескъ лазури неба, Ни запахъ, вѣющій съ полей, Ни быстрый летъ коня ретива По скату бархатныхъ луговъ, Н гончихъ лай, и звонъ роговъ Вокругъ пустыннаго залива— Ни что души не веселить, Души, встревоженной мечтами, И гордый умъ не побѣдитъ Любви холодными словами.

Замечательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пъсни Байронова "Чайльдъ-Гарольда". Воть по возможности близкая передача въ прозѣ этой строфы (CLXXVIII): "Есть удовольствіе въ непроходимыхъ лъсахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ, въ сосъдствъ глубокаго моря, и ропотъ волнъ его есть своя мелодія. Я тъмъ не менъе люблю человъка, но я тъмъ болъе люблю природу вслъдствіе этихъ свиданій съ нею, на которыя я спішу, забывая все, чемъ бы я могъ быть, или чемъ былъ прежде, для того, чтобы сливаться со вселенною и чувствовать то, что я никогда не буду въ состояніи выразить, но о чемъ, однако-жъ, не могу и молчать".—Вотъ переводъ Ватюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ, Есть радость на приморскомъ брегѣ, И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ, Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ. Я ближняго люблю—но ты, природа-мать, Для сердца ты всего дороже! Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе. И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ, Тобою въ чувствахъ оживаю. Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ, И какъ молчать о пихъ—не знаю.

Козловъ переветь и следующія пять строфъ п выдаль это за собственное произведеніє: по крайней мере въ третьемъ изданіп его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части "Къ Морю", посвященное Пушкину. Къ довершенію всего, переводъ такъ водянъ, что въ немъ нётъ никакихъ признаковъ Байрона.

Сравните три последніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батюшкова:

Природу я душою обинмаю, Она милъй, постичь стремлюся я Все то, чему нътъ словъ, но что таить нельзя.

То ли это?..

Везпечный поэтъ-мечтатель, философъ-эпикуреецъ, жрецъ любви, нёги и наслажденія, Ватюшковъ не только умёлъ задумываться и грустить, но зналъ и диссонансы сомнёнія и муки отчаянія. Не находя удовлетворенія въ наслажденіяхъ жизни и нося въ душё страшную пустоту, онъ восклицалъ въ тоскё своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ, Всъ дни утратами считаемъ; На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ, И что-жъ?—ихъ урны обнимаемъ!

Такъ все здъсь суетно въ обители суеть!
Пріязнь и дружество непрочно!
Но гдъ, скажи, мой другь, прямой сіяетъ свътъ?
Что въчно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошалъ я опытность въковъ
И Клін мрачныя скрижали,
Напрасно вопрошалъ всъхъ міра мудрецовъ,—
Они безмолвны пребывали.
Какъ въ воздухъ неро кружится здъсь и тамъ,
Какъ въ вихръ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ

И въчно пристани не знаетъ:
Такъ умъ мой посреди волненій погибалъ.
Всъ жизни прелести затмились;
Мой геній въ горести свътильникъ погашалъ,

И музы свътлыя сокрылись.

Бросая общій взглядь на поэтическую діятельность Ватюшкова, мы видимъ, что его талантъ быль гораздо выше того, что сделано имъ, и что во всёхъ его произведеніяхъ есть какая-то недоконченность, неровность, незралость. Съ превосходнъйшими стихами мъшаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшія пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическихъ и растянутыхъ мъстъ. Въ его поэтическомъ призваніи Греція борется съ Италією, а югъ съ сѣверомъ, ясная радость съ унылою думою, легкомысленная жажда наслажденія вдругь сміняется мрачнымь, тяжелымъ сомнъніемъ, и тпрская багряница эникурейца робко прячется подъ власяницу суроваго аскетика. Отсюда происходить, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея паеосъ, то нельзя не согласиться, что этотъ навосъ лишенъ всякой уверенности въ самомъ себъ и часто походить на контрабанду, съ опасеніемъ и боязнію провозимую черезъ таможню піэтизма и морали. Батюшковъ быль учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имълъ на него такое сильное вліяніе, — онъ передаль ему почти готовый стихъ, — а между тъмъ что представляютъ намъ творенія самого этого Батюшкова? Кто теперь читаетъ ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежить своему времени, и почти ничего истъ для нашего. Артистъ, художникъ по призванью, по натурѣ и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрънія. Откуда же эти противоръчія? Гдъ причина ихъ?—Не трудно дать отвъть на этоть вопросъ.

Творенія Жуковскаго — это цілый періодъ нашей литературы, цёлый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Пхъ можно находить односторонними, но въ этой-то односторонности и заключается необходимость, оправдание и достоинство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитіе каждаго изъ насъ въ извъстную эпоху нашей жизни, и потому мы любимъ эти произведенія, даже и будучи отдёлены отъ нихъ непзифримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человъкъ любитъ волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже смъется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ - романтикъ во всемъ, что есть лучшаго въ его поэзін, и не романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ, впрочемъ, уступаетъ числу лучшихъ, т. е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написаль по нѣскольку пьесь на нѣсколько мотивовъ- и воть все. Мы, въ этой статьт, выписали почти все лучшее изъ произведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направленіе и духъ поэзін его гораздо определенне и действительне направления и духа поэзін Жуковскаго: а между тёмъ кто изъ русскихъ не знаетъ Жуковскаго, и многіе ли изъ нихъ знаютъ Батюшкова не по одному только

Главная причина всёхъ этихъ противорёчій заключается, разумвется, въ самомъ талантв Батюшкова. Это быль таланть замічательный, но боліве яркій, чёмь глубокій, болёе гибкій, чёмь самостоятельный, болже граціозный, чёмъ энергическій. Ватюнкову немногаго недоставало, чтобъ онъ могъ переступить за черту, раздёляющую большой талантъ отъ геніальности. И вотъ почему онъ всегла находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время, --- время, въ которое новое являлось, не смёняя стараго, и старое п новое дружно жили другъ послъ друга, не мъшая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на въру, по преданію, благоговъло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюшковъ представителями русскаго Парнаса:

> Пускай веселы тъин Любимыхъ мий певцовъ, Оставя тайны съни Стигійскихъ береговъ, Иль области эоприы. Воздушною толпой Слетять на голось лирпый Бесъдовать со мной!. И мертвые съ живыми Ветупили въ хоръ единъ!.. Что вижу? ты предъ ними Парнасскій исполинъ. Пъвецъ героевъ, славы, Вслъдъ вихрямъ и громамъ, Пащъ лебедь величавый, Плывешь по небесамъ. Въ толпъ и музъ, и грацій, То съ лирой, то съ трубой,

Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій, Сливаеть голось свой. Онъ громокъ, быстръ и силенъ, Какъ Суна средь степей, И нъженъ, тихъ, умиленъ, Какъ вешній соловей. Фантазіи небесной Давно любилый сынъ (?), То повъстью прелестной Плъняетъ Карамзинъ, То мудраго Платона Описываетъ намъ, И ужинъ Агатона, И паслажденья храмъ; То древию Русь и нравы Владиміра времяцъ, И въ колыбели славы Рожденіе славянь. За ними сильфъ прекрасный, Воспитанникъ харитъ На цитръ сладкогласной О Душенькъ бренчить; Мелецкаго съ собою Улыбкою зоветь, И съ нимъ, рука съ рукою, Гимнъ радости поетъ... Съ эротами играя, Философъ и пінть Близъ Федра и Пильная Тамъ Дмитріевъ сидить; Бесъдуя съ звърями, Какъ счастливый дитя, Парнасскими цвътами Скрылъ истину шутя. За нимъ въ часы свободы Поють среди цвътовъ Два баловия природы Хемницеръ и Крыловъ. Наставники-пінты, О фебовы жрецы! Вамъ, вамъ плетутъ хариты Безсмертные вънцы! Я вами здъсь вкушаю Восторги піэрить И въ радости взываю: О музы! я пінть!

Что такое эти стихи, если не крикъ безотчетнаго восторга? Для Батюшкова всв инсатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ детства, равно велики и безсмертны. Державинъ у него — "нашъ Ниндаръ, нашъ Горацій", какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Ниндаромъ или только нашимъ Гораціемъ. Если Батюшковъ, туть же, не назвалъ Державина еще и нашимъ Анакреономъ, -- это, вфроятно, потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришлось въ мъру стиха. Батюшковъ съ Гораціемъ былъ знакомъ не по слуху п не видъль, что между Гораціемъ — поэтомъ умиравшаго, развратнаго языческаго общества и между Державинымъ-поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, -- натъ рашительно ничего общаго! Если Ватюшковъ и не зналъ по-гречески, онъ могъ имъть понятіе о Ппидаръ по латинскимъ и немецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менье какого бы то ни было сходства между Державинымъ и Пиндаромъ,— Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цёлаго народа — и какого еще народа!.. Если Батюшковъ не упомянулъ въ стихахъ о Херасковъ и Сумароковъ, это, въроятно, потому, что нервому изъ нихъ были уже нанесены

страшные удары Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-по-малу какъ-то самъ истерся въ общественномъ миѣнін. Впрочемъ, это не мѣшаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ "пѣвца Россіады" и приписывать ему какую-то "славу писателя". Разсуждая о такъ пазываемой "легкой поэзін", Батюшковъ такъ разсказываетъ ея исторію на Руси:

"Такъ называемый эротическій и вообще легкій родъ поэзін воспріяль у насъ пачало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всёхъ видовъ, раздёленій и измёненій легкой поэзін, которая менфе или болфе принадлежить къ важнымъ родамъ; но замътимъ, что на поприщъ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ нравственномъ міръ, ничто прекрасное и доброе не теряется, приносить со временемь пользу и дійствуєть непосредственно на весь составь языка. Стихотворная повъсть Богдановича, первый и прелестный цвътокъ легкой поэзіи на языкъ нашемъ, ознаменованный истиннымъ и великимъ (!) талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувядаемыми цвътами выраженія; басни его, въ которыхъ онь боролся съ Лафонтеномъ и часто побъждалъ его; басни Хеминцера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумные, счастливые стихи сдълались пословицами, ибо въ пихъ виденъ и тонкій умъ наблюдателя свъта, и ръдкій таланть; стихотворенія Карамзина, исполненныя чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; гораціанскія оды Капинста; вдохновенныя страстію пъсни Нелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мерзлякова; баллады Жуковскаго, сіяющія воображеніемъ, часто своенравнымъ (?), по всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, напитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ стихотворенія Муравьева, гдъ изображается, какъ въ зеркалъ, прекрасная душа его; посланія князя Долгорукова, исполненныя живости; нъкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новъйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всъ сін блестящія произведенія дарованія и остроумія менье пли болье приближались къ желанному совершенству, и всѣ — нътъ сомнънія-принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили".

Такъ! — скажемъ мы отъ себя, — въ этомъ нѣтъ сомнёнія: сочиненія всёхъ этихъ поэтовъ принесди свою пользу въ дёлё образованія стихотворнаго языка; но пътъ и въ томь сомнънія, что между нхъ стихомъ и стихомъ Жуковскаго и Батюшкова легло цълое море разстоянія, и что "Душенька" Богдановича, сказки Дмитріева, гораціанскія оды Канниста, подражанія древнимъ Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова и Пушкина (Василія) только до появленія Жуковскаго и Батюшкова могли считаться образдами легкой поэзіи и образдами стихотворпаго языка. Батюшковъ ни однимъ словомъ не даеть чувствовать, что прославляемыя имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей принадлежать извъстному времени и посять на себъ, какъ необ-

ходимый отпечатокъ, его недостатки. И потомъ. что за взглядъ на относительную важность каждаго изъ нихъ: Дмитріевъ у него выше Крылова, пароднаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ "Горя отъ Ума", тогда какъ басни Дмитріева, несмотря на ихъ неотъемлемое достоинство, теперь совершенно забыты. И не мудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болье, какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена; но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стпхотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева, и которыя послѣ стихотвореній Жуковскаго тотчасъ же сдълались невозможными для чтенія, Батюшковъ находить "исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей". Кто теперь знаетъ стихотворенія Муравьева?—Батюшковъ въ восторгѣ отъ нихъ. Ломоносовъ для него былъ однимъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзін предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были маловажны, по словамъ Батюшкова: стало быть, оныты Ломоносова и Сумарокова были уже не маловажны. Но что же легкаго написалъ Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?.. И такъ смотрелъ на русскую литературу человъкъ, знакомый съ французскою, нъмецкою, итальянскою, англійскою (?) и латинскою литературами, въ подлинникъ читавшій Руссо, Шенье, Шиллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Бай-рона (?), Тибулла и Овидія!.. Но всего поразительнъе, въ этомъ отношенін, "Письмо" Батюшкова "къ И. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева". Дёло идеть о сочиненіяхъ Михаила Никитича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвъщенія, попечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умеръ въ 1807 году и оставиль послѣ себя память благороднаго человѣка и страстнаго любителя словесности. Какъ писатель, М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ ломоносовской школь. Слогъ и языкъ его не карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненияхъ его, действительно, видно много любви къ просвъщенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; но особеннаго литературнаго или эстетическаго достоинства они не имфють. Когда вышли въ свътъ сочиненія Муравьева, изданныя послѣ смерти его въ 1810 году подъ титуломъ: "Опыты исторін, словесности и правоученія", — Ватюшковъ паписалъ письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмѣ онъ горько упрекаетъ тогдашинхъ журналистовъ за ихъ молчаніе о такой превосходной книгѣ, каковы сочиненія Муравьева. Въ числъ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдёльныхъ статей, есть ифсколько такъ называемыхъ "разговоровъ въ парстви мертвыхъ", въ которыхъ авторъ пренанвно сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго съ Владиміромъ, Горація съ Кантемпромъ и заставляеть ихъ спорить, а къ концу спора согласиться, что Россія не устунаетъ въ силъ и просвъщени ди одному народу въ мірѣ... Ватюшковъ въ восторгѣ отъ этихъ мерт-

выхъ разговоровъ: онъ отдаетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. "Французскій писатель (говорить онъ) гонялся единственно за остроуміемь: действующія лица въ его разговорахъ разрашають какую-нибудь истину блестящими словами; онн, кажется намъ, любуются сами тъмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля неръдко древніе герои преображаются въ придворныхъ Людовикова времени и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ недостаеть парика, манжетъ и красныхъ каблуковъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замъчаетъ Вольтеръ-не помню, въ которомъ мъстъ. Здъсь совершенно тому противное: всякое лицо говорить приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомить насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ, съ Гораціемъ и проч.". Но-увы!-именно этого-то и нътъ въ разговорахъ Муравьева. Исторические собесъдники Фонтенеля похожи по крайней мёрё хоть на придворныхъ Людовика XIV, а герон Муравьева ръшительно ни на кого не похожи, даже просто на людей. Вообще Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-то риторически: иначе, чъмъ объяснить эту схоластическую фразу: "онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ" (стр. 97)? Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ нравственнаго содержанія, названныхъ у него общимъ именемъ "Обитатель Предмёстья". Языкъ этихъ статеекъ довольно чистъ н ближе подходить къ карамзинскому, чёмъ къ ломоносовскому; содержание много говорить въ пользу автора, какъ человъка съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; но и все туть: ни идей, ни воззрѣній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: "Сін разговоры (мертвыхъ) н Письма Обитателя Предмёстія могуть замёнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей" (стр. 102). Вотъ какъ!.. Вообще, давно уже замъчено, что у насъ на святой Руси не умъютъ въ мъру ни похвалить, ни похулить: если превозносить начнуть, такъ уже выше лъса стоячаго, а если бранить, такъ уже прямо втоичутъ въ грязь... "Другіе отрывки (продолжаетъ Батюшковъ) принадлежать къ высшему роду словесности. Между ними повъсть "Оскольдъ", въ которой авторъ изображаетъ походъ съверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотами" (стр. 106). Какими же? -- Красотами самой натянутой и надугой риторики. Къ числу такихъ повъстей-поэмъ принадлежатъ: "Кадмъ и Гармонія", "Полидоръ, сынъ Кадма и Гармонін" Хераскова, "Мареа-Посадница" Карамзина. Самъ Батюшковъ написалъ пренелъпую вещь въ такомъ же духъ: она называется "Предславъ и Добрыня, старинная повъсть". Въ заключение статън своей о сочиненияхъ Муравьева Батюшковъ выписываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

Ты (муза) утро дней монхь прилежно посъщала, Почто-жъ печальная распространилась мгла И ясный полдень мой покрыла черной тънью!

Иль лавровъ по слъдамъ твоимъ не соберу, И въ пъсияхъ не прейду къ другому поколънью, Или я весь умру?

"Нътъ (восклицаетъ Батюшковъ), мы надъемся, что сердце человъческое безсмертно. Всъ иламенные отпечатки его, въ счастливыхъ стихахъ поэта, побъждають самое время. Музы сохраняють въ своей памяти пъсни своего любимца, и имя его перейдеть къ другому поколтию съ именами, съ священными именами мужей добродътельныхъ" (стр. 122). Увы! предсказаніе критика не сбылось: восхваляемый имъ авторъ былъ уже забыть еще въ то время, какъ онъ сулилъ ему безсмертіе... Что это означаеть: односторонность ума, недостатокъ вкуса?--Нисколько! Немного людей, столь богатыхъ счастливыми дарами духовной природы, какъ Батюшковъ. Онъ былъ сынъ своего временивотъ гдъ причина его недостатковъ. Средствами своей натуры онъ былъ уже далѣе своего времени; но мыслію, сознаніемъ онъ шелъ за нимъ, а не впереди его. Опъ зналъ много языковъ и много читаль на нихъ, но смотръль на вещи глазами "Въстника Европы" блаженной памяти, и даже современной исторін учился по газетнымъ реляціямь, а потому Наполеонь, въ глазахь его, былъ не болѣе, какъ новый Атилла, Омаръ, всесвѣтный зажигатель и разбойникъ (стр. 99). Еще страннъе его взглядъ на Руссо: этотъ взглядъ до наивности близорукъ и подслъповатъ (стр. 3, 17): Батюшковъ видель въ Руссо только мечтателя в софиста. Стравное дѣло! Наши русскіе поэты, даже не обдъленные образованіемъ, знакомые съ Европою черезъ ея языки, почти всегда отличались какою-то ограниченностію взгляда и понятій, при замъчательномъ, а иногда и великомъ талантъ... Это мы еще будемъ имъть случай за-

Но едва ли не жесточе вевхъ постигла эта участь Ватюшкова. Онъ весь заключенъ во мивнихъ и понятіяхъ своего времени, а его время было переходомъ отъ карамзинскаго классицизма къ пушкинскому романтизму (Пушкина въдь считали первымъ русскимъ романтикомъ!). Батюшковъ съ уваженіемъ говоритъ даже о меценатствъ и замѣчаетъ въ одномъ мъстъ (стр. 47), что одинъ вельможа удостонваетъ музъ своимъ нокровительствомъ, вмъсто того, чтобъ сказать, что онъ удостонвается чести быть полезнымъ музамъ.

Какъ на самую рѣзкую, на самую характеристическую черту эстетическаго и критическаго образованія Батюшкова, укажемъ на статью его "Аріостъ и Тассъ". Это нѣчто вродѣ критическихъ статей нашихъ старинныхъ аристарховъ о "Россіадѣ" Хераскова. Какъ хорошо это мѣсто! какой чудесный этотъ стихъ! какое живое описаніе представляетъ собою эта глава!—вотъ характеръ критики Батюшкова. Объ идеяхъ, о цѣломъ, о вѣкѣ, въ которомъ написана поэма, о ея недостаткахъ—ин слова, какъ будто бы инчего этого въ ней и не бывало! Больше всего восхищается Батюшковъ описаніемъ одной битвы, которое, судя по его же

прозаическому переводу, довольно надуго. Эта картина напоминаетъ ему стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тѣла: Иный съ размаха мечъ занесъ на сопостата, Но прежде прободенъ, удара не скончалъ; Иный, забывъ врага, прельщался блескомъ злата, Но мертвый на корысть желанную упалъ; Иный, отъ сильнаго удара убъгая, Стремглавъ на низъ слетълъ и стонетъ подъ ко-

немъ; Иный, произенъ, угасъ, противника сражая; Иный врага повергъ и умеръ самъ на немъ.

Кроме того, что Батюнковъ эти дебелые и безобразные стихи находитъ прекрасными, онъ еще видитъ въ разстановке словъ: стопетъ, угасъ и умеръ, какую-то особенную силу. "Заметимъ мимоходомъ для стихотворцевъ (говоритъ онъ), какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они постановлены на своемъ мёстё" (стр. 225—226).

Таковы были литературныя и эстетическія поиятія и убъжденія Батюшкова. Они достаточно объясияють, почему такъ неръшительно было направленіе его поэзін и почему написанное имъ такъ далеко ниже его чудеснаго таланта. Превосходный таланть этоть быль задушень временемь. При этомъ не должно забывать, что Батюшковъ слишкомъ рано умеръ для литературы и поэзіи. Кажется, его литературная деятельность совершенно прекратилась съ 1819 годомъ, когда онъ быль въ самой цвѣтущей порѣ умственныхъ силь, ему тогда было только 32 года отъ роду (онъ родился въ 1787 году). Мы не знаемъ даже, прочель ли Батюшковъ хотя одно стихотвореніе Пушкина. "Русланъ и Людмила" появилась въ 1820 году. Такъ Пушкинъ, въ свою очередь, не прочелъ ни одного стихотворенія Лермонтова... И, можеть быть, для Батюшкова настала бы новая пора лучшей и высшей деятельности, если-бъ враждебная русскимъ музамъ судьба не отняла его такъ рано отъ ихъ служенія. Появленіе Пушкина имело сильное вліяніе на Жуковскаго: можеть быть, еще сильнайшее вліяніе имало бы оно на Батюшкова. Выходъ въ свѣтъ "Руслана и Людмилы" и возбужденные этою поэмою толки и сноры о классицизмѣ и романтизмѣ были эпохою обновленія русской інтературы, ея окончательнаго освобожденія изъ-подъ вліянія Ломоносова и началомъ эмансипацін изъ-подъ вліянія Карамзина... Несмотря на всю свою поверхностность, эта эпоха развязала крылья генію русской литературы и поэзін. И, вероятно, таланть Батюшкова, въ эту эпоху, явился бы во всей силь, во всемь своемь блескв.

Но не такъ угодно было судьбѣ. И потому намъ лучше говорить о томъ, что было, нежели о томъ, что бы могло быть. Написанное Батюшковымъ, какъ мы уже сказали,—далеко ниже обпаруженнаго имъ таланта, далеко не выполняетъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредѣленность, нерѣшительность, пеоконченность и невыдержанность борются въ его поэзін съ опредѣленностію, рѣшительностію и выдержанностію. Прочтите его превосходную элегію "На

развалинахъ замка въ Швецін": какъ все въ ней выдержано, полно, оконченно! Какой роскошный и, вмъстъ съ тъмъ, упругій, кръпкій стихъ!

Тамъ воннъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ, Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый, Готовилъ сына въ брань и стрѣлъ пернатыхъ пукъ. Броню завѣтну, мечъ тяжелый, Онъ юпошѣ вручалъ пэраненной рукой, И громко восклицалъ, поднявъ дрожащи длани: "Тебѣ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани, Всегда и всюду твой!

"А ты, мой сынъ, клянись мечомъ твоихъ отцовъ, И Гелы клятвою кровавой, На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ, Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!" И пылкій юноша мечъ прад'ёдовъ лобзалъ, И къ персямъ прижималъ родительскія длани, И въ радости, какъ конь, при звукъ новой брани, Кипълъ и трепеталъ!

Война, война врагамъ отеческой земли!
Суда на утро восшумъли,
Запънились моря, и быстры корабли
На крыльяхъ бури полетъли!
Въ долинахъ Нейстріи раздался браней громъ,
Туманный Альбіонъ изъ края въ край нылаетъ,
И Гела день и ночь въ Валгаллу провожаетъ
Погибшихъ блъдный сонмъ.

Ахъ, юноша! спѣши къ отеческимъ брегамъ, Назадъ лети съ добычей бранной; Ужъ вѣетъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ судамъ, Герой, побъдою избранный. Ужъ скальды инршества готовять на холмахъ, Ужъ дубы въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ, И вѣстникъ радости отцамъ провозглашаетъ Побъды на моряхъ.

Здёсь, въ мирной пристани, съ денницей золотой Тебя невёста ожидаетъ, Къ тебё, о юноша, слезами и мольбой. Боговъ на милость преклоиметъ... Но вотъ, въ туманъ тамъ, какъ стая лебедей, Вълъютъ корабли, несомые възнами; О въй, попутный въгръ. въй тихими устами Въ вътрила кораблей!

Суда у береговъ; на нихъ уже герой
Съ добычей женъ иноплеменныхъ;
Къ нему спъшитъ отецъ съ невъстою младой *)
И лики скальдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ, безмолвствуя, въ слезахъ,
Едва на женика взглянуть съ украдкой смъетъ,
Потупя ясный взоръ, красиъетъ и блъдиветъ,
Какъ мъсяцъ въ небесахъ.

Не такова другая элегія Батюшкова— "Тѣнь Друга"; начало ея превосходно:

Я берегь покидаль туманный Альбіона; Казалось, онь въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ; За кораблемъ вплася гальціона, И тихій гласъ ся пловцовъ увеселялъ.
Вечерній вътръ, валовъ плесканье, Однообразный шумъ и трепетъ парусовъ, И кормчаго на палубъ взыванье Ко стражъ, дремлющей подъ говоромъ валовъ,—Все сладкую задумчивость питало. Какъ очарованный, у мачты я стоялъ И сквозь туманъ и ночи покрывало Свътила съвера любезнаго искалъ.

*) Поэтъ нашего времени, вмѣсто "съ невѣстою младой", сказалъ бы: "съ невѣстой молодой", — и оно, разумѣется, было бы лучше; но во время Ватюшкова большую полагали кразоту въ славинямѣ словъ, считая его особенио приличнымъ для такъ называемаго "высокаго слога".

Повторимъ уже сказанное нами разъ: послѣ такихъ стиховъ нашей поэзін надо было или остановиться на одномь мѣстѣ, или, развиваясь далѣе, выражаться въ пушкпнскихъ стихахъ; такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху Пушкина. Но окончаніе элегіи "Тѣнь Друга" не соотвѣтствуетъ началу: отъ стиха—

И вдругъ... то былъ ли сонъ! предсталъ товарищъ миъ,—

начинается громкая декламація, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничто не потрясаетъ сердца внезаино охлажденнаго и постепенно утомляемаго читателя, особенно, если онъ читаетъ эту элегію вслухъ.

Этимъ же недостаткомъ невыдержанности отличается и знаменитая его элегія "Умирающій Тассъ". Начало ея, отъ стиха: "Какое торжество готовитъ древній Римъ?" до стиха: "Тебѣ сей даръ... иѣвецъ Іерусалима!" превосходно; слѣдующіе затѣмъ двѣнадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: "Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ" начинается риторика и декламація, хотя мѣстами и съ проблесками глубокаго чувства и истинной поэзіи. Чудесны эти стихи:

И ты, о въчный Тибръ, понтель всъхъ племенъ, Засъянный *) костьми гражданъ вселенной: Васъ, васъ привътствуетъ изъ сихъ унылыхъ мъстъ

Безвременной кончинъ обреченный! Свершилось! Я стою падъ бездной роковой И не вступлю при плескахъ въ Капитолій; И лавры славные надъ дряхлой головой Не усладять пъвца свиръпой долн.

Но что такое, если не пустое разглагольствіе, не надутая риторика и не трескучая декламація—воть эти стихи?—

Увы! съ тъхъ поръ добыча злой судьбины, Всъ горести узналъ, всю бъдность бытія. Фортуною изрытыя пучины Разверэлись подо мной, ѝ громъ не умолкалъ! Изъ весн въ весь, изъ страну (?) въ страну гонимый, Я тщетно на землъ пристанища искалъ: Повсюду перстъ ея неотразимый! Повсюду молнін карающей (?) пъвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: "Друзья, но что мою стъсняетъ страшно грудь?" до стиха: "Рукою музъ и славы соплетенный". Слъдующіе затъмъ шестнадцать стиховъ очень недурны, а отъ стиха: "Смотрите! — онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ" — до стиха: "Средь ангеловъ Елеонора встрътитъ" — опять звучная и пустая декламація. Заключеніе превосходно, подобно началу:

И съ именемъ любви божественной погасъ; Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали; День тихо догоралъ... и колокола гласъ Разнесъ кругомъ по стогнамъ въсть печали.

"Погибъ Торквато нашъ! — воскликнулъ съ плачемъ Римъ.—

Погибъ пъвецъ, достойный лучшей доли!.." На утро факеловъ узръли мрачный дымъ, И трауромъ покрылся Капитолій.

Въ отношеніи къ выдержанности какая разница между "Умирающимъ Тассомъ" Батюшкова и "Андреемъ Шенье" Пушкина, хотя объ эти элегіп въ одномъ родъ!

Послѣ Жуковскаго Батюшковъ первый заговорилъ о разочарованіи, о несбывшихся надеждахъ, о печальномъ опытѣ, о потухающемъ пламенникѣ своего таланта...

Я чувствую, мой даръ въ поэзін погасъ, И муза пламенникъ небесный потушила;

Печальна опытность открыла Пустыню новую для глазъ; Туда влечетъ меня осиротълый геній, Въ поля безплодныя, въ непроходимы съ́ни,

Гдъ счастья нътъ слъдовъ, Ни тайныхъ радостей, нензъяснимыхъ сновъ, Любимцамъ фебовымъ отъ юности извъстныхъ, Нидаружбы, ни любви, ни пъсней музъ прелестныхъ,

Которыя всегда душевну скорбь мою, Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали. Нътъ, нътъ! себя пе узнаю Подъ новымъ бременемъ печали,

Что Жуковскій сділаль для содержанія русской поэзін, то Батюшковъ сділаль для ея формы: первый вдохнуль въ нее душу живу, второй даль ей красоту пдеальной формы; Жуковскій сдёлаль несравненно больше для своей сферы, чъмъ Батюшковъ для своей, — это правда; но не должно забывать, что Жуковскій раньше Батюшкова началъ дъйствовать и теперь еще не сошель съ поприща поэтической деятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати двухъ лътъ отъ роду... Заслуги Жуковскаго и теперь передъ глазами всѣхъ и каждаго; имя его громко и славно и для новъйшихъ покольній; о Батюшковъ большинство знаетъ теперь по-наслышкъ и по воспоминанію; но если немногія прекрасныя стихотворенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзіи достаточно для его славы; а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще ніть его безсмертія, -- оно тімь не менже сіяеть въ исторіи русской поэзіи...

Замъчательнъйщими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слъдующія: "Умирающій Тассъ", "На развалинахъ замка въ Швецін", три "Элегін изъ Тибулла", "Воспоминанія" (отрывокъ), "Выздоровленіе", "Мой Геній", "Тънь друга", "Веселый часъ", "Пробужденіе", "Таврида", "Послъдняя Весна", "Къ Г—чу", "Источникъ", "Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ", "О, пока безцѣнна младость", "Гезіодъ и Омиръ—сонеримни", "Къ Другу", "Мечта", "Бесъда Музъ", "Карамзину", "Мон Пенаты", "Отвътъ Г—чу", "Къ П—ну", "Посланіе И. М. М. А.", "Къ N. N.", "Пъснь Гаральда Смълаго", "Вакханка", "Ложный страхъ", "Радость" (подражаніе Касти), "Къ Н.", "Подражаніе Аріосту", "Изъ антологіи"—двънадцать ньесъ изъ греческой антологіи. Мы

^{*)} Эпитетъ "засвяннаго костьми" неточенъ въ отношении къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построенъ Римъ, яли о землъ Итали вообще.

означили здёсь всё пьесы, по чему-либо и сколько-нибудь замъчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время производили, какъ говорится, фуроръ, — это: "Планный" (Въ мъстахъ, гдъ Рона протекаетъ) и "Разлука" (Гусаръ, на саблю опираясь). Объ онъ теперь какъ-то странно опошлились, особенио последняя, — безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тъмъ объ онъ написаны хорошими стихами, какъ бы для того, чтобъ служить доказательствомь, что не можеть быть прекрасна форма, которой содержание пошло, не могутъ долго правиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекраспыми стихами также написана моральная пьеса "Счастливецъ" (подражаніе Касти); но мораль, стубила въ ней поэзію. Сверхъ того, въ ней есть куплетъ, который разсмъшилъ даже современинковъ этой ньесы, столь снисходительныхъ въ дёлё поэзін:

Сердце наше кладезь *мрачной;* Такъ покоенъ сверху видъ; Но пустить ко дну... Ужасно: Крокодилъ на пемъ лежитъ!

Какъ прозапкъ, Батюшковъ занимаетъ въ русской лигератур'в одно м'всто съ Жуковскимъ. Это превосходитній стилисть. Лучшія его прозанческія статьи, по нашему мнёнію, слёдующія; "О характеръ Ломоносова", "Вечеръ у Кантемира", "Нѣчто о Поэтѣ и Поэзіи", "Прогулка въ Академію Художествъ", "Путешествіе въ замокъ Сирей". Также очень интересны всв его статьи, названныя, во второмъ изданін, общимъ именемъ "Писемъ" и "Отрывковъ". Онъ знакомять съ личностью Батюшкова, какъ человъка. Статья "Двъ Аллегорін" характеризуеть время, въ которое она написана: авторъ начинаетъ ее признаніемъ, что веж аллегоріи вообще холодны, но что его аллегорін говорять разсудку, а потому и хороши. Онь забыль, что всв аллегорін потому-то и нелены, и холодны, что говорять одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазін... "Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндін" показываеть, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями — югомъ и съверомъ, свѣтлою, роскошною Италіею и мрачною, однообразною Скандинавіею. Эта статья написана какъ будто бы въ соответствіе съ элегіею "На развалинахъ замка въ Швецін". Языкъ и слогъ этой статьи слыли за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюшкова въ прозв. А между темъ она есть не что иное, какъ переводъ изъ "Harmonies de la Nature" Лесепеда; отрывокъ, переведенный Ватюшковымъ, можно найти въ любой французской хрестоматіи, подъ названіемъ: "Les forêts et les habitans des régions glaciales". Сказанное Лесепедомъ о Сѣверной Америкъ Батюшковъ храбро приложилъ къ Финляндін — и дёло съ концомъ! Удивляться этому нечего: въ тъ блаженныя времена подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ "Прогулка въ Академію Художествъ" и

"Двѣ Аллегорін" Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человѣкомъ, одареннымъ истинно артистическою душою.

Имя Ватюшкова невольно напоминаетъ намъ другое любезное русскимъ музамъ имя, имя друга его-І'нъдича, таланть и заслуги котораго столько же важны и знамениты, сколько -- увы! -- и не оценены доселе. Не беремся за трудъ, можетъ быть, превосходящій наши сплы, по посвятимъ несколько словъ намяти человека даровитаго и незабвеннаго. Съ именемъ Гийдича соединяется мысль объ одномъ изъ тъхъ великихъ подвиговъ, которые составляють вёчное пріобрётеніе и вёчную славу литературъ. Переводъ "Иліады" Гомера на русскій языкъ есть заслуга, для которой нътъ достойной награды. Знаемъ, что наши похвалы покажутся многимъ преувеличенными; но "многіе" много ли понимають и умѣють ли вникать, углубляться и изучать? Нев'єжество и легкомысліе поситшны на приговоры, и для нихъ все то мало и ничтожно, чего не разумъють они. А чтобъ быть въ состоянін оцінить подвигъ Гийдича, потребно много и много разумънія. Чтобъ быть въ состояніи оцінить переводъ "Иліады", прежде всего надо быть въ состоянін понять "Иліаду", какъ художественное произведеніе, а это не такъ-то легко. Теперь уже и Шекспиръ требуеть комментаріевь, какъ поэть чуждой намъ эпохи и чуждыхъ намъ нравовъ, — тѣмъ болѣе Гомеръ, отделенный отъ насъ тремя тысячами лъть. Міръ древности, міръ греческій недоступенъ намъ непосредственно, безъ изученія. "Иліада" есть картина не только героической, но и религіозной Грецін; а у насъ, на русскомъ языкѣ, нътъ не только порядочной, но и сколько-инбудь сносной греческой минологіи, безъ которой чтеніе "Иліады" непонятно. Сверхъ того, нѣкоторые ученые люди, знающіе много фактовъ, но чуждые иден и лишенные эстетического чувства, за какое-то удовольствіе считають распространять нелъпыя понятія о поэмахъ божественнаго Омира, переводя ихъ съ подлинника слогомъ русской сказки объ Емель-Дурачкь. Съ подлинника!--говорять они гордо. Действительно, для разуменія "Иліады" знаніе греческаго языка—великое діло; но оно не дастъ человъку ни ума, ни эстетическаго чувства, если въ нихъ отказала ему природа. Тредьяковскій зналь много языковъ, но отъ того не былъ ни умиве, ни разборчивве въ дълъ изящнаго; а Шекспиръ, не зная по-гречески, написалъ поэму "Венера и Адонисъ". Такого рода ученые, увъряющіе, что греки раскрашивали статуи боговъ (что, действительно, делали древијетолько не греки, а жители Помпен, незадолго передъ Р. Х., когда вкусъ къ изящному былъ во всеобщемъ упадкѣ), такого рода ученые, знающіе по-гречески и по-латыни, напоминають собою переведенную съ нъмецкаго Жуковскимъ сказку: "Кабудъ-Путешественникъ" ("Переводы въ прозъ В. Жуковскаго", ч. III, стр. 92). Вотъ эти и полобные имъ господа изволять увфрять, что Гнедичь перевель "Иліаду" напыщенно, надуто,

изысканно, тяжелымъ языкомъ, смъсью русскаго съ славянщиною. А другіе и рады такимъ сужденіямъ; не смѣя напасть на тысячелѣтнее имя Гомера, они восторгались "Иліадою" вслухъ, зѣвая отъ нея про себя: и вотъ имъ даютъ возможность свалить свое невъжество, свою ограниченность и свое безвкусіе на дурной будто бы переводъ. Нфть, что ни говори эти господа, а русскіе владъютъ едва ли не лучшимъ въ міръ переводомъ "Иліады". Этотъ переводъ, рано или поздно, сдфлается книгою классическою и настольною и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго восинтанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполит понимать вообще искусство. Переводъ Гивдича имветъ свои недостатки: стихъ его не всегда легокъ, не всегда исполненъ гармоніи, выражение не всегда кратко п сильно; но всё эти недостатки вполнъ выкупаются въяніемъ живого эллинскаго духа, разлитаго въ гензаметрахъ Гифдича. Следующее двустише Пушкина на переводъ "Иліады" — не пустой комплименть, по глубоконоэтнческая и глубоко-истинная передача производимаго этимъ переводомъ впечатавнія:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи; Старда великаго тѣнь чую смущенной душой.

Глубоко-артистическая натура Пушкина умѣла сочувствовать древнему міру и понимать его: это доказывается многими его произведеніями на древній ладь: стало быть, авторитеть Пушкина, въдѣлѣ суда надъ переводомъ Гнѣдича, не можетъ не имѣть вѣса и значенія, — и Пушкинъ высоко цѣнилъ переводъ Гнѣдича. Вотъ еще стихотвореніе Пушкина, свидѣтельствующее о его уваженіи кътруду и имени переводчика "Иліады":

Съ Гомеромъ долго ты бесъдовалъ одинъ; Тебя мы долго ожидали; И свътелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ И вынесъ намъ свои скрижали.

И что-жъ? Ты насъ обрѣлъ въ пустынѣ подъ шатромъ, Въ безумствѣ суетнаго пира, Иомимхъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ

Отъ насъ созданнаго кумира. Смутились мы, твонхъ чуждаяся лучей. Въ порывъ гитва и печали, Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дътей, Разбилъ листы своей скрижали.

Разоилъ листы своен скрижали.

Нътъ! ты не проклялъ насъ. Ты любишь съ высоты

Скрываться въ тънь долины милой; Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты Журчанью пчель надъ розой алой.

Нѣтъ, не настало еще время для славы Гнѣдича; оцѣнка подвига его еще впереди: се приведетъ распространяющееся просвѣщеніе, плодъ основательнаго ученія...

Гнёдичь какь бы считаль себя призванным на переводь Гомера; мы увёрены, что только время пе позволило ему перевесть и "Одиссею". Гомеръ быль его любимёйшимъ пёвцомъ, п Гнёдичь силился создать апочеозу своему герою въ поэмё "Рожденіе Гомера". Поэма эта написана

въ древнемъ духъ, очень хорошими стихами, но длинна и растянута; совсемъ не кстати приплетены къ ней судьбы Гомера въ новомъ мірѣ.--Переводъ идиллін Өеокрита "Спракузянки, или праздникъ Адониса", съ присовокупленнымъ къ нему, въ видъ предисловія, разсужденіемъ объ ндиллін, есть двойная заслуга Гийдича: переводъ превосходень, а разсуждение глубокомысленно и истинно. Но кто оцфинть этотъ подвигъ, кто пойметъ глубокій смыслъ и художественное достоннство идиллін Феокрита, не им'є понятія о значенін, какое имёль для древнихь Адонись, и о праздникахъ въ честь его?.. "Рыбаки", оригиналь ная пдиллія Гитдича, есть мастерское произведеніе, но оно лишено истины въ основанін: изъ-подъ рубища петербургскихъ рыбаковъ видивются складки греческаго хитона, и русскими словами, русскою рѣчью прикрыты понятія и созерцанія чистодревнія... При всемъ этомъ въ "Рыбакахъ" Гитдича столько поэзін, жизни, прелести, такая роскошь красокъ, такая наивность выраженія! Замѣчательно, что эта идиллія написана въ 1821 году, а въ 1820 году были уже изданы идиллін г. Панаева! Не знаемъ, въ которомъ году переведена Гивдичемъ идиллія Өеокрита и написано предисловіе къ ней: если въ одно время съ появленіемъ идиллій г. Панаева, то поневол'в подивинься противорфијямъ, изъ которыхъ состоятъ русская литература...

Кромѣ "Рыбаковъ", у Гнѣдича мало оригинальныхъ произведеній; нѣкоторыя изъ нихъ не безъ достоинствъ, но нѣтъ превосходныхъ, и всѣ они доказываютъ, что онъ владѣлъ песравненно большими силами быть переводчикомъ, чѣмъ оригинальнымъ поэтомъ. Замѣчательно, что стихъ Гнѣдича часто бывалъ хорошъ не по времени. Слѣдующее стихотвореніе "Къ К. Н. Ватюшкову", написанное въ 1807 году, вдвойнѣ интересно: и какъ образецъ стиха Гнѣдича, и какъ фактъ его отношеній къ Батюшкову:

> Когда придешь въ мою ты хату, Гдъ бъдность въ простотъ живеть? Когда поклониться пенату, Который дин мои блюдеть? Приди, раздълимъ сиъдь убогу, Сердца виномъ восиламенимъ, И вмъстъ-пъснопънья богу Часы досуга посвятимъ, А вечеръ, скучный долготою, Въ веселыхъ сократимъ мечтахъ; Надъ всей подлушной стороною Мечты промчимся на крылахъ. Туда, туда, въ тетъ край счастливый, Въ тъ земли солица полетимъ, Гдъ Рима прахъ красноръчивый Иль градъ святой Ерусалимъ. Узримъ средь дикой Палестины За Божій гробъ святую рать, Гдъ цвътъ Европы, паладины Летълн въ битвахъ умирать Пъведъ ихъ Тассъ, тебъ любезный, Съ къмъ твой давно сродинлся духъ, Сладкоръчивый, гордый, нъжный, Нашъ очаруетъ взоръ и слухъ. Иль мой пъвецъ-царь пъснопъній, Неумирающій Омиръ, Среди безчисленныхъ видъній

Откроетъ намъ весь древній міръ. О, пъснь волшебная Омира Насъ въ мигъ перенесетъ, пъвцовъ, Въ край геронческаго міра И поэтическихъ боговъ. Зевеса, мещущаго громы, II всъхъ безсмертныхъ вкругъ отца, Пиры ихъ свътлые, и домы Увидимъ въ пъсияхъ мы слъпца. Иль посътимъ Морвенъ Фингаловъ, Ту Сельму, домъ его отцовъ, Гдъ на пирахъ сто арфъ звучало, И пламенъло сто дубовъ; Но гдъ давно лишь вътеръ ночи Съ пустынной шепчется травой, И только звъздъ безсмертныхъ очи Тамъ свътятъ съ блъдною луной. Тамъ Оссіанъ теперь мечтаетъ О битвахъ, о дёлахъ былыхъ; И лирой-тёни вызываеть Могущихъ праотцевъ своихъ. И воть Тренморъ, отецъ героевъ, Чертогъ воздушный растворивъ, Летить на тучахъ, съ сонмомъ воевъ, Къ певцу, и взоръ, и слухъ склонивъ. За нимъ тънь легкая Мальвины, Съ златою арфою въ рукахъ, Обнявшись съ тънію Маины, Плывуть на легкихъ облакахъ. Но, вдругъ, возможно ли словами Пересказать, иль описать, О чемъ случается съ друзьями Подъ часъ веселый помечтать? Счастливъ, счастливъ еще песчастный, Съ которымъ хоть мечта живеть; Въ дняхъ сумрачныхъ, день сердцу ясный Онъ хоть въ мечтаніяхъ найдетъ. Жизпь наша есть мечтанье тънп; Нътъ сущихъ благъ въ земныхъ странахъ. Приди-жъ подъ кровомъ дружней свии Повеселиться хоть въ мечтахъ.

Въ то время такіе стихи были довольно рѣдки, хотя Жуковскій и Батюшковъ писали несравненно лучшими. "На Гробѣ Матери" (1805), "Скоротечность Юности" (1806), "Дружба" замѣчательны, какъ и приведенная выше пьеса Гиѣдича. Знаменито въ свое время было стихотвореніе его "Перуанецъ къ Испанцу" (1805): теперь, когда отъ ноэзін требуется прежде всего вѣрность дѣйствительности и естественности, теперь оно отзывается риторикою и декламацією на манеръ блѣдной Мельпомены XVIII вѣка; по нѣкоторые стихи въ немъ замѣчательны энергією чувства и выраженія, несмотря на прозанчность.

Гивдичь перевель изъ Вайрона (1824) еврейскую мелодію, переведенную внослідствіи Лермонтовымь ("Душа моя мрачна"); переводь Гивдича слабъ: видно, что опъ не поняль подлиннка. Гивдичь принадлежить, по своему образованію, къ старому, до-пушкинскому поколівню нашихь писателей. Оттого всі оригинальным пьесы его длинны, растянуты, а многія прозаичны до послідней степени, какъ, напримірь, "Къ И. А. Крылову" (стр. 215). Оттого же онъ перевель прозою дюсисовскаго "Леара" или переділаль шекспировскаго "Лира"—не помнимь хорошенько; оттого же онъ перевель стихами вольтеровскаго "Танкреда". Но переводь его "Простонародныхъ пісснъ нынішнихъ грековъ", изданный въ 1825 году, есть еще прекрасная заслуга русской

литературъ. Жаль, что нѣтъ полнаго изданія сочиненій Гнѣдача. Сдѣланное имъ самамъ въ 1834 году очень неполно: въ немъ нѣтъ "Леара", нѣтъ "Иліады", нѣтъ введенія къ простонароднымъ иѣснямъ нынѣшнихъ грековъ и сравненія ихъ съ русскими пѣснями, нѣтъ статьи его о древнемъ стихосложеніи, напечатанной въ "Вѣстникѣ Евроны", нѣтъ переведенныхъ шестнетопныхъ ямбовъ 7, 8, 9, 10 и 11-й пѣсенъ "Иліады", нѣтъ "Разсужденія о причинахъ, замедляющихъ просвѣщеніе въ Россіи". Такой писатель, какъ Гнѣдичъ, стоилъ бы изданія полнаго собранія литературныхъ труновъ его.

Къ знаменитъйшимъ дъятелямъ литературы карамзинскаго періода принадлежить Мерзляковъ. Онъ извъстенъ, какъ поэтъ (оды), какъ переводчикъ (переводы изъ древнихъ, стихами), какъ пъсенникъ (русскія пъсни) и какъ теоретикъ словесности и критикъ. Оды его — образецъ надутости, прозаичности выраженія, длинноты и скуки. Переводы его изъ древнихъ заслуживаютъ вниманія. Мерзляковъ не перевелъ ничего большого вполнт, по изъ большихъ произведеній только отрывки, какъ-то изъ "Иліады", "Одиссеи", изъ трагиковъ-Эсхила, Софокла и Еврипида. Всѣ эти оныты, конечно, не безполезны; но они не даютъ понятія о своихъ оригиналахъ. Мерзляковъ не владель стихомъ: языкъ его жостокъ и прозапченъ. Сверхъ того, на древнихъ онъ смотрелъ сквозь очки французскихъ критиковъ и теоретиковъ, отъ Буало до Лагарна, и потому видёль ихъ не въ настоящемъ ихъ свътъ, хотя и читалъ ихъ въ подлинникъ. Къ первой части изданныхъ имъ, въ 1825 году, въ двухъ частяхъ, "Подражаній и переводовъ изъ греческихъ и датинскихъ стихотворцевъ" приложено разсуждение "О началъ н духъ древней трагедін и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ"; изъ этого разсужденія очень ясно видно, какъ мало понималъ Мерзляковъ начало и духъ древней трагедіп и характеръ трехъ греческихъ трагиковъ...

О жертвы общаго отчизны злоключенья, Въ дии славы върныя и върны въ дин илъненья. Подруги юныя, не отрекитесь вы, Еще подпорой быть сей рабственной главы, Которая досель гордилася вънцами: Царицы болъ нътъ: невольница предъ вами!— Но я, какъ прежде вамъ, и нынъ мать и другь!... И бъдствія мой, и старости недугъ,— Единый жребій нашъ: вотъ право для злосчастных вотъ право для стных вотъ право для стных вотъ право для злосчастных вотъ право для стных вотъ право для стн

На помощь и любовь душъ злобъ непричастныхъ! Прострите руки мнъ, приподнимите... Ахъ! Нътъ силъ, болъзнь и хладъ во всъхъ моихъ костяхъ!—

Въщайте, что совъть вождей опредъляеть: Куда насъ грозный судъ судьбины посылаеть? Куда еще влачить срамъ, скорбъ свою и плэнч.? Иль островъ сей для насъ могилой обреченъ?

Кто бы—думали вы—говорить такими дебелыми, жосткими и безтолковыми стихами? — Гекуба, въ трагедін Эврипида!.. Хорошій же быль поэтъ этотъ Эврипидь, если онъ по-гречески такъ же выражался, какъ заставляеть его выражаться порусски переводчикъ!—Впрочемъ, накоторые пере-

воды изъ древнихъ Мерзлякова не безъ достоинства. Овъ перевехъ вполнъ "Освобожденный Іерусалимъ" Тасса, и перевелъ его привилегированнымъ встарину размъромъ для эпическихъ поэмъ—шестистоинымъ ямбомъ. Переводъ этотъ тяжелъ и дубоватъ, безъ всякихъ достоинствъ. Причина этому опять двоякая: Мерзляковъ не владътъ стихомъ и на эпическій поэмы смотрълъ съ херасковской точки зрънія, какъ на что-то натянуто-высокое, надуто-великолъпное и дубоватотяжелое. Насмъшники увъряютъ, будто въ его переводъ "Освобожденнаго Герусалима" есть стихъ:

Векнийль Бульонь, течеть во храмь.

Не ручаемся за достовърность такого указанія: мы не имъли силы одольть чтеніемъ весь переводъ...

Въ русскихъ пъсияхъ Мералякова больше тувствительности, чъмъ чувства. Лучшія наъ нихъ нашисаны имъ уже послѣ двадцатыхъ годовъ текущаго стольтія. Вообще онъ не безъ достониствъ и выше пъсенъ Дельвига, хотя и далеко ниже пъсенъ Кольцова.

Какъ эстетикъ и критикъ, Мерзляковъ заслуживаетъ особеннаго внимація и уваженія. Ученикъ Буало, Баттё и Лагариа, онъ слёдоваль теорін, которая теперь уже внѣ спора и даже насмѣшекъ; но онъ слѣдовалъ ей и проповѣдалъ ее, какъ умный и краснорѣчивый человѣкъ. Ложны были его основанія, но онъ быль имъ вездѣ вѣренъ и развивалъ ихъ последовательно и живо. Словомь, въ этомъ отношении на Мерзлякова можно смотрѣть, какъ на умнаго представителя литературныхъ понятій цёлой эпохи. Въ ошибкахъ его виновато его время; достоинства его принадлежать ему самому. Воть почему его теоретическія и критическія статьи и теперь пріятно читать, хоть и нисколько не соглащаться съ ними. Въ 1812 году Мерзляковъ читалъ публично въ Москвъ теорію изящнаго, въ домъ князя Б. В. Голицына. Чтенія эти были напечатаны въ "Вѣстникъ Европы" 1813 года. Не знаемъ, были ли возобновлены когда эти чтенія, но въ издававшемся имъ, въ 1815 году, журналѣ "Амфіонъ" напечатано только чтеніе, въ которомъ онъ опредъляетъ изящное, понимая его такъ: "При надлежащей стройности, правильности и точности подражанія, занимательность предмета, основанная на отношенін его къ намъ самимъ".

Первыми нашими критиками были Карамзинъ и Макаровъ. Особенно славились въ свое время—разборъ Карамзина "Душеньки" Богдановича, а Макарова—сочиненій Дмитріева. Критика эта состояла въ восхищеніи отдѣльными мѣстами и въ порицаніи отдѣльных же мѣстъ, и то больше въстилистическомъ отношеніи. Обыкновенно восхищались удачнымъ стихомъ, удачнымъ звукоподражаніемъ, и порицали какофонію, или грамматическія неправильности. Не такова уже критика Мерзлякова. Ложная въ основаніяхъ, она уже толкуєть объ идеф, о цѣломъ, о характерахъ; она строга, сколько можетъ быть строгою. Для кри-

тики Мерзлякова писатели русскіе уже не всѣ равно велики, но одинъ выше, другой ниже и всъ не безъ недостатковъ. Она благоговъетъ передъ Сумароковымъ и темъ съ неменьшею суровостью выставляеть его недостатки. Она видитъ въ Херасковъ знаменитаго поэта, и отъ нея илохо пришлось его "Россіадъ". Огромный разборъ "Россіады", написанный Мерзляковымъ, возбудилъ общій ропоть, хотя этоть разборь написань не только съ уваженіемъ, но и съ любовью къ Хераскову. Критика Мерзлякова была смёла не по времени, и притомъ не рѣшительна, а потому однихъ оскорбила, другихъ ужаснула, третьихъ не удовлетворила и немногимъ понравилась. Во всякомъ случат эта критика принадлежить къ любопытнъйшимъ (фактамъ исторіи русской литературы. Она напечатана въ цёлыхъ семи книжкахъ "Амфіона".

Но еще любопытнѣйшій фактъ псторін русской литературы представляеть собою журналь, издававшійся, въ 1815 году, молодымъ человѣкомъ, студентомъ Московскаго университета — Павломъ Строевымъ. Журналъ этотъ назывался "Современный Наблюдатель Россійской Словесности" и заключаль въ себѣ статьи преимущественно критическаго содержанія. Изъ такихъ статей самою умною, живою, юношески смѣлою и благородною, самою интересною была — "О Россіадѣ", поэмѣ г. Хераскова (Письмо къ дѣвицѣ Д.). Не можемъ не выписать здѣсь начала перваго письма:

"Что скажете теперь, поборники славы Хераскова, — пишете вы, милостивая государыня: г. Мерзияковъ покажетъ истинныя достоинства его поэмы". Эти слова сильны въ устахъ вашихъ. Хотя я не ищу славы быть поборникомъ Хераскова, однако-жъ мивніе мое объ его поэмв, мив кажется, не совсёмъ несправедливо. Охотно бы желаль согласиться съ вами, но ибкоторыя обстоятельства увёряють меня въ противномъ. Я говорю не съ тъмн изъ вашего пола, кон, выслушавъ лекцію какого-нибудь профессора, все похваляють, все превозносять. Вы, милостивая государыня, сами занимаетесь словесностію; вы читали древнихъ и новыхъ писателей; имъете отличный вкусъ и ръдкія познанія. Какія пріятныя воспоминанія производять во мив тв зимніе вечера, когда мы предъ пылающимъ каминомъ разсуждали о русскихъ сочиненіяхъ! Споры наши бывали иногда жарки; я съ вами не соглащался, представляль доказательства, и вы, съ нъжною улыбкою, называли меня Катономъ въ словесности. Кто подумаеть, чтобы дівушка въ цвітущихь літахъ своего возраста и въ наше время занималась словесностію; чтобы дівушка, говорю я, знала языкъ Гомеровъ и Виргиліевъ. Я вижу румянецъ стыдливости на щекахъ вашихъ, но похвалы мои не лестны: онъ невольно вырываются изъ устъ моихъ. Въ какой восторгь приведенъ я быль вашимь желаніемь возобновить наши сужденія—но увы! они останутся только на бумагь; ничто не можеть замънить вашего присутствія. Разговоры въ письмахъ будуть сухи: сладостное красноръчіе дъвушки, пріятная улыбка лучше всякихъ логическихъ доказательствъ.

"Нѣть сомнѣнія, что г. Мерзляковъ предприпяль полезный трудъ, разобравъ "Россіаду"; жаль только, что она не можеть стоять на ряду съ произведеніями, обезсмертившими имена своихъ сочинителей. Я думаю, даже немногіе имѣли терпѣніе прочитать ее. Отчего же ее такъ хвалять?

Оттого, что вкусъ публики у насъ еще не установился. Дамонъ прославляеть Новаго Стерна,десять человъкъ, не читавшихъ даже сей комедін, съ нимъ соглашаются; Клить называеть его сочиненіемъ глупымъ, — и сотип готовы повторить его ругательства. Безспорно, Сумароковъ былъ единственнымъ стихотворцемъ своего времени; но кто станетъ нынъ восхищаться его сочиненіями? Между тъмъ Сумарокова считають стихотворцемъ образдовымъ, достойнымъ нашего подражанія. Закоренѣлыя мнѣнія опровергать трудно: это то же, что силиться вырвать огромный дубъ, въ продолжение цълыхъ въковъ пускавшій въ нъдра земли свои кории. Конечно, сін митнія ослаб'єють и совершенно лишатся своего достоинства, но это требуеть времени. Между тъмъ истинныя дарованія остаются иногда въ неизвъстности. Тысячи рукоплескають при представлении Недорос. ія: по многіе ли попимають истинныя достоинства сей комедін? Многіе ли знають, что она достойна стоять на ряду съ Мизантропами и Тартюфами? Не стыдно ли даже намъ, что мы не имъемъ полнаго собранія сочиненій г. Фонвизина, сего безсмертнаго писателя, конмъ по всей справедливости мы можемъ гордиться. То, что я сказалть о Сумароковъ, можно отнести къ Хераскову и къ нъкоторымъ другимъ стихотворцамъ. Они пріобръли похвалы отъ своихъ современніковъ, конхъ вкусъ былъ еще не образованъ. Сін похвалы безпрестанно повторялись, и стихотворцы пріобръли великую славу".

Г. Наветь Строевъ доказаль ясно и неопровержнио, что "Россіада" и по содержанію, и по формѣ—сущій вздорь; что историческое событіе въ ней искажено, характеры перевраны, чудесное нелѣпо, поэтическія краски сухи и холодны, выраженіе дико. Въ заключеніе, онъ находить во всей "Россіадѣ" только десять сряду хорошихъ стиховъ:

Какимъ превратностямъ подверженъ здѣшній свѣть!
Въ немъ блага твердаго, въ немъ вѣрной славы пѣтъ:

Великіе моря, лѣса и грады скрылись, И царства миогія въ пустыни претворились; Гремѣлъ побѣдами, владѣлъ вселенной Римъ, Но слава римская исчезла, яко дымъ, И небо никому блаженства не вручало, Котораго-бъ лучей ничто не помрачало. Не можетъ счастія не меркнуть красота: И въ солнцѣ, и въ луиѣ есть темныя мѣста.

И это, дъйствительно, лучшіе и единственно хорошіе стихи во всей "Россіадъ". Какой страшный урокъ былъ преподанъ этимъ юношею разнымъ ученымъ колпакамъ!..

При именахъ Жуковскаго и Батюшкова нельзя не вспомнить имени князя Вяземскаго. Онъ дъйствоваль, какъ поэтъ и какъ критикъ, и въ обоихъ случаяхъ дъятельность его всегда вызывалась какимъ-нибудь обстоятельствомъ. Всё стихотворенія его—то, что французы называютъ ріèсев de circonstance. Общій характеръ ихъ—свътскій, салонный; но между ними нъкоторыя показываютъ въ поэтъ живого свидътеля вечера жизни Державина, воспитанника Карамзина, друга Жуковскаго и Батюшкова. Какъ авторъ двухъ статей критическаго содержанія—"О характеръ Державина" и "О жизни и сочиненіяхъ Озерова", князь Вязем-

скій болье замьчателень, нежели какь поэть. Въ этихъ статьяхъ онъ является критикомъ, въ духъ своего времени, но безъ всякаго педантизма, судить свободно, не какъ ученый, а какъ простой человъкъ съ умомъ, вкусомъ и образованіемъ, и излагаеть свои мысли съ увлекательнымъ жаромъ и красноръчемъ, изящнымъ языкомъ. Съ появленія Пушкина, для князя Вяземскаго настала новая эпоха дъятельности: стихотворенія его, не измънившись въ духъ, измънились къ лучшему въ формѣ; а прозанческія статьи его (какъ, напримёръ, разговоръ классика съ романтикомъ), вмфсто предисловія къ "Вахчисарайскому Фонтану", много способствовали къ освобожденію русской литературы отъ предразсудковъ французскаго псевдо-классицизма.

Съ 1813 года начали проникать въ русскіе журналы темные слухи о какомъ-то романтизмф. Въ "Духѣ Журналовъ" даже переведена была грозная статья противъ Августа Шлегеля, въ защиту классического французского театра. Вивств съ романтизмомъ стали вкрадываться въ наши журналы слухи о какомъ-то великомъ англійскомъ поэть г-нь Биронь, Бейронь или Байронь. Въ "Въстникъ Европы" 1813 года было напечатано маленькое стихотвореньице Пушкина "На смерть Кутузова". Въ "Россійскомъ Музеумъ, пли Журналъ Европейскихъ Новостей", на 1815 годъ, издававшемся В. Измайловымь, то и дёло печатались лицейскія стихотворенія Пушкина. Но въ ученикѣ и подражатель Державина, Жуковскаго и Батюшкова никто еще не предузнавалъ будущаго великаго поэта Россін... Въ 1820 году появилась въ свёть первая поэма Пушкина "Русланъ и Людмила", а въ журналъ "Сынъ Отечества" съ этого времени стали появляться мелкія его стихотворенія... Тогда-то возгорѣлась ожесточенная война на перьяхъ между классицизмомъ и романтизмомъ, и начался кругой перевороть въ литературныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ... Карамзинскій періодъ русской литературы кончился...

[Отечественныя Записки, Т. ХХХ, 1843 г.].

IV.

Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный даръ И голосъ, шуму водъ подобный.

Великія рѣки составляются изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несутъ имъ обиліе водъ своихъ. И кто можетъ разложить химически воду, напримѣръ, Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько рѣкъ, и большихъ, и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственныя волны, и всѣ, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могутъ указать ин на одно изъ нихъ, илывя по ея широкому раздолью. Муза Нушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болѣе: она приняла ихъ въ себя, 'какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видѣ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковскаго и Ватюшкова

не было бы и Пушкина, что онъ ихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менте доказать, чтобъ онъ что-нибудь заимствоваль отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдѣ-нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не былъ неизмаримо выше ихъ. Поэзія Державина была преждевременною, а потому и неудавшеюся попыткою на народную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какое-нибудь содержаніе для поэзін. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронажства, лести и угодинчества; но о всякой другой поэзін не им'єло р'єшительно никакого понятія, и, следовательно, не имьло въ ней викакой потребности, пикакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнфнін, котораго тогда не было ви признака, ни тени, особенно въ деле литературы: нетъ, слава Державина была основана на просвъщенномъ вниманін немногихъ къ его таланту. И если во всей Россін того времени было человъкъ десять или двадцать, болье или менье умъвшихъ ценить этоть высокій таланть, то остальные, человікь сто или двъсти, изъ которыхъ состояла тогдашияя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая собственнаго крика. Гдъ же туть было явиться истинной поэзіи и великому поэту? Правда, природа производить таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они или итть; но втдь великіе поэты творятся не одною природою: они творятся и обществомъ, т. е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поэта составляеть одинь таланть,значить грубо ошибаться. Разумфется, прежде всего поэтомъ дёлаетъ человёка таланть; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые зависять оть общества, среди котораго является поэть. Чтобъ поэтически воспроизводить действительность, мало одного природнаго таланта: нужно еще, чтобъ подъ рукою поэта была поэтическая действительность. Хорошо было грекамъ творить ихъ изящныя, исполненныя идеальной красоты статуи, когда греческіе художинки и на илощадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встръчали то мужчинъ съ головою Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выраженіемь величаво-строгой красоты Паллады, съ роскошными формами Афродиты или обаятельною прелестью Харить. Только итальянскимъ живописцамъ среднихъ въковъ былъ доступенъ идеалъ Мадонны, ибо тниъ ея они видели безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотою отечества. Странное дело! Всё понимають, что нельзя сдёлаться великимъ живописцемъ, имёя какой бы то ни было великій таланть, если въ годы изученія искусства натъ хорошихъ натурщиковъ; всв понимають, что великій живописець, творя идеальную красоту, все-таки нуждается, во время своей работы, въ образцѣ дѣйствительности: а никто не хочеть понять, что точно также и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ действитель-

ность. Природа творить великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководецъ проживеть весь свой въкъ, даже и не подозръвая, что онъ-великій полководець: только во времена сильныхъ явиженій общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, дълаются великими полководцами. Чопорный, патянутый Расипъ въ древней Грецін быль бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ; а во Франціи, въ царствованіе Людовика XIV, и самъ страстный, глубокомысленный Эврипидъ былъ бы чопорнымъ и натянутымъ Расиномъ: Таково вліяніе исторіи и общества на таланта! У насъ этого не хотятъ и знать. Кричать о Державинь, что онь геній; стиховъ его давно уже совсемъ не читають, а считають чугь не безбожниками техъ, кто осмеливается говорить, что теперь поэзія Державинаслишкомъ непитательная и невкусная пища для эстетического вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и, смеемъ надеяться, доказанное нами, что, при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ отринать, и предъ которымъ мы умфемъ благоговъть больше, нежели всъ крикуны и лицемъры, вопіющіе противъ насъ, — Державинъ не принадлежить къ темъ вфино-юнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старфются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящею и интересною попыткою, для успаха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образование самого поэта. Это поэзія. носящая на себф всф родовые признаки своего времени, а потому для насъ, русскихъ, имфющая свой историческій интересь; но какъ время этоп поэзін, такъ н сама эта поэзія чужды всякаго дъйствительнаго и опредъленнаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитою народною жизнію. Лучшее, что есть въ поззін Державина, -- это намеки на поэзію, часто не достигающіе цёли по ихъ неопредёленности и темноть: проблески ноэзін, часто погасающіе въ водяной массъ риторики: словомъ, это несвязный дътскій поэтическій лепетъ, но еще не поэзія. Въ поэзін Державина есть и полетистая возвышенность, и могучая крыпость, и аркость великолыныхъ картинъ, и, несмотря на ея подражательность, есть что-то, отзывающееся стихіями сфверной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, вфримхъ и выдержанныхъ по концепціи н отличающихся художественною полнотою и оконченностію, но отрывочно, м'єстами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзін.

Задумчивая и мечтательная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главиаго педостатка поэзін Державина: она пелолиена содержанія, но вмёстё съ тёмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія, въ ея историческомъ развитін, какъ Жуковскому, и между тёмъ, въ созданіяхъ Жуковскаго, поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницею и провозвёстинцею тайнъ внутрен-

ней жизни. Жуковскій-романтикъ въ духѣ среднихъ въковъ, а не художникъ. По своей натуръ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во вст сферы жизпи и воспроизводить ея явленія въ нхъ разнообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особности. Ему чуждо это свойство Протеяпринимать всё виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою, -- это свойство, въ которомъ заключается сущность поэзін, какъ искусства. Поэзія Жуковскаго была отголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтическою тризною надъ умершимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всёхъ другихъ интересовъ н радко выходить изъ-за магического круга неопределенныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій недостатокъ, но это же и ея величаншее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русской поэзін; она явилась не какъ готовая уже поэзія, подобно Палладъ, родившейся во всеоружін, а какъ моментъ возникавшей русской поэзіи. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей недоставало; указала ей на богатые и неистошимые источники европейской поэзін, которой явленія умёла съ непостижимымъ искусствомъ усвоивать русскому языку. Сверхъ того, Жуковскій далеко подвинулъ впередъ и русскій языкъ, придавъ ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзін Батюшкова преобладаетъ элементъ чисто-художественный. Это видно и въ фактуръ его стиха, и вообще въ пластическомъ характеръ формъ его произведеній; это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремленіи его къ наслажденію, къ въчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразін предметовъ его поэтическихъ пъсенъ. Это-преимущество поззін Батюшкова перелъ ноэзіею Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзін Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользить по жизни, едва запѣнляясь за нее; содержаніе ся вссьма скудно и бѣдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюшковъ любилъ произвольныя усфченія прилагательныхъ; между превосходнъйшими стихами у него встръчаются негладкіе и даже непоэтическіе; сверхъ того, вёрный преданіямь русской поэзін и примфру отца ея-Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ риторики.

Воть въ короткихъ словахъ все, что было сказано нами въ предшествовавшихъ трехъ статьяхъ. Приступая, накопецъ, къ критическому обозрѣнію поэтической дѣятельности Пушкина, мы почли за пужное повторить сказанное нами въ прежнихъ статьяхъ, чтобъ яснѣе показать читателямъ историческую связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами.

Мы видѣли, что эти поэты, оказавшіе такія великія услуги рождающейся русской поэзіп, только способствовали ея рожденію, но пе родили ея,

болье были предтечами поэта, чыть поэтами. Везт сравненія съ Пушкинымъ, каждый изъ нихъ— поэтъ; но если сравнивать ихъ съ нимъ, нельзя не согласиться, что между ними и Пушкинымъ такое же отношеніе, какъ между большими рыкамы и еще несравненно большею, которая составляется изъ ихъ соединенныхъ водъ, поглощаемыхъ ею.

Пушкинъ явился именно въ то время, когда только что сдёлалось возможнымъ явленіе на Руси поэзін, какъ искусства. Двѣнадцатый годъ быль великою эпохою въ жизни Россіи. По своимъ следствіямъ, онъ быль величайшимъ событіемъ въ исторіи Россіи посл'є царствованія Петра Великаго. Напряженная борьба на смерть съ Наполеономъ пробудила дремавшія силы Россін и заставила ее увидъть въ себъ силы и средства, которыхъ она дотолъ сама въ себъ не подозръвала. Чувство общей опасности сблизило между собою сословія, пробудило духъ общности и положило начало гласности и публичности, столь чуждымъ прежней патріархальности, впервые столь жестоко поколебленной. Чтобъ видъть, какое огромное вліяніе им'єли на Россію великія событія 1812-1814 годовъ, достаточно прислушаться къ толкамъ старожиловъ, которые съ горестію говорять, что съ двенадцатаго года и климать въ Россіи изменился къ худшему, и все стало дороже: добряки не понимають, что дороговизна эта была необходимымъ следствіемъ увеличивавшихся нуждъ образованной жизни, - следовательно, признакомъ сильно двинувшейся впередъ цивилизаціи. Въ это время, встёдствіе ею же вызванныхъ событій, Франція, столько времени боровшаяся со всею Европою и ознакомившаяся, въ этой борьбъ, съ своими сосъдями, уже начала отрекаться отъ своихъ литературныхъ предразсудковъ. Она увидела, что у сосъдей ея есть не только умъ и талантъ, но и богатыя литературы; она поняла, что Корнель и Расинъ еще не исключительные представители творческаго изящества, а Шекспиръ, Гёте и Шиллеръсовствить не представители замтиательных дарованій, искаженныхъ дурнымъ вкусомъ и незнаніемъ нетинныхъ правилъ некусства; она догадалась даже, что ни классическая "Ars Poetica" Горація. ни подражательная ей "L'Art Poétique" Буало, ни теорія Баттё, ни критика Лагарпа уже не могутт. быть эстетическимъ кораномъ, и что въ туманныхъ умозрѣніяхъ нѣмцевъ вообще и романтическихъ созерцаніяхъ Шлегелей въ частности есть много истиннаго и вернаго касательно искусства. Словомы. романтизмъ вторгся и во Францію, тесня и изгоняя ея псевдо-классическій китанзмь, основанный на гордой мысли, что только одинмъ французамъ Богъ даль и умь, и вкусь, отказавь въ этихъ дарахъ всёмъ другимъ націямъ. Франція жадно прислушивалась къ мрачнымъ и громовымъ звукамъ лиры Байрона, предчувствуя въ нихъ свое собственное возрождение къ новой жизни, и поэтические разсказы Вальтеръ-Скотта о среднихъ въкахъ появлялись уже на французскомъ языкѣ почти въ то же время, какъ появлялись въ Лондонъ на англійскомъ. Паденіе военнаго терроризма Наполеона развязало

Франціи руки не только въ политическомъ отношенін, но и въ отпошенін къ наукт и литературт: ненавидимые и гонимые имъ "идеологи" свободно и ревностно принялись за свое діло; литература и поэзія ожили. Это имъло прямое и сильное вліяніе на нашу литературу. Когда увѣпчанная славою Россія начала отдыхать отъ своихъ поб'єдъ и торжествъ и процватать миромъ въ "гордомъ и полномъ довърія покоъ", наши обветшалые и заплъсневълые журналы того времени и патріархъ ихъ, "Въстникъ Европы", начали терять свое вліяніе и перестали, съ своими запоздалыми пдеями, быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика съ новыми потребностями, нублика, которая изъ самыхъ источниковъ пностранныхъ, а не изъ заплъсневълыхъ русскихъ журналовъ, начала черпать понятія и сужденія о литератур'є и искусствахъ, и которая начала слёдить за усивхами ума человъческаго, наблюдая ихъ собственными глазами, а не черезъ тусклыя очки устарывшихъ педантовъ. Около двадцатыхъ годовъ въ "Сынъ Отечества" начались споры за романтизмъ; вскоръ послъ того появились альманахи, какъ прибъжище новыхъ дитературныхъ потребностей и новаго литературнаго вкуса, которые, съ 1825 года, нашли своего представителя и выразителя въ "Московскомъ Телеграфъ". Впрочемъ, да не подумаютъ читатели, чтобъ въ этомъ поверхностномъ quasi-романтизмѣ мы видели какую-то великую истину, действительность которой и теперь не подвержена сомниню. Имть, такъ называемый романтизмъ двадцатыхъ годовъ, этотъ недоучившійся юноша съ немного-растрепанными волосами и чувствами, теперь смешонъ съ своими старыми претензіями; его "высшіе взгляды" теперь сделались косыми и близорукими, а сбивчивыя и неопредѣленныя теоріи превратились въ пустыя фразы и обветшалыя слова. Но всякому свое! Справедливость требуетъ согласиться, что, въ свое время, этотъ исевдо-романтизмъ принесъ великую пользу литературь, освободивь ее оть болотной стоячести и заплесневелости и указавъ ей столько широкихъ и свободныхъ путей. Доказательствомъ этого можетъ служить, что лучшіе поэтическіе труды Жуковскаго совершены имъ или около, или послѣ двадцатыхъ годовъ, какъ - то: переводъ "Торжества Поб'єдителей", "Жалобъ Цереры", "Элевзинскаго Праздника", "Орлеанской Дѣвы", "Ундины" и проч. Даже самый стихъ Жуковскаго сдёлаль съ того времени большой шагъ впередъ. Ватюшковъ умеръ для русской литературы въ самое время этого періода, и потому новое литературное направленіе не имѣло на него вліянія. Тѣмъ не менѣе можно предполагать съ достовѣрностью, что, безъ этого несчастнаго случая въ жизни Батюшкова, его ожидала бы эпоха обильнѣйшей и высшей дѣятельности, нежели та, какую онъ успель обнаружить, и что только тогда узнали бы русскіе, какой великій таланть имѣли они въ немъ. При всей художественности, при всей иластичности стиха Батюшкова, ему все еще чего-то недостаетъ: видно, что этотъ шагъ суждено было сдёлать человёку новому и свёжему, незатвердёв-

шему въ литературныхъ преданіяхъ. Этимъ человѣкомъ былъ Нушкинъ...

Приступая къ критическому обозрѣнію твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ явились они. Пушкинъ отъ всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тъмъ, что по его произведеніямъ можно следить за постепеннымъ развитіемъ его, не только какъ поэта, но вмёстё съ тёмъ, какъ человъка и характера. Стихотворенія, написанныя имъ въ одномъ году, уже ръзко отличаются, и по содержанію, и по формі, отъ стихотвореній, написанныхъ въ следующемъ. И потому его сочиненій никакъ нельзя издавать по родамъ, какъ издаются сочиненія Державина, Жуковскаго и Батюшкова, особенно перваго и последняго. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говорить сколько о великости творческаго генія Пушкина, столько и объ органической жизненности его поэзін, — органической жизненности, которой источникъ заключался уже не въ одномъ безотчетномъ стремленін къ поэзін, но въ томъ, что почвою поэзін Пушкина была живая действительность и всегда илодотворная идея. Между темь, въ безобразномъ посмертномъ изданін сочиненій Пушкина 1838 года (восемь томовъ), стихотворенія расположены по родамъ, разділеніе которыхъ основывалось на произволъ лица, которому была поручена редакція. Вотъ почему въ нашей статьв, несмотря на то, что въ заглавін ея выставлено изданіе 1838 года, мы будемъ руководствоваться изданными при жизни самого поэта изданіями 1826, 1829, 1832 и 1835 годовъ. Но прежде всего мы остановимся на его "лицейскихъ" стихотвореніяхъ, помѣщенныхъ въ IX томѣ 1841 года. Некоторые господа сильно нападали на издателей трехъ последнихъ томовъ сочиненій Пушкина за помѣщеніе его "лицейскихъ" стихотвореній, говоря, что это сділано для наполненія книжекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считалъ достойными печати, значитъ оскорблять его память. Ничто не можеть быть нельные такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе; но все-таки думаемъ, что, изъ уваженія къ нимъ же, не следуеть печатать ихъ слабыя произведенія, тёмъ болёе, что они никому н ни въ какомъ отношеніп не могутъ быть интересны, а между тамъ могутъ повредить извастности этихъ авторовъ. Но когда дело идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Карамзинъ, Крыдовъ, Жуковскій, Батюшковъ, Грибовдовъ и, въ особенности, Пушкинъ и Лермонтовъ, -- то каждая строка, написанная ихъ рукою, принадлежитъ потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминаетъ собою или черту ихъ времени, или фактъ образѣ мыслей и характерѣ.

"Лицейскія" стихотворенія Пушкина, кром'є того, что показывають, при сравненіи съ посл'єдующими его стихотвореніями, какъ скоро выросъ и возму-

жалъ его поэтическій геній, --особенно важны еще и въ томъ отношении, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ вихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чёмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, -- сколько поминмъ мы, -- ноявилось стихотвореніе Пушкина ("Отечество въ слезахъпознало въсть ужасну!") въ "Въстникъ Европы" 1813 года. Онъ написалъ его, когда ему не было н четырнадцати лътъ отъ роду, при получени извъстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 году, въ "Россійскомъ Музеумъ", журналъ, издававшемся Владиміромъ Измайловымъ. Всё они являлись тамъ съ подписью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всѣ они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помѣщены въ ІХ томъ его сочиненій между "лицейскими" стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ "Сынъ Отечества", и большая часть ихъ вошла уже въ сдёланныя имъ самимъ изданія его сочиненій.

"Лицейскія" стихотворенія не богаты поэзією, но часто удивляють красотою и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совстмъ не пушкинская: она принадлежить Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзін, Пушкинъ-едва пестнаддатилѣтній юноша — пногда не только не уступаль имъ въ стихъ, но еще едва ли не смълъе н не бойчже владель имъ. Изъ инхъ только три пьесы ужъ слишкомъ илохи, и именио: "Бова" (отрывокъ изъ поэмы), "Красавиць, которая июхала табакъ", и "Безвъріе". Первая пьеса написана Пушкинымъ ясно въ подражаніе "Ильф Муромцу" Карамзина, которому она, впрочемъ, нисколько не уступаетъ въ достоинствъ стиха и вымысла. Подобно "Ильъ Муромцу" Карамзина, "Бова" не кончепъ, вфроятно, по одной и той же причина: мысль обфихъ этихъ пьесъ такъ детски ложна и поддельна, что изъ нея ничего не могло выйти пелаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу "Бовы" видно, что "Илья Муромецъ" Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманилъ его затъять эту поэму:

Часто, часто я бесъдоваль Съ болтуномъ страны эллинскія, И не смълъ осиплымъ голосомъ Съ Шопеленомъ и съ Рифматовымъ Воспъвать героевъ съвера. Несравненнаго Виргилія Я читалъ и перечитывалъ, Не стараясь подражать ему Въ нъжныхъ чувствахъ и гармоніи. Разбиралъ я нъмца Клопштока И не могъ понять премудраго; Не хотълъ я воспъвать, какъ онъ, — Я хочу, чтобъ меня поняли Вев отъ мала до великаго. За Мильтономъ и Камоэнсомъ Опасался я безъ крылъ парить, Но вчера, въ архивахъ рояся, Отыскаль я книжку славную, Золотую, незабвенную, Прочиталъ-и въ восхищеніи Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напоминаетъ столь знакомое и презнакомое всёмъ начало "Илы Муромца"?—Пьеса "Красавице, которая нюхала табакъ", отличается сатприческимъ и сентиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіи. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ пушкинскимъ стихомъ разумёть высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, хотя бы и тринадцатилётнимъ. "Безверіе"—дидактическая ньеса, которыя сотнями писались въ блаженное старое время,—риторическое распространеніе какой-нибудь темы илохими стихами.

Въ дътскихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замътно вліяніе даже Капииста и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и, особенно, Батюшкова; но вліянія Державина почти совсемъ незаметно. Это не значить, чтобъ въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтическою натурою Державина, пли чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями. Напротивъ, Пушкинъ благоговълъ передъ Державинымъ. Въ запискахъ своихъ опъ съ такою любовью разсказываеть, какъ на лицейскомъ публичномъ экзаменъ читаль онь, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои "Воспоминанія въ Царскомъ Сель" и восхитиль ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать леть. Этоть случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни. Онъ упоминаетъ о немъ въ одномъ изъ своихъ "лицейскихъ" стихотвореній — "Къ Жуковскому"; тутъ же, съ юношескимъ восторгомъ, упоминаетъ и объ одобренін Карамзина, Дмитріева н того поэта, къ которому обращено было это посланіе, —одобреніе, которымъ они привѣтствовали его дътскіе опыты. Въ другое, позднайшее время, въ эпоху мужественной зрелости своего генія, Пушкинъ, говоря о своей музѣ, сдѣлалъ поэтическій намекъ на лучшее воспоминание своей юности:

> И свътъ ее съ улыбкой встрътиль: Успъхъ насъ первый окрылилъ; Старикъ Державинъ пасъ замътилъ И, въ гробъ сходя, благословилъ.

Но, при всемъ этомъ, громогласный, одовосиввательный характеръ державинской поэзіц былъ столько не въ натуръ и не въ духъ Пушкина, что на его "лицейскихъ" стихотвореніяхъ нѣтъ почти никакихъ стъдовъ его вліянія. Только одна кантата "Леда", изъ всёхъ "лицейскихъ" стихотвореній, отзывается языкомъ Державина, но, вмъстъ, н Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантата) напоминаетъ одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближение. Но если сравнить, въ "Онъгинъ" и другихъ поздиъйшихъ произведеніяхъ Пушкина, картины русской природы-именно осени н зимы, то нельзя не увидеть, что оне носять на себъ отпечатокъ какой-то родственности съ державинскими картинами въ томъ же родъ. Этого нельзя доказать сравнительными вынисками изъ того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далже буквы и оты-

скивать аналогію въ духѣ поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и мъстами элементы державинской поэзін суть живопись съверно-русской природы; народность, сатира и художественность, - все это составляеть полноту и богатство поэзін Пушкина, в все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредъленія. Державинская поэзія, въ сравненіи съ пушкинскою, это заря предразсвътная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свётомъ: брежжетъ невфрный полумракъ, обманчивый полусвфтъ, вдали на неб'я какъ будто б'ялветъ полоса св'ята и въ то же время догарають готовыя погаснуть ночныя звёзды, а всё предметы являются въ неестественной величинъ и ложномъ видъ. Пушкинская поэзія, въ сравненіи съ державинскою, это-роскошный, полный сіянія и блеска полдень літняго дня: всв предметы земли озарены свътомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредѣленномъ, ясномъ видъ, и самая даль только дълаетъ ихъ болѣе поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія пушкинская, а поэзія пушкинская есть во-время явившаяся и вполнъ достигшая своей определенности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія державинская...

Пьесы "Къ Наташъ", "Разсудокъ и Любовь", "Къ Машъ", "Слеза", "Погребъ", "Истина", "Застольная Пъсня", "Делія", "Стансы" (изъ Вольтера), "Къ Делін", "Къ ней", "Мѣсяцъ", "Я Лилу слушаль у клавира", "Къ Жуковскому", "Пирующіе Друзья", "Къ Дельвигу", "Фіаль Анакреона", "Къ Дельвигу", "Фіаль Анакреона", "Къ Дельвигу", "Фавнъ и Пастушка", "Къ Живонисцу", "Сповидъпіе", "Романсъ", —всѣ эти пьесы, по изобрътенію, по формъ и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминаютъ собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эноху русской литературы, или, по крайней мъръ, ту школу поэзіп русской, которая не испытывала на себъ вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримъръ, пьеса "Къ Живописцу написана какъ будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу нашасать портретъ его Милены или Плъниры; а пьесы "Слеза", "Погребъ", "Истина" написаны какъ будто па мотивъ извъстной прелестной иъсенки Дениса Давыдова "Мудрость", которая начинается куплетомъ:

Мы недавно отъ печали, Лиза, я да Купидонъ, По бокалу осушали. Да просили мудрость вонъ.

Чтобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капинстъ, Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинъ, Давыдовъ, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина "Сновидѣніе":

Недавно, обольщенъ прелестнымъ сновидѣньемъ, Въ вѣнцѣ сіяющемъ царемъ я эрѣлъ себя: Мечталось, я любилъ тебя—

И сердце билось наслажденьемъ.

Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяснялъ. Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили?

Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерялъ.

Въ носланін "Къ Жуковскому" Пушкинъ разсуждаєть, въ довольно прозанческихъ стихахъ, о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина, и ту эпоху, которой В. Пушкинъ былъ одинъ изъ представителей. В. Пушкинъ, въ прозанческихъ, но иногда очень острыхъ сатирахъ, нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ—враговъ Карамзина—того времени. Въ посланіи своемъ "Къ Жуковскому" молодой Пушкинъ, подъ вліяніемъ дяди своего, также нападаетъ на риемачей и славянофиловъ и судитъ о русской литературъ.

Риомачей называеть онъ "варягами".

Далеко дикихъ лиръ несется ръзкій вой: Варяжскіе стихи визжить варяговъ строй.

Тъ слогомъ Никона печатаютъ поэмы, Один славянскихъ одъ громады громоздятъ, Другіе въ бъщеныхъ трагедіяхъ хрипятъ; Тотъ, върный своему мятежному союзу, На сцепу возведя зъвающую музу, Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнаса минтъ: Рука содрогнулась, ударъ его скользитъ. Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ: Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ

При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бъжитъ, И маковый вънецъ Феспису ими свитъ. Всъ, руку паложивъ на томъ Телемахиды, Клянутся отомстить сотрудниковъ обиды, Волнуясь, возстаютъ неистовой толпой.

Въда, кто въ свъть рожденъ съ чувствительной душой.

Кто тайно могь плёнить красавиць изжной лирой, Кто смёло просвисталь шутливою сатирой, Кто выражается правдивымь языкомь И русской глупости не хочеть бить челомь: Онь врагь отечества, онь сёятель разврата,— И рёчи сыплются на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносипься въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исключениемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногие имѣютъ понятие. Въ этомъ послании слогъ, фактура стиха, понятия, взглядъ на вещи—все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядъло ихъ явление. Но тутъ есть нѣчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго поколѣния: это жестокая нападка на Тредъяковскаго и, въ особенности, на Сумарокова:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ, Предразсужденіямъ обязанный вънцомъ И съ Пинда сброшенный, и проклятый Расиномъ? Ему ли, карлику, тягаться съ неполиномъ? Ему-ль оспаривать тотъ лавровый вънецъ, Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ пъвецъ,

Веселье россіянь, полуночное диво? Пѣтъ! въ тихой Летъ онъ потонетъ молчаливо! Ужъ на челъ его забвенія печать. Предбудущимъ въкамъ что могъ онъ передать? Страшилась градія ципической свиръли, Н персты грубые на лиръ костенъли.

Замѣчателенъ еще, въ эгомъ послапін, юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ призываеть талантливыхъ иѣвцовъ на брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго Пиоона, и требуетъ мщенія за погибшаго жертвою зависти Озерова:

Ліющая съ небесъ и жизнь, и вѣчный свѣть, Стрѣлою гибели десинца Аполлона Сражаеть наконецъ ужаснаго Пивона: Смотрите! пораженъ враждебными стрѣлами, Съ потухинимъ факсломъ, съ недвижными крылами, Къ вамъ Озерова духъ взываеть, други, месть! Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъзнанья дали вѣсть. Летите на враговъ—и Фебъ, и музы съ вами! Разите варваровъ кровавими стихами: Невѣжество, смирясь, потупить хладный взоръ; Спесивый риторовъ безграмотный соборъ...

Въ заключеніе, молодой поэть рѣшается, не боясь гоненій и зависти невѣждъ и риомачей, "ученью руку давъ", смѣло идти прямою дорогою... Это значило возвѣстить о себѣ довольно громко; послѣдствія показали, что этотъ юноша имѣлъ полное на то право...

Въ пъесахъ "Наслажденіе", "Къ принцу Оранскому", "Сраженный Рыцарь", "Воспоминанія въ Царскомь Селъ" и "Наполеонъ на Эльбъ" замътно вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго; стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядъ на предметъ видна зависимость ученика

"Воспоминанія въ Царскомъ Сель" написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не болье, какъ декламація и риторика. Такими же стихами написана и пьеса "Наполеонъ на Эльбь", содержаніе которой теперь кажется забавно-дътскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона "свиръпо прошептать" разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себъ самомъ отзываться, какъ объ ужасномъ mauvais sujet. Между прочимъ, Наполеонъ у него "свиръпо прошептываетъ":

Полночи царь младой! ты двигнуль ополчены, И гибель вслёдь пошла кровавымь знаменамь,

Отозвалось могучаго паденье -Н миръ землъ, и радость небесамъ, А миъ—позоръ и попошенье!..

Чему удивляться, что шестпадцатилѣтній мальчикт такъ смотрѣлъ на Наполеона въ то время, какъ на него такъ же точно смотрѣли и престарѣлые, п возмужавшіе поэты! Гораздо удивительнѣе, что этотъ мальчикъ, черезъ пять лѣтъ послѣ того, сказалъ о Наполеонѣ:

Надъ урной, гдъ твой прахъ лежить, Народовъ ненавиеть почила И лучъ безсмертія горить!

Да будеть омрачень нозоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумнымь возмутить укоромъ Его развъпчанную тънь! Хвала! онъ русскому пароду Высокій жребій указаль І міру въчную своболу Изъ мрака ссылки завышаль!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освѣжительная гроза, раздались, въ 1821 году, надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мѣстъ, и многіе поэты, престарѣлые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженныя го-

ловы вверхъ, словно гуси на громъ... Но между "лицейскими" стихотвореніями гораздо болъе ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Ватюшкова. Таковы пьесы: "Къ Натальв", "Къ Молодой Актрист", "Князю А. М. Горчакову", "Остаръ", "Эвлега", "Воспоминаніе" (Пущину), "Сонъ" (отрывокъ), "Къ Молодой Вдовъ", "Мое Завъщаніе Друзьямъ", "Пафздникъ", "Къ Г...у", "Мечтатель". "Къ П...у", "Къ Б...ву", "Городокъ". Даже въ пьесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замътно въ то же время и вліяніе Батюшкова: такъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистическою натурою Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой степени силенъ быль въ Пушкинъ художническій инстинкть. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностью ея романтическаго содержанія, столь могущественною надъ юною душою, но онъ нисколько не колебался въ выборт образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ и тотчасъ же, безсознательно, подчинился исключительно вліянію последняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается въ "лицейскихъ" стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактуръ стиха, но и въ складъ выраженія, и особенно во взгляд'є на жизнь и ея паслажденія. Во всёхъ нихъ видна нёга и упоеніе чувствъ, столь свойственныя музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мъстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ заняль у него даже любимыя имена и, въ особенности, Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія мноологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія "цитерская сторона, д'явственная лилея" и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствованныя имъ изъ Парни, и потомъ посланіе "Къ П-ну", и сравните съ нимъ пьесы Пушкина "Къ Натальв" и "Къ Молодой Вдовв": вы увидите въ нихъ Нушкина ученикомъ Батюшкова. По отдълкъ и стиху первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дътскою незрълостію; но следующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Пьесы "Осгаръ" и "Эвлега" навъяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большою извъстностью дъйствительно прекрасное посланіе Батюшкова къ Жуковскому-"Мон Иенаты". Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написаль, въ родѣ и духѣ этого стихотворенія, довольно большую пьесу "Городокъ". Подобно Батюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотворенін говорить о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мъсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говорить не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которою запечатлѣна эта пьеса, въ ней есть нѣчто и свое, пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая водьность, чуждая того, что французы называють pruderie, и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ свѣта того, что всѣ дѣлаютъ съ наслажденіемъ наединѣ, но о чемъ всѣ, при другихъ, говорятъ тономъ строгой морали; опъ называетъ всѣхъ своихъ любимыхъ писателей... Юношеская заносчивость, безпрестанно придпрающаяся сатпрою къ бездарнымъ писакамъ и, особенно, главѣ ихъ, извѣстному Свистову, также характеризуетъ Пушкина.

Въ нѣкоторыхъ изъ "лицейскихъ" стихотвореній, сквозь подражательность, проглядываеть уже чисто-пушкинскій элементь поэзін. Такими пьесами считаемъ мы слёдующія: "Окно", "Элегін" (числомъ восемь), "Горацій", "Уси", "Желаніе", "Заздравный кубокъ", "Къ товарищамъ передъ выпускомъ". Онъ не всъ равнаго достопиства, но нѣкоторыя, по тогдашиему времени, просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двинадцать томовь "Образцовыхь русскихь сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ", и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ, и, наконецъ, не довольствуясь этимъ, напечатало (1821-1822) "Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свъть отъ 1816 по 1821 годъ", и "Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозф, вышедшихъ въ свътъ съ 1821 по 1825 годъ". Вольшая часть этихъ "образдовыхъ" сочиненій весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусія. "Воспоминанія въ Нарскомъ Сель" Пушкина были, дъйствительно, одною изъ лучшихъ пьесъ этого сборника. А Пушкинъ никогда не помъщалъ этой пьесы въ собранін своихъ сочиненій, какъ будто не признавая ея своею, хотя она и напоминала ему одну изъ лучшихъ минутъ его юности! II потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, им'яли бы полное право, особенно тогда, смѣло идти за образцовыя и не въ такомъ сборникъ; только черезъ мъру строгій художническій вкусъ Пушкина могъ псключить изъ собранія его сочиненій такую пьесу, какъ, напримѣръ, "Гора-цій". Переводъ изъ Горація, или оригинальное произведение Пушкина въ гораціанскомъ духъ,что бы ни была она, только никто ни изъ старыхъ, ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говориль такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзін, какъ Пушкинъ въ этой пьесъ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація?—

> Кто изъ боговъ мив возвратилъ Того, съ квиъ первые походы

II браней ужась я дёлиль, Когда за призракомъ свободы Насъ Бруть отчаянный водиль; Съ къмъ я тревоги боевыя Въ шатръ за чашей забывалъ И кудри, плющемъ увитые, Спрійскимъ мирромъ умащаль? Ты поминшь чась ужасный битвы, Когда я, трепетный квирить, Бъжалъ, нечестно брося щитъ, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бъжалъ! Но Эрмій самъ незапной тучей Меня покрыль и вдаль умчаль, И спасъ отъ смерти немниучей. А ты, любимецъ первый мой, Ты снова въ битвахъ очутился... И нынъ въ Римъ ты возвратился. Въ мой домикъ темный и простой. Садись подъ сънь монхъ пенатовъ! Давайте чаши; не жалѣй Ни винъ моихъ, ни ароматовъ! Готовы чаши; мальчикъ, лей Теперь некстати воздержанье: Какъ дикій скифъ, хочу я пить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотворении видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всѣ сферы жизни, во всѣ вѣка и страны,—виденъ тотъ Пушкинъ, который при концѣ своего поприща, нѣсколькими терцинами въ духѣ Дантовой "Божественной Комедіи", познакомилъ русскихъ съ Дантомъ больше, чѣмъ могли бы это сдѣтатъ всевозможные переводчики,—какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникѣ... Въ слѣдующей маленькой элегіи уже виденъ будущій Пушкинъ—не ученикъ, не подражатель, а самостоятельный поэтъ:

Медлительно влекутся дин мон, Икаждыймигъвъувядшемъсердий множить Всй горести несчастливой любви И тяжкое безуміе тревожить. Но я молчу; не слышенъ ропоть мой. Я слезы лью... мий слезы утйшенье. Моя душа, объятая тоской, Въ нихъ горькое находить наслажденье. О, жизни сонъ! лети,—не жаль тебя! Исчезии въ тьмй, пустое привидёнье! Мий дорого любви моей мученье; Пускай умру, но пусть умру—любя!

Въ пьесъ "Къ товарищамъ передъ выпускомъ" въетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіп. И стихъ, и понятіе, п способъ выраженія— все ново въ ней, все имъетъ корнемъ своимъ простой и върный взглядъ на дъйствительность, а не мечты и фантазін, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всё они достигнутъ и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естественнъе бываетъ съ людьми:

Разлука ждеть насъ у порогу; Зоветь насъ свъта дальній шумъ, И каждый смотрить на дорогу Въ волненьи юныхъ, пылкихъ думъ. Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ, Уже въ воинственномъ нарядѣ Гусарской саблею махнулъ: Въ крещенской утренней прохладѣ Краснво мерзпеть на парадѣ, А грѣться ѣдеть въ караулъ. Другой, рожденный быть вельможей, Не честь, а почести любя, У плута знатнаго въ прихожей Покорнымъ плутомъ зритъ себя.

Несмотря на всю незрёлость и дётскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина, изъ нихъ видпо, что опъ глубоко и спльно сознавалъ свое призваніе, какъ поэта, и смотрёлъ на него, какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніп, и онъ говоритъ, въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другъ! и я пъвецъ! и мой смиренный путь Въ цвътахъ украсила богиня пъснопънья, П мнъ въ младую боги грудь Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтическаго безсмертія казалась ей лучшею цізью бытія:

> Ахъ, въдаеть мой добрый геній, Что предпочель бы я скоръй Безсмертію души моей Безсмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень много въ его "лицейскихъ" стихотвореніяхъ. Между ними замѣчательно стихотвореніе "Къ моей чернильницъ":

Подруга думы праздной, Чернильница моя! Мой въкъ однообразной Тобой украсиль я. Какъ часто другъ веселья Съ тобою забывалъ Условный часъ похмелья И праздничный бокаль! Подъ сънью хаты скромной, Въ часы печали томной, Была ты предо мною Съ лампадой и мечтой. Въ минуты вдохновенья Къ тебъ я прибъгалъ И музу призывалъ На пиръ воображенья. Сокровища мон На див твоемъ таятся... Тебя я посвятилъ Занятіямь досуга И съ лъцью примирилъ: Она-твоя подруга! Съ тобой успъхъ узпалъ Отщельникъ неизвъстный... Завътный твой кристаль Хранитъ огонь небесный; И подъ-вечеръ, когда Перо по книжки бродить, Безъ всякаго труда Оно въ тебъ находитъ Концы моихъ стиховъ И върность выраженья, То звуковъ или словъ Неэкданное стеченье, То подкой шутки соль, То странность ривмы новой, Неслыханной дотоль.

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкинѣ артистическій элементъ: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницѣ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о вѣрности выраженья и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолѣ неслыханной новой риемы! Къ такимъ же чертамъ принадлежитъ вольность и смѣлость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіи онъ говоритъ:

Устрой гостямъ пирушку: На столикъ вощаной Поставь пивную кружку И кубокъ пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натурѣ котораго никакой предметь не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не рѣшился бы говорить въ стихахъ о нивной кружкв, и самый пуншевый кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозанческимъ; въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивѣ, а объ амброзіи и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бъломъ свъть напиткахъ. Затъявъ писать какую-то новогородскую повъсть "Вадимъ", Пушкинъ, въ отрывкъ изъ нея, употребилъ стихъ: "Но тынъ обросъ крапивой дикой". Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новогородской жизни, поражаетъ сколько своею смѣлостію, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ едва ли бы кто не испугался пошлости и прозанчности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, чтобъ ими указать на будущаго преобразователя русской поэзін и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видёть какую-то смелость въ употреблени слова тынъ; но мы говоримъ не о теперешнемъ, а о прошломъ времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій ривмачь смёло употребляеть въ стихахь всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздълялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусъ строго запрещаль унотребление последнихъ. Нужень быль таланть могучій и смёлый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературф. Теперь смфшно читать нападки тогдашинхъ аристарховъ на Пушкина — такъ онв медки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина — исказителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и поэтическаго безвкусія...

Изъ тѣхъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и наиболѣе самостоятельными его произведеніями, иѣкоторыя впослѣдствін онъ измѣнилъ и передѣлалъ, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій. Такова, напримѣръ, пьеса "Друзьямъ":

Къ чему, веселые друзья, Мое тревожить васъ молчанье? Запъвъ послъднее прощанье, Ужъ муза смолкнула моя. Напрасно лиру взялъ я въ руки Бряцать веселья на пирахъ,

II на ослабленныхъ струнахъ Искаль потерянные звуки. Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И на любовь устремлены Огнемъ исполненныя очи! Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследстви Пушкинъ такъ переделаль эту пьесу:

> Богами вамъ еще даны Златые дин, златыя ночи, И томныхъ дъвъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Черезъ уничтожение первыхъ восьми стиховъ и перемѣну одиннадцатаго и двѣнадцатаго, изъ безобразнаго куска мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаемъ, были ли переправлены Пушкинымъ другія изъ "лицейскихъ" его стихотвореній, или они съ перваго раза удачно написались,только значительное число ихъ вошло въ собраніе его сочиненій, изданныхъ въ 1826 и 1829 году. Такъ какъ собраніе 1826 года, вышедшее маленькою книжкою, потомъ все вошло въ следующее четырехтомное изданіе (1829—1835), составивъ первую его часть, то мы и будемъ ссылаться, въ нашемъ разборъ, только на это послъднее изданіе, тёмь болёе, что оно выходило въ свёть подъ

редакціей самого Пушкина.

Итакъ, въ первый томъ и отчасти во второй "Сочиненій Александра Пушкина" (1829) много вошло его "лицейскихъ" стихотвореній 1815 -1817 годовъ и потомъ такихъ его стихотвореній, которыя писаны имъ вскоръ по выходъ изъ лицея, и которыя, вмёстё съ "лицейскими", вошедшими въ первый томъ пзданія, можно охарактеризовать именемъ переходныхъ. Въ нихъ виденъ уже Пушкинъ, по еще болъе или менъе върный литературнымъ предаціямъ, еще ученикъ предшествовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побъждающій своихъ учителей; поэтъ даровитый, но еще не самостоятельный и-если можно такъ выразитьсяобъщающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшею ему литературою, и они перемъшаны съ пьесами, въ которыхъ виденъ уже зрелый таланть, и въ которыхъ Пушкинъ является истиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзін на Руси.

Такими переходными пьесами считаемъ мы следующія: "Къ Лицинію", "Гробъ Анакреона", "Пробужденіе", "Друзьямъ", "Півецъ," "Амуръ и Гименей", "Ш***ву", "Торжество Вакха", "Разлука", "П***ну, "Дельвигу", "Выздоровленіе", "Прелестицъ", "Хуковскому", "Увы, зачёмъ она блистаетъ", "Русалка", "Стансы Т—му", "В—му", "Кривцову", "Черная Шаль", "Дочери Карагеоргія", "Война", "Я пережить мон мечтанья",

"Гробъ Юноши", "Къ Овидію", "Пъснь о Въщемъ Олегъ", "Друзьямъ", "Гречанкъ", "Сводъ неба мракомъ обложился", "Телъга Жизни", "Прозерпина", "Вакхическая Пъсия", "Козлову", "Ты п вы", и нѣсколько эпиграммъ, которыми сканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатиль невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзін, которому въ пінтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковскій не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ, и, въроятно, его-то примъръ особенно

увлекъ Пушкина.

Замѣчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходныхъ пьесь, а въ третьей ихъ совствиь итть: въ ней содержатся только пьесы, проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся всьмь совершенствомь художественной формы его созрѣвшаго и возмужавшаго генія. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; по въ ней же, между переходными пьесами, есть довольно и такихъ, которыя, по содержанію п по формѣ, обличають уже оригинальность и самостоятельность, составляющія характеръ пушкинской поэзіи. Чтобы яснъе было нашимъ читателямъ, что мы разумъемъ подъ "переходными" стихотвореніями Пушкина, мы попменуемъ и противоположныя имъ чисто-пушкинскія пьесы, находящіяся въ первой части; он' начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкъ: "Мечтателю", "Уединеніе" (которое, впрочемъ, только по содержанію, а не по формъ, можно отнести къ числу чисто-пушкин-скихъ пьесъ), "Домовому", "N. N.", "Недокончен-ная Картина", "Возрожденіе", "Погасло дневное свътило", и въ особенности начинающіяся съ 1820: "Виноградъ", "О дева-роза, я въ оковахъ", "Доридъ", "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда", "Неренда", "Дорида", "Ч***ву", "Мой другъ, забыты мной слъды минувшихъ лътъ", "Умолкиу скоро я", "Муза", "Діонея", "Дъва", "Примъты", "Земля моро". "Бъвастину пороже доругъ даруг н Море", "Красавица передъ зеркаломъ", "Але-ксъеву", "Ч****ву", "Люблю вашъ сумракъ ненз-въстный", "Простишь ли миъ ревнивыя мечты", "Ненастный день потухъ", "Ты вянешь и молчишь" "Къ Морю", "Коварность", "Ночной Зефиръ" и "Подражанія корану". Обо всёхъ этихъ пьесахъ наша ръчь впереди; скажемъ сперва иъсколько словъ только о "переходныхъ".

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, -- ученикомъ, побѣдившимь своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чёмъ у нихъ, и пьесы въ цёломъ отличаются большею выдержанностію. Собственно пушкинскій элементь въ нихъ составляеть элегическая грусть, преобладающая въ пихъ. Съ перваго раза замътно, что грусть болье къ лицу музь Пушкина, болье родственна ей, чтмъ веселая и шаловливая шутливость. Часто пная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненіи, одно остается на душѣ, изглаживая въ ней всѣ предшествовавшія внечатлѣнія. Маленькое стихотвореніе "Друзьямъ" можетъ служить образцомъ такихъ несъ и доказательствомъ справедливости нашей мысли. Поэтъ говоритъ о шумномъ днѣ разлуки, о буйномъ пирѣ Вакха, о кликахъ безумной юности, при громѣ чашъ и звукѣ лиръ, и о той широкой чашѣ, которая, удовлетворяя скифскую жажду, вмѣщала въ свои широкіе края цѣлую бутылку, —и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такою элегическою чертою:

Я пилъ и думою сердечной Во дни минувшіе леталъ, И горе жизни скоротечной, И сны любви воспоминалъ.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьице нѣжной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и крѣпкой, и тѣмъ обаятельнье дъйствуеть она на читателя, тъмъ глубже и сильнье отзывается въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, и тъмъ гармоничнъе потрясаетъ его струны. Пушкинъ никогда не расплывается въ грустномъ чувствъ, -- оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармонін другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ будто вдругъ встряхиваетъ головою, какъ левъ гривою, чтобъ отогнать отъ себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даеть ей какой-то особенный освёжительный и укрёпляющій душу характеръ. Такъ и въ приведенной нами сейчасъ пьесь внезапное чувство мгновенной грусти тотчасъ же смѣнилось у него бодрымъ и широкимъ размахомъ прояснѣвшей души:

> Меня смёшила ихъ измёна: И скорбь исчезла предо мной, Какъ исчезаеть въ чашахъ иёна Подъ зашииёвшею струей.

Изъ переходныхъ пьесъ Пушкпна—лучшія тѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенныя его, отзываются какою-то прозаичностію, а при немъ и незначительныя пьесы получаютъ значеніе. Такъ, напримѣръ, пьеска "Я пережилъ мои желанья", какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ, позднимъ хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимий свистъ, Одинъ на въткъ обнаженной Трепещетъ запоздалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтическаго раздумья въ прелестномъ стихотвореній "Гробъ Юноши"!

А онъ увяль во цвётё лёть! И безь него друзья пирують, Другихъ ужъ полюбить усиввъ; Ужъ рёдко, рёдко именують Его въ бесёдё юныхъ дёвъ. Изъ милыхъ жейъ, его любившихъ,

Одна, быть можеть, слезы льеть И память радостей почившихъ Привычной думою зоветь... Къ чему?..

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себъ картину гроба юноши, дышить такою свътлою, ясною и отрадною грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса "Къ Овидію" въ цѣломъ сбивается иѣсколько на старинный дидактическій тонъ посланій, но въ ней много прекраснаго и, особенно, начиная съ стиха: "Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ", до стиха: "Неслися издали, какътомный стонъ разлуки"; и лучшую сторону этого стихотворенія составляеть его элегическій тонъ.

Изъ "переходныхъ" стихотвореній Пушкина слабъйшими можно считать "Русалку", "Черную Шаль", "Сводъ неба мракомъ обложился". "Русалка" прекрасна по пдет, но поэтъ не совладалъ съ этою идеею, п кто хочеть понять, до какой степени прекрасна и исполнена поззін эта идея, тотъ долженъ видъть превосходное произведение нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинъ художникъ воспользовался заимствованною имъ у поэта идеею несравненно лучше, чёмъ самъ поэтъ. "Русалка" Пушкина отзывается юношескою незрълостію; "Русалка" Моллера есть богатое и роскошное созданіе зрѣлаго таланта. — "Черная Шаль" при своемъ появленіи возбудила фуроръ въ русской читающей публикѣ, но, подобно "Гусару" Ватюшкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителямъ "пъсенниковъ". Теперь очень не ръдкость услышать, какъ поетъ эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдинъ, вмфстъ съ пъснью г. О. Глинки: "Вотъ мчится тройка удалая", или "Ты не повѣришь, какъ ты мила"... "Сводъ неба мракомъ обложился" есть не что иное, какъ отрывокъ изъ новогородской поэмы "Вадимь", которую затваль-было Пушкинь въ своей юности, и которой суждено было остаться неоконченною. Одинъ отрывокъ помѣщенъ между "лицейскими" стихотвореніями, въ ІХ томѣ, подъ названіемъ "Сонъ", и Пушкинъ не хотѣлъ его печатать. Стихъ отрывка "Сводъ неба мракомъ обложился" хорошъ, но прозаиченъ. Герои, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкъ, —славяне; одинъ —старикъ, другой-прекрасный юноша съ кручиною въ глазахъ--

На пемъ одежда славянина И на бедръ славянскій мечъ: Славянъ вотъ очи голубыя, Вотъ ихъ и волосы златые, Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ-человѣкъ бывалый;

Видаль онъ дальнія страны, По сушь, по морю носился. Во дии былые, дни войны, На западь, на югь бился, Дъля добычу и труды Съ суровымъ илеменемъ Одена, И передъ нимъ враговъ ряды Въжали, какъ морская пъпа, Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ. Випиалъ онъ радостнымъ хваламъ И арфамъ скальдовъ изступленныхъ И очи дъвъ пиоплеменныхъ Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тъ славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкою отъ человічества жили да поживали себъ въ степяхъ, болотахъ н дебряхъ нынъшней Россіи, --- но славяне карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малъйшему сомнънію только въ "Исторін Государства Россійскаго". Изъ такихъ славянъ нельзя было сдёлать поэмы, потому что для поэмы нужно дъйствительное содержание, и ея героями могуть быть только действительные люди, а не ученыя фантазін и не историческія гипотезы... Кто видалъ славянские мечи? Дреколья и теперь можно видъть... Кто видалъ славянскую боевую одежду временъ баснословнаго Вадима или баснословнаго Гостомысла?.. Лапти и сермяги можно и тенерь видъть...

"Иѣснь о Вѣщемъ Олегъ"—совсѣмъ другое дѣло: поэтъ умѣлъ набросить какую-то поэтическую туманность па эту болѣе лирическую, чѣмъ эпическую иьесу,—туманность, которая очень гармонируетъ съ историческою отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія и съ неопредѣленностію глухого преданія о нихъ. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ и какой-то чисто-русскій складъ изложенія. Нушкинъ умѣлъ сдѣлать интереснымъ даже коня Олегова,—и читатель раздѣляетъ съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боевого товарища:

Воть вдеть могучій Олегь со двора, Сь нимь Игорь и старые гости,— И видять: на холмі, у брета Двіпра, Лежать благородныя кости; Ихт моють дожди, засыпаеть ихт пыль, И вытерь волнусть нада ними ковыль...

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонъ и въ содержании: послъдний куплетъ удачно замыкаетъ собою поэтический смыслъ цълаго и оставляеть на душъ читателя полное впечатлъние:

Ковин круговые, запѣнясь, шипять На тризнѣ плачевной Олега: Киязь Игорь и Ольга на холмѣ сидять; Дружина пируеть у брега; Бойпы поминають минувшіе дни И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

Нельзя того же сказать о всёхъ "переходныхъ" пьесахъ Нушкина въ отношеніи къ выдержанности и цёлостности: во многихъ изъ иихъ не чувствуещь, чтобъ обё были кончены на мёстё, или чтобъ въ иихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто-пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ рёзко отдёляется отъ всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Исчисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замѣчателькѣйшихъ—

"Наполеонъ". Это стихотвореніе двойственно: въ нѣкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нѣкоторыхъ чувствуещь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

> Надъ урной, гдъ твой прахъ лежить, Народовъ ненависть почила, И лучъ безсмертія горить.

Искуплены его стяжанья И зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ сѣнью чуждою небесъ. И знойный островъ заточенья Полночный парусь посътить. И путникъ слово примиренья На ономъ камив начертить, Гдѣ, устремивъ на волны очи, Изгнанникъ помпилъ звукъ мечей. И льдистый ужась полуночи, И небо Франціи своей; Гдъ иногда, въ своей пустынъ, Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ о миломъ сынъ Въ изгнанън горькомъ думалъ онъ. Да будетъ омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его развънчанную тънь! Хвала!.. Онъ русскому народу Высокій жребій указаль И міру въчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Но все остальное въ этой пьесѣ какъ-то рѣзко отзывается тономъ декламаціи и нѣсколько напряженною восторженностію, подъ которою скрывается болѣе раздраженія, чѣмъ вдохновенія. Впрочемъ, и тутъ много оригинальнаго, что было до Пушкина неслыхано и невидано въ русской поэзін,—какъ, напримѣръ, выраженія: "осужденный властитель, могучій баловень побѣдъ, изгнапникъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своенравная воля, блистательный позоръ" и тому подобныя.

Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведении Пушкина— "Андрей Шенье", которое помѣщено во второй части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламацією, которая совсѣмъ не въ натурѣ пушкинскаго духа и которая показываетъ, какъ долго удерживалось на немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзіи. Конецъ этой пьесы тоже нѣсколько натянутъ; но середина, отъ стиха: "Не узрю васъ, дни славы, дни блаженства", до стиха: "Ты, слава, звукъ пустой", —исполнены всей очаровательности пушкинской поэзіи.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это—"Демонъ", ньеса, которая, при своемъ появленіи, поразила всёхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?.. Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ пей свой судъ. Есть что-то простодушно-

юношеское въ ея выраженін, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нёкогда столь дивныхъ стиховъ:

Въ тѣ дии, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія— И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И ночью пѣпье соловья; Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновенныя пекусства Такъ сильно волновали кровь,

п проч. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтою, презиралъ вдохновеніе, не вѣрилъ любви и свободѣ, насмѣшливо смотрѣлъ на жизнь,—самъ онъ теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средней руки, — и теперь совсѣмъ не нужно быть демономъ, чтобъ отъ души смѣялься надъ тою любовію, тою свободою, надъ которыми онъ смѣялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ теперь страшенъ развѣ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнѣе пушкипскаго. Но о "демонѣ" мы еще будемъ говорить.

Предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введение въ статьи собственно о Пушкинъ. Мы имели въ виду показать историческую связь пушкинской поэзін съ поэзіею предшествовавшихъ ему мастеровъ; старались охарактеризовать Пушкина, какъ только еще ученика въ поэзіп. Предоставляемъ судить нашимъ читателямъ, до какой степени успъли мы въ этомъ. Главный трудъ нашъ еще впереди. Многіе, можетъ быть, недовольны, что эти статьи долго тянутся и безпрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрекъ быль бы не совствы основателень. Задуманный и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежить къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ: это скорфе общирная критическая исторія русской поэзіп, а такой трудъ не можеть быть совершень наскоро и какъ-нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности и труда, и времени. Въ лучшихъ иностранныхъ журналахъ иногда рядъ статей объ одномъ предметь тянется не одинъ годъ, и публика нисколько не въ претензіи за эту медленность. Оценить критически такого поэта, какъ Пушкинъ, — трудъ немаловажный, тёмъ болѣе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдёльными местами и частностями, или нападали на частные недостатки, --и потому охарактеризовать особность поэзіп Пушкина, опредёлить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и последовавшими ему поэтамизначить предпринять трудъ совершенно новый. Какъ мы выполнимъ его-не наше д'яло судить о томъ; по крайней мёрё, мы хотниь дёлать, что можемь и что обязаны, взявшись за изданіе журнала. Несовершенство труда извинительно; но ивть оправданій для лівности и равнодушія къ благороднымъ,

важнымъ интересамъ и вопросамъ, —равнодушія, происходящаго или отъ невѣжества, или отъ корыстнаго расчета, или отъ того и другого вмѣстѣ...

[Отечественныя Записки. Т. ХХХІ, 1843 г.].

Y.

Въ гармоній соперникъ мой Выль шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной, Иль пволги напѣвъ живой, Иль ночью моря гулъ глухой, Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ КРИТИКУ.—ПО И Я-ТІЕ О СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКЪ.—ИЗСЛЪД О-ВАНІЕ ПАООСА ПОЭТА, КАКЪ ПЕРВАЯ ЗА-ДАЧА КРИТИКИ.—ПАООСЪ ПОЭЗІИ ПУШ-КИНА ВООБЩЕ.—РАЗБОРЪ ЛИРИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ ПУШКИНА.

Прежде, нежели приступимъ къ разсмотрѣнію тѣхъ сочиненій Пушкина, которыя запечатлены его самобытнымъ творчествомъ, почитаемъ нужнымъ изложить наше воззрвніе на критику вообще. Доселв въ русской лигературъ существовало два способа критиковать. Первый состояль въ разборф частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго обыкновенно выписывали лучшія или худшія м'єста, восхищались ими или осуждали ихъ, а на цълое сочинение, на его духъ и идею не обращали никакого вниманія. Съ этимъ способомъ критики русскую литературу познакомили Карамзинъ и Макаровъ: первый—своимъ разборомъ сочиненій Богдановича, второй-сочиненій Дмитріева. Такой способъ критики, очевидно, поверхностенъ и мелоченъ, даже ложенъ, ибо если критикъ смотритъ на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія ихъ къ цьлому, то необходимо долженъ находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существовать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотр'вли исключительно со стороны языка и слога и восхищались удачною фразою, удачнымъ стихомъ, ловкимъ звукоподражаниемъ и т. и. Теперь такая критика была бы очень легка, нбо для того, чтобъ отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно слишкомъ много вкуса, а довольно навыка и литературной смётливости. Но какъ все въ мірт начинается съ начала, то и такая критика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могь съ успёхомь за нее браться, а успъвали въ ней только люди съ умомъ, талантомъ и знаніемъ дёла. Съ Мерзлякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталь не объ отдёльныхъ стихахъ и мёстахъ, но разсматривалъ завязку и изложеніе цалаго сочиненія, говориль о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, тёмъ болёе, что Мерзляковъ критиковаль съ жаромъ, основательностью и замѣчательнымъ краснорѣчіемъ. Но, несмотря на то, его критика была безплодна, потому что была несвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Ваттё, Блера, Лагарпа, Эшенбурга, —основаніяхъ, которыя, не болбе какъ черезъ пять льтъ, и въ самой Россіи сдёлались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъ критика русская начала предъявлять претензін на философію и высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звукоподражаніями, красивымъ стихомъ или довкимъ выраженіемъ, но заговорила о народности, о требованіяхъ в ка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ, дотолъ неслыханныхъ новостяхъ. И это было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, нбо если она еще и сама темно и сбивчиво понимала свои требованія, повторяемыя ею съ чужого голоса, тѣмъ не менѣе она произвела ими живую реакцію исевдо-классическому направленію литературы. Сверхъ того, она прорвала илотину авторитетства, которая держала литературу въ апатической неподвижности и идеи замфияла именами. Такъ, напримъръ, при всемъ умъ, дарованіяхъ, учености и образованности, которыми обладаль Мерзляковъ, онъ отъ души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмёлилась сказать правду объ этихъ писателяхъ и столкнуть съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, которые сейчасъ же и развалились отъ этого толчка: ведь глина-не медь и не мраморъ! Конечно, какъ псевдо-классическая критика Мерзлякова, въ своей старческой неподвижности, не умъла видъть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ - поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозанческими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ Фонвизинымъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновеній Княжнинымъ, между народнымъ и геніальнымъ баснописцемъ Крыловымъ и даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Дмитріевымъ, — такъ же точно и мнимо-романтическая критика не замѣчала, въ запальчивости своего юношескаго одушевленія, неизміримой разницы между Пушкинымъ и вышедшими по слъдамъ его блестящими и даже вовсе неблестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время надёлала, вмёсто огромных глиняных кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, несмотря на то, она дала просторъ уму и фантазіи, освободивъ ихъ отъ прокрустова ложа авторитета и стеснительныхъ условленныхъ правиль. Жизненность романтической критики болже всего доказывается тёмь, что она продолжалась менъе десяти лътъ и родила изъ себя другую, болъе строгую, хотя и не болже твердую и определенную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрѣнія сдѣлались настойчивѣе; она начала цитовать, кстати и некстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платона, заговорила и объ эсфетическихъ оеоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу. Даже собственно-романтическая критика,

та самая, которая нівсколько лівть сряду провозглашала Пушкина "съвернымъ Вайрономъ" (какъ будто бы англійскій Байронъ родился на югѣ, а не на сверв Европы) и "представителемъ современнаго человъчества", даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ "высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка"... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смѣшная же сторона состоить въ неопределенности и шаткости требованій, которыя эта критика предъявляла съ такою суровостью и профессорскою важностью. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего быль онъ призванъ своею природою и требованіями времени, а подтвержденія и оправданія теоріи, которую составиль себъ господинь критикь, и если творенія поэта не улегались илотно на прокрустовомъ ложѣ теоріи критика, критикъ или вытягивалъ ихъ за ноги, или обрубаль имъ ноги (даже и голову — смотря по обстоятельствамь), или, наконець, объявляль, что поэть ничтожень, маль, чуждь высшихь взглядовь н отсталь оть вжка. Такь одинь "ученый" критикь тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашелъ, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона, какъ мелкіе бѣсенята къ сатанъ, и что, ergo, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не былъ обязанъ быть Вайрономъ, какъ Байронъ — Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому внѣшнемъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому крптику еще менте входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направленін и духв таланта, и что, следовательно, туть неумьстно было какое бы то ни было сравнение. Другой критикъ, не ученый, но зато съ высшими взглядами, объявилъ Пушкину опалу за то, что тотъ отсталь отъ въка, т. е. отъ туманно-неопредъленныхъ теорій критика. Наконедъ, явился, вскорф послѣ того, третій критикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэтт ни заговорилъ, безпрестанно обращался къ итальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ ничего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если нсевдо-классическая критика была ложна оттого, что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленін и существованін новыхъ, а мнимо-романтическая критика была слаба оттого, что, за неимъніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкъ, чъмъ изученіемъ, познакомилась съ новыми авторитетами, -- то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектическаго знакомства со множествомъ теорій и образцовъ.

Гдѣ же безопасный проходъ между Сциллою безсистемности и Харибдою теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій—ваша критика будетъ отзываться произволомъ личнаго вкуса, личнаго миѣнія, которое важно для однихъ васъ, а для другихъ—не законъ; судите поэта по какой-нибудь теоріи—вы

разовьете, и, можетъ быть, очень хорошо, свою теорію, можетъ быть, очень хорошую, но не покажете намъ разбираемаго вами поэта въ его истинномъ свътъ. Какой же путь должна избрать кри-

тика нашего времени?

Гёте гдё-то сказаль: "Какого читателя желаю я? — такого, который бы меня, себя и цёлый міръ забыль и жиль бы только въ книгъ моей". Нъкоторые итмецкие аристархи оперлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однако-жъ односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на вёру и безусловно, критика только и дёлала бы, что кланялась въ ноясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имфетъ свою причину и основаніе — даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невъжество поэта, то, если критикъ будетъ смотръть на произведение поэта безъ всякаго отношения къ его личности, забывъ о самомъ себъ и цъломъ мірѣ, --естественно, что творенія этого поэта-будь они только ознаменованы большею или меньшею степенью таланта — явятся непограшительными и достойными безусловной похвалы. При намецкой апатической терпимости ко всему, что бываетъ п дълается на бъломъ свътъ, при нъмецкой безличной универсальности, которая, признавая в с е, сама не можетъ сдёлаться ничёмъ, --мысль, высказанная Гёте, поставляеть искусство цёлью самому себё, п черезъ это самое освобождаеть его отъ всякаго соотношенія съ жизнію, которая всегда выше искусства, потому что некусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Д'ййствительно, нъмецкая критика, при разсматривании произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тъсной сферъ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобъ обращаться изредка къ характеристикъ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ-на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого жизнь давно уже оставила техъ нъмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождають такой критикъ! Но, съ другой стороны, мысль Гёте имъеть глубокій смысль, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый акть въ процессв критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ къмъ-нибудь горячо спорите о важномъ предметъ, для васъ ничего не можетъ быть больнее, какъ если противникъ вашъ, не давая себъ труда вслушиваться въ ваши слова и взвѣшивать ваши доводы, будетъ придавать имъ другое значение и, следовательно, отвечать вамъ не на ваши, а на свои собственныя мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понпмали васъ, какъ должно, то и сами должны быть добросовъстно внимательны къ своему противнику и принимать его слова и доказательства именно въ томъ значенін, въ какомъ онъ обращаетъ ихъ къ вамъ. Но еще добросовъстиве и строже должно

прилагаться это правило къ критикъ: разбираемый вами поэть, какъ лицо судимое, часто безотвътное, не можетъ въ минуту вашего кривотолкованія остановить васъ и доказать вамъ, что вы его не такъ поняли. Сверхъ того, все имъетъ свою причину и свое основаніе, а челов'якъ, по самолюбію, или по пристрастію къ изв'єстнымъ увлекшимъ его идеямъ, любитъ всему давать свои причины и основанія, которыя потому именно и покажутся ему истинными, что они-его, а не чын-инбудь. Этой слабости подвержены не одни только ограниченные люди и невъжды, но и умы сильные, широкіе, особенно если они не теритливы и не хладнокровно пытливы. Иногда человѣку мѣшаетъ видѣть вещи въ настоящемъ ихъ свътъ даже то, что составляеть его истинное достопиство. Что, напримірь, выше и почтенные въ человъкъ, какъ не способность глубокаго убъжденія?—А между тьмъ она-то и заставляеть человъка враждебно смотръть на всякую мысль, противоръчащую его убъжденію, — и часто онъ тъмъ упрямъе отвергаетъ ея пстинность, чъмъ односторониве его убъждение, которое такъ твсно слилось со всёмъ его существомъ, что онъ не въ состоянін отделить его оть себя. И однако-жъ всякое изследование непременно требуеть такого хладнокровія и безпристрастія, которыя возможны человъку только при условін полнаго отрицанія своей личности на время изследованія. Поэтому, чтобъ произнести суждение о какомъ-нибудь поэтъ, тъмъ болье о великомъ, должно сперва изучить его, а для этого должно войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свътъ. Въ этотъ міръ не должно вносить никакихъ требованій, никакихъ заранте приготовленныхъ поинтій и вопросовъ, никакихъ страстей, а тъмъ менъе пристрастій, никакихъ убъжденій, а тъмъ менъе предубъжденій. Надо совершенно отказаться отъ роли судьи и актера и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидътеля и зрителя. Такъ точно, если вы вътажаете въ чужую землю съ цёлью изучить ея нравы и обычан, вы должны забыть на время, что выгражданинъ своей земли, и сдёлаться совершеннымъ космополнтомъ. Иначе, обычан этой чуждой вамъ страны будете вы оценять на курсъ обычаевъ вашего отечества и, естественно, найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или непохожее на нихъ безусловно признаете дурнымъ. Всѣ народы потому только и образують своею жизнію одинъ общій аккордъ всемірно-исторической жизни человъчества, что каждый изъ нихъ представляеть собою особенный звукъ въ этомъ аккордь, ибо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можеть выйти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое лучшее въ каждомъ народи есть то, что принадлежить только одному ему и что противоположно худшему и лучшему, или, по крайней мёрё, не сходно съ худшимъ и лучнимъ всякаго другого народа. Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности: это истина несомивниая, противъ кото-

рой нечего сказать; но въдь общее выражается въ частномъ, безусловное-въ индивидуальномъ, а разумъ-въ личности, и безъ частнаго, индивидуальнаго и личнаго общее, безусловное и разумное есть только пдеальная возможность, а не живая действительность. Творческая деятельность ноэта представляеть собою также особый, цёльный, замкнутый въ самомъ себъ міръ, который держится на своихъ законахъ, имъетъ свои причины и свои основы, требующія, чтобъ пхъ прежде всего приняли за то, что онъ суть на самомъ дълъ, а потомъ уже судили о нихъ. Всъ произведенія поэта, какъ бы ни были разнообразны и по содержанію, и по форм'в, им'вють общую встмъ имъ физіономію, запечатлены только имъ свойственною особностію, пбо всё они истекли изъ одной личности, изъ единаго и нераздъльнаго я. Такимъ образомъ, приступая къ изученію поэта, прежде всего должно уловить, въ многоразличіи п разнообразін его произведеній, тайну его личности, т. е. тъ особности его духа, которыя принадлежать только ему одному. Это, впрочемь, значить не то, чтобъ эти особности были чёмъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это значить, что все общее человъчеству никогда не является въ одномъ человъкъ; по каждый человѣкъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, родится для того, чтобъ своею личностію осуществить одну изъ безконечно-разнообразныхъ сторонъ необъемлемаго, какъ міръ и в'ячность, духа человъческаго. Въ этой миссіи въчной пикариаціи заключается все достоинство, вся важность личности: ибо она есть осуществленіе, реализація, д'вйствительность духа. Личность одна не можетъ всего обнять, и потому, будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собою начто, она уже есть исключение изъ всего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человъческаго; каждая существуетъ потому, что необходима, --- следовательно, каждая иметь законное право на существованіе. Поэтому ничего нътъ несправедливъе, какъ мърить чью-либо личность аршиномъ другой личности, которая всегда или противоположна, или чёмъ-нибудь разнится отъ нея. Есть въ мірѣ люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій скажеть ложь, если скажеть, что хладнокровные люди излишни въ мірѣ и что лучше было бы, если-бъ ихъ не было; точно такъ же ложно будетъ подобное суждение и хладнокровнаго о пылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой двятельности поэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюденіи требованія, которое двлаєть Гёте отъ своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемѣ, а истина требуетъ изслѣдованія спокойнаго и безпристрастнаго, требуетъ, чтобъ къ ея изслѣдованію приступали съ уваженіемъ къ ней, по крайней мѣрѣ, безъ принятаго заранѣе рѣвенія найти ее ложью. Но, скажутъ, если вся-

кая личность есть истина, то и всякій поэтъ, какъ бы ни быль ничтожень, должень быть изучаемь по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первыхъ, не всякій, кто иншетъ стихи, выражаетъ свою личность: выражаеть ее тоть, кто родился поэтомъ; во-вторыхъ, не всякая личность, но только замъчательная стонть изученія; въ-третьихь, не всякій человъкъ есть личность, но многіе люди, но своей безличности, походять на шлохо оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличинь дерева отъ копны свна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человѣка. Природа ли производить, или воспитание и жизнь делають ихъ такими-это не касается до предмета нашей статьи н далеко отвлекло бы насъ, если-бъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свътъ безличныя личности, что ихъ, къ несчастію, гораздо больше, чёмъ личныхъ, и что чёмъ личность поэта глубже и сильнье, тымь онь болье поэть. Приступить съ такими важными спорами къ суду надъ маленькимъ поэтомъ-все равно, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника въ земскомъ судъ слогомъ Плутарха, автора біографій Александра Македонскаго, Цезаря и другихъ великихъ людей древности, или, сввъ въ лодку, чтобъ покататься по болоту, поставить передъ собою компасъ и разложить морскую карту. Но темь более должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изученію великаго поэта, въ твореніяхъ котораго отражается великая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безпристрастіемъ и поняли върно, вы уже не носитесь, по волѣ вѣтра, въ воздушныхъ пространствахъ своей прихотливой фантазін, но стоите твердою ногою на прочной почвѣ; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хотълось вамъ, но оценяете то, что онъ самъ вамъ даль; вы не смѣшиваете съ нимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть; не навязываете ему своихъ убъжденій или предубѣжденій, по взвѣшиваете его иден, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, потому что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шель этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его ничтожнымъ, потому что въ немъ натъ ничего общаго съ Байрономъ или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталъ отъ вѣка, потому что не читаетъ вашего журнала п не въритъ вашимъ залетнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопределеннымъ предчувствіямъ, которыя вы см'йло выдаете за иден и высшіе взгляды. Нътъ, вы будете судить о немъ на основанін его личности, будете отъ него требовать только того, что могь бы онъ сделать на основанін уже сабланнаго имъ. Когда вы кончите его изученіе, проникните въ сокровенный духъ его поэзін, удовите тайну его личности, тогда правило Гёте, что читатель ноэта долженъ забыть читаемаго имъ поэта, самого себя и весь міръ, вы имъете право откинуть прочь, какъ уже лишнее п ненужное. Ваша личность снова вступаеть въ

свои права, и вы изъ ученика делаетесь судьею. Вы требуете отъ поэта, чтобъ онъ быль вфренъ не вами предписанному ему направленію, но своему собственному, чтобъ онъ не противоръчилъ себъ самому, своей собственной натуръ, не уклонался отъ своего призванія (ибо вы поняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а пе навязали ему его отъ себя),-словомъ, вы требуете отъ него той внутренней последовательности, которая составляеть необходимое условіе всякой разумной діятельности. И если вы находите, что онъ сдёлаль меньше, чёмь бы могъ саблать, меньше, нежели сколько самъ далъ право требовать отъ него, что онъ измѣнялъ стремленію собственнаго духа, —вы смёло изречете ему свой приговоръ, и это, однако-жъ, не помѣшаетъ вамъ отдать ему полную справедивость въ томъ, что составляетъ его неотъемлемую_заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ недостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тъсно соединены съ достоинствами его поэзін и составляють ихъ оборотную сторону. При этомъ вы строго вникните въ обстоятельства, которыя, независимо отъ его воли, не могли не имъть большаго или меньшаго вліянія на его дёятельность, и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояніе, въ которомъ онъ засталь общество, н покажете, шель ли онь наравий съ своимъ временемъ, былъ ли его хорегомъ, или только старадся подпавать подъ его пасни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдуть въ ваше разсмотрѣніе, когда они будуть въ живой связи съ его твореніями. Есть поэты, которыхъ жизнь твено связана съ ихъ поэзіею, и есть поэты, которыхъ важна только нравственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ виду. Гёте такъ же нельзя мърить на мърку Байрона, какъ и Байрона нельзя мърнть на мърку Гёте: это были натуры діаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудиль Гёте, что онъ жиль и писаль не въ такомъ духѣ, какъ Байронъ, или наоборотъ, тотъ сказаль бы величайшую нельпость. Это все равно, что отъ могучаго слова требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборотъ; и слонъ, и тигръ, каждый по-своему, хорошъ и необходимъ въ цъпи природы. Натуры Гёте п Шиллера были діаметрально противоположны одна другой, и однако-жъ самая эта противоположность была причиною и основой взаниной дружбы и взанинаго уваженія обоихъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонялся въ другомъ тому, чего не находиль въ себъ. Задача критики состоить совсъмъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, почему Гёте жидъ и писаль не такъ, какъ жилъ и писалъ Шиллеръ,-но въ томъ, почему Гёте жилъ и писалъ, какъ Гёте, а не какъ кто-нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личиости поэта въ его твореніяхъ? Что должно д'влать для этого при изученіи произведеній его?

Изучить поэта значить не только ознакомиться, черезъ усиленное и повторяемое чтеніе, съ его произ-

веденіями, но и перечувствовать, пережить ихъ. Всякій нстинный поэть, на какой бы ступени художественнаго достоинства ни стояль, а темь более всякій великій поэть никогда и ничего не выдумываеть, но облекаетъ въ живыя формы общечеловъческое. Н нотому, въ созданіяхь поэта, люди, восхищающіеся нми, всегда находять что-то давно знакомое имъ, что-то свое собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чемъ мыслили, но чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найти слова, и что, следовательно, поэтъ умёль только выразить. Чёмъ выше поэть, т. е. чёмь общечелов вчественные содержаніе его поэзін, тёмъ проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ голову создать что-нибудь подобное: въдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнають своего и въ которыхъ все принадлежить поэту, не заслуживають никакого вниманія, какъ пустяки. На этой-то общности, по которой созданіе поэта столько же принадлежить всему человъчеству, сколько и ему самому,--на этой-то общности и основывается возможность всёмь и каждому, въ комъ есть человёческое (т. е. духовное, разумное), нереживать произведенія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэта значить переносить, перечувствовать въ душъ своей все богатство, всю глубину ихъ содержанія, перебольть ихъ бользиями, перестрадать ихъ скорбями, переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомь, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи нѣкоторое время подъ его исключительнымъ вліяніемъ; не полюбивъ, смотрѣть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрона, не бывъ и которое время байронистомъ въ душъ, Гете-гетистомъ, Шиллерашиллеристомъ и т. д. Конечно, такое добровольное подчинение чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлечение поэтомъ, а не спокойное, строгое и истинное его пониманіе, -- и до этого пониманія можно дойти только черезъ переходъ изъ восторженнаго увлеченія къ хладнокровно-спокойному созерцанію; но это увлеченіе поэтомъ есть первый и необходимый моментъ въ процессъ его изученія. И потому нельзя въ одно время изучить болъе одного поэта, нельзя на это время пе считать его выше всёхъ другихъ поэтовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведенія другихъ поэтовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметь и наполнитъ собою человѣка, что сдѣлается костью отъ костей его, плотью отъ плоти его, -- въ душъ человѣка уже нѣтъ мѣста для другой мысли!

Общечеловъческое безгранично только въ своей идеѣ; но, осуществляясь, оно принимаетъ извѣстный характеръ, извѣстный колоритъ, такъ сказать. Оттого, хотя всѣ великіе поэты выражали, въ своихъ созданіяхъ, общечеловъческое, одиако-жъ творенія каждаго изъ нихъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шекспиръ и великъ Байронъ, но рѣзкая черта отличаетъ творенія одного отъ твореній другого. Чѣмъ выше

поэть, тёмь оригинальнёе міръ его творчества,—
и не только великіе, даже просто замѣчательные
поэты тёмь и отличаются отъ обыкновенныхъ, что
ихъ поэтическая дѣятельность ознаменована печатью самобытнаго и оригинальнаго характера.
Въ этой характерной особности заключается тайна
ихъ личности и тайна ихъ поэзіи. Уловить и опредѣлить сущность этой особности значитъ найти
ключъ къ тайнѣ личности и поэзіи поэта. Въ чемъ
же должно искать этого ключа?

Каждое поэтическое произведение есть плодъ могучей мысли, овладевшей поэтомъ. Если-бъ мы донустили, что эта мысль есть только результатъ дъятельности его разсудка, мы убили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ деле, что мудренаго было бы сдёлаться поэтомъ, и кто бы не въ состояніи быль сдёлаться поэтомь по нуждё, по выгодё или по прихоти, если-бъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будеть глубока, истинна, даже свята,произведение все-таки выйдеть мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, — и никого не уб'ёднть оно, а скор'е разочаруеть каждаго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость! Но между тёмъ такъ-то именно и понимаетъ толна искусство, этого-то именно и требуеть она оть поэтовъ! Придумайте ей, на досугь, мысль получше, да потомъ и обделайте ее въ какой-нибудь вымысель, словно брильянть въ золото! Воть и дёло съ концомъ! Нёть, не такія мысли и не такъ овладевають поэтомъ и бывають живыми зародышами живыхъ созданій! Искусство не допускаеть къ себъ отвлеченныхъ философскихъ, а тъмъ менъе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только иден поэтическія; а поэтическая идея-это не силлогизмъ, не догматъ, не правило: это-живая страсть, это—и а о с ъ... Что такое наоосъ?— Творчество-не забава, и художественное произведеніе-не плодъ досуга или прихоти; оно стоитъ художнику труда; онъ самъ не знаетъ, какъ западаетъ въ его душу зародышъ новаго произведенія; онъ носить и вынашиваеть въ себф зерно поэтической мысли, какъ носитъ и вынашиваетъ мать младенца въ утробъ своей; процессъ творчества имъетъ аналогію съ процессомъ дъторожденія и не чуждъ мукъ, разумъется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ решится на трудъ и подвигъ творчества, значитъ, что его къ этому движетъ, стремитъ какая-то могучая сила, какая-то непобъдимая страсть. Эта сила, эта страсть — на о о с ъ. Въ паеосѣ поэтъ является влюбленнымъ въ идею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ею, -- и онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и не какою-либо одною способностью своей души, но всею полнотою и пёлостью своего нравственнаго бытія, -- и потому идея является, въ его произведенін, не отвлеченною мыслыю, не

мертвою формою, а живымъ созданіемъ, въ которомъ живая красота формы свидетельствуеть о пребыванін въ ней божественной иден, и въ которомъ нътъ черты, свидътельствующей о сшивкъ или спайкъ, -- нътъ границы между идеею и формою, но та и другая являются цёлымъ и единымъ органическимъ созданіемъ. Иден истекають изъ разума; но живое творить и рождаеть не разумь, а любовь. Отсюда ясно видна разница между иде ею отвлеченною и поэтическою: первая-плодъ ума, вторая-плодь любви, какъ страсти. Но отчего же, скажутъ, называть это паоосомъ, а не страстью?—Оттого, что слово "страсть" заключаеть въ себъ понятіе болье чувственное, тогда какъ слово "навосъ" заключаетъ въ себѣ понятіе болѣе нравственное. Въ страсти много индивидуальнаго, личнаго, своекорыстнаго, темнаго; въ ней можетъ быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинъ, но и къ женщинамъ, не только къ славъ, но н къ почестямъ; можно питать страсть къ деньгамъ, къ вину, къ гастрономін. Въ страсти много чисточувственнаго, кровнаго, нервическаго, телеснаго, земного. Подъ "паеосомъ" разумвется тоже страсть, и притомъ соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ п всякая другая страсть; но паносъ всегда есть страсть, возжигаемая въ душт человтка идеею и всегда стремящаяся къ идеф, - следовательно, страсть чистодуховная, нравственная, небесная. Павосъ простое умственное постижение идеи превращаеть въ любовь къ идеж, полную энергіи и страстнаго стремленія. Въ философіи идея является безплотною; черезъ павосъ она превращается въ тело, въ действительный фактъ, въ живое созданіе. Отъ слова паносъ, или патосъ (pathos), происходить слово патетическій, наиболье употребляемое въ отношени къ драматической поэзи, какъ къ наиболъе исполненной павоса по своей сущности. Но мы лучше объяснимъ значение павоса указаніемъ на него въ великную произведеніяхъ ис-

Павосъ Шекспировой драмы "Ромео и Джюльетта" составляеть идея любви,--- и потому иламенными волнами, сверкающими яркимъ свётомъ звёздъ, льются изъ устъ любовниковъ восторженныя и атетическія річи... Это павось любви, потому что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джюльетты видно не одно только любованіе другъ другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоенія, признаніе любви, какъ божественнаго чувства. Въ тѣхъ монологахъ Ромео и Джюльетты, когда ихъ любви начало угрожать несчастіе, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встретнвшаго препятствие своему вольному и широкому разливу.—Навосъ "Гамлета" составляеть борьба негодованія на порокъ н преступление съ безсилиемъ вступить съ ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуеть сознаніе долга. Гамлеть въ покойномъ королѣ страстно любиль отца и высоко уважаль великаго человъка; этотъ король въроломно, измъннически

убить-и къмъ же?-иутомъ и пьяницею, челов комъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у своего родного брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего характера, делить съ убінцею своего царя и брата, а ея мужа, неправедно добытую власть и оскверненное прелюбоданиемъ ложе!.. Сколько причинъ для Гамлета мстить неумолимо, страшно за поруганное право, за гръхъ цареубійства и братоубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полою корону, за добродътель, за величіе, за себя самого!.. Онъ знаетъ, что ему должно делать, на что его вызвала судьба-н онъ робетъ предстоящаго подвига, бледнфеть страшнаго вызова, колеблется и только говорить, вмёсто того, чтобъ дёлать, въ своей позорной нерѣшительности. Но если слаба его воля, то душа его столько же велика, сколько и чиста. Онъ это сознаетъ, — и съ какою горечью, съ какою страстью высказывается его презрѣніе къ самому себ' въ этихъ большихъ монологахъ, которые тотчасъ, какъ онъ остается одинъ, и сдерживаемое имъ доселъ чувство получаетъ свободу, вырываются изъ него, словно огромная ръка, скинувшая съ себя вешній ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ выказывается весь паносъ этой трагедіи, выступаетъ наружу та внутренняя эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примъровъ можно было бы привести много, но для объясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, каждое поэтическое произведение должно быть плодомъ павоса, должно быть проникнуто имъ. Безъ навоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочиненіе. Поэтому выраженія: "въ этомъ произведенін есть идея, а въ этомъ нётъ иден", не совсёмъ точны и опредёленны. Вмёсто этого должно говорить: "въ чемъ состонтъ наоосъ этого произведенія?" или "въ этомъ произведеніи есть павосъ, а въ этомъ нѣтъ". Это будетъ гораздо определеннее и точнее: потому что многіе ошибочно принимають за ндею то, что можеть быть ндеею вездѣ, кромѣ произведенія, гдѣ ее думаютъ видёть, и гдё она, въ самомъ-то дёлё, является просто резонерствомъ, кое-какъ прикрытымъ сшивными лохмотьями бъдной формы, изъ-подъ которой такъ и сквозить его нагота. Наоосъ-другое дъло. Надо быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетическаго такта, чтобъ увидёть наоось въ произведени холодномъ, мертвомъ, въ которомъ идея съ формою слиты, какъ масло съ водою, пли сшиты на живую нитку бѣлыми стежками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разнообразны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своею жизнію, а потому и имъетъ свой пасосъ. Тъмъ не менъе весь міръ творчества поэта, вся полнота его поэтической дъятельности тоже имъетъ свой единый павосъ, къ которому павосъ

каждаго отдёльнаго произведенія относится, какъ часть къ цёлому, какъ оттёнокъ, видоизмёненіе главной идеи, какъ одна изъ ея безчисленныхъ сторонъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ, напр., Вайронъ, но также и къ такимъ, которыхъпроизведенія удивляють своею многосторовностію и многоразличіемъ направленій, каковъ, напр., Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можетъ быть много интересовъ и направленій, но всегда подъ преобладающимъ вліяніемъ одного главнаго: а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой деятельности, то и все произведенія поэта должны быть запечатлівны единымь духомъ, проникнуты единымъ паоосомъ. И вотъ этотъ-то паносъ, разлитый въ полнотъ творческой дъятельности поэта, есть ключъ къ его личности н къ его поэзін. Первымъ дёломъ, первою задачею критика должна быть разгадка, въ чемъ состоптъ панось произведеній поэта, котораго взялся онъ быть изъясинтелемъ и оценщикомъ. Везъ этого онъ можетъ раскрыть некоторыя частныя красоты или частные недостатки въ произведеніяхъ поэта, наговорить много хорошаго à propos къ нимъ; но значеніе поэта и сущность его поэзіи останутся для него такъ же тайною, какъ и для читателей, которые думали бы найти въ его критикъ разръшеніе этой тайны. Сверхъ того, онъ рискуеть быть или пристрастнымъ хвалителемъ, или, что одно и то же, пристрастнымъ порицателемъ поэта, приписать ему достоинства и недостатки, которыхъ въ немъ ифтъ, или не замфтить тфхъ, которые въ немъ есть. Но главное-онъ всегда ошибется въ общемь выводѣ своихъ изслѣдованій о поэтѣ. Именно такимъ образомъ грѣшила противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ, напр., одинъ критикъ того времени поставилъ въ величайшую вину поэзін Жуковскаго то, что она совершенно лишена народности. Если-бъ онъ понялъ, что павосъ поэзін Жуковскаго есть романтизмъплодъ жизни Западной Европы въ средніе въка и, слъдовательно, элементь, котораго совершенно чужда русская народность, — онъ не сталь бы нападать на знаменитаго поэта за то, что составляеть его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многостороннемъ и разнообразномъ поэтъ, какъ Пушкинъ, нельзя не обращать вниманія на частности, нельзя не указывать въ особенности на то или другое даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и тѣмъ менѣе можно не говорить отдёльно о каждой изъ большихъ его пьесь; нельзя также не дёлать изъ него большихъ или меньшихъ выписокъ; но, ограничившись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдёльныя пьесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цілый міръ творчества. Этотъ общій взглядъ будеть, въ лабиринтъ разнообразныхъ и многочисленныхъ твореній поэта, аріадинною нитью и для критика, и для его читателей; при номощи этого взгляда едълаются понятными и всъ частности, и не будеть нужды обращать внимание на каждую изъ нихъ,

а только на главнъйшія. Разумъется, этотъ общій взглядъ долженъ быть основанъ на върномъ уразумънін наооса поэта. Но какъ объяснить и опредълить наоосъ — предварительно ли это сдълать, такъ чтобъ указаніями на отдъльныя пьесы только подтверждать свою мысль, или начать аналитически и изъ разбора частностей дойти до опредъленія паооса? Мы думаемъ, что первое лучше, ибо творенія Пушкина такъ извъстны всъмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значеніи его поэзін, не боясь не быть понятымъ. Притомъ же наше дъло—раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результатъ этого изученія.

много и многими было писано о Нушкинѣ. Всѣ его сочиненія не составляють и сотой доли порожденныхъ ими нечатныхъ толковъ. Одни споры классиковъ съ романтиками за "Руслана и Людмилу" составили бы порядочную книгу, если бы ихъ извлечь изъ тогдашнихъ журналовъ и издать вмѣстѣ. Но это было бы интересно, только какъ историческій фактъ литературной образованности и литературныхъ правовъ того времени, —фактъ, узнавъ

гораї, нотаз не воскликнуть:

Свъжо преданіе, а върится съ трудомъ!

И таковы всё толки нашихъ аристарховъ о Пушкинѣ, и хвалебные, и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечешь, ничѣмъ не воспользуешься. Исключеніе остается только за статьею Гоголя "О Пушкинѣ", въ "Арабескахъ", изданныхъ въ 1835 году. Объ этой замѣчательной статъѣ мы еще не разъ вспомянемъ въ продолженіе нашего

разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъхудожникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумъется, что одинъ онъ этого сделать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы изложили весь ходъ изящной словесности на Руси, показали начало и развитіе ел поэзін, участіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ п ихъ заслуги. Повторимъ здёсь уже сказанное нами сравненіе, что всѣ эти поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія ріки-къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важные рыкь; но безь нихь оно не могло бы образоваться. Такое сравнение не можеть быть оскорбительно для поэтовъ, предшествовавшихъ Пушкину, особенно, если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая деятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зр'влые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинъ, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ лътъ и силы. Чтобъ изложить нашу мысль сколько возможно яснье и доказательные, мы посвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребенка-Пушкина, но и стихотвореній юноши-Пушкина, носящихъ на себъ слъды вліянія предшество-

вавшей школы. Эти последнія стихотворенія несравненно ниже тахъ, въ которыхъ онъ явплся самобытнымъ творцомъ, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ вліяніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замѣтили, что въ первой части "Стихотвореній Александра Пушкина" (1829) пьесъ, писанныхъ подъ вліяніемъ прежней школы, больше, чёмъ во второй, а въ третьей ихъ уже нётъ вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самобытныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключаеть въ себъ стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1824 года; они расположены по годамъ, и потому можно видеть, какъ съ каждымъ годомъ Пушкинъ являлся менѣе ученикомъ и подражателемъ, хотя и превзопедшимъ своихъ учителей и образцовъ, и более самобытнымъ поэтомъ. Вторая часть заключаеть въ себъ пьесы, инсанныя отъ 1825 до 1829 года, и только въ отделе стихотвореній 1825 года зам'єтно еще ніжоторое вліяніе старой школы, а въ пьесахъ следующихъ за темь годовь оно уже исчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; но, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не вфришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свѣжъ міръ его поэзін! Тутъ нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозанческій, нер'єдко бываеть, въ поэтическомъ отношенін, могучь, ярокь, но въ отношенін къ просодін, грамматикъ, спитаксису, и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова, во всёхъ этихъ отношеніяхъ, неизмѣримо ниже стиха Жуковскаго и Батюшкова, — и было время, когда нельзя было не върнть, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошель до крайней и последней степени совершенства, -- и между темъ этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова... Правда, впоследствін, т. е. при Пушкинъ, стихъ Жуковскаго много-усовершенствовался—и въ переводъ "Шильонскаго Узника", а также отчасти и въ переводъ "Суда въ Подземельъ" походилъ на кръпкую дамасскую сталь, —и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную крипость, эту необыкновенную сжатость и тяжело-упругую энергію ему сообщиль тонь поэмы Вайрона и характерь ея содержанія, — и Пушкинъ, если бы онъ написаль поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умъль бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, — чему можетъ служить доказательствомъ его поэма "Мѣдный Всадникъ". Обращаясь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствін эстетическаго чутья и такта можно не вид'єть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихъ: нбо подъ стихомъ разумфемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, --форму, которая одна, прежде и больше всего другого, свидетельствуеть о действительности и силе таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; стихъ, который, какъ тёло человёка, есть откровеніе, осуществленіе души-пден; стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, подъ который всякая поддёлка, какъ бы ни была она ловка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему, какъ искусно-сделанная восковая статуя или автомать относится къ живому человъку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сделавшій крутой поворотъ, или резкій разрывъ въ исторіи русской поэзін, нарушившій преданіе, явившій собою что-то небывавшее, не похожее ни на что прежнее, - этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзін. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельною игрою романтической риомы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотъ; онъ нъженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучь и густь, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовонень, какъ весна, крипокъ и могучь, какъ ударъ меча въ рукъ богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразимая прелесть и грація, въ немъ ослепительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодін и гармонін языка п риема, въ немъ вся нѣга, все упоеніе творческой мечты, поэтическаго выраженія. Если-бъ мы хотыли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, иы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихь-и этимъ разгадали бы тайну павоса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаеть всего вашего вниманія; не ей псключительно удивляетесь вы: васъ болже всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзін Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимпъ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородною простотою, этой изящною патріархальностью геронческаго в'яка народа, н'якогда представлявшаго въ лицъ своемъ цълое человъчество; но поэть остается у васъ какъ бы въ сторонъ, и его художество вамъ кажется чтмъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмъ, и нотому вамъ какъ будто не приходитъ въ голову остановиться на немъ и подивиться ему. Въ Шекснирѣ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокій сердцевѣдецъ, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикъ, указывають на его заслуги наукъ, не

говоря объ удивительной силѣ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзін Байрона прежде всего обойметь вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смёлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзін Г'єте передъ вами выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человъка. Въ поэзін Шиллера вы преклонитесь съ любовію и благогов'єніемъ передъ трибуномъ человъчества, провозвъстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и правственно-прекраснаго. Въ Пушкинъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всеми чарами поэзін, призваннаго для некусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзін, — и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенною полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слъдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Призвание Пушкина объясняется историею нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выраженіемъ жизни, въ обширномъ значеніи этого слова, обнимающаго собою весь міръ физическій и нравственный. До этого ее можетъ довести только мысль. Но, чтобъ быть выражениемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіею. Для искусства нѣтъ никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похоже на женщину съ великой душою, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ея нельзя; а между тьмъ немножко любви сдвлало бы счастливве, чвмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивление. Произведенія непоэтическія безплодны во всёхъ отношеніяхъ, между тъхъ какъ произведенія на половину прозапческія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они д'вйствують и въ этомъ отношенін только на половину. Гдё помнять начало поэзіп, гдф поэзія явилась, не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзін нужно прежде всего выработать поэтическую форму, ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіею, а потомъ уже выражать собою то и другое. Вотъ причина явленія Пушкина такимь, какимь онь быль, и воть почему онъ ничемъ другимъ быть не могъ. До него у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество, которое составляеть собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человъческаго. До него поэзія была только краснорьчивымъ изложениемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась, какъ удобное средство для доброй цёли, какъ бёлила и румяна для блёднаго лица старушки-истины. Это мертвое нонятіе о пользъ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзію и было выражено Мерзляковимь въ слѣдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цъленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченною пилюлею, подслащеннымъ лфкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ риторической воды. Много было сделано для языка, для стиха, кое-что было сдёлано и для поэзін; но поэзін, какъ поэзін, т. е. такой поэзін, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей, такой поэзін еще не было! Пушкинъ призванъ былъ быть живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. И такъ какъ его назначение было завоевать, усвопть навсегда русской землѣ поэзію, какъ нскусство, такъ, чтобъ русская поэзія имела потомъ возможность быть выражениемъ всякаго направления, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіею и перейти въ риемованную прозу, -- то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому даже самыя первыя незрълыя юношескія его произведенія, каковы: "Русланъ и Людмила", "Братья-Разбойники", "Кавказскій Плінникъ" и "Бахчисарайскій Фонтанъ", отм'ятили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзін. Всѣ, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидели въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкъ не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россією; онъ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дъвушками, охотинцами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкою отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это делалось не только въ столицахъ, но даже и въ увздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различие стиховъ отъ прозы заключается не въ риемъ и размъръ только, но что и стихи, въ свою очередь, могутъ быть и поэтическіе, и прозаическіе. Это значило уразум'єть поэзію уже не какъ что - то внішнее, но въ ея внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэть, который быль бы неизмёримо выше Пушкина, его появление уже не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что, постѣ Пушкина, поэзія уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому теперь уже слишкомъ слабый усивхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантъ, даже превосходя его въ этомъ отношенін, быль бы, подобно ему, преимущественно хуложникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ разко отдалились она отъ произведеній прежнихъ школъ, то еще болье художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, следовательно, обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ были и во время появленія ихъ въ свёть. Это понятно: поэма требуеть той зрелости таланта, которую даеть опыть жизни, —и этой зрёлости иётъ нисколько въ "Руслант и Людмилт", "Братьяхъ-Разбойникахъ" и "Кавказскомъ Пленникъ", а въ "Бахчисарайскомъ Фонтанъ" замътенъ только успъхъ въ искусствъ; но юность-самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуеть знанія жизни н людей, требуеть созданія характеровъ, — сл'єдовательно, своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуеть богатства ощущеній, —а когда же грудь человъка наиболъе богата ощущеніями, какъ не въ лѣта юности?

Тайна пушкинскаго стиха была заключена не въ пскусствъ "сливать послушныя слова въ стройные разміры и замыкать ихъ звонкою риемой", но въ тайнъ поэзін. Душъ Пушкина присуща была прежде всего та поэзія, которая не въ книгахъ, а въ природъ, въ жизни, - присуще художество, печать котораго лежить на "полномъ твореніп славы". Разумъ, это-духъ жизни, душа ея; поэзія, этоулыбка жизни, ея свътлый взглядъ, играющій всьми переливами быстро смѣняющихся ощущеній. Вывають женщины, одаренныя отъ природы радкою красотою, но которыхъ строго-правильныя черты лица поражають какою-то сухостью, а движенія лишены грацін; такія женщины могуть быть посвоему ослепительно блестящими и возбуждать удивленіе; но ихъ появленіе не заставить ничье сердце забиться отъ невъдомаго волненія; ихъ красота не родить любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзін. Такъ точно и природа, и жизнь возбуждали бы только холодное удивление, если-бъ онъ не были насквозь проникнуты поэзіею; не любовью—небеснымъ огнемъ жизни, а холодною сыростью могилы въяло бы отъ нихъ. Пусть свътила небесныя образуютъ собою стройные міры; не тімь только возвышають они душу созерцающаго ихъ человѣка, но поэзіею своего тапиственнаго мерцанія, но дивною красотою живой игры своихъ блёдно-огнистыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходъ Пиоагоръ видълъ не одну математику въ фактъ, но и слышалъ гармонію міровъ... Если-бъ солнце только грало и сватило, оно было бы не болье, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаетъ на землю яркій, весело дрожащій, радостно нграющій лучь, — и земля встрівчаеть этоть лучь улыбкою, а въ этой улыбкъ невыразимое очарованіе, неуловимая поэзія... Природа полна не однахъ органическихъ силъ, — она

полна и поэзіи, которая наиболье свидьтельствуеть о ея жизни: въ ея въчномъ движенін, въ колыханін ея лісовь, въ трепеть серебристаго листа, на которомъ любовно играетъ лучъ солнца, въ ропотъ ручья, въннін вътра, волнующаго золотистую жатву, разлить для челов ка таниственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые и радостные, какъ пъснь взвивающагося подъ небеса жаворонка... Человъкъ еще болъе исполненъ поэзін. Отчего вамъ такъ хочется расцъловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу? отчего такъ илъняють васъ н его блестящіе чистою радостію глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и резвость его движеній? — Что общаго между вами, измученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами, вами, челов комъ пожилымъ и мудрымъ, и между нимъ, ничего не понимающимъ, почти безсознательнымъ существомь? Зачёмъ же, торопливо бёжа но важному дёлу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дела, н съ улыбкою умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснёло, забота на мигь слетела съ него, и улыбка счастія на мгновеніе осв'ятила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувшій сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно зангравшій на его сыромъ полу?.. Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіею жизни... Вотъ прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредъленнаго выраженія — это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мыслей и стремленій, —словомъ, ничто не говорить вамъ въ этомъ лиць ни о какомъ рѣзко выпечатавшемся правственномъ качествъ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью-и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанія быть любимымъ ею; вы спокойно любуетесь прелестью ея движеній, грацією ея манеръ, — и въ то же время, въ ея присутствін, сердце ваше бъется какъ-то живъе, и кроткая гармонія счастія мгновенно разливается въ душт вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стонть; одно другого замфиить не можеть, но то и другое въ одинаковой степени составляеть потребность нашего духа. Воть почему древніе греки, въ своемъ поэтическомъ политензмѣ, обожествили не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цёломудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія... По ихъ религіозному созерцанію, исполненпому поэзін и жизни, богиня красоты обладала таниственнымъ поясомъ,-

.... всё обаянія въ немъ заключались: Въ немъ и любовь и желанія, въ немъ и знакомства и просьбы, Льстивыя рёчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобъ выразить всю сплу неотразимаго вліянія на

душу и сердце человѣка поэзіи Гомера, греки говорили, что онъ похитилъ поясъ Афродиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладѣлъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дѣйствительность подъ особеннымъ угломъ зрѣпія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтическій. Муза Пушкина, это—дѣвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородною простотою, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болѣе возвышены впртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта

форма сдѣлалась ей второю природою.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходять далье 1819 года и съ каждымъ сльдующимъ годомъ увеличиваются въ числъ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ вниманіе на тѣ маленькія пьесы, которыя, и по содержанію, и по формв, отличаются характеромъ античности, и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинъ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзіи. Шластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность целаго, нежность и мягкость отделки въ этихъ пьесахъ обнаруживають въ Пушкинъ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между темъ онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокій художническій пистинкть замъняль ему изучение древности, въ школъ которой воспитываются всё европейскіе поэты. Этой поэтической натурѣ ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферѣ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдъ бы ни встрѣтилъ онъ ихъ, свободно и охотно ложились на полотив подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткъ Кострова перевести "Иліаду" и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; но, несмотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гивдичемъ "Пліады", на русскомъ языкъ не было ни одной строки, ни одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музою эллинской, и который превосходно перевель насколько пьесь изъ антологіи. Пушкинъ почти ничего не переводиль изъ греческой антологіи, но писаль въ ея духѣ такъ, что его оригинальныя ньесы можно принять за образдовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонъ Пушкина большое преимущество и въ достоинствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински, или какъ артистически (это одно и то же) разсказалъ Пушкинъ о своемъ художественномъ призванін, почувствованномъ имъ еще въ літа отрочества; эта пьеса называется "Муза":

Въ младенчествъ моемъ она меня любила И семиствольную цъвницу мнъ вручила; Она винмала мнъ съ улыбкой, и слегка По звоннимъ скважинамъ пустого тростинка Уже напгрывалъ я слабми перстами И гимны важные, впушенные богами, И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ. Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубовъ Прилежно я внималъ урокамъ дъвы тайной; И, радуя меня паградою случайной, Откинувъ локоны отъ милаго чела, Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала: Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антологическомъ родъ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

II сердце наполняль святымь очарованьемъ.

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умѣлъ сдѣлать изъ шестистопнаго ямба — этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ наросскимъ мраморомъ, для чудныхъ изваяній, видимыхъ слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ, — и вамъ покажется, что вы видите предъ собою превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, На утренией зарѣ я видѣлъ Нереиду. Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть; Надъ ясной влагою полубогиня грудь Младую, бѣлую, какъ лебедь, воздымала Н влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескѣ въ стихахъ Пушкина; мы не знаемъ ничего, что могло бы, въ этомъ отношеніи, сравниться съ этою пьескою:

Я върю,—я любимъ; для сердца нужно върить. Нътъ, милая моя не можетъ лицемърить; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцънный даръ, Нарядовъ и ръчей пріятная небрежность И ласковыхъ именъ младенческая итъжность.

Правда, послѣдній стихъ есть не болѣе, какъ вѣрный переводъ Андре Шенье—"Еt des noms caressants la mollesse enfantine"; но если гдѣ имѣестъ глубокій смыслъ выраженіе: "онъ беретъ свое, гдѣ ни увидитъ его", то, конечно, въ отношеніи къ этому стиху, который Пушкинъ умѣлъ сдѣлать своимъ.

Тъмъ же античнымъ духомъ въетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, ипсанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы "Трудъ" и "Чистый лоснится полъ; чаши блистаютъ" (первая—оригинальная, вторая—изъ Ксенофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпискою тоже превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежащей, впрочемъ, къ самому позднѣйшему времени поэтической дѣятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревинвая дѣва бранила; Къ ней на плечо преклопенъ, юноша вдругъ задремалъ. Дѣва тотчасъ умолкла, сопъ его легкій лелѣя, И улыбалась ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической деятельности особенно много писаль ихъ. Это понятно: созерцаніе любви и наслажденій жизни въ духъ древнихъ особенно соотвътствуетъ эпохѣ юности каждаго человѣка. Вотъ перечень всёхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: "Виноградъ", "О дева-роза, я въ оковахъ", "Доридь", "Ръдьеть облаковъ летучая гряда", "Неренда", "Дорида", "Муза", "Діонея", "Дъва", "Примъты", "Красавида передъ зеркаломъ", "Ночь", "Сафо", "Кобылица молодая", "Царско-сельская статуя", "Отрокъ", "Риома", "Трудъ", "Чистый лоснится полъ", "Славная флейта", "Феонъ", "Юношу, горько рыдая", "LVIII ода Анакреона", "Богъ веселый винограда", "Юноша, скромно инруп", "Мальчику" (изъ Катулла), "Узнаемъ коней ретивыхъ" (изъ Анакреона), "Ленла". Последнія семь, после превосходной пьесы "Юношу, горько рыдая", не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но следующія две просто неудачны: "Кто на сибгахъ возрастилъ Феокритовы нѣжныя розы" и "На переводъ Иліады".

Перечтите пьесы: "Домовому", "Недоконченная картина", "Возрожденіе", "Умолкну скоро я", "Земля и море", "Алексвеву", "Ч***ву", "Зачъмъ безвременную скуку", "Люблю вашъ сумракъ неизвъстный", и еще болье пьесы: "Простишь ли мит ревнивыя мечты", "Ненастный день потухъ", "Ты вянешь и молчишь", "Къ морю",—вглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ оборотъ мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найлете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ малѣйшей примѣси прозы, какъ старое крфикое вино, безъ малфишей примѣси воды. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному или слишкомъ отзывающемуся эпохою; но, со стороны поэзін выраженія и поэзін созерданія, вамъ нечего будеть осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзін: между ними не будеть никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ пьесъ Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ н о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статьт. Это не значить, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школъ не было ничего примъчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзін: напротивъ, въ нихъ много примѣчательнаго, и они исполнены поэзіи, но есть безконечная разница въ характерѣ ихъ поэзін и характерѣ поэзіп Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ, въ отношенін къ произведеніямъ Пушкина, то же, что

народная пёсня, исполненная души и чувства, народнымъ наитвомъ проптая простолюдиномъ, въ отношени къ лирической пёснё поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и проптой великимъ пёвцомъ.

Сравнимъ, для доказательства, пьесу замѣчательнѣйшаго изъ прежнихъ поэтовъ "Иѣсня" съ пье-

сою Пушкина "Непастный день потухъ":

О милый другь, теперь съ тобою радость! А я одинъ—и мой печаленъ путь; Живи, вкушай невинной жизни сладость; Въ душъ не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толиъ плъняемыхъ тобою, Ты друга прежняго, увядшаго душою; Веселье ихъ дъли,—ему отрадой будь; Его, мой другъ, не позабудь.

О милый другь, намь рокь велёль разлуку; Дни, мёсяцы и годы пролетять: Вотще къ тебё простру отъ сердца руку,— Ин голосъ твой, ни взорь меня не усладять; Ио в вдали съ тобой душа моя согласна: Любовь ни времени, ни мёсту не подвластна; Всегда, вездё ты мой хранитель-ангель будь, Меня, мой другь, не позабудь.

О милый другъ, пусть будетъ прахъ холодной То сердце, гдв любовь къ тебв жила: Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны; Туда душа моя ужъ все перенесла; Туда всечасное стремитъ меня желаньс; Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье; Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь— Меня, мой другъ, не позабудь.

Чувство, составляющее паеосъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а слідовательно и истины; оно можеть быть напущено на человъка мечтательностію и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазін; но и напущенное чувство, по странному противорѣчію человъческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сентиментальность и отсутствіе всякой страстности, есть голосъ души, языкъ сердца, красноръчіе чувства; но оно-не поэзія. Его форма болье краснорычива, чымь поэтична; вы его выраженін, бользненно-грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозанческое, темное, лишенное мягкости и нежности художественной отделки. А между тёмъ это одно изъ лучинхъ произведеній старой школы русской поэзін и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пьесою Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла По небу стелется одеждою свиндовой; Какъ привидъніе, за рощею сосновой

Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мий наводить!
Лалеко тамъ луна въ сіяніп восходить;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой
Подъ голубыми небесами...

Подъ голубыми небесами...
Вотъ время: по горъ теперь идетъ она
Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами;
Тамъ, подъ завътными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна...

Одна... никто предъ пей не плачетъ, не тоскуетъ: Никто ея колънъ въ забвенън не пълуетъ; Одна... ничънмъ устамъ она не предаетъ Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бълосиъжныхъ.

Никто ея любви небесной не достоинъ. Не правда-ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ. Но если

Здёсь не то: въ павосё стихотворенія столько жизни, страсти, истины!.. Луна, восходящая надъ сосновою рощею, напоминаетъ поэту другую луну, которая, въ это томительное для его души время, восходить, далеко, тамъ, гдв природа такъроскошно прекрасна, -- и поэтъ предается невольно мечтъ о ней, которая въ эту пору одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть, тренещущая за свое блаженство, заставляеть его успоконвать себя мыслію, что онаодна, и что ему должно быть спокойнымъ... И сколько жизни, какой энергическій порывъ страсти высказывается въ словъ: "но если", отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихь, даже отдъльно взятомъ, такъ и виденъ следъ художническаго резца, оживляющаго мраморъ!-Какая безконечная разница!..

Чтобъ еще болѣе показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ, по смыслу статьи нашей), сдѣлаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и прекрасной пьесѣ Жуковскаго, принадлежащей уже къ позднѣйшему времени его поэтической дѣятель-

ности:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты, Гдѣ милому мгновенье лишь дано, Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты, И гдѣ навѣкъ минувшее одно... Почто-жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено? Внимая гласъ надежды, намъ поющей, Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Здёсь радости—не наше обладанье. Пролетные плёнители земли, Лишь по пути запосить къ намъ предапье О благахъ, намъ обёщанныхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный—страданье; Ему на часть судьбы пасъ обрекли; Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ; Земная жизнь—страданія питомецъ.

Это уже не "напущенное" чувство: нѣтъ, это вопль страшно потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, пстекающаго кровью сердца, это—чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болѣе краспорѣчіе, чѣмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно; во всей формѣ этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замѣтно преобладаніе метафоры. Разумѣется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Пушкина "19 ок-

тября"? Послѣ обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока еще мы тутъ! Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ: Кто въ гробѣ спитъ, кто дальпій сиротѣетъ; Судьба глядитъ, мы вянемъ; дин бѣгутъ; Невидимо склоняясь и хладѣя, мы близимся къ началу своему... Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лицея Торжествовать прійдется одному, — Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣпій Докучный гость и лишній, и чужой, Онъ вспоминтъ насъ и дни соединеній, Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и, вмёсть съ тёмъ, свётлая скорбь! каждая мысль сама по себё такъ исполнена поэзін, независимо отъ формы, вполить художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всёхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ покольній, дрожащею рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ,—это не просто поэтическіе стихи: это поэтическая картина! Но не въ духѣ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствъ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой, хоть печальной, Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынъ я, затворникъ вашъ опальной, Его провелъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбъ побъды надъ собою: онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владълъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дъйствительности, который на "здъсь" указывалъ ему, какъ на источникъ и горя, и утъшенія, и заставлялъ его искать цъленіе въ той же существенности, гдъ постигла его болъзнь. И, право, въ этой силъ, опирающейся на внутреннемъ богатствъ своей натуры, болъе въры въ промыселъ и оправданіе путей его, чъмъ во всъхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажуть, можеть быть, что мы сравнили между собою только по нёскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ пьесъ, а не цёлыя пьесы. Выписка вполит такихъ огромныхъ пьесъ была бы неумъстна въ журнальной статьъ; притомъ же пьесы эти должны быть слишкомъ извёстны каждому образованному читателю. Кто хочеть, пусть самъ сравнить ихъ въ цёломъ: онъ тогда увидить еще ленфе, что и въ цфломъ огромное преимущество на сторонъ пьесы Пушкина, потому что, несмотря на ея значительную величину, она вездъ ровна, вездъ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилась изъ взволнованной души поэта, темду темъ какъ поэма Жуковскаго очень неровна, нотому что не чужда мъстъ растянутыхъ, холодныхъ и вялыхъ, почему ее трудно прочесть заразъ. Первая пьеса, это-арія, пропетая певцомь, который вполне владееть своимъ голосомъ, не даетъ пропасть ни одной ноткъ, не ослабветь ни на мгновение отъ начала до

конца арін... Вторая пьеса, это-арія, пропѣтая мъстами превосходно, а мъстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ обстоятельствъ, потому что особенная принадлежность поэзін Пушкина и одно изъ главнійшихъ преимуществъего передъ поэтами прежнихъ школъполнота, оконченность, выдержанность и стройность созданій. Поэзія чувства, поэзія естественная, не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и отгого стройность и соразмърность исчезають въ плодовитости. Въ поэзін художественной — соразмірность, стройность, полнота и ровность бывають уже естественнымъ слёдствіемъ творческой концепціи, художественной мысли, лежащей въ основанін поэтическаго произведенія. У Пушкина никогда не бываеть ничего лишняго, ничего недостающаго, но все въ муру, все на своемъ мѣстѣ; конецъ гармонируетъ съ началомъ,---и, прочитавъ его пьесу, чувствуешь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу художникомъ.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи. Его "Онѣгинъ", напримѣръ, есть поэма современной, дѣйствительной жизни не только со всею ея поэзією, но и со всею ея прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мирныхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ—

О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ;

туть и мечтательный поэть Ленскій, и тривіальный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлою въ рукъ, дверь кофейной, — и всъ они, каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзін. Пушкину не нужно было ѣздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здёсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея въчносърымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ен богатыхъ и бёдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или льта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мфрф, на то время, пока не увидите его же картины весны или лъта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно; Но мив она мила, читатель дерогой: Красою тихою, блистающей смиренно, Какъ нелюбимое дитя въ семъв родной, Къ себъ меня влечеть. Сказать вамъ откровенно: Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной; Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславной, Умълъ я отыскать, мечтою своенравной. Какъ это объяснить? Мий правится она, Какъ, въроятно, вамъ чахоточная дъва Порою правится. На смерть осуждена, Бъдняжка клонится безъ ропота, безъ гивва; Улыбка на устахъ увянувшихъ видна; Могильной пропасти она не слышитъ зъва; Пграетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ, Она жива еще сегодия—завтра иѣтъ. Унылая пора! очей очарованье! Пріятна миѣ твоя прощальная краса; Люблю я пышное природы увяданье, Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса, Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И рѣдкій солица лучъ, и первые морозы, П отдаленныя сѣдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта—этой "карикатуры южныхъ зимъ": она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декораціонныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзін:

> Морозъ и солице; день чудесный! Еще ты дремлешь, другъ прелестный. Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты нѣгой взоры; Навстръчу съверной Авроры, Звъздою съвера явись!

Вечоръ, ты поминшь, выюга злилась, На мутномъ пебъ мгла носилась; Луна, какъ блъдное пятно, Сквозь тучи мрачныя желтъла, Н ты печальная сидъла, — А пынче... погляди въ окно:

Подъ голубыми небесами Великолбиными коврами, Влестя на солнцъ, сиътъ лежитъ: Прозрачный лъсъ одинъ чернъетъ, и ель сквозъ иней зеленъетъ, и ръчка подо льдомъ блеститъ.

Вся комната янтарнымъ блескомъ Озарена. Веселымъ трескомъ Трещитъ затопленная печь. Пріятно думать о лежанкѣ. По знаешь: не велѣть ли въ санки Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снѣгу, Другъ милый, предадимся бѣгу Нетерпѣливаго коня И навѣстить поля пустыя, Лѣса, недавио столь густые, И берегъ милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно вёрна русской дёйствительности, изображаеть ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи общій голось нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только въ половину вёрнымъ. Народный поэтъ—тотъ, котораго весь народъ знаетъ, какъ, напримёръ, знаетъ Франція своего Беранже; національный поэтъ—тотъ, котораго знаютъ всё сколько-нибудь образованные классы, какъ, напримёръ, иёмщы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ ноетъ себё доселё "Не бёлы-то снёжки", не подозрѣвая даже того, что поетъ стихи, а не прозу... Слёдовательно, съ этой стороны, смёшно было бы

и говорить объ эпитетъ "народный" въ примъненін къ Пушкину или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово "національный" еще обширнѣе въ своемъ значенін, чѣмъ "народный". Подъ "народомъ" всегда разумъютъ массу народонаселенія, самый низшій и основной слой государства. Подъ "нацією" разумьють весь народь, всь сословія, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тіло. Національный поэть выражаетъ въ своихъ твореніяхъ и основную, безразличную, неуловимую для определенія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и определенное значение этой субстанціальной стихіи, развившейся въ жизни образованнъйшихъ сословій націи. Національный поэть-великое дёло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизни, ибо былъ ие только русскій, но притомъ русскій, над'яленный отъ природы геніальными силами; однако-жъ въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзін, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій такть. Онъ въ высшей степени обладаль этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляеть одну изъглавныхъ сторонъ художинка. Прочтите его чудную драматическую поэму "Русалка": она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму "Каменный Гость": она, и по природъ страны, и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышитъ воздухомъ Испанін; прочтите его "Египетскія Ночи": вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ прим'тровъ удивительной способности Пушкина быть, какъ у себя дома, во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно н этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истиною рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались върностію природъ? Чтобъ изслъдовать основательнъе этотъ вопросъ, мы считаемъ нужнымъ сдёлать довольно большую выписку изъ статьи Гоголя "Нъсколько словъ о Пушкинъ":

"При имени Пушкина тотчасъ осъняетъ мысль русскомъ національномъ поэтъ. Въ самомъ дълъ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можеть болье назваться національнымь; это право рѣшительно принадлежить ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконъ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болье всыхь, онь далье раздвинуль ему границы н болъе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можеть быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человъкъ въ его развитін, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двъсти лътъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характерь отразились въ такой же чистоть, въ такой очищенной красотъ, въ какой отражается ландшафть на выпуклой поверхности оптическаго

"Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, повабывшись, стремится русскій, и которое всегда правится свъжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свътъ. - Судьба какъ нарочно забросила его туда, гдъ границы Россіи отличаются ръзкою, величавою характерностью; гдф гладкая неизмфримость Россін перерывается подоблачными горами и обвъвается югомъ. Исполнискій, покрытый въчнымъ енъгомъ Кавказъ среди знойныхъ долинъ поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послъднія цъпи, которыя еще тяготъли на свободныхъ мысляхъ. Его плънила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, нхъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; н съ этихъ поръ кисть его пріобрѣла тотъ щирокій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ-слогъ его молнія; онъ такъ же блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстрве самой битвы. Опъ одинъ только пввецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолъпными крымскими ночами и садами. Можеть быть, оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣе тамъ, гдъ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означиль всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную магическую силу: имъ изумлялись даже тъ, которые не имъли столько вкуса и развитія душевных способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смълое болъе всего доступно, сильнъе п просторнъе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждеть одного пеобыкновеннаго. Ни одинъ поэть въ Россіи не имълъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кстати и некстати считали обязанностію проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имъло въ себъ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ творенін, уже оно расходилось повсюду.

Онъ при самомъ началъ своемъ уже быль націоналенъ, потому что истинная національность состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда напіоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей напіональной стихін, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать о тёхъ достоинствахъ, которыя составляють принадлежность Пушкина, отдичающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротъ описанія и въ необыкновенномъ искусствъ немногими чертами означить весь предметь. Его эпитеть такъ отчетисть и смълъ, что иногда одинъ замъняетъ цълое описаніе; кисть его летаеть. Его небольшая пьеса всегда стонть цёлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесь вмъщалось столько величія, простоты и силы, сколько

"Но послъднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всъмъ своимъ грознымъ величіемъ и державновозносящеюся изъ-за облакъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ел обыкновенныя равнины, предался глубже изслъдованію жизни и правовъ своихъ соотечественниковъ и захотълъ быть вполит напіональнымъ поэтомъ,—его поэмы

уже не вевхъ поразили тою яркостью и ослъпительной смълостью, какими дышить у него все, гдъ ин явияются Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

"Явленіе это, кажется, не такъ трудно разръшить: будучи поражены смълостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всъ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія являлись предметомъ его поэзін, позабывая, что нельзя тъмн же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болъе спокойный и гораздо менъе исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицъ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ; представь дёла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были. Но попробуй поэть, послушный ея велънью, изобразить все въ совершенной истинь н такъ, какъ было, она тотчасъ заговорить: это вяло, это слабо, это не хорощо, это инмало не похоже на то, что было. Масса народа похожа въ этомъ случав на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умълъ скрыть всъхъ ея недостатковъ. Русская исторія только со временн послъдняго ея направленія при императорахъ пріобрътаеть яркую живость; до того характеръ народа большею частію быль безцвѣтень; разпо-образіе страстей ему мало было извѣстно. Поэть не виновать; но и въ народъ тоже весьма извинительное чувство придать большій разміврь ді-ламь своихъ предковь. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себъ не сохраняеть сильнаго жара, тогда толна почитателей, толна народа на его сторонъ, а вмъсть съ инмъ и депьги; нли быть върну одной истинъ, быть высокимъ тамъ, гдъ высокъ предметь, быть ръзкимъ и смълымь, гдв истинно резкое и смелое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдт не кипптъ происшествіе. Но въ этомъ случав, прощав, толпа! ея не будетъ у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и ръзокъ, что не можеть не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избраль поэть, потому что хотыль остаться поэтомъ и потому что у всякаго, кто только чувствуеть въ себъ искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой таланть такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмъ, вольный, какъ воля, самъ себъ и судія, и господинь, гораздо ярче какого-нибудь засъдателя, и, несмотря на то, что онъ заръзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегъ цёлую деревню, однако же онъ болъе поражаеть, сильнъе возбуждаеть въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ нетертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода кръпостныхъ и свободныхъ душъ.-- Но тотъ п другой — они оба явленія, принадлежащія къ пашему міру; они оба должны нить право на наше вниманіе, хотя по естественной причинъ то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъе поражаеть наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть не больше, какъ нерасчеть поэта, перасчеть передъего многочисленною публикою, а не передъ собою. Опъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже, можетъ быть, еще болье пріобрътаеть его, но только въ глазахъ пемногихъ истинныхъ цънителей. Миъ пришло на память одно происшествіе изъ моего д'ятства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планъ котораго рас-

кидывалось сухое дерево. Я жиль тогда въ деревић; знатоки и судъи мои были окружные сосъди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свъжіе, хорошо растущее. а не сухое. Въ дътствъ миъ казалось досадно слышать такой судъ, но послъя изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпъ. Сочинения Пушкина, гдъ дышить у него русская прпрода, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская прпрода. Ихъ только можетъ совершенно понимать тоть, чья душа носить въ себъ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нъжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пъсни и русскій духъ, потому что. чъмъ предметь обыкновенные, тъмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцънены послъднія его поэмы? Опредълиль ли, понялъ ли кто "Бориса Годунова", это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней неприступной ноэзін, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — По крайней м'вр'к печатно нигдъ не произнеслась имъ върная оцънка. н они остались доныпъ не тронуты".

Все это очень справедливо, особенно опредъленіе національнаго поэта: "Поэть даже можеть быть и тогда національнымь, когда описываеть совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихін, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами". И, если хотите, съ этой точки зрвнія, Пушкинъ болье національно-русскій поэть, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но дело въ томъ, что нельзя опредълить, въ чемъ же состоить эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствують и говорять они сами? Прекрасно! Да какъ же чувствуютъ и говорять они? чёмъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?.. Вотъ вопросы, на которые не можеть дать ответа настоящее, ибо Россія по преимуществу-страна будущаго...

Обращаясь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ павосъ поэзін Пушкина, замътимъ еще его удивительную способность дёлать поэтическими самые прозанческіе предметы. Что, напримъръ, можетъ быть прозапчиве вывзда въ саняхъ моднаго франта въ сюртук'в съ бобровымъ воротникомъ? Йо у Пушкина

это-поэтическая картина:

Ужъ темно; въ санки онъ садится: Пади! пади!"-раздался крикъ; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротникъ.

Или что можетъ быть прозапчиве такой мысли, что-де въ городъ не было мостовой, и всъ тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дѣ-лать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина, въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недъль пять-шесть Одесса, По волъ бурнаго Зевеса, Потоплена, запружена, Въ густой грязи погружена. Вст домы на аршинъ загрязнуть, Лишь на ходуляхъ пъшеходъ По улицъ дерзаетъ вбродъ: Кареты, люди тонуть, вязнуть, И въ дрожкахъ воль, рога склоня, Смъняетъ хилаго коня. Но ужъ дробитъ каменья молотъ, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный городъ, Какъ будто кованой броней.

Пля Пушкина также не было такъ пазываемой низкой природы; ноэтому онъ не затруднялся никакимъ сравненіемъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшійся подъ-руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо, напримъръ, это, взятое изъ низкой природы, сравненіе:

> Стократь блажень, кто предань въръ, Кто, хладный умъ угомонивъ, Поконтся въ сердечной нъгъ, Какъ пьяный путникъ на ночлегъ.

Или, какъ прекрасна у него вотъ эта "низкая природа":

> Иныя нужны мив картины: Люблю песчаный косогоръ, Передъ избушкой двъ рябины, Калитку, сломанный заборъ, На небъ съренькія тучи, Передъ гумномъ соломы кучи, Да прудъ подъ сънью липъ густыхъ — Раздолье утокъ молодыхъ; Теперь мила мив балалайка Да пьяный топоть трепака Передъ порогомъ кабака; Мой идеаль теперь-хозяйка, Мон желанія—покой, Да щей горшокъ, да самъ бельшой...

Тоть еще не художникъ, котораго поэзія трепещетъ и отвращается прозы жизни, кого могутъ вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника-гдѣ жизнь, тамъ и поэзія.

Талантъ Пушкина не былъ ограниченъ тѣсною сферою одного какого-нибудь рода поэзін: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сделаться превосходнымъ драматургомъ, какъ внезапная смерть остановила его развитіе. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поэзін. Въ последнее время своей жизни онъ все болье и болье наклонялся къ драмъ и роману и, по мъръ того, отдалялся отъ лирической поэзіи. Равнымъ образомъ, онъ тогда часто забывалъ стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія великаго поэтическаго таланта въ наше время. Лирическая поэзія, обнимающая собою міръ ощущений и чувствъ, съ особенною силою кипящихъ въ молодой груди, становится тесною для мысли возмужалаго человъка. Тогда она дълается его отдыхомъ, его забавою между дѣломъ. Дѣй-ствительность современнаго намъ міра полнѣе, глубже и шире въ романъ и драмъ.—О поэмахъ п драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ говорить въ следующей статье, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

Пушкина накогда сравнивали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замъчали, что это сравнение болье чымь ложно, пбо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натуръ, а следовательно и по наоосу своей поэзін, какъ Байронъ и Пушкинъ. Мнимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогъ и бъдъ его юность, думали видеть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомънибудь десяткъ ходившихъ но рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смілыхъ, но тъмъ не менъе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видъть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы болье ошибиться во мньнін о человъкъ! Въ тридпать лътъ Пушкинъ распрощался съ тревогами свой кипучей юности не только въ стихахъ, но и на дълъ. Надъ "рукописными" своими стишками онъ потомъ самъ смѣялся. Но все это въ сторону; главное дёло въ томъ, что натура Пушкина (и въ этомъ случай самое вфрное свидътельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бывають следствіемъ страстно д'ятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою могучею мыслію, въ жертву которой приносится и жизнь, и таланть. Онъ не принадлежаль исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринъ; въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія онь, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, также, какъ и въ природѣ, видъль только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не пначе, п къ достоинству или недостатку Нушкина должно это отнести? Если-бъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то, безъ сомнѣнія, это было бы въ немъ больше, чёмь недостаткомь; но какь онь въ этомь отношенін быль только вфрень своей натурф, то за это его также нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждають нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основанін, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмёстё съ темъ такъ человечно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнически спокойной, столь граціозной. Что составляеть содержание мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отридаетъ, ничего не проклинаеть, на все смотрить съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна; она умиряетъ муки души и целитъ раны сердца. Общій колорить поэзін Пушкина, и въ

особенности лирической-виутренняя красота человѣка и лельющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно-человѣческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здъсь разумъемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нътъ, каждое чувство, лежащее въ основанін каждаго его стихотворенія, изящно. граціозно и виртуозно само по себѣ: это не просто чувство челов'вка, но чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтение особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачноидеальнаго; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладетъ на лицо жизни бълилъ и румянъ, но показываетъ ее въ ся естественнон, истинной красотъ; въ поэзін Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земли. Поэтому поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, -- ложь, которая ставить человъка во враждебныя отношенія съ дъйствительностью, при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляеть безвременно и безплодно истощать свои силы на гибельную съ ней борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человъческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтверждение нашей мысли?-- Почти каждое стихотвореніе Пушкина можеть служить доказательствомъ. Если-бъ мы захотёли прибѣгнуть къ выпискамъ, имъ не было бы конца. Намъ стоило бы только понменовать цёлый рядъ стихотвореній; но, чтобъ мысль наша имъла надъ читателемъ убъждающую силу живого впечатльнія, выпишемь здѣсь нѣсколько пьесъ совершенно различнаго тона и содержанія.

Ты вяпешь и молчишь; печаль тебя ситдаетъ; На дъвственныхъ устахъ улыбка замираетъ. Давно твоей иглой узоры и цвъты Не оживлялися. Безмольно любишь ты Грустить. О, я знатокъ въ дъвической печали! Давно глаза мон въ душъ твоей читали. Любви не утаншь: мы любимъ, и, какъ насъ, Дъвицы нъжныя, любовь волнуеть васъ. Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ ними Красавець молодой съ очами голубыми, Съ кудрями черными? Красивешь?.. Я молчу, Но знаю, знаю все; и если захочу, То назову его. Не онъ ли въчно бродитъ Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводить? Ты втайнъ ждешь его. Идетъ, и ты бъжншь, И долго вслъдъ за нимъ, незримая, глядишь. Никто на праздникъ блистательнаго мая, Межъ колесницами роскошными летая, Никто изъ юношей свободиви и смълви Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама грація, полная души и нѣжности, страстная и "илѣнительная", выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другого русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались изящио-гуманное чувство съ пластически-изящною формою.

Когда, любовію и пѣгой упоенный, Безмолвио предъ тобой колънопреклоненный, Я на тебя глядълъ и думалъ: ты-моя, Ты знаешь, милая, желалъ ли славы я; Ты знаснь: удаленъ отъ вътренаго свъта, Скучая суетнымъ прозваніемъ поэта, Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ Жужжанью дальнему упрековъ и похвалъ. Могли-ль меня молвы тревожить приговоры, Когда, склонивъ ко мнъ томительные взоры II руку на главу мнѣ тихо наложивъ, Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастливь? Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой другь, меня не позабудешь? А я стъсненное молчание хранилъ, Я наслажденіемъ весь полонъ быль, я мниль, Что пътъ грядущаго, что грозный день разлуки Не придеть никогда... И что же? Слезы, муки Намѣны, клевета,—все на главу мою Обрушилося вдругъ... Что я, гдѣ я? Стою, Какъ путникъ молніей постигнутый въ пустынъ, II все передо мной затмилося! И ныпъ Я новымъ для меня желапіемъ томимъ: Желаю славы я, чтобъ именемъ монмъ Твой слухъ былъ пораженъ всечасно, чтобъ ты мной Окружена была, чтобъ громкою молвою Все, все вокругъ тебя звучало обо мив, Чтобъ, гласу върному внимая въ тишинъ, Ты помнила мон послъднія моленья Въ саду, во тьмъ ночной, въ минуту разлученья.

Это—чувство юноши; но воть оно же, уже чувство человѣка возмужалаго, — и въ немъ та же трогающая душу гуманность, та же артистическая прелесть:

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ, Въ душт моей угасла не совстиъ; Но пусть она васъ больше не тревожитъ: Я не хочу печалить васъ ничтмъ. Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любилъ такъ пскренно, такъ нтжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконець, это изящно-гуманное чувство отзывается чёмъ-то благоуханно-святымъ въ испытанномъ, но не побёжденномъ жизнію поэті:

Пътъ, нътъ, не долженъ я, не смъю, не могу Волиеніямъ любви безумно предаваться! Спокойствіе свое я строго берегу— И сердцу не даю пылать и забываться. Иътъ, полно мнъ любить. Но почему-жъ порой не погружуся я въ минутное мечтанье, когда печаянно пройдетъ передо мной Младое, чистое, небесное созданье,— Пройдетъ и скроется? Ужель не можно мнъ Глазами слъдовать за пей, и въ тишинъ Благословлять ее на радость и на счастье, И сердцемъ ей желать всъ блага жизни сей: Веселья, миръ души, безпечные досуги, Все—даже счастіе того, кто избранъ ей, кто милой дъвъ дастъ названіе супруги?...

Кром'в уже поименованных и, частію, вышисанных пами самобытных пьесъ изъ первой части, перечтите также следующія, которыя по-

нменуемъ мы теперь въ хронологическомъ порядкъ: "Сожженное письмо", "Я помню чудное мгновенье", "Зимняя дорога", Отвътъ Ө. Т**", "Ангелъ", "Соловей", "Близъ мѣстъ, гдѣ цар-ствуетъ Венеція златая", "Наперсникъ", "Пред-чувствіе", "Цвѣтокъ", "Не пой, красавида, при мив", "Городъ пышный, городъ бъдный", "Птичка", "Иностранкъ", "На холмахъ Грузін лежитъ почная тінь", "Не пліняйся бранной славой", "Повдемъ, — я готовъ", "Когда твои младыя лета", "Зима. Что дёлать намъ въ деревиѣ?", "Кал-мычкъ", "Что въ имени тебъ моемъ?", "Брожу ли я вдоль улиць шумныхъ", "Отвътъ Анониму", "Пью за здравіе Мери", "Цыганы", "Мадонна", "Зимпій вечеръ", "Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынь я", "Анчаръ", "Подъвзжая подъ Ижоры", "Примъты", "Красавица", (въ альбомъ Г***.), "Признаніе" (къ Александръ Ивановиъ О—й), "Желаніе", "Пажъ, или иятнадцатильтній король", "Ея глаза", "Разставаніе", "Романсъ" ("Предъ испанкой благородной"), "Посл'єдніе цв'єты", "Кто знаетъ край, гдѣ небо блещетъ". Здѣсь не названа только "Разлука" ("Для береговъ отчизны дальной"),—не названа для того, чтобъ сказать, что едва ли граціозно-гуманная муза Пушкина создавала что-нибудь благоуханиве, чище, святве и, вмёстё съ тёмъ, изящнёе этого стихотворенія и по чувству, и по формъ.

Какъ на постъднее доказательство преобладанія въ Пушкин художническаго элемента надъ всъми другими, какъ доказательство, что онъ, взявшись за перо, по волѣ или по неволѣ, уже не могъ не быть художникомъ даже въ свѣтскомъ комплиментѣ, въ привѣтствіп, возложенномъ приличіемъ, указываемъ на пьесы: "Баратынскому изъ Бессарабін", "Примите Невскій Альманахъ", "Княгинѣ З. А. Волконской", "Отвѣтъ Катенину", "И. В. С*****, "Отвѣтъ А. И. Готовцевой", "Е. И. У****вой", "Сѣтованіе", "А. Д. Баратынской", "Д. В. Давыдову" (при посылкѣ "Исторіи Пугачевскаго Бунта"), "Къ женщинѣ-поэту", "В. С. ф***** (при полученіи полученіи поры его), "Въ Альбомъ"

("Долго сихъ листовъ завътныхъ").

Мы сказали, что чтеніе Пушкина должно сильно дъйствовать на воспитаніе, развитіе и образованіе изящно-гуманнаго чувства въ человъкъ. Да; не во гитвъ будь сказано нашимъ литературнымъ старов трамъ, нашимъ сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ анти-эстетическимъ резонерамъ,никто, ръшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжаль себъ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не умерло зерно эстетическаго и человъческаго чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому что мы не знаемъ на Руси болье правственнаго, при великости таланта, поэта, какъ Пушкинъ. Старовфры еще не могуть забыть-кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того, кто другого. Что касается до моралистовъ и резонеровъ (между которыми много найдете людей ограниченныхъ, хотя и добрыхъ, и даже благонамъренныхъ, но еще болъе фарисеевъ и тар-

тюфовъ), — они, ратуя противъ Пушкина, какъ безправственнаго поэта, обыкновенно любять ссылаться или на шаловливыя въ эротическомъ родѣ произведенія его юности, и на поэму "Русланъ п Людмила", не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей; или на стихотворенія—"Демонъ", "Даръ напрасный, даръ случайный". Но перваго они не ставять же въ випу Державину-автору "Мельника" и многихъ довольно вольныхъ анакреонтическихъ стихотвореній, ибо, несмотря на нихъ, считають его въвысшей степени "правственнымъ" поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаясь "Душенькою" Богдановича, они тоже не думають находить ее "безиравственною". Чемь же Пушкинъ виноватъ передъ ними? Этого они сами пе понимають, и потому оставимь ихъ въ поков... Относительно же "Демона" мы еще будемъ говорить о томъ, что пушкинскій демонъ не изъ самыхъ онасныхъ, и что это -- скорфе чертенокъ, нежели чорть. Прибавимъ къ этому только, что, и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имѣлъ право и не могь не знать иногда муки сомивнія: ибо этой муки совершенно чужды только натуры мелкія, ничтожныя, сухія и мертвыя. Пьеса "Даръ напрасный, даръ случайный есть не что иное. какъ порождение одной изътъхътяжелыхъминутъ нравственной апатін и душевнаго отчаянія, которыя неизбъжны, какъ минуты, для всякой живой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выраженіе павоса пушкинской поэзін, а скорже-случайное противоржчіе паносу его поэзін. Призваніе Нушкина, характеръ и направленіе его поэзін гораздо болфе выражаются въ этомъ стихотворенін:

> Въ часы забавъ иль праздной скуки, Бывало, лиръ я моей Ввърялъ взижженные звуки Безумства, лъни и страстей.

Но и тогда струны лукавой Невольно звонъ я прерывалъ, Когда твой голосъ величавой Меня внезапно поражалъ.

Я лиль потоки слезь нежданныхь, И ранамь совъсти моей Твоихъ ръчей благоуханныхъ Отраденъ чистый быль елей.

И нынт съ высоты духовной Мнт руку простираешь ты И силой кроткой и любовной Смиряешь буйныя мечты.

Твоимъ огнемъ душа палима, Отвергла мракъ земныхъ суеть, И виемлетъ арфъ серафима Въ священиомъ ужасъ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніс, если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ,—поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болѣе, какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностію,

муза Пушкина умбеть глубоко страдать отъ диссонансовъ п противоръчій жизин; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душт своей идеала лучшей дтйствительности и вфры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаль уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязань Пушкинъ изящною елейностію, кротостію, глубиною и возвышенностію своен поэзін, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзін. Какъ бы то ни было, но, по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежить къ той школф искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изследованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой пстинной поэзін. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только, какъ удовлетворительный отвътъ на тревожные, бользненные вопросы настоящаго. Эту мысль мы поливе и ясиве разовьемь въ стать во Лермонтов в, въ которой постоянно будемъ имъть въ виду сравнение обоихъ

Въ стихотвореніи "Чернь" заключается художническое profession de foi Пушкина. Онъ презираеть чернь и на ея приглашеніе исправлять ее звуками лиры отвъчаеть словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія:

Подите прочь! какое дёло Поэту мирному до васъ? Въ развратъ каменъйте смъло: Не оживить вась лиры глась; Душъ противны вы, какъ гробы. Для вашей глуности и злобы Имъли вы до сей поры Бичи, темницы, топоры: Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ-полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы-ль у васъ метлу беруть? Не для экитейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ: Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Дъйствительно, смъшны и жалки тъ глупцы, которые смотрять на поэзію, какъ на искусство втискивать въ размъренныя строчки съ риемами разныя иравоучительныя мысли и требують отъ поэта непремънно, чтобъ онъ восиъваль имъ все любовь да дружбу и проч., и которые неспособны увидът поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нъть общихъ нравоучительныхъ мъстъ. Но если до истины можно доходить не тъмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тъмъ, чтобъ противоръчить имъ,—а тъмъ, чтобъ, забывая о ихъ существованіи, смотръть на предметъ глазами разума. Не только поэты, съ ихъ "вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами",

по и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравииваеть поэтовъ, не имъли бы никакого значенія, если-бъ набожная толиа не соприсутствовала алтарямь и жертвоприношеніямь. Толпа, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таинственной исихен народной жизни. Народъ (взятый, какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состоянін порождать изъ себя великихъ поэтовъ, не стоить названія народа или націи, -- съ него довольно чести называться просто илеменемъ. Ноэть, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можетъ ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромѣ людей ограниченныхъ и духовно-малолътнихъ, не обязываетъ ноэта воспивать непреминно гимны добродители и карать сатирою порокъ; но каждый умный человъкъ въ правъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвъты на вопросы времени, или, по крайней мфрф, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхь, неразрышнмыхь вопросовь. Кто поеть про себя и для себя, презирая толиу, тотъ рискуеть быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И, д'яйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдф онъ просто воплощаеть въживыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдѣ хочетъ быть мыслителемъ и рѣшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе "Поэтъ", въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что поэтъ, пока не потребуетъ его Аноллонъ къ священной жертвъ, ничтожнъе всъхъ инчтожныхъ дётей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваетъ съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орель; но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишить поэтами, которые ношлы, когда не иншуть, и становятся благородны н чисты, когда вдохновляются; но, темь не менее, вев видять въ нихъ теперь не болже, какъ великихъ людей на малыя дёла: всё знаютъ, что эти господа скоро выписываются и, изъ денегъ, громкими фразами, увтряють другихь въ томъ, чему нѣкогда сами вѣрили, но чему теперь уже сами первые не вфрять. Наше время преклонить кольни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарій на его творенія, а творенія—лучшее оправданіе его жизни. Гёте не принадлежаль къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіею; но практическій и историческій индифферентизмъ не далъ бы ему сділаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служение, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тъмъ не менъе были причиною постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумфренный восторгь возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношенін, пьесы; но въ нихъ видна была силь-

ная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чемъ совершение становился Иушкинъ, какъ художникъ, темъ более скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ состоянін одінить художественнаго совершенства его последнихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правъ была искать въ поэзін Пушкина болье правственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Между тъмъ избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурою и призваніемъ: онъ не паль, а только сделался самимъ собою, но, но несчастію, вътакое время, которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго вынгрывало искусство и мало пріобрѣтало общество. Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйти изъ заколдованнаго круга своей личности, — и со всею добросовъстностью человъка и художника написалъ свое превосходное стихотвореніе "Поэту":

Поэтъ, не дорожи любовію народной! Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ; Услышишь судъ глупца и смѣхъ толиы холодной; Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ. Ты—царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовершенствуя плоды высокихъ думъ, Не требуя наградъ за подвигъ благородной. Онѣ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой выспій судъ: Всѣхъ строже оцѣнить умѣспіь ты свой трудъ. Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ? Доволенъ, такъ пускай толиа тебя бранить, И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ, И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величи иепонятаго и оскорбленнаго художника... И когда онъ писалъ свои лучшія творенія—"Скупого Рыдаря", "Египетскія Ночи", "Русалку", "Мёднаго Всадинка", "Галуба", "Каменнаго Гостя", онъ всего менѣе разсчитывалъ на восторгъ публики—и потому не торопился издавать ихъ...

Изъ мелкихъ произведеній его болье другихъ отличаются присутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмъсть съ темъ національнаго чувства, въ истинномъ значенін этого слова, стихотворенія, посвященныя памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть нравственною точкою, въ которой должны сосредоточиться всв чувства, всв убъжденія, всь надежды, гордость, благоговъніе п обожаніе всёхъ русскихъ: Петръ Великій — не только творець бывшаго и настоящаго величія Россін, но и всегда останется путеводною звіздою русскаго народа, благодаря которой Россія будетъ всегда идти своею настоящею дорогою къ высокой цёли нравственнаго, человеческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ нигдъ не является ни столько высокимь, ни столько національнымь поэтомъ, какъ въ техъ вдохновеніяхъ, которымн обязанъ онъ великому имени творца Россіи. Эти стихотворенія достойны своего высокаго предмета.

Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ Петръ является въ "Полтавъ" и "Мъдномъ Всадпикъ ": о нихъ мы будемъ говорить въ слъдующей статьв. Изъ мелкихъ стихотвореній Петру посвящены только двѣ пьесы, -- но это перлы поэзін Пушкина. Кром'в простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженіи, есть что-то русское, народное въ самомъ тонв и складв этихъ ньесъ. Кто изъ образованныхъ русскихъ (если онъ только дъйствительно русскій) не знаетъ превосходной ньесы, носящей скромное и, повидимому, незначительное название "Стансовъ"? Эта пьеса драгоденна русскому сердцу въ двухъ отношеніяхъ: въ ней, словно изваянный, является колоссальный образъ Петра: въ связи съ нимъ въ ней находимъ поэтическое пророчество, такъ чудно и вполив сбывавшееся, о блаженствѣ нашихъ дней:

> Въ надеждѣ славы и добра Гляжу впередъ я безъ боязни; Начало славныхъ дией Петра Мрачнли мятежи и казни;

Но правдой онъ привлекъ сердца, Но нравы укротилъ паукой, И былъ отъ буйнаго стръльца Предъ инмъ отличенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой Онъ смъло съять просвъщенье, Не презпрадъ страны родной: Онъ знать ея предназначенье.

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ, Онъ всеобъемлющей душой На тронъ въчный былъ работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, Во всемъ будь пращуру подобенъ: Какъ онъ, неутомимъ и твердъ, И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

Какое величе и какая простота выраженія! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова—и л о т н и къ и р а б о т н и къ!.. Кому не извъстна также превосходная пьеса Пушкина—, Пиръ Петра Великаго"? Это—высокое художественное произведеніе, и въ то же время—народная пъсня. Вотъ передъ такою народностію въ поэзін мы готовы преклоняться; вотъ это—патріотизмъ, передъ которымъ мы благоговъемъ... А ужъ воля ваша, ни народности, ни патріотизма не видимъ мы ни искорки въ новъйшихъ "драматическихъ представленіяхъ" и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеною капустою, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ спрыскивать живою водою своей творческой фантазіи немножко дубоватые матеріалы народныхъ нашихъ иѣсенъ. Прочтите "Жениха", "Утопленника", "Вѣсовъ" и "Зимній Вечеръ",—и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзіи умѣлъ вызвать поэтъ своимъ волшебнымъ жезломъ изъ такихъ скудныхъ стихій... Эти пьесы въ тысячу разъ лучше его же такъ называемыхъ сказокъ, этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзіп... но о

нихъ рѣчь впереди. И если такихъ пьесъ, какъ "Женихъ", "Утопленникъ", "Вѣсы" и "Зимній Вечеръ", у Иушкина пемного, въ этомъ, конечно, виноваты ограниченность и бѣдность сферы нашей народной поэзін. Но Пушкинъ умѣлъ извлечь изъ пея дивную поэму, на половину фантастическую, на половину фактически-положительную, и въ обоихъ случаяхъ удивительно поэтически вѣрную дѣйствительности русской жизни. Мы говоримъ о "Русалъъ", о которой, вирочемъ, рѣчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ пушкипской поэзіи, ръзко отдѣляющимъ ее отъ прежней школы, принадлежить его художническая добросовъстность. Нушкинъ ничего не преувеличиваетъ, шичего не украшаетъ, ничѣмъ не эффектируетъ, никогда не взводитъ на себя великолѣпныхъ, но пе испытанныхъ имъ чувствъ, и вездѣ является такимъ, каковъ былъ дѣйствительно. Такъ, напримъръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!.. Но сердце наше—вѣчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подѣйствовала на Нушкина роковая вѣстъ:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала...
Увяла наконецъ, и, върно, падо мпой Младая твнь уже летала;
Но недоступная черта межъ нами есть. Напрасно чувство возбуждалъ я;
Нзъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти въсть И равнодушно ей внималъ я:
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою пъжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдв муки, гдв любовь? Увы! въ душъ моей Для обядной легковърной тъни,

Не нахожу ни слезъ, ни пени.

Да, непостижимо сердце человъческое, и, можетъ быть, тотъ же самый предметь внушиль впоследствін Пушкину его дивную "Разлуку" ("Для береговъ отчизны дальной")... Въ отношени къ художнической добросовфстности Пушкина, такова же его превосходная пьеса "Воспоминаніе": въ ней онъ не рисуется въ мантін сатанинскаго величія, какъ это ділають часто мелкодушные талантики, но просто, какъ человѣкъ, оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совъсти... Та же художническая добросовфстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любять щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывалыми красками и изъ русской природы смело делая пародію на птальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнъйшихъ и, въроятно, по этой причинъ, наименъе замѣченныхъ и одѣненныхъ пьесъ Пушкина-"Капризъ":

Румяный критикъ мой, насмёшникъ толстопузой, Готовый въкъ трупить надъ нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что-жъ ты нахмурплся? Нельзя ли блажь оставить И пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здёсь видъ: избушекъ рядъ убогой, За ними черноземъ, равинны скать отлогой, Падъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гдъ-жъ нивы свътлыя? Гдъ темпые лъса? Гдв рвчка? На дворв, у инзкаго забора, Два бъдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора, Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совстмъ обнажено, А листья на другомъ размокли и, желтъя, Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго борея. И только. На дворъ живой собаки нътъ. Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двъ бабы вслъдъ. Безъ шапки онъ; несеть подъ-мышкой гробъ ребенка.

И кличеть издали лѣниваго попенка, Чтобъ тоть отда позваль, да перковь отвориль: Скорѣй, ждать некогда,— давно-бъ ужъ ехорониль!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Онъ созерцалъ ее удивительно вфрно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуеть ее, но не мыслить о ней. И это служить новымъ доказательствомъ того, что наоосъ его поэзін быль чисто-артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дійствовать на восинтаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ къмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имфетъ ифкоторое сходство, такъ болфе всего съ Гёте, и онъ еще болъе, нежели Гёте, можетъ дъйствовать на развитіе и образованіе чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество нередъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, въренъ своему художническому элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмъримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ: нбо Гёте-весь мысль, и онъ не просто изображаль природу, а заставляль ее раскрывать нередъ нимъ ея завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантенстическое созерданіе природы и-

> Была ему звъздная книга ясна И съ инмъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина опа была—полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ пушкинскаго созерцанія природы могутъ служить пьесы: "Туча" и "Обвалъ". Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, обѣ онѣ—живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напомпнаетъ Шекспира. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношеніи, на первыя. Превосходивйшія пьесы въ антологическомъ родѣ, запечатлѣныя духомъ древне-эллинской музы, подражанія корану, вполнѣ

передающія духъ поламизма и красоты арабской поэзін, -- блестящій алмазь въ поэтическомь вѣнцѣ Пушкина! "Въ крови горитъ огонь желанья", "Вертоградъ моей сестры", "Пророкъ" и большое стихотвореніе, родъ ноэмы, исполненной глубокаго смысла и названной "Отрывкомъ" (т. IX, стр. 183), представляють красоты восточной поэзін другого характера и высшаго рода и принадлежать къ величайшимъ произведеніямъ пушкинскаго генія-протея. Мы говорили уже о "Женихт", "Утопленникт", "Бъсахъ" и "Зимнемъ Вечеръ"—пьесахъ, образующихъ собою отдёльный міръ русско - народной поэзін въ художественной формь. "Пъсни Западныхъ Славянъ" болѣе, чѣмъ что-нибудь, доказывають непостижимый поэтическій такть Пушкина п гибкость его таланта. Извъстно происхождение этихъ пѣсенъ и продѣлка даровитаго француза Мериме, вздумавшаго посмѣяться надъ колоритомъ мѣстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти подаъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онъ дышать всею роскошью мъстнаго колорита, и многія изънихъ превосходны, несмотря на однообразіе — неизбѣжное, впрочемъ, свойство всёхъ народныхъ произведеній. "Подражанія Данту" можно счесть за отрывочные переводы изъ "Божественной Комедін", и они дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чемъ все доселе сделанные по-русски переводы въ стихахъ и прозе. "Начало поэмы" ("Стамбулъ гауры нынъ славятъ") какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ таланть по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ, въ этомъ отношенін, въ большихъ пьесахъ Пушкина!

Сдълаемъ теперь общій взглядъ на всё мелкія стихотворенія и поговоримъ о нѣкоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихсявъ первой части, мы говорили почти обо всѣхъ. При началѣ поэтическаго поприща Пушкина живо интересовала современная исторія, — направленіе, которому онъ скоро совершенно измѣнилъ. Онъ воспѣлъ смерть Наполеона; въ превосходной пьесѣ своей "Къ Морю" онъ принесъ достойную дань памяти Байрона, охарактеризовавъ его личность этими немногими, но сильными чертами:

Твой образъ былъ на немъ означень, Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ: Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ, Какъ ты, ничъмъ неукротимъ.

Андре Шенье быль отчасти учителемъ Пушкина въ древней классической поэзін, и въ элегін, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ, многими прекрасными стихами, вѣрно восироизвель его образъ. Въ превосходной пьесѣ "19 октября" мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ, какъ съ человѣкомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человѣка. Вся эта пьеса посвящена имъ восиоминанію объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежатъ уже къ прошедшему времени: такъ, напримѣръ, теперь, когда уже вывелись восторженные юноши - поэты, вродѣ Ленскаго (въ "Онѣгинѣ"), никто не говоритъ "о Шиллерѣ, о

славѣ, о любви", но пьеса отъ этого тѣмъ дороже для насъ, какъ живой памятникъ прошлаго.

"Сцена изъ Фауста" есть не переводъ изъ великой поэмы Гёте, а собственное сочинение Пушкина въ духѣ Гёте. Превосходная пьеса, но навосъ ея не совстмъ гётевскій. Прекрасная маленькая пьеска: "Воронъ къ ворону летитъ" есть передълка на русскій ладъ баллады Вальтеръ-Скотта. Пьесы, составляющія третью часть, бол'є проникнуты грустью, но не элегическою; это даже не грусть, а скорфе важная дума испытаннаго жизнію и глубоко всмотр*вшагося въ нее таланта. Чувство гуманности во многихъ пьесахъ этой части доходить до какого-то внутренняго просв'ятленія. Таковы въ особенности пьесы: "Когда твои младыя лѣта" и "Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ". Заключеніе послідней превосходно: есть что-то похожее на пантенстическое міросозерцаніе Гёте въ последнемъ куплеть: томимый грустнымъ предчувствіемъ близкаго конца, поэтъ говоритъ, что ему хотвлось бы заснуть навѣки въ родномъ краю, хотя для безчувственнаго тъла вездъ равно истлъвать-

II пусть у гробового входа Младая будеть жизнь пграть Н равнодупная природа Красою въчною сіять!

Изъ этого, какъ изъ многихъ, особенно большихъ, пьесъ Пушкина видно, что онъ поставлялъ выходъ изъ диссонансовъ жизни и примирение съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтанияхъ, а въ опирающейся на самое себя силъ

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе "Къ Вельможъ". Это — полная, дивными красками написанная картипа русскаго XVIII въка. Нъкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осмълнвались, въ своихъ полемическихъ выходкахъ, бросать тънь на характеръ великаго поэта, думая видъть лесть тамъ, гдъ должно видъть только въ высшей степени художественное постиженіе и изображеніе цълой эпохи въ лицъ одного изъ замъчательнъйшихъ ея представителей. Стихи этой пьесы—само совершенство, и вообще вся пьеса одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэтъ, съ дивною върностью изобразнвъ то время, еще болъе оттъняетъ его черезъ контрастъ съ нанимъ:

Все измънилося. Ты видъль вихорь бури, Паденіе всего, союзь ума и фурій, Свободой грозною воздвигнутый законъ, Подъ гильотиною Версаль и Тріанонъ, И мрачнымъ ужасомъ смъненныя забавы. Преобразился міръ при громахъ новой славы. Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Вольтеръ, Превратности судебъ разительный примъръ, Не успоконвшись и въ гробовомъ жилищъ, Донынъ странствуетъ съ кладбища на кладбище. Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ, Энциклопедіи скептическій причетъ И колкій Бомарше, и твой безпосый Касти,— Всъ, всъ уже прошли. Ихъ мнънья, толки, страсти Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя Все новое кипить, былое истребя. Свидътелями бывъ вчерашияго паденья, Едва опомнились младыя покольнья.

Жестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ, Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ. Имъ некогда шутить, об'вдать у Темиры, Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры, Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.

Вообще третья часть заключаеть въ себф лучнія мелкія пьесы Пушкина, не говоря уже о двухъ превосходнъйшихъ драматическихъ очеркахъ-, Модарть и Сальери" и "Пиръ во время чумы". Въ самомъ стихъ виденъ большой успъхъ. И между темь аристархами того времени эта часть была принята очень дурно. "Кавказъ", "Обвалъ", "Монастырь на Казбекъ", "На холмахъ Грузін лежить почная мгла", "Не плъняйся бранной славой", "Когда твои младыя льта", "Зима. Что дылать намъ въ деревнь?", "Зимнее Утро", "Калмычкь", "Что въ имени тебъ моемъ", "Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ", "Въ часы забавъ иль праздной скуки", "Къ Вельможъ", "Поэту", "Отвътъ Анониму", "Пью за здравіе Мери", "Бѣсы", "Трудъ", "Цыганы", "Мадонна", "Эхо", "Клеветникамъ Россін", "Бородинская Годовщина", "Узникъ", "Зимній Вечеръ", "Даръ напрасный, даръ случайный", "Каковъ я прежде быль, таковъ и нынѣ я", "Анчаръ", "Примъты": во всъхъ этихъ пьесахъ критиканы 1832 года увидёли несомитиные признаки паденія Пушкина... То - то были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно занята русскими сказками и "Иъснями Западныхъ Славянъ"; мелкихъ пьесъ немного, но онъ всъ превосходны. "Гусаръ", "Будрысъ и его Сыновья", "Воевода"—мастерскіе переводы изъ Мицкевича, "Красавица", двъ пьесы "подражаній древнимъ" и "Элегія" ("Безумныхъ лътъ угасшее веселье") принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ Пушкина. Кромъ того, въ четвертой части напечатанъ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ", явившійся въ первый разъ въ видъ предисловія къ первой главъ "Евгенія Онъгина". Этотъ "Разговоръ" отзывается первою эпохою поэтической дъятельности Пушкина и не совсъмъ кстати попаль въ четвертую часть его сочиненій.

Къ поздивишимъ сочиненіямъ Пушкина, которыя бы должны были составить пятую часть его мелкихъ стихотвореній, принадлежатъ: "Туча", "Аквилонъ", "Пиръ Петра Великаго", "Полководецъ" (одно изъ превосходивишихъ созданій Пушкина), "Покровъ, упитанный язвительною кровью" (изъ А. Шенье). Въ ІХ томъ изданныхъ по смерти его сочиненій вошли нікоторыя изъ старыхъ, не понавшихъ но недосмотру въ первые тома, и нъкоторыя изъ новыхъ произведеній, которыхъ авторъ не хотель печатать, а некоторыя и изъ действительно последнихъ его произведеній. Во всякомъ случав, лучшія изъ нихъ: "Памятникъ", "Разлука", "Не дай мив Богь сойти съ ума", "Три Ключа", "Пажъ, или пятнадцатилътній король", "Подражаніе италіанскому", "Подражаніе арабскому" ("Отрокъ милый, отрокъ нѣжный"), "М. А. Г.", "Лицейская Годовщина", "Къ Гиъдичу" ("Съ Гомеромъ долго ты беседовалъ одинъ"), "Разставаніе", "Романсъ", "Ночью, во время безсонницы", "Заклинаніе", "Капризъ", "Подражаніе Данту", "Отрывокъ", "Послідніе Цвіты", "Кто знаеть край, гдіз небо блещеть", "Осень", "Начало Поэмы", "Герой", "Молитва", "Опять на родиніст, да еще пропущенныя вовсе: "Ність, пість, не долженъ я, не смісю, не могу" и "Признаніе" (А. И. О—й).

До какого состоянія внутренняго проєв'єтленія возвыселся духъ Пушкина въ посл'єднее время, могуть служить фактомъ двіз маленькія пьески— "Элегія" и "Три Ключа":

Везумныхъ лётъ угастее веселье Мнъ тяжело, какъ смутное похмелье; Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней Въ моей душъ чъмъ старъ, тъмъ сильнъй. Мой путь унылъ. Сулитъ мнъ трудъ и горе Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать, И, въдаю, мит будуть наслажденья Межъ горестей, заботь и треволиенья: Порой опять гармоніей упьюсь, Надъ вымысломъ слезами обольюсь, И, можеть быть, на мой закать печальной Елеснеть любовь улыбкою прощальной.

Въ степи мірской, печальной и безбрежной, Таинственно пробились три ключа: Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежной, Кипить, бѣжить, сверкая и журча; Кастальскій ключъ волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поить; Послѣдній ключъ— холодный ключъ забвенья.

Онъ слаще всъхъ жаръ сердца утолитъ.

Заключимъ нашъ обзоръ мелкихъ лирическихъ пьесъ Пушкина мифніемь о нихъ Гоголя, — мифніемь, въ которомъ, конечно, сказано больше и лучше, нежели сколько и какъ сказали мы въ цфлой статьф нашей:

"Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ — этой прелестной антологін—Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширнъе, видиъе, нежели въ поэмахъ. Нъкоторыя изъ этихъ мед-кихъ сочиненій такъ ръзко ослъпительны, что нхъ способенъ понемать всякій, но зато большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толнмъть слишкомъ тонкое обоняніе; нуженъ вкусъ выше того, который можеть понимать только однъ слишкомъ разкія и крупныя черты. Для этого пужно быть въ накоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми п тяжелыми яствами, который ъсть птичку не болъе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсъмъ пеопредъленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издёлія креностного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослъпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышить чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струб какой-нибудь серебряной ръки, въ которомъ быстро и ярко мелькають ослёпительныя плечи, или бёлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздья винограда, или мирты и древесная сънь, созданныя для жизни. Туть все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругь объемлю-

цая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здъсь изтъ этого каскада красноръчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаеть паденіемъ всей массы, но если отдълить ее, она становится слабою и безсильною. Здёсь нёть праснортнія, здёсь одна поэзія; никакого наружнаго блеска, -все просто, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругъ; все лаконизмъ, какимъ всегда бываеть чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словъ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что этп мелкія сочиненія перечитываешь пъсколько разь, тогда какъ достоинства этого не имъетъ сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвічиваеть одна главная идея.

"Мнъ всегда было странно слышать сужденія о нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болъе довърялъ, покамъсть еще не слышаль ихъ толковь объ этомъ предметь. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробиымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дъло! Казалось, какъ бы имъ не быть доступными всемъ! Они такъ просто возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и вмъстъ такъ дътски-чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы! это неотразимая истина: чёмъ болёе поэть становится поэтомъ, чъмъ болъе изображаеть онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тъмъ замътнъй уменынается кругъ обступившей его толпы и, наконецъ, такъ становится тъсенъ, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всёхъ своихъ истинныхъ цънителей".

[Отечественныя Записки. Т. XXXII. 1844 г.].

VI.

Поэмы: "Русланъ и Людмила", "Кавказскій Плънникъ", "Бахчисарайскій Фонтанъ", "Братья-Развойники".

Нельзя ни съ чемъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первою поэмою Пушкина-"Русланъ и Людмила". Слишкомъ немногимъ геніальнымъ твореніямъ удавалось производить столько шуму, сколько произвела эта дётская и нисколько не геніальная поэма. Поборники новаго увидъли въ ней колоссальное произведение и долго послъ того величали они Пушкина забавнымъ титломъ "пѣвца Руслана и Людмилы". Представители другой крайности, слепые поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и поиведены въ ярость появленіемъ "Руслана и Людмилы". Они увидъли въ ней все, чего въ ней нътъ, --чуть не безбожіе, и не увидёли въ ней ничего изъ того, что именно есть въ ней, т. е. хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мъстами, проблесковъ поэзін. Перелистуйте, отъ скуки, журналы 1820 года, — и вы съ трудомъ повърите, что все это писалось и читалось не болье, какъ какихъ-нибудь 24 года назадъ... И это относится не къ однимъ порицательнымъ, но и къ хвалительнымъ статьямъ, которыми наводнились журналы того времени вследствіе появленія "Руслана и Людмилы". Впрочемь, подобное явленіе столько же понятно, сколько естественно и обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности углубляться въ сущность вещей, раздъляются на старовъровъ и на верхоглядовъ. Первые стоять за старое и слъдують мудрому правилу: "все старое хорошо, потому что оно — старое, а все новое дурно, потому что оно-новое"; вторые стоять за новое и следують мудрому правилу: "все новое хорошо, потому что оно -- новое, а все старое дурно, потому что оно-старое". Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ партій, он'й очень похожи одна на другую, потому что источникъ ихъ воззрѣнія, при всемъ своемъ различін, одинъ и тотъ же: это — нравственная слъпота, препятствующая видъть сущность предмета. Старовфры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляются привычкою, которая заменяеть имъ размышление и избавляеть ихъ отъ всякой умственной работы. Привыкнувъ съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ великъ н точно ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго, кто осм'елился бы усомниться въ величін этого писателя. Такимъ-то образомъ, до появленія Пушкина, у нашихъ словесниковъ слыли за великих в писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ, -- и въ ихъ глазахъ Державинъ по тому же самому былъ великъ, по чему и Сумароковъ съ Херасковымъ, т. е. по неоспоримому праву давности, а совстмъ не по тому, чтобъ они умъли чувствовать и постигать красоты его ноэзін. У кого есть эстетическій вкусь и кто способенъ находить красоты въ Державинъ, тотъ уже не можеть восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ или Петровымъ, —а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговили передъ Сумароковымъ и Херасковымъ, какъ и передъ Державинымъ; Ломоносова же считали один наравит съ Лержавинымъ, другіе ставили выше Державина, а третын оставались въ недоумвній, кому изъ нихъ отдать нальму первенства. Ясный знакъ, что всеми этими мижніями управляла привычка, одна привычка, и больше инчего... Каково же было дожить этимъ старымъ детямъ привычки до такого страшнаго поруганія, когда общій голось публики нарекъзнаменитымъ поэтомъ какого-то Александра Пушкина, который, по метрическимъ книгамъ, жилъ на свътъ не болъе двадцати одного года! Къ вящшему соблазну, реченый Пушкинъ осмѣлился писать такъ, какъ до него никто не писаль на Руси, возымёль неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйство-идти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себѣ за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ, великихъ поэтовъ иностранныхъ и россійскихъ, каковы: Гомеръ, Пиндаръ, Виргилій, Горацій, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, Буало, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, **Імитрієвъ и проч.** А извѣстно и вѣдомо было въ тъ времена каждому, даже и неучившемуся въ семинаріи, что таланть безъ подражанія геніямъ, утвержденнымъ давностію, гибнетъ втунѣ жертвою собственнаго своевольства. Самъ Жуковскій,

балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковскій держался Шиллера; а Батюшковъ именно потому и быль отличнымь поэтомь, что подражаль Парии и Милльвуа, которые, вмѣстѣ взятые, не годились ему и въ парнасскіе камердинеры... По всѣмъ этимъ резонамъ—долой Пушкина! Или онъ, или мы, а вмёсте съ нимъ намъ тесно на землъ!.. И это продолжалось не менъе десяти лътъ сряду. Однако-жъ Пушкинъ устоялъ, и теперь развѣ только какія-нибудь литературныя аномаліп, которыхъ одно имя возбуждаетъ смѣхъ, воніють еще нерѣдко противъ законности цравъ Пушкин на титло великаго поэта; но они противопоставляють ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая испеченныхъ геніевъ, которые

> . . . немножечко деруть, Зато ужъ въ роть хмельного не беруть, И всѣ съ прекраснымъ поведеньемъ,

Такъ всегда время побъждаетъ предразсудки людей и на ихъ развалинахъ возстановляетъ побъдоносное знамя истины; но тъмъ не менъе для будущаго времени всегда остается та же работа. Въ продолженіе почти пятнадцати леть все привыкли къ имени Пушкина и къ его славѣ, а потому всѣ и пов фрили наконедъ, что Пушкинъ-великій поэть. Но оть этого дело не исправилось для будущихъ поэтовъ, и ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и со свистками, и съ каменьями, до тъхъ поръ, пока не привыкнуть къ ихъ именамъ и ихъ славъ. Развъ теперь не то же самое сбывается на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, что было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, по какому-то внутреннему безсознательному побужденію, съ жадностію читаютъ каждое новое произведеніе Гоголя и чуть не наизусть знають вст прежнія его сочиненія, а между тъмъ приходять въ непритворное негодованіе, если при пихъ Гоголя называютъ великимъ поэтомъ... Подождите еще ивсколькопривыкнуть, и тогда — горе человѣку, который сдълаеть хотя бы дъльное замъчание не въ пользу Гоголя... Такова ужъ натура этихъ людей! Они кланяются только побёдителю и признають власть только того, кого боятся...

Но не лучше старовъровъ и верхогляды, которые рукоплещуть только торжеству настоящей минуты и не хотять знать о заслугъ, которую сами же прославляли за нъсколько дней передъ тъмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературъ они видять только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, какъ всѣ водевили, для нихъ важъвъе и "Бориса Годунова" Пушкина, и "Горя отъ Ума" Грибоъдова, и "Ревизора" Гоголя. Они совсъмъ не то, что люди движени, которые, въ своей крайности, восторгаясь новымъ литературнымъ явленіемъ, отрицаютъ всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Иътъ, верхогляды совсъмъ не фанатики: они не отрицаютъ важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотятъ

нхъ знать; старо же для нихъ все, что появилось хотя за день до какой-нибудь пошлости, занявшей ихъ сегодня. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всёхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державина, ни Карамзина, ни Дмитріева, ни Озерова. Они читаютъ только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустяковъ.

Мы не говоримъ здёсь о тёхъ приверженцахъ старины, которые отстанвають старое противъ новаго по привязанности къ школф, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались. Въ людяхъ этого разряда много смѣшного и жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не діти привычки, о которыхъ мы говорили выше: это-дѣти извѣстной доктрины, изв'єстнаго ученія, изв'єстной мысли. Равнымъ образомъ и противоположные имъ поклонники новаго, какъ новой мысли, новаго созерцанія; новаго духа, заслуживають любовь и уваженіе, несмотря на нхъ крайности и смішныя, одностороннія уб'єжденія. Фанатизмъ не есть истина, но безъ фанатизма нътъ стремленія къ истинъ. Фанатизмъ-болѣзнь, но вѣдь болѣзнь есть принадлежность только живого, а не мертваго: камень

или трупъ не знають болѣзни...

Причиною энтузіазма, возбужденнаго "Русланомъ и Людмилою", было, конечно, и предчувствіе новаго міра творчества, который открываль Пушкинъ всёми своими первыми произведеніями; но еще болъе это было просто обольщение невиданною дотоль новинкою. Какъ бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла инчего подобнаго "Руслану и Людмиль". Въ этой поэмъ все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характеръ вибств съ серьезными картинами. Но бъщенаго негодованія, возбужденнаго сказкою Пушкина, нельзя было бы совствить понять, если бы мы не знали о существовании старовфровъ, дътей привычки. На что озлились они? На нъсколько вольныя картины въ эротическомъ духѣ?---По они давно уже знакомы были съ ними чрезъ Державина и, въ особенности, чрезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину, напримъръ, Аріосту, Парии, несмотря на то, что вольности въ "Русланъ и Людмиль"—сама скромность, само целомудріе въ сравненін съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старые: къ ихъ славъ давно уже вев привыкли, а потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавиће всего, что "Душенька" Богдановича была признаваема старов врами за произведение классическое, т. е. такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено никакому сомнинію. Судя по этому, імъто бы и надобно было особенно восхититься поэмою Пушкина, которая во всъхъ отношеніяхъ была неизмфримо выше "Душеньки" Богдановича. Стихъ Богдановича прозапченъ, вялъ, водянъ; языкъ-обветшалый и, сверхъ того, до-нельзя пскаженный такъ называвшимися тогда "пінтическими вольностями";

поэзін почти нисколько; картины блёдны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность "Руслана и Людмилы", какъ художественнаго произведенія, смішно было бы доказывать неизміримое превосходство этой поэмы передъ "Душенькою". Сверхъ того, она навъяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней, кромф именъ, нфтъ ничего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нѣгъ ни искорки,--романтизмъ даже осмѣянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходки противъ "Двинаддати Спящихъ Дѣвъ". Короче: поэма Пушкина должна была бы составить торжество псевдо-классической партіп того времени. Но не туть-то было! При второмъ изданіи "Руслана и Людмилы", вышедшемъ въ 1828 году, припечатано нъсколько ругательныхъ статей на эту поэму, написанныхъ въ 1820 году; перечтите ихъ-и вы не повърите глазамъ своимъ! Для образчика такихъ критикъ, выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, напечатанной въ "Въстникъ Европы" 1820 года (т. СХІ, стр. 216—220), по случаю пом'вщеннаго въ "Сын'в Отечества" отрывка изъ "Руслана и Людмилы" еще до появленія этой поэмы вполнь:

"Теперь прошу обратить ваше вниманіе на новый ужасный предметь, который, какъ у Камоэнса Мысъ бурь, выходить изъ недръ морскихъ и показывается посреди Океана россійской словесности. Пожадуйста, напечатайте же мое письмо: быть можеть, люди, которые грозить нашему терпенію новымъ бъдствіемъ, опомнятся, раземъются—и остановять намъреніе сдълаться изобрътателями новаго рода русскихъ сочиненій.

"Дъло вотъ въ чемъ: вамъ извъстно, что мы отъ предковъ получили небольшое, бъдное наслъдство литературы, т. е. сказки и пъски народныя. Что о нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомиънія! Мы любимъ воспоминать все относящееся къ нашему младенчеству, к ь тому счастливому времени дътства, когда какая-нибудь пъсня или сказка служила намъ невинною забавой и составляла все богатство познаній. Видите сами, что я непрочь отъ собиранія и изысканія русскихъ сказокъ и пъсенъ; но когда узналь я, что наши словесники приняли старинныя пъсни совсъмъ съ другой стороны, громко закричали о величін, плавности, силъ, красотахъ, богатетвъ нашихъ старинныхъ пъсенъ, начали переводить ихъ на измецкій языкъ и, наконецъ, такъ влюбились въ сказки н пъсни, что въ стихотвореніяхъ XIX въка заблистали Ерусланы и Бизы на новый манеръ,-то я вамъ слуга покорный!

"Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалкихъ, нежели смышныхъ лепетацій?.. чего ждать, когда наши поэты начинають пародиро-

вать Кирши Данилова?

"Возможно ли просвъщенному, или хоть немного свъдущему человъку терпъть, когда ему предлагають новую поэму, писанную въ подражаніе Еруслану Лазаревичу? Пзвольте же заглянуть въ 15 и 16 № Сына Отечества. Тамъ непзвъстный пінть на образчика выставляеть намы отрывокъ изъ поэмы своей Любмила и Руслана (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будеть содержать цълая поэма; но образчикъ хоть кого выведеть изъ терпънія. Пінть оживляеть лучечами самъ съ ноготь, а борода съ локоть, придаеть еще ему безконечные усы (С. Отеч., стр. 121), показы-

. . . Шутите вы со мною,— Всѣхъ $y\partial a$ олю васъ бородою!.. "Каково?

735

. . . Обърхаль голову кругомъ H^* сталь $npe\partial \tau$ носом τ молчалнво. Hекотит ноздри опіемъ...

"Картина, достойная Кирши Данилова! Далѣе—чихнула голова, за нею и эхо иихаетъ... Вотъ что говоритъ рыцарь:

Я ъду, ъду—не свищу, А какъ наъду,—не спущу...

"Потомъ рыцарь ударяеть голову въ щеку тяжелой рукавицей... Но увольте меня отъ подробнаго описанія, и позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякъ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: здорово, ребята! неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться! Вога ради, позвольте миъ, старику, сказать публикъ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появлянию между нами? Шутка грубая, не одоявлянсь между нами? Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвъщеннымъ, отвратительна, а пимало не смътна и не забавна. Dixi.

Житель Бутырской слободы".

Итакъ, ясно, что "бутырскаго" критика оскорбилъ прежде всего сказочный характеръ поэмы "неизвъстнаго пінты", т. е. Пущкина. Но какой же, если не сказочный характеръ Аріостова "Orlando furiозо"? Правда, рыцарскій сказочный мірт заключаеть въ себъ несравненно больше поэзін и занимательности, чёмъ бёдный міръ русскихъ сказокъ; но что касается до сказочныхъ нелѣпостей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика,--ихъ довольно въ поэмъ Аріоста, — п онъ, право, стоять "мужичка самъ съ ноготь, а борода съ локоть", или головы богатыря. Но то, видите ли, Аріостъинсатель классическій, котораго слава уже утверждена была слишкомъ двумя столътіями: стало быть, къ нему и къ его славъ уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужъ въ пухъ разругали... Притомъ же Аріоста самъ Вольтеръ объявилъ "величайшимъ изъ новъйшихъ поэтовъ": стало быть, послъ такого авторитета, какъ авторитетъ Вольтера, смѣло можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться въ просакъ. Въдь литературные авторитеты, подобно корану, на то и существують, чтобъ люди могли быть умны безъ ума, свёдущи безъ ученія, знающи безъ труда и размышленія и безошибочно правы безъ помощи здраваго смысла. Воть другое дело, если-бъ

кто изъ признанныхъ авторитетовъ, напримфръ, Ломоносовъ или Поповскій, могли объявить свое мнѣніе въ пользу "Руслана и Людмилы", — тогда всв единодушно признали бы эту сказку геніальнымъ произведеніемъ! Хорошая порука-важное дело, и чужой умъ-всегда спасеніе для техъ, у кого нътъ своего... Что бутырскій критикъ нашелъ пошлыми не только выраженія "удавить бородою, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копьемъ" н "ѣду—не свищу, а наѣду—не снущу", по и "умпрающій лучь солнца", -- это опять происходило отъ привычки къ облизаннымъ прозаическимъ общимъ мъстамъ предшествовавшей Пушкину поэзін, и отъ непривычки къ благородной простотъ и близости къ натуръ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ "Руслана и Людмилы", что риемы "языкомъ" и "копьемъ" назвалъ мужицкими... Видите ли: строго придрались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безусловные поклоненки всёхъ русскихъ поэтовъ до Пушкина, которые изо всёхъ силъ и со всевозможнымъ усердіемъ уродовали русскій языкъ незаконными усфченіями, насиліемъ грамматики и разными "пінтическими вольностями". Каковъ бы ни былъ стихъ въ "Русланъ и Людмилъ", но въ сравненін со стихомъ "Душеньки" Богдановича, сказокъ Дмитріева, "Странствователя и Домосьда" Батюшкова и даже "Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ" Жуковскаго, онъ-само изящество, сама поэзія. Оскорбленная привычка этого не замѣчала, а если замѣчала, то для того только, чтобъ, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ непростительную вину то, что считала чуть не достоинствомъ въ старыхъ. Какъ человекъ съ огромнымъ талантомъ, эту привязчивость возбудиль къ себъ п Грибовдовъ. При "Въстникъ Европы" одинъ бутырскій критикъ состояль въ должности явнаго зоила всёхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому "Горе отъ Ума" возбудило всю желчь его. Такъ, между пречимъ, было сказано по новоду отрывка изъ "Горя отъ Ума", помъщеннаго въ альманахѣ "Талія": "Смъемъ надъяться, что всь, читавшіе отрывокъ, позволятъ намъ, отъ лица всфхъ, просить г. Грибойдова издать всю комедію". Бутырскій критикъ "Вѣстника Европы", указавъ на этп слова, восклицаетъ: "Напротивъ, лучше попросить автора не издавать ся, пока не перемѣнитъ главнаго характера и не исправить слога" ("Въсти. Европы", 1825, № 6, стр. 115).

736

Мы указываемъ на всё эти диковинки, разумьется, не для того, чтобъ доказать ихъ чудовищную нельпость: игра не стоила бы свъчъ, да и смъшно было бы снова позывать къ суду людей, и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всъхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса. Нътъ, мы хотъли только охарактеризовать время и правы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмъстъ съ тъмъ и показать, какую роль чудовище-привычка играетъ тамъ, гдъ бы должны были играть роль только умъ и вкусъ. Оставимъ же въ сторонъ эти допотонныя ископаемыя древности, заключающіяся

въ затвердълыхъ пластахъ "Въстника Европы", и

обратимся къ "Руслану и Людмилъ".

Вутырскіе критпки, какъ мы видёли, особенно оскорбились въ "Русланъ и Людмилъ" тъмъ, что ноказалось имъ въ этой поэмѣ колоритомъ мѣстности и современности въ отношении къ ея содержанію. Но именно этого-то совсёмъ и нётъ въ сказкв Пушкина: она столько же русская, сколько и нъмецкая или китайская. Кирша Даниловъ не виновать въ ней ни душою, ни теломъ, поо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ пъсенъ больше русскаго духа, чемъ во всей поэмъ Пушкина, хотя онъ, въ своемъ поэтическомъ прологѣ къ ней, и сказалъ: "Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ". Въроятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писаль "Руслана и Людмилу", иначе онъ не могь бы не увлечься духомъ народно-русской поэзін, н тогда его поэма пмёла бы, по крайней мёрё, достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ и притомъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго-одни только имена, да и то не всъ. И этого руссизма нѣтъ также и въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она-плодъ чуждаго вліянія и скорте пародія на Аріоста, чемъ подражаніе ему, потому что надълать нъмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей-значить исказить равно и нъмецкую, и русскую действительность. Намъ такъ мало осталось намятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ-красно-солнышко столько же для насъ мнеъ, сколько Владиміръ, просвътитель Руси, -- историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является лействующимъ лицомъ языческій Владиміръ, явно сложены въ позднайшія времена. И потому Пушкина ота преданія только и воспользовался, что словомъ "солнце", приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатая! Во всемъ остальномъ его Владиміръ-солнце-пародія на какого-нибудь Карла Великаго. Таковы же и Русланъ, и Рогдай, и Фарлафъ: дъйствительность ихъ, историческая и поэтическая. такой же точно пробы, какъ и действительность Финна, Напны, богатырской головы и Черномора. Пушкинъ съ особенною радостью ухватился за такъ называемаго "въщаго Баяна", понявъ слово "баянъ", какъ нарицательное и равнозначительное словамъ: "скальдъ, бардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ". Въ этомъ онъ разделялъ заблуждение всьхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ "Словъ о Полку Игоревъ" въщаго баяна, соловья стараго времени, который "аще кому хотяще пъснь творити, то растекашется мыслію по древу, стрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облаки", — заключили изъ этого, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что въ древней Руси были свои пѣсельники, сказочники, балагуры и прибауточники, также, какъ и теперь въ простомъ народъ бывають подобные, - въ этомъ нъть сомнънія; но, по смыслу текста "Слова", ясно видно, что имя Ваяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баянъ "Слова" такъ не-

определенъ и загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже и остроумныхъ догадокъ, на которыя такъ щедры досужіе антикварін, а тімъ менъе можно заключить изъ него что-нибудь достовърное. И потому весь баянъ Нушкина-ни более, ни менее, какъ риторическая фраза. О прологъ къ "Руслану и Людмилъ" дъйствительно можно сказать: "Туть русскій духь, туть Русью нахнеть"; но этоть прологь явился только при второмъ изданіи поэмы, т. е. черезъ восемь лѣтъ нослѣ перваго ея изданія, — стало быть, тогда, какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзін. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается "Русланъ и Людмила", оть стиха: "Дела давно минувшихъ дней", до стиха: "Низко кланялись гостямъ", дъйствительно "пахнутъ Русью"; но ими начинается и ими же и оканчивается русскій духъ всей его поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Мы даже подозрѣваемъ, что не были-ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поводомъ къ присочиненію къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта-шалость сильнаго, еще незралаго таланта, который, кния жаждою даятельности, схватился безъ разбора за первый предметь, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы-шуточный. Поэть не принимаеть никакого участія въ созданныхъ его фантазіею лицахъ. Онъ просточертиль арабески и потёшался ихъ забавною странностію. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замѣчалъ внослѣдствін, она холодна. Въ самомъ дёль, въ ней много граціи, игривости, остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодъ о Финнъ проглядываеть чувство; оно вспыхиваеть на минуту въ воззванін Руслана къ усѣянному костьми полю. но это воззвание оканчивается нъсколько риторически. Все остальное холодно.

Вообще "Русланъ и Людмила" для двадцатыхъ годовънмела то же самое значение, какое "Душенька" Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумбется, великъ перевъсъ на сторонъ поэмы Пушкина и въ отношении къ превосходству времени, и къ превосходству таланта. Но наше время далеко внереди объихъ этихъ эпохъ русской литературы,и потому, если "Душеньку" теперь нътъ никакой возможности прочесть отъ начала до конца, по доброй воль, а не по нуждь, которая можеть заставить прочесть и "Телемахиду", то "Руслана н Людминуй можно только перелистывать, отъ нечего делать, но уже нельзя читать, какъ чтонибудь дельное. Ея литературно-историческое значеніе гораздо важнье значенія художественнаго. По своему содержанію и отдёлкё она принадлежитъ къ числу переходныхъ пьесъ Пушкина, которыхъ характеръ составляетъ подновленный классицизмъ: въ нихъ Пушкинъ является улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Батюшковымъ. Въ "Русланъ и Людмилъ", какъ мы уже сказали выше, нътъ ни признака романтизма; даже ощутителенъ недостатокъ поэзін, несмотря на все изящество

выраженія и всю прелесть стиха, неслыханнуя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы, какъ ни много она выше обветшалыхъ формъ прежней поэзін, —есть звенья, соединяющія "Руслана и Людмилу" съ прежнею школою поэзін: мы разумѣемъ здѣсь употребленіе словъ: "брада, глава" и произвольное унотребленіе усъченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмѣ Пушкина найдется больше десятка. Словомъ, если-бъ не недостатокъ самомыслительности и не избытокъ привычки, такъ называемые классики того времени должны были бы торжествовать, какъ свою победу надъ такъ называвшимися тогда романтиками, появленіе "Руслана и Людмилы",— на Пушкинъ сосредоточить всё надежды своей партін, а истиннаго представителя романтизма — слъдовательно, самаго опаснаго ихъ врага-видъть въ Жуковскомъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые изъ нихъ были какъ будто близки къ этому взгляду. Въ "Въстникъ Европы" 1824 года одинъ классикъ разсердился за то, что г. Верстовскій, положившій на музыку "Черную Шаль" Пушкина, назваль ее кантатою.

"Почему (говорить бутырскій классикь) г. Верстовскій возвель простую пъсню на степень кантаты? Такого ли содержанія бывають кантаты собственно такъ называемыя? Такими ли видимь ихъ у Драйдена, у Жанъ-Баптиста Руссо и у другихъ поэтовъ знаменитыхъ? (Хороши знаменитости-Драйденъ и Жанъ-Баппистъ Руссо!) Истощивъ средства свои на страсти, бунтующія въ душт безвъстнаго человъка, что употребить опъ, когда нужно будеть силою музыки возвысить значительность словъ въ тъхъ кантатахъ, гдъ неторическія или миеологическія во многихъ отношеніяхъ намъ извъстныя и для всъхъ просвъщенныхъ людей занимательныя лица страдаютъ или торжествуютъ? — Въ пъснъ г-на Пушкина представляется намъ какой-то молдаванинъ, убившій какую-то любимую имъ красавицу, которую соблазнилъ какой-то армянинъ. Достойно ли это того, чтобъ искусный композиторъ изыскиваль средства потрясать сердца слушателей, чтобъ для пъсни тратилъ сокровища музыки? Не значитъ ли это воздвигнуть огромный пьедесталъ для маленькой красивой куклы, хотя бы она сдёлана была на Севрской фабрикъ: Угадываю причины, побуднвшія г. Верстовскаго къ сему подвигу, и знаю напередъ одинъ изъ отвътовъ: "Г. А. Пушкинъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ поэтовъ нашихъ". Что касается до стихотворства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость: стихи его отмънно гладки, плавны, чисты; не знаю, кого изъ нашихъ сравнить съ нимъ въ нскусствъ стопосложенія; скажу больє: г. Пушкинь не охотникь щеголять эпитетами, не бросается ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни вз надутость, ни вз пустословіе,онъ живъ и стремителенъ въ разсказъ; употре-бляетъ слова въ надлежащемъ ихъ смыслъ; наблюдает умную соразмирность ег раздилении мыслей: все это составляеть внишнюю (?) красоту его стихотвореній. Гдъ-жъ, однако, тъ качества, которыя, по словамъ Горанія, составляють поэта? гдъ mens divinior? гдъ os magna sonaturum?" (№ 1, стр. 70 и 71).

Замѣчаете ли, что нашъ бутырскій критикъ видѣлъ кое-что въ Пушкинѣ, и если не увидѣлъ всего—ему помѣшала привычка. Пушкинъ не лю-

билъ щеголять эпитетами, не бросался ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителень въ разсказѣ, употребляеть слова въ надлежащемъ ихъ смыслѣ, наблюдаетъ умиую соразмѣрность въ раздѣленіи мыслей: все это дѣйствительно составляло неотъемлемыя качества пушкинской позіи, и качества великія; по, —видите ли, — по миѣнію бутырскаго классика, это не больше, какъ внѣшняя (?) красота стихотвореній Пушкина, потому что гдѣ же въ нихъ mens divinior (божественное безуміе, изступленіе, восторть), гдѣ оѕ такое разумѣли подъ этимъ наши псевдоклассическіе критики? Вотъ что:

. . . Кто завъсу мив въчности расторгъ? Я вижу молній блескъ! Я слышу съ гория свъта И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева "Чужой Толкъ"—н вы еще лучше поймете, что наши классики разумѣли подъ mens divinior. Хотя многія изъ первыхъ произведеній Пушкина (какъ, напримъръ, "Черная Шаль", "Наполеонъ" ("Андрей Шенье") не чужды декламаціи и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было мало; они не могли увидъть въ Пушкинъ mens divinior, —такъ привыкли они къ напыщенной шумихъ одопъній своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бъдняжки: изъ названій, изъ словъ-, ода, кантата, пъсня" и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковъ, сказалъ съ каоедры: "Пушкинъ пишетъ хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!" Подъ словомъ "поэма" классики привыкли видъть что-то чрезвычайно важное. Съ "кантатами" ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Баптисть Руссо: стало быть, то уже не кантата, что не было рабскою кошею съ какой-нибудь кантаты этихъ двухъ риторовъ-стихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безвъстнаго человъка могли быть предметомъ такого высокаго рода поэзін, какъ кантата? —съ нихъ было бы за-глаза довольно и нажной пасенки, врода: "Стонеть сизый голубочекъ": въдь въ залы входять только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокій и священный санъ челов вка не признавался ни за что, и челов вкъ считался ниже не только титулярнаго совътника, но и простого канцеляриста. Какъ же можно было видъть равнодушно, что талантливый композиторъ тратить сокровища музыки на чувство какого-то армянина...

А между тёмъ бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобъ увидёть въ Жуковскомъ истиннаго своего врага, какъ это можно замѣтить изъслъдующихъ строкъ:

"Будучи однимъ изъ почитателей (но не слъпыхъ и раболъпныхъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я, также, какъ и прочіе мог соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не имъю чести быть орлиной породы, смълъ прямо смотръть на солнце, любовался

блескомъ его и согръвался живительною его теплотою до тёхъ поръ, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свъть его отъ слабыхъ глазъ монхъ, слабыхъ потому, что не могутъ видёть свёта сквозь мракъ н туманъ. Говоря языкомъ общепонятнымъ, я съ восхищениемъ читалъ и перечитывалъ "Пъвца во стан'я русскихъ вонновъ", переводъ Греевой эле-гін, "Людмиду", "Свътлану", "Эолову Арфу", многія мъста изъ "Двънадцати Сиящихъ Дъвъ" и разныя другія стихотворенія г-на Жуковскаго. Но съ нъкотораго времени, когда имя его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все ибмецкое, кромъ буквъ и словъ, - восторгъ и удивленіе во мив уступили мъсто сожальнію о томъ, что стихотворецъ съ такими превосходными дарованіями оставилъ красоты и приличія языка: оставиль тъ средства, которыми онъ усыновиль русскимъ "Людмилу", "Ахилла" и столько другихъ произведеній словесности чужестранной... оставиль, и для чего же? Чтобы ввести въ нашъ языкъ обороты, блестки ума и безпонятную выс-пренность ныившпихъ нёмцевъ стихотворцевъ-мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толпу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его передразнивали, не умъя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедрою рукою въ прежнихъ его произведеніяхъ, —то мудрено ли, что теперь люди съ превосходными дарованіями, или вовсе и безъ дарованій, съ жадностію под-ражають въ немъ тому, что находять по своимъ силамъ?.. Истинный таланть должень принадлежать своему отечеству; человъкъ, одаренный таковымъ талантомъ, если избираетъ поприщемъ своимъ словесность, долженъ возвысить славу природнаго языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выраженіями, ему свойственными; геній имфеть даже право вводить новые, но не иноплеменные, и никогда не выпускать изъ виду свойства и приличія «языка отечественнаго" (В. Е. 1821, т. CXVII, стр. 19—21).

Но и тутъ, ясно, привычка помѣшала увидѣть дѣло такъ, какъ оно было: бутырскій классикъ не видаль романтизма въ самыхъ ультра-романтическихъ пьесахъ Жуковскаго, каковы: "Людмила", "Свѣтлана", "Эолова Арфа", "Двѣнадцать Сиящихъ Дѣвъ", но увидѣлъ его въ позднѣйшихъ, лучшихъ, и по содержанію, и по формѣ, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и старцы поневолѣ бываютъ дѣтьми...

Восторги, возбужденные "Русланомъ и Людмилою", равно какъ и необыкновенный успъхъ этой поэмы, несмотря на всю детскость ея достоинствъ, гораздо естественнъе и понятнъе, чъмъ яростныя нападки на нее бутырскихъ классиковъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная новость ослѣпляетъ глаза, въ "Русланѣ и Людмилѣ" русская поэзія д'яйствительно сд'ялала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической. Всъ восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно ноэтическими, граціозною шуткою, разсказомъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всею этою игривою затыйливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, вполнъ художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ языкъ, а если и были прежде попытки въ этомъ родъ, то такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цъны съ "Руслана и Людмилы". У кого изъ прежнихъ поэтовъ можно было найти стихи, подобные, напримъръ, этимъ:

И воть невѣсту молодую Ведуть на брачную постель; Огни погасли... и ночную Лампаду зажигаеть Лель. Свершились милыя надежды, Любви готовятся дары; Падуть ревнивыя одежды на цареградскіе ковры... Вы слышите-ль влюбленный шопоть И поцѣлуевь сладкій звукь, И прерывающійся ропоть Послѣдней робости?..

Илп:

Но прежде юношу ведуть Къ великолтиной русской бант. Ужъ волны дымныя текутъ Въ ея серебряные чаны, И брызжуть хладные фонтаны; Разостланъ роскошью коверъ; На немъ усталый ханъ ложится; Прозрачный паръ надъ нимъ клубится; Потупя нъги полный взоръ, Прелестныя, полунагія, Въ заботъ нъжной и чъмой, Вкругъ хана дъвы молодыя Тъснятся ръзвою толпой. Надъ рыцаремъ иная мащетъ Вътвями молодыхъ березъ, И жаръ отъ нихъ душистый пашетъ; Другая сокомъ вешнихъ розъ Усталы члены прохлаждаеть И въ ароматахъ потопляетъ Темнокудрявые власы. Восторгомъ витязь упоенной, Уже забыль Людмилы плънной Недавно милыя красы; Томится сладостнымъ желаньемъ; Бродящій взорь его блестить, И, полный страстнымъ ожиданьемъ, Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно, теперь смёшно заблужденіе людей того времени, которые въ "Русланв и Людмиль" думали видёть поэтическое возсозданіе народно - русскаго сказочнаго міра; но въ двадцатыхъ годахъ, право, не мудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься пми, чтобъ въ описаніп какой-то небывалой, фантастической бани увидёть "великольпную русскую" баню. Кому не извъстно великольпе нашихъ бань, гдъ въ такомъ употребленіп "сокъ весеннихъ розъ", а "вътви молодыхъ березъ" прозанчески называются въниками?

Эпилогъ къ "Руслану и Людмилъ" исполненъ элегической поэзін; но, какъ и прологъ къ этой же поэмѣ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послъ нея; при ней же явился только во второмъея изданіи, въ 1828 году.

Потому ли, что изумительные успѣхи Пушкина и быстрый ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому, что они уже сами начали привыкать къ поэзіи Пушкина, — только противъ "Кавказскаго Плѣнника" уже почти совсѣмъ не было воплей, а, напротивъ, ему раздавались вездѣ

только хвалебные гимны. Даже въ "Въстникъ Европы" 1823 года была помъщена похвальная критика этой поэмы (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замъчательна и въ свое время весьма прославилась тъмъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ старани и усердіи, никакъ не могъ догадаться, что сдѣлалось съ черкешенкою и, что означають эти прекрасные поэтическіе стихи;

1843-1846.

Вдругъ волны глухо зашумъли, И слышень отдаленный стонъ. На дикій брегъ выходить онъ, Глядить назадъ... брега ясиъли И, опъненные, бългъли; Но игт черкешенки младой Ни у бреговъ, ни подъ горой... Все мертво... на брегах уснувшихъ Лишь вътра слышенъ легкій звукъ, И при лунъ въ волнахъ плеснувшихъ Струистый исчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозанчности прежней поэзін, что слишкомъ поэтическій и, по тому уже самому, слишкомъ ясный оборотъ назывался темнымъ и неопредѣленнымъ. Да, Пушкину предстоялъ подвигъ—восинтать и развить въ русскомъ обществѣ чувство изящнаго, способность понимать художество,—и онъ вполнѣ совершилъ этотъ великій подвигъ.

"Кавказскій Плѣнникъ" быль принять публикою еще съ большимъ восторгомъ, чемъ "Русланъ и Людмила", и, надо сказать, эта маленькая поэма вполнъ достойна была того пріема, которымъ ее встрътили. Въ ней Пушкинъ явился вполиъ самимъ собою и, вмёстё съ тёмъ, вполнё представителемъ своей эпохи: "Кавказскій Плінникь" насквозь проникнутъ ея паеосомъ. Впрочемъ, паеосъ этой поэмы — двойственный: поэтъ быль увлеченъ двума предметами-поэтическою жизнію дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ-элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнію. Изображеніе того и другого слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русскою поэзіею, -- и только въ поэмъ Пушкина въ первый разърусское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россін по оружію. Мы говоримь "въ первый разъ": нбо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозанческихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозаическому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ недостаточно для того, чтобъ получить какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонв. Мы вфримь, что Пушкинъ съ добрымъ намфреніемъ выписалъ, въ примъчаніяхъ къ своей поэмъ, стихи Державина и Жуковскаго и съ полною искренностію, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но темъ не менее онъ оказаль имъ черезъ это слишкомъ илохую услугу: ибо, послѣ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повфрить, чтобъ въ техъ выинскахъ шло дело о томъ же предмете... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Йушкина картинъ

Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрѣлость таланта, которая такъ часто проглядываетъ въ "Кавказскомъ Плфиникф", несмотря на слишкомъ ю ношеское одушевление зрълищемъ горъ и жизнію ихъ обитателей, —многія картины Кавказа въ этой поэмъ и теперь еще не потеряли своей поэтической цённости. Принимаясь за "Кавказскаго Ильника" съ гордымъ намъреніемъ слегка перелистывать его, вы незаметно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите: "все это юно и, однако-жъ, такъ хорошо!" Какое же дъйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великолёпно-роскошныя картипы Кавказа при первомъ появленіи въ св'єть поэмы! Съ техъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сделался для русских в завётною страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзін, страною кипучей жизни и смёлыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дёлё существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоценною кровію сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ-эта колыбель поэзін Пушкина — сдёлался потомъ и колыбелью поэзін Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вм'ястить въ свою поэму, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а следовательно и прозанчески, и потому онъ тесно связаль свои живыя картины Кавказа съ дъйствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатленія и наблюденія иленника-героя поэмы, и оттого онъ дышать особенною жизнію, какъ будто самъ читатель видить ихъ собственными глазами на самомъ мѣстѣ. Кто былъ на Кавказф, тотъ не могъ не удивляться вфрности картинъ Пушкина: взгляните, хотя съ возвышенностей, при которыхъ стоитъ Пятигорскъ, на отдаленную цень горъ, — и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ, можеть быть, не случалось всноминать цёлые годы:

Великолёпныя картины! Престолы вёчные снёговь, Очамъ казались ихъ вершины Недвижной цёнью облаковь, И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый, Въ вёнцё блистая ледяномъ, Эльбрусъ огромный, величавый, Бёлёлъ на небё голубомъ.

Описанія дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ дышатъ чертами ярко върными. Но черкешенка, связывающая собою объ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внъшнимъ образомъ върное дъйствительности. Въ изображеніи черкешенки особенно выказалась вся незрълсть, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положеніе, въ которое поставилъ поэтъ два главныя лица своей поэмы, черкешенку и плънника, то положеніе, наиболье плънившее публику, отзывается мелодрамою и, можетъ быть, по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Но такова сила истиннаго

таланта! — при всей театральности положенія, на которомь завязанъ узель поэмы, при всей его безцвѣтности, въ отношеніи къ дѣйствительности, — въ рѣчахъ черкешенки и плѣнника столько элегической истины чувства, столько сердечности, страсти и страданія, что ничѣмъ нельзя оградиться отъ ихъ обаятельнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознанія въ то же время, что на всемъ этомъ лежитъ нечать какой-то дѣтскости. Съ особенною силою дѣйствуютъ на душу читателя сцена освобожденія плѣнника черкешенкою и эти стихи—

Пнлу дрожащей взявь рукой, Къ его ногамъ она склонилась: Визжить жельзо подъ пилой, Слеза невольная скатилась— И цвпь распалась н гремитъ...

Чувство свободы борется въ этой сценѣ съ грустью по судьбѣ черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, илѣнникъ не могъ не предложить своей освободительницѣ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказывалъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавицѣ, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудъ ваша дышитъ свободнѣе по мѣрѣ того, какъ плѣннику, въ туманѣ, начинаютъ сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходятъ оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этоть пленникь? — Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго паноса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успъхомъ не меньше, если не больше, чъмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Пленникъ, это — "герой того времени". Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицѣ и неопредѣленность, и противорѣчивость съ самимъ собою, которыя дёлали его какъ бы бездичнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плънника и возбудилъ собою такой восторгъ въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видёлъ въ немъ, болъе или менъе, свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнъйшей дъятельности, это кипъніе крови при душевномъ холодъ, это чувство пресыщенія, посл'ядовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смънившее собою голодъ и жажду, эта жажда даятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездействии и апатической лени, - словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, — все это — черты "героевъ нашего времени" со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родиль или выдумаль ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до него, а при немъ ихъ было уже много. Они — не случайное, но необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцейтовъ-не поэзія Пушкина, или чья бы то ни была, но общество. Это оттого, что общество

живеть и развивается, какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногдаи старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выражениемъ младенчества русскаго общества. И потому это была поэзія до нанвности невинная: она гремела одами на иллюминаціи, писала нѣжные стишки къ милымъ и была соверщенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дъйствительностью ея была — мечта, а потому ея дъйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцелуи пастушковъ и пастушекъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менже невинными возгласами: "пою", или "о ты, священна добродътель!" и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно-невиненъ, что искаль эффектовъ на кладбищахъ и пересказывалъ съ восторгомъ старыя бабы сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, вёдьмахъ, колдуньяхъ, о дёвё, за ропотъ на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки. Въ трагедін тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный менуэть, дёлая изъ Донского какого-то крикуна въ римской тогъ. Въ комедін она преследовала именно те пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было, и не дотрогивалась именно до тёхъ, которыми оно было полно, такъ что комедін Фонвизина являются, въ этомъ отношенін, какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатиръ тогдащияя поэзія нападала скорве на пороки древне-греческого и римскаго, или старо-французскаго общества, чемъ русскаго. Невинность была всесовершеннъйшая, а оттого, разумфется, эта поэзія была и нравственною въ высшей степени. Общество пило, то, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-нынашнему умали веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самые задорные нынъшніе танцоры-просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступають тамъ, гдъ бы надо было вывертывать ногами и выстукнвать каблуками такъ, чтобъ полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ, -- это привилегія младенчества. Младенецъ играеть жизнію нлещется въ ея свътлой волнъ и безотчетно любуется брызгами, которыя производять его резвыя движенія; онъ всемъ восхищается, все находить лучшимъ, нежели оно есть на самомъ деле, - и если ему скоро надобдаеть одна игрушка, то также скоро илиняеть его другая. Не таковь уже возрасть отрочества-переходь отъ детства къ юношеству. Правда, и туть человъкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тѣ его игрушки; мѣняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ ндеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находитъ осуществленія своего неопредёленнаго желанія, въ которомъ самъ себъ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки-для него горе, нбо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваетъ полнымъ пламенемъ, и страсти вступаютъ въ борьбу съ

сомнѣніемъ. Тутъ много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность—полное пробужденіе сознанія, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его—для будущихъ поколѣній, какъ богатое и выстраданное наслѣдіе отъ предковъ потомкамъ...

"Кавказскій Пленникъ" Пушкина засталь общество въ періодъ его отрочества и почти на переходъ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинь быль самь этимь пленникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведении идеаль, мучившій поэта, какь его собственный недугъ, — для поэта значить навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ следующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ "Кавказскомъ Плѣнникѣ": слѣдя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментѣ развитія и видите, что оно движется, идетъ впередъ, дълается сознательние, а потому и интересние для васъ. Тъмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэть, и отличался отъ толны своихъ подражателей, что, не пзмѣняя сущности своего направленія, всегда крѣпко держась действительности, которой быль органомъ, всегда говориль новое, между тёмь какь его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допъвають свои старыя и всёмь надобымія пісни. Въ этомъ отношеніи "Кавказскій Пленникъ" есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извъстное время, и, нодъ этимъ условіемъ, она всегда будетъ казаться прекрасною. Если-бъ въ наше время даровитый поэть написаль поэму въ духв и тонъ "Кавказскаго Плѣнника", -- она была бы безусловно ничтожнъйшимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношенін и далеко превосходила пушкинскаго "Кавказскаго Плфиника", который, въ сравненін съ нею, все бы остался такъ же хорошъ, какъ безъ нея.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на "Кавказскаго Плѣнника", принадлежитъ самому же Пушкину. Въ статъв его "Путешествіе въ Арзерумъ" находятся следующія слова, написанныя имъ черезъ семь лътъ послъ изданія "Кавказскаго Плвнника": "Здъсь нашелъ я измаранный списокъ Кавказскаго Пленника и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано н выражено в врно". Не знаемъ, къ какому времени относится слѣдующее сужденіе Пушкина о "Кавказскомъ Пленнике", но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смѣло умѣлъ Пушкинъ смотръть на свои произведенія: Кавказскій Плённикъ — первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принять лучше всего, что я ни написаль, благодаря нъкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато Н. п А. Р., и я-мы вдоволь надъ нимъ посм'вялись" (т. XI, стр. 227). Слова: "характеръ,

съ которымъ я насилу сладилъ", особенно замѣчательны: они показывають, что поэть силился изобразить виѣ себя (объектировать) настоящее состояние своего духа и, по тому самому, не могъвнолнѣ это сдѣлать.

Въ художественномъ отношенін "Кавказскій Плфиникъ" принадлежитъ къ числу техъ произведеній Пушкина, въ которыхь онъ является еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзін. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи; но еще нътъ художества. Содержание всегда бываетъ соотвътственно формъ, и наоборотъ; недостатки одного тфсно связаны съ недостатками другой, и наобороть. Въ отделкъ стиховъ "Кавказскаго Плънника" замѣтно еще, хотя и меньше, чѣмъ въ "Русланъ и Людмилъ", вліяніе старой школы. Встръчаются неточныя выраженія, какъ, наприміръ, въ стихъ: "Удары шашекъ ихъ жестокихъ", или "Гд в обнялъ грозное страданье"; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нѣсколько тяжеловато, какъ и въ "Вахчисарайскомъ Фонтанъ", но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозанческихъ почти совсемъ нетъ; поэзія выраженія почти везді необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзін Пушкина вообще съ предшествовавшею ему поэзіею, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ "Кавказскомъ Илънникъ " самое прозанческое понятіе, что черкешенка учила плънника языку ея родины:

Съ неясной ръчію сливаетъ Очей и знаковъ разговоръ; Поетъ ему и пъсни горъ, И пъсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаетъ языкъ чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительною вѣрностію дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другого представляютъ эти прекрасные стихи:

Людей и свёть извёдаль онь, Узналь невёрной жизни цёну, Въ сердцахь людей нашедь измёну, Въ мечтахь людей нашедь измёну, Въ мечтахь людей безумный сонь, Наскуча жертвой быть привычной Давно презрённой суеты, И непріязни двуязычной, И простодушной жлеееты, Отступникъ свёта, другъ природы, Покинуль онъ родной предёль И въ край далекій полетёль Съ веселымъ призракомъ свободы.

Въ этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но рѣзко-характеристическая картина пробуднвшагося сознанія общества въ лицѣ одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе—и все, что люди почитають хорошимъ по привычкѣ, тяжело пало на душу человѣка, и онъ —въ явной враждѣ съ окружающею его дѣйствительностію, въ борьбѣ съ самимъ собою; не довольный нитѣмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіп: "быть жер-

твою простодушной клеветы"! Вёдь клевета не всегда бываетъ дёйствіемъ злобы: чаще всего она бываетъ плодомъ невиннаго желанія разсёяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же искрепняго, сколько и неловкаго. И все это поэтъ ум'ялъ выразить однимъ см'ялымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты.

По мижнію Пушкина, "Бахчисарайскій Фонтанъ" слабъе "Кавказскаго Плънника": съ этимъ нельзя внолив согласиться. Въ "Бахчисарайскомъ Фонтанв" (вышедшемъ въ 1824 году) замфтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошите, благоуханите. Въ основт этой поэмы лежить мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ силу только вполнъ развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ нею, и, можетъ быть, оттогото и былъ къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ татаринъ, пресыщенномъ гаремною любовію, вдругъ всныхиваетъ болъе человъческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляеть прелесть одалиски и что можетъ пленять вкусъ азіатскаго варвара. Въ Марін — все европейское, романтическое: это дева среднихъ вековъ, существо кроткое, скромное, дётски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гпрею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ пе понимая, какъ, почему и для чего онъ уважаеть святыню этой беззащитной красоты, онъварваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія, — онъ ведеть себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ въковъ:

> Гирей несчастную щадить: Ея унынье, слезы, стоны Тревожать хана краткій сонь, И для нея смягчаеть онъ Гарема строгіе законы. Угрюмый сторожь ханскихь женъ Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ; Рукой заботливой не онъ На ложе сна ее возводить; Не смъеть устремиться къ ней Обидный взоръ его очей; Она въ купальнъ потаенной Одна съ невольницей своей; Самъ ханъ бонтся дъвы плънной Печальный возмущать покой; Гарема въ дальнемъ отдъленьи Позволено ей жить одной: И минтся, въ томъ уединеньи Сокрылся въкто неземной.

 Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивою Заремою; нѣтъ и Заремы:

Гарема стражами нъмыми
Въ пучниу водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье.
Какая-бъ ни была вина,
Ужаено было наказанье!

Смертью Марін не кончились для хана муки нераздёленной любви:

Дворецъ угрюмый опустёль. Его Гирей опять оставиль; Съ толной татаръ въ чужой предёлъ Онъ злой набёгь опять направиль; Онь снова въ буряхъ боевыхъ Несется мрачный, кровожадный; Но въ сердцё хана чувствъ иныхъ Таится пламень безотрадный. Онъ часто въ сёчахъ роковыхъ Подъемлеть саблю и съ размаха Недвижимъ остается вдругь, Глядитъ съ безуміемъ вокругь, Елёдньетъ, будто полный страха, И что-то шенчеть, и порой Горючи слезы льетъ рёкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирея; встрѣча съ нею была для него минутою перерожденія, н если онъ отъ новаго, нев'ядомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдёлался челов в комъ, то уже животное вънемъ умерло, и онъ пересталь быть татариномъ comme il faut. Итакъ, мысль поэмы—перерождение (если не просвътление) дикой души черезъ высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэть не справился съ нею, и характеръ его поэмы, въ ея самыхъ патетическихъ мѣстахъ, является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что "сцена Заремы съ Маріею имъетъ драматическое достоинство" (т. XI, стр. 227 и 228), тамъ не менте ясно, что въ этомъ драматизмъ проглядываеть мелодраматизмь. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступленіе страсти, въ которыя всегда впадають молодые поэты, н которыя всегда восхищають молодыхь людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы въ талантъ молодого поэта, но не болъе, какъ элементы, развитія которыхъ слъдовало ожидать въ будущемъ. Такъ, въ эффектной картина молодого художника опытный взглядъ знатока видитъ несомивниви залогъ будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себъ немногаго стоитъ; такъ, молодой даровитый трагическій актеръ не можеть скрыть крикомъ и ръзкостью своихъ жестовъ избытка огня и страсти, которыя кинять въ его душѣ, но для выраженія которыхъ онъ не выработаль еще простой и естественной манеры. И потому мы гораздо больше согласны съ Пушкинымъ касательно его мнвнія насчеть стиховь: "Онь часто въ свчахь роковыхъ" и проч. Вотъ что говорить онъ о нихъ: "А. Р. хохоталъ надъ следующими стихами (NB мы выписали ихъ выше)... Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещуть зубами и проч. Все это смешно, какъ мелодрама" (т. XI, стр. 228).

Несмотря на то, въ поэмѣ много частностей обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріп (особенно Маріп) предестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ напвность нѣсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы, это—описанія, или, лучше сказать, живыя картины мухаме-

данскаго Крыма: онв и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ нихъ ивтъ этого элемента высокости, который такъ проглядываетъ въ "Кавказскомъ Плвнинкв" въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онв непобедимо очаровываютъ этою кроткою и роскошною поэзію, которыми запечатлена соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда верны местности. Картина гарема, детскія, шаловливыя забавы ленивой и уныло-однообразной жизни одалисокъ, татарская песня — все это и теперь еще такъ живо, такъ свёжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзін, напримеръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись тёнью Тавриды сладостной поля; Вдали подъ тихой лавровъ сёнью Я слышу пёнье соловья; За хоромъ звёздъ луна восходить: Она съ безоблачныхъ небесъ На долы, на холмы, на лёсъ Сіянье томное наводитъ. Покрыты бёлой пеленой, Какъ тёни легкія, мелькая, Но улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой, Простыхъ татаръ спёшать супруги Дёлить вечерніе досуги.

Описаніе евнуха, прислушивающагося подозрительнымъ слухомъ къ малъйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиною этой фантастическипрекрасной природы, и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и лелѣютъ очарованное ухо читателя:

> Но все вокругъ него молчить; Одни фонтаны сладкозвучны Изъ мраморной темницы бьють, И, съ милой розой неразлучны, Во мракъ соловьи поютъ.

Здъсь даже неправильныя устченія не портять стиховъ. И какою истинно лирическою выходкою, исполненною павоса, замыкаются эти роскошносладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы Ночей роскошнаго Востока! Какъ сладко льются ихъ часы Для обожателей пророка! Какая нъга въ ихъ домахъ, Въ очаровательныхъ садахъ, Въ тиши гаремовъ безопасныхъ, Гдъ, подъ вліяніемъ луны, Все полно тайнъ и тишины, И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзін, которыми такъ полонъ "Бахчисарайскій Фонтанъ", въ немъ пленяеть еще эта легкая, свётлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навенная на поэта чудно-прозрачными и благоуханными ночами Востока и поэтическою мечтою, которую возбудило въ немъ преданіе о тапиственномъ фонтанъ во дворцё Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышитъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: ъ́дкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ся чертами Журчить во мраморт вода И каплеть хладными слезами, Не умолкая никогда. Такъ плачетъ мать во дни печали О сынт, падшемъ на войнт. Младыя дтвы въ той странт Преданье старины узнали, И мрачный памятникъ опт Фонтаномъ Слезъ именовали.

Следующіе стихи (до конца) составляють превосходнейшій музыкальный финаль поэмы; словно гезиме, они сосредоточивають въ себе всю силу внечатленія, которое должно оставить въ душе читателя чтеніе целой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, светлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навелянная немолчнымъ журчаніемъ "Фонтана Слезъ" и представившая разгоряченной фантазіп поэта таниственный образъ мелькавшей летучею тёнью женщины... Гармонія последнихъ двадцати стиховъ упонтельна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія волны Обрадують мой жадный взорь. Волшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: холмы, лъса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса, И струй и тополей прохлада,-Все чувство путника манить, Когда въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ, дорогою прибрежной, Привычный конь его бъжитъ, И зеленъющая влага Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ Вокругь утесовъ Аю-дага...

Вообще "Вахчисарайскій Фонтант" — роскошно поэтическая мечта юности, и отпечатокъ юности лежить равно и на недостаткахъ его, и на достоинствахъ. Во всякомъ случав, это — прекрасный, благоухающій цвётокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всёми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замъняетъ строгую сбдуманность концепціи, а роскошь щедрою рукою разбросанныхъ красокъ— строгую отчетливость выполненія.

Теперь намъ предстоитъ говорить о поэмѣ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созрѣвавшаго таланта Пушкина на путь истинно художественной дѣятельности: это—"Дыганы". Въ "Русланѣ и Людмилѣ" Пушкинъ является даровитымъ
и шаловливымъ ученикомъ, который во время
класса, украдкою отъ учителя, чертитъ ватѣйливые
арабески, плоды его причудливой и рѣзвой фантазіп; въ "Кавказскомъ Плѣнникѣ" и "Вахчисарайскомъ Фонтанѣ" это—молодой поэтъ, еще неопытными пальцами пробующій извлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды
первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ "Цыгапахъ"
онъ—уже художникъ, глубоко вглядывающійся въ
жизнь и мощно владѣющій своимъ талантомъ. "Цы-

ганами" открывается с р е д и я я эпоха его поэтической деятельности, къ которой мы причисляемъ еще "Евгенія Онфінна" (первыя шесть главъ), "Полтаву", "Графа Пулина"; также, какъ съ "Бориса Годунова" начинается последняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художнической деятельности, къ которой мы причисляемъ и все поэмы, после его смерти напечатанныя. Въ следующей статье мы разсмотримъ "Цыганъ", "Полтаву", "Евгенія Онфінна" и "Графа Нулина", а эту статью заключимъ взглядомъ на "Братьевъ-Разбойниковъ", маленькую поэмку, которую, по многимъ отношеніямъ, считаемъ прекраснымъ явленіемъ.

На первомъ изданін "Цыганъ", вышедшемъ въ 1827 году, выставлено въ заглавін: "писано въ 1824 году"; то же самое выставлено и въ заглавін вышедшихъ въ 1827 же году "Братьевъ-Разбойниковъ", которые первоначально были напечатаны въ одномъ альманахѣ 1825 года. Стало быть, объ эти поэмы написаны Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ раздъляетъ неизмъримое пространство: "Цыганы"—произведеніе великаго поэта, а "Братья-Разбойники"—не болье, какъ ученическій опыть. Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и ни въ чемъ нѣтъ истины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь она написана въ одно время съ "Русланомъ и Людмилою" — она была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ ней стихи бойки, рёзки и размашисты, разсказъ живой н стремительный. Но какъ произведение, современное "Цыганамъ", эта поэма-неразгаданная вещь. Ея разбойники очень похожи на шиллеровскихъ удальцовъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по внѣшности событія и видно, что оно могло случиться только въ Россіи. Языкъ разсказывающаго повъсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человъка изъ образованнаго сословія,--отсюда и выходить декламація, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые имъ, въ бреду, къ брату-ръшительно мелодрама. Поэмка бъдна даже поэзіею, которою такъ богато все, что ни выходило изъ-подъ пера Пушкина, даже "Русланъ и Людмила". Есть въ "Братьяхъ-Разбойникахъ" даже илохіе стихи и прозаическіе обороты, какъ, напримъръ: "Межъ ними зрится и бъглецъ", "Насъ другъ ко другу приковали".

[Отечественныя Записки. Т. ХХХІП. 1844 г.].

VII.

Поэмы: "Цыганы", "Полтава", "Графъ Нулинъ".

"Цыганы" были приняты съ общими похвалами, но въ этихъ похвалахъ было что-то робкое, нерѣшительное. Въ новой поэмѣ Пушкина подозрѣвали что-то великое, но не умѣли понять, въ чемъ оно заключалось, и, какъ обыкновенно водится въ та-

кихъ случаяхъ, расплывались въ восклицаніяхъ и не жалели знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты; публика была прямодушнъе и добросовъстите. Мы хорошо помнимъ это время, помнимъ, какъ многіе были непріятно разочарованы "Цыганами" и говорили, что "Кавказскій Пленникъ" и "Бахчисарайскій Фонтанъ" гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэтъ вдругъ переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутился на высотъ, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно смівятся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили Пленникомъ, Черкешенкою, Заремою, Маріею, Гиреемъ, братьями-разбойниками, и только по какой-то робости похваливали "Цыганъ", или боясь скомпрометировать себя, какъ образованныхъ судей изящнаго, или дътски восхищаясь пъснію Земфиры и сценою убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пересталь быть выразителемь нравственной настроенности современнаго ему общества, и что отселъ онъ явился уже воспитателемъ будущихъ поколъній. Но поколінія возникають и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дождаться воспитанныхъ его духомъ покольній — своихъ истинныхъ судей. "Цыганы" произвели какое-то колебание въ быстро-возраставшей до того времени славѣ Пушкина; но послѣ "Цыганъ" каждый новый успѣхъ Пушкина былъ новымъ его падепіемъ, на "Полтава", последнія н лучшія двѣ главы "Онѣгина", "Борисъ Годуновъ" были приняты публикою холодно, а нѣкоторыми журналистами-съ ожесточениемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобренія.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было въ нихъ о "Цыганахъ": вы удивитесь, какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байронт, о цыганскомъ племени, о небезгрѣшности ремесла—водить медвѣда, объ успѣшномъ развитіи таланта "пѣвца Руслана и Людмилы", удивленіе къ дѣйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ: "И отъ судебъ защиты нѣтъ", осужденіе будто бы вллаго стиха: "И съ камня на траву свалился", и многое въ этомъ родѣ; но ни слова, ни намека на ндею поэмы.

А между тёмъ поэма заключаеть въ себѣ глубокую идею, которая большинствомь была совсёмъ не понята, а немногими людьми, радушно привѣтствовавшими поэму, была понята ложно,— что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И послѣднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думаль сказать не то, что сказаль въ самомъ дѣлѣ. Это особенно доказываеть, что непосредственно творческій элементь въ Пушкинъ быль несравненно сильнѣе мыслительпаго, сознательнаго элемента, такъ что ошибки нослѣдняго, какъ бы безъ вѣдома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собою торже-

ствовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Новторяемъ: "Цыганы" служатъ неопровержимымъ доказательствомъ справедливости нашего мифнія. Идея "Цыганъ" вся сосредоточена въ геров этой поэмы—Алеко. А что хотвлъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ?--Не трудно отвътить: всякій, даже съ перваго, поверхностнаго взгляда на поэму, увидитъ, что въ Алеко Пушкинъ хотълъ показать образецъ человіка, который до того проникнуть сознаніемъ челов'яческаго достоинства, что въ общественномъ устройствѣ видитъ одно только униженіе н позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни, Алеко въ дикой цыганской воль ищеть того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Вотъ что хотълъ Пушкинъ изобразить въ лиць своего Алеко; но усивлъ ли онъ въ этомъ, то ли именио изобразиль онъ?-Правда, поэть настанваетъ на этой мысли и, видя, что поступокъ Алеко съ Земфирою явно ей противоръчитъ, сваливаетъ всю вину на "роковыя страсти, живущія и подъ разодранными шатрами", и на "судьбы, отъ которыхъ нигдъ нътъ защиты". Но весь ходъ поэмы, ея развязка и, особенно, пграющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неосноримо показывають, что, желая и думая изъ этой поэмы создать апочеозу Алеко, какъ поборника правъ человъческаго достоинства, поэтъ, вмъсто этого, сдълалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ ними судъ неумолимо-трагическій и вмѣстѣ съ тѣмъ горько проническій.

Кому не случалось встрвчать въ обществв людей, которые изъ всвхъ силъ бьются прослыть такъ называемыми "либералами" и которые достигають не болве, какъ незавиднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда поражають наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ комическимъ противорвчемъ своихъ словъ съ поступками. Много можно было бы сказать объ этихъ людяхъ характеристическаго, чвмъ такъ рвзко отличаются они отъ всвхъ другихъ людей; но мы предпочитаемъ воспользоваться здвсь чукою, уже готовою характеристикою, которая соединяетъ въ себъ два драгоценныя качества—краткость и полноту: мы говоримъ объ этихъ удачныхъ стихахъ

покойнаго Дениса Давыдова:

А глядишь—нашъ Мирабо Стараго Гаврилу, За измятое жабо, Хлещеть въ усъ да въ рыло; А глядишь—нашъ Лафаэтъ, Брутъ или Фабрицій, Мужичковъ подъ прессъ кладеть, Вмъстъ съ свекловицей.

Такіе люди, конечно, смёшны, и съ нихъ довольно легонькаго водевиля или сатирической ийсенки, ловко сложенной Давыдовымъ; но поэмы они не стоятъ. Никакъ нельзя сказать, чтобъ Алеко Пушкина былъ изъ этихъ людей, но и нельзя также

сказать, чтобъ онъ не быль имъ сродии. Великая мысль является въ дёйствительности двойственнокомически и трагически, смотря по личнымъ качествамъ людей, въ которыхъ она выражается. Дурная страсть въ человъкъ ничтожномъ или забавна, какъ глупость, или отвратительна, какъ мерзость; дурная страсть въ человъкъ съ характеромъ и умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ или презрѣніемъ, смѣшаннымъ съ омерзеніемъ; вторая служить для людей трагическимъ урокомъ, потрясающимъ душу. Вотъ почему для нервой довольно легонькаго водевиля или сатирической пісенки, много уже, если комедін; для второй нужна сатира Варбье, и ея не погнушается даже трагедія Шекспира. Глупець, который корчить изъ себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленькій эгонзмъ, который не любить для себя тёхъ самыхъ стёснительныхъ формъ, которыми дюбить душить другихъ. Дайте этому эгонзму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противоръчить ему,-п передъ вами весь Алеко, такой, какимъ создалъ его Пушкинъ. Не страсти погубили Алеко. "Страсти" — слишкомъ неопредъленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ: Алеко погубила одна страсть, и эта страсть-эгоизмъ! Проследите за Алеко въ развитии целой поэмы, н вы увидите, что мы правы.

Приведя встрѣченнаго за холмомъ, подлѣ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ своему

отцу, между прочимъ:

Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ; Его преслъдуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только тапиственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болъе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можеть показаться ни преступникомъ вследствие эгоизма, ни жертвою несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхностности, готовъ сразу принять его за мученика иден. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотритъ на опустелое поле и не сметъ растолковать себъ тайной причины своей грусти. Онъ, наконецъ, волень, какъ Божія птичка; солнце весело блещеть надъ его головою: о чемъ же его тоска? Поэть пророчить ему, что страсти, ифкогда такъ свирепо игравшія имъ, только на время присмиръли въ его измученной груди, и что скоро онъ снова проснутся... Опять страсти! но какія же? А воть увидимъ...

Можетъ быть, Алеко только внёшнимъ образомъ, по чувству досады, разорвалъ связи съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишеній, дикая воля обранаго бродящаго племени, ибо, какъ мудро замётилъ ему старый цыганъ:

Тому, кто къ нъгъ пріученъ.

Нѣтъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо-песпокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ пъснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалбеть ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ,—Алеко отвъчаетъ:

О чемъ жалёть? Когда-бъ ты внала, Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдатам, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цъпей.
Что броснъъ я? Измънъ волненье,
Предразсужденій приговоръ,
Толны безумное гоненье
Или блистательный позоръ.

Какой энергическій, полный мощнаго негодованія голось! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ навосомъ рѣчь!. Съ какою неотразимою силою увлекаеть душу это пророчески-обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можешь не върнть, чтобъ человѣкъ, обладающій такою силою жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда, - существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ истинъ, глубокой скорби объ униженін человѣчества... Вы видите въ немъ героя убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толив откровеній... Какъ высоко стонть онъ надъ этою презрѣнною толпою, которую такъ нещадно поражаеть громомъ своего благороднаго негодованія!.. Но зд'єсь-то и скрывается великій урокъ для оценки истиннаго достоинства; здесь-то и можно видёть, какъ легко быть героемъ на счеть чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счетъ, —какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дълами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклятіе не только на какое-нибудь общество или какойнибудь народъ, но и на цълое человъчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ деле. И потому изрекать анаеему также не всякій имфеть право, какъ и изрекать благословение; это могуть только пріявшіе свыше власть и посвященіе. Какъ поучать другихъ имветъ право только знающій самъ то, чему берется поучать, — такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто уже самъ твердою стопою привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъ-не болье, какъ звукъ пустой: оно важно только, какъ выражение мысли; а мысль сама по себъ-не болье, какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность дъйствительности. Все, что не подходить подъ мёрку практического примёненія, — ложно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать вниманіе не только на то, действительно ли истинно сказанное, но и на то, кемъ оно сказано. По этой же причине, въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ, иногда и старыя истины получають новую форму и новую силу убежденія, какъ будто бы оне были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженныя мысли пропадаютъ безъ действія, какъ будто истертыя общія мёста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ доходитъ дѣло и до страстей, ноявление которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердиемъ Алеко одолъваетъ ревность.

Эта страсть свойственна или людямь, по самой натурё эгоистическимь, или людямь, неразвитымь правственно. Считать ревность необходимою принадлежностью любви—непростительное заблужденіе. Человёкъ и ра в с т в е и и о развитый любить спокойно, увёренно, потому что уважаеть предметь любви своей (любовь безъ уваженія для него невозможна). Положимь, что онь замізчаеть къ себё охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ин была причина этого охлажденія изъ исчисленныхъ поэтомъ:

Кто устоить противъ разлуки, Соблазна новой красоты, Противъ усталости и скуки Иль своенравія мечты?

охлаждение заставить его страдать, потому что любящее сердце не можетъ не страдать при потеръ любимаго сердца; но онъ не будетъ ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть бользнь людей ничтожныхь, которые не уважають ни самихъ себя, ни своихъ правъ на привязанность любимаго ими предмета; въ ней выказывается мелкая тиранія существа, стоящаго на степени животнаго эгонзма. Такая ревность невозможна для человъка нравственно развитаго; но такимъ же точно образомъ невозможна для него п ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность непремённо предполагаетъ мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозрительность совершенно излишняя для того, кто можеть спросить другого о предметь подозрвнія съ такимъ же яснымъ взоромъ, съ какимъ и самъ отвѣтить на подобный вопросъ. Если отъ него будуть скрываться, то любовь его перейдеть въ презрѣніе, которое если не избавить его отъ страданія, то дасть этому страданію другой характеръ и сократить его продолжительность; если же ему скажуть, что его болье не любять, -- тогда мукн подозрвнія темь менже могуть иметь смысль. Чувство оскорбленія для такого человѣка также невозможно, ибо онъ знаетъ, что прихоть сердца, а не его недостатки причиною потери любимаго сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадаеть, какъ другь, его горю, и винить себя, не будучи въ сущности виновато. Что касается до жажды мщенія, въ этомъ случав она была

бы понятна, только какъ выражение самаго животнаго, самаго грубаго и нев жественнаго эгоизма, который невозможенъ для человъка нравственно развитаго. И за что тутъ метить? -- за то, что любившее васъ сердце уже не бъется любовію къ вамъ! Но развѣ любовь зависить отъ воли человъка и покоряется ей? И развъ не случается, что сердце, охладъвшее къ вамъ, не терзается сознаніемъ этого охлажденія, словно тяжкою виною, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогутъ ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будуть всф усилія его заставить себя любить попрежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимаго вами, но уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлаждение къ вамъ теперь такъ же произошло не отъ его воли, какъ не отъ нея произошла прежде его любовь къ вамъ? Хотите ли, чтобъ этотъ предметь, скрывая насильственно свое къ вамъ охлажденіе, обманывалъ васъ, ради вашего счастія, притворною любовію?—Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйти только изъ самаго грубаго, животнаго эгонзма: ибо, если вы человъкъ, существо нравственно развитое, то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастін связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чъмъ о своемъ собственномъ. И притомъ, надо быть слишкомъ пошлымъ человѣкомъ, чтобъ докустить обмануть и успоконть себя принужденною любовію, и надо быть слишкомъ подлымъ человъкомъ, чтобъ, понимая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастіе въ жертву своему собственному- и какому счастію!.. Когда любовь съ которой-нибудь стороны кончилась, -- вмъстъ жить нельзя: ибо тоть не понимаеть любви и ея требованій и за любовь принимаетъ грубую, животную чувственность, кто способенъ пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимаго, но уже не любящаго. Такая "любовь" бываетъ только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство, -- и, можетъ быть, оно такъ тамъ и нужно; но въ любви такія отношенія суть оскорбленіе и профанація не только любви, но и человъческаго достоинства. Всъ такіе случан невозможны для человтка нравственно развитаго.

Есть много родовъ образованія н развитія, и каждое изъ нихъ важно само по себф, но всфхъ нхъ выше должно стоять образование и равственное. Одно образование делаеть вась человекомь ученымъ, другое-человъкомъ свътскимъ, третьеадминистративнымъ, военнымъ, политическимъ и т. д.; но нравственное образование дёлаеть вась просто челов в ком в, т. е. существомъ, отражающимъ на себѣ отблескъ божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животнымъ. Хорошо быть ученымъ, поэтомъ, воиномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ челов в комъ; быть же челов в комъ значить имъть полное и законное право на существованіе и не будучи ничёмъ другимъ, какъ только челов в комъ. Въ чемъ же состоитъ нравственное образованіе, нравственное развитіе? Такъ

какъ человъкъ не только существуетъ, но еще и мыслить, то всякій предметь, въ отношенін къ нему, существуеть не только практически, но и теоретически, и человѣкъ только тогда виолиъ владъетъ предметомъ, когда схватываеть его съ этихъ объихъ сторонъ. Но одно практическое обладаніе предметомъ еще значить что-нибудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значитъ. И потому теоретическая нравственность, открывающаяся въ однъхъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дёло, какъ фактъ, выходящая только изъ созерцаній ума, но не им'ьющая глубокихъ корней въ почвѣ сердца, такая нравственность стоить безнравственности и должна называться китайскою или фарисейскою. Истинная нравственность прозябаеть и растеть изъ сердца, при плодотворномъ содъйствін свътлыхъ лучей разума. Ея мърило-не слова, а практическая дъятельность. Въ сферъ теорій и созерданій — быть героемъ добродътели въ тысячу разъ легче, нежели въ дъйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора или, пообъдавъ, почувствовать себя сытымъ. Такъ какъ сфера нравственности есть по пренмуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется пренмущественно изъ взаимныхъ отношеній людей другь къ другу,--то здесь-то, въ этихъ отношеніяхъ, -- и больше нигдф, -- должно искать примътъ нравственнаго или безнравственнаго человѣка, а не въ томъ, какъ человъкъ разсуждаеть о нравственности, или какой системы, какого ученія и какой категорін нравственности онъ держится. Слова, какъ бы ни были краснорфчивы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопровождались не только порывистыми жестами, но, при случать, и горячими слезами, -- слова сами по себъ все-таки стоять не больше всякой другой болтовни: здёсь, какъ н вездь, дьло-вь дьль. Одинь изъ высочайшихъ и священнъйшихъ принциповъ истинной нравственности заключается въ религіозномъ уваженіи къ человъческому достоинству во всякомъ человъкъ, безъ различія лица, прежде всего за то, что онъчеловъкъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мере, въ какой онъ ихъ иметъ,-въ живомъ, симпатическомъ сознанін своего братства со всёми, кто называется челов в комъ. Воть что разумили мы подъ словомъ "нравственно развитый человъкъ", говоря о томъ, какимъ образомъ показалъ бы себя такой человъкъ въ отношеніи къ любимой имъ особъ, когда она по чему бы то ни было разлюбить его. Естественно, что никогда не выказывается такъ ръзко опредъленно нравственность или безиравственность человъка, какъ въ техъ случаяхъ, где онъ судить своего ближняго по отношенію къ самому себъ, и гдъ въ эти отношенія вмішивается страсть: ибо въ такихъ случанхъ ему предстонтъ быть къ самому себъ строгимъ безъ эффектовъ, безиристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ униженія, между темъ какъ въ такихъ-то именно обстоятельствахъ человъкъ, по чувству эгонзма, и увлекается крайностями, т. е. или бываетъ къ себъ пристрастноснисходительнымъ, обвиняя во всемъ своего ближняго, или, что бываеть ртже, изъ самаго безпристрастія своего и своей къ себѣ строгости дѣлаеть эффектную мелодраму. Поэтому наше приложеніе идеи нравственности къ дѣлу любви очень удобно для ръшенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильнъйшихъ страстей, увлекающихъ человъка во всъ крайности больше, чъмъ всякая другая страсть, можеть служить пробнымъ камнемъ нравственности. Если человъкъ, находящійся въ положеніи Алеко, подавшаго намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть истинно иравственный человікь, то въ любимой имъ особі онъ съ большею страстью, чёмъ въ комъ-нибудь другомъ, уважаетъ права свободной личности, а слъдовательно и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случав, натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметь за преступленіе, или такъ называемую на языкѣ ношлыхъ романовъ "невърность", и еще менъе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже н безъ любви и для его счастія отказаться отъ счастія новой любви, можеть быть, бывшей причиною ея къ нему охлажденія. Еще болье естественно, что въ такомъ случат ему остается сдфлать только одно: со всёмъ самоотверженіемъ души любящей, со всею теплотою сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить его, нли ее, на новую любовь и на новое счастіе, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко сохранить отъ всёхъ, и въ особенности отъ него или отъ нея, въ своемъ сердцъ. Такой поступокъ немногими можетъ быть опънень, какъ выражение истинной нравственности; многіе, воспитанные на романахъ и повъстяхъ съ ревностію, измѣнами, кинжалами и ядами, найдутъ его даже прозаическимъ, а въ человъкъ, такимъ образомъ поступившемъ, увидятъ отсутствие понятия о чести. Дъйствительно, по понятіямъ, искаженно перешедшимъ къ намъ отъ среднихъ въковъ, мужчинъ надо кровью смыть подобное безчестие и, какъ говоритъ Алеко, "хищинку и ей, коварной, вонзить кинжаль въ сердце", а женщинъ прибъгнуть къ яду или къ слезамъ и безмолвной тоскъ; но не должно забывать, что то, что могло имъть смысль въ варварскіе средніе въка, въ наше просвъщенное время уже не имъеть никакого смысла. Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени Шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ темъ однако-жъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шексииръ, и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человѣкъ нашего времени только раземьется оть новыхъ Отелликовъ вродь Марселя въ неленой повести Эжена Сю "Крао" и безыменнаго господина въ отвратительной повъсти Дюма "Une Vengeance". Но люди, которымъ нужно доказать, что въ паше время кинжалы, яды и даже пистолеты, вследствее ревности, суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты, илп

результаты болёзненнаго безумія, животнаго эгонзма н дикаго невъжества, -- такіе люди не стоять того, чтобъ тратить на нихъ слова. Слава Богу, такихъ людей теперь уже немного, и теперь гораздо больше людей, которые принимають слова за одно съдълами: воть имъ-то предложимъ мы вонросъ, ближе относящійся къ предмету нашей статьи: что сказать о человъкъ, который, по его словамъ, идетъ наравий съ викомъ и для этого толкуеть о прави человъческомъ (нарушаемомъ его сосъдомъ по имѣнію) и объ эмансипаціи женщины, но который, если его жена позволить себф сделать въ отношенін къ нему сотую долю того, что безъ всякаго позволенія ділаеть онь въ отношеніи къ ней, сейчасъ перемѣняеть тонъ и готовъ хоть за дубье приняться?.. Не правда ли, что, глядя на него, невольно запоешь вполголоса съ Давыдовымъ:

> А глядишь—нашь Мирабо Стараго Гаврилу, За измятое жабо, Хлещеть въ усъ да въ рыло?..

Воть почему не смёхь, а смёшанное съ ужасомь отвращение возбуждають слова Алеко въ отвёть на простодушный, трогательный и поэтическій разсказъ стараго цыгана о Маріуль:

Да какъ же ты не поспъшелъ Тотчасъ во слъдъ неблагодарной И хищнику, н ей, коварной, Кинжала въ сердце не вонзилъ?

Итакт, вотъ онъ — страдалецъ за униженное человѣческое достоинство, человѣкъ, который презрѣлъ предразсудки образованной общественности и нашелъ счастіе въ цыганскомъ таборѣ!.. Турокъ въ душѣ, онъ считалъ себя впереди пѣлой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъличности!.. И какъ великъ, какъ истинно (т. е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бѣдности, не знающій въ простотѣ сердца никакихъ теорій нравственности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвѣтѣ Алеко:

Къ чему? вольнёе итицы младость. Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всёмъ дается радость: Что было, то не будетъ виовь.

Отвѣтъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнѣ раскрываетъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря, Отъ правъ монхъ не откажусь; Или хоть миненьемъ паслажусь. О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездной моря Нашель я спящаго врага, Клинусь, и тутъ моя нога Не пощадила бы злодѣя: Я въ волны моря, не блѣднѣя, И беззащитнаго-бъ толкиулъ, Внезапный ужасъ пробужденья Свирѣнымъ смѣхомъ упрекнулъ. И долго мнѣ его паденья Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что навакая могучая идея не владёла душою Алеко, но что всё его мысли и чувства, и действія вытекали, во-пер-

выхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толною, состоящаго въ умъ, болье блестящемъ и созерцательномъ, чемъ глубокомъ и деятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгонзма, который гордъ самимъ собою, какъ добродътелью. "Эта женщина (какъ разсуждаетъ эгонзмъ Алеко) отдалась мнв, и я счастливъ ея любовью, --следовательно, я имфю на нее вфчное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измѣнила, — и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна упонть меня сладостью мщенія. Ея обольститель лишиль меня счастія,---и долженъ за это заплатить мив жизнію". Не спрашивайте Алеко, наказаль ли бы онь самъ себя смертію, если-бъ онъ самъ измінилъ любимой имъ женщинъ и со свойственною эгонстамъ жестокостію оттолкнуль ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступилъ и что бы заговориль Алеко въ подобномъ обстоятельствъ. Эгонзмъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человъкъ, какъ Алеко, въ подобномъ случат сталъ бы рисоваться передъ самимъ собою, какъ великодушный и невинный губитель чужого счастія,онъ, пожалуй, еще почелъ бы себя въ правъ мстить смертію оставленной имъ женщинъ, которая преследуеть его своими докуками, упреками, слезами и моленіями, съ чего-то вообразивъ, что пмъетъ на него какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія, и, подобно дитяти, лишенъ воли. Не спрашивайте его также, имъетъ ли на его жизнь право человѣкъ, у котораго онъ отбилъ любовницу: со свойственнымъ эгонзму безстыдствомъ, Алеко, въ такомъ случав, началъ бы предъ вами витіевато либеральничать и доказывать пышными фразами, что на женщину имъетъ законное право только тотъ, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко, первый бы уступиль великодушно свою любовницу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгонзма вытекаеть и животная мстительность Алеко. Человъкъ нравственный и любящій живеть для иден, составляющей павось цілаго его существованія: онъ можеть и горько презирать, и сильно ненавидеть, но скорее по отношенію къ своей идет, чтмъ къ своему лицу. Онъ не снесеть обиды и не позволить унизить себя, но это не мъщаетъ ему умъть прощать личныя обиды: въ этомъ случав онъ не слабъ, а только великодушенъ. Натуры блестящія, но въ сущности мелкія, —потому что эгонстическія, —чужды стремленія къ идей или идеалу: онй во всемъ ставять сосредоточіемъ свое милое я. Если онъ и заберутъ себъ въ голову, что живутъ для какой-то иден, то не возвышаются до иден, а только нагибаются до нея, думаютъ не себя облагородить и освятить проникновеніемъ идеею, по идею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ идея, въ нхъ глазахъ, потому только истинна, что онаихъ пдея, и потому всякій, не признающій ея истинности, есть ихъ личный врагъ. Но, будучи оскорблены въ деле личной страсти, эти люди думають, что въ ихъ лицъ оскорблень весь міръ,

вся вселенная, и никакая месть не кажется имъ незаконною. Таковъ Алеко!

Скажуть, что созданіе такого лица не д'ялаеть чести поэту, темь более, что онъ явно хотель сделать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбою человъка. Дъйствительно, это было бы такъ, если-бъ поэтъ не противопоставиль стараго цыгана лицу Алеко, можеть быть, безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы "Цыганы" должно искать не въ одномъ лицъ, а тъмъ менъе только въ лиць Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмѣ Пушкина какъ бы для того только, чтобы представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противорфчіе съ самимъ собою было причиною его гибели,-н онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія, примиряется съ преступникомъ. Алеко не убиваетъ себя: онъ остается жить, --- и это рашеніе дайствуеть на душу читателя сильнъе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравнение Алеко съ подстръленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полъ, въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобы лететь къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической сцены. Сидя на камит, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, "блтдный лицомъ", Алеко молчить, но его молчание краснорѣчиво: въ немъ слышится нѣмое признаніе справедливости постигшей его кары, и, можеть быть, съ этой самой минуты въ Алеко звърь уже умеръ, а человъкъ воскресъ...

Вы скажете: слешкомъ поздно. Что-жъ дёлать! такова, видно, натура этого человёка, что она могла возвыситься до очеловёченія только цёною страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судё надъ подшимъ и наказаннымъ, а лучше тёмъ строже будемъ къ самимъ себе, пока мы еще не пали, и заранёе воспользуемся великимъ урокомъ. Если-бъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: нбо видёли бы въ немъ все того же звёря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары, —и мы должны видёть въ немъ человёка: а человёкъ человёка какъ осудить?

Убитая чета уже въ землъ.

... Когда же нхъ закрылн Послъдней горстію земной, Онъ молча, медленно склонился, И съ камня на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотъ своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдние стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозаические! Гдъто было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячий споръ съ къмъто изъ своихъ друзей, за эти два стиха, и наконецъ вскричалъ: "Я долженъ былъ такъ выразиться;

я не могъ иначе выразиться!" Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература. Есть въ этомъ цыганъ что-то патріархальное. У него нёть мыслей: онь мыслить чувствомь, - и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонъ ръчи его столько простоты, напвности, достоинства, самоотрицанія (resignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ втренъ онъ себт во всемъ, тогда ли, какъ разсказываеть своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овипін: нли когда, въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзін пѣснѣ Земфиры припоминаетъ стараго друга; или когда, утѣшая Алеко въ охлажденін Земфиры, по-своему, но такъ вфрно н истинно объясняеть ему натуру и права женскаго сердца и разсказываеть трогательную повъсть о самомъ себъ, о своей любви къ Маріулъ п ея измѣнѣ, которую овъ, въ своей цыганской простотв, такъ человачно, такъ гуманно нашель совершенно законною... Но въ сценъ похоронъ п прощанія съ Алеко онъ является, самъ того не подозрѣвая въ своей цыганской дикости, въ истиниотрагическомъ величии и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

"Оставь насъ, гордый человъкъ! Мы дики, иътъ у насъ законовъ, Мы не терзаемъ, не казнимъ, Не пужно крови намъ и стоновъ; Но житъ съ убійцей не хотимъ. Ты не рожденъ для дикой доли,— Ты для себя лишь хочешь воли; Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ. Мы робки и добры душою,— Ты золъ и смълъ: оставъ же насъ! Прости! да будетъ миръ съ тобою".

Замётьте этотъ стихъ: "Ты для себя лишь хочешь воли", — въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идев. Послв этого можно ли сомивваться въ глубоко-нравственномъ характерв поэмы? Нътъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невъждъ-моралистовъ, которые привыкли видёть нравственность только въ азбучныхъ сентениіяхъ...

Нѣкоторые критики того времени особенно нанадали на эпилогъ, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедіи. Греческаго въ этомъ эпилогѣ нѣтъ ничего; а осужденія онъ заслуживаетъ. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ посредственностью творчества, и, вслѣдствіе этого, онъ пришелся совершенно некстати къ содержанію поэмы, въ явномъ противорѣчіи съ ея смысломъ:

Но счастья нёть и между вами, Природы б'ёдные сыны! И подъ издранными шатрами Живуть мучительные сны. И ваши сёни кочевыя Въ пустыняхъ не спаслись отъ б'ёдъ, И всюду страсти роковыя, И отъ судебъ защиты нёть.

Къ чему тутъ судьбы и къ чему толки о томъ, что счастья нѣтъ и между бѣдными дѣтьми природы? Несчастье принесено къ нимъ сыномъ цивилизацін, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту съфдовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы, такъ энергически выраженной стихомъ: "Ты для себя лишь хочешь воли". Но, какъ мы выше замѣтили, Пушкинъ-поэтъ былъ гораздо выше Пушкина-мыслителя. Если бы въ духѣ Пушкина оба эти элемента были равносильны, и если-бъ, къ этому, роскошный цвѣтъ его поэзіи имѣлъ своею почвою виольъ развившуюся многовѣчную цивилизацію,—тогда, конечно, Пушкинъ былъ бы равенъ вели-

чайшимъ поэтамъ Европы... Можеть быть, инымъ покажется недостаткомъ въ "Цыганахъ" то, что въ этой поэмѣ декій цыганъ, такъ сказать, пристыжаетъ высотою своихъ созерцаній и чувствованій понятія сына цивилизаціи и, такимъ образомъ, заставляетъ насъ видъть идеалъ нравственно-просвътленнаго человъка въ бродящемъ дикаръ. Это несправедливо. Алеко есть одно изъ явленій цивилизаціи, но отнюдь не полный ея представитель. Сверхъ того, несмотря на всю возвышенность чувствованій стараго цыгана, онъ не высшій идеаль человіка: этоть идеаль можеть реализироваться только въ существъ сознательно-разумномъ, а не въ непосредственно-разумномъ, не вышедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Иначе развитіе человъчества черезъ цивилизацію не имѣло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сдѣлаться разумными и справедливыми, должны бы въ дикомъ состояніи вид'єть свое призваніе и свою ц'єль. Человъчество должно было помириться съ природою, но не иначе, какъ достигши этого примиренія свободно, путемъ духовнаго, противоположнаго природь, развитія. Для того-то и распался нъкогда человъкъ съ природою и объявилъ ей борьбу на смерть, чтобъ стать выше ея и потомъ, даже примирившись съ нею, быть выше ея, какъ духъ выше матерін, сознающій разумъ выше безсознательной дъйствительности. Бывають собаки, одаренныя не только удивительнымъ инстинктомъ, подходящимъ близко къ смыслу, но и удивительными добродътелями, какъ-то: вфрностью и привязанностью къ человъку, простирающимися до готовности жертвовать жизнію за челов'єка. И въ то же время бывають люди не только съ весьма ограниченными способностями, но и съ положительно-низкими страстями и злою, развращенною волею. И, однако-жъ, самый плохой человъкъ выше самой лучшей собаки, хотя онъ и внушаетъ къ себѣ одно презрѣніе и отвращеніе, тогда какъ послёдняя пользуется общимъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между ннтеллектуально-развитыми черезъ цивилизацію людьми въ царствъ разума занимаетъ высшую ступень, нежели самый лучшій изъ людей, взлельянныхъ на лонь природы; последній всегда-не более, какъ прекрасная случайность, или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организаціи, -- тогда какъ самые недостатки и порокн перваго болже или менже отражають на себж не-

обходимый моменть въ историческомъ развитін общества, или даже целаго человечества. Добродетели последняго не зависять оть прошедшаго-и потому не дають результатовь въ будущемъ: это таланть, скрытый въ землю, отъ котораго человъчество не богатъетъ. И потому жизнь непосредственно естественнаго человъка ни въ какомъ случав не можеть обогатить человъчества великимъ урокомъ. И если въ поэмѣ Пушкина старый цыганъ способствуетъ, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока, -- то не самъ собою, а черезъ Алеко, этого сына цивилизаціи. Зд'ясь онъ какъ бы играетъ роль хора въ греческой трагедін, который иногда изрекаеть великія истины о совершающемся передъ его глазами событін, не принимая самъ въ этомъ событін никакого деятельнаго участія.

Сколько "Цыганы" выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепировкъ характеровъ, по развитію дъйствія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ, во всёхъ этихъ отношенияхъ, поэма не отзывалась еще чёмъ-то... не то, чтобъ незрёлымъ, но чёмъ - то еще не совсемъ дозредымъ. Такъ, напримъръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодого цыгана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нёсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдълкъ всей поэмы недостаеть твердости и увъренности кисти, какъ въ техъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсемъ не походить на краски, что составляеть величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ "Цыганахъ" есть даже погрешности въ слогв. Такъ, напримъръ, въ стихв: "Тогда старикъ, приближась, рекъ", слово рекъ отзывается тяжелою книжностію, равно какъ и эпитеть "подъ издранными шатрами", вмёсто изодранными. Но два стиха-

Медвъдь, бъглецъ родной берлоги, Косматый гость его шатра,—

можно назвать ультра-романтическими, потому что все неточное, неопредёленное, сбивчивое, неясное, бѣдное положительнымъ смысломъ, при богатствѣ кажущагося смысла, --- все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все определительно и точно прекрасное должно назваться классическимъ, разумъя подъ "классическимъ" древне-греческое. Что такое "бъглецъ родной берлоги"? Не значить ли это, что медвадь бажаль безь позволенія и безь паспорта изъ своей берлоги? Хорошо бъгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этотъ медвъдь-похищенецъ, если можно такъ выразиться, но отнюдь не бъглецъ. Что такое "косматый гость шатра"? Что медвёдь побровольно поселился въ шатръ Алеко? Хорошъ гость, котораго ласковый хозяннъ держить у себя на цъпн, а при случат угощаетъ дубиною! Этотъ медвёдь скорёе пленникъ, чемъ гость.

По всему сказанному, мы относимъ "Цыганъ", вмъстъ съ "Полтавою" и первыми шестью главами

"Евгенія Он'вгина", къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась, въ первый разъ, во всей полнот ея, въ "Ворисъ Годуновъ"—этомъ безукоризненно-высокомъ, со стороны художественной формы, произведенін.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидін, какъ неумёстный въ поэмё и неестественный въ устахъ дыгана. Признаемся: по нашему мнѣнію, трудно выдумать что - нибудь нельные подобнаго упрека. Старый цыгань разсказываеть въ поэмѣ Пушкина не исторію, а преданіе, и не о поэтъ римскомъ (пыганъ ничего не смыслить ни о ноэтахъ, ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикѣ, который былъ "младъ и живъ незлобною душою, имѣлъ дивный даръ пфсенъ и подобный шуму водъ голосъ". Сверхъ того, "Цыганы" Пушкина—не романъ и не повъсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повъстью и между поэмою. Поэма рисуеть идеальную действительность и схватываеть жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и. порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и повъсть, напротивъ, изображаютъ жизнь во всей ея прозанческой действительности, независимо отъ того, стихами или прозою они пишутся. И потому "Евгеній Онфгинъ" есть романъ въ стихахъ, но не поэма; "Графъ Нулинъ" повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ "Онътвиъ" и "Нулинъ" мы видимъ лица дъйствительныя и современныя намъ; въ "Цыганахъ" всв лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свътомъ очей, ибо они одного цвъта съ лицомъ: такъ же мраморны или медяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ энизодъ вродъ разсказа стараго цыгана объ Овидін, въ "Цыганахъ", какъ поэмѣ, столь же возможень, естествень и умфстень, сколько быль бы онь странень и смещонь въ "Онегине" или "Нулинъ", хотя бы онъ былъ вложень въ уста тому или другому герою той или другой повъсти. И что бы ни говорили о неумъстности этого эпизода непризванные критики, -- ихъ толки будутъ свидътельствовать только о безвкусіи и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидін заключаеть въ себѣ гораздо больше поэзін, нежели сколько можно найти ее во всей русской литературѣ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духѣ того времени, когда вышли "Цыганы", извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слѣдующее мѣсто: "О "Цыганахъ" одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдъ. Покойный Р. негодовалъ, зачѣмъ Алеко водитъ медвѣдъ и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ то же замѣчаніе (Р. просилъ меня сдѣлатъ изъ Алеко хотъ кузнеца, что было бы не въ примѣръ благороднѣе). Всего бы лучше сдѣлатъ изъ него чиновника или помѣщика, а не цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: "ma tanto megtio" (соч. А. П., т. ХІ, стр.

206). Вотъ при какой публикъ явился и дъйствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцёнкі заслугь Пушкина.— "Цыганы" были первымъ усиліемъ, первою попыткою Пушкина создать что-нибудь важное и эрелое какъ по идет, такъ и по исполнению. Мы показали, до какой степени удалось ему это: "Цыганы оставили далеко за собою все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтт великія силы; но, въ то же время, въ этой поэмъ виденъ только могучій порывъ къ истинно-художественному творчеству, но еще не полное достижение желанной цели стремления. Черезъ два года послъ "Цыганъ" (т. е. въ 1829 году) вышла новая поэма Пушкина-,,Полтава", въ которой разко выразилось усиліе поэта оторваться отъ прежней дороги и твердою ногою стать на новый путь творчества. Но гдъ видно усиліе, тамъ еще нътъ достижения: достигнуть желаемаго значить — спокойно, свободно, слёдовательно безъ всякихъ усилій, овладёть имъ. Поэтому въ "Полтавъ видны какая-то неръшительность, какое-то колебаніе, вследствіе которыхь изь этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время и пестройное, странное, неполное. "Полтава" богата новымъ элементомъ-народностью въ выраженін; почти всякое місто, отдільно взятое въ ней, превосходить все, написанное прежде Пушкинымъ, по силь, полноть и роскоши поэтическаго выраженія, — н въ то же время въ этой поэмѣ нѣтъ единства, она не представляеть собою пѣлаго. Содержаніе ея до того огромно, что одна смёлость поэта коспуться такого содержанія есть уже заслуга, тъмъ болъе, что многія частности показывають, что поэть достоинь быль своего предмета,--и все-таки, читая "Полтаву" и дивясь ся великимъ красотамъ, спрашиваешь себя: что же это такое? Разсмотржніе причинъ такого явленія очень любонытно, и мы постараемся изследовать этоть вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства "Полтавы" были равно непоняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою. Между темъ ни одно произведение Пушкина, послѣ "Руслана и Людмилы", не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ "Полтава". Ее бранили съ ожесточеніемъ, безъ всякаго уваженія къ лицу великаго поэта; и съ тѣхъ поръ накоторые критики, обрадовавшись своей собственной смелости и своему открытію, что н Пушкина можно бранить, какъ какого-нибудь обыкновеннаго стихотворца, не упускали случая пользоваться своею похвальною сміжностію и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ, въ разныхъ журналахъ и на разные голоса, но одинаково неприлично и несправедливо были разруганы—"Полтава", "Графъ Нулинъ", "Борисъ Годуновъ", седьмая глава "Евгенія Онфгина", третья часть мелкихъ стихотвореній и проч. Мы увидимъ, каковы были эти критики, или, лучше сказать, эти брани, потому что критика не есть брань, а брань не есть критика. Обратимся къ "Полтавъ". Главный недостатокъ "Полтавы" вышель изъ желанія поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкина принадлежаль къ той новой литературной школь, которая отреклась отъ преданій псевдоклассицизма; хотя онъ, поэтому, и смыялся надъ "чахоточнымъ отцомъ немного тощей Энеиды", въ первой главь "Онъгина" шутя объщаль написать "поэму пъсенъ въ двадцать пять", а седьмую главу его кончиль этою острою эпиграммою на завътное "пою" старинныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здёсь съ побёдою поздравимъ Татьяну милую мою И въ сторону свой путь направимъ, Чтобъ не забыть, о комъ пою... Да кстати здёсь о томъ два слова: Ною пріямеля млабова И множество его припудъ, — Влагослови мой долгій трудъ, о ты, эпическая муза! И, върный посохъ мню вручивъ, Не дай блуждать мню вкось и вкривь. Довольно. Съ плечъ долой обуза! Я классицизму отдалъ честь: Хоть поздно, а вступленье есть...

однако, все это еще не доказываеть, чтобъ легко было отрѣшиться начисто отъ преобладающихъ преданій той эпохи, въ которую мы родились и развились. Несмотря на то, что Пушкинъ самъ былъ великимъ реформаторомъ въ русской литературъ,литературныя преданія тімь не меніе отяготіли надъ нимъ, что можно видъть изъ его безусловнаго уваженія ко всёмъ представителямь прежней русской литературы. Итакъ, въ "Полтавъ" ему хотилось сдилать опыть эпической поэмы въ новомъ духъ. Что такое эпическая поэма?--Идеализированное представление такого историческаго событія, въ которомъ принималь участіе весь народъ, которое слито съ религіознымъ, правственнымъ и политическимъ существованіемъ народа и которое имъло сильное вліяніе на судьбы народа. Разумвется, если это событие насалось не одного народа, но и целаго человечества, тымь блике поэма должна подходить къ идеалу эноса. Такъ смотрели на эпическую поэму вст образованные люди со временъ упадка древне-греческой національности и возникновенія александрійской школы почти до начала XIX стольтія, — следовательно, более двухъ тысячъ летъ. А отчего произошло такое понятіе объ энось? —Оттого, что у грековъ была "Иліала" и "Одиссея", —больше не отчего. Причина довольно забавная, но тъмъ не менъе понятная, пбо таково всегда вліяніе народа, имфищаго всемірно-историческое значеніе, на всѣ другіе народы: они подражають ему рабеки во всемь. начиная оть искусства до покроя платья. У грековъ была "Иліада", которая некоторымъ образомъ служила имъ кингою откровенія, изъ котерой вытекала вся ихъ позднёйшая поэзія и которую читали не одии ученые, но зналъ наизусть каждый эллинь, понимавшій сколько-нибуль достоинство и счастье быть эллиномъ. Стало быть, почему же не имъть такой поэмы, напримъръ, и римлянамь? Но какъ же бы это еделать, если такол поэмы у римлянъ не явилось въ полуисторическую эпоху ихъ политическаго существованія. Очень просто: если ея не создалъ духъ и геній народа,--ее долженъ создать какой-инбудь записной поэть. Для этого ему стонтъ только подражать "Иліадъ". Въ ней воспъто важивищее событие изъ традиціонной исторіи грековъ-взятіе Трон: стало быть, падо порыться въ лътописяхъ своего отечества, чтобъ поискать такого же. Да вотъ чего же лучшеоснованіе Латинскаго государства въ Италіп, черезъ минмое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только конировать "Нліаду" и "Одиссею" съ небольшими перемѣнами, какъ, напримъръ, Гомеръ начинаетъ свою поэму: "Муза, воспой" и проч., а вы начните просто, отъ себя: "пою-де такого-то мужа" и проч. Если же могла быть у римлянъ эпопея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у всёхъ новейшихъ народовъ? И вотъ у итальянцевъ явился "Освобожденный Герусалимъ", у англичанъ-, Потерянный Рай", у испанцевъ-"Араукана", у португальцевъ—"Lusiades" ("Лузитане"?), у французовъ-, Генріада", у нѣмцевъ-"Мессіада", у насъ, русскихъ,—недоконченная "Петріада", да еще (если упомянуть ради смѣха) пресловутыя, стопудовыя "Россіада" и "Владиміръ". Пропсхождение всёхъ этихъ поэмъ такъ же незаконно, какъ п образца ихъ-, Энеиды". Она явилась вследствіе "Пліады"; но ведь "Пліада" была столько же непосредственнымъ созданіемъ цълаго народа, сколько и преднамъреннымъ, сознательнымъ произведеніемъ Гомера. Мы считаемъ за ръшительно несправедливое митніе, будто бы "Иліада" есть не что иное, какъ сводъ народныхъ рапсодовъ: этому слишкомъ рѣзко противорѣчитъ ея строгое единство и художественная выдержанность. Но въ то же время нельзя сомниваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болье или менье готовыми матеріалами, чтобъ воздвигнуть изъ нихъ вёковёчный памятникъ эллинской жизни и эллинскому искусству. Его художественный геній быль плавильною печью, черезъ которую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ пъсенъ и отрывковъ вышла чистымъ золотомъ. Гомеръ написаль объ свои поэмы черезь 200 льть послъ совершенія восп'ятых въ нихъ событій, а событія эти совершились почти за 1200 лѣтъ до Р. Х., --слѣдовательно, во времена мионческія, да и самъ Гомеръ жиль въ эпоху доисторическую; отсюда и происходить девственная наивность его поэмь, вследствіе которой и доселе описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носить на себъ печать дъйствительности. Притомъ же "Одиссея" послъ "Иліады" ясно доказываеть невозможность въ одномъ произведении исчернать всю жизнь народа, н потому сторона геронзма и доблести выражена въ "Иліадъ", а гражданская мудрость—въ "Одиссев". "Эненда" написана, напротивъ, во времена перезрѣлости и паденія народа; она есть произведеніе одного человъка, безъ всякаго участія народа, и почти безъ помощи поэтическихъ преданій. Какая же это эпопея вродь "Иліады" п тто у ней общаго съ "Иліадою"? Это просто старческое произведение, которое силилось пока-

заться младенческимъ. И притомъ павосъ римской жизни быль совсьмь другой, чемь навось греческой; следовательно, Эней-ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій—это даже не Юлій Цезарь, а развѣ братья Гракхи; настоящій же эпось римскій-это кодексь Юстиніана, оказавшаго римлянамъ услугу вроде той, которую Инзистрать оказаль грекамъ, собравъ воедино отрывки Гомеровыхъ ноэмъ. Несмотря на то, что герой "Энеиды" носить название благочестиваго (pius), а ея творець — дѣвственнаго (Virgillius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не геніемъ народнымъ, а покровительствомъ Мецената, когда Горацій въ прекрасныхъ стихахъ воспѣвалъ эгонзмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать многихь важныхъ достопнствъ въ "Энепдъ", написанной прекрасными стихами и заключающей въ себъ многія драгоцьныя черты издыхавшаго древняго міра, — тімъ не менте эти достоинства относятся просто къ намятнику древней литературы, оставленному даровитымъ поэтомъ, но не къ эпической поэмѣ,--и, какъ эпическая поэма, "Эненда"-весьма жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всёхъ другихъ попыткахъ въ этомъ родъ. "Освобожденный Герусалимъ" Тасса написанъ по академической формѣ и, въ угодность академін, быль своимь авторомь нісколько разъ переуродованъ. Воспътое въ немъ событіе касалось всего христіанскаго міра, но поэть жиль послё этого событія почти пятьсоть лёть спустя, когда итальянцы давно уже перестали върить не только необходимости сражаться съ сарацинами или турками за что-нибудь другое, кромъ денегъ, но даже и святости святъйшаго отца напы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдёльныя красоты въ "Освобожденномъ Герусалимъ" все-таки не спасаютъ его отъ несчастія быть неудачною попыткою на эппческою поэму. "Потерянный Рай", кром'т достоинства поэтическихъ частностей, замъчателенъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; но какъ эпическая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама "Генріада" имъетъ значеніе совсъмъ не эпической поэмы, а какъ протесть противъ католической нетерпимости, — что доказывается выборомъ героя, который быль протестанть въ душь и во времена самаго дикаго фанатизма умълъ быть челов комъ, въ разумномъ значении этого слова. "Мессіада" замічательна, какъ памятникъ нъмецкаго трудолюбія, теривнія и отвлеченнаго мистицизма; это произведение-тщательно обработанное въ литературномъ отношения, но ужасно растянутое, тяжелое и скучное. Только "Божественная Комедія" Данте подходить подъ идеаль энпческой поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всв исчисленныя нами. И это потому, что Данте не думаль подражать ин Гомеру, ни Виргилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ

жизни среднихъ въковъ, съ ихъ схоластическою теологіею и варварскими формами ихъ жизни, гдѣ боролссь столько разнородныхъ элементовъ. Если въ ноэмъ Данте играеть такую роль Виргилій, --- это произошло вся дствіе самых в естественныхъ и неизбъжныхъ причинъ: Виргилій пользовался даже въ средніе вѣка какимъ-то суевѣрнымъ уваженіемъ въ Италін, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ же самобытна и оригинальна, какъ и въющій въ ней духъ,--и только развѣ колоссальные готическіе соборы могутъ соперничать съ нею въ чести быть великими ноэмами средних въковъ. Между тъмъ въ ноэмъ Данте не восибвается никакого знаменитаго историческаго событія, имівшаго великое вліяніе на судьбу народа; въ ней даже ифтъ ничего теронческаго, и ея характеръ по преимуществу-схоластически-теологическій, какимъ наиболье отличались средніе въка. Слёдственно, то, что хотьли видоть только въ эническихъ поэмахъ на манеръ "Эненды", можеть быть и въ сочиненіяхъ совсьмъ другого рода: не знаменитое событіе, а духъ народа или эпохи долженъ выражаться въ творенін, которое можеть войти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И потому смёло можно сказать, что итмцы имтють свою "Иліаду" не въ жалкой "Мессіадъ" Клонштока, а развъ въ "Фаустъ" Гёте. Изъ всего этого мы выводимъ следствіе, что мысль-воспевать знаменитое историческое событіе, и изъ этого дёлать эпическую поэму, принадлежить къ эстетическимъ заблужденіямь челов'вчества, н что на этомъ зыбкомъ основанін ничего нельзя создать, особенно въ наше время, когда въ исторической жизни умпрающее прошедшее борется съ возникающимъ новымъ, когда, вследствие этого, все такъ нерешительно, разъединено, слабо и безхарактерно, и когда дъйствують только отдёльныя личности, но не массы. Вообще духъ среднихъ въковъ особенно былъ враждебенъ эпопев, потому что онъ сильно развиль чувство индивидуальности и личности, столь благопріятное драм'є и столь противоноложное эпосу, въ которомъ главный герой, естественно, само событіе, подчиняющее себф волю отдільных лиць, а не отдъльныя лица, борющіяся съ событісмъ. Оттого, въ повомъ мірь, даже романь-этоть истинный его эпосъ, эта истичная его эпическая поэматемь больше иметь успеха, чемь больше проникнуть элементомъ драматическимъ, столь противоноложнымъ эпическому. И хотя, ьелфдетвіе разъ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго мнфнія, эпическая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному къ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поэзін и высочайшимъ произведеніемъ человіческаго генія, -- однако этимъ высшимъ родомъ поэзін въ немъ всегда была, такъ, какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзін непрем'янно одинъ который-нибудь родъ должень быть выминив.

Конечно, Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человѣкъ, что не могъ понимать эпосъ по

мъркъ не только какой-нибудь дюжинной "Россіады", но даже и умной и щегольской "Генріады", которыхъ несчастная форма уже слишкомъ устарела и опошлилась для времени, когда онъ явился. Но въ то же время отъ возможности энической поэмы въ новой формъ онъ не могъ совершенно отречься. И потому, естественно, его идеалъ эпической поэмы заключался въ нео-классицизмф, или классицизмъ, подновленномъ такъ называемымъ романтизмомъ. Художественный тактъ Пушкина не могъ донустить его выбрать содержаніе для энической поэмы изъ русской исторіи до Петра Великаго, —и потому онъ остановился на величайшей эпохѣ русской исторін-йа царствованіи великаго преобразователя Россін, и воспользовался величаншимъ его событіемъ-полтавскою битвою, въ торжествъ которой заключалось торжество всехъ трудовъ, всехъ подвиговъ, - словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ поэмѣ Пушкина, состоящей изъ трехъ ифсенъ, полтавская битва, равно какъ и герой ея — Петръ Великін—являются только въ последней (третьей) песне; тогда какт две занаты любовью Мазены иъ Маріп и его отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому полтавская битва составляеть какъ бы эпизодь изъ любовной исторін Мазены и ея развязку; этимъ явно унижается высокость такого предмета, и эпическая ноэма уничтожается сама собою! А между тімь эта поэма носить название "Полтавы", -с. г.р.ственно, ея героемъ, ея мыслію должна бы быть полтавская битва, ибо название поэтическаго произведенія всегда важно, потому что оно всегда указываеть или на главное изъ его действующихъ лиць, въ которыхъ воплощается мысль сочиненія, или прямо на эту мысль. Вотъ первая ошибка Иушкина, и ошибка великая! По, можеть быть, намь возразять, что Пушкинь совсемь не думаль инсать энической поэмы, и что герои его поэмы-Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возраженіе тымь естественніе, что Пушкинь, какт говорили и даже писали въ то время, сперва котъль назвать свою поэму-, Маселою", но почемуто после, когда приступиль къ ся печатанію, перепиеноваль ее въ "Полтаву". Положимъ, что это такъ, но и съ этой течки зрекия "Полгава" будеть произведенимъ ошибочнимъ въ ея общиости, или приомъ. Какую мысль хотрив выразить поэтъ черезъ эту историо любии, смфинансой съ политическими замызлами и черезъ нихъ примедшей въ соприкосновение съ полгарскою битвою?-Неужели эту: накъ опасно обольщать, остбенно на старости лъгъ, юную невинность? И и-ужели мисль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущеній Мазецы при видв опуствлаго Колубева хугора, мим жотораго промчален онь съ шведскимъ королемъ съ поля полявеной битви? И стоило ли для такой мысли, -- колечио, очень похвальной и правственной, но тімь не меніе сликкомъ частной и нисколько ин исторической, -стоило ли для нея изобратать полтавскую сигву и Пегра Великаго? Не думаемь! Колечи, ль 7 вз Марены нь дочери Колубел имбеть историчестве

значение по отношению къ доносу озлобленнаго Кочубея на Мазепу; но въ отношени къ полтавской битвф она, эта любовь, не болфе, какъ эпизодъ, какъ историческая подробность, — и полтавская битва имъстъ огромное значение сама по себъ, не только безъ любви Мазены, но и безъ самого Мазены. Если-бъ поэтъ главною своею мыслію им'яль любовь Мазены, онъ должень бы полтавскую битву ввести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношению къ лицу одного Мазены, оставивъ въ тѣни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развѣ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который ѣздилъ съ доносомъ Кочубея къ Нетру, а въ полтавской битвъ безумно бросился на Мазену и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Маріц на устахъ. Иначе весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ былъ выйти какою-то особою поэмою въ поэмв, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторін Мазены, —какъ оно и дѣйствительно вышло, ко вреду цілой поэмы. А это ясно доказываеть, что Пушкинъ хотелъ, во что бы ни стало, воспользоваться случаемъ къ созданію чего-то врод'я эпической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшаяся къ любовной исторіи Мазепы, была такимъ соблазнительнымъ случаемъ, что поэтъ не могь пропустить его для осуществленія своей мечты. Но въ этой мечтѣ о возможности эппческой поэмы и заключается причина зыбкаго основанія "Полтавы", нбо даже изъ самой полтавской битвы нельзя сдёлать поэмы. Эта битва была мыслію и подвигомъ одного человѣка; народъ принималъ въ ней участіе, какъ орудіе въ рукахъ Великаго, котораго понять и оценить могло только потомство, и для котораго судъ потомства едва начался только со временъ Екатерины Второй. Вообще изъ жизни Петра Великаго геніальный поэть могь бы сдёлать не одну, а множество драмъ, но решительно ни одной эпической поэмы. Петръ Великій слишкомъ личенъ и характеренъ, — слъдовательно, слишкомъ драматиченъ для какой бы то ни было поэмы. Сверхъ того, для поэмъ годятся только лица полуисторическія и полумивическія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуетъ совокупить все извъстное о ихъ жизни въ иъсколькихъ поэтпческихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же псторическаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ в вковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываеть слишкомъ много тёхъ прозаическихъ подробностей, которыхъ нельзя выбрасывать, не впадая въ напыщенность и высокопарность.

Итакъ, изъ "Полтавы" Пушкина эническая поэма не могла выйти по причинѣ невозможности эпической поэмы въ наше время, а романтическая поэма, вродѣ байроновской, тоже не могла выйти по причинѣ желанія поэта слить ее съ невозможною эпическою поэмою. И потому "Полтава" явилась поэмою безъ героя. Мы уже доказали, что смѣшно было бы считать Петра Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть дѣй-

ствія носвящена любовной исторіи Мазены. Но и самь Мазена также не можеть считаться героемъ "Полтавы". Байронъ, въ своей, исполненной энергіп и величія, поэмѣ, названной именемъ Мазены, изобразиль это лицо исторически невѣрно; но какъ онъ въ этомъ изображеніи былъ вѣренъ поэтической истинѣ, то изъ его Мазены вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно изъ тѣхъ титаническихъ лицъ, которыя въ такомъ изобиліи порождалъ глубокій духъ англійскаго поэта... Но Иушкинъ, лучше Байрона знавшій Мазену, какъ историческое лицо, хотѣлъ быть вѣренъ исторін,—и въ этомъ сдѣлалъ большую ошибку: ибо, скажите, Бога ради, что за герой поэмы, о которомъ самъ поэть говоритъ:

Что радъ и честио, и безчестно Вредить онъ недругамъ своимъ; Что ии единой онъ обиды Съ тъхъ поръ, какъ живъ, не забывалъ; Что далеко преступны виды Старикъ надменный простиралъ; Что онъ не въдаетъ святыни, Что онъ не поминтъ благостыни, Что онъ не любитъ ничего, Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду, Что презираетъ онъ свободу, Что итъ отчивны для него.

Герой какого бы ни было поэтическаго произведенія, если оно только не въ комическомъ духѣ, долженъ возбуждать къ себѣ сильное участіе со стороны читателя. Если-бъ этотъ герой быль даже злодѣй, — и тогда онъ долженъ дѣйствовать на читателя силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ Мазеиѣ мы видимъ одну низость интригана, состарѣвшагося въ козняхъ. Чувствуя это, Нушкинъ хотѣлъ дать прочное основаніе своей поэмѣ и дѣйствіямъ Мазеиы въ чувствѣ мщенія, которымъ поклялся Мазеиа Петру за личную обиду со стороны послѣдняго. Мы узнаёмъ это изъ разговора Мазены съ Орликомъ, наканунѣ полтавской битвы:

Нътъ, поздно, русскому парю Со мной мириться невозможно. Давно рѣшилась непреложно Моя судьба. Давно горю Стъсненной злобой. Подъ Азовымъ Однажды я съ царемъ суровымъ Во ставкъ ночью пировалъ. Полны виномъ книбли чаши, Кипъли съ ними ръчи наши. Я слово смёлое сказаль. Смутились гости молодые, Царь вепыхнуль, чашу урониль И за усы мон съдые Меня съ угрозой ухватилъ. Тогда, смирясь въ безсильномъ гнъвъ, Отметить себъ я клятву даль; Носиль ее-какъ мать во чревъ Младенца посить. Срокъ насталъ. Такъ, обо мнъ воспоминанье Хранить онъ будеть до конца. Петру я послань въ наказапье; Я-тернъ въ листахъ его вънца. Онъ далъ бы грады родовые И жизни лучшіе часы, Чтобъ снова, какъ во дни былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для насъ надежды: Кому бъжать, ръшить заря.

Нфтъ нужды говорить о художественномъ достоинствъ этого разсказа: въ немъ виденъ великій мастеръ. Все въ немъ дышитъ нравами тѣхъ временъ, все върно исторіи. Но хотя этоть разсказъ и основанъ на историческомъ преданін, онъ тёмъ не менње нисколько ни поясняетъ характера Мазены, ни даетъ единства дъйствію поэмы. Можно основать поэму на павост дикаго, безпощаднаго мщенія; но это мщеніе, въ такомъ случай, должно быть рычагомъ всёхъ дёйствій лида, должно быть цилію самому себи. Такое мщеніе не разбираеть средствъ, не боится препятствія и не колеблется оть страха неудачи. Но Мазепа быль очень расчетливъ для такого мщенія: если-бъ онъ зналъ, что его измена не удастся, --- мало того: если-бъонъ, наканунъ полтавской битвы, предвидя ся развязку, могъ еще разъ обмануть Петра и разыграть роль невиннаго, -- онъ перешелъ бы на сторону Петра. Натъ, на изміну подвигла его надежда успіха, надежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя вассальскую, хотя только съ признакомъ самобытности, однако все же корону. Это ли мщеніе?-Нътъ, мщеніе видить одно-своего врага, и готово вмість съ нимъ броситься въ бездну, погубить врага хотя бы ценою собственной погибели. Слова Мазены, что "русскому царю поздно съ нимъ мириться", могутъ быть приняты не за что иное, какъ за хвастовство отчаянія. Петръ быль совсёмь не такой человёкь, который удостопль бы Мазену чести видъть въ немъ своего врага и рашился бы, даже ради спасенія своего царства, мириться съ нимъ: онъ виделъ въ Мазепе не болье, какъ возмутившагося своего подданнаго, измънника. Мазена этого не могъ не знать къ своему несчастію: онъ быль человѣкъ ума тонкаго и хитраго. Но если-бъ даже и на мщеніи Мазены основанъ былъ весь планъ поэмы Пушкина, то къ чему же въ ней любовная исторія Мазепы, если не къ тому, чтобъ разъединить интересъ поэмы? Но, можеть быть, мысль поэта заключается во взаимной любви Мазены и Марін? Старикъ, страстно влюбленный въ молодую девушку, тоже страстно въ него влюбленную, -- эта мысль глубокопоэтическая; и надо сказать, что Пушкинь умъль нарисовать ее кистью великаго живописца. Ифкоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; но ихъ нападки не стоятъ не только возраженій, но даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ "Отелло" Шекспира поэта, который въ знаніи человіческого сердца и страстей имфетъ, конечно, большій, чфмъ они, авторитетъ. Но Шексииръ представилъ такую любовь, какъ факть, не изследуя его законовъ, потому что другой—нравственный—вопросъ долженъ быль составить навось его драмы. Нашъ поэть, напротивъ, анализируетъ самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать, что, въ этомъ отношени, онъ истинно шексиировски внесъ свёточъ поэзін во мракъ вопроса и даль на него такой удовлетворительный отвёть, какого можно ожидать только отъ великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое Горить и гасиеть. Въ немъ любовь Проходить и приходить вновь,— Въ немъ чувство каждый день иное. Не столь исслушно, не слегка, Не столь мгновенными страстями Пылаеть сердце старика, Окаменфлое годами. Упорно, медленно оно Въ огнъ страстей раскалено; Но поздній жаръ ужъ не остынетъ И съ жизнью лишь его покинеть.

Далье, мы увидимъ, что любовь Маріи къ Мазепь развита и объяснена еще подробиће, глубже, съ мастерствомъ, передъ которымъ невольно останавливается пораженный удивленіемъ читатель. Но на любовь Мазены къ Марін все-таки нельзя смотрать, какъ на навось поэмы: нбо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бъгство Маріп страшно смутило Мазену, но оно не имѣло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазепы при видъ Кочубеева хутора и, потомъ, при видъ сумасшедшей Марін кажется намъ мелодраматическою нодставкою со стороны поэта. Можетъ быть, это происходить еще и оттого, что послѣ такого событія, какъ полтавская битва съ ея следствіями, интересъ любви уже не можетъ не ослабѣгь. Здѣсь опять видна главная ошибка поэта, хотфвшаго связать романтическое действіе съ эпопеею. И вотъ почему "Полтава" не производитъ на читателя того единаго, полнаго, совершенно удовлетворяющаго внечатлінія, которое должно производить всякое глубоко-концепированное и строгообдуманное поэтическое твореніе.

Но отдёльныя красоты въ "Полтавъ" изумительны. Если "Цыганы" далеко превзошли всъ предшествовавшія имъ произведенія Нушкина, и по идеъ, и по исполненію,—то "Полтава", уступая "Цыганамъ" въ единствъ плана, далеко пре-

восходить ихъ въ совершенствъ выраженія. Йзъ всёхъ поэмъ Пушкина въ "Полтаве" въ первый разъ стихъ его достигъ своего нолнаго развитія, вполнъ сталъ пушкинскимъ. Критики того времени не безъ основанія придпрались къ двумъ шли тремъ неправильно усъченнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомнили собою "пінтическія вольности" прежней школы, напримірь: сонну вмъсто сонную, тризну тайну вмъсто тризну тайную; на нѣсколько смѣлыхъ нововведеній, какъ, напримірь, въ стихі: "Онь, должный быть отцомь и другомъ". Но мы укажемъ и еще на нъсколько незамъченныхъ ими погръшностей, какъ, напримірь, на неумістные славянизмы-, младой, благостыни, главы", и въ особенности на два поражающія своею неточностію выраженія: первое въ монологъ Мазены противъ Кочубея, котораго, Богъ знаеть почему, называеть онь "вольнодумцемь",

и въ разговорѣ свирѣпаго (и вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмѣ) Орлика, который совѣтуетъ Кочубею, на допросѣ, "питаться мыслю суровой". Но вотъ и все. За исклю-

таться мыслю суровой". Но воть и все. За исключеніемъ этого, стихи въ "Полтавъ"—верхъ совершенства.

Обращаясь къ отдельнымъ красотамъ "Полтавы", не знаешь, на чемъ остановиться, -- такъ много ихъ. Иочти каждое мъсто, отдъльно взятое наудачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всехъ этихъ мъстъ и укажемъ только на иткоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тъмъ не менъе его изображение (отъ стиха: "Между полтавскихъ казаковъ" до стиха: "И взоры въ землю опускалъ") представляетъ собою необыкновенно мастерскую картину. Следующій за темъ отрывокъ, отъ стиха: "Кто при звездахъ и при лунъ" до стиха: "Царю Петру отъ Кочубея", выше всякой похвалы; это вмёстё и народная пъсня, и художественное создание. Кочубей, ожидающій въ темниць своей казни, его разговоръ съ Орликомъ (за исключеніемъ того, что говорить самъ Орликъ), все это начертано кистію столь шпрокою, могучею и въ то же время спокойною п увтренною, что читатель не знаеть, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столько же полнаго грусти, сколько п наслажденія, эти стихи:

> Тиха украниская ночь. Прозрачно небо. Звъзды блещутъ. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещут Сребристыхъ тонолей листы. Луна спокойно съ высоты Надъ Бълой Церковью сіяеть II пышныхъ гетмановъ сады, II старый замокъ озаряеть; II тихо, тихо все кругомъ; Но въ замкъ шопотъ и смятенье. Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьи, Окованъ Кочубей сидитъ И мрачно на небо глядить. Заутра казнь. Но безъ боязин Онъ мыслить объ ужасной казии; О жизни не жалветь онъ: Что смерть ему? желанный сонъ; Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. Но, Боже правый! Къ ногамъ злодъя молча пасть, Какъ безсловесное созданье, Царемъ быть отдану во власть Врагу царя на поруганье, Утратить жизнь и съ нею честь, Друзей съ собой на плаху весть, Надъ гробомъ слышать нхъ проклятья, Ложась безвиннымъ подъ топоръ, Врага веселый встрътить взоръ, И смерти кинуться въ объятья, Не завъщая никому Вражды къ злодъю своему!.. И вспомниль онь свою Полтаву, Обычный кругъ семьи, друзей, Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдв онъ родился, Гдъ зналъ и трудъ, и мирный сонъ, И все, чёмъ въ жизни насладился, Что добровольно бросиль онъ,

Отвѣтъ Кочубея Орлику на допросъ послѣдняго о зарытыхъ кладахъ быль расхваленъ даже при-

сяжными хулителями "Полтавы", и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Мазена въ это время сидитъ у ногъ спящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ, вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены, Тоть стой одниъ передъ грозою,— Не призывай къ себъ жены: Въ одну телъту впрячь не можно Коня и трепетную лапь. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумства дань.

Въ тоскъ страшныхъ угрызеній совъсти, злодьй сходить въ садъ, чтобъ освъжить пылающую кровь свою,—и обаятельная роскошь лътней малороссійской ночи, въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещетъ и сверкаеть какою-то страшно-фантастическою красотою:

Тиха украниская почь. Прозрачно небо. Звёзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. Но мрачны странныя мечты Въ душъ Мазепы: звъзды ночи, Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмѣшливо глядять, И тополи, стъснившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи, шепчутъ межъ собою. И лътней теплой ночи тьма Душна, какъ черная тюрьма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Какъ бы изъ замка слышить онъ. То былъ ли сонъ воображенья, Иль плачъ совы, иль звъря вой, Иль пытки стонь, иль звукъ иной,-Но только своего волненья Преодолъть не могъ старикъ-И на протяжный, слабый крикъ Другимъ отвътствовалъ-тьмъ крикомъ, Которымъ онъ въ весельи дикомъ Поля сраженья оглашаль, Когда съ Забълой, съ Гамалъемъ И съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорять, что хвалить мудренте, чтмъ бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ-и еще какимъ! II потому мы, въ сознанін нашего безсилія, скажемъ убогою прозою, что если эта картина мученій совъсти Мазецы можеть подозрительному уму показаться нёсколько мелодраматическою выходкою (по той причинѣ, что Мазеиѣ, какъ закоренелому влодею, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и краситть, подобно юношт, отъ привта красоты), -- то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія, выше всякихъ похваль и утомляєть собою всякое удивленіе. Сцена между женою Кочубея и ея дочерью замёчательно хороша по роли, какую играеть въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще не очнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаеть, и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, — этоть вопрось: "Какой отець? какая казнь?", равно какъ и всѣ вопросительные и восклицательные отвіты, - исполнень драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотою и спокойствіемь, которыя, въ соединенін съ ея страшною вфриостью дфиствительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее внечататние, если-бъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ся печатію изящества. Этоть палачь, который, гуляя и веселяся на роковомъ помость, алчно ждеть жертвы, и то, нграючи, беретъ въ бѣлыя руки тяжелый топоръ, то шутить съ веселою чернью, -- и этоть безпечный народъ, который, по совершенін казни, идеть домой, толкуя межъ собою про свои въчныя работы: какая глубоко-истинная, хотя въ то же время и безотрадно-тяжелая мысль во всемъ этомъ!

Но что вев эти разсвянныя богатою рукою поэта красоты—передъ красотами третьей пѣсии! И пе удивительно: паоосъ этой третьей пѣсии устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мастерскою кистію изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипѣвшіе въ душѣ Мазены; его притворную болѣзнь и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гиѣвъ Петра, его сильныя и быстрыя мѣры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII:

И ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кинувшій вънецъ, Твой близокъ день: ты валъ Полтавы Вдали завидълъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистію широкою и смілою; она исполнена жизни и движенія: живописець могь бы писать съ нея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой картині, пзображенное огненными красками, поражаеть читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, иодымающимъ волосы на голові,—производить на него такое впечатлівніе, какъ будто бы онъ видить передъ глазами совершеніе какого-нибудь таннства, какъ будто бы ніжій богь, въ лучахъ нестериимой для взоровъ смертнаго славы, проходить передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный гласъ Петра: "За дёло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходитъ Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасенъ. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Онъ весь, какъ божія гроза. Идетъ. Ему коня подводять. Ретивъ и смиренъ върный конь; Почуя роковой огонь, Дрожитъ, глазами косо водитъ И мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ. Ужъ бынзокъ полдень. Жаръ пыластъ; Какъ пахарь, битва отдыхаетъ. Кой-гдъ гарцуютъ казаки; Ровняясь, строятся полки;

Молчить музыка боевая; Па холмахъ пушки, присмиръвъ, Прервали свой голодный ревъ. И се-равинну оглашая, Далече грянуло *ура:* Полки увидъли Петра. II онъ помчался предъ полками, Могущъ и радостенъ, какъ бой. Онъ поле пожиралъ очами. За нимъ во слъдъ песлись толной Сіи птенцы гивада Петрова-Въ пременахъ жребія земного, Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны: И Шереметевъ благородный, II Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпнинъ, II счастья баловень безродиції, Полудержавный властелинь.

Представьте себф великаго творческаго генія, который столько лать носиль и лелаяль въ душа своей замыслы преобразованія цілаго народа, который столько трудился, въ потв царственнаго чела своего, —представьте его въ ту ръшительную минуту, когда онъ начинаетъ видіть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самою природою, съ самою возможностью готова увънчаться полнымъ успъхомъ, —представьте себъ его преображенное, сіяющее поб'яднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, -- и вы будете видъть передъ собою живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случат, живописи стоило бы побороться съ поэзіею, —и великій живописецъ могъ бы за честь себь поставить перевести на полотно, въ живыхъ краскахъ, живые стихи Пушкина, чтобъ рфшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіею. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески-свободномъ переводъ одного и того же предмета съ языка поэзіп на языкъ живописи, чтобъ, сравнительно, показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобрътать, - для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра-эта главивнимая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замічательное по огромности военных силь, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нфть, это была битва за существование целаго народа, за будущность целаго государства; это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что, вфроятно, они самому Петру, въ горькія минуты неудачь и разочарованія, казались несбыточными, какъ и почти всемъ его подданнымъ. И потому-на лицъ последняго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главная часть ея: въ отдаленіи, поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, но безъ которой картина его не имъла бы полноты:

И передъ синими рядами Своихъ воинственныхъ дружниъ,

Несомый върными слугами, Въ качалкъ, блъденъ, педвижимъ, Страдая раной, Карлъ явился, Вожди героя шли за нимъ. Онъ въ думу тихо погрузился, Смущенный взоръ изобразилъ Необычайное волиенье. Казалось, Карла приводилъ Желанный бой въ недоумънье... Вдругъ слабымъ маніемъ руки На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эппзодъ о волиении дряхлаго и уже безсильнаго Палъя, завидъвшаго врага своего, Мазепу. Но эпизодъ смерти казака, влюбленнаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе неумъстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поэму этого казака, чтобъ было съ къмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазепу, —мелодраматически-эффектна; ради нея поэтъ исказилъ историческое событе: допосъ былъ отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиной, съ которою тоже за честь бы могь поставить себъ побороться великій живописець:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его, И царскій инръ его прекрасенъ. При кликахъ войска своего, Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Ваздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно-прекрасныхъ подробностяхъ еще цізлой части поэмы, паеосъ которой составляеть любовь Марій къ Мазепів. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмів, и ея, конечно, стало бы на особую отдівльную поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазепы и Маріп Пушкинъ воспользовался только идеею любви старика къ молодой девушке и молодой девушки къ старику. Въ подробностяхъ, и даже изображенін дочери Кочубея, онъ отступаль отъ исторіи. Поэтому весь этотъ факть онъ передълалъ по своему идеалу, —и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированною. Онъ перемениль даже ея имя-Матроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, онъ, боясь соблазна и толковъ, переслаль ее въ родительскій домъ, гдъ мать Матроны катовала (палачила, истязала, свила) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало энергію страсти б'єдной дъвушки. Мазена любилъ ее, писалъ къ ней страстныя письма, но и въ отношении къ ней не приняль никакого твердаго решенія—то умоляль о свиданіяхъ, то совѣтовалъ идти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, но основаніе, сущность отношеній Мазены и Марін въ поэмѣ Пушкина историческія, и еще болѣе истинныя—поэтически,—и Пушкинъ умѣлъ ими воспользоваться, какъ

истинно великій поэть, хотя онъ ихъ п идеализировалъ по-своему.

> Не только первый пухъ ланить, Да русы кудри молодые, Порой и старца строгій видъ, Рубцы чела, власы съдые Въ воображенье красоты Влагають страстныя мечты.

Подобное явленіе р'єдко, но тімь не меніе дъйствительно. Возможность его заключается въ законахъ человъческаго духа, и потому, по ръдкости, его можно находить удивительнымъ, но пельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видить въ мужчинт своего защитника и покровителя; отдаваясь ему-сознательно или безсознательно, но, во всякомъ случав, она делаеть обмень красоты или прелести на силу и мужество. Послъ этого очень естественно, если бывають женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нравственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властію и славою, увлекаются имъ безъ соображенія неравенства літь. Для такой женщины самыя сёдины прекрасны, п чёмъ круче нравъ старика, тёмъ за большее счастіе и честь для себя считаеть она, вліяніемъ своей красоты и своей любви, укрощать его норывы, делать его ровнее и мягче. Само безобравіе этого старика-красота въ глазахъ ея. Воть ночему кроткая, робкая Дездемона такъ беззавътно отдалась старому вонну, суровому мавру-великому Отелло. Въ Марін Пушкина это еще понятнъе: пбо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, ръшительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодвемь, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значенін этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лътъ,-ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Марін состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цёлей, думала увидъть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастіемъ, но не виною: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкъ. На этомъ основанін намъ понятна ея любовь, понятно-

> Зачёмъ бёжала своенравно Она семейственныхъ оковъ, Томилась, тайно воздыхала И на привъты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвъчала; Зачьмъ такъ тихо за столомъ Она лишь гетману внимала, Когда бесъда ликовала И чаша пънилась виномъ; Зачёмь она всегда ибвала Тъ пъсни, кои онъ слагалъ, Когда онъ бъденъ былъ и малъ, Когда молва его не знала; Зачёмъ съ неженскою душой Она любила конный строй, И бранный звонъ литавръ, и клики Предъ бунчукомъ и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и росконн красокъ, которыми поэть изобразилъ страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здёсь Пункинъ, какъ поэть, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вопзилъ онъ свой художническій взоръ въ тайну великаго женскаго сердца и ввель насъ въ его святилище, чтобъ виёшиее сдёлать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактё дёйствительности открыть общій законъ, въ явленін—мысль...

Марія, бъдная Марія, Краса черкаскихъ дочерей! Не знаешь ты, какого змія Ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной Къ душъ свиръной и развратной Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя съдины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взорь, Его лукавый разговоръ Тебѣ всего, всего дороже: Ты мать забыть для нихъ могла, Соблазномъ постланное ложе Ты отчей съни предпочла. Своими чудными очами Тебя старикь заворожиль, Свонми тихими рѣчами Въ тебъ онъ совъсть усыпиль; Ты на него съ благоговъньемъ Возводишь ослъпленный взоръ, Его лелбешь съ умиленьемъ-Тебъ пріятенъ твой позоръ; Ты имъ въ безумномъ упоеньи, Какъ цъломудріемъ горда -Ты прелесть изжиую стыда Въ своемъ утратила наденьи... Что стыдъ Маріи? что молва? Что для нея мірскія пени, Когда склоняется въ колъни Къ ней старца гордая глава, Когда съ ней гетманъ забываетъ Судьбы своей и трудъ, и шумъ, Пль тайны смълыхъ, грозныхъ думъ Ей, дѣвѣ робкой, открываеть?

Но въ такой великой натурѣ любовь можеть быть только преобладающею страстью, которая, въ выборѣ, не допускаетъ никакого совмѣстинчества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душѣ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ сердцѣ Марін мѣста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объ отцѣ и матери.

И дией невинныхъ ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, какъ туча, затмеваетъ: Она унылыхъ предъ собой Отда и мать воображаетъ; Опа, сквозь слезы, видитъ ихъ Въ бездътной старости однихъ, И, минтся, пенямъ ихъ внимаетъ... О, если-бъ въдала она, Что ужъ узнала вся Украйна! Но отъ пея сохрансна Еще убійственная тайна.

Намъ скажуть, что въ дъйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидъла своихъ

родителей и клялась вёчно "любыты и сердечне кохаты Мазецу на злость ея ворогамъ". Но вёдь, въ дёйствительности-то, родители Матроны катовали ее... Понятно, почему Пушкинъ рёнился поэтически отступить отъ "такой" дёйствительности...

Но никогда личность Маріи не возвышается, въ поэм'в Нушкина, до такой апооеозы, какъ въ сцен'в ея объясненія съ Мазепою — сцень, написанной истинно шекспировскою кистью. Когда Мазепа, чтобъ разсвять ревинвыя подозрвнія Маріи, принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываеть: пъть больше сомитній, пъть безнокойства; мало того, что она върнтъ ему, вфрить, что онъ не обманываеть ея: она вфрить, что онъ не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ея ли женскому уму, воснитанному въ затворничествъ, обреченному на отчуждение отъ дъйствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такія стремленія, и чёмь оканчиваются они! Она знаеть одно, втрить одному-что онь, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можеть не достичь всего, чего бы только захотёль. Влескь короны на сёдыхъ кудряхъ любовника уже ослѣпилъ ея очи, —и она восклицаетъ съ увфренностью дитяти, сильнаго и разумнаго одною любовію, но не знаніемъ жизни:

> О милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоимъ съдинамъ какъ пристанетъ Корона царскал!

Впикните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвъсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и, вмъстъ съ тъмъ, какая простота! Этотъ отвътъ Маріп: "Я! люблю ли?", это желаніе уклониться отъ отвъта на вопросъ, уже ръшенный ел сердцемъ, но все еще страшный для нея —кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву, для снасенія другого, — и потомъ —ръшительный отвътъ, при видъ гиъва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца!

Авленіе сумасшедшей Маріп, неумѣстное въ ходѣ поэмы, и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совѣсть Мазепы, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послѣднія слова ся безумной рѣчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго исихологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скорвй... ужъ поздно. Ахъ, вижу, голова моя Полна волненія пустого: Я принимала за другого Тебя, старикъ. Оставь меня. Твой взоръ насмішливъ и ужасенъ. Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ: Въ его глазахъ блестить любовь, Въ его річахъ такая ніта! Его усы біліве сніга, А на твоихъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портреть, но ничего лучше не создала она лица Марін. Что передъ нею эта препрославлениях и столько восхищающия всёхх, и теперь еще многихъ восхищающия Татьяна это смёшеніе деревенской мечтательности съ город-

скимъ благоразуміемъ?..

Но "Полтава" принадлежить къ числу превосходнайшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Марін. Лишенная единства мысли и плана, а потому недостаточная и слабая въ цёломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаеть въ себф нфсколько поэмъ и, по тому самому, не составляеть одной нозмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочиненін, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья піснь ея, сама по себі, есть нъчто особенное, отдъльная поэма въ эпическомъ родъ. Но изъ нея нельзя было сдълать энической пішити сельсь поэть и даль ей общирити объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходивишихъ картинъ, но не поэмою. Чувствуя это, поэтъ хотъль связать ее съ исторіею любви, имфющею драматическій интересъ; но эта связь не могла не выйти чисто-внѣшнею. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогѣ, въ которомъ поэтъ говоритъ сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того въка, потомъ о Нетръ Великомъ, дальео Карл'в XII, о Мазен'в, о Кочубев съ Искрою, и оканчиваетъ все это Маріею... Несмотря на то, "Полтава" была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаетъ общимъ висчатлъніемъ, нътъ въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы всв другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдёльности есть превосходное художественное произведение. И никогда еще до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоцънныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдёлываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергін въ его стихь! Какая живая соотвътственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто-русское въ тонъ разсказа, въ духв и оборотв выраженій! И между темъ какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать посильное свое остроуміе, назваль палача билоручкою, а всю картину казин-отвратительною! Вотъ ужъ подлинно бѣлоручка! Другой посмёялся, какъ надъ нелёпостью, надъ любовью старика Мазены къ молодой дѣвушкѣ, и находилъ оправданіе этого факта разв'є только въ русской пословиць: съдина въ бороду, а бъсъ въ ребро. Третій доказываль, что всё дёйствующія лица "Полтавы" карпкатурны, на основаніи отзывовъ Мазены о Карлѣ XII и Нетрѣ Великомъ!.. И все это тогда читалось; многіе даже вірили дільности такихъ отзывовъ!..

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о "Евгеніи Онѣгинѣ", но статья наша и такъ вышла велика, а "Евгеній Онѣгинъ", кромѣ своего огромнаго объема, имѣетъ въ русской литературѣ и въ русской жизии столь важное значеніе, что о немъ надо или говорить много, или совсѣмъ не гово-

рить. И потому мы отлагаемъ его разборъ до следующей статьи, а эту кончимъ бёглымъ взглядомъ на "Графа Нулина".

"Графъ Нулинъ"-не болъе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, но очеркъ, сдъланный рукою въ высшей степени художественною. Сказкою "Модная Жена" Дмитріевъ нікогда чуть не стяжаль вілка безсмертія. Сказка его дъйствительно прекрасна; ее и теперь нельзя читать безъ удовольствія; но в'янки безсмертія въ наше время очень вздорожали, — н дотя "Графъ Нуливъ" безконечно выше и лучше "Модной Жены" Дмптріева, однако не нмъ будетъ беземертенъ Пушкинъ: для "Графа Нулина" достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вънкъ его. Въ лицъ графа Нулина ноэтъ, съ ненодражаемымъ мастерствомъ, изобразиль одного изъ тъхъ пустыхъ людей высшаго свътскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна-типъ молодой номѣщицы новыхъ временъ, которая воспитывалась въ нансіонь, въ дыль моды не отстаеть оть выка, хотя живеть въ глуши, о хозяйствѣ не имѣеть никакого понятія, читаетъ чувствительные романы и зѣваетъ въ обществѣ своего мужа-пстиннаго типа степного медведя и псаря. Въ этой повести все такъ и дышитъ русскою природою, сфренькими красками русскаго деревенскаго быта. Здась цалый рядъ картинъ въ фламандскомъ вкусъ, -- н ни одна изъ нихъ не уступитъ въ достопиствъ любому изъ техъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко ценятся знатоками. Что составляетъ главное достопнство фламандской школы, если не умінье представлять прозу дійствительности подъ поэтпческимъ угломъ зрвнія? Въ этомъ смыслъ "Графъ Нулинъ" есть цълая галлерея превосходнійших картинь фламандской школы. И если мы сказали, что не "Графомъ Нулинымъ" будетъ безсмертепъ Нушкинъ, это не значить, чтобь мы на поэму его смотрели, какъ на легонькое литературное произведеньице, какъ на остроумную шутку: нёть, это значить только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на безсмертіе, чёмъ "Графъ Нулинъ", п что эта поэмка, которая могла бы составить главный капиталь извёстности для иного поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожальнія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какою поэтъ ехватываетъ въ "Графъ Нулинъ" самыя характеристическія черты русской жизни. Вотъ, напримъръ, портретъ Параши, горипчной Натальи Павловны:

Параша эта—
Наперсинца ея затъй:
Шьеть, моеть, въсти переносить,
Изношенныхъ капотовъ проситъ,
Порою барина смъшить,
Порой на барина кричить,
И лжеть предъ барыней отважио.

Да, это типъ всёхъ русскихъ горничныхъ, которыя служатъ барынямъ новаго, т. е. пансіонскаго образованія! Говорить ли, что вся ноэма, исполненная ума, остроумія, легкости, граціи, тонкой пронія, благороднаго тона, знанія действительности, нашисана стихами въ высшей степени превосходными? Пушкинъ пначе и не умёлъ писать,—а "Графъ Пулинъ" есть одно изъ удачнёйшихъ его произведеній.

Эта ноэма въ первый разъ была напечатана въ "Стверныхъ Цвттахъ" 1828 года, а отдельно вышла въ 1829 году. Тогда-то опрокинулась на нее со всёмъ остервенёніемъ педантическая критика. Главною виною поставлена была "Графу Нулину" пустота, будто бы, его содержанія. По убъжденію этой критики, ноэзія должна заниматься только важными предметами, каковые обратаются въ одахъ Ломоносова, его "Истріада", одахъ Петрова и стопудовыхъ піимахъ Хераскова. Ей, этой неотесапной критикъ, и въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное песнопеніе, взятое массою, далеко не стонтъ одной страницы изъ "Графа Нулина". Потомъ поставлена была въ великое преступленіе "Графу Нулипу" неприличная вольность его содержанія и изложенія, будто бы оскорбляющая хорошій тонъ свътскаго общества. Бъдная критика! Она любезности училась въ дъвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно ли, что "Графъ Нулинъ" такъ жестоко оскорбиль ея тонкое чувство приличія? Бъдная критика! Она и до сихъ поръ добродушно убъщена въ своемъ знаніи больного свъта и нещадно преследуеть "Мертвыя Души" за нарушеніе условій хорошаго тона, — а большой свѣть, неблагодарный, до сихъ поръ не хочетъ и подозрѣвать существованія ея, б'ёдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочель "Мертвыя Души", съ какимъ некогда читаль "Графа Нулина", не видя ни въ томъ, ни въ другомъ произведени ничего противнаго и оскорбительнаго тому, что называеть онъ "хорошимъ тономъ" и "приличіемъ".

[Отечественныя Записки, Т. XXXIV. 1844]. §

VIII.

Евгений Онъгинъ.

Признаемся: не безъ нѣкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотренію такой поэмы, какъ "Евгеній Онфгинъ". И эта робость оправдывается многими причинами. "Онфгинъ" есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазін, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такою полнотою, свътло и ясно, какъ отразилась въ "Онъгинъ" личность Нушкина. Здёсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здёсь его чувства, понятія, идеалы. Оценить такое произведение значить-оценить самого поэта, во всемъ объемъ его творческой дъятельности. Не 10воря уже объ эстетическомъ достоинствъ "Онъгина"--- эта поэма имъетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значение. Съ этой точки зрѣнія, даже и то, что теперь крптика могла бы съ основательностію назвать въ "Онегине" слабымъ

или устарѣлымъ, — даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводить въ затруднение не одно только сознание слабости нашихъ силъ для втрной оцтики такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ "Онѣгина", съ одной стороны, видать недостатки, съ другой-достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаеть въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки или безусловныя достоинства, и которая не понимаеть, что условное и относительное составляють форму безусловнаго; вотъ почему накоторые критики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій таланть и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполив художественно и могло бы вполиф удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношени къ "Онъгину" наши сужденія могуть показаться многимь еще болье противорьчащими, потому что "Оньгинъ", со стороны формы, есть произведение въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляють его величайнія достоинства. Вся наша статья объ "Онъгинъ" будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего, въ "Онъгинъ" мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интереснейшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зранія, "Евгеній Онагинъ" есть ноэма историческая въ полномъ смыслъ слова, хотя въ числѣ ел героевъ нѣтъ ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы темъ выше, что она была на Руси и первымъ, и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безмірная! До Нушкина русская поэзія была не болье, какъ понятливою и нереимчивою ученицею европейской музы, — и потому всё произведенія русской поэзін до Пушкина какъ-то походили больше на этюды п копін, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ-этотъ таланть, столько же сильный и яркій, сколько и національнорусскій, долго не имёль смёлости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтона. Въ поэзін Державина ярко проблескивають и русская рѣчь, и русскій умъ, по не больше, какъ проблескивають, потоиляемые водою риторически - понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написаль русскую трагедію, даже историческую — "Димптрія Донского", но въ ней русскаго и историческаго -- один имена: все остальное столько же русское и псторическое, сколько французское или татарское. Жуковскій написалъ двъ русскія баллады—"Людмилу" и "Свътлану", но первая изъ нихъ есть передълка ивмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь д'виствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проинкнута немецкою сентиментальностью и и мещким фантазмомъ. Муза Ватюшкова, въчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвътка на русской почвъ. Всёхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нѣть и не можеть быть пикакой поэзін, и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на пегасв въ чужіе края, даже и на востокъ, не только на западъ. Но съ Пушкннымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумфется, это сделалось не вдругь, потому что вдругь инчего не дълается. Въ поэмахъ: "Русланъ и Людмила" и "Братья-Разбойники" Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ, -- но не въ поэзін только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображение русской действительности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ "Русланъ п Людмилъ" такъ мало русскаго и такъ много птальянскаго, а "Разбойники" такъ похожи на глумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада "Женихъ", написанная имъ въ 1825 году, въ которомъ появилась и первая глава "Онфгина". Эта баллада, и со стороны формы, и со стороны содержанія, насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чёмъ о "Русланв и Людмилв", можно

Здёсь русскій духъ, здёсь Русью пахнеть.

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всёми забыта, мы выпишемь изъ нея сдену сватовства.

Наутро сваха къ нимъ на дворъ Нежданиая приходитъ. Наташу хвалитъ, разговоръ Съ отцомъ ея заводитъ: "У васъ товаръ, у насъ купецъ, Собою нарень молодецъ, И статной, и проворной, Не вздорной, не зазорной,

"Богать, умень, ин передъ квмъ Не кланяется въ поясъ, А, какъ бояринъ, между твмъ Живеть, не безиокоясь; А подарить невъетв вдругъ И лисью шубу, и жемчугъ, И перстин золотые, И платья парчевыя.

"Катаясь, видълъ онъ вчера Ее за воротами; Не по рукамъ ли, да съ двора, Да въ церковь съ образами?" Она сидитъ за пирогомъ, Да ръчь ведеть обинякомъ, А бъдная невъста Себъ не видитъ мъста.

"Согласенъ, говоритъ отецъ, Ступай благополучно, Моя Наташа, подъ вънецъ: Одной въ свътелкъ скучно. Не въкъ дъвицей въковать, Не все касаткъ распъвать, — Пора гиъздо устроить, Чтобъ дътушекъ покоптъ".

II такова вся эта баллада, отъ перваго до последняго слова! Въ народныхъ русскихъ песняхъ, вмѣстѣ взятыхъ, не больше русской народности, сколько заключено ея въ этой балладъ! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видёть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій, —и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Міръ, такъ вёрно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ разкой его особенности. Сверхъ того, онъ такъ тесенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный таланть не долго будетъ воспроизводить его, если не захочеть, чтобъ его произведенія были односторонии, однообразны, скучны и, наконецъ, пошлы, несмотря на всв ихъ достопиства. Вотъ почему человѣкъ съ талантомъ дълаетъ обыкновенно не болже одной, или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родф; для него этодёло между прочимъ, затёлнное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприці, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу. Лермонтова "Пъсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричинка и удалова купца Калашинкова", не превосходя пушкинскаго "Жениха" со стороны формы, слишкомъ много превосходить его со стороны содержанія. Это поэма, въ сравненін съ которой ничтожны всѣ богатырскія народнорусскія поэмы, собранныя Киршею Даниловымъ. И между темъ "Ивсия" Лермонтова была не болве, какъ опытъ таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтовъ никогда ничего больше не написалъ бы въ этомъ родь. Въ этой изсет Лермонтовъ взялъ все, что только могъ ему представить сборникъ Кирши Данилова, —и новая попытка въ этомъ родъ была бы по необходимости повтореніемъ одного п того же-старыя погудки на новый ладъ. Чувства н страсти людей этого міра такъ однообразны въ своемъ проявленін; общественныя отношенія людей этого міра такъ просты и несложны, что все это легко исчерпывается до дна однимъ произведеніемъ сильнаго таланта. Разнообразіе страстей, тонкіе до безконечности оттънки чувствъ, безчисленно многосложныя отношенія людей, общественныя и частныя, - вотъ гдъ богатая почва для цвътовъ поэзін, и эту почву можетъ приготовить только сильно развивающаяся или развивавшаяся цивилизація. Произведенія вродѣ "Jeanne" Жоржъ-Занда возможны только во Францін, потому что тамъ цивилизація, въ многосложности ея элементовъ, всй сословія поставила въ тъсное и электрически взаимно-дъйствующее отношеніе другь къ другу. Наша поэзія, напротивъ, должна искать для себя матеріаловъ почти исключительно въ томъ классъ, который, по своему образу жизни и обычаямъ, представляетъ болъе развитія и умственнаго движенія. И если національность составляеть одно изъ высочайшихъ достоинствъ поэтическихъ произведеній, -- то, безъ сомивнія, истиннонаціональныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ содержаніе взято изъ жизни сословія, создавшагося по реформ'я Петра Великаго и усвоившаго

себъ формы образованнаго быта. Но большинство публики, до сихъ поръ, понимаетъ это дело иначе. Назовите народнымъ или національнымъ произведеніемъ "Руслапа и Людмилу", —и съ вами всѣ согласятся, что это действительно и народное, и національное произведеніе. Еще болье будуть согласны съ вами, если вы назовете пароднымъ произведеніемъ всякую ньесу, въкоторой действуютъ мужики и бабы, бородатые купцы и мѣщане, или въ которомъ дѣйствующія лица пересыпають свой незатфиливый разговоръ русскими пословицами и поговорками и, вдобавокъ, пропускаютъ между ними риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди, болье умные и образованные, охотно (и притомъ весьма осцовательно) видять народную русскую поэзію въ басняхь Крылова и даже готовы видъть ее (что уже не такъ основательно) не только въ сказкахъ Пушкина ("о даръ Салтанъ" и "О мертвой даревиъ"), но н (что уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковскаго ("О цар'я Берендей до колинь борода" и "О сиящей царевити"). Но не многіе согласятся съ вами, и для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истинно національнорусская поэма въ стихахъ была и есть—"Евгеній Онъгинъ" Пушкина, и что въ ней народности больше, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочинении. А между тёмъ это такая же истина, какъ и то, что дважды-два-четыре. Если ее не всъ признаютъ національною это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мижніе, будто бы русскій во фракж, или русская въ корсеть-уже не русскіе, и что русскій духъ даеть себя чувствовать только тамъ, гдф есть зипунь, лапти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случав у насъ многіе, даже и между такъ называемыми образованными людьми, безсознательно подражають русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называетъ "нёмцемъ". И вотъ гдё источникъ пустой боязни некоторыхъ, чтобъ мы все не онемечились! Всь европейскіе народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ стнію католическаго единства, духовнаго (въ лицъ напы) и свътскаго (въ лидѣ избраннаго главы священной Римской Имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же стремленій къ последнимъ результатамъ цивилизацін, —однако, тѣмъ не менѣе, между французомъ, нѣмцемъ, англичаниномъ, итальянцемъ, шведомъ, испанцемъ такая же существенная разница, какъ и между русскимъ и индійцемъ. Это струны одного и того же инструмента — духа человъческаго, но струны разнаго объема, каждая съ своимъ особеннымъ звукомъ, —и потому-то онъ издають полные гармоническіе аккорды. Если же народы Западной Европы, вст равно происходящіе отъ великаго тевтонскаго племени, большею частію смінавшагося съ романскими илеменами, всѣ равно развившіеся на почвѣ одной и той же религін, подъ вліяніемъ однихъ и техъ же обычаевъ, одного и того же общественнаго устройства, и потомъ вст равно воснользовавшіеся богатымъ наследіемъ древне-классическаго міра, если, говоримъ, всѣ народы Западной Европы, составляющіе собою единое семейство, тімъ не менье рьзко отличаются одинь отъ другого, то естественное ли дёло, чтобъ русскій народъ, возникшій на другой почвѣ, подъ другимъ небомъ, имъвшій свою исторію, ни въ чемъ не похожую на исторію ни одного западно-европейскаго народа, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвонвъ себѣ одежду и обычан европейскіе, могъ утратить свою національную самобытность и походить, какъ двѣ капли воды, на каждаго изъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ каждый другь отъ друга ръзко отличается и физическою, и нравственною физіономією?.. Да это нельпость нельпостей! Хуже этого инчего нельзя выдумать! Первая причина особности племени или парода заключается въ почвѣ и климатѣ занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шарѣ странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и климатологическомъ отношеніяхъ? И потому, чтобъ напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могъ лишить русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россіп превратить въ гористый; безконечное его пространство сдълать меньшимъ по крайней мфрф въ десять разъ (за исключеніемъ Спопри). И много, кромъ того, нужно бы сдълать такого, чего нельзя сделать, и о чемъ фантазировать на досугѣ прилично только господамъ Маниловымъ. Далье: бъдна та народность, которая трепещеть за свою самостоятельность при всякомъ соприкосновенін съ другою народностью! Наши самозванные патріоты не видять, въ простоть ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они тъмъ самымъ жестоко оскорбляють ее. Но когда сдълалось всегда побъдоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ Великій одблъ его въ европейское платье и пріучиль его сообразной съ этимъ илатьемъ военной дисциплинф? Какъ-то естественно видъть толпу крестьянъ, дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи, -- какъ-то естественно видеть ихъ бегущими въ безпорядкъ съ поля битвы, точно такъ же, какъ естественно видъть полки солдать, даже и при боевой неудачь, или храбро умирающими на полъ битвы, или отступающими въ грозномъ порядить. Иткоторые изъ горячихъ славянолюбовъ говорять: "Посмотрите на намда, — онъ везда ивмець, и въ Россіи, и во Франціи, и въ Индіи: французъ тоже вездъ французъ, куда бы ни занесла его судьба; а русскій въ Англіц-англичанинъ, во Франціп-французъ, въ Германін-ньмець". Действительно, въ этомъ есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служить не къ унижению, а къ чести русскихъ. Это свойство удачно приміняться ко всякому народу, ко всякой странь, отнюдь не есть исклютельное свойство только образованныхъ сословій въ Россін, но свойство всего русскаго племени, всей съверной Руси. Этимъ свойствомъ русский человъкъ отличается и отъ всъхъ другихъ славянскихъ илеменъ, и, можетъ быть, ему-то и обязань онъ своимъ превосходствомъ надъ ними. Извъстно, что наши русские солдаты-удивительные природные философы и политики, и нигдъ ничему не удивляются, но все находять очень естественнымъ, какъ бы это все ни было противоположно ихъ понятіямъ и привычкамъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметь, ссылаемся, для краткости, на замѣчаніе Лермонтова объ удивительной способности русскаго человъка примъняться къ обычаямъ техъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. "Не знаю (говоритъ авторъ "Героя Нашего Временн"), достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываеть неимовърную его гибкость и присутствіе этого яснаго, здраваго смысла, который прощаетъ зло вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость или невозможность его уничтоженія". Здёсь дёло пдеть о Кавказъ, а не объ Европъ; но русскій человькъ вездъ тоть же. Угловатый итмецъ, тяжеловато-гордый Джонъ-Буль-уже самыми ихъ ухватками и манерами никогда и нигдъ не скроютъ своего происхожденія; и послъ француза только русскій можеть по наружности казаться просто челов жкомъ, не нося на своемъ лбу національнаго клейма, или паспорта. Но изъ этого отнюдь не следуеть, чтобъ русскій, умёя въ Англін походить на англичанина и во Франціи на француза, хоть на минуту пересталь быть русскимь, или хоть на минуту нешутя могъ сдълаться англичаниномъ или французомъ. Форма и сущность не всегдаодно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себъ, но отъ сущности своей отръшиться совсъмъ не такъ легко, какъ промънять охабень на фракъ. Между русскими есть много галломановъ, англомановъ, германомановъ и разныхъ другихъ "мановъ". Посмотришь на нихъ: точно такъ-съ которой стороны ни зайди-англичанинь, французь, пъмецъ, да и только. Если англоманъ, да еще богатый, то и лошади у него англизированныя, н жокен и грумы, словно сейчасъ изъ Лондона привезенные, и паркъ въ англійскомъ вкуст, и портеръ онъ пьетъ исправно, любитъ ростбифъ и пуддингъ, на комфортъ помъщанъ, и даже боксируетъ не хуже любого англійскаго кучера. Если галломанъ, — одътъ, какъ модная картинка, пофранцузски говорить не хуже нарижанина, на все смотрить съ равнодушнымъ презрѣніемъ, при случат почитаеть долгомь быть и любезнымь, и остроумнымъ. Если германоманъ, —больше всего любитъ некусство, какъ искусство, науку, какъ науку, романтизируетъ, презпраетъ толпу, не хочетъ внъшняго счастія и выше всего ставить созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите всёхъ этихъ господъ пожить—англомановъ въ Англію, галломановъ во Францію, германомановъ въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, поспъшать англичане, французы н нёмцы признать своими соотечественниками нашихъ англомановъ, галломановъ и германомановъ... Ифть, не попадуть они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развъ прослывутъ между ними притчею во языцёхъ, сдёлаются предметомъ всеобщаго оскорбительнаго вниманія и удивленія. Это потому, повторяемъ, что усвоить чуждую форму совстмь не то, что отрашиться отъ собственной сущности. Русскій за-границею легко можеть быть принять за уроженца страны, въ которой онъ временно живеть, потому что на улиць, въ трактирь, на балу, въ дилижанст о человтит заключаютъ по его виду; но въ отношеніяхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положеніяхъ жизни исключительныхъ-другое дёло: туть поневолё обнаружится всякая національность, и каждый поневол'в явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зржнія, русскому гораздо легче прослыть за англичанина въ Россін, нежели въ Англін. Но въ отношенін къ отдёльнымъ личностямъ еще могутъ быть странныя исключенія; въ отношенін же къ народамъ-никогда. Доказательствомъ могутъ служить ть славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тасно связаны съ судьбами Западной Европы: Чехія отовсюду окружена тевтонскимъ племенемъ; властителями ея въ теченіе цёлыхъ столетій были пемцы; развилась она, вмѣстѣ съ ними, на почвѣ католицизма, и упредила ихъ и словомъ, и дѣломъ религознаго обновленія, —и что же? — чехи до сихъ поръ славяне, до сихъ поръ-не только не германцы, но и не совсимь европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мньнія, будто бы, въ дёлё литературы, чисто-русскую народность должно искать только въ сочиненіяхъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ жизни низшихъ и необразованныхъ классовъ. Вследствіе этого страннаго мненія, оглашающаго "нерусскимъ" все, что есть въ Россін лучшаго н образованнѣйшаго, -- вслъдствіе этого лапотносермяжнаго мивнія, какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а "Горе отъ Ума" есть тоже русское, но только уже не національное произведеніе; какой-инбудь площадной романъ, вродъ "Разгулья купеческихъ сынковъ въ Марьиной Рощъ", есть хотя и плохое, однако тъмъ не менъе національно-русское произведеніе, а "Герой Нашего Времени"-хотя и превосходное, однако тъмъ не менъе русское, но не національное произведение... Исть, и тысячу разъ исть! Пора, наконецъ, вооружиться противъ этого мижнія всею сплою здраваго смысла, всею энергіею неумолимой логики! Мы далеки ужъ отъ того блаженнаг) времени, когда псевдо-классическое направленіе нашей литературы допускало въ изящныя созданія только людей высшаго круга и образованныхъ сословій, и если иногда позволяло выводить, въ поэмъ, драмъ или эклогъ, простолюдиновъ, то не пначе, какъ умытыхъ, причесанныхъ, разодетыхъ и говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого псевдо-классическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого исевдо - романтическаго направленія, которое, обрадовавшись слову "народность" и праву представлять въ ноэмахъ и драмахъ не только честныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, вообразило, что истинная національность скрывается только подъ зниуномъ, въ курной избъ, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть истинно шекспировская черта, - а главное, что между людьми образованными нельзя искать п признаковъ чего-нибудь похожаго на пародность. Пора, наконецъ, догадаться, что, напротивъ, русскій поэть можеть себя показать истиню-національнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: ибо, чтобы найти національные элементы въ жизни, на половину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, -- для этого поэту нужно и имъть большой таланть, и быть національнымь въ душь. "Истинная національность (говорить Гоголь) состоить не въ описанін сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда надіоналенъ, когда описываеть совершенно сторонній мірь, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ гакъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами". Разгадать тайну народной исихен-для поэта-значить умъть равно быть вфрнымъ дфиствительности при изображенін и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умфетъ схватывать ръзкіе оттынки только грубой, простонародной жизни, не умья схватывать солье тонких и сложных оттыков образованной жизни, -- тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, н еще менте имтетъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умъетъ заставить говорить и барина, и мужика ихъ языкомъ. И если произведение, котораго содержание взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго-значить, оно ничего не стоитъ и въ художественномъ отношенін, потому что невфрно духу изображаемой имъ дъйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ "Горе отъ Ума" и "Мертвыя Души", но и такія, какъ "Герой Нашего Времени", суть столько же національныя, сколько и превосходныя ноэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ "Евгеній Онфгинъ" Пушкина. Въ этой рашимости молодого поэта представить правственную физіономію напболіте оевропенвшагося въ Россін сословія нельзя не видіть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эцическихъ поэмъ давнымъ-давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взяль эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ пея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всею ея прозою и пошлостію. И такая см'влость была бы менъе удивительною, если бы романъ затьянь быль въ прозв; но писать подобный романь въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного порядочнаго романа

н въ прозъ, -- такая смълость, оправданная огромнымъ усивхомъ, была несомивинымъ свидетельствомъ геніальности поэта. Правда, на русскомъ языкъ было одно прекрасное (по своему времени) произведеніе, врод'ї пов'єсти въ стихахъ: мы говоримъ о "Модной Женъ" Дмитріева, но между нею и "Онфгинымъ" нфтъ ничего общаго уже потому только, что "Модную Жену" такъ же легко счесть за вольный переводъ или передёлку съ французскаго, какъ и за оригинально-русское произведеніе. Если изъ сочиненій Пушкина хоть одно можетъ имъть что-ипбудь общаго съ прекрасною и остроумною сказкою Дмитріева, то это, какъ мы уже и замѣтили въ послѣдней статьѣ, "Графъ Нулинъ"; но и тутъ сходство заключается совстмъ не въ поэтическомъ достоинствъ обоихъ произведеній. Форма романовъ вродъ "Онъгина" создана Вайрономъ; по крайней мъръ, манера разсказа, смісь прозы и поэзін въ изображаемой дійствительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себѣ и, особенно, это слишкомъ ощутительное присутствіе лица поэта въ созданномъ имъ произведенін, —все это есть діло Байрона. Конечно, усвонть чужую новую форму для собственнаго содержанія совсёмъ не то, что самому изобрёсти ее, темъ не менье, при сравненіп "Онъгина" Пушкина съ "Донъ-Хуаномъ", "Чайльдъ-Гарольдомъ" и "Беппо" Байрона, нельзя найти ничего общаго, кром'в формы п манеры. Не только содержаніе, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаеть всякую возможность существеннаго сходства между ними и "Онъгинымъ" Пушкана. Байронъ писалъ о Европъ для Европы; этотъ субъективный духъ, столь могущій и глубокій, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько къ изображенію современнаго человъчества, сколько къ суду надъ его прошедшею и настоящею исторію. Повторяемъ: туть нечего искать и тени какого-либо сходства. Пушкинъ писаль о Россіи для Россіи, —и мы видимъ признакъ его самобытнаго и геніальнаго таланта въ томъ, что, вѣрный своей натурѣ, совершенно противоположной натурѣ Байрона, и своему художническому инстинкту, -- онъ далекъ быль отъ того, чтобы соблазниться, создать что-нибудь въ байроновскомъ родъ, инша русскій романъ. Сделай онъ это — и толпа превознесла бы его выше звѣзъъ: слава мгновенная, но великая, была бы наградою за его ложный tour de force. Но, повторяемъ, Пушкинь, какъ поэтъ, быль слишкомъ великъ для подобнаго шутовского подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Онъ заботился не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собою и быть втрнымъ той дъйствительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась подъ перо его. И зато его "Онъгинъ" — въ высшей степени оригинальное и національно - русское произведеніе. Вмѣстѣ съ современнымъ ему геніальнымъ твореніемъ Грибо-*дова--,,Горе отъ Ума" *), стихотворный романъ

^{*)} Горе от Ума было написано Грибовдовымь въ бытность его въ Тифлисв, до 1823 года, но написано вчерить. По возвращени въ Россію,

Нушкина положилъ прочное основание новой русской поэзін, новой русской литературь. До этихъ двухъ произведеній, какъ мы уже и зам'тили выше, русскіе поэты еще ум'яли быть поэтами, восиввая чуждые русской д'вйствительности предметы, и почти не умъли быть поэтами, принимаясь за изображение міра русской жизни. Исключеніе остается только за Державинымъ, въ поэзін котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескиваютъ искорки элементовъ русской жизни; за Крыловымъ и, накопецъ, за Фонвизипымъ, который, впрочемъ, былъ, въ своихъ комедіяхъ, больше даровитымъ копистомъ русской дъйствительности, нежели ея творческимъ воспроизводителемъ. Несмотря на всѣ педостатки, довольно важные, комедін Грибовдова, — она, какъ произведение сильнаго таланта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первою русскою комедіею, въ которой нѣтъ ничего подражательнаго, нѣтъ ложныхъ мотивовъ и неестественныхъ красокъ, но въ которой и цёлое, и подробности, и сюжеть, и характеры, и страсти, и действія, и мивнія, и языкъ-все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности. Что же касается до стиховъ, которыми написано "Горе отъ Ума", — въ этомъ отношенін Грибофдовъ надолго убиль всякую возможность русской комедін въ стихахъ. Нуженъ геніальный таланть, чтобь продолжать сь усивхомь начатое Грибовдовымъ дёло: мечъ Ахилла подъ силу только Аяксамъ и Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношени къ "Онъгину", хотя, впрочемъ, ему и обязаны своимъ появленіемъ нъкоторыя, далеко неравныя ему, но все-таки замичательныя попытки, — тогда какъ "Горе отъ Ума" до сихъ поръ высится въ нашей литературъ геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примъръ неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россія выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болъе, чъмъ за десять лътъ до появленія ея въ печати! Стихи Грибобдова обратились въ нословицы и поговорки: комедія его сділалась непсчерпаемымъ источникомъ примъненій на событія вседневной жизни, неистощимымъ рудникомъ эпиграфовъ! И хотя никакъ нельзя доказать прямого вліянія, со стороны языка и даже стиха, басенъ Крылова на языкъ и стихъ комедін Грибовдова, однако нельзя и совершенно отвергать его: такъ въ органически-историческомъ развитін литературы все сцёпляется и связывается одно съ другимъ! Басни Хемницера и Дмитріева относятся къ баснямъ Крылова, какъ просто талантливыя произведенія относятся къ геніальнымъ произведеніямъ,—но тѣмъ не менѣе Крыловъ много обязанъ Хеминцеру и Дмитріеву. Такъ и Грибоъдовъ: онъ не учился у Крылова, не подражалъ ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ,

въ 1823 году, Грибовдовъ подвергнуль свою комедію значительнымъ исправленіямъ. Въ первый разъ большой отрывокъ пзъ нея быль напечатанъ въ альманах Талія, въ 1825 году. Первая глава Онкгина появилась въ печати въ 1825 году, когда, въроятно, у Пушкина было уже ивсколько главъ этой поэмы.

чтобъ самому идти дальше своимъ собственнымъ путемъ. Не будь Крылова въ русской литературъстихъ Грибовдова не былъ бы такъ свободно, такъ вольно, развязно оригиналенъ, - словомъ, не шагнуль бы такъ страшно далеко. Но не этимъ только ограничивается подвигъ Грибовдова: вмъстъ съ "Онъгинымъ" Пушкина его "Горе отъ Ума" было первымъ образдомъ поэтическаго изображенія русской действительности въ обширномъ значеніи слова. Въ этомъ отношеніи оба эти произведенія положили собою основание последующей литературе, были школою, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь. Везъ "Онѣгина" былъ бы невозможенъ "Герой Нашего Времени", также, какъ безъ "Онф-гина" и "Горе отъ Ума". Гоголь не почувствоваль бы себя готовымъ на изображение русской действительности, исполнененой такой глубаны и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до "Онвгина и "Горя отъ Ума", еще и теперь не исчезла изъ русской литературы. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоитъ только обречь себя на смотрѣніе или на чтеніе новыхъ драматическихъ ньесъ, даваемыхъ на русскомъ театръ объихъ столицъ. Это не что иное, какъ искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнію; это-нсковерканные французскіе характеры, прикрывшіеся русскими именами. На русскую повъсть Гоголь имъль сильное вліяніе, но комедін его остались одинокими, какъ и "Горе отъ Ума". Значить: изображать вфрно свое родное, то, что у насъ передъ глазами, что насъ окружаетъ, чуть ли не трудиће, чкиъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимають за сущность, а модный костюмъ-за европензмъ; другими словами: въ томъ, что народность смѣшиваютъ съпростонародностью и думають, что кто не принадлежить къ простонародью, т. е. кто пьетъ шампанское, а не ивнникъ, и ходитъ во фракв, а не въ смуромъ кафтанъ, -- того должно изображать то какъ француза, то какъ пспанца, то какъ англичанина. Нъкоторые изъ нашихъ литераторовъ, имън способность более или менее верно списывать портреты, не имфють способности видфть въ пастоящемъ нхъ свётё тё лица, съ которыхъ они иншутъ портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нътъ никакого сходства съ оригиналами, и что, читая ихъ романы, повъсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишутъ? Гдъ разговоры эти слышутъ? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышатъ не хотимъ,

Таланты этого рода—плохіе мыслители; фантазія у нихъ развита на счетъ ума. Они не попимаютъ, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждѣ и кухнѣ, а въ его, такъ сказать, манерѣ понимать вещи. Чтобъ вѣрно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, — а это нельзя пначе сдѣлать, какъ узнавъ фактически и оцѣпнвъ философеки ту сумму правилъ, кото-

рыми держится общество. У всякаго народа двъ философіи: одна-ученая, книжная, торжественная н праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто объ эти философін находятся болже или менже въ близкомъ соотношении другъ къ другу; и кто хочетъ изображать общество, тому надо познакомиться съ объими, но послъднюю особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочеть узнать какой-нибудь народь, тоть прежде всего долженъ изучить его-въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли имъть два такія слова, какъ, напримъръ, авось и живеть, а между темь они очень важны, и, не понимая ихъ важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое значение этой-то обиходной философіи и сдёлало "Онёгина" и "Горе отъ Ума" произведеніями оригинальными и чисто-

Содержаніе "Онъгина" такъ хорошо извъстно всемь и каждому, что неть никакой надобности излагать его подробно. Но чтобъ добраться до дежащей въ его основанін идеи, мы разскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется въ молодого петербургскаго-говоря нынышнимь языкомь-льва, который, наскучивь свътскою жизнію, прітхаль скучать въ свою деревню. Она рѣшается написать къ нему письмо, дышащее наивною страстію; онъ отвѣчаеть ей на словахъ, что не можеть ел любить, и что не считаеть себя созданнымъ для "блаженства семейной жизни". Потомъ, изъ пустой причины, Онфгинъ вызвань на дуэль женихомъ сестры нашей влюбленной геропни и убиваетъ его. Смерть Ленскаго надолго разлучаетъ Татьяну съ Онфгинымъ. Разочарованная въ своихъ юныхъ мечтахъ, бедная дъвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходить замужь за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онъгинъ встръчаетъ Татьяну въ Петербургъ и едва узнаеть ее: такъ перемѣнилась она, такъ мало осталось въ ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великоленною петербургскою дамою. Въ Онъгинъ вспыхиваетъ страсть къ Татьянь; онъ пишеть къ ней письмо, и на этотъ разъ уже она отвъчаеть ему на словахъ, что хотя и любить его, тъмъ не менье принадлежать ему не можетъ-по гордости добродетели. Вотъ и все содержание "Онъгина". Многие находили и теперь еще находять, что туть нать никакого содержанія, потому что романъ ничемъ не кончается. Въ самомъ деле, тутъ нетъ ни смерти (ни отъ чахотки, ни отъ кинжала), ни свадьбы-этого привилегированнаго конца всёхъ романовъ, повъстей и драмъ, въ особенности русскихъ. Сверхъ того, сколько тутъ несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегина отвечаль холодностью на ея страстное признаніе; но когда она стала женщиною, — онъ до безумія влюбился въ нее, даже не будучи увъренъ, что она его любить. Не-

естественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характеръ у этого человёка: холодно читаетъ онъ мораль влюбленной въ него дъвушкъ, вмъсто того, чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и потомъ, испросивъ по формъ у ея дражайшихъ родителей ихъ родительскаго благословенія нав'єки нерушимаго, совокупиться съ нею узами законнаго брака и сдёлаться счастливейшимь въ міре человёкомъ. Потомъ: Онъгинъ ни за что убиваетъ бъднаго Ленскаго, этого юнаго поэта съ золотыми надеждами и радужными мечтами,--и хоть бы разъ заплакалъ о немъ или, но крайней мере, проговорилъ патетическую рёчь, гдё упоминалось бы объ окровавленной тёни и проч. Такъ или почти такъ судили и судять еще и теперь объ "Онфгинф" многіе изъ почтеннѣйшихъ читателей; по крайней мѣрѣ, намъ случалось слышать много такихъ сужденій, которыя во время оно бъсили насъ, а теперь только забавляють. Одинъ великій критикъ даже печатно сказаль, что въ "Онъгинъ" нътъ цълаго, что это просто поэтическая болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключенін, во-первыхъ, на томъ, что въ концѣ поэмы нѣтъ ни свадьбы, ни похоронъ, и, во-вторыхъ, на этомъ свидътельствъ самого

Промчалось много, много дней Съ тъхъ поръ, какъ юная Татьяна И съ ней Онъгинъ вт смутномт снт Являлися впервые мнъ — И даль свободнаго романа Я сквозь магическій кристалль Еще не ясно различалъ.

Великій критикъ не догадался, что поэть, благодаря своему творческому инстинкту, могъ написать полное и оконченное сочинение, не обдумавъ предварительно его плана, и умѣлъ остановиться именно тамъ, гдъ романъ самъ собою чудесно заканчивается и развязывается, —на картинъ потерявшагося, послѣ объясненія съ Татьяною, Онѣгина. Но мы объ этомъ скажемъ въ своемъ мёсть, равно какъ и о томъ, что ничего не можетъ быть естественнъе отношеній Онъгина къ Татьянъ въ продолжение всего романа, и что Онфгинъ совсфиъ не извергь, не развратный человекь, хотя въ то же время и совсемъ не герой добродетели. Къ числу великихъ заслугъ Пушкина принадлежитъ и то, что онъ вывель изъ моды и чудовищь порока, и героевъ добродътели, рисуя вмъсто нихъ просто людей.

Мы начали статью съ того, что "Онѣгинъ" есть поэтически-вѣрная дѣйствительности картина русскаго общества въ извѣстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было српсовать ее, —общество. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдѣльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положеніе еще не производить общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обез-

1843-1846.

нечивали бы его существование, и нужно было образованіе, которое давало бы ему не одно внѣшнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, жалованною грамотою, опредёдила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству — единственному сословію, которое при Екатеринъ II достигло высшаго своего развитія и было просв'єщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вследствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумвемъ слово образовываться. Въ царствование Александра Благословеннаго значение этого, во всёхъ отношенияхъ лучшаго, сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все болже и болже проникало во вст углы огромной провинціп, устянной пом'вщичыми владеніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностію, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и ширами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало пофранцузски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ восинтанія дътей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъэти поэты, въ свое время извъстные только одному двору, тогда сділались боліве или меніве извъстными и этому возникающему обществу. Но, что всего важнъе, у него явилась своя литература, уже болье легкая, живая, общественная и свътская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ н журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю, и черезъ это создаль массу читателей, то Карамзинъ, своею реформою языка, направленіемъ, духомъ и формою своихъ сочиненій, породиль литературный вкусь и создаль публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементь, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на "Лизинъ прудъ", чтобъ "слезою чувствительности" почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлінныя умомь, вкусомь, остротою п грацією, имали такой же успахь и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденныя ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ внередъ для молодого общества. Трагедін Озерова придали еще болже силы и блеска этому направленію. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дётьми. Вскорё появился юноша-поэть, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтические элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго, и который познакомиль и породниль русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важиве, нежели какъ у

насъ объ этомъ думають: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратила въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомниню, что классъ дворянства былъ и по преимуществу представителемъ общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличенія средствъ къ народному образованію, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ-заставляли общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохою для Россіи. Мы разумѣемъ здѣсь не только вившнее величее и блескъ, какими покрыда себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преусивные въ гражданственности и образованін, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудиль ся спящія силы и открыль въ ней новые, дотол' неизв' стиые источники силь, чувствомъ общей опасности сплотиль въ одну огромную массу коснѣвшія въ чувствѣ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудиль народное сознание и народную гордость, и всёмь этимъ способствоваль зарожденію публичности, какъ началу общественнаго митнія; кромт того, 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснѣющей старинѣ: вслъдствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выбажая за заповёдную черту ихъ владёній; глушь и дичь быстро исчезали вмѣстѣ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны, вся Россія, въ липъ своего побъдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увиделась съ Европою, пройдя по ней путемъ побѣдъ п торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укръпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столетія русская литература оть подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества, и къ которому принадлежалъ самъ, — и въ "Онъгинъ" онъ ръшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмість съ нимъ и общество, въ томъ видъ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столетія. И здёсь нельзя не поднвиться быстротъ, съ которою движется впередъ русское общество: мы смотримъ на "Онъгина", какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ внѣ идеаловъ и мотивовъ нашего времени... "Герой Нашего Времени" былъ новымъ "Онътинымъ": едва прошло четыре года, — и Печорпнъ уже не современный идеаль. И воть въ какомъ смысле сказали мы, что самые недостатки "Онъгина" суть въ то же время и его ведичайшія достоинства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ—"старо"; но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро?—и развѣ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ вѣрно умѣлъ схватить дѣйствительность извѣстнаго мгновенія изъ жизни общества? Если-бъ въ "Онѣгинѣ" инчего не казалось теперь устарѣвшимъ или отсталымъ отъ нашего времени,—это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ истины, что въ ней изображено не дѣйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случаѣ что-жъ бы это была за поэма и стоило

ли бы говорить о ней?

Мы уже коснулись содержанія "Опагина": обратимся къ разбору характеровъ дъйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что романъ носить на себъ имя своего героя, - въ романъ не одинъ герой, а два героя: Онъгинъ и Татьяна. Въ обонхъ нихъ должно видеть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдъладъ, выбравъ себъ героя изъ высшаго круга общества. Онъгинъ-отнюдь не вельможа (уже п потому, что временемъ вельможества быль только въкъ Екатерины II): Онъгинъ-свътскій человъкъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любятъ свъта и свътскихъ людей, хотя и помъщаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совсёмь не свётскіе люди и въ свёте не бываемь; но не питаемъ къ нему никакихъ мъщанскихъ предубъжденій. Когда высшій свъть изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ,мы любимъ литературное изображение большого свъта, также, какъ и изображение всякаго другого свъта и не-свъта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случат не можемъ терпъть большого свъта: именно, когда изображають его сочинители, которымь должны быть гораздо знакомъе нравы кондитерскихъ и чиновничьихъ гостиныхъ, чемъ аристократическихъ салоновъ. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смѣшпваемъ свѣтскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего они встрѣчаются вмъсть. Будьте вы человъкомъ какого вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убъщеній, — свътскость вась не испортить, а только улучшить. Говорять: въ свъть жизнь тратится на мелочи: самыя святыя чувства приносятся въ жертву расчету и приличіямъ. Правда; но развъ въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву расчету и приличію? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Вся разница средняго свѣта отъ высшаго состоить въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, ломанія, медкаго честолюбія, принужденности и лицемфрства. Говорять: въ светской жизни много дурныхъ сторонъ. Правда; а развѣ въ не-свѣтской жизниоднъ только хорошія стороны? Говорять: свъть убиваетъ вдохновеніе, и Шекспиръ и Шиллеръ не были свътскими людьми. Правда; но они не

были и ни куппами, ни мѣщанами, — они были просто людьми, такъ же точно, какъ и Байронъаристократь и свётскій человёкъ-своимъ вдохновеніемъ болье всего обязанъ быль тому, что онь быль человѣкъ. Вотъ почему мы не хотимъ подражать нёкоторымь нашимь литераторамь въ ихъ предубъжденіяхъ противъ страшнаго для нихъ невидимки — большого света, и вотъ почему мы очень рады, что Пушкинъ героемъ своего романа взяль свътскаго человъка. И что же туть дурного? Высшій кругь общества быль въ то время уже въ апогев своего развитія; притомъ, светскость не помфинала же Опфинну сойтись съ Ленскимъэтимъ наиболъе страннымъ и смъщнымъ въ глазахъ света существомъ. Правда, Онегину было дико въ обществъ Ларпныхъ; но образованность еще болже, нежели свътскость, была причиною этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совстмъ не свътскіе люди, было бы въ немъ не совсемъ ловко, - темъ более, что мы ръшительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарив, о винв, о свнокосв, о родив. Высшій кругь общества въ то время до того быль отделень оть всёхъ другихъ круговъ, что не принадлежавшіе къ нему люди поневол'я говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и Атлантидъ. Вследствие этого Онъгинъ съ первихъ же строкъ романа былъ принять за безнравственнаго человъка. Это мивніе о -немъ и теперь еще не совстви псчезло. Мы помнимъ, какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодование на то, что Онъгинъ радуется бользни своего дяди и ужасается необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника-

Вздыхать и думать про себя: Когда же чорть возьметь тебя?

Многіе и теперь этимъ крайне недовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всёхъ отношеніяхъ произведеніемъ быль "Онъгинъ" для русской публики, и какъ хорошо сделалъ Пушкинъ, взявъ свътскаго человъка въ герон своего романа. Къ особенностямъ людей свътскаго общества принадлежить отсутствіе лицемфрства, въ одно и то же время грубаго и глупаго, добродушнаго и добросовъстнаго. Если какой-нибудь бъдный чиновникъ вдругъ видитъ себя наследникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть, -- съ какими слезами, съ какою униженною предупредительностію будеть онь ухаживать за дядюшкою, --- хотя этоть дядюшка, можеть быть, во всю жизнь свою не хотълъ ни знать, ни видъть илемянника, и между ними ничего не было общаго. Однако-жъ, не думайте, чтобъ со стороны племянника это было расчетливымъ лидемфрствомъ (расчетливое лицемфрство есть порокъ всехъ круговъ общества, и светскихъ, и несветскихъ): нетъ, вследствие благодътельнаго сотрясенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго наследства, нашъ илемянникъ нешутя пришелъ въ умиление и почувствоваль пламенную любовь къ дядюшкъ, хотя и не воля дяди, а законъ далъ ему право на наслъдство. Стало быть, это лицемърство добродушное, искреннее и добросовъстное. Но вздумай его дядюшка вдругъ, ин съ того, ин съ сего, выздоровъть: куда бы дъвалась у нашего илемянника родственная любовь, и какъ бы ложная горесть вдругъ смънилась истинною горестью, и актеръ превратился бы въ человъка! Обратимся къ Онъгину. Его дядя былъ ему чуждъ во всъхъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онъгинымъ, который уже—

... равно зъвалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ пом'вщикомъ, который, въгдуши своей деревни,

Иёть сорокь съ ключницей бранился, Въ окно смотрёль и мухъ давиль.

Скажуть: онь-его благодатель. Какой же благодетель, если Онегинъ былъ законнымъ наследникомъ его имънія? Туть благодътель—не дядя, а законъ, право наслѣдства. Каково же положеніе человъка, который обязанъ нграть роль огорченнаго, состраждущаго и нежнаго родственника при смертномъ одръ совершенно чуждаго и посторонняго ему человъка? Скажутъ: кто обязывалъ его играть такую низкую роль? Какъ кто? Чувство деликатности, человѣчности. Если, по чему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себъ человѣка, котораго знакомство для васъ и тяжело, и скучно: развѣ вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и по-сылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онъгина проглядываетъ какая-то насмёшливая легкость,въ этомъ виденъ только умъ и естественность, потому что отсутствие натянутой, тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У світскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всегоманера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера-отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь, по ихъ м н ѣ н і ю, важномъ случа в. Вс в знають, что вотъ эта барыня жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимаеть, что всё это знають, и что никого ей не обмануть: но отъ этого она еще громче охаетъ и ахаетъ, стонетъ п рыдаеть, и темь безотвязнее мучить всёхь и каждаго описаніемъ добродѣтелей покойнаго, счастія, какимъ онъ дариль ее, и злополучія, въ какое повергъ ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто разъ повторять передъ господиномъ благонамфренной наружности, котораго всв знають за ея любовника. И что же? -- какъ этотъ господинъ благонамфренной наружности, такъ и всв родственники, друзья и знакомые горькой, неутъшной вдовы, слушають все это съ печальнымъ и огорченнымъ видомъ, -- и если иные подъ рукою смѣются, зато другіе отъ

души сокрушаются. И—повторяемъ—это и не глупость, и не расчетливое лицемфрство: это просто—принципъ мъщанской, простонародной морали. Никому изъ этихъ людей не приходитъ въ голову спросить себя и другихъ:

Да изъ чего же вы бъснуетеся столько?

Мало того: они считають за гржхь подобный вопрось, а если бы рёшились сдёлать его, то сами надъ собою расхохотались бы. Имъ певдогадъ, что если туть есть о чемъ грустить, такъ это о пошлой комедін добродушнаго лицемёрства, которую всё такъ усердно и такъ искренно разыгрываютъ.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдѣлаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеніи былъ для нашей публики "Опѣгинъ" Пушкина, и какими новыми, смѣлыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старыя и даже робкія полумысли—приведемъ изъ него этотъ куплетъ:

Гмъ! Гмъ! читатель благородный, Здорова-ль ваша вся родня? Позвольте: можетъ быть, угодно Теперь узпать вамъ отъ меня, Что значать именно родиые? Родные люди вотъ какіе: Мы ихъ обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, О Рождествъ ихъ навъщать, Или по почтъ поздравлять, Чтобъ въ остальное время года О насъ не думали они... И такъ, дай Богъ имъ долги дни!

Мы помнимь, что этоть невинный куплеть, со стороны большей части публики, навлекъ упрекъ въ безиравственности уже не на Онфгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовъстное лицемърство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Вратья тягаются съ братьями объ имжній и часто питають другь къ другу такую остервенълую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бываеть не чемъ ннымъ, какъ правомъ-бъдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому-презирать докучнаго бъдняка и отдълываться отъ него ничъмъ; равно богатымъ-завидовать другъ другу въ усивхахъ жизни; вообще же — право вмѣшиваться въ чужія дёла, давать ненужные и безполезные советы. Гдъ ни поступите вы, какъ человъкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человъческаго достониства, вездъ вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться-просите совъта; не попросите его-вы опасный мечтатель, вольнодумець; попросите-вамъ укажутъ невъсту; женитесь на ней и будете несчастны-вамъ же скажутъ: "то-то же, братецъ, вотъ каково безъ оглядки-то предпринимать такія важныя дела, —я ведь говориль". Жепитесь по своему выбору-еще хуже бъда.-Какія еще права родства? Мало ли ихъ! Вотъ, напримъръ, этого господина, такъ похожаго на Ноздрева,

будь онъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшию, опасаясь за правственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ-и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетъ, и онъ вездѣ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ занятію и развлеченію: случилась съ вами бѣда--и воть для вашихъ родственниковъ чудесный случай събзжаться къ вамъ, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставленія, делать упреки, а потомъ вездѣ развозить эту новость, порицая и браня васъ за глаза, — ведь известно: человъкъ въ обдъ всегда виноватъ, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это ни для кого не ново, но то беда, что все это чувствують, но немногіе это сознають: привычка къ добродушному и добросовъстному лицемърству побъждаетъ разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидёться, если огромная семья родни, пріёхавъ въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ-они же будутъ не рады; но ропща, бранясь и всемъ жалуясь подъ рукою, они передъ родственною семейкою будуть расточать любезности и возьмуть сь нея слово-опять остановиться у нихь и вытъснить ихъ, во имя родства, изъ ихъ собственнаго дома. Что это значить? Совстмъ не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало, какъ принципъ, а только то, что оно существуетъ у нихъ, какъ фактъ: внутренно, по убъжденію никто изъ нихъ не признаетъ его, но по привычкъ, по безсознательности и по лицемърству всъ его при-

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видъ, какъ оно существуетъ у многихъ, какъ оно есть въ самомъ деле, - следовательно, справедливо и истинно,--и на него осердились, его назвали безнравственнымь; стало быть, если бы онь описаль родство между накоторыми людьми такимь, какимъ оно не существуетъ, т., е. невтрно и ложно, -его похвалили бы. Все это значить ни больше, ни меньше, какъ то, что нравственна одна ложь и неправда... Вотъ къ чему ведетъ добродушное и добросовъстное лицемърство! Нътъ, Пушкинъ поступиль нравственно, первый сказавъ истину, потому что нужна благородная смёлость, чтобъ первому решиться сказать истину. И сколько такихъ истинъ сказано въ "Онъгинъ"! Многія изъ нихъ и не новы, и даже не очень глубоки; но если бы Пушкинъ не сказаль ихъ двадцать лёть назадь, онё теперь были бы и новы, и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что онъ первый высказаль эти устаръвшія и уже не тлубокія теперь истины. Онъ бы могъ насказать истинъ болбе безусловныхъ и болбе глубокихъ, но, въ такомъ случат, его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемъ. Геній никогда не упреждаетъ своего времени, но всегда только угадываетъ его не для всёхъ видимое содержаніе и смыслъ.

Вольшая часть публики совершенно отрицала въ Онъгинъ душу и сердце, видъла въ немъ человъка колодиаго, сухого и эгоиста по натуръ. Нельзя ошноочные и кривые понять человыка! Этого мало: многіе добродушно вырили и вырять, что самь поэты хотыль изобразить Оныгина холоднымы эгоистомы. Это уже значить—имыя глаза, ничего не видыть. Свытская жизнь не убила вы Оныгины чувства, а только охолодила кы безплоднымы страстямы и мелочнымы развлеченіямы. Вспомните строфы, вы которыхы поэть описываеты свое знакомство сы Оныгинымы:

Условій свъта свергнувъ бремя. Какъ онъ, отставъ отъ суеты, Съ нимъ подружнися я въ то время. Мив правились его черты, Мечтамъ невольная преданность, Неподражательная странность И ръзкій, охлажденный умт. Я быль озлоблень, онъ угрюмъ; Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоихъ насъ; Въ обоихъ сердца жаръ погасъ, Обонхъ ожидала злоба Слѣпой фортуны и людей На самомъ утръ нашихъ дней. Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ Въ душъ не презирать людей; Кто чувствоваль, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дней: Тому ужь нъть очарованій, Того змія воспоминаній. Того раскаянье грызеть. Все это часто придаетъ Большую прелесть разговору. Сперва Онъгина языкъ Меня смущаль; но я привыкъ Къ его язвительному спору, И къ шуткъ съ желчью пополамъ, И къ злости мрачныхъ эпиграммъ. Какъ часто лѣтнею порою, Когда прозрачно и свътло Ночное небо надъ Невою И водъ веселое стекло Не отражаеть ликъ Діаны, Воспомня прежених лють романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительны, безпечны вновь, Дыханьемь ночи благосклонной Безмолвно упивались мы! Какъ въ лъсъ зеленый изъ тюрьмы Перенесенъ колодникъ сонной, Такъ уносились мы мечтой Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ, по крайней мъръ, то, что Онъгинъ не былъ ни холоденъ, на сухъ, ни черствъ, что въ душѣ его жила поэзія, и что вообще онъ быль не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность, при созерданіи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ н любви прежнихъ лътъ: все это говоритъ больше о чувствъ и поэзін, нежели о холодности и сухости. Дело только въ томъ, что Онегинъ не любилъ расилываться въ мечтахъ, больше чувствоваль, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человъкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везеть, то и всеми. Жизнь не обманываеть глупцовъ; напротивъ, она все даетъ имъ, благо немногаго

просять они отъ нея—корма, пойла, тепла да койкакихъ игрушекъ, способныхъ тѣшить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарованіе въ жизни, въ людяхъ, въ самомь себѣ (если только оно истпино и просто, безъ фразъ и щегольства "нарядною печалью") свойственно только людямъ, которые, желая "многаго", не удовлетворяются "пичѣмъ". Читатели помнятъ описаніе (въ VII главѣ) кабинета Онѣгина: весь Онѣгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился въкъ И современный человъкъ Изображенъ довольно върно Съ его безиравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданный безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кинящимъ въ дъйствін пустомъ.

Скажуть: это портреть Онфгина. Пожалуй, и такь; но это еще болфе говорить въ пользу правственнаго превосходства Онфгина, потому что онь узналь себя въ портретф, который, какъ двф капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнають себя столь немногіе, а большая часть "украдкою киваетъ на Петра". Онфгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдаль отъ его поразительнаго сходства съ дфтьми нынфшняго вфка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдфлаль Онфгина похожимъ на этотъ портретъ, а вфкъ.

Связь съ Ленскимъ—этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикѣ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онѣтина

Онътинъ презиралъ людей,

Но правиль итть безь исключеній: Иныхъ онъ очень величалъ, И вчужть чувство уважаль. Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой: Поэта пылкій разговоръ, И умъ, еще въ сужденьяхъ зыбкой, И въчно вдохновенный взоръ-Онъгину все было ново; Онъ охладительное слово Въ устахъ старался удержать И думаль: глупо мнъ мъшать Его минутному блаженству, И безъ меня пора прійдеть; Пускай покамъсть онь живеть Да върить міра совершенству; Простимъ горячка юныхъ лътъ И юный жаръ, и юный бредъ. Межъ ними все рождало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Плоды наукъ, добро и зло, И предразсудки въковые, И гроба тайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду, Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушіе Онѣгина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Чудажь печальный и опасный, Созданье ада иль небесъ, Сей ангелъ, сей надменный бъсъ, Что-жъ онъ?—ужели подражанье, Ничтожный призражъ, иль еще Москвить въ Гарольдовомъ плащъ; Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексикопъ?... Ужъ не пароділ ли онъ?

Все тотъ же-ль онъ, иль усмирился? Иль корчить также чудака? Скажите, чёмъ онъ возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чёмъ пынё явится? Мельмотомъ, Космополитомъ, натріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Иль маской щегольнеть иной? Иль просто будеть добрый малой, Какъ вы да я, какъ цълый свъть? По крайцей мъръ мой совъть: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочилъ свътъ... Знакомь опъ вамь?—"И да, и новиго". Зачёмь же такъ неблагосилонно Вы отзываетесь о немь? За то-ль, что мы неугомонно Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пылких души неосторожность, Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляеть, иль смишить; Что умг. любя просторг, тъснить; Что слишкомъ часто разговоры Принять мы рады за дъла; Что глупость вътрена и зла; Что важнымъ людямъ важны вздоры, И что посредственность одна Намъ по плечу и не странна? Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ, Блаженъ, кто во-время созрѣлъ, Кто постепенно жизни холодъ Съ лътами вытерить умълъ; Кто страннымъ снамъ не предавался; Кто черни свътской не чуждался; Кто въ двадцать лътъ былъ франтъ нль

А въ тридцать выгодно женать; Кто въ пятьдесять освободился Оть частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегь и чиновъ Спокойно въ очередь добился; О комъ твердили цълый въкъ: N. N.—прекрасный человъкъ. Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что измъняли ей всечасно, Что обманула насъ она; Что наши лучшія желанья, Что наши свёжія мечтанья Истявли быстрой чередой, Какъ листья осенью гнилой. Несносно видъть предъ собою Одинхъ объдовъ длинный рядъ, Глядъть на жизнь, какъ на обрядъ, И велъдъ за чинною толпою Идти, не раздёляя съ ней Ни общихъ метній, ни страстей.

Эти стихи—ключь къ тайнѣ характера Опѣгина. Опѣгинъ—не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не народія, не модная причуда, не геній, не великій человѣкъ, а просто—"добрый малый, какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ". Поэтъ справедливо называетъ "обветшалою модою" вездѣ находить или вездѣ искать все геніевъ да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Опѣгинъ—

добрый малый, по, при этомъ, не дюжинный человъкъ. Опъ не годится въ геніи, не лъзеть въ великіе люди, но безділтельность и пошлость жизни душать его; онъ даже не знаеть, чего ему падо, чего ему хочется; но онъ знаеть, и очень хорошо знаеть, что ему не надо, что ему не хочется того, чемъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. Й за то-то эта самолюбивал посредственность не только провозгласила его "безправственнымъ", но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онфгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ел не убило совсемъ такое воспитаніе. Блестящій юноша, онъ быль увлеченъ свътомъ, подобно многимъ; но скоро наскучиль имъ и оставиль его, какъ это делають слишкомъ немногіе. Въ душѣ его тлѣлась искра надежды-воскреснуть и освёжиться въ тиши уединенія, на лонъ природы; но онъ скоро увидълъ, что перемъна мъстъ не измъняетъ сущности нъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дня ему казались новы Уединенныя поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихаго ручья; На третій рощи, холмъ и поле Его не занимали болѣ, Потомъ ужъ наводили сонъ; Потомъ увидѣлъ ясно онъ, Что и въ деревнѣ скука та же, Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ, Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ. Хандра ждала его на-стражѣ, И бѣгала за нимъ опа, Какъ тѣнь иль вѣрная жена.

Мы доказали, что Онъгинъ-не холодный, не сухой, не бездушный человѣкъ, но мы до сихъ поръ избёгали слова эгонстъ,--и такъ какъ избытокъ чувства, потребность пзящнаго не исключають эгонзма, то мы скажемь теперь, что Оньгинь — страдающій эгонсть. Эгонсты бывають двухъ родовъ. Эгонсты перваго разрядалюди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимають, какъ можеть человъкъ любить кого-нибудь, кромъ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ: если ихъ дела идутъ илохо-они худощавы, бледны, элы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дёла идутъ хорошо-они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе безполезныхъ имъ людей. Это эгонсты по натуръ или по причинъ дурного восинтанія. Эгопсты второго разряда почти никогда не бывають толсты и румяны; по большей части это народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездё ища то счастія, то разсвянія, они нигдв не находять ни того, ни другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляють ихъ. Эти люди часто доходять до страсти къ добрымъ действіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ, но бёда въ томъ, что они и въ дебръ хотитъ искать то счастія, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы шть искать только добра. Если подобные люди живуть въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею діятельностью къ осуществленію пдеала нстины и блага, — о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сделали ихъ эгоистами. Но нашъ Опфинъ не принадлежитъ ни къ тому, ни къ другому разряду эгонстовъ. Его можно назвать эгоистомъ поневолт; въ его эгонзм'є должно вид'єть то, что древніе называли "fatum". Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачамь не предался ей Онагинъ? Зачамъ не искаль онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачёмь? зачёмь? — затемь, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели лёльнымъ отвёчать...

> Одинъ среди своихъ владиній, Чтобъ только время проводить, Сперва задумаль нашъ Евгеній Порядокъ новый учредить. Въ своей глуши мудрецъ пустынной, Яремъ онъ барщины старинной Оброкомъ легкимъ замънилъ: Мужикъ судьбу благословилъ. Зато въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ страшный вредъ, Его расчетливый состдъ: Другой лукаво улыбнулся, И въ голосъ вст решили такъ, Что онъ опаснъйшій чудакъ. Спачала вст къ нему такали; Но такъ какъ съ задняго прыльца Обыкновенно подавали Ему донского жеребца, Лишь только вдоль большой д фоги Заслышать ихъ домашни дроге: Поступкомъ оскороясь такимъ. Всь дружбу прекратили съ нимъ. "Сосъдъ нашъ неучъ, сумасородить; "Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно "Стаканомъ красное вино; Онъ дамамъ иъ ручив не подходить; "Все да да нъть, не спажеть ва-съ "Иль нътг-съ". Таковъ быль общій гласъ.

Что-нибудь дізать можно только въ обществі, на основанія общественных потребностей, указываемыхь самою дійствительностью, а не теорією; но что бы сталь дізать Опітинь въ сообществі съ такими прекрасными сосідями, въ кругу такихь милыхъ ближнихь. Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со сторошы Опітина туть еще немного было сділано. Есть дюди, которымь если удастся что-нибудь сділать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказывають объ этомъ всему міру, и такимъ образомь бывають пріятно заняты на цілую жизнь. Опітинь быль не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ—для него было не Богь знаеть чтмъ.

Случай свель Онъгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онъгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ инхъ домов, послъ перваго визита, Онъгинъ зъваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну

приняль за невъсту своего пріятеля и, узнавь о своей ошибкъ, удивляется его выбору, говоря, что если-бъ онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человъку стоило одного или двухъ невинмательныхъ взглядовъ, чтобъ понять разницу между объими сестрами, --- тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсёмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дъвочка, которая совствить не стоила того, чтобъ за нее рисковать убить пріятеля, или самому быть убитымъ. Между темъ, какъ Онегинъ зевалъ-"по привычкъ", говоря его собственнымъ выраженіемъ, и писколько не заботясь о семействъ Лариныхъ, —въ этомъ семействъ его пріъздъ завязаль страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онъгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее, - н еще болье, какъ тотъ же самый Оньгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потомъ страстно влюбился въ великоленную светскую даму? Въ самомъ дель есть чему удивляться. Не беремся рёшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактъ возможность исихологическаго вопроса, мы темъ не менее нисколько не находимъ удивительнымъ самого факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился, или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился, —такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имфетъ свои законы-правда; но не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій кодексь. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль вълюбви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто-непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправдание нѣсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: "полюбится сатана лучше яснаго сокола", -- кто отвергаетъ это, тотъ не понимаетъ любви. Если-бъ выборъ въ любви решался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нъсколькихъ равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченін сердца. Но бываеть и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себъ не подъ пару. Поэтому Онъгинъ имълъ полное право, безъ всякаго опасенія подпасть подт уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-давушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случай онъ поступилъ равно ни нравственно, ни безиравственно. Этого вполнѣ достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онъгинъ быль такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималь людей и ихъ сердце, что не могъ не

понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдиая дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дѣтски простодушна, и что она нисколько не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыя такъ надоѣли ему съ ихъ чувствами то легкими, то поддѣльными. Опъ былъ живо тронутъ письмомъ ея:

Языкъ дввическихъ мечтаній Въ иемъ думы роемъ возмутиль; И вспоминль онъ Татьяны милой И блёдный цвёть, и видъ унылой; И вс сладостный, безгрышный сонъ Душою погрузился онъ. Выть можеть, чувствій пыль старинной Имъ на минуту овладёль; Но обмануть онъ не хотёль Довёрчивость души невинной.

Въ письмъ своемъ къ Татьянъ (въ VIII главъ) онъ говоритъ, что, замътя въ ней искру нъжности, онъ не хотель ей поверить (т. е. заставиль себя не повърить), не далъ хода милой привычкъ и не хотёль разстаться съ своей постылой свободою. Но если онъ оценилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видълъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такою младенчески-прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отв'ячать на нее-значило бы для Онъгина ръшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэтъ, выразившій въ Онтинт много своего собственнаго, такъ изъясняется на этотъ счеть, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали, Зѣвоты хладная чреда Ему не снились никогда, Межь тѣмъ, какъ мы, враги Гимена, Въ домашней жизни эримъ одинъ Рядъ утомительныхъ картинъ, Романъ во вкусъ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумаль о последнемь, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегоръвшій въ страстяхъ, извъдавшій жизнь и людей, еще кинтвий какими-то самому ему неясными стремленіями, --- онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную пронію, —онъ увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрёла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотръть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашель онъ потомъ въ Татьянъ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можеть, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть въ любовь, -- а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла,

ни своей воли, ни своего характера. Послѣднее спокойнѣе, но зато еще скучнѣе. И это ли поэзія и блаженство любви!..

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Онъгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Убивъ на поединкъ друга, Дожнвъ безъ цълн, безъ трудовъ, До двадцати-шести годовъ, Томясь въ бездъйствіи досуга, Безъ службы, безъ жены, безъ дълъ, Ничъмъ заняться не умълъ. Имъ овладъло безпокойство, Охота къ перемънъ мъстъ (Весьма мучительное свойство, Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ, и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толиившійся около цѣлебныхъ струй Машука:

Питая горьки размышленья, Среди печальной ихъ семьи, Онъгинъ взоромъ сожальнья Глядъль на дымныя струи И мыслилъ, грустью отуманенъ: Зачъмъ я пулей въ грудь не раненъ! Зачъмъ не хилый я старикъ, Какъ этотъ бъдный откупщикъ? Зачъмъ, какъ тульскій засъдатель, Я не лежу въ параличъ? Зачъмъ не чувствую въ плечъ Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель, Я молодъ, жизнь во мнъ кръпка: Чего мнъ ждать! тоска, тоска!...

Какая жизнь! Воть оно-то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ деле знають его; воть оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ дранировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаеть ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тамъ ужаснее!.. Спать ночью, зъвать днемъ, видеть, что всъ изъ чего-то хлопо-чутъ, чъмъ-то заняты, одинъ—деньгами, другой женитьбою, третій-бользнію, четвертый-нуждою н кровавымъ потомъ работы, — видеть вокругъ себя и веселье и печаль, и смёхъ и слезы, видёть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно въчному Жиду, который, среди волнующейся вокругь него жизни, сознаеть себя чуждымь жизни и мечтаеть о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствъ: это-страдание не всъмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастія? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудою. И чёмъ естественнъе, проще страдание Онъгина, чъмъ дальше оно оть всякой эффектности, темъ оно менте могло быть понято и оцтнено большинствомъ публики. Въ двадцать-щесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдёлавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія уб'єжденія: это смерть! Но Онфгину не суждено было умереть, не отведавь изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоск'є силы его духа. Встрітнвъ Татьяну на баліс, въ Петербургіс, Опітниъ едва могь узнать ее, такъ перемінилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно, съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами;

. . . . И всёхъ выше И носъ, и плечи поднималъ Вошедшій съ нею гепераль,—

мужъ Татьяны представляеть ей Онфгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго о х а и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мифнію, должна повиснуть на шеф у Онфгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотрить на него... И, что ей душу ни смутило, Какъ сильно ни была она Удивлена, поражена, Но ей ничто не измънило: Въ ней сохранился тотъ же тонъ; Быль такъ же тихъ ея поклонъ. Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась Иль стала вдругь блъдна, красна... У ней и бровь не шевельнулась: Не сжала даже губъ она. Хоть онъ глядёль нельзя прилежнёй, Но и слъдовъ Татьяны прежней Не могъ Онъгинъ обръсти. Съ ней ръчь хотъль онь завести И—и не могъ. Она спросила, Давно-ль онъ здёсь, откуда онъ, И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ? Потомъ къ супругу обратила Усталый взглядъ; скользнула вонъ... И недвижимъ остался онъ. Ужель та самая Татьяна, Которой онъ наединъ, Въ началъ нашего романа, Въ глухой, далекой сторонъ, Въ благомъ пылу нравсученья, Читалъ когда-то наставленья,-Та, отъ которой онъ хранить Письмо, гдъ сердце говорить, Гдъ все наружъ, все на волъ,-Та дъвочка... иль это сонъ?... Та дъвочка, которой онъ Пренебрегаль въ смиренной долъ, Ужели съ нимъ сейчасъ была Такъ равнодушна, такъ смъла?

Что съ нимъ? Въ какомъ онъ странномъ снѣ? Что шевельнулось въ глубинѣ Души колодной и лѣнивой? Досада? суетность? иль вновь Забота юности,—любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примъсь мелкнух чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имъли свою долю въ страсти Онъгина. Но мы ръшительно несогласны съ этимъ миѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толиъ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди! всѣ похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечетъ; Васъ непрестапно змій зовотъ Къ себъ, къ тапиственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемь о достоинствѣ человѣческой натуры и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человеке, но въ обществе, такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслъ формы человъческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго въка свои понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всё люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругъ солнца обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тѣхъ же поръ преступленіе будеть только по наружности преступленіе, а внутренно, существенно-непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели въ своихъ детяхъ своихъ рабовъ и считали себя въ правъ насиловать ихъ чувства и склопности самыя священныя. Теперь, если дівушка, чувствуя отвращение къ господину благонам вренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человѣка, съ которымъ ее насильно разлучають, -- послъдуеть влеченію своего сердца н будеть любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости вижшнихъ условій, какъ сердце, п ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, - что оно такое, если оно согласовано съ витшними условіями?—Пфснь соловья или жаворонка въ золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?—Торжественная песнь соловья, на закатъ солнца, въ таинственной съни склонившихся надъ рекою ивъ; вольная песнь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрілою, то надаеть съ неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь съ мѣста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эонръ... Итица любить волю; страсть есть поэзія и цевтъ жизии, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будеть воли?..

Инсьмо Онѣгина къ Татьянѣ горитъ страстью; въ немъ уже нѣтъ проніи, нѣтъ свѣтской умѣренности, свѣтской маски. Онѣгинъ знаетъ, что

онь, можеть быть, подаеть поводь къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смъшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты-и въ такомъ случай, конечно, роль Онвгина была бы очень смѣшна и жалка. По въ свѣтѣ наружность никогда и ни въ чемъ не убъждаетъ: тамъ всё слишкомъ хорошо владёють искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онъгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась сама собою, и свёть научиль ее только искусству владеть собою и серьезние смотрить на жизнь. Благодатная натура не гибнетъ отъ свъта, вопреки мивнію міщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свыть представляеть точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свъть должна была казаться Оньгину Татьяна, уже не мечтательная дівушка, повірявшая луні и звъздамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая сны по книгъ Мартына Задеки, но женщина, которая знаеть цёну всему, что дано ей, которая много потребуеть, но много и дасть? Ореолъ свътскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онфгина: въ свътъ, какъ и вездъ, люди бывають двухь родовь: один привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видять назначеніе жизни, --- это чернь; другіе отъ свѣта заимствують знаніе людей и жизни, такть действительности и способность вполна владать всемь, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу послъднихъ, и значение свътской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла никакой прелести, а Татьяна не объщала ему легкой победы. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ расчета, со всъмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ н дышить въ каждомъ словъ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатленія. После нескольких посланій, встратившись съ нею, Онегинъ не заметилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицъ,--на немъ отражался лишь слёдъ гнёва... Онёгинъ на цёлую зиму заперся дома и принялся читать:

И что-жъ? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желанія, печали Тъснились въ душу глубоко. Онъ межь печатными строками Читаль духовными глазами Другія строки. Въ нихъ-то опъ Вылъ совершенно углубленъ. То были тайныя преданья Сердечной, темной старины, Ни съ чъмъ не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздоръ живой, Иль письма дёвы молодой. И постепенно въ усыпленье И чувствъ, и думъ впадаетъ онъ,

А передъ нимъ воображенье Свой пестрый мечетъ фараонъ. То видить онъ: на таломъ сиѣгѣ, Какъ будто сиящій на ночлегѣ, Недвижимъ юноша лежитъ; И слышитъ голосъ: что-жъ? убитъ! То видитъ онъ враговъ забвенныхъ, Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измѣнинцъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрѣнныхъ; То сельскій домъ—и у окпа Сидитъ она... и все она!..

Мы не будемъ распространяться теперь о сценф свиданія и объясненія Онвгина съ Татьяною, потому что главная роль въ этой сценъ принадлежитъ Татьяев, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отповъдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онбгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое! Гдъ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ иттъ конца, потому что въ самой действительности бывають событія безъ развязки, существованія безъ цели, существа неопределенныя, никому не понятныя, даже самимъ себь, -- словомъ то, что по-французски называется les êtres manqués, les existences avortées. И этн существа часто бывають одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; объщають много, исполняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не отъ нихъ самихь; туть есть fatum, заключающійся въ дійствительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человъка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другого Онтгина подъ именемъ Печорина: пушкинскій Онвгина са какима-то самоотверженіемъ отдался з'євот'є; лермонтовскій Печоринъ бъется па-смерть съ жизнію и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ--разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь, и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онёгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болёе сообразнаго съ человёческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всё силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію? — Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотёть больше инчего знать...

Онѣгинъ—характеръ дѣйствительный, въ томъ смыслѣ, что въ немъ нѣтъ нпчего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дѣйствительности и черезъ дѣйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ, совершенно противоноложный характеру Онѣгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дѣйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и

люди такого рода тогда дёйствительно начали появляться въ русскомъ обществе.

Съ душою прямо геттингенской, Красавецъ въ полномъ цвътъ лътъ, Поклонникъ Канта и поэтъ, Опъ изъ Гермачін туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь И кудри черные до плечъ.

Онъ пълъ любовь, любви послушный, И пъснь его была ясна, Какъ мысли дъвы простодушной, Какъ сонъ младенца, какъ лупа Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ, Богиня тайнъ и ездоховъ нъжныхъ. Онъ пълъ разлуку и печаль, И пъчто, и туманну даль, И романтическія розы; Онъ пълъ тъ дальнія страны, Гдъ долго въ лонъ тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый жизни цектъ Безъ малаго ез восьмнадцать лютъ.

Ленскій быль романтикь и по натурѣ, и по духу времени. Нътъ нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время "онъ сердцемъ милый быль невъжда"; въчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Действительность на него не нижла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу,—и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедии замужъ, она сделалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйтии за поэта, товарища ея детскихъ игръ, и за довольнаго собою и своею лошадью улана?—Ленскій украсиль ее достопиствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было, и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, — Ольга была очаровательна, какъ и всё "барышни", пока онъ еще не сдълались "барынями"; а Ленскій видълъ въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, нимало не подогръвая будущей барыни. Онъ написаль "нангробный мадригаль" старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой проніп, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онъгина подшутить надъ нимъ онъ увидълъ п измѣну, и обольщеніе, и кровную обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, зарание воспътая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онтгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

> Быль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойцомь, Но мужемь сь честью и умомь,—

но тпранія и деспотнямь свётскихь и житейскихь предразсудковь таковы, что требують для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Опёгнна съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художествен-

номъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ ндеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакалъ его паденіе:

Друзья мон, вамъ жаль поэта: Во цвътъ радостныхъ надеждъ, Ихъ не свершивъ еще для свъта, Чуть изъ младенческихъ одеждъ, Увялъ! Гдъ жаркое волненье, Гдъ благородное стремленье И чувствь, и мыслей молодыхъ, Высокихъ, итжныхъ, удалыхъ? Гдъ бурныя любви желанья, И жажда знаній и труда, И страхъ порока и стыда, И вы, завътныя мечтанья Вы, призракъ жизни неземной, Вы, сны поэзін святой! Быть можеть, онъ для блага міра, Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая лира Гремучій, непрерывный звонъ Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Выть можеть, на ступеняхъ свъта Ждала высокая ступень; Его страдальческая тънь, Выть можеть, унесла съ собою Святую тайну,—и для насъ Погибъ животворящій гласъ, И за могильною чертою Къ ней не домчится гимнъ временъ, Влагословенія племенъ. А можеть быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удъль. Прошли бы юношества лъта: Въ немъ пылъ душн бы охладълъ, Во многомъ онъ бы измѣнился. Разстался-бъ съ музами, женился; Въ деревиъ, счастливъ и рогать, Носиль бы стеганый халать; Узналь бы жизнь на самомъ дълъ, Подагру-бъ въ сорокъ лътъ имълъ, Пилъ, ълъ, скучалъ, толстълъ, хирълъ И, наконецъ, въ своей постелъ Скончался-бъ посреди дътей, Плаксивыхъ бабъ и лъкарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылось бы непремѣнно послѣднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ техъ натуръ, для которыхъ житьзначить развиваться и идти впередъ. Это, повторяемъ, былъ романтикъ, и больше инчего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ делать, кроме какъ распространить на целую главу то, что онъ такъ полно высказаль въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всъхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, нехороши тъмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранятъ навсегда свой первоначальный типъ, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя идеальныя девы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Въчно конаясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрять на все, что делается въ міре, и твердять о томъ, что счастіе внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о сустахъ этой земли, гдё есть

и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; опи только переродились. Въ нихъ уже не осталось инчего, что такъ обаятельно-прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца,—въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они—поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слѣдующей стать в.

[Отечественныя Записки. Т. XXXVII, 1844 г.].

IX.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый въ своемъ романъ поэтпчески воспроизвелъ русское общество того времени и, въ лицъ Онъгина и Ленскаго, показаль его главную, т. е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвель, въ лицъ Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всъхъ состояніяхъ, во всъхъ слояхъ русскаго общества, играетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобъ женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играеть. Исключение остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мъръ, до извёстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычан, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяние славянолюбовъ, что мы совстмъ переродились въ нтмцевъ, -- несмотря на все это, пора намъ наконецъ признаться, что еще до сихъ поръ мы — плохіе рыцари, что наше внимание къ женщинь, наша готовность жить и умереть для нея до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свётскою фразою, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрътенія, а заимствованною. Чего добраго, теперь и "поштенное" купечество съ бородою, отъ которой попахиваеть "маненько" капустою и лучкомъ, даже и оно, идя по улицъ съ "хозяйкою", ведеть ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину колфномъ, указыван дорогу и заказывая не зѣвать по сторонамъ; но дома... Однако, зачёмъ говорить, что бываеть дома? зачёмъ выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужнхъ фразъ, кричимъ мы въ стихахъ и въ прозъ: "женщина-царица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество" н т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свётскаго): вездё мужчины сами по себѣ, женщины — сами по себѣ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ будто жертвуеть собою изъ въжливости; потомъ встаеть и, съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжкой работы, идеть въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освежиться. Въ Европъ женщина дъйствительно царица общества: весель и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говорить, чёмь съ другимь. У насъ наобороть: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобы

и мужчина заговориль съ нею; она счастлива горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезно стью, у насъ замінено жеманствомь, если у насъ всь любять поэзію только въ кингахъ, а въ жизни боятся ее нуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку девушке, если она не сметь опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтуть васъ влюбленнымъ въ нее, или даже и огласять ея женихомъ? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамь некуда будеть деваться оть лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмѣшекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видъть въ васъ выгодной нартін для своей дочери, они откажуть вамъ отъ дома и строго запретять дочери быть любезной съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію—новая біда, страшніе прежней: раскинуть стти, ловушки,--и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успъете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы-челов вкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете "исторію", которую долго будете помнить. Отчего все это происходить? Оттого, что у насъ не понимаютъ и не хотятъ понимать, что такое женщина, не чувствують въ ней никакой потребности, не желають и не ищуть ея, -словомь, оттого, что у насъ нътъ женщины. У насъ прекрасный ноль" существуеть только въ романахъ, повъстяхъ, прамахъ и эдегіяхъ; но въ действительности онъ разделяется на четыре разряда: на девочекъ, на невъсть, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ дёвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми, никто не интересуется; последнихъ все боятся и ненавидять (и часто по-дёломъ): слёдовательно, нашъ прекрасный полъ состоить изъ двухъ отдёловь: изъ дёвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская девушка — не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не человѣкъ: она не что другое, какъ невъста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всёхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домѣ, и часто обѣщаетъ выйти замужъ за своего папашу или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать, и отецъ, и сестры, н братья, и мамки, и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она-невъста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать леть, и мать, упрекая ее въ лѣности, въ неумѣніи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей: "не стыдно ли вамъ, сударыня, — въдь вы ужъ невъста!" Удивительно ли послѣ этого, что она не умѣетъ, не можетъ смотръть сама на себя, какъ на женственное существо, какъ на человъка, и видитъ въ себѣ только невѣсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лътъ до поздней молодости, иногда даже и

до глубокой старости, всё думы, всё мечты, всё стремленія, всѣ молитвы ея сосредоточены на одной idée fixe: на замужествѣ,-что выйти замужъ ея единственное, страстное желаніе, цёль и смыслъ ея существованія; что виж этого она ничего не понимаеть, ни о чемъ не думаеть, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотритъ опять, не какъ на человека, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? — Съ восемнадцати лътъ она начинаетъ уже чувствовать, что она-не дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастіе своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товарь, лишняя мебель, которая того и гляди спадеть съ цены и не сойдеть съ рукъ. Что же остается ей дёлать, если не сосредоточить всёхъ своихъ способностей на искусствъ ловить жениховъ? И тымь болые, что только въ одномъ этомъ отношенін и развиваются ея способности, благодаря урокамъ "дражайшихъ родителей", милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительная маменька?-за то, что она не умфеть ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могуть быть для нея выгодною партією. Чему она больше всего учить ее? — кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать нодъ мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачын лапки, кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натурѣ бѣдная дочь, -- она невольно входитъ въ родь, которую дала ей жизнь, и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящають. Дома ходить она неряхою, съ непричесанною головою, въ запачканномъ, узенькомъ и коротенькомъ платьишкъ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревив ведь кто же насъ видитъ, кром' дворни, — а для нея стоить ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидёлся экипажь, об'єщающій неожиданныхъ гостей, наша невъста подымаеть руки и долго держить ихъ надъ головою, крича впопыхахъ: "гости вдутъ, гости вдутъ!" Отъ этого руки изъ красныхъ делаются белыми: "затея сельской остроты!" Затъмъ-весь домъ въ смятени: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное бѣлье надѣвають шерстяныя или шелковыя платья, пять лётъ назадъ тому сшитыя. О чистотъ бълья заботиться смъшно: въдь бълье подъ илатьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться извъстное дъло-надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ тайныя стремленія и жаркіе об'єты готовы свершиться: кандидать-невъста уже дъйствительная невъста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имфетъ на нее виды. И ей кажется, что она дъйствительно влюблена въ него. Болъзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердив, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракъ. Притомъ же, когда дъло

къ спеху и торопять, то поневоле влюбитесь сразу, не имъя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но "дражайшіе родители" учили свою дочь только нскусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдёлать ее способною къ выполненію этой обязанности, — они не подумали. И хорошо сделали: неть ничего безполезнее и даже вреднее, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если они не подкрѣпляются примърами, не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностію окружающей его действительности. "Я вамъ примѣръ, сударыня!"-безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь преспокойно коннрусть свою мать, готовя въ своей особъ свъту и будущему мужу второй экземиляръ своей маменьки. Если ея мужъ человекъ богатый, онъ будетъ доволенъ своею женою: домъ у нихъ, какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нельно, грязно, ныльно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ дом'т подымается возня, делается вавилонское столнотворение въ лицахъ); дворня огромная, слугъ бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невъста, теперь молодая дама?—0, она живеть въ "полномъ удовольствін"! Она наконець достигла цели своей жизии: она уже не спрота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домѣ, —она хозяйка у себя дома, сама себъ госпожа, пользуется полною свободою, вдеть, куда и когда хочеть, принимаеть у себя, кого ей угодно; ей уже не нужно болъе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангедомъ: она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелъвать, мучить мужа, дътей, слугъ. У ней бездна затьй: карета-не карета, шаль-не шаль; дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаеть, но всёхъ превосходить, и мужь ея едва усптваеть закладывать и перезакладывать иминіе... Дитя новаго покольнія, она убрала по возможности пышно, хотя н безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ какую-то получистоту, полуопрятность: въдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты напоказъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной, въ детской, въ кабинете мужа, -- словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходять. А у ней безпрестанио гости, возлѣ нея безпрестанно кружокъ; но она плиняетъ гостей своихъ не свътскимъ умомъ, не грацією своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора, -- нътъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у ней все лучшее- и убранство комнать, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, немного... Содержание разговоровъ составляютъ сплетии и наряды, наряды и сплетии. Богъ благословиль ея замужество-что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дѣтей своихъ? — Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они про-

зябають въ дётской, среди мамокъ и нянекъ, среди горинчныхъ, на лонъ холонства, которое должно внушить имъ первыя правила правственности, развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примёты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснъя, пріучить безпрестанно ъсть, никогда не паъдаясь. И милыя дъти очень довольны сферою, въ которой живуть: у нихъ есть фавориты между прислугою, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругають и колотять последнихъ. Но воть они подросли: тогда отецъ дёлай, что хочетъ, съ мальчиками, а девочекъ поучатъ прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортельяно, немножко болтать по-французски, — и воспитание кончено: тогда имъ одна наука, одна забота-ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдеть за человъка не богатаго, хотя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умінія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ен мужу! Она въ своей деревнъ никогда ничего не делала (потому что барышня ведь не холопка какая-нибудь, чтобъ стала что-нибудь дёлать), нпчёмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ-этого она нигдѣ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ значить -- сдёлаться барынею; стать хозяйкою значить-повельвать всеми въ доме и быть полною госпожею своихъ поступковъ. Ея дѣлоне сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имъете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не тьмъ, чьмъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинять даже ся родителей? Развъ не вы сами сдёлали изъ женщины только невёсту и жену, и ничего болъе? Развъ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ поэтпческимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успоконтельно и обантельно дъйствують на жестокую натуру мужчины? Желали - ль вы когда-нибудь имъть друга въ женщинъ, въ которую вы совсёмъ не влюблены, сестру въ женщинъ вамъ посторонней?—Нфтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами-ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чистоутплитарный, почти коммерческій: она для васькапиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если не это-такъ кухарка, прачка, ключница, илныка, много-много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бывають исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бывають бользненными наростами на теле общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждають собою наши такъ называемыя "идеальныя дівы". Оні, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читаютъ много и скоро, -- фдатъ книги. Но какъ и что читають онь, Боже великій!.. Всего достолюбезнъе въ пдеальныхъ дъвахъ увъренность ихъ, что онъ понимаютъ то, что чтаютъ, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всё оне-обожательницы Пушкина, - что, однако-жъ, не мъщаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенеликтова: иныя изъ инхъ съ удовольствіемъ читають даже Гоголя, — что, однако-жь, нисколько не мѣшаетъ имъ восхищаться повѣстями гг. Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, --- все это сводить ихъ съ ума. Но во всемь этомъ онъ видять свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, т. е. пдеальность, —видять ее даже н тамъ, гдф ея вовсе нфтъ, или гдф она осмфивается. У всёхъ у нихъ есть завётныя тетрадки, куда онъ списываютъ стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразять ихъ въ книгъ. Онъ любять гулять при лунь, смотръть на звъзды, следить за теченіемь ручейка. Оне очень наклонны къ дружбъ, и каждая ведетъ дъятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живеть съ нею въ одной деревив, а иногда и въ одномъ домъ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають овъ другъ другу свои чувства, мысли, впечатленія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведетъ свой дневникъ, весь наполненный "выписными чувствами", въ которыхъ (какъ во всёхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) нътъ ничего живого, истиннаго: только претензін и идеальничанье. Онъ презирають толпу и землю, питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отръшиться отъ матерін. Иля этого онъ морять себя голодомъ, не ъдять пногда по целой неделе, жгуть на свечке пальцы, кладуть себь на грудь подъ платье снъту, пьють уксусъ и чернила, отучають себя отъ сна,--и этимъ стремленіемъ къ высшему, пдеальному существованію до того успѣвають разстронть свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Вёдь крайгости сходятся! Всв простыя человвческія и, особенно, женскія чувства, какъ, напримъръ, страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчинъ, въ которомъ нътъ ничего необыкновеннаго, геніальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаеть, не болень, не бъдень, - всъ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, инчтожными, смѣшными и презрѣнными. Особенно интересны понятія "идеальныхъ дівъ" о любви. Всй оні-жрицы любви, думають, мечтають, говорять и пишуть только о любви. Но онъ признають только любовь чистую,

пеземную, идеальную, платоническую. Вракъ есть профанація любви въ ихъ глазахъ; счастье-оношленіе любви. Имъ непремънно надо любить въ разлукъ, и ихъ высочайшее блаженство-мечтать при луні. о предметь своей любви и думать: "можеть быть, въ эту минуту, и оно смотрить на луну и мечтаетъ обо мет; такъ, для любви нттъ разлуки!" Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дівы считають себя птицами; плавая въ мутной вод!: нскусственной нервической экзальтаціи, он' думають, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ н мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все "высокое н прекрасное", онъ любять только себя; онъ и не подозръвають, что только тышать свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазін, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ непрочь бы и отъ замужества, -- п при первой возможности вдругь изманяють свои убъжденія-и изъ идеальныхъ девъ скоро делаются самыми простыми бабами; но въ нныхъ способность обманывать себя призраками фантазін доходить до того, что онв на всю жизнь остаются восторженными девственницами-и такимъ образомъ до семидесяти лѣтъ сохраняютъ способность къ сентиментальной экзальтацін, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумливаются; но прежнее ихъ ложное направление навсегда делается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурнозальченной бользни, отравляеть ихъ спокойствіе и счастіе. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дёвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракъ съ предметомъ любви своей видять высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онъ создають свой идеаль брачнаго счастія, — и когда увидять невозможность осуществленія ихъ нельпаго идеала, то вымещають на мужьяхь горечь своего разочарованія.

Идеальными девами всехъ родовъ бывають по большей части девицы, которыхъ развитие было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмфсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходять нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная действительность въ самомъ деле очень пошла, и ими невольно овладоваеть неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой дъйствительности. А между тъмъ самобытное, не на почвъ дъйствительности, не въ сферъ общества совершающееся развитіе всегда доводить до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двѣ крайности: или быть пошлыми на общій манерь, быть пошлыми, какъ всв, или быть пошлыми оригинально. Онъ избирають послъднее, но думають, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то деле только перевалились изъ ноложительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустиве: между подобными несчастными созданіями бывають натуры, не лишенныя истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія и достойныя лучшей

участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій изрѣдка удаются истинно - колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры геніальным, не подозрѣвающія своей геніальности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ—не то, чтобъ ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобъ человѣкъ, да и не звѣрь, а что-то вродѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумя царствамъ природы—растительному и животному.

Онъ быль простой и добрый баринъ, И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ, Надгробный памятникъ гласитъ: Смиренный гръшникъ Дмитрій Ларинъ, Господній рабъ и бригадиръ, Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ.

Этотъ мпръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолжениемъ того же самаго мира, которымъ "добрый баринъ" наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свътъ такіе люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не производить ровно никакой перемёны. Отецъ Татьяны принадлежаль къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины наслышалась о Грандиссонь. Номолвленная за Ларина, она втайнъ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вънцу, не спросившись ея совъта. Въ деревив мужа она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ техъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

> Она ъзжала по работамъ, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы. Ходила въ баню по субботамъ, Служанокъ била осердясь, Все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью Она въ альбомы нъжныхъ дъвъ, Звала Полиною Прасковью И говорила нараспъвъ; Корсеть носила очень узкій И русскій H, какъ N французскій, Произносить умъла въ носъ. Но скоро все перевелось: Корсеть, альбомъ, княжну Полину, Стишковъ чувствительныхъ тетрадь Она забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила наконецъ На ватъ шлафрокъ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ

на этомъ свётё цёлые милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Нодъ вечеръ иногда сходилась Сосёдей добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить, и позлословить, И посм'яться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумной О сѣнокосѣ, о винѣ, О псарнѣ, о своей роднѣ, Конечно, не блисталъ ин чувствомъ, Ни поэтпческимъ отнемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитія искусствомъ; Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менѣе ученъ.

И вотъ кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, туть были два существа, рѣзко отделявшіяся отъ этого круга,сестра Татьяны, Ольга, и женихъ последней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не знала за что, частію по привычкѣ, частію потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что онилюди другого міра, что онп не поймуть ея. И дъйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скорве странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менъе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга-существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкъ, и которое все зависъло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утъщилась, вышла за улана и, нзъ граціозной и милой дівочки, сділалась дюжинною барынею, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совстмъ не такъ легко опредълить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ нътъ этихъ болъзненныхъ противоръчій, которыми страдають слишкомь сложныя натуры; Татьяна создана какъ будто вся изъ одного цальнаго куска, безъ всякихъ придълокъ и примъсей. Вся жизнь ея проникнута тою цёлостностью, тёмъ единствомъ, которое, въ мірѣ искусства, составляеть высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дівушка, потомъ свътская дама, - Татьяна во всъхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портреть ея въ дётстве, такъ мастерски написанный поэтомъ, впоследствии является только развившимся, но не измѣнившимся.

> Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лёсная, боязлива, Она въ семьё своей родной Казалась дёвочкой чужой. Она ласкаться не умёла Къ отцу, ни къ матери своей;

Дитя сама, въ толив двтей, Играть и прыгать не котвла, И часто цвлый день одна Сидвла молча у окна.

Задумчнвость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; пальцы Татьяны не знали пглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ, и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балкопѣ Предупреждать зари восходъ, Когда на блёдномъ небосклопѣ Звѣздъ псчезаетъ хороводъ, И тихо край земли свѣтлѣетъ, И веходитъ постепенио день. Зимой, когда ночная тѣнь Полміромъ долѣ обладаетъ, И долѣ въ праздной тишинѣ, При отуманенной лунѣ, Востокъ лѣнвый почиваетъ, Въ привычный часъ пробуждена, Вставала при свѣчахъ она.

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія—чтенію романовъ, — и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяной и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій, прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травъ глухой Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгъ. гораздо больше идуть къ Татьянв. Какіе мотыльки, какія ичелы могли знать этоть цватокъ или планяться имъ? Развѣ безобразные слѣпни, оводы и жуки, вродъ господъ Пыхтина, Буянова, Пътушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можеть плёнять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ правственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурою, и которыхъ такъ мало на свътъ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свъть. Этимъ последнимъ Татьяна могла правиться лицомъ, деревенскою свъжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видёть кротость, послушливость и безотвѣтность въ отношенін къ будущему мужу — качества, драгоцівныя для ихъ грубой животности; 'не говоря уже о расчетахъ на приданое, на родство и т. и. Стоящіе же въ середнив между этими двумя разрядами людей всего менъе могли опънить Татьяну. Надобно сказать, что всъ эти серединныя существа, занимающія місто между высшими натурами и чернію человічества, этп таланты, служащіе связью геніальности съ толпою, по большей части-все люди "идеальные", подъ-стать идеальнымъ дівамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себь, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ

стремленій, но въ сущности все дёло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счетъ встхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и вічно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умѣ часто бываеть много блеска, но никогда не бываеть дельности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляеть ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, -- это то, что въ нихъ нътъ страстей, за неключениемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ темъ, что они безд'влтельно и безплодно погружены въ созерцаніе своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но такъ же не холодныя, какъ и не горячія, они д'яйствительно обладають жалкою способностью всныхивать на минуту отъ всего и ин отъ чего. Поэтому они только и толкують, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнъ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозрѣвая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морф, а въ стаканъ воды. И нътъ людей, которые бы менъе ихъ способны были оцфинть истинное чувство, понять пстинную страсть, разгадать челов ка глубоко чувствующаго, неподдёльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: опи решили бы все въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случат, она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничемъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, нп къ кому не ласкается, ни съ къмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуеть потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говорить ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?.. Если вы сосредоточены въ себъ, и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, -мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявять вась существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставять ири васъ одинъ умъ, особенно, если вы имъете наклонность пронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цёломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть, ин щеголять...

Повториемъ: Татьяна—существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой иримирительной середины. Ири счастіи взаимности, любовь такой женщины—ровное, свѣтлое иламя; въ противномъ случаѣ—упорпое иламя, которому сила воли, можетъ быть, не позволитъ прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше опо сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тѣмъ не менѣе

страстно и глубоко любила бы своего мужа, виолнѣ пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ виѣшнимъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодностью, которыя составляютъ достопиство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которыя составляютъ ен характеръ.

Создаетъ человъка природа, но развиваетъ и образуеть его общество. Никакія обстоятельства жизни не спасуть и не защитять человъка отъ вліянія общества, нигдѣ не скрыться, никуда не уйти ему отъ него. Самое усиліе развиться самостоятельно, вив вліянія общества, сообщаеть человъку какую-то странность, придаетъ ему чтото уродливое, въ чемъ опять видна печать общества же. Вотъ почему у насъ люди съ дарованіями и хорошими природными расположеніями часто бывають самыми несносными людьми, и воть почему у насъ только геніальность спасаеть человъка отъ пошлости. По этому же самому у насъ такъ мало истинныхъ и такъ много книжныхъ, вычитанныхъ чувствъ, страстей и стремленій, -- словомъ: такъ мало истины и жизни въ чувствахъ, страстяхъ и стремленіяхъ, и такъ много фразёрства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтеніе приносить намь величайшую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности, но въ немъ же, съ другой стороны, и много вреда, также, какъ и много пользы для настоящаго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхъ сословій, есть плодъ реформы. Оно помнить день своего рожденія, потому что оно существовало оффиціально прежде, нежели стало существовать дъйствительно; потому что, наконець, это общество долго составляль не духъ, а покрой платья, не образованность, а привилегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: копированіемъ иностранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужого, потому что отъ своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были въ состояни. Выли у французовъ трагедін: давай и мы писать трагедін, н господинъ Сумароковъ, въ одномъ лицъ своемъ, совмъстилъ и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Быль у французовъ знаменитый баснописецъ Лафонтенъ, и опять тогъ же г. Сумароковъ, по словамъ его современниковъ, своими притчами далеко обогналъ Лафонтена. Такимъ же точно образомъ, въ самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Гораціями, Анакреонами, Гомерами, Виргиліями и т. п. Иностранныя пропзведенія всі наполнены были любовными чувствами, любовными приключеніями: и мы давай тёмы же наполнять наши сочиненія. Но тамъ поэзія книги была отраженіемъ поэзін жизни, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и коэзію общества: у насъ любовь вошла только въ книгу, да въ ней и осталась. Это болве или менъе продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстные стихи, романы, повъсти, и теперь подобное чтеніе не считается предосудительнымъ даже для девушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропаютъ стишки, и иногда недурные. Итакъ, говорить о любви, читать и инсать о ней у насъ любять многіе; но любить... Это—дело другого рода! Оно, конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можеть увфичаться законнымь бракомь, то почему же и не любить! Многіе не только не считаютъ этого излишнимъ, но даже считаютъ необходимымъ, и, женясь на приданомъ, толкуютъ о любви... Но любить потому только, что сердце жаждеть любви, любить безъ надежды на бракъ, всемъ жертвовать увлекающему пламени страстипомилуйте, какъ можно! Вѣдь это значить сдѣлать "исторію", произвести скандаль, стать сказкою общества, предметомъ оскорбительнаго вниманія, осужденія, презрѣнія; сверхъ того, приличіе, правила нравственности, общественная мораль... А! такъ вы люди сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачемъ же вы противоречите себе своею охотою къ стихамъ и романамъ, своею; страстью къ патетической драмѣ? — Но то поэзія, а то жизнь: зачёмь мёшать ихъ между собою; пусть каждая идеть своею дорогою: пусть жизнь дремлеть въ апатін, а поэзія снабжаеть ее занимательными снами.—Воть это-другое дело!..

Но худо то, что изъ этого другого дела необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнію и поэзією ніть естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебно-отдёльнаго существованія образуется поддільно-поэтическая и въ высшей степени болъзненная, уродливая дъйствительность. Одна часть общества, вфрная своей родной апатін, спокойно дремлеть въ грязи грубоматеріальнаго существованія; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, изъ всёхъ силъ хлопочетъ устроить себъ поэтическое существованіе, сочетать поэзію съ жизнію. Это у нихъ дёлается очень просто и очень невинно. Не видя пикакой поэзін въ обществъ, они берутъ ее изъ книгъ и по ней соображають свою жизнь. Поэзія говорить, что любовь есть душа жизни: и такъ — надо любить! Силлогизмъ въренъ, само сердце за него вмъстъ съ умомъ! И вотъ нашъ идеальный юноша или наша идеальная діва ищеть, въ кого бы влюбиться. По долгомъ соображенін, въ какихъ глазахъ больше поэзін-въ голубыхъ или черныхъ, предметь, наконецъ, избранъ. Начинается комедія — и пошла нотъха! Въ этой комедін есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при лунъ, и отчанніе, и ревность, и блаженство, и объяснение, - все, кромѣ истины чувства... Удивительно ли, что послёдній акть этой шутовской комедін всегда оканчивается разочарованіемъ, и въ чемъ же? — въ собственномъ своемъ чувствъ, въ своей способности любить!.. А между тёмъ подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго помъщика Манчскаго сдёлаться рыцаремъ Донъ-Кихотомъ, надъть бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта и пуститься отыскивать по свъту прекрасную Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между поколиніями отъ двадцатыхъ годовъ до настоящей минуты сколько было у насъ разныхъ Донъ-Кихотовъ? У пасъ были и есть Донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убъжденій, славянофильства и еще Богь знаеть чего, -- всего не перечесть! Выше мы говорили объ идеальныхъ девахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметъ такъ богатъ и неистощимъ, что лучше не касаться его, чтобъ совсемъ не потерять изъ виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избъгла горестной участи подпасть подъ разрядъ ндеальныхъ дѣвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляеть собою колоссальное исключение въ мір'в нодобныхъ явленій, — и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаеть не смёхъ, а живое сочувствіе, но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на "идеальныхъ давъ", а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смѣшного и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. Съ одной сто-

роны--

Татьяна втрила преданьямъ Простонародной старины, И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, И предсказаніямъ луны. Ее тревожили примъты: Таинственно ей всѣ предметы Провозглашали что-нибудь, Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по JUNEROL

> Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстію къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно только въ русской женщинъ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждъ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, --- да и то для того; чтобъ сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дѣвическіе дни ея ничемъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тёхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держать въ равновъсіи нравственныя силы человъка. Дикое растеніе, вполит предоставленное

самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотъ которой тъмъ мятежнъе горълъ пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничъмъ не былъ занятъ.

> Давно ея воображенье, Сгорая пъгой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томленье Тъснило ей младую грудь; Душа ждала... кого-инбудь, И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это онъ! Увы! теперь и дни, и ночи, И жаркій, одинокій сонь, Все полно имъ; все дъвъ милой Безъ умолку волшебной силой Твердить о немъ.

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Читаетъ сладостный романъ, Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьетъ обольстительный обманъ! Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юлін Вольмаръ, Малекъ-Адель и де-Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежной, И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводить сонъ. Всь для мечтательницы нъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онвгинв слились. Воображаясь героиней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинъ лъсовъ Одна съ опасной книгой бродитъ: Она въ ней ищеть и находитъ Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхаетъ и, себт присвоя Чужой восторгъ, чужую грусть, Въ забвеньи шепчетъ наизусть Письмо для милаго героя...

Здѣсь не книга родила страсть, но страсть всетаки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачёмъ было воображать Онёгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона?) Затъмъ, что для Татьяны не существовалъ настоящій Онтинъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать: слёдовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизии Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачёмь было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Затімь, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онътина. Повторяемъ: создание страстное, глубоко чувствующее и въ то же время неразвитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной гре ческой статув, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во вижиней красотф, но подобною египетской статуф, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нѣмымъ существомъ, и ся пылающій

и сохнущій языкъ не обрѣль бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И котя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онѣгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія,—все же началась она нѣсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго, и еще менѣе могла полюбить когонибудь изъ извѣстныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому вообраточно.

женію... И вдругь является Онфгинь. Онъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свётскость, неоспоримое превосходство надъ всемь этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни-все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ея къ ръшительному эффекту перваго свиданія съ Онагинымъ. ІІ она увидёла его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрішимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщеніе для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія пмёсть гораздо болёс вліянія на сердце, нежели какъ думають объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоптъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, -- и онъ ваши; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчина можетъ возбудить къ себъ только равнодушіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бъдная Татьяна была изъ числа

Тоска любви Татьяну гонить, И въ садъ идетъ онъ грустить, И вдругъ недвижны очи клонить, И лънь ей далъе ступить: Приподнялася грудь, ланиты Мгновеннымъ пламенемъ покрыты, Дыханье замерло въ устахъ, И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ... Настанетъ ночь; луна обходитъ Дозоромъ дальній сводъ небесъ, И соловей во мглъ древесъ Напъвы звучные заводитъ,— Татьяна въ темнотъ не спитъ И тихо съ няней говоритъ.

такихъ женщинъ...

Разговоръ Татьяны съ нянею—чудо художественнаго совершенства! Это цълая драма, проникнутая глубокою истиною. Въ ней удивительно върно изображена русская барышия въ разгарѣ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце?—сестрѣ?—она нетакъбы поняла его. Няня вовсе не пойметь; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну, или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

"Разскажи мнъ, няня, Про ваши старые года: Была ты влюблена тогда?" -И, полно, Таня! Въ эти лъта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница-свекровь. "Да какъ же ты вънчалась, няня?" Такъ, видно, Богъ велюль. Мой Ваня Моложе быль меня, мой свъть, А было мнъ тринадцать лътъ. Недъли двъ ходила сваха Къ моей роднъ, и, наконецъ, Благословиль меня отецъ. Я горько плакала со страха; Мнъ съ плачемъ косу расплели И съ пъньемъ въ церковь повели. И воть ввели въ семью чужую...

Воть какъ пишеть истинно-народный, истинно-національный поэть! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношеніе половъ, на любовь, на бракъ... И это сдѣлано великимъ поэтомъ одною чертою, вскользь, мимоходомъ, брошенною!.. Какъ хороши эти добродушные стихи:

И, полно, Таня! Въ эти лъта Мы не знавали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница-свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности— и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рёшается писать къ Онёгипу: порывъ напвный и благородный; но его источникъ не въ сознанін, а въ безсознательности: бъдная дъвушка не знала, что дълала. Послъ, когда она стала знатною барынею, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всёхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава "Онъгина". Мы, вмъстъ со всъми, думали въ немъ видеть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэть, кажется, безъ всякой пронін, безъ всякой задней мысли, и писаль, п читаль это письмо. Но съ техъ поръ много воды утекло... Ипсьмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостію, чёмъ-то "романическимъ". Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно-нёмотствующей Татьянё: она не умёла бы ни понять, ин выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибѣгла къ помощи впечатленій, оставленных на ел памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ, искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою:

Я къ вамъ пишу,—чего же болъ? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, въ вашей волъ Меня презръньемъ наказать. Но вы, къ моей несчастной долъ хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотъла; Повърьте: моего стыда Вы не узпали-бъ никогда, Когда-бъ надежду я имъла Хоть ръдко, хоть въ недълю разъ, Въ деревнъ нашей видъть васъ, Чтобъ только слышать ваши ръчи, Вамъ слово молвить—и потомъ Все думать, думать объ одномъ И день, и ночь до новой встръчи. Но, говорять, вы недюдимь; Въ глуши, въ деревнъ, все вамъ скучно, А мы... ничъмъ мы пе блестимъ, Хоть вамъ и рады простодушно. Зачёмъ вы посётили насъ? Въ глуши забытаго селенья Я никогда не знала-бъ васъ, Не знала-бъ горькаго мученья. Души неопытной волненья Смиривъ со временемъ (какъ знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы върная супруга И добродътельная мать.

Прекрасны также стихи въ концѣ письма:

Отнынѣ я тебѣ вручаю, Передъ тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я здѣсь одна, Никто меня не понимаетъ; Разсудокъ мой изнемогаетъ, И молча гибиуть я должна.

Все въ письмъ Татьяны истинно, но не все просто: мы выписали только то, что и истинно, и просто вмъстъ. Сочетаніе простоты съ истиною составляетъ высшую красоту и чувства, и дъла, и выраженія...

Замъчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэть оправдать Татьяну за ея ръшимость нашисать и послать это письмо: видно, что поэть слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ...

Я зналъ красавицъ недоступныхъ, Холодныхъ, чистыхъ, какъ зима, Неумолимыхъ, неподкупныхъ, Непостижимыхъ для ума; Дивился я ихъ спеси модной, Ихъ добродътели природной, И, признаюсь, отъ нихъ бъжалъ, И, мнится, съ ужасомъ читалъ Надъ ихъ бровями надпись ада: Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для нихъ бъда, Пугать людей для нихъ отрада. Выть можеть, на брегахъ Невы Подобныхъ дамъ видали вы. Среди поклонниковъ послушныхъ, Другихъ причудницъ я видалъ, Самолюбиво-равнодушныхъ Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ. И что-жъ нашелъ я съ изумленьемъ? Онъ, суровымъ поведеньемъ Пугая робкую любовь, Нугал роскую якоовь, Ее привлечь умёли вновь,— По крайней мёрё, сожалёньемъ, По крайней мёрё, звукъ рёчей Казался иногда нёжнёй. Н съ легковърнымъ ослъпленьемъ Опять любовникъ молодой Въжитъ за милой суетой. За что-жъ виновиће Татьяна?

За то-ль, что въ милой простотъ Она не въдаетъ обмана И въритъ избранной мечтъ? За то-ль, что любить безъ искусства, Послушная влеченью чувства; Что такъ довърчива она, Что отъ небесъ одарена Воображеніемъ мятежнымъ, Умомъ и волею живой, И своенравной головой, И сердцемъ пламеннымъ и нъжнымъ? Ужели не простите ей Вы легкомыслія страстей! Кокетка судить хладнокровно; Татьяна любить не шутя И предается безусловно Любви, какъ милое дитя. Не говорить она: отложимъ-Любви мы цёну тёмъ умножимъ, Върнъе въ съти заведемъ; Сперва тщеславіе кольнемъ Надеждой, тамъ недоумъньемъ Измучимъ сердце, а потомъ Ревнивымъ оживимъ огнемъ; то, скучая наслажденьемъ, Невольникъ хитрый изъ оковъ Всечасно вырваться готовъ.

Вотъ еще отрывокъ изъ "Онѣгина", который выключенъ авторомъ изъ этой поэмы и особенно напечатанъ въ IX томѣ:

О, вы, которыя любили Безъ позволенія родныхъ И сердце нѣжное хранили Для впечатлъній молодыхъ, Для радостей, для нъги сладкой — Дъвицы! если вамъ украдкой Случалось тайную печать Случалось таиную печать
Съ письма любезнаго срывать,
Иль робко въ дерзостныя руки
Завътный локонъ отдавать,
Иль даже молча дозволять
Въ минуту горькую разлуки
Дрожащій поцёлуй любви, Въ слезахъ, съ волненіемъ въ крови, — Не осуждайте безусловно Татьяны вътреной (?!) моей; Не повторяйте хладнокровно Ръшенья чопорныхъ судей. А вы, о дивы безг упрека! Которыхъ даже ръчь порока Страшить сегодня, какъ змія,-Совътую вамъ то же я: Кто знаеть? пламенной тоскою Сгорите, можеть быть, и вы-И завтра легкій судъ молвы Припишетъ модному герою Побъды новой торжество: Любви васъ ищеть божество.

Только едва ли найдеть, —прибавимъ мы отъ себя прозою. Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ—и въ чемъ же? —въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе, —что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществъ, передъ которымъ поэтъ видѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она —женщина, а не деревяшка, выточенная по подобю женщины. И всего грустиѣе въ этомъ то, что передъ женщи-

нами въ особенности старается онъ оправдать свою Татьяну... И зато съ какою горечью говоритъ онъ о нашихъ женщинахъ, вездѣ, гдѣ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Какъ выдается вотъ эта строфа въ первой главѣ "Онѣгина":

Причудинцы большого свёта! Всёхъ прежде васъ оставилъ онъ. И правда то, что въ наши лёта Довольно скученъ высшій тонъ, хоть, можеть быть, иная дама Толкуетъ Сея и Бентама; Но вообще ихъ разговоръ— Несносный, хоть невинный вздоръ. Къ тому-жъ онё такъ непорочны, Такъ величавы, такъ умны, Такъ благочестія полны. Такъ осмотрительны, такъ точны, Такъ неприступны для мужчинъ, Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинъ.

Эта строфа невольно приводить намъ на память слѣдующіе стихи, не вошедшіе въ поэму и напечатанные особо (томъ IX):

Морозъ и солнце—чудный день! Но нашимъ дамамъ видно лѣнь Сойти съ крыльца и падъ Невою Влеснуть холодной красотою: Сидять,—напрасно ихъ манитъ Пескомъ усыпанный гранитъ. Умна восточная система И правъ обычай стариковъ: Онѣ родились для гарема Иль для неволи...

Но и на востокъ есть поэзія въ жизни, страсть закрадывается и въ гаремы... Зато у насъ царствуетъ строгая нравственность, по крайней мъръ, внъшня, а за нею иногда бываетъ такая не-поэтическая поэзія жизни, которою, если воспользуется поэть, то, конечно, ужъ не для поэмы...

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на всё черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случав ни нашимъ выпискамъ, ни нашей статьв не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себѣ другую цѣль: раскрыть по возможности отношение поэмы къ обществу, которое она изображаеть. На этоть разъ предметь нашей статын-характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ-объяснение Онфгина съ Татьяною въ ответъ на ея письмо. Какъ подействовало на нее это объяснение, понятно: всф надежды бфдной дъвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себъ для вижиняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: оно начало горъть тъмъ упорнъе и напряженные, чымь глуше и безвыходные. Несчастіе даеть новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онъ побять свое горе, лельють свое страданіе, дорожать имъ, можеть быть, еще больше, нежели

сколько дорожили бы онъ своимъ счастіемъ, если-бъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лъсу нашего общества, гдъ бы и скоро ли бы встрѣтила Татьяна другое существо, которое, подобно Онътину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ея души на другой предметь? Вообще, несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явление довольно бользненное, причина котораго, по слишкомъ редкимъ и, вфроятно, чисто-физіологическимъ причинамъ. едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазін, падають тяжело на сердце и терзають его иногда еще сильнье, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцѣ. Картина глухихъ, никъмъ не раздъленныхъ страданій Татьяны изображена, въ пятой главъ, съ удивительною истиною и простотою. Посъщение Татьяною опустълаго дома Онъгина (въ седьмой главъ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всёхъ предметахъ котораго лежалъ такой резкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозянна, -- принадлежать къ лучшимъ мъстамъ поэмы и драгоденнейшимъ сокровищамъ русской поззін. Татьяна не разъ повторила это посіще-

И въ молчаливомъ кабинетъ, Забывъ на время все на свътъ, Осталась наконецъ одна, И долго плакала она. Потомъ за книги принялася,— Сперва ей было не до нихъ; Но показался выборъ ихъ Ей страненъ. Чтенью предалася Татьяна жадною душой: И ей открылся міръ иной.

И начинаетъ понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснъе, слава Богу, Того, по комъ она вздыхать Осуждена судьбою властной...

Ужель загадку разръшила, Ужели *слово* найдено?..

Итакъ, въ Татьянѣ наконецъ совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человъка интересы, есть страданія и скорби, кромѣ интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоять эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегчению ея собственныхъ страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть иден, которыя надо пережить и душою, и тёломъ, чтобъ понять ихъ вполнъ, и которыхъ нельзя изучить въ книгъ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатлѣніе; оно испугало ее, ужаснуло н заставило смотрѣть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покориться дъйствительности, какъ она есть, и если жить жизнію сердца, то про себя, во глубинѣ своей души, въ

тиши уединенія, во мракт ночи, посвященной тоскт и рыданіямъ. Посъщеніе дома Онъгина и чтепіе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дівочки въ світскую даму, которое такъ удивило и поразило Онъгина. Въ предшествовавшей стать в мы уже говорили о письм Онвгина къ Татьянъ и о результатъ всъхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онфгинымъ. Въ этомъ объяспеніи все существо Татьяны выразилось вполнѣ. Въ этомъ объяснени высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокою натурою, развитою обществомъ, --- все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость напвиыхъ движеній благородной натуры, и резонерство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтелью, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мнфнія, и хитрые спллогизмы ума, світскою моралью нарализировавшаго великодушныя движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

Онвгинъ, помните-ль тоть часъ, Когда въ саду, въ аллев насъ Судьба свела, и такъ смиренно Урокъ сашъ выслушала я? Сегодня очередь моя. Онвгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила васъ: и что же? Что въ сердцв вашемъ я нашла? Какой отвътъ? Одну суровость. Не правда-ль? Вамъ была не новость Смиренной дъвочки любовь? И ныиче—Боже!—стынетъ кровь, Какъ только вспомню взглядъ холодной И эту проповъдь...

Въ самомъ дёлё, Онёгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ея тогда, когда она была моложе и лучше, и любила его! Въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нёмая деревенская дівочка съ дітскими мечтами--- світская женщина, испытанная жизнію и страданіемъ, обрътшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей: какая разница! И все-таки, по мижнію Татьяны, она болже способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была моложе и лучше!.. Какъ въ этомъ взглядъ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онъгина одну суровость? "Вамъ была не новость смиренной дъвочки любовь?" Да это уголовное преступленіе не подорожить любовію нравственнаго эмбріона!.. Но за этимъ упрекомъ тотчасъ следуетъ и оправдаше:

> Но васт Я не виню: въ тотъ страшный часъ Вы поступили благородно, Вы были правы предо мной: Я благодарна всей душой...

Основная мысль упрековъ Татьяны состопть въ

убъжденін, что Онътинъ потому только не полюбилъ ее тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводить къ ея погамъ жажда скандалезной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добролътель...

Тогда-не правда ли?-въ пустынъ, Вдали отъ суетной молвы, Я вамъ не нравилась... Что-жъ нынъ Меня преслъдуете вы? Зачьмъ у вась я на примъть? Не потому-ль, что въ высшемъ свътъ Теперь являться я должна; Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувъченъ, Что насъ за то ласкаеть дворь? Не потому-ль, что мой позоръ Теперь бы всёми былъ замёченъ И могъ бы въ обществъ принесть Вамъ соблазнительную честь? Я плачу... Если вашей Тапи Вы не забыли до сихъ поръ, То знайте: колкость вашей брани, Холодный, строгій разговоръ, Когда-бъ въ моей лишь было власти, Я предпочла-бъ обидной страсти И этимъ письмамъ и слезамъ. Къ монмъ младенческимъ мечтамъ Тогда имвли вы хоть жалость, Хоть уважение къ лътамъ... А пынче!-что къ монмъ ногамъ Васъ привело? Какая малость! Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ Быть чувства мелкаго рабомъ?

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится тренеть за свое доброе имя въ большомъ свътъ, а въ слъдующихъ затъмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрънія къ большому свъту... Какое противоръчіе! И что всего грустите, то и другое истинно въ Татьянъ...

А мнѣ, Онѣгинъ, пышпость эта—
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера —
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
За полку книгъ, за дний садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,
Онѣгинъ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной иянею моей.

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искрепни, какъ и предшествовавшія имъ. Татъяна не любитъ свъта и за счастіе почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свътъего миъніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъего суда всегда будетъ ея добродътелью...

А счастье было такъ возможно, Такъ близко!.. Но судьба моя Ужъ ръшена. Неосторожно, Быть можетъ, поступная я; Меня съ слезами заклинаній Молила мать; для бъдной Тани Всъ были жребін равны... Я вышла замужт. Вы должны, Я васъ прошу, меня оставить; Я внаю: въ вашемъ сердцѣ есть И гордость, и прямая честь. Я васъ люблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана, Я буду въкъ ему върна.

Последніе стихи удивительны, —подлинно "конецъ вѣнчаетъ дѣло!" Этотъ отвѣтъ могъ бы идти въ примѣръ классическаго "высокаго" (sublime), наравив съ отвътомъ Меден: moi! и стараго Горація: qu'il mourût! Вотъ истинная гордость женской добродетели! "Но я другому отдана", — именно отдана, а не отдалась! Вѣчная вѣрность кому и въ чемъ? Върность такимъ отношеніямъ, которыя составляють профанацію чувства и чистоты женственности, потому что некоторыя отношенія, не освящаемыя любовію, въ высшей степени безиравственны... Но у насъ какъ-то все это клентся вмъстъ: поэзія—и жизнь, любовь — и бракъ по расчету, жизнь сердцемъ-и строгое исполнение виъшнихъ обязанностей, внутренно ежечасно нарушаемыхъ... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца; любить — значить для нея жить, а жертвовать — значить любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила намъ Вѣру въ "Героѣ Нашего Времени", женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаеть безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мужчинамъ, одного любя, а другого обманывая: противъ этой истины не можетъ быть никакого спора; но въ Вфрф этотъ грфхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной роли. И какъ бы могла она поступить р'вшительно въ отношенін къ мужу, когда она видела, что тоть, кому она всю себя пожертвовала, принадлежаль ей не вполив и, любя ее, все-таки не захотѣлъ бы слить съ нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя подъ вліяніемъ роковой силы этого челов'єка съ демонической натурою-и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натуръ и по характеру, не говоря уже объ огромной разницѣ въ художественномы изображеніи этихы двухы женскихы лиць: Татьяна—портреть во весь рость, Вфране больше, какъ силуэтъ. И, несмотря на то, Въра-больше женщина... но зато и больше исключеніе, тогда какъ Татьяна—типъ русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившее жизнь и женщину по повъстямъ Марлинскаго, требують отъ необыкновенной женщины презрѣнія къ общественному мижнію. Это ложь: женщина не можеть презпрать общественнаго мнфнія, но можеть имъжертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятія, которое она береть на себя, повинуясь другому высшему закону-закону своей натуры, а ея натура-любовь и самоотверженіе...

Итакъ, въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою вѣрностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ

вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оценено ею по достоинству... Заметимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмъ, вездъ является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время по преимуществу артистическою. Вездѣ видите вы въ немъ человека, душою и теломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездв видите русскаго помъщика... Онъ нападаеть въ этомъ класст на все, что противортнить гуманности; но принципъ класса для него-вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицание его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главъ, и особенно портреть самого Ларина... Это было причиною, что въ "Онъгинъ" многое устаръло теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло бы изъ "Онфгина" такой полной и подробной поэмы русской жизии, такого определеннаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществъ такъ быстро развивающейся...

"Онѣгинъ" писанъ былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, — и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы

вмъсть съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснъе и зрълъе. Но послъднія двъ главы ръзко отдъляются отъ первыхъ шести: онъ явно принадлежать уже къ высшей, зрёлой эпохё художественнаго развитія поэта. О красотѣ отдёльныхъ мёсть нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онъгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ последнихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посъщеніе Татьяною дома Он'єгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступленія, дізлаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себъ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмѣ онъ умѣлъ коснуться такъ многаго, намекнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! "Онѣгина" можно назвать энциклопедіей русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имъла такое огромное вліяніе и на современную ей, п на послѣдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества, почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ

былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и приводитъ съ собою новыя потребности, новыя иден; пусть растетъ русское общество и обгоняетъ "Онѣгина": какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэму, всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключене нашей статъп, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажутъ то, что бы хотѣлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой покольнья, По тайной волъ провидънья, Восходять, зрають и падуть; Другія имъ вослёдъ идутъ... Такъ наше вътреное племя Растеть, волнуется, кипить И къ гробу прадъдовъ тъснитъ. Придеть, придеть и наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытёснять и насъ. Покамъстъ упивайтесь ею, Сей легкой жизнію, друзья! Ея ничтожность разумбю II къ ней привязанъ мало я; Для призраковъ закрылъ я въжды; Но отдаленныя надежды Тревожатъ сердце иногда: Безъ непримътнаго слъда Мнъ было-бъ грустно міръ оставить. Живу, пишу не для похвалъ: Но я бы, кажется, желаль Печальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мнъ, какъ върный другъ, Напомниль хоть единый звукь. II чье-нибудь онъ сердце тронеть; И сохраненцая судьбой, Быть можеть, въ Летъ не потонеть Строфа, слагаемая мной; Быть можеть, -- лестная надежда! --Укажеть будущій невѣжда На мой прославленный портреть И молвить: то-то быль поэть! Прими-жъ мое благодаренье, Поклонникъ мирныхъ аонидъ, О ты, чья память сохранить Мои летучія творенья, Чья благосклонная рука Потреплеть лавры старика! [Отечественныя Записки. Т. ХХХІХ. 1845 г.].

X.

Борисъ Годуновъ.

Совершенно новая эпоха художнической двятельности Пушкина началась "Полтавою" и "Ворисомъ Годуновымъ". Хотя нервая вышла въ 1829 году, а последній—въ 1831 году,—тёмъ не менѣе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что "Борисъ Годуновъ" нашисань быль гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ "Московскомъ Въстникъ" 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ—въ "Сверныхъ Цвътахъ" на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. "Пол-

тава", со стороны художественности, относится къ "Борису Годунову", какъ стремление относится къ достиженію. Публика приняла "Полтаву" холодиве, нежели прежнія поэмы Пушкина; "Ворисъ Годуновъ" былъ принятъ совершенно холодно, какъ доказательство совершеннаго паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много сделавшаго п еще такъ много объщавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у "Вориса Годунова" были жаркіе поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь, число этихъ поклонниковъ было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что, действительно, ий въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигаль Пушкинь до такой художественной высоты, — и ни въ одномъ не обнаружиль такихь огромныхь недостатковь, какъ въ "Борисъ Годуновъ". Эта пьеса была для него пстинно ватерлооскою битвою, въ которой онъ развернуль во всей широть и глубинь свой геній и, несмотря на то, все-таки потерпаль рашительное поражение.

Прежде всего скажемъ, что "Борисъ Годуновъ" Пушкина-совствы не драма, а развт эппческая поэма въ разговорной формѣ. Дъйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорять, и мъстами говорять превосходно; но они не живуть, не дъйствують. Слышите слова, часто исполненныя высокой поэзін, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действій, -- это одинь изъ первыхъ н главныхъ недостатковъ драмы Пушкина; но этотъ недостатокъ-не вина поэта: его причина - въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствоваль содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра Великаго тъмъ и отличается отъ исторіи западноевропейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чисто-эпическій, или, скорже, квіэтическій характерь, -- тогда какь въ тъхъ преобладаетъ характеръ чисто-драматическій. До Петра Великаго въ Россіп развивалось начало семейственное п родовое; но не было и признаковъ развитія личнаго: а можеть ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Что составляеть содержание шекспировскихъ драматическихъ хроникъ? — борьба личностей, которыя стремятся къ власти и оспаривають ее другъ у друга. Это бывало и у насъ: весь удъльный періодъ есть не что иное, какъ ожесточенная борьба за великокняжескій и за удёльные престолы; въ неріодъ Московскаго царства мы видимъ сряду трехъ претендентовъ такого рода; но все-таки не видимъ никакого драматическаго движенія. Въ періодъ удёловъ одинъ князь свергалъ другого и овладъваль его удъломь; потомь, побъжденный нмъ, снова уступалъ ему его владъніе, нотомъ онять захватываль его; но въ уделе отъ этого ровно инчего не измѣнялось: перемѣнялись лица, а ходъ и сущность дёль оставались тъ же, потому что ни одно новое лицо не приносило съ собою никакой новой иден, никакого новаго принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселение того

или другого княжества, того или другого города, съ одинаковою ревностію билось и за стараго князя противъ новаго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извъстно, чъмъ бы кончилась для Руси эта усобица, если бы такъ кстати не подосивли татары. Съ одной стороны, ихъ жестокое и позорное иго гибельно подфиствовало на правственную сторону русскаго племени, а съ другой было для него благод тельно, потому что, чувствомъ общей опасности и общаго страданія, связало разъединенныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизацін черезъ преобладаніе московскаго княженія надъ всеми другими. Единство-боле внешнее, нежели внутреннее, но тѣмъ не менѣе все опо же виасло Россію! Іоаннъ III, котораго не безъ основанія пекоторые историки называють великимъ, быль творцомь неподвижной крипости Московскаго царства, положивъ въ его основу пдею восточнаго абсолютизма, столь благодетельнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. П этотъ великій, повидимому, перевороть совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній. Іоаннъ III обнаружиль въ этомъ дёлѣ геніальную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цёли, действоваль неослабно, но не боролся, потому что не встратиль никакого действительнаго и эпергическаго сопротивленія. Дело обощлось безъ борьбы, и, такимъ образомъ, одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторіи совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ, какъ поэтическій элементь жизни, заключается въ столкновеніи и сшибкѣ (коллизін) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются, какъ страсть, какъ паносъ. Идея самодержавнаго единства Московскаго царства, въ лицъ Іоанна ІІІ торжествующая надъ умирающею удёльною системою, встрётила, въ своемъ безусловно-победоносномъ шествін, не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ, на все готовыхъ, а развѣ нѣсколько безсильныхъ п жалкихъ жертвъ. Роды удёльныхъ князей, потомковъ Рюрика, скоро выродились въ простую боярщину, которая передъ престоломъ была покорна наравнъ съ народомъ, но которая стала между престоломъ и народомъ, не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздёлившая царя съ народомъ. Разрядныя книги служать неоспоримымь доказательствомь, что въ древней Россіи личность никогда и ничего не значила, но все значиль родъ, и торжество боярина было торжествомъ цёлаго рода боярскаго. Такимъ образомъ удёльная борьба кинжескихъ родовъ переродилась въ дворскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба не представляеть никакого содержанія для драматическаго поэта, потому что при дворѣ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но ни одинъ нзъ торжествующихъ родовъ не вносилъ ни въ думу, ни въ администрацію никакой новой идеи, никакого новаго принципа, никакого новаго элемента.

Новый любимецъ вездѣ гналъ своихъ прежнихъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажалъ въ тюрьмы, разсылалъ по дальнимъ городамъ, то въ позорную певолю, то въ почетную опалу. И такимъ образомъ боролись и мънялись лица, а не иден. Подобная борьба и подобныя смёны могли много значить для боярскихъ родовъ, для дворской интриги и крамолы, но для государства онт ровно ничего не значили, историческая же драма можеть брать содержаніе только изъ государственной жизни. Царствованіе Грознаго, повидимому, больше всего представляетъ матеріаловъ для драмы, какъ зрёлище нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярской крамолф; но это только такъ можеть казаться и едва ли такъ было на самомъ дёлё, нбо мы не видимъ, чтобъ Грозный чёмъ-нибудь думаль замёнить гонимый имъ принципъ боярщины. Словомъ, видно ожесточение къ боярскимъ родамъ, но итть, въ то же время, никакого особеннаго вниманія къ народу; тутъ замѣтно, слѣдовательно, личное чувство, а не идея, не принципъ, не убъждение. Стало быть, и туть итть инчего для драмы... Но воть является Годуновъ, -- и чёмъ бы ин достигь онъ престола-злодействомъ ли, какъ въ этомъ уверенъ Карамзинъ, или только смѣлымъ и гибкимъ умомъ безъ преступленія, -- во всякомъ случай онъ также не внесъ въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышение, равно какъ и его паденіе ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политические замыслы, которые могли бы измѣнить ходъ нашей исторіи; но эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты челов ка р в шительнаго, пылкаго, умиаго, но, что называется, безъ царя въ голове, а потому они н кончились такъ, какъ следовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотёлъ изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это желаніе было плодомъ не мысли, а трусости и низости, -- оно и кончилось бѣдою для Шуйскаго и ровно ничѣмъ не кончилось для государства... Птакъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенности употребленныхъ ими способовъ для достиженія верховной власти должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно инчего не внесли въ нее и прошли въ нсторін безъ сліда, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ Западной Европы. Для англичанъ, напримеръ, было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго — этого слабаго и инчтожнаго брата Ричарда Львиное Сердце, овладъвшаго властію въ отсутствін героя, который гонялся въ Палестинъ за безполезными лаврами. Во Франціи, напримъръ, очень важно было решение вопроса: кто будетъ управлять Людовикомъ XIII — его мать, Катерина Медичи, или кардиналъ Ришелье. Такихъ примъровъ можно было бы найти множество; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Нтакъ, если въ "Борисѣ Годуновѣ" Пушкина ночти нѣтъ никакого драматизма, — это вина не поэта, а исторіи, изъ которой онъ взялъ содержаніе для своей "эпической драмы". Можетъ быть, отъ этого онъ и ограничился только одною поныткою

въ этомъ родъ.

А между темъ Борисъ Годуновъ, можетъ быть, больше, чёмъ какое-нибудь другое лицо русской исторін, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формф, для поэмы, въ которой такой поэть, какъ Пушкинь, могь бы развернуть всю силу своего таланта и избежать техъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ, и въ эстетическомъ отношеніи, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинь рабски во всемь последоваль Карамзину,и изъ его драмы вышло что-то нохожее на мелодраму, а Годуновъ его вышель мелодраматическимъ злоджемъ, котораго мучитъ совжеть, и который въ своемъ злодействе нашель себе кару. Мысль нравственная и почтенная, но ужъ до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдёлать!..

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамзина, въ то же время можно и даже должно безпристрастными глазами видеть меру, объемъ и границы его заслугъ. Человъкъ многосторонне-даровитый, Карамзинъ писалъ стихи, повъсти, быль преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, -можно сказать, создаль и образоваль русскую публику и, следовательно, упрочиль возможность существованія п развитія русской литературы; наконець, даль Россін ея исторію, которая далеко оставила за собою вев прежнія попытки въ этомъ родв, и безъ которой, можеть быть, еще и теперь знаніе русской исторіц было бы возможно только для занисныхъ тружениковъ науки, но не для публики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но не геніальности, и потому все сделанное имъ весьма важно, какъ факты исторіи русской литературы и образованія русскаго общества, но совершенно лишено безусловнаго достоинства. Важивиший его трудъ, безъ сомивнія, есть "Исторія Государства Россійскаго", которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всф другія его сочиненія пользуются только почетною памятью, какъ произведенія, имѣвшія большую цёну въ свое время. И действительно, до тъхъ поръ, пока русская исторія не будеть изложена совершенно съ другой точки зрѣнія и съ темь уменьемь, которое дается только талантомь,до тахъ поръ исторія Карамзина поневола будеть единственною въ своемъ родъ. Но уже и теперь ея недостатки видны для встхъ, можетъ быть, еще больше, нежели ея достопиства. Въ недостаткахъ фактическихъ нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіи едва начи-

налась, и Карамзинъ долженъ былъ, пиша исторію, еще заниматься историческою разработкою матеріаловъ. Гораздо важите недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотрѣть на вещи. Сначала, его исторія — поэма врод'я тіхх, которыя писались высокопарною прозою и были въ большомъ ходу въ конца прошлаго вака. Потомъ, мало-по-малу, входя въ духъ жизии древней Руси, онъ, можетъ быть, незамътно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоанна III Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства, вмёсто исторіи до-Петровской Россіи, онъ пишетъ ея панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мелодраматическій взглядъ на характеры историческихъ лицъ. У Карамзина ни въ чемъ иттъ середины: у него иттъ людей, а есть только или герои добродётели, или злодён. Этотъ мелодраматизмъ простирается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свътлымъ ангеломъ, а потомъ чернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляють, какъ машиною, Сильвестръ и Адашевъ, онъ-сама добродѣтель, сама мудрость; но умираетъ царица Анастасія, — п Грозный вдругъ является бичомъ своего народа, безумнымъ злодъемъ. Историкъ пересказываеть всё ужасы, сдёланные Грознымь, п взводить на него такіе, которыхъ онъ и не ділаль, заставляя его убпвать два раза, въ разныя эпохи, одинхъ и тѣхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорять ему передъ смертію эффектныя річн, какъ будто бы переведенныя изъ Тита-Ливія. Такого же мелодраматическаго злодвя сдвлаль Карамзинъ и изъ Бориса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредить историку, онъ объ убіенін царевича Димитрія говорить утвердительно, какъ о деле Годунова, какъ будто бы въ этомъ уже невозможно никакое сомивние. Юпоша Годуновъ, прекрасный лицомъ, свътлый умомъ, блестящій краснорічіемъ, зять палача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умѣлъ остаться чистымъ отъ разврата, злодейства и крови. Черта характера необыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродътели: по крайней мёрё, послёдующая жизнь Годунова не подтверждаетъ этого. Будучи царемъ, онъ недолго сдерживаль порывы своей подозрительности и скоро саблался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью,въ этомъ видно больше ловкости, умънья и расчета, нежели добродътели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ и потому не могъ не гнушаться злодействомъ, свершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ, мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновъ былъ лицемфриый злодфй: нфтъ, мы хотимъ только сказать, что можно, въ одно и то же время, не быть ни злоджемъ, ни героемъ добродѣтели и не любить злодѣйства въ одно и то же время по чувству и по расчету... Карамзинскій Годуновъ-лицо совершенно двойственное,

подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, и злодъй и добродътельный человъкъ, и ангель и демонъ. Онъ убиваетъ законнаго наслёдника престола, сына своего перваго благодътеля и брата своего второго благодетеля, мудро править государствомъ и, принимая корону, клянется, что въ его царствъ не будетъ нищихъ и убогихъ, и что последнею рубашкою будеть онъ делиться съ народомъ. И честно держить онъ свое объщание: онъ дълаетъ для народа все, что только было въ его средствахъ и силахъ сдёлать. А между тёмъ народъ хочетъ любить его-и не можетъ любить! Онъ приписываеть ему убіеніе царевича; онъ видить въ немь умышленнаго виновника всёхъ бёдствій, обрушившихся надъ Россією; взводить на него обвиненія самыя неліпыя и безсмысленныя, какъ, напримфръ, смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видить и знаеть.

Пушкинъ безподобно передалъ жалобы карамзинскаго Годунова на народъ:

Мив счастья ивть. Я думаль свой народъ Въ довольствін, во славъ успоконть, Щедротами любовь его синскать; Но отложиль пустое попеченье: Живая власть для черии ненавистна,— Она любить умѣетъ только мертвыхъ. Безумны мы, когда народный плескъ Иль ярый вопль тревожить сердце наше. Богъ насылаль на землю нашу гладъ: Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая; Я отвориль имъ житницы; я злато Разсыпаль имъ; я имъ сыскаль работы: Они-жъ меня, бъснуясь, проклинали! Пожарный огнь ихъ домы истребиль; Я выстронлъ имъ новыя жилища: Они-жъ меня пожаромъ упрекали! Вотъ черни судъ: ищи-жъ ея любви!

Это говорить царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цълаго сословія, которое тоже, кажется, не безъ основанія, жалуется на своего царя:

..... онъ править нами, Какъ царь Иванъ (не къ ночи будь помянутъ). Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нѣтъ, Что на полу кровавомъ всенародно Мы пе поемъ каноновъ Іпсусу, Что насъ не жгутъ на площади, а парь Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей? Увърены-ль мы въ бъдной жизни нашей! Насъ каждый день опала ожидаетъ, Тюрьма, Сибирь, клобукъ иль кандалы, А тамъ въ глуши голодна смерть иль петля.

Вотъ—Юрьевъ день задумалъ уничтожить. Не властны мы въ помъстіяхъ своихъ, не смъй согнать лънивца! Радъ не радъ, корми его. Не смъй переманить Работника! Не то—въ Приказъ-холопій. Ну, слыхано-ль хоть при царъ Иванъ Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванецъ Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потъха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противоръчія въ характеръ и дъйствіяхь Годунова?

Чёмъ объясняетъ его нашъ историкъ и, вслёдъ за инмъ, нашъ поэтъ? Мученіями виновной совъсти!.. Вотъ что заставляетъ говорить Годунова поэтъ, рабски вёрный историку:

Ахъ, чувствую: ничто не можеть насъ Среди мірскихъ печалей успоконть,— пичто, инчто... едина развѣ совѣсть. Такъ, здравая, она восторжествуетъ надъ злобою, надъ темной клеветою; но если въ ней единое пятно, Единое случайно завелося, Тогда бѣда: какъ язвой моровой Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ, какъ молоткомъ, стучитъ въ ушахъ упрекомъ, н все тошнитъ, и голова кружится, н мальчики кровавые въ глазахъ... И радъ бѣжать, да некуда... ужасно! Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть не чиста.

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій и ограниченный взглядь на натуру человѣка! Какая бѣдная мысль — заставить злодѣя читать себѣ самому мораль, вмѣсто того, чтобъ заставить его всѣми мѣрами оправдывать свое злодѣйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ историкъ сыгралъ съ поэтомъ плохую шутку... И вольно же было поэту дѣлаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ раздѣляеть другь отъ друга цѣлый вѣкъ!.. Оттого-то, въ философскомъ отношеніи, этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собою добродушный навосъ сумароковскаго "Димптрія Самозванца"...

Прежде всего замътимъ, что Карамзинъ сдълаль великую ошибку, позволивь себѣ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіеніп царевича увидѣлъ неопровержимо и несомивнио доказанное участіе Бориса... Изъ нашихъ словъ, впрочемъ, отнюдь не следуетъ, чтобъ мы прямо и решительно оправдывали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленіи. Н'ътъ, мы въ криминально-историческомъ процессъ Годунова видимъ совершенную недостаточность доказательствъ за и противъ Годунова. Судъ исторіи долженъ быть остороженъ и безпристрастенъ, какъ судъ присяжныхъ по уголовнымъ дёламъ. Грёшно и стыдно утвердить недоказанное преступленіе за такимъ замъчательнымъ человъкомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Димитрія—дёло темное и неразрёшимое для потомства. Не утверждаемъ за достовърное, но думаемъ, что съ большею основательностію можно считать Годунова невиннымъ въ преступленін, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говорить въ пользу этого мижнія, что Годуновъ-человѣкъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломатъ тонкій — едва ли бы совершиль свое преступление такъ неловко, нельпо, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохѣ, вродъ Димитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотель пользоваться настоящимь, не думая о будущемъ. Годуновъ имѣлъ всѣ средства совершить свое преступленіе тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозрѣній. Онъ могъ воспитать царевича такъ, чтобъ сдёлать его неспособнымъ

къ правленію и довести до монашеской рясы; могъ даже искусно оснаривать законность его права на наследство, такъ какъ царевичъ былъ плодомъ седьмого брака Іоанна Грознаго. Самое въроятное предположение объ этомъ темномъ событіи нашей исторіи должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и не открывая ему своего умысла, думали этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминаеть намъ сцену изъ "Антонія и Клеопатры" Шекспира, на палубъ Помпеева корабля, гдъ Менасъ, сторонникъ Помиея, вызывается сделать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладать тремя пирующими у него соперниками: Цезаремъ, Антоніемъ и Лепидомъ (дѣйствіе ІІ, сцена 7). Й если услужники Годунова были догадливъе и умнъе Менаса, то нельзя не видъть, что они оказали Годунову очень дурную услугу не въ одномъ нравственномъ отношенін. Если-жъ Годуновъ внутренно, втайнъ, доволенъ былъ ихъ услугою, нельзя не согласиться, что на этотъ разъ онъ былъ очень близорукъ и недальновиденъ. Радоваться этому преступленію значило для негорадоваться тому, что у его враговъ было наконецъ страшное противъ него оружіе, которымъ они при случат хорошо могли воспользоваться. Неть, еще разъ: скорее можно предположить (какъ ни странно подобное предположение), что царевичь погибъ отъ руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступление, какъ только для него одного выгодное, могли разсчитывать на вфрную его погибель. Какъ бы то ни было, върно одно: ни историкъ Государства Россійскаго, ни рабски слёдовавшій ему авторъ "Бориса Годунова" не имѣли ни малѣйшаго права считать преступление Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомпѣнію.

Но, — скажутъ намъ, — убъжденіе Карамзина оправдывается единодушнымъ голосомъ современниковъ Годунова, убъжденіемъ всего народа въ его время; а въдь гласъ Божій — гласъ народа! Такъ; но здъсь главный фактъ есть не убъжденіе тогдашняго народа въ представленін Годунова, а готовность, расположение народа къ этому убъжденію, —расположеніе, причина котораго заключалась въ нелюбви, даже въ ненависти народа къ Годунову. За что же эта ненависть къ человъку, который такъ любилъ народъ, столько сдѣлалъ для него, и котораго самъ народъ сначала такъ любиль, повидимому? — Въ томъ-то и дело, что туть съ объихъ сторонъ была лишь "любовь повидимому"--и въ этомъ заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Если бы Пушкинъ видель эту сторону-тогда, вмёсто характера въ половину мелодраматическаго, у него вышель бы характерь простой, естественный, понятный и вмёстё съ тёмъ трагически-высокій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы

въ строгомъ значенін этого слова; но зато была бы превосходная драматическая поэма, или эпическая трагедія.

Итакъ, разгадать историческое значене и историческую судьбу Годунова значить—объяснить причину: почему Годуновъ, повидимому, столь любившій народъ и столь много для него сдѣлавшій, не былъ любимъ народомъ? Попытаемся объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и неръшительность мъръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совъсти. Это взглядъ чисто-мелодраматическій, и въ историческомъ, и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ примъненіи къ такому необыкновенному человъку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмъ Пушкина самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себъ пенависти такъ:

> Живая власть для черни непавистна,— Она любить ум'ветъ только мертвыхъ. Везумны мы, когда народный плескъ Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Это оправданіе—не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человѣка, а илаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованнаго неудачею. Нѣтъ, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антинатіи къ живой власти: его любовь или его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всёхъ страстей человёческихъ, послё самолюбія, самая сильная, самая свирфиая — властолюбіе. Можно навърное сказать, что ни одна страсть не стоила человъчеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвъщенныя и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно решить, которая изъ этихъ страстей-господствующая въ человъкъ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія, у народовъ необразованныхъ, властолюбіе имъетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самосохраненія: гдъ, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что, -- тамъ всякому вдвойнъ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но всёхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всёхъ или многихъ невозможно быть первымъ, то право перваго естественнымъ ходомъ исторін вездѣ утвердилось потомственно въ одномъ родѣ, на основанін права въ прошедшемъ, или преданія. Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всёхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цёлый народъ притязаніями па верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго провидениемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всёми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему передъ всёми ими. Но когда царствующій родъ прекращается, послів наслівдственнаго владычества въ продолженіе пісколькихъ віковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человікъ, вчера бывшій равнымъ со всёми передъ верховною властію, а сегодня долженствующій начать собою новую династію, — тогда, естественно, разнуздывается у всёхъ страсть властолюбія. Каждый думаетъ: если оню могъ быть избранъ, почему же я не могъ? Чёмъ оню лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ силою и хитростію заставляетъ молчать всёхъ и все; страсти умолкаютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нѣтъ, въ отношеніи пріобрѣтенія верховной власти, освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія — тому, чтобъ заставить въ себѣ видѣть не похитателя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право генія. Только на условін этого права толна согласится безусловно признать владычество человѣка, который, въ гражданскомъ отношеніи, еще вчера стоялъ наравнѣ съ нею. Было ли за Годуновымъ это право?—Нѣтъ!—И вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и его исторической судьбы: онъ хотѣлъ играть роль генія, не будучи геніемъ,— и за то налъ трагически и увлекъ за собою паденіе своего рода.

Такой человѣкъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояніе трагедін. И что бы могъ сдёлать Пушкинъ изъ своей поэмы, если-бъ взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дъятельности ни проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, въстникъ обновленія жизни. Его назначеніе—ввести въ жизнь новые элементы и, чрезъ это, двинуть ее впередъ, на высшую ступень. Явленіе генія—эпоха въ жизни народа. Генія уже нѣтъ, а народъ долго еще живеть въ формахъ жизни, имъ созданной, долгодо новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоанив Калитв и утвержденное геніемъ Іоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ – не геній въ исторіи, чье твореніе умираетъ вмъсть съ нимъ; геній по пути исторін пролагаеть глубокіе слёды своего существованія, долго нося своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человъкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умълъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умънъе объясняется отчасти ловко разсчитанною женитьбою на дочери налача, Малюты Скуратова. Въ этой чертъ выказывается ловкій паредворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, по хитрый человъкъ сумълъ бы расчесть выгоды такого брака въ царствованіе Грознаго; но геній, можетъ быть, и не ръшился бы на такой расчетъ, тая въ себя огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было пенавистно тому народу,

владыкою котораго впоследствін сделался Годуновъ. Повторяемы: расчеты тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ виденъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... Годуновь ділается зятемъ наследника, а по смерти Грознаго-членомъ верховной думы, — и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, завъщалъ блюсти царство. Никакія вѣдьмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головъ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастіе онъ могъ принять за лучшее изъ всёхъ предсказаній! Опъ уничтожиль верховную думу и оффиціально быль названь правителемь государства: только для вида подаваль голось въ царской думѣ, но рѣшалъ всѣ дѣла самовластно, принималь пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свить цыловать свою руку... На тронь сидыль царь по имени, молчальникъ и молельщикъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, пизбывая мірскія суеты и докуки"... Чего недоставало Годунову?-только престола... И онъ достигъ его.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но инсколько генія. Въ томъ и другомъ случав это былъ не больше, какъ умный и способный министръ, -- но не Сюлли, не Кольберъ, которые умъли открыть новые источники государственной силы тамъ, гдф никто не подозрѣвалъ нхъ: нѣтъ, это былъ министръ, который съ успёхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колет, на основании сохранения statu quo. Насильственная смерть царевича-кто бы ни былъ ея причиною-уже бросила на него тынь подозрынія въ глазахъ народа, и это подозрѣніе всьми силами возбуждали и поддерживали враги его-бояре, которые, естественно, никакъ не могли простить ему присвоенія того, на что каждый изъ нихъ считалъ себя точно въ такомъ же. какъ и онъ, правъ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управляль не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстронть всв его планы и ногубить его. Но когда онъ сделался паремъ, — тогда онъ непремѣнпо долженъ былъ явпться реформаторомъ - знидителемъ, чтобъ заставить и народъ, и враговъ своихъ-бояръ-забыть, что еще недавно быль онъ такимъ же, какъ и они, полданнымъ. Но что же онъ сделаль для Россін, слелавшись ея царемъ? —И какимъ царемъ — самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божія! Чего бы нельзя было сдёлать съ такою властью, нодкрѣпляемою геніемъ! Но и сдѣлавшись царемъ, Годуновъ остался тъмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Оеодоръ. Надъ окружающими его боярами онъ имель личныхъ преимуществъ не больше, какъ настолько, чтобъ оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредственность, но не настолько. чтобъ покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, "мор-

щившись передъ короною, какъ пьянида предъ чаркою вина"; онъ заставиль себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужасъкъ мысли о верховной власти и долго заставляль себя умолять. По эта комедія даже черезчуръ топко была разыграна, и въ ней проглядываеть не образь великаго человека, который всегда прямо идеть къ своей цёли, даже н тогда, когда идетъ къ ней не прямою дорогою, а образъ "маленькаго великаго человѣка", смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который неопасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V быль избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запѣлъ "Те Deum": въ этой поспъшности виденъ великій человъкъ, достигшій своей цели и принимающій власть, не какъ нищій копейку, съ низкими поклонами, но съ увфренностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сиксть не началь разсыпаться въ объщаніяхъ: будуде таковъ-то и таковъ, сдѣлаю то и другое; а сейчась началь быть и дёлать, никому не угождая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать техъ, которые никого не трепетали, и которыхъ всв тренетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вфичаніи на царство онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свою рубашку, говоря, что всегда будеть готовъ разделить ее съ последнимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требоваль отъ него этихь объщаній и клятвь? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмърная радость о достижении давно желанной цёли, если не благодарность, рожденная этою радостью, - благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслугв?.. Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человѣкъ: онъ береть ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дёлая об'єщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова въ русской псторін снова повторилось зрѣлище обѣщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій, въ благодарность за корону, которой онъ сознаваль себя внутренно недостойнымъ, предлагалъ боярщинъ права, которыхъ она отъ него не просыла и взять не хотвла... Но воть Годуновъ — дарь. Ласкамъ народу нътъ конда, милости на всъхъ льются ръкою... Первый изъ русскихъ царей обратиль онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низній и, сл'ьдовательно, самый обширный слой... Это была какаято нёжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь... Народъ должень быль боготворить Годунова, и Годуновъ должень бы быть самымъ народнымъ изъ всёхъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случав что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на-стражв его стояла лучшая и надежнвишая изъ всёхъ швейдарскихъ и другихъ возможныхъ

гвардій — любовь народная... н, въ самомъ дёль, народъ славиль царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова-н никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердиѣ: умъ и воображение народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удвояеть свои благодъянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ быль только правителемь, твнь убитаго царевича начала его преследовать: Борись делаеть счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникшаго до ствит самой Москвы, а народъ говорить, что самъ Ворисъ призвалъ хана, чтобъ отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевою ціною прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою; а когда маленькая царевна умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобъ веодоръ не передаль ей престола... Въ Москвъ начались пожары: Борисъ казиилъ зажигателей и помогъ погорфешимъ; а народъ обвинилъ его самого въ зажигательствъ и жалълъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преследовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать-это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали бояре; но народъ довиль ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вънчание на царство ослъпило народъ: и Борисъ, и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинь годь: Ворись не выдержаль своей роли и сорваль съ себя маску, не имъя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собою Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ: это презрѣнный, подлый рабъ его—Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучить и казнить тайно, и все по новоду слуховъ, все по нодозрѣнію въ ненависти къ царю и здыхъ противъ него умыслахъ. Бѣльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщинавъ ему всю бороду по одному волоску: какое татарское наказаніе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ; шијонство сделалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большею частію все умирали скоропостижно: этоть человъкъ не умъль быть даже тираномъ открыто, какъ Грозный, и тиранствоваль во мракѣ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россіи; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабять и режуть безнаказанно: Борисъ строго наказываеть скупщиковъ хльба, сыплеть на народь деньгами, даеть пріють голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ; строитъ башню Ивана Великаго, чтобъ дать народу работу: словомъ, онъ честно, върно вынолняеть свою клятву-делить съ народомъ последнюю рубашку свою... И все напрасно, все

тщетно!.. Проносятся слухи о Самозванцѣ; наконецъ Самозванець уже поддерживается Польшею, идетъ въ Россію, къ нему предаются русскіе толнами; а Годуновъ ничего не дълаетъ, ничего не предпринимаетъ, -- онъ только собираетъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуеть отъ Шуйскаго клятвы, что царевичъ, точно, умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца—и палъ подъ его ударами. Подозрѣвають, что онъ отравиль себя ядомъ: можетъ быть; но такъ же можетъ быть, что онъ умеръ скоропостижно отъ страшнаго напряженія силь, вследствіе внутреннихь волненій. Въ обонхъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извъстіе о Самозванцъ Годуновъ приняль даже очень холодно: это можеть служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увтренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служить доказательствомъ, какъ мало быль онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положение. Онъ бы должень быль знать, что тинь царевича — самый ужасный врагь его во всякомъ случав, быль онъ убійцею царевича или ніть: въ первомъ случай эта тынь была его неизбыжною карою за преступленье; во второмъ она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова; но если народъ не любилъ его — этого было уже слишкомъ достаточно, чтобъ для народа преступление его было яснъе дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличъ съ матерью, — на него никто не обращалъ вниманія: въдь онъ былъ илодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характерь его матери не возбуждаль ин участія, ни уваженія; Грозный хотёль ее отослать отъ себя и женпться въ восьмой разъ, но смерть помъшала ему выполнить это намъреніе. Когда же царевичь быль убить, и народная ненависть запылала, -- младенець, святой мученикь, сдёлался предметомъ народнаго благоговёнія...

На всёхъ дёйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Всѣ дѣла его неудачны, не благодатны, потому что всв они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодинческое, и потому народъ не обманулся ею и отвътиль на нее ненавистью. Удивительное существонародъ! Почти всегда невъжественный, грубый, ограниченный, слипой, — онъ непогришительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ пногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту-не болье, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его, -- тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него, -- онъ будетъ имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любить его не по расчету, а по внутренней, инстинктуальной потребности любить, — тоть можеть идти вопреки всемь его желаніямь, - и за это народъ будетъ его осуждать, будетъ на него роптать и, въ то же время, будетъ любить его. Какъ Годуновъ служитъ живымъ доказательствомъ пер-

вой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу, пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ, исторін, обычаямъ, привычкамъ народа, — и не только умнѣйшіе изъ людей того времени имѣли полное право смотрѣть на его реформу, какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію, но, віроятно, и у него самого бывали горькія минуты сомпінія и разочарованія, когда н самъ онъ думалъ то же. Реформа его встрътила сильную оппозицію---не со стороны только мятеж-ныхъ стрильцовъ и невижественныхъ раскольниковъ: эта оппозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дъйствовать самовластно-правомъ наслѣдства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей лени и невежества стащилъ онъ на трудъ живой и деятельный. Народъ, повинуясь ему безусловно, осуждаль его действія и ропталь на него, но вмъстъ съ темъ и любилъ его до готовности отдать за него последнюю каплю своей крови... Между темъ Петръ никогда не делалъ ему объщаній, не даваль клятвь, но шель гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но зато все объщанное народу Годуновымъ онъ псполнять на дёлё, и еще гораздо лучше, потому что дъйствовалъ въ этомъ случат не по расчету, а по влеченію сердца... Таковъ геній: зат'явъ дёло, которое, по всёмъ расчетамъ человёческой мудрости, не могло не казаться безуміемь, онъ доводить его до конца, торжествуя надъ всеми препятствіями... Въ чемъ состонть тайна этого успѣха?-въ творческой силѣ, присущей организму генія, какъ инстинктъ, --больше ни въ чемъ! Геній часто действуєть инстинктивно, безумно-и всегда успѣваетъ, —между тѣмъ какъ талантъ раз-считываетъ вѣрно, соображаетъ тонко, дѣйствуетъ мудро, — вст это видять и вст одобряють его цтль и средства, никто не сомнивается въ усийхй, -а между тъмъ глядь-вся эта мудрость сама собою обратилась въ безуміе, и великольное зданіе, воздвигавшееся такимъ трудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунуль вътеръ — и нъть его... Вотъ талантъ, который берется за роль генія!..

Ворисъ Годуновъ не былъ человекомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ; напротивъ, это былъ человіть ума великаго, который цілою головою стоялъ выше всего своего народа. Борисъ быль даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ решился онъ выдать дочь свою за иностраннаго и инов рнаго принца; говорять, хотёль и сына женить на иностранной принцессь; это вовлекло бы Россію въ болье живыя и плодотворныя отношенія съ Европою, нежели въ какихъ она была съ нею до того времени, и потому имѣло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борись уважаль просвищение, тщательно, сколько было въ его средствахъ, восинтывалъ дътей своихъ, особенно сына; хотълъ основать въ Москвъ университетъ-и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понялъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, показываеть, какъ умень быль этотъ несчастный любимецъ счастія. Но всв предпріятія его не состоялись, именно потому (а не по чемунибудь другому), что у него быль только умъ и даровитость, но не было геніальности, -- тогда какъ судьба поставила его въ такое положение, что геніальность была ему необходима. Будь онъ законный, наслёдный царь, — онъ быль бы однимь изъ замъчательнъйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не измѣняя его; а для этого, и безъ геніальности, достало бы у него ума и способности, --и онъ много сдёлаль бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (parvenu), и потому долженъ быль быть геніемь или пасть—и паль... Ведя Русь по старой колет, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колев, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видела его бояриномъ прежде, чемъ увидела царемъ своимъ. Чтобъ утвердиться самому на престолъ и упрочить его за своимъ потомствомъ, --ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Онъ былъ только умите своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь: доказательство-его тиранія и борода Бѣльскаго... А между темь онь чувствоваль, что, по его положению, ему необходимо быть преобразователемъ; но вмъстъ съ темъ, какъ человекъ не геніальный, думаль, что для этого достаточно только прибавить коечто новаго. И воть онъ учреждаеть въ Москвъ патріаршій престоль и сажаеть на него не лучшаго, а преданнъйшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короноваль его впоследствін. Это нововведение было совершенно въ духѣ того времени: новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видель за нимъ... Пругое нововведение было еще болье въ современномъ ему духъ, и по тому самому было вредно для Россіи того в'яка и для новой Россіи, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законъ Годунова, который увъковъченъ русскою пословицею: "Вотъ тебъ, бабушка, Юрьевъ день"! Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражиль объ стороны, которыхъ оно касалось, - и помъщиковъ, и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могуть теперь выгнать изъ своего помъстья льниваго или развратнаго холопа, и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не делаеть, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые — говоря языкомъ римскаго права—изъ регзопа е сдѣлались гез. Значить, до Годунова у насъ не было крѣпостного сословія, и въ этомъ отнощенін не мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ большею для себя пользою позаимствоваться. Вмёсто крёпостного права, у насъ было только помъстное право-право владеть землею и обрабатывать ее руками пролетаріевъ, на свободныхъ съ ними условіяхь, обратившихся въ обычай. Этоть новый законъ быль такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что

утвердился и укореннися надолго — до времень Екатерины, уничтожившей даже слово "рабъ" и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чѣмъ пережиль себя Годуновъ въ потомствѣ...

У великаго человъка и сердце великое. Идя своею дорогою и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разить своихъ враговъ, но не метить имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дела, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умѣлъ карать враговъ своего дела и умель прощать личныхъ враговъ, если видёлъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дёломъ личнаго мщенія, и онъ караль открыто, среди бълаго дня, но не отравляль во мракт; принявъ публично доносъ, публично изследоваль дело и публично наказываль, если донось оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрелецкій заставиль его воротиться изъ путешествія, - кровь стрельцовъ лилась ръкою, въ глазахъ грознаго царя, и онь не боялся показаться тираномъ, потому что не быль имъ. Не такъ действовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надѣясь ласкою и милостію обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себ' толки; но видя, что это не дъйствуетъ, — не вытеривлъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, доносовъ, пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и, наконецъ, не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замъчательный, а не великій человѣкъ, умный и талантливый администраторъ, но не геній.

Итакъ, върно понять Годунова исторически п поэтически—значить понять необходимость его паденія равно въ обонхъ случаяхъ— виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человъкомъ, тогда какъ его положеніе непремънно требовало отъ него геніаль-

ности. Это просто и ясно.

Отчего же не поняль этого Пушкинь? Или недостало у него художнической проницательности, поэтическаго такта?—Нетъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще, надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималь Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, темъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человъкъ, и потому не всегда върно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобъ что-нибудь върно оценить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдълить оть себя и хладнокровно посмотръть на него, какъ на что-то чуждое себь, внь себя находящееся,а Пушкинъ не всегда могъ дёлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримъръ, онъ въ душъ былъ больше пом'єщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря, въ своихъ запискахъ, о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждаетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ

соборнымъ дѣяніемъ объ упичтоженіи мѣстничества. Первыми своими произведеніями онъ прослыль на Руси за русскаго Вайрона, за человѣка отрицанія. Но инчего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его "стишкахъ", которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,—нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силь избытокь!

Пушкинь быль человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думають. Пора его "стишковъ" скоро кончилась, потому что скоро поняль онь, что ему надо быть только художникомъ, и больше ничемъ, ибо такова его натура, а следовательно — таково и призвание его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, совътуя ему лучше докончить "Илью-Богатыря", нежели приниматься за исторію Россін, а кончиль темь, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написаль подъ вліяніемъ этого псторика и посвятиль "драгоценной для россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ вдохновенный". Нельзя не согласиться, что есть что-то оффиціальное и канцелярское въ самомъ складъ и языкъ этого посвященія, написаннаго по ломоносовской конструкцін, съ завътнымъ "сей". Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ: Пушкинъ всегда употреблялъ ихъ, по любви къ преданію, хотя къ его сжатому, определенному, выразительному и поэтическому языку они такъ же плохо шли, какъ грязныя пятна идутъ къ модному платью свътскаго человъка, собравшагося на балъ. Но когда "Вибліотека для Чтенія" воздвигла гоненіе на эти "старопечатныя" слова, Пушкинъ еще болѣе, еще чаще началъ употреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкъ не было духа противоръчія, ни на чемъ не основаннаго; напротивъ, тутъ дъйствовалъ духъ принципа — слѣпого уваженія къ преданію. Если уважение къ преданию такъ сильно выразилось въ отношени къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнъе должно было проявляться въ Пушкинъ въ отношеніи къ живымъ и мертвымъ авторитетамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ, какъ п возвеличить поэтическій талантъ Баратынскаго, и видълъ большого поэта даже и въ Дельвигъ; г. Катенинъ, по его мнѣнію, воскресилъ величавый геній Корнеля, —бездёлица!.. Изъ старыхъ авторитетовъ Пушкинъ не любилъ только одного Сумарокова, котораго очень неосновательно ставиль ниже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько-нибудь разкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на извъстный авторитетъ огорчала его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь и славу родной литературы. Но въ особенности не знало мъры его уважение и, можно сказать, его благоговъніе къ Карамзину, чему причиною отчасти было и то, что Пушкинъ быль окруженъ людьми карам-

зинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духъ. Если онъ мощно и побъдоносно выходиль изъ духа этой эпохи, то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, и не мысль дълала его великимъ, а поэтическій инстинктъ. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ не могъ находить особенной поэзін въ его стихотвореніяхъ и повъстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ направленіемъ: но Карамзинъ не одного Пушкина, нъсколько покольній увлекъ окончательно своею "Исторією Государства Россійскаго", которая иміла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вощелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдёлался рёшительнымъ рыцаремъ исторін Карамзина и оправдывалъ ее не просто, какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрелъ на Годунова глазами Карамзина, и не столько заботился объ истинъ и поэзін, сколько о томъ, чтобъ не погрѣшить противъ "Исторіи Государства Россійскаго"? И потому его поэтическій инстинкть виденъ не въ целости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедін. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматического злодъя, мучимаго совъстію, лишилось своей цьлости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдёлалось мозанческою картиною, нли, лучше сказать, статуею, которая вырублена не изъ одного цельнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человъкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодфемъ, -- и нетъ другого ключа къ этимъ противорѣчіямъ, кромѣ упрековъ виновной совѣсти... Отъ этого, за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы цълость и полноту всей трагедіи, "Борнсъ Годуновъ" Пушкина является чёмъ-то неопредёленнымъ и не производить почти никакого резкаго, сосредоточеннаго впечатленія, какого въ праве ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дъйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими недостатками,—то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достоинствами. Первые выходять изъ ложности иден, положенной въ основаніе драмы; вторыя—изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ будто не умълъ, если-бъ и хотълъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всъхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ русскою литературою:

до пушкинскаго "Бориса Годунова", изъ русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имелъ ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языкъ, которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій человѣкъ до-петровской эпохи? Не только прежде, даже послѣ "Бориса Годунова" явилась ли на русскомъ языкъ хотя одна драма, содержание которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всёхъ этихъ "Ляпуновыхъ", "Скопиныхъ-Шуйскихъ", "Баторіевъ", "Іоанновъ Третьихъ", "Самозванцевъ", "Царей Шуйскихъ", "Еленъ Глинскихъ", "Пожарскихъ", которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго стольтія наводнили русскую литературу и русскую сцену, --что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до пушкинскаго "Бориса Годунова": чего же можно и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всёхъ этихъ трагедіяхъ, которын явились уже послё "Бориса Годунова"? И не можно ли подумать скорфе, что это немецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы? — Словно гиганть между пигмеями, до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій пушкинскій "Ворисъ Годуновъ", въ гордомъ и суровомъ уединенін, въ недоступномъ величін строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похваль и удивленія на сцену въ кель Чудова монастыря, между отцомъ Пименомъ н Григорьемъ. Въ самомъ деле, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналъ года за четыре или лътъ за пять до появленія всей трагедін, и которая тогда же надёлала много шума, -- эта сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдёльной и неподражаемой простоть, выше всьхъ похваль. Это чтото великое, громадное, колоссальное, никогда небывалое, никъмъ не предчувствованное. Правда, Пименъ ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологъ, и нотому, чъмъ болъе поэтическаго и высокато въ его словахъ, темъ более грешитъ авторъ противъ истины и правды действительности: не русскому, но и никакому европейскому отщельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли-

.... Не даромъ мновихъ лётъ Свидётелемъ Господь меня поставилъ И книжному некусству вразумилъ: Когда-нибудь монахъ трудолюбивый Найдетъ мой трудъ усердный, безыменный; Засвитит онг, какъ я, свою лампаду И, пыль възговъ отъ хартій отряхнувъ, Правдивыя сказанья перепишетъ.

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходить предо мною —
Давно-ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся, какъ море-океанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лицъ мнъ память сохранила,
Немного словъ доходить до меня,
А прочее погибло невозвратно.

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-лътописецъ конца XVI и начала XVII вѣка; слѣдовательно, эти прекрасныя словаложь... но ложь, которая стоить истины: такъ исполнена она поэзін, такъ обаятельно действуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Корнель и Расинъ-и, однако-жъ, просвъщеннъйшая и образованнъйшая нація въ Европъ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мъста и нравовъ, есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотръть на свое призваніе, какъ латописець; но если-бъ, въ его время, такой взглядъ быль возможень, Пимень выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены решительно все, что можно осуждать, какъ ложь въ отношени къ русской действительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко върно исторической нстинь, какъ только могъ это сделать лишь геній Пушкина-истинно-національнаго русскаго поэта. Какая, напримерь, глубоко-верная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да въдають потомки православныхъ Земли родной минувшую судьбу, Своихъ царей великихъ поминаютъ За ихъ труды, за славу, за добро— А за гръхи, за темныя дъянья Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще въ этой сценъ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Иимена и Григорыя: одинъ—идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простотъ ума и сердца, какъ тихій свътъ лампады, озариющей въ темномъ углу икону византійской живописи; другой—весь безпокойство и тревога. Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ иншетъ свою лѣтопись,—и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ невозможенъ,—другими словами, выговариваетъ превосходиъйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ: Все тоть же видъ—смиренный, величавый. Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣдый, Спокойно зрить на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу внимая равнодушно, Не вѣдая ни жалости, ни гиѣва.

Затьмъ онъ разсказываеть старцу о "бъсовскомъ мечтаніи", смущавшемъ сонъ его:

Мив синлося, что лвстница крутая Меня вела на башию; съ высоты Мив видълась Москва, что муравейникъ; Винзу народъ на площади кипълъ И на меня указывалъ со смвхомъ: И стыдно мив, и страшно становилось... И, падая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ — весь будущій Само-

званецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая върность въ каждомъ словъ, въ каждой чертъ! Вотъ еще два монолога — факты глубоко-върнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисторусскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играеть; Смиряй себя молитвой и постомь,— И сны твои видъній легкихъ будуть Исполнены. Донынъ—если я, Невольною дремотой обезсилень, Не сотворю молитвы долгой къ ночи— Мой старый сонъ не тихъ и не безгръшенъ: Мнъ чудятся то шумные пиры, То ратный станъ, то схватки боевыя, Безумныя потъхи юныхъ лътъ!

Григорій.

Какъ весело провелъ свою ты младость! Ты воевалъ подъ башнями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна! Счастливъ! а я отъ отроческихъ лѣтъ По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ! Зачѣмъ и миѣ не тѣшиться въ бояхъ, Не пировать за царскою трапезой? Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ Отъ суеты, отъ міра отложиться, Произнести монашества обѣтъ И въ тихую обитель затвориться.

Следующій за темь длинный монологь Пимена о суеть свыта и преимуществы затворнической жизни-верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, туть Русью пахнеть! Ничья, никакая исторія Россіи не дасть такого яснаго, живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Іоанна Грознаго, нскавшаго успокоенія "въ подобін монашескихъ трудовъ"; характеристика Өеодора и разсказъ о его смерти, -все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до-петровской эпохи! Вообще вся эта превосходная сцена сама по себъ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторін, если ужъ он'в должны писаться, — и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературѣ, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который послъ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщъ?.. А при этомъ еще нельзя не подумать, не истощилъ ли Пушкинъ своею трагедіею всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только-съ другими именами и названіями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?..

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состонть изъ отдѣльныхъ частей, или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ которой созданъ Шекспиромъ. Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая,

въ кремлевскихъ палатахъ, между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически, и поэтически вѣрно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая, сцена народа и дъяка Щелканова на площади; третъя, въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патріархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовѣстное лицемѣрство Годунова, — въ томъ смыслѣ добросовѣстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послѣдняго все болѣе и болѣе развивается; его слова—

Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать...

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей вродѣ Шуйскаго. Иревосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгопѣниѣйшихъ перловъ трагедіп.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о цёлой трагедіи: въ ней Борисъ является злодёемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорбленій на пеблагодарность народа, и послів разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тоть, въ комъ нечиста совёсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно-драматическіе злодів никогда не разсуждаютъ сами съ собою о невыгодахъ нечистой совёсти и о пріятности добродітели. Вмісто этого, они дійствують, чтобъ дойти до ціли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена, въ корчмв на литовской границь, превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курпца проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая — въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова и его современниковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Следующая за темъ большая сцена представляеть собою двѣ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примфрини семьянинъ, нфжный отець: онъ утвшаеть дочь, овдовъвшую невъсту, говорить съ сыномъ о сладкомъ плодъ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно,--и Борисъ является въ этой сценѣ во всемъ свѣтѣ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленін Самозванца. Странное волненіе, обнаруженное Борисомъ при этомъ извъстін, основано поэтомъ на виновной совъсти Годунова, --- и его поспъшность къ ръшительнымъ мёрамъ противоречить исторической истинф: извъстно, что Годуновъ вначалъ принялъ слишкомъ слабыя мёры противъ Отрепьева, вѣроятно, не считая его за опаснаго врага. Но, если смотрѣть на эту сцепу съ точки зрѣпія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борисъ—въ страшномъ волненія, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что это волненіе можеть ему стопть головы, пи на минуту не перестаетъ быть придворною лисою.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и ісзуптомъ Черниковскимъ, очень хорона, за исключеніемъ ломоносовской фразы—"сыны славянъ", некстати вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдъ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ,—не представляютъ никакихъ особенно ръзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценою въ замкъ Мнишка въ Самборъ слъдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое дёло для любви, а Марина — холодною, честолюбивою женщиною. Вообще эта сцена очень хороша; по въ ней какъ будто чего-то недостаеть, или какъ будто проглядывають какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тёмъ не менёе производять на читателя не совстмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, не преувеличиль ли поэть любовь Самозванца къ Маринѣ, не сдѣлалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую-то глубокую страсть? Самозванець въ этой спенъ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты: въ нихъ не видно будущаго растлителя несчастной дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствѣ-совершенно въ его характерь, пылкомь, отважномь, дерзкомь, на все готовомъ, но ръшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности; но едва ли въ его характерѣ человѣческое чувство любви къ женщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценъ.

Сцена на литовской границѣ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламація, выдаваемой за павосъ, что трудно повѣрить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патріархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственною и потому ложною. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшія черты: это рѣчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣноты. Вторая черталовкій обороть, которымъ хитрый Шуйскій выводить Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патріарха.

Сцена на равнинъ, близъ Новгорода-Съверскаго,

очень интересна своею жнеостью, характеромь Маржерета и даже пестрою смёсью языковъ и лиць. Спена юродиваго на кремлевской илощади можеть быть сочтена даже за превосходную, но только съ пушкинской точки зрёнія на виновную сов'єсть Бориса. Въ сцен'є подъ С'ёвскомъ Самозванець обрисованъ очень удачно; особенно хороша эта черта:

Самозванець. Ну! обо мнъ какъ судять въ вашемъ станъ? Плънинкъ.

А говорять о милости твоей, Что ты, дескать (будь не во гиввь), и ворь, А мололепь.

Самозванецъ, *смиясь*. Такъ, это я на дълъ Имъ докажу.

Въ сценв въ дарскихъ палатахъ, между Годуновымъ и Васмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свётв. Годуновъ сбирается упичтожить мёстничество (!!). Васмановъ этому, разумжется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рёшаетъ:

> Нътъ, милости не чувствуетъ народъ: Твори добро—не скажетъ онъ спаснбо; Грабь и казни—тебъ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его "высокимъ, державнымъ духомъ", желаетъ ему поскоръе управиться съ Стрецьевымъ, чтобъ потомъ "сломить рогъ родовому боярству". Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послъднія наставленія своему наслъднику,—что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?—Изъ нихъ замъчательно только одно:

Не измѣняй теченья дѣлъ. Привычка — Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если-бъ престолъ достался ему по праву наслѣдія, — но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобъ уси-дѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонъ лобнаго мъста: "вязать Ворисова щенка!" ужасень, --это голось всего народа, или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непременно котель туть выразить голось судьбы, обрекшей на гибель родъ злодъя, цареубійцы... Можеть быть, это было и такъ; но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ боле трагическое лицоцареубійца, наказанный за злодівнія, или достойный человъкъ, падшій за недостаткомъ геніальности? Трагическое лицо непремённо должно возбуждать къ себъ участіе. Самъ Ричардъ III — это чудовище элодъйства—возбуждаетъ къ себъ участіе исполинскою мощью духа. Какъ злодей, Борисъ не возбуждаетъ къ себъ никакого участія, потому что онъ-злодей мелкій, малодушный; но какъ человѣкъ замѣчательный, — такъ сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себѣ, онъ очень п очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія — и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедін. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти ділей Годунова,— "народь вы ужасів молчить"... Отчего же онь молчить? развів не самы оны хотіль гибели Годуновскаго рода, развів не самы оны кричаль: "вязать Ворисова щенка"?..—Мосальскій продолжаєть: "Что-жы вы молчите? Кричите: да здравствуеть царь Димитрій Ивановичь!" — "Народы безмольствуєть"...

Это—послѣднее слово трагедіп, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвін народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвою — надъ тѣмъ, кто по-

губилъ родъ Годуновыхъ...

[Отечественныя Записки. Т. XLШ. 1845 г.].

XI.

Домикъ въ Коломив. — Родословная моего Героя (отрывокъ изъ сатирической поэмы). -Мъдный Всадникъ. — Галувъ. — Египетскія Ночи. — Анджело. — Сцена изъ Фауста. — Ниръ во время Чумы. -- Моцартъ и Сальери. --Скупой Рыцарь. — Русалка. — Каменный Гость. — Спены изъ Рыпарскихъ Временъ. — Сказки: о Царъ Салтанъ; о Мертвой Царевнъ н о Семи Богатыряхъ; о Золотомъ Пфтушкъ; о Рыбакъ п Рыбкъ; о Купцъ Кузьмъ Остолопъ и Работникъ его Балдъ. — Повъсти: Арапъ Петра Великаго; Повъсти Вълкина; Пиковая Дама; Капитанская Дочка; Дубровскій. — Лътопись села Горохина. — Кирджали.-Исторія Пугачевскаго Бунта.-Журнальныя статьи.—Заключение.

При разборѣ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ нами не было еще говорено, мы нѣсколько отступимъ отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ появлялись въ свѣтъ эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическія произведенія

обозрѣть виѣстѣ.

"Домикъ въ Коломив" — нгрушка, сдвланная рукою великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повъсть тьмъ не менье отличается большими достоинствами со стороны формы. Остроты, шутки, разсказъ, въ одно время и легкій, и занимательный, мъстами проблески чувства, на всемъ какой-то особенный колорить, и, наконець, превосходный стихь-все это тотчась же обличаеть великаго мастера. Когда нечаянно попадается вамъ подъ руку эта, теперь уже столь старая пьеса, и взоръ вашъ небрежно падаетъ на первую попавшуюся строфу, или стихъ, все равно, съ начала это, или съ середины, но только вы, незамътно для самого себя, непремѣнно прочтете до конца, п на душъ вашей отъ этого чтенія останется впечатльніе легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже сто разъ читали и перечитывали эту пьесу прежде. Многихъ удивитъ подобное мнѣніе; но "Домикъ въ Коломнъ" мы считаемъ однимъ изъ замъчательныхъ произведеній, въ которомъ, подъ легкою, небрежною формою и при видимой незначительности содержанія, скрыто много искусства. Эта пьеса доказываетъ ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство вфрно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищущіе въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимаютъ ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія также им'єють свой колорить, какъ и произведенія живописи, и если колорить въ картинахъ ценится такъ высоко, что иногда только онъ одинъ и составляетъ все ихъ достоинство, то такъ же точно колоритъ долженъ цениться и въ поэтическихъ произведеніяхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые, по обыкновенію, прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія — за дюжинныя. Мы увфрены, что есть много читателей, которымъ "Домикъ въ Кодомив" очень нравится, но которые тымь не менье считають его только миленькою, но очень ничтожною вещью. Такъ всегда судить большинство!

"Родословная моего Героя", названная отрывкомъ изъ сатирической повъсти, вмъстъ съ "Графомъ Нулинымъ" и "Домикомъ въ Коломиъ", составляетъ типъ особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любитъ новая "натуральная" школа нашей литературы, пошедшая, какъ извѣстно, не отъ Карамзина и Дмитріева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любятъ въ наше время. И не мудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемъ, но прямо отъ своего лица обращается къ читателю съ теми вопросами, которые равно интересны и для самого поэта, и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное н патетическое само по себѣ высказывается съ оттънкомъ ироніи, юмористически, и иногда тъмъ сильнье дъйствуеть на читателя, чымь небрежные

говоритъ поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотёль ли Пушкинъ написать цёлую поэму и почему-нибудь остановился на началь, но ньть никакого сомньнія, что отрывокъ "Родословная моего Героя" во всякомъ случав представляеть собою нвчто цвлое, потому что выражаетъ мысль совершенно полную и определенную. Судя по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые потому только не уважають знатности породы, что сами не могутъ похвалиться ею (по крайней мфрф, Пушкинъ тутъ ясно даетъ чувствовать, что не понимаетъ другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, всмотравшись ближе въ его пропзведеніе, нельзя не увидіть, что это очень острая сатира, паписанная поэтомъ на самого себя. Съ неподражаемымъ остроуміемъ шутить поэть надъ предками своего героя, излагая его генеалогію:

Изъ нихъ Езерскій Варлаамъ Гордыней славился боярской; За споръ то съ тъмъ онъ, то съ другимъ Съ большимъ безчестьемъ выводимъ Вывалъ изъ-за трапезы царской, Но снова шелъ подъ тяжкій гиѣвъ И умеръ, Сицкихъ пересъвъ.

Этотъ намекъ на мѣстничество, составлявшее point d'honneur нашей боярщины, блещетъ истинно вольтеровскимъ остроуміемъ, которое, конечно, не возбудитъ въ читателѣ особеннаго уваженія къ "родословнымъ"; но вслѣдъ же за тѣмъ иронія поэта бросается совсѣмъ въ противоположную сторону:

Но извините, статься можеть, Читатель, вамъ я досадиль; Вашъ умъ духъ въка просвътилъ,-Васт спесь дворянская не гложеть, И нужды нътъ вамъ никакой До ващей книги родовой. Кто-бъ ни былъ вашъ родоначальникъ, Метиславъ, князь Курбскій, иль Ермакъ, Или Митюшка цъловальникъ, Вамъ все равно. Конечно, такъ: Вы презираете отцами, Ихъ славой, честію, правами Великодушно и умно; Вы отреклись отъ нихъ давно Прямого просвъщенья ради, Гордясь (какъ общей пользы другъ) Красою "собственныхъ заслугъ", Звъздой двоюроднаго дяди, Иль приглашеніемъ на балъ, Туда, гдъ дъдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли изумительны своею наивностью, достойною техъ временъ, когда Варлаама Езерскаго, за споры то съ тѣмъ, то съ другимъ, съ безчестіемъ выводили изъ-за царскаго стола! Изъ чего хлопочеть поэть? противь чего возстаеть онь?-- Противь того, что самъ не могъ не осмѣять... Что за упрекъ такой: "Васъ спесь дворянская не гложеть?" Неужто спесь дворянская или мъщанская есть добродътель, а не порокъ-признакъ грубости нравовъ и невъжества?.. Вамъ все равно, кто бы ни былъ вашъ родоначальникъ — князь или целовальникъ Митюшка?.. Гордиться происхожденіемъ отъ князя такъ же смъшно, какъ и стыдиться происхожденія оть целовальника, потому что какъ въ первомъ случав заслуга, такъ во второмъ-преступленіесуть чистъйшая случайность. Не происхожденіе, а жизнь приносить человѣку честь или безчестіе. Иначе Сусанинъ или Мининъ были бы низкими людьми въ сравненіи со всякимъ глупенькимъ и пошленькимъ князькомъ, какихъ довольно бываетъ на бъломъ свётё между князьями, достойными всякаго уваженія по ихъ личнымъ достоинствамъ. Поэть обвиняетъ родословныхъ людей нашего времени въ томъ, что они презпраютъ своими отцами, ихъ славою, правами и честью: упрекъ столь же ограниченный, сколько и неосновательный. Если челов вкъ не чванится тёмъ, что происходитъ по прямой линіи оть какого-инбудь великаго человака, неужели это непременно значить, что онъпрезпраеть своего великаго предка, его славу, его великія дела? Кажется, тутъ следствіе выведено совсемь произвольно. Презирать предковъ, когда они и ничего не сделали хорошаго, смъшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не

за что уважать, но въ то же время не презпрать, если не за что презирать. Гдт нътъ мъста уважению, тамъ не всегда есть мѣсто презрѣнію: уважается хорошее, презирается дурное; но отсутствие хорошаго не всегда предполагаетъ присутствіе дурного, и наоборотъ. Еще смѣшнѣе гордиться чужимъ величіемъ или стыдиться чужой низости. Первая мыслі превосходно объяснена въ превосходной басит Кры лова: "Гуси"; вторая ясна сама по себф. Извфстно, что цёловальники (въ древности-присяжные чиновники) не отличались особенною честностью, не отличаются и нынь, какъ продавцы вина въ питейныхъ домахъ; но если сынъ цёловальника, по своей натурь, оказался неспособнымъ къ званію своего отца и, вмёсто того, чтобъ обмёривать въ кабакт пьяныхъ мужиковъ, прожилъ вткъ свойпожалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымъ человъкомъ, —скажите: зачьмъ ему стыдиться, что онъ-сынъ своего отца?.. Притомъ же мы нисколько не споримъ, что Тамерланъ былъ большой аристократь, -- по крайней мфрф, при его жизни въ этомъ никто не смѣлъ усомниться, подъ опасеніемъ быть посажену на коль; но прежде, нежели сдёлался великимъ ханомъ, онъ былъ кузнецомъ, заплатившимъ за покражу овцы увъчьемъ ноги: Такъ и всякій родъ начать быль однимъ человъкомъ незнатнаго происхожденія, у котораго въ роднѣ былъ не одинъ сапожникъ или портной Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что он ужъ слишкомъ истинны. Тъмъ, повидимому, страниве, что великій поэть видёль въ нихь ложь, а во лжи — истину. Но здёсь въ поэт в сказался человъкъ, не могшій, на зло себъ, отрышиться отъ предразсудковъ, надъ которыми самъ смѣялся... Но

> Я самъ, хоть, въ книжкахъ и словесно, Собратья надо мной трупятъ, Я мъщанинъ, какъ вамъ извъстно, И въ этомъ смыслю (въ какомъ же?) демократъ;

Но, каюсь, новый Ходаковской, Люблю отъ бабушки московской Я толки слушать о родив, О толстобрюхой стариню.

Признаніе поистинѣ наивное! На вкусъ товарища нѣтъ, —говоритъ русская пословица; но кому какое дѣло до чужихъ вкусовъ, и кто свои личные и притомъ странные вкусы въ правѣ выдавать другимъ за законъ? Одинъ любитъ говоритъ съ московскою бабушкою о роднѣ и о "толстобрюхой старинѣ"; другой любитъ разсуждать съ своимъ крѣпостнымъ исаремъ о различныхъ качествахъ и добродѣтетеляхъ его гончихъ: оба правы, и мы никому изъ нихъ мѣшать не намѣрены, а только считаемъ себя въ правѣ попросить обоихъ не навязывать намъ своихъ вкусовъ, какъ правилъ нравственности и добродѣтели.

Мнъ жаль, что нашей славы звуки Уже намъ чужды.

Дъйствительно, жаль, если правда, что звуки нашей славы намъ чужды. Только едва ли правда: равнодушіе къ "толстобрюхой старинъ" и равнодушіе

къ народной славѣ — совсѣмъ не одно и то же. Если поэтъ хотѣлъ этимъ упрекомъ намекнуть на то, что мы, какъ молодой, исполненный надеждъ народъ, больше заняты своимъ настоящимъ и больше смотримъ на свое будущее, нежели на прошедшее, — то ему слѣдовало бы выразиться яснѣе и понять лучше причину этого явленія, совершенно необходимаго и нисколько не предосудительнаго въ его источникѣ...

Что спроста Нзъ баръ мы лъземъ въ tiers-état.

Полно, спроста ли? Мы вообще убѣждены, что ни одно историческое явленіе не дѣлается спроста, и ни въ одномъ не виноваты люди. Предки нашихъ баръ шли все въ гору, хотѣли быть только барами и жили широко, не заботясь о будущемъ, а ихъ дѣти иринуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барство—суета суетъ! Тутъ видна скорѣе смѣтливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компаніи, акціи, спекуляціи, предпріятія, обороты—все это вещи, можетъ быть, дѣйствительно нисколько не аристократическія, зато уже и совсѣмъ не простоватыя... Въ наше время простаковъ мало, и простакъ въ наше время именно тотъ, кого гложетъ какая-нибудь спесь...

Что намъ не въ прокъ пошли науки, И что спасибо намъ за то Не скажетъ, кажется, никто.

Да изъ чего же слёдуеть, что науки пошли намъ не въ прокъ? ужъ не изъ того ли, что онё избавили насъ отъ дворянской спеси?.. Странный выводъ!.. Впрочемъ, пошедши отъ ложнаго начала, нельзя не дойти до ложныхъ выводовъ... Странное зрёлище: великій поэтъ видитъ зло въ успѣхахъ просвѣщенія, которое, безъ насильственныхъ переворотовъ, смягчило грубость нравовъ и сблизило между собою дотолё раздѣленныя сословія...

Мнё жаль, что тёхъ родовъ боярскихъ Блёдиветь блескъ и никнетъ духъ: Мнё жаль, что нётъ князей Пожарскихъ, Что о другихъ пропаль и слухъ; Что ихъ поноситъ и Фигляринъ; Что русскій еттреньій бояринъ (баринъ?) Считаетъ грамоты царей За пыльный сборъ календарей; Что въ нашемъ теремё забытомъ Растетъ пустыная трава; Что геральдическаго льва Демократическимъ копытомъ Теперь лягаетъ и оселъ: Духъ вёка вотъ куда зашелъ!

Многимъ показалась ужасно остроумною выходка о демократическомъ копытѣ осла, лягающаго геральдическаго льва, и они такъ восхитились ею, что повърпли древности этого геральдическаго льва, по наивному незнанію, что существованіе нашей геральдики есть искусственное и не простирается даже за полувѣкъ отъ настоящаго дня... Отъ этихъ стиховъ такъ и вѣетъ "Литературною Газетою" 1830 года... Ничего не можетъ быть

нелѣпѣе, какъ приложеніе къ нашему русскому быту фактовъ исторін Западной Европы, съ ея католическими и рыцарскими преданіями, вовсе для насъ чуждыми и нисколько къ намъ не идущими. И оттого слова: "аристократическій", "демократическій", встрѣчающіяся изрѣдка въ русскихъ стихахъ или русской прозъ, тъмъ смъщиве и забавиће, чтмъ серьезиће смотрятъ они... Пушкина, кажется, очень занимало общественное положеніе Байрона, гордившагося тёмъ, что въ его жилахъ текла королевская кровь, и болье дорожившаго своимъ званіемъ лорда, нежели своимъ значеніемъ перваго поэта Европы XIX въка. Но Вайронъдругое дело. Онъ-англичанинъ; его предразсудки имъли значение историческое и національное. Если-бъ онъ и не сделался великимъ человекомъ, онъ все бы остался важнымъ лицомъ въ своемъ отечествъ: обладателемъ огромнаго наслѣдства, по праву рожденія членомъ налаты лордовъ... Аристократизмъ, -- въ этомъ словъ заключается вся политическая конструкція Англін, какъ государства, и потому тамъ къ партін тори принадлежать не одни дворяне, но и люди всёхъ другихъ сословій, которые въ сохраненін statu quo видять для себя великій вопрось: быть или не быть?.. Какъ потомка старинной фамиліп, Пушкина зналь бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствъ не было ничего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дёлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бъдный дворянинь, существующій своими литературными трудами, богать длиннымъ рядомъ предковъ, мало извъстныхъ въ исторіи? Гораздо интересите было знать, что напишеть новаго этоть геніальный поэтъ...

Забавны, въ сатирическомъ смыслѣ, послѣдніе стихи отрывка:

Вото почему, архивы роя, Я разбираль въ досужный часъ Всю родословную героя, О комъ затвяль свой разсказъ И здёсь потомству заповъдалъ. Езерскій самъ же твердо въдалъ, что дъдъ его, селикій мужсъ, Имъть двънадцать тысячь душъ; Изъ нихъ отцу его досталась Осьмая часть, и та сполна Выла давно заложена И ежегодно продавалась; А самъ онъ жалованьемъ жилъ И регистраторомъ служилъ.

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же туть пенять, на кого жаловаться? Какіе туть аристократы и демократы? Туть дёло должно идти просто о мотовстве, о незнанін хозяйства, о нерасчетливой жизни на авось, о естественномъ раздробленіи именій черезъ право наследства... Темь, которые туть проиграли, остается одно—вступить въ tiers-état, но не спроста, а для того, чтобъ, во-первыхъ, что-нибудь дёлать, а во-вторыхъ, чтобъ иметь более вёрныя средства къ существованію... Вмёсто этой юмористической повёсти

Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользѣ свекло-сахарныхъ заводовъ или о превосходствѣ плодоперемѣнной системы вемледѣлія падъ трехпольною, какъ Ломоносовъ написаль посланіе о пользѣ стекла, начинающееся этими напвными стихами:

Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ, Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

А между тёмъ "Родословная моего Героя" написана стихами до того прекрасными, что нётъ никакой возможности противиться ихъ обаянію, несмотря на ихъ содержаніе. И нотому эта пьеса—истинный шалашъ, построенный великимъ мастеромъ изъ драгоцённаго паросскаго мрамора...

Тенерь перейдемъ къ тремъ лучшимъ, въ художественномъ отношенін, поэмамъ Пушкина— "Мѣдному Всаднику", "Галубу" и "Египетскимъ

Ночамъ"

"Мёдный Всадникъ" многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тема его, повидимому, выражена не вполить. По крайней мѣрѣ, страхъ, съ какимъ побѣжалъ помѣшанный Евгеній отъ конной статуи Петра, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, кромѣ того, что пропущены слова его къ монументу. Иначе, почему же вообразнлъ онъ, что грозное лицо царя, возгорѣвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побѣжалъ онъ, ему все слышалось —

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой!..

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмѣ недостаетъ словъ, обращенныхъ Евгеніемъ къ монументу,—и вамъ сдѣлается ясна идея поэмы, безъ того смутная и неопредѣленная. Настоящій герой ея—Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозною картиною Петра, задумывающаго основаніе новой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга въ его теперешнемъ видѣ.

На берегу пустынных волнъ Стоялъ Онъ, думъ великихъ полиъ, И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широко Ръка неслася; бѣдный чёлнъ По ней стремился одиноко. По минстымъ, топкимъ берегамъ Чериѣли избы здѣсь и тамъ, Пріютъ убогаго чухонда; И лѣсъ, невѣдомый лучамъ Въ туманѣ спрятаннаго солнца, Кругомъ шумѣлъ.

И думаль Онъ:
"Отсель грозить мы будемь шведу;
Здёсь будеть городъ заложенъ,
На зло надменному сосёду;
Природой здёсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Веѣ флаги въ гости будуть къ намъ —
И запируемъ на просторѣ!"
Прошло сто лѣть—и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,

Печальный пасынокъ природы, Одинъ у низкихъ береговъ Бросаль въ невъдомыя воды Свой ветхій неводъ, нынъ тамъ По оживленнымъ берегамъ Громады стройныя тъснятся Дворцовъ и башенъ; корабли Толпой со всёхъ концовъ земли Къ богатымъ пристанямъ стремятся; Въ гранитъ одълася Нева; Мосты повисли падъ водами; Темнозелеными садами Ея покрылись острова-И передъ младшею столицей Главой склонилася Москва, Какъ передъ новою царицей Порфироносная вдова.

Не перепечатываемъ вполив этого описанія, псполненнаго такой высокой и мощной поэзін; но, чтобъ проследить идею поэмы въ ея развитін, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой Неколебимо, какъ Россія! Да умирится же съ тобой И побъжденная стихія: Вражду и плънъ старинный свой Пусть волны финскія забудутъ И тщетной злобою не будутъ Тревожить въчный сонъ Петра! Была ужасная пора: Объ ней свъжо воспоминанье... Объ ней, друзья мон, для васъ Начну свое повъствованье. Печаленъ будеть мой разсказъ.

Содержаніе этого разсказа составляеть описаніе страшнаго наводненія, постигшаго Петербургъ въ 1824 году. Это плачевное событіе имъетъ прямое отношеніе къ построенію Петромъ Великимъ Петербурга, пе по одной этой причинъ столь дорого стопвшаго Россіи. Съ исторією наводненія, какъ историческаго событія, поэтъ искусно слилъ частную исторію любви, сдѣлавшейся жертвою этого происшествія. Герой повѣсти—Евгеній, имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего поэта, который съ грустію описываетъ его незначительность, не соотвѣтствующую его понятіямъ о родословін:

Прозванья намъ его не нужно— Хотя въ минувши времена Оно, быть можеть, и блистало И, подъ перомъ Карамзина, Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало. Но нынъ свътомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломнъ; гдъ-то служитъ; Дичится знатныхъ и не тужитъ Ни о покойницъ-родиъ, Ни о забытой старинъ.

Однажды легъ онъ съ грустными мечтами о своемъ житъв-бытъв; вечеръ былъ мраченъ и буренъ. На другой депь сделалось наводнение —

И всплылъ Петрополь, какъ тритонъ, По поясъ въ воду погруженъ.

Картина наводненія написана у Пушкина красками, которыя цёною жизни готовъ бы быль купить поэть прошлаго вёка, помёшавшійся на мысли написать эпическую поэму—"Потопь"... Туть не

знаемь, чему больше дивиться — громадной ли грандіозности описанія, или его почти прозанческой простоть—что, вмъсть взятое, доходить до высочайшей поэзін. Однако-жь, боясь перепечатать всю поэму, пропускаемь начало описанія, чтобъ посившить къ герою поэмы:

Тогда на площади Петровой-Гдъ домъ въ углу вознесся новый, Гдъ, подъ возвышеннымъ крыльцомъ, Съ подъятой лапой, какъ живые, Стоять два льва сторожевые, -На звъръ мраморномъ верхомъ, Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ, Сидълъ недвижный, страшно блъдный Евгеній. Онъ страшился, бъдный, Не за себя. Онъ не слыхалъ, Какъ подымался жадный валъ, Ему подошвы подмывая, Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ; Какъ вътеръ, буйно завывая, Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ. Его отчаянные взоры На край одинъ наведены Недвижно были. Словно горы, Изъ возмущенной глубины Вставали волны тамъ и злились, Тамъ буря выла, тамъ носились Обломки... Воже, Боже!... тамъ — Увы! близехонько къ волнамъ, Почти у самаго залива-Заборъ некрашенный да ива, И ветхій домикъ: тамъ онъ, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта... Или во сив Онъ это видить? Иль вся наша И жизнь не что, какъ сонъ пустой, Насмъшка рока надъ землей? И онъ какъ будто околдованъ, Какъ будто къ мрамору прикованъ, Сойти не можетъ! Вкругъ него Вода-и больше инчего! И, обращень къ нему спиною, Въ неколебимой вышинть, Надъ возмущенного Невого, Сидить съ простертою рукою Гигантъ на бронзовомъ конт.

Когда наводненіе утихло, Евгеній на мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Параши, нашелъ одну иву— и нкчего больше. Несчастный сошелъ съ ума. Бродя по улицамъ, преслѣдуемый мальчишками, получая удары отъ кучерскихъ плетей, разъ—

Онъ очутился подъ столбами Большого дома. На крыльцѣ, Съ подъятой лапой, какъ живые, Стояли львы сторожевые, И прямо въ темной вышинъ, Надъ огражденного скалого, Гигантъ съ простертою рукою Сидълъ на бронзовомъ конъ.

Въ этомъ безпрестанномъ столкновеніи несчастнаго съ "гигантомъ на бронзовомъ конѣ" и въ впечатлѣніп, какое производитъ на него видъ Мѣднаго Всадника, скрывается весь смыслъ поэмы; здѣсь ключъ къ ея идеѣ...

Евгеній вздрогнуль. Прояснились Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ И мъсто, гдъ потопъ пгралъ, Гдъ волны хищныя толпились, Бунтуя грозно вкругъ него, И львовъ, и площадь, и Того,

Кто неподвижно возвышался Во мракъ съ мъдной головой И съ распростертою рукой— Какъ будто градомъ любовался. Везумець бѣдный обошель Кругомъ скалы съ тоскою дикой И надпись яркую прочелъ, И сердце скорбію великой Стъснилось въ немъ. Его чело Къ решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманомъ, По членамъ колодъ пробъжалъ, И вздрогнуль онъ-и мраченъ сталъ Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ, И, перстъ свой на него поднявъ. Задумался... Но вдругъ стремглавъ Бъжать пустился... Иоказалось Ему, что грознаго царя, Мгновенно гнтвомъ возгоря, Лицо тихонько обращалось... И онъ по площади пустой Вѣжить и слышить за собой, Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой И, озаренъ луною блюдной, Простерии руки въ вышинъ, За нимъ несется Всадникъ Мъдный На звонко-скачущемъ конт, И во всю ночь, безумець бъдный, Куда стопы ни обращаль, За нимъ повсюду Всадникъ Мъдный Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ... И съ той поры, куда случалось Идти той площадью ему, Въ его лицъ изображалось Смятенье; къ сердцу своему Онъ прижималъ поспъшно руку, Какъ бы его смиряя муку; Картузъ изношенный сымалъ, Смущенныхъ глазъ не подымалъ И шелъ сторонкой...

Въ этой поэмѣ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслѣдствіе избранія мѣста для новой столицы, гдѣ подверглось гибели столько людей,—и наше сокрупенное сочувствіемъ сердце, вмѣстѣ съ не частнымъ, готово смутиться; но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу,—и въ священномъ трепетѣ, какъ бы въ сознаніи тяжкаго грѣха, бѣжимъ стремглавъ, думая слышать за собой—

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой...

Мы понимаемъ смущенною душою, что не произволь, а разумная воля олицетворена въ этомъ Мѣдномъ Всадникѣ, который, въ неколебимой вышинѣ, съ распростертою рукою, какъ бы любуется городомъ... И намъ чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мѣдныхъ устъ исходитъ творящее "да будетъ!", а простертая рука гордо повелѣваетъ утихнуть разъяреннымъ стихіямъ... И смиреннымъ сердцемъ признаемъ мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... При взглядѣ на Великана, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія и какъ бы символически осуще-

ствляющаго собою несокрушимость его творенія,мы, хотя и не безъ содроганія сердца, но сознаемся, что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обезпечивая участь народа и государства; что за него-историческая необходимость, и что его взглядъ на насъ есть уже его оправданіе... Да, эта поэма — аповеоза Петра Великаго, самая смёлая, самая грандіозная, какая могла только прійти въ голову поэту, внолит достойному быть итвисомъ великаго преобразователя Россін... Александръ Македонскій завидоваль Ахиллу, имфвшему Гомера своимъ пфвиомъ: въ глазахъ насъ, русскихъ, Петру некому завидовать въ этомъ отношения... Пушкинъ не написаль ни одной эпической поэмы, ни одной "Петріады", но его "Стансы" ("Въ надеждѣ славы и добра"), многія мѣста въ "Полтавѣ", "Пиръ Петра Великаго" и, наконецъ, этоть "Мѣдный Всадникъ" образують собою самую дивную, самую великую "Петріаду", какую только въ состояніи создать геній великаго національнаго поэта... И мфрою трепета при чтеніи этой "Петріады" должно определяться, до какой степени въ праве называться русскимъ всякое русское сердце...

Намъ хотълось бы сказать что-нибудь о стихахъ "Мъднаго Всадника", объ ихъ упругости, силъ, энергіи, величавости; но это выше силъ нашихъ: только такими же стихами, а не нашею бъдною прозою можно хвалить ихъ... Нъкоторыя мъста, какъ, напримъръ, упоминовеніе о графъ Хвостовъ, показываютъ, что по этой поэмъ еще не былъ проведенъ окончательно ръзецъ художника, да и напечатана она, какъ извъстно, постъ его смерти; но и въ этомъ видъ она—колоссаль-

ное произведение...

Въ статъв Пушкина "Путешествіе въ Арзрумъ" находятся следующія строки: "Здесь нашель я измаранный списокъ "Кавказскаго Пленника" и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено върно". Насъ всегда поражала благородная и безпристрастная вфрность этой оценки, и нельзя не согласиться, что это лучшая критика на "Кавказскаго Илфиника". "Кавказскій Плфиникъ" вышель въ свъть въ 1822 году и быль однимъ изъ первыхъ произведеній Пушкина, наибол'є способствовавшихъ его народности въ Россіи. Истиннымъ героемъ ея быль не столько планникъ, сколько Кавказъ; нсторія ильника была только рамкою для описанія Кавказа. Случилось такъ, что и одно изъ послёднихъ произведеній Пушкина опять посвящено было тому же Кавказу, темъ же горцамъ. Но какая огромная разница между "Кавказскимъ Пленникомъ" и "Галубомъ"! Словно въ разные вѣка и разными поэтами написаны эти двѣ поэмы! Въ "Путешествін въ Арзрумъ" Пушкинъ разсказываетъ, между прочимъ, о похоронахъ у горцевъ, которыхъ свидетелемъ ему случилось быть. Это даетъ право догадываться, что впечатленія, плодомъ которыхъ былъ "Галубъ", собраны были поэтомъ во время его путешествія въ Арзрумъ, въ 1829 году, и что эта поэма была написана имъ послъ 1829 года. Если ее раздълять отъ "Кавказскаго Плънника" промежутокъ только десяти лътъ,—какой великій прогрессъ! И что бы написалъ намъ Нушкинъ, если-бъ прожилъ еще хоть десять лътъ?

Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла! Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ! Нътъ великаго Патрокла! Живъ презрительный Тирситъ!..

Въ "Галубъ" глубоко-гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо върныхъ, сколько и поэтическихъ. Старикъ-чеченецъ, похоронивъ одного сына, получаетъ другого изъ рукъ его воспитателя. Но этотъ второй сынъ не замѣнилъ ему своего брата и обманулъ надежды отца. Безъ образованія, безъ всякаго знакомства съ другими идеями или другими формами общественной жизни, но единственно инстинктомъ своей натуры юный Тазитъ вышелъ изъ стихіи своего родного племени, своего родного общества. Онъ не понимаетъ разбоя, ни какъ ремесла, ни какъ поэзін жизни; не понимаетъ мщенія, ни какъ долга, ни какъ наслажденія.

Среди родимаго аула Онъ все чужой; онъ цълый день Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ. Такъ въ саклъ пойманный олень Все въ лъсъ глядить, все въ глушь уходить. Онъ любить по крутымъ скаламъ Скользить, ползти тропой кремнистой, Внимая бури голосистой И въ бездив воющимъ волнамъ. Онъ иногда до поздней ночи Сидить печалень, надъ горой, Недвижно въ даль уставя очи, Опершись на руку главой. Какія мысли въ немъ проходять? Чего желаеть онъ тогда? Изъ міра дальняго куда Младые сны его уводять? Какъ знать? Незрима глубь сердецъ! Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ, Какъ вътеръ въ небъ...

Въ самомъ дёлё, что онъ такое — поэтъ, художникъ, жредъ науки или просто одна изъ тъхъ внутреннихъ, глубоко сосредоточенныхъ въ себъ натуръ, рождающихся для мирныхъ трудовъ, мирнаго счастія, мирнаго и благод тельнаго вліянія на окружающихъ его людей? Какъ знать это комунибудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явись онъ въ цивилизованномъ обществъ, - хотя съ трудомъ, съ борьбою, наделавъ тысячу ошибокъ, но созналь бы онъ свое назначение, нашель бы его и отдался бы ему. Но онъ родился среди патріархально-разбойническаго, дикаго и невѣжественнаго племени, съ которымъ у него нътъ ничего общаго, -- и ему нътъ мъста на землъ, онъ отверженъ, проклятъ; его родные — враги его... Отецъ Тазита — чеченецъ душой и теломъ, чеченецъ, которому непонятны, которому ненавистны всь нечеченскія формы общественной жизни, который признаетъ святою и безусловно истинною только чеченскую мораль, и который, следовательно, можеть въ сынѣ любить только истаго

чеченца. Въ отношени къ сыну онъ не дъйствуетъ иначе, какъ заодно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и человъкомъ, не могла не обнаружиться скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разъвздахъ, встрътилъ армянива съ товарами — и не ограбилъ, не убилъ, или не привелъ его домой на арканъ. Другой разъ повстръчалъ онъ бълаго раба—и оставилъ его невредимымъ; въ третій—

Отепъ.

Кого ты видълъ?

Сынъ.

Убійцу брата.

Отецъ.

Убійцу сына моего?.. Тазить! гдѣ голова его? Дай, нагляжусь!

Сынъ.

Убійца былъ Одинъ, израненъ, безоруженъ...

Отецъ.

Ты долга крови не забыль...
Врага ты навзничь опрокинуль...
Не правда ли? ты шашку вынуль,
Ты въ горло сталь ему воткнуль
И трижды тихо повернуль?
Упился ты его степаньемь,
Его змѣннымъ издыханьемъ?..
Гдѣ-жъ голова? подай!.. Нѣть силь...

Но сынъ молчить, потупя очи. И сталъ Галубъ чернъе ночи И сыну грозно возопиль: Поди ты прочь-ты мит не сынъ! Ты не чеченець-ты старуха, Ты трусъ, ты рабъ, ты армянинъ! Будь проклять мной! поди—чтобъ слуха Никто о робкомъ не имълъ; Чтобъ въчно ждаль ты грозной встръчи, Чтобъ мертвый брать тебъ на плечи Окровавленной кошкой сълъ И къ бездит гналъ тебя нещадно; Чтобъ ты, какъ раненый олень, Въжалъ, тоскуя безотрадно; Чтобъ дъти русскихъ деревень Тебя веревкою поймали И, какъ волчонка, затерзали— Чтобъ ты... бъги, бъги скоръй! Не оскверняй монхъ очей!

Здёсь, въ лице отца, говорить общество. Такія чеченскія исторіи случаются и въ цивилизованныхь обществахь: Галилея въ Италіи чуть не сожгли живого за его несогласіе съ чеченскими понятіями о міровой системе. Но тамъ человекъ знаніемь опередиль свое общество, и если-бъ быль сожжень, могъ бы имёть хоть то утёшеніе передъ смертію, что идеи-то его не сожгуть невёжественные палачи... Здёсь же человекъ вышель изъ своего народа своею натурою, безъ всякаго сознанія объ этомь, —самое трагическое положеніе, въ какомъ только можеть быть человекъ!.. Одинь среди множества, и ближніе его —враги ему; стремится онь къ людямъ и съ ужасомъ отскакиваеть оть нихь, какъ оть змён, на которую наступиль

нечаянно... И винить, и презираеть, и проклинаеть онъ себя за это, потому что его сознаніе не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его отчужденіе отъ общества... И вотъ она—вѣчная борьба общаго съ частнымъ, разума съ авторитетомъ и преданіемъ, человѣческаго достоинства съ общественнымъ варварствомъ! Она возможна и между чеченцами...

Превосходны, выше всякой похвалы, последніе стихи "Галуба", представляющіе живое пзображеніе черкесских правовъ и трогательную картину отчужденныхъ отъ общества любовниковъ:

Они въ толиъ четою странной Стоять, не видя ничего, И горе имъ: онъ-сынъ изгнанный, Она-любвница его... О, было время: съ ней украдкой Видался юноша въ горахъ; Онъ пиль огонь отравы сладкой Въ ея смятеньи, въ ръчи краткой, Въ ея потупленныхъ очахъ, Когда съ домашняго порогу Она смотръда на дорогу, Съ подружкой ръзвой говоря, И вдругъ садилась и блъдивла, И, отвъчая, не глядъла, разгоралась, какъ заря; Или у водъ когда стояла, Текущихъ съ каменныхъ вершинъ, И долго кованный кувшинъ Волною звонкой наполняла... И онъ, невластный превозмочь Волненій сердца, разъ приходитъ Къ ея отцу, его отводитъ И говоритъ: "Твоя миъ дочь Давно мила; по ней тоскуя, Одинъ и сиръ давно живу я; Благослови любовь мою; Я бъденъ, но могучъ и молодъ; Я агнецъ дома, звърь въ бою; Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ; Тебъ я буду сынъ и другъ Послушный, преданный и нъжный, Твоимъ сынамъ-кунакъ надежный... А ей приверженный супругъ...

Увы! бѣдный юноша говориль все это, не зная самъ себя. Онъ быль могучъ и молодь, у него много было отвати и храбрости,—но онъ жалѣлъ бѣжавшаго раба, не могъ убить израненнаго и обезоруженнаго врага: онъ не быль чеченцемъ, и въ его саклѣ поселился бы голодь... И зато онъ отверженъ; отвержена и та, которая имѣла несчастіе полюбить его! Что съ ними стало, намъ не интересно знать. Они должны погибнуть—это вѣрно; но какъ погибнуть—что до того!. Слѣдовательно, поэму эту можно считать пѣлою и оконченною. Мысль ея видна и выражена внолиѣ.

"Египетскія Ночи"— въ одно и то же время и повъсть, писанная прозою, и поэма, писанная стихами. Повъсть прекрасна. Характеръ Чарскаго, русскаго поэта и свътскаго человъка, который знаетъ цъну искусству и таланту и со всъмъ тъмъ стыдится ремесла своего; характеръ импровизатора, страстнаго, вдохновеннаго жреца искусства, униженнаго, низкопоклоннаго итальянца, жаднаго къ прибытку нищаго; характеръ нашего большого свъта, его странныя отношенія къ искусству,—

все это выдержано съ удивительною в рностью, до мельчайшихъ подробностей, — до некрасивой дъвушки, по приказанію матери написавшей тему импровизатору. Но что сказать о поэмѣ---,, Cleopatra e i suoi amanti"?.. Въ "Мѣдномъ Всадникъ" поэть показаль намь величественный образь преобразователя Россіи и современный Петербургь; въ "Галубъ" перенесъ насъ въ среду кавказскихъ дикарей, чтобъ показать, что и тамъ есть человъческое достоинство, осужденное на трагическое страданіе; въ "Египетскихъ Ночахъ", волшебнымъ жезломъ своей поэзін, онъ переносить насъ въ среду древняго римскаго міра, одряхлівшаго, утратившаго всѣ вѣрованія, всѣ надежды, холоднаго къ жизни и все еще жаждущаго наслажденій, за которыя охотно илатить жизнію, какъ будто жизнь дешевле денегъ... Во всёхъ этихъ трехъ поэмахъ видимъ мы Пушкина, узнаемъ въ нихъ ему только свойственный колорить и стиль; но ни въ одной изъ нихъ не повторяетъ онъ себя, — напротивъ, въ каждой являетъ изумленному взору нашему совершенно новый міръ! "Мѣдный Всадникъ" весь—современная Русь, "Галубъ" весь—Кавказъ, "Египетскія Ночи" — это воскресшій, подобно Помпев и Геркулануму, древній міръ на закатв его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ: это-чудо искусства...

Три последнія означенныя нами поэмы въ художественномъ отношеніи неизмѣримо выше всѣхъ прежнихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ виденъ вполнъ развившійся и выработавшійся художественный стиль, который должень быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Что-то глубоко-грустное, но вмёстё и величаво-спокойное лежить въ поэтическомъ колоритъ, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучиихъ своихъ лирическихъ стихотвореній поэть не даромъ сравниль печаль души своей съ виномъ, которое тёмъ крепче, чёмъ старъе. Мы прибавимь отъ себя, что вино, чъмъ старъе, темъ не только крепче, но и вкуснъе, и аромативе. Продолжая сравненіе, начатое самимъ же поэтомъ, скажемъ, что последнія произведенія его, утративъ конфектную сладость первыхъ, пріобрѣли вкусъ и благовонную букетистость дорогого стараго вина...

"Анджело" составляеть переходь оть эпическихь поэмь къ драматическимъ; по крайней мѣрѣ, діалогь играеть въ этой пьесѣ большую роль. "Анджело" быль принять публикою очень сухо, и подѣломъ. Въ поэмѣ видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъто искусственна. Можно найти въ "Анджело" счастливыя выраженія, удачные стихи, если хотите—много искусства, но искусства чисто-техническаго, безъ вдохновенія, безъ клзни. Короче: эта поэма недостойна таланта Пушкива. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдемь къ драматическимъ опытамъ Пушкина, которые онъ столь блистательно началъ своимъ "Борисомъ Годунсвымъ". Драматическій элементъ сильно пробивался и въ первахъ поэмахъ его—"Вахчисарайскомъ Фонтанъ", "Цыганахъ" и

"Полтавъ", такъ что но нимъ уже можно было видъть, что онъ можеть пріобрасти такіе же успахи и въ драматической поэзін, какіе пріобрѣль уже въ лирической и эпической. Сцена изъ "Бориса Годунова", напечатанная еще въ 1828 году, оправдала это ожидание. Въ 1829 году, во второмъ томъ "Стихотвореній Александра Пушкина", была напечатана "Сцена изъ Фауста". Это быль не переводъ какого-нибудь отрывка изъ знаменитой драматической поэмы Гёте, но варіація, разыгранная на ея тему. Многимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гётева "Фауста", порфинли, будто она лучше его. Дфиствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между нею и Гётевымъ "Фаустомъ" натъ ничего общаго. Она не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи "Демонъ". Этотъ демонъ былъ "довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ". Онъ соблазиялъ однихъ

Въ тъ дни, когда имъ были *новы* Всъ впечатлънья бытія.

Поэтому ему легко было подшучивать надыними, и они со страхомы смотрели на него, ибо,

Неистощимый клеветою,
Онъ провидёнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасною мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вёрилъ онъ любви, свободё;
На жизнь насмёшливо глядёлъ—
И ничего во всей природё
Благословить онъ не хотёлъ.

"Печальны, — говорить Пушкийь, — были мои встрѣчи съ инмъ!" Знакомое съ демономъ другого поэта, наше время съ улыбкою смотритъ на пушкинскаго чертёнка. И не диво: для кого существуетъ истина, красота и благо, тѣ не сомнѣваются теперь въ ихъ существованіи; для кого же они не существуютъ, тѣ и не заботятся о нихъ. Но для первыхъ есть другой демонъ; и если они знали его,—

Ихъ умъ, бывало, возмущалъ Могучій образъ; межъ нныхъ видѣній, Какъ царь, нѣмой и гордый, онъ сіялъ Такой волшебно-сладкой красотою, Что было страшно...

Это уже демонъ совсёмъ другого рода: отрицать все для одного отрицанія и существующее стараться представлять несуществующимъ — для него было бы слишкомъ пошлымъ занятіемъ, которое онъ охотно предоставляетъ мелкимъ бёсамъ дурного тона, дьявольской черни и сволочи. Самъ ке онъ отрицаетъ для утвержденія, разрушаетъ для созиданія; онъ наводить на человёка сомнёніе не въ дёйствительности истины, какъ истины, красоты, какъ красоты, блага, какъ блага, но какъ этой истины, этой красоты, этого блага. Онъ не говоритъ, что истина, красота, благо—призраки, порожденные больнымъ воображеніемъ человёка; но говоритъ, что иногда не все то истина, красота и благо, что считаютъ за истину, красоту и благо. Если-бъ онъ, этотъ демонъ отрицанія, не

893

uper

подо

ішкі

¢ъ (

вели

Can

.T(

B

I

:a:

rei

10

HII

пр

83

II

B.

H

CE

H

признавалъ самъ истины, какъ истины, что противопоставилъ бы онъ ей? Во имя чего сталъ бы онъ отрицать ея существованіе? Но онъ тъмъ и страшенъ, тъмъ и могущъ, что едва родитъ въ васъ сомнине въ томъ, что досели считали вы непреложною истиною, какъ уже кажеть вамъ издалека идеаль новой истины. И пока эта новая истина для васъ только призракъ, мечта, предположеніе, догадка, предчувствіе, пока не сознали вы ея и не овладели ею, вы-добыча этого демона и должны узнать всё муки неудовлетвореннаго стремленія, всю пытку сомнѣнія, всѣ страданія безотраднаго существованія. Но, въ сущности, это преблагонам вренный демонъ; если онъ и губитъ иногда людей, если и делаеть несчастными целыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человъчеству и всегда выручая его. Это демонъ движенія, въчнаго обновленія, въчнаго возрожденія...

Этого демона Пушкинъ не зналъ и оттого такъ заботился о родословныхъ вообще. Его Мефистофель въ "Сценъ изъ Фауста"—все тотъ же мелкій чертёнокъ, котораго воспьлъ онъ въ молодости подъ громкимъ именемъ "Демона". Это простонапросто острякъ прошлаго стольтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зѣвоту и хоромій сонъ. Фаустъ Пушкина—не измученный неудовлетворенною жаждою знанія человъкъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ,—ип homme blasé. Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко и потому читается легко и съ удовольствіемъ.

"Пиръ во время Чумы", отрывокъ изъ трагедін Впльсона: "The city of the plague", принадлежитъ къ загадочнымъ произведеніямъ Пушкина. Всёмъ извъстно, что "Скупой Рыцарь" — его оригинальное произведение, а онъ назвалъ его отрывкомъ изъ траги-комедін Ченстона: "The coveteous Knight", для того, какъ говорять, чтобъ посмотрѣть, какое дъйствіе произведеть на нашу публику это сочиненіе. Можеть быть, и Вильсонь — родной брать Ченстону, хотя и есть слухи, что какъ Вильсонъ, такъ и пьеса его факты не вымышленные. Какъ бы то ни было, но если пьеса Вильсона такъ же хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этотъ Вильсонъ написалъ великое произведение. Можетъ быть и то, что Пушкинъ только воспользовался идеею, воспроизведя ее по-своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывокъ, а цѣлое, оконченное произведение. Основная мысль — оргія во время чумы, оргія отчаянія, тімь болье ужасная, чёмь более веселая. Мысль поистине трагическая! И какъ много выразиль Пушкинъ въ этой маленькой поэмѣ, какъ рѣзко обрисованы въ ней характеры, сколько драматическаго движенія и жизни! Умилительная пѣсня Мэрп, столь наивная и нѣжная выраженіемъ, столь страшная содержаніемъ, производить на читателя невыразимое впечатленіе. Какъ много страшнаго смысла въ просьбъ предсъдателя оргін спъть эту пъсню! Но пъсня предсъдателя оргін въ честь чумы — яркая картина гробового сладострастія, отчалинаго веселья: въ

ней слышится даже вдохновеніе несчастія и, можеть быть, преступленія сильной натуры... Такіе переводы, если они и близко вёрны подлинникамъ, стоять оригинальныхъ произведеній. Не потому ли на Жуковскаго у пасъ никто не смотрить, какъ на переводчика, хотя и всё знають, что лучшія произведеній, произведеній, произведеній, произведеній произведенній произведеній произв

его произведенія-переводы? "Моцартъ и Сальери" — целая трагелія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мошнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея-вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильною страстью къ искусству и къ славъ. Любя искусство для искусства, онъ приносять е: въ жертву всю жизнь, всё радости, всё надеж свон; съ невъроятнымъ самоотвержениемъ предаю: его изученію, готовы пойти въ рабство, закас лить себя на и сколько леть какому-нибудь худо нику, лишь бы онъ открыль имъ тайны своего нскусства. Если такой человъкъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходитъ самодс вольный Тредьяковскій, который и живеть, и умираеть съ убъжденіемь, что онь-великій геній. Но если это челов къ дъйствительно съ талантомъ, а главное-съ замъчательнымъ умомъ, съ способностію глубоко чувствовать, понимать и ценить искусство-изъ него выходитъ Сальери. Для выраженія своей пден Пушкинъ удачно выбралъ эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извъстнаго лица, онъ могъ сдёлать, что ему угодно; но въ лице Моцарта онъ исторически удачно выбралъ безнечнаго художника, "гуляку празднаго". У Сальери своя логика; на его сторонъ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношеніи къ истинъ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, не вознагражденной славою. Изъ всёхъ болёзненныхъ стремленій, страстей, странностей самыя ужасныя тѣ, съ которыми родится человѣкъ, которыя, какъ проклятіе, получиль онь при рожденіи вмість съ своею кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человѣкъвсегда лицо трагическое; онъ можеть быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смѣшонъ. Его страстьродъ помѣшательства при здравомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ любитъ музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ понялъ, что Модартъ-геній, и что онъ, Сальери, ничто передъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и никому не завидоваль. Пріобрѣтенная имъ слава была счастіемъ его жизни; онъ ничего больше не требоваль у судьбы, — и вдругъ видить онъ "безумца, гуляку празднаго", на челѣ котораго горитъ по-

О, небо!

мазаніе свыше...

Гдь-жь правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній—не въ награду Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ,— А озаряеть голову безумца, Гуляки празднаго?.. О, Моцарть, Модарть!

Моцартъ является со всею простотою, веселостью,

шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всёхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію пе нодозрѣвающій собственнаго величія, или не видящій въ немъ ничего особеннаго. Опъ приводить съ собой къ Сальери слѣпого скринача-нищаго и велитъ ему сыгратъ что-пибудь изъ Моцарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высого искусства; Моцартъ хохочетъ, какъ шаловый ребенокъ, потомъ играетъ для Сальери фанію, набросанную пмъ на бумагу въ безсонную въ, — и Сальери восклицаетъ въ ревнивомъторгъ:

Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь,— \mathcal{H} знаю, \mathcal{A} ...

ть отвъчаеть ему напвно:

Ба! право? можетъ быть... божество мое проголодалось.

те: Моцартъ не только не отвергаетъ аго ему другими титла генія, но и самъ азывать себя генемъ, вмёстё съ тёмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное доброждие и безпечность: для Монарта слово "геній ніпочемь; скажите ему, что онь геній, онь преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній, -- онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицъ Моцарта Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніальности, которая проявляеть себя безъ усилія, безъ расчета на успѣхъ, нисколько не подозръвая своего величія. Нельзя сказать, чтобъ всь геній были таковы; но такіе особенно невыносимы для тадантовъ вродъ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому самая простота Модарта, его неспособность ценить самого себя еще больше раздражають Сальери. Онъ не тому завидуеть, что Моцарть выше его, - превосходство онъ могъ бы вынести благородно, потому что онъ инчто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ-геній, а таланть передь геніемь — ничто... И воть онъ твердо ръшается отравить его. "Иначе, -- говорить онь, -мы вст ногибли, мы вст, жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Въдь онъ не подыметь искусства еще выше? Въдь оно опять падеть послъ его смерти?" Воть она, логика страстей!..

За об'ёдомъ, въ трактиръ, Модартъ случайно епросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравилъ. Какъ истинный итальянецъ, Сальери отвъчаетъ, что едва ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смъщонъ для такого ремесла. Моцартъ дълаетъ при этомъ наивное замъчаніе:

Онъ же геній, Какт ты, да я. А геній и злодъйство— Двъ вещи несовмъстныя. Не правда-ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальерп. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодушныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдалъ Сальери. Онъ

зналъ себя, какъ человъка способнаго на злодъйство, а между тъмъ самъ геній говорить, что геній и злодъйство несовмъстны, и что, слъдовательно, онь, Сальери, не геній. А! такъ я не геній? Вотъ же тебъ, —и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выпилъ, Сальери какъ бы съ смущеніемъ и ужасомъ восклицаеть:

Постой, Постой, постой!.. ты выпиль!.. безь меня?

Это опять истинно-драматическая черта. Но воть одна изъ тёхъ смёлыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе человѣческаго сердца чертъ, которыя никогда не могутъ прійти въ голову таланту, всегда живущему "плѣнной мысли раздраженьемъ", и на которыя онъ никогда не рѣшится, если-бъ онѣ и могли прійти къ нему: это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершиль я долгь,
Какъ будто ножь цёлебный мнё отсёкъ
Страдавшій члень! Другъ Моцарть, эти слезы...
Не замёчай ихъ. Продолжай, спёшн
Еще наполнить звуками мнё душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какою-то даже нѣжностію къ Моцарту! "Другъ Моцартъ": видите ли, убійца Моцарта любить свою жертву, любить ее художественною половиною души своей, любить ее за то же самое, за что и ненавидить... Только великіе, геніальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой натуры такія странныя, повидимому, противорѣчія и изображать ихъ такъ, что они становятся намъ понятными безъ объясненій...

Послѣднія слова Сальери, когда, по уходѣ Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляютъ и замыкаютъ въ самой себѣ сцену:

Ты заснешь Надолго, Моцарть! Но ужель онъ правъ, И я не геній? Геній и злодъйство— Двъ вещи несовмъстныя. Не правда: А Бонаротти? Или это сказка Тупой, безсмысленной толпы—и не быль Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно-художественной формъ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъсвоею несоразмърностью съ нашими силами. Ничего нътъ легче, какъ говорить о слабомъ произведеніи или открывать слабыя стороны хорошаго; ничего нътъ труднъе, какъ говорить о произведеніи, которое велико и въ цёломъ, и въ частяхъ. Къ такимъ принадлежатъ: "Моцартъ и Сальери", "Скупой Рыцарь", "Каменный Гость" и "Русалка", о которыхъ, за исключеніемъ перваго, еще никъмъ изънашихъ журналистовъ и критиковъ доселъ не сказано ин одного слова...

Нечего говорить объ идеѣ поэмы "Скупой Рыцарь": она слишкомъ ясна и сама по себѣ, и по прочь;

I, дится;

полу ржить по дугерои учивъ засканика, мила.

хоръ пески-"Ро-

> ь КЪ нвой но-

> > rait

ÀLT

C'I:

названію поэмы. Страєть скупости—пдея не новая, но геній умфеть и старое сделать новымь. Идеаль скупца одинъ, но типы его безконечно различны. Илюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ: это-лицо комическое; баронъ Пушкина ужасенъ: это-лицо трагическое. Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера — риторическое олицетвореніе скупости, карикатура, памфлеть. Нъть, это лица страшно истинныя, заставляющія содрогаться за человъческую природу. Оба они пожираемы одною гнусною страстью, и все-таки нисколько одинъ на другого не похожи, потому что и тотъ, и другойне аллегорическое олицетворение выражаемой ими иден, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина — лицо трагическое. Альберъ говорить жиду: когда мив будеть пятьдесять леть, на что мив тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги?—Деньги
Всегда, во всякій возрасть намъ пригодны:
Но юноша въ нихъ ищеть слугъ проворныхъ,
И, не жалъя, шлеть туда, сюда;
Старикъ же видить въ нихъ друзей надежныхъ,
И бережетъ ихъ, какъ зъницу ока.

Альберъ.

О! мой отець не слугь и не другей Вь нихь видить, а господь; и самь имъ служить, И какъ же служить? какъ алжирскій рабъ, Какъ песъ цепной. Въ нетопленой конургъ Живетъ, пьетъ воду, пъстъ сухія корки, Всю ночь не спитъ, все бъгаетъ да лаетъ.

Въ этомъ портретв мы видимъ лицо чисто-комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдв этотъ скряга любуется своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтическаго факела осветитъ намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естествениа, что у ней есть своя логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Что не подвластно мнъ?.. Какъ нъкій демонъ, Отселъ править міромъ я могу; Лишь захочу—возвигнутся чертоги; Въ великолъпные мон сады Сбъгутся нимфы ръзвою толпою; И музы дань свою мив принесуть, И вольный геній мнъ поработится, И доброджень, и безсонный трудъ Смиренно будуть ждать моей награды; Я свистну-и ко мню послушно, робко Вползеть окровавленное злодкиство И руку будеть мню лизать, и въ очи Смотръть, въ нихъ знакъ моей читая воли. Мнъ все послушно, я же-ничему; Я выше всёхъ желаній; я спокоенъ; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья...

Ужасно, потому что истинно! Да, въ словахъ этого отверженца человъчества, къ несчастно, все истинно, кромъ того, что не въ его волъ пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за порокъ скупости. Скупецъ раскрываетъ всъ свои сундуки и зажигаетъ (ужасное мотовство!) по свъчъ передъ каждымъ изъ нихъ.

Это-его сладострастіе, его оргія! При вида осващенныхъ грудъ золота онъ приходить въ сатанинскій восторгь, и въ патетической річи обнажаеть передъ нами страшныя тайны страшнъйшей изъ человъческихъ страстей. Золото-кумиръ этого человъка, онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говорить о немъ языкомъ благоговънія, служить ему, какъ преданный, усердный жрець! Расточить его наследство, по его мивнію, значить: разбить священные сосуды, напопть грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотрить еще на золото, какъ молодой, пылкій человѣкъ на женщину, которую онъ страстно любить, обладание которою онъ купиль цѣною страшнаго преступленія и которая тѣмъ дороже ему. Онъ хотъль бы спрягать ее отъ "недостойныхъ взоровъ"; его ужасаетъ мысль, чтобы она не принадлежала кому-нибудь послъ его смерти...

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположенію, по страшной силѣ павоса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотѣ и оконченности,—словомъ, по всему эта драма — огромное, великое произведеніе, вполнѣ достойное генія самого Шекспира.

Изъ міра среднихъ вѣковъ Западной Европы, изъ міра рыцарей и феодальныхъ рабовъ, перейдемъ въ міръ древней Руси, міръ полуисторическій, міръ полусказочный. Говорятъ, будто "Русалка" была писана Пушкинымъ, какъ люретто для оперы. Если бы это было и правда, то хотя самъ Моцартъ написалъ бы музыку на эти слова, — опера не была бы выше своего либретто, — тогда какъ до сихъ поръ лучшія оперы писаны на глупѣйшія и пошлѣйшія слова... Но это предположеніе едва ли основательно. За исключеніемъ двухъ хоровъ русалокъ и одной свадебной пѣсии, да голоса невидимой русалки на свадебномъ пиру, вся пьеса писана пятистопнымъ ямбомъ, слишкомъ длиннымъ и однообразнымъ для пѣнія.

Въ фантастической формъ этой поэмы скрыта самая простая мысль, разсказана самая обыкновенная, но темь более ужасная исторія. Мельникъ, челов вкъ не злой, не развратный, но слабый сколько по любви къ дочери, столько, можетъ быть, и по страху къ княжескому могуществу, сквозь пальцы смотрълъ на связь своей дочери съ княземъ. Какъ человъкъ хладнокровный, какъ мужчина, онъ тотчасъ же понядъ, почему посъщенія князя на его мельницу сдёлались рёже, и, видя, что стараго уже не воротить, совттуеть дочери воспользоваться хоть матеріальными выгодами этой связи. Но дочьсущество любящее и страстное, привязчивое, -- слѣдовательно, обреченное на несчастіе и гибель,--и върнть не хочеть, чтобъ ел любезный охладъль къ ней. Она говорить:

> Онъ занятъ; мало-ль у него заботы? Въдь онъ не мельникъ; за него не станетъ Вода работать! Часто онъ твердитъ, Что всъхъ трудовъ его труды тяжеле.

Мельникъ.

Да, върь ему. Когда князья трудятся? И что ихъ трудъ? травить лисицъ и зайцевъ, Да пировать, да собирать сосъдей. Да подговаривать васъ, бъдныхъ дуръ. Опъ самъ работаеть,—куда какъ жалко!

Но слышится топоть коня—и бъдная женщина все забыла. Она видить, что князь нечаленъ, но не умъстъ, не можетъ понять сразу, отчего такъ гревожитъ се эта печаль. Онъ объясняется съ нею довольно осторожно, но тъмъ не менъе ясно: онъ женится на другой: онъ князь,—онъ не воленъ въ выборъ невъстъ... Она оцъненъла, а онъ, близорукій мужчина, радехонекъ, что дъло обошлось безъ бури, не понимая, что эта тишина страшиъе всякой бури,—и на полумертвую падъваетъ онъ повязку и ожерелье, даетъ ей для отца мъщокъ денегъ и хочетъ упти...

Опл.

Постой, тебъ сказать должна я— Не помню что.

> Киязь. Припомип.

> > Она.

Для тебя

Я на все готова... Нётъ, не то... Постой... Нельзя, чтобы павъки въ самомъ дълъ Меня ты могъ покицуть... Все не то... Да, вспоминла: сегодия у меня Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся...

За этою страшною, трагическою сценою слёдуеть другая, не менёе ужасная. Подарки князя глубоко оскорбили несчастную. Она отдаеть отцу его мёшокъ съ деньгами.

Да, бишь, забыла я: тебъ отдать Велъль онъ это серебро за то, Что быль хорошь ты до него, что дочку За нимъ пускаль таскаться, что ее Держаль не строго... Въ прокъ тебъ пойдеть моя погибель!..

Мельникъ (ст слезахт). До чего я дожилъ! Что Богъ привелъ услышать!

Бъднякъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ... несчастная бросплась въ Днъпръ... Мы на свадьбъ, картина которой съ удивительною върностью передана поэтомъ во всемъ ея простодушіи старинных русскихъ нравовъ. Хоръ дъвушекъ — прелесть... Вдругъ, среди напвнаго веселья, раздается фантастическій голосъ...

По камункамъ, по желтому несочку Пробъгала быстра ръчка; Въ быстрой ръчкъ гуляютъ двъ рыбки, Двъ рыбки, двъ рыбки, двъ рыбки, двъ рыбки, двъ малыя плотицы. А слыхала-ль ты, рыбка-сестрица, Про въсти-то наши, про ръчныя? Какъ вечоръ у насъ красная дъвица уто-

Утопая, милаго друга проклинала?

Общее смятеніе. Князь велить конюшему отыскать мельничиху; ея, разумбется, не на-холять...

Прошло двёнадцать лёть. Княгиня жалуется на охлажденіе къ ней мужа; няня утёшаеть ее, пе подозрёвая, что въ грубой и невёжественной простоть ся добродушныхъ словъ скрывается ужасная, роковая истипа:

вълинский. т. п.

Енягинюшка! мужчина—что пвтухъ: Курп-куку! махъ, махъ крыломъ—и прочь; А женщина —что бъдная насъдка Сиди себъ да выводи цыплятъ. Пока женихъ—ужъ онъ не насидится, Ин пьеть, ин ъстъ, глядитъ— не наглядится: Женился—и заботы настаютъ: То падобно сосъдей навъстить. То на охоту ъхать съ соколами, То на войну нелегкая несетъ, Туда, сюда—а дома не сидится.

Не есть ин это законная кара сильному полу за беззаконное рабство, въ которомъ онъ держитъ слабый полъ? Такъ по крайней мѣрѣ, можно думать по окончанію любовныхъ похожденій героз поэмы, этого русскаго Донъ - Хуана... Наскучивъ женою, онъ вспомилъ о прежвей любви, раска-ялся, какъ въ глупости, что бросилъ дочь мельника. не понимая, что она потому только стала ему мила, что ен нѣтъ съ нимъ, что его жена уже не мила сму...

Сцена на берегу Днѣпра. Ночь. Раздается хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фантастически-дикимъ павосомъ оргін Valse infernal паъ "Роберта Дьявола":

Веселой толпою Съ глубокаго дна Мы ночью всилываемъ; Насъ грветъ луна. Любо намъ почной порою Дно рѣчное покидать, Любо вольной головою Высь рѣчную разрѣзать, Подавать другъ дружкѣ голосъ, Воздухъ звонкій раздражать И зеленый, влажный волосъ Въ немъ сушить и отряхать.

Одна.

Тише! птичка подъ кустами Встрепенулася во мглъ.

Другая.

Между мъсяцемъ и нами Кто-то ходить на землъ.

Этотъ "кто-то" — князь, котораго влекуть къ этимъ мѣстамъ воспоминанія прежней счастливой любви. Вдругъ онъ встрѣчается съ отцомъ погубленной имъ дѣвушки.

Старикъ.

Здорово,

Здорово, зять!

Князь.

Кто ты?

INTO TEL:

Старикъ. Я—здъщній воронъ.

Князь.

Возможно-ль? это мельникъ!..

Старикъ.

Какой я мельникъ! Говорятъ тебѣ, Я—воронъ, а не мельникъ. Чудный случай: Когда (ты помнишь?) бросилась она Въ ръку, я побъкалъ за нею слъдомъ И съ той скалы спрыгнуть хотъль, да вдругъ Почувствовалъ: два сильныя крыла Миъ выросли внезапио изъ-подъ мышекъ И въ воздухъ сдержали. Съ той поры То здъсь, то тамъ летаю, то клюю Корову мертвую, то на могилъ Сижу да каркаю.

Отосланная княземъ свита является онять къ пему, по приказанію обезнокоенной княгини. Это вниманіе со стороны уже пелюбимой имъ жены раздражаетъ его, и досада его изливается обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и тъмъ же съ тъхъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ существуютъ въ немъ охладълые любовники и постоянныя любовницы, и наоборотъ:

Несносна Ея заботливость! Иль я ребенокъ, Что шагу мнъ нельзя ступпть безъ няньки?

Въ последней сцене князь встречается съ своею дочерью-русалкою, которая послана матерыю уловить его... Какъ жаль, что эта пьеса не кончена! Хотя ея конецъ и понятенъ: влязь долженъ погнбнуть, увлеченный русалками на дно Днёпра. Но какими бы фантасическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина—и все это погибло для насъ!.. "Русалка" въ особенности обнаруживаетъ необыкновенную зрёлость таланта Пушкина: великій талантъ только въ эпоху полнаго своего развитія можетъ въ фантастической сказкъ высказать столько общечеловъческаго, дъйствительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаень читать совсёмъ не сказку, а высокую тратедію...

Теперь мы приблизились къ перлу созданій Пушкина, къ богатъйшему, роскошнъйшему алмазу въ его поэтическомъ вѣнкѣ... Для кого существуетъ искусство, какъ искусство, въ его идеалъ, въ его отвлеченной сущности, для того "Каменный Гость" не можеть не казаться, безъ всякаго сравненія, лучшимъ и высшимъ, въ художественномъ отношеніп, созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между ндеею и формою! какой стихъ, - прозрачный, мягкій и упругій, какъ волна! благозвучный, какъ музыка! какая кисть, -- широкая, смізлая, какъ будто небрежная! какая антично - благородная простота стиля! какія роскошныя картины волшебной страны, гдт ночь лимономъ и лавромъ пахнетъ! Принимаясь перечитывать это чудное создание искусства, восклицаень мысленно къ поэту:

Елагословенный край, ильнительный предвля!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зръють...
О, разскажи-жъ ты намъ, какъ жены тамъ умъютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаеть письмо изъ-за ръшетки,
Какъ златомъ усыпленъ надзоръ ревнивой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать лътъ любовникъ, подъ
Окномъ.

Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащомъ...

Такая тема не можетъ пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихъ она не имѣетъ ровно пикакой цѣны; для понимающихъ певозможно любить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхъ много, послѣднихъ мало, и потому она существуетъ для немногихъ...

Герой ея—лицо мноическое, испанскій Фаусть. Идея Донъ-Хуана могла родиться только въ странъ, гдъ жить значить—любить и драться, а быть счастливымъ и великимъ значить - быть любимымъ и

храбрымъ, -- въ странъ, гдъ религіозность доходитъ до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до изступленія, гдф романическая настроенность дфлаетъ героемъ и кавалера, и разбойника. Но Донъ-Хуанъ, такой, какимъ является онъ у Пушкина, не паступленный любовникъ, не мрачный дуэлистъ: онъ одаренъ всемъ, чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетворенію своихъ желаній. Красавецъ собою, стройный, ловкій, онъ весель и остеръ, искрененъ и лживъ, страстенъ и холоденъ, уменъ и повъса, красноръчивъ и дерзокъ, храбръ, смёлъ, отваженъ. Какъ во всякой высшей натурь, въ немъ есть что-то импонирующее. Можеть быть, это спла его воли, шпрокость и глубина его души. Для него жить значить наслаждаться: посреди своихъ нобъдъ, онъ сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперинка въ честномъ бою и насладиться любовью въ присутствін трупа-ему ровно ничего не значить. Онъ върптъ въ свою звъзду, и нотому на всякаго, кто вызоветь его, смотрить заранке, какъ на убитаго. Такіе люди опасны для женщинь и не знають, что такое неуспиль въ любви или волокитствъ. Женщина больше всего обожаеть въ мужчинф силу, мужественность, могущество. Она любить, чтобь онь быль съ нею не только ижжень, но и дерзокъ. Донъ-Хуанъ имжетъ въ себъ все это. Въ глазахъ женщини опъ-левъ между мужчинами, не въ новъйшемъ, пошломъ значенін этого слова, означающаго франта и модинка, а въ смыслѣ превосходства, храбрости и мужества.

Донъ-Хуанъ является ночью въ Мадридъ. Изъ его разговора съ слугою мы узнаемъ, что онъ былъ въ ссылкъ за дуэль и воротился тайкомъ. Онъ спрашиваетъ у Ленорелло, могутъ ли узнать его?

Да, Донъ-Хуана мудрено признать! Такихъ, какъ онъ, такая бездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видио ясно, что такое Донъ-Хуанъ для всего Мадрида. Мѣсто, въ которомъ они находились въ то время, наноминаетъ Донъ-Хуану женщину, которую онъ, кажется, любилъ больше другихъ,—и онъ говоритъ задумчиво:

•Бъдная Инеза! Ея ужъ нътъ! Какъ я любилъ ее!

Чудную пріятность
Я находиль вь ся печальномь взорѣ
И помертвелыхь губкахь. Это странно.
Ты, кажется, ее не находиль
Красавицей. И точно,—мало было
Въ ней истинно прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядь... такого взгляда
Ужь пикогда я не встречаль. А голосъ
У ней быль тихь и слабъ, какъ у больной;
А мужь ея быль пегодяй суровый,—
Узналъ я поздно... Бъдная Инеса!

Въ этихъ немногихъ стихахъ цёлый портреть женщины, вся исторія ся жизни... Самое восноминаніе о ней, столь полное любви и грусти, уже говоритъ, какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умёла привязать къ себъ такого человъка. Но грусть восноминанія не долго запимаетъ Цопъ-Хуана.

Лепорелло.

Что-жъ? всявдъ за ней другія были.

Донъ-Хуанъ. Правда.

Ленорелло.

А живы будемъ, будуть и другія.

Донъ-Хуапъ.

И то.

На этотъ разъ онъ хочетъ идти къ Лауръ. Но явлиется монахъ, и отъ него наши авантюристы узнають, что на монастырское кладбище сейчасъ должна прійти донья-Анна, чтобъ плакать на могилъ своего мужа, убитаго нашимъ героемъ. Донъ-Хуанъ усиълъ замътить только ея узенькую ножку; но этого довольно для него, чтобъ ръшитъся узнать ее нокороче; а пока онъ спъшитъ къ Лауръ.

Лаура-актриса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней піть притворства и лицемірія; она вся наружу. Молодая и прекрасная, она не думаеть о будущемъ и живетъ для настоящей минуты. Она въчно окружена мужчинами и обходится съ ними безъ церемоній, иногда даже съ какимъ-то грапіознымь цинизмомъ. У ней гости; они въ восторгъ отъ ея игры въ этотъ вечеръ; только одинъ между пими мраченъ. Это Донъ-Карлосъ, у котораго Донъ-Хуанъ убилъ брата. Она спѣла пѣсию ("Я здѣсь, Паезилья") и сказала, что эту пѣсню сочивилъ "ел върный другъ, ел вътреный любовникъ" Донъ-Хуанъ. Это имя приводить Донъ-Карлоса въ бѣшенство, и онъ ругаетъ его безбожникомъ и мерзавцемъ, а ее-дурою. Она грозитъ велѣть слугамъ своимъ заръзать его; но онъ успоконвается, и они мирятся. Гости уходять, и она говорить Карлосу:

> Ты, бългеный, останься у меня: Ты мит понравимся; ты Донъ-Хуана Напомнилъ мит, какъ выбранилъ меня И стиспуль зубы съ екрежетомъ.

Оставшись съ нею, Карлосъ, вмѣсто лести и любезности, заводитъ мрачные разговоры. "Теперь ты молода, -- говорить онь ей, -- окружена поклонинками, а леть черезъ шесть, когда глаза твои впадуть и съдина блеснетъ въ косъ, что тогда съ тобою будеть?"— Этоть человёкь тоже истый испанець, какь и Донъ-Хуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ наединъ съ прекрасною женщиной, которая сказала ему, что она его любить; къ старости же-изъ него быль бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ убъжденіемъ и спокойною совъстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ наслажденіемъ бичеваль бы самого себя... Лаура въ старости сдёлалась бы дуэньею и мастерски помогала бы ввъренной ея блительности жент проводить за носъ мужа, а, можеть быть, пошла бы и въ монастырь: по пока она не хочеть слышать о вздорів-о будущемъ...

Является Донъ-Хуанъ: Лаура въ радости бросается ему на шею; Карлосъ вызываетъ его — и падаетъ мертвыи.

> Донъ - Хуанъ. Вставай, Лаура, —кончено.

JIAYPA.

Что тамъ? Убитъ? Прекрасно! въ комнать моей! Что дёлать мий теперь, повёса, дьяволь? Куда я выброшу его?

> Донъ-Хуанъ. Выть можетъ,

Онъ живъ еще.

HAYPA.

Да! живъ! гляди, проклятый, Ты прямо въсердцеткнулъ— пебось, пе мимо. И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки, А ужъ не дышитъ—каково?

Въ слъдующей сцепъ Донъ-Хуанъ, въ монашеской рясъ, уже разговариваетъ съ доньей-Анною. Она просить его соединить молитвы съ ея молитвами.

Мнѣ, миѣ молиться съ вами, донна-Анна! Я педостониъ участи такой; Я не дерзну порочными устами Мольбу святую вашу повторять; Я только издали съ благоговъньемъ Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо. Вы кудри черные на мраморт блюдний Разсиллете—и минтся миѣ, что тайно Гробинцу эту ангелъ посѣтилъ: Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю Тогда моленій. Я дивлюсь безмольно И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ Согрѣтъ ся дыханіемъ небеснымъ и окроиленъ любви ся слезами.

Что это — языкъ коварной лести или голосъ сердца? Мы думаемъ, и то п другое вмъсть. Отличіе людей такого рода, какъ Донъ-Хуанъ, въ томъ и состоить, что они умфють быть искренно-страстными въ самой лжи и непритворно-холодными въ самой страсти, когда это нужно. Донъ-Хуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами; не онъ у нихъ, а они у него во власти и служать ему къ достижению цели. Донья-Анна нзумлена странностію такихъ річей въ устахъ монаха; но Донъ-Хуанъ идетъ далбе и съ изумительною дерзостью признается ей, что онъ-не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ пменемъ. Сцена эта ведена съ непостижимымъ искусствомъ. Донья - Анна гонитъ его прочь, а между темъ хочетъ знать, кто же онъ, и чего онъ тре-

Смерти!
О, пусть умру сейчасть у вапних ногь, Пусть бёдный прахъ мой здёсь же похоронять, Не подлё праха милаго для васть, Не туть—не близко—далё гдё-инбудь. Тамь—у дверей—у самаго порога, Чтобъ камин моего могин коснуться Вы легкостью погой или одеждой, Когда сюда, на этоть гордый гробъ, Придете кудри наклонять и плакать...

Донья-Аниа защищается все слабе и слабе; у ней вырывается кокстливый вопросъ: "И любите давно ужъ вы меня?" Самолюбіе ея затронуто,— до сердца недалеко... Она назначила ему свиданіе у себя дома, завтра вечеромъ...

Донья-Анпа — такъ же истая испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родъ. Та — баядера свропейскихъ обществъ, а эта — ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лицемърною и пріученная къ лицемърству. Она — девотка; посъщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (суроваго старика, за котораго вышла насильно и котораго никогда не любила) — суть единственная отрада, единственное утъщеніе ея, бъдной, безутъщной вдовы... Но она — женщипа, и притомъ южная; страсть у нея — дъло минуты, н ни нозоръ общественнаго митнія, ни лютая казнь не номъщають ей отдаться вполнъ тому, кто умъть заставить ее полюбить...

Донъ-Хуанъ въ восторгв отъ своего успвха. Хоть онъ и привыкъ къ победамъ, но эту онъ считалъ трудиве, чемъ оказалось, потому что цонья-Анна возбудила въ немъ сильную страсть. Новъса, въ радости своей, велитъ Лепорелло звать статую командора къ доньъ-Анив на завтрашній вечеръ. Статуя киваетъ головою въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасъ. Донъ-Хуанъ самъ зоветь се—и съ ужасомъ видитъ, что она кивпула и ему...

Но Донт-Хуант не такой человтк, чтобъ чтонибудь могло остановить его. Онт у вдовы. Речи
его страстны, нёжны, льстивы, вкрадчивы; искусно
сумёлть онь, возбудивть ся женское любопытство,
объявить доньт-Анит сбоственное имя... Онт хочетть, чтобъ его любили для него самого, чтобъ
его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она
уже любить его, и его дерзость еще больше увлекаеть ее. Не тороиясь глупо, онт просить на разставанье только одного холоднаго и мирнаго поцёлуя — и получаеть поцёлуй... Но вотъ входить
статуя, съ словами: "Я на зовъ явился".

Донъ-Хуанъ. О Воже! донна-Анна!

Статуя.

Брось ее; Все кончено. Дрожишь ты, Донъ-Хуанъ? Донъ-Хуанъ.

Я? нъть! я зваль тебя, и радъ, что вижу. Статуя.

Дай руку.

Донъ-Хуанъ.
Вотъ она... о, тяжело
Пожатье каменной его десинцы!
Оставь меня, пусти, пусти мив руку!..
Я гибиу... кончено... о дониа-Анпа!..

Онъ проваливается. Это фантастическое основаніе поэмы на вмѣшательствѣ статуи производить непріятный эффекть, потому что не возбуждаеть того ужаса, который обязано бы возбуждать. Въ наше время статуй не боятся, и внѣшнихъ развязокъ, deus ех тасніпа, не любятъ; но Пушкинъ былъ связанъ преданіемъ и оперою Моцарта, неразрывною съ образомъ Донъ-Хуана. Дѣлать было печего. А драма непремѣню должна была разрышться трагически—гибелью Донь-Хуана; иначе она была бы веселою повѣстью— не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ея основаніи. Что такое Донъ-Хуанъ?—Каждый человѣкъ, чтобъ жить не одною физическою жизнію, но и прав-

ственною вмъстъ, долженъ имъть въ жизни какойнибудь интересъ, что-нибудь вродъ постоянной склонности, влеченія къ чему-пибудь. Иначе жизнь его будеть или неполна, или пуста. Въ людяхъ высшей природы этотъ интересъ, эта склонность, это влечение проявляются, какъ могущественная страсть, составляющая ихъ сплу. Одинъ находитъ свою страсть, навосъ своей жизни, въ наукъ, другой-въ искусствъ, третій - въ гражданской дъятельности, и т. д. Донъ-Хуанъ посвятилъ свою жизнь наслаждению любовью, не отдаваясь однако-жъ ни одной женщигь исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мужчинв невозможно наполнить всю жизнь свою одною любовью, -- его одностороннее стремление не могло не обратиться въ безиравственную крайность, потому что, для удовлетворенія ея, онъ долженъ былъ губить женщинь, по ихъ положению въ обществъ,и онъ сдёлалъ себе изъ этого ремесло. Оскорбленіе не условной, но истинно-правственной пден всегда влечеть за собою наказаніе, - разумфется, нравственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ Донъ-Хуану могла бы быть истинная страсть къ женщинъ, которая или не раздъляла бы этой страсти, или сдълалась бы ея жертвою. Кажется, Пушкинъ это и думалъ сдёлать: по крайней мірт, такъ заставляетъ думать последнее, изъ глубины души вырвавшееся у Донъ-Хуана восклицаніе: "О донна-Анна!", когда его увлекаетъ статуя; но эта статуя портить все дёло, въ чемъ, какъ мы замътили выше, нашъ ноэтъ не виноватъ инсколько.

Итакъ, несмотря на это, "Каменный Гость", въ художественномъ отношении, есть лучшее созданіе Пушкина,—а это много, очень много!

"Спены изъ рыцарскихъ временъ" представляютъ мѣщанина, возгнушавшагося своимъ состояніемъ и желавшаго попасть въ благородиые, а между тѣмъ чуть не попавшаго на висѣлицу. Такія исторін случались въ средніе вѣка, и Пушкинъ мастерски изложилъ одну изъ нихъ въ формѣ сденъ, писанныхъ прозою. Однако-жъ, эти сцены не имѣютъ достоинства глубокой идеи, которую поэтъ скорѣе бы могъ найти въ борьбѣ общинъ протнвъ феодаловъ... Впрочемъ, въ этихъ сценахъ есть превосходная иѣсня ("Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный"), въ которой сказано больше, нежели во всей цѣлости этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: "О царѣ Салтанѣ", "О мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ", "О золотомъ пѣтушкѣ", "О купцѣ Кузьмѣ Остолоиѣ и о работникѣ его Балдѣ" были плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но "Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ", о которой мы не упомянули въ числѣ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ псключенія потому что въ пей есть положительныя достопист'ва. Это не пародная сказка: народу принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, разсказъ, стихъ, самый колоритъ, — все принадлежитъ поэту.

Повъсти въ прозъ Пушкина, хотя и далеко не

могуть равняться въ достоннствъ съ лучшими стихотворными его произведеніями даже перваго періода его деятельности, однако темъ не мене принадлежать къ замівчательнымь произведеніямь русской литературы. Первый его опыть въ этомъ родѣ напечатань быль въ "Сѣверныхъ Цвѣтахъ" на 1829 годъ, подъ названіемъ: "IV глава изъ Историческаго Романа". Въ Х томъ полнаго собранія его сочиненій напечатано шесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ: "Арапъ Петра Великаго". Въ "Свверныхъ Цвътахъ" IV глава напечатана не вполив; но это едва ли не интереснайшій отрывокъ изъ всахъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорощо, какъ начать, мы имжли бы превосходный историческій русскій романъ, изображающій правы величайшей эпохи русской исторіи. Поэть, въ числе действуюшихъ лицъ своего романа, выводитъ въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россіи, во всей народной простоть его пріемовъ и обычаевъ. Не нонимаемъ, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Онъ имълъ время кончить его, потому что IV глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всѣ историческіе романы гг. Загоскина и Лажечникова, неизмъримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всёхъ ихъ, вмёстё взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго "Арапа Петра Великаго", бѣдны и жалки повъсти г. Кукольника, содержание которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго, и которыя всетаки не лишены достоинства. Но это вовсе не похвала "Арапу Петра Великаго": великому небольшая честь быть выше ингмеевъ, - а больше его у насъ не съ къмъ сравнивать.

Въ 1831 году вышли "Повъсти Бълкина", холодно принятыя публикою и еще холоднъе журналами. Дъйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все-таки эти повъсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вродъ повъсти Карамзина съ тою только разницею, что повъсти Карамзина имъли для своего времени великое значене, а повъсти Бълкина были ниже своего времени. Особенно жалка изъ нихъ одна—"Варышня-Крестьянка", неправдоподобная, водевильная, представляющая помъщичью жизнь съ идилической точки зрѣнія...

"Пиковая Дама"—собственно не повѣсть, а мастерской разсказъ. Въ ней удивительно вѣрно очерчена старая графиня, ея восшитанница, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эгопстическій характеръ Германа. Собственно, это не повѣсть, а апекдотъ: для повѣсти содержаніе "Пиковой Дамы" слишкомъ псключительно и случайно. Но разсказъ, повторяемъ, верхъ мастерства.

"Капитанская Дочка"— нѣчто вродѣ "Онѣгина" въ прозѣ. Поэтъ изображаетъ въ ней нравы русскаго общества въ дарствованіе Екатерины. Многія картины, по вѣрности, истипѣ содержанія и мастерству изложенія,—чудо совершенства. Таковы портреты отпа и матери героя, его гувернерафранцуза и, въ особенности, его дядьки изъ исарей, Савельича, этого русскаго Калеба,—Зурина, Миронова и его жены, ихъ кума Ивана Игнатьевича, иаконецъ самого Пугачева, съ его "господами енаралами"; таковы многія ецены, которыхъ, за ихъ множествомъ, не находимъ нужнымъ пересчитывать. Ничтожный, безцвѣтный характеръ героя повѣсти и его возлюбленной Марыи Ивановны и мелодраматическій характеръ Швабрина, хотя принадлежать къ рѣзкимъ недостаткамъ повѣсти,—однако-жъ не мѣшаютъ ей быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы.

"Дубровскій"—pendant къ "Капитанской Дочкв". Въ объихъ преобладаетъ навосъ номъщичьяго принципа, и молодой Дубровскій представлень Ахилломъ между людьми этого рода, — роль, которая рѣши-тельно не удалась Гриневу, герою "Капитанской Дочки". Но Дубровскій, несмотря на все мастерство, которое обнаружиль авторь въ его изображенін, все-таки остался лицомъ мелодраматическимъ и не возбуждающимъ къ себѣ участія. Вообще вся эта повъсть сильно отзывается мелодрамою. Но въ ней есть дивныя вещи. Старинный быть русскаго дворянства, въ лицъ Троекурова, изображенъ съ ужасающей верностью. Подьячее и судопроизводство того времени тоже принадлежать къ блестящимъ сторонамъ повъсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше — характеръ геронни, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французскіе романы спльно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дъйствительно героинею, готовою на всь жертвы для того, кого полюбить. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она делала возможныя безумства; но дошло до дёла — н она принялась за мораль и добродѣтель. Быть похищенною любовникомъ-разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобъ обвѣнчать съ развратнымъ старичникой, - казалось для нея очень "романическимъ", — следовательно, чрезвычайно заманчивымъ. Но Дубровскій опоздаль, — п она втайнѣ этому обрадовалась и разыграла роль вёрной жены, - слъдовательно, опять героини...

"Лѣтопись села Горохина"—шутка острая, милан и забавная, въ которой, впрочемъ, есть и серьезныя вещи, какъ, напримѣръ, прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

"Кирджали" — мастерской разсказъ истиннаго происшествія.

Объ "Исторін Пугачевскаго Бунта" мы не будемъ распространяться. Скажемъ только, что этоть историческій опыть—образцовое произведеніе и со стороны исторической, и со стороны слога. Въ послѣднемъ отношеніп Пушкинъ вполнѣ достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. "Исторія Пугачевскаго Бунта" показываеть, что, если-бъ онъ успѣлъ написать исторію Петра Великаго,—мы имѣли бы великое историческое созданіе...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со всъми своими предразсудками; въ нихъ виденъ человъкъ, не чуждый образованности своего

∵үщ

Pasy

VMO

: 467 il. .. [] ien Zasy. ·a: 'par Cond Добр

,5 Гума Grou Влас Спес Слаг Rips

Виві Янчи Муж Юно

вѣка, но по какому-то странному упорству добровольно оставшійся при идеяхъ Карамзина, очень ночтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. Но этому и по другимъ причинамъ, многія изъ его журнальныхъ статей ниже всякой критики. Но ифкоторыя изъ нихъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательны, — таковы, напримѣръ: "Ломоносовъ", "О Мильтонъ и Шатобріановомъ переводъ Потеряннаго Рая", "Рославлевъ". Очень любопытны его "Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замічанія"; въ нихъ онъ весь. Но полемическія его статьн-верхъ совершенства. Таковы: "Отрывокъ изъ Литературныхъ Летописей" и "Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Анеимовить Орловъ" и "Ифсколько словъ о мизинцъ г. Вулгарина и о прочемъ" *).

Трудъ нашъ конченъ. О достоинствъ его или недостаткахъ-судить нубликѣ; мы скажемъ только, что это еще первая попытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной деятельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотрели на его произведения съ любовью, по безъ ослѣпленія и предубѣжденій въ его пользу, или противъ него. Пусть другіе сділають это лучше насъ: мы первые поспѣшимъ отдать имъ должную дань хвалы и поучиться у нихъ.

Заключаемъ. Пушкинъ былъ по преимуществу

поэть-художникъ и больше инчемъ не могь быта по своей натуръ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ г кусство, какъ художество. И потому онъ навсег останется великимъ, образцовымъ мастером за а зін, учителемъ искусства. Къ особенными. ствамъ его поэзін принадлежить ея спос развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чул гуманности, разумёя подъэтимъ словомъ 195 г конечное уважение къ достопиству человъка, жан человъка. Несмотря на генеалогические свои в сопр разсудки, Пушкинъ, по самой натурѣ своей. существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готе отъ полноты сердца протянуть руку кажт мог кто казался ему "человъкомъ". Несмотря на нылкость, способную доходить до крайности, в .. характеръ спльномъ и мощномъ, въ немъ бы много дётски-кроткаго, мягкаго и нёжнаго. И г это отразилось въ его изящимых созданияхъ. детъ время, когда онъ будетъ въ Россін поэт при классическимъ, по твореніямъ котораго образовывать и развивать не только эстетичес по и нравственное чувство...

Конечно, придеть время, когда потомств 17 11 двигнетъ ему въковъчный памятникъ; но т. Врез страниве для его современниковъ, что они не им Иде ють еще порядочнаго изданія его сочиненій... Сыт спос десять літь минеть послів трагической ко чины нашего великаго поэта, а мы не имже: даже сноснаго собранія его твореній!.. Пора подумать объ этомъ.

[Отечественныя Записки. Т. XVIII. 1846 г.].

^{*)} Эти статьи не вощли въ полное собрание сочиненій Пушкина,—въроятно, для большей пол-

To oursi

akb r ancer r in the · . ; (" / 1

.+ *(eri, "1 T. CE 4 M a, anigh

type: A H Й. TU 9 are dog.

на е гн, п., ъ бы

B€

имѣе:

r.

Спесь. И, 877.

Вѣра и безвъріе. І, 710-712. эптицизмъ. I, 691-692.

746-747, 835. Вижшній и впутренній человікь. І, 596-597.

Личное и общечеловъческое. I, 544—545; II, 275. Мужчина и женщина. I, 143—146, 809—813; II, 601—

Натуры даровитыя и ограниченныя. І, 326 — 327 686-687.

Натуры вичемъ пе удовлетворяющіяся. I, 813-814.

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ

къ сочиненіямъ В. Г. Бълинскаго,

А. ФИЛОСОФІЯ.

1. общія понятія.

10Э: Модиогосторонность природы и кажущіяся въ ней проти-...._.ворѣчія. І, 324. ее, или идел и частное. І, 541-544.

чест обущность явленія и его познаніе. I, 163. Разумность явленія. 1. 322—323.

1032 зумность и въ безсознательной природа. І, 642-643. о 1.16 роцессъ развитія. І, 564—567; ІІ, 465—466, 598. Время и прогрессъ. ІІ, 375—377; 379—380. Не им. Иден и ихъ вначеніе. І, 575—578; ІІ, 465.

. Със Опособы изелъдованія истини. І, 126. і ко

2. психологія и этика.

Способы выражать внутренній мірь человіка. І, 247-Умозраніе и опыть. І, 129—130, 159.

убъективность и объективность. І, 265-268. Тыйствительность и призрачность. І, 343 — 346, 711—

ды мышленія. І, 563—564, 567—568. 1 выпытати. 1, 505 504. 307 507. 1 568—572

авственность и моральность. I, 315—322. равственно-развитие люди. II, 758—762. ущетіанская правственность. І, 279—283. Совбеть. І, 132—134.

Добро и вло. I, 134—135, 321—322. аль. I, 789—790. бовь, ен основанія и свойства. Ц, 759.

...бовь къ назшимъ. II, 397—398. Гуманность. II, 418—420. Эгонямъ. II, 813—814. Властолюбіе. ІІ, 858-859. Слава и навъстность. І, 295-296.

беловът, сто назначение и развитие. I, 143—144, 567—568; II, 272—274, 531, 608—610, 687,

Физическая природа человека. П, 272-273.

Юность. І, 461—463, 637; ІІ, 626—627.

Мечтатели и практики. II, 599.

Натуры, склонныя къ самохвальству. И, 755-756. Натуры мнимо-высокія. II, 427—431. «Маленькіе великіе люди». I, 302—304

Б. СОЦІОЛОГІЯ.

Человекъ, какъ индивидуумъ и какъ членъ общества. I, 131—135, 265—270; II, 117—120.

Бракъ. І, 142. 146—148.

Народъ, его развитие. I, 255—258, 269—270, 693—694; II, 460—462.

Происхождение народовъ. 1, 251-258.

Міросозерцаніе народа. І, 577—578. Народиость. І, 14—16, 67—68, 113, 533—534, 547—548; ІІ, 266—571, 274—276, 640—643, 792—796, 799—800.

Нація и народъ. II, 710. Народное и общечеловыческое. І, 258—259, 536—538;

II, 275—277. Значеніе права въ исторіи народовъ. І, 286. Царская власть. І, 260—264, 292—293.

Значеніе образованія въ жизни народа. ІІ, 462-463.

Заимствованіе. І, 16, 154—155. Историческая роль народовъ. І, 538. Pasвитіе человічества. I, 304—305, 565—567, 638,

Дикари и цивилизованные народы. I, 706-707; II, 770 - 771.

В. ИСКУССТВО.

Искусство и паука. II, 121—122, 401, 406. Некусство. I, 12—14, 323—324, 548—549, 561—562, 643—648; II, 353—355, 399, 408, 414, 466—470.

Соотношение между разсудномъ, разумомъ и эстетиче-скимъ чувствомъ. I. 284—285. Задачи эстетики. II, 468.

Искусство и природа. І, 643-644. Певозможность чнотаго некусства. II, 399, 401—407. Петорія развитія пекусства. І, 331—341, 644—648; ІІ, 466—468.

Связь искусства съ исторической жизнью народа. И,

Отношеніе некусства къ дійствительности и интересамъ общества. І, 307—308, 342—343; II, 346, 403. Художественное творчество. І, 105—107, 114—115,

117—119, 309—312, 314.

Истинно-художественныя произведенія. І, 128, 160— 163, 240, 247, 348—349, 396—400, 546—550; ІІ,

Мнимо-художественныя произведенія. І, 246. Пониманіе произведеній искусства. І, 158, 160 — 162, 164; II, 470—471.

Связь искусства съ критикой. І, 353. Правственная точка зрвнія на искусство. І, 315-

Геній и таланть. II, 154—159, 217—219, 557—558.

Отношенія между талантомъ и обществомъ. І, 651; ІІ, 219-224, 399-400, 658-660. Геній и толна. І, 690—691; ІІ, 217—218, 277, 472. Слъпое преклонение передъ авторитетами. І, 21; Ц, 560. Hoasin. I, 109—115, 339, 469—482, 486—487, 504, 537; II, 412, 474—475, 698. Поэвія чисто-народная и художественная. І, 538-541, 550 -561. Поэзія действительности и поэзія призрачности. І, 341-352. Идеальная и реальная поэзія. I, 82—88. Поэзія въ природъ и въ жизни. II, 700—702. Теная связь поэзін парода съ исторіей. І, 557—558. Отношение поэзін къ дібіствительности и современности. І. 110—112, 534—536, 557—558; ІІ, 720-721. Роды поэзін (эпосъ, лирика, драма). I, 341—342: Насосъ поэзін. II, 691—693. Правственность въ поэзін. І, 149—150, 320—321, 324. Творчество ноэта. І, 486—490, 708. Свойства поэтическаго таданга. II, 247—248, 414—415, 479—481, 689—691. Условія успъха писателя. І, 151—154. Отраженіе личности поэта въ его произгеденіяхъ. II, 401, 686—689. 401, 060—069.

Нопиманіе личности поэта. І, 699; ІІ, 686—694.

Историческая, точка зрёніл на поэта. ІІ, 506.

Отношеліе поэта къ его энохів. І, 701; ІІ, 402.

Поэтъ народный и національный. ІІ, 709.

Великіе поэты. І. 745; ІІ, 202—203. 469.

Женцина-писательница. І, 142, 147—148. Спредвленіе литературы, ся задачи. І, 4—6, 8—10. Процессь развитія въ литературь. П, 380. Эпическія поэмы. І, 751—752; П, 770—773. Лирика. И, 476. Сатира. II, 39—41. Драма. I, 356—358. Комеділ. I. 354—355. Трагическое. I, 353—354. Трагедія. I, 351—355. Романъ и повъсть. І, 81—82, 90—92, 752: ІІ, 41, 111-412. Петорія ремапа. И. 312—318. Беллетристика. И. 121—122. Беллетристъ. И, 125—126. Театръ, его значеніс. I, 55-57, 465-468. Сценическое искусство. I, 196—197. Спепическій геній. I. 200—201. Свебода артиста и зависимость отъ драматическато поэта. I, 201—202. Критика, ея задачи. I, 103, 639—641. Истинная критика. I, 278—280, 326, 650—651; II, 681-686. Ложная критика. I, 648-649; II, 207-209. искренияя и пристрастная. 1, 648 — 649, Контика 683-691. Критика прямая и уклончивая. І, 727-731.

Г. ИСТОРІЯ ГОСУДАРСТВЪ, НАУКИ И ИСКУССТВА.

Философская и психологическая критика. І, 158—159,

Историческая критика. І, 158, 165—167, 377—378. Названіе газеты, журнала и обозрігія. І, 777. Направленіе журнала. ІІ, 341—343.

Значеніе и прелести исторіи. І, 289. Историческія явленія. І, 322—323. Великіе историческіе д'яятели. І, 545—546.

Журпальная слава. І, 296-300.

1. АЗІАТСКІЕ ПАРОДЫ.

Характеръ Европы и Авін. И, 454—455. Міросозерцаніе Индіи, Нерсіи, Египта и страпъ симическихъ. I, 578—581; И, 567. Китайская культура. И. 454—458.

2. евронейские народы.

а) Древніе народы.

Значеніе классической древности для современной Европы. I, 773.
Міросозернаніе грековъ. I, 579—580, 626—629.
Греческій романтизмь. II, 567—573.
Греческое некусство. I, 331—333, 645; II, 405—407.
Характерь поэзім грековъ. I, 83—85.
Тѣсная связь науки и искусства съ обществомъ въ древней Греціп. I, 771—772.
Древне-греческій мудрець и современний философъ. I, 770—772.
Антература римаянъ. I, 85, 521—522, 580—581.
Характеръ римской исторіи. I, 630; II, 490—491.

б) Средніе втка.

Характеръ жизни среднихъ вѣковъ. І, 333—334. Средневѣковый романтизмъ. ІІ, 574—577. Романтическое средневѣковое искусство. І, 334—336. Рыцарская поэзія, І, 86; ІІ, 312.

в) Новое время.

Характеръ новыхъ народовъ (англичанъ, ибмцевъ-французовъ и испанцевъ). I, 156—157, 582—584; ÎI, 491-496. Характеръ нашего времени. I, 503—504, 635—639, 652—653, 776. Идеаль жизин въ XVIII и XIX вв. I, 139-140, 149. Женщина въ современномъ обществь. І, 811-812. Романъ до XIX в. II, 312-314. Романъ въ XIX в. II, 314-318, 411-413. Псевдоклассициямь и его теорія искусства. І, 45—46, 127, 327—330, 336, 523—524, 526—527. Борьба романтизма съ неевдоклассицизмомъ въ Занадпой Европв. И, 181-182. Романтизмъ вообще. І, 46, 524-526: ІІ, 565-566. Романтизмъ поваго времени. I, 337-338, 783-787; II, 578-586, 592-593. Характеръ французской литературы. И, 215—216. Французскай литература XIX в. 1, 307—308, 759, 783. Французскій театръ. И, 215—216. Характеръ англійской литератури. І, 583—584. Философія въ Германін. ІІ, 113—114. Историческая роль Италіп. І, 581—582; ІІ, 492. Франція въ XIX в. ІІ, 33—14. Характерныя черты поэзін ХІХ в. І, 86-89, 340-341, 504; II, 37—38. Взгляль на литературу въ наше время. И, 48. Различіе въ характері поэтическихъ произведеній XVIII и XIX вв. I, 140—141.

r) Paccia.

Искусство въ XVIII и XIX вв. I, 430-431.

Назначеніе Россін. І, 154, 285—286.

Характерь народа. І, 271—276, 283—285; ІІ, 198—200, 463, 794—795.

Необходимость для насъ самобытнаго развитія. І, 292—291.

Исторія Занадной Евроны и Россін. ІІ, 458—459.

Ходъ историческаго развитія Россін. ІІ, 17, 694—695; ІІ, 496—498.

Исторія до-петровской Руси. ІІ, 850—866.

Реформа Петра Великаго и ея сяфдствія. І, 18—19, 654—656; ІІ, 86—88, 265.

Вікъ Екатерины ІІ. І, 24—25; ІІ, 511.

Вікъ Алексадара І. І, 32; ІІ, 803.

Характерь научной русской исторін. І, 286.

Состояніе русскаго общества. І, 19—20, 77—78, 618—619; ІІ, 193—195, 835—836.

Отношеніе русскаго общества кълитературі. І. 778—779; ІІ, 195—199, 204—206, 209—211.

Положеніе русской женщины. ІІ, 824—831.

Интересъ простого народа къ образованию. И, 302,

Петербургъ и Москва. И, 86-112, 335-338.

Русская наука. І, 778.

Положение русской философіи. П., 113.

Отличительный характерь нашей литературы. I, 390, 699—700, 735; II, 199—200, 533.

Ходъ историческаго развитія русской литературы. І, 656—662, 679—683, 694—698. Гусская литература XVIII в. І, 20—31, 79—81, 154—155; ІІ, 253—268, 481—482.

Русскій классицизмъ сравнительно съ обще-сыронейскимъ. І, 47.

Сентиментализмъ. I, 696; II, 550—551.

Романтизмъ въ русской литературк и борьба его съ псевдоклассицизмомъ. І, 46, 528—529; П, 182— 183, 586-587.

Риторическая школа. И, 347—349.

Стремленіе къ народности въ нашей литературі. І, 67—68, 69—73, 521, 529—533. Натуральная школа. ІІ, 262—263, 384—411. Славянофильство. II, 263—268, 330—335, 370—376.

Характеръ русской литературы въ XIX в. I, 1—4, 32—77, 79, 92—102, 615—618, 790—791; II, 5—6 33—37, 49—50, 123, 178—181, 211—213, 253. 278—279, 311—312.

Иностранныя слова въ русскомъ языкѣ. И, 377—38°с. Русская журналистика. I, 63—65, 777—781.

Журнальныя обозртнія русской литературы. І, 777-781; II, 380—383.

Псторія русской критики. I, 662—679, 701—702; II, 682 - 685.

Современная русская критика и ся задачи. І, 101. Наше драматическое искусство и литература. I, 57: II, 213—214.

YKABATEJB MMEHB

къ сочиненіямъ В. Г. Бълинскаго.

Въ этотъ указатель вошли имена главивйшихъ писателей, русскихъ и иностранныхъ, преимущественно XVIII и XIX вв., и названія важивйшихъ русскихъ журналовъ.

Аблесимовъ. І, 31.

Аксаковъ (Константинъ). I, 749-762, 747-770.

Александръ I. его эпоха. I, 32—33. Вайропъ. I. 784—785; II, 798. Баратынскін. I, 51, 700—719, 795. Батюшковъ. I, 44, 593—594, 599, 659; II, 627—649,

Бенединтовъ. I, 240—243, 392. Вогдановичъ. «Душелька». I, 30; II, 544—545. Боткигъ. «Нисьма объ Испаніи». II, 448.

Булгаринь. Общія замічанія. І, 58-59.-Его романы. I, 74-75.

Вальтеръ-Сколтъ. I, 320-321, 646, 742-744; II, 314-315.

Вепевитиновт. I. 55, 610.

Вяземскій, киязь. І. 42; ІІ, 660. Герценъ (Исквидеръ). «Кто виновать?» ІІ, 413—421. «Пискма изъ Avenue Marigny». ІІ, 448. Гёте. І, 306—312, 325—328, 553—554, 646; ІІ, 618—

Глинка, О. И. Общія замъчанія. І, 52.—«Очерки Вородинскаго сраженія». І, 275—278.

Гиллича. Перевода «Иліады». І, 601 —662; П, 650—

Гоголь. Общія замічація. І, 103—104, 108, 123—126, 612—617, 733; ІІ, 30—34, 42, 202, 220—223, 347—357, 359—362, 389—392.—«Вечера на хуторі». І, 119.— Арабескі н Миргороды». І, 119.— 121.— «Старосвътскіе поміщики». І, 356.— Тарась Бульбаг. І. 122—123, 346—348.—«Повысь о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иганомъ Никифоровичетъ». І. 348—351.— «Реви-горъ». І. 358—374.— «Мертоми Души». І. 766— 768.— Выбранныя места нев переписки съ дружами .. II. 294—310.

Гончаровъ. «Обыкновенная исторія . И. 422—439. Грябобдовъ. «Горе отъ ума». І, 57—58, 375—390,

Григоровичъ. II, 287, 357-359, 442.

Григорьевъ, Аполдонъ. II, 248—252, 281, 282. Давидовъ, Денисъ. I, 52.

Лаль (Казакъ Луганскій). II, 287—288, 413.

Тельенгъ. I, 53. Державниъ. I, 26—29, 657; II, 257—258, 475—481, 483—489, 498—526, 541—513, 659—660. Лентріевъ. I, 38—39, 585—587; II, 387, 546—552. Достоевеній. Общія вамёчанія. II, 226—228.—«Бёд-

ные люди». П, 224—225, 228—235, 285.—«Двойникъ». II, 235—238, 285—286.—:Господинъ Про-харчинъ». II, 286—287.—«Хозийка». II, 445—446.

Гкатерина II, ся въкъ. I, 24-26.

Пуновеній. Обшія замічанія. І, 40, 461—165, 593—598, 658—659, 697—698; ІІ. 562—565, 587. 596—611, 621—626, 661.—Балады. ІІ, 587— 597.—Русскія сказки. ІІ, 611.—Ундина. ІІ, 612.— «Бородинская годовщина». І, 294.—Оригинальныя стихотворенія. ІІ, 603—611, 618.

Жуковеній, такъ переводчикъ. І, 464—465, 593—596;

II. 612-620.

Загоскинъ. I, 70. 797; П. 283—284. Кантемиръ. I, 20, 663; П. 386—387. Каппистъ. I, 43, 378; П. 545.

рамения. Обиди замваанія. І, 33—38, 586—522. 697—698; ІІ, 178—175, 186, 261—262. 546—548. 550—551, 554—561.—«Исторіи государства Російскаго». І, 38, 589—590; ІІ, 557.—«Письма рус Карамзинъ. скаго путешественниказ. 1, 37.

Княжнинъ. I, 30; П, 552.

Позловь. І, 52.

Коловъ. I, 52.
Кольдовъ. I, 391. 293: II, 126—168, 281—282.
Крыловъ. I, 39, 590; II, 387, 552, 561—562.
Кунольнитъ. Его романи и повъсти. I, 797—798, 800.—Драми. I. 392—393.
Дажечинковъ. I, 71—72, 612.
Дермоттовъ. Общи замъчани. I, 393—394, 496—491, 518—520, 815, 818—820; II, 201—202.—«Пъсти про царя Ивана Васильевича, молодого опритигна и удажого купца Камашинкова». I, 491—502.—
Дума. I, 505—506.—«Демонъ». I, 517—518.—«Мицира». I, 515—517.—«Герой нашего времени. I, 394—396, 400—462.—Межкія произведенія. I, I, 394—396, 400—462.—Межкія произведенія. 1, 505—515.

Јомоносовъ. I. 21—21; II. 170—172. 255, 258—259, 386, 481—483, 535—536.

Манаровъ. И. 552.

Марлинскій. Его повъсти. I, 61—62. 92—94.—Прити-

ческія статьи. І, 780. Майковь, Анолюпъ. І, 620—626, 629—636, 791— 795; Н. 240—241. Майковъ. В. И. И, 541. Мералят въ. 1, 41—42; И, 654—656. Наръжней. І. 611—612.

Новиковъ. И, 168-169.

Одоевскій, ки. Общія замічанія. Н, 30.—Его повісти.

I, 72-73, 94-96; II, 5-27.-«О враждѣ къ просвіщенію, замічаемой въ новійшей литоратурі». П, 27-30.

Озеровъ. I, 39—40, 591—592; II, 553. Павловъ. Его повъсти. I, 99—102. Панаевъ. Его повъсти. І, 799-800.

Панаевт. Его повъсти. I, 799—800.

Истръ Воликій, сто вліяніе на русское просвъщеніе н литературу. I, 18—19, 654—656.

Погодипъ. Его новъсти. I, 96—97.

Полевой, Н. А. Общія замѣчанія. П, 178, 179, 191—192.—Его новъсти. I, 97—99, 103.—«Стольтіе Россія». II, 124—126.—Его драма. I, 250—252.—«Исторія русскаго народа». II, 191.—Полемическіе пріемы. II, 184—191.

Полежаевъ. I, 55.

Полемкій. Стихотворенія. II, 252—254.

Полежаевъ. 1, 35.

Полемаевъ. 1 178, 201—203, 220—222, 388, 526—532, 604, 678, 694—715, 908.—Его лирическія пропаведенія. ІІ, 665—681, 715—730.—«Борист Годуновъ». ІІ, 213, 849—875.—«Сцепа пат Фауста». ІІ, 890—891.—«Полтава». ІІ, 769—787.—«Скуної рыцарь». ІІ, 895—896.—«Моцартъ и Сальери». ІІ, 892—894.—«Каменный гость». ІІ, 899—904.—«Домикъ въ Коломий». ІІ, 875—876.—«Евгепій Опѣгинт». ІІ, 789—849.—«Русалка». ІІ, 896—898.—Русскія сказки. ІІ, 904—905.—«Графъ Пулинъ». ІІ, 785— 789—849.— «Гусалис». П, 590—898.— Гуссия сказки. П, 904—905.—«Графь Пулниь». П, 788—789.—«Галубъ». І, 238; ІІ, 885—888.—«Родословная моего героя». ІІ, 876—881.— «Мѣдный всадникъ». ІІ, 881—885.—«Анджело». ІІ, 889.—«Арань Петра Великато». ІІ, 239; ІІ, 905.—«Повъсти Бълкита». ІІ, 905.—«Нърминь». ІІ, 905.—«Повъсти Бълкита». ІІ, 905.—«Пърминь». ІІ, 906. на». II, 905.—«Летопись села Горохина». II, 906.— «Дубровскій». ІІ, 906.—«Капитанская дочка». ІІ, 905.—«Пиковая дама». ІІ, 905.—«Сцены изъ рыцарскихъ времент». ІІ, 904.— «Египетскія почи». П, 888—889.—«Исторія Пугачевскаго бунта». П, 913.—«Цыганы». П, 753—769.—«Русланъ и Людмила». П. 730—743.—«Кавказскій планника». П.

743-749.-«Братья-разбойники». И, 753-756.-«Вахчисарайскій фонтант». ІІ, 749—752. «Пыръ во время чумы». ІІ, 891—892.—Журнальныя статія.

11, 900. Сенковеній (Баронъ Брамбеуст). І, 75. Соллогубъ, графъ. І, 797—798; ІІ, 46—86. Сумароковъ. І, 24, 663—679; ІІ, 257, 535—536. Тургеневъ. Общія вамічанія. II, 439—441.— Мезиля стихотноренія. II, 440.— «Параша».— Разповоръ».—«Андрей». II, 440.—«Андрей Колосовъ». «Поміщикъ».—«Три портрета». II, 240.—«Записки охотника». II, 439—442.

охотника». 11, 439—442.
Фонвизинь. «Бригадиръ» и «Недоросль». I, 30—31, 374—375, 680; II, 543—544.
Херасковъ. I, 30; II, 537—540, 554
Хомяковъ. I, 608—609.
Шевмревъ. Общія замічанія. I, 719—726.—Его критическіе пріємы. I, 726—727, 820—828; II, 451—453.—«Исторія древней словесности». II, 291—292.—Стихогвопенія. I, 54—55.

хотворенія. І, 54—55. Шексирт. І, 12, 82—83, 167—196, 205—227; ІІ, 241—242, 694—695. Шиллерт. І, 89—90, 325, 628—629; ІІ, 584—585, 613—619.

Языковъ. І, 52, 607-608.

РУССКІЕ ЖУРНАЛЫ.

«Виблютека для Чтенія». І, 74—75, 804—806. «Въстникъ Европы». І, 64; ІІ, 180. «Маякъ». ІІ, 333—334. «Москвитянинъ». 1, 807—808. «Московскій Вістінкъ». І, 64—65. «Московскій Телеграфъ». ІІ, 184—186, 187—189. «Отечественныя Записки». І, 732—734, 804. «Современникъ». ІІ, 293—294. «Сынъ Отечества». II, 180. «Телеграфъ». I, 732.



содержание и-го тома.

1844.

Сочиненія князя В. О. Одоевскаго . . 5

Выступленіе князя В. О. Одоевскаго на литературное поприще, тогдашнее состояніе литературн и дальньйшее ся развитіє. 5—8.—Дидактическія произведенія Одоевскаго. 8—16.—Его повісти. 19—20.—Сочиненія Одоевскаго съфантастическиму паправленіем з. 20—22.—«Энилогь» Одоевскаго, его основная идея и типь Фауста, выведенный въ немъ. 22—27.—Остальным беллетристическія произведенія Одоевскаго. 27.—Статья его «О вражді къ просвіщенію, самічаємой въ новійшей литературів. 27—29.—Обшія замічанія о талантів Одоевскаго. 30.

О Гоголъ. Отрывокъ наъ статъп: «Руссная литература въ 1843 году» . . . 29

Реформа, произведенная Гоголемъ въ русской литературъ, и си значеніе. 29—33.—Сатирическое направленіе въ прежинкъ литературникъ произведеніяхъ (до Гогола) и въ современныхъ. 33—37.—Преобладаніе сатирическаго элемента въ современныхъ свропейскихъ литературахъ. 37—39.—Правильний изглидъ на эначеніе сатиры для общества. 39—40.—Превосходство романа и повъсти падъ сатирой и ихъ задачи. 40—42.—Характерныя особенности таланта Гоголя. 42.

Основная мысль романа. 41—43.—Необычайный егуспъхъ и его причины. 48.—Печальное состоянее современной Франціи и надежды на лучшее будущее. 43—46.

1845.

Тарантасъ. Графа В. А. Соллогуба. . 45

Достоинства этого произведенія. 45—48.—Требовапія, предъявляемыя въ настоящее время къ литературнымъ произведеніямъ. 48—49.—Соотвѣтствіе «Тарантаса» этимъ требованіямъ. 40.—Усиѣкъ его. 49.— Наображеніе героевъ современности—госнодствующее стремленіе въ повъйшей русской литературѣ. 49—51.— Герой пашего времени въ произведенія Соллогуба въ мицѣ Ивана Васильевича. 52—55, 59—64.—Характеръ Василія Ивановича. 55—59.—Сод грманіе преизгеденія Соллогуба и его основиям идея. 63—84.

Преобразовація Петра Великать, 85—87.—Ослованіе повой столицы Петербурга и ел змаченіе. 87—89.—

Характеръ города Москви и ел жителей. 89—93. Петербургъ и сравнение его съ Месквою. 93—99.—Население Москви и Петербурга. 99—110.—Общая характеристика объяхъ столицъ. 110—112.

Германія—родина новскі філософія. 113.—Жалкое состояніе русской философія. 113—114.

Стихотворенія Петра Штавера. . 114

Задачи человѣка по отноменію къ самому себѣ и кажизни. 117—120.

Наука, искусство и беллетристика. 121—123.—Отсутствіе беллетристики въ русской литературѣ. 123.— Полевой, какъ беллетристъ. 123—126.

1846.

Алексъй Васильевичъ Кольцовъ . . 125

Появление Кольцова на литературномъ попринца. 125—128.—Дателіе годы Кольцова и пребиваніе его въ увзяномъ училинсь. 128—130.—Повзяки его въ степь и впечаливна отъ нихъ. 130.—Первие опыты стихотворства. 131—133.—Первая глубаная либова Кольцова и печальный ел испецъ. 133-134.- Дружба Кольнова съ Серебрянскимъ. 134-135.-Тяжелое пол женіе Кольцова въ родной средь. 135-136.- Друшба его со Станисьичемъ и изданіе сборника его стихотв греній вы 1835 г. 136-137. Знакометь Кольцова съ месковскими и петербургскими литераторами. 137-139. Жизнь его въ Воронемъ по позвращении изъ стояни. и разладъ съ окружающей дійствительностно. 145.-Вторая подздиа Кольдова въ Москву и Иетербургь. 145-146.-Возгращение Кольцова въ Водолежь. больянь и смерта его. 140-149.-Кольнова, жань человьит. 149-153.-Стихоть генія Кольцова-п пражательныя и сапобитныя (народния пвеня). 153--154.-Ранній интересь его къ гусскимъ пьенямъ. 154.— Гепій п талантъ и ихъ отношеніе другь къ другу. 154—156.—Что такое геніальный таланть? 156—159.— Кольцовь-геніальний таланть. 159.-Русскій худомественныя наредныя прсик до Поледова. 159-160.-Люботь Польцова из простому народу и из его быту. 100—162.—Отанчительныя черты его пьесив. 102— 165.— Думи: Кольцова. 165—167.—Редакціовная сторыя изданы сочиненій Кольцога. 167—168.

Разъединение въ пашемъ обществъ и пачало сближенія сословій. 193—195.—Усп'яхи образованія въ рус-жюмь обществ'я. 195.—Вліяніе нашей литературы на общество. 195-199.-Молодость и неопределенность пашей литературы. 199—200.—Отсутствие въ ней ярко выраженной національности. 200—202.—Гоголь—самый національный русскій поэть. 202.—Національный и общечеловъческій элементь-два необходимыхъ качества величаго поэта. 202-204.-Содержание нашей ползін въ завненмости отъ исторической жизни народа. 201-200.-Интересь кь отечественной литературів въ русской публикт. 204—206.—Отличіе русской публики отъ французской въ этомъ отношения и причины этого явленія. 206-207.-Петипная и ложная критика. 207-209. Молодость и незрилость нашей дитературы и обыества, 209-211.-Бълность русской беллетристики. 211-213.-Наша драматическая литература. 213-215.—Различіе въ характерѣ французской и нѣмецкой литературы. 215—216. — Французский театръ. 215— 217.- Положение нашего театра. 216.- Толна, геній н таланть. 217—220.

Появленіе необыкновеннаго таланта и отпошеніе къ нему въ раниною пору развитія пашей литературы и тенерь. 219—224.—Появленіе Нушкина и Гоголя на литературномъ попришѣ и отношеніе къ нимъ литературы и общества. 219—223.—«Бідные Люди» Достоевскаго и ихъ уси\л. 221—225.—Характеръ таланта Достоевскаго. 226—229.—Содержаніе романа «Вѣдные люди» и уарактеры дѣйствующихъ лицъ. 228—235.—«Двойникъ» Достоевскаго, его достоинства и недостатки. 235—238.—Прочія пронаведенія, помѣщенимя въ «Петербургскомъ «Сборникѣ». «Помѣщикъ» Тургенева. 239—240.—«Машенька» Майкова. 240—241.—«Макботъ» Шексивра, переводъ Кронеберга. 241—242.—Статья Искандера «Капризы и Раздумье». 242—246.—О характерѣ пародности въ древиѣйшемъ и пояѣйшемъ пекусствъ» т. Инкитенко. 246.—Общія замѣчанія с Петербургскомъ Сборянкѣ. 246.

Стихотворенія Аполиона Григорьева. Стихотворенія 1845 г. А. П. Полоконаго. 245

Свойства поэтическаго таланта. 246—247.—Стихотворенія Ан. Григорьева. 248—252.—Стихотворенія г. Полопекаго. 252—254.

Отличительный характеръ современной русской литературы. 253.—Русская литература отъ Петра Великаю до Ломопосова. 253—255.—Ломопосовъ и его влинію па нашу литературу. 255—257.—Сумароковъ. 257—258.—Державинъ. 258.—Фонвизинъ. 258.—Роль Пирамвина и постепенное освобождение нашей литературы отъ ломопосовскаго направленія и сближеніе ся съ діяствительностью. 258—261.—Риторизмъ Ломоносова и его причины. 259.—Нензбълность подражательности из нашей литературь XVIII въка и движене ея къ самобытности. 259—261.—Натуральная школа въ русской литературь. 262—263.—Славянофильство, его заслуги и недостатки. 263—268.—Признаки зрълости современной русской литератури. 269.—Вопрост о пародлости. 269—271.—Отпоменіе личности къ идев человіна, па-ціональнаго къ человіческому. 271—277.—Характерь нашей современной литературы. 278.—Незамѣтная вы ней роль стихотворной поззін. 278—279.—«Слово о Полку Проревы, стихотворный переводъ Минаева. 279—280.—Стихотворенія Юлін Жадовской. 280— 281.—Стихотвор. Аполлона Григорьева. 281.—Стихотвонія Кольцова. 281—282.—Стихотворныя произведенія, ноявщенныя въ журналахъ и сборинкахъ 1846 г. 282—283.—«Антигона» Софокла, переводъ Аноллона Григорьева. 282—283.—«Врынскій льсъ», романъ Загоски на. 283—284.—Произведенія г. Буткова. 284.— Бід-пне Люди», «Двойнигъз и «Господинъ Прохарчинъ-Достоевскаго. 285—287.—«Небивалос въ быломъ, ими бывалое въ небываломъ» и «Русскій Мужикъ» Луган-скаго. 287—288.—«Деревня» Григоровича. 287—288.— «Приключенія, почеринутыя изъ моря житейскаго» Вельтмана. 288—290.—Сочиненія научныя, полвившіяся въ 1846 г. 290-293. Отдель «Критики и библіографіи» Современника. 293—294.

Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями. Нинолая Гоголя . . . 293

Печальныя размышленія по поводу этой книжии. 293—294.—Ея содержаніе. 295—307.—Отрицаніе Гогоемь свей литературной славы и его неосновательность. 307—308.—Общее заключеніе о «Выбранных» мѣстахъ изъ переписки съ друзьями». 309—310.

Господство романа и повести въ современной литературе. 311—312.—Исторія романа. Романъ отъ рыпарскихъ временъ до XVIII века. 312.—Романъ въ XVIII в. 312—314. — Характеръ романа въ XIX в., его торжество и роль Вальтеръ-Скотта. 314—315.— Развитіе романа въ XIX веке. 315—318.—Французская литература XIX в. и поворотъ въ ней къ худшему. 317—318.—Громкій усибхъ романовъ Дюма и сму подобнихъ; причины этого. 318—322.—Относительная польза этихъ романовъ. 322—323.—Реманы Эжена Сю. 323—327.

Отвыть «Мосивитянину» 323

Общее содержаніе статьи «Москвитянниа»: «О мивніяхь «Современника» историческихь и литературныхъ». 329—330.—Такъ называемое «московское направленіе» (славянофильство). 330—335.—Мивніе автора статьи «Москвитяннина» о необходимости литературнаго спора между Москвой и Истербургомъ и статри спора между Москвой и Истербургомъ и статри в статью Никитенко. 340—347.—Неправильное отношеніе риторической партін и славянофиловъ къ Гоголю и патуральной школѣ. 347—360.—Вяглядъ критика "Москвитянина» на Гоголя и натуральную школу. 359—367.—Его мивніе о характерѣ г. Вълинскаго и его дарованіяхъ. 367—370.—Вопросъ о славянофилахъ. 370—376.

1848

Взглядъ на русскую литературу 1847 г.

375 — 377. — Фельетолисты — Время и прогрессъ. враги прогресса. 377—378.—Употребление иностран-ных словь въ русском языкъ 378—380.—Годичныя обозриня русской литературы въ альманахахъ 20-хъ годовъ. 380-382.-Обозрвийя натего времени. 382—384.—Патуральная школа. 384—386.—Ея про-исхожденіс. 386—388.—Гоголь. 388—392.—Панадки на натуральную школу и разсмотрине этихъ нападокъ. 392-411.

Значение романа и повъсти въ настоящее время. 411-413.-Замечательные романы и повести проплаго года и характеристика современныхъ русскихъ бельетристовъ: Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Даль, Григоровичь, Дружининъ, Вельтманъ. 413—445.—Новое сочинение г. Достоевскаго «Хозяйка». 445—446.—«Нутевыя замътки» г-жи Т. Ч. 446— 447.-«Разсказы о сибирскихъ золотыхъ промыслахъ г. Небольсина. 448.— Письма изъ Пепаніи» г. Ботки-на. 448.— Письма изъ Avenue Marigny» Герцена. 448.—Замічательныя ученыя статьи прошлаго года. 449.—Замечательныя критическія статьи. 449—451.— Г. Шевиревт. 451-453.-Письма г. Павлова къ Гоголю о Перениски съ друзьями». 453.-Полное собраніе русскихъ авторовъ, А. Смирдина. 453-454.

Нитай въ гражданскомъ и кравственномъ отношеніи. Соч. Іакинеа. . 453

Косность азіатскихъ народовъ. 453—454.—Отста-лость Гінтия. 454—457.—Общім зам'ячанія о книг'в о. Іакинфа. 457—458.

Сельское чтеніе, издаваемое никземъ В. О. Одоевскимъ г А. П. Заблоциимъ. . .

Разинца вы готожении парода въ Западной Европв и у нась. 457-159.-Необходимость для Россіи цивилизація и просвіщенія и заботи правительства въ этомъ направленія. 459—460.—Петинний и ложинні виглядъ на народность. 460-461. - Необходимость разделенія народовь на классы. 461—462.—Важность просивинения. 462-463.-Харантеръ русскато народа. 4.53—4.54.—Оценка «Сельскаго Чтепія» и необыклогенила усивув его-доказательство интереса простого народа къ образованию. 464-466.

Сочиненія Державина 465

Законы развитія пекусства. 465—468. — Нетиныня задачи эстетици. 468—471.—Традиміонное отношеніе из Державицу. 472—478.—Ползія Державина съ художе-ственной точки грбиіл. 473—489.

11.

Связь искусства съ исторической жизнью народа. 490—191.—Отноненія между ними у грековъ и рим-ялит и у новоевропейскихъ народовъ. 491—494.—Характерь французовъ, англичанъ и пъмцевъ, 491-496. Псторическое развигіе и роль Россіи. 496-498.-Державинь, какъ выразитель русскато XVIII въда и пъвецъ Екстерини И. 498—520.—Харамеръ его, какъ человъна. 520.—Взглидъ Державина на позейо и ноэта. 520-523.-Общал оцинка поэтической двятельности Державина. 523-526.

Сочиненія Александра Пушкина. . 523

Общія самічанія объ изданін сочиненій Пушкини. 525.-Отношение вы пему общества въ различные моменты. 526—532.-- Необхедичесть обозранія русской литературы до Иушинна. 532.—Общій характерь рус-ской литературы. 533.—Госьодство псевдоклассической 533-535. — Ломоносовъ. 535. — Сумароковъ. повзій. 533—535. — Ломонсовъ. 535. — Сумароков 5-535—537. — Керасковъ, Петровъ, Костровъ. 537 — 541. — Державинъ. 541—542. — Иисатели сагириче-скаго направленія: Кантемиръ, Фонвизинъ. 543—544. — Керасковъ, Богдановичъ. Канпистъ. 544—545. — Карам-зинъ и Дмитріевъ. 545—550. — Сентиментализмъ въ на-шей литературѣ. 550—552. — Макаровъ. 552. — Писатели карамониской школы. 552. — Княжнинъ, Озгровъ, Крыловъ. 552—554.

II.

Карамзинъ и его заслуги. 554-560.-Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озсровъ, Жуковскій и Батюшковъ. 500—505, 587—627.— Значеніе романтизма и его историческое развитіс. 505—586, 592—593.

Обзоръ поэтической дінгозьпости Балюдильва: харачтеръ его поэзіи. 627—650.—Глідичь, его переводы и оринивальныя сточинения. 659—654.— Мералаковъ. 651—655.—Ки. Вяземскій. 657—658.—Журнали венда карамзинского періода. 658.

IV.

Историческая связь Пушкина съ предместьоваемими поэтами, 658—662.—Положение русскаго общества и литературы при появления Пушкина. 662—664.— Лидейскія» и «переходимя, стихотвојенія Пушкина. 664 - 681.

Ваглядъ на русскую критику, 682-681.-Понятіе о современной притикъ. 684-689. - Изельдование насоса поэта, какъ первал зедача критики. 689—694.—Пасосъ поэгін Пушкина восбще, 694—714.—Разборъ мединхъ лирическихъ произгеленія Пушкина, 715—749.

VI.

Ноэмы: Руслань и Людинда... 730—742.— Певказ-скій плінцикт. 742 — 749. — «Бахинсарайскій фон-тонь . 749—752.—«Братья-разбойники». 753.

Поэти: Диланир. 753—768. — Полтава.. 768— 787.— Графъ Пушив . 788—789.

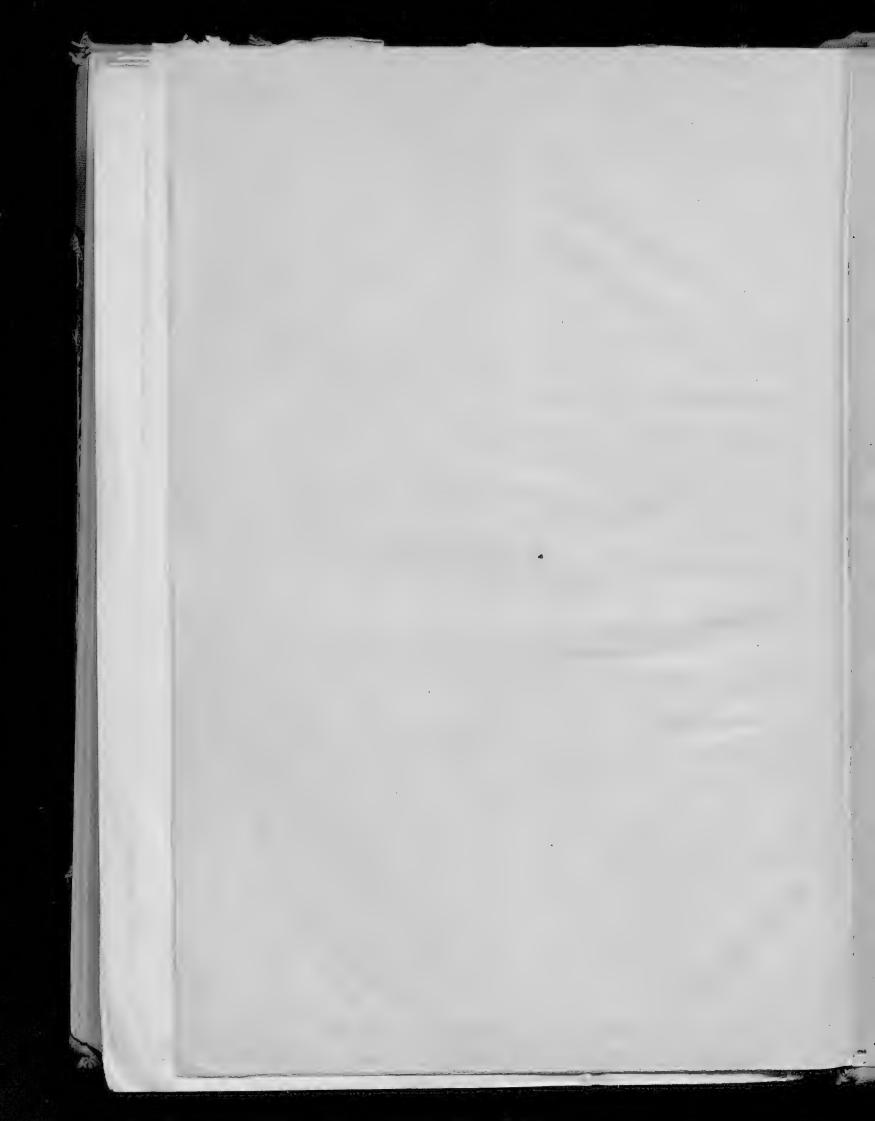
TILL

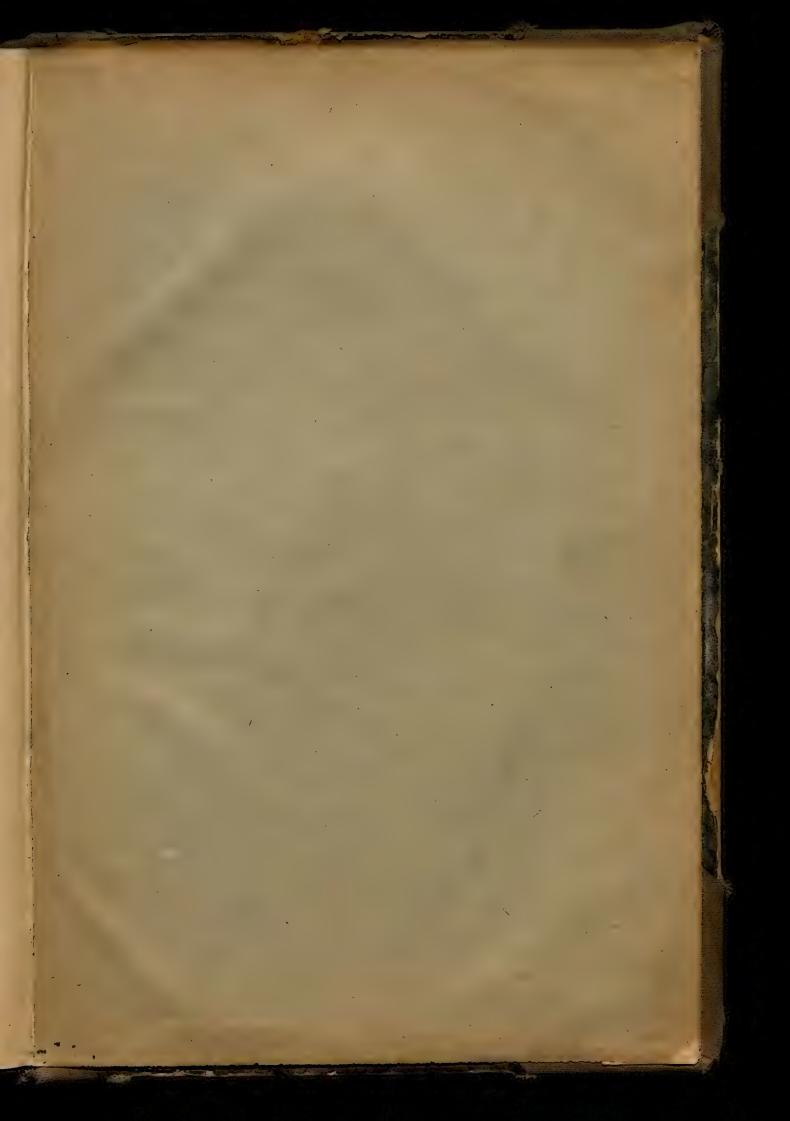
Евгеній Оп'єнить ; е.о историческое значеліе. 789-801, 802—805.—С. держаніе Опытина» и претиворычным чиблія о нечь. 801—802.—Характеры дыйствующих лица: Опытина. 805—822.—Ленекій. 822—824. IN.

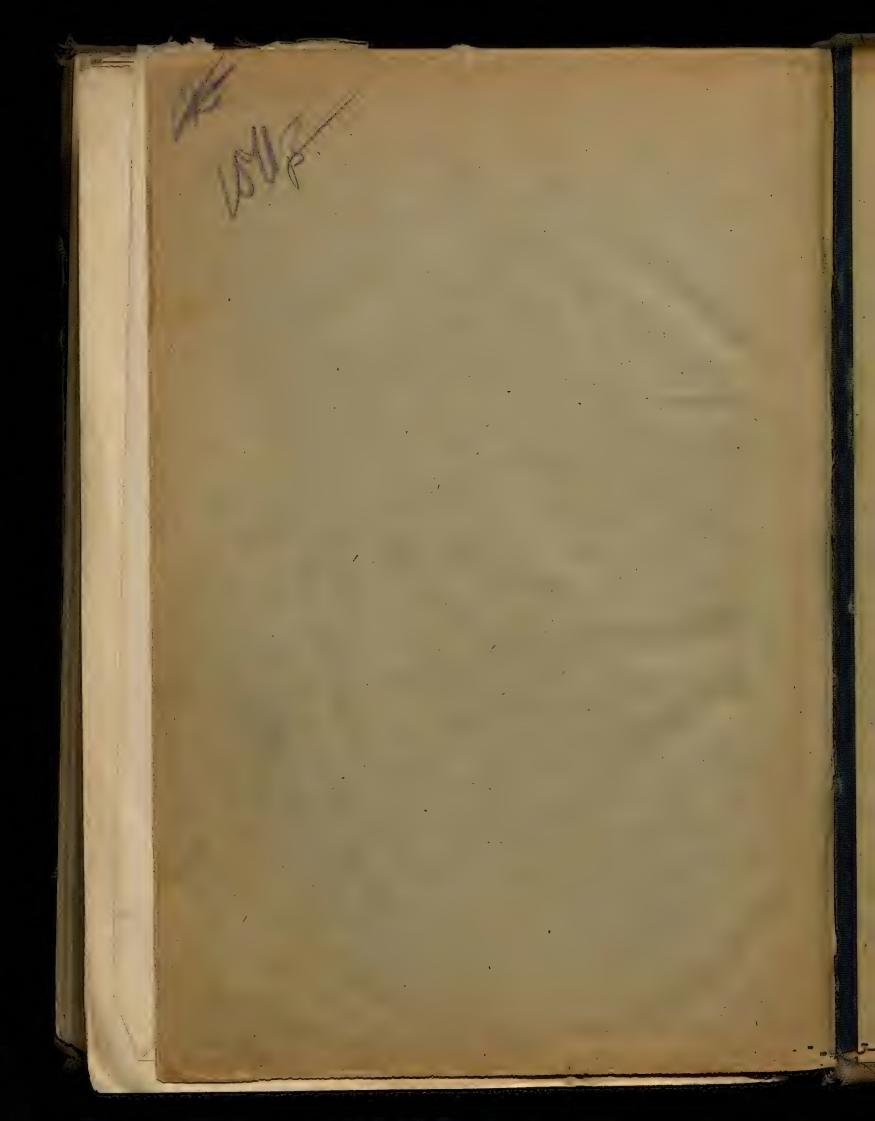
Татына, какъ идеаль русской женщины. 824-817.-Заключеніе. 847—849.

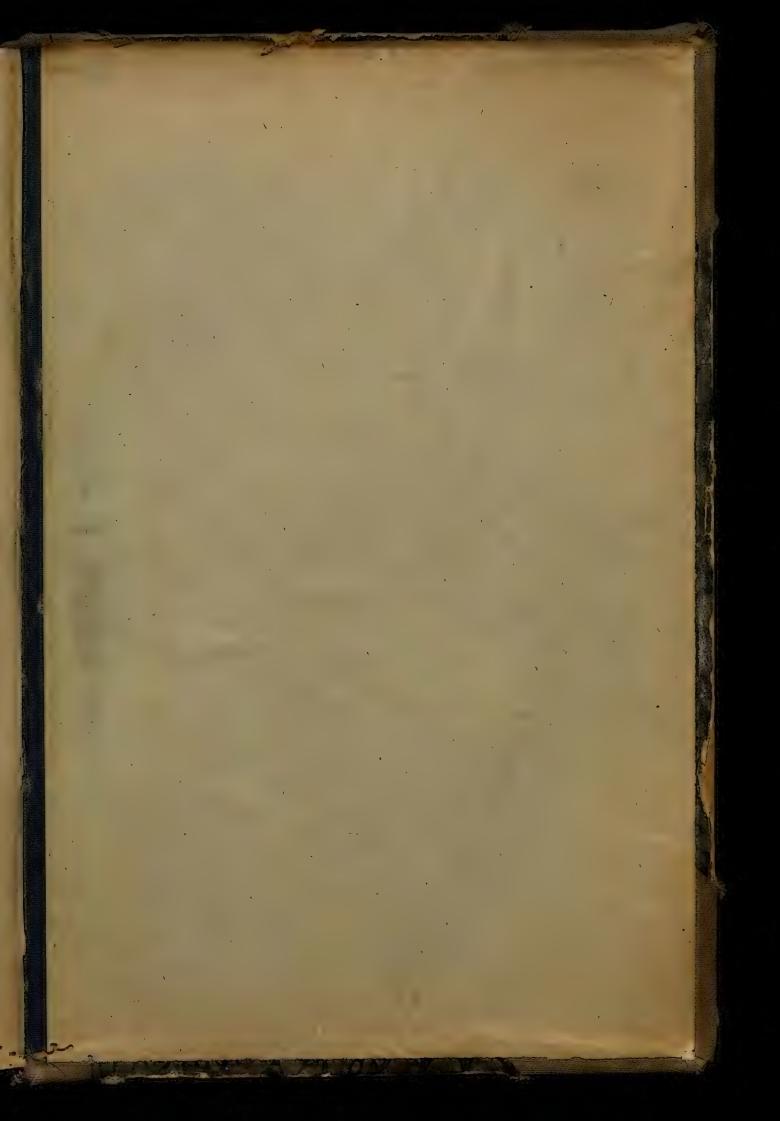
Борись Годуновь..-Общій замічанія. 849-850.-Опънка Бориса Годунова, какъ драматическаго про-наведения, 850-852. —Ворисъ Годуновъ въ произведения Пушивна и истинный Годунові. 852—868.—Лостопиства трагедін. 868—869.—Характ дев Пимент и са т звания. 869-871.-Замечалельныя сдени ил превето. 871-875.

доминь въ Коломи 1. 875-876.-Родослованя М.го Героя». 876-881. — «Мідный Веадишкь». 881— 885.—«Галубь». 885—888.— Еническій ночи. 880.—«Анджело». 880.— Спена пол Фкуста... 890—891.—«Ипръ во премя чуми. 801—802. - Монартъ и Сальери». 892—894.— Скупсії Рыцарь... 894—896.—
«Русалиа». 896—899.— Каменный гость... 899— 904.— Сцены изъ рыцарскихъ временъ.. 904.—Сказка: «О цар! Салтань», «О мертвой царевий и с семи богатыриль. О золототь Иблушкая, О рибака и рыбкы. О куппъ Кузьма Остоловъ и работника его Балда... 904. — Новьеты: Аранъ Исгра Великаго; Повьеты Вълкина»; «Инковая дама: «Капитанская дочка; «Дубровскій»; «Літопись села Герохина»; "Кирежали: «Исторія Путачевскаго белга». 904—906.— Курачал имя статьи Пушкина, 9001.-Ваключение, 907 1908.











Kuree Siv3-4. De l'Asiex Jubus 976 u osiex jubuja.
nereji 3 47 240 pacegnere Komuynugrab billaurnypun " e benium, 16 (hrace). Kan your cassymones 6 byx3dy (tea 3 angun minue KBrug) buch presings they may kommenter, young Bayers (!!). He grup bacunem litagemen Outres Barrowers Credyline no Francy day(!) Un mo contigenus Ensylve 10 you Ce Bar" 14 Mukayes them percepteuren 5 pywohazybuch Im 10 [1] opreun 3 eyun (!???)! 3 geer uneger

obickjulusju. Tazza Lu langueroft gaushyrus ysmus a yegrayo rea joray orghedeuseron obyestemen 3 percus zprjime " Lasyra, Tasyra Bashelay, zvo Magnereya lemnoray le cers june exasgé ngyminogé (lessem). darys yyy lemmer as 6 or ceasured in 4 Spylen by 3-4 N Deal. SAFE 240 в воле "сбарник под. ред. Бродского, 1911г- поэти-радищевия сб. Бибистека пачна 1935 г. O Turue no coduis no beeny pasdery. Carquen Bye. rumeparnypa, 2. II. M. 1929 of mours oparquere crain marriepuant Tyrobckerin, Speemonamus no pyceram nume panype. XVIII 6.19359.

